

Юрий Власов

ОГНЕННЫЙ КРЕСТ

ОГНЕННЫЙ КРЕСТ
Гибель адмирала

Гибель
адмирала

Юрий Власов



«ПРОГРЕСС»



ОГНЕННЫЙ КРЕСТ

Гибель адмирала

Юрий Власов



ОГНЕННЫЙ

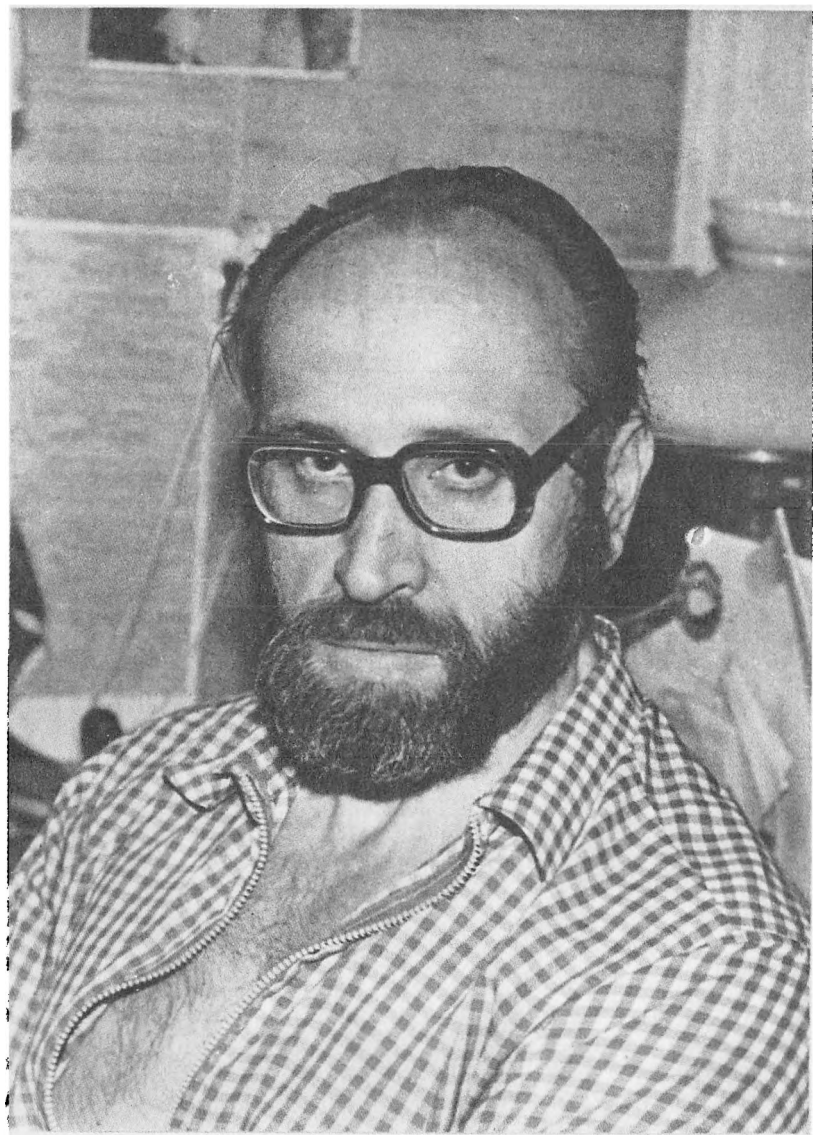
Юрий Власов

Гибель
адмирала

КРЕСТ

Юрий Власов

ОГНЕННЫЙ КРЕСТ



Юрий Власов
ОГНЕННЫЙ КРЕСТ

Гибель адмирала



Москва
ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА «ПРОГРЕСС»
«КУЛЬТУРА»
1993

ББК 84Р
В58

Ю. П. ВЛАСОВ родился в 1935 г. в Макеевке Донецкой области. Окончил Военно-воздушную инженерную академию им. Жуковского в 1959-м. Год прослужил в войсках, после — в ЦСКА. Уволился из армии по собственному желанию в 1968 г. в звании инженера-капитана.

С апреля 1960 г. — профессиональный спортсмен, инструктор по спорту высшей квалификации. Неоднократный чемпион мира, Европы, СССР, обладатель десятков выдающихся рекордов мира, а также титула «самый сильный человек мира». За победу на XVII Олимпийских играх в Риме награжден орденом Ленина. В 1964 г. Ю. Власов получает на XVIII Олимпийских играх в Токио серебряную медаль и покидает спорт. Народный депутат СССР в 1989—1991 гг.

Литературной работой занялся в 1959 г. — опубликовал свой первый газетный очерк. В 1959—1965 гг. сотрудничал с «Известиями», напечатал цикл репортажей, статей, очерков. Печатал рассказы и очерки в «Огоньке», «Физкультуре и спорте» и др. журналах.

Автор книг: «Себя преодолеть» (1964), «Белое мгновение» (1972), «Особый район Китая» (1973), «Соленые радости» (1976), «Справедливость силы» (1989), «Геометрия чувств» (1991), «Стужа» (1992).

Книга издана в авторской редакции

4702010204—118

В _____ КБ—41—52—92
006(01)—93

ISBN 5—01—003927—3
5—01—003925—7

© «Прогресс», 1993

Глава I

ЯМА

Александр Васильевич вынужден двигаться. И даже когда ложится на 15—20 минут, все равно вынужден энергично шевелить пальцами ног. Мех в сапогах сваялся, ноги не мыты и деревенеют от холода. Чертова Сибирь! Два месяца тепла (порой оглушающей жары) и десять — стужи, и тепло-то не просто тепло, а с гнусом.

«Так вот она какая, моя последняя каюта». Александр Васильевич снова и снова разглядывает камеру.

В скупо нацеженном свете жирно слезятся стены. Выше плеч они уже не темные и не лощенные сыростью, а в грязноватых проседях; еще выше — на вытянутую руку — инея никак не меньше чем на палец. Там камера будто в белой шубе.

«Ничего, померз в экспедициях — не привыкать. — Александр Васильевич поеживается. — Слава Богу, шинель не отобрали. С них станется...» И он мысленно благодарит Анну — это она настояла на меховой подкладке и меховом воротнике. И сапоги на меху тоже по ее настоянию. Где она? Что с ней? А Трубочанинов, Занкевич, офицеры?..

Когда их с Пепеляевым уводили из штаба легиона, была уже ночь...

«Отдали на убой именем короля и всеми достославными традициями Соединенного Королевства», — вдруг огненным шаром вспыхивает в сознании нестерпимо горькая мысль. И тут же все чувства замыкает удушливая досада за невозможность начать все сызнова. Тогда бы ни от кого не зависели. Делали бы свое русское дело сами. Предали! Предали!..

Петлей схватывают эти мысли, даже дыхание — на хрип.

Александр Васильевич смотрит на потолок: «Странно, вроде бы внизу должен быть иней, а тут... наоборот».

Он старается отвлечь себя: к чему теперь обиды и счеты? Но это не получается.

Он вспоминает арест и трусливое смятение Пепеляева и от стыда и обиды мотает головой: «Срам! Срам! И это Виктор Николаевич

Пепеляев — идейная опора белого движения здесь, на Востоке. Кто бы мог подумать!.. Никогда, ни при каких условиях, даже муках, не открывать свою слабость врагу. Любая слабость — это уступка врагу и пусть маленькое, но доказательство его морального превосходства... У меня только и осталось, другого больше нет: умереть достойно. Как говаривал адмирал Эссен в подобных случаях: „Умри красиво!“...»

Колчак вспоминает обыск и брезгливо передергивается: мерзость! Нервно нащупывает и достает трубку. Щепоточку бы табака, пусть самого дрянного! Он покусывает мундштук... Они полагают страхом расправы сломить мою решимость. Ошибаются... Он Богом и верой миллионов людей наречен был в вожди белого движения. Он, который был смыслом белого движения; он, который руководил борьбой миллионов людей за идею России, не принадлежит себе и не волен на частные поступки и чувства. Переступить через себя — вот смысл происходящего...

Пугали народ генералами. Да Лавр Георгиевич предстает щенком перед нынешней сверхвластью Ленина и Троцкого! Государю-императору, самодержцу, не снилась столь абсолютная власть!..

Как убеждает жизнь, правда бывает подчас фантастичнее самого изощренного вымысла. Ну кто бы мог вообразить: Ленин — народный вождь, во всяком случае, именно так его рекомендуют господа революционеры. А на деле-то — неограниченный властитель; жизнь каждого — ничто перед его волей. Вот так: бессрочное, бесконтрольное владение Россией. Какое извращенное воплощение борьбы всех поколений русских за свободу! Что за дикий, нелепый вырост из представлений о свободе!

Александр Васильевич уже успел прийти в себя после всего, что стряслось. Ему даже легче теперь, когда наконец исчезла неопределенность.

Он не сомневается в неизбежности суда. Там он выложит все, а ему есть что выложить. Поэтому он и возвращается к одним и тем же мыслям, заходит на них с разных сторон — и пробует доводы, пробует...

Нет, им этот суд дорого выйдет...

О терроре красных Александр Васильевич давно собирал данные. Это подшивка документов, фотографий, за них отвечал капитан второго ранга Кислицын.

Ведь убийства по доктринерским соображениям для большевиков вовсе не убийства — это избавление от нечистых, это историческая необходимость, так сказать задача строительства. Большевики твердо знают, кому жить, а кому — нет... Свобода, равенство, братство... Равенство, пожалуй, доступно лишь при общей нищете, а что такое нищета, как не рабство?.. Стало быть, проповедь равенства есть проповедь рабства. Это проповедь оскотинивания народа.

Сознательные пролетарии предполагают, будто в результате революции в государстве установится их власть.

Ошибаются господа... товарищи...

Властвовать будет партия, а над партией будут господствовать еврейские лидеры.

К объяснениям «седого мэтра» (так называл Плеханова про себя адмирал) он выстроил свои доводы.

Согласно законам экономики, подлинный властелин общества — деньги. Недаром Прудон после революции 1848 г. жаловался, что мы только жидов переменили¹. Ибо по-прежнему властвовали они — те, у кого капиталы...

Белому офицерству свойствен был антисемитизм, причем такого накала, который современнику конца XX века даже приблизительно вообразить невозможно. Адмирал не составлял исключения, разве только у него этот антисемитизм носил характер, так сказать, умозрительный, то есть возник из чтения.

Это факт исторический. И нравится это читателям и автору или нет, факт остается фактом...

Александр Васильевич улыбается. Независимо от работы мысли сознание лепит облик Анны: очень изменчивые, ломкие брови... И тут же на шее, груди оживают теплота прикосновений, нежная уступчивость тела, эта доверчивость тела... Она совсем не изменилась за эти годы, наоборот, стала тверже, властней в привлекательности. Ему сорок шесть, а влюблен, как гардемарин! Но и то верно: разве можно полюбить в юности? Там в чувстве столько животного, неразборчивого, инстинктивного, рефлекторного, хотя порой и овеянного романтикой слов. Нет, полюбить и привязаться можно лишь после сорока. Тогда ни разум, ни инстинкт, ни чувства не подведут...

Предали, предали!..

Это был наход такого отчаяния!.. Чтобы не застонать, Александр Васильевич замотал головой и напрягся: низость, подлость!.. Как смел им верить?!

Александр Васильевич сунул трубку в карман, до ломоты в плечах свел за спину руки и наискосок (тогда не мешала лежанка) зашагал из угла в угол — для всех узников общая тропа; для кого — надежд, для кого — сведения счетов с жизнью.

Суд, казнь — из обихода борьбы. Он, Колчак, тоже незамедлительно направил бы в военно-полевой суд любого вождя из красных.

¹ Прудон, Пьер Жозеф (1809—1865) — французский мелкобуржуазный социалист, теоретик анархизма. Ему принадлежит крылатое выражение: «Собственность — это кража». Данному утверждению тождественна по смыслу русская поговорка: «На труды праведные не построишь палаты каменные» — что совершеннейшая и неоспоримая истина.

Прудон неоднократно осуждался на тюремные заключения, это и подорвало его здоровье. Умер же он нестарым, в неполные 56 лет.

Тарле отзывался о Прудоне как об оригинальном мыслителе, но по существу, натуре своей — типичнейшем французском мужике. Что ж, вполне достойная характеристика.

Тут все на своих местах. И предательство — тоже из обихода борьбы. Я не предусмотрел этот... ход союзников — и должен платить. Все на своих местах.

Александр Васильевич задрал голову и долго смотрел на полоску скудного звездного света. Прутья на окошке не ржаво-темные, а белые... Он опустил плечи и зашагал уже спокойнее, размереннее. На какое-то время его занимает корытообразность пола. Сколько же ног выбивало камень в ожидании своей участи.

«Те, другие, надеялись, а мне моя уже известна», — подумал Александр Васильевич и принудил себя сосредоточиться на мыслях о допросе. Допрашивать начнут уже сегодня. У них все основания для того, чтобы спешить. У Каппеля путь только через Иркутск...

Потом он стал рассуждать. Большевизм жестко и однозначно стоит на марксизме: два, помноженное на два, всегда четыре. Все, что не есть четыре (даже на самую ничтожную долю), не имеет права на существование. Самая характерная черта большевиков — нетерпимость.

Александр Васильевич присел на лежанку. Он же, разумеется, не мог знать, что его яростный недоброжелатель — генерал Болдырев — заносил в дневник весьма схожие рассуждения, к примеру хотя бы о судьбах русских: «...погибли от того же яда, который с такой холодной жестокостью привили России...»

В мировую генерал Болдырев командовал соединением на Северном фронте, фланг которого защищали корабли Колчака.

Адмирал сорвался с лежанки, зашагал. «Ни в чем не раскаиваюсь, перед лицом Бога и смерти говорю: ни в чем!»

Допросы для Александра Васильевича оказались вовсе не в тягость, а в некотором роде даже благом: скрашивают одиночество (а мысль о предательстве делает его особенно ядовитым) и дают какую-то разрядку. К тому же в канцелярии тепло. И чай — без сахара, но очень крепкий. Не жалеют на него заварки господа члены следственной комиссии, особенно старается этот... Денике.

Александр Васильевич ощущает их жадный, почти животный интерес. Он едва переступает порог и произносит «здравствуйте», а писаря уже скрипят перьями. Это тоже неплохо. Следовательно, останется его последнее слово, не сгниет с ним.

Он предан и оболган союзниками — ему скрывать нечего. Он отвечает на любые вопросы — нет ни одного, от которого уклонился бы. Ему и самому интересно во всем разобраться. Им не понять, что рассказывает он больше для себя.

Предали! Выдали! Все подстроили так, чтобы выдать! Не оставили никаких шансов на спасение...

Он не дает чувству обиды смять себя, но порой доводит его до ярости и звенящей ненависти. За что?!

...Александр Васильевич налегает руками на лед стены. Бормочет:

— У Великобритании нет постоянных врагов, нет постоянных союзников и друзей. Постоянны только интересы.

Он смотрит на решетку окна и отчетливо видит их всех, много-много лиц... Сколько же обворожительных улыбок, лъстивых слов! А руки... Сколько крепких пожатий, сколько почтения в пожатиях!..

Твари!..

— ...Господин следователь, на меня выпала задача собрать Россию под единой властью. И уже после народу предстояло (а я не исключаю еще: может, и предстоит) решать, каковым быть правлению. Я отказываюсь принять в качестве истины, не требующей доказательств, якобы большевизм — это народная, русская власть. Политическое устройство страны должно решить Учредительное собрание или, если угодно, Земский собор. Повторяю, я пришел к власти с одним условием: не предрешать облик будущего государственного правления.

Но это не все, господа. Я пришел к руководству белым движением... В общем, я только по необходимости взялся за это дело, рассчитывая не столько сделать добро, сколько предупредить зло. Помните, кому принадлежит это изречение?..

Задача белого движения — покончить с узкопартийностью как одноклассным выражением интересов страны. Свою власть как военного руководителя я мыслю национальной. Иначе говоря, я должен был предпринять все во имя спасения и восстановления единой и великой России. Что касается крайностей — их обусловила природа борьбы. Личные цели мы не преследовали. Нас вынудили отозваться диктатурой на диктатуру, подавлением на подавление. Не мы провозгласили убийства средством решения политических задач...

Что до партии эсеров... Я против физических расправ, но... Уверяю вас: именно прокламация господина Чернова поставила ряд событий вне контроля. Политические партии дробят и обессиливают Россию и в итоге делают беззащитной перед большевиками...

Белое движение противопоставило большевизму идею возрождения Отечества. Для нас это означает обеспечение его государственной целостности, единство народов, его населяющих, ликвидацию разрухи, восстановление законности, а потом — и социально-экономические перемены; словом, предотвращение государственной катастрофы и обновление. Момент требовал соединения гражданской и военной власти в одном лице — и я на это согласился. Военная власть могла предупредить развал перед угрозой нашествия большевизма. Я лишь откликнулся на требование Родины — никакой узурпации власти не произошло. Власть я получил из рук законного правительства. Как вам известно, оно в то время являлось практически единственным законным Всероссий-

ским правительством, во всяком случае, власть его распространялась на значительную часть страны. Никаких интриг, убийств, подкупов или подлогов я для захвата власти не предпринимал...

Земский собор возможен только после прекращения междоусобной борьбы и на основе свободных выборов без всякого контроля какой-либо партии или посторонней силы — это наша генеральная мысль. Именно такое собрание, называйте его как угодно, и правомочно решить, какой быть России. Для этого надлежит покончить с Гражданской войной и диктатурой большевизма...

— А армия? — слышит новый вопрос Александр Васильевич. Он допивает чай и ставит стакан.

— Мы должны были возродить армию. Без нее...

— Армия — это орудие классового угнетения, что вы тут наводите тень на ясный день, — говорит Попов. — Нас интересует ответ по существу, а не ваши домыслы!..

Обошли белые Красноярск — и тут неожиданный приказ Каппеля: повернуть на север, топать по Енисею. Оправдал себя маневр, не ждали красные, однако пришлось надсаживать жилы по Енисею, а затем и по реке Кан, высохнуть бы ей до дна, красномордой речушке!

Кан — шустрая, не пристыла толком, пришлось бросить многие грузы и принимать смертную купель. Тут как кому повезет.

Не имея в достатке тулупов и валенок, армия теряла людей от мороза тысячами. Что красные, что стужа — одинаково вычесывали ряды. Спали на снегу, где кто стоял — там и мостился на ночь. При тридцати-сорока градусах многие так и не просыпались. Случалось, умерев во сне, человек наглухо примерзал ко льду, но и те, кто просыпался, а потом шел, не обязательно были живы, а уже обречены, ибо безнадежно отмораживали ноги, руки, внутренние органы. Каждый день их откидывали чурбанами с дороги — не до плача и причитаний, царство им небесное! И что слезу пускать — нынче они, а завтра мы...

— В штабеля покойников, господи! Им что, отмаялись!..

Нет, после уже не спали порознь. Эту науку быстро прошли. Порознь — это погибель. Старались валиться один на другого, грудой тел сберегали тепло. Детей и баб без сраму жали в середку. Не до жеребьячьих забав; чем плотнее — тем живее.

Жмет мороз, ночами не в редкость и за сорок. Вместо лиц одни дырки для глаз под тряпьем. Однако службу справляли по всем правилам: охранения, часовые, дневальные...

Впереди колонны с 4-й Уфимской дивизией уминал снег сам генерал Каппель: давит фасон на своей сибирской лошадке — в рост по любому ветру и стуже, да самый первый, с головной походной заставой и проводниками из местных.

— И что за причуда, господи: с рассветом всегда выбрит!

Играет со смертью его превосходительство — на неподвижных

ногах в седле все светлые часы, даже закусывать подают в седло. А уж ноги давно поморожены — только виду не подавал.

И с дозорами спал в снегу, лишней пары носков не взял — все по жребию, из общей кучи. И несмотря на это, хоть на парад в Царское! В ремнях, чист, опрятен, глаза спокойные, будто и не коптитесь у костров.

Из-за дыма-то глаза у всех слезятся, багровые, припухлые, без ресниц и бровей. Да от мороза люди готовы в пламя лезть, пусть... но чтоб отогреться.

А у Каппеля все иначе — настоящий генерал, первый вояка среди первых, слава ему! Все верно, надо людей вести, надо...

— Господа, не напрасны ваши жертвы! Россия верит в вас! Надо крепиться, господа!..

Не ведал Владимир Оскарович — не Деникину, а ему, Каппелю, намеревался передать адмирал полномочия Верховного Правителя. Но не известен генерал ни России, ни за границе... и фамилия не русская, для такого дела — не фамилия. А самое плохое — без связи с миром. Буравится со своей армией по снегам. И 4 января Колчак подписал бумагу в пользу Деникина.

Людьми мостила каждую версту армия, целыми семьями зарывали в снег новопреставленных рабов Божьих...

Да за что ж такая мука, Господи!

Дети и женщины бредят, кричат в тифозной горячке, бухает колонна кашлем на все десятки верст — ну не армия, а лазарет и богадельня вместе взятые. И где добывать прокорм? Избы, села голые после первых верст колонны: один вой, помирать теперь мужикам без прокорма. Еще первая изба не показалась, село не вылезло из-за поворота, а Каппель знает, что будет.

Одни продолжают жизнь за счет других.

Потому что нет тыла, кругом смерть!

Съедали все подчистую: и сальные огарки свечей, и зерно с трухой из куриных кормушек, и варево из лошадиных и коровьих копыт, и даже помойную гниль...

Велик Бог земли русской.

А у Канска двинули в штыки, Каппель в первой цепи с карабином, только и сказал:

— С Богом, господа!

А голос — у каждого в сердце отзовется.

Отбросили красных, сложили своих в штабеля, сняли папахи, подхватили женщин под руки: батюшка перекрестил, покадил, молвил свои слова — и снова впряглись взламывать снежную целину.

Обдирали мертвых, — и женщин, и мужчин — иначе не утепишься, а умирают тысячами, есть одежка. Срамные штабеля, в исподнем, а то и вовсе нагишом: деревянно-раскорячинные, белые-белые и даже в зубах снег.

— Осторожно, господа...

— А что «осторожно»? Все едино — звенят, коли сталкиваются...

Оглядывались уходя.

Просили прощения.

Кто вгорячах цапал оружие без рукавиц, оставлял кожу с мясом. Ну? Славная памятка — до конца дней.

— Вперед, господа! После отболится...

Замедлял движение обоз — на многие версты сани, сани...

Но как без обоза? Там жены, детишки, раненые, тифозные... Брали винтовки, отбивали наскоки красных: из-за сопок норовят, укусом — опять возвращались к семьям, но уже не все — выбивали каппелевцев сибиряки-охотники нещадно. На выбор клали, с матерком.

Чтоб тифозные не вываливались, прикручивали к саням. Ну сладь с ними, коли жарит изнутри на все сорок! Рвут с себя одежду, снег ловят губами! Распорядился Каппель привязывать, иначе не спасти.

— Терпение, господа, терпение! Бог нас поставил на этот путь!..

Главное — идти, не задерживаться, иначе все здесь останемся.

И новый год, 1920-й, отметили в холодину на все сорок! Поостереглись спать, ждали дня: какой-никакой мороз, а на треть ужметесь. Тихо брели.

Звезд Господь разложил — полное небо!.. Да под таким небом женщине глаголить о любви. Да греть ей губами щеки! Да стихи выпевать, слова выдумывать! Да руками ее, милую, всю выгладить! И за отворотом шубки грудь найти, да такую теплую, мягкую! Боже ж ты мой!

Новый год, господа!..

Дали залп на счастье. По всей колонне запричитали женщины и дети. Да ну ничего, обойдется, ведь праздник. Говорили детям ласковые слова, себя утешали: те, что выживут и вырастут, уже не пропадут, не имеют права пропасть. Сплевывали, в сгустках крови... легкие...

Тут Каппель круто повернул на Нижнеудинск — и пал красный город. Бежали актив и комиссары. Впервые за многие месяцы люди выпались в домах. Здесь армия узнала о судьбе своего Верховного: в Иркутске, у красных, под замком, потому что танцует эсеровский Политцентр польку «Бабочку» под большевистскую дуду.

Взъярились господа офицеры (не все крысами лезут к границе): не бывать их вождю проданным и преданным! Жутко и безобразно материли легион: выдал беззащитного и безоружного адмирала!..

— На Иркутск, господа!

— За адмирала!..

— За Бога и Отечество!..

Но и то правда: другого пути, как покорить Иркутск, и не существовало.

И не догадывались господа офицеры, что выходит Сибирь вся красным. Ну в точном соответствии с похвальбой Троцкого: по

телеграфу! И протыкать им штыками Сибирь аж до самого упора — монголо-китайской границы. Ощерилась Родина.

Родина родненькая, земля родимая...

Вместо приветного очага, женского тепла, щебета детишек — голый череп с глазницами.

И там, у Екатеринбурга, знай водят мохнатыми лапами Четыре Брата. Все-то тайны они знают — четыре рослые сосны, нареченные братьями¹. Все-то они видели — и могилу, и банки с кислотой...

Это не царя с семьей клали в могилу... а Россию...

Все-то знают Четыре Брата. Шумят на весь свет ветвями, а понять их... нет больше у России сердца. Ненависть клокочет в груди. Она и будет, ненависть, строить новое счастье.

Сибирь по телеграфу?.. Накаркал этот краснопузый наркомвоенмор, тьфу, слово-то какое поганое, как есть нерусское! Буде их, господ офицеров, воля — всех бы комиссаров на осины. Один мор от них по земле.

— И ясное дело, Ленина с ними — этого германского прихвостня, гореть ему, христопродавцу, в аду вечным пламенем!

— Да жидовская кровь в нем! Да он по матери — Бланк!

— Да не может русак такую хреновину удумать. На германской едва ли не каждый второй или третий русский в шинели лег в могилу или окалечен, а он хапнул германского золота на разные партийные нужды — да в поезд и через неметчину прикатил, пустил яд, вздыбил Россию!

— Да на что ему Россия?! Наплевал православным в рожи.

— Вместо Христа Марксу поют аллилуйю!

— Распяли Россию комиссары!

— Да все самые важные там — жидовского племени, порвать бы им глотки!

В Нижнеудинске разжились харчами, не та нужда. С харчем и мороз не страшен, можно воевать.

— Да пусть попробуют взять нас! Это не адмирала везти в вагоне повязанным! Русские мы, а не христопродавцы!

— Песню, господа!..

— Верно, давай! Пусть не хоронят нас — песню! А ну, юнкер, запевай!..

«Взвейтесь, соколы, орлами!..»

— ...Для меня борьба с демократией социалистов означала прежде всего противодействие большевизму. Ленин использовал ослабление государственной власти для разложения общества. Для вас, господа из РКП(б), нет ничего запретного. Обратите внимание: от

¹ Правильнее бы назвать Четыре Сестры.

своих противников вы требуете подчинения не только законам, но и еще целому своду правил, вплоть до этических. Свои преступления вы покрываете якобы высшими интересами народа, но ведь это чистой воды демагогия! Это вам страна обязана тем, что всякий порядок исчез. Именно поэтому я выступил против революции. Нет, не в феврале, а октябре. Вы ведете дело к государственной катастрофе. Преградить путь большевизму — значит спасти Родину. Не сделаем это — не бывать России...

— Вы, гражданин Колчак, не можете отрицать, что фабрики, заводы, железные дороги и вообще все создано руками рабочего человека, — с назиданием говорит член следственной комиссии Денике (он меньшевик, и из очень «громких», известен по Сибири). — Ему, пролетарию, а не заводчикам, помещикам и банкирам должны принадлежать земля и все ее богатства. Переворот в октябре семнадцатого и стал возможным лишь потому, что имел целью исправить эту несправедливость. Недаром Временное правительство оказалось беспомощным, против поднялся народ. Вы же подались на услужение к интервентам, только бы задушить революцию. Вы насаждали кнут и виселицу по указке англичан и капиталистов всего мира...

Товарищ Денике отродясь не был следователем, выбрали его в следственную комиссию — и все. Но взял он на себя, наравне с товарищем Поповым, главную следовательскую роль — революция к этому обязывает. А уж тут и талант обнаружился и влез по уши в вопросы, так ему это пришлось. И недели не минуло, как все стали звать его «следователем» — и без всякой иронии. Ну природный дар обнаружился у товарища Денике.

— Оставим пока виселицу и кнут, — говорит Александр Васильевич. — Народ — это не только большевики и Ленин с Троцким. И каким быть порядку — решать не только им, вам или мне. Вы, как это характерно для большевиков, наловчились переворачивать вещи с ног на голову. Разложение старой России, ее пороки вы сноситесь на нас, на наш счет. Мы, кого вы так ненавидите, приветствовали Февраль в своем подавляющем большинстве — и вам это отлично известно...

— Расскажите о службе у англичан.

— А о виселице и кнуте, которые мы... Я нес народу?

— Спросим, не забудем.

— Извольте... Я знаю, к чему вы клоните. Нет, измены не было. Я не мог принять Брестский мир. Я до мозга костей военный человек. Я обязан сражаться, а не одаривать немцев русскими землями по примеру господина Ленина. Служба у англичан открывала возможность участия в дальнейшей борьбе против Германии. Я мог принести Родине хоть какую-то помощь.

— То не овца, что с волком пошла, — говорит Попов и закуривает.

Александр Васильевич знает: этот Попов из большевиков, ему по штату полагается двойная ненависть.

— Но ведь вы перешли на английскую службу гораздо раньше, задолго до Брест-Литовского договора? — Денике чаще других членов следственной комиссии задает вопросы, а порой один ведет диалог.

— Большевики с первых дней захвата власти... да нет... много раньше, еще с весны семнадцатого, повели антивоенную агитацию и разговоры о необходимости заключения мира.

Александр Васильевич питал недоверие к Германии как извечному врагу России и славянства, которого способна отрезвлять лишь сила. Он почитал Скобелева, помнил наизусть высказывания отважного генерала, в том числе и это, о войне: «Я люблю войну. Каждая нация имеет право и обязанность распространяться до своих естественных границ». Эти слова грели сердце, освещающая смыслом военную службу.

— Мы ждем, гражданин Колчак, продолжайте.

— Я отправился к послу сэру Грину и попросил передать английскому правительству, что я не могу признать мира и прошу меня использовать для войны, как угодно и где угодно. Кроме того, война — единственная служба, которую я не только теоретически ставлю выше всего, но которую я искренне и бесконечно ценю. К ней я готовился всю жизнь. Таким образом я оказался на службе у англичан. Как я понимаю, это тоже не все: вы не прочь выставить наше движение за почти иностранное. Как бывший глава белого движения, я в состоянии дать исчерпывающие объяснения и доказательства. Мы не ориентировались ни на англичан, ни на какую-либо еще иностранную силу. Что значит ориентироваться на англичан?.. Мы сражались за освобождение России.

Усталость народа от мировой войны, аграрный кризис и неспособность старой власти решить его большевики выдали за одобрение народа их погромной доктрины. Любое несогласие большевики подавляли и подавляют силой, количество жертв значения не имеет. Это, кстати, к вопросу о виселице и кнуте. Впрочем, я еще вернусь к нему...

— Как можно заявлять о завоевании народа большевиками, если народ повсюду и здесь, в Сибири, тоже ясно дает понять, на чьей он стороне?

— А как может быть иначе? Большевики везде и всюду обеспечивают себе захват власти демагогией, ложью о скором царстве социализма, разжигают грабительские инстинкты, отменяют законность.

Если не мы, военные, кто же еще способен уберечь Россию от злой доли?.. Теперь о союзниках подробнее. В боях участия они не принимали. Фронт держали наши русские части. Только мы вели день за днем бои с вами. Чехи? Мы их не звали. Вам не хуже меня известно, как они оказались здесь. Стычки с японцами?.. Регулярных боев иностранные части, кроме чехов в начальной период становления фронта, не вели. У нас с ними соглашение. Насколько мне известно, господа, самыми стойкими и боеспособными частями

красных являются латышские; не русские, заметьте, а латышские. Именно латышские части обеспечили перелом в пользу красных и здесь, у нас, а после и на юге, у Деникина. Переброска латышей на юг была нами отмечена, но...

— Латыши — это не чехи и не японцы. Россия — Родина латышей. Ее судьба — их судьба.

— Что латыши не чехи и не японцы — это вы справедливо заметили, господин следователь. Впрочем, помимо латышей против нас действовали части целиком из иностранных подданных — немцев, австрийцев, мадьяр и даже китайцев — так называемых интернационалистов.

— Это неорганизованная помощь данных государств. Эти государства проводят блокаду нашей республики.

— Только одна наша убыль в живой силе за три-четыре месяца следа не оставила бы от любого иностранного формирования. Белое дело делали русские, все прочие путались под ногами. Да, это не преувеличение: путались. Если бы я как человек, облеченный высшими полномочиями, действительно стремился к интервенции, мы с вами здесь не беседовали бы. Генерал-адъютант Маннергейм обращался с предложением использовать стотысячную финскую армию. Прикиньте, что это такое, если 70 тысяч чехов явились той силой, о которую столь долго разбивали себе лоб вы, красные...

От Петрограда до Москвы Россия оказалась бы под финнами в считанные недели. И учтите, войска красных находились на востоке, против нас, и на юге, против Деникина. Однако генерал-адъютант выдвинул условие: в составе будущей России, очищенной от большевиков, Финляндии уже не будет. Я не располагал соответствующими полномочиями и, следовательно, не мог предрешать вопрос о составе Российского государства.

И к тому же вопросу о союзниках. В делах с ними мы не предрешали судеб России. Все должно поставить на свои места Учредительное собрание или, как я уже говорил, Земский собор. Это наша принципиальная позиция. От союзников мы получали материальную помощь, но за соответствующую плату. Не все, конечно, было гладко. К примеру, японцы стремились раздробить любое наше крупное воинское формирование. Разумеется, мы только на время могли соглашаться на подобные вмешательства извне. И все же это факт прискорбный, я лишь отчасти являлся хозяином положения, иначе не сидел бы перед вами. Союзники в лице чехословаков обладают здесь реальной силой, а в полосе железной дороги, как вы это сами видите каждый день, даже подавляющей силой...

Адмирал помнит фамилии этих людей, что вместе или порознь допрашивают его: Попов, Алексеевский, Денике, Лукьянчиков, Косухин... Несколько раз внимание привлекал человек во всем кожаном и с неправдоподобно массивным маузером на боку — этот ни о чем не спрашивает и лишь угрюмо молчит, но рост... самый настоящий гном, из тех, что в старину потешали царей. И при таком-то росте — саженный размах плеч!

Александр Васильевич ощущает их жадность к себе. Нет, не перед ними он держит ответ. Они так далеки от него! Для него все это проба суда, ответа перед Россией и вечностью. В конце концов, ради России он и жил.

Александр Васильевич поглядывает на Попова. Что ж, пусть тешится. Дважды два — четыре...

Штабс-капитан все обдумал к утру. Ну что ему делать в Китае?.. А только туда и можно выбраться. На другой вояж ни гроша. Пять лет воевал за Россию — и даже медной монеты нет. Опять брэнчать в синематографе на пианино, как в Орле в 18-м? Шлюхам прислуживать в заведении? Водку и закуски разносить? А на другое он не годится... Родину учился защищать. А теперь вот по чужой... ползать в плевках, копить медяки, чтобы потом копить серебро на старость?..

Он покачивается и подскакивает в такт вагону. Под ногами темно и воняет пылью. Понизу доски с занозами, не шибко пошевелишься. Чехи взяли золотой Георгий (из рук государя императора принял), взяли золотой хронометр отца и теплый шарф: Соня последним замотала. Даже не знает ее фамилии... А за крест, хронометр и шарф чехи сунули ему охапку соломы и велели лезть под нары: красные не углядят, хотя те и не суются к легионерам, не было еще такого.

Сутки за сутками рельсовые стыки выбивают из штабс-капитана душу — каждый отдает болью в ране, почти зажила, а на тебе... не по нутру ей стыки, чтоб им! Дырочка под ключицей — и не углядеть, а кажется плечо с бревно. Не знаешь, куда сунуть...

Штабс-капитан видит бутсы и начало краг — несколько чехов расселись по краю нар. А за столом гоняют в карты. Шлепают на весь вагон, с азартом. Смеются, хлебают чай... Один раз ему протянули в темноту кружку с кипятком и корку хлеба... Топят союзнички, не скупятся, но морозит от пола, не схорониться. И штабс-капитан околочено шевелит пальцами, ногами... Мама, сестра, отец... Он чувствует, как одеревенели губы. Хотел прошептать имя — и не повинуются, словно не свои: от холода и скрюченности. Закисла кровь.

Мне в Китай? Учить слова, мыть плевки, вонючую дыру звать домом? И всем кланяться?!..

Штабс-капитан поджимает ноги к животу, заваливается на левый бок и ползет вперед. И опять поджимает ноги, упирается на локоть здоровой руки... Он отодвигает чьи-то ноги и неловко вылезает из-под нар — весь в соломе, лицо без кровинки, глаза красные, вместо щек — глубокие провалы. Толком не жрал пятые сутки.

За столом (сперли где-то, из красного дерева) — шестеро: четверо на табуретках, а двое (шинели внакидку) — стоят. Эти двое следят за игрой. Тот, что сложил свои карты и спрятал в рукав шинели, смотрит на русского офицера и улыбается. На губке узенькие усики, белесые, почти незаметные. На кой ляд и заводить такие...

— Что, пан офицер? — спрашивает он штабс-капитана.

Чеху не интересен ни господин офицер, ни тем более его ответ. Тут его ход — на выигрыш партия! И он шлепает своего бубнового туза. Ага, слопали!.. Чехи за столом молча сосут папиросы и один за другим складывают карты. Банк взял этот... с белесыми усиками, везет ему...

Легионеры — кто спит на нарах, кто сидит, покуривая и переговариваясь с приятелями. Дверь закатана на место, в деревянной стойке — винтовки, на полу, у стойки, — «мадсен». Тут же в ящике 5 или 7 дисков, а в шаге — железная печурка.

Штабс-капитан нетвердо шагает к двери. Качает, ноги отлежал — вроде и не свои. Смотрит на доски: новые и одна к одной. И все под коричневой краской. Он поворачивается. На него поглядывают с нар, а те, что за столом, при деле: по новой раздают карты. Штабс-капитан отпахивает шинель и вытаскивает из-за пояса револьвер. Привычно покручивает барабан: все патроны на месте. Те, что за столом, разом смолкают и смотрят на него. Толстый, что сидит ближе, вдруг бледнеет.

Всем-всем кланяться?!.. Штабс-капитан взводит курок и всовывает ствол в рот, под верхнее нёбо... и давит на спуск...

Чехи обматерили труп, распахнули дверь и столкнули в снежные вихри. Ни имени, ни фамилии не стали искать в документах. Настудил теплушку — и чехи еще раз обматерили русского. Особенно долго материл дневальный: ему замывать кровь...

Александр Васильевич вспоминает придворный бал незадолго до войны с японцами. Он получил приглашение совершенно неожиданно, скорее всего в связи с полярной экспедицией барона Толля. О ней писали, и он, Колчак, стал в некотором роде знаменитостью. Обычно же приглашения — привилегия знатных дворянских родов и первых сановников.

Взял на себя обязанность опекать его морской офицер из гвардейского экипажа — свой в свете и при всем том надежный товарищ. В 1894 г. они вместе окончили Морской корпус и не порывали дружеских связей. Александр Васильевич ценил в нем штурманские способности и завидную манеру все принимать шуткой, даже немалые скорби. Сам Александр Васильевич достаточно терпел из-за чрезмерного преувеличения мнений людей, неумения быть выше этих мнений. С годами это, правда, изрядно попригладилось.

В сознание Александра Васильевича въезжает вся громада необъятного зала Зимнего дворца с торжественным сиянием люстр и увешанными звездами и лентами чиновниками, гвардейцами в тугих нарядных мундирах, дамами в прихотливых праздничных туалетах... Александр Васильевич даже здесь, в камере, зажмуривается: поток аксельбантов, крестов, эполет, драгоценностей, золота во всех видах — и одно имя громче другого...

Государь император танцевал с Александрой Федоровной и оказывал ей всяческое внимание; чувствовалось — он обожает ее и старается доставить приятное. Меж танцами, а они много пропускали, их общество чаще разделял великий князь Николай Николаевич. Он выделялся ростом и властным полусердитым взглядом. Кто в Петербурге не знал сего удлинненного, типично романовского типа лица, скошенных к краям лица бровей; закрученных, что называется, стремительных усов и седоватого, несколько игривого кока. Все в великом князе было от конногвардейских традиций. Как говорил куда как позже, аж через 14 лет, другой бравый кавалерист о буденновцах Первой Конной:

— Да, конники подходящие, нашей выучки, ну, а уж эти «пролетарии на конях» — настоящая мразь. Я их всегда расстреливаю, этих конников. Настоящего кавалериста не расстрелял бы, будь трижды красный...

А когда Александр Васильевич оборвал его и посулил трибунал за самовольную расправу, тот отчеканил:

— Ваше высокопревосходительство, можете сразу расстреливать, другим не стану. Гражданская война: сегодня они нас, завтра — я... Нет, пощады не попрошу, а уж попадусь — это как пить дать. Бои-то какие — все вперемешку. Не сегодня так завтра потащат к стенке, да разденут, изувечат, как ротмистра Зайцева, царство ему небесное...

Рыжеватый сиплоголосый полковник провонял своим и конским потом, водкой и табаком. Он прибыл тылами красных вместе с генералом Сахаровым — посланцем Антона Ивановича Деникина. Там, на Южном фронте, у Деникина, полковник и встречался с кавалеристами Первой Конной.

Вскоре после боев на Тоболе полковника подняли на штыки свои же солдаты, когда надумали податься к красным, — его и еще троих офицеров, остальные сумели отбиться...

Гречанинов, вспомнил фамилию полковника Александр Васильевич. Доносили, что его пороли штыками, а он матерился...

Были части, которые, перебежав, через две-три недели возвращались — и опять в полном составе: большевики тоже заставляли воевать, да еще не харчевали толком и драли по любому поводу семь шкур. Сибирских бородачей это очень отрезвляло.

А таких посланцев, как генерал Сахаров, от Деникина пожаловало несколько. Первым преодолел тылы красных генерал Флуг — этот доложил о ближайших задачах, которые решал Деникин. Добровольческая Армия только набирала силу... Флуг показал себя с самой выгодной стороны еще в русско-японскую войну...

После тылы красных к Деникину и обратно прорезал генерал Гришин-Алмазов... Почти прорезал, поскольку красные все же нащупали его, и он, обложенный ими, покончил с собой. Алмазов — это подпольная кличка бывшего полковника Гришина...

Погодя пробрался генерал Сахаров, а за ним от атамана Войска Донского — генерал Сычев, тот, что пять недель назад позорно сбе-

жал из Иркутска, не исполнив своего долга командующего войсками округа. Его малодушие и сообщило размах путчу эсеров — и на тебе, вылутился Политцентр...

«Этот народ могуч с могучими вождями — это из психологии России, ее истории, — так рассуждает Денике. — Без вождей народ хил, бесформен и беспомощен — добыча в руках темных сил. Люди способны на чудеса с энергичными умными вождями. Этот народ велик и негибает с могучими вождями. Это не плач по крутой личности, кнуту или хозяину — по мне, так чтоб их и не было. Это факт народной истории...»

Товарищ Денике вычисляет свое место на сейчас и на будущее.

Тому, кто понимает народ, трудно ошибиться в направлении своего поведения. Народ понесет его в своем бурном потоке. А русло потоку выбьют вождь с помощниками. Вот это — «помощники» — день и ночь занимает возбужденное воображение товарища Денике. Чует он: время такое, зацепиться — и отменный кусок хлеба на всю жизнь. Должность, деньги, власть! Пока в новой жизни пустота. Мест сколько душе угодно. Важно успеть занять свое, не ошибиться...

Дни и ночи вглядывается товарищ Денике в пустоту перед собой. Один раз такое, не пропустить бы свой «поезд»...

«Какое-то безумие, — раздумывает адмирал, в очередной раз присев на краешек лежанки, — русские истребляют русских! Да что ж это?! За всю историю русской земли не было такого, не считая усобицы феодальной поры. Будет ли конец этому помешательству? Что с русскими?!»

В памяти адмирала ожили сотни боев, тысячи и тысячи мертвцов — растерзанные, изуродованные, без голов, рук, ног, а часто просто ошметья мяса...

Очевидцем конца Гришина-Алмазова оказался будущий советский адмирал флота Басистый. В годы Великой Отечественной войны Николай Ефремович Басистый в чине капитана первого ранга командовал крейсером, бригадой крейсеров. Не раз водил корабли на прорыв в осажденный Севастополь. В его воспоминаниях «Море и берег» читаем:

«Здесь (в Астрахани. — Ю. В.) 100-мм орудия с баржи были сняты и установлены на сухогрузное морское судно «Коломна», вскоре переименованное в крейсер «Красное знамя». Меня зачислили в состав его экипажа в должности сигнальщика и дальномерщика.

...В апреле (1919-го. — Ю. В.) крейсер «Красное знамя» и другие корабли, появившись внезапно у форта Александровский на восточ-

ном берегу Каспия, высадили десант, который захватил форт, а в нем мощную радиостанцию.

Противник, не зная о нашем десанте, продолжал слать радиogramмы. Их расшифровывали специалисты флотилии. В одной из переданных штабом белых радиogramм говорилось, что из Петровска в Гурьев направляется пароход «Лейла» со специальной делегацией от Деникина к Колчаку. «Встретить!» — приказал С. М. Киров, находившийся на флагманском корабле.

На перехват «Лейлы» вышел эсминец «Карл Либкнехт», а крейсер «Красное знамя» обеспечивал эту операцию...

В котельном отделении плененной «Лейлы» наши моряки обнаружили труп белогвардейского генерала Гришина-Алмазова. Увидев корабли под красными флагами, он пытался сжечь документы. Но не успел и... застрелился.

А документы, находившиеся при нем, были особой важности. Они раскрывали планы дальнейших действий Колчака и Деникина. Надо ли говорить, какую ценность представляли эти бумаги для нашего командования»¹.

И снова вспоминается достопамятный бал. Да, забыть такое трудно... там, в прошлом, Александр Васильевич приглядывается к императорской фамилии — великим князьям Сергею Александровичу, Александру Михайловичу и чрезвычайно деятельному Борису Владимировичу. По их лицам, жестам несложно догадаться: великий князь Борис Владимирович навеселе и забавляет всех. Борис Владимирович был по-настоящему красив и статен, пожалуй, только бледноват: гвардейский мундир в рюмочку, а на погонах николаевские вензеля, темные усы в кончиках подкручены и несколько вздеты, на губах — усмешка. Великий князь Борис слыл первым бабником среди Романовых, весьма гордых по данной части. И природа не обидела, одарила соответствующей внешностью. Все в нем претило государю императору.

В памяти постепенно обозначился Безобразов. Александр Васильевич видит эти распушенные книзу усы, длинные — ниже подбородка. И больше ничего в лице — ну обыкновеннее, даже скорее скучное. Только все это обман. За ним такие дела числились! Отставной ротмистр кавалергардского полка без чинов и знатности сразу скакнул в статс-секретари, это вровень генерал-адъютанту. Его имя называли только с именами Алексева, Абазы¹ и Плеве. Впрочем, Безобразов и Абаза — двоюродные братья.

¹ Б а с и с т ы й. Н. Е. Море и берег. М., Воениздат, 1970, с. 176—177.

² Абаза, Алексей Михайлович — свиты Его величества контр-адмирал, товарищ главноуправляющего торгового мореплавания и портов, управляющий делами Особого комитета Дальнего Востока (1903—1905), один из виновников русско-японской войны (1904—1905); не путать с А. А. Абазой.

Обострение на Дальнем Востоке явилось итогом их действий. По представлениям Безобразова, без ведома военного министра совершались перемещения войск в Маньчжурии. Говорили, это тоже дело его рук — утверждение наместничества на Дальнем Востоке с внебрачным сыном Александра Второго генерал-адмиралом Алексеевым во главе. И ввел в круг государя императора этого Безобразова, а за ним и Абазу великий князь Александр Михайлович — сколько пересудов!

Еще бы, весь разворот событий — к войне! Сколько тогда писали и рассуждали о «Желтороссии» — освоении Мальчжурии и восточных земель.

Великий князь Александр Михайлович — внук Николая Первого и муж старшей сестры Николая Второго — Ксении Александровны. Он, кстати, был организатором первых летних школ в России.

Александр Васильевич не увлекался сплетнями, а равно и слухами, но о великом князе Александре Михайловиче кое-что знал — из-за причастности к флотским делам. Великий князь настоял на выделении отдела торгового мореплавания из министерства финансов в главное управление, а это уже новое, самостоятельное министерство.

Великий князь и возглавил его. Вещь нехитрая, коли женат на сестре государя императора.

И Александр Васильевич опять пристально вглядывается в государя императора — от него зависит судьба России, стало быть, его судьба.

Тот образ государя императора, так сказать бальный, слился с более поздними образами — от личных представлений ему.

Там, на балу, государь император был в парадном мундире полковника-преображенца — последнего своего звания перед кончиной отца, Александра Третьего. Будущий государь император командовал в ту пору батальоном Преображенского полка, а полком — его дядюшка, великий князь Сергей Александрович, — зануда и самодур. И по странной прихоти — муж кротчайшей и неземной чистоты женщины... родной сестры императрицы Александры Федоровны.

Государь император после коронации наотрез отказывался принимать повышения в чине. Так и пронесил полковничий мундир до Февраля семнадцатого. А после от всего отлучили и отрешили...

Что ни говори, а государь император проигрывал рядом с великими князьями, ростом и лицом повторив мать. Александр Третий до самой кончины корил жену-датчанку за то, что «испортила породу»: не рост у сыновей, а срам... А выражался этот последний Александр — даже сбивались с дыхания гребцы: любил государь император морские прогулки. Матерый был мужик, основательный, но язык... При Марии Федоровне (его супруге), склонной к любовным интрижкам, придворные дамы стали многое позволять. Александр

обзывал их б... и прочими «терминами», не стесняясь прислуги и адъютантов. И пил, здорово пил, никто не выдерживал с ним на равных, даже адмирал Черевин¹...

Молодой Боткин вылечил Александра Третьего от запоев, это сделало его авторитет медика непререкаемым.

У Николая Александровича был средний брат — великий князь Георгий Александрович. Он походил на старшего брата, окружающим бросалась в глаза его замкнутость, несвойственная Романовым. Уже взрослым Георгий Александрович скончался от туберкулеза в Абас-Тумане на Кавказе. Это было источником неутешной скорби вдовствующей императрицы Марии Федоровны.

Александр Васильевич вглядывается в то, спокойное лицо Николая Второго. Оно всегда поражало Александра Васильевича. Лицо без всяких следов властности и напряжения. Никакой потуги на значительность, никакой игры... Чуть набухший сбор кожи под глазами. Сколько видел и слышал Александр Васильевич, государь император всегда был немногословен, предпочитая слушать, — черта достойная. Взгляд — внимательный, пытливый. Он всегда был несуетлив, очень естествен, без какой-либо вздернутости. Погладит усы и бородку, но жест неприметный...

И тут же рядом в сознании лепится образ Александры Федоровны: длинноносое лицо с маленьким, слабым подбородком, всегда бледное и капризное. Локоны с висков напущены на лоб. Уже тогда у нее были четыре дочери и была беременна Алексеем...

Еще много видел Александр Васильевич в том зрелище бала, каким вдруг одарила память. И князя Владимира Петровича Мещерского — седого тучного старика. Морской гвардеец рассказывал о влиянии князя на молодого государя императора. Князь подбирает не только членов Государственного совета, но и министров, а сам — всего лишь издатель газеты «Гражданин». И поныне Александра Васильевича смущает тот давящий взгляд из-за приопущенных век.

Не уступал князю Мещерскому во влиянии на государя императора и великий князь Сергей Александрович.

«Государю императору тридцать шесть, а на него все влияют и влияют, — думал тогда Александр Васильевич, — то сама Александра Федоровна, то замухрыжный странник Антоний, то шарлатаны Папюс и Филипп, а теперь вот и этот фрукт — Безобразов. Что ж в государе императоре своего?..»

Впрочем, это не так, это совсем не так. Все эти люди выражали

¹ Адмирал П. А. Черевин — любимый генерал-адъютант Александра Третьего и завязтый выпивоха, не более.

13 ноября 1881 г. на Черевина — тогда товарища министра внутренних дел — было совершено покушение. Оно, как это следует из дальнейшего, не способствовало обращению адмирала к трезвому образу жизни. Покушавшегося Санковского приговорили к каторжным работам навечно, его сообщника Мельникова — к 20 годам.

то, что искал в них Николай. А по своему коренному характеру Николай был упорен и настойчив, но все это — под покровом вежливости...

Помнится, морской гвардеец обратил внимание на отсутствие брата государя императора, Михаила. Царь недолго любил брата — тот позволял насмешки над ним. Коробила Николая и женитьба брата на Шереметевской — разведенной жены офицера.

Там, на балу, Александр Васильевич в первый и последний раз увидел министра внутренних дел и шефа корпуса жандармов фон Плеве. Он вышел в министры после убийства Сипягина, о котором все говорили не только как о выразителе интересов дворянства и любимом министре государя императора, но и как о его постоянном спутнике на охотах. Государь император глубоко скорбел...

— Да, Саша, — говорил морской гвардеец, — правительство и правители там, наверху, мельчают и мельчают... Водевильчик смотрим...

«И досмотрелись...» — подумал Александр Васильевич, взгляды вая на мать в окошечке.

Давал знать о себе день.

«Плеве не был православным, — перебирает в памяти прошлое Александр Васильевич, — но не похоже, чтобы это мешало его карьере. А ведь в условиях приема на жандармскую службу православие значилось обязательным. Выходит, на министров эта обязательность не распространялась. Любопытно, Бенкендорф тоже был православным?.. Верно, Бенкендорф был православным. Он изменил православию незадолго до смерти... Или я ошибаюсь?..»

И снова в памяти Зимний, ласковая музыка, поклонны, французская и английская речь, вальсирующие пары и то волшебное, хмельное чувство молодости, вера в судьбу, сознание силы и способности творить жизнь...

— А сей господин... — морской гвардеец кивает на грузного генерала, — один из четырех сыновей генерал-адъютанта Трепова... того самого...

«Того самого» означает выстрел Веры Засулич в петербургского градоначальника 24 января 1878 г. Она стреляла и ранила генерал-адъютанта в наказание за жестокость с политическими заключенными, и надо же, суд ее оправдал!

Даже пятилетний ребенком он, тогда еще Сашенька Колчак, запомнил тот скандал: в Петербурге только о том и вели речь. Сколько же споров, взаимных упреков — тоже из того размежевания, которое ляжет между людьми в Гражданскую войну, только не бродил еще тот смертоносный яд большевизма...

Александр Второй нарушил решение суда и распорядился арестовать девицу Засулич, но та скрылась.

Почти все женщины, проходившие по наиболее громким политическим процессам, — из семей статских или военных генералов: Софья Лешерн, Софья Перовская, Вера Фигнер, Вера Засулич... В сумятице и вседозволенности семнадцатого года Александру

Васильевичу попалась брошюрка о политических процессах в России. Александр Васильевич и не подозревал, что сподобился читать ее в одно время с будущим председателем иркутской губчека товарищем Семеном.

До 1905 г. 29 женщин оказались отмеченными смертным приговором. Из них восемь — закончили путь на эшафоте. А сейчас валят и женщин и детей — и никто не считает, а что считать, коли счет на десятки и сотни тысяч.

Видение бала смыло в памяти наслоения последующих лет, с их жестокостью, кровью, глупостью. И уже опять он в прошлом, и рядом с ним морской гвардеец, и он отчетливо слышит его насмешливый баритон: «Карьера, Саша, карьера...» Это он рассказывает о сыне Трепова — Дмитрие Федоровиче, знаменитости тех лет. Там, на балу, генерал стоял у окна в коридоре. У окна обрывалась живописная линия белых столов буфета. К Трепову подошел Плеве, и они заговорили надолго и довольно возбужденно. Им никто не мешал, публики здесь почти не было.

— Саша, вот этот Дмитрий Федорович Трепов еще в год нашего с тобой выпуска служил с моим кузеном в ротмистрах, а нынче — генерал, московский обер-полицмейстер, любимец великого князя Сергея Александровича; толкуют о его переводе к нам, в Петербург...

У генерала Трепова расширенное книзу лицо, прижатые уши, усы стрелками, вислый, рыхловатый живот, скошенный затылок и далекие гладко отполированные залысины. Весь он похож на кабана, тем более странна какая-то приятность в нем.

Александр Васильевич взглядывается в новую картинку — память удивительно щедра. Обретает ясность образ Александры Федоровны. Она утопает в кружевах и складках белого бального платья. Оно походит на свадебное. Фотография в том платье обошла всю Россию. Александру Васильевичу запомнилась строгая малоподвижность лица. Она держалась скованно, не улыбалась. А тот фасон платья был необходим, дабы скрыть беременность. Это потом, через несколько лет, объяснила знакомая дама, чуть ли не жена Николая Оттовича фон Эссена...

С великими князьями, несомненно, были их жены, но Александр Васильевич не мог узнать их, да и как — ведь не видел же их прежде. Впрочем, Елизавету Федоровну (жену великого князя Сергея Александровича) узнал. Она очень походила на Александру Федоровну — свою родную сестру. Но женщины не занимали Александра Васильевича. Конечно, он и предположить не смел, что ждет сестер...

Высокий худовато-стройный великий князь являл собой образчик типичного гвардейского офицера. На продолговатом правильном лице как бы застыло выражение холодной и спокойной презрительности.

Александр Васильевич впервые находился столь близко к людям, которые повелевают событиями, и старался понять их, во всяком случае оценить человечески. Конечно, строить выводы по бальным впечатлениям смешно, но все дело в том, что он умеет понимать людей. У него дар чувствовать их. Когда он видит человека или беседует с ним, он как бы прикладывает к нему, это дает очень многое, и всегда самое важное. Поэтому все вокруг имело важный смысл познания.

— Позабавься, Саша, — рокотал морской гвардеец в ухо Александру Васильевичу. — Только полюбуйся: они попрошайничают милость быть замеченными государем или государыней. Да-а, Саша, обычные свойства профессиональной прислуги или служилой братии — и те и другие лишены понятия чести. Нет, полюбуйся на сановные низости...

Но то, что случилось после третьего тура польского, когда царская семья удалилась на отдых в соседнюю комнату, если не потрясло, то основательно покорило Александра Васильевича, хотя его приятель, без сомнения, не раз становился свидетелем чего-то подобного. Он не удивлялся, а веселился от души. Для этого он заранее увлек Александра Васильевича в коридор. Здесь, по стене, размещался буфет: чай в изящных фарфоровых чашечках, торты на серебряных блюдах, фрукты, конфеты в хрустальных вазах и вообще все, что угодно, — и это среди гиацинтов, гвоздик и даже роз, а ведь за окнами падал снег.

Лишь только за дверью исчезла долговязая фигура великого князя Сергея Александровича, гости хлынули в коридор. Это было зрелище для закаленных. Буфет исчез за стеной спин. Вазы опрокидывались. На пол соскальзывали чашки, вилки, шлепались кусты тортов, капала жидкость, и во все стороны сыпались конфеты. Мороженое, торты, пирожки мазали мундиры, фраки, платья. Еще удивительнее было стремление гостей набить карманы и сумочки конфетами. Впрочем, набивали не только карманы, но и шляпы.

У стен бесстрастно стояли лакеи.

— Вот и все: понадобилось шесть минут, — щелкнул крышкой часов морской гвардеец.

— Что? — не понял Александр Васильевич.

— Здесь всегда укладываются за пять — семь минут.

— Как это «всегда»?

— Во всяком случае, когда я бываю здесь.

Публика, занятая добычей, отступила, и Александр Васильевич увидел чудесный дворцовый паркет в осколках стекла, смятых сладких пирожках, лужицах шоколада, обрывках цветов.

— Все в точном соответствии с природой вещей, — рассуждал морской гвардеец. — Холопы есть холопы, будь они в мундирах, лентах и при титулах. Припомни-ка, Саша, сценки из прошлого. Как бояре швыряли с крылец медаки да пряники. Вся штука в том, что и сами-то бояре были в холопствующем состоянии, такова

роспись нравов на Руси, — в противном случае не швыряли бы... А эти... эти лишь доказывают данное правило. Теперь видишь, брат мой во Христе, на чем все тут замешано? Холопство, брат, холопство... Фу, мерзость!..

Это от него Александр Васильевич усвоил на всю жизнь выражение: «Все в точном соответствии с природой вещей...»

Лакеи в несколько минут сменили скатерти, подтерли полы и выставили новые угощения и цветы.

— Подожди, Саша, это еще раз будет разграблено, — говорил морской гвардеец. — Теперь уже после бала, так сказать, на посюшок. А теперь надо ждать. Здесь обязательно пройдет государь император — это ритуал. Возможно, с кем-то обменяется любезностями. Видишь, не уходят, занимают места. Да очнись ты, ей-Богу, как в стобняке! Большие дела здесь делаются. Старый граф Келлер рассказывал отцу... У графа смолоду обозначилась презабавная борода: одна половина рыжая, другая черная.

«Стою я в коридоре зала, где вальсируют, — рассказывал батюшке граф, — то есть где-то здесь, в коридоре, а тут... император!.. Александр Второй последним из наших императоров говорил «ты» офицерам и чиновникам. Я вытянулся, а он: «Когда это ты, Келлер, обреешь бороденку?» — и прошел. Высокими, статными были дети Николая Первого... Ну, я недолго думая в комнатку придворного лакея — и начисто, под бритву, и бороду, и бакенбарды. И сразу назад, в коридор. Да для меня государь Александр — за Бога!... И я не ошибся: снова идет! Шаг крепкий. И взгляд, как у всех Николаевичей, прямой и с этакой жутью. Стоишь вот так — и теряешь себя. Большой заряд был в Павловых внуках... Александр остановился, вглядывается: «Неужто ты, Келлер?» Отвечаю: «Так точно, Ваше императорское величество!» А он: «Что ж, Келлер, поздравляю тебя флигель-адъютантом!»

Морской гвардеец смеется: «Понял, Саша?» — и летуче, незаметно принимает осанку Александра Второго — ну точно портретную.

— Это губернатор граф Келлер? — спрашивает Александр Васильевич. — Тот самый?

— Точно так.

— А борода?

— После убийства императора Александра Второго граф отпустил ее наново, и та, разумеется, опять дала своих два цвета.

После котильона всех ждал ужин. В нескольких просторных залах были сервированы столы — на три тысячи персон, как узнал позже Александр Васильевич.

Для тех, кто танцует, была привилегия ужинать в Золотом зале — уютном, с золочеными колоннами. Здесь же, на возвышении, располагался и царский стол. Его пышно украсили цветами — клумба, а не стол. Но какая клумба!

Еще заранее перед дверьми начали собираться дамы, чиновники, военные — и отнюдь не из-за верноподданнических чувств. В Золо-

том зале гостей ожидала самое свежее угощение; в остальных же — или почти, или трехдневной давности. Со всей горой снеди придворная кухня едва справлялась к третьему дню, праздничному.

Александр Васильевича и увлек в толпу гурманов морской гвардеец. Даже духи не могли перебить запах пота. Гости толкались, напирали. Двери стерег петербургский градоначальник. Он уговаривал соблюдать приличия. Его, однако, не слушали.

С последними звуками котильона градоначальник распахнул дверь — и был отброшен толпой.

«Все в соответствии с природой вещей», — вспоминает Александр Васильевич.

Он и морской гвардеец сели за дальний стол, несколько особняком. Это давало возможность беседовать без опасения быть услышанными.

Николай Второй вступил на престол 21 октября 1894 г. — 26 лет. В тот год он, Александр Колчак, окончил корпус, и ему исполнился двадцать один.

Александр Васильевич оглядывает камеру: где эти люди?..

Кто, чьим именем расписал наши жизни?..

Морской гвардеец сгинул на Балтике — оторвало ноги снарядом с «Нассау». Все 20 минут до кончины находился в сознании.

Разнобородный граф Келлер-старший погиб вскоре после бала, в сражении при Вафангоу. Отважный был русак с немецкой фамилией, вроде Николая Оттовича фон Эссена. Осиротело роскошное имение под древним Зарайском.

Великие князья Николай Николаевич, Александр Михайлович и Борис Владимирович — во Франции, там сейчас и Софья с сыном. Судьба уберегла от расправ...

Тот Трепов имел счастье скончаться от сердечного приступа в 1906 г. В смуту девятьсот пятого поднялся до диктатора России — и не выдержал, рухнул.

И князь Мещерский тоже поимел счастье кончить свои дни до Октября семнадцатого, в 1914 г.

Безобразов¹, Абаза? А черт их знает, где эти пролазы!..

Плеве сразил эсер Егор Сазонов на Обводном канале. Александр Васильевич видел фотографию: от кареты — один остов, от Плеве — пятно крови на булыжной мостовой. Впрочем, могло быть и от лошади или кучера — тот тоже погиб. Бомба вломилась в окошко кареты... Плеве и еще кое-кто рассчитывал воодушевлением войны смыть брожение в обществе. Вышло несколько иначе.

Великого князя Сергея Александровича взорвал эсер Иван

¹ А. М. Безобразов — его имя последний раз промелькнет в переписке Александры Федоровны с Николаем Александровичем за несколько дней до революции — 24 февраля 1917 г. И все.

Каляев — тоже нечего было хоронить. Елизавета Федоровна приняла монашество.

И только подумать: занимался этим Борис Викторович!..

Дмитрия Сергеевича Сипягина (1853—1902) застрелил С. В. Балашев 14(2) апреля 1902 г. Набегал этому террористу с озорным вихром над таким простым русским лицом 22-й год.

Россия! Жить бы, а тут друг на друга с бомбой да пистолетом: даешь лучшую долю!..

А где эта доля... по книгам только и вычисляли. Верили в чернь строк как единственную правду, как пророчества, как непогрешимость, как отпущение грехов и право лить кровь. Искали подобные книги, читали, прокалялись ненавистью. Этому учили книги — ненависти. Вся мудрость сводилась к ненависти. Единственное благо — ненависть и кровь!

Фон Плеве Вячеслав Константинович (1846—1904), безусловно, был храбр. Зная, что за ним, как и за убитым предшественником (Сипягиным), охотятся молодцы Савинкова, прощаясь с кем-либо из своего окружения, имел обыкновение приговаривать: «Если буду завтра жив».

Вячеслав Константинович в клочья был разнесен бомбой, на удивление ловко брошенной Егором Сазоновым (иногда пишут — Созоновым), 15 июля 1904 г. Миг — и ничего больше: ни солнца, ни людей...

После фон Плеве волей монарха министром внутренних дел был назначен 47-летний князь Петр Данилович Святополк-Мирский. Это новому министру принадлежат слова, столь необычные для России: доверие должно лежать в основе взаимоотношений между правительством и обществом.

Обычные, заурядные слова, а для нас диковинные. До нынешних, 90-х годов XX столетия диковинные.

Летом семнадцатого, в пору вынужденного сидения в Петрограде, Александр Васильевич свел знакомство с Савинковым (тем самым, о котором все тот же Меньшиков писал: он «был... мечтой департамента полиции, который из-за него доходил до галлюцинаций»).

Они говорили о болезнях России — дряхлой монархии, порочности абсолютизма бюрократии, связывали Февраль семнадцатого с обновлением; вот только большевики... ничто не может их образумить. Да-а, а вылупилось нечто другое, не звонкая молодая Россия... Мог ли я вообразить, что стану Верховным Правителем России, а Борис Викторович — моим уполномоченным во Франции...

Этот режим Ленина и Троцкого удивительно умеет пускать пыль в глаза. Еще ни в чем не успев, кроме разрушений и убийств, нарек себя великим, самым передовым и справедливым...

«Там, где есть воля, всегда есть и дорога» — с 20 лет это девиз Александра Колчака. Он никогда не изменяет ему. Но сейчас все дороги замкнулись, и нет хода ни вперед, ни в сторону, а назад он не ходит. И теперь уже никакая воля не разведет эти дороги.

«Какое право имел я втягивать в эту кровавую историю Анну — она так молода! Почему не отправил за границу? Мне было хорошо, никого я так не любил, да и не знал, что это, до встречи с ней, — и я увлек ее за собой. Я должен был остановиться, я вдвое старше. Я был счастлив — и ни о чем другом не хотел думать... Ведь до сих пор они не щадили ни женщин, ни стариков. Государя императора убили с женой и детьми, а я? Видит Бог, я не хотел. Я не мог с ней расстаться! Что же я натворил!.. А теперь она в соседней камере...

Раздвинуть бы стены, шагнуть из этой могилы, подняться снова на мостик: одна только гладь моря — и ни лжи, ни парши громких слов, ни предательств — солнце, море и ветер...

Теперь я знаю: где обилие громких слов, там всегда ложь...»

И в самом деле, какой резон везти его едва ли не через всю Россию в Москву: кругом остатки белых войск, банды, разруха, безвластие. Озлобленность и бесчувствие к крови не поддаются разумению, ну нет нервов у людей. Вряд ли красные отважатся — риск велик. Скорее всего, процесс над ним будет здесь... или в Омске. Ведь Омск был столицей движения, но для этого Пятой армии красных еще нужно дотянуться до Иркутска.

И все же этот следовательский намек на большевиков, что за ним?.. За митингами и уговорами эсеров, как правило, следуют длинные ножи большевиков. Если так — жди событий, адмирал. У большевиков свое понимание законности. При любом повороте не дать застать себя врасплох, быть готовым ко всему — издевательствам, казни...

На утреннем и дневном допросах следователи и члены комиссии впервые ссылались на деловые бумаги. И как ссылались — зачитывали целые страницы, все под исходящими и входящими номерами: успели со своей канцелярией.

Какая же глупость: тогда, в Нижнеудинске, все надлежало предать огню! Вот Занкевич — все в печку! Трубчанинов ловок и смел, но чеки доставили их прямо в лапы красных. Похоже, и Алушкина повязали.

От Александра Васильевича не скрывали: в камерах соседнего корпуса — офицеры, — те, что добровольно вызвались сопровождать его из Нижнеудинска, когда предал конвой, предали офицеры штаба и союзники приперли к стене своими каиновыми условиями. Где Занкевич? О нем упоминали, но вскользь.

Надо полагать, офицеров тоже спишут.

Не уйти никому. Смастерили поездочку, союзники...

Самые важные бумаги — у красных! Его исповеди в письмах Анне — все у них! Анна!.. Она рядом или в камере напротив?..

Эх, Апушкин!..

Александр Васильевич сбился с шага и зверем закрутил меж стен. С ним пропадет столько — никто никогда даже не догадается о том, что ему известно и как бы он теперь распорядился! Это нужно тем, кто верит в возрождение России...

При чем тут злоба, месть? Нет, нет, просто ему надо все поставить на свои места. Он столько понял в эти дни. Уйти бы, уйти!..

Александр Васильевич переминается под оконцем, шарит взглядом по стенам. Прижать Анну, сомкнуть объятия — и уйти!

Предали, предали!..

Станут потрясать с трибуны письмами, бумагами. Все, что писал: малейшие сомнения и движения души, планы, изменения планов — все-все в их распоряжении. Александр Васильевич не выдержал и длинно, безобразно выматерился.

Матерщина на флоте слыла традицией. Ей следовали и в некотором роде обучались. С царя Петра она приняла форму чуть ли не обязательного офицерско-дворянского шика. Изустно передавали самые затейливые и непристойные выражения: замысловатые сплетения диковинных по бесстыдству и образности матерщинных наборов. Самое настоящее опозэтизированное скотство...

Александр Васильевич пробует рукой лежанку. Матрас из соломы. Он расталкивает комья, одергивает матрас и садится. И тут же ловит себя на том, что надсадно, измученно вздыхает. Гвоздем в нем слова одного из членов комиссии: «Сколько людей загубили и еще ораторствуете...»

И Александр Васильевич снова выматерился. Он было подался к двери, но тут же, осадив себя, завел руки за спину и, ссутулясь, опять взялся мерить шагами свою «каюту» из камня и ржавого железа.

Но ведь предали, предали!..

Что ж ты, Господь, так упорно держишь сторону красных! Да какой же ты Отец — своих хулителей и наших убийц берешь под защиту? Куда теперь — в могилу? Заткнуть уши, закрыть глаза — и всем в могилу?.. Черт, стакан бы водки!..

Даже после всего пережитого Александр Васильевич в шаге попрежнему тверд. Руки у него длинноваты, но в меру; суховатый нос велик и породисто горбат — сколько было из-за этого обид и стычек в детстве.

И опять Александр Васильевич задумался о бумагах. Это уж определено: возьмутся зачитывать на суде. Надергиванием бессвязных отрывков из текста можно извратить все: любую мысль, любое чувство...

Александр Васильевич замирает и прислушивается. Он уже отвык от обиходных шумов, и громкая речь в коридоре отзывается болезненным напряжением, а тут — стук, лязг... Один раз в сутки по команде заключенные прибирают камеры — сейчас как раз уборка.

От него уборки не требуют. Впрочем, и мусорить нечем. Александр Васильевич жадно принохивается. Сквозняк из коридора надувает махорочный дым...

Напрасно мается адмирал — письма к Тимиревой («дневник») не у красных. Этому «дневнику» лишь через 25 лет с вершком предстоит проделать путь к красным. А пока гремит костями (иссох, изголодался) по разным теплушкам да платформам Апушкин и мозолит башку раздумьями: к Семенову податься или из Владивостока — за моря, подальше от Родины, чтоб ей!..

Политцентр захватил портфель бумаг и некоторые из личных писем Верховного Правителя, но писем деловых, не к Анне. Это тоже добыча, хотя не главная. Так что успокойся, адмирал. Приляг, закрой глаза, распусти судорогу в теле. Дай измученному мозгу хоть чуток забвения. Не рви душу. Один ты. Никому не нужен во всем этом огромном свете. Никому... кроме Анны...

Алексей Николаевич Крылов — генерал-лейтенант царской службы, профессор и академик, знаменитейший и признанный во всем мире авторитет в кораблестроении. В первое десятилетие XX столетия был Главным инспектором флота, председателем Морского технического комитета. Он находился в центре создания нового российского флота, обладая глубочайшими познаниями теории корабля.

Александр Васильевич Колчак был на 10 лет моложе Крылова и состоял с ним в самых дружеских отношениях. Ведь оба к тому же кончили Морской корпус, а это уже своего рода братство.

Как-то Крылову доложили, что арестован его подчиненный, корабельный инженер К. П. Костенко. Вскоре суд приговорил Костенко к шести годам каторжных работ за революционную деятельность.

Алексей Николаевич подал прошение государю императору с просьбой о помиловании Костенко — одного из самых талантливых корабельных инженеров. Крылов указал на то, что именно Костенко собрал единственный в своем роде свод документов и показаний о причинах гибели кораблей в Цусимском сражении и вообще поведении кораблей при тех или иных повреждениях — материал бесценный при создании нового российского флота. Прощение было вручено морскому министру вице-адмиралу И. К. Григоровичу, в подкрепление была передана и сама книга-сборник Костенко. Крылов вспоминал:

«Я... поехал к Григоровичу, показал ему эту книгу и сказал, что в ней заключается неопределимый боевой опыт. Григорович сказал:

— Я завтра же покажу эту книгу государю.

В понедельник вечером звонит Зилоти (старший адъютант Главного морского штаба. — Ю. В.):

— Министр вернулся с доклада, показал книгу царю; царь его спросил, знает ли он Костенко. Григорович ответил, что знает.

— Действительно ли это такой талантливый офицер, как о нем пишет Крылов, письмо которого мне доложил Нилов (адмирал флота. — Ю. В.)?

— Действительно.

— Нам талантливые люди нужны.

Открыл ящик письменного стола, вынул приговор и что-то на нем написал, что именно, Григоровичу не было видно.

Но Зилоти имел, как говорится, «ходы и выходы» и сказал мне, что приговор получен товарищем министра юстиции и на нем написано: «Дарую помилование».

Утром во вторник звоню к Зилоти:

— Помилование Костенко есть высочайшее повеление, оно должно быть исполнено в двадцать четыре часа, а не в четыре дня, как это канителют юристы; позвоните товарищу министра юстиции и скажите, что Григорович — генерал-адъютант; и если в течение двадцати четырех часов Костенко не будет освобожден, то он обязан доложить царю, что его повеление не исполнено.

Зилоти позвонил кому следует, и во вторник вечером Костенко приехал ко мне благодарить за заступничество».

В 1908 г. Костенко с частью будущего экипажа крейсера «Рюрик» наблюдал за его доводкой и строительством на верфях Викакерса в Глазго. Именно тогда инженер Костенко предложил Азефу убить государя императора на торжествах в честь ввода крейсера в состав военно-морского флота России. Костенко нашел и подготовил для этого злодейства людей из экипажа, да и себя предложил. Эка трудность — выпалить с пяти шагов в грудь царя.

Николай Второй ознакомился с документами, из которых следовало, что военный инженер Костенко изменил присяге и готовил ему, помазаннику Божьему, погибель, — и простил.

Все это Алексей Николаевич Крылов рассказал в книге «Мои воспоминания», изданной Академией наук СССР в 1945 г. Есть в книге такие слова: «Каков флаг, таковы будут и люди».

И заступались ведь, просили. А государь прощал своих врагов.

«Нам талантливые люди нужны...»

Алексей Николаевич был здоровья былинного. Секретарь ЦК ВКП(б) П. К. Пономаренко (начальник Центрального штаба партизанского движения на занятых гитлеровцами землях в Отечественную войну) рассказывал мне о необычной просьбе Крылова.

Алексей Николаевич не мог обойтись без литра водки в день... Причем это никак не сказывалось не только на его внешности, но и работоспособности. Без водки же он страдал, можно сказать, хирел.

Жесткая карточная система военных лет исключала вольный доступ к водке, и Алексей Николаевич поневоле обратился к секретарю Куйбышевского обкома партии. В то время Крылов был

Героем Социалистического Труда, трижды награжден орденом Ленина, а в Куйбышеве находился вместе с Академией наук.

Так или иначе, просьба была доложена Пономаренко. Во всяком случае, он прослышал о ней.

И с той поры Крылов каждый день дополнительно к карточному довольствию получал две бутылки водки. Такой режим не помешал Алексею Николаевичу дожить до 82 лет, сохраняя светлую голову и занимаясь чисто научными делами.

Утром в допросе бывшего Верховного Правителя снова принял участие Александр Косухин — посланец Особого отдела Пятой армии. Нужда есть у товарища Косухина до золотого запаса — того, что уперли чехи с отрядами «учредивловского» войска в августе восемнадцатого из Казани: все ли золотишко в наличии, а ежели нет, то сколько успел адмирал разбазарить народного добра. Шустрый молодой человек...

«За нечестность с золотом я расстрелял бы любого, невзирая на чины и заслуги, — сказал Александр Васильевич. — Это — достоинство России, и оно должно служить России».

И объяснил: те крайне незначительные партии золота, которые уходили, являлись платой союзникам за оружие и снаряжение. Все до единой выплаты проводилось через Совет Министров и утверждалось им, Колчаком, лично. В архивах, захваченных красными в Иркутске (от бывшей канцелярии Совета Министров), должны находиться соответствующие документы. Он здесь же, сейчас же готов подписать любой документ, удостоверяющий сохранность российского золотого запаса. Ни крупницы не исчезло в неправедных операциях. Что с золотом после его ареста, не скажет. Охрану золота приняли легионеры. Да проверьте, посчитайте. Оно ведь здесь, на путях, при контролере. Тот еще с царских времен при золоте.

В 80-летие Льва Толстого епископ Гермоген произнес речь, как бы обращаясь к великому писателю (об этом есть в дневнике А. В. Богданович):

«О окаянный и презренный российский Иуда, удавивший в своем духе все святое, нравственно чистое и нравственно благородное, повесивший себя, как лютый самоубийца, на сухой ветке собственного возгордившегося ума и развращенного таланта, нравственно сгнивший теперь до мозга костей и своим возмутительным нравственно-религиозным злосмрадием заражающий всю жизненную атмосферу нашего интеллигентного общества! Анафема тебе, подлый, разбесившийся прелестник, ядом страстного и развращенного своего таланта отравивший и приведший к вечной гибели многие и многие души несчастных и слабоумных соотечественников твоих».

Свободомыслия, даже в религиозном русле, официальная церковь не допускала, карала.

Что до Гермогена, охват ненавистников у архиерея поражает широтой: от Льва Толстого до Григория Распутина. Именно так, ибо очень скоро архиерей обрушится и на Григория Ефимовича (по официальной должности — царского лампадика).

Следует отметить, что накануне 1917 г. авторитет церкви в народных массах покачнулся. Церковь переживала глубокий кризис. Иначе и быть не могло: она составляла единое целое с господствующей государственной системой.

Этот кризис (как жестокое разочарование и неудовлетворенность жизнью, неизменное торжество явной несправедливости в жизни, единение государственной несправедливости с церковью) берет свое начало куда как раньше — в той молодой России, которая заявляет о себе в полный голос в XVIII и XIX столетиях.

Уже Пушкин в знаменитой стихотворной «Сказке о попе и о работнике его Балде» и многочисленных едких высказываниях о церкви отражает определенные настроения народа. Эти же настроения несколько позже фиксирует в сборнике народных сказок и знаменитый собиратель их Афанасьев. Помните сей перл: «Девки вые... попа — так ему и надо...» Да, такие сказки существовали в природе, как и сама книга, причем это не самое горячее место в книге. Собрана она и написана за живой речью народа. Ведь так думал народ, так относился к своим пастырям¹.

Наряду с сохранением истовой религиозности народа нарастает критическое отношение к религии, и отнюдь не только в среде образованной части общества.

Поп, попадья, поповна, дьячок — это персонажи разного рода неприличных историй, носители позорных пороков (жадности, сластолюбия и т. п.). Анекдоты и вовсе не щадят ни Бога, ни его пастырей на земле.

И было отчего...

Вспомните Лескова, его «Тупейного художника»: поп выдает только что венчанную пару свирепым слугам барина-крепостника. А сколько священнослужителей выдали тайну исповеди! И власти карали верующих! А обязательность покорности, услужливости перед властью всего сонма пастырей (что проглядывает в определенной мере и сейчас)!

Народ все видел, все копил в своей памяти.

К семнадцатому году религиозность народа — это уже во многом миф. Нет, народ в подавляющем большинстве поклоняется Создателю, но слишком часто это поклонение носит механический, обяза-

¹ Афанасьев, Александр Николаевич (1826—1871) — собиратель и исследователь русского устного народного творчества, преимущественно сказок. Его главный труд — «Народные русские сказки» (8 вып., 1855—1863), изданные с сокращениями.

тельно-принудительный характер. Это не светлая, животворящая вера.

Отчасти поэтому большевикам удается с такой легкостью увлечь народ в безбожие, сокрушить храмы и святыни, подменить духовную ткань жизни энергией партийных ячеек, газетных столбцов и беспощадной войной всех против остального мира и каждого против всех...

Вместо креста над народом разгораются лучи пятиконечной красной звезды.

Еще недавно дети твердили вот такие стишки:

Гром гремит, земля трясется,
Поп на курице несется!

Революция, свирепые гонения на религию, казни и гибель священнослужителей и верующих, кандално-жестокая, лишенная души власть ленинцев способствовали возрождению авторитета церкви в мнении народа.

Русские люди повернулись к ней с новыми чувствами и новой верой¹.

Конвойный утром буркнул:

— Твоя, слышь, здесь, в бабьей половине. Велела передать: зря не тужи.

Значит, Анну тоже взяли! Но за что? В чем ее вина? Разве чувство к нему — вина?..

Откуда знать Александру Васильевичу, что Тимирева доживет аж до середины 70-х годов этого самого кровавого столетия в истории России и всю долгую жизнь будет хранить и нежить память о нем.

И уже не дано было знать Александру Васильевичу, что в Париже нелюбимая жена воспитает сына Ростислава в преданности памяти отца и напишет он об отце — адмирале и белом вожде — немало статей, очерков и даже обстоятельную книгу. Тут ему Софья Федоровна как мать много дельного подскажет — ни в каком справочнике не сыщешь...

Ростислав Александрович был на шесть лет моложе моей мамы — Власовой Марии Даниловны, урожденной Лымарь, — дочери казака

¹ Одному из идеологов сионизма принадлежат слова: наша задача не в том, чтобы нас стало больше там, где мы есть, а в том, чтоб мы появились там, где нас нет.

В равной степени подобные высказывания можно отнести и к наиболее ярким выразителям идей и смысла и католицизма, который сейчас деятельно пытается обосноваться в России с удивительной миссией: христиан обращать в христианство! Значит, присутствует «нечто», что побуждает к этому Ватикан и стоящий за ним западный мир.

из стариннейшего казачьего рода, корнями уходящего в Запорожскую Сечь, в толщу веков; людей вольных и неподатливых окрику или недостойному обхождению...

Сына Александр Васильевич любовно называл Славужкой.

С братом покойного государя императора Александра Третьего великим князем Владимиром Александровичем, завзятым жуиром и весельчаком (он прожил довольно долгую жизнь), в 1880-х годах случилась презабавная история, — презабавная, однако, со смыслом¹.

Объезжал он Волгу, и в Самаре к нему в ноги бухнулась древняя старуха, все пытаясь дотянуться до одежды, приложиться ей невтерпез, ну разрывает ее без этого.

— Что ты стоишь на коленях и крестишься, бабушка? — спросил великий князь, несколько озадаченный столь пылким изъявлением верноподданнических чувств (придворные, поди, глаза платком промокали).

— А как мне, отец, не креститься? Ведь вот Бог привел под старость второго царя увидеть.

— А кого ж ты первого увидела?

— Самого нашего батюшку Емельку Пугачева...

Это уже русское! Нет, нигде такого не встретишь и не услышишь. Русь! Ну вот сочини такое.

Софья Федоровна и в самом деле много знала из того, чего не доверяют бумаге. К тому же доживали в Париже официантами, шоферами, носильщиками не только денкиницы, но и мороженые-перемороженные всеми стужами Сибири каппелевцы. Кроме того, изливали горечь в мемуарах белые генералы и министры. Еще хаживал в заслуженной пенсии браво-усатый «женераль» Жаннен, да и до чехов рукой подать — считанные часы на поезде, — а уж чего только не выкаблучивали бывшие легионеры, Матка Бозка! Мужики аж до сих пор по Сибири крестятся...

Бывшие союзники покровительствовали белой эмиграции, даже открыли в Праге русский университет с настоящими русскими профессорами: пусть учатся, коли их, реакционеров, не додушили в Сибири и прочих землях бывшей Российской империи.

И впрямь, кто старое помянет — тому глаз вон. Тем более из-за участия этих самых легионеров в Гражданской войне у господ офицеров и прочих беглых оказались утраченными и более существенные «предметы»: родные, близкие, товарищи, имущество — и у многих в обилии — самые доподлинные части тела... И генералы Сыровы, Гайда, Чечек к услугам Софьи Федоровны: «Ма-

¹ См.: Последний Самодержец. Berlin, Eberhard Frowein Verlag, 1912.

дам, это — роковое стечение обстоятельств. Мы так ценили адмирала...»

Впрочем, Ростислав свободно мог подколоться и к Зиновию Пешкову — почтенному генералу французской службы, а тот — со знанием подноготной порассказать, как обставляли эту самую выдачу адмирала и загнали в снега на убой армию Каппеля — ну не давать же им законно чешские и вообще франко-американо-англо-японские вагоны. Сам Пешков увязывал и утрясал всякие недоразумения: выдать адмирала — и чтоб все остались довольны! Лондон первым вошел в положение...

Несмотря на столь разлагающий пример, как французская жизнь единоутробного брата Председателя ВЦИК (считай, президента) на этих самых Елисейских полях, сын не дрогнул, не предал памяти отца и его каппелевской гвардии — всем отписал должное. Хотя, ежели ты в Париже, такое вовсе и не в доблесть. Ты вот там, в Строгине или, скажем, на Криворожской улице, что у метро «Нагорная», о себе заяви, а то — Париж!

А ежели по чести разобраться, то и в Париже, и в Лондоне, и в Вашингтоне, и даже в самой что ни на есть захудалой дыре запросто могут зашибить любого, даже самого занюханного советского гражданина из беглых да речистых. «Женевцев» для столь благородных целей специально высиживают на Лубянке — и командируют. А как же, народ должен быть единым. И едут «женевцы» за кордон крушить черепа бывшим соотечественникам. А как иначе вобьешь в народ единомыслие? А так все по Михаилу Юрьевичу: «Закон сидит во лбу людей».

Еще как сидит!

А все потому, что патриотами не рождаются — патриотов надо выколачивать. Все в совершенном согласии с Владимиром Ильичем:

«Мы говорим, что применение насилия вызывается задачей подавить эксплуататоров, подавить помещиков и капиталистов; когда это будет разрешено, мы от всяких исключительных мер отказываемся».

Все три четверти века подавляем... не отказываемся.

Кругом стыли лишь мертвецы.

Ляодунский полуостров был прибран Японией после войны с Китаем в 1895 г. Город-порт Люйшунь обрел название Риоюн. На Японию оказали давление Россия, Германия и Франция. Люйшунь (Риоюн) перешел в 1898 г. в аренду России под именем Порт-Артур.

В русских правительственных кругах допускали войну с Японией уже с 1902 г. — после провала миссии маркиза Ито в Петербурге: японцы не исключали мирного пути разрешения конфликтов. Россия отвергла какие-либо соглашения. Там, наверху, бредили «Желтороссией». А тут еще и фон Плеве с идеей маленькой победоносной войны как средства успокоения страны.

Япония не замедлила заключить соглашение с Англией. Именно союзничество Англии с враждебной Японией и послужило причиной странного решения Николая Второго подписать в Бьёрке 24 июля 1905 г. союзнический договор с Германией. И это тогда, когда складывался блок стран против Германии! Скандал грянул!

Англия давно и упорно противилась расширению и укреплению Российской империи по южным границам и в Маньчжурии. Англия кровью японских солдат и непомерными материальными затратами преградила движение России в Китай. Извечный недруг России.

Это породило сильные антианглийские настроения в русском обществе. В памяти были свежи события 25-летней давности. Тогда именно Англия с помощью Пруссии отняла у русских плоды славных побед в войне с Турцией...

Порт-Артур был сдан еще до Цусимы — 20 декабря 1904 г., — сдан после 210 дней осады, с боеспособным гарнизоном и достатком припасов. Оборона Порт-Артура имела чрезвычайное значение для русской армии в Маньчжурии.

Комендант крепости генерал А. М. Стессель при капитуляции подарил маршалу Ноги свою лошадь и испросил чести сфотографироваться рядом: гаже замараться было уже невозможно. Впрочем, позирование Сталина и Молотова возле Риббентроп в Кремле спустя какие-то 34 года прошло все по той же параллели позора. Риббентроп с удовольствием вспоминал визит в Москву. Он-де чувствовал себя в Кремле как среди старых партийных товарищей... А почему бы и нет?..

Прах героя порт-артурской обороны генерала Кондратенко после войны был доставлен в Петроград и захоронен с высшими воинскими почестями — такова была воля самодержца.

Герои боя у Чумульпо, экипажи «Варяга» и «Корейца», торжественно строем проследовали по Невскому. Впереди маршировал военно-морской оркестр. Колонну моряков-героев сопровождали вышшие чины российской армии.

Петербург цветами и «ура» чествовал героев.

Не сломлена Россия, распрямится! Боже, царя храни!

«...В день гибели адмирала Макарова должность министра двора исполнял один из развратнейших генералов свиты — Рыздзевский (граф Фредерикс находился в отпуске). У Рыздзевского в три часа дня был назначен доклад царю. Крайне огорченный печальной вестью с войны, Рыздзевский с ужасом думал о той сцене, которая должна будет разыграться в кабинете, где искренне любимый им Николай останется с ним наедине и даст волю отчаянию. Утром теплилась надежда на отмену доклада, но в три Рыздзевского вызвали во дворец.

— Приезжаю я, — рассказывает он, — оказывается, государь на панихиде по Макарову. Ну, думаю, еще хуже вышло все, но вот служба кончается. Николай в морской форме возвращается из церк-

ви, весело здороваются со мной, тянет за руку в кабинет и говорит, указывая на окна, в которых порхают крупные снежинки: «Какая погода! Хорошо бы поохотиться, давно мы с вами не были на охоте. Сегодня что у нас — пятница? Хотите, завтра поедем?»

Совершенно сконфуженный и сбитый с толку, Рыдзевский пробормотал что-то в ответ и, скомкав доклад, поспешил откланяться. В приемной он встретился, однако, с приятелем и несколько минут проговорил с ним. А когда спускался с лестницы в вестибюль, увидел в окно Николая, тот стрелял в саду ворон из небольшой винтовки...»¹

Куропаткин Алексей Николаевич был не завален, а погребен под образами святых — дарами государя императора. Бывший военный министр, сподвижник знаменитого генерала Скобелева, а тогда главнокомандующий, Куропаткин возил с собой монументально-громоздкую кровать под розовым атласным одеялом и еще непременно — фортепиано. Все это: и образа, и кровать, и фортепиано — перекочевало в один из музеев Токио на посрамление России.

Маньчжурия.

Тюренчен. Вафангоу. Дашичао. Хайчен...

Ляоян — русские потери составили 16 тыс., Шахэ — 42 тыс., Мукден — свыше 89 тыс. человек...

Всего в войне с Японией Россия потеряла убитыми, ранеными, больными и пленными около 400 тыс. человек². Несметное количество калек прыгали на костылях по городам и селам!..

«Мы, Божиею милостию...»

Интендантство и часть строевого офицерства сказочно нажились на спекуляции и воровстве. Вагоны исчезали сотнями, если приходили с хорошим товаром. Уж тут понаслышался Александр Васильевич! Все на поверку предстало схваченным на гнилую нитку: и так-

¹ Последний Самодержец.

Английская «Таймс» писала в те дни: «Россия лишилась прекрасного корабля, но еще более — потеряла человека, которому предстояло, вероятно, сделать русский флот важным фактором в войне. Его потеря наносит тяжелый удар русскому флоту, не говоря об исчезновении доблестного и вдохновляющего начальника, влияние которого, внося новый элемент в войну, признавалось и японцами. Суждение неприятеля — лучшее доказательство тому, что Макаров с великолепным знанием морской науки соединял качества великого моряка... с кончиной адмирала Макарова Россия теряет вождя, которого трудно будет заменить».

Есть основания считать гибель адмирала результатом охоты за ним высшего японского командования («Радонеж. Век XX», № 2, с. 15).

² Убитых набралось до 240 тыс. Жгуче, больно хлестнул по сердцам русских позор этой войны. Даже Сталин вспомнил в своей победной речи сразу после разгрома и капитуляции Японии в 1945-м.

тика, и стратегия, и материальная часть, и снабжение, и подготовленность армии...

Преступная бестолочь этой войны, скорее бойни, а не войны, потрясла Россию. Как, кто отныне станет защищать Россию? Что она без армии?!

Александр Васильевич присутствовал в качестве свидетеля на суде по делу офицеров Порт-Артурского гарнизона (а как же, за сдачу крепости судили!). Отдельно разбиралось дело генерала Стеселя. Приговор коменданту-изменнику — десять лет крепости.

Тогда же имел место и процесс о сдаче боевых кораблей в Цусимском сражении. Кроме контр-адмирала Небогатова, к ответу были призваны капитаны сдавшихся боеспособных кораблей и весь офицерский состав.

На отдельном процессе разбиралось дело о сдаче в плен командующего эскадрой адмирала Рожественского вместе со штабом. Тогда же и повела работу Особая следственная комиссия по выяснению причин Цусимской катастрофы.

Контр-адмирала Н. И. Небогатова, командиров кораблей «Николай Первый», «Адмирал Апраксин», «Адмирал Сенявин» приговорили к расстрелу с заменой казни десятилетним заключением в крепости. Офицеры от ответственности были освобождены, они подчинялись приказам начальников. Осуждение их явилось бы равнозначным требованию бунта и неповиновения на корабле.

Адмирал Рожественский от ответственности за сдачу был тоже освобожден, поскольку в те позорно-трагические часы находился без сознания; но оказались приговоренными к расстрелу с заменой на заточение в крепость (10 лет) организаторы сдачи — офицеры штаба.

Всех осужденных освободили по амнистии через два года — в 1909 г.

А как бы и КПСС привлечь к ответу?

В преступных делах, насилии над обществом и очень часто — крови виновны не только ее руководители всех рангов, но и сама партия, которая своими голосованиями, верностью, резолюциями, лесом рук оправдывает их преступления, выступая от имени народа.

Виновен не только административный аппарат партии, но и вся она, ибо кто они, эти люди, там, наверху, без партии и ее безоговорочной, солдатски покорной поддержки снизу доверху?..

Виноват генерал, дающий приказ на убийство и разрушения, но виноваты и ефрейтор и солдат, которые претворяют приказ в действительность. **А партия всегда активно проводила в жизнь любые решения своего руководства, одобряла и утверждала любые решения, даже самые преступные.**

И если в самой партии убивали или травили несогласных, это не оправдывает ее. Ибо всегда (именно всегда!) она была покорна воле ее вождей и секретарей всех рангов. И она сама казнила, травила

всех, кто имел смелость на независимые оценки, мнения. Жертвы террора 20—50-х годов, жертвы морального подавления 60-х и 80-х годов в конечном итоге есть прямой и единственный результат того, что партия, вся масса рядовых коммунистов, являлась послушным орудием ее хозяев — секретарей всех масштабов и мастей, настоящего класса паразитов, бюрократов и бесконечных нарушителей закона.

Не верхушечная часть партии участвовала в развале страны, а вся она — все многомиллионное тело ее. Молчаливая и громогласная поддержка руководства партии и дала силу всему этому режиму партийного произвола, притулившегося вплотную к фашизму.

Во главе карательных органов, всего хозяйственного аппарата стояли и стоят только коммунисты, причем самых высших степеней отличия.

В Конституции записано, что КПСС — руководящая сила общества. Это буквально выжжено в Конституции и сознании каждого.

Из этого следует однозначный ответ: виновата в преступлениях партия. Никто не требует суда и осуждения рядовых членов партии за развал страны, ее обнищание и утрату веры в идеалы. Но моральную ответственность несет каждый, все до единого, за тот тупик, в который они завели народ. Эта «руководящая сила» завела народ в тупик. Не верхушечная часть партии, а каждый ее член, все полтора или два десятка миллионов.

«Совесть нашей эпохи»...

Для чего говорить об этом?

Не для разжигания страстей и подрыва устоев общества, хотя для их раскачивания именно партия сделала все.

Голос подан для того, чтобы каждый знал, что нет только ответственности руководителей, ответственности коллективной, но прежде всего есть ответственность каждого, ответственность личная — перед историей, народом.

И никакая цифра — внушительные миллионы! — не скроет каждого человека по отдельности. Во веки веков это было родимым пятном России: всем миром подпирали решения верхов, а отвечать не отвечали, казнили, клеймили только самых известных и первых. А что сам по себе «первый» и «первые» без народа, всей массы людей?..

Но в партии действительно сосредоточилась наиболее деятельная часть общества. И потому ее ответственность особая.

Ответственны все и каждый, и не в меньшей мере, нежели руководство. И здесь подлинное единство КПСС.

Не надо прятаться за имена Брежнева, Щелокова, Суслова, Андропова... Выстройтесь все — и откройте лица свету...

«Сатана там правит бал...»

Порт-Артур, Цусима, Маньчжурия — в гневе Россия качнулась до основания.

Убийства Плеве, великого князя Сергея Александровича, бывшего военного министра генерала Сахарова (родственника колчаковского генерала Сахарова), губернаторов Богдановича, Блока и Старынкевича (близкого родственника министра внутренних дел в правительстве Колчака), а за ним — десятков, если не сотен, и менее ответственных должностных лиц...

Демонстрации.

Гапон¹.

Девятое января... По предложению Трепова было решено после Кровавого воскресенья устроить прием депутации рабочих царем 19 января 1905 г.

Беспорядки в Кронштадте.

Восстания на Черном море.

Баррикады в Москве. Бои.

Аграрные беспорядки в деревне.

Настойчивое стремление русского общества к обновлению.

Манифест 17 октября 1905 г. — и тут же погромы, казни, «патронов не жалеть»...

О революции пятого года Александр Васильевич показал в комиссии:

«Я этому делу не придавал большого значения. Я считал, что это есть выражение негодования народа за проигранную войну, и считал, что главная задача, военная, заключается в том, чтобы воссоздать вооруженную силу государства. Я считал своей обязанностью и долгом работать над тем, чтобы исправить то, что нас привело к таким позорным последствиям... Я считал, что вина не сверху, а вина была наша — мы ничего не делали...»

Государь император не придавал значения революции — неизбежное потрясение, и только. Полиция и сыск успокоились, разгромив революционные партии. Общество тоже не придавало революции большого значения, Колчак с ними не придавал...

И предстали беззащитными, голыми перед смерчем обид, боли, негодования, ненависти, корысти и зла — все смешалось в один убийственный все сметающий вихрь...

Густо, плотно напирали годы. Сколько же липло на каждый всего!..

¹ Гапон, Георгий Аполлонович (1870—1906), служил тюремным священником в Петербурге. Проповеди его для арестантов выделяли жестокость и... ораторская убедительность. Провокатором был по призванию, вошел во вкус. И заплатил за это. Сатане служил, не Богу.

Гапон был казнен социалистами-революционерами на даче под Петербургом в апреле 1906-го.

Неизменным помощником Столыпина был доцент Гурлянд. Его порекомендовал Столыпину будущий премьер Штюрмер.

Гурлянд — еврей из Одессы. Чтобы попасть в ярославский лицей, крестился. Там-то и стал оказывать услуги Штюрмеру: составлял записки, речи. До денег Гурлянд был безобразно жаден — об этом по Петербургу ходили пересуды. Ну не человек, а один бездонный карман.

Илья Яковлевич Гурлянд был на два года старше Ленина, выслужился в действительные тайные советники, кроме того, много писал и являлся профессором права. С 1904 г. — чиновник для особых поручений при министре внутренних дел. При Столыпине являлся участником почти всех правительственных комиссий, автором и редактором важнейших законодательных проектов. После Февральской революции незамедлительно эмигрировал.

У Столыпина Илья Гурлянд был личным советником, из самых доверенных.

У него имелся брат — Александр Яковлевич, — весьма известный в деловом мире.

Александр Васильевич помнит один из крылатых ответов Столыпина в Государственной думе первого или второго созыва.

Когда в Думе насели с требованиями амнистии, Столыпин заявил:

— Прежде всего осудите террор!..

Этот самый террор в лице Д. Г. Богрова и оборвал его дни².

О Думе Столыпин говорил:

— ..В Думе сидят такие личности, которым хочется дать в морду...³

Вот портрет Петра Аркадьевича, увековеченный пером современника.

¹ Просвещеннейший Сергей Юльевич Витте, даровитый администратор, политик европейского толка, говорил (свидетельство И. Д. Сытина): «Образование мы терпим, но не сочувствуем ему».

Узнав об этом, Николай Второй не без удивления сказал: «Странно».

И в самом деле, более чем странно! При такой-то репутации!..

² В киевском оперном театре находился Николай Второй с семьей, когда был смертельно ранен Столыпин.

2 сентября 1911 г. А. В. Богданович записала:

«...Злоумышленник изрублен шашками, но пока жив. Спектакль прекратился. Вся публика многократно после этого пела гимн и «Спаси, Господи, люди твоя», обратившись к государю...»

³ См. дневник А. В. Богданович.

«Высокий, статный, с красивым, мужественным лицом, это был барин и по осанке, и по манерам, и по интонациям. Говорил он ясно и горячо... Крупность Столыпина раздражала оппозицию... В ответ на неоднократное требование Думы прекратить военно-полевые суды Столыпин бросил ей свое знаменитое:

— Умейте отличать кровь на руках врача от крови на руках палача...»

Следовало остановить террор революционных партий.

Настоящее имя Богрова (при рождении) — Мордка. Имя Дмитрий он присвоил самозванно.

Петр Аркадьевич Столыпин прославился не только реформами, но и укладом жизни. Вставал Петр Аркадьевич в два часа пополудни. До девяти часов вечера занимался министерскими делами, вел приемы, выступал в Государственной думе или Государственном совете.

Заседание Совета Министров неизменно назначал на девять тридцать вечера в Зимнем дворце, летом — в Елагином. Заседания заканчивались и в два часа пополуночи, и в три, а то и позже, когда уже светало.

На убийство Богровым Столыпина Шульгин откликнулся очерком, в котором были и такие слова: «...но руки по привычке протягиваются к знакомой скале и обхватывают роковую пустоту...»

Скалой представлялся Столыпин единомышленникам.

Помните, Шульгин писал, что хирурги, производившие вскрытие Столыпина, констатировали тотальную изношенность организма убитого премьера? Перед ними лежало тело не 50-летнего человека, а скорее старца. По их убеждению, и без пуль Богрова жить Столыпину оставалось считанные годы, если только еще годы...

С революцией Петр Аркадьевич боролся решительно и без уступок. Он являлся врагом номер один всех левых партий и организаций: от анархистов и большевиков до эсеров и даже кадетов. Это при Столыпине Россию потрясет вселенская подлость и провокация Евно Азефа. Именно Петр Аркадьевич выдаст Азефу аттестацию о безупречной полицейской службе.

Это в отместку за разоблачение Азефа бывшим директором департамента полиции А. А. Лопухиным Столыпин отдаст его под суд. Приговор для чиновника столь высокого ранга ошеломителен: ссылка на поселение в Сибирь. Дело Лопухина обсуждала и Государственная дума.

Руку Петра Аркадьевича, хоть и покалеченную, отличала мертвая хватка. Дело политического сыска он держал под контролем, во все вникая лично.

В завещании Столыпина была фраза:

«Я хочу быть погребенным там, где меня убьют».

Поэтому Петр Аркадьевич и погребен в Киево-Печерской лавре. Он ни на мгновение не допускал, что умрет естественной смертью.

Понимание мотива убийства дает беседа Богрова с раввином Алешковским в канун казни.

— Передайте евреям, что я не желал причинить им зла, наоборот, я боролся за благо и счастье еврейского народа.

На упрек Алешковского в том, что Богров своим преступлением может вызвать погромы и гибель невинных, убийца резко возразил:

— Великий народ (евреи. — Ю. В.) не должен, как раб, пресмыкаться перед угнетателями.

Скорее всего, и в момент казни Богров хотел развить ту же тему, но отказ товарища прокурора в предсмертной беседе раввина и убийцы с глазу на глаз не позволил развить тему борьбы еврейства.

Можно по пальцам счесть людей, осужденных на смертную казнь и с таким мужеством идущих ей навстречу. Молодой сильный человек шел на смерть, как на заурядную прогулку.

На допросе 1 сентября 1911 г. Богров показал:

«Ни к какой партии я не принадлежу. Имел три года назад связи с анархистами, но связи эти безвозвратно порвал... В январе 1910 г. кончил Киевский университет... занимался отчасти адвокатурой...

Покушение на жизнь Столыпина произведено мною, потому что я считаю его главным виновником наступившей в России реакции, то есть отступления в 1905 г. порядка: роспуск Государственной думы, изменение избирательного закона, притеснение печати, инородцев, игнорирование мнений Государственной думы и вообще целый ряд мер, подрывающих интересы народа... В охранном отделении состоял до октября 1910 г., но последние месяцы никаких сведений не давал...

В охранном отделении я шел под фамилией Аленский и сообщил сведения... о сходках, о проектах экспроприаций и террористических актах, которые и расстраивались Кулябко. Получал (за выдачу полиции людей. — Ю. В.) я 100—150 руб. в месяц, иногда единовременно по 50—60 руб. Тратил их на жизнь...»

Не поддается логике объяснение Богровым причин убийства.

Богров убивает Столыпина за антидемократические меры. И тот же Богров, платный доноситель, служит в охранном отделении, и служит добровольно, не испытывая никаких материальных затруднений для службы где-либо вообще. И этот мститель за поруганную демократию выдает людей, которые борются за демократию и установление в России республики. Тут откровенная фальшь.

Богров мстил за погромы: они прокатились по России как следствие столыпинских мер и вообще нападения революционных партий на представителей царской власти. Ведь именно так повел себя и Азеф, и, что примечательно, именно в то же время, ну, чуть раньше.

Азеф, служа правительству, разрушал Боевую организацию партии социалистов-революционеров, обрекая десятки мужественнейших людей на тюрьмы и казни. И именно он, Азеф, организует убиение светил бюрократического мира. Как же так? Позже станет известно: мстил за погромы.

На допросе 2 сентября Богров показал:

«Вырос я в семье отца моего и матери, которые проживают в Киеве, причем отец — присяжный поверенный и домовладелец... Я лично жил безбедно, и отец давал мне достаточные средства для существования, никогда не стесняя меня в денежных выдачах... Всего работал я в охранном отделении около 2½ лет...

На вопрос, почему у меня после службы в киевском охранном отделении явилось стремление служить революционным целям, я отвечать не желаю...

Я... приблизился к Столыпину на расстояние 2—3 шагов. Около него почти никого не было, и доступ к нему был совершенно свободен. Револьвер браунинг... находился у меня в правом кармане брюк и был заряжен 8 пулями... я быстро вынул револьвер из кармана и, быстро вытянув руку, произвел 2 выстрела и, будучи уверен, что попал в Столыпина, повернулся и пошел к выходу, но был схвачен публикой...»

Суд проходил в «Косом капонире» 9 сентября 1911 г.

Мрачное неуклюжее здание «Косого капонира» громоздилось в крайнем правом закутке Печерской крепости. Здание было одноэтажным, очень старым, из добротного обожженного желтого кирпича. Через массивные дубовые ворота вход вел в узкий треугольник, составленный высокими посережевшими стенами корпуса...

Суд проходил в самой большой камере второго коридора. Поставили стол и 30 стульев. За судейским столом расположились генерал Рейнгартен, полковник Акутин, подполковник Мещанинов, подполковник Кравченко и подполковник Маевский. Обвинял прокурор Киевского военного суда генерал Костенко. Секретарем был Лесниченко. От защиты подсудимый наотрез отказался. И в этом он оказался верен себе.

Присутствовали министр юстиции И. Г. Щегловитов (будет расстрелян за покушение Каплан на Ленина), киевский генерал-губернатор Ф. Ф. Трепов, командующий войсками округа генерал Н. И. Иванов, киевский губернатор А. Ф. Гирс, прокурор судебной палаты Чаплинский, губернский предводитель дворянства Куракин... — всего 20 персон.

Заседание открылось в 4 утра.

Дмитрий Григорьевич Богров был доставлен в суд под конвоем. Он был в той же фракционной паре, но воротник и манжеты, как и галстук, сняты. После чтения длинного обвинения (около получаса), опроса семи свидетелей Богров спокойно и подробно рассказал, как

морочил руководителей киевской охраны во главе с полковником Кулябко.

Это единственное заседание суда продолжалось 3 часа.

Совещался суд около 20 минут.

Приговор убийца выслушал с поразительным самообладанием. А после обратился с единственной просьбой: дать поесть — и пожаловался, что кормят здесь отвратительно.

От подачи кассационной жалобы он отказался. Это тоже всех поразило.

Командующий войсками округа утвердил приговор через 24 часа после объявления.

После суда Богров написал прощальное письмо.

«Дорогие мама и папа!

...Последняя моя мечта была бы, чтобы у вас, милые, осталось воспоминание обо мне как о человеке, может быть, и несчастном, но **честном**... В вас я теряю самых лучших, самых близких мне людей, и я рад, что вы переживете меня, а не я вас... Целую и всех дорогих близких и у всех, у всех прошу прощения.

*Ваш сын Митя
10 сентября 1911 г.»*

Письмо дышит достоинством и, я бы сказал, благородством.

Однако заслуживает упоминание Богрова о себе как о человеке безусловно **честном**. Богров это слово в письме отчеркнул.

В искренность этого хочется верить, но вот как быть со службой в охране и выдачей товарищей и знакомых?..

Если Столыпин убит как враг революционного движения России, то как быть с проданными и преданными товарищами бывшего платного осведомителя, да еще осведомителя добровольного, да еще платного, когда совершенно никакой нужды и в самой плате не имелось?..

Поэтому оставим благородство в покое.

Был Богров, который отомстил за еврейские погромы и утеснения, — это факт исторический и неопровержимый, из того и будем исходить.

12 сентября в 4 часа утра (все с Богровым почему-то происходило на рассвете) приговор будет приведен в исполнение.

Палачом изъявил желание быть один из каторжан Лукьяновской тюрьмы — тоже штришок: никто не неволил, никакой милости за это не полагалось. Каторжанин лишь попросил предоставить ему возможность справлять обязанности под маской, чтоб после не пригрохали свои же в тюрьме. Смастерили маску, точнее, капюшон. А почему бы не развлечься каторжанину, чай, засиделся без длинного ножа и стонув...

Казнь совершалась под обрывом Лысогорского форта. Это — часть давно уже упраздненной киевской крепости, в четырех верстах от «Косого капонира».

В это сложно поверить, но Богров спал, и крепко, когда его разбудили. Как убитый, так и убийца оказались людьми какого-то особого мужества.

Когда бывшего осведомителя вывели к тюремной карете, один из офицеров осветил его лицо фонарем.

— Лицо как лицо, ничего особенного, — невозмутимо бросил Богров.

У виселицы Богрову принялись связывать руки.

— Пожалуйста, покрепче завяжите брюки, — сказал без всякого волнения Богров, — а то задержка выйдет.

Помощник секретаря окружного суда громко прочел приговор. Богров выслушал его с очевидной скукой.

— Может быть, желаете что-нибудь сказать раввину? — спросил товарищ прокурора.

— Да, желаю, — ответил Богров, — но в отсутствие полиции.

— Это невозможно, — возразил товарищ прокурора.

— Если так, — сказал Богров, — то можете приступать.

И уже под саваном в последний раз подал голос:

— Голову поднять выше, что ли?

Он сам взошел на табурет. Палач тотчас выбил табурет (для палача оказалось весьма мало удовольствий).

Тело висело около 15 минут, как того требовал закон.

Военный министр первого состава Временного правительства Гучков заявил в августе семнадцатого:

«Если бы нашей внутренней жизнью и жизнью нашей армии руководил германский генеральный штаб, он не создал бы ничего, кроме того, что создала сама русская правительственная власть».

Самодержавие, казалось, предпринимало все, дабы вычеркнуть себя из народной жизни. Оно настойчиво заявляло о своей чужеродности движению жизни вообще.

Александр Васильевич опускает ладонь на инистую опушь стены.

— Жаль, — бормочет он, — рука-то сильная. Ей бы дело делать, а не гнить. — И снова греет себя, шагая по корытцу каменной тропочки. — А тогда, после Порт-Артура и Цусимы, мы взялись за работу с жадностью и тревогой за Отечество — успеть все создать сызнова и на новых принципах: новый флот, новая армия, новая наука боя, новая материальная часть. Извлечь уроки из разгрома, быть готовыми к столкновению с Германией — этой извечной ненавистницей России. Защитить Россию!..

Александр Васильевич все заглядывает и заглядывает внутрь себя. Это очень важно. Ведь впереди... смерть. Сразу оглушающая и очень резкая боль, а потом... пустота.

Да, смерть. Чудес не бывает.

«Что за проклятие пало на нас: и бестолочь, и спекуляция, и разложение на всех уровнях?..»

Да-да, он не смог дать белому движению огненных лозунгов, не сумел сплотить, увлечь, найти решимость для установления иных порядков... Здесь не годились обычные приемы — вся та система, которую он как Верховный Правитель России вызвал к жизни и которая явилась столь привычно оправданной для всех. Все следовало строить иначе, все-все!..

И это так, это не выдумка. Ведь вот у Владимира Оскаровича Каппеля не распалась армия. У всех распалась: и у Юденича, и у Миллера, и у Деникина... а у Владимира Оскаровича, наоборот, связалась еще крепче — ничто не в состоянии смять: борется, не уступает, валит через снега. И в ней — рабочие, офицеры, крестьяне, поляки, эстонцы... Значит, сплотить можно. Можно!..

Иногда Александр Васильевич молится. Чаще всего повторяет «Господи, помилуй».

Нет-нет, в молитвах он не просит у Бога заступничества, не выражает раскаяний или сомнений. Он молится за людей и отдельно — за сына и... Анну. Господи, каких детей могла бы ему родить!..

Уже с полчаса тюрьма в густом мраке — опять не дает ток электростанция. Ее отключают несколько раз на день. В коридоре керосиновая лампа, но свет ее не просачивается в камеры, да и как просочиться...

Г л а в а П

ИМЕНЕМ ТРУДОВОГО НАРОДА

На седьмые сутки заточения — по коридорам грохот шагов, команды, матерщина, окрики, суета. В полдень к Александру Васильевичу заходит тот самый человек с непомерно громоздким маузером. Александр Васильевич узнает о передаче власти эсерами большевистскому ревкому. Политцентр самораспустился, а перед адмиралом стоит председатель местной, то есть губернской, чека гражданин Чудновский Семен Григорьевич. Отныне он, Чудновский, ответствен за следствие, так сказать, по совместительству и преемственности. Во всяком случае, он не позволит следствию свернуть работу, даже если на то нет пока соответствующих бумаг ревкома. Будут...

Объявляя все это, председатель губчека заставляет Александра Васильевича стоять. Адмирал не то чтобы шибко высок, но человек, который тут распоряжается, не достает и макушкой до груди. Это комично и жутковато. Жутковата и серьезность корытшки.

У Александра Васильевича сложилось впечатление, что у большевиков самые важные из комиссаров и чекистов — или из евреев, или из латышей, а этот... вроде русский. Но каких же игрушечных размеров! А маузер — настоящий, просто выглядит чересчур громоздким.

«Без маузера их власть не может», — подумал Александр Васильевич, присаживаясь с разрешения председателя губчека.

С этого дня Александру Васильевичу отпускают время только на сон. И утром, и днем, а случается, и ночью — допросы, допросы... И почти за всеми надзирает человек с маузером и во всем каждом — милостями народной борьбы за справедливый порядок на земле председатель Чрезвычайной Комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем по городу Иркутску и Иркутской губернии

товарищ Чудновский Семен Григорьевич — член РКП(б), убежденный ленинец, кадровый подпольный работник, в ближайшие дни — член иркутского ревкома (не сразу ввели его в столь серьезный орган), а для партийцев и вообще своих — товарищ Семен, битый-перебитый всеми каторгами ненавистного старого режима, кремень-человек. Жги, пытай — не отречется ни от одного большевистского слова. И нет в нем даже подобия органа, который смог бы разложить, понять и усвоить такое понятие, как выгода. Все в нем во имя одной цели — счастья людей труда. И никакой жалости к себе, а презрение — за непрочную и хилую оболочку свою. Без нее не знал бы слабостей бессонниц, голода, усталости, болей — кроил бы только святое дело революции. Исполнится жизнь без паразитов и кровососов, непременно исполнится! Ну распрямятся люди, ну все будет без холуйства и обмана. Никто не станет мучить и гнуть к земле ближнего. Ну все-все будет по Ленину — без грязи и выгоды! Для того и живут на свете большевики, а с ними и он, Семен Чудновский.

Еще до передачи власти ревкому подпольный губком назначил товарища Чудновского председателем будущей губчека. И решил Семен Григорьевич не ждать дорогого дня, не сомневался: ревком получит власть — и повел следствие, к этому звало его почетное чекистское звание. Ни на мгновение не сомневался: не уйдет адмирал живым, вот здесь, сучий хвост, отпляшет в последний раз.

А сейчас важно для революции добыть факты, выпотрошить адмирала до дна — рабочим и крестьянам всего мира показать, что есть белая сволочь и на чьи деньги душит молодую Советскую Республику.

На день по несколько раз берет товарищ Чудновский сведения в губкоме о переговорах в Томске. Там определяют будущее Сибири представители Сибревкома и Реввоенсовета Пятой армии с делегацией Политцентра — Флоровыми подпевалами: меньшевиком Ахматовым и эсерами Колосовым и Кононовым. Вместе с ними представителем иркутского губкома РКП(б) уехал и Краснощеков, «американцем» зовут его за глаза. С 1907-го по самый 1917-й околачивался в эмиграции, заправлял в левом крыле американской профсоюзной организации «Индустриальные рабочие мира». Она объединяла в основном неквалифицированных рабочих и славилась как одна из самых левых. Руководили ею левые социалисты Ю. Дебс, У. Хейвуд и Д. Де Леон. Своим был среди них Краснощеков и на месте — со своим опытом революции. Вроде бы закаленный товарищ, верный, но ушиблен интеллигентством, не тот тон с меньшевиками и эсерами. Испортили, избаловали Александра Михайловича в Чикаго. Ведь вот не поворачивается язык назвать его запросто — «товарищем Александром», — имеется какая-то чуждинка. Чуждарь, одним словом...

И еще забота: 22 января ревком постановил сформировать в

кратчайшие сроки Восточно-Сибирскую армию из повстанческих и партизанских отрядов, а также из восставших частей колчаковских армий. Своих людей надо внедрять, а где столько найдешь?..

Флор Федорович лежит на самом дне угольно-непроницаемой ночи. Тихая, но сверляще-надоедливая боль не позволяет заснуть, а может, кажется, что виной боль. Не спится — вот и вся недолга.

Он задремывает, снова приходит в себя, а теперь лежит вот и глазет на темноту, что так черна над ним.

Флор подумал: «Черна» — и тут же добавил: «Обволакивающе черна».

Он видит себя со стороны: ничего вдохновляющего. Бледный измятый человек с черной бородкой, воспаленные глаза, широкие плечи и впалый живот. Ему отвратителен этот тип с его именем. Он до предела набит ужасом и прочими душевными гадостями. Один ноющий во всем его существе ужас.

Нет, это не ужас перед пулей или расправой, хотя в них ничего радостного нет. Он проходил по самой черте небытия и знает: ничего хорошего. Лучше сразу лечь, не успев сообразить, что же стряслось.

А в общем, он не против пожить. Он не устал жить.

Флор Федорович прилежно считывает с темноты, что под глазами и лбом, свои мысли — они горячие: лоб от них словно обожжен.

«За ночь проходит целая жизнь. Я вырастаю, борюсь и умираю.

Как же мучительно длинны эти ночи! Что за жизни умещаются в эти часы наедине с собой!..»

Муторно на душе у бывшего председателя Политцентра. Хоть привязывай камень — и в омут. Все, что было дорого, ради чего жил, — отнято. Нет республики эсеров! Не будет! Такой шанс имелся только у Керенского. Только подумать: республика социалистов-революционеров, крестьянская правда!.. Впустую жизнь...

Господи, куда приткнуться? Где, как освободиться от боли?

Не душа, а нарыв. И дергает болью, как нарыв. Нарыв...

Зверь ночи пытается Федоровича.

Помните воспоминания А. Ф. Кони о встрече с Беляевым — «Синьор Беляев»?

Александр Федорович познакомился с Беляевым в Неаполе осенью 1873 г. Беляев когда-то был крепостным князя К. — помещика Тульской губернии. Отец мальчика был деревенским старостой. Когда мальчику исполнилось двенадцать, барин велел при-слать его к себе на службу в дворню. Пovýла матушка, а что де-лать?..

Больше Беляев родителей не видел, вроде как осиротел.

Барин определил Беляшу в казачки. Дело нехитрое: подавать

господину трубку, бегать за разной мелочью, а в промежутках дремать под дверью.

Спустя два года барин распорядился отправить мальчишку в Яр (знаменитый загородный ресторан), что за Тверской. Выучился Беляев поварскому искусству, особенно мастерски готовил пожарские котлеты.

А потом опять угодил к князю в казачки.

Как-то пришла барину фантазия отдать подростка к немцу Карлу Ивановичу на Кузнецкий мост учиться «меднокотельному мастерству». За долгих четыре года Беляев овладел ремеслом, да так, что Карл Иванович решил отдать за него свою дочь, а с нею — и все дело («Русая была. И коса — огромная! Полюбились мы друг другу...»).

Три тысячи ассигнациями предлагал князю Карл Иванович, а не дал тот вольную Беляеву. И наоборот, взял с собой за границу: а пусть поприслуживает, ишь мастер выискался!..

Лупил он юношу всю дорогу нещадно. Французы потешались над Беляшей: человек, а дает себя бить, ровно скотина.

Беляев и сообразил: негоже это, нет такого закона — бить в здешних землях. И когда барин замахнулся — перехватил его руку и молвил: «...драться вы прекратите, потому — Париж виден!..»

И в самом деле, в Париже такое давно уже не проходит.

Князь и перестал на него поднимать руку. Что поделаешь, «Париж виден»!

И в Италии князь бить своего крепостного по-прежнему не осмеливался, зато волю языку давал. Какие только бранные слова не сыпались на Беляшу!

Важный чин из российского посольства, послушав выражения князя, посоветовал юноше уйти в посольство, поскольку в здешних землях порядки другие.

Беляев тотчас собрал вещички — и в посольство: мол, назад к князю не вернусь — бьет, сквернословит.

А тот — за ним в посольство. И вышел у князя разговор с послем, после которого он как бы забыл навсегда о своем крепостном, ровно и не водился такой.

Сметливый, мастер на все руки, скоро овладевший и французским, и итальянским, Беляев составил себе скромное состояние, обзавелся семьей.

Уже многие годы прошли, когда Беляева позвали в посольство поспособствовать в починке экипажа Николая Первого, гостил тогда он в Италии. Слава о Беляеве как переводчике укоренилась в тамошних местах, а с экипажем работали итальянцы, надо было переводить.

Вот так, переводя и сам пособляя, и столкнулся Беляев с самим Николаем Павловичем.

«Подошел совсем близко, взглянул мне в глаза грозно, да и спрашивает: ты эмигрант? политический?»

— Никак нет, — отвечаю, — Ваше императорское величество, я русский, беглый, дворовый князя К. ...

Он посмотрел еще раз пристально: так вот ты кто! Ну, продолжай себе переводить! Повернулся и ушел...»

Уже в годах Беляев решил глянуть на родную землю и зимой отправился в Россию, но «доехал до Гардского озера, а оно, поверите ли, у одного берега замерзло. Так мне это холодно показалось... Так, думаю, что дальше, то больше холоднее станет».

И возвратился Беляев назад, в теплую Италию.

И, уже прощаясь с Кони, сказал (это в 1873 г., через 12 лет после отмены крепостного права):

«Опять же и порядки русские мне не нравятся. Помилуйте! На что же это похоже? Крепостных там теперь нет... Я вам по совести скажу: нельзя, чтобы господ не было!..»

Вот итог всей опоганенной и разоренной жизни: «нельзя, чтобы господ не было!»

И это вся правда жизни?!

Чудновский являлся человеком всепробивающей энергии. В считанные дни сколотил губернскую чека: и сотрудники, и машинистки, и оперативно-боевая группа, и даже осведомители. И это при всем том, что средств выделено не было. А вот обошлись!

Причитался всем всего лишь суточный паек: полбуханки ржаного, селедка-кормилица, четыре картофелины и несколько кусков сахара да чуток табаку, а женщинам в конце недели лично товарищ Чудновский выдавал дополнительно, от себя, 50 граммов мыла (Сергея Мосин его и нарезал — попридержали три ящика конфискованного).

Уже через несколько дней после прихода к власти ревкома в камерах и подвалах губернской тюрьмы и повернуться негде было. От этого в помещениях сделалось вполне тепло, во всяком случае выше нуля.

Хотели или не хотели белые, а проскользнуть мимо Иркутска не могли: не существует другого пути на восток и за границу — кругом снега да тайга с сопками. Вот и протискиваются сквозь игольное ушко иркутской губчека. Так нарисовал обстановку сотрудникам товарищ Чудновский.

Поэтому основные силы чека после первых широких арестов в городе были раскиданы по Глазкову и вокзалу — там выуживали офицеры и прочих классовых врагов. С бывшего фронта все эти гниды, при оружии и отчаянности, — редкий день чекисты не хоронили своих. Все как на фронте. А Иркутск и был в те дни фронтом.

Многие из именитых гадов затаивались в эшелонах — и не подступишься. В любом составе — на сотни штыков белочехов, да при пулеметах и орудиях. И куда соваться, ежели при вокзале и всем путевом хозяйстве дополнительная белочешская дивизия? Эта уж жажнет!..

Да, по всем путям, переходам, депо и служебным помещениям — заслоны, патрули, разъезды, а непосредственно у перрона — круглые сутки бывший адмиральский бронепоезд под парами.

Железнодорожную станцию белочехи цепко держат. Надо полагать, не только адмирала, а и всех русских друзей и полубовниц за нее не моргнув выдали бы. Ну раздерут на части в нынешней бойне еще несколько сотен из выданных — что с того для общего счета. Жаль, само собой, ну, а себя-то — и сравнить нельзя... И вообще, хватит, навоевались в плену, ославянили Русь с восточного боку...

И все же ломались тюрьма и подвалы чека от разного рода кровососов и членов их семейств. Раскрывали и выманивали по системе, предложенной самим председателем губчека. Все просто: сотрудники работали под офицеров...

Город оказался обысканным и подчищенным в несколько суток, а вот до вокзала, ежели действовать в лобовую (ну так, чтобы заткнуть все ходы-лазы), не дотянуться. И товарищ Чудновский переключил свою революционную энергию на тюрьму, главным образом на бывшего Верховного Правителя.

Первое, что сделал товарищ Чудновский как представитель рабоче-крестьянской власти, — самолично спорол с него погоны. Они теперь хранятся при деле, как и награды; там же — карманные «лонжины» адмирала и документы.

Эсеры тоже мылились спорить погоны, но дрогнули, когда в полночь пятнадцатого января адмирал сказал (его только привезли в тюрьму): ему все равно умирать, так пусть не касаются погон, пусть он, русский адмирал, умрет в военной форме — той, в которой служил Отечеству.

Товарищ Чудновский враз заткнул царского выкорымыша:

— А ну сесть и не рыпаться!

А как иначе? Спорили погоны с Николашки? С апреля семнадцатого и по 16 июля 1918 г. проболтался без них, покуда товарищи Белобородов и Голощекин не пресекли жизнь тирана и его семейства.

А этот чем лучше? Обыкновенная паскуда!..

Очень убивался товарищ Чудновский — нет под рукой семейства бывшего Верховного Правителя. Ну весь подлый род сразу под корень!

Ни ревком, ни губком, ни Сибревком, ни Москва с вождями, ни все сознательные революционеры, и вообще никто не знал, а товарищ Семен знает: не выпустит тирана живым, пусть хоть сам Троцкий присылает распоряжения — не выпустит! В бумагу огонь не завернуть. Выше всех резонов его революционная ненависть и решимость служить трудовому народу.

В 1900 г. на яхте «Заря» к островам Новой Сибири взяла курс экспедиция барона Толля. К тому времени барон уже побывал на

островах в экспедициях 1885—1886 и 1893 гг., показав себя настоящим полярным исследователем.

В этот раз Эдуард Васильевич Толль поставил целью исследовать остров Беннетта и непременно найти Землю Санникова, она должна находиться к северу от островов Новой Сибири.

Землю Санникова «Заря» не обнаружила, хотя плавала как раз там, где та должна была находиться. Весной 1902 г. Эдуард Васильевич с помощниками и двумя якутами отправился пешком по льдам на остров Беннетта — подойти вплотную на яхте не представлялось возможным. «Заря» ушла на юг.

Летом ей полагалось вернуться за исследователями, однако льды не пустили. В зиму же (1902/03) Эдуард Васильевич не вернулся. В назначенном для такого случая месте никто из группы не объявился.

Александр Васильевич вызвался найти барона. Александр Васильевич отлично понимал: по сути дела, он должен повторить предприятие барона и точно в таких же условиях; риск гибели велик. Следовало преодолеть Большую сибирскую полярную пустыню. Она практически не замерзает. Здесь во все времена года или шуга, или открытая вода. От острова до материка — около 130 километров.

Он отправился с добровольцами на вельботе к острову Беннетта, часть пути была пройдена на санях. Он проявил настойчивость, и ему удалось напасть на следы Толля и его спутников. Он обнаружил геологическую коллекцию и бумаги Эдуарда Васильевича. Энергичные поиски самих исследователей не увенчались успехом. Скорее всего, они погибли в странствованиях среди льдов. С тех пор в энциклопедиях и справочниках датой смерти барона Толля значится 1902 год. Прожил он 44 светлых года.

Уроженец Ревеля (Таллинна), Эдуард Васильевич Толль закончил естественный факультет Дерптского (Тартуского) университета. В 1892 г. побывал в Алжире и на Балеарских островах. В 1885—1886 гг. по поручению Академии наук вместе с доктором А. А. Бунге обследовал острова Новой Сибири и район реки Яны.

1887 г. Эдуард Васильевич провел в заграничной командировке.

Позже его назначают хранителем Минералогического музея Академии наук. Он был неутомим — занимался геологическими изысканиями в Прибалтике, получил степень магистра геологии.

В 1893 г. руководил геологической экспедицией на севере Якутии, вторично посетив острова Новой Сибири...

Ленин писал:

«Для нас важно, что ЧК. осуществляют непосредственно диктатуру пролетариата, и в этом отношении их роль неопределима. Иного пути к освобождению масс, кроме подавления путем насилия эксплуататоров, — нет. Этим и занимаются ЧК., в этом их заслуга перед пролетариатом».

Председатель иркутской чека знать этих слов Ленина не мог, но свое отношение к классовой борьбе строил именно в строгом

соответствии с данным высказыванием главного вождя, ибо оно составляло дух всего учения. О другом пути в светлое завтра товарищ Семен и не задумывался.

В июне 1900-го — сентябре 1902-го Колчак проделал вместе с «Зарей» следующий путь: Петербург — Александровск-на-Мурмане — остров Кузькин (ныне остров Диксон) — зимовка у берегов Таймыра (ледовый плен здесь продолжался 11 месяцев) — мыс Челюскин — море Норденшельда (ныне море Лаптевых) — остров Беннетта (высадка не удалась) — лагуна Нерпалах у острова Котельный (здесь опять зимовали 11 месяцев) — новое плавание в район предполагаемой Земли Санникова и новая попытка пробиться к острову Беннетта (куда по льду ушел с тремя спутниками барон Толль) — бухта Тикси. Во время зимовок совершали поездки на собачьих нартах и лыжах.

В октябре 1900 г. Александр Васильевич участвовал в поездке Толля к фиорду Гафнера, надо было устроить продовольственное депо. По ходу путешествия была определена истинная форма Таймырской губы.

20 апреля — 30 мая 1901 г. они вдвоем с Толлем путешествовали по Таймыру. Все 500 верст пути Александр Васильевич вел маршрутную съемку, опирающуюся на девять определенных им астропунктов.

Позже Колчак (где со спутниками, а где и в одиночку!) впервые пересек остров Котельный, измерив высоты барометрической нивелировкой, проехал поперек Земли Бунге от устья реки Балыктах к южной части острова Фаддевский, совершал разъезды по льду к западу и северу от острова Бельковский, им открыт остров Стрижев, и еще много других важных и нужных дел он исполнил.

Толль отметил, что Колчак «не только лучший офицер, но он также любовно предан своей гидрологии».

Под руководством Александра Васильевича проводились (по возможности круглосуточно) комплексные гидрологические исследования. Он измерял глубины, вел съемку и опись берегов. Западные берега Таймыра и соседних островов приобрели совершенно новые очертания на картах. Он выходил на разведку на паровом катере или шлюпке, вел постоянные наблюдения за состоянием льдов, контролировал ежечасный отсчет прилива на зимовке. Помогал астроному и магнитологу Ф. Г. Зеебергу. Для этого на первой зимовке выстроили специальный снежный домик на островке возле рейда «Зари». Зееберг и Колчак провели полные астрономические наблюдения на мысе Челюскин для проверки и уточнения его координат.

Вместе с биологами Колчак занимался драгировочными работами, передавал им свои зоологические сборы и результаты орнитологических наблюдений.

Вклад его оказался настолько значительным, что барон Толль назвал именем Колчака остров у берегов Таймыра (ныне остров Расторгуева).

Ленинизм вырос отнюдь не на пустом месте и не является лишь сугубо западной мыслью, искусственно вживленной в национальный организм России.

Уничтожение эксплуатации человека человеком, справедливое устройство мира — это в XIX веке страстно занимает европейское общество, идет напряженная лепка различных учений, создаются партии, тайные общества, парламенты, независимые газеты, гремят взрывы террористов... Человек решительно отказывается быть чьей-либо собственностью. И его труд не должен быть подневольным.

Не остается в стороне и Россия.

Лишить самодержавие всевластия, права повелевать и распоряжаться личностью. Стать не подданными, а гражданами. Владеть землей!.. Это составляет смысл и основу народничества во всем многообразии его программ и идейных течений. Именно народничество оказывается основой революционного движения в России после смерти императора Николая Первого — это ответ на невыносимый гнет крепостничества, торговлю людьми.

Происходит поиск и выработка теоретических воззрений народничества. Лишь в конце того же столетия народничество сводит на нет набирающая энергию социал-демократия. Само же народничество вливается по преимуществу в партию социалистов-революционеров.

В народничестве вырабатываются идея тайной организации, идея партии, идея сильной личности и еще множество других идей, которые позже проглядывают в программах ряда предреволюционных партий.

В народничестве совершенно самостоятельной величиной предстает Лавров.

Петр Лаврович Лавров родился в 1823 г. в семье богатого дворянина. Он был на пять лет старше Н. Г. Чернышевского и на 21 год — П. Н. Ткачева. Ему исполнилось четырнадцать, когда погиб Пушкин. Достоевский родился всего на два года раньше Пети Лаврова. Отец будущего вождя народничества вел почтительное знакомство с Аракчеевым, был представлен императору Александру Первому. Семью Лавровых отличали набожность, преданность самодержавию и любовь к книге.

В год гибели Пушкина Петр Лавров был определен в артиллерийское училище, которое блестяще окончил в 19 лет. С 1844 г. преподает в том же училище математику, одновременно пробует печатать стихи.

Увлечение историей Французской революции, якобинством, пристальное изучение истории вообще и философии выводят его на

самостоятельное осознание принципов революционной борьбы. В основе его теории — могучая личность, партия и массы, а главное — интеллигенция.

Лаврова ссылают в Вологодскую губернию. Именно из этой ссылки приходят его «Исторические письма» (1868—1869), огнем опалившие образованную Россию.

Он адресовал «Письма» интеллигенции. Других сил, способных усвоить задачи общественного переустройства, Лавров не видел¹.

В 1870-м Лавров скрывается за границу. Вскоре он становится во главе издания журнала «Вперед». Союз с Ткачевым не складывается. Журнал, кстати, денежно поддерживал Иван Сергеевич Тургенев.

Умер Лавров в Париже 25 января 1900 г.

Революция, по мнению Лаврова, наступает тогда, «когда в среде масс вырабатывается интеллигенция, способная дать народному движению организацию (то есть партию), которая могла бы устоять против организации их притеснителей».

«Только союз интеллигенции единиц и силы народных масс может дать... победу».

Для этого нужно пробиться к народу, овладеть его вниманием и интересами, пробудить в нем чувство поиска и жажду к борьбе. Самым серьезным препятствием на данном пути является забитость и инертность масс.

Именно Лавров обосновал идею «опрощения» интеллигенции во имя сближения с народом, идею «хождения в народ».

«...Образовать энергетический фермент, при помощи которого поддерживалось бы и росло существующее в народе недовольство своим положением, фермент, при помощи которого начиналось бы брожение там, где его нет; усиливалось бы там, где оно есть...» (из журнала «Вперед»).

«В одном народе есть, — писал Лавров, — достаточно энергии, достаточно свежести, чтобы совершить революцию, которая улучшила бы положение России. Но народ не знает своей силы, не знает возможности низвергнуть своих экономических и политических врагов. Надо его поднять. На живом элементе русской интеллигенции лежит обязанность разбудить его, поднять, соединить его силы, повести его на битву. Он разрушит гнетущую его монархию, раздавит своих эксплуататоров и выработает своими свежими силами новое, лучшее общество. Здесь, и только здесь, спасение России».

Седов пишет, что «произведения Лаврова широко использовались участниками революционного движения; достаточно напомнить, что они фигурировали чуть ли не во всех политических процессах тех лет».

¹ См. С е д о в. М. С. П. Л. Лавров в революционном движении России. — «Вопросы истории», 1969, № 3.

Лавров становится одним из самых влиятельных и почитаемых вождей народничества.

Незадолго до смерти он писал:

«Мы, русские люди всех оттенков любви к народу, всех способов понимания его блага, должны работать каждый на своем месте своим орудием, стремиться к одной цели, общей над всем и специальной для нас, русских. Здесь грозная обязанность лежит на русской молодежи, готовой вступить в XX век и которой предстоит создать историю этого века».

Ленин родился, когда Лаврову было сорок семь. И история создания нового века России выпадет по преимуществу на его, Ленина, долю.

Известный дореволюционный публицист Кистяковский писал: «Правосознание нашей интеллигенции находится на стадии развития, соответствующей формам полицейской государственности». Но наш публицист не сознавал, что та весьма заметная часть интеллигенции, которая обнаруживает данные качества, и не могла их не обнаруживать, она — в народе и отражает уровень миропонимания народа, да и сама среда (это, в общем, тоже относится к миропониманию народа) каждый день давала предметные уроки, как дает их и по сию пору, когда иной раз охватывает отчаяние: это не сознание, не мудрость, а зловонное болото. В народе много героического, возвышенного, даже детского, но немало и такого, отчего хочется в петлю. Чтобы жить с народом, следует избавиться от лубочных представлений о нем. Тогда достанет сил дожить, не заболев чахоткой или не отравив себя газом. Это и свободолюбивый народ — и народ полицействующий, даже палачествующий, это ребенок — и расчетливый эгоист, это и душа нараспашку — и паразитическое безразличие, черствость, это любовь к сильной руке — и ненависть к поработителям... Это перечисление можно продолжать бесконечно. Надо быть с народом, жить с ним и очень любить его, чтобы понимать его добрые и злые качества. Надо испытывать такое чувство к нему, которое делает ясным одно: жизни вне этого народа для тебя нет.

Из протокола допроса бывшего адмирала Колчака:

«В сентябре месяце (1899 года) я ушел на «Петропавловске» в Средиземное море, чтобы через Суэц пройти на Дальний Восток, и в сентябре прибыл в Пирей. Здесь я совершенно неожиданно для себя получил предложение барона Толля принять участие в организуемой Академией наук под его командованием северной полярной экспедиции в качестве гидролога этой экспедиции... Мне было предложено, кроме гидрологии, принять на себя еще должность второго магнитолога экспедиции... Для того чтобы подготовить меня к этой задаче, я был назначен на главную физическую обсерваторию в

Петрограде и затем в Павловскую магнитную обсерваторию. Там я три месяца усиленно занимался практическими работами по магнитному делу для изучения магнетизма. Это было в 1900 году.

Экспедиция ушла в 1900 году и пробыла до 1902 года. Я все время был в этой экспедиции. Зимовали мы на Таймыре, две зимовки на Ново-Сибирских островах, на острове Котельном; затем, на третий год, барон Толль, видя, что нам все не удастся пробраться на север от Ново-Сибирских островов, предпринял эту экспедицию. Вместе с Зебергом и двумя каюрами он отправился на север Сибирских островов...

Ввиду того что у нас кончались запасы, он приказал нам пробраться к земле Беннетта и обследовать ее, а если это не удастся, то идти к устью Лены и вернуться через Сибирь в Петроград, привезти все коллекции и начать работать по новой экспедиции. Сам он рассчитывал самостоятельно вернуться на Ново-Сибирские острова, где мы ему оставили склады».

Это был подвиг во имя людей. Каждый шаг — риск и угроза гибели...

В первую же встречу председатель губчека предупредил бывшего Верховного Правителя: здесь придворным тоном никто разговаривать не собирается. Нет, не унижить хотел, а просто дать понять: избыло гнилое время федоровичей и прочих эсерствующих — отныне с народом иметь дело бывшему высокопревосходительству.

Александр Васильевич только плечами повел:

— Что за чушь!

А про себя подумал: «Il a la tête à l'envers»¹.

— Вовсе не чушь, — снизил на утробный бас голос товарищ Чудновский. — И люксов у нас тоже не имеется. И какавы с пирожными не подадут.

Нет, слово «какао» товарищ Чудновский знал и мог выговорить по всем правилам, но опять-таки давал понять: от народа он здесь, самой что ни на есть черной кости.

Поначалу Денике глаза пучил и округлял: не стоит, мол, так, все же персона, а только председателю губчека класть на все эти эсероинтеллигентские обхождения. На-ка, выкуси, нет больше эсеров — испеклось сучье племя! А что до интеллигентов — пусть перековываются: это установка товарища Ленина.

Вообще товарищ Семен крепко разочаровался в бывшем Верховном Правителе. Представлял его себе до невозможности чванливым, бешеным, грубым.

Генерал или адмирал — это для председателя губчека не звание, а уже сама натура.человека, его нутро. И по его убеждению, дурная

¹ «У него голова не на месте» (фр.).

натура, подлая, в обиду людям. И поэтому был он поражен до чрезвычайности адмиральской холодной вежливостью и обходительностью. Приглядывался: вроде татарская фамилия, а татарского... ни на ноготок. Большеносый — какой же это татарин?.. Но сам нос не сыро-толстый или плоский, а сухой, натурально орлиный. Волосы не плотные и не жидкие: русые, с сединой, и на пробор. Губы тонкие, но не лезвием, не сухие — аристократные, чтоб им лопнуть! Голос уверенный, ровный, всегда на одной ноте — о чем ни толкуй, — а трепали, будто орет и мебель крушит!..

Ладно, что тут, маузеру без разницы, бывший ли Верховный Правитель, аль просто поручик, или сучонка офицера. Каждый Божий день увозили на Ангару и захпихивали под лед, в прорубь, трупы врагов революции: надо очищать землю.

Священную волю трудового народа приводили в исполнение под утро, в подвале тюрьмы. Поначалу для палаческого ремесла был приспособлен китаец — секретный человек в иркутских краях.

Кровь китаец не успевал подтирать — коркой заполировала пол. Вот в подвал и спустится их высокопревосходительство — председатель губчека в том никому не открывался, решил твердо: разведет их с адмиралом лишь маузер — и по-другому не бывать! Одна дорожка адмиралу — в подвал, к секретному человеку.

«Группа этих морских офицеров, с разрешения морского министра, образовала военно-морской кружок, полуофициальный... В конце концов, мною и членами этого кружка была разработана большая записка, которую мы подали министру по поводу создания Морского Генерального штаба, то есть такого органа, который бы ведал специальной подготовкой флота к войне, чего раньше не было...

Я считал, что это есть негодование народа за проигранную войну (революция 1905 г. — Ю. В.), и считал, что главная задача, военная, заключается в том, чтобы воссоздать вооруженные силы государства. Я считал своей обязанностью и долгом работать над тем, чтобы исправить то, что нас привело к таким позорным последствиям...»

К работе над выявлением недостатков, имевших место на кораблях в русско-японскую войну, и особенно в Цусимском сражении, были привлечены Морской технический комитет, ученые Морской академии с Крыловым, инженерный состав Балтийского судостроительного завода и петербургского порта, представители Главного морского штаба, командиры линейных кораблей и некоторые офицеры — участники Цусимского сражения.

Энергично отработывались принципиально новые установки программы судостроения и требования для немедленных изменений в конструкциях уже заложенных кораблей. Сознавали: времени в обрез, Германия с могучим флотом — у берегов России. Кто защитит?

Россия должна верить в свой флот...

Воспоминания теплят душу. Нет, даром пожил... Александр Васильевич засовывает руки в рукава шинели, съезживается и задремывает.

«Они безбожники, атеисты, — думает он о большевиках в урывках между беспамятством сна, — но сколько же у них от веры! «Не работающий пусть не ест» — из Евангелия, а у них: «Кто не работает, тот не ест». И это одна из самых серьезных посылок всей их программы... «Его же царствию не будет конца» — тоже из Евангелия, а у них: „Царству рабочих и крестьян не будет конца...“»

Александр Васильевич был верующим, но верил он не столько в Создателя, сколько в родство душ, питал равнодушие к богатству и круто презирал стяжательство. За всю жизнь ничего у него не было, кроме военного жалованья.

Он обводит взглядом камеру: камень, иней, подтеки — все одно и то же. Смотреть некуда — только в себя, в упор. Ты, твоя совесть и все прожитое...

Ночи не просто окутывали мраком и тишиной — давили физически.

В порт-артурскую осаду Александр Васильевич командовал миноносцем и имел возможность убедиться в огромной будущности миногого оружия.

«...Так же погиб броненосец «Хатцузе», подорвавшись на нашем миномном заграждении, поставленном капитаном второго ранга Н. Ф. Ивановым; одновременно подорвался и броненосец «Яшима», на нем детонации не было, — вспоминал Крылов, — его повели в Сасебо, но по пути он затонул...»

Это случилось 2 мая 1904 г.

Кстати, самые мощные корабли для японского флота построила Англия.

«К нам на помощь была брошена Балтийская (2-я Тихоокеанская) эскадра — сборная из устаревших разнотипных кораблей, и с ней — пять новейших броненосцев, ударная сила флота», — листает в памяти прошлое Александр Васильевич. Свято то время: воевал с врагами, и Россия была ему за это благодарна — все просто и ясно. Хорошо, когда платят... признанием и любовью.

Тот, флот, что двинул на выручку, уже был обречен.

Александр Васильевич вспоминает рассказ старшего офицера «Авроры» — той, которая дала холостой выстрел 25 октября семнадцатого года. При Гульском инциденте (9 октября 1904 г.) у Доггер-Банки — месте ловли сельди английскими рыбаками, принятыми в ту ненастно-несчастную ночь за японцев, — в «Аврору» вмазало несколько снарядов с русских кораблей. К счастью, не все разорвались.

Командир крейсера капитан первого ранга Егорьев кричал матросам:

— Братцы, если бы это были японцы, снаряды разорвались бы, а эти только дырявят! Свои стреляют! Прекратить огонь!

Этот невероятный рассказ Александр Васильевич слышал из собственных уст Небольсина. В Цусимском бою Егорьев погиб, а старший офицер Небольсин был тяжко подранен.

А тогда, у Доггер-Банки, в «Аврору» вмазали пять мелких снарядов: ранили комендора и священника — тому оторвало руку и ногу...

Эскадра плыла навстречу смерти. Об этом писали и в России, взять хотя бы капитана второго ранга Кладо¹...

Участником Цусимского сражения оказался будущий писатель Алексей Силыч Новиков-Прибой, тогда просто баталер Новиков с новейшего броненосца «Орел». В 30-е годы он написал роман-эпопею «Цусима», удостоенный 15 марта 1941 г. Сталинской премии второй степени.

Вот документальное описание того боя на флагманском броненосце «Суворов» (тоже новейшей постройки). Надо полагать, Александр Васильевич Колчак не раз слышал описание сражения. Не мог не интересоваться и подробно не расспрашивать. От этих рассказов, казалось, кровь свертывается в жилах. Он же русский морской офицер!

«...Ручки штурвала были в крови. «Суворов» снова лег на прежний курс — норд-ост 23°.

Из всех пунктов корабля сообщали в рубку неутешительные вести (в рубке находился командующий эскадрой адмирал Роже-ственский. — Ю. В.). Разбит перевязочный пункт в жилой палубе около сборной церкви (не защитил русский Бог. — Ю. В.). Раненые здесь были превращены в кровавое месиво. У левого подводного аппарата от пробоины образовалась течь. По телефону сообщили еще новость:

— В кормовую двенадцатидюймовую башню попали крупные снаряды. Произошел взрыв. Башня разрушена и не годна к действию.

Корабль лишился уже половины всей своей артиллерии.

Адмирал ранен осколком, но остался в рубке. Однако его присутствие было уже бесполезно. Он не мог командовать эскадрой.

При бешеном огне противника никто не показывался на мостике, чтобы поднять флажные сигналы: снаряды немедленно сметали людей. Кроме того, все фалы были перебиты, сигнальный ящик с флагами охвачен огнем. Рухнула срезанная снарядом грот-матча и свалилась за борт. С фок-мачты упал нижний рей...

¹ Н. Л. Кладо преподавал в Морской академии тактику и историю военно-морского дела; скончался летом 1919 г., будучи начальником этой академии. Постановлением Реввоенсовета Балтийского флота академию принял Крылов.

Адмирал, беспомощный и пассивный, оставался на своем посту, ожидая того снаряда, который снимет с него тяжесть командования...

В рубке разбило второй дальномер. Адмирал повернул на грохот голову. Лицо его передернуло судорога, как бы от острой боли. Сквозь зубы, ни к кому не обращаясь, он произнес:

— Мерзость!

Но как спасти положение? Как дать знать на другие суда, что необходима смелая инициатива с их стороны, ибо флагманский корабль уже принял на себя все снаряды, которых хватило бы на всю эскадру? Они привыкли только повиноваться, они ждут приказаний и послушно идут за адмиралом, а ему остается лишь вести их за собой, стоя на коленях в рубке.

Неприятель, пользуясь большим преимуществом хода, быстро продвигался вперед нашей колонны, охватывая ее голову и держа «Суворова» в центре дуги...

В момент, когда броненосец покатился уже вправо, снаряд большого калибра разорвался у просвета боевой рубки. В рубке часть людей была перебита, остальные ранены, в том числе и адмирал, лоб которого был рассечен осколком. Штурвал оказался заклиненным... никем не управляемый «Суворов» вышел из строя...

Адмирал сидел на палубе, удрученно склонив голову. Вести его в операционный пункт по открытым палубам, среди пожаров, под разрывами снарядов, не было никакой возможности. Власть его над эскадрой в тридцать восемь вымпелов кончилась.

Полковник Филипповский, обливаясь кровью, начал при помощи машин управлять «Суворовым»...

Через несколько минут снаряд ударил в рубку с носа. В воздухе закружились стружки. Адмирал еще раз был ранен — в ногу... командир корабля Игнациус опрокинулся, но сейчас же вскочил на колени и, дико оглядываясь, схватился за лысую голову. Кожа на ней вскрылась конвертом... Флаг-офицер Кржижановский, руки которого были исковыряны мелкими осколками, словно покрылся язвами, ушел в рулевое отделение — поставить руль прямо. Все приборы в боевой рубке были уничтожены, связь с остальными частями корабля расстроилась...

Около трех часов пожаром были охвачены роостры, верхняя штурманская рубка, передний мостик и каюты на ней. Внутри боевой рубки лежали неубранные трупы офицеров и матросов. В живых остались только четверо, но и те были ранены: сам адмирал Рожественский, флаг-капитан Клапье-де-Колонг, флагманский штурман Филипповский и один квартирмейстер. Им предстояла страшная участь — или задохнуться в дыму, или сгореть, так как боевая рубка, охваченная со всех сторон пламенем, напоминала теперь кастрюлю, поставленную на костер. Сообщение с мостиком было отрезано. Оставалось только одно — выйти через центральный пост. Раскидали трупы, открыли люк, и все четверо

начали спускаться вниз по вертикальной трубе... почти на самое дно...

«Суворов» был обезображен до неузнаваемости. Лишившись грот-мачты, задней дымовой трубы, с уничтоженными кормовыми мостиками и рострами, охваченный огнем по всей верхней палубе, с бортами, зиявшими пробоинами, он уже ничем не напоминал предводителя эскадры...

Управление кораблем шло из центрального поста. Там из штабных остался только один полковник Филипповский. Остальные куда-то скрылись. Ушел также и адмирал. Всеми покинутый, он некоторое время бродил в нижних отделениях судна, хромая на одну ногу и часто останавливаясь, словно в раздумье. Ему хотелось пробраться наверх, в одну из уцелевших башен, но путь туда был прегражден пламенем. Он не отдавал больше никаких распоряжений. Матросы, занятые своим делом, не обращали на него внимания. Он стал лишним на корабле и никому не нужным...

На исходе четвертого часа «Суворов» снова оказался между нашей и неприятельской колоннами и вторично подвергся сосредоточенному огню противника. Броненосец окончательно лишился всех труб, его пожары выбрасывали над грудой железного лома чудовищные языки пламени, напоминавшие извержение вулкана. Со стороны, с проходивших мимо кораблей, нельзя было без содрогания смотреть на картину опустошения и смерти...

Давно погиб броненосец «Ослябя». А остальные десять наших линейных кораблей, уходя на юг, вели жаркую артиллерийскую дуэль с японской эскадрой.

«Суворов», наклоняясь то в одну сторону, то в другую, едва мог двигаться. От накаливания верхняя палуба на нем осела настолько, что придавила батарейную. Кочегарная команда угорела от дыма, затянутого вниз вентиляторами. Броневые плиты на бортах у ватерлинии расшатались, стыки разошлись, давая во многих отсеках течь. Но, несмотря на такое разрушение, корабль продолжал упрямо держаться на воде...»

Это был разгром огромной эскадры под андреевским стягом.

Александр Васильевич в мельчайших подробностях мог представить, как тонули русские корабли. Добрая часть его товарищей по Морскому корпусу погибли там, в Цусимском проливе. В плену у японцев он находился вместе с офицерами 2-й Тихоокеанской эскадры и бесконечное количество раз слушал их рассказы. А рассказать было что...

Они опять-таки бесконечное количество раз проигрывали то сражение, выбирая из всех вариантов единственный — тот, который, если бы даже не нанес врагу поражения, путь на Владивосток открыл бы. Он и его друзья спорили над самодельными схемами сражения, двигали спичечные коробки, долженствующие обозначать боевые корабли, ища наивыгоднейшее решение.

Они обязаны были это делать: трагедия не должна повториться. Андреевский флаг будет внушать уважение неприятелю — это их задача, им воссоздавать российский флот.

31 декабря 1904 г. Лев Николаевич Толстой записал в дневнике: «...Сдача Порт-Артура огорчила меня, мне больно. Это патриотизм. Я воспитан в нем и несвободен от него так же, как несвободен от эгоизма личного, от эгоизма семейного, даже аристократического, и от патриотизма. Все эти эгоизмы живут во мне, но во мне есть сознание божественного закона, и это сознание держит в узде эти эгоизмы, так что я могу не служить им. И понемногу эгоизмы эти атрофируются...»

Я понимаю смысл толстовского рассуждения, но, очевидно, во мне нет сознания божественного закона, я не могу подняться к отвлеченным категориям, раскованному чувству и сознанию. Ибо боль за Отечество всегда равна и даже превосходит все другие боли во мне. Боль за него равна большой ране во мне. Если это атавизм — я умру с ним, но другим сделаться не могу. Здесь смысл моей жизни, все мои ошибки и крушения, направление всех шагов. Я жил не для себя... Без патриотизма народ угаснет.

Американцы, не в пример англичанам, действовали исключительно дружески к России. Узнав о разгроме русского флота и уходе ее крейсерской эскадры на Филиппины, они выслали два броненосца и три крейсера для защиты русских кораблей от японцев.

В Александре Васильевиче до сих пор живо горе моряков России. Горе утраты товарищей и горе позора пригнули всех к земле...

Откликнулся на разгром отечественного флота и Ленин.

«Этого ожидали все, но никто не думал, чтобы поражение русского флота оказалось таким беспощадным разгромом... Русский военный флот окончательно уничтожен... Перед нами не только военное поражение, а полный военный крах самодержавия».

Именно крах, и полный. Россия предстала во всей своей наготе и беззащитности.

Что делать? Разрушить государственный строй и воссоздать Россию сильной, как и подобает ее просторам и мужественному народу? Или реформами добиться обновления государства? Но для этого самодержавие должно в значительной мере поступиться своими правами и вообще проявить мудрость...

Историки считают самыми опасными для существования определенного государственного строя два момента:

— сокрушительное военное поражение;

— решительное обновление, либерализацию существующих порядков.

То и другое чревато резким ослаблением власти, что может обраться революцией.

Так, после первой мировой войны перестали существовать султанская Турция, Австро-Венгерская монархия Габсбургов, Германская империя Гогенцоллернов и Российская — Романовых.

Государственные организмы, неспособные дотолпе к самосовершенствованию, склонные к репрессивным действиям вместо коренных реформ, непременно ждут кризисы и потрясения в любом из двух названных случаев. Россию после военных неудач первой мировой войны ждали две революции и в итоге — большевизм, а за ним — смута 90-х годов.

Да, эскадра плыла навстречу смерти, дабы в огне, реве, вихре разрывов, криках и столах людей погрузиться в пучину.

Цусимское сражение развернулось 14—15 мая 1905 г. в Корейском проливе у островов Цусима между русской 2-й Тихоокеанской эскадрой под командованием вице-адмирала Зиновия Петровича Рожественского (1848—1909) и японским флотом; командующий — адмирал Х. Того.

Русский флот подвергся нещадному разгрому. Оказались на дне 4 новейших броненосца, 1 броненосец устаревшей конструкции, 1 броненосец береговой обороны, 3 крейсера, 1 вспомогательный крейсер, 1 эсминец, 1 транспорт. Спустили флаг и сдались неприятелю 5 броненосцев старого и нового типов, а также эсминец «Бедовый» с раненым адмиралом Рожественским на борту.

Три эсминца затопили свои же команды, дабы избежать позора сдачи. Ушли в нейтральные порты и разоружились 6 кораблей, в том числе будущий «великий крейсер революции» «Аврора». Прорвались во Владивосток 4 корабля, один из которых (крейсер «Изумруд») в панике был затоплен командиром у родных берегов. Вернулся в Балтику 1 корабль...

Скончались от ран и утонули 5044 русских моряка. Взято в плен около 6000.

У японцев серьезно не пострадал ни один крупный корабль.

Это был не разгром — это была катастрофа. Русский флот никогда, даже отдаленно, не испытывал ничего подобного. Возмущение и боль потрясли Россию.

Почему, отчего это?

Кто Романовы и Николай Второй для России?

Монархия?

Республика?

Если так будет — России не станет. В чем избавление?..

Через 14 месяцев среди грохота бомб террористов, погромов, разрушений, смертей к высшей власти придет Столыпин. С 8 июля 1906 г. он председатель Совета Министров.

Революционные партии, поредевшие, разгромленные, отступали в подполье и эмиграцию.

Россия нуждалась в обновлении. История назвала имя Столыпина.

Будет ли использована эта возможность, может быть, последняя?..

История молчит. Она сделала ход.

Ее дело — делать ходы. Она будет ждать. Не будет использован шанс — она сделает новый ход. Двинет революции.

Она не нарушает последовательности. Это люди не умеют читать или не хотят понять ее веления. А она делает нужные ходы в нужное время. Не прочтут ее веления — она доведет ходы до разрушительных, но ей до этого дела нет. Хлынет кровь, наступит хаос — ей дела нет. Она давала шанс, и не один. Надо уметь читать ее веления.

В тот миг она назвала имя Столыпина.

Цусимский бой оказался проигран за десять минут. Тактически безграмотное построение обрекло русскую эскадру. В остальные минуты и часы японцы лишь уничтожали корабли по отдельности. Они всей эскадрой сводили огонь на головной корабль и едва ли не в четверть часа превращали его в груды пылающего железа. Корабли опрокидывались при крене в шесть-семь градусов. Появлению крена способствовало накопление воды из-за тушения пожаров. Кроме того, волна захлестывала в пробоины и открытые оружейные борта.

Бой показал совершенную недостаточность подготовки артиллерийских расчетов, а также скверные взрывные свойства русских снарядов.

В Ютландском сражении (31 мая — 1 июня 1916 г.) — смертельном столкновении двух гигантских флотов (английского и германского) — у англичан обозначился тот же порок, но в гораздо худшей степени. Английские снаряды самых крупных калибров слишком часто не взрывались. Это очень дорого обошлось англичанам.

А тогда, в Цусимском сражении, японцы превосходили русских артиллеристов не только в точности стрельбы, но и в скорострельности, что имело первостепенное значение.

Все флоты мира лихорадочно изучали опыт Цусимы. В конструкции кораблей вносились изменения. До Ютландского сражения оставалось чуть более десятилетия.

На русских кораблях крыши башен не выдерживали попаданий даже шестидюймовых снарядов. Бой также доказал необходимость прикрытия передней части башен более толстой броней, и обязательно — без стыков. Смотровые щели пропускали множество осколков. Это приводило к поражению личного состава. Именно после Цусимского боя эти щели стали надежно защищать наружными броневыми щитами. Отравления газами комендоров привели к необходимости установки нагнетательной вентиляции. Почти

поголовная потеря командного состава потребовала существенного изменения конструкции боевых рубок.

Под градом японских снарядов не оправдала себя система броневоего крепления вообще, особенно броневых плит болтами. При повторных попаданиях снарядов крупных калибров плиты срывало, и снаряды уже сокрушали голый, беззащитный корабль.

Бой со всей очевидностью доказал: решающее значение имеет не совокупность артиллерии, а лишь немногие орудия главного калибра. С тех пор флоты мира повели погоню за корабли с самыми могучими орудиями...

Иван Константинович Спатарель (родом из Мелитополя) — один из первых российских авиаторов (его учил летать сам Михаил Ефимов — мировая знаменитость!), герой первой мировой войны (все 4 степени солдатского Георгия, 6 офицерских орденов и чин подпоручика вместо унтер-офицерских лычек), генерал-майор Советской Армии — писал в своих воспоминаниях «Против черного барона» (М., 1967, с. 20):

«После гибели нашего морского флота под Цусимой из всех уголков страны потекли добровольные пожертвования на строительство новых кораблей. Из этих средств, по копейке собранных в городах и селах России, 900 тыс. рублей передали на создание Воздушного флота. На народные деньги и купили за границей 7 аэропланов, которые осенью 1910 г. были доставлены в Петербург (а что до памяти Михаила Ефимова, он был застрелен врангелевцами в Одессе)».

Россия возродит флот. Каждый жертвовал, что мог, пусть по грошу, но от каждого это сложилось в большие миллионы.

Не стоять России на коленях!

«Я... приветствовал такое явление, как Государственная дума, которая внесла значительное облегчение во всю последующую работу по воссозданию флота и армии. Я сам лично был в очень тесном соприкосновении с Государственной думой, работал там все время в комиссиях и знаю, насколько положительные результаты дала эта работа...

...В 1907 году мы пришли к совершенно определенному выводу о неизбежности большой европейской войны. Изучение всей обстановки военно-политической, главным образом германской, изучение ее подготовки, ее программы военной и морской и т. д. совершенно определено и неизбежно указывало нам на эту войну, начало которой мы определяли в 1915 году, — указывало на то, что эта война должна быть.

...Главную причину (поражение в войне с Японией. — Ю. В.) я видел в постановке военного дела у нас, во флоте, в отсутствии специальных органов, которые бы занимались подготовкой флота к войне... Флот не занимался своим делом — вот главная причина. Я

считаю, что политический строй в этом случае играл второстепенную роль... при каком угодно политическом строе вооруженную силу создать можно...

В 1906 году... после того как наш флот был уничтожен и совершенно потерял все свое могущество... группа офицеров, в числе которых был и я, решила заняться самостоятельной работой, чтобы снова подвинуть дело воссоздания флота и, в конце концов, тем или иным путем как-нибудь стараться в будущем загладить тот наш грех, который выпал на долю флота в этом году, возродить флот на началах более научных, более систематизированных, чем это было до сих пор... Нашей задачей явилась идея возрождения нашего флота и морского могущества...»

Александр Васильевичу было тогда 33 года.

В 1912 г. Совет Министров утвердил программу строительства флота и предложил морскому министру представить «Программу усиленного судостроения 1912—1916 гг.» в Государственную думу.

12 июня 1912 г. эта программа стала законом. На флот выделялись 500 млн. рублей — невиданные средства!

Мял товарищ Чудновский, прочитывая снова и снова, копию телеграммы делегации Политцентра из Томска. С утра сам не свой.

*«Иркутскому Политическому Центру,
копия доктору Глосу,
дипломатическому представителю чеховойск,
копия генералу чеховойск Сыровому
Военная, вне очереди*

Сибревком предлагает чеховойску через мирную делегацию Политического Центра свободный проход через Советскую Россию на родину в количестве один эшелон в день, скорость не менее 200 верст в сутки, сохраняя оружие и получив гарантию неприкосновенности. Эшелон имеет право сопровождать представитель Соединенных Штатов.

В случае принципиального согласия представители чеховойска должны выслать особую делегацию к передовым отрядам Красной Армии для выработки подробностей условий похода.

*Ахматов. Кононов. Колосов. Коркин
Верно: дежурный по штабу
30-й стрелковой дивизии»*

30-й дивизией командовал А. Я. Лапин, а за командарма Пятой был Устичев. А в самой этой дивизии и воевал до ранения Самсон Брюхин.

Ранение оказалось несерьезным. Пуля, очевидно, находилась на излете. Пробила молодой бицепс правой руки, ткнулась было в бок, но даже не поломала ребра — только шрамы на бицепсе: сморщен-

ный комок кожи и жирка, кожа веснушчатая, бледная с рыжеватой порослью, а входное и выходное отверстия — морщинистые узелки.

Самсон Игнатьевич заголил руку, показывая, куда «клянула белая пуля», и тут же, наливаясь смешком, заговорил, не обращая на меня внимания (холостяк, привык сам с собой разговаривать):

— Три недельки погужевал в лазарете, а напоследок, когда в команде выздоравливающих... Ох, Нинка, ох, лярва бесстыжая!..

Он надолго замолчал, уставив взгляд на краешек этажерки с альбомами для открыток, а после сказал с внутренним озлоблением:

— Не поверишь, Юрка, нынче эта сикущка в больших персонах. В Академии педагогических наук, книги издает, лекции читает! А такая «прости Господи»... и к тому же дуреха. Ну с чего ей, спрашивается, опосля поумнеть? Ну передком и въехала в академию! Сколько таких! С лица и внизу — видная, что еще надобно? Во, трусики-штанишки!..

Ян Сыровы наотрез отказал Политцентру — не дал согласия на курьерский прогон легиона через Россию к западным границам, казалось бы, чего проще, и морские посудины союзников не нужны. Садись — и вылезешь дома.

И вот это встревожило Чудновского. Не надурят ли опять, как в мае восемнадцатого? Не простит себе, если не добудет уточняющих сведений. Никто в России так не близок к штабу легиона, как он. Полтора часа пешком — и перед тобой этот рассадник контрреволюции.

А с другой стороны, что чехословакам дурить? Он-то, Чудновский, знает: гниет, преет легион — осатанела ему война, к тому же разжирел барахлом, поутратил резвость, сыт кровью сибирских мужиков да баб. Словом, рвется чеховойско домой, к своим святым да женкам.

Прослышан товарищ Чудновский о миссии военного министра Чехословацкой республики Штефаника¹ в декабре 1918-го — уже с 14 ноября стоит самостоятельная республика чехов и словаков, вырвались из-под гнета Габсбургов.

Запретил пан министр возвращение легиона через советскую Россию, потерпеть надо, пока подадут суда союзники.

Понимать это следовало так: необходимо отработать билет домой — еще пострелять русских, тогда Колчак усядется понадежнее.

Доктор Прокоп Макса — заместитель председателя Чехословацкого национального совета. С апреля 1917-го и до середины 1918-го безвыездно находился в России по делам легиона. В 1918—1920 гг. — член Национального собрания Чехословакии.

¹ В январе 1919 г. Штефаником был отдан приказ об отводе чехословацких войск с фронта.

Имеются непроверенные сведения о том, что Макса являлся и комиссаром легиона, посему был арестован и по приказу Ленина освобожден. Ленин имел с ним двухчасовую беседу (этот факт не поддается проверке). Ленин предложил Максе передать своему президенту желание советского правительства покончить с ненормальной обстановкой — корпус может выехать на Запад через Советскую Россию, правда, с условием: оружие будет следовать отдельными составами.

Не откликнулись на предложения Ленина в Праге.

Масарик, Бенеш и Крамарж сделали все, дабы скрыть предложение Ленина. Крамарж как премьер первого национального правительства Чехословацкой республики считал, что нет легиону необходимости обременять себя какими-то условиями. Легион должен с боями прорываться к западным границам России, а по пути пособить свергнуть это самое... большевистское правительство. Так сказать, «замочить» Москву и другие попутные города.

Осведомлен товарищ Чудновский как ответственный за разложение чеховойска, что летом 1919 г. пан Бенеш предложил изменить политические лозунги. Пусть легионеры идут в бой не за адмирала Колчака, а за свою свободу: пробить коридор на север, к Миллеру и англичанам, — и суда увезут на родину. Этот план называли английским, его обсуждал с Бенешем сам Черчилль. Потом американцы и французы присоединились к английскому плану. И все хором принялись давить через своих представителей в Сибири на Павлу, Гирса и Сырового: даешь Архангельск! Так и стращали легионеров: не пойдете на Архангельск, не один год еще прокукуете в Сибири, обойдуться без рыжих.

Дальше — больше: высокая конференция в Версале голосует за немедленную отправку легиона на фронт. Сам Клемансо отстукал телеграмму Колчаку.

А тут наши — возьми и испорти игру, на нет свели мартовские успехи генерала Ханжина под Уфой, вернули 9 июня 1919 г. этот городишко — нужен он республике! Тут и войска левого фланга Восточного фронта поднатужились.

Смерть черному адмиралу!

1 июля наши — в Перми, затем — в Уральске, Златоусте, Екатеринбурге, Челябинске...

Дрогнул Восточный фронт.

Куда тут на север пробиваться — отжали красные легион за Урал.

Однако не все гладко.

Деникин вплотную подлез к Москве, еще немного — и молебствие в первопрестольной.

И Юденич: протяни руку — и твой Петроград.

В общем, убойно грозная пора для советской России — осень девятнадцатого.

Товарищ Чудновский как вспомнит, аж зубами скрипит, тяжелый от мышц, плотный, — так его и перекрутит, даром, что малой.

У других святые — Бог с причтом, мать, отец, дети, любовь, Родина, слава, а у товарища Семена — революция.

Прости, несчастный мой народ!
Простите, добрые друзья!
Мой час настал, палач уж ждет,
Уже колышется петля!..

Любит эту песню русских политкаторжан Чудновский, частенько напевает один на один с собой.

А тут эти поганьши: Сыровы, Павлу, Гирс, Жаннен...

Требовал же в августе прошлого, 1919 г. Павлу от своего правительства свободы рук. Рассчитывал на захват Деникиным Москвы. Тогда легион навалился бы на советскую Россию с востока — и треснула бы республика Ленина и Троцкого; в красное вымазали бы и Питер, и Москву, и Киев — ну хоть все города. Краски этой, клейко-красной и горячей, сколько угодно, успевай подвози патроны и гробы...

Однако сознает товарищ Чудновский: нынче не та обстановка, на всероссийскую шкodu чеховойску не потянуть, но цапнуть может, и чувствительно.

В общем, легиону бы к Владивостоку унести ноги, захлестывает революция. В кровавых мозолях мужики; гляди, и сдерут с легиона чешскую позолоту.

И у легионеров соответствующее настроение. В голос нынче заблажили о клятвопреступной войне против России, о политике Праги и Антанты, которая превращает легион в истязателя России и славянства.

Хранятся у товарища Чудновского бумаги офицера чешской разведки (доносит уже о своих солдатах):

«Настроение чрезвычайно скверное и в боевом отношении ничего не стоит... Солдаты воевать не будут и используют все средства, чтобы выбраться из России домой...»

И пора бы...

Однако прав пан офицер, легионеры используют все средства: рушат мосты, загромаждают пути баррикадами из вагонов, валят их, взрывают станции и водокачки — и вот это опасный признак, не дает это покоя товарищу Чудновскому. Да пойдут завтра цепями с вокзала — и нет красного Иркутска!

Поэтому и держит председатель губчека в Глазкове надежных людей, в самые острые моменты не снимает. О любом шаге чехов донесут тут же. Не спускали глаз и с пана Благажа — политического уполномоченного чехословацкого правительства в Иркутске. У того, как у шлюхи, семь пятниц на неделе. А может, играет, сорит словами, а свое таит...

В случае бузы и товарищей надо успеть спасти, и губкому с ревкомом уйти, а самое первое — Колчака казнить.

Л. Г. Бескровный в своем исследовании «Армия и флот России в начале XX века»¹ напомнит об истинном отношении союзников к России.

«Союзники с подозрительностью отнеслись ко всем попыткам усиления русских военного и торгового флотов. Англия, ревниво охраняя свое первенство на море, всячески препятствовала покупке новых судов. Русский представитель в Англии докладывал: „В заказах мы полностью зависим от доброй воли (доброй ли? — Ю. В.) английского правительства... Адмиралтейство вообще против выпуска новых судов за границей и предпочло бы, чтобы наше морское министерство приобрело старые суда в Испании, Аргентине, Японии и т. п.“».

Подобное же известие из США привело морское ведомство к пессимистическому выводу: «Благодаря затруднениям, чинимым Америкой при покупке судов, а также отказам и задержкам в кредитах на покупку судов мы не в состоянии сколько-нибудь обеспечить защиту Кольского залива и вообще части северных вод».

Это была горькая истина для России. И она стала воссоздавать флот с опорой на отечественные заводы. Такие, как, скажем, Балтийский, Ижорский, Обуховский, кронштадтские, николаевские, севастопольские...

Бескровный отмечает:

«Все программные наметки пришлось оставить в связи с началом мировой войны. Германия решила не ждать, когда ее противники будут иметь подавляющий перевес, и начала военные действия в удобный для себя момент. К началу мировой войны русский флот не отвечал требованиям времени и, по существу, не был готов к участию в большой войне...»

Чудновский уместился на краешке стола и моргает в упор на адмирала: ждет этого... пуля из лично его, Чудновского, маузера. Нет, не доверит секретному человеку, сам... исполнит священную миссию. Треснет адмиральская башка, как спелый арбуз, треснет!

Крепкие это должности: председатель губчека, следовательно и член ревкома. В одном лице и власть, и судья, и прокурор, и каратель, и вообще народ...

Уступил Политцентр ревкому. Народ по всем направлениям берет власть.

В председатели ревкома двинут Александр Александрович Ширямов — бесстрашный товарищ, с 20-летним подпольным стажем, в каких переделках не бывал, всему пролетарскому Иркутску авторитет — громом каждое его слово.

Товарищ Чудновский выделил ему и Янсону в личную охрану

¹ М., «Наука», 1986.

двоих самых надежных сотрудников с фронтовым опытом: спать, есть возле новой иркутской власти, прозеваете их жизни — не будет вам пощады!..

Ревком поначалу составили пятеро товарищей — тоже с опытом и пролетарской преданностью Октябрю и лично товарищам Ленину и Троцкому. Позже ревком утрясся до троих членов. В разное время ими числились А. Сноскарев, Д. Чудинов, В. Литвинов, И. Сурнов, А. Фляков, С. Чудновский и др. — состав боевой и всегда готовый к действиям, но запал всему, порох, а не человек — Ширямов. Тут даже товарищ Семен больше старается слушать.

В Сибревкоме Ширямова ценят. Надо — и Ширямов любого осадит или срежет. Он первым и взъярился на Краснощекова, за какое-то утро всех партийцев взвел. Так и заявил:

— Мы этот «буфер» смахнем, как Керенского в Октябре. Чтоб мы японцев убоялись? Да выщелкаем их почище, чем Колчака!

Словом, вождь пролетарского Иркутска.

Уже несколько дней ползет вредно-ехидный слухок: якобы быть здесь, в Сибири, Дальневосточной республике. И клянется товарищ Ширямов, будто приложил к этому руку Краснощеков. И вообще тянет этот «американец» за собой всю эсеро-меньшевистскую погань, толкует о справедливом представительстве всех организаций, партий и слоев населения; словом, тормозит революцию.

Покуда не берет на веру все эти пересуды товарищ Чудновский. Тут не Ширямову и Краснощекову решать. Ленин поставит точку, а уж он враг любому соглашательству и оппортунизму.

Борис Михайлович Шапошников родился 20 сентября 1882 г. в городе Златоусте Уфимской губернии. Дед его был донским казаком, а отец, уже на Урале, стал управляющим завода торгового дома Злоказовых. Борис Шапошников закончил реальное училище в Екатеринбурге в 1900 г., Московское пехотное училище в Лефортове (Алексеевское) — в августе 1903 г., Академию Генерального штаба — в мае 1910 г.

Февральский переворот встретил подполковником, временно исполняющим обязанности начальника штаба 10-го армейского корпуса. В августе 1917 г. произведен в полковники. В мае 1918-го добровольно поступил на службу в Красную Армию, всем сердцем приняв революцию Ленина. Деятельно участвовал в Гражданской войне, за что удостоился в 1921 г. ордена Красного Знамени.

В мае 1931 г. назначен начальником Генерального штаба Красной Армии, в мае 1940 г. получил звание маршала Советского Союза, с августа того же года — заместитель наркома обороны СССР. Принял самое деятельное участие в первом периоде Великой Отечественной войны — до 1943 г. Заболевание туберкулезом препятствует работе. Он руководит военной академией. Умирает 26 марта 1945 г. в неполные 63 года. Один из самых уважаемых Сталиным работников. Только к нему Сталин обращался по имени-отче-

ству. Борис Михайлович — автор знаменитого среди военных трехтомного труда «Мозг армии» — о роли и значении Генерального штаба.

Оставил воспоминания, которые, согласно его воле, могли появиться не ранее чем через 20 лет после его кончины. Их выпустило Военное издательство в 1974 г.

Обращаясь в памяти к 1905—1910 гг., Борис Михайлович писал: «Трудно было после Цусимы восстановить доверие к русскому флоту... Авторитет русских военных моряков пал настолько низко, что офицеры армии на улицах их не приветствовали, рискуя попасть в комендантское управление за нарушение правил».

Горькое свидетельство.

Доволен председатель губчека: правильную позицию занял член следственной комиссии Денике, ох схватчив, собака! Только обмолвись, а уж он в полном понимании и докладывает, как что лучше и потолковее обделать. Ушлый, даром что интеллигент и меньшевик...

Вообще сложилось так, что товарищ Денике оказался главным в допросах бывшего Верховного Правителя. Сам Денике твердо меньшевистских убеждений с таким эсеровским креном. Ну, на три четверти меньшевистский эсдек, а на одну — эсер с уголовно-террористическим интересом. Недаром столь чтит Мартова и Плеханова. Знает товарищ Денике и другого Мартова-Цедербаума — родного брата вождя меньшевиков. Этот Цедербаум-младший в будущих советских скитаниях по тюрьмам взматерееет на доносах (об этом оставил мне письменное свидетельство Иван Васильевич Курицын, многолетний узник сталинских лагерей), а тогда Денике льстило почетное знакомство. Шутка ли, через младшего Цедербаума мостик к самому главе партии. После смерти Плеханова старший Цедербаум — самый авторитетный человек у меньшевиков, постоянный оппонент самого Ленина, на равных в любом газетном споре.

Любит товарищ Денике повторять (слыхал от младшего Мартова еще до колчаковской бучи, а тот — от своего брата-вождя):

— Анархический синдикализм Ленина и Троцкого есть вырождение бланкизма левой части марксистов.

Нравится фраза: броская, безоговорочная, сразу озадачивает.

И все же победоносность большевиков пошатнула товарища Денике, причем в самых важных, основополагающих принципах. Теперь он — в самых яростно сочувствующих партии большевиков. Посему и спрашивает по любому поводу совета у товарища Семена — ну шагу не ступит без одобрения председателя губчека. Политцентр еще и не думал сбрасывать полномочия ревкому, а Денике уже почел обязательным докладывать и доносить все лично Чудновскому, и не только по вопросам следствия.

Это родовая черта Денике — на полкорпуса опережать события.

Мечтает он о службе в чека. Есть нужда там в людях с образованием и знанием иностранных языков. Тогда затянет себя в кожи и ремни — и все будут двигаться вокруг него, как небесные светила, по расписанию.

Поэтому и решил он подать заявление в низовую ячейку РКП(б) — партийную организацию при губернской тюрьме. Однако объявлять поостерегся: лучше подождать, пусть обстановка прояснится — ну чтоб никаких сомнений! Уж тогда и он упадет в разящую обойму большевизма.

Мир принадлежит нам — и мы продиктуем свои условия.

Косухин снова и снова спрашивает Александра Васильевича о золотом запасе. Его интересует точная цифра. Не может ли адмирал вспомнить, сколько золота отбыло с ним из Омска? Вот листок, пусть проставит цифры...

Не понятно?..

— Гражданин Колчак, нас интересует все о золотом запасе, любая подробность, — говорит Денике.

Ну не следователь, а пиявка.

Александр Васильевичу уже ясно: уперлись чехи, не выдают золото. Ай да Сыровы!

— По моему приказу для расчета с союзными державами еще до катастрофы... собственно, нашего отступления... было вывезено из пределов России золотых слитков на сумму 242 миллиона золотых рублей, — выводит цифры Александр Васильевич и проставляет примерные дни и месяцы данных операций. — Есть ведомости и прочие документы. Повторяю: ни одного грамма золота не пропало в частных руках, кроме эшелона, захваченного... господином Семеновым...

Александр Васильевич не смог (язык не повернулся) назвать Семенова ни атаманом, ни командиром корпуса.

Должен товарищ Косухин получить золото. Для этого и послал его Особый отдел Пятой армии. Знает каждый здесь, в кабинете следователя, что это личный и самый важный приказ вождя революции товарища Ленина.

Кашель не дает Косухину вести допрос, до багровой натуги и слез стрянет воздух в груди. Ему дело надо проворачивать, а тут кашель, лихорадка, задых! Для того ли он прорезал колчаковско-чешские тылы, чтобы здесь, у самого дела, распустить слюни.

Торопит Косухина генерал Каппель: с каждым часом ближе и ближе его армия. Все дела в Иркутске делаются с оглядкой на Капделя. Тут даже если взять золото — а дальше?.. При таком раскладе не уйти — пусть даже каждый красногвардеец понесет по килограмму народного золота. Озвереют белые, возьмут след и не отстают, да и вся сибирская рвань увяжется. Промысел на тыщи пудов золота...

Аж потом отходит при таком воображении посланец Особого отдела армии. Как быть?..

Флор Федорович Федорóвич уже часа полтора держит путь к губернской тюрьме. Он в белых, подвернутых под колена пимах, затерто-сероватом офицерском полушубке с маузером на боку и толстых меховых варежках, подшитых к шнуру, пропущенному через рукава. На мохнатой шапке — красная лента. Дыхание шумное, нездоровое: баррахлит сердчишко, жмет за грудиной.

Солнечный блик уперся под ноги, тускло ведет за собой. Тени смазанные, светловатые. Шелестит пар дыхания, замерзает в воздухе — кажется, на весь город только одно его, Флора Федоровича, дыхание. И солнце под веками вспыхивает багровыми пятнами, даром что разжиженное морозной мглой.

А город и впрямь пуст, но не стужа его обезлюдил. В первые дни падения золотопогонного Колчака Иркутск прудили толпы, а сейчас, куда ни глянь, — ну вымер! Нетронутые сугробы в затейливых стежках тропинок, слепые, в инее, окна (большинство — за ставнями), дымки над трубами аж до самой синевы — и ни единой души. Когда, где люди достают себе пропитание — загадка.

Таится Иркутск: в Глазкове — чехи, в городе — красные, а с севера выползает из снегов армия Каппеля — эти из-за адмирала не пощадят столицу Восточной Сибири, вырежут красных, а заодно и розовых, и бледно-розовых, и вообще не слишком услужливых, да и баб, ежели встрянут, не пощадят. Этих от демократии и митингов на вой тянет, аж примораживает к винтовкам. Ей-ей, лучше не заикаться о свободе и лучезарном завтра...

После падения колчаковской власти чехи не стали вводить в Иркутск патрули. На нейтралитет напирает легион, а чего бы раньше — десятки тысяч людей остались бы жить...

Флор Федорович несколько озадачен: до сих пор ни одного трупа не попало. Обычно с рассветом их по улицам и площадям — да десятка два-три. Ночами война в городе.

Нет уже у Флора Федоровича Федорóвича ни машины, ни адъютанта, ни охраны, ни тем более докладов — все сгнуло с передачей власти большевикам. Чтобы взглянуть на адмирала (заклятого врага своей партии и лично его, Флора Федоровича), он вынужден топтать пешком до тюрьмы, а это изрядная линия по городу.

Снег копнами обвалял кусты, скамейки, кучи мусора — плавный в неровностях, наглаженный; скрипит под пимами сухо, вызывающе, «громкий снег», — называет его про себя Флор Федорович.

Утрата власти не дает покоя. Флор Федорович перебирает прошлое и видит, как сами они, социалисты-революционеры, продвигали большевиков.

Не они ли с меньшевиками, к радости большевиков, насаждали диктатуру Советов, противопоставляя их Временному правительству? Большевики пробивались именно в том же направлении, но

решительней и последовательней. Они проповедовали не контроль Советов над Временным правительством, а прямой переход власти к Советам — и своего добились. На словах это вроде бы диктатура рабочего класса и беднейшего крестьянства, на деле — диктатура горстки захватчиков власти. Именем трудового народа всем управляют Ленин и Троцкий.

За своими мыслями и обидами Флор Федорович прослушал скрип шагов, кашляние и едва не налетел на какого-то дюжего в длинном извозчищем тулупе. Флор Федорович оторопело попятился в сугроб, взглядывая вверх, и неожиданно признал за усами и бородой Жардецкого. Ну сдохнуть ему, коли не Жардецкий! Эк мороз разукрасил! Усы, борода — под коркой льда. Широкий раскидной ворот тулупа тоже весь в белой обильной изморози; солдатская папаха на самых бровях; взгляд строгий, резкий. Жардецкий на миг задержался, пытая взглядом Флора Федоровича, узнал, отшатнулся, припал к карману тулупа, но тут же осекся — Флор Федорович раньше и проворнее расстегнул, а точнее, распахнул, кобурную коробку маузера.

Жардецкий аж полез спиной в сугроб. Вскрапнул, глаза округлились, бессмысленные. Что-то буркнул нечленораздельное. Приготовился пулю ловить.

Но Флор Федорович только выматерился — грязно, по-солдатски, — и зашагал себе, кося глазом за спину: плечи чуток развернул, пальцы на рукоятке маузера — на всякий случай отщелкнул предохранитель. Очень удивился себе: что это с ним, Флором, вот взял и не задержал Жардецкого, а ведь первый враг народной власти, самая что ни на есть опора колчаковского режима. После Пепеляева — надежда всех сибирских кадетов. Выматерился уже вслух, не про себя, и добавил:

— Осади, Флор! Не палач ты, не марай кровью руки, не для тебя это!

Добавил громко, аж собака взбrehнула за забором. Тут, в Сибири, заборы как стены: высоки, ни щелочки — свой мир за ними.

Флор Федорович удивился на собачий брех: вроде всех пожрали и постреляли, а тут, гляди, рычит... Залюбовался забором: «шкура» у него серебристая, по солнцу — в искрах. Захотелось огладить: до чего ж чистая!

Город, как это бывает в морозы за тридцать градусов, — под жидким рассолом. Туман не туман, а рассол и есть. И солнце — нет ни тепла, ни настоящего блеска.

И уже не пряча настороженности, Флор Федорович крутанул и замер: не было за спиной Жардецкого, вильнул, видать, в первый проулок, гнида кадетская! Пусть, пусть погуляет, разве не того ты хотел! Пусть теперь им большевики займутся. Пусть поупражняются в сыске, мать их с красной звездой и Лениным!.. Скосил глаза на дорогу: клубом пара наехали розвальни с тремя красногвардейцами и ящиками, обитыми металлической лентой. Винтари у всех наизготове, морды малиновые, наморщенные ветром. Что-то крик-

нул один. Флор Федорович досадливо махнул рукой: не до тебя. Тряско подпрыгивают ящики — гляди, столкнут Красную Гвардию.

Гаркнули в три глотки: «Эх, яблочко, куды ты котишься? В губчека попадешь — не воротисья!..»

И опять осел в свои мысли бывший председатель Политцентра. Он доказывал свою правоту истории: выпал миг, получили они власть (эсеры и меньшевики), а не удержали, обронили в лапы ревкома, а как иначе? Москва подпирает со всей РСФСР.

Много набирал слов для доказательств своей правоты Флор Федорович, ярился на мнения противных сторон; останавливался, закуривал и, пуская дым в мороз, скрип снега, выводил доказательства для истории. Ведь мог он построить эсеровскую республику на родной земле, мог, мог!..

После успокоился и, перелезая через сугробы на более утопанные тропинки, повернул мысли на общие вопросы.

С недавних пор революция уже представлялась ему слишком дорогостоящим средством прогресса. Насмотрелся на Россию за эти два года: один скелет, и, кажется, половина народа легла в землю, а сирот!.. А изувеченных, изнасилованных, измордованных, свихнувшихся от болей, надругательств и ужасов! А что с хозяйством?! Остов. Один остов...

Революция неизбежна, пока нет политических свобод, но Февраль дал эти свободы. Зачем следовало взводить страну на Октябрь?..

Как член ЦК партии социалистов-революционеров и задушевный приятель Чернова, Флор Федорович питал неодолимую вражду к большевикам. В глазах его партии они являлись захватчиками, похитившими у России свободу, которую они, эсеры, — прямые потомки народовольцев, Герцена и декабристов — добывали для народа. Большевики похитили у них плоды борьбы. Большевиков не было и видно почти до самого Февраля. Чтобы опереться на штыки, большевики взялись эксплуатировать стремления народа, а значит, и армии к миру. Они присвоили плоды кровавой борьбы, казней, мучений... Большевики так же опасны для дела свободы, как и кровавый режим Колчака. Лишь печальная необходимость понуждает эсеров и его, Федоровича, сотрудничать с ленинцами.

Надо быть справедливым: в потоках крови, которыми обагрена Россия по воле большевиков, прежняя кровь — от царизма, и нынешняя — от белых, глядится каплями. Эти, с пятиконечной звездой, поставили убийства на поток.

Флор Федорович поворачивается и видит, как его тень забегаёт вперед. «Снег — это замурованный свет», — думает он.

Россия объявлена Республикой Советов — это же государственно-правовой абсурд! Что такое Советы? Где определение этой формы правления? Как они образуются, по какой системе выборы — все неизвестно, а точнее, не выборы — лишь прямые назначения. Горстка людей на верху России и горстка людей на местах творят власть... точнее, самоуправство.

И на тебе: Россия уже Республика Советов! Это же партийно-бюрократическая власть с произволом и подавлением свобод. Никаких выборов — только назначения. Вот тебе и борьба за свободу...

Вспомнил Жардецкого и его нырок к пистолету, подумал: «А ведь зевани я, пожалуй, вцепил бы мне... — И отмахнулся от памяти на кадета: — А ну его, борова толстомясого».

Троцкий заявил вскоре после Октября: «Есть такая французская машинка, она укорачивает тело на одну голову».

Эти ничем не брезгают, лишь бы удержат власть.

И пожалуйста: за три недели до открытия Учредительного собрания Ленин распорядился арестовать главную избирательную комиссию этого собрания, а затем штыками разогнал и само собрание. Солдатам внушили, что это буржуи мутят воду. Те и двинули... были убитые...

Почему это собрание мертворожденное? Якобы большевики уже все дали декретами. Если проводить решения Учредительного собрания именем государства, Россия бы зашевелилась, поняла, где и чья власть. Большевики превратили Учредительное собрание в клоунаду, закрыв возможность обращения к народу и лишив акты собрания государственной силы.

А уж после — и объявления людей «вне закона», и расстрелы, и заложничество, и прочие «революционные акты»...

Ленин и Троцкий исповедуют Робеспьера. Робеспьер заявлял:

«Основа демократического правления есть добродетель, а средство для претворения ее в жизнь — террор».

Значит, добродетель может войти в жизнь только через насилие!

Флор Федорович озирается на солнце — неглубокий выкат его: над самыми крышами застряло — белое, очень белое. Смахнул на веревку vareжку, потер глаза: режет...

То, что сочиняют Ленин и Троцкий, — это не путь в социализм, а если и социализм, то какой-то убойный, который можно насаждать лишь казнями, запретами, гонениями. У них на все две меры: запрет или расстрел. Демократическое правление...

Они повторяют опыт Французской революции, хотя одного этого опыта достаточно, чтобы навсегда от него отучиться. Страна, которая вступает на подобный путь, не в состоянии изменить ему. Террор подпирает государственность, вся государственность прорастает уже из необходимости насилия. Отказаться от террора — значит отказаться от власти.

Ни ум, ни личные, порой высочайшие достоинства — ничто не спасает не только от участи жертвы, но даже, как это ни странно, от роли палача. Впрочем, большевики тут внесли свое: они втягивают в палачество весь народ — это им кажется самым надежным.

История еще раз сыграет с насильниками злую шутку — это из диалектики насилия. Робеспьер носил имя Неподкупного за скромный образ жизни и защиту интересов бедноты. И именно он стал палачом своих соратников и палачом этой самой бедноты. Иначе

быть не могло: ведь «добродетель утверждается террором». Это ж мозги набекрень надо иметь.

И Робеспьер изрядно почистил Францию. Так почистил — она взвыла от всех этих самых добродетелей. Ежедневно на гильотину только в Париже всходило до восьмидесяти человек, не считая казнимых по стране. В месяц гибли тысячи людей. Если соотнести это количество людей с населением той маратовско-робеспьеровской Франции, сложится впечатляющая цифра. И это понятно: террор нужен для устрашения... и единомыслия.

Массовые безнаказанные убийства именем высшего блага. Именно так! Ведь роялистов (сторонников свергнутого короля) среди казненных оказалось менее десяти процентов!

И это большевики взяли за блистательный образец правления.

Добродетель утверждается террором.

Высшее благо...

То казнили женщину (она назвала казнь мужа «актом тирании»), то генералов — за проигранные сражения, то проституток (почти всех), вина которых заключалась прежде всего в бедности и похоти мужчин — в большинстве своем сторонников и участников революции (дворяне и аристократы не прибегали к услугам уличных дам). А то отрубили голову 18-летней модистке, после — прачке 24 лет.

Добродетель утверждается террором.

Высшее благо...

«Бедная прачка, что она сделала! — восклицал историк. — Может быть, ее причастность к реакции выразилась в том, что она стирала белье для роялистов?..»

Этот историк — кажется, Блос¹, если не изменяет память...

Словно на пиру, всех обошел отравленный кубок. И это понятно: устрашение обязательно для всех.

Когда Максимилиан Робеспьер говорил, он не сомневался.

«Революции химия не нужна», — сказал Робеспьер.

И великому Лавуазье отсекли голову.

Слышите, люди: покорность, рабство — вот цель насилия!..

И Флор Федорович опять принялся ворошить память. Тесно набил ее всякими революционными бреднями.

Слышите, люди: все эти теории, выкладки политэкономии, диалектика... для оправдания убийств!..

Он теперь знает: их конечная мудрость — требование убийств. Безнаказанные и неограниченные убийства и насилия от имени государства. Вот и все высшие блага...

За два с лишним года властвования большевики неизмеримо перещеголяли всех робеспьеров мировой истории.

И эта «самая победоносная революция, самая справедливая и чистая» производит отбор посредственностей и подлецов — всего нечеткого и нравственно дряблого, приспособленческого либо людей, вовсе лишенных убеждений... Высшее благо...

¹ Блос, Вильгельм (1849—1927) — немецкий публицист и историк.

Их демократия — это петля на шее каждого: в любой миг может затянуться, только повернись или вздохни глубже. И это тоже высшее благо!..

И Флор Федорович засипел в мороз четверостишие Владимира Соловьева:

Наказана ты, Русь, всеильным роком.
Как некогда несчастный Валаам:
Заграждены уста твоим пророкам
И слово вольное дано твоим ослам...

И еще много разных слов кипело на душе у Флора Федоровича. Впрочем, он не стеснялся и вгорячах выпаливал их в мороз целыми пачками...

Данные о кораблях, которыми командовал Колчак накануне мировой войны, мы можем почерпнуть из официального справочного издания Сытина «Российский Императорский флот и флоты Германии и Турции» (Петроград, 1915).

На обратной стороне титульного листа напечатано:

«Чистый доход (от издания справочника. — Ю. В.) идет в пользу семейств нижних чинов флота, погибших в настоящую войну».

Отдельными листами следуют фотография Николая Второго с подписью:

«Его Императорское Величество Государь Император
Николай Александрович,
Державный Вождь Флота».

И фотография сына в матросской «форменке» с подписью:

«Его Императорское Высочество
Наследник-Цесаревич и Великий Князь

Алексей Николаевич,
назначенный 6 ноября 1914 года Шефом Морского корпуса».

Этот самый корпус и закончил в свое время Александр Васильевич Колчак.

Из справочника узнаём, что «Уссуриец» был построен на верфях Гельсингфорса и спущен на воду в последний год русско-японской войны — 1905-й. Длина эсминца составляла 235,9 фута. Корабль имел два винта, три торпедных аппарата, две 100-мм пушки и одну — 37-мм, а также четыре пулемета.

«Пограничник» спущен на воду на той же верфи годом позже, то есть в 1906 г. Водоизмещением он несколько превосходил «Уссурица». Длина составляла 246,8 фута. Он также имел два винта и был вооружен тремя торпедными аппаратами, двумя 100-мм пушками и двумя 47-мм пушками, а также четырьмя пулеметами.

На с. 69 (среди прочих в справочнике) помещена фотография двухтрубного «Пограничника» (скорость — 25 узлов), а на с. 70 —

однотрубного «Уссурийца». Бросается в глаза глубокая осадка корабля.

Справочник сообщает:

«...В то же время (1914 г. — Ю. В.) в Германии произошло весьма важное с точки зрения германской морской обороны событие — был вторично открыт Кильский канал — на этот раз уже для движения по нему дредноутов. Это давало возможность Германии быстро переводить свой флот из Немецкого моря в Балтийское море, то есть почти удваивало ее военно-морские силы...

21 июля 1914 года началась борьба этих величайших в мире военно-морских сил (Германии и Англии. — Ю. В.), длящаяся и по настоящее время...

Относительно военно-морских операций на северо-восточном театре (Балтийском море) имеется сообщение высокоавторитетного источника, которое сводится к следующему (это борьба германского флота с российским. — Ю. В.):

В течение первого месяца войны германский флот ограничивался только наблюдением за нашим флотом. Германцы не знали, что предпримут англичане, и поэтому, боясь нападения на свой тыл, не рисковали двинуть на восток свои главные силы. Это обстоятельство дало нам время привести в оборонительное положение занятый район и выдвинуть вперед линию обороны. Весь район действия флота был минирован и объявлен закрытым для судоходства...

Операции, предпринятые русским флотом у неприятельского побережья, пока что не подлежат оглашению.

Однако можно сказать, что результат не замедлил резко отразиться на деятельности врага, который понес весьма внушительные потери в судовом составе и увидел сильно стесненным свое передвижение вдоль собственных берегов, так как он потерял тут несколько транспортов с военным грузом...»

На основании военных сводок сражающихся сторон справочник рисует картину войны на море. Поражают фотографии гибнущих боевых кораблей с массами людей в воде и на шлюпках.

На с. 193 помещен рапорт командира германской подводной лодки «V-9» капитан-лейтенанта Ведингена — то самое событие, которое ознаменовало появление нового смертоносного оружия: подводных лодок. «V-9» в один прием пустила на дно три британских крейсера. Командир подводной лодки подробно излагает свои действия.

Далее справочник сообщает:

«Занимая в 1899 году третье место, Россия сохраняет его, ценою увеличения флота в полтора раза, лишь до 1904 года. Гибель двух Тихоокеанских эскадр в японскую войну нанесла страшный удар русскому морскому могуществу, и в 1909 году, то есть через четыре года после войны, мы видим Россию уже на шестом месте: опередили ее Соединенные Штаты и Япония; почти сравнялась с ней Италия, и только Австрия оставалась позади.

Пятилетие 1907—1912 годов ознаменовалось в России борьбой за воссоздание флота, результатом которой явилась малая судостроительная программа как начало планомерного создания линейного флота, способного поддержать наши интересы на море. К концу 1914 года оказывается выполненной лишь ничтожная часть всей программы, почему и в этом году Россия занимает седьмое место, уступив шестое Италии; Австрия усиленным судостроением последних лет значительно подвинулась вперед и почти догнала наше отечество.

Россия — первая из держав, перешедшая к многоорудийным башням с линейным расположением...

Слабость России на море прежде всего заметна в основной ударной силе флота — линейных кораблях. К началу войны Россия насчитывала в строю 8 линейных кораблей, Австро-Венгрия — 14, Франция — 20, Германия — 33, Англия — 57 (!)...»

Александр Васильевич помнит каждую цифру справочника и еще много не помещенных в справочник. Он помнит каждую маленькую победу в создании нового флота России.

Россия!

Мартов (Юлий Осипович Цедербаум) родился в 1873 г. Впервые был арестован студентом Петербургского университета. В 1895 г. присоединился к созданной Лениным группе «стариков», ставшей основой петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». Тогда же и познакомился с 25-летним Лениным. Отбыл ссылку в Туруханске. Один из создателей «Искры». С 1903 г. — один из лидеров меньшевизма, с 1917-го — руководитель его «левого крыла». На втором Всероссийском съезде Советов выступал за образование правительства из всех социалистических партий, но остался на съезде после ухода меньшевиков и правых эсеров. В Гражданскую войну выступал за возвращение к режиму буржуазной демократии и против диктатуры пролетариата.

В 1920 г. эмигрировал. Написал «Записки социал-демократа», лишенные чувства ненависти к большевизму и его вождям. 4 апреля 1923 г. на 50-м году умер от застарелого туберкулеза.

В «Записках социал-демократа» Юлий Осипович описывает визит юного Ленина к Полю Лафаргу¹ и ответ Ленина на вопрос француза — читают ли русские рабочие Маркса.

«— Читают.

— И понимают?

— И понимают.

— Ну, в этом вы ошибаетесь, — заключил ядовитый француз. — Они ничего не понимают. У нас, после 20 лет социалистического движения, Маркса никто не понимает.

Этот урок о невозможности привить рабочему классу « лабора-

¹ Социалист, соратник Маркса, скончался в 1911 г. 69 лет.

торным» путем революционно-классовое сознание был хорошо усвоен Ульяновым...»

Для этого Ленину не надо было делать и особенных усилий над собой. Он уже был хорошо знаком с учением Петра Ткачева.

Хотя в отличие от Ткачева Ленин и возьмет от Маркса принцип руководящей роли пролетариата в революции, классу этому будет отведена подчиненная роль. Все будет решать партия, точнее, ее верхушка, вожди, вождь. Рабочий класс должен принимать решения вождей. В случае отказа решения эти будут проводиться силой.

«...Мы должны убеждать рабочих фактами, мы не можем создавать теорий, — заявил Ленин на II конгрессе III Интернационала в августе 1920 г. — **Но и убеждать недостаточно. Политика, боящаяся насилия, не является ни устойчивой, ни жизненной, ни понятной**» (выделено мною. — Ю. В.).

Это — самое слабое из подобных высказываний Ленина, но и в нем все акценты расставлены вполне недвусмысленно.

Юлий Осипович описывает встречу с Лениным и свои впечатления от нее, пропущенные через толщу 25 лет:

«У меня... создалось даже впечатление, что к работе над подъемом классового самосознания путем непосредственной экономической агитации он относится холодно, если не пренебрежительно...

В то время В. И. Ульянов производил при первом знакомстве несколько иное впечатление, чем то, какое неизменно производил в позднейшую эпоху. В нем еще не было или по меньшей мере не скрывало той уверенности в своей силе — не говорю уже: в своем историческом призвании, — которая заметно выступала в более зрелый период его жизни... В. И. Ульянов еще не пропитался тем презрением и недоверием к людям, которое, сдается мне, больше всего способствовало выработке из него определенного типа политического вождя... Но и в отношениях к политическим противникам в нем сказывалась еще изрядная доля скромности...»

Вряд ли Юлий Осипович сводит счеты, что называется, на смертном одре. По отзывам (даже Ленина), Мартова отличали честность и душевность. Чего стоит одна его сноска к характеристике Ленина:

«Элементов личного тщеславия в характере В. И. Ульянова я никогда не замечал».

А ведь это писал вождь революционного течения, разгромленного большевизмом; писал умирая...

«Определенный тип политического вождя» — диктатор. Он опирается на единомышленников, но его решения молниями прорезают Россию.

«Доля скромности» — Юлий Осипович напишет, что Ленину была свойственна полемическая резкость, переходящая в грубость.

«Ленин не любил проигрывать и уступать даже в мелочах», — напишет в своей книге воспоминаний А. К. Воронский.

Случай, о котором рассказывает Воронский, имел место на Пражской конференции в 1912 г.

Случилось, Ленин дважды подряд проиграл в шахматы. Он отка-

зался играть в третий раз, торопливо поднялся со стула... промолвил: «Ну, это не дело — мат за матом получать». Он был недоволен...

«Еще до этого я слышала о некотором недовольстве И. В. Сталиным (недовольства, исходящего от Ленина. — Ю. В.), — писала М. И. Ульянова. — Мне рассказывали, что, узнав о болезни Мартова, В. И.¹ просил Сталина послать ему денег. «Чтобы я стал тратить деньги на врага рабочего дела! Ищите себе для этого другого секретаря», — сказал ему Сталин. В. И. был очень расстроен этим, очень рассержен на Сталина...»

«Главным недостатком государя императора явилась почти полная неспособность видеть вещи в их действительном состоянии, — раздумывает Александр Васильевич. — Этого качества он как бы оказался лишен от природы».

Александр Васильевич, как и все русское общество, был более чем наслышан о чрезвычайной религиозности царя и его семейства.

Однако это была не чрезвычайная религиозность — это была вера. И она представлялась настолько глубокой и всеохватывающей, что органично лишала его иного взгляда на мир и события.

Бог для царя и его семейства являлся непосредственным строителем и участником всех человеческих дел, какими бы ничтожными они ни представлялись. Все в этом мире — от гнева или милости Божьей. И война, и революция, в конечном итоге, — это не чьи-то козни, это все та же Божья воля. Случайностей нет, есть гнев или милость Божья. Опасно, преступно полагаться на свой разум и свои силы — они лишь орудие в руках Божьих. Каждый из нас слишком слаб, чтобы повелевать событиями. Мы крепки лишь Божьим промыслом.

Религия для царя и его близких являлась именно не набором догм, а живым, страстным общением с Богом, счастливым и великим действием: мы ничего не можем, мы только следуем за нашим Господом. Здесь, на земле, мы помазанники Божьи. Что угодно нам — угодно Богу, а стало быть, и народу.

Обо всем этом Александр Васильевич мог лишь догадываться. О самой же гибели государя императора и его семьи он вспоминал с горечью. Государь император проявил великое мужество: не отрекся от веры и убеждений даже в испытаниях. Никогда и нигде ни одним словом он не изменил своим представлениям, до конца оставался таким, каким был. Такое дано не каждому...

Офицеры на месте казни выломали доски, залитые кровью Романовых, — и понесли святынями...

Ездил туда Александр Васильевич, кровь не то что на стенах — потолок в брызгах, а около центральной лампочки кровь мазнула свод. Следователь Сергеев высказал предположение, что кого-то,

¹ Владимир Ильич Ленин.

возможно, и добивали. Поначалу ходили слухи, будто Александра Федоровна металась, пытаясь собой прикрыть разом всех детей, будто ползали недобитые княжны и их прикалывали, будто царь Николай умолял сохранить жизнь сыну...

Никто ничего не знал определенно, пока не взяли несколько человек из охраны дома Ипатьева, а с ними и некоторых участников расправы. Помнится, одного следователь Соколов привозил к нему и он, Верховный Правитель, задал несколько вопросов. Он хотел проверить, не искажает ли следствие настоящие события. Тут столько чувств, страстей, небылиц!..

До своих вопросов одному из палачей... кажется, Медведеву... да, Медведеву... Александр Васильевич считал, что добивать не пришлось. Выстрелы с трех-четырех шагов. Если в тело (ну как тут промахнуться!), пуля выворачивает кости, рвет тело до выхода из спины — потому и столько крови...

Оказалось же — добивали... Адмирал как-то не подумал, что стреляли не из винтовок, а пистолетов. Там пуля дает другой результат...

Александр Васильевич знал, и определенно: народ при всех недо-разумениях с прежней властью, болях и обидах от этой власти в целом принял убийство царя и его семьи за злодеяние. Черным, каиновым делом показалось это каждому русскому человеку, разумеется, кроме большевиков и социалистов — у этих на всё свои ученые книги с оправданиями любых злодеяний. Вместо души и глаз у них писмена из их священных книг.

И убивают!

«Подышать бы напоследок солнцем...» — мечтает Александр Васильевич.

Александр Васильевич обладал ярко выраженным чувством ответственности перед историей. То, что он допускал для частного человека, уже считал совершенно недопустимым для человека на государственном посту...

И вдруг ему кажется, он даже широко открыл глаза и не шевелится, не спугнуть бы: за решетками оконца — темная синь неба, у куполов собора кружат стрижи, плывет тепло, и луч вязнет в листве. Зеленая мгла окружает, что-то шепчет, бормочет, но несмело, нежно. И не понять, что это — шорох листвы или голос Анны...

«Самодурный деспотизм тщетно старается уложить на прокрустово ложе императорской цензуры нашу бедную, поруганную, по рукам и ногам связанную мысль. Запертая в мрачной темнице, лишённая света, воздуха и пищи, прикованная на цепь к стене самодержавного произвола, неугомонная и ненавистная ему — мысль все-таки растёт и крепнет. Она выросла из своих оков, и смиренная рубашка едва-едва сходит с её наболевшей спине...

Никакие стены ее не удержат, никакие камни не преградят ее пути. Она пройдет всюду, и никакая власть не в силах помирить ее с темницей, приучить к могильному безмолвию...

Как ни уродуйте и ни оболванивайте человека, а все же вы не можете истребить в нем потребность думать...»¹

Петр Никитич Ткачев родился в 1844 г. в небогатой семье псковских дворян. Учился в университете. Арестовывался. Сотрудничал с Нечаевым и Лавровым. Бежал в 1873 г. из ссылки за границу; в 1875—1881 гг. издавал там журнал «Набат», одновременно печатаясь в газете Бланки² «Ни бога, ни хозяина». Скончался в парижской психиатрической больнице 40 с небольшим лет.

Никто из современников и предположить не мог, какую роль в истории России сыграет его теория революции.

Петр Никитич не сомневался, что Россия может избежать капиталистического пути развития. Для этого нужно готовить социалистическую революцию и в подходящий момент провести.

Народ темен, особенно крестьянство. Следует не просвещением готовить революцию, а, наоборот, она должна предшествовать просвещению: а для сего создать конспиративную, строго централизованную партию якобинского толка.

Партия должна развернуть подрывную разрушительную работу против царской власти и взорвать ее. Действия должны быть решительные и твердые, как у якобинцев. Это предполагает террор как главное орудие захвата и удержания власти.

Следовательно, основа социалистической революции — переворот, а уже после и все остальное. Революционное меньшинство, во главе которого стоит партия, должно террором парализовать отпор господствующих классов и вообще всех, кто против партии, в том числе и сомневающих.

Народ, по убеждению Ткачева, не способен на самостоятельное революционное творчество. Лишь сознательное партийное меньшинство, опираясь на созданный им государственный, централизованный аппарат, способно перестроить старое общество. Вот так: «ваять» из людей потребный «материал» по своему образу и подобию.

Движущая сила истории, по разумению Петра Никитича, — это только воля выдающихся личностей. Им созидать и творить будущее. Необходимо действовать, и прежде всего действовать.

Нет надобности объяснять, что эта программа почти целиком усваивается Лениным. В ряде положений их вообще невозможно

¹ Из очерка Ткачева «Анархия мысли».

² Бланки, Луи Огюст (1805—1881) — французский революционер-заговорщик. Он не возлагал надежд на всеобщее избирательное право и считал, что для достижения социалистического устройства общества необходимо установить «диктатуру сознательного меньшинства нации». Путь к такой диктатуре — заговор и восстание.

разделить: слияние полное, органичное. Именно «попытку захватить власть» Ленин называет «величественной».

Он в восторге от программы насилия, которую до мелочей обмозговал Петр Никитич.

Не образовывать народ через профессиональные союзы, парламент, школу, левую прессу, приобщением к культуре и т. д., а, как стадо, погнать «дубинкой в рай» (как не вспомнить А. И. Шингарева!). Кровь, страдания, любые ошибки не имеют значения — мы всегда правы, только мы знаем, куда двигаться, только нам дано понимание цели и нам дано право судить, казнить, миловать. Это — право истории. Народ — лишь материал в руках вождей. Вожди создают историю.

Ткачев — человек решительный. «Всякому, конечно, известно, — пишет он, — что существуют такие наивные люди, которые серьезно убеждены, что социальная революция может быть осуществлена посредством **бумажных декретов...**»¹

Что тут добавить? Только маньяк и мог прийти в восторг от всего этого живодерства.

Но, как мы увидим, за ним (нет, не за тем, кто скончался в парижской клинике для душевнобольных) двинет русское общество (оговоримся — не всё, далеко не всё).

Это урок того, куда могут увлечь не только одного или нескольких человек, но целый народ надрывность существования в кризисах, горе в войнах, обострение недовольства вообще плюс лживые разнузданные посулы, лозунги, развязывающие низменные инстинкты, в сочетании с посулами рая... — в могильный ров!..

В 1874 г. Ткачев опубликовал «Открытое письмо Фридриху Энгельсу». Он упрекал его в незнании России. Ткачев защищал свою теорию захвата власти: «Нужно только разбудить одновременно во многих местах накопленное чувство озлобления и недовольства... всегда кипящее в груди нашего народа...»

Раскачивать народ, возбуждать недовольство и ненависть, играть на любых трагических обстоятельствах, а когда вдруг сложится «благоприятная» обстановка (война с ее бедствиями или, скажем, длительные неурожай, эпидемии, национальная рознь), свалить старую власть и уже распорядиться народом...

В ответе Энгельса были примечательные слова: «Дозволительно ли человеку, пережившему двенадцатилетний возраст, иметь до такой степени ребяческое представление о ходе революции?»

Спешил Энгельс. Минует время, и этому «ребячеству» припишут гениальность, прозорливость, пророчество...

В общем, это было первое столкновение между марксистом и якобинцем — предмет разногласий: судьба русской революции.

А что революция стояла на пороге, сомнений не было. Крепостничество, порочная земельная реформа, всевластие царской

¹ Из очерка Ткачева «Анархия мысли».

бюрократии и самого царя служили почвой для постоянно тлевшего недовольства. Словом, для «раскачивания» имелись все условия. Вопрос — как «качать».

Вот тут и ломали копыя теоретики разного рода кружков, организаций и партий.

Так или иначе, почти все претендовали на прозвание марксистских. Представители разных слоев общества толковали его на свой лад; так сказать, выкраивали из марксизма все нужное для себя. Безусловно, в эти приспособления марксизма под свои нужды (их называли только «революционными», «общим благом») вносили свое, личное, что давало дополнительную игру мысли.

Плеханов в своих работах доказал, что Россия не может избежать европейского капиталистического пути развития (это ход истории, в котором пожелания славянофилов ничего изменить не могут). В этом он видел свои достоинства: Россия может извлечь уроки из истории Европы и шагать вперед более решительно — и экономически, и политически осмысленней. Плеханов резко критиковал «мечты» о захвате власти (ткачевская утопия) и о совпадении ближайшей русской революции с социалистической (окажется ленинской утопией).

Владимир Ильич при таком уважении к «величественным» замыслам Ткачева не мог не заняться их приспособлением к догмам социал-демократии, разумеется большевистской. Все прочие социал-демократии для Ленина были в омерзение.

Чего стоит одно лишь ленинское «Письмо к товарищу о наших организационных задачах»:

«Наладить, сорганизовать дело быстрой и правильной передачи литературы, листов, прокламаций и проч.; приучить к этому целую сеть агентов, это значит сделать *большую* половину дела по подготовке в будущем демонстраций или восстания...»

Это ж почти дословное повторение «величественного» плана Ткачева. Основа та же — конспиративная организация. Пусть в России хоть в тысячи раз отсталый капитализм, пусть его вообще нет, пусть пролетариат едва нарождается, пусть всеобщая неграмотность и некультурность... — какая разница! Есть конспиративная организация — партия! И уж к ней-то все приложится.

Только захват власти! И готовиться к нему через сеть своих сторонников — членов партии, построенной по централистскому образцу. Именно поэтому Ленин и схватился так по пункту устава партии на II съезде РСДРП в 1903 г. (с того и пошло: большевики и меньшевики), кого считать членом партии. Помните его споры с Мартовым, Плехановым?.. Для Ленина, всегда державшего на задках памяти всю эту «машинерию» Ткачева, партия должна быть как «один сжатый кулак». Тут вопрос о характере членства имел принципиальное значение, от него прямым образом зависела... революция, то есть захват власти.

Отсюда и понятно следующее утверждение Ленина:

«Якобинец, неразрывно связанный с *организацией* пролетариа-

та, *сознавшего* свои классовые интересы, это и есть *революционный социал-демократ* («Шаг вперед, два шага назад»).

Насчет осознания пролетариатом своих классовых интересов Ленин грешит. Ибо основной принцип его (он его не раз назовет) — это вести класс не спрашивая, так как из-за политической и культурной отсталости и неграмотности он (класс) не способен сознавать свои интересы и цели. Тут основа ленинизма как откровенно авантюристического, утопического, заговорщического течения в русской социал-демократии, которая только тем и занималась, что «онаучивала» этот предмет (захват власти). В данном пункте заранее были обречены на поражение и Николай Романов, и Колчак, и Деникин, все-все, особенно верящие в Бога... Тут священнодействовали профессионалы. Целью их жизни было освоение подходов к захвату власти, тут знания накапливались фундаментальные.

А тут какой-то российский адмирал! Эх, Александр Васильевич...

Именно здесь, в данном пункте, начало расхождения Ленина и Плеханова.

Именно потому виднейший социал-демократ (всю жизнь воевал с властью), меньшевик Александр Мартынов (Пиккер), писал в 1918 г.:

«Сейчас, когда я пишу эти строки, жизнь в кровавом тумане Гражданской войны решает тот спор, который я вел с Лениным 13 лет тому назад, ибо то, чего я тогда опасался, теперь осуществилось: «слепая игра революционной стихии» дала наконец возможность Ленину захватить власть и проделать над Россией опыт «диктатуры пролетариата». Опыт этот еще не закончен, тем не менее уже сейчас ясно видно, куда он влечет страну и революцию...»¹ Мы-то знаем, чем обернулась на деле диктатура пролетариата — террором кучки людей, действовавших от имени полузадавленного пролетариата.

Остается надеяться, что народ извлечет уроки из этой истории, ухватить которую столь трудно по причине ее чрезвычайной скользкости от крови.

Вот что значит сознавать себя и свою миссию в истории.

«...Но убеждать недостаточно. Политика, боящаяся насилия, не является ни устойчивой, ни жизненной, ни понятной» (выделено мною. — Ю. В.). Помните Владимира Ильича?..

Возрадите: помилуй Бог, а ничего и не было, кроме насилия! Все так...

Совершенно естественно, обо всем этом адмирал Колчак не имел ни малейшего представления, ибо никогда не ставил целью жизни захват власти и обращение народа в новую веру.

¹ М а р т ы н о в. А. Две диктатуры. «Книга», 1918, с. 92 (у меня второе издание, как раз вышедшее в 1918 г.).

Брили Александра Васильевича в три дня раз. В камеру вдвигалось нечто зыбкое, очень громоздкое и сопящее — это входил брадобрей: человек в пальто, похожем на сутану, и в кавказской барашковой шапке. Он никогда не здоровался. Александр Васильевич даже не знает, какой у него голос. Посреди камеры водружался табурет. Александр Васильевич сажился. Двое охранников притискивались с боков. Брадобрей, отдуваясь, взбивал мыльную пену в чашке без ручки и с широкой черной трещиной по выпуклому боку. В груди у брадобрея что-то булькало, присвистывало, а в животе — переливалось, урчало и вроде бы даже шкворчало человеческими голосами. Тугое сало живота мяло Александра Васильевича, и это было неприятно до тошноты. К тому же руки у брадобрея отдавали луком и дешевым баннным мылом.

Телесно-рыхлый, всегда потноватый, несмотря на стужу в помещениях, брадобрей действовал, однако, быстро и сноровисто. Пока он направлял бритву, Александр Васильевич изучал его: плоское одутловатое лицо, влажный полуоткрытый рот, маленькие глянце-вые глазки, как у глубоких склеротиков. Брадобрей дышал ртом, натужливо и поверхностно.

Одним из охранников при этом всегда оказывался лобастый крупоплечий мужик в шинели — тот самый, что передавал записки Анны. Между большим и указательным пальцами синела наколка — Александр Васильевич все пытался рассмотреть: не то буквы, не то якорь. Но если якорь, отчего он солдат?..

Александр Васильевич не сомневался: «почтальон» действует с ведома властей, однако это не беспокоило. Пусть читают. Главное, он может узнавать, что с Анной...

А брадобрей являлся фигурой примечательной. Брился он здесь, в губернской тюрьме, два десятилетия при царе, потом при Керенском — даже года не вышло, после при нем, Колчаке, — чуть поболее года, теперь вот при красных. Правда, при красных бреет всего двоих заключенных: Колчака и Пепеляева. Остальные трещат вшивыми щетинами да бородами. Зато скоблит утрами солдата — начальника тюрьмы, или, как его называют по-новому, коменданта; скоблит Чудновского — председателя губчека, а также командира охраны, следователей из большевиков, включая товарища Денике, и вообще все заезжее начальство...

Когда я писал данные строки, мне ничего не было известно о книге Валентинова «Встречи с Лениным». О якобинстве Ленина я составил представление по его же работе «Шаг вперед — два шага назад» и по маленькой, но чрезвычайно страстной книжечке А. С. Мартынова (Пиккера)¹.

¹ Толстый, изъеденный экземой Мартынов был чрезвычайно искусным оратором, темпераментным и обладающим безупречной логикой. Ленин

Меня, кстати, и по сию пору привлекает окончание этой тонко-высокой книжечки Александра Самойловича Мартынова, которую он закончил 2 декабря 1918 г. — Россия околевала с голода, холода да тифа с холерой, подкрепленных дружной стрельбой чекистов в затылок (ох уставали они от работы: затылков-то столько! Стреляешь-стреляешь, а вроде и не убывают). Вот это окончание.

«Война породила нашу революцию (и Февральскую, и Октябрьскую. — Ю. В.). Но она же, по истечении двух месяцев, породила у нас режим диктатуры «общественного спасения», который в коалиционный период возглавлялся Керенским, а сейчас возглавляется Лениным. Обе эти фазы режима диктатуры при всем внешнем сходстве с диктатурой жирондистов и якобинцев Великой французской революции резко отличались от них полным бесплодием и не могли не отличаться бесплодием при современных исторических условиях (последующий крах ленинизма в России подтвердил бесплодие, то есть утопичность всех построений ленинизма. — Ю. В.)».

Я так и опубликовал свой «Огненный Крест», ничего не ведая о Николае Владиславовиче Вольском (Н. Валентинове), хотя имя его проходит в книге.

Как же я был удовлетворен, прознав от Валентинова историю ленинской работы «Шаг вперед — два шага назад!» Мой анализ почти дословно совпал с валентиновским.

Позволю привести его, теперь уже по книге Валентинова.

«Ленин в это время пришел к твердому убеждению, что ортодоксальный марксист-социалист-демократ непременно должен быть *якобинцем*, что якобинство требует диктатуры, что «без якобинской чистки нельзя произвести революцию» и „без якобинского насилия диктатура пролетариата — выхолощенное от всякого содержания слово“».

Это было онаученное, так сказать, библиотечное обоснование массовых убийств и жесточайшей диктатуры. Это означало кровопускание для целого народа, но во имя счастья самого же народа. Возможность ужиться столь противоположным, взаимоисключающим понятиям в одном сознании невольно предполагает в нем определенные психические сдвиги. Не может нормальный человек теоретически доказывать (и доказал-таки, нашел людоедские знаки и формулы) необходимость и целительность массовых убийств («чистки»). В новой истории вторым таким человеком окажется Гитлер с его теорией неполноценных рас и диким антисемитизмом.

Инструментом ленинской философии массового избияния людей станет самый развитый, самый разветвленный и большой по численности орган (один из отделов ЦК ленинской партии), имя которому ВЧК-ОГПУ-НКВД-МГБ-КГБ.

называл его «кретином», как всех меньшевиков, отмеченных определенными полемическими способностями.

В молодости Александр Самойлович Мартынов был народовольцем, за что был «награжден» десятилетней ссылкой в Сибирь.

Именем Ленина и по праву своего членства в его партии (причем членства почетного) этот орган осуществит истребление несметного количества людей, независимо от пола и возраста. Это будет невиданное в истории человечества уничтожение людей в мирное время и без всякой вины этих людей (хотя и вина не дает никому такого права).

Примечателен портрет Ленина, составленный Воронским в книге воспоминаний.

«Ленин двоился в глазах, троился, умножался. Он представлялся хитроватым мужичком, заботливо и упорно приумножающим свое хозяйство, не брезгующим всякой мелочью. Он знает себе цену, он себе на уме; умеет, когда нужно, помалкивать, выспросить, разузнать; словам не верит. А вот если он наденет кепи, сдвинет его несколько в сторону и на затылок, что-то озорное, острое мелькнет в глазах, что-то жесткое в искривленных и резких губах его, в его маленьких прижатых к голове ушах. Теперь на нем пальто и котелок: он ученый, такая же желтизна, такая же несвежесть кожи, ушедший в себя, рассеянный взгляд; такая же сосредоточенность бывает у людей, которые проводят бессонные ночи и дни за письменным столом в кабинете... и вдруг, заслоня все образы, вырастала фигура вожака, пророка, властного диктатора».

Насколько мне известно, это — единственное упоминание о Ленине как диктаторе в нашей советской литературе до 1987 г. До сих пор это было бы равносильно доносу на себя по самому серьезному политическому вопросу (это же официальный государственный святой).

А тут ведь 1931 год!

Но и то правда — ни одно издательство и не напечатало бы такие слова. Это могли позволить только Александру Константиновичу Воронскому: старый партиец, весьма близко знавший вождя. Именно по совету Воронского, неоднократно отвергаемому Лениным, начала выходить «Правда». Разговоры завязались на Пражской конференции РСДРП(б). Ленин не верил в возможность легального издания. Воронский упрямо убеждал, приводя в пример большевистскую газету, которую издавал в то время у себя в Одессе. Убедил.

— ... Учредительное собрание невозможно в Гражданскую войну, — говорит Чудновский. — И вообще, оно пережиток. Трудящиеся должны брать свою судьбу в собственные руки, а мы, большевики, плоть от плоти народа...

Трудно Флору Федоровичу, с мороза перехватило горло, и воздух в тюрьме — чем они здесь только дышат, черт их дер!

Флор Федорович уже замечал за собой: в гневе или волнении голос становится силлым, как бы перехваченным в горле. Случалось, это мешало на митингах.

Затягиваясь на всю грудь дымом и слегка пьянея, Флор Федорович преодолевает и сипловатый дребезг, и кашель, и отвращение к тюремной вони.

— Старая власть не смела арестовывать даже самых левых депутатов Думы, исключая войну, а вы, большевики, хватаете без разбору, — говорит Флор Федорович. — Вы опираетесь не на народ, а на ярость народа. Для вас нет ничего святого. Чем вы отличаетесь от Колчака?

— Ну, полегче, полегче, Флор Федорович. Никакая живая вода не оживит прежнюю Россию. Не тужьтесь, набьете грыжу... Вы хотите Учредительным собранием прекратить Гражданскую войну — это же несерьезно. И потом, мы знаем, что такое ваша «Учредилка» — это Болдырев, Авксентьев, а затем и Правитель... Нет, Флор Федорович, дерево камнем не придавишь, народ берет будущее в собственные руки. Соглашательская политика меньшевиков и ваша, эсеров... да-да, не смотрите такими глазами... ваша политика только отдаляет конечную победу пролетариата над капиталом...

В сторонке, у самого окна, мостится на стуле товарищ Денике. Не по себе ему: пусть начальство без него предается распрям. При всем своем повороте к большевизму не смел Денике плевать на Флора Федоровича — еще вчера был всему глава, как-никак член ЦК партии социалистов-революционеров, опытный подпольщик, протеже самого Чернова.

Оно, разумеется, так, но, с другой стороны, за Чудновским будущее — какая партия! А Москва с Лениным и Троцким, а ВЧК Дзержинского...

И жметса на стуле следователь Денике, молчит, молит Бога, чтоб забыли о нем. Пусть весь разговор вроде бы не при нем...

У Денике — узкая верхняя губа, рот широкий; выражение лица какое-то щучье, ухватчивое.

Флор Федорович наливается тягучим раздражением, мутит его от самоуверенной малограмотности председателя губчека — все представления о мире сшиты на партийных догмах — примитивные истины. Ну даже собственного кончика ушей или носа из-за догм не углядеть. Начетчики! И не прошибить эту дубовую башку ничем. По ноздри будут стоять в крови, голодом выморят весь люд, а все будут гнуть свое, ни единой буквы в партийных формулировках не изменят. И бьют поклоны Ленину, бьют — весь лоб в шишках, а бьют...

Флор влюблен в идеал свободной России, но это не имеет ничего общего с карьеризмом — презренным искусством торговать собой. В правление Керенского не составляло труда прыгнуть в «чины», но Флор Федорович скорее бы руки наложил на себя, нежели позволил искать выгоды в святом деле борьбы. Он с семнадцати лет во всем отказывает себе и не ведает иных отрад, кроме борьбы за справедливость.

— Да представляете ли вы, Чудновский, что такое революция? — обрывает он самодовольные рассуждения председателя губчека.

Семен Григорьевич заливается смехом, этак проворно вспрыгивает задом на стул и бухает словесами:

— Душа российского обывателя всегда была окутана туманом рассуждений. Вы, попутчики нашей революции, тому доказательство. Ей-Богу, как пчелы: вьетесь, а входа в улей не видите. Самый простой, безграмотный человек видит, а вы — нет...

Презирает товарищ Чудновский обезьянье искусство вежливости — говорит и поступает так, как подсказывает обстановка, а не эти самые политесы. Поэтому и рубанул с плеча:

— Для купца и буржуя да партий, которые им прислуживают, японский солдат милей рабочего и крестьянина — это факт...

Флор Федорович чувствует: не удастся ему речь, не ложатся нужные слова — уж очень много обид и злости на душе, а это всегда против ясности и выразительности доводов. Вроде базарной перебранки у него с председателем губчека, но вот взять себя в руки... кипит все в душе.

— Ваша Россия — это стадо ослепленных преступными лозунгами мужиков.

— Не стыдно, Флор Федорович? — Чудновский скашивает кровавые белки глаз на дверь: чего не ведут адмирала. — За гнилушки слова цепляетесь. Вам-то, с вашим стажем борьбы и заслугами?

Чудновский сдержался и не добавил, что думает о меньшевиках и эсерах вообще. Меньшевики — так те только по названию социал-демократы, а на деле — агенты-миротворцы при белых, а об эсерах и толковать нечего... Жаль, момент не для откровений. Председатель губчека полизывал губы — здорово обветрены, — помолчал и принялся внушать бывшему председателю Политцентра:

— Как учит гениальный стратег пролетарской борьбы товарищ Ленин, союз между пролетариатом и буржуазией невозможен. Единственно приемлемые отношения — это борьба, беспощадная, насмерть. Да, мы провозглашаем: во имя торжества дела пролетариата и беднейшего крестьянства — диктатура! Мы должны уничтожить враждебные классы! Никакой щепетильности! Никаких угрызений совести! Все во имя светлого завтра!..

И Чудновский осекся, услышав разнобой шагов.

Адмирала всегда водили пятеро: двое — сзади, двое — спереди, и еще впереди — старший по наряду. Конвойные — с трехлинейками, при штыках, старший по наряду — с наганом.

Грохнули приклады за дверью. Отвалилась высокая белая створка, и показался старший по наряду, сразу за ним — Александр Васильевич. И запахло куда как острее стужей и вонью параш. Свежий морозный воздух и вонь...

«Вот он, мой, Федоровича, приз! Что, доигрался, адмирал? А теперь отвечай!» — так и рвался крик из Флора Федоровича. Он, разумеется, молчит, только жует папиросу и слглатывает слюну: не дать волю чувствам — а доведен он до белого каления. Все ему тут ненавистны: и адмирал, и большевики, и сукины дети вроде Денике. Все здесь измываются над Россией и калечат ее душу.

— Кто вы? — на фальцет, тонко спрашивает Флор Федорович. Александр Васильевич подумал, отвечать ли, но решил, что это какая-то судейская формальность, и ответил:

— Я Колчак Александр Васильевич, адмирал Российского флота и бывший Верховный Правитель Российского государства, но я лично этот термин употреблять избегаю.

Он давно бережет свой ответ для судей.

Чудновский налился было яростью, но смолчал, пусть Федорбич выкручивается, шкура эсеровская! «По заслугам и почет», — думает о нем.

А Флор Федорович смотрит на Александра Васильевича с жадной ненавистью. Так вот каков этот Александр Четвертый! Да-да, вот он, перед ним!

Какой счет ему предъявить за омский переворот — сорвал великую работу по строительству свободной эсеровской России. И это он, адмирал, едва не пресек его дни, убежденного социалиста-революционера...

Чудновский поглядывает снизу и сбоку на горбоносый адмиралов профиль и полистывает протоколы допросов — он уже успел переместиться за стол. Протоколы потребовал показать бывший председатель Политцентра. С того просмотра и завязалась грызня.

Александр Васильевич ждет. Он уже привык к глупостям вроде той, с которой сейчас обратился этот бледный человек в офицерском френче под ремень. Ремень он не затянул, не умеет — и перепоясан оттого не по талии, а ниже. Без портупей тяжесть маузера стащила ремень к ляжке. Не военный человек, а чучело. Он такому бы и оружие не доверил...

— Вы, адмирал, глубоко виновны перед народом, — говорит Флор Федорович и сам удивляется себе: на кой ляд этот пафос. И продолжает (все тем же высоким тенором, но спокойнее): — Вы пошли на нас войной за то, что мы взяли силой свое: землю, заводы, все присвоенное господствующими классами. Вы хотели, чтобы трудовая Россия только просила у вас и не больше! Вы отрубили бы и правую, и левую наши руки — проси мы слишком настойчиво. Вот ваша государственная философия.

— Вы — весь народ? — спрашивает Александр Васильевич.

— Я бывший председатель Политического Центра свободного и независимого Иркутска и всех примкнувших к нему городов и селений. Мое имя — Флор Федорович Федорбич.

Александр Васильевич с любопытством смотрит на Флора Федорбича. Вот один из тех, кто разрушил тыл, лишил армию опоры и, наконец, стреножил его, Александра Колчака. Занятое свиданье. А чем промышлял этот тип в старое время?..

— Александр Колчак! — опять громко, фальцетом произносит Флор Федорович. — Александр!.. Имена все громкие, большие, а люди... маленькие!

Александр Васильевич дернулся, но тут же взял себя в руки, как бы приглож на обиду.

От старшего по наряду (он шумно дышит рядом с Александром Васильевичем) пованивает чесноком и еще невесть какой дрянью. Он порой напрягается и тихонько рыгает. Детина ражий, с красной ленточкой на папахе и малиново-задубелым сырым лицом под чубом.

— Вы, адмирал, поставили себя вне закона, — говорит Флор Федорович. — У вас нет Родины.

— Вы всерьез полагаете, что если поставили на Россию пятиконтинентное клеймо, то лишили меня и других, как я, Родины? — Александр Васильевич аж выше стал и строже. — Вы всерьез полагаете, будто Родина — это только политическая доктрина?.. Если так, это болезнь, господа... Что до ваших обвинений... Мы уже не раз здесь говорили, но извольте, готов объяснить. Сложите всех, кто уничтожен при моем правлении. Данная цифра даже близко не выписывается к сумме жертв ленинского террора по России.

— Я не большевик, адмирал, я социалист-революционер. Мы даже одно время входили в ваше правительство.

— В таком случае вы не можете не знать, что происходило в Самаре и других городах вплоть до Урала. На первых порах там установилась власть Комуча. Вы небезгрешны, не надо, не сходитесь. В Гражданской войне так не бывает. Вы и чехи убивали красных. Это Гражданская война, господин бывший председатель Политического Центра. Я правильно называю вашу должность?.. В Гражданской войне тыла нет — все оказываются втянутыми в столкновение. Но не в пример большевикам мы не занимались ни казнями по заложничеству, ни истреблениями по классовым принадлежностям. Мы преследовали и уничтожали большевиков и всех, кто им помогал. Иного пути пресечь смуту не существует...

Чудновский слушает Александра Васильевича и говорит про себя, весело поглядывая на Флора Федоровича: «А, Флор, каково излагает? Думаешь, адмирал — это хрен собачий? Нет, шалишь, сам выкручивайся...»

— С вами, адмирал, Россия не погибнет, — напирает Флор Федорович. — Старое рушится, время меняется, из развалин родится новая жизнь.

— Разве что из развалин, — соглашается Александр Васильевич.

— Босфор и Дарданеллы им не давали покоя, — давит на басовые ноты Чудновский. — Зарились на чужие земли. Все бы мощну набивать, на горе и слезах наживаться!

Он говорит, а сам поглаживает протоколы — радуется эта пачка бумаг.

— При чем тут чужие земли, господин чекист?

— Империализм — вот название вашей сущности.

Уж очень хочется Чудновскому показать, как он вот так, запросто обращается с самим Колчаком: да обычная шкура для него этот золотопогонник, факт!

Вздрыгнул на слове «сущность» Александр Васильевич, напря-

глось все в нем, но опять осадил себя («ничего, побереги красноречие до суда»), поясняет, не повышая голоса:

— Уже одна статья Берлинского трактата 1878 года предполагала захват проливов целью России. Данная статья накладывала запрет на проход наших боевых кораблей через черноморские проливы. То есть турецкие, английские, итальянские и еще Бог весть какие корабли могут плавать, где им заблагорассудится, а русские — сиди в портах Крыма и Кавказа. Это явилось ущемлением суверенных прав России. В условиях же мировой войны захват проливов выводил из войны Турцию... И потом, я солдат. Я научен и привык получать приказы и отдавать...

Эрих Людендорф признавал, что участие в войне Турции «позволило Германии продлить войну на два лишних года».

О признании злейшего врага России Александр Васильевич не мог знать, но значение Черноморской эскадры, конечно же, признавал. И посему все его действия оказались направленными на скорейшее ослабление Турции. Этого требовали жизненные интересы России.

— ...Буржуазные выдумки, — басит товарищ Чудновский. — Мы станем обращаться через головы буржуазных правительств и генералов. Нам с простыми людьми всех стран мира делить нечего. У нас одна цель — свободный и раскрепощенный труд, счастье народов...

— Рано, рано определяете свое место в истории. Вы взгляните на себя лет через семьдесят. Разрушать... оно, разумеется, проще.

Флор Федорович старается запомнить адмирала: шинель под меховым воротником, сапоги, папаху в руках. Запавшие, заплавленные в черноту глаза. Губы тонкие, упрямые. Взгляд уверенный, скорее даже холодный. Хоть бы слинял чуток, черт его дер! И даже смуглость не посветлела, словно с юга пожаловал... Понимает Флор Федорович: недолго адмиралу занимать камеру, у большевиков не заживешься...

Александр Васильевич уже догадывается, что это смотрины на потеху бывшего председателя Политического Центра. Никто не пишет за ними, писарей нет. Не допрос, а спектакль во славу комиссаров. Он теряет напряженность и слушает вполуха. В маленькой комнатке справа замечает на полу кольт. Как не знать эти пулеметы! Их в числе 1100 штук поставили легиону США — этот из их числа.

Александр Васильевич хорошо помнит цифры: США поставили легиону 155 тыс. комплектов обмундирования, 250 тыс. винтовок, 600 тыс. гранат, 100 автомобилей, 25 аэропланов и еще кучу разного снаряжения.

«Не верят комиссары в прочность своей власти, — думает Александр Васильевич. — Не верят, если заседают и допрашивают в компании с кольтом». Он оглядывается на грохот. За дверью смеются конвойные, а прикладами долбят от избытка чувств: о Нюркиных прелестях сказ. Уже два дня они его водят, и всё — пошлости и сальности о какой-то Нюрке.

Из дверных щелей ядрено садит махоркой.

Бывший председатель Политического Центра рассказывает о Жардецком: встретил и не арестовал — не удалось, ушел.

— Один был, в тулупе, при усах и бороде, морда наглая...

Чудновский сразу перестал гладить протоколы. Жардецкий!

— Это что после ужина горчица, — бормочет он. — Этот на воле может наделать делов...

И впрямь, кому неизвестно в Сибири это имя: председатель омских кадетов, черносотенец без чести и принципов.

— Кабы не тянулся за ним следок в офицерское подполье, — еле слышно бормочет Чудновский.

У бывшего председателя Политического Центра голос тонкий, не отличишь от мальчишеского. Александр Васильевич приглядывается: откуда у таких страсть к разрушению? Потом раздумывает о том, что, раз такие метят на большую власть, не грех им производить «габэт» — чтоб, так сказать, даром в мужах не числились, а то вот главный эсер и с таким голосом...

— Эх, не задержали, — убивается Чудновский, — ведь вы ж были при оружии, Флор Федорович. Или орел муху не ловит, так?.. Оно, конечно, так: Жардецкий — это не адмирал Колчак...

Чудновский нет-нет а скребанет черепушку: зудит, окаянная. Помыться бы, а когда? Не раздвинуть минуты, спаяны заботами — ну сутки за сутками в огне.

Александр Васильевич улыбается. Ни в чем другом склонность Петра Великого к шутовству не выразилась с таким бесшабашным цинизмом, как в уставах всешутейного и всепьянейшего собора, а купно — в клоунских процессиях по случаю избрания папы или женитьбы патриарха. Надо полагать, впечатление произвел на Петра старозаветный казус со святой церковью в Риме. Папой оказалась... баба!

Прикрылась мужским именем Иоанн и заняла святой престол. И никто бы ни сном ни духом о том не ведал, не разродись папесса на церемонии крестного хода. С того дня положено освидетельствовать каждого избранного папу на предмет наличия мужских достоинств.

И сочинил Петр церемонию избрания своего князь-папы. В презное кресло усаживали кандидата. К нему подходили члены собора и, ощутив крепко естество, громогласно возвещали: «Габэт форамэн! Габэт форамэн!» И проделывали обряд непристойностей уже чисто петровского изобретения.

Лишь теперь Александр Васильевич замечает на стене лозунг — по склеенным газетам красная краска:

«Пропади, буржуазия, сгинь, капитал!»

И чуть пониже той же краской:

«Кто не с нами — тот против нас (Макс Штирнер)».

При Политическом Центре лозунги здесь не водились.

«Неужели было и рождество с елкой, подарками, любовью людей? Было счастье уважения людей, и не только уважения, но и счастье уважать людей. А теперь ничего: лишь вот эти лозунги; люди, как волки, и камера...»

Пуще всего на свете хотел Семен Чудновский, чтобы адмирал запросил о пощаде, но, наглядевшись на адмирала, сообразил: на это глупо рассчитывать. И все же совсем, вот так, не мог отказаться от надежды, а вдруг расколет его: начнет выторговывать себе жизнь.

Александр Васильевич наблюдает за бывшим председателем Политического Центра. «В лице — мысль и честность, — отмечает он, и это его удивляет. — Политик — и чтобы честность?..»

Бывший председатель Политического Центра черен бородой и волосами. Лицо тщательно выбрито и очень бледное. Даже с мороза румянец сбежал мигом. Неестественно сведенные брови, подергивания щек выдают общую нервность.

Один вопрос не дает покоя Флору Федоровичу, пора уходить, а мнется — почти до кожного зуда это любопытство. До того прохватывает — так и развесил бы уши.

И в самом деле, для чего адмирал носил портрет Александры Федоровны? Если подарок — кто подарил. И зачем носил, зачем?!

Не стал ронять себя до обывательского любопытства Флор Федорович, промолчал.

При аресте у Колчака изъяли наличностью (сведения эти строго документальны) 218 рублей кредитками¹ — тьфу, а не деньги! Но зато взяли и вещь преудивительную: портрет государыни императрицы под брильянтами (и по следствию Соколова не проходила — тут Дитерихс за главного контролера, да и не позволил бы себе Соколов и пылинки присвоить).

Что, перехватило дыхание?

Ясно, портрет не колчаковский, но откуда, кто заказал и лелеял, что за всем этим?..

А только никто уже не расскажет.

¹ Смею представить, какие миллионы в валюте были бы обнаружены при аресте у некоторых (большинства) лидеров отечественной демократии. Адмирал-контрреволюционер оказался бы тут недосягаемой и непреодолимой вершиной чести и порядочности, что и было на самом деле.

Попал портрет в руки Ширямова, а после и затерялись, затерлись следы.

Надо полагать, выковырнул камешки какой-то ответственный «женевец» (ему сдал народное достояние Ширямов), а портрет, поди, размочалил и выбросил — ну не было в природе подобной вещицы.

Но в тот вечер (это доподлинно известно) лежал портрет в ревкомовском сейфе и имел все права на историко-кровавую реликвию.

Не впервые пропадали ценности в «женевской» империи.

Гелий Рябов рассказывает в исследовании о месте захоронения царской семьи, как исчезла драгоценность, не имеющая цены. Ее оставила царица в Тобольске на сохранение. Чекисты нашли этих людей, вырвали у них камень.

И канул камень в вечность. Никто не знает, где он. Нет его в природе.

Ленин вопреки воле большинства делегатов Пражской конференции добился избрания Малиновского в ЦК партии (дважды голосовали, Ленин ходил по залу, шептался, уговаривал...). Провокатор нанес огромный вред партии. Пострадал и Воронский. Можно сказать, из Праги поехал в тюрьму.

«Об этом избрании Малиновского в центр я беседовал с товарищем Лениным спустя семь лет на третьем съезде Советов, при первом свидании с ним, — пишет Воронский. — Мы гуляли по залу Таврического дворца. Ленин расспрашивал об Одессе и Румынском фронте. В конце беседы я напомнил ему былые споры в Праге, указав, что он напрасно отстаивал тогда Малиновского, оказавшегося провокатором. Почему-то очень хотелось, чтобы Ленин признал эту свою ошибку. Я ждал, что он с готовностью скажет: да-да, вы были правы, я тогда опростоволосился. Выслушав меня, Ленин отвел взгляд куда-то в сторону, мельком скользнул им по густым группам делегатов, перевел его затем вверх, куда-то сначала на стенку, потом на потолок, прищурился и, как бы не понимая, куда я направляю разговор, действительно с сокрушением промолвил:

— Да, что поделаешь: помимо Малиновского у нас был тогда еще провокатор.

Он посмотрел на меня с добродушным соболезнованием. Огорченный, я стал опять рассказывать о Румынском фронте...»

Очень хотел услышать Воронский это признание вины.

Не услышал.

«Ленин не любил проигрывать и уступать даже в мелочах...»

Долбит Александр Васильевич каменное корытце, долбит.

Шаг, еще шаг, еще — и поворот. Так сотни, пожалуй, тысячи раз на день.

Выводит он счет демагогии большевиков.

Сразу после захвата власти писали о предложении начать переговоры с немцами: «Пусть полки, стоящие на позициях, выберут тотчас уполномоченных для вступления в переговоры с неприятелем».

Что за бред! Война имеет связь со всем фронтом. Нельзя на десяти верстах заключить мир, а на соседних десяти — воевать. Бессмыслища, зато как действовала!

Из той же демагогии большевиков — о трудящихся массах Германии, к которым они обратятся через головы кайзера и его генералов. В итоге этой демагогии фронт обнажился окончательно. Немцы стали продвигаться без боев. Требования Германии с каждым днем становились обременительней.

Большевики кричали о море крови, пролитой старым режимом, а что стали творить? Любые жестокости — ничто, лишь бы закрепиться у власти. Требовали отмены смертной казни, а стали применять в невиданных масштабах.

На митинге в цирке «Модерн» нарком Луначарский поведал публике о намерении большевиков не платить по нынешним займам, за исключением той части, которая приходится на мелких держателей акций. Что за дурь, ведь акции безымянны. Богатые просто-напросто спустят свои акции люду победнее — и все! Но как аплодировал цирк! Как зазвонили газеты! Демагогия — и еще какая, но свое дело выполняла.

А лозунги о социальной справедливости: взять награбленное, чтоб жить как буржуа? Где, в чем смысл тут? Опять грабить — так?..

А переезд правительства? Вчера травили Временное правительство за намерение переехать в Москву, а сегодня, захватив власть, махнули в Москву.

Скрючился Александр Васильевич на лежанке, набирает крохи сна, а в воспаленной голове молоточком выстукивает одна мысль: «Я должен все выдержать, совершенно все. Пусть проклят людьми, но настанет время, и наше дело предстанет в ином свете: без грязи личного, жестокостей дегенератов, груза вины власти, сметенной в Феврале. Я не смею и не должен быть иным — во имя будущего России не смею...»

И, уже придремывая, вернулся мыслями к прошлому. «Обычай этот, «крепкого ощупывания», — вспоминает Александр Васильевич, — Петр ввел в обиход с 1718 года — после смерти «всешутейного патриарха» Никиты Зотова...»

И расслабился, поверил в невозможное — жизнь...

И задышал ровно, отдаваясь забытью.

Солдатская секция Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов выразила решительный протест против переезда Временного правительства из Петрограда в Москву: если Временное правительство не способно защитить Петроград, оно обязано либо заключить мир, либо уступить место другому правительству; переезд пра-

вительства при таких условиях есть не что иное, как дезертирство. Об этом сообщили «Известия» 7 октября 1917 г.

Это была типичная демагогия большевиков, поскольку в октябре семнадцатого Петросовет уже возглавлял Троцкий и все его секции находились под контролем большевиков.

В общем, разваливать фронт антивоенной пропагандой можно и даже крайне полезно, это обессиливает основную опору режима — армию, а вот сдавать Петроград — «не моги», здесь обольшевиченные гарнизон и рабочие. Но как тогда удерживать Петроград? Нельзя же в одно время быть и не быть. Впрочем, несуразность этого не смущала Ленина: главное — антивоенный лозунг работал на революцию.

Главный Октябрьский Вождь действовал в строгом соответствии с учением. Это ему принадлежат слова:

«Первой заповедью всякой победоносной революции — Маркс и Энгельс многократно подчеркивали это — было: разбить старую армию, распустить ее, заменить ее новой».

Беззащитность Петрограда и угроза его захвата немцами вынуждали Временное правительство к переезду, а это в свою очередь нарушало основное в плане Ленина. И в самом деле, Временное правительство еще у власти. Переезд в Москву, безусловно, укрепит его положение. Обольшевиченный гарнизон Петрограда уже не сможет влиять на решения правительства и участвовать в захвате власти. В Москву всю работу следует начинать сызнова, и, что чрезвычайно существенно, гарнизон далеко не тот. А Временное правительство надо валить. Выпускать его из петроградской ловушки — ошибка, даже преступление перед историей, ибо ведет к потере верной возможности захвата власти, может быть, единственной в истории, во всяком случае при жизни его, Ленина. Петросовет по требованию большевиков угрожает Временному правительству и запрещает переезд.

«Приятнее и полезнее «опыт революции» проделывать, чем о нем писать...» Было в Ленине это — вождизм. С первых шагов на политическом поприще видел себя вождем, в другом качестве не представлял.

В феврале восемнадцатого, то есть всего через три месяца, родной брат управляющего делами Совнаркома Михаил Дмитриевич Бонч-Бруевич, бывший царский генерал самых высоких отличий, а при советской власти — ответственный чин в Высшем Военном Совете, составил докладную записку о необходимости переезда правительства в Москву. Основная причина та же, что вынуждала к этому и Временное правительство: «...появление немецкого флота в ближайших водах Балтийского моря, агрессивные действия немцев в Финляндии» и т. п.

Как свидетельствует Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич:

«Владимир Ильич тут же написал на этом рапорте свою резолюцию о согласии на переезд правительства в Москву... В тот же день на закрытом заседании Совнаркома Владимир Ильич секрет-

но сообщил всем собравшимся народным комиссарам о своем решении...»

Разумеется, никаких секретных договоров, никакой тайной дипломатии — все на виду и под контролем народа...

Сегодня адмиралу разрешили прогулку с Тимиревой.

Анна!..

Александр Васильевич держал ее за руку и не мог вымолвить слова. Казалось, сердце разорвет грудь.

Анна!

Он прижал ее руку к губам. Анна!..

Через четыре месяца после захвата власти (в марте 1918 г.) большевики сменят столицу. Надо в Москву — и все!

И сменят опять-таки в своем духе — совершенно секретно. Не так, как, скажем, готовилось к этому правительство буржуазной диктатуры — Временное: открыто оповещаая всех.

Это уж точно: не взята на зуб, отчего одному правительству нельзя уезжать от немцев, а другому — просто необходимо. Однако как не понять? Ведь ежели что в интересах народа, то не нужны законы и разные правила — просто излишни, так сказать, ограничительно-обременительны: надо — и точка!

И любая подлость, мерзость, клятвопреступление, жестокость — все имеет другое значение, совершенно отличное от прямого, первородного смысла слов. Нет и не может быть в подобных деяниях ничего дурного и преступного, а скорее даже наоборот, свидетельствует об убежденности, мощи духа и решимости сражаться за новую жизнь. Тут никакой натяжки: это вершина логического мышления, дальше лишь синь неба и разные божественные штучки.

Заветная цель «женевской» гадины — превратить каждого в человекомуравья; собственно, ради этого и все старания, и вообще заглоты на миллионы жизней.

Малость человека, его микроскопические размеры в новой жизни вполне по нраву «женевской» гадине — ну в самую строку социалистического общества, где долголетие не зависит от генов, диет, бега трусцой и разных прочих оздоровительных мер, а является прямым следствием умения казаться несравненно меньше, нежели ты на самом деле, и заявлять о себе лишь заданными наборами слов. Впрочем, не все способны отречься от брата, отца или жены, уже не говоря о столь «пошлых понятиях», как прошлое своего рода и Отечества. Но те, кто за долголетие любой ценой наловчился оплевывать и презирать все согласно доктрине и капризам генеральных секретарей (особливо предков — за несмышленность, дикость и политическую несознательность: ну не разглядели выдающейся роли пролетариата, смели соображать немарксист-

скими категориями и вообще поимели наглость родиться), — так вот эти довольно успешно принимались и принимаются на новой почве. Каждый росток под надзором «синего» воинства.

Новое государство, новые отношения, новый человек всходят из мрази преступлений, лжи и оголтелых насилий. Но согласно все той же логике, это никак не может означать, будто государство — насильное и обманное. Это так не взять — тут только сокрушительность новейших диалектических приемов расчищает завалы мещанских предрассудков и небылиц.

Преступление по природе своей понятие относительное. В советском обществе разные там принуждения насилием или подлости — это не преступления и не низости, это даже не может быть ими.

И общество тоже совершенно спокойно, при чем тут закон, справедливость, право, если речь идет об интересах социализма, — в таком разе все годится и все дозволено. Тут со школьной скамьи идет выработка правового сознания, так сказать, сознания с гуманистически-убойным креном.

И даже в лагерях при полной невинности настоящие советские люди не ропщут, а уж при всяких там бытовых и правовых ограничениях и подавно. Для социализма надо — и молчат. Их еще с нежных детских лет на такую жизнь нацеливали. И каждый помнит, что отцам и дедам куда как худо было, разве так с ними обходились... А потому люди не только молчат, а всячески высказывают одобрение поведением и речами, поскольку есть еще у каждого и гордость за свое новое Отечество. Для этого нужно иметь новый, советский взгляд на вещи. Затылочное зрение — предмет особой гордости и заслуг «женевской» твари, потому что настоящая демократия должна быть убойной. Это основа основ затылочного зренья.

В. Д. Бонч-Бруевич писал, что вопрос о необходимости переезда выявил тех, «кто в гибели правительства диктатуры пролетариата видел единственное средство для спасения своего мещанского благополучия».

Это верно, «женевская» тварь позаботится о таких: так сказать, ее материалец. Разве только мещанское благополучие останется, точнее, переместится по преимуществу в верхи партийной бюрократии, а вот все те, кто имел наглость мечтать о мещанском благополучии, расстанутся с жизнью.

Правда, через полвека после революции (с конца 60-х годов) к идеалу мещанского благополучия начнет причаливать и все новое советское общество, во всяком случае в своем служило-казнокрадном выражении — на миллионы «благополучий». Оно не будет задаваться вопросом, отчего прежде изводили людей на сотни тысяч и миллионы. Ведь при нынешнем отношении к благам и собственности все это, выходит, затевалось понапрасну.

Нет, не взволнует это общество, не пробудит декабристско-раз-

ночинно-большевистскую нетерпимость к несправедливостям и палачеству. Ведь в кино, книгах и школьных учебниках на все есть ответы. При чем тут какая-то ответственность, преступления и тому подобное? А издержки развития, необходимость борьбы, враждебное окружение — ну тысячи слов над миллионами трупов и загубленных жизней.

И тут опять диалектика. Ведь ежели о благополучии, то ведь оно теперь вовсе не мещанское и не собственническое, а это — «рост благополучия трудящихся». Только не совсем ясно, отчего оно у одних за счет других. Тут диалектика еще не пробила себе достаточно просторные лазы...

Через уполномоченных ревкома нажимает Косухин на Благажа: не вернете золото — встанут эшелоны, ни один легионер не выберется во Владивосток, и трогать не станем, само сгниет чехово войско.

Нажимает Косухин, а легионерам и впрямь не по себе: да вся связь с миром эта ниточка путей. Нет без нее ни Чехии, ни Словакии, ни приятной жизни после сибирских хлопот...

Шурке Косухину подчиняется сам Ширямов, а уж он и по партийному стажу, можно сказать, в отцы ходит. Вопрос о золоте держит под контролем лично товарищ Ленин. Совнарком им занимается, секретари ЦК, наркомвоенмор Троцкий и председатель ВЧК Дзержинский. Есть секретное решение ревкома разнести пути вдребезги, коли союзники решатся на угон золота. Да неужто отважатся и погонят эшелон?! Выберут ночь поглуше — и тронут, а спереди-зади — бронепоезда! Ох, угонят!..

Таким образом, является товарищ Косухин как бы представителем самого Ленина, а ежели мыслить масштабно — и всего трудового народа. Это делает его указания и мнения обязательными к исполнению.

Молчит генерал Сыровы. Ни цифр не дает о золотом запасе, ни каких-либо предложений, молчит, вражина, и все тут...¹

О себе Александр Константинович Воронский рассказывает в книге «За живой и мертвой водой». Естественно, он не мог рассказать о своем конце. Его застрелили на Лубянке как троцкиста. Он и в самом деле был близок с Троцким.

¹ Вот Сыровы из тех лет.

Собой невысок, крепкого сложения. Во френче, на голове — форменное кепи. Френч сидит плотно, над карманом слева — рядок орденов и крестов. На шее, выше верхней пуговицы френча, — большой белый крест, но не наш «Георгий». Вместо правого глаза — черная матерчатая нашлепка. На лошади, отличном скакуне, сидит подбоченясь. Победитель!

Лев Давидович был изрядно начитан, достаточно чувствовал живопись.

«...Я только не знаю, почему... исправником не займется серьезно литература, почему она предпочитает изображать только идеалистов, героев, ведущих страстную, чаще всего неравную и трагическую борьбу с пошлостью, с косностью, со звериным тупоумием и жестокостью во имя благороднейших мечтаний... Поверьте, для человечества более показательны: палач, который из-за четвертной кредитки для себя, чтобы жавкать, мочить сладострастной слюной вонючую бабущу, с пафосом, с энтузиазмом — непременно с энтузиазмом — на ногах осужденного; какой-нибудь изверг, душегуб, который отважно полосует и свежует ножом человека... Знаете, что замечательно в Великом Инквизиторе Достоевского? То, что он не прочь растоптать человечество, Христа, свободное произволение людей во имя торжества, в сущности, куцей, убогой, дрянной и нисколько не умной идейки. И он не пожалеет, нет, не пожалеет ни себя, ни других — будьте покойны. Из Чингисхана, Наполеона, Аттилы человечество сделало, сочинило великих и страшных героев, гениев, людей своего долга... Возвышенно, приятно, что и говорить, а ведь на самом-то деле они были маленькие, ничтожные себялюбцы, хотя, разумеется, по-своему храбрые и даже подвижники. Какая ирония, какая нечеловеческая, губительная ирония — мученически погибать из-за взятки, быть возвышенным душегубом, святым палачом!..»

Так говорит товарищ Воронского по ссылке.

Святой палач!

Как это все близко к Льву Толстому. Угол зрения оценки в человеке человеческого один и тот же. И разговор об общей болезни — жизни без души.

Святой палач!

— Вы считаете естественным, когда одному человеку принадлежит все, а другому — только право работать на других людей, — обрывает Александра Васильевича председатель губчека.

— Я не считаю убийства нормальным средством приближения к справедливости. Я не о Гражданской войне. Как вы можете диктатуру пролетариата провозглашать принципом государственного правления вообще? Ведь диктатура — это чугунная плита на весь народ, все под ней загложнет: правда, жалоба, справедливость, честность...

— Вы защищали паразитов и насильников — вот и вся правда белого движения!..

Товарищ Попов слушает Чудновского и кивает: пора унять золотопогонного говоруна. Попов готовился к допросам обстоятельно, составляя подробный перечень вопросов, уточнений, требований назвать документы, имена, даты. Все, не стесняясь, зачитывает по

бумажке. И без устали делает выписки: слушает адмирала и нет-нет да черкнет для памяти.

Что-нибудь личное, от себя, вот как Чудновский, в допросы не вносил. По тетрадным листкам видно: вопросы обдумывал загодя, так сказать, основательно (скорее всего, на каких-то других заседаниях). Предполагаемые вопросы, уточнения соединяются в тетради стрелками, разными кривыми, а уж потом выстраиваются в аккуратные столбцы. Вопросы Денике к адмиралу сносил сбоку и обозначал буквой Д...

— Вы не даёте говорить, тогда зачем спрашиваете, — говорит Александр Васильевич, подавляя вдруг нахлынувшее раздражение и желание выругаться. — Вы провозглашаете диктатуру самым надёжным и справедливым решением всех вопросов — это ваше правление на столетие вперед. Поймите, взойдет одно лихо, один сорняк и горе. Без доступа света, воздуха разовьется гниение — другого быть не может. Вы себя и народ превратите в червей...

— Отвечайте следователю, адмирал. Денике, продолжайте. — Председатель губчека перемещается на краешек стола — это его любимое место, тогда не столь заметен рост.

Еще до получения власти ревкомом засел товарищ Чудновский за бумаги Колчака, приказы, письма, записки. В незаменимого помощника вырос его секретарь — Сережка Мосин, высокой сознательности работник, беззаветной преданности мировой революции, а оборотист!

«Настоящий революционер не должен ни перед чем пасовать, — наставлял подчиненных председатель губчека. — Нет для него запретов и преград, коли дело о светлом будущем народа». И всегда считал нелишним присовокупить: «„Я“ — это последняя буква в русском алфавите. «Мы» — вот наш принцип и наша сила...»

— ...Я не могу согласиться с вами, господин чекист. — Александр Васильевич ничем не выдает Чудновскому своей неприязни, а она порой петлей перехватывает горло. — Почему мы — антинародная сила? В мое правительство входили кадеты, эсеры, меньшевики, беспартийные, то есть представители всех основных политических сил, кроме большевиков и анархистов. Мы наметили раздачу земли крестьянам. Всем в России и без вашей резни становилось ясно, что дворянство должно уступить крестьянству — этой истинной опоре государства. На каких условиях — это определило бы Учредительное собрание. Мы за сохранение профсоюзов и за право рабочих на забастовки. В июне девятнадцатого я принял делегацию печатников и разъяснил позицию правительства. И вы извращаете факты: профсоюзы мы не распускали. При мне как Верховном Правителе России их по Сибири насчитывалось... сто восемьдесят четыре — и ни один не был запрещен. Мы преследовали те организации и союзы, в которых брали верх большевики. Такие организации переключались на подрывную работу — с этим мириться мы не могли, как не миритесь и вы с любой нашей организацией у себя в тылу. Что касается стачек — по условиям военного времени я не мог их

допускать, но только по условиям военного времени. Само же право на стачки мы предполагаем за профсоюзами... Так называемая контрреволюционность офицерства вызвана террором масс. Для вас офицерство являлось единственной серьезной контрсилрой при захвате власти и, разумеется, после захвата. Поэтому первый, и самый свирепый, удар вы обрушили на офицерство. Оно должно исчезнуть, захлебнуться в крови — тогда большевики могут делать с Россией все, что заблагорассудится. Поэтому офицерство обвинено во всех смертных грехах, его измазали во все грехи старого строя. Заслуги в этом прежде всего господ Ленина и Троцкого. После февраля офицерство занимало вполне лояльную позицию, оно не могло занять другую.

Большевики выступают монолитной силой, с отработанной программой на любые случаи жизни; они уже подготовились к схватке за много лет, еще в подполье и эмиграции: все обкатано, расписано, выверено. Какая же у офицерства могла быть активная роль? Оно только успевало хоронить близких. Его сживали со света пулей, расправами без суда, да прямо на улице! Была открыта самая настоящая охота по всей стране. Каждую минуту, каждый час большевики разжигали погромные настроения, благо причин для недовольства достаточно...

Празднует победу председатель губчека: попал-таки, волчина, в сети! Отплясал свое адмирал!

— ...Революция сокрушила всю тысячелетнюю культуру России, она объявила ее господской и вредной, — говорит Александр Васильевич. — Губится все накопленное веками. Вы сожгли сотни старинных усадеб, часто бесценной архитектуры, — это ведь в конечном счете не барская собственность, а национальная гордость, труд народа — того самого народа, ради которого вы якобы совершили революцию. В огне слепой ненависти гибнут бесценные памятники культуры, в том числе редчайшие библиотеки. Разграблены дворцы и храмы. Черный рынок кишит уникальными предметами искусства. Интеллигенция вымирает...

Александр Васильевич и понятия не имел, что ровно два года назад в Тобольске, в бывшем губернаторском доме, были произнесены почти те же слова. Газеты не без растерянности оповестили о грабежах и бесчинствах в Петрограде: разгромлены не только винные склады, но и отдельные помещения Зимнего — это уже вела отсчет послеоктябрьская эра. Бывший император России попытался у комиссара охраны Панкратова: «Но зачем разорять дворец? Почему не остановить толпу?.. Зачем допускать грабежи и уничтожения богатств?..»

«Воскресенье, 9 декабря (1917 г. — Ю. В.)

Прошедшей ночью «товарищи» разграбили винные погреба Зимнего дворца. Богатейшие погреба, где находились тысячи бутылок с

коллекционными винами. Свою радость они подкрепили выстрелами из ружей. Правда, в конце концов удалось найти пожарных, которые разбили оставшиеся бутылки и затопили погреба, чтобы избежать дальнейшего разгула пьяных страстей. Несколько солдат остались в погребах и погибли там. Жаль, что пропало столько драгоценных вин: там был «токай» времен Екатерины Великой. Его пили „из горла“. (Из дневника графа Луи де Робьена — атташе посольства Франции в Петрограде.)

Это было лишь начало. Скоро столица великой славянской державы замрет, беззащитная и замерзшая, и познает не такие надругательства. Будет она разграблена и обесчещена.

Бывший царь внимательно читал газеты, его глубоко занимает все, что происходит в его бывшей империи. Известие о погромах в Зимнем отзовется в нем болью. Однако это не вырвет из него ругательств и проклятий. Он лишь с недоумением примется расспрашивать комиссара Панкратова, в чем смысл разрушения имущества. Ведь оно может послужить людям...

Господи, какой же силы этот народ, если его грабят почти целый век. На корню все вывозят, губят людей и хапают, хапают... И этот народ еще жив, не сгинул...

Господи, кто только из него не сосал соки, не пил кровь, не вгоял его в землю!

Господи, кто только не обманывал!

Господи, кто только над ним не издевался!

Господи, кто только не называл народом-рабом, народом-слепцом!..

И никогда ни от кого ни слова ласки, ни пощады — одна мука, надрыв и гибель...

Будьте вы все прокляты! — это скажу за него и за всех я, Юрий Власов.

Будьте вы все прокляты!

— Это не наша вина, гражданин Колчак, а ваша, — не без назидания продолжает Чудновский. — Всем своим прошлым эксплуататорские классы подготовили взрыв народного гнева. Рабочие Петрограда, Москвы и центра республики пухнут от голода. Может, не слышали: вымирают семьями, а вы: интеллигенция! Нашли по ком слезы лить! Мы — в блокаде! Рабочие центры без топлива, нет дров! — Чудновский подолгу, вот как сейчас, останавливается напротив адмирала и разглядывает, ровно видит впервые. Чует, корезит это «его высокопревосходительство». Да по приказу этой адмиральской падлы вся Сибирь киснет кровью. Его бы, Чудновского, воля, да сейчас бы, без суда, — и рука не дрогнет.

— Мы не удушали голодом вашу красную республику. Вы сами с этим справляетесь успешно. Ваша крестьянская политика обрекает народ на голод — мы тут с какого бока? Вы навязали продроз-

верстку и пожалуйста, голод! Вы разоряете деревню поборами — и она платит саботажем. Не повезут в город хлеб мужики — не согласны. А вот скажите, почему в наших белых районах не бывает голода? Почему у нас хлеб всегда несравненно дешевле? Это факт, отмеченный всеми экономистами мира. Но заметьте, как только какая-нибудь часть нашей территории отходит к вам, цены сумасшедше подпрыгивают, продукты быстро исчезают и наступает голод — мы, белые, тут при чем? Вы разоряете деревню — и ждете, чтобы она вас кормила. Так не бывает... Декретом от 13 мая 1918 года вы декларировали продовольственную диктатуру. Это не мое, это ваше выражение. Вы публично заявили: все, что пожелаем, будем брать; кто не станет отдавать — уничтожим! Это ваше счастье... В чем?.. Да в том, что толком не успели обобратить Сибирь. Не знает она вашей продразверстки. Тут бы такой Махно объявился! А топливо, дрова? Позвольте, мы-то при чем? Мы от вас не требуем топить у нас — это мы сами должны делать, так, если вы не в состоянии наладить жизнь, мы-то при чем? Не валите с больной головы на здоровую. Разорили транспорт, постреляли людей — и злобитесь на трудности. Лекарств нет? Откуда им быть? Не преследуйте, не экспроприируйте собственность аптекарей и производителей лекарств как врагов трудящихся. Если вы их лишаете всего, преследуете, а сами не в состоянии поставить дело, мы-то при чем, господин чекист?

— Вы так себя ведете, госпо... гражданин Колчак... Можно подумать, надеетесь на посмертное оправдание, — наконец подает голос Денике. Не по себе ему. Надо разворачивать допрос, а не получается. Диспут какой-то! А не поделаешь ничего. Интересна большевикам позиция адмирала в более широком плане.

— Объясните, что вы собираетесь делать с Тимиревой? — спрашивает Александр Васильевич. — Что с ней?

— Бывшая княжна жива и здорова¹.

— Вы хотели сказать «княгиня»? Но ведь она не княгиня... В чем ее вина? На каком основании она арестована? Поймите, она частный человек...

— Не беспокойтесь, гражданин Колчак. Нет вины — отпустим, невелика птица.

— Какой вины, перед кем? Она частный человек! Перед кем она может быть виновата?

— Трудовым народом. Безвинных не караем, — вступает в разговор Чудновский. — Чистая от крови — пуццей уматывает на все четыре стороны. На кой она нам?

— Она ни в чем участия не принимала. Какое-то время ухаживала за ранеными, шила вещи для фронтовиков... А после... Вы, наверное, знаете... в общем, Тимирева служила переводчицей в

¹ Хотя сама Тимирева отрицала свое «княжество», по документам ЧК она проходила как княгиня. Курьезно, но факт.

отделе печати при Управлении делами Совета Министров и моей канцелярии.

— Ну вот мы и разберемся, а то у нее с вами даже инициалы совпадают. — И Чудновский выкатил на адмирала кровавые белки — от недосыпа они такие. — Конвой!.. Веди его, Марченко!..

Даже 25 января Чудновский не отрывался от тюрьмы, а в этот день открылся городской съезд Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов: 524 делегата, из них 346 большевиков. Руководит работой съезда Д. К. Чудинов.

Съезд подтвердил полномочия ревкома и выразил ему полное доверие. Избран Исполком Совета во главе с Я. Д. Янсоном.

19 января в Томске подписан документ о создании буферного государства с границей на западе по рекам Ока и Ангара (река Ока впадает в Ангару в 55 верстах выше Иркутска) — это западной Иркутска, у станции Зима. И если бы не телеграмма Совета Обороны из Москвы с одобрением соглашения, ей-ей, взбунтовался бы товарищ Семен. Не один он такого мнения, есть товарищи из самых первых — и тоже против «буфера», бери Ширямова, Гончарова — самые авторитетные в Сибири партийцы!

Ну рана в сердце у товарища Чудновского! Взбунтовался бы, ей-ей, не будь под телеграммой буквочек: Ленин!

А все этот «американец»! Слиберальничал, слюни распустил. Ничего, мы ему мозги в одно бабье место вправим...

Один из соратников Воронского по конспиративной кличке Валентин рассказывал ему:

«Иногда мне кажется, происходит социальный отбор не лучших, а самых худших: тупиц, тунеядцев, трусов, жалких тварей, свиных рыл... Лучшие гибнут в поисках справедливой, прекрасной жизни, за каждый поступательный шаг платят драгоценной кровью своей, а худшие пользуются достигнутым — сидят до поры до времени тихохонько в укромных уголках, высматривают, выслушивают и в нужное время, когда все укладывается, когда минуют опасности, незаметно выползают... Все лучшие, отважные, честные, смелые — обреченные... Да кто взвесит, кто исчислит самозабвенные, страшные жертвы, кто воздаст за них?.. «И пусть у гробового входа младая будет жизнь играть». Я — за эту младую жизнь, за это грядущее, но не останется ли и тогда слишком много тупорылых, котрым все равно...»

«Которым все равно» стало несравненно больше. На что был «женевский» отбор?

Александр Васильевич присел на лежанку, сгорбился, упер локти в колени, обратил к свету лицо: щеки запали, нос еще круп-

ней — сухой, горбатый. Бывает же, забот столько, а вот привяжется... нейдет из памяти рассказ Бориса Иноземцева. Крепко они выпили тогда, он инспектировал его дивизию...

Иноземцева... весь их разъезд, скорее разведку, красные накрыли. Батарейным залпом, без пристрелки. Это вплотную к Уфе...

— Очнулся... сколько прохладился — не знаю, только босой, без френча, ремней... В башке — звон, какие-то противные искры, вроде не своя... Однако соображаю: не ранен, а контузия у меня... Сел — и все закружилось. Вывернуло раз, другой... А тут меня — за грудки... Отпустили, стою, качаюсь. В глазах — мурашки, однако различаю: трое напротив, на фуражках — жидовские звезды. И с винтовками. И лица, Саша... понял: сейчас станут кончать. Пустые глаза и ненависть...

— Каюсь, Саша, — говорил после Иноземцев. — Мировую войну прошел. Под Осовцом в штыковую полк водил, а тут... Так жить захотелось! И делаю то, что не хочу, не мог бы сделать, а делаю. Молю: не убивайте, братцы! Себе удивился: молю — и кого?! А в груди... ну яма, и такая тоска по жизни, такая жуть!.. Жить! Жить!.. Стою в исподнем и клянчу жизнь. А другой человек во мне возмущается: гадко ему, стыдно! А тот, что сильнее во мне, командует мной — просит, клянчит... «Не убивайте», — молю, сам на колени опускаюсь. Понимаешь, это я на колени — и перед кем?!

Иноземцев долго молчал, курил, ходил по комнате, а после сел в угол на табурет, обхватил голову руками и забубнил оттуда, глухо, не своим голосом:

— А того, что сзади, и не заприметил. Что удар сзади — сознание еще ухватило, и эту боль обвалом — тоже. А дальше одна темень... Сколько лежал... не знаю. Что не добились — понятно: дохлый я для них. Все волосы, рожу, плечи кровь склеила... Ну, а меня стали искать. Опознал подпоручик Садовский. Хороший был мальчик, царство ему небесное! Вот до сих пор, Саша, мерзко на душе. Что же это?! Это я-то на колени?! Я?! Устал? Нервы износились?.. Вот до сих пор мерзко, порой пулю бы в лоб! Это я, дворянин, кавалер двух «Георгиев»?! Саша, как руку после этого людям давать! Я считаю себя благородным человеком. В моем роду Иноземцевых никто никогда не просил милостей. Мой прадед сложил голову в Аустерлицком сражении. Деда убили горцы на Кавказе. Отец Плевну брал, еще мальчишкой брал, безусым юнкером, а я?! Нет, я воевал честно, дыра в желудке, хромаю с пятнадцатого года — осколок по кости. А тут... Такой ужас взял! Так жить захотелось!..

Они тогда крепко выпили. И Борис Иннокентьевич Иноземцев вдруг все и выложил. Вроде исповедался...

И пел Борис! Славился он пением и игрой на гитаре... А тогда спел (он недурно сочинял): «Утром кровью окрасится золотистый ковыль. Станет розово-красною придорожная пыль...»

Александр Васильевич — не шевелясь, словно вплаваясь в камень стен, словно сам из камня, ну ни ничтожной дрожи, шеве-

ленья, даже ресницы стыннут в неподвижности — читает будущее. Смерть свою увидел и разглядывает, какая она, как умирает, хрипит, скребет снег. Папаха откатилась, волосы вперемешку со снежной крошкой...

Долго так сидел. Умирал до будущей смерти...

Скудный свет мягко рисует очертания головы, шинели...

Пришел в себя оттого, что вдруг громко зазвучал голос Иноземцева в сознании: «Так жить захотелось!..»

Поймал себя на том, что глаза широко открыты, почти навывахе. И дышит только краешком легких: тихо и очень мало. Ну совсем умер в том себе, который убит, теряет кровь и жизнь...

Так хочу жить!

И с возвращением в привычный мир вдруг потекли мысли — сами складываются, и ему их только читать.

Тот, кто становится первым в движении, теряет право на жизнь. Она уже не принадлежит ему. Она одна из плат общества за движение, прорыв, поиск... и крах. Жизнь вождя, главы движения в подобных случаях уже подразумевается разменной монетой. Ее швыряют под ноги всем — и открывают новый отсчет в движении.

И все это знают. И никто никогда не возразит против убийства. Первый идет и умирает. Люди все время меняют первого. А за первым утесняются все... миллионы голов. Это из важнейших законов бытия.

И первый, если захотел жить, если истерся вдруг смысл, если вдруг полюбил женщину и мечтает о любви и детях, — все равно зажат в тисках обязательности движения. Никто никогда не позволит ему выйти из движения...

Вождь может видеть угрозу гибели для себя, неотвратимость гибели и никогда не отвернет, даже если личная его гибель бессмысленна, — все равно отвернуть не имеет права.

Его жизнь уже разошлась бессчетным множеством биений его сердца, горячей кровью, дыханием по всем людям, что миллионами сгрудились за спиной. Он и хоругвь, и жертва, и коврик, о который может вытереть ноги любой.

Не он, а они распоряжаются, жить ему или нет. И они никогда не дадут ему отвернуть, даже если его ждет бессмысленная смерть.

Тот, кто берет на себя ответственность управлять движением огромных масс людей, вести движение, теряет право на себя. Для жизни всех он уже ничего не значит со своими чувствами и мыслями...

«Так жить захотелось!..» — вновь и вновь оживает в сознании голос Иноземцева.

Борис Иннокентьевич Иноземцев был расстрелян в числе других офицеров в последних числах ноября. Их расстреляли, прикололи штыками прямо у стен штабного помещения. Свои же солдаты свели всех, кого успели взять...

Александр Васильевич получил известие об этом по пути к Крас-

ноярску. Тогда, что ни день, тысячами клали головы офицеры, и скольких же из них он знал!..

Уже больше не очнется Борис на снегу, не сядет, не замочит седой разбитой башкой, соображая, где он, что с ним...

До седых волос сохранял Борис юношескую влюбчивость. Семьи не имел. Женился — развелся, попробовал еще жениться... и махнул рукой. Кому что: кому семья и ласки любимой жены, а ему, Борьке Иноземцеву, новые женщины и новые страсти...

Эх, Борис, Борис...

А и в самом деле, хорош был: статен, лицом мужествен и в то же время приветлив, а тут и гитара, рюмочка... Много у него было баб, и любили, не притворялись, а ни одна не завет по нему.

И адмирал представил Анну в вони камеры, удушливым запахе нечистот и вшах...

И вскочил, широченно зашагал по камере. Два шага — и стена. Два шага — и стена...

Зверем крутит меж стен.

Предали, предали!..

В январе 1920-го Ленин очень занят обеспечением страны топливом. Рабочих освобожденного от колчаковских войск Кузнецкого бассейна берет на снабжение Пятая армия. Партизан «вливают в запасные полки».

Вождь поручает закупить для него лично за границей книги «полностью левосоциалистического и коммунистического направления и важнейшее об итогах войны, экономике, политике... Равно художественные произведения о войне».

Это впечатляет. В отличие от генсеков более поздних формаций Главный Октябрьский Вождь сам читал (не выборки или обзоры), сам писал — и это при несравненно большей загруженности и совершенно изношенном, смертельно пораженном мозге. И это впечатляет.

В телеграмме члену Реввоенсовета Пятой армии Смирнову Ленин требует ускорить переброску 200 составов с продовольствием в центр («Надо ускорить самыми спешными революционными мерами»). Это уже возможно: Колчаку перешиблен хребет, а в центре нестерпимый голод.

15 января (день ареста Колчака и заточения в тюрьму) Ленин отдает распоряжение заместителю наркома просвещения Покровскому о необходимости сбора и хранения белогвардейских газет.

Вождь строго следит за всеми публикациями в газетах и требует от редакторов безусловного исполнения директив по тем или иным вопросам. Уже вошел в обиход самый жесткий диктат над печатью. Все публикации должны укладываться в партийные догмы, ни одной публикации вне партийного контроля.

Ленина поражает наличие бюрократизма не только в различных комиссариатах, но и в ВЦСПС.

И опять нервная, настойчивая переписка по продовольственным делам. Продуктов не хватает. Это символ революции — насилие и голод.

18 января Ленин пишет записку Луначарскому о словаре Даля, с которым, к «стыду моему», ознакомился впервые:

«...Великолепная вещь, но ведь это *областнический* словарь и устарел (помилуй Бог, какой же это областной словарь?! Это словарь живого русского языка! — Ю. В.). Не пора ли создать словарь настоящего русского языка, скажем словарь слов, употребляемых *теперь* и классиками, от Пушкина до Горького. Что, если посадить за сие 30 ученых, дав им красноармейский паек?..»

Мысль, безусловно, плодотворная, учитывая, что уже берет свое и язык советский...

5 мая того же года Ленин напоминает Покровскому о необходимости подобного словаря:

«...Не вроде Даля, а словарь для пользования (и учения) всех, словарь, так сказать, классического, современного русского языка (от Пушкина до Горького, что ли, примерно). Засадить на паек человек 30 ученых или сколько надо, взяв, конечно, не годных на иное дело, — и пусть сделают...»

К 1940 г. эти «не годные на иное дело» ученые с помощью пайков (к тому времени куда более жирных) и составили такой словарь. Все верно: Ленин мертв, но дело его живет...

Тогда же Ю. Ларин (отец будущей жены Бухарина) набрасывает тезисы резолюции о финансах к третьему Всероссийскому съезду совнархозов. На это Ленин отзывается гневной резолюцией на записке Крестинского — наркома финансов РСФСР:

«Запретить Ларину прожектерствовать. Рыкову сделать предостережение: укротите Ларина, а то Вам влетит».

23 января 1920 г. Ларин выведен из состава президиума ВСНХ решением политбюро ЦК РКП(б).

Заботится в январе Ленин и о сохранении государственного имущества — его безбожно разворовывают...

Лениным восторгаются. Действительно, за свое утопическое государство он сражался исключительно целеустремленно, изобретательно и с великой верой. Он свято верил в осуществимость своей схемы государства и с неукротимой большевистской последовательностью претворял ее в реальность.

В нежизненную схему следовало втискивать громадный народ. Это мог обеспечить лишь такой же огромный карательный орган — система судов, милиции, ВЧК-КГБ и, конечно же, партия, которая среди карательных организаций занимала самое видное, господствующее положение.

Александр Васильевич едва различим в мраке. Ему кажется, он ступает ощупью. Стены по низу, пол затекли какими-то непролазными ночными тенями. Лампочка над дверью не горит, а чадит.

Чудновского Александр Васильевич раскусил сразу. Этот пускает кровь исключительно из высоких идеалов, а верует он, судя по всему, одной верой с Лениным и Троцким — в очищение земли через кровь. Люди должны быть одного цвета. Диктатура пролетариата и решает эту так называемую историческую задачу.

Он, Александр Колчак, уверен: революционная демократия сама захлебнется в крови. Другой будущности у нее нет.

Александр Васильевич размышляет о разгроме своих армий, армий Деникина, Юденича, Миллера...

В чем успех красных?

Отнюдь не только в жестокости и решительности.

Не все определяет и демагогия, хотя от нее у людей голова кругом: как же, найдены виновники всех неудач и тягот жизни, и не сегодня-завтра грянет райская жизнь — стоит лишь, поднатужась, следовать за большевиками. Это, разумеется, объясняет многое, но не все...

Большевики десятилетиями собирались к борьбе. Это являлось смыслом и содержанием их жизни. Это поистине партия революционной войны. Они отработали не только каждый пункт программы, но и практику поведения. Они внедряли подпольные организации по всей стране. В любой точке у них свои кадры профессионалов, искушенные, опытные в обработке людей, преданные центру, к тому же знатоки местных условий. Это у них называется опорой на «массы».

Вся деятельность партии была сосредоточена на захвате власти и борьбе. Ведь это самая настоящая религиозная война, и вероучители — Маркс и Ленин.

Разве эти пения «Интернационала», хождения с портретами, собрания не кликушества посвященных в истинную веру? Они и нетерпимы, как церковь на заре существования. Все в их толковании — конечный смысл бытия, не может быть иных смыслов. Они объявляют книги, знания, всю тысячелетнюю культуру глупостью и бессмыслицей. Они все громят, жгут, считая лишь свою культуру, которой еще и нет, единственно настоящей и совершенной.

Они порывают со всем человечеством, наделяя себя особыми качествами. Они уже не русские, не латыши, не малороссы, а советские, красные. Общечеловек поднимается из толпы.

Они признают только своих вероучителей. Наступит время — и они примутся канонизировать их мощи в гробницах.

Глумятся над религиозностью покойного государя (и, кстати, своей же бывшей религией), а сами впадают в истинно преступное поклонение. Нетерпимость — кровь, дыхание вашей веры, господа...

Вы ослеплены своими формулами. Дважды два — четыре...

Ничего, кроме своих слов, они не способны слышать. Независимую работу разума они воспринимают подозрительно, как подкоп под свою веру.

Уже сейчас их нарождающаяся культура — это тщательно просе-

янные в угоду доктрине факты и сведения. Все, что доказывает иные возможности, правомерность иного пути или подхода, они уничтожают или чернят. Ни к кому у них нет сострадания и настоящего уважения. Они не способны их иметь. Они все презирают, кроме самих себя, ибо только они понимают мир, другим не дано. Все другие, если хотят понять и выжить, должны идти на выучку к ним, но не иначе, как на брюхе.

Еще не успев завоевать себе жизненное пространство, они уже враждебны всему новому, то есть самой жизни. Они неизлечимо больны. Но именно благодаря своей вере, ее величайшей ограниченности и агрессивности они всегда будут опасны. Дряхлея, они будут опасны, как смертельно опасен укус самой дряхлой кобры. Все соки их организма — это яд...

И Александр Васильевич снова с досадой и в то же время с удивлением подумал: «Это ж надо ляпнуть: мы удушаем их голодом!»

Александр Васильевич никогда не думал столько обо всем этом, даже летом семнадцатого, когда этот хлюст Керенский неделя за неделей мариновал его без дела в Петрограде. Теперь ему предстоит дать ответ на суде, и он день и ночь вглядывается в себя и прошлое...

«...И все так же, как и раньше, будут проходить по улице пунцовая озорная девка, — пишет в книге воспоминаний Воронский, — плестись невесть куда старуха, мальчонка кататься на салазках, цвель зори, манить неведомые дали. Но люди живут, они довольны по-своему жизнью, они не скитаются, не ожидают роковых стуков в дверь и звонков, не сидят обреченными в тюрьме и в казематах, ничего не хотят знать ни о Платоне, ни о Ньютоне, ни о Марксе. Значит, у них есть своя правда; этой правдой живы не сотни и не тысячи, а сотни миллионов людей в России, в Китае, в Австралии...»

Александр Константинович Воронский шагает по этапу. Боль, обида на этот мир, в котором всем все безразлично, кроме самого себя. От этого «себя» их не оторвать. И что ты помираешь — им все едино... если оторвать — они принесут в любое возвышенное дело эгоизм и шкурничество. Сколько же из нас погибло в тюрьмах, ссылках и от смертных болезней, нажитых в кочевой, бесприютной жизни, а народ занят, нет ему ничего дороже своей сытости.

Во веки веков народ «брали» на разложение. Подкидывали маленькую возможность нажиться — и он весь погружался в утробную жизнь, предавая себя, свое будущее.

Это разумеется: за добро, которое делаешь, не требуй вознаграждения. Иначе это не добро — это уже работа, обязанность, то есть какая-то тягота. Это всегда надо держать в памяти...

И не сетуй на судьбу. Ты такой — и другим не можешь быть. Потому для тебя — тюрьма, «психушка»... Но, даже зная все наперед, ты все равно другим не будешь, потому что не можешь

быть другим, просто не можешь. Тебе тяжело, больно, жутко умирать, но другим ты быть не можешь.

Здесь самая главная разделительная черта... но не обвинительная.

Можешь и не можешь.

Есть эта другая правда. И они действительно «ничего не хотят знать ни о Платоне, ни о Ньюtone, ни о Марксе».

И преступно их вовлекать в любую борьбу, лишать их смысла жизни. Все должно произрасти в свое время, иначе это будет злой, ядовитый плод.

Люди поднимаются только тогда, когда наступает их час. Ни на мгновение раньше. Ради одного мига жизни тех, кто не мог жить так. Если это случается при их жизни (тех, кто не мог так жить) — это счастье.

Не поднимаются люди во имя твоей жизни, не хотят знать твоего дела — значит, им не нужен ты, «у них есть своя правда», и она важнее...

Склони голову перед этой истиной и страдай, гибни в одиночестве или с такими, как ты...

Само собой, в этом ответе не вся правда, да ее и нет, всей правды, не может быть. Не существует всей правды. Жизнь надо ухватить.

У генерала Каппеля находилось под рукой около 30 тыс. бойцов да обоз с женщинами и детьми. По другим сведениям, армия насчитывала 70 тыс., но, скорее всего, это был ее начальный состав, когда она только нырнула в снега в надежде разомкнуть огненное кольцо. Надо полагать, после четырех месяцев похода полет каждый второй, поэтому и родилась эта цифра — 30—40 тыс.

22 января генерал созвал совещание в Нижнеудинске. Порешили генералы и старшие офицеры взять Иркутск, освободить адмирала и вернуть золотой запас. Генерал Каппель приказал разделить армию на две самостоятельные колонны (по другим сведениям — три). Это облегчало прокорм людей.

Колонны должны были соединиться у станции Зима, а оттуда сообще двинуться на Иркутск. Ведь по-прежнему для армии нет места в вагонах; берегут их для себя бывшие пленные; глаз не спускают с узлов и сундучков: даешь счастливую жизнь в Европе!..

Уже опасно простуженный и обмороженный, генерал Каппель провалился с лошастью под лед. Напрасно его взбадривали первачом и грели у костра. 26 января на разъезде Утай он скончался от воспаления легких. Перед самой кончиной подписал приказ о передаче своих полномочий генералу С. Н. Войцеховскому. Очевидцы вспоминали: и в предсмертном жару продолжал обнадеживать людей — вырвемся из западни, увидим высокое небо! О себе не думал...

Командование армией принял генерал Войцеховский — ветеран белого движения, один из зачинателей чехословацкого мятежа. Насколько каппелевская армия прониклась духом вождя и насколько отличалась от всех других — не дрогнула и в этот час, хотя вроде бы никаких надежд на спасение: за тысячами верст снежной целины земля обетованная, то бишь такая, где нет Советов, не оскверняют храмы, не режут офицеров и вообще нет пятиконечных установлений. Дотянись до нее! Со всех сторон — сопки, снега, таежная крепь и красные. Самое время встать на колени: вся Сибирь против!

Нет тыла — кругом смерть!

Иди — и сдавайся...

А никто не встал на колени.

Вязнет, тонет в снегах армия Каппеля — все, что осталось от грозного тысячеверстного фронта белых. От ночевок у костров кожухи, полушубки, шинели — в дырах, саже и крови. Глаза сами по себе плачут от дневного света. Голоса — сиплые. Вместо лиц — язвы, пожег мороз лица. От надрыва и недоеда — одни кости. Куда там согреться...

Однако держится армия дружно, до чинов ли и званий. Если сам по себе, враз погибнешь. А пока общино, есть надежда вырваться.

На Иркутск!

Главная колонна приняла бой под станцией Зима. Решили красные воспрепятствовать соединению белых. Отличилась Воткинская дивизия, точнее, остатки ее, царство им небесное. Собрались по боевому расписанию полки, батальоны, роты — толпы обожженных, изнуренных людей. По примеру Каппеля взял генерал Войцеховский трехлинейку, насадил трехгранный российский штык; проваливаясь в снег, выбрался вперед — вроде все видят.

Пули зло метут, только сунься из леса.

Генерал обернулся к своим и гаркнул во весь голос, аж снег осыпался с ели:

— С Богом, ребята!

И пошел не оборачиваясь, за ним и вся дивизия — цепь за цепью. Тихо пошли под пули и прицельные выстрелы сибирячков. Без «ура» пошли, обычным шагом. Очугунели души и плоть от стужи, голода и страданий. Зачем суета и слова? Да и снег, мать его... вяжет, местами выше пояса, не идешь, а раскапываешься. После пяти минут — один пот и круги в глазах. Хватают люди снег — и в рот. Какая атака цепями? Дойти бы...

Мишени ползут, а не люди. Лупи на выбор — и... лупят. Господи, нет этому пути конца! Подцвелили снег. Кровь, она ведь не красная, а черная — это точно. Черная, с ржавинкой такая...

Дивизия почти вся легла, царство ей небесное. Однако те, кого не пристрелили, дотянулись-таки! В штыки ударили (откуда си-

ла?) — и опять молча, без «ура»: пороли, резали, рвали руками, а если штыком, то метили в грудь — с хрястом, через все одежды.

Генерал — в самой свалке. Резво бил штыком: выпад с шажочком — помнит его превосходительство юнкерскую науку. Длинным — коли!..

Матерились сквозь зубы — никого не отпустили. Да и куда отпускать — снег вокруг. Правда, те, что не приняли удар, рванули по железной дороге, но куда по ней-то?.. Озаботились господа офицеры. В кинжальный огонь пулеметная стрельба, хоть и скупая, патронов-то негусто. По пальцам честь, кому из красных пофартило. Метель из пуль. Умеют брать прицел господа офицеры. Еще бы, упражняются аж с самого четырнадцатого года, с перерывами разве ж только по ранению... Как же кричали раненые! Господи, уж лучше бы сразу!..

Не выдержали и чехословацкие братья, мать их с красной любовью и нейтралитетом! Очумели, когда обоз заскрипел мимо: Матка Бозка, детки, женщины, раненые, тифозные — и ни крошки еды, ни бинтов, ни йода! Лежат на саях и таращатся в небо...

Куда там панам офицерам с их увещеваниями! Легионеры — за оружие и плечом к плечу с каппелевцами. И откатились от Зимы самые стойкие и проверенные красные части.

Соединилась каппелевская армия.

Белый, синий, красный...

А после боя хоронить бы покойников — ан нет. Онемели братья славяне, стоят и поминают своих святых. Все уже вроде бы перевидали, а тут такое. И глазают на армию, прет она и прет из чащобы. Не люди — язвы, струнья, тряпье и одни кости под кожей.

Господи, оборони и защити!..

По всему свету разнесли легионеры молву о каппелевцах. Не было эмигранту выше рекомендации, нежели — каппелевец...

После искрометного, «всепобеждающего», ленинского «Грабь награбленное!» по России загуляли переиначенные некрасовские стихи:

Укажи мне такую обитель,
Где бы русский мужик не громил!..

Забавно читать в «Ленинском сборнике» № 28 (с. 17) конспект выступления будущего Главного Вождя Октябрьской революции на одном из партийных собрания в Женеве — все тот же архиуютный городок, где большевизм примется всерьез нагуливать злобу и теорию будущего всероссийского погрома¹.

Совет партии согласно уставу, принятому на II съезде РСДРП,

¹ События сентября 1904 г. — еще одной осени бессчетных партийных распрей и грызни.

являлся высшим партийным учреждением (вроде политбюро ЦК КПСС). За деятельность против линии съезда Совет партии лишил Ленина прав заграничного представителя ЦК партии и запретил печатать свои работы без разрешения коллегии ЦК.

Ленин отмечает в плане выступления: «...вышибание Ленина... и цензура». Он потрясен и возмущен.

И взаправду, как можно терпеть от цензуры, посвящая себя не только борьбе против цензуры, но и вообще освобождению трудящихся? Одно дело, ежели на твою свободу накладывают ограничения, другое — ты накладываешь... да не только на право печатать произведения без цензуры, но и на самую жизнь, жизнь любого.

Сей крохотный проходной эпизодик из архизаставленной событиями жизни Главного Октябрьского Вождя не оставляет в душе ничего, кроме презрения. Притеснитель и душегуб жалуется на мифические ограничения. А какие ограничения он сам наложил на мысль?

Кстати, за необходимость подвергать цензуре сочинения Ленина (мысль чрезвычайно здравая и полезная) проголосовал... кто бы выдумали?..

Наш грозный террорист, сметливый инженер и будущий полпред Красин, хотя какой он мне «наш»... Он их, сине-голубых отличий и скоса мозгов...

Уже не мог знать Александр Васильевич, что 14 февраля 1921 г. Ленин призовет на доклад секретаря Тамбовского губкома партии, а затем и встретится с крестьянами этого непокорно-мятежного края. Антисоветский мятеж из Тамбовской губернии разлился по Саратовской, Пензенской и Воронежской губерниям, аж лизал краешки Тульской и Московской. Повстанческая армия во главе с эсером Антоновым разбухла до нескольких десятков тысяч крестьян и вела упорные бои с регулярными частями Красной Армии. И не могли отрезвить крестьян даже отборные кавалерийские полки. Тухачевский руководил карательными операциями.

Ленин сообщит крестьянской делегации об изменении государственной политики — переходе от ненавистно-грабительской продразверстки к обычному продналогу. И было отчего переходить: бастовали заводы, подняли мятеж форты Красная Горка и Серая Лошадь, мятеж в Кронштадте, и все — под чисто крестьянскими требованиями.

Оказались расстрелянными и сгноенными по тюрьмам и лагерям не только почти все участники восстания в Кронштадте, но и члены их семей и даже неблизкие родственники. Всех по приказу Троцкого хватили и стреляли, кололи, мозжили черепа прикладами.

Будет одна вера — в Ленина!

А страна все равно отказывалась жить по продразверстке, цена которой — полуголод, нищета и десятки тысяч убитых в свирепой

междоусобной сечи. Но к тому времени уже не первое тление тронуло останки Александра Васильевича.

Будь эти мятежи изолированными или сработанными по заказу контрреволюционного подполья, Ленин не отказался бы от милого сердцу военного коммунизма, где все прямо и четко решало привычное и такое надежное насилие.

Это и было строительство счастья — все отнять, экспроприировать, лишить хозяина (обезличить), сгуртовать народец по коллективам, дать пропитание, коммунистические учебники и газеты, главнейшую из которых верстает Мария Ильинична (Маняша), — и строить заветное завтра.

«Русский человек — плохой работник по сравнению с передовыми нациями... Учиться работать — эту задачу Советская власть должна поставить перед народом во всем ее объеме...» (Ленин).

Русский народ не ленив. Не умей мы трудиться, не было бы России. Кто бы ее за нас построил?..

Наши народы надорвали необъятная кровавая дань и безмерный труд, заплаченные по счетам истории. Но там, где другие народы исчезли бы с географической карты, хлебнув лишь от толики наших бед, Россия поднимается, для того чтобы дать своим детям и внукам достойное устройство жизни.

Хочется предостеречь всех, кто позволяет поучать наши народы, кто похвалится своими богатствами и, сам того не замечая, опускается до тона и речи, оскорбляющих достоинство наших людей: не забывайте о будущем! Вы присутствуете не на похоронах России — кто думает так, роковым образом ошибается. Мы изболеем, тяжелой болезнью заплатим за грехи и муки прошлого — и распрямимся.

«Что же касается карательных мер за несоблюдение трудовой дисциплины, то они должны быть строже. Необходимо карать вплоть до тюремного заключения...» (Ленин).

«Подчинение, и притом беспрекословное, во время труда единоличным распоряжениям советских руководителей, диктаторов, выборных или назначенных советскими учреждениями, снабженных диктаторскими полномочиями... обеспечено еще далеко и далеко не достаточно» (Ленин).

Уж как разносить стало чрево «женевской» твари. На всю Русь разлегла, каждого видит, вынюхивает. С морды кровь скапывает...

Все чувства придавливал пресс одной ясной и острой мысли-приказа. Эта мысль-приказ не оставляет Чудновского:

«У революции нет законов. Она по своей природе лишена каких-либо устойчивых форм. Революция — это стихия, это творчество трудовых масс, имя которым — диктатура пролетариата. Стало быть, чистить надо землю. И он, Чудновский, поставлен к этому трудовым народом...»

В одном Чудновский упрямо не соглашался с Лениным: он всегда был против суда над Николаем Кровавым, который замыслили еще в восемнадцатом. Какой суд?! Над кем?! Революционный народ должен просто карать. Не нужны республике суды... И он, Чудновский, исполнит волю народа: не уйдет адмирал живым, за все ответит.

Семен Григорьевич всячески подчеркивал, что к однофамильцу — Чудновскому — как несознательному революционеру и народоволюцу, осужденному по процессу 193-х в январе 1878-го, он отношения не имеет.

«Бог дал — Бог взял», — сказал своим мыслям Семен Григорьевич и раздвинул губы. Так и застыла улыбка, чисто каменная. А брови густые, чуть белесые поверху, сомкнулись к переносице: весь ушел в мозговую работу. И времени нет, а тыщу дум передумает за день...

Антоновщина, массовое дезертирство из Красной Армии, забастовки в Москве, Питере, Нижнем Новгороде, Харькове, Ростове и других промышленных центрах, на десятках крупнейших заводов и фабрик, а также мятеж в Кронштадте — страна явно ускользала из-под большевистского контроля и влияния. И никакие меры — запугивания, казни, преследования — не давали успокоения.

«До изменения партийной линии в крестьянском вопросе (осуждение насильственного насаждения социализма в деревне на VIII съезде РКП(б)) настроение в мобилизованных крестьянских частях... нередко бывало антикоммунистическим», — свидетельствует член ЦК РКП(б) и Реввоенсовета Второй армии Сокольников, в будущем — наркомфин и член ВЦИК и ЦИК СССР.

Это понимать надо так: свыше половины призванных в армию скрывалось.

Потерять страну, то есть революцию, из-за продовольственной политики — Ленин сие решительно отменил. Более того, упорный отказ страны жить по продовольственной диктатуре подводит этого выдающегося диалектика к мысли о необходимости коренного изменения экономической политики вообще.

Насилие оказалось неспособным решить экономические задачи в согласии с партийной утопией (это ничего, что под нее уже от голода и пуля легли сотни тысяч жизней). Ленин отыгрывает задний ход: самое первое — спасти революцию, то есть свою власть. Так возникает новая экономическая политика (нэп). Переход к ней явился убедительным признанием того, что, даже если обрушить весь аппарат насилия, не ограничивая себя в мерах, перестроить сознание народа в удобном направлении все равно не представляется возможным. Можно еще перебить половину тех, кто остался, и все равно не достигнуть цели.

Сколько же понадобилось крови, чтобы за три года додуматься-таки до этой очевидной мысли (надо полагать, недосмотрел в биб-

лиотеках, пролистал как очередную дурь, блажь интеллигентов — вечных нытиков, и дармоедов)!

Программа Ленина вызывает бурю в партии. С точки зрения правоверных партийцев, это измена социализму, возврат к ненавистному старому режиму: надо ломать сопротивление крестьянства и пробиваться вперед. И это тоже понятно: партия возвращена на доктрине насилия, а тут... задний ход! Да большевики мы или нет?!

Ленин все же полагал, что пусть лучше будет государство, ну хоть с остатками народонаселения (после террора, тифа, голода и других следствий Гражданской войны), нежели светлая коммунистическая явь почти без народа — с одними членами партии и сочувствующими.

Ленин, без сомнения, согласился бы на освоение продовольственной диктатуры и вообще военного коммунизма и продолжал бы избиение деревни¹ и прочего непокорства. Решимости в такого рода делах у него всегда обнаруживалось в избытке. Делал же он это три года после Октября (звон как проредил страну!) — и ничего, никаких душевных потрясений.

Но вот угроза потерять страну, оказаться погребенным под взрывом народного недовольства (а события гнули, судя по забастовкам и Кронштадту, а также повальному дезертирству, именно к этому) вынудила его к коренному изменению экономической политики (а ежели пораскинуть умом — какая же это политика: приказ, резолюция, пуля). И сделано это было не во имя скорейшего восстановления хозяйства, как это утверждают советские учебники (большей частью набитые превратно истолкованными фактами или вовсе лишенные всяких фактов), а во имя сохранения власти над страной.

Сталин придерживался иного мнения, особенно насчет перевоспитания народов. У него были не только примитивно-железные нервы, но и весьма способствующая всякой решимости ограниченность (в сравнении с Лениным и его учеными соратниками). Правда, это нельзя было сказать о его памятьности и хитрости. И память, и хитрость у Сталина-Чижикова были выдающиеся, просто гениальные, впрочем как и жестокость. В данных проявлениях Чижиков как бы являлся феноменом природы (но не феноменом большевистской партии).

Посол Веймарской республики в Москве граф Ульрих Брокдорф-Ранцау в беседе со своим французским коллегой заметил, что пост посла в Москве чрезвычайно интересен; кроме того, работа существенно облегчается благодаря солидарности и целеустремленности правительства, а также благодаря необычайному интеллекту ведущих деятелей.

¹ В документе XVI века я прочел об Иване Губителе (Грозном): он «поягал на крестьянскую кровь».

Ведущими деятелями в то время, еще не сметенными ураганом сталинского властолюбия, являлись соратники Ленина.

Еще раньше, когда в Москву прибыли германские врачи для лечения Ленина во главе с профессором Фёрстером¹, граф Брокдорф-Ранцау заявил на приеме в их честь:

— Вы сами увидите, что не только правительство, но и самые широкие массы русского народа всеми нитями своей души связаны с этим человеком, который для народа является учителем и вождем.

Так вот, чтобы не лишиться этих самых широких народных масс, не оборвать душевные нити, Ленин и повернул страну на новую экономическую политику.

У Ленина не было своей жизни — для обогащения, славы или смены женщин. Нет, честолюбие, и выраженное, как и интерес к женщинам, не было чуждо ему, но не составляло того жгуче важного, что может управлять жизнью. Люди убеждались: живет он единственно ради них.

Люди верили обещаниям Ленина, стоит лишь раздвинуть тяготы, перешагнуть через злобу бывших господ — и жизнь не обманет, глотнут и они счастья...

Большевики держали над народом эти манящие в лучезарные дали серп и молот. По горло в крови, ненавидимый доброй частью света, продырявленный пулями Каплан, Ленин брел к этой лучезарности, увлекая бедняцкую Русь.

Посол Брокдорф-Ранцау принадлежал к сторонникам взглядов Бисмарка. Он искренне стремился следовать политике добрососедства с Россией. Продолжателем той же политики окажется и более отдаленный преемник графа Брокдорф-Ранцау на посту посла Германии в Москве, граф Вернер фон Шуленбург, которого Гитлер казнит после известного заговора 20 июля 1944 года.

Что касается внутренней политики, здесь Сталин отрицал мысль о том, будто к цели можно пробиться иным путем, более долгим, но зато без насилия, то есть пароксизмов насилия. Для Сталина насилие являлось основополагающим принципом развития, сутью жизни. И спустя какие-то восемь лет после введения нэпа он приступит к преобразованию деревни: вся ставка — на принуждение и беспощадный террор.

Недовольство крестьянства подавляли не только пулями, тюрьмой и высылкой целых семей, но и тем голодным мором, который обрушился на деревню после разорения. Армейские кордоны на

¹ О. Фёрстер (1873—1941) — немецкий врач-невропатолог, профессор. С марта 1922-го консультировал врачей, лечивших Ленина. Мог бы порассказать любопытные вещи, нет, не о больном: тут все ясно и копания недостойно, — а о нравах кремлевской банды — всех этих «легендарных» коммунистов-вождей.

десятки верст вокруг голодающих районов наглухо замкнули крестьян, обрекая на вымирание. Это была свирепая выучка крестьян. Они пухли от голода, ели траву и землю, но не получали со стороны никакой помощи — это сламывало самых упорных. Деревня, чтобы не подохнуть, не выть постоянно от голода, впряглась в колхозы. Хоть какой-то, но хлеб!..

Так по-сталински в крестьянина вколачивали идею колхозной жизни и покорность рабочего скота.

С воцарением большевизма демон насилия уже не покидал общество — проник в самые ничтожные ответвления жизни, явился курсетом, который держал старт и мощь социалистического государства. В насилии перетиралось сознание народа, складывался общечеловек с затылочным зрением, то бишь зрением наоборот. Военно-государственное искусство старательно закрепляло результаты силового воздействия. Человекомуравьи обретали новое бытие — итог мученического приспособления к жизни. Общечеловек прославлял своих господ и своих угнетателей — Недосягаемых и Несменяемых по праву захваченного трона (каждый вроде того известного неразменного рубля из русских сказок).

Естественно, недуг такой личности, как Ульянов-Ленин, требует для лечения международной помощи, соединенных усилий. Тут принцип «интернационализма» как нельзя кстати. И вот тянется вереница светил из Германии (до прихода к власти Гитлера советскую Россию и Германию связывали особые отношения, в том числе и в области военной).

И все же это удивительно! Поносят разложенческий империализм. Нет бранного словца, не брошенного в их огород. Мешают с грязью «их» искусство, мораль, предадут анафеме организацию труда и производства. Все усилия сосредоточивают на разрушении «загнивающего империализма». Но как только приключаются нелады со здоровьем — куда там: сразу вспоминают об исключительном уровне медицины и зазывают пользователей с Запада, а ежели здоровья хватает, то отправляются лечиться прямо на этот преступный Запад.

Любопытна справка, приведенная историком С. Кулешовым в послесловии к книге Ф. И. Чуева «Сто сорок бесед с Молотовым». Она настолько хороша — приведем ее дословно.

«В том же 1922 году, когда по России прокатывался смерч голода, специальная комиссия обследует состояние здоровья «ответственных товарищей». Результаты неутешительны — почти все больны: у Сокольников — неврастения, у Курского — невралгия, у Зиновьева — припадки на нервной почве... Здоровы — Сталин, Крыленко, Буденный (небольшое повреждение плеча — рубил, наверное, кого-то), Молотов (всего лишь нервность), у Фрунзе — зарубцевавшаяся язва (прав, оказывается, Б. Пильняк в «Повести о непогашенной луне»). Но важны не столько диагнозы, сколько

предложения о лечении — Висбаден, Карлсбад, Киссинген, Тироль... Что это — целебный пир во время чумы? О какой нравственной основе партийных лидеров можно вообще говорить?»

И почти все они пользовались советами и лечились на этих самых курортах — Чичерин, Рыков, Иоффе... И врачи к ним приезжали самые лучшие с Запада...

А народишко пусть помирает от кровавой натуги. Не беда, бабыто на что?.. Новых нарожают...

Великий утопист полагал, что новые (социалистические) отношения в экономике обязательно выработают и новое сознание. Следует потерпеть лет пятьдесят, гнать страхом, кнутом, казнями — а там и новая экономика сложится, точнее, экономика на новых отношениях, а эти самые отношения и вылепят нового человека. Здесь была самая глубокая прореха в утопических расчетах Ленина. Здесь легли в землю миллионы людей, так ничего и не доказав. А диктатор от утопии, взяв скромно под козырек, истаял в небытие.

Я сегодня заработала
Четыре трудовня:
Бригадиру посулила,
Председателю дала...

«Как немцев прогнали, снова колхозы поставили, снова голод: хлеб — государству, а нам — костер. Что за тыи трудовни получишь? Посыпки свинячей!.. Я ночью один мешок льна ukrала, за ето 10 лет сидела, а сына в детдом отдали. Сижу в лагере, сынка маткиной песней вспоминаю...»

Костер — мякина, то есть отходы от обмолота зерна.

«Не докликаться лучшей доли, потому что у людях кровь стала скотинная...»

«А дочка — кусок гнилого мяса, талым снегом ее кормила, больше нечем было...»

«В городе после войны хоть карточки были, а в деревне — ничего, ходили опухшие...»

«С войны наших деревенских вернулись пятеро, из них четверо — инвалиды...»

«Теперь люди боятся не мертвых, а живых...»

Говорят, в колхозе худо,
А в колхозе хорошо:
До обеда ищут лошадь,
А с обеда колесо.

«...В 32-м был большой голод, ели лепешки с травы. Шла замуж в лаптях: дошли дс сельсовета, расписались и спать легли — вот и вся свадьба. Через полгода муж ушел в армию на 3 гсда. Только вернулась, а через 4 месяца война. Я 7 похоронок получила: муж, 4 брата

и 2 зятя убитые... После войны робили, как звери, за одни «палки», что против фамилии ставили. А «палками» будешь сыт?..»¹

И после этого толковать о коммунизме, звать под красные стяги, с дрожью в голосе вещать о величии Ленина?

Вы представляете или нет, на что обрекли целый народ? Перечислять это?

Вы невинно моргаете из своих сытых брежневских закутков и вообразить не можете, что за порогом билась и бьется иная жизнь. Вы отдадите себе отчет во вселенском масштабе зла, содеянного большевизмом? Вы переливаете из одного котелка в другой свои пайковые похлебки и зовете то время палачей и нелюдей...

При Сталине складывается социалистическое государство. У этого государства много особенностей, и, пожалуй, основная — роль свирепого притеснителя, перед которой меркнут едва ли не все виды несправедливостей и угнетения из новой русской истории. Здесь все отличие прав частного лица от прав государства заключается в том, что государство разрешает себе все средства обращения, какие только мыслимы по отношению к человеку, самому же человеку запрещено едва ли не все. Таким образом, государство выступает в роли неутомимого (и ненасытного) притеснителя граждан, совершенно беззащитных перед ним.

Сначала военный коммунизм, потом переход к колхозам, потом рабский труд в колхозах до начала 60-х годов и убогое, нищенское существование — все это обошлось народу миллионными жертвами, искажением сознания и воли и отмиранием всякого интереса к труду, а после и вообще ко всему, кроме водки.

Никакая колчаковщина и все интервенции вместе взятые и близко не могут сравниться по жертвам с одним лишь этим истреблением крестьянства.

В 1924 г. Госиздат выпустил книгу почтенного норвежца Фритьофа Нансена «Россия и мир». Для нашего времени она просто вредносна.

Статистический материал для книги предоставили ведущие советские руководители — Нансен называет их.

«В 1909—1913 годах, как я указывал в своей первой статье, — пишет Нансен, — Россия одна давала более четверти ежегодного мирового урожая хлеба. Она вывозила в среднем 8,7 миллиона тонн, то есть больше, чем Канада, Соединенные Штаты и Аргентина вместе взятые, из которых Европа, в сущности, получает теперь весь импортированный ею хлеб. В 1913 году русский экспорт хлеба превысил даже 10 миллионов тонн.

В то же время Россия поставляла ежегодно Европе... 6 274 000

¹ «Звенья». Исторический альманах. Вып. I. М., «Прогресс» — «Феникс — Atheneum», 1991.

голов скота (она имела тогда более 25 млн. лошадей, 37 млн. голов рогатого скота, 45 млн. овец и т. д.), и ее молочное хозяйство необычайно развилось в несколько лет (и пленумы ЦК, и Золотые Звезды Героев, и всякие прочие меры не нужны были. — Ю. В.). Экспорт сибирского масла, который в 1898 году равнялся менее 3000 тонн, в 1904 году достиг 330 000 тонн и в 1913 году — 650 000 тонн. В период май, июнь, июль от 10 до 14 поездов масла, в 25 вагонов каждый, отправлялись ежедневно из Сибири...»

Только доходы от продажи сибирского сливочного масла в Европу давали вдвое больше золота, нежели вся золотодобывающая промышленность России.

Это при населении в 128 924 289 душ обоего пола, по данным на 1914 г.

Из книги Эдмона Тэри «Россия в 1914 году. Экономический обзор» (Париж, 1914).

Ежегодная добыча золота в России — 70 тонн. Это десятая часть мировой продукции.

80% мирового поступления льна приходится на Россию.

Добыча каменного угля за последние четверть века возросла в 6 раз (тоже недурно).

Тщательный анализ экономики России и характера ее развития месье Тэри сводит в совершенно ошеломляющий нас вывод:

«К середине текущего столетия Россия будет господствовать над Европой как в политическом, так и в экономическом и финансовом отношениях» (есть за что разваливать сейчас Западу).

Накануне Февральской революции в России вводится всеобщее народное обучение. К 1922 г. не должно остаться ни одного неграмотного. Да-а... мог остаться без работы нарком просвещения Луначарский.

При Александре Третьем уже наложен запрет на труд детей младше 12 лет. Для детей от 12 до 15 лет труд дозволен, но не более 8 часов и с обязательным обеденным перерывом.

По уровню охранного рабочего законодательства впереди уверенно находилась лишь Великобритания, которая в первое десятилетие XX столетия совершила здесь беспрецедентный рывок, что дало ей потом надежный тыл в годы мировой войны.

Существенно дополняет данные Нансена и «Сводный бюллетень по г. Москве за 1913 г.», опубликованный статистическим отделом Московской городской управы (М., 1914).

К примеру, квалифицированный рабочий в день зарабатывал на один килограмм телятины и, кроме того, на масло, сахар, хлеб, а поденщица (самая бросовая рабочая сила) могла купить полкилограмма мяса, немного масла, сахара и хлеба. И все — без очередей, высокого качества и в любой день (не было такого, чтобы «не завезли товар»). Всегда к услугам населения имелись свежие продукты и, что особенно ценит наш человек, без очередей. В оче-

редях советские люди получили не одну болезнь и ухлопали не один год жизни, отдав последнее здоровье, еще не высосанное работой.

Что тут растолковывать? Тут, как говорится, все ясно и к гадалке ходить не надо. Мы и не будем ходить.

И после всего этого десятилетиями морить недоедом народ, поколения людей воспитывать на очередях, разоблачать диверсантов и вредителей в сельском хозяйстве, ссылать крестьян, забивать и расстреливать при любом выражении недовольства, насилловать принудительным беспаспортным житьем на селе, драть три шкуры в колхозах — и все равно испытывать острейший недостаток буквально во всех сельскохозяйственных продуктах! И это с «историческими» пленумами ЦК, героически ударным трудом, «битвами» за урожай, разного рода партийными наборами в деревню и т. п.

Статистические данные несут поразительные сведения о сельскохозяйственном состоянии России до ленинской революции и ее воистину геркулесовых темпах развития. Они совершенно недоступны экономике развитого социализма, тем более всем прочим его доблестным стадиям, столь тщательно разработанным сходами от советской науки.

И при всем том у «женевско-партийной» уродины хватает советсти запугивать граждан кадрами кинохроник о старой деревне. Часто кадры эти сняты в голод и разруху, типичные для первой мировой войны, которая, кстати, изъяла из хозяйства страны 17 млн. молодых мужчин. Их обрядили в шинели и направили на фронт. Это обернулось обнищанием деревни, а с ним — и падением уровня жизни всего населения, кроме прокапиталистического, связанного с обогащением на военном производстве.

Да ежели бы воскресить в кадрах кинохроники все, что снесла деревня под властью «женевско-партийной» уродины, народ в ужасе согнулся бы, хотя гнуться ему вроде бы некуда.

В крови и обидах получал свой полухлеб советский человек.

На ком лежит историческая вина за издевательства над народом и бессовестную демагогию, называемую советской аграрной политикой? Кто ответит?..

Уже истлевают кости самых зажившихся белогвардейцев (умирают и те, кто были детьми или юношами в семнадцатом); когда пишутся строки этой книги, русская земля все не в состоянии накормить свой народ хлебом и, как заговорена, не способна избавиться от ужаса и кошмара очередей, до чего ж унижительных и надрывных. И при всем том кичится «женевский» уродец, требует прописывать в своем чине непременно — «народный» и «самый прогрессивный».

Зло невозможно без массовой поддержки людей.

Следовательно, нужно их растлить, растлевать.

А это означает, что на первый план выступает искусство. И все

в искусстве нужно рассматривать именно с этих позиций: в растление или нет. И родилось, взматерело оно — советское социалистическое искусство.

«...Люди не должны жаловаться, когда их мучают и убивают. Они узаконили жизнь на несправедливости и жестокости. Они закрывают глаза на все, что непосредственно не затрагивает их, и если сами не творят зло, то делают его возможным своим отношением; более того, они предают тех, кто отвергает равнодушие и неправду. Люди с совестью — очень неудобные, их вымаривают всем миром. Мы заслужили и войны, и революции, и, в конечном итоге, гибель нашей цивилизации...»

Голос очень явственно звучит в сознании Александра Васильевича: и медлительная хрипотца, и плавность давно выношенных слов. Конечно же, это тот самый старик датчанин...

Александр Васильевич, как только получил известие о большевистском перевороте, так и снял морскую форму. Нет больше вице-адмирала Колчака. Странное это состояние: кеги, штатские брюки, пиджак... будто голый перед людьми, все кажется чрезмерно свободным, болтается. А в сердце боль! Все кончено!..

Он не стар, честью и доблестью добывал славу себе и Родине — и теперь ему конец, на свалку: он никому не нужен! Ни его опыт, ни заслуги, ни ум — все на свалку!..

А старик датчанин — это уже было на «Карио-Мару», по пути в Россию.

«В первых числах сентября 1917 г. прибыла в США вместе с нашими офицерами официальная военно-морская делегация. Президент Вудро Вильсон принял меня шестнадцатого октября. В конце месяца я отплыл на «Карио-Мару». Почти два месяца интересных встреч и бесед в Англии и США...»

Старик датчанин комментировал события в России и Европе. Едва ли не каждый вечер Александр Васильевич нагружался с ним в баре, не хотелось видеть никого из соотечественников. Впрочем, старик тоже не радовал... Анну бы услышать, обнять. Она умеет гасить боль тревоги...

Анне нравилось сливать свои инициалы А. В. с его — тоже А. В. Чертит на бумаге, чертит, пока не сольются. Милая, милая...

Он держит в памяти тот день, расстанется с ним только тогда, когда перестанет дышать. Он выносил эти слова и сказал с убежденностью: «У нас большая разница в возрасте...»

Анна возразила: «Да, если не любишь...» И вложила губы в поцелуй...

С тех пор они не расстаются... даже в одной тюрьме...

А тогда, в октябре семнадцатого, Родина вдруг предстала черной бездной. Только и оставалось довоевывать с англичанами против немцев. Англичане нуждались в опыте минной войны — этого добра у него сколько угодно. Ему было, да и сейчас есть, о чем рассказать.

Впрочем, английские подводники (товарищи по боям на Балтике), надо полагать, подробно донесли все о минных операциях своему командованию. В Адмиралтействе знали, как увяз германский флот в русских минных позициях.

Дорога домой закрыта; все, что было дорого, растоптано, пущено по ветру, оплевано...

Александр Васильевич помимо воли застонал — настолько явственно услышал плеск волны, работу корабельных машин, запах дымка, удары ног в палубу...

Отчетливо уловима солоноватость бриза с йодистой терпкостью, нагретые солнцем поручни фальшборта и множество солнечных осколков в ряби...

Александр Васильевич по морской привычке даже широко расставил ноги...

Английский морской историк с мировым именем Г. Вильсон в своем капитальном труде «Линейные корабли в бою» (Лондон: 1926) так оценивал расстановку и взаимосвязь сил:

«...Тот, кто ставит себе главной целью избегать потерь, неспособен причинить их противнику. Несомненно, одной из причин германской осторожности была угроза русского флота в Балтике, что часто упускают из виду британские исследователи. Если бы германский флот был серьезно ослаблен в большом морском сражении с англичанами, открылась бы неприятная возможность действий русского флота против германского побережья...»

Корабельная мощь русского императорского флота на Балтике явно проигрывала по сравнению с германской. В ходе войны на Балтике были спущены на воду линейные корабли «Севастополь», «Гангут», «Полтава», «Петропавловск», а также 20 эскадренных миноносцев типа «Новик» и 13 подводных лодок. За то же время на Черном море вступили в строй дредноуты «Императрица Мария» и «Императрица Екатерина Вторая», а также 5 эскадренных миноносцев, 6 подводных лодок и 2 авиатранспорта (прообразы авианосцев)¹.

И все равно германский флот на Балтике при опоре на флот Открытого моря имел подавляющее превосходство. Поэтому исключительное значение приобрела минная защита, без которой враг мог атаковать любые порты и города на побережье вплоть до Петербурга, а стало быть, и угрожать приморскому флангу русской армии.

Почти сразу после объявления войны командование Балтийского флота приступило к дерзким минным постановкам в южной части моря — на жизненно важных для Германии путях связи со Швецией, откуда поступало до 6 млн. тонн железной руды в год, не

¹ Многие из этих кораблей воевали спустя 27 лет — в Великую Отечественную войну.

считая прочего стратегически важного сырья. Одним из ведущих исполнителей плана явился Колчак. До конца 1914 г. было выставлено 14 насыщенных минных заграждений.

По данным Р. Фирле (германского военного историка, автора многотомного исследования «Война на Балтийском море»), активные минные заграждения русского Балтийского флота нарушили сообщения противника и вынудили его сосредоточить все силы на преодолении минной опасности.

На заграждениях немцы потеряли броненосный крейсер «Фридрих Карл», 4 тральщика, 3 сторожевых корабля и 14 судов. Подорвались, но остались на плаву крейсера «Аугсбург» и «Газелле», 3 миноносца и 2 тральщика.

Количество русских мин едва ли не в пять раз превысило количество германских и английских, выставленных в Северном море в том же, 1914 г. Это была активная наступательная операция русского флота и, как отмечает советская «История первой мировой войны», один из «главных видов боевой деятельности русских морских сил на Балтийском море в кампанию четырнадцатого года. Русские моряки явились пионерами массового использования минного оружия и внесли крупный вклад в искусство Мировой войны...».

На допросе 23 января адмирал скажет:

«...Я вспоминаю тот период (войну с Японией в 1904—1905 гг. — Ю. В.) и период последней войны — ведь ничего похожего не было. Здесь наконец после страшного урока (Цусимы и других бед. — Ю. В.) у нас был флот, отзывы о котором были самые лучшие. Может быть, он был слаб и мал, но отзывы о нем английские адмиралы давали самые лестные... Минное дело стояло у нас, быть может, выше, чем где бы то ни было. К нам приезжали учиться. Меня американцы после посещения Черноморского флота вызвали к себе, для того чтобы я мог им дать данные о постановке нашего минного дела...»¹

Этот авторитет знатока минной войны и сделал Александра Васильевича желанным гостем сначала в Великобритании, а потом и в США. Более того, англичане, как уже говорилось, охотно приняли его на военную службу.

Минная война могла не только защитить Англию² от подводного флота Германии (во всяком случае, существенно снизить его дей-

¹ «Однако одновременно совершенствовались и средства борьбы с минами, — пишет Бескровный. — Было обращено внимание на изготовление тралов. Во время войны получили широкое применение змейковые тралы, разработанные в России. По просьбе английского адмиралтейства сведения, необходимые для их изготовления, были переданы английскому флоту...»

² В начале войны некоторое количество русских мин было срочно отправлено в союзную Англию.

ственность), но и оказаться тем новым наступательным средством, которое в свою очередь весьма поспособствовало бы блокаде Германии, а эта блокада в буквальном смысле обескровливала Германию, и, пожалуй, не меньше, нежели непосредственные боевые действия на фронтах.

Уже с конца 1915 г. она дала почувствовать себя стремительно растущим недоеданием и суровой, постоянно ужесточающейся карточной системой. Россия до октября 1917 г. даже отдаленно не переживала подобных продовольственных трудностей.

К весне 1918 г. мизерные пайки в Германии уже оборачивались гибелью населения. Очевидец вспоминает: «...люди падали замертво на улицах. Свиристствовали эпидемии... Немцы и австрийцы воровали друг у друга поезда с украинской и румынской добычей. Ничто не помогало...»

По подсчетам кайзеровского ведомства здравоохранения, блокада уморила голодом около 763 тыс. человек гражданского населения, непоправимо подорвав здоровье еще несравненно большего числа людей.

«Боже, покарай Англию!»

Этот голод задевает даже такую привыкшую к смерти душу, как у фон Гинденбурга.

«Подумайте о 70 миллионах полуголодных людей и о тех из них, которые постепенно умирают от голода, — пишет он о своих соотечественниках. — Подумайте о грудных младенцах, умирающих от голодания их матерей, о бесчисленном количестве детей, которые останутся на всю жизнь хилыми и больными!.. Голод по приговору человека, который так кичится своей культурностью! Где же цивилизация? Чем же они как люди стоят выше тех, которые, к ужасу всего цивилизованного мира, свиристствовали над безоружными в Армении, за что и понесли кару, погибая тысячами? Эти жестокие анатолийцы (турки. — Ю. В.) вряд ли руководились каким-нибудь побуждением, кроме ненависти...»

«Жестокие анатолийцы» — фон Гинденбург имеет в виду массовую гибель турецких солдат от голода и холода на Кавказском фронте, который с русской стороны возглавлял великий князь Николай Николаевич. Турецкая армия понесла в те годы жестокие потери.

Британский флот блокировал Германию. Это был самый настоящий организованный голод — так впоследствии оценивали обстановку историки. Впрочем, по отношению к Англии подводная война преследовала те же цели. Они не были достигнуты — британский флот надежно прикрыл острова.

Голодом поставить на колени врага — на это тоже рассчитывали оба враждующих стана.

В подобного рода столкновении знатоки минного оружия, да с таким опытом, как у Колчака, не могли остаться без работы.

На первом Съезде народных депутатов СССР (25 мая — 9 июня 1989 г.) я сидел в первом ряду, оказавшись там, так сказать, «не по алфавиту». В первом ряду через определенное количество кресел обязательно сидел сотрудник КГБ.

Я был избран народным депутатом СССР во втором туре голосования 18 мая — меньше чем за неделю до съезда. Все места во Дворце съездов к тому времени оказались расписаны. Дабы не сбивать эту роспись, меня определили в первый ряд (надо полагать, вместо одного из охранников).

31 мая 1989 г. я выступил перед съездом.

«...Мы провозглашаем великие принципы, а по существу, эксплуатируем людей. Люди сыты по горло обещаниями лучшей жизни и решительно требуют перемен... Народ пока еще нам верит. Ведь народ многого не требует. Он только хочет одного: чтобы с ним обращались по-человечески...»

Почему нашей страной мог править Брежнев? Нет, правил не Брежнев. Он являлся лишь символом. Правило насилие. Оно утвердилось у нас в качестве единственной правовой нормы. Насилие, страх, нетерпимость, жестокость... пронизывали нашу жизнь, являлись нервом жизни, не дают распрямыться и сейчас.

Нетерпимость и в этом зале как знамение всех тех лет. Для народа перестройка (наряду с преодолением экономического кризиса) — это преодоление аппаратной системы. Эта система целиком взошла на принципах подавления личности, бесправия каждого в отдельности — бесправия и, следовательно, незащищенности. Еще очень много лжи носили мы в себе.

Да, сейчас гласность, но оттого, что нам ее подарили, мы не замрем в благодарной почтительности...

Мы не можем, не должны ставить свое будущее в зависимость от моральных качеств одной личности. Мы должны дать народу правовое демократическое управление, преодолеть экономический кризис...

Чтобы ограничить волю аппарата, необходимо поставить под контроль народа одно из мощных начал его жизнеспособности...

В условиях первых шагов по пути демократизации и в то же время желания раздавить ее такая сила, как КГБ, обретает особый смысл. Ведь КГБ подчиняется только аппарату, КГБ выведен из-под контроля народа. Это — самое закрытое, самое законспирированное из всех государственных учреждений...

Глубинная засекреченность, объясняемая спецификой занятий, обеспечивает фактическую бесконтрольность КГБ, хотя действия его порой весьма сомнительны. В таких столкновениях с КГБ правды не найти. Искать ее опасно. Манипуляции с якобы психической ненормальностью до сих пор могут угрожать людям, опасным для аппарата.

Демократическое обновление страны не изменило места КГБ в политической системе. Этот комитет осуществляет всеохватный

контроль над обществом, над каждым в отдельности. В системе же министерских отношений он явно поставлен над государством, подчиняясь лишь узкой аппаратной группе... И лучше бы перенести службы КГБ с площади Дзержинского. Уж очень незабываема кровавая история у главного здания, где покоится «меч, защищающий народ». Отсюда десятилетиями исходили приказы по уничтожению или преследованию миллионов людей. Горе, стон, муку сеяла эта служба на родной земле. В недрах этого здания мучили и пытали людей, как правило лучших, гордость и цвет наших народов. Да и сам комплекс этих зданий, таких необъяснимо монументально-громких, как бы свидетельствующих, кому в действительности принадлежит власть в стране, — такой комплекс неуместен в центре Москвы... КГБ — это не служба, а настоящая подпольная империя, которая еще не выдала своих тайн, разве только раскрытые могилы. И, несмотря на такое прошлое, эта служба сохраняет свое особое, исключительное положение. Она самая мощная из всех существующих орудий аппарата. И по эффективности, и по безотказности ей нет равных...

Мы на критической точке своего развития.

150 лет назад оригинальный русский мыслитель и друг Пушкина Петр Чаадаев писал о России: «Мы — народ исключительный, мы принадлежим к числу тех наций, которые как бы не входят в состав человечества, а существуют лишь для того, чтобы дать миру какой-нибудь страшный урок...»

«Страшного урока» больше не должно быть.

Так, теперь несколько слов о вчерашних овациях зала на сообщении о применении силы в Тбилиси. Преступно убивать за убеждения. Лозунги, политическая чужеродность, говоря об инакомыслии, не могут служить оправданием убийств. Такая позиция смыкается с той, которая привела нашу страну к невиданным в мире убийствам, которые мы до сих пор не в состоянии усвоить разумом и своей совестью. После этих оваций для меня очевидно: размежевание практически неизбежно; нас разъединяет больше, чем соединяет. Это — различие в понимании самих основ жизни».

Зал поразило оцепенение, но вскоре поднялся ряд депутатов и стоя приветствовал меня.

С этого дня я угодил в жесточайшую чекистскую блокаду. Слежка, тайное посещение квартиры, когда мы с женой уходили по делам, исчезновение и просмотр почты и еще многое и многое другое. Это было преследование в чистом виде. Только депутатство сохранило меня и жену от более тяжелых последствий...

На втором Съезде народных депутатов СССР (12 декабря — 24 декабря 1989 г.) я уже занимал место «согласно алфавиту». Нас рассаживали так (секторами по алфавиту, а не по убеждениям), не подозревая о том, что могут быть какие-то убеждения вообще. Я оказался в 5-м ряду на 25-м месте. Через проход, на 26-м, сидел Андрей Дмитриевич Сахаров.

Этот декабрьский съезд проводился по «аппаратному» сценарию

и был скучен. Порой охватывало откровенное безразличие. Слово получить невозможно, а получишь, каков смысл? Еще раз заявишь о том, что уже известно и саботируется административно-командной системой. К тому же здесь все упирается в голосование, а его результат можно заранее предсказать по любому вопросу еще за месяцы до съезда. Это 400—600 голосов на 1100—1300. Бюрократическая система возвела здесь надежную защиту.

И ничья, даже самая умная, доказательная речь изменить это соотношение голосов не способна.

Я не мог преодолеть скуку и в мыслях часто уходил в эту книгу, которую Вы, дорогой читатель, сейчас держите в руках. Перепечатка рукописи (тысячи страниц) требовала огромного напряжения. Кроме того, что изнуряет сама перепечатка (целые месяцы стучишь на машинке), утомляет и доработка текста. Перепечатывая, невольно вносишь поправки, а часто вклиниваешься и в самый смысл, сочиняешь новую главку. Уже полгода такой работы довели до крайней степени усталости. А предыдущие годы были не легче.

А тогда, в зале, память перебирала выводы последних главок, их я «отстукал» вчера. Я еще полон их жизнью.

И вдруг я понял, что в последнем выводе надо сделать исправления. Я не совсем прав. Русский народ не обычный народ. Этот народ — всегда жертва. На этом уровне и вырабатывалось его сознание, и вырабатывается.

Эта неожиданная мысль-находка вызвала целый поток встречных размышлений, перестроений следующих главок...

Иногда я поглядывал на Андрея Дмитриевича. Он тоже почти не слушал оратора, откровенно придремывая.

Я сидел рядом с ним во вторник (первый день работы съезда) и еще — в среду. В четверг меня залихорадило — я не приехал на съезд, а когда пришел утром в пятницу (зал еще был пустоват), мне навстречу поднялся Г. Х. Попов и сказал полушепотом, хотя вокруг никого не было:

— Андрей Дмитриевич умер.

Весь день я невольно посматривал на пустое кресло слева от себя. Там уже лежали цветы.

В тот день Горбачева несколько раз пытались склонить к тому, чтобы объявить национальный траур, но вождь перестройки был непоколебим. Было видно, это ему очень не по душе, просто труднопереносимо. Его даже как бы коржило от этих слов. Из опыта работы первого съезда я вынес убеждение в том, что генеральный секретарь КПСС хранит в душе острую неприязнь к Сахарову.

Это, наверное, была самая ненавидимая «территория» в мире.

Траур, разумеется, не был объявлен. Более того, в день похорон Сахарова депутатам раздавали билеты в Большой театр на «Хованщину». Это уже было глумление, и в нем приняли участие сотни народных избранников.

Кто-то выступил с предложением навсегда оставить кресло Сахарова свободным. Его и впрямь никто не мог занять. Никто.

Горбачев пропустил это предложение как нечто неуместное. Он сделал вид, что оно, это предложение, как бы и вовсе не поступало.

Я поглядывал на кресло с цветами и мучился сомнениями.

Сахаров отдал свыше 20 лет борьбе за свободу народа — это значит, он прошел через пытки, отказ от какой бы то ни было личной жизни, клевету, порой почти полное отчуждение.

За ничтожным исключением, он тогда не был услышан на Родине.

Можно отделаться фразой из Гегеля: каждой идее приходит свое время (что-то в таком роде, марксисты обожают такие цитаты). Но это всего часть правды.

Все дни смотрел я на кресло, слушал зал, вглядывался в людей, разгуливающих в перерывах в вестибюле, коридорах, — складывался простой до предела ответ:

«Глух народ или нет — определяет степень его сытости. Когда народ начинает испытывать нужду, он начинает слышать, даже если его уши заливают моря лжи. Когда народ начинает голодать и мерзнуть, он слышит. А когда приходит время бесконечных очередей, карточек, спекуляций и настоящего голода, следуют прозрение и потрясения.

И тогда чудачки, скоморохи, убогие вдруг вырастают в сознании народа до божественных высот. Они уже Пророки.

Пророк.

Да, градус совестливости всегда находится в прямой зависимости от сытости. Сколько святых и бесребреников распято на глазах сытых!..»

Я возвращался с предпоследнего заседания съезда. У Кутафьей башни жиденько переливалась толпа — ждали депутатов: передать просьбу, пожать руку, просто поглазеть на знаменитость.

Подземным переходом я направился к Румянцевской библиотеке. Переход был сырой, с лужами и постами милиции.

Я шел и вспоминал разговор с Ю. В. Андроповым (в 1974 г.) — главой КГБ и членом политбюро. Он принял меня, чтобы порасспросить о выпущенной мной книге — «Особый район Китая». Юрия Владимировича интересовали выводы — насколько они подкреплены документами. Тогда он и обронил фразу, которую я храню в памяти и по сию пору и вышибить которую оттуда возможно лишь стараниями врачей из «психушек»:

— Вот наделаем колбасы — и у нас не будет диссидентов.

В стране уже тогда возникли серьезные трудности с продовольствием.

Для Андропова стремление к свободе определялось отсутствием или присутствием колбасы. И ничем другим. Есть сытость — свободы не нужно.

И это было сказано об инакомыслящих; стало быть, и о декабристах — хотя у них не только колбасы было вдосталь... Сказано было о всех, кто умер за свободу.

Есть сытость — свобода не нужна.

Поэтому инакомыслящих и направляли в «психушки». При

таком мышлении главы самой могущественной в мире тайной службы все инакомыслящие — ненормальные. У каждого из них этой колбасы сколько угодно. Значит, объяснение одно: ненормальные.

Есть сытость — свобода не нужна.

Зверь, птица умирают без свободы — у них в клетке сколько угодно корма. Не живут без свободы.

А человек?!

И эти люди (Андропов и ему подобные) определяли направление движения целого народа! Имя Системы, которая ставит у власти этих нравственных уродов, — ленинизм и большевизм.

Я шел и думал о том, что в этом случае, как, впрочем, и во всю русскую историю, столкнулись два понимания свободы. Понять Сахарова Андропов вообще не мог, даже если бы очень хотел. Такой орган «понимания» у него начисто отсутствовал.

Я шел и вспоминал обоих этих людей. Уже неживых.

И еще вспоминал, как черная юркая «Волга» несла меня на Лубянку, в кабинет Андропова, машина путала следы. Это не преувеличение, не выдумка. Кремлевские старцы не доверяли друг другу, и у каждого за каждым была своя слежка. Андропов не хотел, чтобы о нашей встрече кто-то знал. Он проводил свою политику по Китаю. И не хотел обозначать те источники, откуда могла поступать информация, пусть даже такая малая, как моя.

Свиньи топчут людей. Свиньи устанавливают правила жизни.

Мне еще предстояло узнать, что такое бесстыдство власти демократов, продажность и невиданная коррупция верхов демократии — надежды народа.

Нажива, ложь, себялюбие правят этим миром, в божествах у которого только деньги. Всегда — деньги.

Грустный опыт моей жизни убеждает, что любая власть на Руси прежде всего займется наживой. Все отличия одной власти от другой — в размерах ограбления народа.

Глава III

ИРКУТСКОЕ СЛЕДСТВИЕ

Александр Васильевич с любопытством прислушивается к себе. Он и предположить не мог, что сознание сохранит мысли старика датчанина, да еще в такой полноте. Зачем? После того, чего он понаслышался за весну и лето семнадцатого, они не показались оригинальными, а вот память рассудила по-своему.

— Я имел «счастье» быть на войне, — говорил вразяжку старик датчанин. — Нет, не на этой, избави Бог... Так вот, всякий, кто хлебнул ее, будет против нее, либо он не человек. Это — мое искреннее убеждение, господин адмирал...

Это очень уязвило Александра Васильевича, поскольку он не только любил войну, а почитал и тем паче не чувствовал себя несчастным среди крови и смерти. Старик датчанин чувствительно задел его, если не оскорбил.

И доказывать нелепо: война — затея грязная. Разве это достойно — решать споры кровью? Но если война составляет одну из сторон человеческого бытия, если люди не могут без нее, то должны быть люди и для защиты своей Родины. И это ремесло — почетное, и уже не ремесло, а наука. Для него, Колчака, война замечательна.

Александр Васильевич не просто участвовал в войнах, то есть планировал в штабе боевые действия и посылал на смерть других, нет, он все сам вынес и пережил. В него стреляли, били из тяжелых морских орудий, его забрасывало внутренностями товарищей, он ходил по палубе, скользкой от крови, — и, однако, не испытывал к военному делу отвращения.

В бою он был взведен и чрезвычайно деятелен, мысль работала точно и ходко. Страдания людей, кровь, обезображенные трупы, слезы, крики, истерики нисколько не подавляли. И это не являлось преодолением себя, тем более бравадой. Он действительно не заразился ужасом страданий или паническим желанием спрятаться. Обстановка риска и могучие натяжения воли вызывали потрясения,

которые еще долго электризовали жизнь, делали его гибким и чутким для любой новой задачи. В обстановке риска он не терялся, не слепнул, а, наоборот, видел все с необыкновенной четкостью и каким-то пониманием скрытого смысла явлений, что давало власть над событиями. Словом, он представлял редкостный тип человека, назначенного для такого рода испытаний и вообще действий. Всякий застой жизни, бездействие расшатывали его волю, вызывали упадок сил. Потому он с таким воодушевлением встретил войну. Лишь здесь он мог в полной мере проявить способности и послужить Отечеству. Это почетная и тяжкая доля, но за ней — сознание своей нужности людям, его достоинство и гордость.

Слова старика датчанина оскорбляли. Черт побери, зачем же в противном случае становиться военным человеком? Каким он, военный человек, тогда должен быть? И кто будет исполнять солдатский долг перед Родиной?..

Эта невосприимчивость Александра Васильевича к ужасам войны находилась в явном противоречии с его нервностью и интеллигентской восприимчивостью к несправедливости...

И Александр Васильевич принялся вглядываться в воспоминания. Из них, проступая, складывались суховатая чопорность датчанина, аккуратный седой пробор, серые немигающие глаза и кисти — какие-то белобрысы-бесцветные, в темных пятнышках.

«Я не сомневался, что переживу его, а он сейчас наверняка бодр, свободен и по-прежнему проповедует нетерпимость к равнодушию и несправедливости. А мне жить какие-то жалкие дни...»

Александр Васильевич очнулся от горестных раздумий, глянул в мутное пятнышко оконца за решетками, услышал свое растревоженное дыхание и подумал, что вот опять его не вызывают на допрос.

Он помял узелок платка с гильзочкой: не нашли. Мотнул головой и принялся начитывать себе: «Чувство страха естественно, но оно и самое большое унижение...»

Это были судьбоносные часы Флора Федоровича Федорóвича, по гимназическому прозвищу — Три Фэ. С обеда он заперся у себя в номере. Перед ним — бутылка самогона, шматок сала, краюха житного и несколько листьев квашеной капусты. Он уже извел полбутылки первача, однако не дурееет. Жизнь следовало прожить — обильную на мытарства и риск, дабы охватить те неожиданные истины, которые вдруг открываются перед ним.

Народ — это всего лишь понятие. Народа нет, есть общность людей. Понятием «народ» власть имущие принуждают к жизни против совести и убеждений. Это понятие отбирает право своего голоса, право своей мысли. Есть общность людей, говорящих на одном языке, — и всё! Прочее выдуманно, для того чтобы иметь власть над человеком, иметь так называемое право судить, казнить, травить, а в конечном итоге — доить выгоду.

«Что такое русские, кто они? — пытается себя Три Фэ. — Служить этой общности людей — значит добровольно убить в себе человека. Для них не существует понятия свободы. Для каждого оно — в простом материальном воплощении: кусок хлеба, угол и баба — вот и всё! Только это и есть свобода в представлении едва ли не каждого человека из народа. За какую свободу, как бороться? Даже своих царей-мучителей или правителей-насильников они величают уважительно — Грозный; не Губитель, не Кровавый, не Душегуб или Пес, а Грозный! Иван Васильевич Грозный!.. Хождение в народ, просвещение, жизнь за народ — а он, сердешный, жует и славит своих хозяев. Знает он теперь, какая свобода мила этой общности людей. Вчера — двуглавая курица, ныне — серп и молот, но везде, и прежде всего, — хозяин и палка...»

Три Фэ заглатывает первач, пилит тупым ножом сало и медленно жует, отрывая пальцами кусочки свиной кожи. В горлышках порожних бутылок — свечи. Часто, как сегодня, станция вырубает свет. Тут же — и маузер, а на стуле — кольт, под стулом — цинка с патронами. Живым уже больше он никому не дастся. Звери и животные!

Три Фэ раздумывает над странной способностью организма: после выпивки вчерашний день кажется далеким — очень далеким, никак не вчерашним.

«Превратить бы все эти дни в далекие, — думает Три Фэ. — Стереть память на все годы кровавого безумия. И все это называется идеалом свободы, мечтой человечества! Звери и животные!..»

В коридоре — топот, грубые голоса, сморкание, кашель и чей-то виноватый дребезжащий голосок.

«Есть хоть с кем горе размыкать. — Флор обнимает ладонью бутылку: стекло холодное, гладкое, как раз под руку — приятно держать. — При случае и жхнуть можно, пригодилась же вот так, в Нижнеудинске...»

Нет, он, Флор Федорович, не станет мешать народу, он — пас! Он уходит. Пусть народ живет, как ему угодно. Большевики так большевики.

По краю стола светлеют страницы раскрытых книг: Маркс, Плеханов, Ильин, Энгельс... Флор складывает их стопкой и шепчет:

— Знание рецепта еще не означает, что лекарство подействует, вот так, милые...

Небритый, в мятой, несвежей рубашке без галстука, красноглазый, как и Чудновский, Флор Федорович производит впечатление больного человека. Однако это всего лишь впечатление. Единицы способны сравниться с ним в выносливости. Отсидеть две-три ночи за делом, спать два-три часа в сутки, гнать на митингах узловую мысль, мотаться по городу или городам в жару, больным, впроголодь, рисковать головой — на это способны единицы. Вот только сердце, мать твою вдоль и поперек, — ну совсем некстати: щемит, щемит, подлое, и все на задых! Черт с ним, пусть душит, пусть! Свалит — пусть!..

Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые,
И ты, им преданный народ...

Снег давным-давно стаял. Под пимами так и стоит лужица серой воды.

«Истинно так», — бормочет Три Фэ.

Что и как сложится, Три Фэ не представляет, но он уйдет — это вопрос решенный. Кисло-кровавым веет от всех дел советской власти. Не за жизнь страшится, просто он — другой. Поэтому бодрит себя Три Фэ первачом и обдумывает дорогу за кордон. К белым — вздернут (уж какая радость!), к японцам — выдадут белым, а дорога-то одна, эта самая «железка». Шпалами и сопками она в нем. Пристраивает себя на багажную полку, в тамбур; мостится среди ящиков — все подбирает местечко. А ну как пронесет? А бороду запустить, добыть подложный паспорт, ссылаться на ранения: дыр на теле, слава Богу...

А в углу — кучей флаги и кумач для лозунгов, с дней переворота здесь.

«В России флаги вывешивают, ликуют на демонстрациях и вообще выражают так называемые гражданские чувства лишь по команде, — раздумывает Три Фэ. — Так водилось при царях, так и нынче — при Ленине и Троцком. Портреты, лозунги малюют заранее, не в порыве чувств, а организованно, для назначенных демонстраций, митингов, собраний — и после раздают трудящимся».

За узорами по стеклам натягивает стужу ночь. Лунный свет стоит ровный, спокойный за ледяными листьями и завихрениями диковинных трав — Три Фэ любит ледком на стекле. Он уже и забыл, что это такое — любоваться. Стиснутый железами борьбы, Три Фэ давно утратил способность к таким чувствам, как восхищение небом, звездами, лунным блеском...

На столе, возле бутылки и стакана, — его руки, очень бледные, от этого особенно черными кажутся пучки волос на фалангах пальцев.

«Черт подери, — рассуждает про себя Три Фэ, — добывал счастье людям, а залез в такую мразь! Все это такая мразь!..»

Он не пьян. Он впервые начинает сознавать, какому обману присягнул в юности, какими миражами жил и сколько чудесной жизни растоптал, стер, пустил по ветру...

Замыли большевики и этот уголок, нет больше Политического Центра, Ленин и Троцкий правят бал. Эта Дальневосточная республика, о которой столько болтают, — всего лишь очередная видимость, республики не будет; вылупится все та же диктатура доктринеров из Москвы — перед ними все молчи, все припадай к земле и слушай...

Надежда эсеров — деревня — не восстала. Бунтуют уезды и даже губернии, но все разом не поднимаются. Отсидивается мужик,

ждет, авось обминуется, — и ни за что не идет на выручку соседу, лишь за свое держится, лишь своим живет... Сибирь незнакома с продразверсткой. Это, конечно, в плюс большевикам.

«Мы не понимали, что за материя — крестьянство, — раздумывает Три Фэ. — Крестьянство неспособно исполнять роль созидающего элемента в строительстве России. Разобщенное, темное, с примитивными представлениями о мире, оно способно лишь ждать избавителя, но само не поднимется и не родит героя. Противникам большевизма не дождаться всеобщего восстания крестьянства — не тот материал, время крестьянских войн — в прошлом. Мужик — оппортунист по природе, уживался с губернаторами и урядниками, уживается и с Советами...»

Три Фэ опрокидывает остатки первача в себя, крупно глотает, мычит, мотает башкой, снова наливает и задумывается над самым важным вопросом (он не дает ему покоя): отчего всем, кроме большевиков, не удастся найти поддержки в народе?

Ответ возникает неожиданно. Все именно так! Ленин сначала призвал чернь и бедноту грабить награбленное — знаменитый лозунг, не лозунг, а всеобщий, всероссийский погром. Так сказать, перераспределение собственности. Вот с этого момента они уже не могут не следовать за Лениным. Убереечь землю! Прежде всего в этом заинтересовано крестьянство. Что бы ни болтали большевики, а именно крестьянство определяет физиономию событий. Пролетариев повышерстили войны да голод, их-то и было — кот наплакал. Отныне в городе — те же крестьяне, в армии — те же крестьяне, в партию к ним, большевикам, валит все та же посконная и сермяжная... Именно так: сохранить схваченное, а главное, землю, — вот смысл преданности мужика, вот начинка диктатуры рабочих и крестьян...

Странно, мысли об адмирале не вызывают прежней ярости и злорадства. Он так ждал этого часа: увидеть повязанным палача. И теперь не может не поражаться себе: нет даже удовлетворения, какое уж тут торжество!

Он вглядывается в отпечаток адмирала там, в памяти. Не аристократ происхождением, но сутью своей — голубая кровь: внешность, манеры, речь. Будь адмирал в Питере сразу после Октября — висеть ему на первом же фонаре. От него же за версту шибает старорежимным достоинством, презрением к приспособленчеству, этаким спесью. Все это отныне лишне, даже вредно.

Вспоминает ответы адмирала, голос, повадку — и ему становится не по себе за свою крикливую, напыщенную болтовню.

А как они его взяли? На предательство. У чехов оказался вот такой зуб на адмирала! А Жаннен?.. Среди мрази пришлось действовать адмиралу.

Флор, как и Колчак, уважает человека прежде всего за убеждения... Он качает головой. Какой же ты, сукин сын, проповедник свободы, если бесчестишь и унижаешь пленного врага! Чем ты тогда отличаешься от большевиков, шальных атаманов и вообще

насильников?! Сукин ты сын, Флор! Сдохнуть тебе — самое время...

Три Фэ прикладывает к стакану. Его уже захватывают новые мысли. Это наша странная философия: нас топчут, казнят, позорят, а мы принимаем все. Человека могут втереть в грязь, унижить, ослабить, затравить до смертных болезней, оклеветать — и он смирится. И тут тоже имеется своя подоснова.

Над всем преобладает идея государственности, всем повелевает идея подчиненности государству. Человек обезличен, затерт, измельчен, унижен — зато слит со всеми, зато все созидают дело Отечества. Есть массы, и есть государство — и этим в России определяется все.

Отсюда уже и иное отношение к революции большевиков. Для интеллигенции за ней начинает вырисовываться все тот же примат государственности. Кто, как не большевики, беспокоится за крепость и могущество Родины?

Эта идея государственности, эта униженность перед государством и есть родовая черта русского народа — та самая некая славянская загадка. Она выжжена в каждом. На ней замешена вся российская культура — литература, театр, музыка, живопись... Из этого идеала — Пушкин, Лев Толстой, Тургенев... Из сосцов матери она вливается в плоть и кровь каждого. Твори, сынок, родную землю, а кто ты для нее — раб, удобрение, статист без голоса — не имеет значения. Гордись причастностью к общему. На этом стоит большевизм.

С детства, слов матери и учителей, половодья книг каждый начинается этой формулой общности, каждый складывает свое имя на землю, под ноги всех, а что ноги топчут тебя — неважно...

Терпеть и нести — вот смысл этой философии, очень удобной философии для тех, кто у вершин власти. Ибо вся философия — во имя пирамиды власти, во имя немногих, кто пользуется абсолютной свободой. Общность людей лишь влачит существование, ее свобода — кусок хлеба, угол и животные утехи.

И поколение за поколением властители вращивают, укрепляют эту золотоносно-мамаеву идею. С высоты их положения народ — это безбрежное множество согнутых людей: одни горбы от горизонта до горизонта — ни единого открытого солнцу лика, все довольствуются клочком земли у себя под носом. Осваивая жизнь на карачках — это удел каждого русского, его предназначение.

Мысли эти настолько поразили Три Фэ — он как замороженный полез в чемодан за новой бутылкой, выгреб на стол закуски и продолжил сие достойное занятие: просветлять воображение. И от водки, точнее, первача, мысль заработала свежо, задорно и в то же время с какой-то злобной настойчивостью. Бездна! Перед ним — бездна!..

Ведь эта идея государственности, примата государства над всем человеческим уже действует и сама по себе: она стала национальной чертой, вошла в культуру, в понятия «честь», «Родина», «измена»,

«долг», «жизнь» и «смерть». И ее уже не вытравить. Это вещь в себе...

— За освобождение, — бормочет Три Фэ и обжигает себя первачом. В ссылках освоил сие достойнейшее пойло. Расскажи, что довелось пережить, и не поверят...

Обида заставляет видеть идею государственности извращенно, но Флор это поймет позже, да и то не совсем. Не хватит ему жизни.

До сознания Три Фэ доходят наконец шум и гвалт за стеной — в соседнем номере штаб красногвардейского отряда. Ни в одной смете нет средств на содержание Красной Гвардии, а люди оторваны от работы, живут в казармах или реквизированных домах — ведь в любую минуту надо быть готовым к отпору, кроме того, они несут охранную службу.

Поэтому отряды производят реквизиции — берут ценности в любом зажиточном доме, берут еду, одежду и вообще все, что посчитают нужным. Ордер для подобных операций выписывают для себя сами же — так, клочок бумаги. Вот и сейчас, поди, делят очередную партию вещей, скорее всего одежду...

Три Фэ взял стакан, поднялся и подошел к окну. Он прижимает стакан к груди.

— За прозрение, Флор. — Он чокается со стеклом.

«Вот у солнца есть лучи, а почему их нет у луны?» — задумывается Три Фэ. Прозрение и впрямь преображает его. Он видит то, чего никак не мог заметить еще каких-то несколько часов назад, что давно уже потерял, забыл...

Нет, напрасно сомневался Колчак: Флор Федорович — мужчина, да еще при каких доблестях! И «габэт» сие подтвердил бы. А голос? Что голос...

Да, есть небо, способное взволновать, есть звезды — в них тихий благовест наших чувств, и есть одна огромная, неизбывная жизнь, распятая глупостью, алчностью, жестокостью и невежеством...

Приятно Три Фэ глазеть в окно: свет мирный, не ранит.

Очень страдает Три Фэ, от переработки всегда воспалены глаза, да так — на морозе в надрыв «листья» свет, будто толченное стекло. Само собой, и читать больно, а это обидно, даже вдвойне обидно: человек-то он книги...

И подумал: «Свет — это огромная, бесконечная книга. Листай ее, листай. И в каждый миг — новая страница...»

Ночь светится снегом. Тучная снегами зима, не уйти от «железки» ни на шаг...

Три Фэ наклоняется к окну: тут, по краю стекол, нет изморози. А все равно не различить домов, дорог, деревьев — одно серебристо-зеленоватое мерцание снега. Выгладил январь Иркутск, принарядил. Пестрый выдался месяц... bigagté... с протуберанцами... Что бы в России ни происходило, а заканчивается всегда... палкой и хозяином.

Три Фэ вспоминает телефонный разговор Чудновского с предсе-

дателем ревкома Ширямовым. Этот... ревкомовский... без продыху выколачивает события. По нему, так революция предоставила жизнь любого в его распоряжение, за ним право истории.

Излишни совесть, честь, убеждения, достоинство, гордость, ум — есть общая подчиненность, есть слитность со всеми, есть то локтевое, что исключает вину и ответственность каждого. В ничтожестве каждого есть и великий выигрыш. В этом общем ничтожестве нет ни преступлений, ни ошибок, ни зверств, ни ответственности — есть только движение всех. Умей растворять себя со всеми — это и удобно, это и предельное следование инстинкту самосохранения: ни забот, ни ошибок, ни гнета чувств, в общем, всегда кусок хлеба и кров...

И опять Три Фэ возвращается к телефонному разговору.

«...Не с руки мне, товарищ Ширямов, тянуть это дело, — ожидают в сознании слова Чудновского. — Тут не один Колчак. Тут у меня столько разного добра — тюрьма трещит. Надо сейчас решать...»

Тогда Флор не придал значения разговору, но ведь это ясно: Чудновский просит разрешения на расстрелы, и в первую очередь — адмирала. Что же это? Без суда, как бандита?! Для чего тогда революция?!

И тут до Федорбвича доходит жуткая мысль: куда, собственно, ему, Флору, уходить, кто простит ему адмирала?! Ну как у неистового Никона вериги — пудовый нагрудный крест: ни на миг не отрешиться от мысли, кто ты для людей и чего от них теперь ждать...

До самого последнего дня нести ему эту тяжесть. Приучит она его смотреть только под ноги, не даст распрямиться. В натугу, задых будет каждый шаг...

«Эх, Самара, качай воду!..» — запекает за стеной знакомый красногвардейский голос. И эта балалайка — ну каждый перебор в ней вроде свой. И Три Фэ ляпнул кулаком по столу и затянул удало, звучно: «Эх, Самара, качай воду! Дезертирам дай свободу!..»

Куда делась детская пронзительность голоса? Сочный, чистый тенор — ну в Мариинке с таким срывать аплодисменты...

Эх, Флор, Флор...

— ...Сотрудники? Способных еще можно найти, но вот преданных идее?.. Все тонет в трясине взяток, воровства и шкурничества. Это было в боль фронтovому офицерству. Оно сражалось стойко и большей частью с превосходящими силами красных. В тылу же — какая-то оргия наживы на бедствиях и горе. Даже министр путей сообщения давал взятки. Понимаете, иначе не пропускали его вагон! Этот произвол нельзя было пресечь, даже если бы я расстреливал всех виновных подряд.

— Расстреливали, — вступает в беседу Чудновский.

— На восстания и саботаж мы отвечали силой. Это ведь Гражданская война. В ней часто тыл становится фронтом...

— Вашим именем и приказами мучили, терзали, казнили рабочих и крестьян Сибири, — уже не подавляя ярости, грубо забасил Чудновский. — Я в этой каталажке вшей кормил несколько недель назад — и мне нечего заговаривать зубы. Да-да, при Черепанове! Я-то знаю, как вы наводили порядок. Порки, насилия, голод, казни — вот что такое режим Колчака. Вы шли на Москву, за вами — вся сволочь. Вы да Деникин — вот две надежды мировой контрреволюции.

Александр Васильевич откинулся к спинке стула. Нет, он не сорвется. Пусть этот господин испытывает красноречие.

— Знаете, вы кто? — Чудновский спрыгнул с края стола, подошел и встал напротив адмирала. — Александр Четвертый! Вы — это неизбежность реставрации. Вот цена вашим разглагольствованиям о России и благе!

Александр Васильевич лишь вздернул подбородок да побледнел.

Чудновский запикивает руки в карманы кожанки и отходит к Попову.

— Если вы, господин чекист, задаете вопрос, то, нравится вам ответ или нет, соблаговолите выслушивать. В противном случае я не стану отвечать.

— Денике, ведите допрос, — говорит председатель следственной комиссии.

Товарища Попова удовлетворяет активность Денике — все реже сам задает вопросы, однако помет в тетради делает не меньше. Чувствуется, ум его — медлительный, с какой-то канцелярской обстоятельностью; не допрос снимает, а двигает шахматные фигуры.

Денике же, судя по документам, копал, что называется, с ходу. Тут же пускался по следу новых фактов, имен. Выдает это в нем человека фантазии и отнюдь не рыбьего темперамента.

Есть в тетради Попова любопытные сведения о Чудновском, Каппеле и чехах — надо полагать, узнавая, тут же заносил для памяти. Есть ссылки и на документы совершенно неизвестные.

Даже скромной толики общего не обнаруживалось у Чудновского с интеллигентностью. Люто презирал и ненавидел это в людях, особенно двойственность, нерешительность в делах, неспособность беззаветно служить рабочему классу — ну все, на что «указует» товарищ Ленин. Любая статья или речь Ленина — для Чудновского приказ.

Первой из ленинских работ Чудновский прочел «Две тактики». Она намертво вбила в него презрение и недоверие ко всем социалистам небольшевистского толка.

Усвоили взгляд Ленина на интеллигенцию не только председатель иркутской губчека, но и товарищ Сталин и вообще большевики, а также и народ, и еще — красные вожди за кордоном, и среди них — вождь китайской революции товарищ Мао Цзэдун. Еще бы,

эта проклятая интеллигентская прослойка имеет дурную привычку думать и во всеуслышание излагать итоги раздумий.

Как следует с ней поступать и как поступили, явствует из речи Мао на VIII съезде Коммунистической партии Китая в 1958 г. Речь, само собой, не издана, но, сомневаться не приходится, дает верный взгляд и воодушевляет товарищей по партии и по сию пору.

Обнародована она была за границей, во времена культурной революции (культурной на марксистский лад), то бишь разгрома ряда партийных учреждений. Тогда документ строгой секретности и свалился в руки хунвэйбинов, а от них — на Запад.

В речи Мао ссылается на первого в династии Цинь императора — Ши Хуан-ди:

«Кем был Ши Хуан-ди? Он похоронил заживо всего 460 ученых. Мы же похоронили 46 000 ученых. Разве мы не казнили определенное число контрреволюционных представителей интеллигенции? Я ставлю этот вопрос перед демократически настроенными государствами. Они говорят, что я веду себя как Ши Хуан-ди. Отнюдь нет! Я в стократ превзошел его!¹...»

Верно, превзошел, поскольку был вооружен самой передовой теорией и философией — марксистской.

В общем, яма для таких всегда в наличности, и не только в Китае...

«...Болтай-болтай, — думает товарищ Семен. — Вали свои факты, для истории сойдут...» Чиркнул спичкой, дал огонек Шурке Косухину — тот и не заметил, как загасла папироска. Новостей-то — не отобьешься. Но в каждой имеется и ложка дегтя. Чехи отклонили условия перемирия с Пятой армией, и как отклонили — наотрез, с матерком как бы...

И до этого спал и дневал в тюрьме, а тут и вовсе зверем в ней. В любом случае не уйти адмиралу, будь хоть самые важные и грозные телеграммы и приказы. Так и заявил в губкоме. Янсон только пожелал: «Зачем так категорически? Есть партийная дисциплина. Чувства держи при себе».

Что ни день, требует товарищ Семен от ревкома приказа на расстрел Колчака. Сейчас надо класть, без спешки и риска, а Янсон все свое: беречь адмирала для суда.

Ну уж это хрен-то!..

Конечно, ревком — с Чудновским. Разве там, в Москве, виднее? А Каппель? А белочехи? А японцы? А контрреволюционное подполье?..

Ночами срывается Чудновский на любой шум: в головах — мау-

¹ И этот человек (Мао) возведен в родной стране едва ли не в ранг святого! Святой, бредущий по колено в крови... Отечество этих людей — марксизм. Божество — Ленин.

зер, в личной комнатке (дверь в нее прямо из кабинета), на стульях, — кольцовский пулемет и ящик с ручными бомбами: ну не пройдет к Правителю!..

После сидел, слушал тишину, натужливо моргал толстыми, опухшими веками, растирал башку: искры от недосыпу. Вставал, натягивал кожанку, отхаркивал табачную мокроту, сопел, засовывал в коробку маузер. Прикусывал зубами папиросу — и начинал обход: корпус одиночных камер — подвал, первый этаж...

Каждый пост, каждый пулеметный расчет — все самолично досматривал. Таращился в ночную муть за окном. Ну не должны пройти, каждая пядь под огнем...

Не ропщет на судьбу товарищ Чудновский. Время такое, не до личных благополучий. Сам Дзержинский дни и ночи за работой: спит тут же, в кабинете, нередко два-три часа. Старик курьер приносит обед из общей столовой, иногда добавит что-нибудь повкуснее и попитательнее (передавали верные люди). Тогда Дзержинский пытается его прищуром глаз и спрашивает:

— А что, сегодня все сотрудники едят такой обед?

Взгляд у Феликса Эдмундовича — не приведи Господь! Недаром мечтал послужить святой церкви. Ксендз не вышел, хотя родных братьев изрядно помучил проповедями и требованиями соблюдать посты.

Мало кто знает, что осенью 1918-го Дзержинский выезжал в Швейцарию навестить семью.

«Феликс изменился неузнаваемо, — вспоминает его жена, Софья Сигизмундовна (она ждала его с сыном Ясиком в Берне). — Он приехал под другой фамилией (Феликс Доманский), и, чтобы не быть узнанным, перед отъездом из Москвы сбрил волосы, усы и бороду. Но я его, разумеется, узнала сразу, хотя был он страшно худой и выглядел очень плохо...»¹

Кто бы мог подумать: октябрь 1918-го — и в Швейцарии сам глава грозной ВЧК!

Это было время образования в Уфе Директории во главе с Авксентьевым и Болдыревым, время прихода к руководству белым движением на юге России Деникина, только-только земля приняла прах генерала Алексева.

Именно в эти дни после ранения приступил к работе главный вождь — гремучая смесь революции — Ленин.

Именно в эти дни начиная с исхода августа (без пропусков) в Москве гибли сотни и тысячи «буржуазных элементов» и представителей всех других партий — брал разгон красный террор, свирепый ответ революции на пули Каплан.

«...В Берне не было условий для отдыха, который был так необ-

¹ Д з е р ж и н с к а я С. В годы великих боев. М., 1965.

ходим Феликсу, — вспоминает Софья Сигизмундовна, — и мы решили поехать на неделю в Лугано, где был чрезвычайно здоровый климат и прекрасные виды...»

Отдыхать Феликсу было от чего.

Когда чета Дзержинских усаживалась в весельную лодку, к пристани подвалил прогулочный пароходик. У трапа стоял... Локкерт!

За какие-то недели до этого он был арестован в красной Москве, и Мундыч сам беседовал с ним, иначе говоря, допрашивал. Как дипломат, Брюс Локкерт отделался высылкой за пределы РСФСР...

Локкерт тоже приехал отдохнуть. И тоже было от чего.

Он не узнал председателя ВЧК, хотя в упор скользнул взглядом. Уже тогда наловчились менять внешность на Лубянке.

И такие бывают свидания.

«...Человек с корректными манерами и спокойной речью, но без тени юмора в характере, — рисует портрет Мундыча сам Локкерт в своих воспоминаниях «История изнутри». — Самое замечательное — это его глаза. Глубоко посаженные, они горели упорным огнем фанатизма. Он никогда не моргал. Его веки казались парализованными...»

Эти самые немигающие глаза не подвели Мундыча. Он Локкерта узрел, а тот... протопал мимо.

Любопытно речение Бажанова. Он наблюдал Мундыча в обстановке, скрытой от взоров простых смертных. «...Дзержинский всегда шел за держателями власти, — отмечает бывший помощник Сталина, — и если отстаивал что-либо с горячностью, то только то, что было принято большинством».

Нельзя обойти и меткое замечание Бажанова о прокуроре всех убойно-подложных сталинских процессов: «На «суде» функции прокурора выполняет внешне человекоподобное существо — Вышинский».

Да они там все человекоподобные! И доньине, уже в демократической упаковке, все равно те же, человекоподобные, ибо нутро у них — гнилое, от ссучившегося партийного мира.

10 ноября 1918 г. газеты сообщили «о высылке русского Советского посольства из Швейцарии, вызвавшего в Швейцарии всеобщую забастовку».

Уж не один ли это из результатов «частного» визита Мундыча в Швейцарию? Ведь между данными событиями какие-то недели...

Первосвященники большевизма — Ленин и его причт — были честны: ни одна казенная копейка не пристала к рукам. Не щадили себя и в работе, продвигали Октябрь.

Однако природа вещей выше любых самых благих намерений.

Всеобщая подчиненность, подавление свобод, совершенная бесконтрольность власти не могли не развратить всех последующих владетелей России.

Уже при Брежневе лихоимство больших и малых вождей перелхтывает через кремлевские стены; можно сказать, зазловонило по всей столице и всесоюзным окрестностям, аж за кордоном учили.

Для характеристики России социалистической подходит старое, предельно сжатое определение (по Карамзину):

— Чем занимается Россия?

— Ворует.

И ежели быстряслось такое чудо и воскресли первосвященники большевизма, то, надо полагать, без всяких оговорок и разбирательств пустили бы в расход всю длиннозубчатую вереницу первых секретарей и вообще разных партийно-государственных вельмож, а уж потом бы деревенели, седели, попадали в реанимацию, ломая голову: отчего из победоносного Октября вылупилось подобное безобразие?! И надо полагать, по природному своему оптимизму и взгляду на историю как на сложный, неизведанный процесс, но материалистически обусловленный и, стало быть, вполне управляемый сочинили бы для выправления линии еще какой-нибудь генеральный нэп.

Так и подпирали бы этот общий курс к светлому завтра разными подпорками, дабы не горбатилась линия курса, скреблась вверх, к заветным далям.

Отец Ф. Э. Дзержинского — Эдмунд Руфим — родился в 1838 г., окончил Петербургский университет, преподавал математику и физику в гимназии.

Мать Ф. Э. Дзержинского — Елена Янушевская.

Родители вырастили трех дочерей: Альдону, Ядвигу и Ванду, — а также, считая и будущего председателя ВЧК и ОГПУ, пятерых сыновей: Станислава, Феликса, Казимира, Игнатия и Владислава.

Родители Мундыча владели имением в 92 десятины земли.

Юноше,
обдумывающему
жизнь,
Решающему —
сделать бы жизнь с кого,

Скажу,
не задумываясь:
С товарища делай ее
Дзержинского.

В. Маяковский

«Все здесь ледяное: стены, пол, койка и даже воздух. До чего ни коснешься — в ожог. Похоже, у меня просто жар...»

Александр Васильевич посасывает трубку: одну бы затяжечку!

Он топчется без устали. Стужа тут ни при чем, хотя в Сибири самые холода как раз по февралю. Даже здесь, в помещении, грязная морозная проседь сползла по стенам к лежанке.

Допросы взводят на жар. Теперь он понимает, почему тут каменные тропочки. Кто бы ни сидел — смертной бедой это оборачивалось. Так и продолбили тропочки в камне: не унять лихорадку в душе. Не камень долбили, а по своим душам топтались.

Александр Васильевич слушает: они!.. В эту пору обычно уводят на расстрел. Александр Васильевич уже научился распознавать звуки — как ни странно, у каждого здесь свой характер, хотя действие всегда одно: уводят или приводят заключенного...

Что будет с Анной? Что-то происходит... Она написала, что ее допрашивали всего раз. А теперь и его почти не вызывают, словно забыли... Вчера им дали прогулку. Анна опиралась на его руку и молчала...

Александр Васильевич размышляет о том, что сознание жадно отбирает именно вот эти шумы... когда уводят на расстрел.

Не все, но, случается, пробуют противиться, кричать. Это всегда удар! Нет тебя, одна сосущая пустота. Ужас растворяет рассудок: вместо сцепления мыслей, образов — одна пустота...

Мрак и мгла под лампочкой. У мрака тысячи лап — мягкие, бесшумные. Удушение мраком. Наложение мрака на губы, глаза, лоб...

Александр Васильевич шарит по стене. Иней, оплавляясь, струйкой бежит в рукав. Он отмечает покалывающую ворсистость стены, причудливое движение капель по воспаленной коже, какую-то невозможно твердую сплоченность камня. И этот остаток трезвого разума подкашивает: нужно искать зацепку в мыслях, они оживят рассудок. И он начинает раздумывать над вопросами, обидами, ошибками. Постепенно в памяти складываются образы тюремщиков, Чудновского, Попова, Денике... И он приходит в себя.

И уже слышит свои шаги, шорох шинели, прерывистость дыхания и, сплетая пальцы, похрустывает ими, как бы удостовераясь, что он пока еще во плоти и реальности.

Эти находы ужаса случались лишь ночью в самый раскол ее: корпус одиночных камер измученно замирал — и он оставался один, в слепой, вязущей черноте камеры. Странно, дневной свет

имеет свойства живого существа. С ним не чувствуешь себя одиноким.

Александр Васильевич благодарит Бога за частые допросы. Они не позволяют углубиться в себя, могуче подстегивая сознание и волю. Он уходит на допросы без внутреннего сопротивления. Там тепло, там голоса — это жизнь...

Александр Васильевич достаточно рисковал на своем веку — и в полярной экспедиции чего только не случилось; и в Порт-Артуре, где за более чем двести дней осады схоронил столько друзей, один моложе другого. И даже смотрел на себя как на временно живущего, своего рода покойника на побывке... Подсыпала риска гибели и революция, особенно в дни массовых расправ над офицерами: ревущие скопища людей, спаянных безнаказанностью, доведенных до иступления инстинктом общности — одна жажда боли, крови, мяса... Инстинкт общности — совершенная безнаказанность и безопасность. Сам можешь все — и ничто тебе не угрожает, ни за что не отвечаешь...

Господи, во что превращались люди!..

Господи, почему не отговорил офицеров сопровождения — ведь всех положат! Сначала... сначала его, а за ним и всех...

Анна?!

Первые слова тогда, в Харбине, после разлуки... Слабея в его руках, она прошептала:

— Твоя навеки — Анна...

У Александра Васильевича свой взгляд на историю. Не без пользы зачитывался Карлейлем¹. Он, Александр Колчак, убежден: вожди — это закваска любого бродительного процесса в обществе. Без вождей нет движения. Народ — это гигантский маховик истории; он способен смещать любой груз, но инерцию маховика нарушают только вожди: в этом их величие, созидательность или, наоборот, несчастье для людей.

И он принялся высчитывать все, что оправдывало его как вождя белого движения.

Мы не уступили бы большевикам и сумели бы увлечь народ, но мы выпали в эти события... именно выпали... и выпали, поглощенные больше собой, нежели задачами борьбы.

Мы приняли бой, имея перед собой качественно нового противника. В истории не было еще такой силы, как большевизм, — сплоченной в партию на железной дисциплине, исповедующей одну веру, готовой за нее на любые испытания и к тому же совершенно лишенной чувства национальности. Мы не успели и не успеваем перенять форму и существо, соответствующие этому новому уровню столкновения. Большевизм из качественно нового мира — нет, не лучшего,

¹ Карлейль, Томас (1795—1881) — английский историк и философ.

но этот мир исходит из совершенно новых принципов борьбы и ее организации — мы к этому не подготовлены. Ни четкой программы, ни организации, ни вождей у нас нет. Более того, мы катастрофически пестры в политических убеждениях и посему уязвимы.

Презрение к своей и чужой жизням, когда речь идет о борьбе, в сочетании с чудовищной энергией — это по-своему нравится Александру Васильевичу в большевизме.

Но это еврейство, эта потеря национального!..

Еврейство и еврейское составляют суть большевизма. Евреи оседлали исторический процесс (это в основном аграрный кризис) и придали ему небывалую остроту. Взяв власть, они колонизируют Россию, расчищают для себя место, подчиняют, истребляют русский народ...

Народ ослеплен страданиями мировой войны, земельная нужда порождает... теперь бы правильнее — породила... ненависть к власти... Все это евреи поставили себе на службу. У них не было земли на этом свете, они решили Россию... взять... колонизовать.

Они же уничтожают, смешивают с грязью все исконно русское, не оставляют ничего святого, это нашествие страшнее Батыева...

Адмирал, согласно своим убеждениям, твердо верит в то, что Россию, империю, царя и теперь белое движение привел к катастрофе именно всемирный еврейский заговор. Он об этом не раз заявлял на допросе, но ни в одном из официальных протоколов об этом — ни слова.

Работы Нилуса, Шмакова Александр Васильевич проработал, что называется, с карандашом. До революции он не придавал еврейскому вопросу ровно никакого значения. Крушение империи, Октябрьская революция, гибель царя — он по-новому взглянул на вещи. Когда он стал читать заново «Протоколы сионских мудрецов», он испытал потрясение. Он стал искать такого рода литературу и читать, читать...

Теперь ему ясно: это была не война народа с царем и верой...

Нет, идет порабощение народа, разгром культуры и прежде всего веры, которая соединяет народ, которая позволила ему не потерять своей самостоятельности во все триста лет монголо-татарского ига...

Они оседлали исторический процесс и въехали на нем в историю России, чтобы взорвать ее изнутри...

Русь — последний оплот православия. Именно православие еще не поддавалось еврейству. И теперь должны рухнуть православие, а затем и святая Русь. Русский народ будет сведен на положение быдла. И тогда землю, которой он владеет, которую отстоял в тысячелетней борьбе, можно будет взять без боя, просто взять и сделать землей обетованной для еврейства...

Вспомнил Сырового, Жаннена: предали! А Нокс, Уорд?! Сколько же раз эта самая великобританская политика ставила

подножку русским государственным интересам, делала все, дабы свести на нет великие победы русского оружия и таким образом не дать русскому народу занять подобающее место в Европе...

Что ж, он, Александр Колчак, наказан: нельзя пренебрегать историческим опытом. И повторил присказку этого гнома чекиста: из лохани с синей краской белой одежды не вынешь. Это уж точно...

Александр Васильевич выщупывает гильзочку в носовом платке. Исполню долг — и тогда убью себя. Не дам, не допущу насилия палача или палачей.

«Отдавать честь, — раздумывает Александр Васильевич над воинским ритуалом. — Если только вдуматься: какой глумливый смысл! Для выражения уважения, преданности требуется отдать честь — фу, что за мерзостный смысл!»

Он сжимает ладонями виски, потом медленно ведет ладони к затылку, сцепляет их там и опускается на лежанку, пряча подбородок в мех воротника. Взгляд стекленеет, он неподвижно смотрит в одну точку и шепчет:

— Уми красиво, Александр! На тебя как вождя из могил смотрят сотни тысяч твоих бойцов, не опозорь их — умри красиво!

Сколько же друзей, знакомых, как Корнилов, Иноземцев, Грачев... легло в землю! Сколько же!

Борис, помнится, пел тогда: «Вся Россия истерзана, слезы льются рекой. Эх, земля моя русская, мне не надо другой...»

Александр Васильевич слышит этот уже давно умерший голос: «Наше лето последнее, уж не свидеться нам. Поклонюсь я земле своей, поклонюсь я церквам...»

И встает, меряет камеру шагами.

Предали! Предали!..

С начала мировой войны Балтийский флот подчинялся командующему Шестой армией, которая была поставлена на оборону петроградского направления (и побережья Финского залива). Позже его переподчинили командованию Северного фронта, а с образованием в Могилевской ставке морского штаба Балтфлот оказался в подчинении Верховного главнокомандующего.

Черноморский флот все время находился в подчинении ставки.

Весь февраль—апрель 1916 г. немцы оказывали мощный нажим на русский Балтийский флот. Действиями «Гранд-Флита» англичане старались отвлечь немцев. Временные ослабления нажима со стороны германского флота русские использовали для восстановления минных полей. Без минных полей север европейской России оказывался беззащитным.

Благодаря действиям английского «Гранд-Флита» флот императорской России получал возможность действовать против германского побережья. Небольшой, но высокобоееспособный российский флот висел на фланге германского. Эта постоянная и реальная

угроза заставляла германский морской штаб вносить поправки в операции своего флота.

Неудача англичан в Ютландском сражении способствовала блокаде русского флота.

Англичане имели возможность разгромить германский флот Открытого моря и загнать его остатки в порты, блокировав Германию по всему побережью. Но этого не случилось, хотя один бортовой залп британцев вдвое превосходил по огневой мощи германский.

В Ютландском сражении потери составили: у англичан — 14 кораблей, 6800 человек убитых, у немцев — 11 кораблей, 3100 убитых.

Балтика оказалась под контролем врага России.

В первые дни 1920 г. товарищ Косухин с мандатом Особого отдела армии и группой верных помощников прошел через белые тылы. Имел он, кроме мандата, приказ вернуть народу золотой запас. Не щадить себя и вообще никого, но вернуть — таким было распоряжение Ленина.

Покуда отыскивал он подступы к сокровищам республики и через свой большевистский губком и эсеров организовывал давление на Жаннена, а после налаживал переговоры с командованием чеховойска; занялся он и иркутской губчека: помогал и наставлял Чудновского по всем разделам чекистской службы, так что действовал товарищ Семен не только по собственному огневому темпераменту, но и по инструкциям уполномоченного из центра, само собой дополняя и расцвечивая их выдумкой и инициативой.

И уж для насыщения чекистского зуда и природной лихости Косухин самолично арестовывал колчаковских генералов и сановников. Стремительная победа восстания в тылу Колчакии заперла кое-кого в городе — уловы что надо. Самых важных допрашивал лично — все выщупывал подходы к золоту, однако не забывал и об osobистском интересе: ставил вопрос за вопросом. Еще неизвестно, чем глянется завтра. Есть у Каппеля интерес к Иркутску. А тут Семенов, японцы, подполье...

А покудова бухает Шурка Косухин, пугает своим каторжным кашлем арестованных.

Присоветовали табачком полечить грудь. Прикуривает одну папироску от другой, а не пособляет. При всяком неподходящем случае прошибает клейкий леденящий пот. Враз мокреет, хоть все скидай с себя. Очень накладно это по зиме и кочевой жизни... А то пойдет башка кругом — того и гляди сядешь на пол: ноги мягчают, дрожат, ровно у кобелька в случке. Тут делов — не перерешать, а возись... мыслимый ли факт, хворать, ровно это мирное время и ты у Фроси хахалем...

Баньку бы, да полежать недельку на печи, грудь растирать, и не худо бы липового отвару. И лежать — греет под тулупом. Мать моя родная, это же такое счастье!

И квасок хлебать аль морс клюквенный...

Смирял свою чекистскую ярость уговорами: «Золото непременно возьмем, отыщем ходы-лазы — и возьмем!»

Да чтоб на родной земле и не взять свое, кровное — не бывать такому! В чью пользу обстановка? Восстания по городам аж до самого семеновского Забайкалья — это раз. Наша Пятая армия — два. Разгром Колчака, Деникина, Юденича, Миллера — три...

Вот один Каппель... А как белочехи с ним? А Семенов наскочит из Забайкалья? А контра заварит бузу в городе?..

Ну, Косухин, держись!..

И надолго погружался в расчеты. Надо переправлять и Правителя, и золото — аж чувствительность терял в раздумьях. Режь — и не заметит!..

И уж совсем срамно: удумал кутать грудь шарфом. Дошел мужик! В такие-то лета и при таком происхождении марать себя старорежимной сбруей. Чтоб меньше стыда было, Косухин кисточки бритвой отхватил, а сам шарф сажай примарал — и сразу природнился, своим в одеже стал.

И уж так худо — на баб перестал глядеть. Пройдет какая, зад покрупней и вихлястей, а никакого азарту, ровно там у тебя пустое место. Аж пугаться начал, кабы в мерина не превратиться. Для пробы примял одну тут, но чтоб удовольствие — нет, и не мечтай. Можно сказать, пробу себе провел — и точка...

Мотает этот самый шарф Косухин и шепчет:

— На хрена попу гармонь, когда есть кадило...

И в самом деле греет шарф.

Признанием заслуг Александра Васильевича явились боевые награды и назначение на должность командира Минной дивизии.

Командующий Балтийским флотом адмирал Эссен учел опыт кампании 1914 г. По его инициативе были сформированы два оперативных соединения — Эскадра и Минная оборона.

Эскадра состояла из двух бригад линейных кораблей и двух бригад крейсеров.

Минная оборона состояла из Минной дивизии, в которую вошли прежние Первая и Вторая минные дивизии, а также дивизии подводных лодок, отрядов заградителей и траления. За дивизией подводных лодок были закреплены и 5 английских подводных лодок. Они воевали с доблестью.

Основная задача Балтийского флота — не допустить форсирования неприятелем Центральной минно-артиллерийской позиции. Для решения ее предписывалось держать ударные силы флота — 4 новейших линкора и 2 старых, 6 крейсеров, дивизион эскадренных миноносцев и дивизион подводных лодок — в тылу позиции. Остальные корабли использовались для обороны Або-Аландского района. Отдельная самостоятельная задача Балтийского флота — поддержка и защита фланга сухопутной армии по побережью.

Александр Васильевич разделял принципиальные установки плана войны против Германии на Балтике, однако полагал существенным и обидным недостатком отказ от наступательной идеи адмирала Эссена.

Адмирал Эссен еще в 1908 г. предложил не ожидать развития событий за Центральной и Фланговой позициями, а осуществить активные минные постановки у вражеских баз и портов. Колчак был преданным сторонником Эссена, но Главный морской штаб отверг это необычное и дерзкое предложение из-за определенного риска. Да, но войны ведь не без риска...

Таким образом, план исходил из минной защиты русского побережья во всех самых важных пунктах и предусматривал создание Центральной позиции — обширных минных заграждений между островами Нарген и Макилот — и Фланговой позиции — не менее могучих заграждений в шхерном районе Порккала-Удд, примыкающем с севера к Центральной позиции. Данные позиции целиком перекрывали Финский залив. Оборонительный характер плана являлся следствием громадного превосходства германского флота. Ведь помимо прочего, Россия вынуждена была строить два флота (в отличие от Германии) — на Балтийском и Черном морях. Минными устройствами Центральной и Фланговой позиций, а также и всеми другими минными работами в море занимается и контр-адмирал Колчак. Он почти не сходит на берег. Он становится мозгом и нервом минной обороны русского побережья и активного минного наступления на путях судоходства противника. Одну за другой он получает высшие награды империи. О нем говорят как о гордости Российского флота.

1915 год складывался для русской армии горестно. Для прикрытия ее фланга прежде всего следовало сделать недоступным для вражеских кораблей Рижский залив. По настоянию Колчака весной 1915 г. начались постановки минных заграждений в Ирбенском проливе, а позже — и в самом заливе, кроме того, у Моонзунда и западных берегов островов Даго и Эзель. Защита Рижского залива, а значит, и фланга русской армии легла целиком на плечи Минной дивизии контр-адмирала Колчака.

В первых числах августа 1915 г. германское командование организует операцию прорыва в Рижский залив. Силы прорыва насчитывали 7 старых линейных кораблей, 24 эскадренных и простых миноносца, 1 минный заградитель, 14 тральщиков, 12 катеров-тральщиков и 2 прорывателя минных заграждений. Командовал силами прорыва вице-адмирал Э. Шмидт.

Для охраны эскадры Шмидта к Финскому заливу выдвигались соединения флота Открытого моря — 8 линейных кораблей, 3 линейных крейсера, 4 крейсера, 32 эскадренных миноносца и 13 тральщиков. Командовал силами прикрытия вице-адмирал Хиппер — будущий герой Ютландского сражения.

Преимущество врага представлялось подавляющим. Русский флот не смел и сунуться на помощь кораблям Минной обороны и

линкору «Слава», охранявшим Рижский залив. Казалось, вражеская армада раздавит их и безнаказанно обрушится на город, а затем и фланг русской армии.

Контр-адмирал Колчак решил, что выстоять можно. Оборона должна быть вязкой и многослойной, это достижимо при массивированной минной защите. Ему предстояло доказать это или погибнуть вместе со своими кораблями. Как капитуляция, так и затопление боевых кораблей были им решительно отвергнуты. Контр-адмирал был из тех командиров, которые разделяют риск вместе с подчиненными.

Еще до появления вражеских эскадр оказался наглухо заблокированным Ирбенский пролив. Минные преграды были также вывешены у южного входа в Моонзунд и в некоторых важных местах Рижского залива.

Первую попытку прорыва немцы предприняли 26 июля (8 августа). Потеряв два тральщика на минах, они прекратили траление фарватера. Тогда же подорвались и получили повреждения крейсер «Тэтис» и миноносец.

Русский линкор «Слава» строился последним в серии броненосцев типа «Бородино», потопленных в Цусимском сражении; однако с работами не управились, и он, к счастью, не попал в эскадру Рожественского.

Через восемь дней вице-адмирал Шмидт повторил попытку прорыва. Его линейные корабли, крейсера и эскадренные миноносцы прикрывали траление. При всем неравенстве сил линкор «Слава», канлодки «Сивуч» и «Кореец», а также эсминцы заставляли врага не раз прекращать работу и отходить в море.

Все же через два дня противник расчистил фарватер, и отряд прорыва устремился в Рижский залив. Русские корабли отступили в Моонзунд, под защиту новой полосы минных заграждений.

В свою флотскую службу (и потом, в годы смуты) Александр Васильевич держал в памяти наставления адмирала Макарова, которого почитал, особенно одно из них: «Как бы ни было нам тяжело в бою, мы никогда точно не знаем, как тяжело в это же время и противнику».

Вскоре на минах погиб еще один вражеский эскадренный миноносец. В свою очередь противнику удалось потопить канлодки «Сивуч» и «Кореец». Однако английская подводная лодка наносит опасное повреждение новейшему линейному крейсеру неприятеля «Мольтке» (силы прикрытия). Для немцев это, безусловно, потрясение.

Дальнейшее продвижение грозит новыми и гораздо более чувствительными потерями. Жертвы не оправдывают себя. Вице-адмирал Шмидт принимает решение вернуться в базу.

Таким образом, прорыв германского флота в Рижский залив не достиг цели — уничтожения русских морских сил и поддержки своих войск на суше. Противник потерял два эскадренных миноносца и три тральщика. Получили серьезные повреждения линейный и лег-

кий крейсера, эскадренный миноносец и тральщик. Русские лишились старых канлодок.

Колчак умелым руководством обороной прикрыл с севера Россию, не дал растерзать германскому флоту, который пытался расчистить дорогу своим армиям.

После этой операции германское командование отказалось от активных действий крупными силами флота и до конца кампании 1915 г. ограничивалось лишь демонстрациями. План боевых действий против Германии, разработанный за несколько лет до войны, блестяще оправдал себя.

Успех воодушевляет русских. С наступлением осени, в темные и длинные ночи, Минная дивизия приступает к серии новых минных постановок, но уже на путях сообщения врага — в средней и южной Балтике. На этих заграждениях вскоре затонули крейсер «Бремен», два эскадренных миноносца, два сторожевых корабля, оказались изуродованными крейсера «Данциг» и «Любек», а также эскадренный миноносец и различные торговые суда.

Итак, кампания 1915 г. характеризовалась дальнейшим возрастанием роли минного оружия. За год Минная дивизия Колчака выставила 6482 мины, из них 2330 — в активных заграждениях. Инициатива контр-адмирала Колчака, понимание им роли нового оружия в борьбе с превосходящими силами противника привели к тому, что русский флот выставил за год в два раза больше мин, чем немецкий.

Германские потери превосходили русские по числу боевых кораблей в 3,4 раза, торговых судов — в 5,2 раза. Историк Бескровный подводит итог минной войне.

«Постановку минных заграждений производили специальные суда. Во время войны подводный заградитель «Краб» ставил заграждения в Босфоре и у Варны. На его минах подорвался немецкий крейсер «Бреслау». В Балтийском море действовал отряд заградителей, в который входил миноносец «Новик». Всего во время войны на русских минах в Балтийском море подорвалось 3 немецких линкора, 7 крейсеров, в том числе броненосный, 20 миноносцев, 2 подводные лодки и более 20 тральщиков...»

Честь и слава русским морякам!

Не дано было знать Александру Васильевичу заявление кайзера о том, что «война на Балтийском море очень богата потерями без соответствующих успехов...».

«Нет-нет, ничто не было напрасно: ни борьба с немцами, ни сопротивление захвату России большевиками, — раздумывает Александр Васильевич. — Кто-то должен был возвысить голос против большевизма. Именно так: судьбе было угодно, чтобы этот жребий принял я, Александр Колчак. И только так: следовало вступить в борьбу с силами, которые пользуются самыми изощренными средствами для утверждения своего господства, даже ценой разрушения национального государства. Ведь в Ленине все же есть рус-

ская кровь, что же он делает! Как можно?! Холодно, расчетливо, беспринципно губить свой народ, культуру, веру. Жестокое ослепление целого народа, убийство души народа... Господи, дай силы России пройти и через это испытание! Господи, за Россию молю! Не надо мне жизни! Дай силы России подняться!..»

В омской ставке у Колчака бытовало мнение, что страной управляет Троцкий, а обосновывает произвол и насилие, делает страну послушной — Ленин. И оба гонят ее к государственному развалу.

Насилие преобразуют мораль, дух и самую суть общества, становится естественным и будничным. Рушится все, что русский народ созидал веками, берег...

— Умри красиво, Александр, — шепчет Александр Васильевич. — Если выход только в этом (другого нет): как ты умрешь — это имеет значение очень важного шага... умри достойно!

Что бы там ни болтал бывший председатель Политического Центра и какие бы документы ни совал, а без белочехов не видать ему ни Колчака, ни Пепеляева, ни всех прочих кровососов, неустанно и со знанием дела повторял председатель губчека, а пусть не заносится Федорóвич — шкура эсеровская, плачет по нему камера! И кто ж как не они, социалисты-революционеры, через свою гунявую Директорию продвинули адмирала к трону в Омске! А пресветлый атаман Семенов? Этот палач и садист еще в 1918 г. членствовал в партии Чернова. Нечего сказать, дружок по партии и убеждениям.

От надежных людей прослышан был товарищ Семен, что в Москве летом восемнадцатого Семенов был определен в боевую группу эсеров для убийства товарища Ленина. Характер у Семенова подходящий, аж из самого Забайкалья покликкали¹.

— Ленин учит нас: классовая борьба не признает третьего пути, — внушал Флору Федоровичу председатель губчека. — Или ты с белыми, или с нами. Третьего не дано.

Три Фэ только башкой крутил и втягивал воздух.

Товарищ Семен знал точно: выступать революционно мелкая буржуазия способна лишь до тех пор, пока она идет за пролетариатом, как это произошло, к примеру, в 1905—1907 гг. Когда же она пытается действовать самостоятельно, ее политика может быть только буржуазной, и никакой другой. Комуч, Директория, савинковщина — тому убедительнейшие доказательства...

Но за всех эсеров распорядилась Фанни (Ройтблат) Каплан. Вот это для Колчака оказалось действием вне схем. Как еврейка могла стрелять в своего? Ленин ведь творит их общее дело. Где, в чем тут ответ?..

¹ Чудновский ошибался: это был другой Семенов, всего лишь однофамилец атамана.

А Чудновский, как услышал, аж чуть не взвыл, всякий покой потерял. Фанни бы детишек рожать, с мужиками ночи на ласки разменивать, а она на вождя, с пистолетом! Ну свихнулась! И понятно бы убогая: ну из одних мослов, увечная или еще что там, ну на весь свет в злобе, — а то ведь присадистая. Вот истинный крест, складная бабенка, вовсе Господом не обиженная!

Знавал ее Семен Григорьевич — как же! Вместе баловались и «архиерейскими сливками» — чайком с ромом, душевнейший напиток! Не дуреешь, сам весь расправленный, башка в порядке, ну и... не вянет... наоборот, в любой момент... было бы куда. О подобных свойствах нескромного предмета народ выражается скупой и определенно: веселый.

Все так и есть — веселый, а тут еще «архиерейские сливки»! Дай Бог удержать себя!.. Местечко он знал подходящее — трактир «Сибирский кот». Одно название-то чего!.. И пожалуйста: тайные комнаты для утех — нет лучше местечка для конспиративных встреч. А Фанни цыганистая, цепкая, но что есть, то есть: из дамочек — так, с ходу, не прищемить. Цену себе знала...

И оттого что приглянулась, раззадорила и притом виду даже не подавала на его срамной росточек (а ежели по правде, по сути — при чем тут рост вообще?) — крепко взыграло у Чудновского (только с Гусаровой Лизкой так было — аж воздух синееет)... И выходит, нет у него настоящего чутья на врага! Но как эта стервь глазки жмурила, обминала чуткими губенками папироску! Какие слова о революции произносила!..

Да что ж это такое?!

От верных товарищей выведал товарищ Чудновский все о тех черных днях в Кремле.

Каплан была уверена, что стреляла не в вождя пролетариата, а в диктатора, похитившего свободу у народа, — на всех допросах об этом талдычила, так и не отказалась от своих слов. Еще говорила о пролетарской диктатуре как о чучеле свободы! Вот стервь!..

От Косухина прознал — приговор народа над его знакомой (жутко молвить: чуть ли не полюбовницей) привел в исполнение балтийский матрос Мальков¹. Жгуче завидовал Чудновский: не на его долю выпало счастье убрать мразь! Залечил бы он тогда и свою душевную рану!

За пролетарскую беспощадность и решительность и за умение добывать нужные сведения уважали товарища Семена не только иркутские большевики...

Пожалуй, во всей мемуарной литературе лишь у мистера Локкарта имеется пусть беглая, но зарисовка Каплан тех дней. Какая она, что с ней, избита ли, замучена?..

Ее привезли к арестованным английским дипломатам на Лубян-

¹ Фаина Ефимовна Каплан расстреляна 3 сентября 1918 г.

ку, 11 (в помещение московской ЧК), — вдруг хоть в чем-то даст знать о себе связь между ней и ими. Ну должен «заговор трех послов» находиться в связи с ней, не может быть иначе! Вот уж будет «криминал»!

Этот портрет Каплан уникален, не сыщешь другой.

«В шесть утра в комнату ввели женщину. Она была одета в черное платье. Черные волосы, неподвижно устремленные глаза, обведенные черными кругами. Бесцветное лицо с ярко выраженными еврейскими чертами было непривлекательно. Ей могло быть от 20 до 35 лет. Мы догадались, что эта была Каплан. Несомненно, большевики надеялись, что она подаст нам какой-либо знак. Спокойствие ее было неестественно. Она подошла к окну и стала глядеть в него, облокотясь подбородком на руку. И так она оставалась без движения, не говоря ни слова, видимо покорившись судьбе, пока за ней не пришли часовые и не увели ее. Ее расстреляли прежде, чем она узнала об успехе или неудаче своей попытки изменить ход истории».

Всего принял в себя товарищ Ленин две эсеров-бабы пули. Одна поломала левую плечевую кость, другая продырявила верхушку левого легкого и застряла под кожей, в правой стороне шеи, — пальцем прощупывалась. Путь ее оказался диковинным. От легкого пуля рванула круто вверх, к шее, но позади пищевода, к счастью для всех большевиков и родственников, не зацепив сосуды и нервы.

В первую ночь пульс едва прощупывался. Дыхание было поверхностным и частым-частым. Левую плевральную полость снизу доверху залила кровь. Сердце поневоле отдавилось вправо. К левой руке не притронуться — задет лучевой нерв.

Положение отчаянное. Вся надежда на организм.

И было на что надеяться. Даже в те горячечные минуты бросилась в глаза профессору Розанову добротная и вовсе не книжно-интеллигентская скроенность великого вождя. Все выдавало энергичную натуру, богатую природными соками. Вовсе и не ошибался милейший Владимир Александрович Поссе: «небольшого роста, коренастый, жилистый, с быстрыми уверенными жестами» — он мог сойти за смышленного прасола, промышленяющего скупкой у крестьян скота, шерсти или льна. Да такому мужчине Бог велел в женщин влюбляться, славить жизнь да радоваться деткам...

Очень опасались врачи за легкое и кровоизлияние в плевру. Однако, на удивление светилам медицины, температура почти сразу пришла в норму и уже не беспокоила раненого. На десятерых вложила природа запаса жизни в Ленина.

Водителю и всем, кто привез Владимира Ильича, досталось: зачем позволили раненому подняться на третий этаж?

Ленин всех отстранил и сам поднялся, без чьей-либо помощи, по ступенькам, маханул к себе на третий этаж!..

Эта бравада (при ране в легком) и обернулась столь обильным натеком крови в плевру: дышать затруднительно, вывезет ли сердце? Одно-то легкое из работы, по существу, выключено, да еще и сердце придавлено. Это ж какое дополнительное усложнение последствий выстрелов...

В сталинско-бериевские времена водителя и всех, кто с ним находился, тут же шлепнули бы за халатность при исполнении служебных обязанностей и вообще ротозейство. Оформили бы это, само собой, по-другому, скажем как вредительство и службу в английской разведке. Ну целая бригада на содержании Интеллидженс Сервис.

Лишь на третьи сутки раненый перемог напор смерти: пульс стал полнее, кровоизлияние в плевру приглохло, а главное — раны не дали гноя. Не воспалился и костный мозг в плечевой кости.

Следил за больным и выхаживал его буржуазный терапевт Н. Н. Мамонов, хотя к тому времени какой уж там буржуазный, тянулся перед любым партийным чином...

Всякая опасность отпала на седьмые сутки. 6 сентября (разумеется, все того же года) стране объявили, что Ленин вне опасности. Через два месяца кости срослись идеально — без укорочений и с восстановлением функций (слава Богу, это происходило не в районной больнице или ЦИТО¹). Кровоизлияние в плевре рассосалось, работоспособность восстановилась. В ноябре восемнадцатого вождь уже работал без ограничений. Не запамятовали? Именно в этом ноябре Колчак учинит переворот в Омске. А причина всей московской кутерьмы с врачами и бюллетенями — Каплан — уже более двух месяцев кормила червей в кремлевской земле — да, именно там она покоится, вернее, то, что от нее осталось.

Такая вот история.

Каплан взаправду была «истреблена» Павлом Дмитриевичем Мальковым. Уверяю, это не промашка в стиле, это только стремление возможно ближе передать дух событий.

Поэт Демьян Бедный за заслуги в классово-изящной словесности был удостоен «жилплощадью» в Кремле (лапотная Русь таки распевала его частушки). Слов нет, в Кремле и сохранней, и сытней, и дровишки подвозят березовые — нет нужды лаяться из-за каждой вязанки: суй в печь сколь душе угодно (таким запомнил Демьяна Бедного Шаляпин, навестивший баловня муз в кремлевской квартире).

И не без расчета эта забота. Гляди, в благодарность и новыми частушками двинет поэт советскую власть в массы (и двигал, да еще как!). Тут важно каждый вершок пространства отвоевывать у пара-

¹ Центральный институт травматологии и ортопедии. Насмотрелся я там, когда лежал с подпиленным позвоночником.

зитурующих классов: что в душе, что на суше и на море. Классовые бои и столкновения, но уже в литературе и через литературу — это Ленин вдолбит пишущей братии (и чека тут в помощниках): и заскрежещет... не то зубами, не то перьями.

У меня в библиотеке хранится поэма Демьяна Бедного¹ с автографом — привет из тех дней: там пророком ходил Ленин, каждое слово впору чеканить медалью, народы глаз с него не спускали, выше отца-матери! Божище!

Демьян Бедный, несмотря на нестерпимо голодный быт, радовал ответственных партийцев двумя подбородками и тугим животом навыкат и вообще задушевно-свойским нравом. Пришелец из того хищного антивремени рассказывал мне, кутаясь в кофту и покашливая в платок — помаленьку догорал в ознобах лагерного туберкулеза. Сам проворно-махонький — ну былиночка, — а глаза ясные, серые, с этакой пронизывающей зоркостью. Двужильный был, ему бы на диване под пледом, а он раненым волком по Москве: искал, находил и читал десятки книг. Сводил сотни записей — все добивался понимания того, что случилось. А я взять в толк не мог, как вынес Иван Васильевич (так его звали) то, отчего я околел бы в первые же недели. Да что там недели — часы! А ведь вынес, а сам с ноготок (говор окающий).

Так вот, кутаясь в кофту и покашливая в платок, рассказывал мне Иван Васильевич, как столкнулся из-за места в поезде — срочно надо в Москву, а нет вершочка свободного места: состав битком —

¹ См.: Б е д н ы й Д е м ь я н, Диво дивное и другие сказки. Пг., 1916.

Рукой поэта на обратной стороне титула четко, красиво выписано: «Сестре своей сестры. 19.IV.16. Е. А. П.».

Е. А. П. — родовое имя Демьяна Бедного: Ефим Алексеевич Придворов (1883—1945). Как видим, ненадолго хватило Ефима Алексеевича. А ведь до смерти Маяковского почти официально числился первым красным поэтом России. И никто сие не оспаривал.

На задней стороне обложки книги крупно напечатано:

«Все заказы, письма, рукописи и пр. по делам склада и издательства «Жизнь и знание» просят адресовать... Владимиру Дмитриевичу Бонч-Бруевичу, Петроград, Фонтанка, д. 38, кв. 19».

Да-да, там обитал будущий управделами Совнаркома и преданный доноситель ВЧК-МГБ: писал и Ягоде, и Ежову, и Берии. А ведь в партии состоял с 1896 г. — таких насчитывалось-то несколько десятков. За народ и справедливость пошел с Лениным...

Да, та самая квартира. Отсюда в Швейцарию окольными путями летели к вождю секретные документы брата-генерала о боевых делах. Напряженной жизнью жил Владимир Дмитриевич.

Это верно: царя ненавидели прежде всего образованные слои русского общества, самая что ни на есть интеллигентнейшая часть.

Странная это пришлепка к народу — интеллигенция. Ненавидела царя — все сделала (аж посинела), дабы помочь ему добраться до Ипатьевского особнячка. Новая власть — а она и ее не приняла. Так и легла поперек дороги.

И вечно ей все не так. И к Богу зовет, а сама не верит.

аж хруст в костях и вша на всех общая. Имелся, правда, пустой классный вагон с занавесочками, но им распоряжался революционный поэт Демьян Бедный. Так что, почитай, наркомовский вагон — туды и не суйся. Иван Васильевич был одним из первых комсомольцев Самары, из сирот. И махонький-то — от недокорма, по людскому милосердию жил и не помер.

Ваня и принялся ломиться к Бедному в дверь, ломится и советит:

— Какой же ты бедный?! Ты толстобрюхий буржуй, в тебе ни на грош трудовой сознательности! А ну пусти!.. Что ж ты, мать твою, молчишь?! Тебя к стенке пора, контра недобитая!

После они благополучно помирились. Как шутил Иван Васильевич, «на платформе признания советской власти и диктатуры пролетариата». Их знакомство переросло в дружбу, когда бывший самарский комсомолец «возглавил» один из степных губкомов, а после и в наркомы возвысился, даже Сталин на доклады вызывал. Как после строил догадки Иван Васильевич — прицеливался: стóит дальше двигать или пустить на удобрения.

Легендарный срок одолел этот тщедушный сирота. Поначалу чекисты крушили ему кости (нет, не в литературном, а прямом смысле — руку сломали, пальцы, перебили стопу), урки топили башкой в параше с нечистотами (аж рвало потом неделю) — а не признается, гад! Вел дело некто... Чирков. За пытки и «дела» Героя Советского Союза огреб. И все едино: не признался ни в чем Иван Васильевич. И война с Гитлером отшумела, и тридцать миллионов легли в землю, а с ними — еще несколько миллионов эзков и просто голодных крестьян по деревням и поселкам, и сам Придворов преставился, а Иван Васильевич все кочевал из лагеря в лагерь... А потом освободили! Иван Васильевич отлежался — и за работу. Снял-таки Золотую Звезду с генерала Чиркова. Аж все невозможные инстанции прожег ненавистью к мучителю — и добился... за всех старался. Чтобы Героя получить... это ж сколько народу надо было сгубить! И многим палачам еще испортил кровь этот махонький человек с глубинно-серыми глазами. Далеко из впадин глядели. Питливые и беспощадные в одно и то же время, но больше с огромной обидой за обман и надругательства. А ну-ка, вороти жизнь?! Что ж вы там расписали в Женеве? Ну за что?!

...В тот достопамятный сентябрьский вечер 3 сентября Демьян Бедный, находясь на своей законной кремлевской жилплощади, услышал перегазовку сразу нескольких моторов. Природная сторожкость и избыток сил, даваемый хоть и не жирным, но постоянным наркомовским пайком, вытолкнули его на двор — точнее, на мелко-ровную кремлевскую брусчатку. Не плутая, двинул на рокот. Вскорости приметил, а уж поближе и узнал Пашу Малькова, пожал руку и спросил, глядя на грузовики:

— Уже переезжаем?

И даже не догадался, сколь близко оказался к истине. Переезжали и впрямь, но только одна... Каплан. В другой мир, от которого

поэт и все жизнелюбивые граждане держатся подальше из самых последних сил, даже когда данных сил не имеется, пусть даже самых нутряных — ну нет вообще!

Каплан?!

Поэт из революционных, свой — «братишечка». Мальков и дал разъяснения. Наружность боевая: бескозырка на брови, под бушлатом кольт, тельник даже по сумеркам полосы чертит. Тут Демьян Бедный и узрел окончательно Каплан. Она!! Ишь сгорбилась, сучонка!.. И на вирши мысль, сама рифму ищет. Поэт!

А на ней и лица нет — серая маска. Сама безгласная, в ноги себе смотрит. Только иногда голову вскинет, вздохнет и опять, опять под ноги смотрит. А тощая — одни кости! Чует, падла: кранты ей, — однако не пищит, фасон выдерживает. Ждет, одним словом. А может, и не знает, что под «машины» расстреливают, оттого такая спокойная?.. Ну-ну...

Тут надо объяснить: вопрос поэта об отъезде не являлся праздным. А вдруг уносить ноги? Контра с востока в нескольких сотнях верст, может, чуток дальше. Обстановка — не прозевать общий отъезд. Имел место такой разговор. Не исключала партия эвакуацию и отступление...

А тут шоферня и поддала предельные обороты, хотя команды не было. Верно, прежде договорились, а может, усвоили порядок. Чай, не на первой операции. С Дзержинским не заскучаешь. Вон и латыши! Свои, интернационал!

Партийный стаж у Павла Дмитриевича Малькова — с 1904 г., это, я вам скажу, не хрен собачий! Это — убеждение, это уже готовность за партию на все, это значит за бога — Ленин, а тут... Каплан!..

Двигатели ревут, аж воронье небо застит, кресты соборов не различишь. А Паша этак ловко, быстро и сноровисто пальнул... В затылок, само собой. Каплан села и потом бочком на землю, ровно куль. Паша шагнул и для верности еще — меж лопаток. А Каплан и не дернулась. Враз жизнь утекла, на конвульсии и духа не осталось. Все,дохлая!

Паша машет бескозыркой. И грузовик за грузовиком смолкли... А на кой ляд моторами Владимира Ильича беспокоить? Он тут, чай, не за версту — совсем рядышком за жизнь борется — все эта... подлая тварь! Сами шофера и не лезут из-за баранок: народ, видать, привычный к работе.

А тишина! Одни вороны и галдят — так то в небе, а здесь тишина. Охрана Пашей предупреждена — ни один охранник на выстрел не явился. В комендантах ведь Павел Дмитриевич Мальков. Его слово — закон. Сам Мундыч на равных беседует: вроде подчиненный и не подчиненный: при Ленине матрос. У вождя на каждого сотрудника память. Без разрешения и не тронь. Вмиг звонок...

Однако самое «поэтическое» еще впереди. Паша кивнул — один из латышей к нему. Вдвоем и поволокли. Быстрее бы! Само собой, сторонятся крови. А крови-то и не шибко, будто загустела и не

текла вовсе в жилах у Каплан. Но и то верно: подгадал Мальков, стояла она на краешке, где вместо брусчатки газон — ну лопухи по колено. Помахать лопаткой — и ни тебе следов. Чистая польза для растений.

Грузовики стоят, и шоферня — каждый на своем месте. Сразу видать, каждую ночь заняты. Имеют понятие.

А уж и ночь, ну еще немножко — и внепрогляд.

Паша укромное местечко еще до этого присмотрел. Уверенно шагают (скорее всего, за Иваном Великим, где скат к Москве-реке). Волосы у Каплан по траве метут. Отрастила патлы.

Ничего не спрашивая, к ним и присоединился поэт (да какой это поэт — кузнец всеобщего счастья, такой же пролетарий... только пера): пособлял тащить или нет — история умалчивает. Для всех троих эта эсерка была гадиной, нечистью. Паша по ходу пояснил: контрреволюционерку надобно без промедления сжечь. На Мундыча не ссылался, но, видно, тот дал «вводную». Не мог не опастаться председатель ВЧК (так сказать, прародитель Берии, Андропова, Крючкова) враждебных выступлений при известии о казни Каплан, тем паче на месте погребения или сожжения. Надо, чтоб никто не прознал. Секретная операция! А ее?.. Ее чтоб вообще не осталось — ну не было такой. Требовалась для партии дематериализация этой чрезвычайно вредной террористки. На вождя с браунингом!

Крыли ее, надо полагать, и Паша, и шофер почему зря, по-балтийски. Сапог аж сам задирался — пнуть бы!..

Жечь так жечь (в восемнадцатом году палили непрерывно: сперва царева брата и синодальную комиссию, после сына царя с «фрейлиной» — сверхогнеопасный выдался год). Шофер без всякой команды подрулил грузовик — в аккурат по травке. Скатали бочку с соляркой — латыши подсобили. Озаботились еще до операции: должна эта сучка распасться на угли. И всей компанией взялись за огонь: солярка — ведро за ведром. Польшает, падла! Солярка вонючая — и не унюхаешь жареного мяса. Горит огонь сам по себе. Сперва одежда сгорела. Лежит как есть голая. Тут же волосы в разных местах запалились, а после и сама чернеть стала. А сажи!.. Да за Ильича и вообще революционный люд их всех без разбору на угли! Через очистительное пламя берет разгон революция...

Пуще ярится костер. Видно его из Замоскворечья, а никто не догадывается, что к чему. Далече сигналит. Сентябрьская ночь темна.

У пролетарского поэта нервы не пушкинские — такие дела... Сознает поэт Придворов: почетное это задание, а не просто солярка и дохлая тетка. Ворочают ее лопатой, чтоб ровно со всех сторон прогорала, и дивятся: до чего легкая! И мяса не было, одни мослы. И тужиться не приходится, сама перевертывается. А тоже — на вождя с браунингом!

И материли — аж Иван Великий выше стал, в самые ночные облака уперся. Там совсем близко к звездам.

Эх, не было Семена Григорьевича Чудновского. Большая отлепилась бы от него душевная боль и вина — проморгал врага, слюни распустил!.. А ну, Сема, еще ведрок! Эх, если бы!..

Вряд ли Каплан спалили до углей. Это слишком долго, а раз долго — уже несекретно. Поди, так и предупреждал Свердлов. Чтоб не светить чересчур — надо проворней, а как? Она же, курва, не из дерева. Сколько ни лей солярки, а покуда не высушит — не берет жар. Увезти? В кузов эту обгорелую куклу? Да перемажет там! И вопрос: где копать яму по ночи? Дело секретное, никто не должен знать: приказ революции! И объявлять не надо — сами понимают. В общем, испеклась тетя. Пора.

Посему, надо полагать, прирыли то, что осталось от Каплан, в Кремле. Там она и лежит, сердешная, совсем недалеко от своей мавзолейной жертвы: больше ей деться некуда. Там она — и не секрет это нынче...

А кто тут жертва — еще вопрос...

И Ленина помнят люди, и Каплан не забыли.

Ленин был социал-демократом крайнего толка, Каплан — правой социалисткой-революционеркой. Разные ветви философско-политической системы — результат научного осознания действительности. И выходит, не террор, а наука и соединила их в одно (помните, как каждая из сторон еще в Женеве присваивала себе право на единоличное толкование марксизма?). А террор — величина абсолютная. Ему без разницы, в какую сторону действовать: влево или вправо. Против своих — тоже не противоречит сущности их миропонимания. Для них — вне жизни все, кто с ними не согласен. Террор тут как тут: и разом всё и всех приводит к соответствию. Великая уравнительная система.

В воспоминаниях «От Москвы до Берлина в 1920 году» Р. Донской пишет (автор воспоминаний — профессор медицины):

«...Мне предстояло уехать из Москвы месяца на полтора, и перед отъездом я зашел в Лефортовский военный госпиталь, с которым у меня остались связи после войны. Это было через несколько дней после покушения на Ленина. Там во дворе анатомического театра я увидел разостланный огромный брезент, из-под которого торчала пара мертвых ног в носках.

— У вас опять подвал затопило, что трупы не убраны? — спросил я служителя Григория, с которым мы были приятелями еще с войны (1914—1918 гг. — Ю. В.).

Тот вместо ответа отбросил брезент, и я увидел 24 трупа с раздробленными черепами. Все лежали в одном белье, в разнообразных позах, в два ряда, голова к голове. Черепа их напоминали разбитые спелые арбузы, а из широких отверстий с развороченными краями вываливались обезображенные мозги и обломки костей. Я не мог не узнать всесокрушающего действия выстрела из винтовки в упор. Большинству стреляли в висок, некоторым в лоб.

— В первый раз привезли? — спросил я Григория.

— В первый. Предупредили, что сегодня ночью привезут еще сорок...

На другой день после посещения госпиталя я был по делу о помещении лаборатории... Нужного врача я застал у телефона. Насколько я понял, разговор шел о том, чтобы казненных перестали возить для погребения в больницы.

— А много к вам доставляют? — спросил я.

— Полными грузовиками...

— И во все больницы привозят?

— В большинство...

Это было самое начало террора в ответ на покушение на Ленина. Профессор М., лечивший Ленина, говорил мне, что тот поразил его необычной силой воли и той стойкостью, с которой он выносил мучительные перевязки. М. смотрел на разыгрывающуюся в России трагедию из первых рядов партера. Я по своей специальности попал за кулисы и своими глазами видел, как Ленин справляется с теми, кто заставил его выносить эти перевязки. И он, очевидно, вошел во вкус. Весной 1919 года я послал одного из ассистентов за материалом в анатомический театр Яузской больницы, и он там нашел уже 80 трупов с раздробленными черепами. А в Москве в то время не было ни заговоров, ни волнений...

Летом 1920 года, вскоре после официальной отмены смертной казни, у доктора Н. расстреляли взрослого сына. Один из его товарищей, который был хорошо знаком с прозектором, пошел в анатомический театр разыскивать труп и увидел картину. Небольшой подвал был до потолка набит казненными, которые были сложены, как штабель дров...»

Само собой, к покушению на Ленина эти люди не имели отношения. Это был красный террор, месть. Убивали не за вину, а за социальное происхождение или убеждения.

И всех раздевали перед убийством: зачем же пропадать добру...

И это ведь наблюдения по нескольким больницам, а заполняли могги всех. Дзержинский свое дело знал.

Кровь Ленина свята.

Красный террор, взявший начало как месть за покушение на Ленина, в одночасье поглотил сотни тысяч жизней. Самыми первыми жертвами оказались протоирей отец Иоанн (Восторгов), епископ Серафим, ксендз Лютостанский, царские министры Маклаков, Щегловитов, Хвостов, генерал Белецкий... Их расстреляли в Петровском парке в первые дни сентября восемнадцатого. Кстати, Локкерт видел, как увозили на казнь Щегловитова, Маклакова, Белецкого. Локкерт увидел их из окна тюремной комнатки в московской чека на Лубянке, 11.

Отец Иоанн — искусный оратор, в своих сочинениях доказывал враждебность социалистических построений идее христианства.

Их постреляли возле нынешнего стадиона «Динамо», а может быть, и на его месте — там тогда шумел старинный сановный парк, вековые липы которого встречаются и доньяне.

Да, неограниченный террор и есть диктатура пролетариата. Для светлого завтра расчищали землю...

Убийцы и мародеры...

Я стараюсь представить тех, кто стрелял в голову, представить палачей, еще их зовут катами. Здесь, в этих строках, мы их не назовем людьми.

Наверное, при столь массовых казнях, как в Куропатах, московских тюрьмах, Катюни, Харькове, да в каждом приметном российском городке, стрелял не один кат. Ведь они убивали в сутки от нескольких десятков до нескольких тысяч (в Сибири и на Севере, случалось, клали из пулеметов). Значит, стреляли несколько палачей, и стреляли пачками. Убил там 8—10 человек — и перекур, надо восстановить силу, выпасть из запарки. Стоит такой кат здесь же, сбоку, и палит папиросу, а в 5—7 шагах дырявит затылки другой — лейтенант или капитан. После «другого» сменит третий. И опять на бойню заступает первый...

И наверное, обильно брызжет кровь. Ведь стрелять надо вплотную — иначе не поймаешь затылок, а это уже необходимость добывать, а на сей счет, надо полагать, строгие инструкции: никаких криков приговоренных, никаких стонов. Стрельба стрельбой, а воплей и стонов не допускать. А жертвы в своем большинстве по неосознанности упирались, кричали; что сопротивлялись многие — это факт. Люди же чувствовали, а часто и видели, что с ними будет. В этом случае требовались помощники, и выстрел должен был производиться вплотную, поскольку жертва вырывалась, мешая прицелу.

Значит, кровь могла обрызгать. Значит, стреляли в спец-одежде, которую после отстирывали? Но это вряд ли... Всякая стирка спец-одежды предполагала расширение круга посвященных, а именно это строжайше исключалось. Похоже, надевали на себя непромокаемые передники от плеч до колен плюс нарукавники выше локтей. Глухо доходили сведения, что имелись такие из клеенки. Тогда ведь не знали, что такое нейлон, лавсан и т. п. В наличии были брезент, коленкор да клеенка.

И те, кто подводил жертвы, тоже, наверное, требовали перекура. И их тоже через 10—15 минут сменяли. Наверное, не менее трех помощников зараз требовалось на одного осужденного.

Наверное, при массовых «забоях» следовало палачей подкреплять морально, и их собирали, перед ними выступали высокие начальники, а также секретари партийных организаций — и говорили о необходимости уничтожения врагов, возмездии, классовой справедливости, защите наших женщин и детей от извергов-террористов, очистке страны от паразитов, шпионов, предателей...

Наверное, выдавали водку, папиросы, денежные премии, отправляли в однодневные дома отдыха — это забота Родины. И работа спорилась. И все это своего рода душевный наркоз, под которым бушевала беспощадная ярость к врагам. Она, разумеется, притуплялась, превращаясь в тупо-монотонное действие: борьба — сопротивление жертвы, крики, мат палачей, дробящие зубы и кости удары — и выстрел. Опять борьба, стоны, рыдания, сопротивление, мат — и выстрел. С тем и уходили люди из ослепительно прекрасного мира...

Наверное, очень хвалили убийц. Наверное, те, кто подводил, после просили дать возможность тоже пострелять — и давали. Очень хотелось вогнать пулю и увидеть, как мешком рушится «враг» в яму или на кучу опилок.

И наверное, похвалы очень воодушевляли.

И наверное, награждали, даже обязательно награждали — это уж непременно. Это важно психологически — и для палачей, и для начальства: высокой полезности дело творим. Известно, что убийца Бухарина огреб орден Красного Знамени (боевой!). Хотя какой он убийца, он — расстрельщик, а убийца — Сталин и «всепобеждающее ленинское учение»... и умопомрачение народа. Это не преувеличение: все оправдывали и все делали именем народа...

А как снимут передники да нарукавники, обрядятся в «воскресное» обмундирование — загляденье. Сапоги наближут, навинтят ордена — народные герои и есть. Толпа и впрямь завистливо косит...

По стране их набиралось на десятки тысяч — в общем, немного, но заключали они историческое дело десятков миллионов: бред идеологов, извращения миллионов партийных собраний, истерию советского искусства, рабский труд масс. И поэтому эти палачи не были отверженными и презренными, таким отребьем. Напротив, представляли собой они далеко выдвинутое вперед разящее оружие диктатуры пролетариата, воли трудящихся масс, самую заслуженную часть нового общества. Подлинные народные герои...

Вот во что оборачивается любовь к народу и справедливости. Это — и еще чтение самых умных книг в лучших библиотеках мира.

Выстрелы в подвалах, у рвов, среди снегов лагерей являлись завершением того непереносимого напора, который оказывала история на людей. Не Ленин, большевики, а история казнила народ. Веками она увеличивала давление на пространство, где должны были помещаться: власть и зло, — чтобы заместить их на справедливость и рай. От стихии восстаний, бунтов, кружков либералов, чтения сотен книг во имя одной, которая укажет направление движения и средства достижения цели, одновременно и выстрелов террористов, взрывов бомб, наконец, большевизма — вся эта идейная бойня по подвалам, у рвов и в лагерях оказалась завершением единого исторического процесса.

Возглавила данный процесс на последнем отрезке — самый главный в истории человечества — интеллигенция. Умственная работа — ее привилегия. Общество для того и породило интеллигенцию: знания, наука, техника, определение путей в будущее.

А под всей этой борьбой монолитом стоял народ. Это от него шла борьба за «лучшую долю». Интеллигенция как порождение народа лишь выражала его устремления, его волю. Она усиленно работала над приданием ему научной организованности, обоснованности и практической достижимости.

И все это являлось одним непрерывным историческим процессом, в основе которого лежала воля народа, а ежели быть точнее: **вечная война народа против государства. Во веки веков государство являлось ненавистным установлением для народа.**

Это, кстати, гениально уловили Бакунин и Кропоткин.

Это — содержание мировой истории: война народа против государства.

Заглянем лет на двадцать вперед — в весну 1940-го. Опыт по стрельбе в затылок такой накопился — и не охватишь воображением. Уже многие миллионы гнили в братских захоронениях — и все с дырами в черепе.

Чтобы представить, как это происходило, оживим одну из «забав» «женевской» уродины. «Забава» эта оказалась обставленной сотнями томов документов. По ним не столь уж сложно воссоздать картину убийств. Посему забежим в весну сорокового.

Убийства в Катыни история снабдила обильнейшими и подробнейшими документами: расследовали немецкие фашисты и поляки в 1943-м, расследовала советская сторона (та самая, что навалила эти трупы) в 1944-м, расследовали и в 90-е годы. Сотни томов, фотографии, отчетов судебных экспертов, даже свидетелей.

А вот расправы над советскими людьми не оставили документов, даже заваливающей бумажки с чьей-либо подписью или печатью. Ну не было казней! Десятки миллионов ушли в землю бесследно.

Только-только душновато-сырой и пахучий ветер с запада столпил снега, и только-только набухли почки, и трава молодо и радостно прикрыла подсыхающую землю, как на станцию Гнездовая прибыл первый спецпоезд: ровно в восемь утра с минутами. Так и записал в своем дневнике майор Адам Сольский. Для этих заключенных в форме польских офицеров отъезд из Козельского лагеря знаменует конец противозаконному задержанию. Ведь они добровольно сдались советским военным властям, спасаясь от германского нашествия. Они не военнопленные, так как Польша не воевала с Советским Союзом. Они всего лишь интернированные. Теперь их доставили сюда, чтобы после определенных формальностей выпустить наконец на волю. Они не сомневаются: их привезли

для освобождения! Больше не будет нудного и унижительного заточения в лагере: вши, холод, скверное питание, политбеседы и допросы.

Из пассажирских вагонов без объяснений их направляют в автобусы с белозакрашенными окнами: «Быстрее, быстрее, панове!» После езды по ухабистому проселку (автобусы кренило, швыряло, двигатели ревели, пробуксовывая) с еще не высохшими лужами и колдобинами (вода с силой хлещет в днище) автобусы замирают.

Воля!

Следует приказ — выходить! Это выкрикивают в дверь по-русски. Первое, что видят офицеры, — вековые сосны. Сознание дурманит лесной воздух. Ветер шумит в высоких гибких верхушках... как у них в Польше на побережье Балтики. Люди улыбались лесу, друг другу, перекидывались веселыми замечаниями.

Воля! Поздравляю, господа! Отдохнем, здесь санаторий... и во Францию или Англию... Война с германцами еще впереди!..

Их выстроили — и приказали сдать часы, перочинные ножи, пояса... Переводчик в светло-сером командирском плаще спокойным, улыбчивым басом сообщает об этом в мегафон. Ну и голосина! А зачем сдавать? Чушь какая-то! Вечно здесь фокусничают...

Поражает количество стражи — сотни и сотни красноармейцев с винтовками — никак не меньше двух-трех тысяч. Насупленные, поджатые, ни улыбки, ни простого любопытства. Они создали замкнутое пространство, в котором зажаты поляки. Зачем? Господа, как это понять? Они что, сдурели?..

Едва поляки успели сдать вещи — и уже со всех сторон по резкому милицейскому свистку их схватывают. «Что за черт?! А, сволочи!..» Им связывают за спиной руки — все столь молниеносно, никто не успевает ничего сообразить. Офицеры только наставили лбы и выкрикивают: «Что вы делаете? Как смеете? Ах, сволочи!..»

На каждого польского офицера — три-четыре красноармейца. Все заготовлено и отработано — это следует из их действий — заученно четких. Эти знают, как заломить руку, как накинуть веревку и как держать человека, чтоб он не мог отвечать. Это у них получается. Эти хваткие, быстрые люди в военном даже не запыхались, глаза у всех настороженно-сосредоточенные, как у рысей. Они позволяют себе даже бить их, иностранных подданных — людей в чинах и с заслугами. «Мерзавцы, негодяи!»

Связанных ударами, пинками выстроили гуськом (в затылок) и повели. С двух сторон плотно опекает стража — одни винтовки, ни лоскутка свободного пространства. Теперь видно: на каждого — три-четыре охранника. «Мать Божья, что это?»

По громкой, зычной команде «стой!» колонна остановилась. Хвост ее длинной змейкой пропадал в лесу, а начало уперлось в ров — 60 метров на 60. Поодаль, за кустами и деревьями, темноватые силуэты — это красноармейцы из первого (ближнего) оцепления.

Все отличие людей здесь от обычных военнослужащих — синие канты войск НКВД и фуражки с пятиконечными звездами, которые не полагались рядовым в пехоте и других родах войск, кроме пограничников. А здесь все до одного — с синими кантами. Чекисты.

Внизу, на дне рва, около двух десятков чекистов в фуражках с звездами. У двоих-троих винтовки с примкнутыми штыками, еще у двоих — пистолеты в руке. А шесть—восемь — вообще не вооружены, ждут пустые. И все в черных клеенчатых фартуках и нарукавниках. И все эти внизу — шибко разгоряченные, краснолицые, далеко пахнущие водкой, ворота гимнастеров расстегнуты. Но на двоих нет ни фартуков, ни нарукавников. Они в светло-серых форменных командирских плащах, на петлицах по два «кубаря». Значит, лейтенанты — лейтенанты НКВД. Через плечо — полевые командирские сумки, но не планшетки.

Ров отрыт за день или два: успел обветриться, песок сух и сыпуч. «Мать Божья, к чему все это?»

Колонну «по одному» из польских офицеров, упершуюся в ров, поразило оцепенение. То жуткое, что должно случиться, они отказываются принять сознанием, а те, что стоят сзади (метрах в пятидесяти и дальше), еще не видят рва за деревьями и стражей. Никто ничего не в состоянии уразуметь. Поляки ошалело крутят головами. Большими от потрясения глазами они впитывают невероятный, невозможный смысл этого утра. «Что за идиотизм?! Вы что здесь, с ума посходили?! Объясните, что происходит?..»

И объясняли: удар по лицу, еще, еще...

Первого в колонне «по одному» без промедления ухватили под руки. Их тут, «хватал»-чекистов, несколько десятков — и все тоже в черных клеенчатых фартуках до колен и нарукавниках до локтей. Один из них сноровисто заломил голову седому офицеру — назад, до нестерпимой боли, так что он подсел и, крикнув, отчаянно захрипел. Двое, что держали за руки, потащили его в ров. Четвертый из «хватал» шагал сзади, очевидно на всякий случай — страховка: то поддаст сапогом — седой офицер только гыхает в невольном выдохе, то начнет сзади подталкивать за шиворот: ишь, не идет старый козел — упирается! Ну, мать твою!.. Вперед!..

Спускались по деревянному настилу — загрохотали гулко, беспорядочно по доскам. Седого полковника (офицер оказался полковником) провели по песчаному дну — сапоги утопали в песке, посыпанном хвоей, ее беспечно накидал ветер. И завалили на колени, безжалостно выкручивая руки, так что он поневоле ткнулся лицом в песок, открыв затылок, вернее, нижнюю часть его. От боли перегнулся в талии (а тут на лагерных харчах шибко обозначилась талия, худ полковник и в боках, и с лица): на излом заводят руки в плечах.

Человек в фартуке и с пистолетом уверенно зашел со спины, вытянул руку — ствол почти уперся в затылок. И тут разнесся вопль, смертный ужас рвался из груди... Резко ударил выстрел — и наступила тишина, в которой нестерпимо громко прозвучала скороговорка палача — злорадная и отвратительная похабщина, издевка

над жертвой. Люди во рву подхватили труп и уложили в самый угол лицом вниз. А те, что спустились, торопливо пошли наверх. Навстречу им согнутым (лицом почти к земле) вели второго офицера. Так же дробно, гулко простучали сапоги по настилу. У этого на сером польском мундире два ордена, нашивки. Лицо там, у земли, мертвенно-бледное, искаженное, изо рта торчит носовой платок. Ему не хватает воздуха. Сквозь платок рвется не крик, а нечто булькающее, сдавленное. Но его держат столь цепко, так заламывают руки — он вынужден идти на согнутых ногах. И его ведут в тот угол, с которого началось заполнение рва.

И уже ведут генерала — его будут стрелять отдельно и похоронят в отдельной могиле. Высокий, лицо в маске презрения... вот губы... Губы дрожат, кривятся. Крик рвется, но нельзя, честь выше...

И тут офицеры постигли потусторонний смысл того, что с ними делают. Колонна взрывается движением. Люди воют, рвутся в стороны — уйти! За что?!

Но тот коридор, который создала охрана, прочнее стен каземата.

Из-за охраны (она с винтовками) в броске появляются новые красноармейцы, но без оружия — по преимуществу младшие командиры: на петлицах треугольнички. Тем, кто упрямо, несмотря ни на что, пытается прорваться через преграду из живых тел (охрану), чекисты нахлобучивают шинели на головы и сноровисто перевязывают вокруг шеи веревкой, а веревку крепят к скрученным за спину рукам. «А, шкуры офицерские!»¹

Офицеров пинают сапогами в пах, живот, глушат кулаками — куда придется. Поляки не могут отвечать (а как это со связанными руками?) — и на какое-то время подавлены. Его-то и используют для заматывания головы тем, кто выказывает непокорность. Есть и такие — кричат во всю грудь: звериный вопль-мольба на километр. Им рвут губы, волосы и затыкают рот тряпкой. Тут все продумано и учтено, характер действий выдает привычку к подобного рода занятию. Тех, кто что-то пытается сказать, спрашивает, тоже избивают и, если не смолкают, суют в рот тряпку. Офицеры выкрикивают проклятия, славят родную Польшу — надо сказать, здесь, в цепочке у могилы, цвет польской нации, ибо среди офицеров мало кадровых, в основном призванные из запаса: ученые, врачи, профессоры, историки, писатели — все с великой преданностью и обостренной любовью к своей истерзанной Родине. В столетиях истерзанной и затоптанной.

¹ В то время в Красной Армии существовала категория «командир», ведшая начало от революции, от ненависти к самому понятию «офицер».

«Товарищи офицеры» — это обращение было введено в оборот с начала 1943 г. вместе с появлением погон. А тогда «офицер» воплощал для советских людей классового врага, мировое зло, отребье.

Последние, кто видел офицеров, помнят, как они говорили о Польше, как клялись в верности ей и готовности страдать ради нее...

Избиение не прекращается. Тех, кто особенно неподатлив, долбят прикладами — крушат кости, ранят, увечат. «Молчать, шкуры!» Кровь, стоны несусветный мат. «Идти в затылок! Молчать! Молчать!»

Есть такие: беззвучно рыдают. А есть: мертвенно-бледные неподвижно смотрят в пространство перед собой. И вся цепочка подвигается, потому что впереди (они еще не видят рва) глухо (поскольку это в яме, внизу) хлопают выстрелы.

Палачи уже творят расправу двумя бригадами. Можно было бы и тремя, четырьмя, но это рискованно: вдруг пододьют руку при стрельбе. Случались несчастья, своих ранили (когда по соседству возились с упирившимся), а потом... кровь. Она яростным фонтаном брызжет из раны в черепе. И после, когда труп укладывают боком к предыдущей жертве, из затылка продолжает обильно изливаться густеющая жидкость. Уже нет жизни, чтоб толкать по сосудам горячую кровь. Сердце коченеет. Они так и стынут рядами, с затылками, заплывшими киселем крови, — все лицом вниз (все черепа имеют выходные отверстия в верхней части лба).

А там, наверху, где еще широко, вольготно проходит ветер и небо, очищаясь, глядит синим бездонным колодезцем, медленно, но непрерывно смещается цепочка из нескольких сот господ польских офицеров (будут расстреливать в один заход и больше тысячи). Они способны только стоять и переступать, но строго вперед.

И уже тихо.

Лишь натужное дыхание, иногда рыдания или хрип полузадушенных под шинелью или с тряпками во рту. У многих лица отекают опухолью, сочится кровь из ран. Мундиры порваны, испятнаны кровью и грязью.

«Идти в затылок! Молчать!..»

А тишину простегивают выстрелы. Там, в братской могиле, они глушат звонкой отрывистостью. И новый труп водружается вплотную к предыдущему. И из затылка, загустевая, вязко плывет кровь. Она застывает на воротнике мундира, мажет лицо, так что его порой и не углядишь.

Те, что лежат у стены, уже приостыли, а эти, которых подносят, еще разгоряченные, мяклые, по некоторым бегут судороги. И воздух не пахнет сосной. Удушливо разит мочой, рвотой и кисло — кровью. Самый назойливый запах — крови.

Тех, кто потерял сознание или задохнулся с кляпом во рту, свалакивают вниз и пристреливают так, между делом. К запаху крови примешиваются запахи пороха и табачного дыма. Палачи основательно взбадриваются табачком... ребята с синими кантами, гордость страны.

И матерятся. Это единственные звуки — сопение красноармейцев, волокущих польских офицеров, пистолетные злые хлопки и

брань палачей в фартуках — она не затихает ни на минуту. Разнузданное непотребство и глумление.

— Что, отъе..., ясновельможные паны! — орет один из палачей.

Фартук снизу доверху в коросте и полужидких натеках крови. Кровь даже на щеках. Она смахивает на коричневую краску, небрежно смазанную.

Иногда в дело вступают те, с винтовками и в фартуках. Есть такие — ну не могут смирить костоломные тиски «хватал», тряпки и побои: рвутся, не дают целиться. Таких берут штыком — раз, другой... — и всех-то забот. Случается, жертва еще шевелится после пули — тогда добивают второй. Редко, примерно один человек из ста оказывался пораженным в шею¹. Четырех из ста добивали второй пулей...

От пистолета знай отпрыгивают, кувыркаясь, гильзочки. Гильзы германской марки «геко», калибр оружия — 7,65 мм.

И мерно, невозмутимо работают укладчики трупов в фартуках и нарукавниках. После каждого седьмого выстрела палач отходит, берет у чекиста с портфелем папиросу, со вкусом затягивается, поглядывает на часы, сколько уже в работе. Ого!..

А эти двое, в светло-серых плащах (каждый закреплен за своим стрелком-палачом), открывают сумки и достают запасные обоймы. Палачи ловко (аж заглядишься!) вбивают их в рукоять пистолета. Ай да умельцы!.. Там, в сумках, у лейтенантов запасное оружие и сменные обоймы. Сменное оружие?.. А на всякий случай! Стрелок не возьмет в руки «инструмент» незнакомой конструкции. Нарушается бездумная механичность работы. Стрелки привычны, верны одной системе. Это их привилегия...

Этот, что меняет обойму, определенно на взводе. Запарился. Коротко, сердито бросил — ему скорее стакан с водой, но особой — на треть с водкой. Хлопнул — и расплылся в улыбке. Морда, даром что весна, загорелая, словно из бронзы вычеканена. Герой!

А вот второму стрелку ничего не надо. Нет, водой освежается. Ну так это работа... А что до стрельбы... Да нравится ему класть людишек. Он этого не знает, но ему без разницы, кого класть: большевика, поляка, женщину, ребенка... Нравится валить человека. Трясется у ног, в штаны кладет, визжит, а он — за Бога. Нажал — и оборвалась ниточка жизни. Это удовольствие пережить надо...

А укладчики подхватывают труп. Далеко вниз свешивается башка. Кровь тонкой струйкой бежит со щеки, а то и с носа... Еще прохладно в лесу, парок от нее, эвон завиточки...

А этот, что разбавленной водки хватил и так ловко вогнал очередную обойму, сплевывает — на труп старается: классовая ненависть пережигает. Зубы белые. Глаза в постоянном прищуре. Мат его изощрен и напористо злобен — это еще и от хмеля. Когда не

¹ Это действительно высокий «профессионализм» — всегда в затылок.

пьет — стреляет методично и без всяких чувств, ровно автомат. Гвоздит, гвоздит...

Чекист-стрелок поглядывает на очередного поляка, ковыляющего по сходням, — его нарочно придержали, куда палач отвлекался на перезарядку обоймы и водку. Он передергивает затвор, сипло бормочет:

— Что, б..., ходить разучился? Так я тебе, мать твою!.. Сейчас пропуск дам. Побежишь, б..., к своему польскому Богу. А ну на колени, хрен сопатый!..

Когда дно рва устлало правильными рядами жертв, настил приподняли и уперли в трупы, дно-то теперь выше. После наваяли еще несколько рядов — и эшелон иссяк. Сверху спустилось с десяток красноармейцев с ведрами и пошли по трупам, старательно разбрасывая известь: хоть этим вложить лепту в общее нелегкое дело. Тут все с высокой сознательностью. А опора сапогам — и не выдумашь: из классовых врагов, душегубов. Поэтому не жмутся, не осторожничают. Твердо ступают чекисты. Трупы (воздух-то в груди сохраняется) нет-нет и охнут. А ребята смотрят наверх: слышали? — и улыбаются.

С этим составом покончено (суд истории), но пожалуй вскоре следующий, а за ними еще и еще. Начальство велит беречь место, не к чему поганить природу. Поэтому и ров будет зарыт только тогда, когда окажется заполненным, а сейчас подождут под открытым небом, для того и известь. Завтра опять стрелять.

Не обманывали рядовых чекистов. Раз за разом заполняли огромное захоронение сразу на две с половиной тысячи, а после и семь других — поменьше. Так и поступали: посыпали с хозяйственной заботливостью известью, ждали — и заполняли. Не дышать же вонью, хотя подпортиться успевали. Ну, в таком деле не без издержек.

Классовая борьба, заповеди Ленина требовали уничтожения кровососов. А на это народ поставил их, бойцов и командиров НКВД, то бишь чекистов. Здесь, во рву, идет защита пролетариата страны и мира! Мы не рабы, рабы не мы!..

Там, в Катynie, под Смоленском, весной и летом 1943 г. немцы обнаружили огромные братские могилы и советских людей: тысячи и тысячи скелетов. По ним эксперты и определили, когда были заложены первые массовые захоронения имени Владимира Ильича Ленина — его заповедями жила страна. Сыскали и рвы-могилы совсем «свежие»: убитые еще не успели толком подгнить. Точно в канун войны положили. Монолитность выковывали. По стране подобных захоронений на миллионы дырявых черепов. Густо спеклась народная жизнь с кровью. И жертвы и палачи — все один народ.

Убийцам в Катynie было от 20 до 35 лет, не больше. Для пожилых изуверов такая работа на потоке была не по силам. Следовательно, палачи (а это и красноармейцы из оцепления, и те «хваталы») могли жить еще и через 40 и 50 лет, то есть до нача-

ла и середины 80-х годов. И, безусловно, жили, да еще как!

И вся наша история — это жизнь с палачами и под палачами. Теми, кто стрелял и кто после миллионами сидел в кабинетах Лубянки (степенные мужи: погоны — в звездах, грудь — в орденах), здания ЦК КПСС на Старой площади, читал лекции в университетах по основам марксизма-ленинизма, директорствовал в совхозах и на заводах, словом, командовал...

Польских офицеров истребляли в Катыни, а также под сельцом Медное (Тверская область) и в помещении областного управления НКВД в Харькове, а для захоронения везли в 6-й квартал лесопарковой зоны города — всего 15 131 человек (из Козельского, Осташковского и Старобельского лагерей)¹.

В Катыни и под Харьковом на захоронения положили два метра земли и угнездили деревья. Сейчас это настоящий лес. Позже разбили дачи обкомов партии и КГБ.

Чекисты, коммунисты, сознательные граждане и патриоты... да, люди в фартуках и нарукавниках...

Попытки оправдать Сталина, а то и вовсе обелить ссылками на его якобы психическую ущербность несостоятельны. За ними почти обнаженное стремление сохранить самое главное — ленинизм. Пусть Сталин был маньяк, параноик, но ленинизм — шапки долой! — непогрешим и свят.

В очерке об Иване Грозном наш знаменитый историк Василий Ключевский (1841—1911) как бы предупреждает из вековой дали:

«Описанные свойства царя Ивана сами по себе могли бы послужить только любопытным материалом для психолога, скорее для психиатра, скажут иные: ведь так легко нравственную распушенность, особенно на историческом расстоянии, признать за душевную болезнь и под этим предлогом освободить память мнимобольных от исторической ответственности».

Не освободим от ответственности. Прах миллионов жертв не позволяет. Будущее России не позволяет...

Предсовнаркома Ульянов-Ленин.

Генералиссимус Сталин (Джугашвили).

Генеральный секретарь ЦК КПСС маршал Советского Союза Брежнев.

Генеральный секретарь ЦК КПСС президент СССР Горбачев.

К 1948 г. население России должно было подняться к 343,9 млн. человек.

Перепись 1950 г. насчитала... 178 млн.!

¹ Предположительно лишь одна партия польских офицеров (партия с одного спецпоезда) отказалась повиноваться и была поголовно повязана. В остальных партиях связывали только одну пятую их состава.

Выходит, 165 млн. душ дематериализовались?.. Учтем потери войны. Да, упала рождаемость. А вот как с нуждой, недоедом и террором?

Нет, не отводите глаз, дайте ответ: где остальные десятки миллионов?..

Ленин, Сталин и РКП(б)-КПСС с их могучим выростом ВЧК-КГБ могут дать ответ, с адресом не ошибетесь.

Вот такая у нас статистика. И ничего, как поголоднее, просимся назад, в эти самые ленинские дали. Авось обминуется.

За убийство Александра Второго были преданы казни пять человек — непосредственные исполнители и организаторы. Больше ни один человек не был лишен жизни.

За принадлежность к каким-то социальным группам в России никогда никого не брали в заложники и не убивали вплоть до Октября 1917 г.

Современник революции Айхенвальд потрясен возобновлением цензуры вскоре после захвата власти большевиками, да какой — злобной, невежественной!

«Засилье над разумом и словом, всяческая разруха и опозорение и опошление революции текут из того мутного источника, который называется большевизмом. Термин этот надо понимать распространительно: не только определенную партию обнимает он собою, но и целое течение мысли, чувства и дела.

...В насильственное молчание погружена Россия...

Надо спасать слово. Надо охранять культуру...

...Самозванные цензоры, себе приписывающие непогрешимость, являются тюремщиками духа. Кто вообще смеет быть цензором, кто возьмет на себя право судить? Неправедные судьи, непрошенные соглядатаи, безграмотные указчики, карлики в панцире великана задерживают жизнь и останавливают ее рост. Истина — только в движении... Где слово сжато в тиски, туда не приходит правда...»

Эти слова легли на бумагу в 1918 г. — на самой заре «красного» душения независимой мысли.

Подлее преступления быть не могло, и совершили его не белые, а все те же эсеры! И присутствовала, следовательно, в ранах и мучениях вождя доля и этих поганцев — Федорóвича, их Политического Центра и вообще всей иркутской политической шушеры — и левой и правой демократий, от анархистов до правых эсеров, мать их всех вдоль и поперек без всякой пощады!

Обидно было председателю губчека за свою партию. После Николая Второго им бы, большевикам, в самый раз и ссадить Верховного Правителя России, а тут эти вертуны — эсеры, бревно им

под ноги! Момент, разумеется, такой — вот и пофартило. Любому в Сибири ясно — выдача эта неспроста: продали дружки Верховного, а сами за моря и к себе домой.

— Стали бы вы клянчить, — раззадоривал Чудновский бывшего председателя Политического Центра, — ежели б сами могли сдюжить или взять; да ни в жизнь! Тут же бы повязали! Но и то верно, не повел бы себя Правитель так, не полез бы в иркутскую петлю, перевешивай на вас сила! Мозга-то у адмирала: вы всем Центром признали бы — и все едино, путались бы без соображения! Какие у вас заслуги, в чем? Постучали вы к Сыровому, поклонились — это факт. А поскольку не имели в достатке силы, зависели от господ белочехов. И счастье, что они на вашу просьбу не наплевали.

Интересовался бывший председатель Политического Центра допросами адмирала, а он, Чудновский, взял да и перестал показывать: пусть соображает, чья нынче власть.

Флор Федорович и отрезал Чудновскому — ну как ножом по стеклу:

— История проверяет теорию, товарищ Семен, история! И в итоге она — только она — дает свое чтение: непредвзятое чтение и толкование фактов. И все мы можем оказаться жалкими. Пусть история размотает хотя бы четверть века, полвека...

Шибко разило от Федоровича, так и подмывало урезонить: интеллигент... а лакаешь, чисто сапожник! Однако сдержался Чудновский. Не тот момент, точнее, не созрел еще момент. Капель вон на носу, да тут еще «буфер», вроде сотрудничать придется. В общем, не созрел момент.

А что до выдачи адмирала: белочехи выдали, факт! Толпы глазели на станциях, а брать-то не брали: недоставало силенок на адмирала, то есть вообще сила насчитывалась и в штыках, и саблях, но уступала белочехской и вообще... интервентской.

У японцев вон 75 тыс. штыков. По данной причине и «буфер» — не разгуляешься, мать их!

И выдали адмирала одноглазый хрен Сыровы с Жанненом: не представлял Колчак уже ценности — ну круглый банкрот, обуза и есть. Самый расчет откупиться Правителем и обеспечить спокойный отход к Владивостоку, а белочехам это еще и вполне приличное обеление. Сколько грехов чохом на списание!

Эти белочехи — да половину России макнули в кровь! И что за фарт при этом! Колчаковская казна отчисляла Сыровому золото в слитках — сотни килограммов: плата за участие в наведении порядков. И переправлял эти слитки Сыровы в Прагу. И этому очень радовались Масарик с Бенешем.

А теперь и все золото при легионе, и Правителя больше нет — ну принципиальная и заслуженная победа демократии!..

Не удастся Шурке Косухину и всей советской власти вернуть казну. Стоит эшелон с золотом под чешскими флагами...

Имеется у товарища Чудновского материала на легион, пополняет он его неустанно: и опросами, и фотографиями, и трофейными документами. И берет куда дальше: интересуется, кто такие Масарик с Бенешем. Прикапывают от них в Сибирь разные упорноуполномоченные — и в результате утекает законное русское золото. Ну не может смириться Чудновский: казнят русских, в землю кладут тысячами — и еще тягают золото! И от этого имел он на чешских и словацких вождей особое дело и особый надзор: не спускал глаз как с врагов мировой революционной подвижки.

Томаш Гарриг Масарик проходит у него в делах контрреволюционером высшей пробы — ну наравне с Правителем! Осуждал Масарик Октябрьскую революцию: документы губчека устанавливали данный факт неоспоримо. До 1917 г. мечтал Масарик о самостоятельной Чехословакии с кем-то из Романовых на престоле — похлеще Колчака монархист!

Документами может доказать Чудновский, цифирью: первым виновником чехословацкого мятежа является старый лис Масарик. Все тут прошло через него, и последнее слово было и остается за ним.

На средства от Масарика и неугомонно-пробивной Савинков сколачивал свой «Союз защиты родины и свободы». Само собой, союзники тоже кое-что подбросили. Знает это Чудновский определенно, из бумаг.

Раздражали товарища Чудновского и звания чехословацкого президента, скажем доктор философии.

Имеет к философиям председатель губчека законные подозрения: тоже знал определенно, что мировая философия отравляла жизнь и деятельность Марксу, а теперь и товарищу Ленину. Будь его, Чудновского, воля, присовокупил бы он самых вредных философов, и вообще словоблудов, к адмиралу — и провел бы через одно следствие! Во всяком случае, Каутского, Бернштейна, Струве и Мартова тут же, по получении, вывел бы в расход! И сам бы послал пули именем вождя мирового пролетариата товарища Ленина! Зримо, до бледности лиц, умоляющего шепота и рывка тел под пулями, представляет этот святой миг товарищ Семен.

Выпил он 21 января на радостях и гордостях: не каждый день Правитель попадает к тебе. Даже повело — вроде кто тихонечко пустил стены врагов: и тронулись вокруг, но не так чтобы шибко, вполне владел собой Чудновский, хотя по его росту стакан первача, что иному бутылка.

Словом, разгавелся товарищ Чудновский по случаю победы ревокома над гунявым Политическим Центром. И тот заслуженный стакан самогона зажевал ломтем черного. Нет, единственная награда, которую он признает, — это окончательная победа мировой революции.

Таким образом, на звание «доктор философии» имеется у товарища Семена своя законная классовая ненависть. Зато другое звание чехословацкого президента — «профессор» — веселит его и вну-

шает чувство превосходства: получить «профессора» за исследование вопроса о самоубийствах! В представлении товарища Чудновского стреляться (или топиться, вешаться) допустимо лишь в одном случае: коли обложен врагами и в обойме последняя пуля. Стало быть, задача изучения самоубийств должна в первую очередь сводиться к тому, куда и как пустить все налично-предыдущие пули. Ответ тут однозначен, чего писать, разоряться: пули эти должны разить тех, кто довел тебя до невозможности жить. Иначе любое самоубийство — дешевка и подлость. А все же, положи руку на сердце, он считает пана Масарика старым хрычом и в будущем, по причине преклонного, 70-летнего, возраста, для мировой революции не шибко опасным.

И знать не знал и ведать не ведал товарищ Чудновский, что в 1910 г. этот самый Масарик навестил Льва Николаевича Толстого, о котором писал Ленин как о «зеркале русской революции», а уж одно это — подтверждение качества человека, от вождя печать, как бы разрешение и в дальнейшем с почетом следовать по русской истории.

И вот Толстой звал этого самого контрреволюционера совсем мирно и обыденно Фомой Осиповичем. Ну разжижение мозгов у сиятельного графа, как-никак последний год жизненного срока смазывал.

Твердо знает товарищ Чудновский, можно сказать непоколебимо (опять-таки по Ленину), что вырождается, загнивает, а потому и предается разврату и слабоумию весь помещичье-империалистический класс России. Ну отсекай надо это гнилое мясо!

Но если бы товарищ Семен мог предположить, на что ушли два дня бесед Толстого с Фомой Осиповичем!

Вчистую проговорили о самоубийствах. Ведь слывет Масарик в данном вопросе знатоком европейского масштаба.

После сих бесед Фома Осипович говорил, что Лев Николаевич пантеист, а он — нет; Лев Николаевич не признает бессмертия личности за гробом, а он — признает; Лев Николаевич считает, что грехи — от тела, а он — от духа; у Льва Николаевича — аскетизм, а у него — нет аскетизма.

Софья Андреевна даже несколько обиделась на Фому Осиповича: «Ничего не внес интересного нам, очень уж молчалив. А Лев Николаевич охотно с ним общался».

Причины самоубийств жгуче интересны Толстому. Он прочитывает основной труд Масарика и... разочаровывается. Вся эта философия — «молодая, незрелая и слишком ученая. Молод для этого. Но основная мысль та же, что и моя: ...причина самоубийств — отсутствие религиозности...».

По воспоминаниям В. Ф. Булгакова, Фома Осипович спал, завернувшись с головой в одеяло. И от этого секретарь Толстого был лишен возможности полюбоваться на Фому Осиповича. Чувствовал

Владимир Федорович, не простой гость почивает в яснополянском доме, а самый что ни на есть высокопревосходительный. Иначе зачем это потянуло его поглазеть на спящего чеха?..

И нам не дано поглазеть на Фому Осиповича. Посему мы отказываемся судить, была ли это привычка спать с головой под одеялом — или так спалось будущему первому президенту Чехословацкой Республики лишь в имении у графа, да и какое имеет значение? Важно истинное поведение Фомы Осиповича, его, так сказать, сибирские взгляды и устремления. А они ничего общего не имели с откровениями в Ясной Поляне. И за тысячи верст не пахло от пана президента непротивленчеством.

К Бенешу товарищ Чудновский лишь примеривался и важных бумаг к делу не приобшач, кроме нескольких. Он имеет точные данные о том, что этот самый Бенеш как министр иностранных дел Чехословацкой Республики поддержал план Савинкова о создании на территории Чехословакии армии из бывших русских военнопленных. Эта армия должна была ударить с запада — навстречу белочешскому легиону, когда тот двинулся бы на прорыв через Москву. Масштабно мыслил Эдуард Бенеш. В первую мировую войну в Европе скопилось до 4 млн. русских пленных¹.

Как добыл эти данные Чудновский, так и снарядил своего человека в Москву; это уже было давно, едва ли не при Директории. Товарищ Семен считает, именно за это его и двинули на ответственный пост председателя губернской Чрезвычайной Комиссии по борьбе с саботажем и контрреволюцией. Губком тогда одобрил его действия, в первую голову — Ширямов.

Но откуда ведать ему, Чудновскому, что именно Бенеш, а не старый хрыч Масарик задаст работы его, Чудновского, ведомству, однако уже во всесоюзном масштабе. И тут окажутся поназамешанными такие фигуры! «Женевское» чудище до сих пор испытывает гордость и удовлетворение, и это при одном непрестанно сытом заглоте людишек на целые миллионы! А все из-за того, что посетила фашистского начальника службы безопасности Гейдриха фантазия: а ну как им, из Берлина, попользоваться «женевским» устройством, так сказать, поарендовать? Ну не совсем так, но, в общем, заставить послужить знаменитую ленинскую штуковину на благо великогерманского рейха. И чем серьезнее обмозговывал, тем заманчивей это рисовалось.

¹ Необходимо принимать во внимание массовые сдачи в плен (без каких-либо попыток к сопротивлению) вскоре после Февраля 1917-го как следствие разложенческой пропаганды большевиков. Армия превращалась в сброд, опасный прежде всего для самих русских. Немцы брали в плен огромные партии в сотни тысяч солдат. «Запломбированный» вагон недаром прогрохотал через Германию.

И разложил он перед Гитлером и Гиммлером свои профессиональные выкладки:

«Нам представляется возможность вмешаться во внутренние дела Советского Союза... Мы сфабрикуем документы, которые будут утверждать, что маршал Тухачевский вел с нами переговоры об организации заговора против Сталина: наши специалисты способны изготовить документы, которые будут выглядеть как подлинные. Существуют также пути, по которым эти подделки могут попасть к Сталину. Если произойдет чистка, она коснется не только Тухачевского. В результате Красная Армия будет ослаблена. Любой удар по Тухачевскому усилит наши военные позиции...»

Остро учитывал Гейдрих особенности «женевского» быта в Советском Союзе и характер большевистского вождя.

Ни Гитлер, ни Гиммлер ни на мгновение не засомневались — накопили глубокие знания в машинериях подобного рода. Да и Сталин как главный «женевский» бухгалтер был им понятен: упражняли и шлифовали свое мастерство в одном направлении — истреблении, мучительстве и оглушении людей. Как говорил Ленин, политика начинается там, где счет людям ведется на миллионы. Само собой, тогда эффект ощутим по всем направлениям. Нет ни одного уголка, чтоб тихо-мирно, с паутинкой. Везде свежие следы, и сколько! Верно, от «женевской» твари...

Очень пришлось фюреру научная обоснованность плана.

Служба безопасности, то есть Гейдрих, Беренс, Науджокс, втайне от шефа военной разведки Канариса и даже гестапо — своих надоедливых конкурентов по людоедским делам — принялись за изготовление доказательств измены маршала Тухачевского.

Сфабриковали письмо: Тухачевский и его единомышленники будто бы договариваются избавиться от гражданских руководителей страны, а власть намереваются пригребастать себе. Уж точный расчет: как до власти — головы полетят без счета и разбора, поскольку это святое — твоя личная власть, а тут еще при всенародной любви... Да многожды святая она — власть над народом!

Словом, скопировал подпись Тухачевского Франц Пуцигиз из Целендорфа: лучший специалист по подложным паспортам, заслуженный член национал-социалистической партии. В «женевских» сферах таким цены нет — ну самые почтенные граждане, гордость народа, бессребреники...

И не поленились, постарались выдержать литературный стиль Тухачевского — ну распрекрасный документик! Для «женевского» скоса мозгов Сталина — в самый раз! С какого-либо другого боку этот идейный марксист на людей и смотреть не мог, не получалось, даже если очень старался. И жену («мать своих детей») все по той же причине сжил со свету: ну лучше, раскованней, когда вообще без ограничений!..

А тут и штемпеля подлинные («Абвер»), и грифы «Совершенно секретно», «Конфиденциально». И уж совсем полный задых — натуральная подпись Гитлера! «Женевская» прорва и без подписей на

пищеварение не жалуется, а тут этакое уважение. Ну не может она аж с хмуро-мутного восемнадцатого; ну хоть тресни, а в развал машина, коли без крови и мучительств, ну сохнет утроба. Природа такова: ни на мгновение нельзя, чтобы прислабить руку на горле народа. Ну не виновата машина. Удумали и составили ее такой. Ну не ломать же. Пусть уж люди под ее «щелк» ужимаются...

Приписка Гитлера на фальшивке требовала организовать слежку за генералами вермахта, якобы связанными с Тухачевским. В общем, сумели растолстить документ до пятнадцати страниц. Ну настоящий — какие сомнения!

Разными путями припутешествовал документ к иркутско-пражскому Бенешу. Тот незамедлительно переправил его Сталину: надо же остановить фашизм!

А вот как излагает так называемое дело Тухачевского руководитель зарубежной разведки ведомства Гимmlера (службы СС) генерал Вальтер Шелленберг в своих воспоминаниях (М., «Прометей», 1991, с. 43—45):

«Гейдрих получил от проживавшего в Париже белогвардейского генерала, некоего Скоблина, сообщение о том, что советский генерал Тухачевский во взаимодействии с германским генеральным штабом планирует свержение Сталина. Правда, Скоблин не смог представить документальных доказательств участия германского генералитета в плане переворота...

Гейдрих усмотрел в его сообщении столь ценную информацию, что счел целесообразным принять фиктивное обвинение командования германского вермахта, поскольку использование этого материала позволило бы приостановить растущую угрозу со стороны Красной Армии, превосходящей по своей мощи германскую армию... В любом случае необходимо было учитывать возможность того, что Скоблин передал нам планы переворота, вынашиваемые якобы Тухачевским, только по поручению Сталина...

Тем временем информация Скоблина была передана Гитлеру. Он стал теперь перед трудной проблемой, которую необходимо было решить. Если бы он высказался в пользу Тухачевского, советской власти, может быть, пришел бы конец, однако неудача вовлекла бы Германию в преждевременную войну. С другой стороны, разоблачение Тухачевского только укрепило бы власть Сталина.

Гитлер решил вопрос не в пользу Тухачевского. Что его побудило принять такое решение, осталось неизвестным ни Гейдриху, ни мне. Вероятно, он считал, что ослабление Красной Армии в результате «децимации»¹ советского военного командования на определенное время обеспечит его тыл в борьбе с Западом.

¹ Наказание (казнь) каждого десятого в случае ненахождения виновного.

В соответствии со строгим распоряжением Гитлера дело Тухачевского надлежало держать в тайне от немецкого командования, чтобы заранее не предупредить маршала о грозящей ему опасности. В силу этого должна была и впредь поддерживаться версия о тайных связях Тухачевского с командованием вермахта; его как предателя необходимо было выдать Сталину. Поскольку не существовало письменных доказательств таких тайных сношений в целях заговора, по приказу Гитлера (а не Гейдриха) были произведены налеты на архив вермахта и на служебное помещение военной разведки... На самом деле, были обнаружены кое-какие подлинные документы о сотрудничестве немецкого вермахта с Красной Армией¹. Чтобы замести следы ночного вторжения, на месте взлома зажгли бумагу, а когда команды покинули здание, в целях дезинформации была дана пожарная тревога.

Теперь полученный материал следовало надлежащим образом обработать. Для этого не потребовалось производить грубых фальсификаций, как это утверждали позже; достаточно было лишь ликвидировать «пробелы» в беспорядочно собранных воедино документах. Уже через четыре дня Гиммлер смог предъявить Гитлеру объемистую кипу материалов. После тщательного изучения усовершенствованный таким образом «материал о Тухачевском» следовало передать чехословацкому генеральному штабу, поддерживавшему тесные связи с советским партийным руководством. Однако позже Гейдрих избрал еще более надежный путь. Один из его наиболее доверенных людей, штандартенфюрер СС Б., был послан в Прагу, чтобы там установить контакты с одним из близких друзей тогдашнего президента Чехословакии Бенеша. Опираясь на полученную информацию, Бенеш написал личное письмо Сталину. Вскоре после этого через президента Бенеша пришел ответ из России с предложением связаться с одним из сотрудников русского посольства в Берлине. Так мы и сделали. Сотрудник посольства тотчас же вылетел в Москву и возвратился с доверенным лицом Сталина, снабженным специальными документами, подписанными шефом ГПУ Ежовым. Ко всеобщему изумлению, Сталин предложил деньги за материалы о «заговоре». Ни Гитлер, ни Гиммлер, ни Гейдрих не рассчитывали на вознаграждение. Гейдрих потребовал три миллиона золотых рублей — чтобы, как он считал, сохранить «лицо» перед русскими. По мере получения материалов он бегло просматривал их, и специальный эмиссар Сталина выплачивал установленную сумму. Это было в середине мая 1937 года.

4 июня Тухачевский после неудачной попытки самоубийства был арестован и против него по личному приказу Сталина был начат

¹ Это сотрудничество имело секретный характер, но строго законный, по межгосударственному соглашению вскоре после Раппало. По Версальскому мирному договору 1919 г. Германия не могла развивать свои вооружения. Советский Союз брался ей в этом помогать.

закрытый процесс. Как сообщило ТАСС, Тухачевский и остальные подсудимые во всем сознались. Через несколько часов после оглашения приговора состоялась казнь. Расстрелом командовал по приказу Сталина маршал Блюхер, впоследствии сам павший жертвой очередной чистки.

Часть «иудиных денег» я приказал пустить под нож, после того как несколько немецких агентов были арестованы ГПУ, когда они расплачивались этими купюрами. Сталин произвел выплату крупными банкнотами, все номера которых были зарегистрированы ГПУ.

Дело Тухачевского явилось первым нелегальным прологом будущего альянса Сталина с Гитлером, который после подписания договора о ненападении 23 августа 1939 года стал событием мирового значения».

Вождя настораживала определенная самостоятельность Тухачевского, как и вообще высшего военного руководства. В России должно иметь материальную сущность лишь его, Сталина, слово. Посему высший командный состав Красной Армии надлежит незамедлительно заменить на покорных исполнителей — отныне только исполнителей.

С «иудиными деньгами» в Берлин поспешно приезжал замнаркома НКВД Заковский. Он передавал деньги и получал части готовых документов — несколько таких челночных поездок. Причем Москва торопила Берлин.

Ежов принял заказ вождя. Скоблин вошел в контакт с Берлином. Гитлер распорядился уважить Сталина. Соответствующие бумаги были подтасованы и вручены Заковскому. Тот и заплатил за них, не «поскупился».

Два диктатора поняли друг друга.

В печально кровавом и, безусловно, инспирированном деле Тухачевского всплывает имя доблестного белого генерала Скоблина. Это он донес в Берлин о заговоре «красных генералов во главе с Тухачевским» против Сталина — типичнейшая провокация. Надо знать Россию, дух большевизма, настроение народа и еще многое-многое другое, дабы без всяких колебаний отвергнуть эти домыслы, которые имели смысл лишь для двух «одухотворенных» личностей Европы: Сталина и Гитлера — этих вурдалаков современной истории.

Как только Скоблин проиграл свои ноты — грянул европейский «оркестр», настроенный красными и коричневыми фашистами в Москве и Берлине. Все прочее было лишь делом техники и величайшей безнравственности и кровожадности, проистекающей из ненастного властолюбия Сталина-Чижикова.

До чего ж точен этот дуэт фамилий: Сталин и Чижиков!

Сталин — это кровавая решимость шагать по трупам, уничтожение огнем и мечом всего несогласного, а главное — независимой мысли.

Чижигов — это воплощение мещанства, обывательской ограниченности, узколобое восприятие мира — крохотный дворик провинциала, абсолютная культурная замкнутость...

Это самая гремучая смесь: обыватель и палач, ибо она начинена уверенностью в своей непогрешимости, единственности и несокрушимой правоте в толковании мира, совершенной законченности этого толкования. Шпана и хулиган становится вдруг хозяином огромного народа...

Определенная самостоятельность крупных красных военачальников, хотя она пуще смахивала на худо замаскированное лакейство¹, раздражала и вызывала опасения Сталина — он даже чьей-то тени рядом не мог терпеть. Для него вся эта история с так называемым предательством Тухачевского и группы генералов являлась рождественским подарком (хотя подарок он готовил, это тоже факт), но не Деда Мороза, а Сатаны, ибо он поклонялся лишь крови и Сатане, а народы захлебывались слезами и плевками (из Кремля), иступленно орали здравицы в честь вождя и тащили, тащили его, истово веруя, что этим служат коммунизму.

Из-под толстых усов
Солнце России: Сталин!

В. Набоков

Очаровательный портрет главного берлинского «винта» в деле несчастного Тухачевского рисует эсэсовский шпик и генерал и наш давний знакомый Вальтер Шелленберг — добро пожаловать опять на наши страницы. Будьте спокойны, герр генерал, к вашим показаниям мы отнесемся с вниманием, но не с уважением и пониманием. И обижаться вам не резон: вы состояли на службе у одного из самых кровавых режимов в истории человечества, не получаете с уважением. Вы и так чудом избегли расстрела. Всем вашим коллегам не повезло: или задохнулись в петле, или пали от пули возмездия — вам удалось вывернуться...

Итак, Шелленберг о Гейдрихе:

«Чем ближе я узнавал этого человека, тем больше он казался

¹ Иначе в России сверхсложно достичь чего-либо. Надо лакействовать, причем роли не играет: царская ли это Россия, большевистская или демократическая...

Без лакейства, угодливости, выражения покорности в России никто и никогда не становился «фигурой». Наоборот, о любом, кто оказался наверху, можно с уверенностью молвить, что угодничал и протер от лазания на карачках не одну пару порток.

мне похожим на хищного зверя — всегда настороже, всегда чующий опасность, не доверяющий никому и ничему. К тому же им владело ненасытное честолюбие знать больше, чем другие, стремление всюду быть господином положения. Этой цели он подчинил все. Он полагался только на свой незаурядный интеллект и свой хищный инстинкт, диктовавший ему самые непредвиденные решения и от которого постоянно можно было ожидать беды. Чувство дружбы было ему совершенно чуждо...»

Да, Михаилом Николаевичем Тухачевским занялись «достойные» люди, светочи человечества — определенно (помните первый советский календарь?).

Вот такие гейдрихи, только с русскими фамилиями, заполнили все служебно-деловое пространство России. Ею, бедной, занимались ничуть не хуже, чем Михаилом Николаевичем. Выставить черепа загубленных — пожалуй, этакий тусклый блеск разольется по всему пространству, и не только России. Этого отблеска (или сияния, если угодно) достанет на весь глобус в натуральную величину. Ни один палач никогда не рубил столько голов, сколько в России после семнадцатого года.

Господи, что же творили! Да как после этого не ополоуметь, не спиться, не очерстветь, не обезразличить ко всему? Какие стоны, слова, песни, проклятия, слезы и книги способны выразить пережитое, сор и гной в душах?..

Нет таких ни слов, ни песен, ни книг...

Одни черепа на колях тихонько постукивают по всему пространству — и не угадать за ними России. Щерятся глазницы — все нас пытаются пронять.

Ну, а мы, мы-то что понимаем — и поняли ли?..

Тихо-тихо побренькивают десятки миллионов черепов. Что-то силятся сказать, это их язык — другого у них нет...

Предложение Гитлера Бенешу подразумевало территориальную целостность Чехословакии при ее нейтралитете в случае войны Германии с Францией.

Да, не пощадили, перегрузили тогда утробу «женевского» чудища. Вычистили Тухачевского, Якира, Уборевича, Корка, Эйдемана, Фельдмана, Примакова, Путну, Блюхера, Егорова, Штерна... — все маршалы да бывшие начальники Генерального штаба, командармы, герои Гражданской и испанской войн, строители вооруженной мощи Республики Советов. Но и то правда: сами они не щадили сил, чистили и драили «женевский» механизм до совершенной легкости хода.

Было тогда за плечами маршала Тухачевского 44 зимы и лета, родом происходил из дворян. После юнкерского училища вышел в Семеновский полк. В мировую войну два года отсидел в крепости (за попытки побегов из плена), однако опять бежал, отмерил пешком едва ли не половину Германии... Между прочим, в крепости сидел с

де Голлем. Только де Голль стал гордостью Франции, знаменитым государственным деятелем, а Тухачевский после пыток и допросов — пристрелен в подвале Лубянки...

48 лет пал от «женевского» поцелуя маршал Блюхер. Был он самого простецкого происхождения — лапотного, выучился на слесаря, а в первую мировую войну в чине унтер-офицера был уволен в чистую за тяжестью ранения.

Более других повидала и наскребла душа маршала Егорова. Числились за ней в год казни 56 лет и зим. И прописанной она оказалась за сыном рабочего, после — грузчика и кузнеца; после одолела грамотность и стала почетно-офицерской, а после, срамно признаться, перекрестилась в актерскую. В первую мировую войну Егоров выказал редкую храбрость и после пяти тяжких ранений получил подполковничий чин. В ноябре 1917 г. на съезде офицеров и солдат в Штокмазгофе Егоров с трибуны назвал товарища Ленина авантюристом, посланцем немцев... речь его свелась к тому, чтобы солдаты не верили Ленину. Между прочим, сидел в зале и слушал подполковника Егорова будущий советский маршал Жуков. Так вдруг пересекаются пути.

В Гражданскую войну Егоров командовал красными войсками под Царицыном, партийную власть при нем (и надзор) представлял Сталин. Белыми войсками в этом районе командовал барон Врангель.

Егоров был расстрелян (все тот же подвал Лубянки — пуля в затылок) 23 февраля 1939 г.

А за ним без покаяния, безбожными легли в землю около половины всех командиров полков, почти все командиры бригад и дивизий, все командиры корпусов и командующие войсками военных округов, все члены военных советов и начальники политических управлений округов, большинство политработников корпусов, дивизий и бригад, около трети комиссаров полков, почти все преподаватели высших и средних военных учебных заведений и множество красных командиров всех родов войск и служб¹.

Славный вышел заглот у «женевской» машины — ну в самое светлое завтра! И какой подарок фюреру перед походом в Россию! Геней Сталина и это превозмог.

Беспечна на людишек Россия. Отряхнулась — и будто вообще ничего не было. Только погорбатея стала — и уже не спрячешь этого. Зато без увечья проскакивает под «щелк» «женевской» машины. Ну до невозможности одинаковая и монопольная!

Тогда товарищ Чудновский горячо переживал: нет у него в тюрьме ни Гайды, ни Сырового, ни усача Жаннена, ни Уорда с японскими генералами и тем более этого самого Масарика, кото-

¹ Около 50 тыс. человек.

рый, по слухам, околачивался в Москве еще до марта 1918 г.! Прояснил бы он этим господам, кто в Сибири хозяин!

И осадил председатель губчека бывшего председателя Политического Центра: а пусть не заносится! Ну в упор он не видит этих социалистов-революционеров.

Всячески досаждали эсеры фактом ареста Колчака — ну величайший ратный и революционный подвиг! Ежели бы не они, эсеры, не видать, мол, большевикам Правителя, поскольку союзники уважили именно их, социалистов-революционеров, как истинно демократическую власть.

Очень это злит товарища Чудновского, и не раз он срывался в нехорошие слова. Но в душе даже он не может не сознавать правоты Федорóвича. Не выходит Сибирь большевикам чистая, без поддержки и союза с эсерами и прочими группировками. И уже сообщили ему о порядке устройства Дальневосточной республики — это тоже задело Чудновского, хотя опять-таки сознает: нельзя преждевременно вводить диктатуру пролетариата и откручивать всем эсерам головы. В данных обстоятельствах нужна переходная форма государственности. Однако верил: такой час непременно грянет. Возьмет он тогда согласно диктатуре пролетариата всех эсеров и прочий «табак» за глотки, и все устроится, как в центральной и самой чистой республике — Московской.

А пока копит данные на белочехов: как жгли села, разрушали города артиллерийским огнем, стреляли рабочих и крестьян, грабили и присваивали народное добро, насиловали женщин и как самоубийчили на железных дорогах.

Лежит у него в столе любопытный документ семимесячной давности — от 8 июля 1919 г. И документ этот — постановление колчаковского Совета Министров о разрешении чехам и словакам за их заслуги в подавлении большевизма приобретать недвижимость в солнечном Туркестане и других землях. Никто из иностранцев подобной чести не удостаивался. Так и записано: «В воздаяние заслуг Чехо-Словацкого войска в борьбе за возрождение России...»

И не удержался товарищ Чудновский, показал документ самому главному из здешних эсеров — Федорóвичу. На что этот матерый социалист-революционер резонно заметил: не только Политическому Центру, но и ревкому не существовать, ежели бы не нынешняя белочешская демократичность; двинут господа белочехи — и дай Бог всем ноги!

Аж руки вывернул себе за спину председатель губчека: медлит диктатура пролетариата, ох, медлит!

Александр Васильевич все чаще замечает холод — это лихорадка, его знобит. Впрочем, какое это имеет значение? И все же находится столько в движении он не в состоянии.

Александр Васильевич присаживается и вытягивает ноги. Уже

больше по привычке, чем из любопытства, косится на «волчок»: так и есть, подглядывают.

Он просовывает руки меж колен и съезживается — вроде теплее. Он сидит и покачивается в такт мыслям.

Полковник Грачев погиб... в сентябре... Сколько же в земле знакомых и друзей! Нет, немцы столько не угробили — все свои, русские...

В осажденном Порт-Артуре Александр Васильевич командовал миноносцем и береговой батареей, когда флот оказался в ловушке. Выдавались недели, личный состав батареи менялся почти целиком. В ту пору он и свел знакомство с подручником Грачевым. Вместе были представлены к Золотому Оружию. Потом служили в Севастополе, полковник Грачев находился в его подчинении.

Сергей Федорович Грачев перешел линию фронта и был доставлен к нему в июле прошлого года. Он, Верховный Правитель России, возвращался тогда с фронта. Тело жадно вспоминает тепло того дня, тепло и надежность, крепость существования тех дней.

Александр Васильевич отлично помнит, как из-за бронированной двери резво шагнул худой до костлявости человек в солдатском обмундировании Бог весть какого срока носки, но заботливо подобранного нитками. Человек был наголо брит и без усов, а по щекам розовели свежие шрамы — загар не тронул их. Из-за худобы глаза казались крупными, блестящими, впрочем, в них отражалось неподдельное волнение. Полковник было вытянулся для рапорта, но Колчак обнял его. Адмирал ощутил судорогу горячего жилистого тела и задохнулся в приливе чувств.

— Трубчанинов, распорядитесь-ка насчет чая и... черт побери, это же праздник!

— Не только чаю попью, поем с удовольствием, — признался Сергей Федорович, краснея, и по привычке прищелкнул каблуками, но вместо лихого щелчка вылепился какой-то глухой, шаркающий звук. Адмирал невольно опустил взгляд — вместо сапог на ногах полковника топорицилась какая-то рвань, и все же она была вычищена и сияла молодым юнкерским блеском.

— Тогда щи, кашу с мясом и... — Александр Васильевич понижающе улыбнулся.

— Слушаюсь, ваше высокопревосходительство! — выпалил Трубчанинов, озаряясь счастливой улыбкой.

И это получилось так по-мальчишески задорно, что все они засмеялись.

Они больше не вымолвили ни слова и перешли в салон; там за накрытым столом в переменчивом солнечном блеске (небо пятнали белые кучевые облака, ветер врвался в амбразуры бронепоезда, трепал скатерть, волосы, стопку газет) Сергей Федорович коротко доложил о переходе линии фронта, недоразумениях в расположении частей генерала Каппеля: полковника избили и чуть не пустили в расход. Пуще всего постарался какой-то штабс-капитан — бил до потери сознания.

— Крепкие ребята, — признался Сергей Федорович, с интересом поглядывая на карту.

Это была даже не карта, а схема расположения легиона на текущий момент по Транссибирской магистрали.

— Озлобились дальше некуда, — согласился Александр Васильевич.

— Видел я в совдепии плакатики. Вы там у большевиков... не в лучшем виде.

Колчак засмеялся и махнул рукой...

— Я рад тебе вдвойне, — говорил погода Александр Васильевич, — и как другу, и как кадровому воюке, да еще с боевым опытом и в чинах. Тебе трудно поверить, но у меня не в редкость полками командовали младшие офицеры. Огромная нехватка офицеров. А такой, как ты, Сергей, просто клад! Просил я у Антона Ивановича офицеров... это у Деникина. У него они рядовыми воюют, части целиком из офицеров, а у нас каждый на счету. Рассчитывал соединиться с Деникиным под Царицыном. Он там столько положил своих, прорывался к нам... Сорвалось у Врангеля, он на Царицынском участке командует...

Когда выпили по чарке и воздали должное шам, полковник поведал о своих мытарствах после большевистского переворота. Глаза его смотрели открыто, без затаенности. И во всей повадке угадывалось громадное облегчение от возвращения в свой мир. Ну развернулся, расправился человек.

— Не считая у Капеля, еще два раза ставили к стенке, — вспоминал полковник, и, хотя улыбался, у него начали дрожать пальцы.

Александр Васильевич уже успел заметить — руки у него в мозолях и ссадинах, непросто давался хлеб бывшему высокоблагородию.

— Верите, Александр Васильевич, у меня два «География», «Анна», Золотое Оружие, вроде стреляный: дыры в плече и легком, — а тут... понимаете, русские вокруг, баба лушит семечки, серый кот пузо греет на сарае, сбоку бельишко на веревке... глупо, просто глупо... А мы в подштанниках крапиву мнем, в стволы глаза пялим. Жид приговор читает...

— Точно еврей?

— Чистопородный... Читает, гад, — не видать нам больше света за то, что российские погоны таскали. Это под Уманью, парк там, доложу, первостатейный. Меня там взяли, я к своим ехал, жене, дочери, — и не таился, чего таиться?.. «Всё», — думаю. Перекрестился: «Отче наш...» Они — приклады в плечи. Стволы рыщут — пьяны, гады!.. Тут бы сраму не принять, не обмочиться и вообще... Полковник ведь я, русский полковник! А тут меня, старого хрыча, и выдернули из строя, еще до залпа. Лучше б мальчишку юнкера, слева стоял, я его все подбадривал. Я сорок годов с лишком отмотал, женщин нацеловал, на солнышке погрелся, мать их!.. Простите, ваше высокопревосходительство... Не поверите: увели карту читать, никто у них не умел и не понимал ее. А ребят: прапорщика, двоих поручиков, юнкера и какого-то штатского — в решето! Мать

моя родная, таких ребят! Оставили военспецом — это-то меня и после чего!

Я через пять дней и рванул! Все жалею: не стукнул того жида — товарищ Григорий. Фамилия — Казаков. Выкрест, конечно. Ох, и лют был до нашего брата офицера! Это у него любимое занятие было — вылавливать нашего брата. Сколько перло: и с фронтов, и родных ищут. Вся Россия на карачках. Словит — и в крапиву, под пули, а то и в штыки. Но это только на связанных... Я бы его руками сейчас порвал!.. Ордена жаль — в голенище были. Они первое, что забирают, — сапоги и кольца. У каждого ведь обручальное или перстень на память от любимой... Во второй раз — это уже под Киевом. Дали залп, нас стояло шестеро — и опять в подштаниках, мать их!.. Поручика одного вообще без штанов и трусов поставили — как пороли, так и вывели. И при нас, главное, делят барахло, сапоги, деньги... В общем, я, кажется, шлепнулся первым, на меня и сбоку остальные. Землей засыпать поленились — представляете, что за безобразие! Так, прикопнули... Я бы им, да разве же так службу несут, вlepил недельку-другую ареста, на хлеб и воду! Что с дисциплиной, а?! Верите, а меня и не задело. Вот истинный крест! Это на плюс мне — тоже с похмелья были, винтовки гуляют, гляди, друг друга подшибут. Поручик их трехэтажным!.. А я от волнения, что ли... может, от утомления? Шутка ли, второй раз за три недели под расстрелом. Стаж, я вам доложу... Думаю, лишился сознания за мгновение до залпа, да они еще дураковаты после пьянки, иначе добили бы... В общем, срам, конечно. Боевой офицер — в обморок! А ровик-то всего на четыре штыка приглубили. Ну, псам на прокорм. Зато не поломался я и не задохся, а то свалишься с трехметровой высоты — что там подломаешь, неизвестно, но подломаешь, коли без чувств и мяклый. Удачно лег я — и не поперек, а как бы продольно, еще меня этак крутануло вбок. И мордой под мышку лег — кому не знаю, рот не забило землей. Хорошая квартира: за спиной земля, с боков земля, а сверху, наискосок, убитый вместо одеяла. И еще нужником воняет. Вы же знаете, чаще всего в таких случаях люди обделываются, но в тот раз не я... Умылся чужой кровью, доложу я вам, густо лил покойник сверху. Просветляющее это действие. А в общем, обычная канитель или, если угодно, судьба офицера в наши дни.

И опять Сергей Федорович прикрыл лицо ладонью, пальцы разошлись и мелко тряслись. Он покусывал губу и виновато улыбался, скорее силился улыбаться.

— И все равно на Дон не пошел и не к вам... Заполз тараканом в щель. После двух расстрелов никакого желания кого-либо видеть. Можете передать в трибунал, забыл свой долг полковник Грачев — и вы будете правы: кругом виноват, не явился в строй со всеми. Не мог я. Как в своих стрелять, в русских?.. А все же допекли... А когда собрался, сидор повязал — тиф, после — возвратный тиф, а потом жена свалилась, дочь... Схоронил маму, дочь... Мария... Господи, как дочь вспомню, душит меня горе, ваше высокопревосходитель-

ство. Все мог вынести, но дочь! К весне девятнадцатого очухался... Что ж это с Россией? За что?.. Жена отказалась уходить со мной, не в себе после смерти Маши, ей теперь все едино. Я поклялся вернуться, с нашими вернуться. Я ее к тестю отвез — и рванул по теплу к вам. Ваше высокопревосходительство...

— Оставь ты чины, Сергей Федорович.

— Александр Васильевич, я кровью искуплю вину. Верьте, я все тот же порт-артурский Грачев. Я, я...

Многое узнал Колчак о советском тыле: голоде, холоде, надрывном быте, принудительном труде, арестах, казнях и, самое гадкое, постоянных унижениях, и не только «бывших», а всех.

— ...И с утра до ночи аллилуйя в честь Ленина, Троцкого и еще какого-нибудь марксистского чудища! Верите, прежде ничего подобного и не наблюдалось. Куда там молебствиям во здравие государя императора! И доносы — это омерзительно, ну сплошные доносы! На чем же воспитывают людей?! А потом не просто казнят, а притравливают народ, в псов превращают, чтобы все кусались, — тогда, надо полагать, понадежнее...

— Само учение о социализме — плоть от плоти еврейское, — говорит Александр Васильевич. — В нем его дух, его традиции, его философия. Практикой этого учения России, русским нанесены страшные обиды и раны. Дай Бог подняться.

Сергей Федорович замолчал, поиграл бровями в раздумье и после отозвался:

— Отечество евреев — это всё евреи. Поэтому они везде дома, а с социалистическим переворотом их домом становится и вся русская земля. Это уже ясно как Божий день... Классовой ненавистью берут Россию. Повальное, всеобщее озверение. Святая Русь...

Александр Васильевич кладет руку полковнику на колено, и тот смолкает.

— Социалистический переворот — огромная сатанинская акция против творения Божьего, — говорит Колчак. — Это вековая история Каина и Авеля, которая в форме классовой борьбы доведена до истребления целого народа, в первую очередь его самых просвещенных слоев, носителей исторической памяти, чести, обостренного чувства национального...

После Грачев назвал множество казненных — известные всей России имена, среди них немало хорошо знакомых адмиралу.

Водка делала свое. Сергей Федорович расслабился, утих, руки утратили напряженность и не дрожали, когда называл имена или рассказывал нечто тяжко-черное, непереносимое для души, чем так обильна Гражданская война и жизнь по обеим сторонам фронта.

— ...Меня расстреливали? Это война, Александр Васильевич. Мы с вами профессионалы, это наше дело, тут за все плата — кровь. И нагляделись на все: и воистину великое, и самое низкое в людях. Вы, наверное, согласитесь: неправильно говорят, будто великого меньше, нежели... Но ведь это все война... — Сергей Федорович прикрыл лицо ладонью, и опять пальцы мелко затряслись. — А

какой она может быть, если государя императора... да что там государя! Для своих он ведь муж, отец. И этого отца с женой и детишками в подвале, как... Корнилова нет, а уж он был вождем первой величины... А я?.. Господи, сор в сравнении с ними; нас выщелкивают сотнями тысяч просто за то, что носили погоны во славу и спокойствие Отечества. Простите, ваше высоко... Александр Васильевич, хуже зверей люди, от тени шарахаешься, не идешь, а крадешься по своей земле... За свободу сцепились, будто не одна у всех... Генерал Алексеев, бывший начальник штаба Верховного, основатель нашего белого движения, царство ему небесное, — откуда он? Да сын солдата-сверхсрочника! Каким владел капиталом, кроме жалованья?.. А генерал Иванов... сын простого солдата? Что за ним стояло?.. А Корнилов? Сын хорунжего... писаря. У него заводы были?.. А вы, ваше высокопре... Александр Васильевич, простите меня, а вы?.. И заметьте, все выучились, в первые генералы вышли, академию Генштаба пооканчивали, а ведь самого простого сословия, ниже некуда. Свобода, равенство, братство. Да учись, работай — и твое место за тобой. Вы, Александр Васильевич, из семьи морского инженера-артиллериста? На жалованье ведь жили — нет и не было заводов, доходных домов. Да и я, аз есть многогрешный, сын владимирского богомаза. Отец пупы малевал Богородицам. Пятеро нас было, а, слава Богу, выучились...

— Не за свободу сцепились, а за землю — тут вся и свобода. Они лозунгами сбили народ с толку, по существу обманули, ведь вот в чем дело. Большевики направили всю пропаганду против помещиков: раздел земли обеспечит крестьянам изобилие. В действительности дележи помещичьей, казенной земель, а также и удельной прибавляют к крестьянскому наделу всего полторы десятины. Столыпин, как вы знаете, разглядел раньше всех, в чем неустойчивость власти... Столыпин решил покончить с крестьянским вопросом в России. По его замыслу, это привело бы революционную пропаганду к краху. И его реформы дали бы все это плюс подлинное развитие сельского хозяйства, чего не мог принести просто голый передел. К тому же налоги на землю у нас были самые низкие в мире — около пятидесяти копеек с десятины в год. Столыпин говорил: «Дайте нам двадцать лет спокойной работы, и в деревне будет благосостояние и порядок». Этих двадцати лет ему не дали. Его убили, хотя реформы постепенно пробивали себе дорогу, но без него это чрезвычайно затянулось. Он был подлинным врагом революционных партий. Он выбил бы у них почву из-под ног... Все это заставило революционные партии спешить. С разрешением аграрного вопроса крестьянство оказывалось вне революционного движения. А после — Февраль, Октябрь... Большевики отдали землю крестьянству, купив его этим, но тут же напустили на деревню продрозверстку и стали принудительно изымать хлеб. Мы воюем — хлеб у крестьян не отнимаем. Они воюют — хлеб берут силой. Вот и замкнулся круг. В октябре 1917 года было совершено предательство. Люди недостойные использовали трудные для Отечества времена.

Но я, признаться, сейчас очень много думаю о Феврале. Перемены были нужны, но чьими руками совершены и что за всем этим стояло?.. Кое-что начинает вырисовываться. Не стали ли мы все игрушками других, вовсе не народных, не общественных сил, а?.. То-то... Светлое, радостное может иметь черную подоснову. Все это нейдет из головы... Перемены были нужны, но за переменами стояли антирусские силы, точнее — антинациональные. Понимаете, нет всех фактов. А они, конечно, имеются. Возьмем тот февраль в Петрограде. Я очень интересовался... Ведь оснований для голодного бунта не было. Да, бунт организованный. Его уже ждали. Народ лозунгами вывели на улицы, и вывели даже не вожди революционных партий. Заговор был в другом месте. Понимаете, Россия оказалась жертвой дважды: сначала в Феврале, после в Октябре. Похоже, Февраль отработали те, кто не помышлял об Октябре. То ли подключились немцы, которым важно было доконать Россию любыми способами, то ли инициативу проявили большевики, победа которых опять-таки была чрезвычайно выгодна Берлину. Понимаете, тут задействованы огромные средства. Привести всю эту гигантскую машину в действие лишь на партийные взносы — это же смешно. Чтобы раскачать народ, довести до определенного градуса ненависти — откуда эти сказочные средства? Здесь ответ! Естественно, война поспособствовала движению масс, но мы-то знаем, как все обстояло в действительности. К концу шестнадцатого года мы имели сильную армию — в избытке патроны, снаряды. Войска одеты, обучены. Впереди была победа, союзники тоже разворачивали огромные силы.

Победа делала весь народ невосприимчивым к разрушительной пропаганде. Кто-то взялся форсировать события. Вы понимаете? Было использовано стихийное недовольство войной, разожгли распутинские страсти, власть пала в грязь, а потом война вообще обостряет трудности... Но все это оказалось не стихийным выражением воли народа, как мы думали. Это был только чей-то ход... Я хочу узнать, кто его сделал, и я это узнаю. Кое-что уже брезжит, но без неопровержимых доказательств я не поверю ни во что. А доказательства... будут!.. Этот счет мы предъявим. Разрушена жизнь целого народа, вы понимаете?.. Я не монархист, я республиканец, но я начинаю чувствовать себя в этом качестве несколько неуютно. Меня, как и других, как и весь народ, кто-то взял и передвинул, будто фигуру на шахматной доске. Будем исходить из этого: кому это выгодно?.. Кому выгодно, чтобы рухнула империя, была растоптана вера и народ утратил чувство национальности?.. Задача... Да, крестьянам под комиссарами несладко — это факт, но пока им там кажется ближе к земле... В той республике неспособны понять, что насильственные изменения не принесут спокойствия. Сила загоняет недовольство под пол, в тайник, в душу, но не устраняет. Нет, насилие, которое они возводят в степень государственной политики, не даст народу справедливости. Но все ослеплены, яд, пущенный пропагандой темных сил, разрушил все устои жизни, даже чисто

национальные. Вы сознаете масштаб происходящего?.. Ничто уже не управляет этой стихией, кроме ненависти, нетерпимости и внушенных образов врагов. Столько крови!.. Ладно об этом, Сергей Федорович. Вот видите, мы отступаем. На Омск пятимся.

После долгой и тягостной паузы Александр Васильевич добавил, но уже другим тоном — деланно спокойным, уверенным:

— Вы ошиблись, Сергей Федорович. Мой батюшка был произведен в генералы. Но в годы моей молодости, учения он был обычным заводским инженером, который увлекался историей артиллерийского дела, копался в бумагах, старых записях...

Потом они еще выпили. Не выпить после такого разговора было невозможно. И они выпили три чарки подряд почти без отяжек. Чокались и молча, без слов, выпивали...

И уже под конец обеда, когда Александр Васильевич решил предложить Сергею Федоровичу должность у себя в штабе, тот с улыбкой похвастал, что в Москве носил обувь, пошитую князем Голицыным, и невесело пошутил:

— Фирма «От Голицына» — каково!

— Каким Голицыным? — не понял Александр Васильевич.

— В нынешнюю разруху князь Голицын остался без средств — ни копейки. Состояние, движимое и недвижимое, конфисковали. И пришлось старику осваивать сапожничество, благо на памяти пример графа Толстого... — грустно пошутил Сергей Федорович.

Александр Васильевич поднялся, достал трубку и, шагая по салону, уминая табак и закуривая, спрашивал:

— Какой Голицын? Их ведь много. Неужто сам председатель Совета Министров? Николай Дмитриевич?

— Он и есть — наш последний председатель Совета Министров империи. Доложу вам: освоил сапожничество. Я встретил Николая Николаевича, а он красуется в обутках... Ах да!.. Николай Николаевич — это Покровский, наш последний министр иностранных дел... — И Грачев усмехнулся. Горький и желчный вышел смешок. — Целый Совет Министров. Нарочно не сочинишь. А видели бы вы нас в этих обутках — веревочные самоходы.

И, заметив, как удивленно взметнулись брови адмирала, Грачев пояснил:

— Князь шьет... впрочем, наверное, все же шил. Чекушка не обойдет, отметит братской могилой: князь, бывший наместник Кавказа, последний председатель Совета Министров империи! Гниют косточки его сиятельства — это уж точно: гниют¹. А пока князь пробавлялся веревочной и войлочной обувью. Тачал добротню. В городах еще не то носят, Александр Васильевич. На Тверской или у Большого театра — на тебе, в лаптях; в пальто, шапке, шар-

¹ Нет, тогда не гнили, жив был еще князь Николай Дмитриевич. Умрет он в 1925 г. Насильственной смертью или по старости лет — не знаю. Все книги о том молчат.

фе — и в лаптях. И сколько угодно! Дамы в каких-то опорках. И это, заметьте, вполне приличная экипировка, почти праздничная.

— А князь, князь? — перебил его адмирал.

По тону чувствовалось, он не совсем воспринимает рассказ полковника.

— Князь?.. Так я и говорю: я встретил Николая Николаевича. Он и нахвалил обутки Голицына: удобны и практичны. Я заказал. Прекрасная работа, доложу вам. Я ведь чем жил? Крем варил, сапожный крем... Обутки как влитые. Ходи без единой мозоли. Исключительно добросовестные были сработаны, просто по-княжески. Что такое «чекушка»? Нет, это не стаканчик, это... чека...

Александр Васильевич лишь развел руками. Он звал князя в пору наместничества того по гражданской части на Кавказе. Старый князь управлял Кавказом неуклюже. До погромов ухитрился обострить армяно-татарскую рознь. Князь поддерживал татар — поддерживать кого-либо на таком посту вообще не полагалось, это бросало тень на трон. При князе были окончательно распределены, точнее, распроданы, земли по прибрежной полосе — отменные участки. Их скупили знать и высшая администрация. Князь приложил руку и к выселению духоборов. Постыдная история! Семь тысяч их вынуждены были отправиться в Канаду — там им гарантировалась веротерпимость. В судьбе духоборов принял участие другой родовитый дворянин — граф Толстой. Лев Николаевич взбаламутил не то чтобы Россию — Европу.

Да-да, князь явно не туда греб. Это стало ясно наконец государю императору, и он отозвал его.

К 1914 г. князь Николай Дмитриевич являлся скорее фигурой, так сказать, сугубо благотворительной, по общему мнению, негодной для какой-либо государственной службы.

Однако в конце декабря 1916 г. князь Голицын неожиданно назначен председателем Совета Министров. В столь смутное время — и нате, ветхий рамолик, совершенно беспомощный в делах государственных. Сколько это вызвало недоумений и злых шуток! Монархия все время давала доказательство, что она неспособна управлять Россией, изжила себя. А Гришка Распутин — позор всяя Руси?.. А чехарда министров — один червиее другого? А отношение к Думе — депутатам народа? Да-да, помазанник Божий явно находился не на месте — это и без назначения Голицына становилось ясно даже самым упорным в преданности трону. Что может быть губительнее этого для власти?

Родзянко вспоминал в 1919 г. в белом Ростове-на-Дону:

«Как назначались, например, Министры, столь быстро сменявшие друг друга? На этот вопрос я отвечу их собственными словами. Когда на пост Премьера был назначен Иван Логинович Горемыкин, я спросил его: «Как Вы, Иван Логинович, при Ваших преклонных годах решились принять такое ответственное назначение?» Горемы-

кин, этот безусловно честный государственный деятель и человек, ответил мне, однако, буквально следующее: «Ах, мой друг, я не знаю почему, но меня вот уже третий раз вынимают из нафталина».

Когда князь Голицын получил назначение Председателя Совета Министров, я его спросил: «Как Вы, почтенный князь, идете на такой пост в столь тяжелое время, не будучи совершенно подготовлены к такого рода деятельности?»

Князь Голицын буквально ответил следующее: «Я совершенно согласен с Вами. Если бы слышали, что я наговорил сам о себе Императору! Я утверждаю, что если бы обо мне сказал все это кто-либо другой, то я вынужден был бы вызвать его на дуэль».

Возможен ли был при таких условиях порядок?..»

25 февраля 1917 г. по старому стилю князь получил указ (рескрипт) государя императора о роспуске Думы, позволяющей себе возмутительные речи — с дерзкими намеками на государя императора в неспособности управлять страной, с едкой критикой последних действий правительства, с упреками в развале тыла. Не мог государь император ни пережить, ни простить знаменитого вопроса Милюкова с думской трибуны:

— Что тут такое: глупость или измена?..

В такой-то час — и эти обиды, эта мышьяная возня. Что ж ты, Господи, смотришь сверху?..

Колчак не имел представления о письме лидера кадетской партии Милюкова партийным единомышленникам, написанном во второй половине лета 1917 г.

Подлинник хранился у А. А. Лодыженского — бывшего начальника Канцелярии по делам гражданского управления при ставке Верховного главнокомандующего. Лодыженского достаточно знали бывший император Николай, великий князь Николай Николаевич, а также генералы Алексеев, Врангель, Кутепов.

В начале 1918 г. Лодыженский являлся негласным представителем Добровольческой Армии в Москве, где поддерживал связь с дипломатическими представителями Антанты. После, у Врангеля, был губернатором Таврической губернии. Умер в 90 лет 4 августа 1976 г. в Париже.

«...В ответ на поставленные вами вопросы, как я смотрю на совершенный нами переворот, я хочу сказать... того, что случилось, мы, конечно, не хотели... Мы полагали, что власть сосредоточится и останется в руках первого кабинета, что громадную разруху в армии остановим быстро, если и не своими руками, то руками союзников добьемся победы над Германией, поплатимся за свержение царя лишь некоторой отсрочкой этой победы. Надо сознаться, что некоторые, даже из нашей партии, указывали нам на возможность того, что произошло потом, да и мы сами не без некоторой тревоги следили за ходом организации рабочих масс и пропаганды в армии... Что же делать, ошиблись в 1905 году в одну сторону, теперь опять,

но в другую. Тогда не оценили сил правых, теперь не предусмотрели ловкости и бессовестности социалистов. Результаты вы видите сами.

Само собой разумеется, что вожаки Совета рабочих депутатов ведут нас к поражению, финансовому и экономическому краху вполне сознательно. Возмутительная постановка вопроса о мире без аннексий и контрибуций, помимо полной своей бессмысленности, уже теперь в корне испортила отношения наши с союзниками, подорвала наш кредит. Конечно, это не было сюрпризом для его избирателей. Не буду излагать вам, зачем все это нужно было, кратко скажу, что здесь играли роль частью сознательная измена, частью желание половить рыбу в мутной воде, частью страсть к популярности. Конечно, мы должны признать, что нравственная ответственность лежит на нас.

Вы знаете, что твердое решение воспользоваться войной для производства переворота было принято нами вскоре после начала войны, вы знаете также, что наша армия должна была перейти в наступление, результаты коего в корне прекратили бы всякие намеки на недовольство и вызвали бы в стране взрыв патриотизма и ликования. Вы понимаете теперь, почему я в последнюю минуту колебался дать свое согласие на производство переворота, понимаете также, каково должно быть мое внутреннее состояние в настоящее время. История проклянет вождей, так называемых пролетариев, но проклянет и нас, вызвавших бурю.

Что же делать теперь, спросите вы. Не знаю, т. е. внутри мы все знаем, что спасение России — в возвращении к монархии, знаем, что все события последних двух месяцев явно доказывают, что народ не способен был принять свободу, что масса населения, не участвующая в митингах и съездах, настроена монархически, что многие и многие голосующие за республику делают это из страха. Все это ясно, но признать это мы не можем. Признание есть крах всего дела, всей нашей жизни, крах всего мировоззрения, которого мы являемся представителями.

Признать не можем, противодействовать не можем, соединиться не можем с теми правыми и подчиниться тем правым, с которыми долго и с таким успехом боролись, также не можем. Вот все, что я могу сейчас сказать»¹.

Уинстон Черчилль оставил в воспоминаниях такое вот трагическое свидетельство, а он ведь был не только свидетелем, но и «делателем» мировой политики с начала XX века и до самых 60-х годов:

«Ни к одной стране судьба не была столь жестока, как к России. Ее корабль пошел ко дну, когда гавань была на виду. Отчаяние и измена овладели властью, когда задача была уже выполнена. Держа

¹ Л о д ы ж е н с к и й А. А. Воспоминания. Париж, 1984.

победу уже в руках, она пала на землю; заживо, как древле Ирод, пожираемая червями».

«Ни к одной стране судьба не была столь жестока...»

Ни к одной!!

Россия!!

Судя по фактам, которые понемногу поднакопила история, самым важным лицом, организовавшим загон на последнего русского самодержца, явился, пожалуй, не кто иной, как Александр Иванович Гучков, один из наиболее близких людей Столыпина. И мировое еврейство отношения к этому загону не имело. Это был продукт, так сказать, чисто отечественного производства.

Объектом обработки явился русский народ, в котором надлежало приморить монархические чувства, разрушить исконное преклонение перед царской властью.

В начале XX века в России возрождаются масонские организации (как правило, они являлись ответвлениями французских лож), которые стремительно преобразуются под сугубо определенные цели и задачи новых общественных сил, рвущихся к власти. В этих организациях уже нет прежней символики (скажем, звезд, фартугов, клятв и т. п.), но строжайше сохраняется тайна и выдерживается конспиративность. Постепенно эта организация покрывает главные города России. Ее членами окажутся четыре основных министра Временного правительства первого состава. В эту организацию входил и Керенский.

Об этих фактах из российской жизни подробно рассказывает в своем исследовании «Февральская революция» профессор из Оксфорда Катков (первая публикация данной работы состоялась в 1976 г.).

И в связи с этим о судьбе Николая Второго. Он был бы устранен независимо от февральского возмущения в столице. Не будь этого возмущения, царствовать ему все равно оставалось от силы 4—5 недель. Существовал детально спланированный заговор по его устранению. Автором плана являлся все тот же поистине всеохватывающий Александр Иванович Гучков. К действию были готовы люди на самых ответственных постах империи. Полиции о заговоре ничего не было известно, хотя царя и царицу предчувствия такого рода весьма тревожили.

Заговорщики должны были остановить императорский литерный поезд и арестовать Николая Александровича Романова. В итоге царю надлежало отречься¹.

Но у Берлина имелся свой план. Этот план не ограничивался лишь сменой верховной власти. План предусматривал усечение России, то есть присоединение ее западных земель к Германии. Брест-

¹ Определенный свет на данные события проливают показания Гучкова Чрезвычайной Следственной Комиссии Временного правительства, данные 2 августа 1917 г.

ский договор выявит истинные устремления немцев. В этом плане центральная роль отводилась большевизму во главе с Лениным. Часть плана Берлину удалось воплотить в жизнь.

Голодные беспорядки в Петрограде — теперь-то Александр Васильевич полагал, что не совсем это были голодом вызванные беспорядки, точнее, не одним голодом и не столько голодом.

Колчак, разумеется, не знал о признаниях такого рода, как милюковское в письме, как и вообще о направленно подрывной деятельности кадетов и октябристов с верхушкой генералитета, а выводы строил по данным из иных источников... К примеру, запасные гвардейские полки (батальоны), разбухшие каждый едва ли не до 15—20 тыс. человек, — рассадники неповиновения и всего, что угодно. Настоящая чума для государства, опасная даже для самых обычных обывателей. Погромная, черная, озлобленная масса. Какая-то кипящая смола. Она испепеляла все вокруг себя. Ей нечего было противопоставить. Только мир, но что значит мир перед наглежащим врагом, захватом все новых и новых русских земель.

Запасные полки (батальоны) — идеальная питательная среда для революционной пропаганды — сотни тысяч здоровых молодых мужчин, развращенных бездельем, отрывом от семьи, страхом перед отправкой на фронт. А забастовки?..

Забастовка в столице лишила князя Голицына даже возможности распечатать указ о роспуске Думы. Он препроводил его председателю Думы Родзянко — тому самому, что в личных беседах не раз обращал внимание государя императора на пагубность ведения дел в стране, опасность распутищины для авторитета трона...

А тогда, в самые грозные дни и часы, какие-то указы, переписка, звонки, совещания. Каждый миг расширял пропасть. Все решала воля, энергия, способность пожертвовать сословными интересами, мудрость предвидения, а тут возня... и приказ Хабалову: повелеваю прекратить беспорядки...

Да что это?!

Отчего ты, Господи, так жесток?! Чего ты хочешь, Господи?..

Дума осмелилась пренебречь августейшей волей и продолжить заседание. Вождями нации видели себя думские ораторы Милюков, Гучков, Шингарев, Керенский, Родзянко...

И хрустнула царская воля, целое тысячелетие скрепляла Россию, а тут хрустнула, и за развалом столицы и вовсе рассыпалась империя, изошла в жалобы молитв и крики «ура!».

Встрепенулись, стали сбегаться крысы и все прочие твари. Все назначение их — ждать своего крысиного часа. Но главный — уже не крыса, а крысолов — только паковал чемоданы и метил по карте маршрут домой.

Еще несколько дней — и государь император отрекся. Ну будто и не был повелителем исполнинской страны в шестую часть суши:

застенчивый воспитанный полковник, воплощение покорства и семейных добродетелей. Все принимал Божьей карой, молил о заступничестве. Только отвернулся уже Господь, урезал дни его и дни рода его к ипатьевскому сидению и револьверным залпам. Крысолов уже всюду дул в дудочку. Жестким металлическим звуком звала воздух дудочка.

«А с Михаилом Владимировичем Родзянко я постарался сойтись. Важно было понять, отчего плодится гниль и какой будет Россия, но самое первое — остановить крушение фронта. Миллионы жизней были положены, дабы обуздать алчность немцев. Выходит, все было попусту?..»

Не дано было узнать Александру Васильевичу, что потери немцев на Русском фронте до Февраля семнадцатого превышали их общие потери на всех прочих фронтах. Недосыгаемыми стояли исконные русские земли для врага, но дудочка крысолова размывала представления о долге и дисциплине. Армия разваливалась, таяла на глазах. А вал нашествия поднимался все выше над родной землей.

Престарелый председатель Думы рассказывал невероятные вещи о бывшем государе императоре. Не возьмешь в толк, что это было: слепота, беспечность или спесивая ограниченность.

Все это буквально совпадало с намеками и недомолвками, а порой и обжигающе невозможными откровениями генерала Алексева. Осенью 1916 г. начальник штаба Верховного главнокомандующего лечился в Крыму. Они часто встречались — Алексеев и Колчак...

Вспышкой озарения отпечаталась в сознании мысль (Александр Васильевич принял ее разом от начала до конца — пылающие буквы в сознании): «В честности есть что-то беспощадное». Весь надался навстречу смыслу слов. На душе стало горько-горько.

Взял себя в руки. Тут только расслабься... Постепенно выбрался из того липкого, черного, удушливого, что потянула за собой горечь. И снова, преодолевая себя, начал вглядываться в прошлое. И постепенно из темноты того, что заключало собой прошлое, стали рождаться лица, движения и беззвучная речь. События прошлого, цепляясь одно за другое, стали являться светом в память, делались видимыми, выпуклыми, полными звуков, запахов и цвета...

Вспомнил Родзянко. Это он надоумил его в апреле 1917-го встретиться с Плехановым. Следовало незамедлительно остановить распад фронта. Призрак германских стягов над Москвой и Петроградом мучил Колчака...

Прочно складывалось убеждение: нельзя ставить судьбу страны и миллионы жизней в зависимость от одного человека, пусть даже такого, как великий Петр.

Если бы как Петр...

А этот несчастный сам себя гнал в подвал под выстрелы; тащил себя, жену, детей к 16 июля 1918 г. — под выкрики Юровского, иноземную брань и русскую матерщину.

Александр Васильевич ни сном, ни святым духом не ведает Ермакова... бывшего раба Божьего Ермишки, а в будущем — чекиста и почетного гражданина социалистического Отечества...

Память держит лишь имена первых палачей: Белобородова, Голощекина и Юровского. Нет, адмирал помнит еще имя Павла Медведева...

А дальше — похмелье революции: кровь и смута.

На нас списали грехи всех поколений...

Прочь все это! К чему стоны по истлевшим ризам! Будет новая Россия!..

Александр Васильевич улыбается, роется в папке на столике сбоку, протягивает листок.

— Вот полюбуйтесь.

Сергей Федорович читает вслух, скороговоркой:

«Все у Колчака есть, чтобы короноваться русским «царем». И архиереи, которые охотно наденут на Колчака «шапку Мономаха»; есть у него и верные друзья — помещики и фабриканты, которые за право сосать кровь русского народа будут верой и правдой служить «царю» Колчаку — так, как они служили Николаю Кровавому. Да вот только нет у Колчака Москвы, где бы он мог сделаться «царем».

Только не отдадут ему рабочие и крестьяне того, что создано горбом трудового народа, за что пролито так много народной крови!»

Сергей Федорович положил прокламацию на столик сбоку.

— Знаете, сколько я этого добра видел!.. Почему отступаем?

Вопрос вырвался неожиданно, и Сергей Федорович смутился.

— Весной был большой приток живой силы. Нам удалось мобилизовать крестьянство после взятия Перми. Они поголовно были настроены против большевиков. Ощутимый приток. — Александр Васильевич смолк и надолго погрузился в себя. После сказал с какой-то горькой решимостью: — Мы, кажется, допустили промах... я допустил... — Он смолк, глядя в оконце-бойницу. — Я согласился на восстановление помещичьего землевладения в Заволжье. Земля уже была поделена крестьянами. Неизбежными оказались их подавление и расстрелы. Это в корне подорвало все мои усилия — мужик отшатнулся. А ведь поначалу мы не знали трудностей с мобилизацией крестьян — армия развертывалась стремительно. Теперь они бегут. На кой черт им нужны адмирал и власть, если они расстреливают их за землю, — землю, которая по праву принадлежит им... Я совершил не ошибку — я повернул часть народа против белого движения — вот так. Я разом уничтожил нашу опору в главной силе — крестьянстве. Вот так, Сергей Федорович. Политик я никудышный... Пороть, казнить за то, что взяли свое?.. Пусть не

свое, но подлежащее разделу, выкупу... понимаете?.. Нельзя все восстанавливать буквально... в старых формах. Я слишком легкомысленно отнесся к самому важному предмету революции. За это платим...

После Колчак вызвал офицера разведки вместе с начальником штаба. Грачев не пустой пришел: назвал номера красных соединений и частей в тылу и непосредственной близости к фронту. Сообщил интересные данные о мобилизационных мероприятиях красных. Александр Васильевич подтвердил личность полковника Грачева и принял участие в составлении его послужного списка, отдав приказ о выдаче ему всех полагающихся документов.

Полковник Грачев наотрез отказался принять должность в штабе. Колчак дал ему полк у Каппеля — лучшее, что мог сделать для него. Полковник показал себя грамотным пехотным командиром еще в начале германской. «Георгий» — за Львов у него. Через два месяца, незадолго до оставления Омска, полковник Грачев пал в бою. Об этом в ставку донес генерал Каппель. Очень скорбел Владимир Оскарович: блестящий удался командир полка. Воткинцы в нем души не чаяли — так же как и матросы когда-то в Порт-Артуре.

«Не видать тебе, Сергей, больше ни жены, ни друзей, ни георгиевского знамени и не иссыхать сердцем по дочери Машеньке...» Колчак знал, что этот обожженный всеми огнями бед человек, когда оставался один, опускался на колени и молился за рабу Божью Марию, молился и плакал. Не могла душа смириться со смертью взрослой и любимой дочери. Сухими и красными были глаза полковника на людях.

«А я?.. Я еще не покойник. Я еще жив. Меня еще не убили... Земля тебе пухом, старый товарищ! За Россию твоя жизнь!..»

Вся эта прошлая жизнь ступшевывается и уходит из сознания Колчака — и уже ничего нет, кроме закутка-камеры, топота шагов, выкриков, лязга — это и отвлекло от воспоминаний. Судя по всему, доставлены новые заключенные. Здесь в одиночки напихивают по пять — семь душ.

Александр Васильевич встает и нервно, быстро шагает из угла в угол.

«Слава Богу, мне дарована другая судьба — не сиятельного сапожника при своих недругах. Как можно до такого опуститься, пусть ты и старик...»

Это легенда — о Ленине, стороннике внутривластной демократии. Демократию главный вождь понимал своеобразно. Если с его мнением не считаются, его (Ленина), зажимают, он вызывает раскол в партии, уводит часть ее за собой и образует новую партию, уже свою, которая будет слушаться и признавать за вождя только его. Он всегда и везде сеет раскол — это его основной политический прием.

К X съезду РКП(б) круто возросло давление на партийную верхушку. «Рабочая оппозиция» требовала внутрипартийной демократии, стараясь избавить партию от диктата авторитетов, диктата ЦК, подмятого вождями; собственно, не подмятого, а сформированного согласно спискам главного вождя. Такая демократия ставила под удар господство Ленина и его окружения над партией. Положение сложилось угрожающее — к «Рабочей оппозиции» прислушивалось большинство делегатов съезда. Как уйти от неминуемого, казалось, крушения — контроля партии над вождями? Ведь нежелательная резолюция будет принята, это факт.

Ленин лукаво предлагает Шляпникову (лидеру оппозиции) передать разработку вопроса об установлении «внутрипартийной демократии» в ЦК, который будет избран съездом.

Вполне демократично.

Но все дело в том, что в ЦК проходят только те большевики, в которых Ленин уверен.

Поэтому ЦК, который должен быть избранным, будет ленинским не только в переносном смысле. В своем ЦК Ленин был уверен. Предложения оппозиции этот ЦК непременно «закатает».

Дабы склонить Шляпникова на компромисс, Ленин предложил сначала избрать его (Шляпникова) и Перепечко в президиум, а затем заявил съезду, что Шляпникова и второго лидера оппозиции, Кутузова, «мы берем в ЦК». «Мы», то есть правящая группа.

Ленин: «И мы надеемся, что в ЦК, в который мы берем представители этого уклона («Рабочей оппозиции». — Ю. В.), представители эти отнесутся к решению партийного съезда, как всякий сознательный, дисциплинированный член партии; мы надеемся, что мы при их помощи в ЦК эту грань (о демократизме. — Ю. В.) разберем, не создавая особого положения».

Вроде демократично.

А на деле — заведомый обман, надувательство, ибо в ЦК господствует мнение правящей группы, то есть в подавляющем большинстве случаев — Ленина.

И Ленин заранее, сознательно, что называется, гробил предложения, которые можно считать и предложениями партийной массы, ее требованиями к вождям. Здесь Ленин борется уже с партией, прилаживает ей свою узду, пока прилаживает... Вот-вот накинёт и настоящую — о недопустимости группировок и фракций.

Шляпников поддался на приманку — и обман Ленина блестяще удался.

Бывший Верховный Правитель Российского государства держался на допросах простой истины, она управляла его поступками: насилие рождает насилие. В его понимании Россия захвачена большевиками и терроризирована. И он не забывал подчеркивать, что служил и присягал не царю, а Отечеству.

Нечеловеческой выдержки стоило Чудновскому не подавать виду. Сведя скулы, медленно жевал папиросу, глубоко забирая дым, подходил к окну — такой широкий: ну в оконный проем! Ждал, пока лицо ослабнет, потеряет ненависть...

— Белое движение имеет целью возрождение России, — говорит Александр Васильевич. — Новая государственность не должна утверждать себя за счет ущемления прав любой группы населения, а тем паче возвышения отдельных из них. Ни один слой общества, или, если угодно, по вашей терминологии, класс, не вправе иметь преимущества и, таким образом, навязывать, определять жизнь всего общества... Красные осуществляют планомерное уничтожение дворянства, не щадят женщин и подростков. Они истребляют офицерство, буржуазию, в значительной мере интеллигенцию, а заодно всех, кто смеет выражать несогласие. Убивают, принуждают, чтобы обреченные не сопротивлялись, а следовали необходимости быть убитыми, униженными или ограбленными. Когда же обреченные воспротивились подобной росписи (а кто согласится добровольно на смерть?), их нарекли реакционерами и белой сволочью. Прежняя жизнь не являлась справедливой. Однако я против того, чтобы другую жизнь утверждали насильем — штыками, кровью и голодом. Да-да, голодом, потому что всех, кого вы объявляете вне закона, вы обрекаете на голод, то есть голодную смерть. Это тоже ваш прием. Те карточные нормы, которые вы назначаете этим людям, не способны обеспечить жизнь. И люди умирают, так сказать, по карточкам. Если не штыком, то голодом.

Все органы печати, кроме большевистских, закрыты, нет судов, нет адвокатов — вы убиваете в совершенной безгласности, тишине. Что касается моих приказов как Верховного Правителя России и Верховного главнокомандующего: да, они повлекли гибель и страдания сотен тысяч русских, но в Гражданской войне это неизбежно. Ленин поставил к могильному рву значительную часть России (и не только имущую), всех несогласных, а их очень много и среди ваших, красных сословий, взять хотя бы дивизию из моей армии — Воткинскую. Сколько людей самого простого звания бежало к нам! Нет, ответ этой России мог быть только один: борьба с оружием в руках. Нет, не за идеалы угнетателей, как вы изволите выражаться. Я не сомневаюсь: большевики сорвали процесс мирного обновления России, возвели в государственный принцип насилие. Из нынешних московских правителей никто не сомневается в «естественном» праве на убийства и принуждения. Для нас Ленин и Троцкий со своей системой власти преступны...

Товарищ Чудновский аж расстегнул кожанку, но смолчал, только отвернулся к окну, запомнил предупреждение адмирала. Подоконник уперся Чудновскому едва ли не в плечи. Невольно сощурился: воздух пятнали крупные падалицы снега. От своего папаши Чудновский усвоил это прозвание снежных хлопьев, хотя падалицами называют опавшие на землю плоды.

Ветер далеко продувал сквозь щели. Языкастый, острый ветер. Самые ражие морозы по февралю. Колчак, Капель, Сыровы, Семенов...

Волчком развернулся, подошел к столу — несподручен стол, не подлажен под рост. Положил на протоколы руку: на целый том натрусил разных слов Правитель — Петроград, Париж, Лондон, Токио, Северные Соединенные Штаты, Пекин, Сингапур, Мукден, Омск, Иркутск....

Александр Васильевичу казалось: закрой глаза — и сгинет весь этот кошмар. И все как прежде: и Рождество, и святки, огни по Невскому, Анна. И у людей лица, а не звериные рыла...

Добротными сведениями снабдил товарища Семена Янсон: 28 и 29 января Пятая армия жახнула по чехословацкому арьергарду. Бросили чехи в Нижнеудинске четыре бронепоезда и несколько эшелонов с имуществом — и ноги в руки! И полегло же их от мороза! Ширямов смеялся: как грибы собирай — столько их там...

Попутно занимает товарища Семена вопрос о мировой стачке как первом этапе мировой пролетарской революции: каждое утро нетерпеливо распахивает газеты — ну должен заявить о себе мировой пролетариат!

Самым драгоценным кладом носит в себе это зрелище гибнущего мира капитала. Безмолвствующие станки на всех континентах и островах, скажем таких, как Ньюфаундленд, — огромные пролеты цехов без людей. Прохладен, свежеват воздух: не греет его работа и запаренный дых людей — этой самой рабочей скотины при машинах.

А за воротами — митинги! Насколько хватает глаз — чернота промасленных спецовок, сжатые кулаки и решимость в глазах.

А уж как все остановится, замрет в мире, даже все пароходы встанут к причалам, — конец капиталу! Бери власть, трудовой человек!

И так близка, доступна эта победа над мировой буржуазией — от досады подмывало прокричать братьям по классу:

— Бросай работу, бастуй, братва!

Должны же понять, услышать! Ведь, почитай, никаких жертв и страданий — сразу за горло всю толстопузую сволочь!

Однако брал себя в руки товарищ Чудновский: невозможно еще такое счастье. Неграмотность, обман обездвиживают мировой пролетариат. Слеп и беспомощен он без своих рабочих партий. Маркс это первым вычислил и назвал коммунистические партии отцами и поводырями всех трудовых людей мира. А для единства воли, успешной борьбы должны партии быть связанными в единое целое через Коммунистический Интернационал, теперь уже третий по счету, поскольку второй, как, надо полагать, и первый, развратили и подкупили враги освобождения трудовых людей земли.

Александр Гаврилович Шляпников в большевизме, а он, по словам Н. Н. Суханова (Гиммера)¹, именно «большевик», и «фанатичный», являл нечто исключительное даже среди людей исключительных. Такие там не водились и водиться не могли. Весь строй Шляпникова не допускал членства в той жесткой партийной структуре. Он был самостоятелен, убеждения не складывал к стопам большинства, не молился на вождей-пророков: творил революцию для простых людей. Явление, так сказать, во всем чуждое для этой струи растворенных в общем деле душ и помыслов.

Именно поэтому в Советской исторической энциклопедии ни словечка об Александре Гавриловиче, а ведь он бывал и членом ЦК, и руководил Русским бюро ЦК партии. Держатели партийных билетов засидели память о нем — ну не значилось такого большевика ни в одной прописи, ну не состоял в партии с 1901 г., отродясь не был металлистом высшей квалификации, а уж первым председателем крупнейшего рабочего профсоюза дореволюционной России — и подавно. И что из опытейших революционеров-подпольщиков — так одни слухи!..

Имелся в партии другой рабочий — его все знают — токарь Михаил Иванович Калинин. Ленин высмотрел Калинина и двинул в президенты на замену усопшему Свердлову. Рабочему государству — президент из рабочих. Это не было волей народа, так обдумал и постановил Ленин.

Нет, все не случайно в наших судьбах. Калинин «жевал солому» готовых резолюций, не сводил с вождей восторженных глаз, а Шляпников... Шляпников смел называть вещи своими именами.

Все на том же X съезде РКП(б) Александр Гаврилович не согласится с предложением Ленина использовать сторонников «Рабочей оппозиции» для борьбы против бюрократии.

«С бюрократизмом следует бороться, — возразит Александр Гаврилович с трибуны съезда, — не перемещением с одного стула на другой, а противопоставлением этой бюрократической системе особой системы».

Это все то, к чему мы пришли сейчас, в 90-х годах.

И это Александру Гавриловичу принадлежат слова, произнесенные еще при основоположнике:

«Мы стремимся к созданию на каждом заводе единого органа, который организовал бы производство и управлял бы заводом».

И это тоже то самое, чем мы занимаемся сейчас, через семьдесят лет, по-прежнему страдая.

26 июля 1921 г. Шляпников критикует некоторые постановления правительства на собрании коммунистов Московской электричес-

¹ На петроградской квартире Суханова (Гиммера) проходило историческое заседание ЦК партии большевиков, которое приняло решение о незамедлительном восстании против Временного правительства. Сам Николай Николаевич был убит на Лубянке 29 июня 1940 г. И поделом: как смел верить в Плеханова, а не Ленина.

кой станции. Уже 9 августа на объединенном пленуме ЦК и ЦКК Ленин домогается исключения Шляпникова из партии. Не хватает сущего пустяка — одного голоса. Но выколотить этот один голос из своего «ленинского» ЦК главному вождю не удается.

22 февраля 1922 г. приносит Ленину еще один шляпниковский сюрприз: «Заявление двадцати двух». Заявление, безусловно, инициатива Шляпникова. О коммунистической партии Ленина этот документ заявляет однозначно:

«Такие методы работы (Ленина и его единомышленников. — Ю. В.) приводят к карьеризму, интриганству и лакейству...»

Для догматических схем Ленина это было неприемлемо, это уже означало размывание стоев идеологии.

Из заявления следует, что в партии нет подлинного единства (оно, конечно, имеется, но в сугубо ленинском понимании: «верхи спускают резолюции, низы безгласно принимают к исполнению»), нет рабочей самостоятельности; бюрократия давит всех, кто имеет смелость на свои выводы. Фактически идет борьба с «инакомыслием всеми средствами».

Такого рабочего руководителя Ленин терпеть в партии не мог, но... не хватало одного голоса...

Шляпников не был забыт Сталиным, тот обошелся «без одного голоса». Любовь Сталина к Ленину простиралась куда как дальше и глубже подобных мелочей.

Уже после коллективизации и «организованного голода» на Украине (только ли на Украине) Сталин скажет Шляпникову:

«Пятьдесят миллионов крестьян сломали, а тебя одного и подавно ломаем (чувствуется, вдохновляет вождя победа над мужиками. — Ю. В.). И семью твою загоним, куда Макар телят не гонял».

Чижигов прав, Макару и в голову не взбрело бы гонять телят в подобные места.

После ссылки на север в 1933 г. Александра Гавриловича снова арестовывают, в 1935-м. Ссылают в Астрахань. В мае 1937 г. возвращают на Лубянку.

3 сентября 1937 г. Александр Гаврилович получает пулю в затылок. Длинным и долгим оказался полет этой пули, очень долгим...

В определении хрущевского Верховного суда СССР есть строки: «...Себя виновным не признал, жену свою ничем не оклеветал и не опорочил».

Кому ж ты доверился, Александр Гаврилович?.. Мир праху твоему...

На полке у меня три книги воспоминаний Шляпникова как свидетельство: все-таки был такой человек, был и писал, да как чисто и праведно.

Шляпников не исключение. Вспомним, как радовался Ленин (уже смертельно больной, отстраненный от работы) аресту и ссылке историка Рожкова. Это решение приняло политбюро, и Ленин узнал о нем из журнала заседаний политбюро. Весь трагизм и

комизм этого случая в том, что Ленин сам уже был под наблюдением и лишен власти. Однако застарелая неприязнь к инакомыслию, накопленная злость к Рожкову (аж с семнадцатого года!) крепче всех чувств, даже горечи и обиды.

Людей крупных и несговорчивых, как Николай Александрович Рожков, Ленин подавлял силой. Инакомыслия он не допускал, считал не только вредным, но и опасным. На единомыслии и подчиненности строил главный вождь новый мир...

Без крестов, без священников нас оставят лежать.
Будут ветры российские панихиды справлять...

8 сентября 1914 г. начальник 14-й кавалерийской дивизии генерал Эрдели представил своего офицера штаба Шапошникова полковнику в английской форме. Им оказался британский военный атташе (агент) Нокс. Последовало распоряжение информировать англичанина об обстановке.

«Нокс слушал внимательно, но очень редко делал пометки на карте, — вспоминал будущий советский маршал. — Никаких записей он не делал и в блокноте. Но вот спустя почти 13 лет в мои руки попала книга Нокса «С русской армией в 1914—1917 годах», Лондон. Целую главу своей книги Нокс посвятил нашей дивизии. Эта глава — «С кавалерийской дивизией в юго-западной Польше в сентябре и октябре (1914 г. — Ю. В.)» — написана в форме дневника.

Для меня стало ясно: военный агент Англии добросовестно вел дневник, записывал в него свои наблюдения так, что никто из посторонних не видел...»

До семнадцатого года генерал-майор А. В. Нокс (в пору знакомства Колчака с Ноксом в Токио тот был еще полковником) справлял обязанности английского военного агента (атташе) при русской армии. Александр Васильевич перебирает в памяти беседы с ним в Токио...

Нокс прибыл во Владивосток в августе 1918 г.¹

«Не будь моего обращения о приеме на английскую службу, я не стал бы главой белого движения, но в свою очередь не был бы и предан. Правда, лично от себя, по сердцу, почти и ничем не мог помочь Джон Уорд. Под рукой всего батальон — 25-й Мидлсекского

¹ Этот генерал Нокс телеграфировал начальству в Лондон:

«Когда 150 миллионов русских не хотят белых, а хотят красных, бесполезно помогать белым».

Коротко, ясно и убедительно, хотя телеграмма имела отношение к деятельности генерала Миллера.

Россия определенно склонялась к большевизму. Новая вера сулила другую жизнь. Она предпочитала Ленина. Выше небес тянулись шашки мужиков в буденовках.

Дашь светлое завтра!..

Отчего ж не дать... дали...

полка, да и связан Джон приказами. Над ним вся государственная машина Великобритании...»

Полковник Уорд доводился Колчаку другом.

Александр Васильевич в мельчайших подробностях представляет механику выдачи. Сперва все вносили в себе чехословаки, справились о возможности такого поворота у Жаннена как Верховного главнокомандующего союзных войск в Сибири. Тот в свою очередь все согласовал с Ноксом, а Нокс — с Лондоном.

«И продали тебя, Александр. А Джон раненько (раньше других) тронулся со своим батальоном во Владивосток...»

При воспоминании о Жаннене Александра Васильевича заливает острое чувство неприязни. «Вот же прислали... Во всей Франции единственного откопали...»

Он долго, до боли в глазах, вглядывается в муть окошка.

«Сам белый и сижу за белыми решетками».

Прутья на окошке проросли пухлым игольчатым инеем.

Колчак вспоминает нежно-спокойный голос Радолы Гайды. Вроде бы поначалу сложились вполне корректные отношения, почти доверительные. Погодя вспоминает командующих на Балтике — Эссена и Канина.

Василий Александрович Канин был сослуживцем Колчака. В войну командовал отрядом заградителей, после — начальник Минной обороны. С мая 1915-го по 6 сентября 1916 г. — командующий Балтийским флотом.

Николай Оттович Эссен (во флоте бытовала традиция обращения друг к другу по имени и отчеству, и даже в боевой обстановке) был, как и Александр Васильевич, из коренных петербуржцев, только на 13 лет старше. Кроме Морского корпуса, закончил в 1886 г. Морскую академию. Вместе участвуют в обороне Порт-Артура. Александр Васильевич командует поначалу миноносцем, а Николай Оттович — крейсером «Новик», погодя — эскадренным броненосцем «Севастополь», броненосцем — уже в чине капитана первого ранга.

Николая Оттовича отличали храбрость и предприимчивость. Он собрал на крейсере волевых, умелых офицеров. Рейдами «Новика» восхищался весь Порт-Артур. Огонь орудий крейсера славился точностью. Николай Оттович слыл настоящим моряком и товарищем. При всем том умел и выпить, не теряя головы, за что почитался вдвойне.

Тоже порядочки! Порт-Артур голодал. Солдаты воевали в рванье, а японцам сдали громадные склады с хлебом, консервами, запасами кож...

По окончании войны Эссен — заведующий стратегической частью военно-морского отдела Главного морского штаба. После командовал крейсером «Рюрик» и дивизией эскадренных миноносцев Балтийского флота. С 1908 г. принимал участие в управлении Балтийским флотом сначала в должности начальника Соединенного отряда Балтийского моря, а затем начальника Морских сил.

Успехи применения минного оружия в той войне дают толчок для разработки планов минной обороны русской Балтики. Талантом и мужеством адмирала фон Эссена минно-заградительное оружие становится основным средством борьбы с превосходящими силами германского флота, недаром Эссен какое-то время командовал и Первой минной дивизией. План военных действий — в основном детище Николая Оттовича. Центральная и Фланговая позиции, перекрывающие Финский залив, — предложения и расчеты лично Николая Оттовича. И это по его приказу с октября 1914-го по февраль 1915-го были осуществлены активные минные постановки на путях судоходства врага.

Николай Оттович слыл любимцем флота, под стать адмиралу Макарову, коего Александр Васильевич глубоко чтит. Скончался Эссен 55 лет от воспаления легких — 7 мая 1915 г. в Гельсингфорсе. Командование принял адмирал Канин.

7 сентября 1916 г. государь император отстранил адмирала Канина от командования на Балтике — за недостаточную активность флота. В командование вступил вице-адмирал Непенин.

Александр Васильевич до сих пор сокрушается о преждевременной кончине Николая Оттовича. Это ж был морячила!¹ Несмотря на разницу в возрасте и чинах, их соединяла дружба. И не раз они отмечали встречу или просто добрый час адмиральской выпивкой, до которой оба были большие охотники.

Позже Александр Васильевич вспоминает крушение своего Восточного фронта, натиск красных и всю жестокую и кровавую бестолочь отступления по искромсанному восстаниями тылу среди не менее губельного саботажа чехословаков.

А ведь все могло быть иначе...

Александр Васильевич полулежит спиной на локтях поперек лежанки и тербит в кармане гильзочку. Еще раза два обыскивали — и не нашли заветный... яд. Господи, никогда не думал, что это так противно — обыск!

Ему покоя не дает мысль о том, что, возможно, Деникин искусственно притормозил движение своих войск на Москву; не хотел, чтобы слава победителя досталась сибирским армиям адмирала. Будто в этом дело!

На века немезная тяжесть, Александр Васильевич моргает все реже и задремывает: забытье на семь-восемь минут.

«Настоящий был морячила Николай Оттович, крещен огнем, морем, водкой и любовью...»

¹ Крылов, достаточно знавший Эссена, не без почтительного удивления вспоминал, как тот годами не сходил на берег. Любовь его к морской службе была безгранична.

31 августа 1923 г. появился очередной, четырнадцатый, номер «Прожектора» с длиннющим заголовком: «Пять лет тому назад, 30 августа 1918 года, произошло покушение на жизнь Владимира Ильича Ленина. Настоящий номер «Прожектора» посвящается нашему Ильичу. Да здравствует вождь мирового пролетариата Владимир Ильич Ленин!»

Его открывает фотография с неузнаваемо иссушенным лицом вождя, сделанная, надо полагать, тогда же — в августе двадцать третьего. Далее следуют фотографии рабочих — «очевидцев покушения», фотография рабочего завода Михельсона Н. Иванова, «бывшего в то время председателем завкома и председателем митинга, задержавшего покушавшуюся на Владимира Ильича Ф. Каплан и отстоявшего ее от расправы толпы». Тут же в целый лист фотография сколоченного из досок высокого обелиска, установленного на месте покушения. На том же развороте фотография группы рабочих на виду «гранатного корпуса завода имени Ильича, у которого произошло покушение».

В номере заметки, статьи, очерки, посвященные этой же теме. Авторы — Г. Зиновьев, Е. Преображенский, С. Зорин, А. Аросев, А. Воронский, Б. Суворин и т. д.

В очерке С. Зорина есть запись беседы Ленина с питерскими рабочими во время II конгресса Коминтерна. Беседа возникла стихийно:

«— А продовольствие как (это спрашивает Ленин. — Ю. В.)?..

— Слабовато... Изголодались больно.

— Да это што, — вмешивается старый путиловец, — вы, товарищ Ленин, лучше скажите, што Коминтерн... выйдет из него што, аль нет?

Ленин рассказывает.

— Так... Значит, все же наша возьмет, хоть и рожа в крови... Это ладно...»

Примечателен очерк А. Воронского «Россия, человечество, человек и Ленин».

«Один из современных поэтов, богато одаренный и очень своеобразный, говорил в беседе:

— Ленин... Он делает нужное и страшное дело: он делает новую страну и нового человека. Понимаете, именно делает.

— Почему «страшное»?

— Потому что он лепит из инертного материала, но этот материал живой...

Другие утверждают, что Ленин — экспериментатор, не побоявшийся проделать опыт над страной с населением в 150 миллионов и даже больше — над целым миром.

Еще сравнивают его с Петром Великим, дубиной гнавшим Россию к Европе...

Считают его аскетом, фанатиком, книжником, начетчиком от марксизма, сектантом, схематиком.

Илья Эренбург сообщил про Ленина, что он «точен, как аппарат.

Конденсированная воля в пиджачной банке, пророк новейшего, сидевший положенное число лет сиднем за книгами», и т. д.

Потом говорят, что он диктатор. И многое другое еще говорят.

Во всех этих и подобных утверждениях таится мысль, что Ленин насильно навязывает России новое, может быть, необходимое и наилучшее, но органически не слитое ни с прошлым, ни с настоящим страны, — воплощает идеал — величественную формулу, схему, жизнь, проинтегрированную насквозь, всецело и без изъятия. Естественно, что сам Ленин превращается в игумена, в аскета, в книжника, в дерзкого экспериментатора, в вивисектора живой жизни, пусть плохой, нелепой, темной и тяжелой, но подлинной, простой и непреложной, как море, лес, степи, горы, небо, звезды, травы, звери.

Как все это забавно неверно!..»

История вывела однозначный приговор. И это оказалось совсем незабавно и совершенно верно.

Жизнь народа оказалась разгромленной ради схем, утопии.

«Вивисектор живой жизни»...

Словарь иностранных слов определяет вивисекцию как живосечение, выполнение операций на живом животном с целью изучения...

Это верно, по живому резал наш Ильич, по телу всей России и всего народа. Россия корчилась в муках, исходила кровью и стоном, а он резал. Он и его единомышленники.

И до сих пор режут... и все по живому телу...

И далее Воронский подытоживает:

«Ленин, конечно, «одержимый». Он всегда говорит об одном и том же. С разных, иногда с самых неожиданных сторон он десятки раз рассматривает, в сущности, одно основное положение...

Вообще он говорит, как человек, у которого одна основная идея, «мысль мыслей» непрестанно сверлит и точит мозг (ну стопроцентный «пациент» для наших «гэбэшных психушек» — доминанта Ухтомского налицо, и какая! — Ю. В.), и около нее, как по орбитам вокруг солнца, кружатся остальные планеты... Такие «одержимые» на все смотрят под одним углом зрения, видят и замечают только то, на что властно направляет их внимание основная идея...

Горький писал однажды про него: «Мне кажется, что ему почти неинтересно индивидуальное человеческое, он думает только о партиях, массах, государствах»; но тут же Горький вынужден прибавить: „Иногда в этом резком политике сверкает огонек почти женской нежности к человеку...“¹.

¹ «Прожектор», 1923, № 14, статья А. Воронского «Россия, человечество, человек и Ленин».

В том же номере «Прожектора» напечатана фотография ленинского аттестата зрелости.

Все оценки — пятерки, только по логике как-то нелепо, но со смыслом торчит четверка.

Из очерка Преображенского «Одинокий» мы узнаем, что Ленин любил повторять: вождь считает «миллионами и миллиардами, а не сотнями и тысячами».

Нет человека — есть население, масса, миллионы, миллиарды...

«Первый серьезный сигнал, или «первый звонок», по выражению самого Владимира Ильича, прозвучал в мае 1922 года», — пишет приемный сын его сестры Анны Ильиничны Георгий Яковлевич Лозгачев-Елизаров в своей книге воспоминаний «Незабываемое».

Прозвучал «через месяц после операции по извлечению пули. Четыре месяца вынужден был провести тогда Ильич в Горках...»

И дальше:

«В один из декабрьских дней 1922 года, поднимаясь утром с постели, Владимир Ильич почувствовал внезапное головокружение, пошатнулся и ухватился за стоящий рядом шкаф, чтобы не упасть. Вызванные врачи склонны были определить этот симптом как признак сильного переутомления и старались успокоить его. Однако Владимир Ильич лучше их чувствовал надвигавшуюся опасность и покачал головой.

— Нет, это настоящий «первый звонок», — возразил он с грустной улыбкой...

В период улучшения, когда стали возможны прогулки на свежем воздухе, к нему призывался старший по охране Петр Петрович Пакалин, чекист-латыш (и здесь без латыша не обошлось. — Ю. В.)...

В январе — феврале 1923 года наметился радостный поворот в сторону улучшения¹. Воспользовавшись этим, Владимир Ильич диктовал свои, ставшие последними, статьи и замечания.

9 марта снова прозвучал грозный сигнал: тяжелый приступ завершился параличом правой стороны и почти полной потерей речи...»

Наступило время действовать Сталину. Происходит стремительное растяжение сил в борьбе за власть. Все знают приговор врачей: вождь обречен. И они оставляют его смерти, а сами грязно, жадно начинают дележ власти.

На все как будто воля Божья,
А правит миром сатана.

¹ Это не соответствует фактам. Именно с декабря 1922-го наблюдается неуклонное ухудшение состояния Ленина.

В идее революции присутствовало нечто вдохновляюще-возвышенное: избавить человечество от грубого материального содержания жизни, тягостной зависимости от необходимости жить ради наживы, заботиться единственно о наживе, подчиняться только идолам барыша, богатства и всю жизнь горбатить за кусок хлеба не разгибаясь, горбатить за кусок хлеба, отдавая этому все лучшее, что есть в тебе...

Революция манила освобождением духа.

Грубое, низменное, надрывное должно уступить взлету мысли, необыкновенному расцвету культуры, раскрепощению духа.

Рабы капитала, подневольного труда; оскотинивание ради пропитания и благоденствия (если к нему еще прорвешься) — революция обещала это сделать призраком прошлого, только призраком, памятью, прахом, презренным прошлым...

Впереди новый мир, новые отношения, новые ценности.

«Мы наш, мы новый мир построим!..»

Партия, Ленин!..

Глава IV

ТЮРЕМНЫЕ БУДНИ

Чудновский придирчиво следил за питанием адмирала.

Надобен он ему живой и нехворый.

Кашу Правителю приносили раз в сутки и два раза поили чаем, но с ржаным хлебом.

Кашу адмирал подбирал из котелка в своей камере. При этом за ним надзирали двое красногвардейцев, а напротив лежанки расхаживал товарищ Семен с папиросой. Узость мышления Правителя, а равно и неспособность подняться до классовых оценок вызывали у председателя губчека яростное желание лишить адмирала каши.

Товарищ Чудновский не сомневался: рано или поздно животный ужас размочалит адмирала, смоев господскую вежливость и спокойствие, отзовется хрипом, покаянными слезами и молением о пощаде — и это явится высшим торжеством класса, грозным именем которого он карает.

Александр Васильевич испытывал неловкость: надзирают за каждым глотком, а глотки эти, как назло, получаются какие-то мокрые, звучные. И сам он (это хуже пытки) измят, немеет и толком небрит. Шинель, черт подери: спишь в ней и вообще не снимаешь. Да еще от ног потноватый дух.

Здесь едва ли не уличный холод, во всяком случае, руки очень зябнут, если вынуть из кармана. Да что руки — моча в параше тут же заледеневаает. Шинель неспособна согреть, но он проникся мыслью о том, что его убьют, и холод как-то не мешает. Он повязан им, окоченел, весь какой-то негнувшийся, но физических мук не испытывает. В этой стуже лишь одно неудобство: нет возможности полежать, почти непрерывно надо двигаться. Но пуще всего Александра Васильевича угнетают вши. Откуда? В камере один, и вшей не было, когда сняли с поезда в Глазкове.

С кашей Александр Васильевич обычно не спешил: было при-

ятно погреть руки о котелок. Не только ладони, все тело моляще жадно вбирало тепло. Пар от дыхания котелка вымерзал на воротнике — сидели ворсинки цигейки. Неприятно, как-то предательски позвякивала ложка, и, хоть очень хотелось есть, он не позволял себе выскребывать котелок. Впрочем, чаще всего ложка звякала по рассеянности: он неожиданно углублялся в себя, забывая обо всем.

Товарищ Семен потирал озябшие руки и узил веки: уж очень воспалены, любой свет разъедает. В жизни не приходилось столько тупить зрение. И каппелевцы прут напролом через снега, вот-вот обложат Иркутск. И тревожился: кабы адмирала не свалил тиф. Ломкая публика эти господа. На вошь никакого упорства.

Вдруг начинал кружить вокруг адмирала: не в жару ли? Да неужто болезнь обгонит его, Чудновского, приговор?..

Но глаза... больно моргать! Вся работа при коптилках или свечах. Станция светом не балует. А протоколы допросов — каждую строчку сверяй. А беляки — только сунься за город или на окраину — да вмиг пристроят дырку.

И страх за Колчака: не отбили бы! У Денике и других следователей даже мандаты изъял. Каждое утро сам встречает и провожает следователей.

За все в ответе председатель губчека.

Денике походил — и тоже перешел на ночевки в тюрьме. Правильно, ближе к делу и надежнее за стенами. Трепач, шкура — это в Денике так и светит, но нет у него, Чудновского, тех знаний, а уж о языках и заикаться нечего. Зачитывает этот меньшевик Правителю всякие бумаги на иностранных языках. Легко таким, нашим горбом получали воспитание.

Поэтому и сам председатель губчека чаще ночевал в тюрьме, ровно под арестом. Располагался в кабинете начальника тюрьмы: начальник на диване (мужик из солдат — дюжий), а товарищ Семен на столе: жестко, зато наверху весь, с ногами, и нигде ничего не висает. А самое отрадное — без тревог, так как при Правителе.

Денике спал отдельно, в помещении охраны.

А ежели товарищ Чудновский заезжал домой, что случалось чрезвычайно редко, то возвращался к утречку. Однако и тогда не сразу ложился, хотя качало от бессонья и надрыва, а брал труды Ленина и садился под лампу: каждую строчку подолгу и с натугой проталкивал — без образования и партийной подготовки не шибко разгонишься. Распрямлял слова, а в ушах играл голос адмирала, умаялся с ним.

Мысли путались. Думал: «Крещение — вот и морозит. В камерах по стенам — иней. Скоро Сретение Господа Нашего Иисуса Христа...» Стукался лбом о книгу, разлеплял глаза, закуривал и опять обдумывал ленинские слова. И в любом случае упрямо производил выписки в тетрадь.

На сборах в губчека зачитывал товарищам самое главное из Ленина, что оглушало его в предутренние часы наедине с собой. Все мечтал товарищ Чудновский о бюсте Владимира Ильича в приемной или проходной чека и о портретах в каждом кабинете.

Машина подъезжала потемну. Ловил ее ход по морозцу и натоптанному снегу еще в постели: тонко-тонко дребезжало верхнее стеклышко в раме — надо бы пришить гвоздиками. Наспех умывался. Снимал с площадки у двери охранника. Вместе жевали что Бог послал, а потом лезли в автомобиль.

И очумело-тяжелый, безвольным кулем покачивался на подушках сиденья, окуривая водителя и леденящую хлопавшую брезентом кабину. Не перебивая, слушал отчет Сережки Мосина — тот вообще неизвестно когда спал.

С табачным дымом в голову возвращалась верткость мысли. Вздвигаясь, начинал энергично посапывать, прокашливаться, припоминать дела — и сразу первая тревожная мысль, а затем и приказ: в тюрьму! Сперва все самому проверить. И уж из тюрьмы звонил в губком, ревком, к себе в «чекушку».

И обжигался кипятковым чаем перед утренним визитом к Правителю. А за окнами чернело утро с бледной проглядью снега. С Ангары возвращались ребята, румяные, обветренные. Слушал доклады о расстрелах, сверял фамилии по своему списку. Угощал ребят кипятком. Интересовался, как кто умирал. После расписывался в ведомости — для истории, сознавал это.

Солдат меж тем ругался по связи, требовал хоть какого прокорма для арестантов — и угля! Мрут, сучьи рыла!

— А ты пиши: от тифа, — советовал председатель губчека.

Солдат в шутку называл его то повитухой, то акушеркой. А Семен Григорьевич не серчал. Прав солдат: пособляет чека рождению советской власти, стережет революцию — это факт. Чека и советская власть — это все равно что серп и молот на знамени республики.

Нравилось товарищу Чудновскому смотреть, как бывший Верховный Правитель России выносит парашу. По всему этажу выстраивал братву. Колчак краснел до корней волос, даже спотыкался. В коридоре пованивало прелым, нечистым камнем, гнилой капустой, мочой, махрой — дружинники дымили нещадно. Знал председатель губчека, что адмирал курит. Все ждал, когда попросит, — Правитель табачок не просил. Пепеляев — с ним проще, на второй день пристал с куревом, козел! Поди, как в министрах внутренних дел управлялся, табачком ни с кем не делился. Это уже перед самой завязкой Колчак его вместо Вологодского в министры-председатели определил.

С Виктором Николаевичем председатель губчека чувствовал себя вольно, нутром принимал: никудышный мужик. На пощаду надеется, из расчета жизни ведет себя. Товарищ Чудновский лишь

кивал на его разговоры. Ну жидковат, беден умишком в сравнении с адмиралом.

Имел к бывшему премьеру председатель губчека вполне практический интерес: как думает гражданин Пепеляев, где его брат Анатолий Николаевич — кровавый генерал-лейтенант и первая контра среди сибирских генералов?

Нет, не перегибал председатель губчека, поскольку похлеще выходили только атаманы Семенов с Калмыковым, штыки им в гузно!

Какой Семенов генерал?! В царские времена и в старшие офицеры не выслужил. «Белых» он производств вояка!.. Атаманы! Калмыков — Уссурийского казачества, Семенов — Забайкальского. Обретается еще такой — Иванов-Ринов: Колчак произвел в атаманы Сибирского казачьего войска, а до революции тянул лямку обычным исправником в Туркестане. Зато вешатель из первых...

Во всех подробностях знал товарищ Чудновский, как пытаются его брата большевика у атаманов: вешают на дыбу, рвут бока калеными щипцами, дерут с живых кожу, накачивают водой (до ведра в человека) — и жарят по брюху палкой, а то заколачивают огненные шипы под ногти. Еще спрашивают, гады: «Какие тебе, комиссар, холодные или с огоньком?»

Чудновский слыхивал: лучше раскаленные — сразу немеет рука или нога.

В Забайкалье — вотчине Семенова — кличут его пресветлым атаманом Григорием Михайловичем. Само собой, зовут такие же вражины, как и сам: казачки в желтых лампадах да офицерье.

Но пуце самого пресветлого атамана лютует его верный товарищ — есаул Пухлов Назар, кровавый командир бронепоезда «Мстительный». По всем броневым вагонам саженная роспись: «Смерть коммунистам, гибель жидам!» В том броневом составе есть теплушки с пленными — большевиками, евреями, партизанами и вообще несогласными с атаманщиной. Их не просто пытаются и сводят с ума, а забавы ради, к примеру, перепиливают двуручной пилой. Есть у председателя губчека на сей счет обильный материал.

И таких бронепоездов до Владивостока не один и не два...

Немало людей мечтали дотянуться до этих бешеных псов и после Гражданской войны, но не в пример Симону Петлюре эти умели себя поберечь и уж не в пример героям литературных произведений (вроде булгаковского Хлудова, прообразом которому послужил белый генерал Слащев) не мучились совестью. И ни инсультов, ни инфарктов и вообще ничего такого — особого закала люди, прямо из XVI века — опричнины Ивана Грозного.

И предположить не смел товарищ Семен об обратном ходе «женевской» машины: безразлично ей не только социальное происхождение жертвы, но и вообще какая-либо вина. Ей без разницы, чья кровь на смазку — атамана или Чудновского. И даже более того,

переживет, и заметно, пресветло-разбойный атаман Семена Григорьевича и погужует всласть аж до 1945 г. В том веховом для всего человечества году при разгроме Квантунской армии возьмут его советские солдаты в Маньчжурии, доставят в Хабаровск, где будет он судим и казнен в следующем.

Многих из бывших достала тогда стремительность марша Советской Армии по Маньчжурии. Приговаривали их пачками. А вот есаул Пухлов схлопочет свое раньше — в самом начале 30-х годов попадется при переходе границы.

А «женевской» гадине и впрямь без разницы, что товарищ Чудновский в 1938-м или атаман Семенов в 1946-м. Ей кровь главное, ну нельзя ей при таком устройстве государства без крови и мучительств! Должна она зорко беречь недоступность, покой и конституционно-уголовную неприкосновенность народных вождей — владык партии (аж с районного масштаба и до генсека). Вот и вся правда рождения этой службы — ВЧК-КГБ.

И самые неугомонные революционеры — ну из святых людей! — качнулись бы, покрылись коростой и враз потеряли бы все волосы, коли бы проясновидали о том, что свобода при Николае Втором Кровавом окажется недостижимой мечтой для любого советского гражданина, а демократия Думы застрянет в истории России, царской и советской, верхом свободомыслия.

И Милюков с Керенским, и даже Пуришкевич с Н. Е. Марковым-вторым страшно разволновались бы, удостоверясь, что их разоблачительно-патриотические выступления в Думе, размноженные газетами, задушенными царской цензурой, — верх парламентской дерзости и вольнодумства во всю российскую историю. За жалостное подобие такого красноречия любого депутата Верховного Совета тут же свезли бы в «психушку» — и уж не выпустили бы, не разживив его мозги с помощью лауреатов «женевской» медицины до проникновенного забвения всех фактов собственной биографии.

Это врач-душегуб из горьковской больницы О. А. Обухов говорил Андрею Дмитриевичу Сахарову в 1984 г.:

— Умереть мы вам не дадим. Я опять назначу женскую бригаду для кормления с зажимом. Есть у нас в запасе и кое-что еще. Но вы станете беспомощным инвалидом.

Кто-то из врачей пояснил: не сможете даже сами надеть брюки.

А что ему, дипломированному врачу Обухову (естественно, и партийный билет при нем), и вообще медперсоналу.

И женская бригада охотно соглашалась на мучительства — у всех дети, все живы-здоровы и поныне.

И не моргнув смотрели бы, как использовали бы это «кое-что»...

Вы правы, только так можно избавить человека от доминанты Ухтомского. Ибо уже нет больше убеждений и совести, есть лишь доминанта, и, стирая ее, то бишь мучая в «психушке», человеку воз-

вращается нормальный советский мозг: «Дядю мы слушались — хорошо накушались, если бы не слушались — мы бы не накушались».

И Белинский впал бы уже и не в такую чахотку при известии, что вместо него критикой и выправлением изящной словесности в новом, демократическом Отечестве займется генерал-полковник неизвестно какого рода войск и сочинит уставы внутренней, дисциплинарной и караульной служб для «армии работников искусств». Горловая чахотка спалила бы неистового Виссарiona в считанные часы — и антибиотики из Четвертого управления не спасли бы. И не подарил бы он нам столько школьно-замечательных и свободололюбивых обзоров.

Да самые яростные и неподкупные революционеры (ну из наичестнейших, сплошь робеспьеры и маццини!) напрочь лишились бы самого драгоценного дара — речи. Ну запомнили бы все ученые слова, тем более прокламации. А то, гляди, и похуже: с бомбами, листовками да револьверами устремились бы совсем в другую сторону, пробуравившись бы аж до Женевы 1902 г., где Владимир Ильич срачивал, пока на бумаге, внутренности будущей России. Даже жутко представить, что могли там натворить...

Крутитесь, крутитесь колеса «женевской» машины, вычисляйте новые имена и способы умерщвления. И вы, синие канты, получите новые звезды, чины... сочиняйте доклады, отчеты... Вы же знатоки по части стравливания народов, оглушения людей, производства фальшивок, слухов, бесшумных убийств...

Добрые отцы семейств, патриоты, борцы за ленинскую справедливость в жизни (вы ведь только за нее и кладете себя, ведь правда?), какую чистоту этой самой жизни вы еще сочините для нас?

Дважды два — четыре.

Колчак возвращался из штаба генерала Сахарова — очень встревожил натиск красных. Все рядили, чем фронт латать. Части рассыпаются, надежных очень мало...

Они возвращались с генералом Холщевниковым. Обед после совещания был плотный, с водкой. Пить все стали, как перед концом света, даже непьющие.

Автомобиль бежал прытко, дребезжа на булыжной мостовой. Сзади на рысях поспевал полуэскадрон охраны — казаки.

Спать не хотелось, водка располагала к откровенности, и Холщевников заговорил:

— Позволю с вами не согласиться, Александр Васильевич.

Колчак повернулся и поднял брови.

Они были знакомы с 1911 г. К тому же Холщевников знал: Александр Васильевич уважает людей со своей точкой зрения, не ломает

таких, а даже, наоборот, отличает и дает простор для продвижения. Впрочем, Холщевников об этом и не заботился. Он не сомневался, что не оскорбит своего начальника, а оскорбить он не мог еще и по природной доброте.

— Да разве в жидях дело, Александр Васильевич? Тут свои столько накрошили-наколотили! Да ни один жид столько не сочинит и не удумает! Всем кагалом будут сочинять — и не сочинят! Русские это все творят. И правые и левые постарались. И потом, одним чтением разного рода подрывных книг, речами до такого народ не доведешь! По моему разумению, имеется в русском этот градус разрушения и ненависти, застрял в нас с самых седых времен. К тому же мы видели, как люди ведут себя на войне... Нет, чего на зеркало пенять, коли рожа крива. Или как там?.. — И, помолчав, сказал: — В народе сидела эта революция.

— Жиды поспособствовали проявить в нас свое, то, что присутствовало? — полувопросом ответил адмирал, он не сводил взгляда с затылка водителя.

— Точно так, Александр Васильевич.

— А марксизм, большевизм, Ленин?

— Я догадываюсь, о чем вы... Да, не к чести народа поддаваться на проповеди убийств... да еще убийств самого себя, своей веры... Не к чести народа не иметь сил для отторжения чужеродной ткани из своего организма... Эти две последние революции нельзя определять однозначно. Здесь сошлось много сил — и каждая преследовала свои цели. Верх взял Ленин... Поэтому мы и отступаем, Александр Васильевич. Не надо питать иллюзий. Народ совершил революцию.

...Александр Васильевич приваливается плечом к стене. Холодом веет от камня. В сознании стихает глуховатый говорок Холщевникова, а с ним и голоса многих других людей, из которых большинство уже — призраки. Схватил их мороз и держит в ледяных могилах.

Товарищ Чудновский уверен: белочехи снарядят делегацию на переговоры и примут условия командования Пятой армии.

Условия те же:

- не вмешиваться в судьбу Колчака и его приближенных;
- вернуть золотой запас иркутскому ревкому при отходе последнего эшелона с легионерами;
- не помогать белогвардейским войскам;
- не вывозить в эшелонах белогвардейских офицеров;
- в сохранности передавать советскому командованию мосты, депо, вагоны и туннели;
- не трогать имущество бывшей колчаковской армии.

Одно кончится, другое поспекает. Ну не продыхнуть, чистая карусель! Прут каппелевцы на Иркутск, не хотят в обход! Ссадить бы этого Войцеховского — и к Колчаку в напарники, мать его вдоль и поперек без смазки и пощады!..

А пока суть да дело, Левинсон и Фляков продолжают переговоры о золотом запасе. Должен генерал Сыровы уступить, выдал Колчака — выдаст и золото. Косухин от забот аж с лица спал, навроде чахоточный, а кашляет!..

Угрожает ревком взорвать прибайкальские туннели: вызвались на это черемховские шахтеры, не пройти эшелону!

Из Москвы одна телеграмма за другой — и почти все от Ленина или по его поручению. Требует республика золото. Там, в Глазкове, его, по примерной оценке, на 30 тыс. пудов — во машина!

Только у Сырового на все свои соображения. Хватит с большевиков и адмиральского дареного блюда. Пусть тешатся и чешутся.

Стоит золотой эшелон под чешским флагом — и не сунься. Косухин пробовал — ребят похоронили. До сих пор себя корит: «Тут в любовую, силой нельзя и пробовать. Как говорится, одна попробовала — четверых родила...» Есть у него такая черточка — все перевернет в шутку.

Белый, синий, красный...

Александр Васильевич и предположить не мог, что вопрос о русском флаге столь запутанный. Данный предмет по его особому поручению изучил и доложил ему и Совету Министров профессор Гинс.

Брак русского царя Иоанна Третьего с греческой (византийской) царевной Софьей Палеолог в 1472 г. имел глубокий государственный смысл. Русская корона как бы обретала в наследство права греческих (византийских) императоров. Поэтому Иоанн Третий принял для России герб Византийской империи: черный двуглавый орел на желтом поле — и соединил его с московским гербом: всадник (святой Георгий) в белых одеждах и на белом коне, поражающий копьём змия (монголо-татарских завоевателей). Государственный акт от 1479 г. закрепил слияние гербов Византии и царства Русского.

В 1703 г. великий Петр установил цвета для императорского штандарта: черный орел на желтом поле. В собственноручной записке царь указал на то, что грудной щит должен нести изображение святого Георгия на белом коне.

Эмблематические предметы (войсковые знамена, сторожевые будки, стойки для ружей и т. п.) повелевалось иметь в тон с российским гербом — одновременно желтыми и черными... И шляпы поэтому носили под золотым галуном с золотыми кисточками по черному полю с белым бантом. И в кокардах непременно чередовались белый, черный и оранжевый цвета...

Помимо императорского штандарта, существовали флаги: коммерческий, военно-морской, адмиралтейский и т. д. — каждый своей раскраски.

Национальным флагом являлся и белый с лазурным крестом святого Андрея — символом крещения Руси через заступничество этого апостола. В честь святого Андрея и высший орден Российской империи назывался орденом Андрея Первозванного.

Но государственным флагом России утверждаются как черно-желто-белый, имеющий толкование главным образом в немецкой геральдике, так и бело-сине-красный.

Бело-сине-красный стяг являлся общим, национальным с самых первых дней Петра Великого, им не гнушались и члены императорского дома. Несмотря на несоответствие гербовым цветам империи, он явочным порядком утверждает себя флагом Российской империи, хотя главный воинский орден империи — святой Георгий — крепился именно на черно-желто-белой ленте.

При Павле Первом государственным флагом является только бело-сине-красный.

Александр Первый сохраняет эти цвета. В занятом союзниками Париже развевались бело-сине-красные флаги России.

И даже великий формалист, педант и буквоед Николай Первый тоже сохраняет верность именно этим цветам. Под бело-сине-красным знаменем бились и умирали русские на бастионах Севастополя.

Но Александр Второй — великий царь-реформатор, противник крепостного права — повелевает держаться геральдических толкований. С 1858 г. Россию олицетворяют черно-желто-белые флаги.

Александр Третий указом от 1883 г. возвращается к бело-сине-красному флагу — уж слишком он дорог русским; однако царь не отменяет и черно-желто-белый. С тех пор правительственные учреждения поднимали черно-желто-белые флаги, а остальная Россия — бело-сине-красные.

Наконец, в 1909 г. Николай Второй высочайше учредил при министерстве юстиции особое совещание для выяснения вопроса о русском государственном флаге. Доклад комиссии и был положен в основу государственного установления. Сообразно цветам государственного герба, императорского штандарта и государственного знамени (того, что поднимали на правительственных учреждениях) черно-желто-белый флаг объявлялся государственным; однако в условиях нарастающей напряженности между Россией и Германией накануне мировой войны данное сочетание не могло прижиться, оно претило существу русских, так как являлось типичным отражением немецкой орденской геральдики.

Россия, можно сказать, стихийно склонилась к бело-сине-красному флагу.

Историками предложено следующее толкование данных сочетаний:

— прежде всего, оно утверждает победу объединенного славян-

ства над немцами пять веков назад в кровавой битве под Грюнвальдом;

— белый и синий цвета получены от герба Киева — главного города Руси до истребительного монголо-татарского нашествия;

— красная полоса взята от герба московского и означает уничтожение страшного монголо-татарского ига и возрождения Руси вокруг Москвы.

Во всяком случае, бело-сине-красный стяг России имеет почтенную давность, куда более почтенную, нежели предложенный немцем Кене (при Александре Втором) черно-желто-белый.

Временное правительство объявило национальным флагом России только бело-сине-красный.

Верховный Правитель России адмирал Колчак также утвердил флагом Родины бело-сине-красный. Уже более двух веков под ним живет, сражается и побеждает великая Россия.

«Мы, последние части от ее души и тела, ведем борьбу именно под этим флагом. Я имел счастье и прежде сражаться под ним в войнах против японцев и немцев. Видит Бог, я не щадил себя и не прятался. Ради России вся моя жизнь и все мои дела, и я не искал выгоды, эта борьба не возвращает мне никаких реальных ценностей, кроме... России. Бело-сине-красный...»

Зычные голоса в коридоре нарушают ход мыслей Колчака.

— ...А по мне — титьки: во, торчком, штоб в ладонь не лезли, — по-волжски окает насменливый басок. — А задница, Тишка, тыквой. Поставишь, однако... Зад! Зад такой радостный, широкий! Аж дух захватывает, не заметишь. Родятся же!

— Стало быть, Перескоков, титьки у крали должны быть кочанами, а задница — печкой. Так?

— А как же? Все бабье должно быть в избытке.

— Наговоришь, аж в портках горячо...

И дружинники, похохатывая, матерясь, сплевывая, уходят; глоснут, удаляясь, голоса, шарканье сапог.

Александр Васильевич болезненно морщится. Подобного рода откровения он вынужден выслушивать во множестве. Это ведь та же казарма с ее неизбывными темами — только женщина и непотребство. Он уже понял: тюрьма набита офицерами и крупными чиновниками, многие здесь с женами и взрослыми детьми. Вчера схватил перемолвку охранников и догадался — вдова Гришина-Алмазова здесь.

Да-а, гарантии чехословаков и союзников...

«А ученейшему Гинсу, судя по репликам главного чекиста, удалось скрыться, — думает Александр Васильевич. — Это на меня западно крепили и расставляли особо. Всей Сибирью мастерили...»

Похоже, очень мешает он союзничкам: неудобный свидетель и вообще о стольком осведомлен! ...Предпочтительней избавиться. Красные сделают то, что эти носят в мыслях... союзники...

Александр Васильевич вспоминает Таубе. Барон тоже хотел вырваться из Сибири, но только в другую сторону, к Ленину. Если память не изменяет, бывший генерал отдал Богу душу в екатеринбургской тюрьме от сыпняка и тем самым избежал казни.

Колчак смотрит на каменную тропочку. Вполне вероятно, барон Таубе вытаптывал именно эту. Ведь поначалу его содержали здесь, в Иркутске.

Адмирал не знал, что барон содержался в кандалах и посему не мог подкреплять душу ходьбой.

«Еще шесть-семь недель — и весна», — думает Колчак и обращается в мыслях к морю...

Если бы не опасение казаться смешным, он мог бы (разумеется, до революции) с упоением рассказывать, как пахнет палуба парусника в знойный день; как пахнет море, когда ветер лениво гонит его испарения; как давит на плечи солнце и как оно дробится в морской пахоте...

Он любит и то, другое море — почти черное, исхлестанное бурями и снежными зарядами, заплывенное в белые плавуну льдов...

Страсть отца к морю определила его жизнь.

Василий Колчак слыл выдающимся морским артиллерийским инженером. Он увлекался историей артиллерийского дела; в 1903 г. выпустил фундаментальную работу — «История Обуховского сталелитейного завода в связи с прогрессом артиллерийской техники».

Род Колчаков служил защите России.

«Я тогда на острове Беннета искал Эдуарда Васильевича Толля, — вспоминает Александр Васильевич, и выражение размягченности и добра проступает на лице, — но еще и по возвращении застал радость отца книге. По существу, она оказалась самостоятельным исследованием по истории русского артиллерийского дела...»

4 февраля товарищ Чудновский решительно потребовал казни Колчака, Пепеляева и еще двадцати одного из самых зловредных беляков. Список и свои требования вручил председателю ревкома товарищу Сергееву — так звали старые партийцы Ширямова. Еще вручил копию списка и своих требований секретарю губкома партии и отдельно — Косухину: имеет Косухин влияние на власть в Иркутске.

Знает товарищ Семен о телеграмме председателя Сибревкома Смирнова из Пятой армии — тоже с требованием казни Колчака ввиду неустойчивости положения советской власти в Иркутске. Ну не телеграмма, а Божий глас! Председатель губчека на радостях помянул всеми святыми и товарища Смирнова, и героическую Пятую армию, а стало быть, и красноармейца Брюхина Самсона Игнатьевича, в те дни замещавшего командира роты (о Брюхине Чудновский, разумеется, отродясь не слыхивал, они познакомятся позже, уже в Свердловске).

Не шкурничает товарищ Чудновский, не такой он природы, но

обязан все учесть на случай потери города. Тюрьма трещит от белой нечисти, хоть из пулеметов... И еще корми, бумагу изводи на дознания... Ясное дело, за границей отзовется, коли всех под лед, — это во вред окажется мировой революции и нестерпимо отодвинет мировую всеобщую стачку как предвестие гибели капитала...

А делать с этой сволочью что-то надо, и причем в ближайшие сутки.

А сутки эти — сумасшедшие: все 24 часа в работе. Сотрудники засыпают стоя, прямо на докладах. Такая кутерьма!

В ревкоме нет важнее заботы: оружие! Одна винтовка на двоих-троих, патронов — в обрез. Город с 4 февраля, то бишь с нынешнего утра, на военном положении. С рассвета — поголовная мобилизация. В красногвардейских дружинах все вместе: и большевики, и эсеры, и меньшевики, и анархисты, и вообще все, кому не по себе при белых. Каппелевцы на подходе!..

В ружье, народ!

С шести вечера по городу не пройти без пропуска и пароля. Чуть не так, дружинники садят без предупреждений. От таких «примочек» улицы стали почище.

Нынче при безобидных обстоятельствах ранили двоих и положили насмерть четверых сотрудников чека, из них одну женщину, — данный факт настораживает, кабы не плеснуло наружу контрреволюционный подполье. На каждый дом и забор с опаской озирается Чудновский. Кабы не прозевать штурмовой бросок...

Однако чем бы ни занимался, а на задках памяти все держит Правителя, это улыбит его и высветляет изнутри. Пусть знают: любого вколотим в землю! Не даст себя в обиду класс-гегемон!

От курева бухал председатель губчека утробным, чахоточным кашлем, аж неловко перед Косухиным, ровно передразнивает.

Лицо у председателя губчека всегда мелово-бледное и ничего не выражает — ну маска, а не лицо. Надо полагать, эта бледность имеет связь и с другим его примечательным свойством. Обладал он опасной для себя (и в то же время замечательной) способностью не потеть. Доктора качали головами и говорили: мол, это вредно, «накопляются какие-то вещества во внутренних органах», однако этот вред пока оборачивается очевидным благом. Не ведает товарищ Чудновский, что такое простуда; во всю жизнь ни разу не болел — ну совершенно сухой, даже с зеленого перепоя в молодые свои лета.

Такую злобу, как на царский строй и белых, имел товарищ Чудновский еще только на уголовную публику. Намертво эта злоба в нем — с первой отсидки. Поэтому и гремел он по Иркутску свирепыми и скорыми расправами над жиганами и прочим ворьем. Спускал их под лед наравне с белыми тварями.

На первую отсидку (за листовки попал — пустяк, почти шалость) взяли его совсем малым и определили на первых порах в общую камеру. И уже во вторую ночь оказался товарищ Чудновский за детский рост и беззащитность опозорен. Оглушили, довели до деревянной нечувствительности, вырядили в подобие бабьего сарафана, а к

глазу придавили гвоздок, шибко придавили, вот-вот брызнет и рогица, и радужная оболочка, и вообще все стекловидное тело, — не шелохнуться, не охнуть. Четверо урок и отходили его — до кровотечения и онемения сидячей части. И еще безобразили, совали, заставляя давать им наслаждение, страдая гвоздем. Жутко, до обмирания, было терять глаз юному Чудновскому.

И долго гнил он душой и не раз порывался наложить на себя руки. И даже дико казалось после, по зрелым летам, раскидывать в мыслях о женщинах — такая несообразность, тоска, впоору разом все кончить; владел уже тогда он полицейским наганом. Долго так корежило, уже крест на себе поставил как на мужчине. Не верил в любовь: случка все, животная потеха, осрамление души. Ну так корежило: гадливость да отвращение! Ох, упорно монашил!

А потом одна средних лет прачка (огнецветка тетя!) привадила к данному удовольствию, на все глаза пораскрыла, провела полное обучение — и стерлось, отлегло. И после млел с бабами, доказывая, что проклятый рост тут вовсе не помеха. Прачка ведь недаром его приглядела, мужиков-то у нее хватало. Почитай, с год не отпускала. Природа за свое издевательство над ростом дала ему верное удовлетворение в самом сокровенном, мужском. Это сокровенное, мужское, имело у него внушительные размеры и отличалось исключительной крепостью, вовсе не гнулось. И еще у него была особенность (даже особенностью язык не поворачивается назвать — это нечто драгоценное, волшебное!): если его очень забирали, то, получив наслаждение, это сокровенное не обмякало и не опадало, так что мог он без паузы продолжать любовное действие.

Прачка по такому случаю зацеловывала его. А вообще она обожала ласкать это и от избытка чувств шептала всякие ласково-непечатные слова. Не могло такое орудие любви оставить равнодушной женщину, тем более такую. Веселая прачка знала толк в любовных утехах, хотя работа с грязным бельем изматывала. И все же рада была не распускать объятий, коли мужик справлялся со своим делом.

С тех пор как понял свой выигрыш еще совсем молодой Чудновский, много поимел баб да девок. И млел с ними, доказывая, что рост тут вовсе ни при чем, даже совсем ни при чем. Это всегда являлось его заботой, его достоинством и делом чести.

Первое — дать высшее понимание женскому полу, чтоб упарилась в схватке, размякла, обесстыдилась, сама лезла, пробуя еще большее наслаждение и разные запретные ласки. Нутром понимал Чудновский: там, где на чувство накладывается запрет (то — можно, а это — нехорошо, стыдно), там обрывается любовь, уже конец ей. И своей неумной силой доводил баб до бреда, но себя держал под контролем — и с одной целью, чтобы после на преданность вытеменило у бабы глаза — зрачка нет, одна молящая слепота. Чтоб мусолила благодарными поцелуями, льнула, бормотала разные слова — парная, расслабленная после судорог, чуткая на любое новое желание и вовсе уже лишенная всякого стыда, на все соглас-

ная — и поэтому только тогда открывающая настоящую любовь, ибо любовь Чудновский понимал только так.

Словом, приучил себя сдерживать свои чувства, держать их в кулаке, не давать ходу — зато раскрыть глаза бабьему полу на то, кто он такой, вроде бы обиженный Богом и на смех принимаемый всеми рослыми и красивыми мужчинами.

И чем тяжеловесней являлась особа в грудях и нижней части, тем настойчивей и упорней он, Семен Чудновский — Сема, превращался в одну непрерывную ласку. Полюбовницы молили дать передых, задыхались от чувства. А он все раскалял и раскалял их неугомонностью — ни капельки пота, верткий, цепкий, неугомонный, одна прожигающая ласка...

И надо признать, женщины всех сословий без разбора платили ему истерической преданностью. Имел он над ними власть безграничную, о которой разве только смеют мечтать самые фасонистые и роскошные из мужчин.

Но еще делала свое и воля.

Присутствовало нечто такое в Чудновском — ну шли люди под его уверенность и слово; почти все остерегались перечить, а уж женский пол и подавно. Сила от него исходила — ну вырастал вровень с любым; стушевывалось это обидное, что всю жизнь репьем за ним: недомерок!

А ведь глянешь: и впрямь, этакий коротышка, да при саженом размахе плеч! Совсем бестолковый с виду, никчемный, для смеху. Ан нет, шалишь!

Та первая отсидка оставила по себе память и определенными физическими неудобствами. С тех лет мается выпадением кишки из заднего прохода, но что тут рядить — наловчился вправлять. Лишь саданет иной раз матерком: обидно все же... Падаль уголовная окалечила.

Помогли все пережить и охватить сознанием революционные заботы. Без них и прачке тогда не поддался бы. Они, эти заботы, растеплили душу, а уж там и все прочее.

Дал он тогда себе клятву бороться за новую жизнь, чтоб никак не возможно было такое над человеком. И стал особенно нетерпим к любого рода насилиям над трудовым человеком — ну не мог их сносить, видеть и тем более прощать. И ко всем мучителям и насильникам прикидывал свою месть. Закон не признавал. Шаг за шагом подбирался к таким, не жалел дней. И почти всегда доставал, само собой не оповещая партию, то есть партийную ячейку. Выслеживал — и клал с «пломбой», в том числе и самых лихих «иванов». Партийным недругам тоже не спускал обиды. Списывали это — кто на эсеров, кто на всякую уголовную шпану. А он молчал: пусть — это то, что нужно...

РКП(б) он понимал по-своему. Для него это была не партия, а организация по установлению и удержанию власти — союз единомышленников против всего остального мира.

И сметь не смел он предположить, что борьба его, Чудновского,

и борьба других революционеров вовсе не пресечет уголовщину, как это обещано в умных книгах Маркса и Ленина. И примется она похозяйски вживаться в новый, социалистический строй. И именно блатная мразь послужит опорой «синему воинству». И с поощрения властей распнет она всю несчастную лагерную Россию. Да забавой, шуткой покажется советским зэкам то «развлечение» с юным Чудновским.

Свято верил в мировое братство трудящихся председатель иркутской губчека. Имена Розы Люксембург, Карла Либкнехта, Жанны Лябурб, Белы Куна, Евгения Левинэ, Курта Эйснера, Рудольфа Эгельхофера светили ему, как прежде Христовы апостолы.

Мечтал об эпохе, когда все будут сыты, одеты и никто никого не станет бояться и обижать. Ждал и торопил мировую революцию. Она и проявляла себя согласно гениальному учению Маркса и Ленина.

10 месяцев назад, 21 марта 1919 г., заявили о себе мадьярские товарищи. На 133 дня вытянули Советы в Венгрии — и смяли их черные псы-генералы. На муках и гибели рабочих взмошел кровосос Хорти.

И всего 9 месяцев, как обнадежила весть из советской Баварии. Только две недели апреля 1919 г. и просуществовала республика — и была расстреляна черными генералами, притравленными социалистом Носке, этой кровавой родней русских эсеров, а пожалуй, и меньшевиков с их вождем-ренегатом Юлием Цедербаумом — ну Мартовым, штык ему в глотку!

Революции в Венгрии, Баварии — не обособленные случаи, это частные проявления великого процесса политического и хозяйственного распада мировой системы капитализма. Этим выводом особенно дорожил товарищ Семен.

Огнем приложилась эта героическая страда к революционной России. «Новая эра встает над миром» — так до сих пор начинает каждое выступление Чудновский. И потому видит он весь мир лишь через прорезь прицела своего маузера.

Все на защиту революции!

Да здравствует мировая революция!

Крепкую обиду и боль имеет он на несознательность трудящихся, ведь ежели бы все грудью за свободу — издыхать мировому капиталу.

Потому-то по строчке и с таким упорством крошит Ленина и Троцкого, а после внушает усвоенное товарищам. Убежден: революции губят несознательность, некультурность, темнота, неорганизованность и самое пагубное — недостаточная решительность. Лишь беспощадная борьба способна дать победу! Никаких слабостей, чувств и уступок — только беспощадность. Он это главное в Ленине учуял, а уже после вывел.

«Не латыши, а Первая Конная дала прикурить Деникину», — вспоминает Чудновский. Здорово он врезал Правителю. Тот только губами зашлепал, хрен беззубый!

Колчак действительно растерялся. Откуда ему знать о Первой Конной, которая не появлялась на Восточном фронте. Но он вовсе не смолчал. Он сказал, что доверяет сведениям, которые ему докладывали соответствующие отделы штаба. По их сведениям, прорыв на Южном фронте, у Деникина, на первом этапе был осуществлен латышскими частями. Сначала латыши прорвали фронт у него, на Восточном фронте, а после были переброшены на Южный, к Деникину.

Чудновский лишь презрительно поглядывал на Правителя: мол, кто о чем, а вшивый о бане.

— Нет, латыши, — твердо сказал Александр Васильевич, — я располагал точными данными. И еще китайцы зверствовали.

— При чем тут латыши! — пустил голос на бас Чудновский. — Разгром интервентов и белого движения доказывает, что безнадежна борьба против народа, если тот становится кузнецом своей судьбы...

О латышах оставил красочное воспоминание поэт Анатолий Мариенгоф (товарищ¹ Сергея Есенина).

«По улице ровными каменными рядами шли латыши. Казалось, что шинели их сшиты не из серого солдатского сукна, а из стали. Впереди несли стяг, на котором было написано: „Мы требуем массового террора!“»

«Требуем покорности!» — вот иное чтение этого лозунга.

«Война всем, кто не станет на колени!» — вот истинное прочтение этого лозунга.

Марш этих полков — угроза всем, кто не подчиняется красной диктатуре, кто смеет заявлять о своем праве жить по совести и убеждениям.

«Сокрушим всех, кто вне наших представлений о жизни!» — тоже правильное прочтение этого лозунга.

Быть стране покорной красному диктату. В этом мы порукой, латышские стрелки...

— К чему разговоры об одном и том же? Убеждения не изменились, это же глупо. Принесите мой Манифест от 23 ноября 1918 года, я подпишу еще раз — и приобщайте к делу. Там определены задачи движения. Вы, господа, пустили в оборот множество громких фраз, но действительность нам, белым, слишком хорошо

¹ Немало пишут о том, что Мариенгоф причастен к гибели (убийству?) поэта. Не берусь судить. И поэтому называю Мариенгофа товарищем Есенина, как считал и сам Есенин.

известна: вы — это кабальный мир с врагами России, это нынешняя разруха, резня, словом, все, что называется «государственная катастрофа». Вы шли на мир с врагами России единственно ради захвата и удержания власти. Любой ценой удержаться у власти — и продавали Родину немцам. Для спасения Родины и родилось белое движение. Я не оспариваю этого: есть такие, кто сражается за свое имущество и привилегии, но таких меньшинство...

Сказываются бессонница и душевное напряжение. Александр Васильевич улавливает дрожь в пальцах. Он прячет руки в карманы, но ему неловко, воспитание делает это невозможным, и он сплетает их на груди. Ему не по себе из-за грязи — ни разу после ареста он толком не умылся.

— А ну тебя, Степка, к япономатери! — бранится за дверью дружинник.

Товарищ Чудновский озорно взглядывает на Попова и Денике, сиплю басит:

— Ну что ты с ними будешь делать! — подходит к двери, приоткрывает и, снижая голос до утробного баса, выговаривает в коридорный сумрак: — Ты, Плешаков, полегше, полегше, не дома, чай... Ну, Плешаков, ноги у тебя смердят! Мыл бы, что ли.

Председатель губчека захлопывает дверь, затягивается от папиросы, он ее оставил на столе, и оборачивается к Колчаку.

— Стало быть, в Манифесте все ваши убеждения?

— Там всего достаточно, — говорит Александр Васильевич.

Он и поныне помнит первые абзацы. И как не помнить — гордится! Точно и ясно выражено там все, ради чего они поднялись на вооруженную борьбу.

«Офицеры и солдаты русской армии, в настоящий день решаются судьбы мира и с ними судьба нашей Родины.

Великая война окончилась великой победой (первая мировая война. — Ю. В.), но мы не участники на мировом ее торжестве; второй год мы, отказавшиеся от борьбы с историческим нашим врагом, немецкими бандами, ведем внутреннюю борьбу с немецким большевизмом, обратившим великое государство наше в разоренную, залитую кровью и покрытую развалинами страну, и вот теперь или никогда решается вопрос о бытии независимой, свободной России или окончательной ее гибели.

Государство создает, развивает свою мощь и погибает вместе с армией; без армии нет независимости, нет свободы, нет самого государства... В тяжких условиях полного расстройствa всей государственной жизни, финансов, промышленности, торговли, железнодорожного хозяйства идет работа создания живой силы государственной — армии, — но одновременно с этой работой идет непрерывная борьба на наших западном и южном фронтах: кровавая армия германобольшевиков с... примесью немцев, мадьяр, латышей, эстов, финнов и даже китайцев, управляемая немецкими офицерами... еще

занимает бóльшую часть России. Настало время, когда неумолимый ход событий требует от нас победы: от этой победы или поражения зависит наша жизнь или смерть, наше благополучие или несчастье, наша свобода или позорное рабство...

От вас, офицеры и солдаты, зависит теперь судьба нашей Родины. Я знаю тяжесть жизни и работы: наша армия плохо одета, ограничена в оружии и средствах борьбы, но Родина повелительно требует от всех нас великих жертв, великих страданий, и, кто откажется от них теперь, тот не сын Родины...»

В известной мере этот Манифест повторяет знаменитое воззвание об образовании Добровольческой Армии.

«С того дня минуло всего год и два месяца, — задумывается Колчак, — всего год и два месяца! Какая же жизнь легла в них!»

Товарищ Чудновский чиркнул спичкой, запалил загасшую папиросу, глотнул дыма и, наслаждаясь кружением головы (с утра ничего не жевал), подумал: «Ничего, ваше высокопревосходительство, будешь у меня мочиться кипятком». Сказал, поудобнее усаживаясь на столе:

— Мы, большевики, сильны правдой. Пора бы это уяснить.

Товарищ Денике от волнения нарисовал в букве «ж» лишнюю, четвертую палочку. Протоколы он взял на себя; добротней они и грамотней под его рукой, и к докладу всегда готов...

Председатель губчека все поворачивает так, чтобы сорвался Правитель; наслышан о тех вспышках ярости, на которые тот в бытность свою Александром Четвертым был горазд, и все надеется: а вдруг зайдет, освирепееет. Ярость и неуравновешенность всегда идут рука об руку со слабостью.

Нет, он помнит предупреждение Колчака и держит при себе реплики. И все же...

— Бакунин учил: дух разрушения есть и дух созидающий. — Чудновский говорит не спеша, губасто пожевывая папиросу. А что, неплохо прошершавил адмирала. А пусть утрет сопли и потужится.

— Созидающий?.. Как там у вас: «Тюрьма и пуля — буржуазии; товарищеское воздействие — для рабочих и крестьян...»

Товарищ Попов вдруг начинает записывать за адмиралом.

Председатель губчека повернулся к Денике: пора и ему поработать, — а сам сгорбил на краешке стола, подбирая в памяти очередную атакующую цитату или, на худой конец, поговорку. Вроде подвернулась одна, Достоевский сочинил: «Тот мало ненавидел старое, кто ропщет на новое». Однако решил — не для адмирала она, не тот случай, хотя цитата крепкая. Пригляделся к Денике: уж очень морда походит на вылизанную тарелку. И удивился: то щучья, то как вылизанная тарелка...

— ...Революционная демократия захлебнется даже не в крови, а в грязи, — отвечает Колчак Денике. — Другой будущности у вас нет.

«Господи, кому я это говорю!» — останавливает себя Александр Васильевич.

«Нет, не видать ему суда, — уже без всяких сомнений подумал председатель губчека. — Сколько людей может перезаразить своими рассуждениями! Наша первая революционная задача — не допустить его до суда!»

— Нынешний мир становится все более вероломным и бесчеловечным — и это прямой результат деятельности еврейства, — с убежденностью заговаривает Колчак. В какой раз хочет вбить в их головы это очень важное: евреи лишают народы национальной устойчивости, порождают бури и революции и таким образом все глубже и жадней вгрызаются в тела народов.

А разве убийство государя императора и его семьи и вообще всех Романовых, до которых вы смогли дотянуться, не есть результат еврейского заговора?

Неужто не ясно — русский народ должен покориться еврейству!

Прочтите Талмуд, ознакомьтесь с «Протоколами сионских мудрецов», полистайте Шмакова, «Международное тайное правительство». А Талмуд, Талмуд, господа комиссары! Это ведь не что иное, как слепок с сердца еврейства... Нет, хотите, чтобы я и впредь отвечал, слушайте!.. Так вот... Еврейство — это марксизм, это большевизм, это и суть ленинизма — все это опасно и губительно из-за своей органической ненависти не только к человеческому вообще, но и ко всякой крепко организованной национальной жизни. И задача еврейства — выбить из жизни народа те устои, которые и образуют нацию, делают ее сплоченной и единой. Это прежде всего православие, после — все исконно русское, которое должно быть оплевано и замещено на интернациональное. Тогда русское, национальное рухнет, а вместе с ним и русский народ. Он должен сгнить, разложиться под вашим правлением. Он должен потерять силу и национальную устойчивость. То, что не сумело сделать монголо-татарское иго, рассчитываете сотворить вы. За ленинизмом, интернационализмом, всеобщим братством, мифом о рае на земле прячется международное еврейство, оно протягивает руку к горлу русского народа.

Как и еврейство, большевизм ставит свою власть на терроре и нетерпимости. Учение о социализме космополитично. Оно лишает Россию всего исконно русского, без чего Россия обречена на развал. Поймите: русский народ — цель направленного уничтожения! И вы его, судя по вашим приемам, очень скоро превратите в удобрение... Сами вы, конечно, можете не знать цели своих руководителей, скорее всего, именно так...

— Вы часом не состояли в Союзе Михаила Архангела? — не выдерживает и перебивает Колчака председатель губчека. Ненависть к этому золотопогоннику схватывается в такой крепкий узел! Семен Григорьевич аж уперся руками в стол, не дышит. Все сплоскось в ненависти.

Так и поняли это товарищи Семена Григорьевича.

Он помолчал и спрашивает сдавленно, хрипло:

— Часом с доктором Дубровиным¹ дружбу не водили?..

Из протокола допроса:

«...В 1902 году, весной, барон Толль ушел от нас с Зеебергом, с тем чтобы потом больше не возвращаться: он погиб во время перехода обратно с земли Беннетта. Лето мы использовали на попытку пробраться на север к земле Беннетта, но это нам не удалось. Состояние льда было еще хуже. Когда мы проходили северную параллель Сибирских островов, нам встречались большие льды, которые не давали проникнуть дальше. С окончанием навигации мы пришли к устью Лены. И тогда к нам вышел старый пароход «Лена» и снял всю экспедицию с устья Тикси... На заседании Академии наук было доложено общее положение работ экспедиции и о положении барона Толля. Его участь чрезвычайно встревожила академию... Я на заседании поднял вопрос о том, что надо сейчас, немедленно, не откладывая ни одного дня, снаряжать новую экспедицию на землю Беннетта для оказания помощи барону Толлю и его спутникам, и так как на «Заре» это сделать было невозможно (был декабрь, а весной надо было быть на Ново-Сибирских островах, чтобы использовать лето) — «Заря» была вся разбита, — то нужно было оказать быструю и решительную помощь. Тогда я, подумавши и взвесивши все, что можно было сделать, предложил пробраться на землю Беннетта и, если нужно, даже на поиски барона Толля на шлюпках. Предприятие это было такого же порядка, как и предложение барона Толля, но другого выхода не было, по моему убеждению...

Мы очень скоро... пробрались к тому месту, где барон Толль со своей партией находились на этом острове... В конце ноября 1902 года барон Толль решился на отчаянный шаг — идти на юг в то время, когда уже наступили полярные ночи, когда температура понижается до сорока градусов, когда море, в сущности говоря, даже в открытых местах не имеет воды, а покрыто льдом, так что двигаться совершенно почти невозможно ни на собаках, ни на шлюпках, ни пешком. В такой обстановке, в полярную ночь, он двинулся со своими спутниками на юг. Документ его кончается такими словами: «Сегодня отправились на юг; все здоровы, провизии на 14 дней». Партия, конечно, вся погибла...»

¹ Дубровин, Александр Иванович (1885—1918) — петербургский врач, издатель газеты «Русское Знамя» и редактор журнала «Летопись войны 1914—1917 гг.», состоял в свите Николая II в должности историографа.

22 октября 1905 г. у него на квартире был учрежден Союз Русского Народа. В уставе Союза были слова: «Самодержавие русское создано народным разумом, благословлено церковью и оправдано историей».

Дубровин расстрелян чекистами.

Союз Михаила Архангела создал в 1908 г. Пуришкевич. Союз выделился из Союза Русского Народа.

Это не давало ни денег, ни чинов, во всяком случае Колчаку. Это было только для Родины, для людей...

3 февраля председатель губчека установил особый пост у камеры адмирала с приказом застрелить его при любой подозрительной возне в тюрьме или общей тревоге. Кроме того, распорядился ни с кем не выводить — только с ним, председателем губчека, или с Сергеем Мосиным.

И с утра каждый день начинал доказывать в ревкоме необходимость самостоятельного подхода: решили тогда, в Екатеринбурге, судьбу Романовых, не ждали распоряжений из центра, события диктуют поступки. Горячился: «Разве и без данных следствия мало оснований для немедленной казни? Разве у нас нет постановления Совета Народных Комиссаров РСФСР об объявлении Колчака вне закона? Так в чем же дело?!» И напирал на телеграмму председателя Сибревкома Смирнова о необходимости расстрела Колчака и Пепеляева ввиду неустойчивого положения советской власти в Иркутске.

Тогда же, 3 февраля, ревком постановил образовать военно-революционный трибунал из пяти членов во главе с председателем губчека: и следователь, и прокурор, и тюремщик, и каратель — ну высшее вознесение товарища Семена. Тогда же и взял он у Флякова людей для подкрепления тюремного гарнизона.

Скорее бы с Правителем развязаться. Делов невпроворот. Вот-вот Капель из снегов вынырнет. Закрутится кровавая карусель...

Фляков Антон Яковлевич (Антон Таежный) являлся начальником военно-революционного штаба рабочих дружин. У него Семен Григорьевич и забирал людей для разных нужд. Вчера Фляков направил в его, Чудновского, распоряжение интернациональную роту под командой товарища Мюллера. Этих не распропагандировать — надежные бойцы, даром что из бывших пленных.

Из обрывков воспоминаний всплывает образ Столыпина. Александр Васильевич только года за два до революции узнал, что тот считал новую войну (после русско-японской) недопустимой — ей непременно будет сопутствовать революция, и революция, скорее всего, победоносная.

В русской политической жизни последних десятилетий Столыпин и граф Витте были самыми яркими фигурами. Все прочие рядом с ними выглядели сморчками.

Александр Васильевич не мог знать о записке Дурново государю императору, а жаль, это могло существенно подправить его представления о революции.

П. Н. Дурново был в кабинете графа Витте министром внутренних дел, а после отставки — членом Государственного совета. Забо-

той и смыслом жизни Дурново являлось сохранение монархии. Это был умный и искренний слуга престола.

Мир чувствовал дыхание наступающей войны. Тревогой за будущее была пронизана эта особая памятная записка старика Дурново, переданная царю в феврале 1914 г.

Я привожу ее по 5-му тому Собрания сочинений историка Тарле с его комментариями.

«Центральным фактором переживаемого нами периода, — писал Дурново, — является соперничество Англии и Германии. Это соперничество неминуемо должно привести к вооруженной борьбе между ними, исход которой, по всей вероятности, будет смертелен для побежденной стороны. Слишком уж несовместимы интересы этих двух государств, и одновременное великодержавное их существование рано или поздно окажется невозможным...»

Германия не отступит перед войной и, конечно, постарается даже ее вызвать, выбрав наиболее выгодный для себя момент. Главная тяжесть войны, несомненно, выпадет на нашу долю...» (В политике Дурново держался германской ориентации.)

Дурново предвидит, что, может быть, Италия, Румыния, Америка, Япония выступят также на стороне Антанты... «Но мы-то очень уж неподготовлены: недостаточно запасов, слабость промышленности, плохое оборудование железных дорог, мало артиллерии, мало пулеметов».

Польшу Россия не удержит во время войны, и Польша вообще окажется очень неблагоприятным фактором в войне. Но, допустив даже победу над Германией, Дурново не видит от нее особого проку. Познань и Восточная Пруссия населены враждебным России элементом, и нет смысла и выгоды отбирать их у Германии.

Присоединение Галиции оживит украинский сепаратизм, который «может достичь совершенно неожиданных размеров».

Открытие проливов! Но его можно достичь легко и без войны. От разгрома Германии Россия экономически не выиграет, а проиграет, по мнению Дурново. Как бы удачно ни окончилась война, Россия окажется в колоссальной задолженности у союзников и нейтральных стран, а разоренная Германия, конечно, не в состоянии будет возместить расходы.

Но весь центр тяжести рассуждений Дурново — в последних страницах записки, где он говорит о возможном поражении России. Подобно своему политическому антиподу Фридриху Энгельсу, Дурново тоже думает, что в нынешний исторический период страну, потерпевшую разгром, может постигнуть социальная революция. Мало того: Дурново думает, что даже в случае победы России все равно в России возможна революция.

«...Особенно благоприятную почву для социальных потрясений представляет, конечно, Россия, где народные массы, несомненно,

исповедуют принцип бессознательного социализма. Несмотря на оппозиционность русского общества, столь же бессознательную, как и социализм широких слоев населения, политическая революция в России невозможна, и всякое революционное движение неизбежно выродится в социалистическое... Русский простолюдин, крестьянин и рабочий одинаково не ищет политических прав, ему ненужных и непонятных. Крестьянин мечтает о даровом наделении его чужой землей, рабочий — о передаче всего капитала и прибылей фабриканта, а дальше этого его вождения не идут. И стоит только широко кинуть эти лозунги в население, стоит только правительственной власти безвозбранно допустить агитацию в этом направлении, Россия неизбежно будет ввергнута в анархию... Но в случае неудачи, возможность которой при борьбе с таким противником, как Германия, нельзя не предвидеть — социальная революция в самых крайних ее проявлениях у нас неизбежна...»

И Дурново предсказывает завязку и развитие революции:

«...Начнутся революционные выступления. Эти последние сразу же выдвинут социалистические лозунги, единственные, которые могут понять и сгруппировать широкие слои населения: сначала черный передел, а затем и общий раздел всех ценностей и имуществ. Победенная армия, лишившись к тому же за время войны наиболее надежного кадрового состава, охваченная в большей ее части стихийно общим крестьянским стремлением к земле, окажется слишком деморализованной, чтобы послужить оплотом законности и порядка. Законодательные органы, учреждения и лишённые действительного авторитета в глазах народа оппозиционно-интеллигентские партии будут не в силах сдержать расходившиеся народные волны, ими же поднятые, и Россия будет ввергнута в беспросветную анархию, исход которой не поддается даже предвидению...»¹

¹ Их было двое, братьев Дурново, посвятивших себя полицейскому делу: Иван Николаевич и Петр Николаевич. Оба достигли самых высоких государственных постов. Данную записку подал государю императору младший брат — Петр Николаевич, который умер в 1915 г., пережив брата Ивана на 12 лет. По способностям ряд современников П. Н. Дурново ставили его вровень с Витте и Столыпиным.

В свою очередь Шульгин называл Петра Николаевича «полубезумным старцем». Характеристика уничтожительная. Но не думаю, что Шульгин прав. Думаю, он даже совсем не прав. «Полубезумец» оказался почти гениальным провидцем.

И это Дурново принадлежит высказывание, которое можно и нужно бы огненными буквами поместить на вратах Жизни: «Не верьте коленопреклоненным мерзавцам!»

О заповеди сей забывать опасно. Жалят коленопреклоненные мерзавцы насмерть, и с противоядием уже не поспеть.

«Не верьте коленопреклоненным мерзавцам!»

Петр Николаевич Дурново был действительным тайным советником, камергером, статс-секретарем, членом Государственного совета, сенатором. Окончил Морской корпус и Военно-юридическую академию. Военным моряком девять лет отдал дальним плаваниям в Тихом и Атлантическом океанах. С 1870 г. (год рождения Ленина) — помощник прокурора Кронштадтского военно-морского суда. После занимал различные судебные должности. С 1884 г. — директор департамента полиции, но опростоволосился и угодил в опалу за кражу его секретными сотрудниками документов из стола бразильского посланника. Нет, это не шпионаж, это амурная история, ревность. По данному случаю Александр Третий оставил письменное распоряжение: «Убрать этого негодяя в 24 часа!» Крут был на расправу батюшка последнего русского самодержца. Никакие савинковы и ленины при нем прорасти не могли. Прорастали при Александре Втором и при Николае Втором, а между ними — 13 лет — тишь да блажь...

В придворных кругах Дурново звали Петрушкой — за малый рост и энергию движений, по молодым летам смахивающую даже на юркость. И задвинули Петрушку на все царствование Александра Третьего (Миротворца). Обидно, однако царя не объедешь.

Уж этот женский пол: мягкие губы, обворожительный голос и нежность рук, груди... Стан гибкий, горячий. Локоны по обнаженным плечам...

Не скоро вспомнили о Петрушке.

С 23 октября 1905-го по 26 апреля 1906-го — министр внутренних дел. Основная заслуга в разгроме первой русской революции за Столыпиным, но и Дурново порадел. Иначе не повела бы за ним охоту Боевая организация партии социалистов-революционеров. Покушения готовят Азеф, Савинков, но, по словам Бориса Викторовича, Дурново «был неуловим». Революционеры выслеживают и стреляют в него, но убитым оказывается... француз Мюллер, весьма похожий на господина министра.

От участи фон Плеве Петрушку уберегла чисто профессиональная опытность. Террористы и плюнули: взялись за организацию убийства фон дер Лауница — петербургского градоначальника. А чего не убить? Ходит, как все. В упор и пальнули.

В зрелые лета Дурново носил усы книзу, стриженные волосы на пробор. Лицо имел русское, несколько устало-безразличное, даже брюзгливое. Но, как мы знаем, отнюдь не был лишен страстей. И влюблялся, а это уже неплохо его характеризует; стало быть, живой был человек. И букет полевых цветов ударял по сердцу. И мечтал...

11 марта 1912 г. Столыпин добивается увольнения Дурново за несогласие и оппозицию его, Столыпина, реформам. Дурново уже не возвращается на службу. К тому же под старость он почти ослеп. Скончался Петр Николаевич в 1915 г. 70 лет от роду, счастливо избежав революции и красного террора.

О младшем Дурново вспоминает Сергей Дмитриевич Сазонов (приятно убедиться, что мой анализ совпал с мнением современни-

ка; книгу Сазонова я прочел после опубликования «Огненного Креста» в издательстве «Новости»).

«Он (П. Н. Дурново. — Ю. В.) был в полном смысле слова блестящим самородком. Обладая научным багажом штурманского офицера и лишенный общей культуры, Дурново проложил себе путь к высшим государственным должностям своим трезвым умом и сильною волею. Достигнув высших степеней, он, тем не менее, не мог никак отделаться от свойственного ему полицейского мировоззрения. Сравнение его с графом Витте напрашивается само собою. В отношении отсутствия воспитания и культуры они оба стояли на одном приблизительно уровне. Что касается твердости воли и практического смысла, я думаю, что Дурново заслуживал пальму первенства. Обоим пришлось иметь дело с революцією. Дурново смело с нею сцепился, и боролся удачно. Витте как человек с двоящимися мыслями (имеется в виду склонность Витте к либеральным преобразованиям. — Ю. В.) сложил перед ней оружие. На счастье России, явился Столыпин и дал ей десять лет передышки (блистательного экономического расцвета. — Ю. В.)...»

И несколько слов о судьбе Тарле¹, даровитейшего историка, извлекшего из небытия данное обращение Дурново к Николаю Второму.

В 1929—1931 гг. Академия наук подверглась разгрому — это был последний старорежимный островок в смиренной большевиками стихии. Под расстрел, в лагеря и ссылку были сдвинуты сотни ученых. Евгению Викторовичу Тарле наряду с известным историком академиком Сергеем Федоровичем Платоновым (1860—1933) была отведена роль одного из организаторов монархического заговора. В итоге Тарле загремел в ссылку, в Алма-Ату. И вот тут в его судьбу вмещивается сам рок в образе Иосифа Виссарионовича. С того времени Тарле «выписывается» в одного из самых уважаемых членов академии.

Платонов был арестован, судим и удален в Самару, где 10 января 1933 г. и скончался.

Партийность в значительной мере возобладает над знаниями, и нащипгуют академию разного рода угодниками, подхалимами, слишком часто далекими от науки.

¹ Тарле, Евгений Викторович — из рода обрусевших французов. Отлично владел несколькими европейскими языками. До революции имел возможность работать в различных исторических архивах Англии, Франции, Германии. Это насытило его книги оригинальными историческими сведениями. Любя Россию, он сохранил глубокую привязанность к Франции — это чувствуется в его трудах.

...После навигации 1902 г. «Заря» была разбита и не имела запасов угля, поэтому экспедиция была снята пароходом «Лена» и через Якутск прибыла в декабре в столицу. Александр Васильевич предложил Академии наук, встревоженной участью Толля (он не вернулся с острова Беннетта к основному составу экспедиции) организовать спасательную партию, а для этого пройти на шлюпках к острову. Его товарищи отнеслись к идее отрицательно: «...такое же безумие, как и шаг барона Толля». Но когда лейтенант Колчак предложил взяться за «безумное» предприятие, Академия наук выделила средства, предоставив полную свободу действий.

Связавшись телеграфно со своим якутским знакомым — политссылным П. В. Олениным, — Александр Васильевич поручил ему подготовить на побережье собак и все необходимое, пока партия не доберется до низовьев Яны. В спасательную партию вошли боцман «Зари» Н. А. Бегичев и несколько мезенских тюленепромышленников, а также и Оленин...

Александр Васильевич прилег на лежанку (нет сил мотаться) и вспоминает; много ли нужно времени — а жизнь вся перед глазами проходит, только вглядывайся.

«С «Зари» взяли вельбот и в мае 1903-го перешли по льду на Котельный, вельбот тащили с собой. Ждали, куда вскрыется море, добывали пропитание охотой, не трогая провизию. Сладили из плавника полозья к вельботу, чтоб иметь возможность двигаться как по воде, так и по льду. Опробовали — все отлично. 18 июля вышли в плавание. Непогода преследовала: сплошные снегопады, суп из мечущихся в волнениях льдин, ветер. Часто мокрыми ночевали на устойчивых льдинах, вытянув и поставив рядом вельбот. Добрались до острова Новая Сибирь, а оттуда на шлюпке — и к острову Беннетта. К Беннетту пристали 4 августа. Почти тут же обнаружили следы: Толль снялся с острова в начале минувшей зимы. Нашли и взяли с собой его геологическую коллекцию, им составленную карту и еще кое-что — больше шлюпка не могла вместить.

Я дал названия в честь барона: гора Барона, полуостров Баронессы Толль, полуостров Чернышева.

7 августа покинули остров, 27-го вернулись к исходной точке плавания. По дороге останавливались на Ново-Сибирских островах — следов Толля нигде не было, гибель его представлялась несомненной. Мир праху его!

На Котельном оставались до замерзания моря, в октябре вернулись пешком на материк, в Усть-Янск...»

Работе Александра Васильевича над материалами помешала война с Японией. Известие о ней Колчак получил на другой день по прибытии в Якутск.

Оставив все дела на Оленина, добился откомандирования из подчинения Академии наук в распоряжение морского ведомства.

Благодаря настойчивым просьбам был отправлен в Порт-Артур. Служил на военных кораблях, командовал миноносцем, береговой батареей. Был ранен.

К ранению добавились серьезные расстройства здоровья, подорванного Севером: хроническая пневмония и суставной ревматизм в тяжелой форме.

Из госпиталя попал в плен. Через Америку вернулся в Петербург — шел апрель 1905-го. Был признан инвалидом и отправлен на лечение.

Лишь осенью пятого года смог вернуться в распоряжение Академии наук.

С осени пятого и до января шестого приводил в порядок и обрабатывал экспедиционные материалы. Экспедиция обогатила науку таким количеством научных данных — для их разработки понадобились многолетние усилия больших коллективов ученых.

Александр Васильевич выпустил две карты восточной части Карского моря (от острова Вилькицкого до устья Таймыра), план якорных стоянок на северо-западном берегу Таймырского полуострова, план Нерпичьей губы с лагуной Нерпалах (последний — целиком по собственной съемке и промеру); составлял объяснительный текст к картам и опись берегов.

10 января 1906 г. в соединенном заседании двух отделений Императорского Русского Географического общества сделал сообщение об экспедиции на остров Беннетта.

30 января Совет общества присудил Колчаку высшую награду общества — большую золотую Константиновскую медаль за «необыкновенный и важный географический подвиг, совершение которого сопряжено с трудом и опасностью».

Это было высшее признание Родины, почти бессмертие...

Свое отношение к будущему выразил и другой известный человек. Приблизительно в то же время (лето 1914-го — самый канун войны) появляется работа Владимира Пуришкевича «Перед грозой. Правительство и русская народная школа» (С.-Петербург, Электропечатня К. А. Четверикова). В отличие от сугубо доверительной записки Дурново книга Пуришкевича сразу становится известной русскому обществу.

Владимир Митрофанович был убежденнейшим монархистом, снискал известность думскими выступлениями, занимая самое правое крыло в отечественном славянофильстве.

Родился Владимир Митрофанович в семье бессарабского помещика в один год с Лениным. С молодых лет служил по министерству внутренних дел. Один из основателей Союза Русского Народа, после возглавил Союз Михаила Архангела. В стоны, проклятия, кровь и гной мировой войны служил начальником одного из санитарных поездов. При Деникине издавал в Ростове газету «Благовест», впадая все в больший антисемитизм и ненависть к интелли-

генции. Отдал Богу душу он в тифозной горячке у самого синего моря, в Новороссийске — из этого порта в 1920 г. на чем попало спасалась белая армия. Дорогу в Крым загородил генерал Слащев, и от Перекопа и до Севастополя развеялся покуда трехцветный российский флаг. Потому бежали в Крым.

Работа Пуришкевича «Перед грозой» — одна из страстных попыток толкования существа развития России с позиций нравственных.

Пуришкевич доказывает, что от Пушкина до Льва Толстого русская литература разваливает великое государство славян. Основа могущества народа — монолитность, преданность идее монархии, то есть исконно народной системе власти. Роль русской интеллигенции разрушительна, она ломает народную жизнь, дает простор процессам, глубоко чуждым народному духу и интересам. И Пуришкевич определяет русскую интеллигенцию как производное от «жидовства». Международное еврейство и порожденная им отечественная интеллигенция — вот истинные враги русского народа. Пуришкевич отрицает любые демократические формы развития, если они идут в обход монархии. Демократия — это всего лишь болезнь общества, гниение, привнесенное еврейством. Но самый опасный и воистину зловещий итог деятельности еврейства и интеллигенции — революция. Та самая страшная революция, которая и обломков не оставит от святой Руси.

В предвидении будущего России Пуришкевич поднимается до провидчества. Он видит ее гибель и пишет о ней, когда общество бездумно отдается радостям жизни, перебирает дни в праздных удовольствиях и любви.

Революция уже в народном и государственном организме. Россия ею смертельно поражена — опомнитесь, люди! Боль за Россию раскаляет каждое слово, когда Пуришкевич пишет о революции.

«...Когда под дикий крик интернационала, с красным флагом и топором в руках пойдет гулять по родовым поместьям вашим разъяренная чернь и зарево пожара горящих усадеб ваших ярко осветит ваши панически искаженные лица, когда в поисках защиты вы — винокурствующие Робеспьеры и использующие Мараты — станете метаться, беспомощные и жалкие, взывая к небу о спасении, знайте: вы, и только вы одни, будете виновниками собственной гибели в чаду безумием вашим подготовленных событий...»

Жалкие люди, люди без принципов, без убеждений, наглые перед слабою властью, трусливые и искательные перед властью сильною, живущие благополучием текущего дня и неспособные взглянуть в будущее, там, только там — в дыму пожара и у родного пепелища, — прозреете вы духовно, оглашая Россию криками вашего раскаяния и горькими слезами об утраченном!..»

Слова эти были написаны в самые благополучные дни — 13 июня 1914 г. (по старому стилю). И именно все так и вышло: пепелища и

кровь, кровь и ужас, но только все гораздо беспощадней и разрушительней.

Работы Шмакова, Нилуса, Пуришкевича породили обильную компиляцию (столь же вдохновенно яростную), которой, конечно же, не исчерпает наше время. Самое главное в этих компиляциях — забота о воспитании юношества: решительное противодействие школе, в которой идет разложение, а не созидание родных начал жизни.

Все в той же книге «Перед грозой» Владимир Митрофанович пишет в преддверии двух революций:

«Гибнет великая страна, гибнет Россия, гибнет народ-великан, живой, не изжившийся, полный задатков будущего, не растративший духовных сил своих и мощи государственного строительства.

Гибнет народ, вынесший на плечах своих не одно иноземное нашествие: и татарщину, и смуту 1613 года, и волну иноплеменных языков начала XIX века. Гибнет Россия, и ужас положения в том, что слепыми стали зрячие, что не хотят понять они того, куда идет народ, увлекаемый в бездну дисциплинированными рядами темных, открыто действующих революционных сил, коим нет отпора и нет преграды! Молчит русское общество, в глубокой летаргии покоятся те, которые должны работать, спит убаюканная миражом кажущегося спокойствия правительственная власть, а в низах народных идет глухая упорная работа над душою народа тех, которые, сознав истинные причины своих неудач в дни революционного угара 1905 года, дружно и безудержно взялись за их искоренение...

В дни прошлого народ был цел. Безграмотный и темный, он хранил, однако, в себе живой родник народного самосознания и силою своего духа отражал удары, ниспосылавшиеся ему ходом исторических событий...

Так шли года, проходили столетия, вознесшие родину нашу на ступени величайшей мировой славы, создавшие духом ее народа из России не державу, не государство, а часть света...

...Окреп и вырос истинный хозяин земства, так называемый третий элемент. Из рядов его вышел класс своеобразной полуеврейской и сплошь беспочвенной «интеллигенции», властно захватившей все отрасли земского хозяйства...

А в низах народных в переживаемые нами дни идет без шума, без огласки, идет, все разрастаясь, все ширясь, кипучая работа разрушения, выковываются сердца для второй русской революции (их грядет две. — Ю. В.), готовятся умы для восприятия насаждаемых идей, воспитываются души в учениях, толкающих на путь грядущей анархии, и непреклонною волею дисциплинируются характеры той темной массы, назначение коей — стать орудием разрушения России (вспомним, как представители этой массы расправились с семейством царя, как опрокинули Россию и жутко, страшно, кроваво насильствовали ее и не отпускают донныне, именно эти темные массы, как внушили им: «соль земли». — Ю. В.)...

Народу спор между западниками и славянофилами глубоко различен — сражаются крохотные верхушечные части его. Народ двинет за тем, кто избавит его от нужды, — это главное.

Но в том-то и дело, что этого избавления не дают ни те, ни другие... Все требуют только жертв, преданности и терпения. И всем на народ в итоге плевать. Идет торг — и все забывают об иступленной ярости, которая зреет в измученном и обманутом народе.

Когда нужда и голод наложат руку на горло народа — все проповеди потонут в крови и разрушениях.

Народ повернет лишь к тому, кто даст ему не речи и съезды, а достаток, сытость. Он подчинится лишь власти, за которой будет реально стоять сытость и прочность устройства жизни. Но горе, если народ почувствует на своем горле руку голода — он этого никогда не потерпит, и никакие жертвы, разрушения, муки уже не будут для него иметь значения.

Не дайте этой руке опуститься на горло народа...

Шульгин оставил любопытные строки о Пуришкевиче:

«...Несомненно, что в истории дореволюционной России сохранится имя этого заблуждающегося и мятущегося, страстного политического деятеля последних бурных и трагических годов крушения империи...»

А Шульгин достаточно близко знал Пуришкевича. В общем, стремились повернуть события в одну сторону. Оба боготворили монархию и царя Николая.

Осенью 1904 г. Александр Васильевич в Порт-Артуре. Вместе с эскадрой он участвует «в мелких столкновениях и боях во время выходов». Из-за ревматизма и практически полной блокады флота он подает рапорт и получает назначение в крепость — командует батареей морских орудий на северо-восточном участке ее... «На этой батарее я оставался до сдачи Порт-Артура, до последнего дня...»

«В 1905 году я был взят в плен, затем я вернулся, был болен и лечился.

...С осени я продолжал свою службу, причем на мне лежала еще обязанность перед Академией наук дать прежде всего отчет, привести в порядок наблюдения и разработку предшествующей экспедиции, которая была мною брошена (из-за направления в Порт-Артур. — Ю. В.) Все мои труды по гидрологии и магнитологии, съемки были брошены, так что я опять поступил в распоряжение Академии наук и осенью 1905 года занимался в Академии наук, но уже занимался трудом кабинетным, работал в физической обсерватории и приводил в порядок свои работы... Затем в Географическом обществе я получил высшую научную награду за свои последние экспедиции — Большую Константиновскую золотую медаль...»

Тогда северные широты не давали ни двойных окладов, ни двойных повышений, ничего... кроме риска гибели. Но человечеству нужен был Север. И эти люди чувствовали этот зов и шли...

Никто не роптал на трудности, никто не отказывался повторять путь павших. Это был светлый дух, подвиг. Это было для людей.

Колчак мечтал о новых экспедициях...

«Нет, только казнить», — сказал себе председатель губчека, как только увидел Правителя — тот входил к нему в кабинет с конвоиным.

Ум, твердость и логичность ответов адмирала снова и снова убеждали Чудновского в ненужности, даже опасной вредности суда, ежели бы такой состоялся.

— ...Извольте, господин чекист, — Александр Васильевич посаживает пустую трубку, — повторяю еще раз. Купить поддержку союзников ценой расчленения России, то есть отторжения наших прибалтийских территорий, Кавказа, Средней Азии и части Бессарабии, иначе говоря, возвращения России почти к границам допетровского времени, являлось совершенно неприемлемым. Во всяком случае, взять на себя подобную ответственность перед русским народом я не смел. Все упиралось в Учредительное собрание. Мы изъявили согласие признать де-факто правительство Финляндии во главе с генерал-адъютантом Маннергеймом... впрочем, при чем тут генерал-адъютантство, это все в прошлом. Так вот, окончательное решение финляндского вопроса тоже прерогатива Учредительного собрания. Я должен был довести Россию до Учредительного собрания — вот моя роль. Она не заключалась в том, чтобы объявлять, каким условиям можно жить, а какие должны исчезнуть...

Товарищ Чудновский стоит напротив адмирала и меряет взглядом. Шершавит это адмирала, привык, коровий хвост, к обходительности и политесам.

— ...Евгений Карлович предлагал мне согласиться на предложение Маннергейма: сотысячный экспедиционный корпус финнов в обмен за независимость Финляндии. Евгений Карлович предлагал...

— Евгений Карлович? — спрашивает Попов.

— Евгений Карлович — это генерал Миллер.

Попов старательно заносит уточнение в тетрадь и ставит вопросительный знак.

— Мы слушаем вас, — говорит Денике.

Он особенно напорист. Дал понять ему председатель губчека, что будут кончать Колчака. «Вытряхай из него сколько можешь, не церемонься», — обронил утром Чудновский. Денике и вцепился клещом в адмирала. Даже в камеру ходил выяснять некоторые вопросы, но все с разрешения Чудновского и с личным отчетом по каждой серьезной новости.

— Генерал Миллер предлагал дать согласие на признание независимости Финляндии¹. Ведь генерал Маннергейм собирался поставить финские войска под мое верховное командование. Войска в первую очередь обрушились бы на Петроград и Москву. Разгром большевизма в таком случае не вызывал сомнений. Так вот Евгений Карлович предлагал после разгрома большевиков отказаться от обещания, мало ли что... пусть финны ждут решения Учредительного собрания. На подобные низости я пойти не мог. Нашу позицию в отношении Финляндии определяла и высадка германского экспедиционного корпуса, вы это, конечно, помните... После этого Финляндия заявляла пожелание иметь на своем финляндском троне Филиппа — герцога Гессенского. Финляндия, таким образом, превращалась в вассала Германии — исконного недруга России и славянства. Вы помните, каким страшным оказался Брестский договор — он сразу показал, что такое Германия по отношению к России. И этот договор ставил под угрозу целостность России. Он отторгал от нее значительные территории. Этим договором Россия отрезалась от Черного моря, да и Балтики... Россия теряла все, что было ею приобретено в крови, страданиях и нужде за три столетия. В экономическом отношении Россию придавливал договор с Германией 1901 года, он изменялся в пользу Германии. Обусловлена была уплата убытков, понесенных при революции, лицам немецкого происхождения. А контрибуция в восемь миллиардов марок! Все огромные военные материалы на территории, занятой врагом, переходили в его собственность. Россия обязалась демобилизовать армию, разоружить флот, и до выяснения всех условий перемирия немцы имели право занять весь запад до линии Нарва — Гатчина. В оккупированных немцами областях русские должны были работать в трудовых дружинах. Разве это не кабала? И этот договор подписали вы, большевики. И после этого вы спрашиваете, почему мы поднялись на вас... **Если бы не победа союзников, Россию ждала кабала.** Белое движение рассматривает большевизм как государственную катастрофу. Вы не только продали Россию немцам, вы разложили русский народ, поставили к могильному рву значительную часть его... Только подумать, немцы стояли гарнизонами в Крыму, Одессе, Таганроге!..

— В каких отношениях вы находились с Миллером? — спрашивает Денике.

— 10 июня 1919 года я подписал указ об утверждении генерал-лейтенанта Миллера главнокомандующим всех сухопутных и морских вооруженных сил на Северном фронте с предоставлением ему

¹ 31 декабря 1917 г. Финляндия объявила об отделении от России. 2 января 1918 г. Совнарком признал самостоятельность Финляндии. 8 марта того же года газеты сообщили о Гражданской войне в Финляндии — большевики признавали самостоятельность на свой лад. Эта борьба затянулась на годы.

соответствующих прав. Их образование... правительство Чайковского, Миллера... они именовали себя Временным правительством Северной области, но так было до моего утверждения на пост временного главы России. Самого же Евгения Карловича я знаю с 1913 года. Помнится, он служил тогда начальником штаба Московского военного округа в чине генерал-майора...

Приглядывается к Правителю Семен Григорьевич: сдает его высокопревосходительство, факт, сдает. Кабы не помер наперед всенародного приговора. Заволновался, заходил... Решил: «Нынче же лекаря пошлю, и с ним — табачку. Пусть посмолит, авось покрепче станет». И распорядился:

— Допрос окончен. Плешаков! Увести заключенного!..

— ...Есть Родина! — говорил адмирал, поднимаясь и расправляя шинель. — Не умирай за нее наши предки, не было б такой нации — русские.

Гитлеровский генерал Штюльпнагель¹ сказал в 1942 г.:

«Мы не можем проиграть эту войну, даже если бы стратегически мы были бы побеждены, потому что мы уже во время оккупации неприятельских земель истребили столько населения, что эти народы уже никогда не поднимутся».

Эту фразу он произнес на русской земле.

Генерал имел в виду не только небывалое количественное сокращение населения, но и вообще надрыв (физический и душевный) всего народа.

Советский Союз потерял около 30 млн. самых лучших своих сынов и дочерей. Это был удар не столько по большевизму, сколько по основам российской государственности, преимущественно по славянству. Недаром оказались столь жуткими потери Белоруссии — не вместить их в разум.

Гитлер сознавал, что сила, цементирующая сопротивление на Востоке, — Россия!

До этого была истребительная первая мировая война (1914—1918). Россия понесла самые большие потери. За ней без паузы последовала Гражданская война (1918—1922). Это — несметное количество убитых, умерших от болезней и голода.

Гражданскую войну сменил террор. В него огромным потоком влились жертвы коллективизации. За мирные годы между Граждан-

¹ Штюльпнагель, Карл фон — генерал пехоты, до нападения гитлеровской Германии на Советский Союз — 1-й обер-квартирмейстер Генерального штаба сухопутных войск (ОКХ). После крушения наступления вермахта на Москву отстранен от командования Семнадцатой пехотной армией. Вскоре занял пост Военного главнокомандующего во Франции. Повешен 30 августа 1944 г. за принадлежность к заговору 20 июля того же года против фюрера.

ской войной и нападением Гитлера на Советский Союз легли в землю многие миллионы людей.

После этого — Великая Отечественная война. Та самая, о жертвах которой говорил генерал Штюльпнагель.

Мы должны были перестать существовать только от потерь этой войны. Но избиение народа продолжалось... Не переставали мучить и убивать и в последующие десятилетия.

И во все годы советской власти (почти три четверти века) полуголод (в деревне — так почти не проходящий), нужда, надрывный труд, обман, тотальная слежка и страх, жизнь по приказу... Целый народ приучали ко лжи!

Скажите, какими могут быть люди после этого?

И после всего, что сделано, КПСС и советская власть объявляют о «гениальном наследии Ленина», «самоочищении партии», «новом уставе и новой программе партии» и «демократическом социализме»!

Это ли не глумление?!

Когда же перестанете мучить Россию?

Когда откажетесь от своего идола?..

Похлебал Александр Васильевич каши и курит трубку. Пьян табаком — вот уж праздник.

В камере — мрак, едва различимы лежанка, дверь. По обыкновению барахлит станция, и света нет. В коридоре погромыхивают сапогами дружинники, их к охране подбавили. Теперь этой охраны под дверью вдвое больше. Надо полагать, бояться каппелевцев, не уверены. Что ж, пусть стерегут.

Эх, шагнуть бы на волю!

О предательстве чехословаков Александр Васильевич вспоминает уже без боли. Это его вина: давно к тому клонило, а все не придавал значения, считал себя полномочным Верховным главнокомандующим — земля-то русская.

Вереницей пошли в сознании лица Чечека, Сырового, Гайды. «Чертовщина какая-то! Вроде порядочные люди!..»

В год чехословацкого мятежа Радоле Гайде исполнилось двадцать шесть, вся жизнь у ног, только шагай...

Не дано знать Александру Васильевичу, куда отшагает Гайда. В 1948 г. за измену Родине и сотрудничество с немецкими фашистами будет Гайда казнен по приговору чехословацкого народного трибунала. Вполне вероятно, припомнили ему тогда и сибирские похождения.

В 56 лет пресекалась жизнь бывшего пленного капитана, потом командира полка чехословацкого легиона, потом одного из руководителей антисоветского мятежа, потом генерала колчаковской армии, потом отставного генерала колчаковской службы, подняв-

шего во Владивостоке мятеж против Верховного Правителя (когда того уже, как зверя, обложили красные восстания и составам не было ходу в Иркутск), а под конец жизненной карьеры — генерала уже родной, чехословацкой службы и руководителя фашистской организации, связанной с гитлеровским Берлином...

Наблюдающими за строительством «Вайгача» и «Таймыра» (1908—1909) были Колчак и Ф. А. Матисен. Александр Васильевич совмещал отлучки на Невский судостроительный завод с основной службой — в Главном морском штабе. «Вайгач» сразу оборудовался под картографические работы. Решив посвятить себя Арктике, Александр Васильевич добивается перевода. Капитан второго ранга Колчак получает под командование «Вайгач».

«Вайгач» и «Таймыр» числились военными кораблями, так как имели пушечное и пулеметное вооружение.

Базой по изучению Арктики был определен Владивосток.

27 октября 1909 г. «Вайгач» и «Таймыр» вышли из петербургского порта и южными морями прибыли во Владивосток 3 июля 1910 г.

После 1910 г. Александр Васильевич не выходил в полярные моря, но оставался одним из первых авторитетов. Именно он 12 и 13 мая 1912 г. подверг критике план экспедиции Г. Я. Седова, который рассматривала специальная комиссия. Как отмечают историки, Колчак выступил против престижной гонки к полюсу. Он полагал самым важным практическое освоение доступных для плавания северных морей.

Писатель Виктор Шкловский писал о 1919 г.:

«Жил я тем, что брал в Питере гвозди и ходил в деревню менять на хлеб.

Гвозди брал у Нади Фридлянд. Она же мне давала паркет для топки. Одного портфеля паркета достаточно для того, чтобы истопить печь.

В одну из поездок встретил в вагоне солдата-артиллериста. Разговорились. Его вместе с трехдюймовой пушкой уже много раз брали в плен то белые, то красные. Сам он говорил: „Я знаю одно: мое дело — попасть...“»

На допросах часто называют улицы, площади Иркутска или Омска. Александр Васильевич скверно знает Омск, еще хуже Иркутск. Названия улиц ничего не говорят.

Он докуривает трубку, выколачивает ее о край лежанки и бормочет:

— Не накروют тебя, адмирал, андреевским флагом.

В 1910—1915 гг. суда Гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана «Таймыр» и «Вайгач» собрали обильную научную жатву, совершив, кроме того, сквозной переход по Северному морскому пути, правда в две навигации.

Парусно-моторная шхуна «Заря» не шла ни в какое сравнение с этими стальными судами ледокольного типа. Суда были новейшей постройки, спущены на воду весной 1909 г. Александр Васильевич принимал участие не только в делах и заседаниях Гидрографической экспедиции, но и в обсуждении проекта, а после — и в строительстве этих судов. Непотопляемостью судов занимался один из высших кораблестроительных авторитетов, академик Крылов. Это принесло Алексею Николаевичу мировое признание... Не раз вместе бражничали. Оба ценили друг в друге преданность флоту и страсть к науке. Несомненно, не будь войны, Колчак в ближайшее время занял бы место академика в Российской академии наук. Заслуги его в исследовании Севера были огромны.

В 1913 г. начальствование над практической экспедицией взамен заболевшего генерал-майора Сергеева принял командир «Таймыра» капитан второго ранга Борис Вилькицкий — сын начальника Главного гидрографического управления Андрея Вилькицкого.

Экспедиция завершила поиск, предпринятый в свое время Колчаком. Тогда, на острове Беннетта, Александр Васильевич не смог забрать геологическую коллекцию барона Толля. Поисковая партия обнаружила ящики с образцами, но сил и времени для дальнейшего розыска и переноса грузов не оставалось — поджигала полярная осень. Вельбот, на котором пробивалась поисковая партия, годился лишь для прибрежного плавания, но никак — в открытом океане. Льды появлялись совершенно неожиданно и порой со всех сторон. Весь поиск являлся поступком героическим.

Александр Васильевич составил подробное донесение с картой и географическими привязками, подчеркнув научную ценность брошенной коллекции.

В сентябре 1913 г. «Таймыр» и «Вайгач» приблизились к острову Беннетта. Матросы-добровольцы с обоих ледоколов под командованием лейтенанта Жохова высадились на той части берега, которая была указана Колчаком. В островной долине покоились четыре ящика и корзина с геологическими образцами, а также два полуметровых обломка бивней мамонта. Все, как оставил Колчак.

Лейтенант Жохов с матросами установил на острове деревянный крест с чеканкой по медной доске:

«Памяти погибших в 1902 году начальника экспедиции Эдуарда Васильевича Толля, астронома Фридриха Зееберга, проводников Василия Горохова и Николая Протождяконова.

5 сентября 1913 года»

Тогда же экспедицией была осуществлена подробная съемка острова Беннетта.

Александр Васильевич изучал отчет Бориса Вилькицкого. Он прикидывал новые, уже свои плавания.

«...Свою веру защищаешь не тем, что отправляешь другого на костер, а лишь тем, что в огонь за нее идешь сам».

Александр Васильевич этих слов Льва Толстого не знал, но сейчас именно так думал: удалось ли ему это, хотя бы это — сгореть самому.

В этом ведь тоже великий смысл. Порой гибель — как победа. Удастся ли ему это?..

Или все, что было и будет, только поражение, провал, бездна?..

Он сидит на краю лежанки, смотрит в одну точку и думает только об этом, уже какой день — только об этом...

Около трех лет понадобилось Александру Васильевичу для обобщения материалов северного плавания. 22 марта 1906 г. он выступает с докладом в заседании Академии наук «Лед Карского и Сибирского морей». В 1909 г. выходит сборник его научных работ.

Денике по листочку Чудновского лепит вопросы, а сам председатель губчека в сторонке. Это дает ему возможность лучше понимать адмирала — как на просвет он перед Семеном Григорьевичем. Основные вопросы выяснены, так, «мелочевка» осталась. Отплылся адмирал. Быть ему, беззубому хрену, с пломбой. Небось заблажит. Мамочку и Господа вспомнит. Поваляешься в ногах, ваше высокопревосходительство!

— Я прошу Тимиреву не принимать всерьез, — вдруг заявляет Александр Васильевич. — Она мне чужая. Вы можете погубить невинного человека.

Попов оторвался от записей и заулыбался. Сразу стало ясно: не раз толковали о Тимиревой — так сказать, точка зрения выработана. А товарищ Чудновский с ходу подумал о супруге адмирала — Софье Федоровне — и налился смехом: чужую пашню пашет, а своя в залежи... А может, и есть у нее там, в Париже, ха-халь. И на железо свел мышцы лица, чтобы и в самом деле не хотнуть.

— Это не ваша забота, — говорит адмиралу Денике. — Мы уж разберемся.

И смотрит на Попова.

Чудновский вспомнил: «Косухин обещал заехать. Вместе договорились пощупать одну квартиру. Люди готовы. Накрыть бы Жардецкого... а заодно и Глушкова, Холщевникова, Иванцова... Вот был бы улов!»

— Если бы вас освободил Каппель? — вдруг спрашивает Денике и аж привстает.

— Я бы опять взялся за оружие. Вы, большевики, губите Россию. И никакого другого языка не понимаете, кроме силы. Но живым я уже вам больше бы не дался. Ни я, ни Анна Тимирева...

Смотрит на девку Флор Федорович и дивится: «Кто, из какой драгоценной породы вырезал эти линии?»

А девка на свой лад толкует его внимание: ярится комиссар, с собой удержу нет. Ничего, сейчас она даст ему полное понимание.

Крутится голышом, а в постель лезть не смеет. Вроде нет команд, осерчает еще. Ишь черный какой!

А Флор Федорович и призабыл о стуже, гостье своей, самогонке.

В комнате шибко морозит, аж под одеждой холод щупает, а тут голышом. Девка зубами постукивает и злобится. Суслик чернявый! Ничего, погодь... Сейчас она даст ему полное понятие. Чай, не таких до непробудного сна укатывала. И этого укатает... Подумаешь, комиссар! Сейчас она его без продыху...

Флор Федорович привел ее из Глазкова, промышленяла у чехов. Тоскливым, волчьим глянуло возвращение в гостиницу.

Девка стынет, роется в своем барахлишке — одеться, что ль, застудит, хрен бородастый. Ему что, в комиссарской сбруе. А Флор Федорович решил, будто она дырок в чулке да исподнем застеснялась.

— Дырок стыдишься? — говорит. — Стыдно быть подлецом, а все остальное не стыдно. Все остальное — человеческое и понятное.

Тихо в гостинице, тоже затаилась. Кровь чует...

— Как звать? — спрашивает Флор Федорович по прозвищу Три Фэ и кивает: мол, давай под одеяла. Сам заходил по номеру, маузер поерзывает на ляжке. Оружие.

— Арина, — шепчет девка.

Трясет ее от холода, тянет одеяла на подбородок. А постель-то ледяная! Не удержалась и тихонечко пустила по матушке. Чтoб ее, эту постель!..

«Истина не может заставить человека быть недобрым или самоуверенным». Привязались же слова Льва Толстого. Три Фэ крутанет башкой, а не отлипают. Что им нужно от меня?..

— Пить будешь, Арина?

— А как без того, дядя? Беспременно буду, ты только поднеси.

— А сало? Хлебушком с салом закусим? Эвон, целый день мотаешься — и ни крошки во рту.

Арина аж титьки выпростала из-под одеяла. Ну кобылой заржет! Сало ведь! Да с хлебом! Что же раньше молчал? Да я тебе так отпущу — ноги цельную неделю будут трястись! Ажно устройство опухнет. Сало, комиссар, гони, а уж я отоварю. Я уж...

Сама, знамо дело, улыбается — рот до ушей. Зубов, мать моя родная, куда столько! Не шибко белые, но крепкие, ровные. А

грудь — ну как не смотреть: два наливных яблока. Будто спелые, октябрьские антоновки, только ядреной белизны и поширше. Соски словно алым сургучом запечатаны, один — с запекшейся кровью. Это от исподнего, натирает. Разве ж это одежда? Из мешковины все...

Нарезает сало и хлеб Флор Федорович, сопит. И то на титки зыркнет — ну забавы учиняет девка, эк манит! Была у меня такая, была...

То о Левушке Толстом думает. На две части разрывает комиссара. Один раз не выдержал — подошел к Арине. Широко, проворно так шагнул. Одеяла откинул и рукой все выщупал, огладил, примял. Кивнул ей, она поняла и животом повернулась. Три Фэ аж глаза выпер и громко слотнул, но взял себя в руки. А так бы в одежде, даже не распоясался бы, так в башку ударило. Экое лоно! Волосы по низу живота — рыжеватые колечики. Пышный клин, хоть расчесывай.

Арина пальчиками огладила штаны. Уж на что привычная, а глаза подняла: «Эк забрало комиссара!» Вдоль ноги, под штанами, чисто из стали. Заулыбалась: ого, комиссар-то из... И бровь хитро вскинула...

Грех сказать, а мысли о Толстом не ушли, точат вот... не отодвинуть и не обойти... Отошел к столу. Режет сало и об адмирале думает. После положил нож, руки упали вдоль тела, и стоит, сошли мысли на чем-то очень важном — обо всем забыл. Потом протянул сало и хлеб Арине, полез в тумбочку за бутылкой.

Арина здоровущими глазами на сало уставилась. Господи, да за сало!.. Да любого уходит! Да по десятку зараз пропускала! А тут! Тьфу!..

Лампочка над столом на всю нить калит, трудится электростанция. Свет всем надобен — и красным, и белым, и белочехам, и атаманам, и просто иркутским мирянам обеих вер — пятиконечной и Иисуса Христа.

Только тем, кто в любовном жару счет времени потерял, свет без надобности. Тут руки все видят и слышат. Губы и руки. Старается девка, ажно кровать на все четыре ножки скок дает. Зад у девки справный, да сама в силе. Ох, горячо, ох, сладко!..

Колчак по привычке к штабной работе запомнил имена главных в ревкоме: Ширямов, Янсон, Чудновский... Что ж тут Черепанов хлопал глазами? Каждое наше движение прудили враги. Тыл смердил — это факт. Разрушали и враги, и свои же, белые.

Александр Васильевич углубляется в мысли о Боге. Для него он хранитель вечной красоты, терпимости и смысла жизни. А люди все это разменивают на кровь, обман, пули...

И снова окидывает взглядом всю громаду проигранного дела.

Белое движение корнями уходит в душу России. Оно из ее традиций, прошлого и будущего — это не марксизм, чуждая, иноплемен-

ная философия. Ничего русского в ней. И души нет, сердца нет — только черствая необходимость следовать догмам, все гнуть под догмы...

«Как все начиналось, я помню, — шепчет Александр Васильевич. — Меня не собьешь рассуждениями». И он крестится не так — а пусть смотрят.

Спустя полтора месяца после большевистского переворота в Петрограде, в середине декабря 1917 г., Севастополь потрясла первая массовая резня. И до этого резали и били, но не в таком масштабе. Александр Васильевич тогда находился далеко, на «Карио-Мару» возвращался... а куда, собственно, было возвращаться?..

Однако он был осведомлен в подробностях о том, что имело место на флоте, которым он командовал еще каких-то полгода назад. Морских офицеров стреляли, вешали, избивали до смерти, увечили, топили, привязав к колосникам.

Через два месяца, в феврале 1918 г., побоище повторилось. Тут жертвами в основном стали сухопутные офицеры. За двое суток их было растерзано до тысячи человек! В своем большинстве это были мобилизованные интеллигенты в погонах.

Мировая история не знала столь массового избиения офицерства.

На транспорте «Румыния» бывшего подполковника Егошина связали и засунули в пароходную топку.

Как бывший командующий флотом, адмирал знал немалую часть убитых. Кстати, полковник Грачев пробирался тогда именно из Севастополя, только задержался там до весны, опасно было даже появляться на улицах...

Над офицерами глумились: заставляли целовать землю, сносить оплеухи, плевки, стоять без штанов, но и это чаще всего не спасало. Да, так это начиналось, вернее, продолжается с лета семнадцатого. Эта история с кортиком...

Я должен все сказать на суде. Как важно, чтобы присутствовал хотя бы один иностранный корреспондент!

Важно потерять всякую жалость к себе, отрешиться от жизни, сохраняя в себе лишь идею. Но ни в коем случае не оказаться в роли страдальца за идею.

Колчак раскидывает свое поведение на неделю, даже месяцы и не ведает, что жить ему считанные дни. Уже в объёмах те пули, что порвут его тело. И в Ангаре вырублена прорубь, в которую засунут его. И сегодня его в последний раз побреет тот безъязыкий цирюльник. И Анна получит от него предпоследний карандашный привет.

Размышляя о кровавом человеколюбии ленинцев, он сбивается на торопливый шаг, почти бег. И тут же грузно, беззвучно откатывает дверь, и в камеру вваливается дружинник. Это уже не производит впечатления на Колчака...

Единственно, в чем убедила его сибирская катастрофа: Россию исцелит только время, силой ей ничего не навязать. Этот вывод поражает, и он долго расхаживает.

Он удивляется себе: никакого желания читать, даже для того, чтобы отвлечься. Из каждой строчки прут самодовольство, зависть, глупость и страсть к богатству — деньги любой ценой!..

И он заулыбался, вспомнив, как в детстве, кроме книг о море, увлекался рассказами о прошлом и, смешно сказать, книгами об охоте на тигров!

«Вот и доохотился, — подумал он, — а главный зверь в Москве, и его не достать!»

И, уже забываясь в летучем пятиминутном сне на лежанке (согнут крючком, руки в карманах), ясно-ясно представил этого гнома чекиста, отметив перемены в нем. Что-то посветлел иркутский ангел смерти. Определенность обозначилась ко мне. Похоже, известно ему что-то, и это «что-то» — моя судьба...

Тяготы войны сами по себе не были в состоянии вызвать того сверхъестественного озверения, которое наподобие шквала поразило солдатскую массу.

Заступничество России за Сербию (вслед за убийством эрцгерцога Фердинанда); попытка уладить конфликт, грозящий мировым пожаром; объявление войны России Австро-Венгрией и Германией отозвались неслыханным подъемом в обществе.

Необъятная коленопреклоненная толпа замерла на Дворцовой площади — никто не гнал людей под стены Зимнего, не обязывал выражать чувства преданности государю императору. Это был искренний патриотический подъем, любовь к Отечеству и единение народа в час испытания вокруг верховной власти (не по указке, как во все десятилетия советской власти). Таким порывом верности Отечеству и престолу был потрясен даже сам Николай Второй.

В первую неделю на сборные пункты прибыли практически все, подлежащие мобилизации, — 95%. Число добровольцев из всех слоев общества (не мобилизованных) оказалось столь велико, что запись была ограничена.

От Балтики до Черного моря Россию заслонила огромная армия, готовая принести себя в жертву, но уберечь свой народ.

Нет, это была не афганская война (1979—1989) на чужбине и против ни в чем не повинного соседнего народа. Эту войну наш народ не знал и знать не хотел...

И вдруг... сдача западных губерний Российской империи, массовое дезертирство, а вскоре и самосуды над офицерами, развал фронта и клокочущая разрушительная ненависть солдатской массы...

Сначала в Думе речи кадетов и представителей союзных им группировок — направленное ошельмовывание верховной власти (не ангельской, конечно, но ни в коем случае не купленной немцами, как это день за днем утверждали думские златоусты Милюков, Гучков, Керенский). Думские разоблачения имели смысл антивоенной пропаганды. Вождей кадетов и октябристов интересовала власть,

и только власть. В условиях усталости, лишений, неизбежных при любой затяжной войне, эта цель казалась вполне достижимой. Следовало спешить — другого подобного случая история уже не предоставит. Был открыт самый настоящий загон на верховную власть и самого царя: свалить монархию, орсепубликанить Россию, цена значения не имеет. Это был заговор, уходящий своими нитями и за границу. Думские деятели стремились изолировать Николая Второго, огульно, а чаще всего и лживо, безосновательно черня всю систему и прежде всего личности самого императора и императрицы. Распутин тут оказался весьма кстати. От верховной власти во главе с царем отступал не только народ, но даже высшие слои общества, составлявшие опору монархии. Образовывался вакуум. Именно поэтому с такой легкостью свершилась Февральская революция. Все опоры власти были старательно подпилены.

Триста лет стояла империя Романовых — и ничто ее не могло поколебать...

Россия была потрясена думскими речами. Россия забурлила, разложение первым тленом тогда коснулось армии, как, впрочем, и всей страны.

Все доделала, все довела до степени звериной ярости все разъединяющая и разъедающая классовая агитация и пропаганда большевиков после Февраля семнадцатого. Антивоенная пропаганда приобретает качественно иной характер. Армию и страну поражает настоящий мор взаимной ненависти.

Эта эволюция настроения армии чрезвычайно убедительна в беглой зарисовке Е. А. Керсновской в книге воспоминаний «Наскальная живопись»¹.

«Меньшая сестра моего отца... не блистала образованием и талантом... Алексей Иванович Богачев, ее муж, был из бедной крестьянской семьи — старший из шести братьев. «В люди» его вывел деревенский поп, устроивший его в кадетский корпус, который он окончил блестяще и стал офицером. Дворянство он получил вместе с орденом Владимира... Был хорошим хозяином и обожал цветы, особенно розы. За мягкий нрав и скромность заслужил кличку Божья Коровка. Солдаты — подчиненные — его боготворили.

Кто бы мог подумать, что на войне он окажется героем? Что, не зная немецкого языка, он, переодевшись, проникнет в расположение неприятеля и лично произведет основательную разведку того участка, куда ему предстояло вести свой полк. Главнокомандующий Юго-Западного фронта генерал Брусилов обнял его перед строем и приколол на грудь своего «Георгия». В одном из последних рывков, завершающих штурм Перемышля, дядя Алексей наскочил на фугас и был контужен.

¹ См.: «Знамя», 1989, № 3.

Из госпиталя приехал он на две недели к семье в Одессу. Полностью своего отпуска он не использовал: поторопился обратно на фронт.

— Куда ты торопишься? Побудь с семьей! — просила жена.

— Но ведь там — тоже моя семья... И я не могу быть спокойным за них, а за детей я спокоен: даже если меня убьют, они не будут одиноки — надеюсь на тебя.

...Его же солдаты его и убили. Вернее, зверски замучили. С тела посрезали «ремни» кожи. Сестра его похоронила, но без головы: голову солдаты выбросили в нужник».

Ленинская пропаганда сделала свое. Офицеры оказались врагами (классовыми), то бишь за чертой человечности. Вчера солдаты боготворили своего героя командира, а сегодня выбросили его голову в нужник...

Эта ненависть и сейчас, спустя почти век, никак не уймется. Клочет в сердцах. Настолько силен яд, впущенный в тело и душу народа. Ему еще очень долго болеть, не десятилетия. Яд ленинизма, яд жестокой, безнравственной утопии, привнесенный насильственно, проник слишком глубоко.

Никак не разглядятся морщины ненависти на челе России.

Глава V

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НОМЕР ДВАДЦАТЬ СЕМЬ

«Не пошли в обход, не осадили каппелевцы, последние части выходят к городу, вот-вот навалятся! Слышите, что ночами у Иннокентьевской? Они же там разворачиваются. Что чесать языком, чай, не гимназисты, сами ученые — этих пленом не соблазнишь, этим лучше погибель в снегу или от тифа, пули. Да разметут Иркутск, коли смухлюют чехи!» — так начал свое историческое сообщение ревкому товарищ Чудновский.

И в самом деле, какая вера генералу Сыровому, начистить бы ему сопатку, хрену одноглазому!

Нутром принял товарищ Чудновский: приспел его большевистски-белобородовский час, другого такого не выцедишь, не будет — и распрямился, посуровел, внатяг душа: не упустить свое — чего доброго перепадет фарт другому, а то и целой артели народных мстителей.

Прознал: мутят ревком отдельные товарищи, предлагают сплавить бывшего Верховного Правителя России в безопасное место и переждать, ибо истекают кровью каппелевцы. Один у них выход: или привести себя в порядок и полное сознание здесь, в Иркутске, или наладиться напрямиком к Семенову, в Читу.

Нет для них в Сибири тыла — кругом смерть!

И вроде самый резон переждать с адмиралом, а погода учинить всенародный суд. Солидный политический выигрыш это даст партии, по существу — саморазоблачение белого движения. Глава всероссийской контрреволюции — на скамье подсудимых! Когда, где еще такое выгадается! Трудящимся всего мира откроем глаза, да и своим урок. Сколько же в чека наговорено документов — всему мировому капиталу клистир! А ежели Правитель сомлеет и назовет зачинщиков интервенции и вообще заграничную опору белого движения поименно — так другой поворот всей международной политике.

Все это остро осознает товарищ Чудновский, и потому не по себе ему. Ох, сманят, своротят ревком на этот рискованный и такой вредный резон! И уж это будет лихо, так лихо для Семена Чудновского! Свободно могут отнять Колчака: затребуют в центр или Омск.

От этих предположений председатель губчека пачками изводил папиросы. Так хотелось, чтоб прослышал о нем главный вождь! Да и свои обиды поджимали. Сколько этот золотопогонник угробил дорогих товарищей!

А тут ультиматум генерала Войцеховского (сам Каппель приказал долго жить, так вместо него эта гнида). И требует сдачи Иркутска без боя — иначе не ручается за жизни людей и сохранность города.

Условия Войцеховского:

- красным войскам покинуть Иркутск;
- немедленно доставить адмирала Колчака в его, Войцеховского, штаб;
- в неприкосновенности оставить на путях золотой запас.

В таком разе обещал генерал пробыть в городе не более трех суток.

Ультиматум белых большую убедительность дал выступлениям товарища Семена, а выступал он на том заседании целых три раза. Ведь не один он прослышан, что берутся чехи защитить город, но не шибко распространялись об этом товарищи Ширямов и Янсон. И понятно, нет веры легионерам, всему этому кровавому чеховоюску: вчера — белые, нынче — эсерствующие, а пуще всего — бандитствующие.

И решил товарищ Чудновский: сейчас или никогда! Даешь адмирала для всенародной казни! И сломал либеральное недомыслие ревкома, в жизни не говорил так складно и доказательно — в последний раз добрых двадцать минут растревлял души. И ей-ей, не заметил ревком этих двадцати минут. Толково докладывал! Даже товарищ Краснощеков как представитель губкома партии согласился. А ему-то после десяти лет жизни в Америке все кажется излишне жестким. Нахватался либерального хлама, вожжается с эсерами и меньшевиками, на всякую там законность упирает. Да революция — вот высший закон! Отстоять республику от белых гадов — вот единственная справедливость, а все прочие пусть заткнутся!

Все же кто-то подал голос: а ежели в подполье? Ответственность томила товарища.

На дыбы председатель губчека: а кто против, уже намечены тайники, сгодятся по зиме на неделю-другую, но куда с Колчаком? В наморднике держать, на цепях? А ежели в бега — как тогда?.. Да не сообщно уходить с Правителем на руках! Коли пронюхают белые, намертво вцепятся, не отстанут, ради одного человека тыщи вырежут!

Этот кровопускательный довод и решил адмиралову судьбу: учел

ревком все обстоятельства, в том числе и телеграммы из Пятой армии, Сибревкома, Москвы, и постановил отдать бывшего Верховного Правителя России председателю губчека для совершения справедливого приговора. Но не успокоился товарищ Чудновский, выбил на то и официальный документ для себя лично, до самого «жениевского» ареста теплил им грудь.

Значится на том историческом документе дата: 6 февраля. И красными чернилами прописано: расстрелять бывшего Верховного Правителя России адмирала Колчака и бывшего председателя Совета Министров Пепеляева, а с ними и еще 21 человека — самых важных и кровавых гадов. Однако на Колчака и Пепеляева постановление было оформлено отдельное, за номером двадцать семь.

Двадцать семь!

Вот оно, греет грудь! И подписи честь по чести: Ширямов, Янсон, Сноскарев, Левинсон, Оборин...

Вышел Чудновский с заседания — ноги сами несут. У меня Правитель! Не умыкнули — мой! Будет белобородовский счет! Определим, что за сорт эти, на самом верху. Пошершавим, как они свою идею чтут...

Адмирала мог порвать руками — и это не похвальба. При своих игрушечных размерах Чудновский свободно разрывал колоду карт — и только зубами скрипнет. От этого в молодости имел постоянный барыш, прикупая в трактирах страхолуднейших амбалов, ибо вот так разорвать колоду по плечу лишь отдельным выдающимся мужчинам, выхолненным и откормленным исключительно для демонстрации силы. И таких выдающихся мужчин Россия насчитывала единицы, и о них писали статьи в специальных спортивных журналах. Не знал товарищ Семен, что этот номер удавался и Николаю Второму. Хранилась в офицерском собрании Ширванского полка (все офицеры и солдаты полка щеголяли в сапогах с красными голенищами) колода карт, лихо разорванная государем императором пополам (сила рук — результат постоянной рубки дров, столь любимой царем).

Все, кто знал близко Семена Григорьевича, испытывали почтение к цепкой хватке его. Клещи, а не руки, и выше локтей — в затейливых неприличных татуировках; каторжное прошлое, понимать надо...

Силу эту угадывали женщины. Не ведая обо всех чудесах с картами и прочими штучками, сразу угадывали. И еще чувствовали страшность этой силы — ничто и никто не остановит коротышку. Убить его можно, расплющить, но не смирить. И от этого в податливости не знали удержу, любой самой разгульной девке сто очков форы могли дать, и это при природной скромности и выборочном воздержании на мужчин, но все это, разумеется, только с Семеном и для Семена Григорьевича.

Почитали его женщины. Веселая прачка в начале своей науки звала его, как мальчонку, Семкой, а уже через несколько недель —

только Семеном Григорьевичем и только на «вы». Можно сказать, езженная-переезженная бабенка, а скоро расчихала, что это за «брильянт» ее новый дружок — подумать только: едва бриться сподобился!

Торопит товарищ Чудновский автомобиль. За городом и на окраинах — ружейная и пулеметная пальба. Пушки встряхивают небо. Город пуст, затаился в боевых заслонах на перекрестках и баррикадах. Приказ — уничтожить всех подозрительных.

Клаксит авто председателя губчека, рвется к тюрьме — на встречу великому и справедливому делу. Поет душа у товарища Чудновского, распахивает дверцу и еще издали называет себя, басыще, слава Богу, да еще с матерком, да затейливым, — с каторжно-тюремных времен, та еще выучка!

А как поравняется с баррикадами и еще раз назовет себя, кричит во всю грудь:

— Защитим красный Иркутск, товарищи!

А с баррикад в один голос:

— А-а-а!

— Даешь победу мировой революции! — кричит Семен Григорьевич и захлопывает дверцу, а вслед:

— А-а-а!

Чует товарищ Семен — сошлись, уперлись две силы: красные и белые. Ну грудью, нутром это принимает. Внатяг все в нем! Не получают белые гады Иркутск!..

С утра Чудновский ввел на каждый этаж тюрьмы по взводу бойцов из роты Мюллера. Золотые, надежные ребята, в революции по убеждению. Интернационал!

Еще утром решил: дадут «добро» или не дадут, а учинит правез над Правителем, кончилось их время. Ни на мгновение не забывает о подвале в Ипатьевском особнячке (просветили его екатеринбургские) и о Сашке Белобородове: верно, содрогнется от решимости рабочего человека весь мир капитала!

За чехословаков, само собой, нельзя поручиться, но не пойдут они с белыми. Правителя продали, белые армии на «железку» не пустили, обрекли на гибель, золото приграбастали — нет, не пойдут. Да и морально-политическое состояние легиона исключает использование его в антисоветских целях — это товарищ Чудновский тоже сказал на заседании ревкома, но уже тогда, когда положил на грудь, под кожанку, бумагу с номером двадцать семь. Наелись славяне, сыты кровью сибирских мужиков да баб; приустиали, домой тянет.

Само собой, не имеет к ним полного доверия председатель губчека (не та у него должность, чтобы уши развешивал). Как они недавно ахнули — бок о бок с каппелевцами! До того лихо резали и стреляли нашего брата — дай Бог ноги! В общем, следит за легионом Семен Григорьевич, везде его люди. Почти ни одна бумага, ни

один приказ по легиону не проходят, чтобы не ознакомился с ними и председатель губчека. Так-то оно понадежнее.

Анна...

Александр Васильевич увлекся этой молодой женщиной сразу, не было ни недель, ни месяцев сближения.

Ей исполнился двадцать один, ему шел сорок второй. Он приказывал себе держаться только дружески, без намеков на увлеченность, но приказы не имели власти. С каждым днем (а тогда, сразу после знакомства, они встречались едва ли не каждый день) он привязывался к этой молодой женщине все крепче.

Уже через несколько недель он понял, что полюбил. Он противился этому чувству, презирал себя. Он не смеет, не должен любить — у него преданная жена, сын — они дороги ему.

И ничего не мог поделать.

Он с беспомощной тревогой наблюдал за тем, как образы родных людей, потускнев, сместились в памяти куда-то в тень, а Анна наполняет его сиянием, и это чувство, достигнув силы страсти, горит ровным, чистым пламенем.

Страсть не лишила самостоятельности, не превратила в глупо влюбленного мужчину. Он не изменил себе, оставаясь, как обычно, во всем совершенно самостоятельным. Лишь значительно позже, уже будучи Верховным Правителем России, в минуты нервных спазм он с презрением думал о себе: «Как я посмел втянуть в эту кровавую свалку дорогую мне женщину? Не кто другой, а я поставил ее под угрозу гибели!»

Здесь, в камере, это не дает покоя: как он со своим жизненным опытом не оборвал это чувство еще тогда и сошелся с Анной. Их связь стала известна его жене — он не считал возможным скрывать.

Ведь уже тогда, в Петрограде, он определил для себя место в будущей междоусобице. Сначала он не хотел принимать участие в этой свалке. После Октября планы резко изменились. Остаться вне борьбы он не мог. Он не стал бы Верховным Правителем, но боролся бы с оружием в руках против большевизма. Ведь он сам, никто его не надоумил, пробирался из Сибири на юг России, к Алексею.

У Анны нет ни дома, ни семьи, ни средств, ни мужчины, который будет любить и защищать. Он, кто любит ее, даже не побеспокоился о ее будущем. Она одинока и незащищена перед всем светом.

Как эти псы нашли ее и узнали о ней? Он убежден: никто из господ офицеров, сопровождавших его, не мог выдать.

Спал товарищ Чудновский урывками, два-три часа. Вообще он поражал здоровьем даже людей бывалых. Он не только обходился ничтожным сном — суровой необходимостью крайне напряженной

обстановки, — но и не болел по причине отсутствия способности к потению. Ни капли пота не выжал из себя за всю жизнь, от этого и не ведал переохлаждений. Удивлялись сотрудники и проникались уважением, когда их председатель мыл голову под краном (довел-таки зуд) или прямо из ведра — все той же ледяной водицей. Председатель только ухмылялся на предостережения: «Ничего, башка у меня крепкая. В тюрьмах били, а ничего, работает».

Корябают, точат товарища Чудновского сомнения: а ну как дрогнут белочехи, не загородят Иркутск, а еще хуже — снюхаются с каппелевцами. Ведь не чужим им был генерал Каппель, вместе заваривали мятеж на Волге. Правда, генерала уже нет. Сдох...

Дни и ночи сверлит это: кабы не сорвалось на лихо! Ой, снюхаются! Бог с ним, ежели кто другой, а то ведь каппелевцы, это понимать надо!

Эти отчаянные ненавистники диктатуры пролетариата не просто прибьют — эти наматывают кишки, по капле стравят кровь. Лысая за ними Сибирь, будто и не водились большевики с комиссарами, даже сочувствующими не аукается — ни одного красного, там розоватого или просто завалящего эсера. Ну смердит Сибирь опосля них трупным согласием!

Ищут себе логовище, кровавые псы, мнут тайгу. Нет им других дорог, как только через революционный Иркутск.

Белый, синий, красный...

Меряет шагами кабинет коменданта тюрьмы Семен Григорьевич: внятяг душа. Кожанка нараспашку, в зубах папироса, лицом и бледен и черен одновременно. Прикидывает роспись событий, моргает на свет красными веками: делов по губчека — аж выше темечка, а тут Правителя надо кончать, а как надежнее? А Тимирева? С этой-то сучней как? А те двадцать один — за Правителем их превратить в трупы, без промедления?

А тут эта кишка — два раза нынче лазил, вправлял, будь проклята! Бурсак говорит, будто способственно убрать операцией. Ежели так, то после победы над беляками и интервентами непременно укоротит ненужную кишку — ну не дает свободы движения! И не сомневается: лекаря выделит его республика. Заслужил он такую заботу, а главное — еще очень нужен мировой революции, только-только занимается мировой пожар.

А то смешно сказать: с бабой вожжается, а кишку в памяти держит, кабы не осрамиться. Но и то правда: давно не нюхал бабьего пота, своя не в счет, хворая. И от всего этого аж не по себе, мучает. Стыдно сказать, на сотрудниц, боевых подруг, нет-нет а зыркнет. Само собой, исподтишка, но уж очень забирает, когда баба зашевелит «барыней», ежели она, эта «барыня», как, скажем, у Катерины Чугуновой: не задница, а шаровоз! И при таких-то харчах! А ежели по потребности питаться, как, к примеру, до революции?!

И начнет перебирать в памяти разные встречи и баб, у которых всего этого сучьего наблюдалось в избытке. Но как правило, картинки, помелькав, побудоражив, замещались одной — Лизаветой

Гусаровой (шибко хохотливая и хлопотливая, языком просторечия — вострая).

Семен Григорьевич ко всему обесчувствует, так и упрется в воспоминания — и уж что они там вытворяют! Как представит — и весь загорячится, чисто печным жаром от него. Зубами скрипнет.

Ох, тетя! С лица не молодка — это верно. От стирок, кипяtkового мыльного пара — в морщинах, глаза иной раз мутноватые (Семен Григорьевич и сейчас полагает, что это от стирки, — наивная душа), а как разголитсЯ: белая, ровно не свое лицо у нее. Нет такой второй на свете! Плечи покатые, и почти от ключиц берут разгон груди. По летам не девка, а груди в самой кобыльей сочности, деток кормить. Ни жиринки! Кожа тонкая, чистая, сосцы розово светят. И пахнет свежо, зазывно.

Ох, и ласк, забав напридумали, особливо с сиськами! Лизка вся изойдет любовным стоном, а и он не лучше, знай порывивает. Нацелуются, накусаются.

Но всего перее и зазывнее у нее зад. За простором юбки или платья — обычная нижняя часть, ну крутит, ну на миг обозначит размер — ткань разложится и даст свой натяг. Но это у большинства так. А вот уж разголитсЯ!..

Ни разу ей Семен Григорьевич не дал спокойно дойти до кровати. Как увидит раскидистый высокий зад — скрипнет зубами, поймает этак хищно, обоймет — и целовать. Всю поцалуями умоет, достанет. Лизка знай стонет и дрожит, стонет и слабеет. И ястребом на нее!

По многу десятков раз она наслаждалась от его ласк. Единственная такая была у него. Единственная... застонет, закричит, забьется — и ослабеет. А через полминуты опять лещется, льнет...

И вот эта страстность Лизки Гусаровой, необыкновенный градус чувствования и воспитали из Семена Чудновского мужчину. Да какого мужчину — хищного сокола, ястреба, кречета!.. Поверил он в себя, взматерел. Именно с того года голос дал такой низкий бас, аж люди косились. И в плечах дал размах, руки отяжелели. Взматерел парень...

И в самой глубине себя, что обычно таят от людей, только свое там лежит, заветное и недоступное ничьему взгляду, сознавал Чудновский, что вся энергия к делу, любознательность, интерес, способность к работе, жизненная стойкость и, как это сказать... активность, что ли... от неумной способности любить. И дала развитие этой способности Лизка Гусарова, его зазноба и верная сучка. Не обидное слово это было между ними, ибо в запарке и обилии ласк все время шептал он ей грубые, площадные слова, казались они обоим музыкой, высочайшей лаской и негой. И потому ничего обидного в этом слове не было и нет, когда крутят любовь.

С тех пор понимает Чудновский (само собой, не говорит, помалкивает): любовь делает человека. Без этого чувства все остальное в человеке кривь идет. Нет настоящего и полного развития других чувств, вовсе, казалось бы, и не связанных с любовными.

Тут Семена Григорьевича посещало одно просветление за другим.

И срамно сказать, как называла Лизка своего любовника — этого кремневого революционера-каторжанина... Козликом.

И Семен Григорьевич не обижался. Понимал: в любовной стихии все по особому устройству. И только, шалея от выпрастываемого из одежек мощного (но очень правильных линий) зада, отзывался хрипловатым баском: «Кровинушка ты моя! Радость ты моя! Муравушка-трава! Ручеек ты мой весенний! Зазнобушка, зазнобушка...» И задыхался, прижимаясь к прохладному заду щекой, нашаривая лоно и тут же пытая его поцелуями. И низко, жутко рычал. Моя, мол, не подходи — любого зашибу! А кому тут подходить?..

А Лизка ломалась, падала на постель руками, а он не отпускал, жег поцелуями, шершавил ладонями нежную бабью кожу — нежнее и не бывает, как только у самых сокровенных мест. И, позабыв о Лизке, шептал этому белому крепкому заду все ласковые слова мира...

И бас в такие минуты густел до безобразия. Низко-низко грохотал шепот.

Зазнобушка, зазнобушка!..

Так любили в те злые иркутские дни белый адмирал свою Анну, революционер-большевик Чудновский — Лизку Гусарову (в памяти любил, нежил, не расставался). Бывший председатель Политического Центра Федорóвич вдруг, осатанев, предался блуду, но это только потому, что не нашел свою любовь.

Ведь все в том, что люди не находят свою любовь. А она есть для каждого.

И с ними в огне, крови, у могильных рвов любили, целовались, клялись миллионы прекрасных мужчин и женщин. Ибо все любящие только и прекрасны.

И как, каким образом выходило им умереть — никто понять не мог.

И для кого, зачем эта жатва?..

Над всем тяготел рок.

И никто не мог познать.

Этот рок может пасть на невинного человека и гнать, преследовать его всю жизнь, но никогда он не обрушивается попусту на целый народ.

Никогда!

Не так жил народ, не то делал, не так защищал свое, смотрел только под ноги себе, жег все нетерпимостью вокруг, черствел в равнодушии...

Трудно дать ответ, в чем же причина, хотя кое-что и вырисовывается...

Но ясно одно: рок этот для того, чтобы умять, изменить народ-

ную жизнь. Не должна она быть такой, какой была. Не так жил народ.

И весь вопрос в том, выживет ли народ после... достанет ли сил для возрождения. Все дело в том, что рок только поражает. Он лечит только смертью и мукой.

Все вокруг — только возня, писк, грязь, жалкое приближение к истине. Поэтому и плата — только мука и смерть. И тогда приближение к истине. Ибо люди приближаются к истине, воспринимают истину лишь через плату мукой и смертью.

И другого им не дано.

— ...Как я люблю людей в счастье, как люблю их радость, улыбку! Как люблю расправленные лица, не сморщенные гримасой зла, боли, настороженности (от каждого жди пинка словом, поступками!)... — нашептывает в бреду сна железный адмирал.

Он умеет любить, знает, что такое любовь, и за это отмечен Всевышним чувством молодой женщины.

«Твоя навеки — Анна», — пропускает, пропускает слова-сияние сознание.

— Будьте все в радости... — выговаривают во сне непослушные твердые губы.

Он рывком выпадает из сна, это как удар, и смотрит, смотрит в темень над собой. Холода не чувствует — то ли привык, то ли чересчур захвачен мыслями.

Улыбки людей, добрые слова, звон голосов, руки, протянутые без зла, отступают куда-то назад, за другие мысли и образы.

Сын... Какой он сейчас?.. Славущка...

Александр Васильевичу очень жаль отпускать эти мысли. С ними спокойно и ясно — он устал от ненависти. Наверное, так и будет: до последнего удара сердца, до удара пули, взрыва боли и мрака — ненависть, ненависть...

Это — самое горестное и гибельное — обитать в ненависти. Она обкладывает со всех сторон. Именно обкладывает. Он ощущает ее одной громадной несъемной тяжестью. Ненависть самых разных людей — и своих, и чужих, и врагов, и даже вроде бы близких...

Ненависть.

И самый опасный и страшный — тот, кто в упрямстве своей правды не ведает пощады (ему такое право дает обладание правдой, его правдой), ни во что не ставит свою жизнь и жизни других...

Ненависть.

Не ищи причины несчастий и зла в мире, ищи в себе, тогда сохранишь надежду увидеть свет...

В этот час Федорóвич после яростных, исступленных речей-заклинаний перед отрядами красных дружинников (им защищать город), затем совещания руководителей иркутских организаций

партии социалистов-революционеров и затем хлопот по другим неотложным делам (все на ругани, размахивании мандатами) медленно раздевается в своем номере. Еще не стих стук двери, и его шаги — такие сиротливо одинокие в просторной комнате.

Уже несколько дней Флор Федорович почти не спит. Охрип, усох, глаза запали. Он медленно, неживыми руками расстегивает португую. Она тяжестью маузера выскользывает из рук, но он ловит ее и швыряет за спину, на кровать. Увесист маузер — так и утоп в одеяле.

В комнате голо, неприятно. Флор задерживает взгляд на тумбочке. Сейчас он очухается, рванет стакан первача — и очухается.

Сил стащить пимы, плотную душегрейку нет. Уронил руки на колени, сгорбился и сидит, да так тихо, словно ушла из него жизнь.

Политика, борьба... Все сражаются не только за народ, каждый что-то видит и для себя в будущем, свой приварок. А что зовет он?..

Смотрит Флор Федорович в будущее — и не видит там себя. И все уразуметь хочет почему...

Сгорбленно, тяжело подошел к тумбочке, присел на корточки. Достал бутылку. Так, с корточек, зубами откупорил (это уже от усталости). Выпрямился, налил стакан. Подошел к зеркалу, чокнулся со своим отражением. Выпил. Укусил себя за рукав. Душегрейка мягкая, набила рот. Помотал башкой, крикнул: горлодер!

Задирает голову, рассматривает бороду. Лукьянчиков сказал, мол, больно нахальная борода. Чем же, позвольте, нахальная?

По дороге к кровати поставил на стол бутылку, стакан. Садится на кровать, первач еще не ударил в голову. Опять замер, ну последние силы истратил на ходьбу за стаканом.

Лампочка вполнекала мерцает над столом. В углах — ночь, за окном — ночь. И вообще, есть ли на свете хоть одна душа, которой он был бы нужен?..

Волком вой!..

В конце концов, требования Войцеховского свелись к освобождению адмирала Колчака и всех арестованных с ним, снабжению бывшей капеллеводской армии фуражом и продовольствием, а также выдачей 200 млн. рублей, надо полагать золотых...

В этот же час товарищ Чудновский подписал последние на день протоколы. Устал до неподвижности всякой мысли, даже самой революционной, любая растворяется, превращается в точку. И, уронив голову на руку, спит, другой рукой во сне поскребывает затылок, подмыхи — вша прорывается, как тут ни следи. Сбоку, в пепельнице, гаснет папироса. Загасла, а дымок еще изменчивым ручейком скользит к окну, чтобы там втянуться в щели.

Все глубже, мягче припадает к столу Семен Григорьевич.

Сережка Мосин заглянул — встал у двери, бережет покой боевого товарища. Каждому еще издали показывает кулак и прижимает палец к губам.

Иногда глухо, но очень мощно стреляет пушка. И от удара воздуха вздрагивает все здание, ровно кто легонько вышибает из-под ног пол. Откуда стреляют, кто — ухватить нельзя и сведений нет, но ясно одно: накапливаются перед городом каппелевцы.

Ждет Иркутск своей судьбы.

И тысячи людей в этот миг по всей России принимают судьбу: стекленеют глаза, белеют лица. Здесь пуля устанавливает справедливость...

«...Это все не случайно, что я в тюрьме и жду смерть. Бог меня поставил на этот путь. Я исполнял волю России. Во всем этом не было ничего моего — ни поиска славы, ни поиска власти. Россия гибнет...

И я принял вызов. Я скверно сделал свое дело, но сделать его вообще почти невозможно. Все отравлено. Ни одной чистой, самостоятельной мысли — все отравлено...

Россия гибнет, но чему она даст место?..»

И Александр Васильевич безумно пытается высмотреть будущее, понять его. Он все хочет поставить ногу и не провалиться. Не ощутить хляби, болота, как это было все время. Он все сзывает сторонников и соратников белой идеи. Разумом сознает: это вообще конец. Всему конец. А чувствами не смиряется.

И кто прав: разум или чувства?..

Глава VI

ФЛОРОВЫ БАБЫ

И снова Три Фэ до самого глубокого раскола ночи псом по городу. Ожигают пригороды авангарды каппелевской армии. Вот-вот закружит кровавая карусель. Бросят люди оружие и ринутся рвать друг друга. Три Фэ не трясется за себя, пусть убивают, но город, люди?..

И везде, где эсеры что-то значат, Федорович будоражит народ, ставит и мужчин, и женщин под ружье. Калашников отряд за отрядом сколачивает. Только через трупы дотянутся каппелевцы до города.

Чехословаки... только бы чехословаки не предали: ударят в спину — не унести ноги гражданам вольного Иркутска.

А ночи?.. Пьет Федорович, гробит сердце, не ведает, куда ткнуться. Ночи заброшенные (ни души), длинные, хоть бы огонек сверкнул. Стоит у окна Федорович, и мнится ему, что бредет он по своей душе — и голо-голо, ни единого родного уголочка, ну даже самого захудалого. Почему так получилось? Все растрепано, развеяно и уничтожено в заботах об общем благе, ничего для своего тепла и довольства — лишь письменна из священных книг, но они — как железный частокол для души...

И срамно сказать: Три Фэ — примерный семьянин и начитанный, культурный человек, а опустился до непотребных девок. Что ни ночь — тащит этакую куклу. И щупать не ладятся руки, да ляд с ней!

Та голышом шастает по номеру, болтает персями, дразнит белым животом и черным смоляным лоскутом под ним. Само собой, выслуживается, кабы не турнули на мороз... а только постыло на душе, и даже мягкая бабья задница не греет: одни угли от прежнего Федоровича. Сошел с рельсов человек — и какой! Революционер из самых первых, о таких лично докладывали директорам департамента полиции, друг и советчик Чернова, Гоца, Зензинова, Брешко-Брешковской, Савинкова, Аргунова...

Уминает ночами бабу, сосет с ней из одного стакана самогон, а руки — холодные, без крови и жизни руки...

И нет с теми бабами и девками забытья — уж какие там кобелиные радости: забыться бы. Все едино, что с ними, что без них, — ночи бездонными коридорами. Щупает тебя пустота, вроде пепелища в душе, никакого резона жить.

И наладился Федорович брать маузер, заглядывать ему в дырку ствола. И все ближе... Смотрит, смотрит...

С того и запил еще пуще, а чтоб по пьянке не заглянуть в дырку маузера и после уже навечно перестать что-либо видеть, навострил глаз прихватывать баб. И сам для себя обнаружил в этом деле завидную сноровку и выносливость. Первач смоем безотрадные мысли, обесстыдит, и нет удержу — за всю каторжную, распроклятую жизнь рассчитывается Федорович. Ничего там не было — обман, мираж, подлость!..

Огрубел, очерствел Три Фэ, но только к себе, на людей у него — доброта и пытливый взгляд. Вне этих забот нет его, Федоровича, — гордости партии социалистов-революционеров, эмигранта, ссыльного, кандальника, подпольщика и отважного бойца. Часто шепчет он теперь:

— Нет, не народ это, а общность людей... для выживания общность.

Накапливалось в нем давно это, видно. Крушение Политического Центра — только повод, толчок. Душу не обманешь. И дала она сбой, восстала против своего владельца.

И вроде умирать надо, а не хочется...

И пьет, и невесть с кем ложится...

И все ощущает узенькую такую дырочку. Ищет переносье маузер, а он подводит его, подводит...

И глушит первач. Будь проклята жизнь!..

У этой вот... ишь белена какая! Не снится ли... Провел рукой. Нет, живая. Тепло пальцам. Примял островок груди, сосок темно из-под пальца вывернулся. Погладил лоно... Бывалая тетя... Бедра и зад разъезженные, рукой не обхватишь, — порадел наш брат. И как не дать ширины? Что ни день и ночь, а долбят в одиночку и артельно — так сказывали подруги на ночь. Оказывается, у солдата склонность — артельно. Нравится им глазеть на то, как это справляет другой. Вот по кругу и треплют. От таких заходов поневоле нижняя часть на приспособление возьмет да уширится: и вбок даст свой размер, и, так сказать, в тыл. Для любого катания тетя.

И вот при таких размерах, прямо сказать внушительных, само это место у нее поразительно тугое и даже как бы ухватчивое. Осталось от него у Три Фэ приятная и благодарно-благодатная слабость под животом и в ногах.

Груди знали лучшие времена — это сразу видать. Пустая кожа, что осталась от них, имела прежде законное наполнение. Груди эти были вовсе не малые. А теперь, почитай, один сосочек родинкой и темнеет.

Э-э, да тут шрам... Через плечо розоватое и какое-то хищно узкое, быстрое углубление. Три Фэ погладил: пырнули ее, за что ж?.. Эх, люди... Метили под сердце, а, видать, руку подбили, выше пошла финка...

Обнял ее, тетя подвинулась тоже, но не от чувства, а потому что велят...

Чистая, пахнет... как это... снегом, что ли. Значит, еще не сгубила такая жизнь. И бельишко, хоть ветхое и штопаное, а стираное-перестираное. Эх...

А на это дело спокойная, вроде и не с ней делают. Ей лишь бы заплатили, лучше — харчами... ну хоть какими. В таком разе согласна на все.

Отвалил ей сала, хлеба. Она руку мне поцеловала (да что ж это! Флор аж попятился), разделась и встала перед ним: как будешь, мол? И тут же спохватилась, крестик не сняла, а содрала — так поспешно, словно опоздать боится. Накрыла крестик рубашкой: срам это перед Господом, нельзя перед Его очами. Не гневайся, Господи!.. Вон на стуле рубашка скошенной пирамидкой...

Стоя зачем?.. Нет настроения. Легла. Он ее... а она под ним придремывает. С мороза и ходьбы (топчется цельные часы, ловит мужиков) пригрелась, по косточкам усталость. Уж какой тут азарт, да и слова такого не слыхала. В общем, не охоча, ей бы поспать. И спит. Кормилица она...

После, отдыхая, расспрашивал, почему кормилица.

Она глядит ему это место, пальцами ворошит, перебирает и все так ласково объясняет, ни одного нехорошего слова. Голос ровный, как мельничий спад воды с плотины. Лицо строгое, без улыбки. Не противится судьбе тетя, не клянет. Покорилась. Жить надо. Муж с фронта вернулся без ноги и руки. Она любит его и не бросит. Дочка хворает. В общем, увечная семья, тянуть надо.

Эх, Россия!..

Узнал бы прежде — и не прикоснулся бы. Да разве тут родится желание?

Хрипло сказал:

— Самогонка есть, выпьешь?

— Два глотка.

Не таясь, так, без трусов, и зашлепал босыми ногами к тумбочке. Дал из своего стакана — она и впрямь ровно два глотка приняла.

Спросила:

— Скушная я?

— Нет.

— Все злятся после, даже бьют.

Федорович промолчал. Она объяснила:

— Зад у меня широкий, а в поясе (положила его руку, бок теплый ровным здоровым теплом) — вишь, узкая. Мужики на это падки. И с лица чистая. Меня чаще берут, чем молодых, даже совсем девочек. Слаще я им, хошь и скушная. Я им так и шепчу: «Скушная, после не серчайте». Берут. Я объясняю: «Все исполню — прикажи-

те...» А один за то, что не так дала, как он хотел, головой о стену меня. Боюсь — сознание потеряю, обесчувствую, а он свое и делает. Мотаюсь, а стою. Тут он и ударил ножиком. Ты что, сердешный?.. Небольно было. Головой очень больно, а ножом — нет. Мне ведь жить надо. Кормилица я...

От такого рассказа и слов ее у Флора аж усохло между ног.

А она почувствовала его сердце и первый и единственный раз поцеловала. Так, губами коснулась.

Потому что не продажная она. Душа у нее есть, и не купить ее, хоть какие сокровища выкладывай. Не продаст она своего вечного мужа, свою доченьку Асю и душу свою. Вот истинный крест, не продаст. Бог тому свидетель!

И тут обезмочила, лишила сил, придавила к постели дикая мысль — Флор аж глаза вытарашил: не тронулся ли сам, живой ли еще?

И придет же такое! Показалось, будто не с женщиной спал, а распинал... Россию. Беззащитная она, простодушная, измученная — любой бери и пользуйся.

И уж до того худо на душе стало. Тетя ушла с подолом жратвы. Все отдал, самому неделю без куска, коли не добудет за именные золотые часы. Крутится тут один спекулянт...

Сел с самогонкой за стол и глушит. Это и его стараниями Россия легла на позор. И пьет — надо, чтобы в башке сдвинулось, иначе не жить с такой начинкой. Это ж приговор, а не мысли.

После литровой бутылки в башке все и сдвинулось. Вроде призабыл польнно-горькие мысли.

Очнулся через два часа: пора!

Собрался по делам, машина заехала, Лукьянчиков раздобыл на сутки. Надо город против каппелевцев ставить.

А в душе зайчишкой жметесь мысль: а вдруг срежет шальная пуля, ведь стреляют из подворотен. Как день к темну, непременно стреляют... Такая эта ноша — жизнь. Лучше лечь... Похоже, прохудилась революционная убежденность.

А тетя эта не дошла.

Налетели сани. Кто-то дернул Флоров узелок с едой. Кто-то обложил жутким «рассейским» матом. А дюжий в плечах, в шубе с чужого плеча, саданул кулаком... да неудачно — в висок.

И не стало кормилицы.

Разве это допросы?

Председатель губчека только заглянет, курнет — и опять исчезнет. Попов нагрянет со своей тетрадью, с ним эти два эсера (фамилии и не стал запоминать). На лицах — озабоченность, нетерпение. Попов прочтет несколько вопросов — и сразу уйдут. И еще дверь не затворится — заспорят.

Пусть спорят.

Лишь Денике неизменно с адмиралом, задает вопросы, ведет протокол. Канцелярист.

И еще новость: за едой теперь надзирает (все сам приносит) секретарь председателя губчека Мосин (а может, и помощник, кто его знает). Он и сообщил Колчаку об учреждении военно-революционного трибунала для решения его, Правителя, судьбы, а председатель трибунала все тот же коротышка — Чудновский.

Вздор! Не может же этот человек и вот еще эти... Денике, Попов заменить собой следствие и суд? Очевидный абсурд!

Раза два наведывался сам Ширямов. Аккуратный человек. Аккуратные усы. Очень серьезный. Ни одного вопроса. Молча листал протоколы, смотрел на Колчака и уходил...

Александр Васильевич трогает лицо руками и отмечает про себя: уж на что руки к себе привычны, а сразу улавливают жар. Это уже лишне. Болеть нельзя. Он верит, будет суд. Нельзя болеть. Не дай Бог сгорит, как Таубе. Этот красный генерал-лейтенант Таубе...

Колчак поплотнее запахивает шинель: чертов озноб! Прислушивается к шагам, лязгу дверей, выкрикам, матерщине и незаметно уходит в себя.

Насилие, по разумению большевиков (при чем тут большевики — они только повторяют Ленина; вся партия — лишь подсобный механизм диктатора), должно войти в жизнь общества на длительный исторический период — это еще при встрече в Петрограде внушал ему Плеханов. И уже тогда это поразило Колчака. Общество стремилось избавиться от единовластия царя и обратилось к... диктатуре большевиков. Бессмыслица!

Нет, дело не только в том, что не существует в природе и не может существовать такое высшее лицо, которое неким Божьим гласом заявит: «Довольно, забудем насилие, отречемся от него — мы решили все задачи...»

Их общество — это организация жизни через принуждение, приказ, насилие по всем направлениям. **Ни одна, даже ничтожная, связь в обществе уже не будет возможна без приказа и принуждения, то есть террора.**

И люди пожнут насилие — жизнь под насилием и насильниками.

Уважение к человеку исключено там, где все определяют приказы. Люди неизбежно будут вырождаться: Их душевные качества придут в противоречие с железной росписью дней. Вместо людей будет жестокие и бессердечные манекены, ибо все человеческое будет лишне, будет мешать, будет подавляться отбором.

Всякая попытка очистить жизнь от насилия обречена, ибо без насилия нет этого государства. Оно рухнет без насилия. Да и как это может быть, ведь частное не может существовать само по себе. Все в жизни связано, не существует по раздельности. Не существуют сами по себе, по отдельности, ствол, листья, корни и ветки...

Это будет государство нового типа. Насилие явится новой формой организации жизни, утвердит себя в конституции и сознании людей, породив и новый тип гражданина. Одно без другого не

бывает и невозможно. Это будет гражданин, гордый своей подчиненностью, это будут холопы по убеждению.

Колчак вдруг ощутил слабость и, чтобы не упасть, припал к стене грудью. В последние дни это случается.

«Ничего, ничего, — шепчет он, — это все чепуха и прошло бы — будь табак. Несколько бы затяжек «самсона» или „дубека“».

Эх, Федорович!..

Кобелиные радости... Спозаранку глаза и вовсе не глядят: что, кто под боком? Отчего голая? А я?..

И тащит Три Фэ поскорее на себя белье.

После делают по глотку-другому самогона (это вместо чая) и грызут черный хлеб да воблу. Черный — только забудь — сразу в камень превращается... Ворочает Три Фэ багровыми белками, мычит что-то сквозь набитый рот. В диковину ему: что за особа, как зовут, откуда, зачем здесь и вообще... ночью что было? У-у, башка! А мурашки в глазах, звон в ушах!..

Черт, этот самогон отбивает память начисто.

Сопит Федорович, ловит обрывки памяти. Откуда эта тетя? Ну!.. Все сучье наружу — и не прячется, разве только на плечи тащит одеяло. Вбирает Три Фэ утраченный смысл (ведь что-то было вечером, ночью!), сводит в памяти ночную кутерьму, расставляет по местам слова, поступки. Словом, в себя приходит. Однако в памяти дыры: кто, что — пока незнамо.

Поглядывает на халат — тощими полосами обвис на гвозде у входа в ванную комнату, — на пиджачную тройку, галстуки-бабочки, на лакированные туфли в шкафу — зеркальная дверь нараспашку; надо же, как из другой жизни!

Неужели это был он? Неужели все «то» имело смысл? Как же все далеко, в какую он жизнь переселился, есть ли другая жизнь?..

После делят еду на день: из-за нее и спали с ним женщины. Все лавки разбиты, разграблены — ни корки хлеба, ни горсти муки. Ежели не коренной, не здешний — ложись и подыхай...

Все-таки как ее зовут? Где познакомился? Откуда привел?..

Экие длиннющие ноги! Худая, ребра можно считать. А как правильно: «ребра» или «ребры»?.. И слова... по несколько раз одно повторяю. Смотри, рука у меня покусана. Неужто она? И на груди синие пятна... Цепкая бабенка... И вдруг вспомнил все, как было с ней. Ну стерва! Ну мастерица!..

Имя ее?.. А... можно и без него... Зовет. Слей водицу... Тут, слава Богу, можно и помыться. Таз вынесут. Еще прибирают за бывшей верховной властью города Иркутска. И сливают друг другу из кружки, ежатся на брызги — ну лед и лед! А умыться, подмыть себя — надо. Вспомнил: Верка!

— Ладно, — ворчит тетка. — Чего ломаться? Лей и туды... Чего ждешь? Титьки мои углядел... Они у меня ишо молодые. Во торчат! Правда, справные, комиссар? На, пощупай, что зеньки выкатил да

посуху слюну глотаешь? Чуешь, какие? Нравится, давай, давай... Сопишь, чисто паровоз. То-то, комиссар. Не в годках дело... Ишь ты какой! Мало тебе ночи... Да не сопи, что ты?.. Ты, комиссар, мужик редкий, тебе цена большая. Бабы тебя должны любить... Очухался?.. Так давай сливай. Да на ладошки, а не на пол. Совсем ополоумел. Склеилось у меня там от тебя, кобелина...

И сливает Флор ей на укромное местечко. А что делать, люди же...

А Верка, умываясь потом, бормочет, пофыркивая на воду:

— Не гляди, что худая и кашляю. Меня мужики за кралю держат. Это я сейчас запаршивела... революция... чтоб ей!

А уж пригляделся к свету — не сплит. Это все от бумаг — ох, как много пишет, читает! Да часто при свечах или коптилках. Поутру и не гляди на свет. А тут еще выпил с ночи...

Мурашки вроде разлетелись. Чертят в башке, но не густо. И свист в ушах не такой злой... Надоело это мытье над тазом. Воды уже давно в трубах нет — с самой последней смены власти, с большевиков. Слава Богу, притапливают еще помалешеньку, но по нужде надо на первый этаж, не шибко запишись.

Верка ему полотенце на виски, в кресло усадила. Жаль мужика. Думает: с перепоя это... Ну да, Верка!.. Куда им, молодым, понять. У них сердце, мать их! Паровозище, а не сердце... Однако не жалеет себя Три Фэ, синими губами порет разную пошлость. Всю жизнь боится сойти за слабого, которого жалеют...

Верка ворчит:

— Эх тебя растащило, комиссар.

Уж воистину: не лей в мехи старые вино молодое...

Он на удивление не жадный и вообще беспечный к собственности человек, хоть все забирай, — некоторые из ночных гостей и пользовались. В шкаф сунутся или чемодан. Что приглядится, запричитают — и глазки на него. Он только кивнет с подушки: мол, владей...

А эта... длинноногая... не жадная. Такие вроде перевелись...

А Верка обматывается какой-то хламидиной (вместо шарфа) и балагурит:

— Хороший ты человек, комиссар. Только два у тебя недостатка: рано родился и долго живешь...

— Бог не Яшка, — в тон ей отвечает Федорович. — Он видит, кому тяжело.

— А кобель ты здоровый. Сколько ходок сделал на меня за ночь. Сердце бы поберег.

— Хм, — прокашлялся Федорович.

— Что «хм»? Не б... я, а ночная спутница. Не баба, а тепляшка — греть мужика ночью, но с тобой не шибко залежишься, кобелина!

Федорович знает тюремный жаргон, сразу сообразил: сидела подруга. В тон ей подкидывает:

— Заходи — не бойся, выходи — не плачь!

— Это верно, комиссар. Штука у мужика не гвоздь — не напо-
решься.

На том и расстались.

Прослышит позже: Верку жиган один в карты проиграет. Отошла не мучаясь. Сзади ударил, под левую лопатку. Даже не охнула.

Колчак смолоду верен правилу: мужчина, то есть истый джентль-
мен, не смеет жаловаться, и даже себе, — это навешивает тяжесть
на других и подтачивает волю, и потом вообще гадко и изрядно
отдает иждивенчеством... Ни слова жалобы! Ничто и никто не
властны надо мной!

Здесь, в тюрьме, он добавил к оному правилу еще одну посылку
и твердит все уже единой, общей формулой чести: «Презираю и не
боюсь мести, пыток и смерти!..»

После вспоминает Маннергейма. Они знакомы поверхностно.
Ему, Колчаку, до свитских генералов было ох как далековато!

Карл Густав Эмиль Маннергейм. В июне семнадцатого он полу-
чил чин генерал-лейтенанта, а с 1918 г. — командует финской арми-
ей. Сейчас, в 1920 г., ему 53, на один год старше покойного госуда-
ря...

Предложение Миллера было неприемлемо. Маннергейм вел
дело в союзе с Германией; это по его инициативе в Финляндию при-
был экспедиционный корпус немцев. Это тоже одна из причин,
почему Колчак отказался от стотысячной армии финнов. За их спи-
ной действовала все та же Германия. Помощь в разгроме больше-
визма могла обернуться закабалением России — и где?.. В самом ее
центре — Петрограде и Москве. Русские отстояли и не пустили
немцев к сердцу России, а он, Александр Колчак, открыл бы им
дорогу!

Бороться с большевизмом продажей России — на это он не мог
пойти, хотя именно под это гнет свои вопросы Попов. Для Попова
помощь союзников в борьбе против большевиков и есть эта самая
продажа России. Он, Александр Колчак, все время указывает ему
на этот передерг.

Действия союзников на территории России определялись русской
верховой властью. Другой вопрос, что слабость белого движения
вела к самоуправству и нарушению соглашений, кстати, жертвой
чего он и оказался. Но эти слабость и разруха — прежде всего дело
большевиков. Как государственно-экономический организм Россия
вполне исправно функционировала почти весь семнадцатый год. Ни
о какой тотальной разрухе и речи быть не могло. Хозяйство страны
подорвано не столько Гражданской войной, сколько экономической
политикой большевиков. Экспроприации, конфискации, национа-
лизации, искоренения всякой собственности привели к распаду хо-
зяйственной жизни. Это и сделало Россию бессильной, даже
ничтожные войсковые контингенты иностранцев способны дикто-

вать ей свои условия, как, например, легион. Он заправляет железной дорогой — и никто не в состоянии что-либо изменить. А ведь чехов и словаков к данному моменту всего несколько десятков тысяч — жалкая горстка. Но Россия разрушена, лишена единства — и это делает ее бессильной...

«Попов показывал мне мои обращения и прочие официальные документы, — раздумывает Александр Васильевич. — Я подписывал их: «Мы, адмирал Колчак...» Это намек на ту же тему: якобы я рвался к власти над страной под именем Александра Четвертого. Но это всего лишь дань национальной традиции, стремление обозначить верховную власть в море безвластия и анархии. Я не решал вопросы за Учредительное собрание. И ничего от своей власти Правителя не имел — ни денег, ни наград, ни поместий. Я служу России. К сожалению, я мало мог среди всеобщего озверения, крови, хищничества, лжи, демагогии. Но справедливости ради это была не только подлость людей, или, как называют это большевики, разложение правящих сословий; нет, это был и ответ на тотальную жестокость и уничтожение всякой законности красными...»

И опять перед глазами поплыл прозрачный майский Петербург. Колчак незряче шажком подступил к лежанке, сел, все так же жадно вглядываясь в подробности дорогого прошлого. Прозрачность этого города пронизывали неторопливые фортепианные переборы — любимые пьесы Шуберта. В свободные вечера отец часто играл.

— Анна, Анна... — зашептал Александр Васильевич, — куда я тебя завел?..

Он видит себя со стороны: никому не нужный человек в адмиральской форме, задвинутый заснеженными стенами камеры, — и все рушится и летит в бездну, в вечную тьму и свирепые вихри.

Товарищ Чудновский разбирает бумаги — взяты на квартире у одной бабенки, а бабенка из дворянок, офицера за долг сочла приютить... Лихо отстреливался капитан.

Скользит взглядом по листам тетради: кабы не пропустить сведений о подполье. Больно уж дрался этот капитан, царствие ему небе... Какое же небесное: ведь падал! Тьфу!

Семен Григорьевич вчитывается: как есть дневник!

«Жизнь сейчас сведена к следующим примитивным переживаниям: есть, пить, спать... Голова почти не работает. Но это и хорошо! К чему?! Чтобы острее чувствовать полноту отупения?..

В каждом человеке есть зачатки садизма. Это я теперь знаю.

Вчера видел много крови, сперва в бою, потом — на избитых пленных.

Я чувствовал нарастающую животную жестокость в себе. Я готов был к убийству, и не просто убийству, а зверству. Я старался погасить эти чувства рассудком, но желание бить, терзать оказывалось выше.

И что самое гадкое, поразительное и непостижимое — это готовность к насилию над женщиной. И это страшно, потому что, несмотря на воздержание, я был совершенно пуст для подобных чувств. Лишения, кровь, одно окаменевшее состояние горя — и вдруг... Факт изнасилования после боя, когда ты среди людей, покорных тебе, угадывающих твое желание, трепещущих перед тобой, выдающих страх... стал мне совершенно понятен...

Главное, что беспокоит, занимает все существо, — это бездна неизвестности впереди. Скоро ли кончится этот ад?! Ну хоть чуточку света надежды...»

Товарищ Чудновский вспомнил труп. Капитан Ивашутин валялся ничком на дровах. Днем он прятался в поленнице. Пуля из трехлинейки выбросила мозг...

«Весь этот класс похабный, — думает Семен Григорьевич. — Одна дурная кровь. Гниет и прееет на корню. Трудовые люди займут место этих кобелей и паразитов...»

И уловил свое дыхание: сиплое, медленное. Налег грудью на край стола и задремывает. Вот-вот приклеится лбиной к дневнику...

Более чем лестный отзыв о встрече с Маннергеймом оставил неугомонный Борис Бажанов.

«Маршал Маннергейм принял меня 15 января (1940 г. — Ю. В.)¹... Из разных политических людей, которых я видел в жизни, маршал Маннергейм произвел на меня едва ли не наилучшее впечатление. Это был настоящий человек, гигант, держащий на плечах всю Финляндию. Вся страна безоговорочно и полностью шла за ним... Я встретил крупнейшего человека, честнейшего и способного взять на себя решение любых политических проблем...»

Любопытно было бы узнать, кто произвел «наилучшее впечатление». Что не кремлевские вурдалаки — и заикаться не приходится. Тут коварство любого пошиба, предельная жестокость, политическая наглость и всеядность во всем... Это уже разбой, а не политика.

¹ Встреча с президентом Финляндии Маннергеймом происходила во время советско-финляндской войны (30 ноября 1939 г. — 12 марта 1940 г.). Кстати, сам Адольф Гитлер пожалует 4 июня 1942 г. в Хельсинки на 70-летний юбилей маршала Маннергейма (1867—1951) — подобной чести не удостоивался больше никто, даже верный Бенито Муссолини.

Для меня Маннергейм останется человеком, по приказу которого с севера держали блокаду Ленинграда финские войска (в финской армии было 10 дивизий — 350 тыс. солдат и офицеров). В Ленинграде сотнями тысяч, миллионами умирали от голода, болезней и холода дети, женщины, старики. И под Москвой отличился полк финнов. Так что отомстили и барон Маннергейм, и финны.

Мальчиком я видел вывезенных из блокады ленинградцев — призраки, а не люди. Казалось, они не способны насытиться.

В поздний этап работы над «Огненным Крестом» (1992 г.) я смог обратиться и к книге Бориса Бажанова «Воспоминания бывшего секретаря Сталина» (изданной во Франции в 1980 г.).

В. К. Буковский (подлинный вождь диссидентства 60—70-х годов, несгибаемый узник тюрем и «психушек») несколько раз встречался с Бажановым, последний раз — в Париже летом 1981 г. «Это был невысокий шуплый старик, — рассказывал он, — с очень живыми глазами. Его отличала подвижность. Он был инженером и весь находился в своих проектах, изобретениях... Удивительно, что этот человек уже в 20-е годы, будучи совсем молодым, пришел к пониманию коренной сущности марксизма...»

Остается добавить: наше знание конца века ничего не прибавляет к оценкам Бажанова начала века. Этот живой, заряженный на действие человек презрел теплое и сытое место возле всемогущего палача, но если бы только это!.. Он вступил с ним в борьбу. И, как рассказывал Буковский, уцелел по чистой случайности. Сталину доложили, что Бажанова сбросили с поезда. Сбросили с поезда человека, похожего на Бажанова. Жизнью заплатил другой. А о Бажанове с того дня забыли. Списали из живых...

А сердце жмет!

Только проснулся, умылся Три Фэ — и опять на постель: должно отпустить, мать его! Поймал себя на мысли: какая же это гадость и глупость — «мать его», ведь это его родная мать! Как омерзительны эти ругательства!

Поглаживает грудь, уговаривает сердце и вспоминает жандармского вахмистра, вез его один такой в ссылку. Как что не по шерсти, так приговаривал: ничего, заставим кота горчицу жрать... Тоже жизненная философия.

Флор не один, вон... шастает по номеру. Любознательная.

Три Фэ прилег поудобнее, сейчас отпустит, сейчас...

А гостье глянулся вязаный жилет — еще в Уфе купил... Уфа, Чернов, Комуч, Директория, Авксентьев... право же, как из другой жизни...

Гостья оглаживает жилет, снимает соринки — пальцы ловкие. Сдобная — да такие нынче в диковину, а при таком промысле и вовсе.

— Бери-бери, — сипит Три Фэ.

Обойдется, у него еще душегрейка почти не ношенная.

Баба не верит, так и застыла с жилетом, аж рот разинула, забавный такой, буквой «о». Рот еще молодой, крепкий, без морщинок по углам. Показалась она ему в этот миг белорукой и вовсе не уличной подстилкой: милая и несчастная. Разлепил губы:

— Да твой, бери!

Пусть греется, молодая — ей жить. И заулыбался: такие дойки еще обогреть нужно — и не обхватишь, аж в стороны воротят, не умещаются рядышком. Такой бы детишек рожать; от сытости

сладко спали бы, не пикнули, знай порыгивали да румянились. Молока — залейся! Все эти... уличные... сплошь худородные, а эта... Вчера, когда повел к себе, и подумать не мог, этакое богатство.

Три Фэ и о сердце призабыл, протянул руку — баба бочком придвинулась. Он качнул грудь, потом поприжал другую — ленивая, распертая соком, будто уперлась в ладонь своим «лбом». Экое богатство!

Гостья с готовностью присела сбоку. Флор пересилил себя, встал, напялил на нее жилет. Кожа у нее в гусиных пупырях — свежо в номере. Покосился на лоно: хоть гребнем расчесывай, нижняя часть живота, почитай, до самого пупка, в густой поросли. Эк сигналит...

Не удержался, огладил от грудей и до шерстяного выступа понизу, но сперва помял груди — до чего ж плотны и увесисты, точно им мало места в своем объеме. Для беспечного материнства сладила их природа.

А ноги! Ноги!... Твердо-тугие, высокие. Колени круглыми яблоками. Ну не объездить такую! Десять потов сгонишь, захлебнешься сердцем, исцелуешь огнем (губы вспухнут, воспалятся — не тронуть, не губы, а губищи), все места руками переметишь — недостает рук, так и мечутся, словно безумные, а только везде до обмирания блаженно.

Раздвинула ноги — само у нее это вышло. Тут голова не царь, не правит.

У Три Фэ кровь душно, толчком прихлынула к темени. Погибель, а не баба! Глаза расширились, аж зарницей изнутри осветились.

Гостья охнула — не ожидала: эк схватил, сгреб, заграбастал, ровно в первый раз к бабе прикоснулся, юноша нецелованный. И горячий-то! Ну угли раскаленные! Черт! Черт и есть, черт!..

А охнув, и выдала себя: негулящая, случайная в зазорном и мерзком ремесле. Ну не подыхать же! Господи, да силы еще сколько! Да земли, да неба и света хочется — не жила ведь!

И, враз разморенная желанием, зажмурилась, а после и закатила очи, узко под веки ушли, а ноги... ногам и отдалась, сами широко раскинулись, снизу выгнулась раз, другой... Все так: голова тут не правит. За тыщи и тыщи лет природа тут все команды выучила. Только поспевай...

Соски тут же на полмизинца выперли. Из толстоватых, приплюснутых, точно спелые вишенки, — вдруг алые и длинно-узкие. В полмизинца и есть, вот истинный крест, православные!

Вот же черт — вцепился!..

А как иначе: для мужика баба и собственность его. Бог-то ее под него и ладил. Не для другого, нет.

И дыхание у Флора враз стало таким — сам себя ожигает, огонь в груди.

— Бери, бери! — твердит баба, сама вся волнами под ним.

Чудная! Не Флора об этом просить.

Самая русская баба и есть. Преданна, не перечит мужу. Уступчива его воле: мужнина жизнь — ее жизнь. Верная семье. Как в крепости с ней. За такую и кладут головы русские мужики: в войнах, надрывных заботах о куске хлеба и детках.

Ноги обеих. Всю землю истопчи, а не сыщешь такую, нет другой такой. Не согривало солнце еще другую такую. А там блуд, подлость — это с другими ветрами к нам нанесло...

Целовал ее Флор в груди — да разве целовал? Пил поцелуями, кружилась башка. Сперва от одной груди испил (уж какие это половины — мед с молниями!), а после — от другой. Солонюватые... а нежные, крепкие! И задурел вовсе. От первача, от бутылки так не пьянел. Весь взгорячел — ну сразу, вмиг. А рук не хватает: тысячу бы для такого дела — во все места положил бы, подsunул, чтоб услышать, испить, родимую. Руками тоже можно пить бабу.

Не пробовали?..

— Бери, бери! — на стон срывается голос.

Мечется она, ровно рыба, выброшенная на берег. Умученная — нет силы такую ласку сносить.

И вперся лицом в обилие сисек, Господи! Аж щекотнул бородой по складке на животе. Так прижался к ней — и сорвался на бред слов. Взял ее всю — шепчет, шепчет... Глаза округлились — большие. Лицо страстное, мученическое. Сам как пружина — весь в неистовом ритме движения. Славит жизнь, любовь, верность! Всю вековую тоску по любви и преданной женщине вложил в движения и пламя слов.

А женщина и не знала, что так бывает... можно так.

Отдалась.

И не просто отдалась, а следует его любому жесту. Каждое движение угадывает.

И несет их страсть — ничего не слышат, не видят, кроме себя. Но не только страсть — горе, тоска... это тоже в поцелуях и неистовом сплетении тел. От горя бегут, добра ищут, не хотят зла, ищут родную душу...

Боль из груди отступила, нет ее, не было! Туго-туго стало внизу... да не успел, пока губы печатали поцелуи, баба напряглась, вскинулась, что-то зашептала, глаза белые. Сомкнула ноги, накрепко — в замок. Потом перекинула уже обе руки ему на шею, зашептала какую-то любовную ерунду, обдала жарким дыханием, щекотанием волос. Где-то успела положить ответные поцелуи. Остались ожогами — на плече, груди, опять на плече, после на шее... В губы не целовала — чужой, а чужих в губы не целуют... Повисла на шее, застонала и крупно, резко и как-то обрывисто ударила тазом... раз... другой и потом часто-часто задвигала, затихая. Сникла, руки и не держат, заскользили с шеи по плечам. Ополоумела баба. Обессиленно откинулась... Прошептала:

— Чисто кречет! Пропадешь с тобой, обесстыдишь, жук черный! Аж прожигашь ты... не цалуй, погибну! Ну не в себе я с тобой. Дьявол и есть! Сатана!

Три Фэ сел рядышком. Да Бог с ним, этим мужским, кобелиным! Взял ее голову и положил себе на грудь. Оба дышат, точно мешки грузили. Три Фэ гладит, нежит бабу. Благодарен ей за чувства. Пусть от звериной основы, а спасибо... радость великая на этой ока-
янной и подлой земле, что только и умеет казнить, мучить да глумиться.

Гладит ее по заветным местам (оттого и дыхание у них не уймется) и приговаривает:

— Милая, милая...

И не стыдится, что нагой и естество, вспрянув, так и не опадает. Любное огниво и есть. Это уж не от похоти. У него, Флора, так устроено: жалеет женщину, добра ей желает — естество не сломать и не согнуть. Стыдно, конечно, а при чем он? Природа так устроила. И не хочет, чтоб было так в этот момент, а получается само.

Флор целует ее в шею — лебяжья шея, шелк, а не кожа, и гибкая, тонкая, — и задыхается нежностью, а она на ласки отвечает, гладит его там, шепчет, уж как грохочут слова:

— Я такого и у молодых не видывала. Вишь какой цветом... чисто топленое молочко. Ох, крепкая в тебе жизнь, комиссар! Чую, отпустит тебя твое сердце. Здоровый ты, но горем натерзанный.

Самый простой человек мудр и пронизателен бывает. Для этого есть свои минуты: чувствует он другого, как на ладони этот другой.

А Флор метит ей шею губами и чуть не плачет. Никто, никогда не голубил его... Не блуд ведь это. Сердцем к нему повернулась женщина, а он такого и не знал. Прожил до седых волос и блуд принимал за ласку и добро.

Гнут они эту поганую революцию, а не даст она ничего. Ну как из пуль, ненависти любовь, ласку, достаток в чувствах отвоюешь? Эх!.. И целует бабу в шею, целует...

Уже после, когда пришли в себя (а зачем было приходиться? Мир, в который возвращаешься, — железный, холодный, в словах-колючках и змеиной ползучести), спросил:

— Как зовут?

— Настя.

Они лежали рядом. И ему было очень хорошо с ней. Спросил:

— Рожала?

— Не, мой преставился от сыпняка еще в восемнадцатом, а детишек Бог не дал. А его родители прогнали меня, на кой я им, у них еще два сынка.

Настя перекрестилась. Крестик она не снимала, тонул в сиськах, а сейчас, когда они распались на стороны, наоборот, голо липнул к груди. Шнурок твердоватый от пота, давно не стирала.

Покосился — глаза у Насти задвоились в слезах: серые, под загнутыми ресницами.

— К своим я пробираюсь, дяденька, под Саратов. А не доеду, однако. Тута мыркаюсь. К поездам и не подпускают. Мандаты какие-то требуют. Откуда взять мне его?.. Пообещал... ну, если дам —

провезу. Все отказывала, а потом... В теплушку посадил. И не один, а цельной гулянкой отходили. В очереди стояли. Уж я-то болела. Верите, месяца полтора кровью все мазала... Дала-то дала, а в поезд все равно не взяли. Намучили — и пинком из теплушки. Еще похабные слова кричали. А я иду на кривых... Вот и застряла тут, а жить надо... и зарабатывать передком... Я ведь не лярва, дядечка. С тобой вот так... чтоб от души... можешь не верить... впервые после мужа... а ежели по чести — и с мужем так не получалось. Очень ты делаешь это утешно. Вроде обычный мужик, а все не так... В сердце ты мое глядишь, а я-то живая, я тоже добра хочу. Не продаваться за корку аль деньги, а чтоб по душе, по согласию и нежности... Срам какой! Руки наложу на себя! Гулящая я! Срам-то! Подстилка, шлюха, курва!..

И завывала.

С час ее трясло. И тут же заснула. Враз обеспамятовала.

Три Фэ и по делам мотался, и речи говорил, и в бинокль на передовые отряды каппелевцев глазел, и слышал, как пули жикали, а вернулся за полночь — спит. Оборвалась, видать, в ней душевная натяжка, поверила, что здесь не намучают, не окровянят и не облают (мужики хуже зверья, особенно ежели выпьют — такие вещи вытворяют, она после рассказывала — у Флора аж глаза лезли на лоб) — и размякла душой, дала выход усталости. Нарыв на душе был.

Три Фэ привез ей вареные картофелины, огурец, два яйца и кулек рафинада. Сел, она еще спит, и гладит. Сальные, нечесаные волосы у нее, поди, с вшой, а хороши: на полкровати рекой струятся... Настю заудил на Амурской, возле Дома общественных собраний. Три Фэ помнил, в прежние времена там закатывали балы да обеды.

А тут и Настя проснулась, от озноба, поди, проморозило, чисто снега сыпанули на кровать.

Глаза распахнула, а ее знакомый сбоку присогнутый сидит, во френче, ремнях, на коленях деревяшка с маузером. Лампочка тускло светит. За окном — мрак и тишина. А дяденька улыбается и ее гладит. Не лезет, не раздевает, а гладит.

Она и заплакала.

Он ее гладил, говорил ласковые слова, какие говорят маленьким девочкам. Она такие отродясь не слышала, даже от родителей. А он говорил, накрывал на стол, куда-то за кипятком сходил, чай поразлил. Еще и другие харчи выложил. Снял ремни, расстегнул френч и позвал за стол. Поели. Уж как она кусала — каждому куску радовалась!

А поев, сомлела. Вся вековая усталость опять плитой на нее. Он это понял без слов.

— Ложись и спи, — сказал, — а у меня тут бумаги, поработать надо.

И сел за документы, приказы, циркуляры. Все же нужна и его подпись.

Склонил голову набок, поскрипывает перышком. На столе детская «непроливайка». Кладет резолюции Три Фэ.

Настя поспала и лежит, смотрит на него.

Он встал, походил, сел рядышком.

Она тоже села, но из-под одеяла не вылезла — уж так угрелась. Стянула руками ноги (они все под одеялами; у Флора целых три одеяла), уткнулась подбородком в колени и вздохнула нарастяжку. Кажется, все горе и выдохнула.

И рассказывает, столько накипело, а ни с кем не поделишься.

— Я ведь не гулящая. Промышляю передком, но не гулящая...

Груди вспучили одеяло, мягко покатываются с движениями и вздохами. А губы — губы поцелуйные. Не губы, а губищи. Мигает скромно — хоть и спала ночь, день, вечер, а еще так хочется!

Долго рассказывала.

Флор приласкал ее, нагладил, как гладят родных, и сказал:

— Я тебе дам денег, много дам. Вот адрес. Там комнатка, хозяйка с мужем-инвалидом и детишками. Ничего, примут, я договорился и заплатил. Поживешь. Нужды не будет этим заниматься, деньги на харчи... купишь что нужно. Если что — ко мне. Нет меня — дождись. Внизу задержат, объясни: к товарищу Федоровичу. Это я Федорович. Зовут меня Флор Федорович. Запомнила? Комиссар я. Значит, власть!

Настя мотнула головой: согласна, мол. Слезу не утирает.

Решил Три Фэ поседействовать Насте. Бегут поезда и на запад. А ей уезжать надо, пропадет здесь, иззаразят, ножом пырнут по пьянке, здоровье потеряет в голодухе и простудах, а пока еще ничто не потеряно, в силе женщина.

Сказал убежденно:

— Уходить надо, уходить!

За стеной затопали, забубнили. Дружинники...

А Настя рот крестит: зевается, разморило после собачьих мытарств. Все ночи по разным углам да чердакам — и глаз не сомкнешь, долбят тебя, матерят, долбят... Этот дядечка особенный. Вроде папаша: и поспать дал, да как! И харчи — ешь до сытости, не прячет. И денег сколько! Это ж месяц надо под каждого встречного ложиться — такие тыщи дал! Да за что же он ко мне так?..

Прильнула: не прогнал, как другие. Свое получит — и в шею, а то и ногой по заду. Только успевай вещи на себя накручивать, а то и бить начнут, площадными словами чернить да поганить.

Развела френч руками, обвила Флора по лопаткам — и рядышком повалила. Он только порывивает... Ох, и дала!

После Флор Федорович придремывал, а Настя лежала и думала: «Вот все бы такие, а то хуже и кусачей зверей. Как вернусь к себе, под Саратов, в Никитовку, — ни в жисть ни с одним не лягу, как только со своим, из-под венца. Да лучше иссохну!»

Как говорится, по ране и лечение...

А Флор очнулся и тихонечко гладит ей груди, уж очень горячи и как бы это... ну просятся под руку, сами просятся. Гладит, они ува-

ливаются, противятся нажиму, после уступают, но неохотно. Вот же одарил Господь Настю!

«Не по-прежнему мила, но по-прежнему гола!..» — выводит за стеной знакомый красногвардейский голосина; тут же подстраивается к нему целый хор, да еще с балалайкой. Говеют на конфискованном, защитнички...

Вспомнил, как вчера дружинники расстреливали офицеров. Головную походную заставу взяли, сплошь офицеры, один или два солдата... Солдат отпустили... Густо понесло кровью. Внутренности лезли через рваные отверстия в животе (их раздели, одежду еще при живых поделили). Лязгали затворы. Один уцелел, подраненный пополз. Добили штыком. Кровь черная... венчиком вокруг штыка...

И речь комиссара Гончарова, сейчас он третий после Ширямова и Краснощекова:

— Мы — борцы за свободу! Мы не продадим интересы народа! Око за око! Мы прорвемся к счастью, товарищи! Это битва за счастье и богатство народа! Смерть врагам трудового человечества!..

Чай пили. Флор молчал. А Настя все о своем: ей старуха точно нагадала — объявится и для нее свой мужик, венчанный и справный. Даст Бог — и понесет от него. Верный у нее приворот: не слезет мужик, пока она не забрюхатит. И слова запомнила такие, и зелье. А уж она выдюжит, только свой был бы. Уж так обучена — век ни под кого не ляжет! Вот истинный крест!.. А своего залащует, обстирает, щец натомит... Голубь ты мой, где ты?! Аж повлажнело промеж ног...

А фамилия у Насти — расплачешься: Милых. Так и есть: Настя Милых.

Товарищ Чудновский назавтра лишь косо этак проглядит записи: нет ли чего о подполье? Болтался же капитан в городе, не без дружков, наверное?..

А дневнику — затрепанной до невозможности коленкоровой тетради — это уже безразлично. Живут строки своей самостоятельной жизнью. Оторвалась от них душа их творца. Точат черви его прах в земле, а мысли и страсти в вязи слов здравствуют. Экое диво! Вот же придумали человеки: буквы! Что выше этого изобретения?

И шепчут строки из дневника убиенного капитана, спешат, доказывают свою нетленность. Вот ведь как: нет человека, а душа его говорит...

Не всегда разговор значителен или уместен, как в капитанских записях, однако пожелал автор, чтобы их приняла бумага и сохранила, важно ему это было.

«...Несмотря на усталость (я долго лежал с открытыми глазами), меня мучил вопрос: почему я сам не расстрелял этого красного, взятого в плен? Нет, в душе горела холодная ненависть, и все же я не убил его. Почему?.. Культура пустила столь глубокие корни во мне, что рассудочность берет верх над чувствами. Мне было противно

убить человека не потому, что жаль, а потому, что рассудок холодно подсказывал: лучше во избежание угрызений совести это предоставить другим. Итак, я поступал под давлением культуры, как фарисей: по существу, убив человека, делаю вид, что я тут ни при чем...

Ночевали в большой избе. Рядом, на полу, лежал вольноопределяющийся, мальчик лет семнадцати, поразительно похожий на прехорошенькую девочку. У него восхитительный цвет лица, разрез глаз, кудрявые волосы, алый рот и ослепительно белые зубы. Я лежал и чувствовал определенно нарастающее нездоровое влечение. В полутьме он еще более походил на юную женщину, чем днем, перед боем. И снова я задал себе вопрос, не извращен ли я или это долгое воздержание толкает к обладанию существом, внешне похожим на девушку...

Сегодня я впервые видел кровь и муки пленных, изувеченных до потери облика человеческого, и ощущал нарастающую животную жестокость в себе. Что со мной? Кто я?..

Продолжаю запись. До выхода в Бутурлино полчаса. Утром, когда чуть брезжил рассвет, я вдруг уловил, кто-то прикасается ко мне. Я тут же очнулся от сна, но не подал виду. Семнадцатилетний сосед мой по сну на полу в этот раз тихонько целовал меня в глаза, щеки и лоб, поглаживая грудь и ниже.

Безусловно, он извращенный мальчик, но должен сознаться себе, что лишь беспримерное усилие над собой удержало меня от соития с ним. Я не подал виду, а когда встал через четверть часа, чувствовал себя разбитым, как после самой разгульной пирушки.

Я не подаю виду, будто знаю, как он меня целовал, и держу официальный тон командира. А он смотрит на меня влюбленными глазами. И Господи, как же он похож на мою первую любовь! Голос у него несколько картавый, но певучий, очень напоминающий девичий. Я почувствовал себя совершенно сбитым с толку, когда он вдруг сказал мне (мы вышли на крыльцо): «Господин капитан, вы так красивы, само напрашивается сравнение с портретом Дориана Грея». И как же он глядел! Мне надо быть предельно сдержанным и осторожным, чтобы не впасть в скотство...

Жизнь сводится к самым примитивным переживаниям: есть, пить, спать и убивать...

За что красивые посланы нам? За какие прегрешения? Кому нужен разгром русской жизни? Что происходит, кто даст ответ?..»

В основе данного изложения подлинные дневниковые записи деникинского офицера. Сам дневник был начат в немецкой колонии Рейхенфельд Мелитопольского уезда, где формировался Измайловский полк, одной из рот которого командовал автор записей. Дневник завершала запись, выполненная, что называется, на ходу (буквы вкривь и вкось): «Семь часов утра. Идет бой. Моя измайловская рота погибла. Возможности писать нет».

Не оставалось времени и для жизни. Владелец дневника этого, разумеется, не знал. Он отстреливался. После отбивался шашкой, рядом с ним орудовал штыком «гигант с красным флажком на штыке». Окропленный кровью флажок съехал под основание трехгранного штыка. На флажке были нашиты золотые буквы «Р.Р.» под короной. Из дневника нетрудно узнать, что этот гигант — каптенармус роты Бобыкин.

«Р.Р.» и корона — это символика Измайловского полка: «Р.Р.» — «*Petrus Primus*» (Петр Первый — августейший основатель полка).

Колчак то сидел, то сновал по каменной тропочке и все по памяти строил расчеты живучести корабля в зависимости от характера повреждения. У него тут завелись свои соображения. В самый раз у Крылова спросить. Доносили, будто он красным служит...

О боях, удачных или неудачных операциях, союзниках и вообще о войне думать не хотелось. Все это представлялось громадной нелепостью, результатом какого-то затмения сознания людей. Теперь он уверен: войной ничего нельзя решить, это — самое нелепое из того, что можно придумать. Вооруженное сопротивление оправданно лишь в одном случае: нужно защищать себя и безоружных беспомощных людей, когда о себе заявляет насилие...

Вчера случайно увидел себя в зеркале — и поразился. Изможденное, худое лицо — один горбатый нос. И глаза — проваленные, в черных обводах. Поспешает ангел смерти...

Из записки Тимиревой Александр Васильевич знает о подходе Каппеля. О гибели Владимира Оскаровича он, как и все заключенные, знать не знает. С того момента, как получил записку, ему уже ясно: жить — считанные дни. Поэтому он постоянно собран, даже застегнут на все пуговицы, как говорится, при всем параде. Особенно напряжен с наступлением ночи — законное время казней для чекистов.

— Господи, даруй победу нашей армии и спаси Родину!

На записку Александр Васильевич ответил беглой карандашной скорописью — пьяные буквы, от стужи пальцы ооченели: «Это наша смерть, Анна!»

Уже несколько дней он носит в себе ломоту. Его калит неослабный сухой жар. И еще сердце — впервые слышит его, и слышит непрестанно: дни и ночи. Бьет громко, будто раскачивает изнутри.

Колчак приваливается спиной к стене: пусть холодит, пусть промораживает насмерть, какое это имеет значение. Он устал. Пусть спина и ноги отдохнут. Все прочее лишено смысла.

— *Envers et contre tous...*

В полутьме камеры, в спертom, влажноватом воздухе его все чаще клонит к дремоте. И, забываясь, он видит Петербург, голубые льды Арктики, и над всеми видениями четко, выразительно складываются аккорды пьес Шуберта. Он даже видит: отец замирает,

наслаждаясь звучанием инструмента. Это ENGELMANN & GÜNTHERMANN. BERLIN.

Александр Васильевич живет последние часы — ничего у судьбы нет в запасе... для него — нет. Разматывается нить, вот-вот выскользнет самый кончик...

Евреи... Антисемитизм...

«Я убежден, — думал Флор после допроса полковника в ревкоме, — если бы убрали евреев из нашей жизни еще в начале XIX века, когда их еще не было в России, почти не было (ну ни один еврей не жил бы в России вплоть до 20-х годов этого самого... XX столетия... будь оно проклято!..), мы все равно прошли бы те же самые извивы истории. Все проблемы остались бы, до одной, ибо все, что с нами случилось, заложено в нас, зашифровано в каждом русском общностью пережитого. Большевизм! Когда мы перестанем мучить, преследовать других за то, что они отличаются цветом мыслей, чувств, когда из нас черным ядом изойдет желание делать, видеть все и всех на один манер (и самое главное — избавимся от насилия как основного средства устройства жизни), — лишь тогда для нас забрезжит свет достойной жизни. В противном случае мы как нация распадемся, растворимся, выродимся...»

Федорович с угрюмым недоумением взирал на воображаемые толпы. Это выражение сменялось горечью: куда же я попал, где я?..

Узколобый расовый национализм еще не увековечил ничего имени. Ни один из последователей этих чувств и принципов не вошел в историю героем. Имя таких в лучшем случае на заборках памяти человечества и прописано в ней черными письмами.

Федорович не верит этим толпам. Ни на словечко не верит. В августе 1914 г. он находился на Дворцовой площади и видел, как народ (именно самый простой люд) на коленях пел «Боже, царя храни!...». Это было выражением патриотических чувств по случаю войны против Германии и Австро-Венгрии.

Он уже столько видел...

Нет, он не верит им... Большевизм!

В этом сообществе людей до сих пор не прижилась одна простая истина: если присутствует насилие — справедливость исключена.

Не Сталин, а плебеи долго и старательно истребляли людей, пока они, люди, не стали редкостью. Это они, плебеи, создавали для себя в стране обстановку духовной нищеты, узаконенного мародерства всеми способами, которыми можно взять ближнего за горло, ибо эта обстановка выражает их уровень культуры и сознания. Они легкоуправляемы. Политические свободы, как и права человека, им

чужды: им важна жратва. Культура не есть для них потребность. Сознание их развращено ложными представлениями (государством), будто они и есть «соль земли» и подлинная народная власть, а все вне их враждебно, несправедливо и заслуживает презрения и ненависти. Чувства эти культивировались государством более 70 лет — все до одного человека прошли через эту могучую обработку.

Именно из плебейства рекрутировались высшие органы государства и власти вообще. Именно плебеи создавали свою культуру, своих классиков культуры. Именно плебеи являются подлинными хозяевами распятой ими, поруганной России.

Через вождей нация изрыгает свой гной.

Товарищ Чудновский то посмотрит на заключенного (все тот же меряющий взгляд), то упрется в список, переворачивает листы, шевелит губами, выхватывает знакомые фамилии. Погорбатели на совесть. Сам Дзержинский одобрил бы...

Вот этого бывшего господина, что уныло торчит перед ними в канцелярии тюрьмы, замели третьего дня. Он соперничал штабс-капитана. За ним, лекарем, в ночи притопали дружки подстреленного офицера, а он не только не донес, но и не отказал им. А где был подшиблен штабс-капитан?..

Это не фронтовая рана. Фронта, почитай, нет с начала января.

Чудновский про себя расставляет мысли в слова: «Ты не донес, лекарь, зато на тебя донесли... служанка лекаря — Куртыгина Дарья Тимофеевна, девица 24 лет (спробовал бы я тебя, какая ты девица: женишков там уж отметилось, подумал председатель губчека), и ее сожителю (в доносе так и прописано) — Жоркин Никодим Фомич, 49 лет, бывший приказчик москательной лавки Полубояринова, а ныне ответственный заготовитель продуктов для нужд железнодорожных служащих...»

— ...Какие бы благородные цели ни преследовала ваша партия, нельзя превращать людей в негодяев... даже во имя лучезарнейших идей, — рассуждает доктор. — Зло заражает гниением, и заражает всех без исключения, тем паче если оно выступает от имени государства. Вы — новая власть...

Товарищу Чудновскому срочно решать, кого выпускать из тюрьмы, — ну трещит! И это несмотря на солидную убыль от тифа и поноса. Что ни день — десятка полтора отдают Богу душу. Шутка ли, сколько народу приняла тюрьма. Хотя какой это народ... публика...

Нужны места. Неопасные — их можно после взять, пусть погуляют.

Каждый день с вокзала доставляют контру — сплошь полковники, капитаны, ротмистры. И в городе из разных углов вытряхают. Косухин дал разворот делу. Бедовый. На пули прет,

ровно заговоренный. Вчера одна шею ожгла — волдырь вздулся. Братва балагурит: поцелуй! Словом, места нужны для гадов...

— ...Поймите, я не кадет, не эсер и не состою ни в каких организациях и кружках политического толка. Я беспартийный... Нет, я не толстовец. Но мне органически претят кровь и убийства. Я доктор! Я должен спасать, лечить, облегчать страдания. Да возьмите в толк: ради добра производить зло — это все равно что...

— Увести! — говорит Чудновский, наливаясь крутым раздражением.

Еще немного — и обложит по матушке.

— Простите, не понял. — Доктор склонил голову. — Простите, что вы сказали?

— Назад его, в камеру!

Председатель губчека поворачивается к дружиннику. «Холерный, — думает о лекаре, — доит трудовую копейку, пользуется образованием и нуждой. За какие это шиши квартира о пяти комнатах, служанка (чай, пробовал щупать... знаю я их, старых козлов), книги, пианино, даже гипсовые фигурки по углам?..»

— Ступай, коли велят. — Дружинник толкает доктора в плечо.

— До свидания.

Доктор делает полупоклон. Он уже успел обноситься, седоватая щетина обметала щеки — за три дня они успели утратить энергичную полноту и теперь серо-отечные, даже с какой-то чернотой; на губах простудные корочки; вместо пуговиц на пальто — ключья ткани и ниток. Поэтому доктор вынужден руками запахивать и придерживать полы пальто.

Дружинник ступает мягко — в белых подшивных пимах.

Дверь ударяет раскатисто, на весь этаж. С утра пуржит — и по этажам ветер, ровно в поле.

— А еще лекарь, — говорит комендант тюрьмы, — образованный, шпарит по-книжному. Что за публика — не пойму: все есть, ан нет, лезет, хрен... собачий!..

— Жаль Евграфова.

Денике поскрипывает новыми ремнями; на ягодице — маузер, как и у всякого ответственного работника.

— Опытный хирург, золотые руки. Жена обращалась, помог...

— Держите свою жалость при себе! — грубо, на бас осаживает его Чудновский. — Жалеть ступайте на папёрть, а здесь — революция!

— Мне в нем специалиста жаль.

Денике от смущения заулыбался.

— Специалистов мы используем, — басит Чудновский. — Это наша политика, политика партии. Разве товарищ Троцкий не отстаивает лозунг о военспецах? На большие тыщи их в Красной Армии. Пока свою интеллигенцию воспитаем, эти поработают. Чай, на народные деньги выучились, пусть возвращают должок. Будут работать, заставим. Мы для того и здесь. Но только не этот ваш... Ев... Евг...

— Евграфов, — подсказал Денике.

— Разжижение мозгов от учености, — весело подвел итог Мосин.

Семен Григорьевич вскидывает голову и натужливо моргает.

— Разжижение, говоришь? Этот и эти — кадры для контрреволюции. — Он тычет рукой за спину. — Читай, там, на плакате. — И, скосив глаза за плечо, вроде бы читает, а сам произносит по памяти: «Кто не с нами — тот наш враг». А этот?..

— Евграфов, — напоминает Денике.

— Вот так, Сергей. С классовых позиций подходи ко всем явлениям — тогда не будет осечки. — И вдруг вспомнил прачку... Фу, срам! От воздержания, поди. Который месяц в деле — и без продыху. Заслонил разными правильными мыслями образ прачки и срамные думы про нее и досказал Сергею: — Пощупаем, что за птица. Гляди, и в подполье следок обозначится. Знаем мы таких христолюбцев.

Досада шершавит товарища Чудновского. Опоздал Жоркин с доносом¹, поленился из постели пораньше вылезть. У Дашкиной задницы грелся, лысый хрен! Слюни небось распустил. Беседовал с этой девицей председатель губчека, ну дура набитая! Глазки пуговками, рожа, как у мартышки. И сама взаправду вертлявая. Но задницу у доктора «отъела». Эх, Жоркин!.. Мебель, кровавые бинты, прочая обстановка на месте, а людишек — ни души. Кто они? Куда схоронились? В каких чинах? Засада ничего не дает. Этот Жоркин, чтоб его!

— Давай следующего, — кличет в дверь комендант и рисует в своем списке крестик.

Полтора года назад в роще за Глазковым был казнен Посталовский — первый председатель иркутской губчека. Стало быть, Чудновский — второй по счету, но казнить себя врагам революции не позволит. Не для того он здесь.

— Расстрел без суда — это расправа! — надсаживается в трубку Федорович.

До чего ж пронзительный голос — до пяток прожигает и хоть тонок, а митингово-закаленный, убедительный, режет по самой сути.

— Да поймите же, какой это суд? Ваш Чудновский — суд? При чем тут остальные? Что вы мне талдычите о трибунале! Никто никого не судит. Он там, в камере, а вы в кабинете подписываете бумагу на расстрел — и называете это судом. Это — суд? Мы за это боролись? Что?! Я имею право так говорить! Вы, что ли, одни от колчаковщины страдали? Мы теряли товарищей... да побольше, куда вам! Не знаю, где вы были, а я... Что?! Нет, мы не должны

¹ Доносительство в России заслуживает не отдельного, самостоятельного разбора, а оды — оды о доносительстве. Державин подошел бы...

пасть до самоуправства. Я настаиваю на открытом процессе с соблюдением всех юридических норм... Нет, не отговаривайтесь, мы можем его спрятать и провести процесс позже... Мы что, разбиты? В чем дело?..

Три Фэ пытается убедить товарища Ширямова в недопустимости казни без суда.

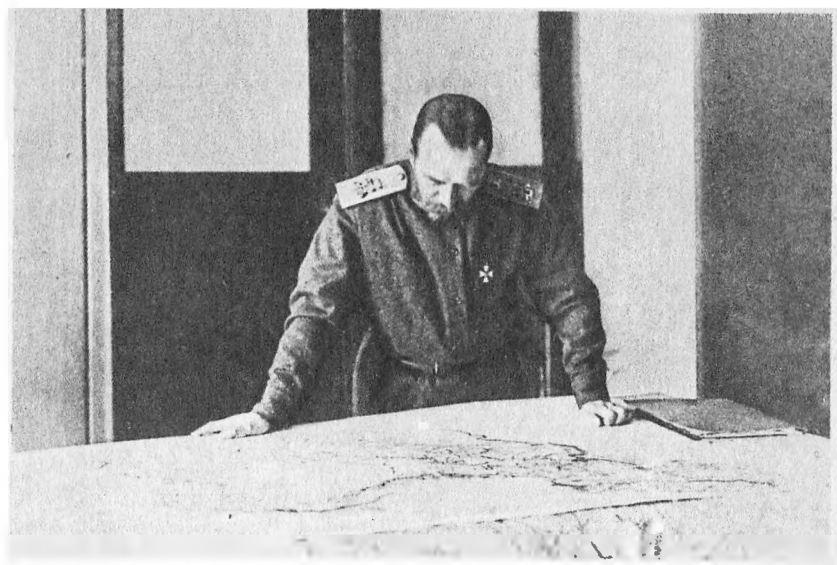
— ...Мы не смеем идти путем расправ. Насилие и бессудность должны быть исключены. Сомневаетесь в способности удержать власть — спрячьте! Потайных мест достаточно, не найдут. Да, казните, когда нависнет реальная угроза, но ни на мгновение раньше. Иначе это голый произвол! Это то, что мы ненавидели и за что шли на виселицы и каторгу. Я почти уверен, даже не почти, а уверен: город останется за нами. Чехи берутся защитить город. Какой им расчет выдать адмирала, а после вернуть белым? Это же бессмыслица. Они уже наверняка снеслись по телеграфу с Прагой и имеют указания. Чехи не могут столкнуться с Войцеховским, я знаю всю головку легиона. Время самоуправств кончилось. Есть Чехословацкая республика, и они здесь следуют инструкциям своего правительства. Неужели не ясно?.. Мы не смеем карать без суда. Поймите: здесь проверка наших революционных принципов! Я требую учесть мое мнение как члена ЦК партии социалистов-революционеров, а также бывшего председателя Политического Центра и человека, который добился выдачи Колчака. Смею вас заверить: вы бы его не получили!..

Слушал, слушал Ширямов и прохрипел сорванной глоткой:

— С такой хреновиной пристаешь! Тут дыхнуть нет времени, забыл, когда спал. Да ему мало сотни казней! Царский выкормыш и народный палач!.. Вот что, лучше своих пошустрее поднимай. Разворачивает части Войцеховский, последние выходят из сопок; не сегодня-завтра ударят, а чехи пока сидят; что-то не вижу я их там, обещали прикрыть. Вот как во Владивосток едут — вижу. Каждый день составы шумят... Пойми, товарищ Федорович, каппелевцы никого не пощадят. Меня просто стукнут, а с тебя сперва шкуру сдерут, с живого сдерут. Да за адмирала они тебя из-под земли достанут. Каппелевцы, мать их, соображаешь, что за суп! Жду тебя с докладом. Давай, давай своих — Фляков звонил! Каждый боец на счету!..

И на добрую минуту зашелся матом. Что ни слово, пудовый ком грязи. Ну нет времени человеку на выбор слов. А мат — тот на любой случай, все донесет — любые оттенки чувств и мыслей, не язык, а сокровище...

Александр Александрович Ширямов являлся членом партии едва ли не с ее основания — аж с 1900 г. — такие в редкость. У самого Ленина стаж на три или четыре года больше. Поначалу партия насчитывала всего-то несколько тысяч членов; можно без преувеличения сказать — все знали друг друга в лицо, а уж понаслышке —



Могилев. 1916 г. Николай II в своей ставке. Он верит в Россию и победу. Именно преданность России явится одной из скрытых причин расправы с ним и его семьей. Берлин мог остановить руку убийц, но... не остановил. Не для того руководство кайзеровской Германии снабдило Ленина миллионами золотых рублей.



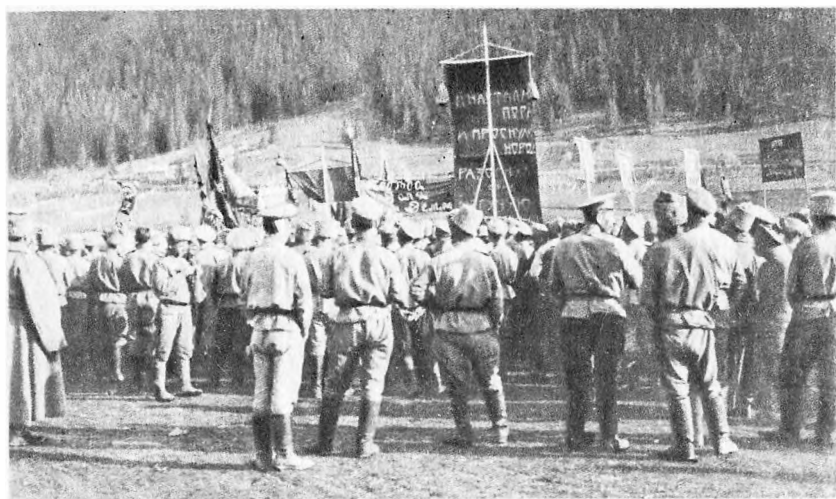
Осень 1916 г. Буковина. С высоты 1279 союзники (здесь — англичане, французы и бельгийцы) обозревают линию фронта. В этой войне, кроме Германии, лишь Россия понесла столь убийственные потери: 5 млн. 243 тыс. 799 солдат и 68 тыс. 944 генерала и офицера (из них пленными 3 млн. 911 тыс. 100 человек).



Императорская российская армия осенью 1916 г. представляла собой грозную силу. Ее так и не сломил объединенный удар Германии, Австро-Венгрии и Турции. Из стран Антанты Россия единственная воевала сразу с тремя сильными противниками. На снимке пленные немцы. На переднем плане — офицеры.



Не дошел до лазарета, умер от ран. Слава вам, защитники России!



28 апреля 1917 г. Буковина. Разложение армии началось с митингов. На хоругви надпись: «Настала пора и проснулся народ. Разогнул свою могучую спину». Это уже была не армия.

Отъ Военно - Революціоннаго Комитета при Петроградскомъ Совѣтѣ
Рабочихъ и Солдатскихъ Депутатовъ.

Къ Гражданамъ Россіи.

Временное Правительство низложено. Государственная власть перешла въ руки органа Петроградскаго Совѣта Рабочихъ и Солдатскихъ Депутатовъ Военно-Революціоннаго Комитета, стоящаго во главѣ Петроградскаго пролетаріата и гарнизона.

Дѣло, за которое боролся народъ: немедленное предложеніе демократическаго мира, отмена помѣщичьей собственности на землю, рабочій контроль надъ производствомъ, созданіе Совѣтскаго Правительства — это дѣло обезпечено.

**ДА ЗДРАВСТВУЕТЪ РЕВОЛЮЦІЯ РАБОЧИХЪ, СОЛДАТЪ
И КРЕСТЬЯНЪ!**

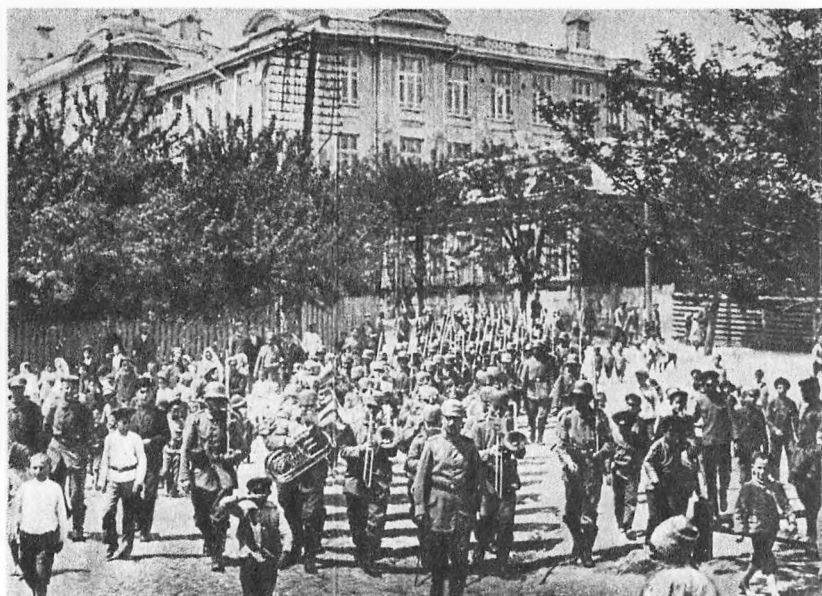
*Военно-Революціонный Комитетъ
при Петроградскомъ Совѣтѣ
Рабочихъ и Солдатскихъ Депутатовъ.*

25 октября 1917 г. 10 ч. утра.

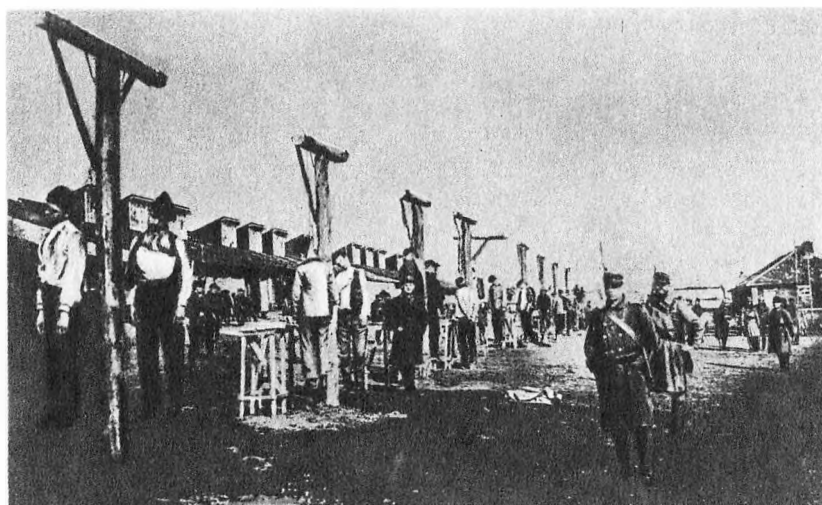
В. И. Ленин. К гражданамъ Россіи.

Листовка 25 октября 1917 г.

Черезъ мѣсяцъ была создана ВЧК, черезъ 4 мѣсяца — заключен договоръ съ Германией, Австро-Венгрией, Турціей и Болгаріей в Брест-Литовскѣ.



Начало лета 1918 г. Германские войска согласно договору в Брест-Литовске город за городом оккупируют Россию... под оркестр и парадным маршем.



По договору в Брест-Литовске Екатеринослав (Днепропетровск) отошел к Австро-Венгрии. На снимке запечатлена расправа австрийцев с рабочими осенью 1918 г. Убить всех, кто отказывается быть холопом завоевателей.



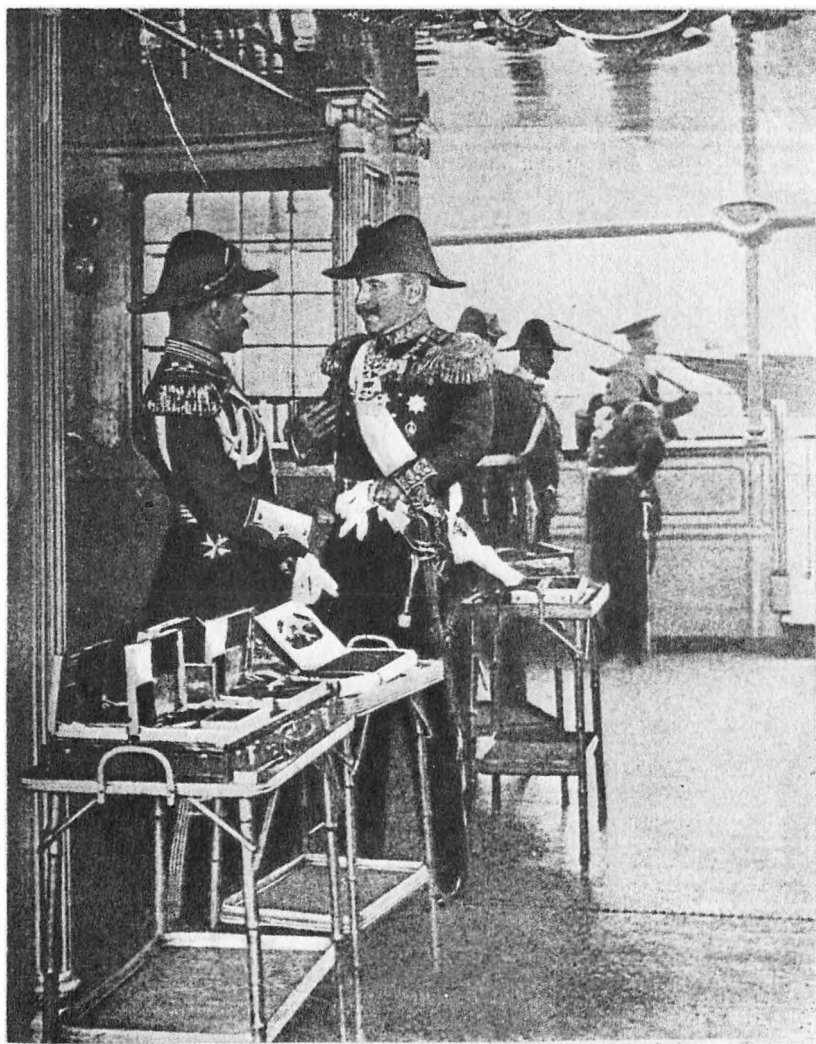
Великая Отечественная война 1941—1945 гг. Они вернулись через 24 года, но уже в другой форме и под свастикой. Свыше 30 млн. трупов советских людей оставят они в память еще об одной попытке отнять славянские земли.



Адмирал А. В. Колчак.

«На небе полная луна, светло, как днем.

Мы стоим у высокой горы, к подножью которой примостился небольшой холм. На этот холм поставлены Колчак и Пепеляев...» — вспоминал казнь адмирала председатель иркутской ЧК Семен Чудновский.



Николай II и Вильгельм II на яхте «Гогенцоллерн» в Свиномюнде. Кайзера Вильгельма без преувеличения можно отнести к соучастникам расправы над Николаем II и его семейством.



Судьбу десятков и десятков миллионов людей определит этот человек из своего скромного кремлевского кабинета. Ему, Ульянову-Ленину, принадлежат слова, сказанные на 2-м конгрессе III Интернационала в августе 1920 г.: «Но убеждать недостаточно. Политика, боящаяся насилия, не является ни устойчивой, ни жизненной, ни понятной».

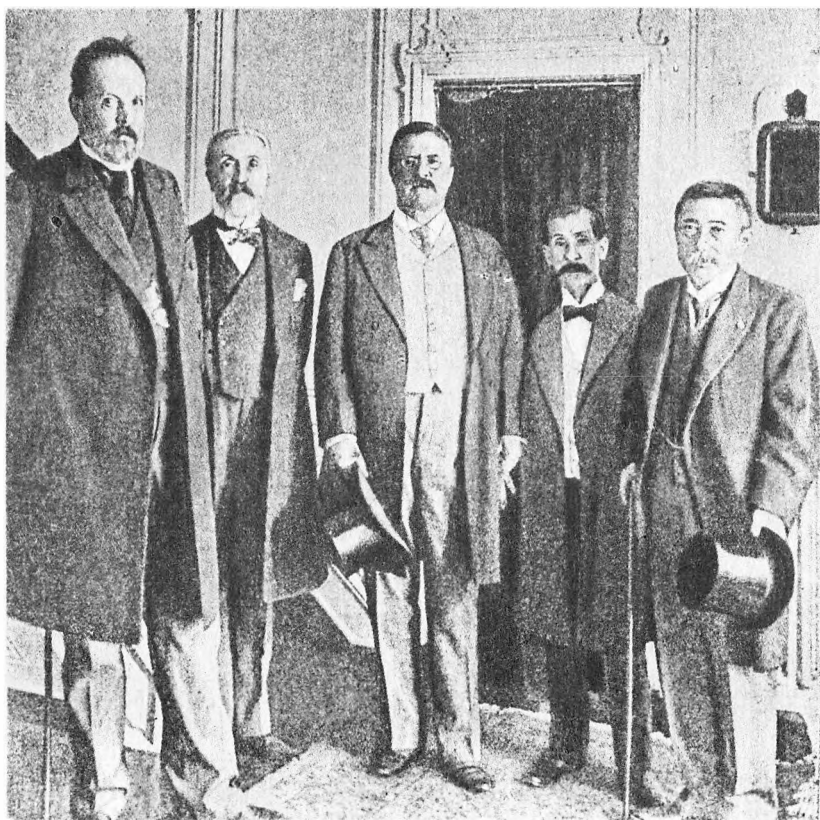
И хлынула кровь.



Дзержинский за работой. Обратите внимание на лица помощников. Что таким Россия? Всего лишь карта с обозначением географических пунктов — не более.



15 июля 1904 г. Все, что осталось от В. К. фон Плеве после бомбы Егора Сазонова из Боевой организации партии эсеров, которую возглавляли Азеф и Савинков.



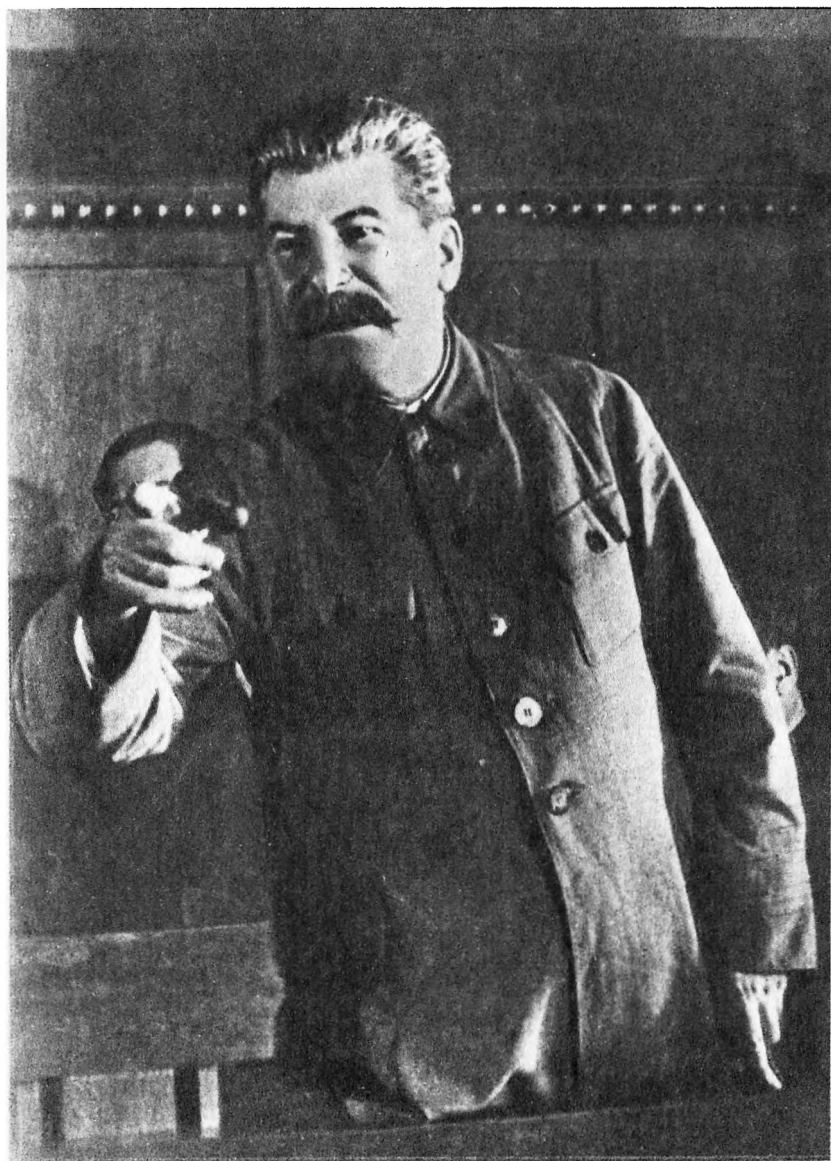
27 июля 1905 г. в Портсмуте (США) был подписан мирный договор между Россией и Японией.

Слева на снимке — председатель Совета Министров России Сергей Юльевич Витте (1849—1915). За умелое ведение переговоров Витте был удостоен царем графского титула.

В центре — президент США Т. Рузвельт. Крайний справа — представитель Японии.



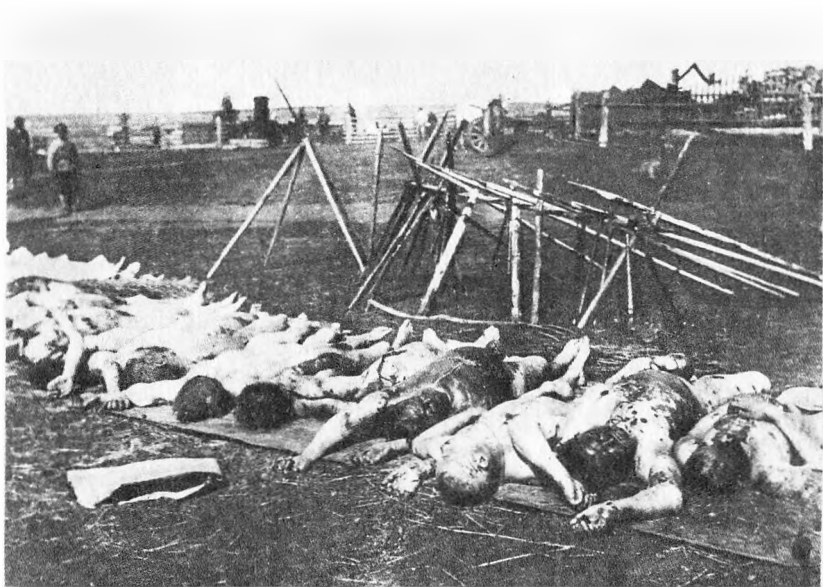
Один из столпов полицейского дела в России и ярый ненавистник Столыпина
П. Н. Дурново.



И. В. Сталин. 1937 г.



1919 г. Партизанский отряд в тылах казачьего края атамана Г. М. Семенова.



Осень 1919 г. Село Сепичево Пермской обл. Жертвы белого террора. Красный террор окажется куда более охватным и «массовидным» (выражение Ленина), но проводился главным образом в тылу и тайно, без свидетелей.



Все для победы над белыми! Москва, Красная площадь, 1918 г.



Палач и жертва (уже в гробу).
4 декабря 1934 г. Сталин и Каганович у гроба Кирова.

непрерывно. Еще перед Февралем семнадцатого партию составляли всего несколько десятков тысяч человек — по численности эсеровской и в подметки не годилась.

Сейчас же, в 1920-м, партийный стаж Александра Александровича тянет на все 20 лет — это уже всероссийского значения работник. Недаром Александр Александрович позволяет себе не во всем соглашаться с самим Лениным. А что, Ленин — там, в Москве, а он, Ширямов, — в Сибири, кому где видней?

Словом, уверенно чувствует себя в партийных делах товарищ Ширямов, а у себя, в Сибири, и подавно. Сам советскую власть заводит. С конца 1919-го возглавляет Сибирское районное бюро комитета РКП(б).

Без сомнения, Александр Александрович из тех немногих, кто посвящен во все тонкости «женевского» будущего новой России, и потому подтягивает к пониманию этих тонкостей своих молодых товарищей по вере. Гордость его: Семен Чудновский — кремневый партиец, и с полетом, хваткой.

Ширямов воспитан на трудах Ленина — от всего другого его тошнит — и поэтому не может не презирать Федоровича, как, впрочем, всех эсеров и меньшевиков (для «бэков»¹ они за недоумков). Александр Александрович считал Политический Центр другой ипостасью все той же колчаковщины — по данным вопросам у него возникли острейшие разногласия с Москвой и Краснощекковым, которого он в свою очередь тоже относит к откровенным соглашателям, едва ли не ренегатам рабочего класса.

Однако в данный момент, когда капеллевы разворачивают части на окраине Иркутска, товарищ Ширямов вынужден вести разговоры и с эсерами, и с меньшевиками, и вообще со всей мелкобуржуазной шушерой.

Обстановка требует выдержки и союза со всеми политическими силами, враждебными белогвардейщине и интервентам, — тому учит Ленин.

В ленинизме много таких «тонкостей»: использовать в критической обстановке всех и все, а после, когда обозначится победа, все чужеродное отсечь, вплоть до совершенного уничтожения. А теперь, при подобных, можно сказать мохнатых, обстоятельствах, опасно даже намекать на какие-либо разногласия: упустишь власть.

Этот Ширямов грубый был мужчина, без всякого искусства принимал жизнь — один обнаженный классовый инстинкт и выкладки по книгам. Маркс, Плеханов и Ленин свели все формулы — должен уступить враг. Опыт Робеспьера, Коммуны 1871 г., 1905 г. — должен уступить враг!

Ничего не значили для Ширямова человек или группа людей, коли не разделяли платформу Ильича: пустое место, а не люди. Ни в дьявола, ни в возвышенность чувств не верил, а только — в диа-

¹ Большевики (жарг.).

лектический материализм и неизбежность социалистического переустройства мира. Надежный работник партии, гордость партии, ее драгоценный фонд...

Идет по улице Федорович, скрипит пимами. Морозец знатный, порошит инеем воротник, бороду. После самогонки ступать в тягость, душит в груди. Постоит, потопчется — и дальше шагает. Еще в три места надо поспеть.

«Идеал государства — изживание плебейства, преодоление плебейского, — раздумывает Три Фэ. — Но где такое государство?»

По бледному лицу красные морозные пятна, вроде оживает бывший председатель Политического Центра. Глаза блестящие, крупные, смотрят пронзительно. Такой, кажется, рукой пулю остановит. Это от безразличия к себе. Жизнь любит, а на себя рукой махнул, себя ни во что не ставит. Тяжкую ношу несет в душе. Посмотрит невидящими глазами вокруг и дальше топает.

И молчит. Устал от слов.

Научно обоснованное разрушение России...

Ломают огромный обжитой российский дом — и радуются...

Остановился вдруг и не шевелится, вслушивается в стих. Громко, настойчиво звучит в памяти: «Искал друзей — и не нашел людей...»¹

Если смотреть вниз по Ангаре — на горизонте, да и поближе, видны сопки и горы под темноватым лесом. А рядом, в Знаменском предместье, в километре от устья Ушаковки, где речушка впадает в Ангару, и метрах в двухстах от правого берега Ушаковки, квадратом 200 метров на 200 (если на глазок) раскинулась тюрьма. Корпуса ее — за четырехметровой каменной стеной. Двухэтажный корпус для тюремной администрации встроено в разрыв этой стены и глядит на Ушаковку. Этот корпус даже слегка выдвинут из стены, нарушая общую линейность.

Если смотреть с Ушаковки, то справа от этого корпуса — чугунные ворота. В них и провели той январской ночью Колчака с Пепеляевым.

Город как город, а растянут душевным напряжением — кажется, полыхнет, испепелится, и снега не спасут.

И город-то каков — весь за ставнями, а то просто окна одеялами занавешены. Не верит город свету.

И за ставнями или одеялами одни молятся за каппелевцев, и не только богатые, так сказать из классово чуждых. Кладут поклоны у лампадок. Господи, не оставь Ты их!.. Иконы все древние — за два-

¹ Из стихотворения М. Ю. Лермонтова.

три века на что только не насмотрелись. Господи, спаси и убереги!.. Приподнимутся — и к окошку, в щелочку глянут, не идут ли. Но когда же, Господи, когда?! У дверей — котомки, теплые вещи, чтоб враз сняться. Весь умысел и надежда — уйти. Нет жизни тут, одно горе да мытарства...

А другие — тоже за ставнями, но все пуще безбожники, а ежели молятся, то о самом заветном: не дай, Боже, чтоб прорвались белые, заморозь их, завали снегами, перемори тифом, дай силы выстоять красным!..

И все молятся за своих сыновей, мужей и отцов — в красных ли они, в белых ли, потому что ни белые, ни красные не ведают друг к другу пощады. Господи, убереги сына, мужа, отца! Матерь Божья, заступись!..

А есть и такие — о чехах и вообще союзниках вздыхают. Вот бы Сибирь до Урала присовокупили к Чехословакии, а еще лучше — к Франции. Ну навсегда пресеклись бы зверства и голод.

А есть: не молятся, не вздыхают и любой заварухе рады. Чем круче драки, тем неустойчивей власть, а при этой самой неустойчивости — самое раздолье. Никто не давит — ну ни перед кем не надо шапку ломать, сам себе голова. И грабь, грабь!

В предельном натяжении чувств город.

Люди боятся нос сунуть из своих домов-укрывалищ. Мужчин нет. Мужчины по мобилизации — у белых или красных. За уклонение — смерть.

Такое вот разделение народа. Язык один, а друг друга не разумеют.

В таком разе самое первое — молчать. О чем угодно веди речь, токмо не о власти. Кто знает, чьей окажется завтра. И поволокут, припомнят все слова, размажут мозги по булыжнику. Ибо доносительство в России шибко двигает жизнь.

Нет, научились люди обо всем толковать — только не о главном. Естественный отбор...

Пусть главное само и проявит себя завтра.

Словом, замер Иркутск в морозах и метелях. Небо солнышком иногда вспыхнет, наобещает радостей — и за тучи, за обильные снега. Ну сыпет, порошит!..

Подпирают город изнутри красные, с вокзала наставили пушки и штыками огородились белочехи. Из сугробов на окраины выбирается армия Каппеля — Войцеховский ее ведет. Полк за полком перед Иркутском разворачиваются; погибель от них всем цветам, кроме белого. Не люди, а привидения. Всех близких перехоронили, ничего за каждым не осталось, окромя шинели с тряпьем да винтовки с подсумками. Все богатство — ненависть, но такая — тысячи верст по таежной крепости, да под пулями, не остудили...

От станции Зима шажком наступает Пятая армия. Двинет решительней — японцы рванут навстречу. Тут и новая большая война возможна, и кто скажет, с каким поворотом...

А в Забайкалье, вроде под боком, возится атаман Семенов.

Всего каких-то пять недель назад его полки пытались погасить мятеж в городе. Трупный следок оставили. Обороной Иркутска руководил товарищ Ширямов. Штаб его размещался в административном корпусе тюрьмы, той самой, где ждет суда адмирал.

Семенов опять не прочь спустить своих на Иркутск, а что ему, псу кровавому. К тому же японцы, слава Богу, подпирают. Ждет атаман общего поворота событий.

Темной полынью глядят из снегов достославный град Иркутск, не может отгадать своей судьбы. Что, где, кому обломится завтра? Что надумает Господь?!

Красочный портрет Семенова рисует Джон Уорд:

«...Семенов представляет собой одну из самых поразительных личностей, которые я встречал в России. Человек среднего роста с широкими четырехугольными плечами, огромной головой, объемом которой еще больше увеличивается плоским монгольским лицом, откуда на вас глядят два ясных, блестящих глаза, скорее принадлежащих животному, чем человеку...»

И виновато прибавляет:

«Быть может, подо всем этим он прежде всего добрый русский человек — время, впрочем, покажет...»

Набегался, надергался, совсем охрип и потерял голос Три Фэ; сна нет, весь в сухом горении. Сморила усталость, прилет: час — не сон, а провал в бездну. И тут же прочухался, как от удара. Аж всем телом рванулся.

Сидит, дышит хрипло и глаза таращит: непроглядно в комнате и тихо — только его дыхание и прерывает тишину. Пошарил: вот маузер, на месте... Посидел еще в темноте — и чиркнул спичкой, запалил свечу. Допил холодный чай. Походил. Сообразил: безнадежно, не заснет, так уж который раз.

Ноги заледенели, вытащил из-под кровати пимы, с побряхтыванием и тихим, мирным матерком напялил. Русские понимают под пимами валенки, а если быть точным, пимы — это меховые сапоги; такое значение имеет это слово на языке хантов.

Подумал: «Нет Бога, есть Божественный дух. Существование разума и души предполагает веру в Божественный дух как выражение духовного начала в человеке...»

Стал вспоминать трупы убитых в боях, расстрелянных, просто бандитски зарезанных. Дух, дух...

Потоптался, плюхнулся задом на постель. Сколько сидел — откуда знать? Вроде совсем очухался. На ощупь нашел папиросу, спички. Покурил — и вовсе полегчало.

Ночь тягуче ползет, что-то от питона, от удушения в ней...

Здесь этот гробкопатель Войцеховский, должны беляки вцепиться в город, а не сбывается предчувствие. Не идут... Вот и верь...

Революция допустима лишь в одном случае: надлежит убрать зловонный труп с дороги — не разрушать и буйствовать, а убрать...

Подумал вдруг (с чего бы это?): «Без песни душа немая, иссыхает человеческое». Попробовал тихонечко напеть из литургии. Засмеялся, махнул рукой. А погода ушел в себя и обмяк, отвалился спиной к постели — и не видать, нет человека, одни уши торчат.

Три Фэ внутренним слухом ловит наплывы колокольного рокота. Напрягает память, припоминает — и все четче, явственней басовитый гул. Люб ему этот колокол. Нарочно ездил в Звенигород слушать большой благовестный колокол Саввино-Сторожевского монастыря.

А ночь — не раздернуть. Кажется, спрессовалась угольной твердью — и не движется. И хоть бы чей голос, звук...

Стрельба?.. Да разве эти звуки для души?.. Язычок свечи лег набок да так и остался. Окна не заклеены — вот и несет! Ровное тихое течение холода от окон...

И задремал...

Несомненный дар ко всяческим изображениям имел Василий Чегодаев — сотрудник губчека из бывших краснодеревщиков, мастер по дереву! Посему товарищ Чудновский и разместил его на конспиративной квартире: пушай выкладает зернами злаков портрет товарища Ленина¹.

Идею вложили такую: символ плодородия это, ибо от ленинских идей — плодородие и сытость всему бедняцкому роду.

Прежде непотребных баб и девиц со здоровенными телесами и ляжками (ажно не обоймешь) приспособляли для подобных целей, но то обозначения подлые, от дурной крови в человеке, особенно паразитной жизни, дармоедства. Это каждой Жучке знамо: сытость и праздность, то есть лодырничество, оборачиваются похотью, развратом и всяческими гадостями.

Должен заявить о себе новый символ плодородия и вообще счастливой доли при рабоче-крестьянской власти.

Работу велел не прерывать даже при самых чрезвычайных обстоятельствах, например как нынешние: гуртуются под городом беляки, вот-вот двинут на «ура».

По-ленински оценивал председатель губчека мобилизующую роль искусства. Вчера записал в своей тетради для «толковых мыслей», что способность к искусству отдельных граждан следует

¹ Подобного рода художества во множестве сберегались в советских музеях как образцы народного искусства (Ленин из пшеничных, маковых и прочих зерен). Имелся и портрет Ленина, вырезанный на рисовом зернышке. Им в музее могли полюбоваться в микроскоп. Это художественное помещательство распространилось, разумеется, и на Сталина — его тоже «клеили» зернами.

обращать на нужды всего общества, а не представлять, скажем, цветными красками задастых дамочек на усладу кобелей из дворян и заводчиков. При всем голоде на дельных сотрудников не срывал Чегодаева на задания, кроме самых ответственных, но и тогда не ставил под пули.

Василий не просто подбирал и клеил зерна — там, на конспиративной квартире, закладывались основы будущего социалистического искусства — искусства для народа. Назидание и в конечном итоге прямая польза должны быть от данного искусства практике строительства советской власти. Не может и не должно быть никаких иных удовольствий... кроме как с вещественным оборотом, то бишь пользой. Все — в выработку труда и высокую сознательность.

Знал о чегодаевском особом задании помимо Чудновского еще только Мосин — его боевой помощник. Кремень парень, можно положиться как на себя, и самое главное — не надо разжевывать, с полуслова все схватывает.

Мучился товарищ Чудновский видениями: украсит страну множество монументов Ленина и Троцкого — все из самого дорогого камня, а лучше мрамора. Чтоб каждый видел и сознавал, где и для чего живет.

Потихонечку составлял бумагу для ревкома — ну, проект или представление. В общем, на любом собрании должен присутствовать бюст вождя: вроде надзор за чистотой идей и верностью каждого. И чем выше ранг собрания, тем внушительней бюст, чтобы с любого места было видно, кто здесь главный; очень это должно подкреплять сознательность и воодушевлять.

Горяч, непоседлив Сережка. Оказывается, у него вегетарианцы на учете, имеется даже такая ведомость в оперчасти. Объяснил свой поступок так: вегетарианцы по сути своей сектанты; стало быть, не охватываются советской властью, за ее забором; стало быть, возможная опора контрреволюции — свое им дороже общего дела, ничего не хотят видеть за своими интересами. Председатель губчека лишь подивился доказательности рассуждений. Толковый получается чекист, но горяч, собака, горяч!

Подозрительность питали дружинники и к «шляпам» — тем, кто летом и осенью носит шляпу, а то и галстук. К чужим, не своим относили и всех в очках — «очкариков». Часто именно эти обстоятельства служили причиной стремительных расправ: был человек — и нет. Это, разумеется, самоуправство, но свой брат, рабочий или мужик, в такой срам не вырядится. У паразитных классов и своя одежда, сами о своей чуждости и сигналият.

Сережка все время напевает революционные песни и пребывает от всего революционного как бы слегка на взводе. Чудновский представил его и заулыбался.

Нынче Мосин доложил о заминке с реквизицией одежды. Рискуют люди, тяготы несут — почему не одеть их?.. Взяли узла три-четыре разного барахла в доме адвоката Векшина — известная в городе старорежимная сволочуга (сам пропал, с восемнадцатого

года ничего не известно). Ну и на сани узлы. А тут его девчонка: уцепилась за барахлишко — и в голос реветь. Мол, папино, не смейте брать! Ее отодвинут, а она опять за свое, соплячка! Ребята не выдержали — и в сани, народ стал собираться, не дело это. А зря, надо было глянуть, что там еще. Бывает и золотишко, меха...

Ребята на сани — и ходу, а она, эта мокрица-малолетка, за ними, орет, людей будоражит.

Шум-то зачем?.. Сережка и пуганул из револьвера. Та и упала... Да не попал — это точно, так, припугнул. Ну не отвяжется, соплячка, нездоровую обстановку нагнетает, позорит красную власть. Свое ведь берем, возвращаем награбленное! Товарищ Ленин как сформулировал: «Грабь награбленное!»

Сережка божится, что в девчонку не метил, просто стрельнул для острастки.

После встречи с Анной в те предосенние дни четырнадцатого года, просыпаясь внезапно ночами, Александр Васильевич ощущал такую радость, прилив такого света!

— Моя, моя, — шептал он, приподнимаясь на тюремной лежанке и нашаривая в темноте трубку. И после, уже закурив, разглядывал Анну в своей памяти и вслушивался в голоса: свой и ее...

И тут же черное, сосущее чувство: загубил ее!

Погодя Александр Васильевич пытается представить Байкал, Ангару летом. Течение реки сильное, и все же вода удивительной прозрачности и чистоты. Первым из русских описал Ангару протопоп Аввакум.

«Житие» он не читал, должно быть, интересное...

Господи, ведь предали, выдали на казнь!..

Предали, предали!..

Александр Васильевич замер напротив окошка и буравит взглядом черноту неба, буравит... Прошлое обступило со всех сторон, теснит, давит своим смыслом...

Штабс-капитан Хрипунов... Где он? Веселый, широкой души русак. Александру Васильевичу он понравился с первого взгляда, когда молодежато вскочил, вытянулся, отдавая честь. Лицо серьезное, а в глазах и губах чуть заметная смешинка. Нет, не над ним смеялся, просто жизни радовался: не убили пока и сыт, и небо так заманчиво, и люди вокруг — отчего не быть радостным.

В середине восемнадцатого бывший фронтовой офицер Хрипунов надумал познакомиться с большевиками — что за власть, отчего народ за ними прет, на чем вообще стоят и чем дышат — тоже ведь русские?..

Записался в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию — РККА. Как военспеца определили начальником штаба полка. Снабдили

соответствующим мандатом. Стали звать «товарищем Хрипуновым».

«Насмотрелся я на «товарищей», — рассказывал штабс-капитан адмиралу. — У нас не все было ладно... «У нас» — при покойном государе императоре, пусть земля ему будет пухом, ему и деткам его с императрицей... Схватил эту неустойчивость в государстве еще совсем безусым мальчишкой в 1905-м. Качается власть, не надежная, гляди, корона покатится, сшибут революционеры. И признать надо, тянуло гнильцой от порядков и всех монархических устоев. Простите за «гнильцу», ваше высокопревосходительство. Простите за выражение... Так вот... Дай, думаю, на советскую власть гляну, может, у них и впрямь рай. И глянул, ближе не глянешь... Мордовороты! Весь мир размалевали на два цвета: черный и красный — вот и вся их наука. Все у них просто, всему объяснения, если толковать мир как только черное и красное. Черное — это, разумеется, мы, имущие. А они белых одежд, благородных... значит, угнетенные. Классовый подход, а если его житейски выразить, то вроде игры в «крестики-нолики». Тут и все их понимание мира и будущего. Звери живут добрее... От них я и прошел пол-России в Колчакию... Простите, ваше превосходительство (штабс-капитан не сказал «виноват», как требует устав, а — «простите»; в этом было доверие и уважение), к вам прорывался. Долгая история. Где прячешься неделю-другую, а где едешь, втянув башку в плечи, — только бы быть поменьше и незаметней. Проверки — от них нервный тик и бессоница. Не по человеку это. Перекроют вагон с двух концов и орут: «Приготовить документы!» Весь вопрос, какие? На рожах у них не написано, какая там власть за вагоном. Предъявишь красные — атаманы шлепнут или наши же белые. Власть менялась, да и меняется... не угонишься за ней. Ну докажи, что ты свой, беляк... А белые документы вытащишь, ну старые, от царской службы, когда командиром роты воевал, — красные всенепременно пустят в распыл. Не моргнут — пустят. У них такая священная задача — чистить землю от нас. А я жить хочу. Жить! За что меня убивать? Я никому не сделал зла, а люди за мной охотятся. Не за одним мной, конечно. А за что? Жить, жить хочу! Я ничего преступного ни перед кем не сделал. Родине с честью служил. Два ранения, награды... Пока вот так стоишь, а они вычитывают твои бумаги, мрешь форменным образом. И волосы седеют. А с чего бы у меня в двадцать восемь седина? Вот посмотрите — как сивый мерин я. Вот только и радость, не мерин еще... Сто раз умрешь и родишься. Потом обливаешься и вычисляешь, какой из двух документов показать. Они же, сволочи, ночью нагрянут. Спишь, а тут остановка и крики. Со сна ничего не сообразишь, а у тебя документы требуют, в физиономию наганом тычут... Решишься, достанешь бумагу — и ждешь неживой: та ли?.. Скажут: «Все в порядке, свободен», — а ноги не идут.

Так и ехал пол-России: живой — неживой. А на день проверок — две-три всенепременно. И угадывай, крути пяточком — иначе не

видать тебе света. С этим делом теперь просто. Чуть не так — и валят у стенки. Просто так, между делом. И нет жизни! А за что?..»

Александр Васильевич взял штабс-капитана к себе в конвой ротным.

Нет, Ленин не являлся ничьим агентом, хотя немцы, безусловно, использовали в своих интересах его антивоенную деятельность. Именно эта «разложенческая» деятельность большевиков позволила немцам обрести второе дыхание, перебросив с Восточного на Западный фронт десятки дивизий (пополнение неслыханное!), бои с которыми и превратили семнадцатый и начало восемнадцатого года едва ли не в самые кровопролитные.

Ленин не был агентом, но его поведение и агитация, пропаганда, основанные на классовом подходе, не были приняты ни русской интеллигенцией, ни тем более офицерством — почти всей образованной Россией.

Наоборот, трудовой люд сразу принял идеи Ленина, ибо в них присутствовало самое важное — обещание прекращения войны, прекращение немедленное и безоговорочное — «мир без аннексий и контрибуций», немедленный мир, столь желанный мир...

В этом смысле Октябрьская революция и советизация России стали возможны лишь как следствия первой мировой войны, да и сам Ленин это признавал. Без кризиса, вызванного войной, кризиса, поразившего Россию до самых основ, большевизм не проник бы в народную толщу столь всеохватно и столь стремительно. Именно кризис, рожденный войной, привел к объединению бедноты вокруг Ленина и большевиков. Война, страдания, кровь, нужда подтверждали правоту Ленина. И уже не имело значения, в чьем вагоне вернулся этот человек из эмиграции. Все это крысиная возня, главное — мир!

Позиция же образованной России в вопросе о войне существенно расходилась с народной. Россия являлась целью германских завоеваний — это и определяло ее отношение.

Германская империя сложилась к 1871 г. Она опоздала к разделу мира и теперь сообразно своей экономической мощи предъявляла требования и на территории, которых ей, кстати, недоставало во всю историю существования.

В этом смысле вторая мировая война неразрывно связана с первой; по сути, это одна и та же война, разорванная недлинным мирным промежутком, в который германский народ обратился к фашизму как новому средству в борьбе за жизненное пространство.

Установление советской власти в России оказалось как бы новым убедительным обоснованием для пересмотра положения в Европе. Сама же попытка захвата русских земель была бы предпринята и в том случае, если бы в России и не победил большевизм. Эта

попытка захвата была запрограммирована в истории германского народа (на том уровне общественного сознания), выпирающего из своих границ в поисках жизненного пространства. Ведь пошел же Гитлер на Францию, пошел раньше, нежели на Россию, — передел Европы, завоевание жизненного пространства, а не идеология являлись определяющими. Большевизм обострил кризис, но оказался не единственной побудительной причиной войны.

На том уровне правового и общественного сознания поведение Германии представлялось исторически неизбежным, следуя из ее экономического развития, правящие круги Германии видели решение кризиса лишь в войне.

Именно постоянно стесненное состояние германского государства и послужило причиной для возникновения столь злоеюще совершенного военного искусства и армии. Можно сказать, германский народ воспитывался на войнах — и это не окажется преувеличением.

Германия нуждалась в жизненном пространстве (земле, сырье). Она начинала страдать и от перенаселенности. А тут, под боком, необъятная Россия, та самая, в которую еще почти два века назад переселились колонистами десятки тысяч немцев.

Советизация России, идеология ленинизма придали устремлениям Германии тотальную жестокость. Но ведь всякая классическая колонизация — это прежде всего истребление населения, во всяком случае значительное сокращение его. Идеология ленинизма послужила превосходным поводом как для обоснований грабежа, так и для мобилизации ненависти германского народа, впрочем как и антисемитизм, который по традиции используют и для решения внутриаполитических задач.

Германия должна колонизовать Россию — вот основа исторического конфликта. Большевизм же фактом своего появления обострил этот конфликт до крайности.

Русские люди из патриотов (над ними издевались ленинцы, называя «оборонцами») и до революции осознавали завоевательный смысл германской политики на Востоке. Еще генерал Скобелев в легендарные времена русско-турецкой войны 1877—1878 гг. отмечал присутствие колонизаторско-захватнического элемента в духе новой Германской империи, возникшей в 1871 г. (вот уже когда это прослеживалось современниками). Недаром его преждевременную смерть многие русские связывали с поисками германских агентов. Это, разумеется, не так: генерал (кстати, любимец народа) чересчур налегал на выпивку.

«Освободили крестьян не Александр Второй, а Радищев, Новиков, декабристы. Декабристы принесли себя в жертву...»

Это о них немногим более ста с лишним лет назад писал Герцен:

«Это какие-то богатыри, кованные из чистой стали... воины-сподвижники, вышедшие сознательно на явную гибель, чтоб разбудить

к новой жизни молодое поколение и очистить детей, рожденных в среде палачества и раболепия».

Я преклоняюсь перед людьми, кто в царство мертвого, гнилого застоя, смирения (за которое отличали или оделяли куском хлеба), массового обращения людей в роботов имел мужество возвысить голос против насилия и положить голову на плаху — не только мучительств и приговоров всех тайных и явных служб большевистского режима (сейчас его скромно именуют «тоталитарным»), но и отчуждения самого общества, ради которого принимались муки и смерть.

К прискорбию, многие из них заняли в конце 80-х и начале 90-х годов откровенно противонародные, противорусские позиции, став не только проводниками чужеродных и враждебных России устремлений, но и прямыми разрушителями своего бывшего Отечества, не переставая обильно и гнусно клеветать на его историю и народ.

Россия вычеркнула их из своей памяти.

— Прикроешь слободу у развилки дорог, — объясняет Волчецкий. — Сколько у тебя штыков, товарищ? — И ворошит стопку бумаг — пальцы прокуренные, желтые.

Сукно стола в чернильных пятнах, прожженностях от папирос, черных хлебных крошках, мокрых кружках от стаканов.

— Двадцать семь нас, — нехотя, как бы с ленцой говорит солдат.

Ох, и здоров, леший, как шинель каптенармус сыскал!

— Вот тебе разрешение. — Товарищ Волчецкий подает записку. — В подвале отпустят кольт, три диска — сдюжишь? А больше ничего не дам... Народ обстрелянный?

— Всякий имеется.

«Это ж не оружейный склад, — оглядывается, вспоминая, Флор Федорович. — Это помещение бывшего страхового общества».

Смутно проявляется в сознании то далекое мирное время, и он, Федорович, здесь... тогда... Да, был... Из глубин памяти неспешно тянется, яснея, тот безмятежный июньский день. Зной...

— Связь с нами через посыльного, — наставляет товарищ Волчецкий. — Чтоб как вечер — с донесением.

— А сколько нам стоять? — спрашивает солдат, поглядывая на Флора Федоровича: вроде бы знакомый.

— Сколько революция потребует. В общем и целом дня три, а там смену пришлем, или каппелевцы сопли утрут и смотаются.

— Тогда всем свобода! — говорит кто-то из-за спин.

По тумбе стола процарапана изошренная матерщина: достается Каппелю и какой-то Зинке — «изменщице» и «рябой змеище». Пониже старательно прокорябаны бабьи прелести — даже чернила не затерли. Сбоку еще прицарапаны два слова — «дура» и «стерва».

«Зинкой, поди, вдохновлялись», — подумал Флор Федорович,

поскольку в надписях и рисунках чувствовались разные руки. И налился вдруг обидой и раздражением.

В комнатах неприятно, зябко. Стоят, ходят, переговариваются, чадят сигарками разные личности в шинелях, полушубках, пальто. Каменные плиты пола заплеваны, затоптаны окурками, в мутных следках растаявшего снега — от этого воздух гниловато-сырой. А мокрый полушубок соседа и вовсе шибает псиной, сам дядя зарос седоватой щетиной до глазных впадин. Попробуй угляди, каков лицом. Разве что нос — важно торчит: красный и по бокам в простудных лишаях.

— Так не сыпанут? — спрашивает товарищ Волчецкий.

— Ляг с нами и проверь... Почему знать? Сам не побегу... набегался.

— Вот ты и ложись с кольтом.

— Ты мне еще кольт определи, понял?..

— Не сердчай, Кречетов, не могу. Сам знаешь: каппелевцы. Не только вы в заслоне...

За столом — иссиня-бледный губастый человек в расстегнутом затертом пальто и беличьей шапке-треухе. На отвороте пальто — красный бант. Это и есть уполномоченный ревкома товарищ Волчецкий — правая рука Флякова, политкаторжанин, анархист-синдикалист. Случился у него с Флором спор о князе Петре Кропоткине. Когда же... дырявая память...

Булькающе, на задых кашляет сосед в сыром полушубке. Он все возитися у плеча справа. Федорович отступает, дает ему место. Сосед трет глаза, при этом задевает щетину, и она трещит громко, неприятно. Сосед бормочет, ни к кому не обращаясь:

— Не заразный я. После тифа. Ослаб...

У Флора Федоровича требование на 60 винтовок — свой будет, эсеровский отряд. За командира — бывший прапорщик Матвеев, из инженеров. Уже десятый отряд сбил Федорович — сушит его ненависть к каппелевцам. Сколько товарищей на их совести! И не уймутся, звери!..

Не привык эсеровский вождь ждать, переминается, зыркает недобро; однако терпит, не называет себя.

— А харчи? — спрашивает солдат, что у стола перед товарищем Волчецким.

Солдат в годах, за сорок — это без натяжки. И видать, в почтении к себе. И служба не выбила: повадка степенная, разворот головы неторопливый. Таких жены и в постели называют по имени-отчеству («Вы уж, Архип Северьяныч, не шибко мои цацы щупайте. С ночи так и зудят, треклятые. Бога побойтесь: ни дня не пропустите. Да нет, нет... да не балуйте... Ой, чтой-то?! Так хоть бы обнял, приласкал, а то сразу... Ой, миленький! Да что же ты?! Родненький мой! Ох ты, Боже мой! Ой, ой!..»).

— Получи у Карнаухова, — уполномоченный ревкома подает листок. — По полбуханки аржаного, больше нет, товарищ. Революция!

На листке — печать. Как успели смастырить? Самая настоящая печать новой народной власти. И глянь, штемпельная подушечка... Стукнет по ней товарищ Волчецкий печатью, подышит на резиновый круг и оказенит бумагу. И уже никому от нее не вернуться — документ, новая власть при всем своем законе...

— Не померзнете на постах? — спрашивает Флор Федорович.

И удивился себе: до сиплости сорванный голос, на шепот спал.

Однако товарищ Волчецкий живо признал бывшего вождя Политцентра: встает, сует руку. Морщины от удовольствия густо легли на лицо.

Флор Федорович отвечает пожатием. Улыбается: душой не кривит — нравится ему Федя Волчецкий, сердечный человек. Была возможность убедиться — вместе уходили из Уфы.

— А зачем нам всем на дворе? — ворчливо говорит солдат. — Наладимся греться. Чай, домов хватит. В три смены самый раз...

Папаха у солдата сибирская, в лохмах до бровей. Мужик впечатляющий. В плечах до того кряжист и широк — не обоймет баба. Мужик уважительный...

— Чур, только не пить! — говорит товарищ Волчецкий и жестом показывает Федоровичу: мол, садись, дорогой товарищ, вот стул рядышком. И, не дожидаясь ответа, спрашивает солдата:

— Все, Кречетов?

— А я такой Герасим — на все согласен.

Кречетов плечом отодвигает людей. Ну и мужик — из чугуна литой: столько силы и здоровой мускульной тяжести.

«...Я такой Герасим — на все согласен» — тут вдруг и проняло Федоровича. Сидит, не шелохнется, и вдумывается в слова солдата. Стало быть, мучай, казни, насилуй других, бей, твори зло... а ему, им... все равно. На все согласны!

Очнулся на миг — это Федя Волчецкий спрашивает бумагу у него, что-то бубнит о телефонограмме из ревкома, нужен им там Федорович... Ищут...

— Отпусти этого товарища, он нездоров, а потом разберемся, — буркнул Федорович.

Откинулся к спинке стула. Молчит, додумывает присказку солдата:

«Что ж это за жизнь, коли складывает такие слова и таких людей?.. Это уже не озлобленность, это и не опущенность. Это взгляд именно на жизнь, это философия народа, не одного этого солдата... как его... Кречетова... это философия народа. Народ вносил эту мудрость...»

Шибко книжный человек бывший председатель Политцентра.

Товарищ Волчецкий не то ослаб зрением от трудов при свечах и копилках, не то болеет глазами, а только бумаги читает едва ли не бровями. Надо полагать, потому и направили его в канцелярию. Ну какой прок от такого в стрелковых цепях? Ну кого, что увидит?..

Федорович сидит и смотрит перед собой.

— Дожить бы до лета, в тепле постоять, — бормочет сосед в сыром полушубке. Федя как раз читает его мандат. — Ослаб я. Сперва тиф, после рожистое воспаление и опять тиф... С того забну в любой одеже, аж прокис, не снимаю, просто наказание.

— От недоеда, — говорит другой солдат.

Этот тоже в лохматой сибирской папахе. Голову по скулам перехватывает серый бинт. Опухоль из-под бинта свела один глаз в щелочку. Из шинельного запаха на груди, меж крючков, сытыми бочками торчит рукоять нагана. Смордом расходится от солдата луковой и самогонный перегар...

«... Не присказка это, а целая философия, — гонит одну мысль за другой Федорович и все не поспеваает за смыслом. — И не только философия, а еще и история. А как иначе?.. Эх, Россия!.. Копаешь ее мыслью — и не берешь, уходит дно, нет дна...»

В беседах с сотрудниками товарищ Чудновский не устает повторять, что борьба рождает героев, всякие сомнения следует отбросить; все, что они делают, безусловно нравственно, ибо защищает дело рабочих и крестьян.

«Наша мораль выводится из классовой борьбы пролетариев», — наставляет он. И в подкрепление неизменно цитирует Томаса Мора: «Я вижу всюду заговор богатей, ищущих своей собственной выгоды под именем и предлогом общего блага». Эти мудрые и сверляще-проникновенные слова звучат для товарища Чудновского как наказ. Должность у него такая — оберегать и защищать народ. Народ грозен и в то же время, как дитя, нуждается в защите.

— Не бойся при обыске испачкать костюм или руки, на обыск в белых перчатках не ходят, — натаскивал он сотрудников из новичков (его в свою очередь инструктировал Шурка Косухин — весь опыт по крупицам отдавал). — Осматриваешь, к примеру, диван: пощупал сиденье, валики, спинку — ничего? А ты переверни диван, проверь днище да ножки не забудь — не покрыты ли свежей краской. Стол ни в чем не примечательный и ящики пусты? А не приклеено ли что снизу, под крышкой стола? Опять-таки не долблены ли ножки? Так и шкафы и буфеты бери зорким глазом. И книжные переплеты — пальчиками каждый, чисто девке под кофту лезешь, все-все пощупай. Не забудь и рамы картин, и разные там развлекающе-отвлеченные предметы. Стены простукай на пустотность — пядь за пядью, сами подскажут, где тайник. Не ленись, паркет подыми, отбей плинтуса. И в подвалах действуй с умом, и в прочих постройках — тоже. Не брезгуй собачьей конурой или скворешником. Все это не советы, а приказ — к любому обыску применять, не допускать послаблений. Не забывать строгости к себе...

Прослышан председатель губчека, что Феликс Эдмундович для вразумления и обучения подчиненных сам производит аресты и обыски (вроде бы как показательно-учебные) — лает это сердце старого революционера, узника царских тюрем. Верные у товарища

Семена сведения: так себя проявил председатель ВЧК при аресте Щепкина — наипервейшего винта в «Тактическом центре». Сам шмонал этого фраера — аж пух от него. Редкие способности обнаружил к данному делу, так что без натяжки можно говорить уже и о призвании. Ну как бы родился с одной рукой уже под чужим шкафом...

— У чекиста должны быть горячее сердце, холодный ум и чистые руки, — повторял председатель губчека за Феликсом Эдмундовичем и тут же, дабы не произошло расслабления воли, навешивал слова Владимира Ильича о врагах советской власти: «С этой сволочью надо расправляться так, чтоб на все годы запомнили» (уж эту заповедь «синее воинство» приняло к исполнению и проводило в жизнь аж до самой середины 80-х годов без всяких угрызений совести). И выпытывал:

— Сознаете, товарищи?..

Для подкрепления знаний организовывал выборочные допросы и обыски. Нечего и говорить, не забывал при этом ни на мгновение о центре и Колчаке — ждет того пуля из его, Чудновского, маузера.

«Женевская» уродина страсть как бахвалится этими высказываниями, ибо обе данные замечательные фигуры являлись самыми что ни на есть первыми ее конструкторами, смело можно сказать — отцами, не считая Плеханова, который вскоре малодушно отрекся от нее, но Плеханова заместил Мундыч — тоже, без натяжек можно сказать, первородитель. Уж такого холодного ума подпустил в работу, аж кровь свертывается в жилах. Вообще «женевская» тварь ни на мгновение не ощущала сиротства — самое почитаемое государственное устройство в новейшей русской истории, истинная гордость РСДРП(б)-РКП(б)-ВКП(б)-КПСС и «всего прогрессивного человечества».

— Весь наш успех и вся мощь в опоре на массы, — талдычит товарищ Чудновский.

И требует он привлечь к сыску и добыванию информации всех граждан. «Мы ж за них себя кладем», — объясняет.

Это ж столько дополнительных глаз и рук! И в землю не спрячешься! Миллионорукая народная чека — каждый как на просвет; о каждом все известно, каждый на учете, каждый о каждом печется; все, так сказать, «замочены» в одном почетном деле охраны государственного покоя. Покоя насильников.

И надо признать, преуспел в этом деле наш многонациональный народ. Спи спокойно, Мундыч!

Колчак пытается отвлечь себя мыслями о затоплении германского флота в английской базе Скапа-Флоу. Англичане были взбешены: ускользнула существенная часть военной добычи, и где — у них, англичан, дома! Немецкие моряки открыли кингстоны своих кораблей.

В тихий мирный день вдруг стали тонуть все боевые корабли германского флота, приведенные в качестве военной добычи в Скапа-Флоу.

Это было зрелище!

Целый современный боевой флот уходил под воду!

Колчак пытается представить эту картину, останавливается, рассматривает ее в памяти. Он слышал от Уорда, что Великобритания потребовала за это дополнительное возмещение, и им оказалось все оборудование германских морских доков.

Подобными размышлениями Александр Васильевич пытается не пускать в сознание мысли о расправе. Казнить будут его. Эти мысли все время возникают, сцепляются, распадаются в памяти, составляют ее постоянный фон, который, вдруг ярко вспыхнув, занимает уже весь мозг. И он уже не способен думать ни о чем другом.

Его ведут и убивают — и воображение это помимо воли разгрызает, представляет во всех подробностях. Он даже слышит ту дикую боль, невероятный гул, звон той боли, гигантский всплеск этой боли в нем, который тут же смыкается с могильным безмолвием — бесконечная непроницаемая мгла, длинный, не имеющий конца черный коридор. Смерть, гибель, небытие, страшная боль, сначала — страшная боль...

В него будут стрелять... он будет стоять, а в него — стрелять, в упор. Господи, Господи!..

Эти картины сменяют одна другую — и от каждой неистово горячет нерв лихорадки. Одно дело — рисковать собой в бою, и совсем другое — быть мишенью.

И он уже не может ни сидеть, ни стоять. Ему мерещится: он весь переливается, кипит в той форме, которая называется телом и которая полна его жизнью.

18 ноября 1918 г. Уфимская директория оказалась лишенной власти. Адмирал Колчак получил диктаторские полномочия.

21 ноября Александр Васильевич лежал с высокой температурой: жестокая ангина. Именно в тот день за многие тысячи верст от Омска разыгрались события, которые имели столь впечатляющую развязку 21 июня 1919 г. Они не могли не запасть в память любого моряка.

Естественно, Александр Васильевич тоже узнал о них, но значительно позже, зато до всех мелочей. Англичане тут располагали сведениями из первых рук.

Восстание в Киле — на главной базе германского флота — не позволило дать решительное сражение британскому «Гранд-Флиту». 11 ноября 1918 г. в Компьенском лесу заключено перемирие — это означало конец бойни. Затихли напитанные кровью и густо набитые стальными осколками поля Европы. Мир!

По его условиям, Германия должна была сдать англичанам флот не позднее чем через 14 дней.

21 ноября 1918 г. германский флот, который в годы войны оказался не по зубам даже «Гранд-Флиту», прибыл к Росайту. Его встречал весь «Гранд-Флит» — около 260 вымпелов: самый мощный флот, который до сих пор знало человечество.

Германский флот состоял из 5 линейных крейсеров, 9 линейных кораблей, 7 легких крейсеров и 49 эскадренных миноносцев. Позже к эскадре присоединились еще 2 линейных корабля, легкий крейсер и эскадренный миноносец.

Эскадра была введена в Росайт. С заходом солнца последовал приказ знаменитого адмирала Битти — навеки спустить германский флаг. Два огромных флота стояли один против другого, и один из них спускал флаг. Свидетели церемонии до конца дней хранили в памяти то воистину неизгладимое впечатление, которое произвела эта грозная церемония.

Затем германские корабли были переведены в Скапа-Флоу, для поддержания порядка были оставлены отряды германских моряков. По условиям перемирия, англичане не имели права вводить на корабли своих людей и вмешиваться во внутренний распорядок на кораблях.

21 июня 1919 г. по распоряжению германского правительства, переданному на корабли вице-адмиралом Рейтером, немецкие моряки пустили на дно свою эскадру. Англичане открыли огонь, дабы воспрепятствовать затоплению своей добычи, четыре немецких моряка оказались убиты, восемь — ранены. Флот был затоплен во избежание окончательной сдачи, входившей в условие мира...

К этим событиям Александр Васильевич проявил живейший интерес и подробно расспрашивал англичан...

Председатель губчека охлопал себя по штанам: что за ерундовина, где портсигар-то?.. Закурил, щурясь и прикидывая заботы на ближайшие часы. Чтоб казнь была всенародной, надо в каратели снарядить дружинников, каких ни на есть самых сознательных, и не партийцев, а простых рабочих: народ должен казнить черного адмирала и его министра. И в дымном выдохе утопил видения будущей казни. Отгулял, пес золотопогонный! Пошершавим его на идейность. Поди, ослабеет, шлепнется на колени, а то и в штаны наложит. Тут из десяти семеро делают в штаны, и не хотят, а делают, а уж слезу пускают или заговариваться начинают, почитай, каждый. Погодь, сведем с безносой. Поглядим, что останется от манер и выученности.

— Серега! — крикнул Семен Григорьевич и сунул Мосину кулек с табаком. — Шуруй к Правителю, пущай погрееется, авось живее будет. — И на густой бас посадил последние слова, наливаясь торжествующим смехом, аж засопел и заерзал в кресле.

Носит Семен Григорьевич черные кожаные штаны и такого же колера кожаную куртку с портупеей и маузером. На улицу надевает офицерский полушубок, перекроенный под рост. Ходит по тюрме

уверенно, какие-то пять недель назад сам куковал здесь. От этого находится в особой запальчивости и чувстве правоты. Ранг у него такой: бывший политзаключенный, скиталец по царским и белым тюрьмам — ему ли не карать врагов и паразитов. Да наперед знает, как поступать. Поэтому и без осечки (тем более разных интеллигентских сомнений) выдает пропуски: кому в жизнь, а кому в покойники, чаще, само собой, в покойники — иначе зачем людей арестовывать?..

Отвалился к спинке кресла, набрал номер ревкома, спросил Ширямова. Узнал его голос и забасил без обиняков, уже пятый звонок на день (однако тон сдобрел, так сказать, с признанием своей второстепенности — шутка ли, 20 лет партстаж у товарища! И с вождем лично и хорошо знаком):

— Что делать с адмираловой походной женой?

Ширямов на том конце провода не понял, посипел в трубку (сображал, о чем речь-то) и спросил:

— С чьей женой?

— Ну, с этой шлюхой? — и объясняет и спрашивает председатель губчека. — Два допроса сняли: шуровал ее Правитель — вот и весь сказ. Баба молодая, как не шуровать? Косухин такого же мнения. Нет больше за ней ничего. Шила барахло, за ранеными приглядывала, переводами занималась. Денике докладывал: шибко хорошо шпарит по-английски и французски. Ничего за ней нет, подстилка Правителя — и весь сказ...

— Подожди, не вешай трубку, — подал голос председатель ревкома. — Тут ко мне... Подожди, Семен!

Семен Григорьевич ждет. Трубку подпер плечом и обдумывает разные дела.

Он не говорил Колчаку — Тимирева сама явилась в чека, назвала себя и потребовала ареста: гордая сучка. Из допросов ясно: облегчить хочет участь своего хахала.

Подумал: надо бы провести разъяснительную работу. Похабничает народ: в срамной росписи тюремный сортир. Рисунки, мать твою, аж в пот шибает, а выражения и вовсе... Надо разъяснить, что недопустим для дружинника и вообще красного бойца похабно-развратный и вообще казарменный образ мыслей. Черкнул для памяти ручкой на листке: беседа о непристойных рисунках — все на прямую выложить братве, и в самых жестоких терминах, без окличностей. Завтра же соберет командиров и коммунистов, а то не отличишь, кто тут упражняется: дружинники или уголовники. Ну общие у всех рисунков, тема и выражения, ну не отличишь, кто рисовал, дружинник или уголовник! А сколько смекалки в позах и вообще!.. Воспитывать надо людей, воспитывать...

В трубку, что жмет плечом к уху, слышны невнятный говор и приказной, напористый тон Ширямова.

«Каждому кобелю снятся свои сучки», — говорит про себя Семен Григорьевич и пускается в воспоминания: то вспомнил наглуемую рыжепатлатую Таню, то какую-то Мусю с косами до бедер (уж как

распустит волосы — на крик ее обнимаешь!), то Марфу с талией рюмочкой и хмельными объятиями (ох, целоваться обучена, стерва!), то замужних Надю, Раю, Нинку-певунью, соседку Вассу семнадцати годов (отдали ее в шестнадцать за богатого кавказца-старика с масляными глазками и надутым животом), то смуглолицую Ангелину... жадная на любовь, ненасытно-торопливая, а стонет, кричит, царапается... то Глашу (даром седеая, а такая... грех и сказать!..) — всех беззаветно драл по молодости лет; отчаянно не давал спуску женскому полу (и не перечислишь, и не упомнишь всех, на сотни и сотни имен тот любовственный свиток, ибо Семен Чудновский являлся выдающимся представителем всего мужского рода, а не только пролетариата и большевиков).

И опять все воспоминания свелись на прачку, точнее, ее круглый, сытый зад. Дает знать воздержание, томится Семен Григорьевич. При прежней вольготной жизни это монашество... играет дурная кровь, портит общую перспективу. И заулыбался, забывая тут же свои мысли.

И тут торопливо, но отчетливо и властно, до звона в ушах, зазвучал под плечом голос Ширямова.

— Ясно, — пробасил Семен Григорьевич в трубку и дал «отбой» на станцию. Отпускать велено адмиралову сучку, а она враг трудовому человеку. Нет, тут что-нибудь придумаем, торопиться не будем, пусть посидит, покукует, а решение и созреет.

Он встал, разминая плечи и потягиваясь до хруста в суставах, походил и затих у окна.

Узит глаза, напевает:

Прости, несчастный мой народ!
Простите, добрые друзья!
Мой час настал, палач уж ждет,
Уже колышется петля!..

Странное состояние охватывает иногда товарища Чудновского: слышится ему мерная поступь батальонов. От горизонта до горизонта — рабочие батальоны. И над всем миром — красные знамена, серп и молот и профили Маркса, Ленина, со слабой прописью лика Троцкого как главной военной фигуры вооруженного пролетариата... Ажно повел головой. Глаза щелочками, без выражения — одни глянцево-белые полоски. В лице — размягченность и просветленность...

И тут же с ненавистью (черное, жгучее варево чувств, аж прокалило всего) подумал об этом мире, — мире, который они, большевики, пускают на слом. «За вкус не ручаюсь, господа, а горячо будет!»

От окна сквозит стужей и яблочно-чистым запахом снега. В отличном расположении духа Семен Григорьевич. С час назад, можно сказать, дуриком схомутал начальника колчаковской контрразведки Черепанова: обнаглед, гад, по городу раскатывал в автомобиле. Неспроста это — автомобиль, бравада. Нагулял уверен-

ность. В открытую катил, как на службу. Жаль, времени нет, а то бы свести его с адмиралом, занятый вышел бы разговор. Решил: Черепанов пойдет по списку вместе с теми, что под цифрой 21.

Колчак вспоминает: Трубочанинов пуще всего любил крепкий чай с мятными пряниками.

«Пряники, пряники...» — Александр Васильевич покачал головой. Он с необыкновенной ясностью увидел старшего лейтенанта. Этот нелепый белый платок — сплошь из белых выпуклостей: поднабил его патронами Трубочанинов.

Апушкин, что с ним? Имя его ни разу не назвали на допросах.

Смотрит на парашу: опять набрался лед. Вчера Александру Васильевичу дали палку и велели выколачивать дерьмо. Впрочем, долбежка стояла по всем этажам. Охрана, можно сказать, обхохоталась.

Колчак отворачивается и шагает по каменной тропочке. Забываясь, он стонет и водит головой, как слепой.

Анна, Анна...

Предали! Предали!

Кусаются мысли...

Анна жила с мужем Сергеем Николаевичем в Ревеле. С началом войны они переехали в Петроград.

Александр Васильевич очень поздно кончал с флотскими делами, бывали недели — не сходил с корабельного мостика, бывали — засиживался в штабе до полуночи. Но случались и такие (это как счастье) — обстановка позволяла быть свободным относительно рано: чаще всего, когда возвращался из похода.

Вскоре они расстались. Дела требовали его присутствия в Риге и на боевых кораблях. А тогда они бродили по два, по три часа. Первые месяцы близости. Всякий раз, расставаясь, она говорила: «Я тебя поцелую» — и целовала в щеку. И уже все не имело значения, он обнимал и целовал ее, целовал...

И сейчас, присев на лежанку, точнее, полулежа на локтях поперек ее, он добро щурится сумеркам дня. Все-все ее прикосновения проходили через него, едва уловимые, почти воздушные.

— Вот так, Саша, — шептал он и крутил головой от нестерпимой душевной боли.

Она не сразу перешла на «ты» и даже довольно долго звала по имени-отчеству.

Всякий раз ему казалось: стены камеры растворяются и они возвращаются в тот мир, — и он улыбался. Тот мир был прекрасен. Отсюда особенно видно: прекрасен. И все разрушили, все!..

Она пошла за ним, а он ее загубил!

Александр Васильевич встает и, сгорбясь, мотается из угла в угол, пока его не валит усталость.

Я медленно иду, весь в мыслях об этой книге. Может, назвать «Мы, Божиею милостию...»? Ведь все мы, люди, явились на этот свет Божиею милостию. Это сообщит другой поворот книге...

Книга давно готова. За границей никто не берет. Известный парижский издатель прислал в ответ на посланную рукопись всего два слова в телеграмме: «Совершенно невозможно!» У нас в стране — тоже «совершенно невозможно». Никто не печатает. И «гэбэшники» ведут облаву за рукописями.

Время идет. Книга написана для людей. События опережают то, чего ради была написана книга, чего ради я жил много лет не полюдски. Терпел, боялся расплаты...

Я выполнил долг, а рукопись никому не нужна. Время уходит, я дописываю новые главы, а рукопись по-прежнему у меня в столе. Дописываю — для кого?..

Книга готова с февраля 1990 г.

Громкие женские голоса отрывают от этих мыслей.

— Ужас как устаю, — говорит одна из женщин.

Их двое, они идут шагах в пяти-шести. Я вижу жирные покатые спины, отдавленные лифчиками полосы сала под платьями. Им жарко, мокро блестят надутые-белые шеи. У обеих громоздкие сумки — лопаются от кульков, пакетов. По нашим временам такие не отоваришь праведным трудом.

— Ой, прямо замучились с этим народным контролем! И проверяют, проверяют! Эти проверки!

— А чего маешься? Переходи к нам, я тебя устрою. Знаешь, сколько у нас из нашего медвуза?.. Народный контроль!.. У нас свой контроль! У нас ненужные больные засыпают носом в подушку — и больше не просыпаются.

Обе смеются.

— Я уж думала. Надо к вам. Здесь до пенсии не дотянешь с этим народным контролем.

— А ты все там же?

— Да.

— Ну, приходи завтра, я обговорю, к четверем... ладно?..

И обе, словно по команде, сворачивают к одной двери. Я поднимаю глаза. На вывеске одно длинное слово: «Москомиссионторг».

Я представил этих женщин в белых халатах. Представил и тех, кто не просыпается... ненужные больные...

Я пришел домой и записал этот разговор. Это было вчера, в пятницу, 20 июля 1990 г.

Ни один капшелевец за весь этот полугодовой поход (!) в плен не сдался. Даже Ширямов уже после Гражданской войны писал об этом с грозным удивлением.

Раненые замерзали, но не просили пощады. Белые и красные убивали друг друга на высшем градусе ненависти, которая только возможна среди людей, а по ней, какая разница, ранен ты или нет.

И над обеими сторонами, как возмездие, реяло имя генерала Каппеля. Пламя вложил он в души людей — все сибирские снега неспособны завалить и погасить. А уж красные и подавно...

Ненависть к Ленину и большевикам исключала для каппелевцев даже мысль о каком-либо смирении. На прорыв!

Белый, синий, красный!..

Да какой он русский, этот Ульянов, коли желал поражения Родине в войне 1904—1905 гг. против японцев?! Да тут у половины раны еще с той войны.

Немцы поперли на Россию, а он снова за свое: пусть война окончится поражением царизма — стало быть, немец утвердится на нашей земле? Да при чем тут царизм? Мы ведь русские, нас топчут! Да по воле этих господ ленинцев Россия вообще должна была проигрывать все войны — братоубийственные они. И быть бы ей размером с пуп, пешим за неделю обойдешь. И не жить, а существовать, быть просительницей в мире... А нынче устраивает он свой трудовой порядок в России. Ишь наладился все за Россию решать, в Бога себя произвел!

Да хриstopродавцы — Ленин и все его комиссары!..

Вот-вот обложит Иркутск банда белых. Тянут обозы патронные ящики, пулеметы — на тыщи их там! Рвут снег, затапывают; утирают свои старорежимные хари — да краснее спелого арбуза эти хари! Не стерегутся, кроют е...ом хриstopродавцев, а пуще всего Ленина и Троцкого с их жидовским правительством.

Знатно трудятся господа. Да не зимник после них — настоящий петербургский тракт: «Гайда-тройка, снег пушистый!..» А что, тройками разминуешься — и не заметишь...

— Господа, песню!

— У кого самогон, господа? За глоток — два сухаря житного!

— Помер штабс-капитан, надорвался, царство ему небесное! Варезки — мои, господа, очередь моя... Вши? Да уж лучше еще тысчонку вшей, чем без рук...

— Ничего, господа. Бог даст, отмоемся... и умоем! Юнкер, с дороги штабс-капитана! Проверь-проверь: по-настоящему преставился или без сознания? Глянь, глянь, юнкер!

— Господи, спаси и помилуй!

— Со святыми упокой, Христе, души рабов твоих, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная...

— К бою, господа! Батальон, к бою!..

Но жизнь бесконечная...

Каппелевцы никого не щадили — ни себя, ни тех, кто смел заслонять дорогу.

Погромыхивают на санях трупы — ну чисто бревешки: развозят мужички своих по родимым селам и стойбищам, поскольку мертвяками да вороньем за каппелевцами каждая таежная верста. Упорны сибиряки, еще упорнее каппелевцы. Во что веруют и верят, на что надеются господа? Или просто по-звериному спасают животы?.. А душа, господа? Как с ней, господа?..

Не тужи, эти отмолятся. Их-то, православных, Бог ведет.
Мать его, этот февраль с голубыми морозами! А снега! Господи, сколько же этой замороженной сухой воды!..

«...Странное дело, — раздумывает Семен Григорьевич, — сколько женского пола имел — и бабы, и девки, одна краше другой, а, поди, вот нейдет из памяти...»

В память прочно, пожалуй навечно, обжилась Лизка Гусарова; всех забываешь, даже самых приятных и нежных, а ее время не берет; наоборот, томительней и азартней мысли. А ведь самая первая. Можно сказать, своими руками вылепила из него мужчину.

Прикинул: по нынешним годам уже пожилая. А вот раскрути годы обратно — опять с ней бы сошелся, краше любой для него. Легко с ней, слов не ищешь, не напрягаешься... чтоб фасон держать...

Женщин товарищ Чудновский не шибко уважал — это в том смысле, что не был страдальцем по бабьим прелестям и удовольствиям. Брал их по мере охотки, но и свободно мог обходиться. Спору нет, нужда в женщине имеется — по причине физического устройства и необходимости в разного рода хозяйственном обслуживании. Поэтому до революций он именовал женщин «сучней», и самых приятных, и дурных, — и все это без злобы, просто порода такая.

Вскоре после Октября семнадцатого приплутало к нему сочинение Августа Бебеля «Женщина и социализм» — ну открыло глаза на женский вопрос, водится, оказывается, такой. Выходит, они товарищи по борьбе и строительству новой жизни! Вот тебе и кобелиные забавы!..

Сложно, конечно, так, с ходу, взгляд переменить, но очень старается Семен Григорьевич, ломает себя, хотя не удается до сих пор вот так, с ног до головы, видеть в женщине товарища. Ниже головы все смотрится по-своему. Такая вредность — не выбьешь из себя!

Первое, что схватываешь сразу, учиться не надо, — это сучье в женщине — филейная часть, бюст и все сопутствующее, — а уж после, как бы опомнясь, берешься искать деловые, идейные и прочие качества. Сознает Семен Григорьевич эту слабость и кается в душе, но как магнитом воротит его сперва в эти самые ответственные места — хоть тыщи раз тверди самые партийные заповеди! И разумеет это Семен Григорьевич как наследие проклятого старого мира. Виною пороку — лишь капитализм. Ну привил мужскому роду такой однобокий, кобелиный взгляд на товарищессу по классу...

Отдыхает на данных мыслях товарищ Чудновский. Облавы, кровь, адмирал, белые... а тут ласки и поцалуи. Выработалась привычка — как устал прижмет (ну ни читать, ни допрашивать нет сил), так минут на пять сидя и задремлет. И нет мыслей здоровше, чем о бабах. И звать не надо — сами и поплыли. Так с ними в сон и западаешь. Прочухаешься — и башка свежая, опять гони дела...

А Лизка хоть и в летах находилась, да при такой работе, а без синих вен и сутулости. И хошь ворочала двухпудовые, а то и тяжелыше выварки с бэльем (у иного дяди сразу грыжа выпрет), а была не мужиковата, хотя этой самой ширины в филейной части и вообще веса, особливо в грудях, очень доставало.

Семен Григорьевич уж на что матерый мужик, а весь проникся игрой тех отвалившихся книзу грудей (шибко тянет вес): налитые, чисто чувалы с мукой, а придавишь — норовят ускользнуть, поскольку большой упругости и самостоятельности. Не дай Бог поиграть соском губами — сатанела прачка. Тут держись, кабы не скинула. Уж очень здорова!

А голый представил... всю!.. Аж зубами скрипнул!

За годы революции, при всей своей свинцово-подпольной занятости и ненадежности существования, изменил взгляд на прекрасное Семен Григорьевич. Проведал, что Ленин пуще всего из сочинителей ценит Чернышевского, — и проштудировал Николая Гавриловича (слово «штудировать» очень нравится Чудновскому). С той поры напрочь усвоил: красиво то, что полезно, а остальное — блажь, игра с жиру и больных нервов. Все это искусство порушенного строя (книги, картины, дома особой выделки, нынче и синематограф) — одна дурь и вычурность. Все это не только занимает место и требует рук, но и засоряет сознание. Никакой пользы от подобного искусства для революции нет — ну не приложишь к практическим нуждам строительства новой жизни. Ничто не должно появляться на свете без предметной пользы, все должно быть нацелено на борьбу с капиталом и высокую выработку труда. Конспект данных мыслей поглотил едва ли не половину четвертой тетради «толковых мыслей».

В общем, по Ленину и Чернышевскому строил отношения с искусством, а стало быть, и с прекрасным товарищ Чудновский.

Моя родная, милая Лариса, я обязан тебе тем, что остался в этой жизни, не окаменел. Без тебя не было бы лучших страниц этой книги: она могла остаться только грудой черновиков. Почужев к жизни, я ничего не хотел... Ты вдохнула в меня жизнь — и, что выше всякой жизни, любовь.

А помнишь, как все начиналось?

«Дорогая Лариса, пишу тебе вечером 13 ноября. Все дни думаю о тебе — Тебе. Сколько же боли, одиночества я вынес в свои годы! Сколько пошлости, насилия чужих мнений, мерзостей повстречал... Сколько сам сделал ложных шагов в надежде обрести счастье и покой.

Может быть, я и обидел кого-нибудь, но только потому, что не сразу разглядел в человеке или зверине, или эгоистическое, или органически несовместимое со мной.

Я шел... разбивался и стал бесстрастно смотреть на будущее — ничего в нем уже не будет, кроме работы и каких-то ненужных людей, интерес к которым стремительно тускнел.

А я очень хотел любить, знать, что есть дорогая Женщина, что мысли мои кому-то небезразличны, как и я сам вообще. Я хотел о ком-то беспокоиться, кого-то любить, закрыть от обид мира...

Но время шло, находил год за годом — и я за грудой страшных дней одиночества перестал верить в возможность найти такую Женщину.

Милая, дорогая Лариса, ты не должна быть ни врачом, ни пианисткой, ни кем-то другим — любить, быть любимой, быть матерью и нежно любимой женой — вот Ты. Ты должна принадлежать мне.

Ты такая женщина — равную Тебе я уже не встречу, да и это почти невозможно, так чувствует мое сердце. Пока я жив, я буду любить Тебя. Мое имя и сила будут защищать Тебя.

Ты мне нужна. Именно Тебя я искал все годы. Именно в сравнении с Тобой все женщины — ничто. Я только жестоко обижен возрастом. Я положил бы к Твоим ногам свои годы — и ни о чем никогда не жалел бы... Я очень хочу любить Тебя и быть с Тобой.

Знаешь, я совсем ни во что не ставил свою жизнь и в последние годы делал все, чтобы пораньше стереть ее. Теперь я буду беречь силу, чтобы можно было беречь Тебя, как можно дольше быть с Тобой.

Все это непросто, я путано излагаю мысли. За всем этим стоит лишь одно: я не хочу расставаться с Тобой. Не хочу, чтобы мы жили врозь и только встречались. Хочу видеть Тебя всегда, это — мое главное желание.

Самое первое, самое сильное впечатление от Тебя — это совершенная честность. Тебе ничего не надо лживого. Ты открыта мне, как правда. И потом, Ты очень понятна мне во всех движениях души, мыслей, взглядов — Ты просто... в общем, такое родство невозможно найти. Господи, как хочу быть с Тобой!.. Ты ведь создана для меня: Ты крепкая, сильная, умница, нежная... словом, Ты вся для меня, по мне, моя!

И еще Ты очень родная, безумно родная мне. Видишь, как странно все это: я Тебя мало еще знаю, а не представляю свою жизнь без Тебя...

Я не допускаю даже толики, ничтожной частички неправды, выгоды или корысти между нами — я люблю Тебя. И никому не отдам! Я так истосковался по родному, чистому, преданному, беззаветно преданному. Я так хочу любить...

Обнимаю и целую тебя... и беру в руки... чтобы Ты теряла сознание от силы чувств... Хочу Тебя... Хочу никогда не расставаться с Тобой... Будь всегда моей. Будь прозрачной в своей правде, как сейчас. Никогда не оставлю Тебя.

Твой Власов»

«Дорогая Лариса, дописываю письмо еще через ночь, то есть 15 ноября, в половине второго ночи...

Все время думаю о Тебе. Никого мне не надо. Я считаю, что это Судьба — великая милость Ее — привела нас друг к другу. Мысль о том, что ты будешь принадлежать мне, наполняет меня гордостью и счастьем (и тревогой за себя: достоин ли буду Твоего чувства и Твоей преданности?..). Я лучше умру, чем откажусь от Тебя!

Лишь возраст заставляет меня с горечью смотреть на будущее, потому что Ты достойна долгой любви, долгого счастья с родным человеком. Моя милая, дорогая... Нежно обнимаю...

Твой Власов»

«...А это дописываю в шесть часов вечера 15 ноября — наверное, такое письмо не влезит ни один конверт.

Приходилось много встречаться с людьми — склока, грызня, мерзость. Надо родиться особым человеком, чтобы получать удовольствие от всего этого. Все это очень чувствительно бьет по литературе, а ведь всем, кто вокруг меня, это совершенно безразлично. Все только хватают, только гребут под себя, только... бегут по головам. Я не могу так жить: каждый миг в этой жизни, полный черствости, бездушия, стяжательства, глубоко оскорбляет. Лучше жить на гроши, чем быть в этой волчьей стае. Всю жизнь я сторонился и презирал этот мир чинопочитаний, наживы и железных нервов...

Я мечтаю о рукописях, нежу их в воображении, живу ими, связываю слова...

Я очень хочу видеть тебя, очень. Мне кажется, нам должно быть очень хорошо вместе, так хорошо, что нам никто не будет нужен (кроме наших детей) и ничто не будет иметь значения.

Милая Лариса...

Немногожко переменялись даты. 26 ноября я вернулся в Москву и потом уже никуда не тронусь.

Все время думаю о Тебе... Почему мне столько лет? Почему жизнь так устраивает все по-своему? Почему же мне столько лет?..

Неужели я смогу чувствовать Тебя во все тело и вдыхать Твой чудный запах?..»

«...В который раз дописываю это самое длинное в своей жизни письмо. Сейчас второй час ночи. Очень усталый, обсосанный завистью, любопытством, злобой людей, сижу за письменным столом, что приткнулся к стене. Справа — настольная лампа, которая не работает, слева — цветок с широкими листьями, не знаю его имя, а наверно, какое-нибудь красивое... От окна тянет стужей. Гостиница старинная, потолок высокие, в пять метров...

Ларик, я до того скучаю по Тебе, что считаю дни. Но Ты подумай хорошенько, стоит ли связывать свою судьбу с моей?..

Что тешить себя? Жизнь жестоко обошлась со мной. Я беспощадно изломан, беспощадно издерган — долго мне никогда не жить. Зачем Тебе горе?..

Я очень тоскую без такой, как Ты, но я должен... не имею права терять голову. Подумай, прежде чем решиться. Быть может, Тебя ждет любовь сильного молодого человека, и вы будете счастливы много лет... Гораздо больше отпущенных мне...

Ты заслуживаешь самой нежной привязанности, преданности и любви. Ты даже сама не знаешь, какая Ты. И как же Ты мне нужна и бесконечно дорога, но имею ли я право ломать Твою жизнь?..

...В гостинице глухая тишина. Сегодня (уже не завтра) в половине шестого вечера уеду в Москву.

Помнишь, как я провожал Тебя?..

Я бы никогда не расставался с Тобой, никогда... Милая, дорогая, нежная моя, самая желанная, единственно желанная...

Одна половинка окна растворилась...

Одна половинка души показалась...

Давай-ка откроем и ту половину

И ту половину окна...

Обнимаю. Как жду я Тебя!

Твой Власов»

В 1963 г. мне была подарена книга Ганса Грундига «Между карнавалом и великим постом».

Позволю себе рассказать о книге, которая вот уже почти 30 лет со мной и к словам которой не остыло сердце.

Ганс Грундиг — художник, который по росписи бесноватого фюрера был отправлен в концлагерь. Должны существовать только художники-натуралисты, художники-фотографы. Прочих — в землю.

Я не видел Ганса Грундига. Он умер 11 сентября 1958 г.

Я заканчивал академию, мне шел 23-й год. Но этот человек почитаем мною до сих пор, как один из самых близких.

За эти годы я выучил книгу почти наизусть.

Любовь к своей жене Лее — Серебряной — дала ему силу выжить в той преисподней, которую люди называют концлагерем.

«Его придумали и создали люди, рожденные так же, как и мы с вами, женщинами, матерями. Но люди эти утратили человеческий облик и человеческое достоинство, ибо превратились в свирепых

двуногих волков. Вечный позор им! Мне надо сделать над собой огромное усилие, чтобы рассказать об ужасах концентрационного лагеря, для описания которых нет слов в человеческом языке. Я это сделаю, да не изменят мне силы...»

Это человек легендарного мужества, чистых страстей, настоящей привязанности к жизни и возвышенно-чистой любви к женщине.

Ужасы пыток, унижений, потери друзей, муки голода, глумление невежд, болезни, угрозу отупения — все позволила преодолеть и сохранить душу — Любовь.

Вспомните эти страницы.

На плац, где выстроился весь лагерь, около 20 тыс. человек, эсэсовцы привели кого-то в сером просторном, отменно сшитом костюме. Помните, человек остановился, и на губах его появилась беспомощная улыбка. У него было доброе лицо. Но за этим лицом было второе: оно оставалось сосредоточенным и строгим.

Помните, потрясенный Грундиг как своей кровью отлил строку: оно, это лицо, было «таким строгим, что я испугался могущества его мысли — ведь я умею немного читать по лицам».

А позже заключенные узнали, что у них на глазах был убит один из светочей человечества. Убит за то, что отдал людям свой светлый разум, свою мудрость. Этот человек был 12 раз удостоен звания почетного доктора.

Ну чем не гибель нашего Н. И. Вавилова?

Помните, как убивали товарищей Ганса, пытавшихся совершить побег? Их вывели на середину плаца, и пулеметная очередь превратила их спины в кровавое месиво.

«Алые метины взывали к небу, но оно не послало своих молний, чтобы покарать проклятых палачей».

А казнь над другим заключенным?

Весь лагерь опять стыл в каре на плацу. И подъехал закрытый серый грузовик. Один из эсэсовских холопов неторопливо открыл дверцы, и изнуренный узник вытащил гроб. За гробом появилась двухместная виселица — «волки в сверкающих галунами мундирах установили ее». Медленно шагал узник в пудовых кандалах. Он встал около виселицы, молча улыбнулся заключенным, словно хотел сказать: «Друзья, не печальтесь».

Невыразимо печальная улыбка легла в его губы. Так гордо и сдержанно попросился он с товарищами. «Ненависть наполнила наши сердца, ненависть и жгучий стыд: ведь эти звездастые бестии носили человеческий облик».

Это уже сказано о любом государстве, в котором правят кнут и догма. Это нам в наследство слова художника:

«...Но я хочу тебя предостеречь — не старайся заглядывать очень уж пристально к ним в души, не то тебя стошнит».

Да, было отчаяние, было так, что грудь леденил беззвучный вопль: ведь вся эта жизнь создана людьми, никем другим. И тогда горечь складывала удивительные слова:

«Иногда мне казалось: лучше быть кирпичом, чем человеком. Кирпич всегда среди себе подобных, он выполняет свое назначение и не чувствует ровно ничего. Стоит зимой и летом, не страдает от жары, не страдает от холода, и никто не терзает его. А ты, человек, живущий в государстве палачей, ничтожнее камня: тебя стирают в порошок...»

И рассудок уже неспособен вмещать, что люди могут жить так, что они верят в Бога, умеют читать и кого-то целуют... И что этот мир отвратнее самого желтого бреда, потому что людей тешат боль и кровь и они ищут наслаждения в мучениях других. И Грундиг уже не говорит, а стонет:

«Но только не поднимай глаз. А если бы ты их все-таки поднял, ты, может быть, усомнился бы в своем рассудке, во всем, что ты любил, и во всем, о чем думал. Быть может, ты перестал бы понимать, на каком ты свете, и мог бы сойти с ума».

А все вокруг молчат, делают вид, что так и должно быть. Главное — им хорошо, их — не трогают. Все в точном соответствии с его криком: посмотрите туда все, пусть ничто не укроется от ваших взоров. Ничто! **«А там, в стране, которая раскинулась за лагерной стеной, что видишь ты, не желавший до сих пор ничего видеть?»** (выделено мною. — Ю. В.).

И ничто в этой преисподней, называемой жизнью, не спасет, не удержит, кроме Любви. Так и звучат самые последние слова исповеди художника, который ждал встречи со своей Серебряной почти полтора десятка лет в полосатой одежде узника с изъеденными болезнями легкими и с огромным чистым чувством во всю грудь, во все небо.

Вот они, эти слова:

«А потом вошла она, и мне показалось, что страшных лет варварства не было никогда».

Я только недавно понял это, лет десять назад (уже не читая больше философов, отказываясь от этого чтения, испытывая подозрительность к начитанности в философии)... чем оборачивается преклонение перед формулами философии и различными программами, основанными на безукоризненных доказательствах.

То, что я понял с недавнего времени, я принял не разумом, а чувством.

И я уже твердо уверовал: для того чтобы хоть немного приблизиться к счастью (то есть не терять себя, не предавать себя, следовать своему назначению, вообще по возможности верно выдерживать достойное направление в жизни — то самое, которое после не доставит мук раскаяния, стыда, неуважения и презрения к себе), надо слушать сердце и не верить даже безукоризненно логичным, умным и самым привлекательным построениям философий, если от них оторвана душа.

Я понял (и это делает меня счастливым): добро проявляет себя лишь в преодолении зла, рядом со злом. Добро встает во весь рост, проявляет величие, красоту и великие созидательные свойства, лишь противопоставляя себя злу.

Я обнимаю жену, ласкаю, целую в губы. Целую долго. Перед моими глазами изгиб молодой белой шеи, пряди темных волос. На улице жарковато, из открытой балконной двери наплывает духота, поэтому кожа влажновата, и губы слегка липнут к ней.

Я целую долго.

И шепчу:

— Пусть никогда не поблекнет эта белизна шеи, твоя стать, звук твоего голоса.

Лариса шепчет:

— Так не бывает.

Я отвечаю едва уловимым движением губ:

— А я попрошу Бога. Пусть для тебя сделает. Мои годы позади. Пусть пощадит тебя... Я очень люблю тебя... Я очень попрошу Бога за тебя, очень...

Я чувствую, как вздрагивает Лариса, как горячо, медленно соскальзывает мне на губы ее слеза... Первая и последняя любимая моя женщина.

Это было сегодня, 23 июля 1990 г., ближе к вечеру. Господи, даруй нам жизнь, не отнимай!..

Г л а в а VII

СТЕША, ФОТИЙ И ФЛОР

В грехе и блуде погряз Три Фэ — и это в такой переломный момент истории. Не успел посадить Настю в поезд (свои ехали в Красноярск, эсеры), а тут Стеша Батенкова!

Чудны дела Господни!

Одни бегут к белым, другие — к красным, а есть — и от белых, и от красных (еще стоят такие вот медвежьи углы на святой Руси). Ну в разных направлениях смещается народ — и все счастья ищут, надеются... Только вот крестов уж очень много по Руси — и под каждым тот, кто надеялся...

Заудил Стешу-заснобушку на Амурской, как и Настю, но у часовенки Спасителя — изыбшая фигурка женщины ударила по сердцу. Так и пошла за ним — ничего не спросила. Часто ступая, почти семенила — и молчала, только вздыхала очень, будто здоровенный узел за плечами.

И не смотрел на нее — какая разница: ему весь свет в горе и ей, видать, не в радость. А это, бабье, при ней, куда денется. Подумал про бабу, когда засеменила за ним: все одному человеку будет полегче, не обидят и не прибьют.

Патрули окликают. Федоровича сразу узнают, с почетом пропускают, думают, с женой. Комиссар! Персона!

Город — ни огонька. Ветер срывает снег, колюче стегает. Улицы черные — ни звука. Только с окраин слышна пальба, а тут от шагов такой скрип — ну мертвая улица, любой звук глушит. А патрули настороженные. Ответишь не так или замешкаешься — положат на месте.

В номере разглядел — видную бабу привел, и вроде чистая, без порчи в лице. Умылись — все молча. «Между физической потребностью и любовью — огромная разница», — вяло копошилась мыслишка в башке. С чего это вдруг?..

Это, кобелиное, в общем, не обязательное. Пусть отогреется, поспит. В такую-то ночь искать заработка, эх!.. Пристрелят да схоронят — и вся недолга.

Баба по-своему истолковала сдержанность. Принялась раздеваться, пришептывая:

— Не бойтесь, господин, я не заразная... а вшей вчерась вычесала. Шибко нужен ей заработок.

Три Фэ сразу понял, спросил:

— Дети есть, да?

Буркнула:

— Двое...

В общем, поручкались со Стешей, назвали себя, тут же и хлопнули по полстакашку — холодина на дворе! Флор от души угостил хлебом, салом — ну чем Всевышний облагодетельствовал, — знал: голодная. Не панельная она, с голодухи у нее стыдный промысел. Есть ей надо. Молодка баба, и тридцати нет.

Она солдатские кальсоны стащила, после заголилась до самого своего первородства (кальсоны кульком бросила на стул). Белым огнем засветила без одежды. До чего ж иных портит одежда, даже самая лучшая. От недоеда спала с тела, жилистая, но в грудях еще не отошала, при всей бабьей выгоде. Три Фэ одурел. До чего ж пригожа! Ну не идейный работник партии социалистов-революционеров Федорович, и не бывший политкаторжанин, и не борец за народное счастье, а олень златорогий! И в годах мужик, в седину поехал, а олень и есть!..

У Степаниды мальцов — двое: сынишке Коле три годика, а дочке Любе — четыре. У обоих льняные головки и синие глазки, а голоса нежные, ручьем звенят.

Муж сгинул в лето девятнадцатого («Аж с самого сенокоса, как к Колчаку забрали...») — ни весточки, ни денег. А совсем недавно, в ноябре, японцы искали партизан и спалили поселок, покалечили, побили народу! У Стеши и свои и мужнины родители, слава Богу, живы, но ни угла, ни двора, а как выправлять хозяйство? Где мужики?

Саму Стешу четверо пропустили, поскольку молодуха видная, мед. Сперва один приладился, а как увидел да распробовал — ну орать, звать своих. Еще трое и притопали, отсохни у них ноги!..

«Солдатишки срамные, мелкие, но стервозные, — припоминала Степанида и краснела до черноты. — Изнасильничает, а после плюет в тебя, пинает, а я ж могу его кулаком пристукнуть. Вдарю по маковке — башка в плечи провалится, а терпеть надо... Машка, сеструха моя, не стерпела, отвесила одному — так ее штыком... Хорошо, сверху ребра, кожу только порвал... Крови много, а рана не опасная. Кровь-то и спасла. В крови девка, оставили... Насилу выходили. Забрюхатила же. Оттуда надо было еще и это выковырять, не дать рости...»

И хоть бы где насильничали, а то при детках и родителях! Как есть голой оставили, и сеструху — тоже, а Машке всего-то шестнадцатый. Да и сами эти без портов, под колени их спустили, «коло-

колами» воздух толкут. Господи, сраму!.. Одежу посрывали! Не дай Бог, слезу уронить или пикнуть — я это сразу сообразила: чисто ироды! И нет бы по-людски... Господи, чего только не заставляли делать! И спешат, все и всё норовят успеть... Лицом до сих пор горю перед детьми... Господи, извозили, обслюнявили, накровянили, а уж коли нет мужицкой силы на новый заход — кусают или... Я все стараюсь, чтоб детки забыли, объясняю: такая забава у взрослых, не больно мне, щекотно... А то тряслись они у меня, особенно Колюшка... Ну мне еще что, я баба рожавшая, и муж дал выучку... А вот у соседей, у Чепуриных... вот горе!.. Девочке — двенадцать, к тринадцати ближе, — Варенька. Ее, скажи, за что? Не пощадил, совсем малая, еще месячных не было, ну дитя, а изнасильничали, избили, когда сопротивилась. Родителей до смерти штыками: отбить Варьку хотели. Я своим сразу велела терпеть мой срам и Машкин, а то и их тоже бы... Господи, что творили!.. Злющие!..»

Вместе с домом пропал весь нехитрый запасец продуктов — и собралась Степушка в город, не подыхать же с голодухи...

Предлагала себя в посудомойки, уборщицы, прислугу, прачки, даже в истопницы — нет работы, отбился от рук город. Революция!..

Вот и взялась Степанида передком промышлять. Слава Богу, скоро обрела угол. Безногий сапожник приютил — Фотием кличут, а недалеко живет, полчаса идти. Сапожник по нынешним временам выступил знатнейшей фигурой — ну самый надобный людям, даже надобнее, чем баба со своим приспособлением, от которого и радости, и нехорошие болезни. Уж как их боялась, этих болезней, Степанида.

Обувь ни фабрики, ни мастерские не тачают, и уж какой год, поскольку национализация всяческого капитала. Вот и чинят граждане свою до последней изношенности. Все к старику Фотию на поклон. И она тихо так пришла: каблук от последнего ботиночка отстал, забьет нога. Старик каблук закрепил, детишкам обутки починил, и... нет, в постое не отказал, «отчего ж, живите». В общем, пустил. Ничего с нее не брал, кроме бабьего, лакомого.

— Особливо не мучил и не озоровал, — разворачивала Степанида денечки, скопленные в срамом промысле. — Отходит разок — и тут же угомонится, заснет, старбй уже, и не каждый день сподобится, мужчина на ущербе лет. И срам его — не чувствуешь в себе, ужался под старость, одно обозначение, крючок... От иного в себя цельные сутки не придешь, а этого и не заметишь; поспит, поелозит и захрапит, противность только одна.

Зато детишек щадил, не при них портки спускал и грех справлял. А то ведь знаешь, какие бывают. Сколько мне морду били — она, бедная, только и помнит!

За такое обращение, уважение к деткам я ему комнатки мыла, дрова носила, стирала, а уж к вечеру — за ворота. Папироску приж-

гу, а тошнит, до чего ж дым не выношу! И боязно, Флорушка, ох боязно! Изнасильничают — это понятно, хуже, когда хором, чаще втроем или вчетвером, — тогда почему-то больное и обидное норовят сделать. Авдотье, ну ты ее не знаешь, туда стопку засунули. Вот так, позвали втроем, натешились, а потом засунули. И не вымешь... Подштанники полны крови, а кто пособит?.. Насилу врача сыскали. Так кто ее теперь лечить и содержать будет? А коли совсем прибьют? Есть и такие ухари. Мне что, я уже неживая буду, а вот кто деток пригреет?..

Слушал Три Фэ, как живет баба без мужчины и с малыми, когда революция и Гражданская война (ну весь народ бьется за счастливую долю!), и только кусал губы. Еще бы, нет тогда над женщиной закона! Берут за кусок хлеба, а когда и даром, на обман. И дерут до седьмого пота, да, случается, вдвоем сразу: интересно мужикам, выдюжит ли баба, не помрет... А как ей деток прокормить, как на угол заработать?..

Другие, что поважнее, ну с образованием, что при должностях, ведь тем же рассчитываются. Только ложатся под них, под начальников, в чистую постель. А так, какая разница? Тут и там обида и беззащитность...

В последние дни перед встречей с Флором приспособилась Стеша к братьям славянам в Глазково. Баба шустрая, смышленная, выучила малость по-чешски, бойко пускала — тоже по-ихнему (а титьки — редкий мужик не захочет увидеть наедине и поближе — синяки не сходят), — и стали ее брать легионеры, и даже с охоткой, когда убедились, что не заразная, а бабье «хозяйство» (что пониже живота) — даром что рожала — узкое, плотное. И вся она, чувствуется, в лучшие времена была не дряблая, не мясистая, а крепкая, сбита. Словом, хороших кровей.

А уж тут и понятливая. И слова не скажут чехи, а она уже мостится согласно желанию.

Расплачивались сахаром и сухарями.

И Степанида уж как была довольна, несла сладкое детишкам и читала молитвы во здравие чешской породы мужиков. Очень она дорожила расположением чеховойска. И спокойнее с ним было, не безобразило. Делали легионеры свое и платили. Надули всего каких-то пять-шесть разов, ну без платы, так не без того, хоть сама в порядке.

— А был случай: в тупичок заманили — и в склад, на тюки. Сколько их там было — темно. Гогочут и лезут, лезут... Охотки у них не было, баб полно, просто забавлялись. Руки перехватили бечевкой, да я и сама не стала бы брыкаться да царапаться — убьют. В рот варежку — ох, кабы не задохнуться: круги в глазах! Ой, думала, помру. Мучили, мучили — как живая осталась?! А в другой раз в теплушку затолкали. Я молчу — еще шлепнут по голове. Шлепнут, а чтоб не отвечать, коли без памяти лежишь, — в мешок. И нет солнышка. А сколько от кровотечения померло, умом тронулось, попростывало: чай, на морозе заголят — и легкие, кашель, лихо-

манка, да что угодно! А меня пронесло. Маялась, правда. Ниже пупка одна чернота. Не тронь тело — на вой от боли. И рвало. Вот ни с того ни с сего! Намаялась я. Что ни день — кровь споднизу. Совсем неживая была. Туточки дом есть, за углом, где лавка. Там у Марьи Григорьевны отлеживалась. Не она — померла бы. И счастье мое, морозов не было. Я как возвращалась, все на снег садилась. Подолгу сидела. Ногу подогну под себя и сижу. А ночь!.. А в теплушке насиловали — еще осень листья не зажелтила. Солнышко грело... Запомнила я тот состав. Пришла через месяц, а боязно: все себя крестом осеняю. Надо снова зарабатывать, дети не кормлены, а вдруг опять эти... Вот тут сразу и не выдержала бы, коли удумали еще так. Чувство у меня было такое: там бы и умерла... А только Бог услышал меня: не было того состава, укатил. Новые чехи на путях и перроне красуются...

Везло Степаниде. Другая бы уже запаршивела, а она даже пустяшным заражением не разжилась. Лечиться где? Лекарства где? Марганцовки за тыщи не купишь. А тут при детве она... И так кажинную ночь опосля блуда и греха в прихожей у железнодорожного Фотия (среди коробок, корзин, стлевших армяков и корявых, задубелых обуток) терла себя водой, настоящей на березовых прутьях, вроде банной. А как быть, все меньше заразы. Не дай Бог, детва прихватит, они ж невинные! Можно и самогоном обтереться, но в энто место не пустишь.

Господи, болит тело, ноженьки ломит, в темечке треск, будь неладна жизнь...

Слезы сами капают. За что, Боже?.. Мнешь узелок с хлебом, ломтиком сала или рафинада (ну три-четыре кусочка, да и те в махре да грязи). За что, Боже?!

И жарче, чаще слезы. Сердце в груди — ходуном. Шлепнешься на колени, из щелей льдом несет, а не шевелишься, кладешь поклоны, а вдруг Матерь Божья заступится?..

Да не шибко и намолишься. Фотя шепотком кличет. Хоть и невелика работа, а иди, да не плачь, воркуй, обнимай — не то турнет с малыыми. Тоже ушлый, не кличет, покамест моюсь, бережет себя. Старой, а руки жадные. Клещами зацепит волосы на передке — шелохнуться...

Даже по нынешним голодным временам колени у Стеши загляденье — гладкие, белые. Всю жизнь тужилась то с вилами, то с граблями или ведрами, а руки тоже — ровно сметаной облитые, и без жил. Бывало, с родителями, а после со свекром или мужем дрова на себе носила, бревна плечом подпирала, одна воз сена сгружала, а не раздалась, не омужичила: в талии узкая, плечи заглаженные, статная, без загорбка. А уж как в баньке нагишом, знамо, распарится да сядет на полку — зад грушей, а ноги под тяжестью и растолстятся — залюбуешься. И трогать такую за грех. Как есть высокая красота.

Сиськи сквозь пар мокро отсвечивают, сыто лежат. Такую сладость двумя руками брать, бережно и благоговейно, не сиськи — дар Божий. Соски, ровно солнцем обожжены, коричнево-темные.

А живот!.. Какие тут слова, при чем слова? Нежить его надо, ласкать, губами пятнать, молиться на него, но и это будет так... движение ветра, шелест листвы, не более. Смирять его надо, требует он, в нем страсть, зов... Своим животом накрыть, придавить жгутами-мышцами, что сплетают у мужчин живот от ребер до паха. Но и это не все, а только начало...

Вот только тогда, считай, вышел разговор с бабой, и ты не обманул ее, и только тогда ее сердце в удар с твоим начнет жить. А уж когда это будет долго и хорошо (а хорошо, когда не один год, а лучше — десятилетия) — не станет иметь значения, что бывает между мужчиной и женщиной, а заиграет, выйдет на первое и главное место — сердце.

Впрочем, возле такой бабы, как Стешенька, мужик не угомонится до седых редких волос, до плечи и вставных зубов (самое важное — там-то не вставное, а свое, первородное и прямое, гордое, трепетное и неувядающее). Всё будет доказывать ей любовь и дружбу, потому что у мужчины все эти нежные и духовные материи непременно в твердость естества переливаются и держат его боевым разящим мечом. Хвала Господу за то, что святую гордость дает обладателю женщины (особенно хвала за это в преклонные заснеженные годы)!

«Жутко зарабатывать, себя продавая, — жаловалась Стеша. — Мужик ведет, а я будто неживая. Кто он, как будет меня, один ли, не пырнет ли ножиком, не заразит ли?.. Веришь ли, Флорушка, иной нащипает, а не крикни... Поначалу, вот истинный крест, от переживаний пропали месячные. Октябрь отсучилась — нет крови. Ноябрь — продолжаю свое, а нет крови. Декабрь — и я уже с лица неживая: ни капелечки крови. И все завидуют, вроде тетка видная, мужиков так и гребет... Веришь, Флорушка, есть среди нас порченные — ногами, лицом, — а другого заработка нет, хошь разорвись. Вот лишь на это самое, бабье, вся и надежда. Их разве только очень пьяные берут. А знаешь, как они голодуют? А на кой мужику костлявая баба?»

Что и рядить; невесело промышлять греховным задирием подоло, по нынешним временам и вовсе лихая доля, слезы пополам с кровью и увечьями, поскольку Гражданская война — святой бой за счастливую народную долю. И мрут эти бабы от болезней, пьяных драк, а все равно их становится больше. Да только помани — за пайку хлеба владей, распоряжайся телом, вытворяй что хошь, только, Христа ради, не обмани, заплати!..

— Ты мне разобъясни, Флорушка, — пытала она его ночами, — зачем эта революция, зачем обещанное счастье да благодать, коли путь к ним через горе, смерти и общее разорение? Были б тут япон-

цы или американцы без нашей революции?.. Наша была Сибирь, мужицкая. А народ стравили? Красные, белые... Выгорело у России нутро, неужто не видно? Какие ж еще глаза надо иметь? Да кто хочет пялит Россию!..

Три Фэ лишь сопел и гладил ее, а когда совсем допекала жалобами и расспросами — пил, крепко пил — до осатанения, аж рвало...

Уразумел тогда Три Фэ, отчего пьют на Руси. В редкий денек глянет солнышко, а так все недели и месяцы черные-пречерные, один горше другого. Не живет человек, а умывается горем и нуждой, а главное — любой над простым людям начальник норовит эту власть развернуть. Аж волком воет люд попроще. Ну как в таком разе выстоять — ни огонька для души, ни даже доброго слова. Уж так Господь сладил жизнь для России... И никуда не спрячешься.

Прежде, когда не было заводов и машин, спасались в Запорожскую Сечь, на Дон. Бежали в тайгу. Аж до океана и Америки вымеряли версты. Господи, пожить бы, чтоб над тобой никто не сидел и не гнул тебя к земле за то, что ты родился и живешь. Куда ни пойдешь, а горе за тобой, вроде тени. И нет боле свободной тайги, а Аляску сбывали американцам. А так бы и туда сбежали, ей-ей!

На черное сладил Господь российскую жизнь. В недобрый час он определял людей в русских. С князем ли Игорем, аль с Иваном Грозным Рюриковичем, с Романовыми ли, Лениным и генеральными секретарями, а только у всех дней один цвет и разнятся один от другого напором черного: один день густо-черный, хоть в петлю ныряй, а в другом черного пожиже, но все — черные и густопсовые, нелюдские.

Но и то правда — попривык народ за века и к черному, и к молитвам на карачках за дарованную благодать жить в черном. Славит и слабо-черные дни, и черные, и псово-черные. Не славить нельзя — грязью накомят, умоют и на погост снесут.

И уж как в этих потемках искать свободу, а сыскав, как прознать, она это аль нет, — загадка, игра философий и революций. Вот и новый ошейник — само собой, взамен созревшего: заместо царского — ленинский; этот на хрип сдавил, глаза вылезли, но и то ничего против сталинского. Подойдет время — тот сдавит, аж одно потемнение застит глаза.

Так вот и перебивается народ от генсека к генсеку: уж дай Бог, чтоб не таким лиходем оказался. Приноравливается народ ловить воздух, не сразу людишки помирают, тянут, скребуются, а как иначе, коли в ошейнике и на поводке, да с водкой...

Пил Три Фэ, а Степаниде не давал, разве иногда глоток.

— Зачем себя портить? — внушал ей лаская, но не в кобелином приступе страсти, а жалея. Жалел искренне, как жалеют себя.

— У тебя дети, — говорил ей. — Тебе детей поднимать...

И лил в себя холодную вонючую жидкость, поскольку без этой жидкости не раздвинуть в России черное. И от выпитого тело ста-

новилось воздушным, отрывалось от постели и жаркого, доверчивого тела Стешеньки. Гладишь ее — и много радостей не только глазу.

Это верно, без обмана: сколько ни ласчет, сколько ни трогает, а все желанна. Вдруг повернется, животом наляжет и залащует, не одна, не две, а сотни рук. Во все места поспевают. Глаза выпучит, огненные, за бородой оскаленные зубы. Сатана и есть!

А Стешенька только вскрикивает по-бабьи:

— Ох, ух!

У Флора своя наука — страсть. Горит баба от этого любовным жаром, стонет, наддает задом — держись, дядя! Да разве она знала, что это такое?! Двоих родила, с мужиком пять годов спала (вот именно: спала), по рукам ходила, а ничегошеньки не знала, не понимала. Флорушка, родненький!..

А уж тут любовь как схватка! Да и верно, ведь самое важное добывается: состояться любви аль нет. Будут стон, и судорога, и низвержение небес аль только обозначения. Но Флор горазд! Куды там!..

— Флорушка ты мой, сердечко, родненький!..

Уж тут такие обозначения — баба кричит от счастья, забыла про деток. Флор ее крик поцалуем и гасит. А она руку ему искусала, губы себе искровянила. Ах бес!..

Рот у Стеши крепкий, губы навькат, пухлые, сочные. Ах, не нацалуешь! А она-то — знай подставляет. Не рот — огонь! Ах баба, не знала, что такое любовь да истоста до потери памяти. Мужа кормила ласками, по девичьим годам целована была парнями (но не обмята, блюла себя для суженого, для единственного — уж такой огонь казался, ан фитилек, чадение одно...).

— Ох ты, Флорушка, ох ты, миленький... Бес!

И Флор-то никогда не был таким, а от этих стонов, поцалуев — все время в силе, изойдет страстью, ан опять...

— Ой ты, милой мой! Да что же это?! А-а!..

И снова Флор ловит ее стон, нельзя так — деток побудят.

И уже щеки у него опали, ребра напрогляд. Нет тяжельше работы, нежели служба любимой. Это ж, брат ты мой, такая запарка, такие гонки. Такой пламень и жар!..

— Ох, Флорка, не могу! Дай передых! Бес, бес! А-а!..

Оба так и проходили стыдную науку. Все для обоих заново, ничего не соображали, хотя и прожили годы, вроде целованные, мятые. А ничегошеньки не ведали, потому что все может дать и открыть лишь любовь или в крайности страсть. А без них есть все одна случка, срам, чадение...

Разлегся Флор, восстанавливает память — куда там!.. Потихонечку приходит в себя, цалуются в уста, плечи, шею. Плавятся уста. Невозможно после всего лежать. Страсть — она волнами в гладь переходит. А гладь эта опять в ураган! И уже гасит свой «факел» Три Фэ. Ох мечется, стонет Стеша. Факел и есть! Огнем понизу, на крик она, бьется в объятиях...

И уже придремывают оба. А ангелы над ними трепещут крыльшками, покой берегут.

Флор и в забытьи знай через пальцы волосы на лоне пропускает аль завиток, локоночик накручивает, а потом возьмет да надавит на лоно ладошкой, само это получается. Место это у Стешеньки крупное, вроде выпуклое. Все Создатель предусмотрел (не у всякой бабы такой) — для ребеночка это проход. Как пойдет головкой — никакого ущемления или задержки. Так и выскользнет в назначенный срок на свет Божий здоровеньким и горластым. На хороших деток сработал Господь Степаниду.

Жила баба и не знала, какой она клад. Каждой бабе свой надобен мужик. Он на свете единственный, хоть вокруг сотни, тыщи разных. А только один и откроет, какой она клад.

В том-то и вся неувязка. Попробуй докличься до своей или своего.

А то сядут, а она в плач, а он как бы принимает от нее горе. Не утешает, гладит и молчит...

Что и говорить, паскудова жизнь, хуже не сочинишь, а умные головы придумывали да ставили. Экую мразь напустили!..

Природнилась Стеша — не ласками и не избытком любовных утех, а сердечностью и каким-то своим пониманием его, Флоровой, природы. Брал ее руку и целовал — сперва в ладонь, после повернет — и в прочерк синих венков от пальцев к запястью.

Такие слова нанизывала она, так выпевала их, так заглядывала в глаза — ну битый-перебитый Флор, а и то начинал дрожать и мотать головой: не заплакать бы. А то сам молот трогательную чепуху. Баба затихала и лънула к нему, а он говорил и удивлялся себе.

Молодая она, так и пышет теплом. Где живот, ноги или грудь налегают на Флора — ну чисто из печи жар, аж оба мокреют... А не разлепляются — так и лежат бочок к бочку или она животом к нему: ногу закинет на него — тяжесть, поскольку баба крупная. И детей рождает крупных и справных. Такие все реже и реже по Руси — и бабы, и дети...

Верили, не совсем отнято у них завтра. На этой вере и стоит вся жизнь в черных и слабо-черных днях жизни в России. А иначе распалась бы она на серые угли...

Само собой, все ласки и слова имели место, когда детишки засыпали: Три Фэ приспособил им кровать. Что-то значило еще его слово. Распорядился — и трое небритых, смердящих чесноком и водочным перегаром людей (не то старики, не то спившиеся мастеровые, не то безродные бродяжки) бестолково, с сопением и топотом занесли кровать с никелированными шарами на спинках, а за ними постучалась тетка (кастелянша, должно быть, за платками и не углядишь) с подушками, матрасом (его пособлял нести еще один запивушка) и даже дырявой простыней. Три Фэ объяснил — и они

отгородили кровать веревкой с рваным одеялом (нашлось у кастелянши и такое). Дал ей за труды Флор полстакана и ломоть хлеба, так она шлепнулась на колени — и ну ловить его руку для поцелуя. Эх свобода, свобода!..

Гладила его Стеша ночами, шептала слова, от которых раны, как в сказках, сами затягиваются — те раны, которым нет излечения. От вечной черноты дней они, посему — в душе и сердце. Не выковырнуть из них боль, не приморить — вечным жаром пекут тебя, словно им выгода от того, что ты околеешь...

Три Фэ запретил себе приставать к ней. Подло это — брать женщину в беде, грязно и недостойно, не шлюха она... А только Степушка ластилась, такие слова напевала: сердце само мягчело, руки разжимались из постоянной судороги, тело становилось живым, без крохотки злобы — таким, каким его природа сработала, а не жизнь со своей казенно-черной дрессурой и дракой, боем за все — только шагни, дыхни...

Руки сами надвигали ее поближе. Хрипел ей на ухо нежные слова.

Глаза у нее темнели, расширились, лицо проваливалось в волосы.

Флор едва прикасался самым сокровенным. А она заходила судорогой и долгим стоном — до того люб он ей был.

А дальше, разумеется, и все прочее выходило, поскольку без добра в сердце на это способны лишь звери и люди, которые не могут без черноты, которым черная жизнь и есть самая настоящая, от нее у них вся сила. Дни потому и замешены на черном: в них одни люди переливают в себя кровь других. И, переливая, не оставляют их в покое, все мажут дни в черное...

Когда с сердцем случалось худо, Степанида клала его голову себе на колени (они чуть разведены, потновато-горячие; живот, коли она наклоняется, мягко придавливает ухо) и обтирала ему грудь мокрым полотенцем и, словно заговаривая, нашептывала разные слова; отступала боль, воздух вольно наполнял грудь. Но и тогда тихонечко тискал ее перси — нет, не от похоти — уж очень хороша да пригожа — право, загляденье!

И странное дело: не было перед ней у Три Фэ стыда ни за свою слабость, ни за беспомощную наготу — отвалился и лежит, не мужик, а обуза. Шибко он боялся показаться людям слабым и достойным жалости. Пуще всего боялся. Нес в себе громадную душевную силу. Только все это лишне теперь. Воспитывал он себя для борьбы и управления людьми, а где все это?..

Пожар в душе у Флора, один лист жизни за другим перегорают в пепел.

— *Les cendres!*, — нет-нет а бормотнет Флор.

А как целовал! Самых прелестных женщин в своей молодости так не голубил и не святил губами. И вообще к тридцати уже разу-

¹ Пепел (*фр.*).

чился губами творить чувства: все притерлось, обмозолилось за паролями, погоней, сходками, взрывами, этапами и приговорами. Ну травят тебя годами филеры, провокаторы, жандармы. В тюрьмах уголовники не прочь покалечить. Да вся жизнь в тисках, как только кости держат. И стали от этого поцелуи мниться дурью, салонным бредом. Ну надо что от женщины, так давай, а разные словесные кренделя при чем?..

Что тут напускать тень на ясный день. Кочевой и подпольный быт приваживал к продажным женщинам. А как, коли ты молод и покоя нет, травят тебя — имя не назови; и на воле ты гость, а уж в тюрьме по юбке сохнешь — занимайся не занимайся политическими науками и вообще самообразованием. Уж столько их обмилуешь в памяти!

Нет слов, риск это в смысле болезней, и приходилось лечиться, а как иначе?! Завязывать в узел этот самый предмет — и обесчувствовать ко всему, что от женщин? Не выходит, коли ты живой и тебе тридцать или сорок. А есть и под шестьдесят шибко маятся...

Три Фэ держал Стешу в номере — опасная пора: на улицах перестрелки и морозы не спадают. Строго наказывал, даже пугал: не выходи, на стук не отзывайся. Целовал в уста, не целовал, а святил поцелуем. И она отвечала — в самые уста, и долго-долго. У Флора Федоровича аж воздух поперек груди застревал. Руки после дрожали, когда надевал португезю с маузером.

Хозяйка в дому, что оладья в меду.

И начала хорошеть, оправляться Стеша. Не надо за краюху черного терпеть под прохожим, поскольку другого заработка в городе для нее не имелось, а мужики всегда мужики — со своим спросом куды денутся...

Хлопочет Три Фэ, ищет для Стеши место — чтоб свой угол был и настоящая, честная работа, надежная, не на один день или неделю, и чтоб не требовали за нее плату натурой (ведь и на честной работе очень просто прижать одинокую женщину с детьми).

Как вспомнит ее руки, голос, нежность — так и сам начинает лучиться людям. Потому что, кто любит, у того сердце другое... Нежные у нее руки, чуткие — вроде осторожно, приятно перекладывают все натертое в кровь, измозоленное в душе: куда как легче потом!

Можно сказать, впервые увидел революцию и Гражданскую войну. Нет, видел и прежде: и расстрелянных, и руины, и тиф, и голодных, и сирых, но все это проскальзывало мимо, будто мчал в авто. А тут лезут напрямую, волоком через тебя и беды и смерти. Словом, по самому горю и дну жизни скребанул.

«Такой отбор людей! — размышляет Три Фэ. — Что от Руси-то сохранится? Самые талантливые, способные, деятельные, гордые и чистые гибнут. Все репейно цепкое, мусорное, клоповье, наоборот, плодится и жиреет. А впереди еще столько забот, крови и голода.

Что же в народе убережется? Ведь одним оглодкам все нипочем. Произойдет замещение народа, новая порода возьмет верх: быстро расплодится, ни просвета не оставит. Лишится народ лучшей своей части, что бродила в нем, рождала идеи, была его глазами и совестью. Это все равно что взять и удалить у общества мозговое вещество. Кто же теперь будет определять русскую жизнь?..

А ежели кто и выживет, нулем окажется для России. Здесь слово только за секретарями партии. Прочие ничего не значат, прочие только для исполненья... так, удобрение для посевов будущего».

Председатель губчека припомнил, как полтора часа назад пустили в расход артиллерийского подполковника: грабил, псина, квартиру на Троицкой. Приятель утек, а этого повязали после перестрелки. Сережка дал отчет: Тиунов не парень, а штык, словчил подполковника под бабки. У подполковника еще четыре патрона было в барабане.

Чудновскому первее первого — ухватить концы подполья, поэтому прибыл лично и тут же допросил: времени в обрез, кабы не полыхнул мятеж, по щелям таких-то — и не сосчитать.

Офицеришко дерьмовый. Шинель не то рваная, не то прожженная; на спине гармошкой, без хлястика. Крючок у воротника выдран с мясом: нитки и сукно бахромой. Обшлага затерты и заношены до мазутного жирного блеска, вроде у паровозной топки шуровал господин подполковник, мать его ракухой!..

А морда?.. В седоватой щетине недельной давности, потная — с испуга, поди. Губы вспухшие, беловатые, а внутри ровно погрызенные (несладко, видно, спится). Правый глаз затек — подшибли маненько, когда хомутали, а левый, что в полном рассмотрении, — навывкате, в алой поволоке и зырит с остервенением.

Семен Григорьевич еще раз внимательно взглянул: ишь, псина, подгорбился, ровно к драке; знай сопит, а ноги эвон как расставил; ничего, собьем...

— Ты! — сдавленно крикнул подполковник Тиунову. — Ты!.. Со спины, сподлазу! Думаешь, дался бы живым?! Харя!

Снег на все лады поскрипывает: давит мороз. Дружинникам не терпится приконать гада, шибко языкаст, а матерится — что свой брат мастеровой. Потягивают махру, поплевывают на снег и примериваются к белой шкуре.

— Чего искали в квартире? — спросил председатель губчека, а сам руки завел за спину, в плечах — ну нет равных, хват мужик, ровно врос в землю. В глазах — никаких чувств: пусть враг читает там погибель. Именем класса вгоняет таких в землю.

— А не догадываешься? — Офицер сплюнул кровью и рукавом отер губы.

— Я не гадалка, я председатель губчека.

— Губчека, председатель... скажи на милость. Вот и удостоился я лицеизреть председателя губчека.

— Чего искали в квартире?

— Интересно, значит? — Офицер показал движением головы на свои ноги. — Босичком прикажешь по морозцу? И вши?.. Помыться надо, не то проскребешь себя насквозь... А кто переобмундирует, даст бельишко, новую обувь, ты, что ли?.. Председатель губчека, говоришь?.. Я б тебя, краснопузого!.. Со всем твоим родом до десятого колена, чтоб не поганил землю! Продали Россию!..

Чудновского интересует подполье, стерпел, только перешел на «ты» да на бас приналег — не голос, а труба.

— Кто был с тобой?! Отвечай!

— Кто был?.. Извольте, господин комиссар: капитан был. Отличный, доложу вам, служака. Вашего брата гвоздит без пощады аж с февраля восемнадцатого. Еще погуляет...

И подполковник запустил руку под шинель, долго и яростно выскребывая бок, аж перекопился. Он чесался непрестанно, и впрямь пес, да еще шелудивый. Богато обсеменила вошь Россию.

— Фамилия капитана, явка, адреса — и не будем расстреливать, пожирешь еще, обещаю от советской власти... Где собираетесь?

И председатель губчека перечислил для острастки, кто у него под замком в губернской тюрьме — первые шишки колчаковского режима, а тут какой-то капитанишка! Помянул Семен Григорьевич и промахи белых. Авось дрогнет подполковник. Да и себе не мог отказать в удовольствии: праздник на душе с того самого дня, как народ взял власть в Иркутске. Святая это борьба — промеж трудом и капиталом.

— Ты меня, чикист, не просвещай, — вростяжку, сорванным голосом заговорил подполковник: словно батареей командует. Навсегда в голосе эта привычка к командам. Гаркнет — за версту услышишь. — Какие ошибки у нас и кем сляпаны — эту бухгалтерию я получше тебя вычел и знаю, не разоряйся. Вором называешь? Ну что ж, пусть Левка Зворыкин — вор. А скажи, на что жить, жрать и где приткнуться? Да у нас ничего своего, кроме обносков и вшей!.. Капитан, явка... А это видел, хрен краснопузый?!

И подполковник качнул согнутой рукой между ног, аж присел — похабнее и не покажешь.

— К стенке, — распорядился Чудновский.

Руки у офицера дрожали, надо полагать, не только от предсмертного возбуждения, но и от злого, непроходящего похмелья. Он не дал себя вести, стряхнул чужие руки, прошел, встал у стены, в упор зыркнул на Чудновского: не глаз, а огненное сверло.

— Что, комиссар, думаешь, моя задница слезами залъется? — Он громко, лающе засмеялся. Потом неожиданно смыл смех и сказал буднично, без всякого накала: — Запомни, комиссар: чем выше обезьяна на дереве, тем лучше видна ее задница. Обзор! Ты со своей больш...

Залп из трехлинеек шибанул его на стену, аж хряснул. От стены брызнул кирпич, посыпался на подполковника и на снег. Несколько пуль рвануло на рикошет: нудно, высоко подвыли. Господин

подполковник листом распластался по стене, а после сполз, так и сел, скривясь набок. Еще три-четыре секунды повился парок дыхания и пропал. Зато паром задымилась шинель, набухая красным. На снег пудрой опускалась красноватая кирпичная пыль.

— Фасон модный носит человек благородный, — сказал смугловатый, цыганистого вида (скорее разбойного) дружинник.

Чудновский засмеялся: густо, низко пошел голос. И в самом деле, уж больно подызносился господин офицер — не шинелька, а дермо, половая тряпка.

Дружинники загалдели, перевернули затворы и, закидывая винтари за спину, побрели за ворота...

Пресеклись дни кадрового вояки — подполковника Льва Петровича Зворыкина, тоже нареченного Львом (как и полковник Грачев) в честь великого писателя Льва Николаевича Толстого. Почитала интеллигенция и вообще грамотная Россия писателя-графа, отмечала своих сыновей славным именем.

«Упорный, гад», — подумал Семен Григорьевич, отодвигаясь от воспоминаний и уходя в заботы о разных неотложных делах.

Погода бормотнул:

— А мы упорнее!

Шагает революция — не остановить! Да и сколько может страдать трудовой народ? Прорвемся к достатку всех! Кто загораживает счастье — вгоним в землю! На то есть у них, большевиков, мандат от истории! Козлы вонючие!

Приятно: в номере — детишки, женщина хлопочет, поглядывает на тебя с лаской, на веревке бельишко сохнет. Всегда вода горячая или теплая — как только она ухитряется?!

Флор, однако, колыт не унес — торчит впритык с постелью, — и ящик с боезапасом тут. И еще обзавелся ручными бомбами — тоже в ящике, толстыми серо-зелеными чушками, бочок к бочку. И запалы тут же, но в отдельном запертом ящике. Само собой, накрыл все это старым пальто: не зашибутся Коля с Любой, а при надобности пальтишко скинуть — сущий дустяк.

Стеша-зазнобушка все это обходила чуть ли не на цыпочках, детву гнала от страшного угла, не спрашивала ни о чем — лишь глаза ширила. И молчала ведь, соглашаясь на общую с Флором гибель.

А Три Фэ не мог иначе. А ну как хлынут каппелевцы или мятеж займется — поздно тогда искать оружие, ученый уже. Тут, ежели ночью, глаза еще не разлепил... тьфу, веки!.. а оружием дорогу прокладывай.

Встанет Три Фэ у окна, смотрит через узорные ледяные стекла и думает: «Народ — это вовсе не мудрость. Чушь, когда ему приписывают мудрость. Народ — это всегда среднеарифметическое от инстинкта самосохранения (умения выжить любой ценой) и вещественных выгод. Ему бы только посытнее и повыгоднее...»

И крутил башкой, тужил шею, мычал, когда думал о священных книгах марксистов и вообще зазывателей в светлое завтра. Что они вот об этой жизни знают, книжные лбы и знахари паркетных отношений?..

А после опять кружил возле главной мысли: «На большое и подлое приспособление выучивается и выучивают народ...»

И не тешили его эти злые слова, не врачевали от несчастий последних лет, а пытали настоящей болью, поскольку народ был и остается самой первой и несчастной любовью Флора Федоровича.

С горечью думал: «У людей, а стало быть, и у народа тот, кто не топчет их, не может быть героем — это истина. История ее вычленила...»

И однако, поражала его и душевная стойкость людей. Не всех, разумеется. Вот он, Федорович, наверное, согнулся и счернел бы, не выправился — пройди через то, что прошла Стеша, а она, что ни день, лучшает, и из глаз убывают могильная пустота, холод и забитость. Без любви и добра не может человек. И всходит в ней солнышко жизни...

А Стеша словно чуяла его мысли — подходила (походка мягкая, плавная — ну точно домашняя кошка), клала голову на плечо. И ни слова, ни вздоха — так вот и приветила, а у Три Фэ сразу развязка душевной напряженности — ну разжимаются кулаки, и сердце спокойнее качает кровь. Гладит ее и тоже молчит. А рука гладит — так все на мягкое сползает.

«Ей бы теплую шаль, — думает, — чтобы вся закутывалась, да где сыскать-то?.. Нищий ветер по России...»

Коли детки спят или за перегородкой заиграются, посадит Стешу на колени и целует, словно гимназист. Через горе прорвались, дорожат добрым словом и светлым в душе...

Что и судить, опростился товарищ Федорович, утратил интеллигентный лоск и норов. Даже речь стала вроде как съезжать с культурно-привычной колеи — ну хоть в слесаря нанимайся.

Во все глаза смотрит на жизнь Три Фэ. Многие евангельские истины становятся ему дороже и важнее самых первых революционных заповедей. Разглядел он и только сейчас уразумел: нет в них ни на крупинку от души и тепла — лишь кесарево сечение, кровь да муки смертные.

«...Так проходят годы, да разве проходят?

Они проносятся как один миг — и нет, нет их. И ближе роковая черта, потому что все здесь конечно... и жизнь, как и счастье, — тоже.

Жизни жаль?

Жаль, все ждем: вот-вот наступит жизнь, сброшу с плеч эти дни, останутся за плечами — не дни, какая-то мешанина лиц, рвань дней, слов, чувств, какая-то горечь во рту и в сердце. И самое главное — ощущение какой-то фальши, не настоящее это, не то...

Годы обрели неудержимый ход. И безумно жаль месяцев — они складываются в череду каких-то бессмысленных забот и действий. И мы не видим друг друга — только быт, который привалился своим свиным рылом и не дает жить. Вместо простора жизни — клетка. И твое лицо за какой-то пеленой, дымкой, тенью...

Может быть, не замечать этой скорости дней и нескончаемых забот, что выложили себя во все дни?..

Одно время я это умел. Надо все забыть — это раз. Отречься от прошлого — не было его, мы были всегда, не быдо до нас прошлого.

Тогда зло прошлого, боль ран усыхают, съезживаются — нет их. И они сгинут, не станут приходить к нам — ведь так мало этих дней, когда мы вместе и не отравлены дыхом свиного рыла. Все-все забыть!

Второе — никогда никому ни в чем не желать зла. И не обижаться на несправедливость. Не пускать в себя зло. Ведь оно входит в тебя всякий раз, когда ты начинаешь думать, будто именно с тобой жизнь обходится несправедливо.

Надо видеть друг друга — это ведь так много, так необыкновенно много!

Никогда не думай, будто ты лучше другого, — никогда, поскольку это тоже отравляет, ты уже доступен дурному, с этого мига ты хуже. Счастлив тот, кто не говорит о ближних худо, а умеет только любить и прощать, у кого вместо души — солнце, ласка и понимание, нет — не прощение, а понимание.

Все это я чувствую сердцем, меня не следует убеждать. Я уже убедился: когда я думаю скверно, я болею.

Так хочется солнца, чистоты дружбы — и быть незрячим к злу, пусть оно даже держит ногу на горле. Ты все равно не повержен.

Вот видишь, что за вырождение и извращение во мне к дню нового, 1992 г. Я, наверное, устал?..

Нет, это было во мне с первого дня на этом свете — вся свара жизни, вся борьба так и не сделали меня другим. Ценности этого мира мало что или совсем ничего не значат для меня. В жизни у меня всего несколько дней, которые я могу назвать счастливыми. Нет, это не победы, не золотые медали, не книги, не почетно трудные дела, которые удались мне. Не радость законченного дела. Нет, нет!

Это дни высокого солнца, зеленой листвы — прозрачной от солнца. Это трава, в которой, разбиваясь, гаснет солнце. Это сухой жар воздуха. Это цветы, в которых сонно перебирают лапками жуки, бабочки, и это синь бесконечно высокого неба: глубокой, мудрой тишины, когда слышишь сердце, свои мысли. Это шаги, которые надо делать, но они не ради выгоды, фальши, каких-то миражей счастья. Это — глубокое прохождение через тебя каждого дня, радости ожидания рассвета каждого дня. Господи, сколько бы я мог писать об этом!..

Я хочу только любить и нести добро — вот и все.

Я не хочу, чтобы слово было лишь завесой дел.

Мне ничего не надо — только бы выйти к тем дням, только бы найти их. И тогда — счастье, тогда нет гнусного измельчания дней, бешеной скорости этих дней...

Вот и все.

29 декабря 1991 года, 21 час 42 минуты».

Я вынул из пишущей машинки этот лист и протянул Ларисе.

Г л а в а VIII

АНГАРСКАЯ КУПЕЛЬ

В городе глухо, а здесь, в Знаменском предместье, и вовсе могильный покой. Постреливают, но в стороне. Надо полагать, учитывают, что в тюрьме сильный гарнизон. Любую банду приведет в чувство. Без пушек и не суйся.

Товарищ Чудновский прикидывает: на Ангаре или в подвале кончать Колчака? В подвале прежде Чин Чек правил (тот самый секретный человек), а ныне они, чекисты, карают врагов революции, хотя не брезгают подключать и Чин Чека (у него науку брали).

Кровью пахнет в подвале. Распахнут дубовую с оковкою дверь — и по лестнице, площадкам, аж до чердака, кислым, удушливым несет...

Название предместья — от Знаменского монастыря, был заложен в одно время с Иркутским острогом, в 1693 г. Красуется он за белой каменной стеной на правом берегу Ушаковки, возле устья, метрах в сорока от Ангары.

Что тут выбирать... На Ангаре всенародная казнь и выйдет. Все поместятся: и дружинники, и представители народной власти.

Зато в подвале — без риска; всех делов — вниз свести Правителя. Никто не насочет, не отобьет.

И Семен Григорьевич мысленно выстроил путь к Ангаре. Как из административного корпуса выйти — бери вправо, к монастырю. Напрямки не пробуриться — Ушаковка закрывает Ангару, и хоть чухлая речушка, а не пробуриться — снегу по плечи.

Единственный путь к Ангаре — через монастырь. Монастырь — женский, спокойный, и дорога к нему в наличии, другой и нет к Ангаре: натоптали монашки, есть-то им, Божьим одуванчикам, тоже надо.

Стало быть, вдоль тюремной стены — и до монастыря. Он Знаменский, тоже по самые стены в сугробах. Хошь не хошь, а топай двором мимо келий к стене. Эта стена прямо по Ангаре, и в ней воротца, ну, не воротца — калитка: монашки по воду ходят...

Короче, через монастырь — к калитке, а там и Ангарушка. В общем, путь хоженный. Прорубь там, туда расстрелянных засовываем. Не та, разумеется, из которой монашки воду черпают. Тюремная ниже, но ее, сказывал солдат, запустили. Пропала нужда сносить и топить казненных. Всего-то там стреляли два дня, может, три. Мосин предложил подкладывать казненных в партии усопших от тифа и разных воспалений. И с тех пор новопреставленных рабов Божьих выводят одной партией. Кто там будет в них ковыряться — со всего города везут усопших да пострелянных. Валят в общие ямы. Столько народу мрет по больницам, столько находят убитыми, столько гибнет в схватках не пойми с кем!..

Будет порядок по земле. Только вот беляков да интервентов вышибем!

Да-а, без чекистов замрет и остановится революция!

Семен Григорьевич огладил себя: все ли в порядке. Пример подает Ширямов. Всегда в чистом и глаженом, усы подбриты и подстрижены — волосок к волоску.

Подошел к окну, уперся руками в подоконник: ежели тучи прогонит, ночь будет лунная, по белу снегу далеко видать...

Подумал: «Капиталистическая система — вот корень несчастий. Все страны вступили в мировую войну с грабительскими планами. А Правитель тут плел всякое... Пролиты, германское нашествие...»

И представил себя в монастырской калитке. Город перед тобой. Простор! И замер, сузив глаза.

Мерно, тяжело ступают рабочие батальоны. Чуть покачиваются штыки. Пожар мировой пролетарской революции разливается по миру. Новая, радостная жизнь грядет!..

Александр Васильевичу врезалось замечание Скобелева о войне, будто не Скобелев это сказал, а кто-то взял и «выложил» эти слова из его, адмирала Колчака, груди.

Скобелев сказал однажды:

«Война извинительна, когда я защищаю себя и своих, когда мне нечем дышать, когда я хочу вырваться на свет Божий...»

А слова Скобелева вспомнил генерал Алексеев. Он лечился в Севастополе от переутомления, и Александр Васильевич навещал его в Морском собрании, где разместился начальник штаба Верховного...

«Когда мне нечем дышать»...

Последние батальоны каппелевцев выдираются из заснеженных таежных крепей.

По западу, когда солнце заходит (уже за кромкой земли), небо светло пылает. Жизни в тебе нет, кажется, насмерть обмерз, за плечом винтарь, а тынет — сил нет стоять: ровно на пуды тяжесть. А

рожу, однако, к закату воротишь. И уже нет в памяти ни гимназических балов, ни поцелуев в юнкерстве — аж под коленками слабнешь. Обнимаешь за стан курсистку — и глаза ничего не видят. Вся жизнь в руки избыла, в держание стана...

Все замыла, стерла трупная бестолочь войны... да не войны, а войн. Прежде была германская, а теперь Гражданская: свой на своего. Хотя какие они мне свои? Твари краснопузые! Всех бы из «максима»... Как траву косой — всех бы... баб тоже не пощадил бы...

Оттого и нет памяти на прошлое, и оскотинился, и речь будто из артели грузчиков. Глаголы, спряжения, падежи, эпитеты, предлоги, мама... — все-все мраком подернулось, все кровь замыла... Теперь бы всегда первым выстрелить, первым штыком достать, первым прикладом башку размозжить — иначе из тебя дух вышибут.

Здесь счет один: кто из кого крови побольше выпустит. Кто побольше — тот живет...

Небо светло-смуглое по закату. И с каждым шагом пуще на розовое отдает. Как на розовое свет пошел, зарево опадает — все ближе к сопкам, темнее. А за спиной уже громада ночи: вот-вот поглотит горб из света. И уже ярко горит серпик луны. Даже не серпик; а мгновенный прочерк — до того узкий и тугой в выгибе.

Снимешь винтарь, упрешь в бедро или живот — и крестишься. Только и осталось от прежней жизни — крестное знамение. Прости и спаси, Господи!..

Дойти бы до следующего привала, только бы туда дойти, а там уж как-нибудь, как-нибудь...

Луна узкой арабской лодочкой — до того изящная, узенькая, ну чисто гравюра из сказок «Тысяча и одна ночь». Кто не видел?

А тут само небо гравюрой.

Багрово-желтая эта лодочка, а сбоку — одинокая звезда, эта — рыже-красная. Так и стынут в небе арабская лодочка и звезда...

Жмет мороз. Скрипит, жалуетса снег — ведь голый лежит, а люди мнут его ногами, мнут...

Вот он, Иркутск, господа! Дошли, господа! Шапки долой! Иркутск!

Держится товарищ Чудновский степенно, все делает со значительностью. На мучнисто-красноглазом лице уважение к себе и своему назначению. Так и внушал сотрудникам:

— Мы к делу поставлены. Не грехи отпускать, а дело продвигать!..

Убийства людей не доставляли удовольствия председателю губчека, но он убежден: лишь через очищение земли по Ленину и возможно будущее без насилий и убийств, будущее сытое и счастливое. Но прежде всем надобно принять кровавую баню, своего рода чистилище. Так и втолковывал.

Не меньше, чем от Ширямова и Косухина, взял он от самого старого иркутского большевика — Янсона. Этот ставил советскую власть здесь с первых дней Октября; насквозь видит город и, невероятным покажется, знает в лицо и по имени здесь едва ли не каждого партийца.

Как самое светлое в памяти: I съезд Советов Сибири, в Иркутске, 16 января 1918 г. Народ высказался за вооруженную поддержку советской власти. И уже тогда обозначил себя товарищ Янсон. Первый он друг и защитник свободы и счастья трудовых людей. Ясно звучал его голос, не спутаешь...

Опять уходит в себя Семен Григорьевич (с усталости это, недосыпа), и мысли незаметно берут другое направление. И уже, ухмыляясь самодовольно, бормочет:

— Гостю — почет, хозяйке — честь.

Хозяйкой он в игривости величал прачку, а она его — дорогим гостем.

По отчеству называл ее до первого «урока». Елизавета Гусарова! Безмужняя — жениха холера прибрала...

Увидел (уж как разлеглась в памяти) ноги — толстые, но не рыхлые, тугой зрелой мощи: ровные, крепкие, без жировых ямок. Молодому Чудновскому они казались стволами крепких деревьев... Лежит в постели, часть груди выдавилась между рукой и боком — этакий сдавленный полушар. Волосы скручены в узел на затылке. Руки от работы необыкновенно сильные... Свалит его (он сидит рядом), подтянет к себе и зацелует... Чмок, чмок! А после откинется, ноги разведет, голову его к себе притиснет и начнет нежно, горлово постанывать. И жар, стон, и дыхание в дыхание, губы в губы. К вспышке ближе (хмель-ломота во всем теле, вот-вот рухнешь в бездну) Лизка и распустит объятия — уж как натаскивает на себя. Господи, милый мальчик! Господи, леденчик ты мой, леденчик ты мой!..

И — в одну пружину два тела.

А после летят в пропасть. Чернота, молнии в глазах. И такая мучительно-выворачивающая судорога наслаждения...

Семен Григорьевич закурил. Лизке-то уже за пятьдесят. Где она?..

До сих пор ему кажется, будто бабье любовное устройство обособлено и надделено своей душой, часто не имеющей с хозяйкой даже простого согласия...

Постепенно воспоминания отделились, и товарищ Чудновский с досадой подумал, что негоже так большевику. Женщина — равный тебе товарищ, опора в борьбе за новый мир. Не ее вина, что капитализм изуродовал ее чувства да еще приспособил торговать телом. В будущем огромное место за женщиной. Прав Август Бебель. Оппортунизм не позволил этому социалисту стать большевиком, но даже при этом обладал он развитым классовым сознанием.

И совсем загасил мысли о Гусаровой. Хватит слюни пущать!

В презрении и отрицании подавляющим большинством людей дел и величия бывших вождей (Сталина, Молотова, Ворошилова, Кагановича, Куйбышева, Кирова и др.) самое главное не в том, что открылось их воистину сверхисторическое злодейство, а в том, что не сбылись обещания, не сбылся Рай (социализм). Все обернулось обманом. Бог с ним, с произволом, с жертвами, с насилием, — несостоятельными оказались все посулы новой жизни, сказочной России. Все рухнуло — вся бумажно-величественная постройка. И взорам открылись одно унылое поле лжи, одна неустроенность и собачьи заботы. Нет дома, разорен дом, пепелище...

Все-все обернулось обманом.

Одна кровь — и ничего взамен. Это главное — ничего взамен. Вот оно, скрытое настроение общества. Все бы ничего — и миллионы трупов, и вождизм, и холопство, — но было бы что взамен, сиречь квартира, сытость, вещи.

Вот скрытое настроение значительной части общества, в общем если не согласной на роль палача, то готовой поддержать любые силы во имя этого — было бы, как говорится, за что...

Флор поглядывает на Янсона — тоже охрип и вроде облез даже, а мешки под глазами! Да-а, обстановочка... Митинг за митингом, собрание за собранием... — надо стронуть народ. Надо, чтобы повывлезли из казарм да из домов-нор. Надо пронять народ. Это что ж, одни отсиживаются, а другие кладут себя? Нет, в таком деле только всем миром и выстоишь...

Схудал Флор. Поясной ремень елозит, виснет, опять новые дырки колоть. Жрать нечего, а забот с каждыми сутками все пуще. Из всех сопок да потайных городских мест штыки в Иркутск метят, можно сказать, уже уперлись, только надави... с хрустом и вломятся... Не забудет Флор, было и такое. Вроде и не обучен, а принял на штык унтера. Иначе не выходило: или он его, Флора, или Флор его. Бог рассудил: он его... Как рвал кости и сухожилия — хруст в руках остался, не смыть, не оттереть. Помнят руки. И до сих пор понять не может: не знал себя, не замечал за собой — унтер лежит, разбросался, в груди клеток, уже точно неживой, а он его долбит штыком и долбит! И слова самые грязные выкрикивает. И голос от злобы и запала хрипит, не свой голос... Да-а, имеется в каждом такой другой, о нем и не подозреваешь. И вдруг разом становится тобой, а тебя вроде и нет, за зрителя ты...

Вот тебе и тысячелетняя культура! Гомер! «Светлосеребряной ризой из тонковоздушной ткани плечи одела богиня свои, золотым драгоценным поясом стан обвила и покров с головы опустила...» Вергилий, Шиллер, Байрон!..

Незаметно оправил френч, подтянул коробку с маузером: ну отоцал, брюхо к спине приросло...

Сам тощает, а мужская сила не убывает. Не мужик, а крутой

кипяток. Спасу нет! И сердце в порядке, а до того проймет бабу — разинет рот и воздухом не наглотается... Ох, окаянный!

А живуч! Уж на что езженные попадают, кажется, уже и чувствовать разучилась — по десятку и боле обслуживала зараз (когда за деньги, когда насильничали, а когда из озорства — чего не бывало, до какого предела жизнь не доводит!), — а этот комиссаришка наляжет: час, другой — и без памяти. Прямо под ним и раскисают, ворочай, крути куклу, а она без чувств. А может, с голодухи и недоеда это? Аль с революционных мытарств? И в самом деле, подмахивай, коли от стужи весь день коченеешь, а живот подводит, смотри, как бы подштанники не потерять. Революция!..

Янсон уже на призывы налегает, слова подоходчивей сыпет и нет-нет а на Три Фэ и зыркнет: стало быть, сейчас речь брать.

Он, Федорович, скажет им все. Они у него гаркнут «Интернационал», но сперва заревут и взденут на штыках свои папахи. Это у него, Флора, без промашек выходит. Знает его вольный Иркутск. Даром что в самые черные дни декабря повел за собой гарнизон и город, Политический Центр сколотил. Дубинка Лукана чудом обминула. В те дни Федорович не спал на одном месте. На каждую ночь новая нора. Второй раз из-под смерти ушел. Вот и поглядывает на икону: а вдруг есть Господь?..

Над гребнями кресел дым слоями — до одурения чадят бородачи самосадом: дамочка из нежных тут враз брякнется. На пять-шесть сотен глоток затыжку делают: шибко ответственное дело обмозговывают. Солдаты, мастеровые, штатских — раз, два и обчелся. Обрядилась Россия в шинели. Два наряда у нее нынче: шинель (или кожанка комиссарская) да саван.

А с винтарями все, даже штатские. Ежели по прежним, барским обычаям, это нынче как зонтик или трость. Без «винта» ни шагу, ишь чего...

С места вопросы — ну кислота, а не вопросы. Янсон дает пояснения, бумаги зачитывает. Печати показывает, подписи.

Здесь выборные от частей, команд и служб. Янсон разъясняет текущий момент, тужится, аж сбледнел, пот по лицу. Но свое знает: режет без прикрас, однако и не страшает. На то он и большевик. Сам Ленин у них за царя, это ж соображать надо. Башка на целый свет! С Волги, говорят, мужик, свой... А только вождь мирового пролетариата! Заместо царя!

Вроде правильно излагает Янсон, а вязнут слова. Не торопятся мужики, хватит — набегались, аж синеть от натуги начали... Это, конечно, по душе им, что в кутузке адмирал — и будет расстрелян, — и что его сучка с ним — тоже тешит, и что трещит острог от господ офицеров и разной контры — приятно слышать. Спокон веку не любит Россия власть, даже по сердцу ей, когда эта самая власть кашляет кровью. Вроде именины тогда у людей...

Жадно слушают бородачи, кабы не проморгать самое важное. Земля, декреты, белые, Ленин, японцы, чехи, Семенов, золото, Пятая армия, опять чехи со своим одноглазым воителем.

Кабы не загреметь в мерзлую яму спиной...

Чувствует Флор: получится! Очень уж легкий сам, вроде не весит ничего — так всегда перед самыми убедительными словами: каждого возьмет за сердце. В Иркутске его слово знают, повторяют, верят. Что молвит Федорович — закон!.. Эсеры эсерами, а на Флора у них свой счет...

Только вот мешает эта цифирь о Французской революции. Давеча прицепилась — и нейдет из башки. И не знаешь, куда ее там пристроить, болтается без зацепу.

«Лишь за последние полтора месяца якобинской диктатуры Революционный трибунал вынес 1285 смертных приговоров. Гильотина стучала в среднем по 28 раз за день, скатывалось в корзину 28 голов ежедневно...»

— Слово товарищу Федоровичу! — объявляет Янсон.

И сказал Флор — аж взревели в шесть сотен луженных самосадам, морозами и матюгами глоток! Прознай о том первый златоуст республики товарищ Троцкий, и то удивился бы. Ну не может обыкновенный человек, пусть даже бывший председатель Политцентра, так говорить!

— Умрем за народную власть! — клянутся бородачи.

От топота стены ходуном.

— В землю белых гадов! — И тычут штыками в потолок, а на штыках папахи. Ну погибель Войцеховскому и всей белой мрази!

— Да здравствует Ленин!

О Ленине Флор и не заикался. Это мужиков самих прорвало.

А Флор ровно сухой лист — и огнем полыхает, а сам сухой-сухой. Всегда он такой, когда на речь выходит. Другим быть не может. Не умеет беречь себя. Нет даже такого устройства в нем. Потому и с бабами таков — на разрыв жизнь в нем, на высшем градусе. А глаза светлые, радуются, когда людям от его забот хорошо. Со светом мужик.

Янсон ему руку жмет. Нехорошая у Янсона рука — влажная, липка, кабы не тиф...

— А-а!.. Ленин!!

Грубо налегает ветер. Тащит по светловатому ночному небу белые оглаженно-пушистые облака. Очень белые облака даже в разливе лунного света.

Флор распахнул дверь — и ветер ровно каленым железом налег. Остановился: «Красота-то!»

Улицу осветляла пороша.

И делов-то: снежок присыпал. Молодой лежит, нетоптанный, доверчивый, светлый... А радостно на душе!

А сам и не заметил, рука скользнула на крышку кобуры, отомкнула; взял за рукоять маузер, вынул и сунул за обшлаг полушубка. Само получилось, даже в сознание это не пустил... По ночи только так и можно...

«28 голов скатывалось в корзину ежедневно...

Да что ж тут рассуждать и спорить — большевики приняли эту программу. Это их путь! Какой же я дурак! Они решили истреблением людей внедрить свою веру! Как же я этого не понимал?! Они же приняли Робеспьера не для усмирения главарей бунта и врагов свободы, а для всего народа. Они рубят не 28 голов в сутки, а тысячи, тысячи... И голод им тоже в подмогу. И я, Флор Федорóвич, буду палачом народа?! Я погоню народ в тюрьмы, на побои и насилия, под залпы карателей? Ведь у них так за Уралом. Я же это знаю. Я, кто выше жизни и своего счастья ставит справедливость, человеколюбие, равенство, — палач?! Я — палач?!»

Еще одно прозрение.

— Да, жду его к трем — и действую! — не кричит, а хрипит в трубку председателя губчека. — Не беспокойтесь, товарищ Ширямов, уложимся до света. Будешь у аппарата?.. Не беспокойся, не подведем. Выпишем адмиралу пропуск!..

Под контролем держит ревком исполнение постановления номер двадцать семь. Исторический документ. Уже завтра весь мир о нем прознает — это уж точно.

К трем часам пополудни должен подъехать Иван Бурсак — это распоряжение Ширямова. Бурсак 17 января сменил эсера Кашкадамова на посту коменданта Иркутска. И еще распорядился Ширямов, чтобы комендант тюрьмы тоже присутствовал на казни.

Каждый час лично сам подымается к камере председатель губчека. А как же, глаз нужен. Должен он оправдать доверие ревкома и всего трудового народа. Здесь, в Иркутске, он справится со своим долгом не хуже, чем Белобородов в Екатеринбурге. Вторая после Николая фигура контрреволюции будет сметена с дороги новой России. И он, Семен Чудновский, русский рабочий, поставит последнюю точку.

Председатель губчека предупредил охрану у ворот: примут автомобиль с Бурсаком — еще на подъезде три раза коротко мигнет фарами и даст длинный гудок (Чудновский сказал «клаксон»). Для верности оставил в тюремной конторе Мосина.

Завтра о нем, Чудновском, узнает Ленин!

Вот-вот выскользнет кончик нити из клубка жизни Александра Васильевича — и разрушат пули тело. Кулем осядет — и уже ни желаний, ни страстей, ни обид, ни горя. Мундир, шинель и в клочья издырявленное тело.

Пули из трехлинеек дробят, мозжат кости. Удар такой силы — обычно отбрасывает человека. А метить будут в живот, сердце и голову.

Только бумага сохранит рассказ о нем — сцепление бездушных

слов, чаще лживых или пустых (или просто гнуснолюбопытствующих).

А пока жив тот, кого называют Александром Васильевичем Колчаком, адмиралом Российского флота, бывшим Верховным Правителем России и высшим носителем белой идеи.

...Ни от чего не отказываюсь. Умру с тем, за что боролся.

Александр Васильевич останавливается напротив лежанки и вдруг с пронизывающей скорбью произносит вслух (охранники за дверью даже загромыхали прикладами и загалдели):

— Никогда тебя, адмирал, не накроют андреевским флагом. Гнить тебе отбросом в родной земле.

И оглянулся — из дверного проема глазели сразу трое: папахи, полушубки, шинели, винтовки, белые лица (без глаз и носа — потому что против света). Несильный электрический свет за их спинами показался Александру Васильевичу нестерпимо ярким. Он даже прикрыл глаза ладонью. Как же они надоели.

Все спят. Дети за занавеской, Стеша — за спиной. Федорович пристроился у стола, макает в «непроливашку» перышко и пишет:

«Какой социализм? Да неравенство людей установлено природой. Все люди от рождения разные. Уравниения способностей, страсти к труду, предприимчивости, всех прочих качеств быть не может. Люди могут быть равны только перед законом...»

Спешит перо, царапает, цепляет бумагу.

Федорович внезапно встал. Оглянулся с тревогой: не побудил ли кого. Привык один, волком...

Подошел к окну. Луна светит. Мороз заплел окно узорами. Лунно-светло за ними. Далеко видать.

Вот и вышла луна. Высветит стрелкам железного адмирала. Густо льет свет. Не ошибутся, возьмут цель. Ляжет верховная белая власть.

Льет, льет свет. Мерцают снега, лед на удулах Ангары, сотни стекол в окнах домов, и с ними — еще одно: за мохнатыми белыми прутьями...

Председатель губчека взобрался на подушки стула (они горкой на стуле), без подушек несподручно — аж в подбородок стол.

21 в списке... и Черепанов тут же. Вчера поименно докладывал о каждом на заседании ревкома: уточняли список. На Черепанова свой счет у Семена Григорьевича.

Расстрел не задача. Всех нужно отконвоировать к проруби — и чтоб ни следа, под лед золотопогонников.

А забот! И ни одна не ждет. В разрыв жизнь, мать твою!

Товарищ Чудновский ухмыляется на дверь: все тот же, дружинник из Перми присочинил же ругательство: «А ну тебя в япономатерь!» И на тебе: уж вся тюрьма, точнее, охрана, чешет таким манером. И вспомнил фамилию: Ходарев! Да завзятый балагур! Где он, там и смех. Истории, похабные и веселые, так и сыпятся. Солдат аж с 1914 г. — седьмой год под ружьем. От Колчака ушел два месяца назад. Мудрый мужик...

По Ильичу это, все верно: с массами жить, у масс учиться, знать и понимать нужды масс.

Занимается председатель губчека делами, а сам ловит ухом выстрелы: щупает Войцеховский окраины. Кабы не полыхнул на встречу мятеж. Самое время для подполья. Но не должно этого быть! Ведь поработали с Косухиным, почистили гнезда.

В эту зиму свирепых метелей и стуж узоры особенно затейливо покрыли окна. Всю жизнь удивляет и радует Семена Григорьевича данное явление природы: спрыгнет с подушек, подойдет к окну — и любит.

От стекол веет холодом. Подумал о каппелевцах: как не перемерзли; что ни день — тридцать, а ночами — и все сорок, а то и круче. Ну шарашит! А ведь живы, сучьи морды, и обкладывают город. От одного имени «каппелевец» шерсть на Чудновском встала дыбом, аж весь винтом закрутился. Хрустнул пальцами. Мать их!..

Казнить контру взялись на третий день перехода власти к ревкомму. У эсеров на это оказалась кишка тонка. Поначалу стреляли и в тюрьме, и на Ангаре.

Вернулся солдат, принялся разливать кипяток по кружкам. То махрой, то кипятком взбадривают себя, спать некогда. Собой комендант тюрьмы неказист, но Семену Григорьевичу все высокие кажутся уже красавцами. А солдат в спине, у лопаток, ровно надломленный, и — мослы под гимнастеркой. Шея длинная, в шрамиках-узелках от чиряков. Не в пример он своему заместителю — Яшке Громову. Тот — телесно-рослый, чистый, ясноглазый: добрых кровей парень. И глаз хозяйский — все углядит; даром что всего двадцать два. И самое первое — надежный. Взять его надо к себе...

А солдат?.. Да при такой хилости подпорки нужны, чем и как он там тешил девок (любит солдат в минутку досуга порассказать о своих похождениях да шашнях)? А может, газом его на германской притравили? Вот с Правителем управлюсь и поспрошаю. Паек надо организовать, сохнет мужик.

Тюрьму эту назубок представляет товарищ Семен. После отсидки, можно сказать, свой дом. А не чаял не гадал вырваться. Черепанов не цацкался...

К тому времени слышал председатель губчека немало геройского о Белобородове, а вот о Патушеве — ни словечка. Впрочем, что за птица — царев брат! Пронесся слухок о гибели, а что, как... Да тут кажинный день по России слезы и кровь! А уж там об Андронике

или там синодальной комиссии и вспоминать нечего: кто о ней мог знать, окромя Мундыча или патриарха Тихона, бревно под ноги долгогривому паразиту!..

Роемся председатель губчека в бумагах Колчака: нужды нет, а уж времени — и подавно, однако интересно. О таких тут персонах, событиях. Да, большое дело для сыска и следствия письма, личные записи...

Днем охранник передал записку на обрывке газеты:

«Я ни о чем не жалею. Твоя навеки — Анна».

И это было хуже правды немедленной смерти. С этого мгновения Александр Васильевич и вовсе потерял покой. Как смел принять эту жертву!..

Весь день носит по каменной тропочке ее слова. Ее шепотом, ее губами складывает у себя в памяти.

Иногда Александр Васильевич сбивается с шага, семенит незряче, медленно, как бы на ощупь. Здесь все называют ее «княжной». А ведь она урожденная Сафонова — дочь директора Московской консерватории Василия Ильича Сафонова, известного всей культурной России. Тут княжеством и не пахнет. Это от мужа, которого бросила ради него. Но он, я знаю это точно, не князь. Тимирев — очень уж татаристо, совсем как Колчак. И засмеялся.

Татарские мирзы переходили в российское княжество не только после захирения монголо-татарского ига, но еще и в XVIII веке! Взять хотя бы первое распоряжение князя Потемкина Таврического при захвате татарских земель на юге:

— обеспечить населению свободу веры;

— мечети не трогать;

— предоставить татарскому дворянству права дворянства русского;

— кто пожелает уйти в турецкие земли — не препятствовать, снабдить пропускными свидетельствами и деньгами на дорогу.

Методы Потемкина теперь — это даже не мечта... невозможная, немыслимая ныне терпимость. Далековато мы продвинулись в XX веке. Проснулся народ-исполин...

Как спасти Анну, как?!

В тюрьмах председатель губчека слыл одним из самых мужественных и терпеливых — ничто не могло поколебать его убеждений. На побеги ходил бесстрашно, под пули стрелков. Свобода для народа — вот его убеждения, ничего другого о мире и знать не хочет. Что это за мир, искалеченный капиталистическими отношениями? Править ему кости — и займутся этим большевики. Свободу понимал, как подчинение всех партий, а партии — Центральному Комитету, а всех (в том числе и Центрального Комитета) — вождям партии, прежде всего Ленину. Нет главнее его. Свято уверовал

товарищ Чудновский, что нет и не будет другой правды, как только ленинской.

Любое преступление, даже самое кровавое и злодейское, теряло для Чудновского смысл преступности, если было освящено мыслью или авторитетом Ленина. В отказе от себя и служении ленинизму видел Семен Григорьевич смысл своей жизни и назначение народа.

Люди понимают свободу по-разному. Так, Виктор Шкловский пишет о курдах, которые были посланы своим народом для ознакомления с революцией в России. Они вернулись и сказали своему народу: «Русские свободны, но свободу они понимают по-русски».

Целое тысячелетие складывалось это русское понимание свободы.

Ленинское понимание личности и свободы усвоила партия, а за ней и весь народ.

В новом государстве, провозгласившем все мыслимые свободы, человек воспитывается на понимании своей ничтожности перед интересами революции и власти. Здесь корни любого произвола, любого зачумления жизни, серости жизни. Эта всеобщая подчиненность всех государству превращает человека в ничтожество перед тупой, всеокрушающей мощью власти, которую воплощает партийное чиновничество, истинно благоденствующее сословие новой, революционной России, ее «дворянство», цвет и сила.

«„Мне не о чем беспокоиться, меня досыта кормят, дают каждый месяц три юаня карманных денег. Спасибо председателю Мао!“ Мы были удивлены, когда при посещении дома престарелых в народной коммуне Наньфань, на южной окраине Пекина, эти слова вдруг громким голосом выкрикнул один весьма почтенного возраста старик» (из сообщения ТАСС 13 апреля 1977 г.).

Этот выкрик «одного весьма почтенного возраста старика» произвел впечатление на иностранных журналистов. Не каждый день встречаешь признательных рабов.

Миллионы раз в подобных изложениях мы слышим схожие ответы и от наших людей. В общем, таким ответам обучены все так или иначе исповедующие марксизм.

С рождения, яслей, школы в нас вколачивают мысль о ничтожестве каждого перед святым делом всех. За этим кроется подавление человека, превращение его в безропотное и на все согласное существо, уже благодарное за то, что его не сослали, не отобрали кусок хлеба.

Вся безбрежность желаний, страстей, поисков себя и своего приложения к жизни, вольность распоряжаться жизнью, собственные взгляды на события, историю, мир, вся сложность, необъятность бытия, великая разность всех сведены к функциям высокосозна-

тельного придатка к рабочему процессу, высшей назначенности к труду.

Дядю мы слушались — хорошо накушались.
Если бы не слушались — мы бы не накушались...

Жестко, бесстрастно укладываются жизни всех в величественно-корявое здание государства — кирпич за кирпичом жизнь каждого.

И никому не приходит мысль о том, что самый жестокий насильник и вор, присваивающий жизнь всех, — это само государство и каста партийных господ-бюрократов.

А кого все же посещают иные мысли, так сказать, немарксистского толка, «женевское» чудовище превращает в заключенных, в трупы, в изгоев или сумасшедших (а это ведь замаскированное убийство). И жизнь течет невозмутимо, спокойно.

Жестко, бесстрастно укладываются судьбы людей в величественно-корявое здание государства — кирпич за кирпичом судьба каждого.

Организм не в состоянии выдерживать неделями запредельное натяжение нервов. Мысль скачет, после вяло затормаживается, и тогда Колчак почти спит. Эти провалы в сон — все чаще и чаще, причем даже в ходьбе. Он видит все: стены, тропочку, дверь — и в то же время спит. Потом он мгновенно приходит в себя, и мысль без всякого перехода продолжает свой изнурительный бег. Он думает о Лавре Георгиевиче Корнилове. Сколько мерзостей вылили на этого человека! У Корнилова была единственная цель — предотвратить государственную катастрофу. Немцы стояли у Петрограда. Власть Временного правительства являлась формальной.

Война опрокидывала Россию в руки большевиков — маленькой партийной секты, дотоле почти неизвестной народу.

Мы тоже допустили ошибку: обещали решение вопросов коренной важности лишь после прекращения смуты и непременно — волей Учредительного собрания. Это делало народ добычей большевиков. Теперь он это видит.

Колчак вспоминает беседы с Савинковым. Как же мы были наивны, полагая, будто свержение монархии приведет к примирению всех перед лицом врага. Господи, надеялись, что Февраль вдохнет в армию волю к отпору германскому нашествию.

Впрочем, какое значение имеют все эти анализы? Ему осталось жить совсем немного. Думал ли... вот из этого вонючего закутка — в небытие...

Колчак озирается: раздвинуть бы стены, уйти!.. Умирать тяжело, но с сознанием неисполненного долга, проваленного дела, оболганных целей — непереносимо! Предали! Предали!..

Он настолько исхудал, что, когда заводит руки за спину, плечи

далеко оттягиваются назад. Он все вышагивает и вышагивает, размышляя о новых формах жизни. Они будут развиваться за счет всех других. Более совершенная форма жизни будет поглощаться низшей, примитивной. Условия существования отныне таковы: низшие формы получают привилегированное положение и разрушают, подтачивают все прочие, питаются и жиреют за их счет. Примитивная форма жизни будет не только преобладать, но, размножаясь, непрерывно шельмовать, оскорблять разум, культуру, достоинство. И эти низшие формы из-за их первобытной несложности всегда будут отличать агрессивность, мстительность, нетерпимость и необыкновенная стойкость, живучесть.

На кого я похож?.. Александр Васильевич разглядывает руки: в грязевых разводах, ссадинах, багровые, опухшие, под ногтями траурная кайма, сами ногти пообломались. И шинель — в каких-то нитках, соломинках, перхоти. Голова зудит: не то от вшей, не то от грязи. Ноги в сапогах прокисли от пота...

Ничто нельзя утвердить силой. Скрепить на какое-то время можно, но создать устойчивую и жизнеспособную форму государственности — никогда.

Последние дни и ночи Александр Васильевич почти не спит из-за одуряющего озноба — это завязывается легочная простуда. Он ощущает ее — глубокий хрип в груди и невозможность откашляться.

От ходьбы гудят ноги и подмывает полежать, но отвратительная чесотка и морозная сырьость лишают этой возможности.

Он замирает, его пронизывает лермонтовский стих, который так любила повторять Анна во все последние месяцы: «Где память о добре и зле — все яд».

Первые слова прачки, когда они остались одни (она привела Семена к себе):

— Ухаживай теперь.

Лизка стояла напротив в темном коридорчике. Под нитяной кофточкой — чувалы груди. Юбка складками окружала широкий зад. Можно было только угадать его, этот зад, под сбором складок. Глаза суженные, насмешливые (и впрямь, не парень, а коротышечка ей пособил втащить в дом новый стол: вон стол, у порога): что сумеет-то? Тоже мне ухажер: от горшка два вершка. Она запыхалась и дышала встревоженно, часто. Чувалы груди напирали на кофту, в мгновения вдруг обозначая форму, — это было как волшебство. Ничего более притягательного и красивого Семен и не видел до сих пор. Он не мог оторвать взгляда от пуговок: всего-то расстегнуть — и они перед тобой. Господи!..

Сема понимал, что ведет себя стыдно, но оторвать, отвести взгляд от кофты не мог. Он сухо сглатывал вдруг пропавшую слюну, мучительно тянул шею и то сжимал, то разжимал ладони. Прямая бы, взять, пощупать! Попросить: пусть хоть покажет. А коли засмеет, выгонит?.. Он уже собрался упасть на колени и попросить:

«Хозяюшка, дай пощупать! Христа ради, дай! Если не пощупать, то поглядеть... голые сиськи... без одежды. Ну Христа ради, не могу больше, умру! Ну умоляю! Дозволь...» Он все это выкрикнул вмиг про себя и во всю силу сжал кулаки, чтобы не дать рукам взять груди. Нельзя без согласия, нельзя...

Язык вот-вот выговорит все эти слова без спроса. Ну покажи, покажи!.. Он уже подогнулся в ногах (первое неувловимое движение, чтобы упасть на колени), когда прачка сказала вдруг:

— Ухаживай, что же ты?..

Позже Семен узнал, что она ничего не заметила. Вся буря чувств не отразилась ни на его лице, ни на манере держаться. Когда он рассказал, что было с ним на самом деле, она от изумления окаменела, а после, натащив на себя, не отпускала часа два-три...

А тогда, когда прачка велела, чтоб ухаживал, Семен сделал то, чего раньше никогда и не осмелился бы, — обнял ее. Он не знал, что делать, и прижимал ее к себе, прямой, неподвижный. Лизка внезапно ощутила, как, расправляясь, обозначается его устройство... Такое крупное, крепкое... И, расцепляя его руки, вдруг дуря (никогда не случалось так), повела к постели. Он настолько смутился — отвернулся и не смотрел, пока она раздевалась...

В неровностях кирпичной кладки поблескивают кристаллики изморози. Оконца окончательно замазали жирные, бело-слюнявые натеки льда. Он не вынимает руки из карманов, хотя не терпит этой скверной привычки, но, черт побери, другого способа уберечь тепло нет.

Он сидит и слушает редкие пушечные удары, россыпи пулеметных очередей и винтовочные выстрелы. Даже ночью не стихают. Значит, не так плохо у Войцеховского с боеприпасами.

Колчак уже знает: вторую неделю стынут в мерзлой земле бранные останки генерала Каппеля. Утром об этом с издевкой сообщил Попов. Ни с того ни с сего зашел в камеру, задал два-три вопроса (так, чепуха) и сообщил о смерти Каппеля.

Александр Васильевич вспоминает Каппеля: «Пусть земля тебе будет пухом, Владимир Оскарович».

Колчак не знает, что вся армия прошла мимо холмика, покрытого еловыми ветками, — и даже в этот час не дрогнула. Знал бы — легче было бы умирать. Духом и волей покойного командующего пронизаны все — от генералов до рядовых. Через снеговые завалы и красные заслоны вышла она к Иркутску — один к одному отборнейшие бойцы. Уже изготовилась армия к броску, последние обозы выскребываются из снегов. Все вслушиваются в приказ генерала Войцеховского: «На Иркутск! За святую Россию! За нашего Верховного — обманом взяли в плен! За золотое достояние России!..»

А и без приказа и всех зажигательных слов никто не дрогнет. Не

будет оружия, иссякнут боеприпасы — станут рвать красных руками, но дорогу проложат.

За нашего адмирала! За Россию! Велик Бог земли русской!..

Усыпляюще ровно тикают часы на столе у председателя губчека — его любимые карманные, «мозер».

— Давай, Захарьин! — кличет он, не бас, а какой-то сип.

Перемогся он, прогнал сон, вроде опять сцепляются мысли и не тот трезвон в черепушке. В общем, годен решать дела. А осталось одно маленькое, так, довесочек. После и не грех прилечь, до приезда Бурсака. Снова шевельнулось беспокойство: кабы не подшибли коменданта по пути. Лупят со всех сторон — и не поймешь, свои аль белые.

Последние сутки, можно сказать, и не казал носа из тюрьмы — все при бывшем Правителе: и лично проверял посты, и харчи носил, ну не красный комиссар, а евангельский мученик.

Распорядился никого не подпускать снаружи, кроме автомобиля с Бурсаком. После предупреждения — лупить на голоса и любой подозрительный звук. Береженого Бог бережет. Какие тут сомнения: город с 4 февраля на военном положении.

Это по его чекистскому настоянию пулеметы перекрыли подходы к тюрьме — в расчетах надежнейшие товарищи. Всем сегодня — двойная норма жратвы...

Рыщут страх да тревога по улицам. Трупы страшат прохожих. Кто, за что пристрелен? Почему за три дома отсель опять палят?..

Щерятся поутру трупы — куском льда скользят и громыхают, коли пнуть. И что самое удивительное, почти все голые или в исподнем, хотя не воров это работа. Кто ободрал, когда?.. Кругом идейные товарищи, «Интернационал» поют (или «Боже, царя храни», но это шепотком, а то и совсем про себя). И где мертвяки? На Амурской и Большой улицах! А что уж про закоулки толковать!..

Можно сказать, принял обязанности Чудновского по городу Шурка Косухин. А сам председатель почти не вылезает из тюрьмы, все больше торчит в канцелярии коменданта: тут единственный телефон. Сам солдат мотается по корпусам и блокам — тоже хлопот по завязку. Только нынче отдали Богу души 18 арестантов — и это за неполные сутки! Вот что значит тиф при голодном пайке. А стужа в камерах?.. Этак и перевоспитывать некого будет.

И еще забота — с рассветом всех гнать в Глазково: если чехи не подпрут — другого выхода нет. Нельзя, чтоб тюрьма досталась белым. Порешили гнать колонной «по четыре», бабы, то есть вся сучня, впереди. На случай захвата города каппелевцами имеется такой план: отходить вдоль путей. Пятая армия хоть и в нейтралитете по случаю образования Дальневосточной республики, а погибнуть не даст, да и не пойдут белые. Им раны зализы-

вать — шутка ли, после лесных ночевок городской постой да от-дых...

Захарьин стукнул прикладом, ввел женщину. Председатель губчека вернулся за стол, на свои подушки. Кивнул конвоиру: мол, погоду за дверью.

Эту еще вечер доставили с вокзала: пристаёт к гражданам, крестит их, порет гниль несусветную. Глянул искоса: на белячку не похожа — в тех ожесточение. И не блядюшка вроде, а в таком разе и подавно подозрительна.

«А особа... ничего... даже вполне трогательная», — со своим мужским смыслом подытожил Чудновский. Но что правда, то правда: при нынешних обстоятельствах не до баловства.

Сразу приступил к допросу, до протоколов ли. Стул не стал предлагать, невелика птица. Спросил понуро-натужливым баском:

— Кто такая?

Разглядев, окончательно насторожился: прав Мосин. С наружности не швея, не мастеровая. Ручки-то барские! Женщина задохнулась дымом. Чудновский пускал его длинной узкой струей. Она даже ладошкой замахала перед носиком. Пробрала махра! А Лизка, бывало, и бровью не поведет, хоть сама и не курила. Пить, правда, умела. Но и то верно: без хмеля любовного дела не справишь, шершавит как-то без выпивки...

Чудновский повторил вопрос:

— Кто такая?

По личику неизвестной теньями побежали чувства, тревожные в основном. А как же, чека все боятся — какая же иначе власть.

Женщина ответила, голосок дрожит:

— Я?... Я... Божья странница, осколок души Господней.

Голосок такой округлый, еще с детской окраской.

Куды лезут?... Дома бы вышивать или пианино щекотать. Глазки голубые!..

Искренне опечалила Чудновского ее сучья пригожесть. Просто заблуждение природы: никчемной твари — и подобная роскошь.

Спросил раздражаясь:

— А чему лыбишься?

Женщина испуганно погасила улыбку, положила руки на грудь.

Она улыбалась блаженному теплу — сколько недель без ласки натопленных помещений. Так и распустилась — обмякла, задышала ровней. И боль в глазах поостыла. Чисто, открыто смотрит.

— Кто тебя объявил Божьей странницей? — спрашивает председатель губчека. — Давай без выдумок и покороче, ясней. Надо же решать, занят я, пойми...

— Я от Бога посланница. Я для спасения душ послана. Я людей должна...

— Чьих душ? Вон бумага, пиши имена, адреса.

И посадил последние слова на низкий, утробный бас. Куда только сиплость пропала!

Сказал по возможности доверительно:

— Давай действуй.

— Меня Бог послал проповедовать Его слово, святое слово...

— Тыфу, опять за свое! Решила заператься? Что на монашку не похожа — вижу...

И перехватил взгляд женщины: на соседнем столе — пулеметные диски и в углу — ящики с ручными бомбами. Женщина шевелила губами и часто моргала.

«Разбирается, сучья!» — вскипел было товарищ Чудновский, но не подал виду. Он все время подавляет в себе гнев и брань. Всякая... тут водит его за нос, а у него и времени поспать нет, на износ жизнь. А что прикидывается — факт! По щекам арестованной растеклись слезы.

— Фамилия, происхождение?

И Чудновский не выдержал: длинно и смачно выматерился. Нет, не блядюшка — это точно. От каждого зазорного слова вздрагивает. И вот именно это пуще всего настораживает. Из господ, факт. Эх, нащупать бы концы подполья...

— Я должна вразумлять людей...

— Опять за свое?! Ты адреса, фамилии!.. Чего крестишься? До Бога далеко! Здесь советская власть, я тебе здесь за всех святых. Так отказываешься начистоту?..

Измозолил глаза в эти дни Чудновский. Кабы зажмуриться и посидеть... Подумал с усталой горделивостью, что вот в этот час, почитай, по всей РСФСР не спят чекисты. Против хамской подлой жизни не щадят себя. После их забот не станет трудовой народ надирать жилы на буржуев и разных мироедов. Свежим, молодым блеском засверкает Россия. Эх, дотянуться бы до гадов! Эх, зажили бы люди!..

— ...Я должна вразумлять людей.

Голос у женщины тихий. Сама на каждый шорох дергается, а руки так и держит на груди, вроде умоляет кого-то.

— И меня согласишься вразумлять?

Еще надеется на признание председатель губчека, осаживает себя, нельзя в крик и мат; сосет дымок, посапывает в кулак, крепится... Голубые глазки... Эх, кабы зацепить подполье! Черепанов-то ни гугу, сплавил губы — и молчит. Ну, этому еще досветла счет будет предъявлен. Сразу за Правителем пойдет...

— Я всем проповедую Божье слово...

— Это что же за вразумление, гражданка? А ну-ка!

Присмотрелся: росточка среднего, глазки голубые — вроде невинная, хотя с тела — объезженная, факт. Но почему в халате? На ногах — тапочки не тапочки, и это при наших морозах! Ну что ты с ней будешь делать! И бледная, даже зачересчур бледная, чисто от сыпняка. Переспросил:

— Это что ж за вразумления, гражданка? Сделайте милость, порасскажите. Ну что, слушаю вас.

И свел свои мужские впечатления в двух срамных словах: «девкашироко...». И у самого от них прокалило желанием. Аж подмял ее

в мыслях. О «девках-широко...» Семен Григорьевич вычитал в русских народных сказках Афанасьева¹ — лучше нет! До чего же местами непотребные. Как рука у писателя поднимается на бумагу заносить? Эх, писатели, один блуд от вас по земле. И спрятал улыбку: вдруг во всех подробностях представил обучение Лизки Гусаровой. Встреча за встречей приспособливалась к мужской службе: осторожно-осторожно, не обидеть бы паренька. И не выдержал, ухмыльнулся: превзошел ученик учительшу.

Арестованная испуганно глянула, а он махнул: мол, продолжай.

— ...Люди должны заботиться о спасении души, а они казнят, мучают себя и других...

Ляпнул ладонью по столу.

— Цыц! Это ты о нашей революции так?! О всей славной борьбе?! Да ты контра!..

И уже выматерился не сдерживаясь. А как с ней, сидушкой, иначе?!

Женщина всхлипнула, до обморока ей не по себе. Однако перекрестилась, набралась духу и заговорила, теребя краешек халата. Божье дело ей важнее страха. Ведь она осколок души Божьей. Трудно ей дается слово. Как начинает новую мысль, голосок дрожит, вроде не может попасть в себя, не встраивается. Это все ужас — он травит чувства и мысли. Однако Бог свое требует, и молвит она, не таится:

— Люди должны обращаться к Богу. Все вокруг в зле и горе. Как не понять: насилие вызывает насилие. Разве так можно жить?..

— Опять!

Ляпнул по столу, «мозер» подскочил и чуть было не слетел, едва словил за кончик цепочки. Сел, забормотал с угрозой:

— А можно к делу, гражданка? Можно без долгогривых рассуждений? Поповским сыты по горло.

— Бог моими устами вразумляет заблудшие души, я слышу глас Божий... — прорывалось через дрожащие губы.

«Упорная, из убежденных, — решил Чудновский. — Опасная она нашему делу».

Как на ладошке ее суть перед ним.

— ...Я верю в добро, любовь и преодоление зла добром. Это антихрист пришел на нашу землю, оттого и война...

Председатель губчека и рявкнул — в насад голос:

— Помолчи об этом, соплива еще судить! Что видела?! Ты о деле давай! Последний раз предлагаю: пиши! Не скрывай адреса, фамилии... На кого работаешь, мать твою! Пиши, курва!

¹ Народные эротические сказки, записанные Афанасьевым, а после запрещенные цензурой, были изданы за границей, а кроме того, гуляли отдельным списком по России.

Женщина крестом сложила руки, ровно загордилась от него. Щеки в слезах.

Картина ясная: эта больше ни слова не молвит. Идейная, б...! Так бы и порвал руками! От них все горе и несчастье на земле.

— Захарьин! — просипел председатель губчека, ну совсем лишился голоса.

Тут все как на ладошке: будет молчать. Ничего не даст чека, глазки голубые! И картина контрреволюции ясная: мутит людей, методы борьбы народной власти порочит — и это когда город обложен, на волоске советская власть! Этак и революцию прозеваем! Врешь, голубые глазки, станешь у меня вышивать крестиком!

Дверь отворилась, опять стукнул прикладом Захарьин — в курчавой бороде ласковая улыбка.

— Вот тебе моя резолюция, Захарьин. Действуй!

И с нажимом вывел на листке: «На основании военного положения расстрелять гражданку...»

Обернулся к женщине:

— Как прозываешься?

На невозможный басыще сошел вдруг голос, сипел-сипел, а тут и прорезался. С устали, должно быть, эта игра голосовых связок. И товарищ Чудновский вместо фамилии прописал: «Отказалась называться ввиду крайней контрреволюционности. Вела подрывную работу против советской власти. Председатель губчека Семен Чудновский». Махнул подпись, полюбовался и подставил дату: «7 февраля 1920 года. Один час ночи».

Буркнул Захарьину:

— Сейчас ее, у китайца. С утра хватит делов.

И заулыбался: последний раз сполнит свое дело Чин Чек. Есть у них решение и по Чин Чеку.

И сказал женщине:

— Ну, тетка, шагай к своему Богу.

Женщина с готовностью кивнула и осенила крестным знамением председателя губчека.

Захарьин взял ее за плечо. Она и побегла к двери, рада — к Богу ведь.

Семен Григорьевич вздохнул устало и залистал бумаги.

7 сентября 1916 г. император Николай писал жене из Могилевской ставки:

«...Приехал Григорович¹ с Русиным². По его мнению, в высшем

¹ Григорович, Иван Константинович — генерал-адъютант, адмирал, член Государственного совета, морской министр (1911—1917).

² Русин, Александр Иванович — адмирал, начальник Главного морского штаба, состоял при ставке Верховного главнокомандующего.

командовании Балтийского флота не все обстоит благополучно. Канин ослаб вследствие недомогания и всех распустил. Поэтому необходимо кем-нибудь заменить его. Наиболее подходящим человеком на эту должность был бы молодой адмирал Непенин, начальник службы связи Балтийского флота: я согласился и подписал назначение. Новый адмирал уже сегодня отправился в море. Он друг черноморского Колчака, на два года старше его и обладает такой же сильной волей и способностями! Дай Бог, чтоб он оказался достойным своего высокого назначения...»

Эбергард Андрей Августович в чине адмирала командовал Черноморским флотом с 1911 г. по 28 июня 1916 г. По увольнении с занимаемой должности назначен в Государственный совет. Тогда же Колчак принял командование Черноморским флотом.

Когда надо спешно ликвидировать контру, делали это в подвальном помещении, где прежде, при Черепанове, мучил и казнил палач-китаец по фамилии Чин Чек, а по полной тюремной прописи — Чин Чек Фан.

Китайца используют для уборки этого самого помещения. Стрелять насобачились и без него, ремесло нехитрое, а чувства тут какие могут быть: от врагов трудового народа очищаем землю — стало быть, именем народа. Чин Чек не пропустил ни одной казни: ему это всегда в удовольствие. Аж на цыпочки привставал, ничего не хотел пропустить, что-то шептал по-своему. Не ведает, волчина, — тоже жить ему до зари.

Обычно Чин Чек скальвал ломиком кровь: она мигом леденела. Занятие для него привычное, скальвал и заботливо приметал венчиком, вся уборка — десять минут. Но всегда как величайшую милость просил этот самый Чин Чек дозволения обшарить труп. Знал такие местечки: вроде уже ничего нет невьщупанного и необысканного, а прильнет к трупу, замрет, тихонечко промнет пальцами — и на тебе: колечко, камешек, записка, адресок, фотография, крупички яда в упаковочке... Ну чего только не находил!.. Глядели на него, удивлялись и учились.

Собираясь ко сну, председатель губчека размышлял: «Наша святая задача — не пускать людей такого сорта, как эта... голубые глазки... в новую жизнь. Не позволим сбивать народ с толку! Только Ленин, только партия могут знать, что́ нужно народу, какие мысли чтить, во что верить и уж коли поклоняться, то кому... Без распутных сучек построим социализм. Женщины станут товарищами, а не приспособлениями для половых и хозяйственных нужд...»

И, прежде чем навсегда забыть арестантку, вспомнил Фаню Каплан.

Неспроста тогда гонял с ней чай. Давно убедился в справедливости народной мудрости: пьяная баба п... не хозяйка. Собственно-ручно приправлял каждый стакан глубокой ложкой крепчайшего рома.

Другие враз дурели, а тут — осечка!..

И так подробно, близко узрел бледное узкое лицо прочерком: черные переменчивые брови, глаза с каким-то глубинным блеском... А как крутила папироску, снимала табачинки с губ — самыми кончиками ноготков. А как ложечкой помешивала чай, брала кусочки сахара, расправляла складку на скатерти, ровно невзначай тронув его пальцы...

Нет, сидит спокойно: рассуждает, улыбается, а впечатление — будто ртуть переливает... Вдруг почувствовал себя в том прошлом дураком (ну недомерок и есть): схватил ее глазами — и ощутил такой срам! Играла она с ним, ровно с кутьком играла!..

Походил по кабинету, послушал ночь, позвонил в ревком. Обещают чехи заступиться. Грянет заваруха — всю главную сволочь порешит в камерах. Эти вырвутся на волю, столько смастерят слез и крови!..

Тихонечко напел: «Акулина, ты мой свет, скажи, любишь али нет...»

Лизка открывала на стук, а он ей это и выпевал... Сейчас бы с ней, чтоб обняла. Чуток поспал бы, после... И уж тут бы заснул на трое суток — никак не меньше. А после умылся бы, набрился. Поел яичницы с ветчиной да чая бы от пуза... Лизка хлопочет, что-то поет под нос... без трусов, в сорочке — все по-свойски. Поймаешь, заголишь сорочку до плеч. Иной раз — и замрешь. Устройство во всей силе, а не трогаешь зазнобу. Уж до того хороша! Держишь — и любишься: вся ладная, теплая, дыханием шевелится... Лизанька ты моя родная, свет мой!.. Господи, где это все?!

Не прозвенел, а резанул звонок, аж желтые мурашки в глазах. Взял трубку: Косухин. От радости матюкнулся. У Шурки полон короб новостей...

И не ведал председатель губчека, что определил на смерть подругу боевого коммуниста.

Глазки голубые, это верно, а как иначе? Ведь девочка, всего девятнадцатый. И имя — так и не добился от нее, а оно, право, хоть и обычное, а очень милое — Зоя. И любит она жизнь не меньше других, да, пожалуй, жарче. С детства за ней примечались нервность и впечатлительность: совсем не для классовой борьбы характер. А воспитание и впрямь фортепьянно-кружевное. В любви и уважении выросла...

А тут на глазах убивали, допрашивали с мордобоем: Граждан-

ская война, а муж — большевик с дореволюционным стажем и красный командир. В последний раз и вовсе насмотрелась до обмирания: трупы крестьян — от белых привет. Посмели мужички пострелять по колонне каппелевцев. А господам не по шерсти. Отрядили роту в таежное село: ну и штабель голых раскоряченных тел! И мужиков и баб положили! От мороза все тверже дерева (торчат руки, ноги, скрючились или колешки поджали) — никому не распрявиться, вот разве летом, в могиле, и обмякнут... Само собой, речи над ними произносили, клялись отомстить, о будущей счастливой доле говорили — и валили всех в заиндевелый ров...

И лишилась Зоя рассудка, да все о Боге, Боге...

Муж сдал ее в городскую лечебницу. Не вышла из нее боевая подруга. А вчера Зоя исхитрилась и убежала. В недобрый час убежала. Впрочем, недобрый не только для нее...

Горячат душу председателя губчека новости с фронтов. Деникин пятится к Новороссийску, не сегодня-завтра всех добровольцев с казачками купнут. На севере Миллер дает тягу.

Свел в памяти последние донесения о белочехах. Нет, не сунутся, сами в четырнадцать ноль-ноль вызвались на переговоры. Косухин уверен: сегодня будет подписано соглашение на предмет выдачи золотого запаса. Вернем Москве золотое достояние!

Развязывается империалистическая удавка на шее республики. К великой победе склоняется Гражданская война. И опять услышал мерную поступь рабочих батальонов — от горизонта до горизонта! Берут трудовые люди землю в свои руки. Сущее издыхание наступает для мирового капитала.

Незряче так вскинул голову, вместо глаз — глянцевые полоски; по лицу — размягченность и счастье...

Посидел, слушая уханье сапог: собирается вооруженный пролетариат! Не обманывается он: подтягиваются батальоны, со всех сторон черные, белые, желтые лица. Великое интернациональное братство. Не охватишь взглядом колыханье рядов.

И пришел в себя. Соскочил с подушек, прошелся по кабинету, прищепывая: «Курт Эйснер, Курт Эйснер...» Посмотрел в окно: лунно, это и худо и полезно. Однако вспомнил косухинские новости, успокоился и повеселел: не сунутся ночью. И потом, город без фонарей. Мы тут в барыше: каждый закоулок — наш, в каждом — заслоны.

Злой трактамент собираются учинить белочехам иркутские большевики. Вконец застращали легионеров железной дорогой. Не пойдут на соглашение — будут порваны пути до Забайкалья. Встанут составы с легионерами, ни один не сдвинется. На день по сто раз внушали. Косухин сварганил!

У пана Благажа сдали нервы, хотя, в общем, это больших сфер договоренность...

Из молодых Косухин, а только с характером — сам Ширямов с ним советуется. И еще любо Чудновскому, что Шурка из тех, кто не проговорится ни перед живыми, ни перед мертвыми. Опаивай водкой, клади бабу-раскрасавицу, самого рви на части — ничего не признаешь.

Председатель губчека сгреб бумаги, патронные ленты, диски и полез на стол, только вытянулся, прикрыл глаза — и обеспамятовал. И не слышал, как такнул в подвале выстрел. Отлетела к Богу душа Зоиньки Голубые Глазки...

И во сне не оставляла товарища Чудновского радостная мысль: попал матерый зверь в сети, не уйдет без «пломбы», мать его вдоль и поперек, а пуще ракухой! И все беззубый адмирал мерещится: в мундире и при кортике. А за ним — от горизонта до горизонта — штыки играют на солнце. Идут рабочие батальоны. И там, среди братьев по классу, он, Семен Чудновский. Беззвучный крик восторга подымался из груди. Ворочался, скрипел зубами. И бело, безумно пучил белки глаз. Аж под самый лоб заводил глаза. И даже во сне, коли толкует с кем, на бас ставит голос.

Жадно всасывали стены и дверные щели щедрое тепло кабинета. На всю тюрьму только и топили толком четыре помещения. До угля ли тут и подвозов разных.

Канцелярия освобождалась от табачного угара — и ровнее, глубже вбирал в себя воздух Семен Григорьевич.

Ежели не придет Бурсак (все может случиться), то разбудит председателя губчека и коменданта тюрьмы (тот прилег раньше, в боковой комнатке) командир интернациональной роты товарищ Мюллер. За себя оставил его на 60 минут председатель губчека. Надо набраться сил перед решающим часом.

Судьба монархии не тревожила Колчака. Более того, он приветствовал Февраль. С России сорваны оковы, ничто и никто не мешает ее развитию. Все уродливое, позорящее и ослабляющее ее — в прошлом. В этом Колчак удивительно созвучен Корнилову. Но последующие события на многое открыли глаза Александру Васильевичу. Белое движение является для него борьбой за спасение России. И он потерпел крах в этой борьбе. И мысли об этом — яд для души. Он прислоняется к стене и цедит мысль за мыслью. Он слышит выстрелы и дает себе отчет, что вот сейчас определяется его судьба. Сейчас...

Из протокола допроса:

«...Я относился к монархии как к существующему факту, не критикуя и не вдаваясь в вопросы по существу и об изменениях строя. Я был занят тем, чем занимался. Как военный, я считал обязанностью выполнять только присягу, которую я принял, и этим исчерпывалось все мое отношение. И сколько я припоминаю, в той среде офицеров, где я работал, никогда не возникали и не затрагивались эти вопросы...

Я считал себя монархистом и не мог считать себя республиканцем, потому что тогда такового не существовало в природе. До революции 1917 года я считал себя монархистом...

Когда совершился переворот, я считал себя свободным от обязательств по отношению к прежней власти... Я приветствовал революцию как возможность рассчитывать на то, что она внесет энтузиазм — как это и было у меня в Черноморском флоте вначале — в народные массы и даст возможность закончить победоносно эту войну, которую я считал самым главным и самым важным делом, стоящим выше всего — и образа правления, и политических соображений...»

Так показал он две недели назад и с тех пор вглядывается в прошлое, вглядывается...

Какой он там был?..

Каким?!

29 января 1920 г. Ленин направляет телеграмму в Омск:

«Сибревком.

Смирнову РВС-5

Фрумкину...

...Саботаж железнодорожников на Сибирской дороге и от нее к западу явный...

...В омских железнодорожных мастерских около 3000 рабочих. Выпускали около 3—4 вагонов в месяц, паровозов — 0. Мастерские не разрушены, задержка в топливе была ничтожная. Подозревают саботаж бывших ижевских рабочих (часть которых и влилась до этого в армию Каппеля. — Ю. В.), переселенных в эти мастерские. С переброской паровозов сюда явная проволочка».

М. И. Фрумкин в партии состоял с 1898 г. После революции занимался продовольственными делами. С 1920-го — заместитель председателя Сибревкома. В 1939 г. в возрасте 61 года расстрелян — расчищала «женевская» тварь место для новых поколений граждан.

Смирнов состоял в партии с 1899 г., то бишь с 18 лет. В 1918—1919 гг. — член Реввоенсовета Пятой армии Восточного фронта, затем — председатель Сибревкома. На VIII съезде партии избран кандидатом в члены ЦК РКП(б).

О Смирнове есть строки в воспоминаниях Троцкого.

«Главным руководителем 5-й армии стал Иван Никитич Смирнов. Этот факт имел огромное значение. Смирнов представляет собою наиболее полный и законченный тип революционера, который свыше тридцати лет назад вступил в строй и с тех пор не знал и не искал смены... Иван Никитич всегда оставался человеком долга.

В этом пункте революционер соприкасается с хорошим солдатом, и именно поэтому революционер может стать превосходным солдатом... Группируясь вокруг Смирнова, коммунисты Пятой армии слились в особую политическую семью, которая и сейчас, несколько лет после ликвидации 5-й армии, играет роль в жизни страны. «Пятоармеец» (вот откуда эта гордость у Самсона Брюхина. — Ю. В.) в словаре революции имеет особое значение: это значит подлинный революционер, человек долга и прежде всего чистый человек... Смирнов стоял во главе военной промышленности, затем был народным комиссаром почты и телеграфа. В тюрьмах и Сибири можно насчитать немало его сподвижников по Пятой армии (как результат сталинского террора. — Ю. В.)».

Что добавить?

2 сентября 1918 г. решением ВЦИК был создан Революционный Военный Совет Республики — Реввоенсовет (РВС Республики) в составе 23 членов, среди них был и Смирнов.

Возглавил Реввоенсовет Троцкий. Заместителем стал бывший военный врач Эфраим Маркович Склянский. Реввоенсовет Республики просуществовал до 28 августа 1923 г.

Иван Никитич Смирнов был арестован 1 января 1933 г. 19 августа 1936 г. оказался на скамье подсудимых вместе с Каменевым, Зиновьевым и др. Все подсудимые были приговорены к расстрелу. Когда утром 24 августа Ивана Никитича вели на казнь, он сказал:

— Мы заслужили это за наше недостойное поведение на суде.

Дочь Смирнова и жена Роза были арестованы и расстреляны годом позже — так сообщается в нынешних советских книгах. Однако в воспоминаниях Авторханова мы встречаемся с вдовой Смирнова значительно позже — она лжесвидетельствует на процессе Авторханова. Фальшивка это, подлог, опечатка у Авторханова, победа НКВД — судить не берусь...

Арест и обыск бывшего наркома внутренних дел СССР Ежова, а тогда наркома водного транспорта СССР, производил капитан госбезопасности Щепилов.

Из рапорта капитана Щепилова «начальнику 3-го спецотдела НКВД полковнику тов. Панюшкину»:

«Докладываю о некоторых фактах, обнаружившихся при производстве обыска в квартире арестованного по ордеру № 2950 от 10 апреля 1939 года Ежова Николая Ивановича в Кремле:

1. При обыске в письменном столе в кабинете Ежова в одном из ящиков мною был обнаружен незакрытый пакет... в пакете находились 4 пули...

Пули сплющены после выстрела. Каждая пуля была завернута в бумажку с надписью карандашом на каждой: «Зиновьев», «Каменев», «Смирнов» (причем в бумажке с надписью «Смирнов» было две пули).

По-видимому, эти пули присланы Ежову после приведения в исполнение приговора над Зиновьевым, Каменевым и др.

Указанный пакет мною изъят...»

Сувенир, достойный людоедов, из коего следует, что Ивану Никитичу Смирнову вышли две чекистские пули. От первой пули в голову он не умер...

О своем образовании Ежов оставил зловеще-карикатурное свидетельство: «незаконченное низшее». В советской школе 30—50-х годов существовали следующие деления:

- начальное образование (1—3-й классы);
- неполное среднее (1—7-й классы);
- среднее (1—10-й классы).

Похоже, нарком Ежов закончил всего один класс, в лучшем случае — два (иначе он имел бы полное начальное образование). Нет, он уместил за плечи всего один класс — самый первый.

Самого Ежова (бывшего слесаря, бывшего портного, бывшего партийного работника, бывшего наркома) убили выстрелом в голову на Лубянке 4 февраля 1940 г. Любопытно, кто потребовал как сувенир пулю, что пробила голову этого убийцы-коротышки...

И это они нами правили аж до самых 90-х годов. Бесконечный кровавый спектакль. Одни вампиры опускаются на политическую сцену. Действуют — и исчезают, испив крови от всего народа. А на сцене уже паясничают новые кровососы. И все нечистыми пастями сосут кровь народа. Бесконечная смена имен.

За что такая судьба народу?..

Весь декабрь 1919-го и январь 1920 г. организуется энергичная переброска войск с Восточного фронта на Южный (против Деникина, скоро он в свою очередь передаст власть Врангелю).

В день казни бывшего Верховного Правителя Российского государства адмирала Колчака Ленин отправляет телеграмму в Саратов начальнику Юго-Восточной железной дороги С. Ковылкину с требованием «во что бы то ни стало сработаться с Аржановым¹».

Переброска имела первостепенное значение, служебные и личные разногласия ответственных работников не должны отражаться на ней. В начале февраля 1920 г. готовилось новое наступление Красной Армии на Кавказском фронте. Конные соединения были ослаблены в предыдущих походах, остро сказывалось утомление войск, недостаток в материальном обеспечении. В Сводном кон-

¹ М. М. Аржанов — начальник Центрального управления военных сообщений Реввоенсовета Республики, был командирован в Саратов для ускорения продвижения войск.

ном корпусе Думенко, взаимодействовавшем с Первой Конной армией, в ночь на 3 февраля был убит комиссар корпуса В. Н. Микеладзе. Данные обстоятельства наряду с чрезвычайно сложной военной обстановкой вызывали тревогу Москвы. Все вместе это угрожало срывом наступления для окончательного разгрома белых войск.

Поэтому 17 февраля в зашифрованной телеграмме Смирнову и Орджоникидзе Ленин пишет:

«Крайне обеспокоен состоянием наших войск на Кавказском фронте, полным разложением у Буденного, ослаблением всех наших войск, слабостью общего командования, распреем между армиями, усилением противника...»

Организатором красной кавалерии, отцом ее первых громких побед был казак Борис Мокеевич Думенко, прозванный «первой саблей революции». Борис Мокеевич будет искусственно пристегнут к этому самому делу об убийстве комиссара Микеладзе. Он будет выставлен перед Москвой виновником самосуда и вообще разложения красной кавалерии. О том побеспокоятся вожди Первой Конной, и в первую очередь Семен Михайлович Буденный¹. Непосредственными исполнителями плана уничтожения Думенко окажутся С. Тимошенко и Б. Горбачев. Они напоят Думенко, завернут в ковер и увезут на тачанке — взять его из верной ему части открыто не представлялось возможным. Казаки изрубили бы за Думенко кого угодно.

Нахрапистые, жадные до власти, орденов, благ и баб, отцы командиры Первой Конной уберут таким образом человека, от которого недавно зависели, которому обязаны успехами и перед которым выглядели недомерками. Так горело избавиться от того, кому они обязаны всем и кто знает цену каждому из них! Ведь даже Буденный начинал у Думенко, он ему дал простор, имя, веру в себя. Да разве ж такое можно простить.

И Борис Мокеевич дождался благодарственной пули.

С маршалами Батицким и Тимошенко я окажусь на лосиной охоте в 1965 г. Павел Федорович после ужина отправится на покой. От забот и хлопот был он немногословен, от недосыпов под глазами набухли черные натеки. Павел Федорович, сколько я его ни видел, не пил... разве что глоток-другой, а Семен Константинович пригубил рюмочку-вторую белой. В тот год ему было семьдесят.

Павел Федорович лишь вспомнил, что служил под началом

¹ Из рук маршала Буденного я получил значок «Мастер спорта СССР» в 1957 г., а в 1960 г. — орден Ленина.

Тимошенко, вспомнил изнурительные конные марши, маневры еще до войны с Гитлером, — и грузно поднялся в свою комнату.

А Семен Константинович пустился в воспоминания, не без моей помощи. Передо мной сидел человек из тех лет, с ума сойти можно: с 1915 г. в кавалерийской части пулеметчиком, после революции бои под Царицыном (Семен Константинович поведал о знакомстве со Сталиным — очень колоритная сцена, словно выпавшая к нам из кровавой смуты), финская война, неожиданное назначение на пост наркома (Тимошенко об этом рассказывал подробно), общение со Сталиным и, наконец, Великая Отечественная война...

Запись той же ночной беседы покоится в моем архиве (Господи, сколько же этот архив странствовал по чужим, но верным квартирам — ни одна не предала!). Я обладал натренированной памятью и мог на бумаге воспроизводить многочасовые беседы без каких-либо пропусков, сохраняя даже оттенки речи, особенности в поведении рассказчика, перемены погоды за окном — память не знала ограничений.

Возвращаю же к жизни ту охоту и речение Семена Константиновича из-за... Михаила Николаевича Тухачевского. Сейчас то, о чем говорил маршал, приобрело совершенно иное звучание. Не стану копаться в архивных папках, воспроизведу тот сказ по памяти, хотя в архиве отмечено все — до числа, часа и каждого имени.

Данный случай имел место в бытность Семена Константиновича заместителем командующего войсками Киевского военного округа, то бишь после сентября 1935 г., но до 1937-го.

На поздневечернем обеде у Сталина вспыхнул спор между бывшими конармейцами и высшими командирами другого происхождения, подразумевалось «господско-интеллигентское» (то есть из «бывших»). Спор — кто сильнее. Сильнее в буквальном смысле. Мол, никто не смеет тягаться с кавалеристами Первой Конной. А Тухачевский вспылал, завелся, вышел на свободное место, сбросил командирский ремень: а ну давай!

Кто выходил — Семен Константинович умолчал, но все загремели на пол. Чижиков сосал трубку и посмеивался. Еще бы, не условия поединка, а прелесть: уложить соперника здесь же на пол.

Сколько ни петушились, а никто не сумел устоять против Тухачевского (а он, кстати, и взаправду старинного дворянского рода — вот же хреновина, проигрывать такому!). Ужас как задело это бывших рубак. Протрезвели, побледнели, пошептались и вспомнили о Семене...

К слову, даже в свои семьдесят Семен Константинович смотрелся внушительно, как крейсер. Прямой, высоченного роста, в плечах косая сажень, но строен, без следов ожирения, голова начисто выбритая, а каков был тогда, в тридцать или тридцать один! Ну загляденье!

В общем, по распоряжению Ворошилова (тогда наркома оборо-

ны) Тимошенко доставили на скоростном самолете из Киева: надо было успеть к завершению уже ночной трапезы. Можно не сомневаться, это был сюрприз для Тухачевского.

Тимошенко к рассвету и прибыл (ни живой ни мертвый: что за спешка? В чем провинился?). Ни живой ни мертвый и шагнул в столовую «самого».

— А-а-а, Семен Константинович, заходи, дорогой. — Это Сталин. — Налейте дорогому гостю. За здоровье красных кавалеристов!

Выпили за кавалеристов.

Семен Константинович посмеивался, когда говорил об этом. Вошел — а они уже «под шафэ»... Сталин? Он держался. Нет, спокойный, улыбается.

Еще бы не улыбаться. Удался обед! Экая потеха: командармы и маршал силой меряются...

Ворошилов Семена Константиновича в сторонку и объяснил задачу. Вот противник, его сломать, понял? Как не понять. Семен Константинович снял портупю, расстегнул ворот — и к Тухачевскому, а тот уже сбылся, ждет. Семен Константинович и приложил заместителя наркома обороны. Тот аж к стене откатился.

Ворошилов, Буденный вне себя от счастья! А уж как Тимошенко рад: мать моя родная, думал, там что, а тут... Пронесло!

И говорил мне: «Я весь в дорожной пыли, неумытый, сапоги запорошены — прямо с учения взяли... — И несколько виновато улыбаясь, признался: — Тухачевский был изрядно пьян. Его уже подпоили. Справиться не велика заслуга...»

Теперь-то прозрачен смысл той схватки. Поистине пахнет сырой землей могилы. Ох, как много скрывалось за той ярмарочной схваткой подгулявших красных командиров!

Уже тогда вызревал удар по военным кадрам. Сталин делал ставку на близких и понятных сердцу конармейцев. Эти не будут иметь свое мнение, не посмеют подняться на него (а только это постоянно и занимало воображение стального генсека). Еще ничего не было решено, все пока смутно, неопределенно реяло в уголовно-партийном сознании «чуждого грузина». Однако неприязнь к Тухачевскому, подлинному полководцу и чистопородному военному интеллигенту, уже принимала зримые черты, так сказать, проступала из искр, прочерков и разных пятен сознания.

Что до бывших конармейцев, то там запеклась настоящая убойная ревность. Для них эта когорта высших военачальников представлялась той самой белой сволочью, дворянчиками, интеллигентами, падалью и контрой — это они отняли у них победы, заполнили ключевые посты. Так было зло обидно за неграмотность, неспособность стоять вровень с ними. Такой прожигало порой ненавистью!

Поставлен ли был в известность Сталин о приказе прибыть ком-

кору Тимошенко? Да без его дозволения на обед к нему не смел заявиться никто! Не сомневаюсь: знал — и жаждал унижения Тухачевского, во всяком случае искал это унижение.

Кто знает, не сыграло ли это происшествие определенной роли в судьбе Тимошенко, не главное, но и не последнее обстоятельство...

И все сие произошло задолго до сцепления в узел интересов Гейдриха, Эйтингона, Бенеша, Скоблина (фу, что за гадкий набор!), гестаповского досье на Михаила Николаевича и уж, разумеется, стараний гнома наркома Ежова с его пристрастием к мужеложству, прощаемому за исключительную нужность советской власти, хотя прочих она за оный порок карала беспощадно, даже статью включила в Уголовный кодекс.

Нет, ничего еще этого не было, вернее, не вошло, не зацепилось в единую связь. Конечно, Ежов существовал, как и его голубое пристрастие, но не применительно к Тухачевскому. Пока еще партийный гном «сидел на кадрах» в ЦК ВКП(б)...

Мерно струилась речь Семена Константиновича, слово за словом ложась в память.

Небольшой, но вылизанный до блеска дом в заснеженном мате-ром ельнике. Вечная таежная тишина. Поскрип валенок часового — к дому был доставлен караул. О происках американцев не забывали ни на мгновение.

Непривычным жаром расходилось тепло от печи.

А кончив рассказы, Семен Константинович показывал оружие: сначала карабин, взятый в имении Радзивиллов. На ложе аккуратные значки: крестики — убитые волки, крохотные насечки — олени и т. д. И все заполированы и спрятаны под лак.

Потом Семен Константинович долго рассказывал о ружье Николая Второго. Как искал его. Как выменял у бывшего царя егеря на корову в голод двадцатых годов. Шибко берег память о царе старик егерь. Ни с кем и говорить не хотел, а ружье так припрятал — найти не сумели. Только на корову и взяли. Болела душа у егеря за внучат: пухли от недоеда, плакали. Достал из тайника ружье и отдал Тимошенко. Отдал, а у самого слезы бегут по бороде.

Но не просто отдал, а рассказал всю историю ружья, как готовили его для государя императора за границей. И как он подарил его своему любимому егерю, то бишь этому старику.

Долго шел сказ о ружье, ружьях. Я до них великий охотник...

Много еще можно вспоминать, да места нет в книге...

Тогда я, разумеется, не знал, что бригадный генерал Войска Польского Сикорский обратился к Тимошенко как к командиру, принявшему сдачу в плен офицеров и солдат района обороны Льво-

ва. Ведь приказ Верховного главнокомандующего Войска Польского гласил: не считать Красную Армию вражеской. Сикорский написал свое письмо-обращение к Тимошенко вскоре после пленения — поздней осенью 1939-го. И впрямь, почему их, польских офицеров, содержат как военнопленных — ведь Польша и СССР не находились в состоянии войны, да, кроме того, есть соглашение о сдаче — оно предусматривало иное отношение к польским офицерам, во всяком случае не заточение в лагерях.

Тимошенко прочтет обращение польского генерала из Старобельского лагеря и переправит наркому внутренних дел Украины И. А. Серову — тому самому, что в летние месяцы 53-го будет заместителем у Берии, а после, став хозяином ГРУ, поплатится местом, прохлопав шпионаж полковника Пеньковского.

Но судьбу цвета польской интеллигенции (в военной форме) уже давно определил Сталин — поголовное истребление. Катастрофа 1920 г. оставила в его душе ярость мщения. Ведь это было позорнейшее поражение Красной Армии, в общем победоносно отвоевавшей в Гражданскую войну, и оно неразрывно связано с его именем. Все эти люди, угодившие к нему в лапы, будут умерщвлены один за другим выстрелами в голову — 15 тыс. с небольшим. Вместе с 12 генералами получит пулю и Францишек Сикорский¹.

А ведь Тимошенко дал слово, что с пленными будут обращаться более чем достойно: ведь они не воевали с Красной Армией. И у поляков был выбор: сдаться русским или немцам. Пойди они к немцам — все дожили бы до 80-х годов, исключая, разумеется, стариков.

Складывает Иркутск частушку за частушкой:

Здесь и там у нас прорехи,
Зато тепло одеты чехи...

Как хлебнут посадские люди самогонки, так и заблажат хором. А и впрямь, кто только не хозяйничает на дальней Руси — чехи, японцы, американцы, англичане, итальянцы, французы, поляки, латыши. Все представлены своими воинскими формированиями: не то демократы, не то каратели...

Вешают, расстреливают, а потом отнекиваются: это не мы, мы только наблюдаем... И так будет всегда: будут идти в Россию не с миром, а со своей выгодой. Что им до боли и нищеты несчастного

¹ Генеральный секретарь Польского Красного Креста Казимеж Скаржиньский, исследовавший захоронения польских офицеров в Катыни, скажет: «Квалифицированная палаческая работа».

Верно, «квалифицированная» — а другой и быть не могла: за плечами «жневской» твари уже было более двух десятков лет напряженно-непрерывной работы. Это — стаж.

народа? Будут присваивать его богатства, растлевать женщин и детей — у них же «твердая валюта»!

Господи, даруй этому народу, хоть раз за всю историю, жизнь по своему разумению и охоте!..

А пока ходят мужики и с ненавистью супятся на бывших военнопленных — расселились в Иркутске, все лучшее у них. За холопов, за туземцев русские...

Бабы порасторопней и попрacticalней, наоборот, ищут дружбы. У них свой расчет: коли платят — пусть, на лишний день хлебушка хватит...

А другие, напившись, рвут струны гитар, поют не голосом, а кровью сердца, но уже не частушки:

Все здесь будет поругано,
Той России уж нет.
И как рок приближается
Наш кровавый рассвет...

До рассвета следует еще прожить ночь. Самую длинную ночь за всю историю Руси (татарское иго не сравнится). Ночь в 70 с лишним лет. И только тогда забрезжит рассвет. Кровавый рассвет.

Но оказывается, за эту долгую ночь убийцам и растлителям надо быть благодарным, не забывать их, все святить и кадить, кадить...

Ленин! Партия!

Время в камере вдруг удлинилось и, как бы вытянувшись, стало невозможно ползучим, медленно-тягучим. И каждая минута — горячая, обжигающая — липнет к лицу ознобом, жаром. Александр Васильевич то расхаживает, то сидит — и ни на мгновение не испытывает блаженной свободы от мучительно-напряженных мыслей: ни на мгновение тело не отпадает к лежанке свободным, легким — весь он, кажется, свит в один нервный, горячий узел.

Сейчас он уткнулся локтями в колени, обхватил ладонями щеки и в который раз раздумывает о войне — тех особенностях народного поведения, которые вдруг обнажила война.

Взять хотя бы это: почему никто не дорожит оружием? И это не в Гражданской войне (тут свои законы), а в войне с немцами — врагом беспощадным и упорным. Алексеев жаловался ему: оружие бросают где попало, а в критическую минуту сдаются в плен — нет оружия, чем защищаться? Никто не воспитывал уважения, бережливости к оружию. Да разве только к оружию! Лишь русский человек не может осознать ценность общественной собственности. Если собственность казенная — стало быть, ничья; стало быть, цена ей — ломаный грош. Казенное — ничье! Но ведь это людьми и для людей создано!

А эта вера в строгость наказания — она укоренилась в каждом русском. Почти любой русский верит в целительность строгого

наказания и считает, что если в других странах не воруют, то лишь из-за строгости наказания: руку отрубают, клеймят, рвут ноздри... Даже государь император и Алексеев убеждены, что все именно в этом: чем строже — тем больше порядка и чище нравы. Никому не приходит в голову мысль о культуре. Расстреляйте половину армии, упекуйте на каторгу половину страны, а воровать, насиловать, ломать будут как прежде. Все в этой стране надо начинать с культуры. Самые светлые реформы, самые честные руководители — все утонет в трясине невежества, хронического озлобления, недобра, въевшегося в душу с черных времен крепостничества... Никакая революция, никакое Учредительное собрание не дадут другой страны. Нужно менять нравственную основу всей нации, нужна вековая упорная просветительская работа. Только это сдвинет тот огромный лежащий камень, коим является Россия...

Все здесь стоит на уродливых, кривых ногах. Мы до такой степени привыкли к тому, что в нашей убого-бесправной жизни все возможно, что уже не верим ничему, что исходит от официальной власти. Народ убежден в лживости любых дел и сообщений, исходящих от высшей власти. Мы так мало любим свою страну, что всегда во всем, что случается, ищем лишь порочащее ее, лишь унижающее, лишь одну грязь...

Сторонники... Соратники...

Верной была и осталась только Анна. Это все, что он успел вырвать у жизни... и завоевать: любовь женщины. Ничего больше у него сейчас нет.

Поездами, тропами уходят на восток офицеры и все, кому в погибель красный цвет. И он физически ощущает, как глубже и глубже смыкаются пустота и одиночество.

Он брошен здесь и никому не нужен.

Вместо ста тысяч штыков и сабель — только Анна. В этом камне и службе здесь, рядом с ним, — она.

И никого больше в целом свете с ним...

Где все эти боевые стяги, звон шпор, грохот бронепоездов, канонада, тысячекилометровый фронт?..

Вместо всей громады стали, эскадр, дредноутов, вместо звона и блеска крестов и медалей, орденов и клятв — с ним навек одна Анна.

Все как призрак — только она рядом. Во плоти живая. В страсти и преданности.

Анна.

Лишь одно ее сердце за вымороженным камнем.

Адмирал встает и шепчет ее имя, той, которая осталась от всего этого мира, не откатилась со всем этим миром; той, которая решила встать рядом с ним; той, которая не предала, когда предали все.

Анна.

Он физически ощущает, как впились кованые чугунные прутья и крючья в его тело и растягивают его, рвут.

Он думает о России, людях, которые составляют ее народ, о странном пятиконечном символе, что внезапно спаял всех этих людей в одно целое.

Все эти мысли очень короткие, быстрые. Они молниями пререзают сознание. Озаряют его и исчезают.

Неизменным остается только лицо, повернутое к нему, — Анна...

О первых признаках разложения Петроградского гарнизона и вообще запасных полков (батальонов) и флотских экипажей дала знать так называемая мемельская вылазка. О ней Александр Васильевич слышал, воюя еще на Балтике. Начальник Отдельного корпуса жандармов генерал Джунковский¹ рапортом донес о том начальнику штаба Верховного главнокомандующего.

«...По окончательном сформировании отряда в Петрограде (в помощь сухопутным войскам было решено использовать отряд матросов из запасных флотских экипажей. — Ю. В.) он был отправлен в Либаву. Во время молебствия, проходившего во дворе Второго Балтийского флотского экипажа, на котором присутствовал и начальник Главного морского штаба адмирал Русин, командующий отрядом капитан первого ранга Пекарский был в нетрезвом виде и даже нетвердо держался на ногах... Повальное пьянство было и среди матросов отряда. При выезде отряда из Петрограда матросы затащили в вагоны двух провожавших женщин, которых насильовали в течение пути, а затем, когда те впали в бессознательное состояние, выбросили их на полотно, дальнейшая судьба их неизвестна...

При наступлении на Мемель морской батальон был в четвертой линии... Когда Мемель был взят... солдаты и матросы рассыпались по городу и стали грабить (солдаты тоже были из запасных ополченческих частей. — Ю. В.). Почти в каждой квартире находили... вино и коньяк, коими мародеры опивались. Местных жителей не было видно, таковые прятались.

Утром во многих домах были найдены трупы зарезанных солдат и матросов, что было сделано жителями Мемеля...

¹ В. Ф. Джунковский — свитский генерал-майор; в 1905—1913 гг. — московский генерал-губернатор, затем — товарищ министра внутренних дел и начальник корпуса жандармов; в 1915 г. уволен и уехал в действующую армию в должности начальника пехотной бригады. Это он почел долгом сообщить Думе (Родзянко) о провокаторстве депутата Малиновского: безнравственно и недопустимо пребывание провокатора в выборном органе. Это и породило скандал. Малиновский бежал в Германию.

При втором наступлении на Мемель отряду пришлось иметь дело... с регулярными войсками, вследствие чего потери отряда были более значительны.

Когда Мемель был окончательно взят, то опять начался повальный грабеж. Женщин занасиловывали до смерти. Одним из матросов была найдена и разбита несгораемая касса. Немецкие деньги он тут же продал еврею за 8 тыс. рублей. О размере ограбленной суммы можно судить по тому, что многие матросы продавали евреям билеты в 100 марок по 3 рубля. Вышесказанный матрос деньги отправил в Петроград к своему брату или знакомому, умышленно от своего товарища привил себе венерическую болезнь и был отправлен в госпиталь.

После четырехдневного пребывания в Мемеле отряд отступил, причем было потеряно четыре пулемета и оставлено в городе без вести пропавшими и пьяными около 200 человек.

Жители Мемеля во время боев стреляли по нашим войскам из домов, с крыш, из других мест... В настоящее время батальон находится в Либаве...»

Да, все началось значительно раньше. В запасных частях формировался взрывной материал революции. Ведь некоторые запасные полки насчитывали от 10 до 15 тыс. человек, а сколько таких находилось в одном Петрограде! Эти люди страшились фронта и годами бездельничали в казармах. Это был идеально податливый материал для подрывной пропаганды: здоровые мужчины, оторванные от семей, развращенные праздностью. Они настолько почувствовали свою силу — попытки вывести их из Петрограда оказались впоследствии безрезультатными, более того — опасными...

Волчья проповедь деления людей на тех, кто достоин жизни, и тех, кто должен исчезнуть (это ж какой мозг, какое воспаленное воображение иметь надо, чтобы в мирной жизни, под Богом и охраной законов, такое сочинить!), попала на самую благодатнейшую почву. Более благодарных слушателей для восприятия подобных бредней сыскать было невозможно.

Герберт Уэллс в книге «Россия во мгле» писал:

«Грубая марксистская философия (помилуй Бог, какая же это философия — это инструкция, как убивать и людей и души. — Ю. В.), которая подразделяет всех людей на буржуазию и пролетариат, которая в жизни общества видит лишь до глупости примитивную «классовую борьбу», понятия не имеет об условиях, необходимых для коллективной духовной жизни...»

Развращенная бездельем тыла и, наоборот, до крайности озлобленная лишениями фронта, крестьянская Русь в шинелях с готовностью впитывала человеконенавистнические постулаты марксизма — науку разрушать и ненавидеть.

«Марксистская теория подвела русских коммунистов к идее «дик-

татуры классово сознательного пролетариата», а затем внушила им представление — как мы теперь видим, весьма смутное, — что в России будет новое небо и новая земля... Но, судя по тому, что мы видели в России, там по-прежнему старое небо и старая земля...»

Господи, если бы только «старое небо и старая земля»! Да за такую милость Божью Россия рухнула бы на колени, залилась бы благодарными слезами. Да это же счастье — видеть старое небо и старую землю. Не только небо и земля стали невозвратно другими, но и русская речь — одни вопли, стоны, приказы (как выстрелы), мольбы гибнущих и сытый хохот партийных хозяев русской жизни... и шепот доносителей, хрюканье лжесвидетелей и крики отчаяния, боли, проклятия!..

Уэллс встретился с Лениным в октябре 1920-го.

«...Ленин — не человек пера, — писал, вспоминая, Уэллс. — ...В целом они (ленинские сочинения. — Ю. В.) лишь повторяют раз навсегда установленные положения и формулировки ортодоксального марксизма. Быть может, это необходимо. Пожалуй, это единственно понятный коммунистам язык...»

Наконец мы попали в кабинет Ленина... Я сел справа от стола, и невысокий человек, сидевший в кресле так, что ноги его едва касались пола, повернулся ко мне, облокотясь на кипу бумаг...

Через весь наш разговор проходили две — как бы их назвать? — основные темы. Одну тему вел я: «Как вы представляете себе будущую Россию? Какое государство вы стремитесь построить?» Вторую тему вел он: «Почему в Англии не начинается социальная революция? Почему вы ничего не делаете, чтобы подготовить ее? Почему вы не уничтожаете капитализм и не создаете коммунистическое государство?»...»

Ленин будет много говорить об электрификации — светлом будущем России. Уэллс возразит:

«...Вы ошибаетесь. Будущее вашей страны — симфония мрака и ужаса».

Скончался Уэллс в 1946 г., а предсказанная симфония мрака и ужаса звучит не смолкая, и все громче, трагичнее. И вплетаются в нее отнюдь не звуки новых инструментов, а голоса десятков миллионов людей — один предсмертный вой и хрип.

И ничего: культ человека в кепочке не угас, КПСС тоже в порядке — свыше десятка миллионов плеч подпирают ее, и ВЧК-КГБ не теряет фигуры — все та же стать насильника.

А что им стоны и слезы? Всего этого их порядок не исключает, это из их понятия, каким должен быть мир...

Эпидемии дизентерии, холеры, испанки, тифа, отсутствие лекарств, тепла (не топили — и города попросту вымерзли; на дрова шли бесценные библиотеки, паркет, редкая мебель и деревянные дома поплоче) выкашивали обессиленный, надорванный

народ. Пели революционные гимны, воздвигали монументы свободе, Робеспьеру, коммунистическому труду (только в восемнадцатом году Москву отметили свыше полутора десятков таких памятников), грозили мировой буржуазии и ее наемникам — белой сволочи, — метались, бредили в сорокаградусном жару и... угасали.

«Тифозники валяются в больничных коридорах, ожидая очереди на койки. Вши именуются врагами революции...»

В ожидании этой очереди валялись, разумеется, на полу...

Голод косил людей миллионами.

В самые глухие месяцы зимы (с 1918 на 1919 г.) в Москве выдавали «гражданам четвертой категории одну десятую фунта хлеба в день (около 50 граммов. — Ю. В.)». Не лучше обстояли дела и в Петрограде.

Именно тогда в Петрограде было торжественно отмечено открытие первого в истории города крематория. Так сказать, новостройка новой власти, самое насущное строительство. Было объявлено, что «сожженным имеет право быть каждый умерший гражданин».

В Москве и Петрограде трупы громоздились штабелями в сараях — ни один морг не мог вместить даже части их, да и хоронить некому было.

Первым сожженным в первом крематории (по жребию) оказался Иван Седякин — так значилось на замусоленной картонке, положенной на грудь усопшего. Там же было приписано: «Соц. пол.: нищий».

Как скаламбурил на этой процедуре председатель Петросовета Каплун, последний становится первым.

Вещие слова!

Пережившие эти годы вспоминали: города походили на ледяные пустыни из камня, электрический свет подавался с перерывами, господствовали мрак и запустение, даже совсем молодые мужчины почти поголовно страдали импотенцией, у женщин пропадали месячные.

Но люди по-прежнему пели гимны и шли за Лениным. Завтра грянет сытое и радостное бытие!

Разумеется, жизнь больших и малых хозяев страны различалась. Вот что пишет в книге воспоминаний «Дневник моих встреч» художник Юрий Анненков:

«В многокомнатной и удобнейшей квартире Горького не было, однако, ни в чем недостатка: друг Ленина и завсегдатай Смольного, Горький принадлежал к категории «любимых товарищей», основоположников нового привилегированного класса. «Любимые товарищи» жили зажиточно. Они жили даже лучше, чем в дореволюционное время: Григорий Зиновьев, приехавший из эмиграции худым как жердь, так откормился и ожирел в голодные годы революции, что был даже прозван «ромовой бабкой»...»

Зимой 1920 г. Анненков получил командировку за подписью Горького в один из южных городов. Он «был поражен неожидан-

ным доисторическим видением: необозримые рынки, горы всевозможных хлебов и сдоб, масла, сыров, окороков, рыбы, дичи, малороссийского сала; бочки солений и маринада; кринки молока, горшки сметаны, варенца и простокваши; гирлянды колбас... лошади и волы, лениво жующие сытный корм; людская толчея, крики, смех...».

Все объяснялось просто: город только что был освобожден от белых.

Именно так: этот голод, горы трупов и муки живых были рождены большевиками. С первых мгновений — только большевиками...

Анненков далее пишет, что по просьбе Горького в Комиссариате по продовольствию ему выдали бумагу: «Упаковать для тов. Горького два пуда пшеничной муки. Приготовить немедленно для тов. Горького лично 20 фунтов копченой свинины. По особому распоряжению комиссара по продовольствию незамедлительно упаковать для тов. Горького 20 банок консервированной осетрины и 10 банок налимьей печенки, а также 15 фунтов шоколада. Срочно...»

Анненков вернулся из командировки и был приглашен к Горькому.

«...Мы долго смеялись. Происходило это у Горького за обедом, как всегда обильным и оптимистическим. Помню, как, проглотив кусок тушеного зайца, Горький, смеясь, заметил:

— Для своего последнего упокоения зайчишка выбрал место незаурядное!»

Нечего объяснять, что любое требование партийца, советского начальника или писателя-«правдолюбца» соответствующего ранга в советском государстве удовлетворялось (и удовлетворяется) именно подобным образом, так что в сдобности он ничем не уступает «ромовой бабке» — Зиновьеву, одному из самых близких к Ленину работников партии, другу семьи.

За счет убиения народа жиреет эта служиво-партийная, советская, подкормочно-писательская прослойка.

Так и хрустят упаковочные бумаги и картоны по всем закрыто-торговым точкам обширного советского государства. И многие народные депутаты СССР — избранники полуголодного люда — с чистой совестью везут эти пакеты, сумки... И впрямь, нужны ведь и силы, дабы «защищать» народ...

Всех убеждали (и Ленин в первую очередь), будто голод — результат исключительно Гражданской войны, результат блокады первой в мире республики рабочих и крестьян.

Победоносно завершилась Гражданская война, аки дым растаяла и блокада. Год за годом потянулись десятилетия новой власти, но нужда... нужда стала обыденной: как поселилась в России — так и застряла. Временами ее перебивал все тот же голод (сколько же случаев людоедства, самоубийств!).

Эта нужда, окаянные очереди выкатили аж в 90-е годы все того же красно-серпастого XX столетия.

Самая плодородная в мире земля в одну шестую всей суши отказывалась кормить народ. Народ мыкался в одной непроходящей нужде. Как крохотные проблески света и радости оставались в памяти годы относительного благополучия. Обычно же унылой чередой теснились годы сбережения на всем, бесконечных «хвостов» за любым продуктом и любым товаром, годы карточек, талонов, разного рода распределения, годы усталости и озверения.

Не много ли для советского патриотизма и Владимира Ильича с его живодерствующей утопией?..

Александр Васильевич с вечера мотается по камере. Он обо всем забыл — только его шаги наискосок по камере, по каменной тропочке. И чем больше он разматывает клубок мыслей, тем хуже ему. Он весь горит. Руки клеит пот. Нет ему покоя. Он вдруг понял, почему проиграл, как следовало организовать борьбу.

Разве в этом мире что-либо делается без денег? От Рима, Греции — первых европейских цивилизаций — в борьбе за власть все определяют деньги. Деньги — это власть. Большевики были кучкой заговорщиков, пока не получили деньги. Именно на германское золото они взорвали Россию.

Это дело идеалиста — пытаться организовать дело без средств. Это — чистой воды слабоумие! Все определяет золото. Без золота, изрядной собственности людей идеи, мысли будет ждать участь Христа. Без денег истинные вожди человечества обречены на распятие, на петлю, каторгу, гниение в чахотке, одиночество и забвение. Это судьба любой попытки организовать крупное политическое, религиозное или нравственное движение. Без денег любого борца за самую святую идею ждет распятие на кресте. Христос на распятии — вот символ судьбы идеи в чистом виде. Его всегда предадут. Любой борец за святую идею обречен на глумления и распятие. Любого борца, пусть за Отечество, ждут гвозди палача, деревянное распятие и глазеющая толпа...

Толпа.

Ее превращает в направленную силу лишь золото, собственность, движение к сытости. **Борьба за власть — это всего лишь денежная операция.**

Он, Александр Колчак, совершил величайшее преступление. У него была существенная часть золотого запаса империи. Он берег его, полагая, что не смеет им распорядиться. Еще бы, это — достоинство России! Россия вечна!.. А следовало пустить в борьбу это золото!! Закупки оружия, амуниции, высокое жалованье офицерам, солдатам... И каждому солдату — документ на владение определенным наделом земли после победы. И этот надел, как дарственная, не

зависел бы от того, имеется ли у солдата собственность или земля. Вот тебе награда наделом — сражайся за него!

И это решило бы все! Об это разбилась бы вся демагогия Ленина; солдаты, люди здесь, в Сибири, остались бы глухи к его призывам. Мужики не бегали бы то к нему, то к красным. Он уже был бы в Москве! Не в этой вонючей дыре, а в Кремле!

Ведь именно так все решил Ленин! Он крикнул: «Грабь награбленное!» Это и был тот дарственный кусок земли: бери чужую собственность, владей! И еще добавил берлинское золото! И Россия треснула, вся изошла на красный цвет большевизма! Вот как все, оказывается, произошло... и происходит...

Эх, Александр, сберег золото — и упустил единственную возможность победить, можно сказать стопроцентную. Взял — и прошагал мимо, втоптал победу в грязь.

У него было золото. Он мог им организовать все! Он мог дать дарственную на владение наделом каждому солдату и офицеру. Он мог пустить под будущую победу недра России — это не меньше золота, но вместе с золотом — неотразимо.

А он сберег золото... Для будущей России сберег!

А будущая Россия на германские деньги, на «грабь награбленное» вдребезги расшибла империю, свой дом и сейчас добивает их... белое воинство...

Сберег золото для комиссаров!

Боже, есть ли мне прощение? Что я натворил? Господи, как я мог, смел? Почему я был слеп? Почему понял это все здесь, в одиночной камере иркутской тюрьмы?..

Все имел для победы — и все потерял, а зато сберег золото, эх!.. Господи, за что ты лишил меня разума?!

Да все здесь делают и решают деньги! Один, два, пятнадцать человек останутся людьми и без денег, но вся масса!.. Она будет служить и жить по закону денег — наживы, барыша, сытости. Ничто другое не способно привести их в движение — всегда и только: собственность, выгода, барыш, сытость, золото!..

Черт побери, как ты не понял: борьба за власть — это всего лишь денежная операция! Без этих самых денег участь любого, самого святого человека, посягающего на власть земную, на власть над людьми и их душами, — или петля, или чахотка, или распятие. Я теперь знаю, для чего умер Христос — чтобы доказать: тщетно здесь все на земле без золота, нет мечты, святой идеи, нет братства, нет верности, нет правды — есть золото, есть распятие...

Бывший главнокомандующий Восточного фронта генерал К. В. Сахаров оставил памятные строки:

«...Ранней весной (1919 г. — Ю. В.) проездом в Омск я и генерал Нокс остановились на несколько дней в Иркутске. Командующий войсками этого округа генерал-лейтенант Артемьев развернул

перед нами ужасную картину безобразного поведения солдат-чехов. Старый боевой русский генерал трясся от гнева и от сдерживаемого желания поставить на место разнузданную массу чехов, которых в свое время и корпус генерала Артемьева взял немало в плен в Галиции и в Польше. Представитель Великобритании Нокс, который был отлично в курсе всего, который сам возмущался в интимном кругу этими порядками, теперь только пожимал плечами и говорил, что надо терпеть...

Ненависть и презрение к дармоедам, обокравшим русский народ, возрастали в массах населения сибирских городов, в деревнях и в армии. Когда мы проезжали по улицам Иркутска и Новониколаевска, то видели на заборах почти всех улиц надписи мелом и углем: «Бей жидов и чехов! Спасай Россию!»...

После падения Омска, когда отступление белой армии пошло быстрым и ежедневным ходом, чехословацкие полки, жившие постоянной мыслью выезда из Сибири, охватила паника. Как стадо, напуганное призраком смерти, рванулись legionеры назад, на восток, ничего не видя, кроме страха опасения за свои жизни...»

Заслуживает внимания документальное описание обстановки тех недель и месяцев, появившееся в газете «Дело России», № 14 за 1920 г.

«...Длинной лентой между Омском и Новониколаевском вытянулись эшелоны с беженцами и санитарные поезда, направлявшиеся на восток. Однако лишь несколько головных эшелонов успели пробиться до Забайкалья, все остальные безнадежно застряли в пути...

Много беззащитных стариков, женщин и детей были перебиты озверевшими красными, еще больше замерзло в нетопленных вагонах и умерло от истощения или стало жертвой сыпного тифа. Не многим удалось спастись из этого ада. С одной стороны надвигались большевики, с другой — лежала бесконечная холодная сибирская тайга, в которой нельзя было разыскать ни крова, ни пищи...

Постепенно замирала жизнь в этих эшелонах смерти. Затихали стоны умирающих, обрывался детский плач, и умолкало рыдание матерей...

Безмолвно стояли на рельсах вагоны-саркофаги со своим страшным грузом, тихо перешептывались могучими ветвями вековые сибирские ели, единственные свидетели этой драмы, а вьюги и бураны напевали над безвременно погибшими свои надгробные песни и заматали их белым снежным саваном...

Главными, если не единственными, виновниками всего этого не передаваемого словами ужаса были чехи.

Вместо того чтобы спокойно оставаться на своем посту и пропустить эшелоны с беженцами и санитарные поезда, чехи силою стали отбирать у них паровозы на свои участки и задерживали все следовавшие на запад. Благодаря такому самоуправству чехов весь западный участок железной дороги сразу же был поставлен в безвыходное положение...

Более пятидесяти процентов имеющегося в руках чехов подвижного состава было занято под запасы и товары, правдами и неправдами приобретенные ими на Волге, Урале и в Сибири. Тысячи русских граждан, женщин и детей были обречены на гибель ради этого проклятого движимого имущества чехов...»

И какое же это имущество чехов?..

Перенапряженная, измученная мысль смешивает действительность с прошлым, и в летучие мгновения забытья прошлое предстает адмиралу явью.

Вот и сейчас он скрючился на краю лежанки, почти сложился вдвое, даже касается грудью колен. Пальцы вцепились в край лежанки — холодный металл станины. Он дышит часто, прерывисто и вздрагивает раз, другой... Он что-то пытается сказать или выкрикнуть, но из горла вырывается лишь клекот и хрип. Это ужасно, что он видит сейчас. Удар тяжелого снаряда потрясает корабль. В соседних с разрывом помещениях у матросов и офицеров течет кровь из ушей, носа. Многие на какие-то мгновения теряют сознание и падают.

Один раз в жизни он видел, как загорелись полузаряды. Пламя вмиг выросло над кораблем: огромный стремительный столб светлого жара выше мачт. Это означало молниеносную гибель расчетов в орудийной башне. Корабль выжил, остался на плаву, но от десятков людей не осталось тогда ровным счетом ничего, кроме запаха горелого мяса и полурасплавленных металлических пуговиц.

И Александр Васильевич опять ощутил всем телом то попадание снаряда крупного калибра — страшный звон, гул всех металлических переборок. И темнота. Почему-то сразу наступила темнота... Это забыть невозможно: раскат неземного грома, обжигающе горячий вихрь, провал в какую-то бездну. Палубу вышибло из-под ног: такое состояние, будто завис в пустоте и ничего более нет.

И после — нечеловеческие крики, кровь повсюду. Кровь, стоны, вопли и нарастающая тревога. Надо все преодолеть и встать — иначе корабль погибнет. Надо управлять им, вывести из зоны попаданий. Он должен встать! «Руль положить влево!» — командует во сне Александр Васильевич.

Вернемся к воспоминаниям генерала Сахарова.

«...Место не позволяет еще подробнее развернуть и вырисовать все детали этой картины, как военнопленные России под командой французского генерала (Жаннена. — Ю. В.) топтали в грязи и крови все, что было в России национального, честного, готового до конца остаться верным долгу: очевидно, за то, что простецкая наша страна слишком усердно спасала Париж (гибель армии Самсонова в августе 1914 г. в Восточной Пруссии. — Ю. В.); видно, это была расплата за

то, что святая Русь положила за дело союзников в мировой войне свыше трех миллионов своих лучших сынов убитыми в боях...

Передав в руки эсеров Верховного Правителя, сдав Политическому Центру русский золотой запас, чехословацкие эшелоны продолжали свое движение на восток. По пути они захватили наличную кассу иркутского казначейства и клише экспедиции изготовления государственных бумаг для печатания денежных знаков; купюры они начали усиленно печатать, преимущественно билеты тысячерублевого достоинства...

За разрешение проехать в нетопленном конском вагоне чехи брали от пяти до пятнадцати тысяч рублей или золотые вещи; но плата не всегда гарантировала жизнь и доставку в Забайкалье, где была уже безопасная от большевиков зона.

Около станции Оловянная из проходящего чешского эшелона было выброшено три мешка в реку Онон. В мешках нашли трупы русских женщин. Нет возможности установить хотя бы приблизительно синодик погубленных и преданных...»

«Президент Грант» (судно, на котором одним из последних эвакуировалось командование бывшего Чехо-Словацкого корпуса) увез 5500 чехословаков (судно отправлялось из Владивостока), а также сотни тонн золота, серебра, меди, машин, сахара и всяких других продуктов, как и другое награбленное добро, которое чехи увозят с собою из Сибири...

Сообщение о грузах «Президента Гранта» поместила газета «Japan Advertiser» в номере от 1 мая 1920 г.

После изоляции Верховного Правителя на пути в Иркутск легионеры ухитрились-таки разграбить вагон из состава с золотым запасом России — это около тысячи пудов золота и драгоценностей. Об этом сообщила газета «Дело России» (№ 10 за 1920 г.). Сдаточная ведомость в Иркутске была подделана.

Обмишурится Саня Косухин...

Позиция адмирала Колчака была строго однозначной, ее и излагает генерал Сахаров:

«...Но адмирал Колчак твердо решил положить в будущем конец этому вопиющему безобразию; он ждал также, когда можно будет выбросить чехов из Сибири во Владивосток, чтобы там, перед их посадкой на суда, произвести ревизию всех их грузов. От участия в этой ревизии не могли бы уклониться и союзники. И несомненно, тогда преступление встало бы во весь рост и во всей своей неприглядной наготе: грабителей уличили бы с поличным...»

Проще было сдать адмирала...

Россия, Россия, что ж это делали и делают с тобой?!
Кто эти оборотни с человеческими лицами?!

Если бы вопль твоей боли и муки расколос сердце каждого русского и пламенем полыхнул в душе у него!

Убийцы и мародеры!

Что же с тобой делают, Россия?!

О той ночи с 6 на 7 февраля поведал сам Семен Григорьевич Чудновский¹. К сожалению, в полном объеме воспоминания не существуют, разве что в чекистских хранилищах.

После «женевского» умерщвления бывшего председателя иркутской губчека оказались подчищенными и сгнили все предметные доказательства его земного бытия. Ну нет в наличии даже самой захудалой фотографии, скажем даже такой, как «три на четыре». Одна ненадежная, зыбкая память людей (с ними-то и говорил я, восстанавливая по крохам прошлое). Таким образом, соединились в утробе «женевского» чудовища трое славных чекистов, народных казней: Белобородов, Патушев и Чудновский. Само собой, по масштабу содеянного из этой троицы орлом взирает Александр Белобородов.

Скорее всего, воспоминания Чудновского вызваны гневными публикациями в белой прессе. Эмиграция обвиняла красных в надругательстве: их Александр Колчак был отдан на расправу в подвал Чин Чеку.

В любом случае вождь белой России должен был умереть в соответствии с принятыми нормами, то есть достойно.

Тогда и появляются «красные воспоминания», в первую очередь Ширямова и Чудновского.

Надо сказать, Чудновский до последнего мига жизни чрезвычайно гордился своим председательством в военно-революционном трибунале и казнь. На мгновение оказался в фокусе мировых событий. Очень льстило это. Посему и рассказывал о тех днях десятки и сотни раз, но особенно любил — на выпивках среди «своих» (областного партийного начальства). Не надоедал им рассказ бывшего председателя чека Иркутска. Всякий раз слушали молча, округляя друг на друга глаза: мол, события, фигуры, история! Матерком и сальным словечком поминали «адмиралову подстилку» Тимиреву — горячую и преданную любовь Александра Колчака.

В ту пору товарищ Чудновский сменил кожанку чекиста на пиджак (а возможно, и френч на сталинский манер) областного судебного чина. Не беда, что не имел соответствующего образования. И нужды в нем не ощущалось. Приговор соразмеряли с инструкциями — их в делах находилась целая папка: определяющих и разъясняющих. В общем, все сводилось к двум простым вариантам: «наш» — «не наш». Вся задача опять-таки сводилась к тому, чтобы опреде-

¹ См.: Чудновский С. Конец Колчака. — В кн.: Годы огневые, годы боевые. Иркутск, 1961.

лить, под какую анкету западает человек. А уж там и соответствующие кары.

О той ночи товарищ Чудновский написал подробно — и, естественно, это предмет его партийной гордости.

«...Со стороны Иннокентьевской (ныне Иркутск-2. — Ю. В.) слышны были выстрелы. Иногда они казались совсем близко. Весь город замер. Осмотрев посты и убедившись, что на посту стоят свои люди, лучшие дружинники, я направился в одиночный корпус и открыл камеру Колчака.

...Правитель стоял недалеко от двери, одетый в шубу и папаху. Видимо, Колчак был наготове, чтобы в любую минуту выйти из тюрьмы и начать править опять. Я прочел ему приказ Революционного Комитета (следовательно, суда и не было, был всего лишь приказ ревкома о расстреле? — Ю. В.). После этого надели наручники.

— А разве суда не будет? Почему без суда?

По правде сказать, я был несколько озадачен таким вопросом (конечно, в чека только казнили, это ведь орган, который или казнит, или милует, а тут вопрос о суде! — Ю. В.). Удерживаясь, однако, от смеха, я сказал:

— Давно ли вы стали сторонником расстрела только по суду?

Передав Колчака конвоем, я отправился на верхний этаж, где находился Пепеляев.

Пепеляев сидел на своей койке и тоже был одет. Это еще более убеждало, что «правители» с минуты на минуту ждали освобождения. Увидев вооруженных людей в коридоре, Пепеляев побледнел и затрясся. Противно было смотреть на эту громадную тушу, которая тряслась, как студень. Ему был объявлен приказ.

— Меня расстрелять?.. За что?.. — проговорил он, зарывав. А вслед за тем выпалил следующее, видимо, заранее подготовленное заявление:

«Я уже давно примирился с существованием советской власти. Я все время просил, чтобы меня использовали на работе, и приготовил даже прошение на имя Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета, у которого прошу меня помиловать и очень прошу не расстреливать до получения ответа от ВЦИК».

Взяв у него бумагу и передав кому-то из стоящих у дверей товарищей, кажется секретарю моему, Сергею Мосину, я сказал Пепеляеву:

— Приказ Революционного Комитета будет исполнен; что касается просьбы о помиловании, то об этом надо было думать раньше.

Пепеляев, рыдая, продолжал бессвязно бормотать что-то насчет своей ошибки в жизни, недостаточного учета обстановки. Я передал его конвою.

Захватив внизу Колчака, мы отправились в тюремную контору.

Пока делались распоряжения о выделении пятнадцати человек из дружины, охранявшей тюрьму, доложили, что Колчак желает обратиться ко мне с какой-то просьбой.

— В чем дело?

— Прошу дать мне свидание с женой (в смертный час Александр Васильевич при своих палачах назвал Тимиреву женой; тем, кем она была в действительности для него, — самым дорогим человеком. — Ю. В.). Собственно, не женой, — поправился он, — а с княжной Тимиревой¹.

— Какое вы имеете отношение к Тимиревой?

— Она очень хороший человек. Она заведовала у меня мастерскими по шитью солдатского белья (не мог Александр Васильевич сказать о любви своим палачам, любви к Анне. — Ю. В.).

Хотя окружающая нас обстановка не располагала к шуткам, но после слов Колчака никто из товарищей не мог удержаться — все расхохотались (в действительности за простотой слов Колчака — глубочайшее волнение и нервное напряжение; он и перед смертью остается верен себе — бережет дорогую женщину. — Ю. В.).

— Свидание разрешить не могу, — говорю Колчаку. — Желаете ли вы еще о чем-нибудь попросить?

— Я прошу сообщить жене, которая живет в Париже, что я благословляю своего сына.

— Сообщу.

Рядом с Колчаком сидел Пепеляев, который продолжал рыдать. Наконец он поднялся с места и дрожащей рукой передал мне записки, в которых нетвердым почерком написано сообщение к матери и еще кому-то с просьбой благословить его на смерть и не забывать «своего Виктора». Подавая записку, Пепеляев что-то лепетал, но понять его было совершенно невозможно.

— Хорошо, записку передадим.

Не прошло и минуты, как прибежал товарищ и спросил, можно ли разрешить Колчаку закурить трубку. Я разрешил. Товарищ ушел, но вскоре вернулся обратно бледный как смерть.

— В чем дело?! — спрашиваю. Не дожидаясь ответа, я как-то инстинктивно бросился в комнату, где находились Колчак и Пепеляев. Вижу, один из конвоиров держит в руках носовой платок и смотрит то на Колчака, то на платок.

Я взял платок и начал его ощупывать. Оказалось, что в одном из углов платка завязано что-то твердое, продолговатое, на ощупь напоминающее пулю револьвера типа «браунинг» малого калибра. Колчак сидит бледный, трубка в зубах трясется. Не трудно догадаться, что Колчак хотел отравиться.

¹ Это чекистская похвальба-выдумка: мол, княгиню гнул к земле. Не мог Колчак назвать Анну Васильевну «княжной», так как отлично знал семью Тимиревых. Кроме того, обращение «княжна» предполагает незамужнюю женщину, в противном случае обязательно обращение «княгиня».

Все формальности наконец закончены. Выходим за ворота тюрьмы. Мороз 32—35 градусов. Ночь светлая. Тишина мертвая. Только изредка со стороны Иннокентьевской раздаются отзвуки отдаленных орудийных и оружейных выстрелов. Разделенный на две части конвой образует круги, в которых находятся: впереди Колчак, а сзади Пепеляев, нарушающий тишину молитвами.

В 4 утра мы пришли на назначенное место. Выстрелы со стороны Иннокентьевской слышатся все яснее и ближе. Порой кажется, что перестрелка происходит совсем недалеко. Мозг сверлит мысль: в то время когда здесь кончают свою подлую жизнь два бандита, в другой части города, быть может, контрреволюция делает еще одну попытку погрома мирного трудящегося населения. Именно потому, что знаешь, что кровавое дело Колчака еще где-то продолжает тлеть, не терпится, и винтовки как-то сами устанавливаются в руках так, чтобы произвести первый выстрел.

Раньше чем отдать распоряжение стрелять, я в нескольких словах разъяснил дружинникам сущность и значение этого момента.

Но все готово. Отдано распоряжение. Дружинники, взяв ружья наперевес, стоят полукругом.

На небе полная луна, светло как днем.

Мы стоим у высокой горы, к подножию которой примостился небольшой холм. На этот холм поставлены Колчак и Пепеляев.

Колчак — высокий¹, худощавый, типа англичанина, его голова немного опущена. Пепеляев — небольшого роста, толстый, голова втянута как-то в плечи, лицо бледное, глаза почти закрыты: мертвец, да и только.

Команда дана. Где-то далеко раздался пушечный выстрел, и в унисон с ним, как бы в ответ ему, дружинники дали залп. На всякий случай — еще один.

— Куда девать трупы? — спрашивает начальник дружины коменданта тюрьмы.

Не успел я ответить, как за меня почти разом ответили все дружинники:

— Палачей сибирского крестьянства надо отправить туда, где тысячами лежат ни в чем не повинные рабочие и крестьяне, замученные колчаковскими карательными отрядами... в Ангару их!

И трупы были спущены в вырубленную дружинниками прорубь...»

Воспарила к Богу душа раба Его Александра сына Васильева, 46 лет. Но принял ли Господь ее в Свои блаженные уголья и успокоил или определил на вечные муки — не прояснится для нас никогда. В ненависти и презрении почти всего русского народа воспарила душа бывшего адмирала, ученого, строителя русской армии

¹ Колчак не был высок. Высоким он мнится коротышке чекисту.

и флота, мужественного защитника России в войнах и бывшего
Верховного Правителя Российского государства — главы белого
движения.

Белый, синий, красный!

В твои руки, Господи, передаю душу свою!

Ангара... могучая, студеная, пожалуй, самая красивая из сибир-
ских рек, а что уж самая рыбная — это точно.

Мир праху твоему, Александр Васильевич Колчак.

Глава IX

КРАСНЫЕ ЧЕРНИЛА

Спозаранку 7 февраля 1920 г., еще в ночных сумерках за окнами тюремной канцелярии, среди разговоров, стука двери, смеха, шагов, затяжек махры товарищ Чудновский, уютившись поудобнее и попрочнее за столом и по-детски склонив голову набок, даже чуть высунув язык от старания, написал на обратной стороне бумаги с постановлением ревкома (ВРК) номер двадцать семь о расстреле Колчака и Пепеляева:

«Постановление ВРК от 6/II-20 г. за № 27 приведено в исполнение 7/II-20 г. в 5 ч. утра, в присутствии председателя Чрезвычайной следственной комиссии, коменданта г. Иркутска и коменданта иркутской тюрьмы, что и свидетельствуется нижеподписавшимися.

Председатель Чрезвычайной следственной комиссии

С. Чудновский, комендант г. Иркутска Бурсак»

В то утро 7 февраля на станции Куйтун должно было состояться (и состоялось) подписание соглашения между командованием Красной Армии и командованием легиона о перемирии. Командование Красной Армии (иначе говоря, Ленин — он давал директивы) гарантировало частям легиона спокойный отход к Владивостоку.

Уже какое это облегчение для Иркутска! Стало быть, точно чеховоиско поменяло свой цвет с белого на розовый...

Помните, Бьюкенен писал: «...я установил, что Англия не имела более лояльного друга и союзника, чем император Николай?»

А Верховный Правитель России адмирал Колчак? Из желания продолжить борьбу с Германией, порабошающей его Родину, переходит на английскую службу (большевики вскоре заключат свой позорный Брест-Литовский договор).

Трагичен итог доверия к этой великой островной стране, не так ли?.. И в самом деле, пули в нижнем этаже особняка... прорубь на Ангаре...

Во веки веков: люди долга или борцы не в чести за пределами России, зато всегда в чести — предатели, к примеру Гордиевский. Этих принимают с распростертыми объятиями.

Надо полагать, комендант тюрьмы о своей подписи попросту запаматовал: хлопот-то, к тому же пустая эта формальность, самое важное и ответственное — прикончили белых гадов, отлилась им народная кровь. Жаль, их дружков закордонных нельзя прищемить. Ничего, при мировой революции каждому свое зачтется. Не сегодня-завтра сомкнутся в едином строю пролетарии всех стран.

Документ о расстреле гадов надлежало хранить для отчетности коменданту тюрьмы: куда и когда убывают «ревизские» души. Но в тот раз имел на него права и председатель губчека как уполномоченный ревкома и вообще главный попечитель тюрьмы. Вероятно, поэтому и вышла неувязка. Комендант тюрьмы решил: свой документ, всегда успею крючок подмахнуть, а документ взял и унес товарищ Чудновский. Сбылось!!

Не охватывал сознанием комендант тюрьмы историческую значимость расстрела белого вождя, не мог возвыситься над хлопотами: ему готовить к расстрелу еще двадцать одного человека, а после и гнать арестантов колонной к железной дороге. Да забот по горло!..

Запись на обратной стороне постановления выписана красными чернилами¹. С десятилетиями цвет этот обрел символичность, ибо таким образом оказалось разрешенным на данном этапе основное противоречие обманно-трупной истории человечества — противоречие между трудом и капиталом: самая первая взрывная причина в обществе во все времена и у всех народов, выражаемая таким нравственным понятием, как борьба справедливости с несправедливостью.

В тот год сокрушительных побед красных бывшему императору Николаю Второму должно было исполниться 52 года, а Керенскому — 39 лет. Александр Федорович их и отпраздновал вполне сносно на чужбине. Пресноватый, конечно, праздник, но при веских и обоснованных надеждах на будущее: в несварении от диктатуры большевиков должна Россия возжелать о свободе и ее самом стойком защитнике — быть по-другому не может. Демократия!

В общем, строил планы Александр Федорович, в благодарной

¹ А мы в Отечественную войну (1941—1945) разводили сажу и писали: надо же готовить школьные задания. А сажу — да сколько угодно! Вся первопрестольная дымила самодельными печами. Центральное отопление не работало. Очень часто на многие часы отключали свет. Научились обходиться коптилками.

строгости храня имена тех, кто приютил его после 28 октября 1917 г. И, лишь угасая в 1970 г. 89 лет от роду, назвал их. Не верил Александр Федорович в целомудрие «женевской» уродины. А ей, дряни, и впрямь без разницы, что отцы, что дети или внуки там... По Ильичу ладили ее, всей республикой, недоедали, а последнюю копейку, последних сыновей ей на службу отдавали. На великое будущее имели веские надежды...

В том же огненно-красном году исполнилось Ленину его заслуженных и почетно круглых пятьдесят. Весну и лето следующего, 1921 г. он будет напрягать все силы для утверждения нэпа программой партии. Ему не впервой поворачивать одному против всех, против устоявшихся догм и, казалось бы, очевидно неопровержимых истин.

В памятно-горькие дни Бреста он повернул против большей части Советов, против внушительной части партии и в какое-то время — даже против большинства ЦК партии. Теперь ясно каждому: то был единственно правильный путь — уступить врагу в пространстве, дабы выиграть во времени.

Ход с нэпом сулил не только замирение крестьянской России, но и решительное облегчение нужды; словом, поспособствовал бы ослаблению удавки на шее народа. Уж очень круто, осадисто, на татарский манер потащил вождь народ в светлое заоктябрьское завтра. Не худо дать и дыхнуть этому самому народу (это точно: «посягал на крестьянскую кровь» вождь диктатуры пролетариата, за воду сливал). По книгам и первоисточникам сверял допустимость такой заминки и вообще поворота (говорят, много и упорно читал в эти месяцы Гегеля; даже к Деборину обращался за ненапечатанными томами Гегеля). Великое уважение питал ко всем величинам и знакам формул текущей и будущей жизни.

Ленин
сквозь философские термины
Смотрит в грядущее,
в новую явь...¹

Сводил действующие величины к одной, до бесконечности вывешивал ее знак. За кровью, насилием, муками видел лишь это — преодоление старых отношений, завоевание пространства для новой жизни. За потоками крови, нищетой, болью и разрушениями выстраивал контуры будущего. В счастье и великую гармонию отношений гнала людей «женевская» тварь.

Черствел ко всем прочим чувствам и мыслям Главный Октябрьский Вождь. Не дрогнуть — через кровь и погребения, другого пути

¹ Баллада о скромности. — «Советская Россия», 1985, № 260, 10 ноября.

нет. Всякий другой путь — ложь и предательства. За всякий другой путь любому — в небытие...

Сколь веревочка ни вейся,
Все равно совьешься в плеть...

В. Высоцкий

И свилась... но если бы только в плеть.

Нет истории без этой работы могильщиков и палачей, ею она созидает новую жизнь. Только так: через кровь, хруст костей, голод, стоны миллионов — иного пути нет...

Воспоминания товарища Чудновского дополняют рассказы И. Н. Бурсака («Конец белого адмирала») и самого Ширямова.

Непосредственным сигналом к расстрелу бывшего Верховного Правителя России послужило телефонное распоряжение Смирнова от имени Сибревкома. Разумеется, не Сибревкому это было решать. Команду дал Главный Октябрьский Вождь из Кремля. По проводам загудели шифрованные слова. Аж напряглась, замускулилась спина у всей особоуполномоченной России: вот-вот скинет груз белой сволочи. Еще чуток поднатужиться...

Александр Васильевичу хотели завязать глаза перед строем дружинников — он отказался. До конца был спокойным — это отметят все очевидцы.

При расстреле присутствовал и представитель ревкома М. Н. Ербанов (в 1938-м поднимется в первые секретари Бурят-Монгольского обкома ВКП(б) — и падет под пулями чекистов).

До перехода власти к ревкому комендантом тюрьмы был Бурсак, после — В. И. Ишаев. Но и тогда Бурсак 2 — 3 раза в день лично проверял тюрьму.

Последний допрос адмирала состоялся днем 6 февраля — члены комиссии уже знали, что рано утром Александр Васильевич Колчак будет казнен, но от него это скрыли.

Историей, иначе говоря, самой средой, состоянием общества был определен Хозяин. Сталин лишь уловил это требование общества, его предназначенность к подчинению Хозяину. Не было бы Сталина, вознесся бы Троцкий, Зиновьев, Фрунзе или кто-либо другой. Вполне вероятно, не столь кроваво-палаческий, но непременно возник бы Хозяин.

Основа всего — состояние народа, но ответственность за все содеянное — на Ленине. Общество не готово было к социалистической революции¹. Подобные отношения не соответствовали созна-

¹ Если вообще позволительно говорить о правомерности повсеместного слома жизни. Это более чем трагедия. Это всегда отчасти умирание народа.

нию народа, его культуре. Этого псевдосоциалистического уровня отношений можно было достичь лишь одним непрерывным насилием. Не случайно это разрастание «женевской» твари до всероссийского чудовища, проникновение в каждую семью, каждую отдельную жизнь. Это абсолютный рекорд такого уровня развития карательных органов, как и самого террора. И впрямь, народ не изжил в себе царистских настроений, он еще не перерос их в своем сознании. Народ был и есть монархичен.

И определенная склонность к самоизоляции, чувство своей особой роли в истории — это исторически въелось в плоть народа (а раз въелось — необходимо с этим считаться, иначе политика будет лишена устойчивости).

Все это и дало то крайнее проявление культа личности, ту крайнюю степень жестокости власти, вплоть до самодурства.

Уровень понимания народом своей государственности сошелся с необходимостью предельного террора после семнадцатого года. Иначе этот народ в колесницу социализма впрячь не удалось бы, и не столько впрячь (он, в общем, охотно впрягся в Октябре семнадцатого), сколько гнать десятилетиями впряженным в бесконечно тяжелую фуру государственной поклажи — насильственного социализма. Прекрати, останови принуждение — и весь этот костоправный социализм истает, развеется в дым...

Поэтому кровавый вождь, Хозяин, явился требованием момента. И это должен был быть непременно кровавый вождь — другим способом привести общество к заданным отношениям в экономике было невозможно. Не просто Хозяин, а кроваво-жестокий, бездушный мучитель, изверг. Не случайно они все явились, как по зову: дзержинские, лацисы, ягбды, берии, молотовы, ждановы, кагановичи, сталины... Все материализовались в назначенную минуту, для назначенных ролей. Полуграмотные насильники-фанатики, растлители душ, циники. Разрушители русской государственности, губители русской культуры (соответственно — губители культуры и государственности и всех других народов, составлявших Советский Союз). Сапоги, погоны, сверкающие ордена, социалистические агитки с высшими премиями за «шедевры искусства», смрад от всей жизни... Черепа, нафаршированные догмами о целительности насилия — лагерей, расправ, казарм... Идиотизм «ученых», копающихся в горах трупов среди разрушенной жизни целого народа, невиданного одичания душ и пытающихся отыскать в этом смысл... Изуродованность сознания народа, обреченного снова и снова тащить этот воз социализма.

Какое Куликово поле нужно, чтобы освободиться от этого ига? И есть ли такое поле на Руси?..

Нес Ленин свою любовь и пламенную веру через все беспросветные годы «надрывной» франко-англо-швейцарско-польско... ну, в общем, европейской эмиграции. Даже не проглядывало, а перво-

наперво заявляло в нем требование на взаимность. Ну, не требование и не страсть, а, как бы это определить... условие такое, что ли. Пусть люди лучше гибнут от всяких напастей, и «женевских» в том числе, нежели примут другой цвет: розовый там или небесно-голубой. Пусть лучше всё — дым и прах, но не бывать другому цвету на Руси.

От такой принципиальности главного вождя «женевская» тварь задирала башку к солнцу, небесному простору и ржала, славя внушительную множественность русской части людского рода.

И рубили мясники в синих петлицах и погонах эту самую часть человечества, дабы всегда брала лишь один цвет — красный. Словами о гуманности, равенстве, свободе и счастье смиряли жертвы — тех, кого рубили, и тех, кого оставляли для развода.

55 томов завещал партийный первосвященник — и все для решения одной-единственной задачи, такой благородной и ответственной, ибо никак иначе, как только через очистительные убийства, не протиснуться народу в игольное ушко светлого завтра. Доказательность данных выкладок хранит и таит каждая строка учений 55 томов — ну нет, не существует иного пути, во всех библиотеках сверено по книгам — нет иного захода!

Правда, «Аппассионата» и ей подобные упражнения разных одаренных личностей нашептывают нечто отличное, но ежели с волей подступиться, ежели по Робеспьеру, Пестелю, Ткачеву да Марксу, то есть с сознанием исторической ответственности и вообще миссии, то все эти ноты и сочинения — блажь, от разврата, пресыщенности и незрелости. Тут свое, пролетарское, искусство требуется. Жизнь надо строить по Ильичу — это еще великий пролетарский поэт осмыслил, а посему и счел за лучшее застрелиться.

На кровь и нужду обрекает этот самый народ 55-томная конструкция игольного ушка. Плесень и грязь разводит она в народе, ибо не упорство, талант и труд определяют человека, а оценка партийной бюрократии. И берут разгон уже игра, взятка, подлость ради этих оценок, ибо за ними — сытость, почет и... вседозволенность, а с такими вещами не шутят. Это и есть — штыки, доносы, смерть. Да разве же дозволим посягнуть на святых!..

Ломали, корежили старую Русь, мостили трупами путь в новую жизнь — и вылупилась: согласно пятидесятипятитомным установлениям, собственность ты партийной машины, полная и бесконтрольная собственность, вроде крепостного при ней. Ну что ты без печатей, справок и партийной дрессуры — не поедешь, не пройдешь, не получишь угла, не продвинешься и вообще не поднимешься. Любая страна мира недоступна для тебя и как бы на другой планете — печати, мнения, характеристики средних и малых секретарей закрывают и открывают перед тобой любые дороги, само собой, и те, которые ты сто раз проложил трудом и знаниями, ибо ты всего-навсего подневольный партийной машины. Ты исполнитель, в тебе нет и не может быть ничего своего. Ты не принадлежишь себе, ты холоп. Каждому от рождения вбита в чело пятиконечная звезда — свой тав-

рово-товарный знак должен водиться у скотины. И лишь преемникам Непогрешимого дано знать, что надобно пятитавровому гражданину...

С миру по нитке — русскому петля.

В кабинете Колчака на Атаманской улице рядом с оперативной картой висела карта полярных экспедиций. Как только Александр Васильевич оказался облечен полномочиями Верховного Правителя России, он отдает одно за другим распоряжения о подготовке арктической экспедиции, для чего постоянно сносятся с северным правительством Миллера.

Для гидрографического обслуживания экспедиции в конце 1918 г. утверждена Дирекция маяков и лоций, то есть через несколько недель после переворота в Омске.

23 апреля 1919 г. Александр Васильевич организует при своем правительстве Комитет Северного морского пути, спустя некоторое время его возглавит С. В. Вострин — член III и IV Государственных дум, золотопромышленник, участник экспедиций И. Виггинса (1894) и Ф. Нансена (1913) и уже посему убежденный сторонник необходимости освоения Северного морского пути.

Александр Васильевич приказал продолжать строительство Усть-Енисейского порта, начатое в 1917 г.

В январе 1919-го Александр Васильевич создает Институт исследования Сибири, разместив его в Томске. Институт вел подготовку Обь-Тазовской экспедиции, а летом 1919-го на обском Севере уже работают ботаническая экспедиция В. В. Сапожкова и гидрографическая — Д. Ф. Котельникова.

И это после мировой войны, двух революций, пожара Гражданской войны, страданий и крови десятков миллионов людей — вера в науку, культуру, разум!

Мария Александровна Спиридонова родилась 16 октября 1884 г. в Тамбове в дворянской семье. Еще в гимназии вступила в партию социалистов-революционеров, по заданию которой в 1906 г. застрелила руководителя патриотически-монархической организации и карательных экспедиций на Тамбовщине советника губернского правления Г. Н. Луженовского¹.

Из Тамбова в Петербург Спиридонову везли жандармский и полицейский офицеры — их благородия Жданов и Абрамов. Всю ночь они насильовали молодую террористку, но этого патриотам казалось мало, и они то вырывали у нее волосы, то гасили папиросы о голые плечи, грудь, то, восстановив силенку, опять насильовали...

С такими патриотами да защищать престол?.. Да-а, господа...

¹ Тоже Боевая организация! Юной девушке поручили убийство.

Военный суд приговорил ее к смертной казни, замененной царем на бессрочную каторгу.

По постановлению Боевой организации партии социалистов-революционеров в мае 1906 г. был казнен в Тамбове помощник пристава Жданов. Этот человек проявил особое изуверство в истязаниях Спиридоновой, фактически организовал групповое насилие и сам после насильствовал. Пуля эсера-боевика пробила ему висок.

После 11 лет каторги весной 1917 г. вернулась в революционный Петроград. Была избрана членом ЦК партии левых эсеров. Возглавила левозероверское выступление в июле 1918 г. Была арестована, но амнистирована ВЦИК. Отошла от политической деятельности и с начала 30-х годов жила в Уфе, где и скончалась на 57-м году жизни (в 1941 г.).

В открытом письме Центральному Комитету партии большевиков она клеймит красный террор, обрушившийся на Россию, в том числе и левых эсеров (после мятежа и особенно ранения Ленина). Письмо было написано в ноябре 1918 г. в Кремле, где многострадальная Спиридонова содержалась под арестом. Ленин уже определенно смотрелся на пьедестале.

В начале 1919 г. письмо появилось в подпольной левозероверской прессе.

«...Никогда еще, в самом разложившемся парламенте, в продажной бульварной прессе и прочих махровых учреждениях буржуазного строя, не доходила травля противника до такой непринужденности, до какой дошла ваша травля, исходящая от социалистов-интернационалистов (то есть большевиков. — Ю. В.), по отношению к вашим близким товарищам и соратникам, которые погрешили против лояльности к германскому империализму, а не к вам и, во всяком случае, не погрешили в отношении революции и Интернационала...

В «чрезвычайках» убивали левых социалистов-революционеров... за отказ подписываться под решением пятого Съезда Советов; убивали просто за то, что они левые социалисты-революционеры и «упорствовали» в этом, не отрекались (циркуляр Петровско-го¹ об «упорствующих»); убивали, истязали, надругивались...

Вы отупели до того, что всякие волнения в массах объясняете только агитацией или подстрекательством...

Как могли вы, кричавшие о Керенском с его смертной казнью на фронте, здесь, в тылу, убивать без суда и следствия лучших сынов революции? Как не стыдно было вам убить Хаскелюса за то только, что он по поручению законно существующей при Петроградском Совете фракции левых социалистов-революционеров прочел ее декларацию. Лживость инкриминируемого ему вами обвинения, будто при нем найдена резолюция собрания матросов, написанная

¹ Петровский, Григорий Иванович — тогда нарком внутренних дел РСФСР.

его собственной рукой, доказывать нет нужды: у Хаскелиса, убитого вами, не было обеих рук по плечи, когда вы его взяли...

Лозунги «кулацких» восстаний (как вы их называете) не вандейские¹. Они революционны, социалистичны. Как смеете вы кроваво подавлять эти восстания вместо удовлетворения законных требований трудящихся?! Вы убиваете крестьян и рабочих за их требования перевыборов Советов, за их защиту себя от ужасающего, небывалого при царях произвола ваших застенков-«чрезвычайек», за защиту себя от произвола большевиков-назначенцев, от обид и насилий реквизиционных отрядов, за всякое проявление справедливого революционного недовольства...

...Никто не верит вашим известиям о левых социалистах-революционерах. Из них берут только факт защиты нами власти Советов, которую вы уничтожили, власти трудящихся, с которой вы перестали считаться...

...Ваша политика объективно оказалась каким-то сплошным надувательством трудящихся...

Для того чтобы советская власть была барометрична, чутка и спаяна с народом, нужна беспредельная свобода выборов, игра стихий народных, и тогда-то и родится творчество, новая жизнь, новое устройство и борьба. И только тогда массы будут чувствовать, что все происходящее — их дело, а не чужое. Что она сама (масса) творец своей судьбы, а не кто-то, кто ее опекает и благодворит...

А ваша «чрезвычайка»!.. Именем пролетариата, именем крестьянства вы свели к нулю все моральные завоевания нашей революции. Мы знаем про них, про ВЧК, про губернские и уездные «чрезвычайки» вопиющие, неслыханно вопиющие факты. Факты надругательства над душой и телом человека, истязаний, обманов, всепожирающей взятки, голого грабежа и убийств без счета, без расследований, по одному слову, доносу, оговору, ничем не доказанному, никем не подтвержденному. Именем рабочего класса творятся неслыханные дерзости над теми же рабочими и крестьянами, матросами и запуганными обывателями... Ваши контрреволюционные заговоры, кому бы они могли быть страшны, если бы вы сами так жутко не породнились с контрреволюцией... Когда советская власть стала не советской, а только большевистской, когда все уже и уже становилась ее социальная база, ее политическое влияние, то понадобилась усиленная бдительная охрана латышей Ленину, как раньше из казаков царю или султану из янычар. Понадобился так называемый красный террор... из-за поранения левого предплечья Ленина убили тысячи людей. Убили в истерике (сами признают), без суда и следствия, без справок, без подобия какого-либо юриди-

¹ Вандейские войны правительства Франции с мятежниками-роялистами в западных провинциях страны во время Великой французской революции. Название получили по департаменту Вандея — главному очагу контрреволюции в 1793 г.

ческого, не говоря уже нравственного, смысла. Да, Ленин спасен, в другой раз ничья одинокая, фанатичная рука не поднимется на него. Но именно тогда отлетел последний живой дух от революции, возглавляемой большевиками. Она еще не умерла, но она уже не ваша, не вами творима. Вы теперь только ее гасители. И лучше было бы Ленину тревожней жить, но сберечь этот дух живой. И неужели, неужели Вы, Владимир Ильич, с Вашим огромным умом и личной безэгоистичностью и добротой, не могли догадаться и не убивать Каплан?¹ Как это было бы не только красиво и благородно и не по царскому шаблону, как это было бы нужно нашей революции в это время нашей всеобщей оголтелости, остервенения, когда раздаются только шелканье зубами, вой боли, злобы или страха и... ни одного звука, ни одного аккорда любви...

Эти ночные убийства связанных, безоружных, обезвреженных людей, втихомолку, в затылок из нагана на Ходынке, с зарыванием тут же ограбленного (часто донага) трупа, не всегда добитого, стонущего на этой же Ходынке, в одной яме для многих, не могут называться террором. Какой это террор!.. (что не террор, а бойня — это факт. — Ю. В.)

Вы скоро окажетесь в руках вашей «чрезвычайки», вы, пожалуй, уже в ее руках. Туда вам и дорога. Но, бешено защищая себя через этот орган, себя, а не рабочий класс, не смейте говорить при этом от имени пролетариата и крестьянства... Революция, хотя вы и выдаете мандаты на участие в ней, подобно мандатам на получение калаша, не может быть вашей монополией... Сама сущность восстания масс предпрещает в себе самой совершенно иные законы борьбы, чем те, что вы ей подсунули. Пользование робеспьеровскими фразами из времен Французской революции, бывшей полтора столетия тому назад, в совершенно иной обстановке — не аргумент и не оправдание, но Робеспьер так же подкосил и жестоко повредил своим террором Французской революции, как вы — русской. А как за эту своеобразно понимаемую диктатуру будут расплачиваться своей жизнью и честью не вы, а пролетариат и крестьянство, воображение отказывается представить...»

И уже подлинным пророчеством веет от слов Марии Спиридоновой:

«Мы-то знаем хорошо, что вы можете сделать во имя партийной дисциплины. Мы знаем, что у вас все дозволено во имя ее...»

Дозволено было действительно все!

Я почерпнул биографические сведения о Спиридоновой из Советской исторической энциклопедии². Но оказывается, дни

¹ Ленин ни единым словом не осудил массовые убийства из-за своего ранения.

² См. т. 13. М., 1975, с. 75.

Марии Александровны пресеклись иначе: «женевская» гадина снова приготовила сюрпризик. Тут уж никуда не денешься, энциклопедия эта и написана, чтобы утверждать ложь — этакий песочек поверх прокисшей от крови российской земли. Уже который раз убеждаюсь в ее лживости. И ведь издана не столько для обыкновенных читателей, сколько для научных работников и преподавателей общественных дисциплин. Заквашенная на подлогах наука.

Каждая справка (почти каждая) содержит или откровенную ложь, или искажения. В общем-то, так и должно быть. Изолированного зла в едином организме быть не может. Весь организм питается ложью и соответственно источает ложь...

Мария Александровна оказалась расстрелянной среди 161 человека 11 сентября 1941 г.¹ В ту ночь или в те дни (есть предположения, что расстрелы продолжались с 11 по 15 сентября в Медведевском лесу — это совсем недалеко от Орла) Мария Александровна уже давно отбывала тюремный срок в Орле. Всесоюзную армию коммунистов, занятую впечатляющим строительством социализма — одного огромного погребального склепа для всех сразу, — аресты миллионов сограждан, в том числе и товарищей по партии и убеждениям, не интересовали. Дело очищения земли от всякой нечисти они препоручили вождям и ВЧК-НКВД. И вообще, эти люди с партийными билетами были накрепко выучены против любви и дружбы, даже не то чтобы выучены, а притравлены, поскольку за этими чувствами находит убежище враг. И не моргнув выдавали «женевской» твари любого, даже жену, отца, детей. И после преданно служили этому Отечеству. У народа был вырезан и кремирован «орган» восприятия дружбы и достоинства, верности и гордости. Взамен была каждому (разумеется, не каждому, а только заслужившему) дана картонная книжечка — партийный билет. Отныне он заменял все кремированные органы чувств.

Среди расстрелянных в Медведевском лесу были: соратник Ленина, бывший предсовнаркома Украины Христиан Раковский, жена Льва Каменева, Ольга Каменева (она же — сестра Троцкого), агент НКВД и предатель белой гвардии Сергей Эфрон (муж Марины Цветаевой)... На Сергее Эфроне кровь и муки Марины Цветаевой, неповторимой Марины — гордости, чести русской поэзии, подлинной Святой...

Ленин.

Если год за годом десятки лет корпишь над ленинскими документами, сознание само постепенно вычленяет основное в его натуре.

Во-первых, это величайшая ненависть к капитализму с величай-

¹ А до этого находилась в Алма-Ате (отнюдь не в Уфе), где отбывала бессрочную ссылку. Господи, одна из самых трагичных фигур революции: почти девочкой изнасилована, жестоко избита, после — каторга, революция, аресты, ссылка и расстрел. Вот и вся жизнь ради народа.

евичу тест на кровь (славянство) у наших патриотов. Офранцузился поэт, омасонился, подмывает устои народной жизни, а «Сказка о попе и работнике его Балде» — прямой выпад против православия.

Разумеется, стихи не были напечатаны при жизни поэта¹.

Они не типичны для гения поэта. Надо полагать, посему их и не печатают в сборниках и учебниках. После столь заботливого объяснения (как у сердобольного психиатра) на душе опять простор².

...Я вышел рано, до звезды...

Вышли-то мы уж определенно не до звезды. В самый сезон вышли, за Лениным; стало быть, при ней и под ней, родимой. Тут никакой ошибки со временем. Все согласно предсказаниям поэта...

Именно так: в нас уживается ненависть к Дантесу и Мартынову с любовью к Сталину — убийце миллионов и губителю миллионов любовей. Мы ненавидим Николая Первого за палочное прошлое России и боготворим Ленина — творца самой бездушной и кровавой диктатуры.

Утверждение новой нравственности (классовой) — нравственности от Ленина — и сделало возможными все те убийства миллионов, надругательства, беспросветную нужду, за которые мы клоунски клали благодарные поклоны партии и вождям.

Убийства людей считали как бы несуществующими, ибо они были направлены против «классово чуждых».

На этой шестой части земной суши убийствами утверждали (и еще будут утверждать) свое право на власть.

А если отбросить 55 томов рассуждений, речей и поучений Главного Октябрьского Вождя, картина открывается не печальная, а трагически-катастрофическая. Не Россия за серпом и молотом, а развалины и кладбище.

Под свою изуверскую прихоть, свою утопию («историческую неизбежность») этот человек, принимаемый всем миром за гиганта мысли, великого революционера и гуманиста, положил не дрогнув много миллионов жизней, а других начисто обездолил (они верили, что живут, а они существовали). И все это нарек социализмом.

¹ Делаю эту сноску 20 сентября 1990 г. Безуспешны все попытки издать «Огненный Крест». Не прорваться сквозь чащобу «гэбэшных» заслонов, стяжателей, ненавистников, невежд с дипломами, высокими отличиями, дачами и машинами, тех, кто режет живую плоть книги не хуже мясника на бойне. Мародеры и кровососы от литературы!

² Кому нужно «слово»? Да все в этом мире помешались на доходах. Пусть сгорит самое совершенное и проникновенное слово, пусть зачахнут за столами все, кто освятил и осветил разум человечества мыслью, — да на кой ляд они без дохода! В крайности можно отметить камнем — надгробием покрупнее, — и пусть не шевелятся, лежат.

Общество торгашей. Все продается — совесть, жена, честь, дочь, Бог... Дело лишь за ценой.

Задвинули землю церквами, минаретами, талмудами, горами священных книг, а что они могут без дохода, выгоды, валюты?..

Все убийства, вся неправда, все глумления прикрываются и освящаются у нас именем богочеловека — Ленина. Это как бы индульгенция — удостоверение в правоте и необходимости содеянного.

Давно уже нет Ленина, а ленинизм все тянет истлевшие руки к плоти народа.

Дух народа, закованный в объятия скелета...

И по сей день вечный мертвец учит жизни, череп и кости учат смеху и танцу жизни.

Кстати, тем, кто в преклонении перед поэтом собирает разные факты из его жизни, пусть даже сущую мелочь.

Так вот, тот самый слизисто-скользкий барон Геккерен, что сыграл такую роль в гибели Пушкина, накануне Крымской кампании 1853—1856 гг. окажется высокопревосходительным послом Голландии в Австро-Венгрии и там, в музыкальной Вене, весьма преуспеет в натравливании Франца-Иосифа и его правительства на Россию. Не ржавит зло, уж коли дано — то до гробовой доски...

Его «приемное чадо» Дантес сделает карьеру... А что им, прохвостам? У них душа совсем под другую жизнь сработана.

Так вот, «милый» Жорж Дантес, вроде бы с позором изгнанный из России высочайшим гневом Николая Первого, будет им же обласкан всего через 13 лет после убийства на Черной речке.

Будущий владыка Франции Наполеон Третий (племянник Наполеона Бонапарта, а тогда, в 1850 г., принц Луи Наполеон), пошлет в Берлин гонца к императору Николаю Павловичу. И тот ласково примет посланца племянника большого Наполеона и удостоит его конной прогулкой. А им и впрямь было о чем поговорить и вспомнить с глазу на глаз... Николаю Павловичу, напялившему тесный мундирчик камер-юнкера на Пушкина... и Дантесу.

Любовь народа?

Что она, эта любовь, ежели не отводит пулю, не защищает? Стоит человек впереди всего народа, за народ стоит — и, как решето, издырявлен ненавистью, клеветой и настоящими, полновесными пулями.

В России любовь народа никого не защитила. Всех, кого власти хотели, и травили, и доводили до смертных болезней или просто убивали, а ежели понахрапистой власть — то и казнила. У нас народная любовь — это приговор, это вроде прозрачного, летучего сава-на. Всегда покрывает покойника: найдет еще живого, сильного — и покроет. Пухом опустится на отмеченного привязанностью сердец — и нет покрывала, прозрачное: не видно его, совсем не видно... одни запечатанные уста под накидкой любви... и проломленная под тяжестью жизни грудь...

После, много лет спустя, только и зачернеют на бумаге слова сочувствия и боли. Но всегда — после...

Нашелся около Николая Первого и такой сановник, что прямо молвил о трагедии гибели Пушкина для России. Фельдмаршал Пас-

кевич (кавалер всех высших российских орденов, ему по повелению царя отдавали почести, равные почестям августейшей особе его величества государя императора) написал Николаю Павловичу сразу после кончины поэта, что скорбит и оплакивает погибшее будущее Пушкина.

И ничего, снес, стерпел гневливый Николай Павлович. Был ему князь Паскевич единственным человеком во всей тогда 52-миллионной России, которому он доверял — единственному!.. Да, еще очень прислушивался к своей невестке — великой княгине Елене Павловне. Но та, помнится, Пушкина не жаловала...

А Дантес? Так то для игры чувств...

Погибшее будущее Пушкина...

Вот данные о Паскевиче из книги «Русские полководцы» (Санкт-Петербург. В типографии Константина Жернакова, 1845):

«Иван Федорович Паскевич, Российской империи князь с титулами Светлейшего и Варшавского и граф с титулом Эриванского, Российских войск генерал-фельдмаршал, генерал-адъютант, главнокомандующий действующей армии... имеющий портрет Государя Императора Николая Павловича с алмазами, ордена: Российские — св. апостола Андрея Первозванного с алмазами, св. Георгия 1-й степени, св. Владимира 1-й степени, св. Александра Невского с алмазами, Прусские — Черного Орла с алмазами и Красного Орла 1-й степени... серебряные медали за 1812 г. и за взятие Парижа, за Персидскую и Турецкую войны и за взятие Варшавы... золотую шпагу с алмазами и надписью: «За храбрость», золотую шпагу с надписью: «За поражение Персиян при Елисаветполе» и золотую шпагу с алмазами, пожалованную Королем Прусским, — родился Мая 8-го, 1782 г., в Полтаве...»

Для справки: «Портрет на шею» — царский портрет, украшенный бриллиантами, — высшая награда, которая давалась только получившему все другие ордена.

В 1946 г. в СССР из Чехословакии поступил Русский заграничный исторический архив. Именно из этого архива были извлечены письма адмирала Колчака Тимиревой (так называемый дневник Колчака). Среди обилия архивных документов хранится и неотправленное письмо Чернова Ленину. Это даже не письмо, а черновая рукопись начала 1919 г.

«Милостивый государь Владимир Ильич.

Для Вас давно не тайна, что громадное большинство Ваших сотрудников и помощников пользуются незавидной репутацией среди населения; их нравственный облик не внушает доверия; их поведение некрасиво; их нравы, их жизненная практика стоят в режущем противоречии с теми красивыми словами, которые они должны говорить, с теми высокими принципами, которые они

должны провозглашать, и Вы сами не раз с гадливостью говорили о таких помощниках...

Вы правы. Великого дела нельзя делать грязными руками... В грязных руках твердая власть становится произволом и деспотизмом, закон — удавной петлей, строгая справедливость — бесчеловечной жестокостью, обязанность труда на общую пользу — каторжной работой, правда — ложью...

Кругом неподкупного, добродетельного Робеспьера могли кишеть взяточники, плуты, себялюбцы; тем выше по закону контраста подымался он над ними в представлении толпы.

Вы приобрели такую славу «безупречного Робеспьера». Вы не стяжатель и не чревоугодник. Вы не упиваетесь благами жизни и не набиваете себе тугих кошельков на черный день, не предаетесь сластолюбию и не покупаете себе под шумок за границей домов и вилл, как иные из Ваших доверенных; Вы ведете сравнительно скромный, плебейский образ жизни...

Я, будучи Вашим идейным противником, не раз отдавал должное Вашим личным качествам. Не раз в те тяжкие для Вас времена, когда Вы своим путешествием через гогенцоллерновскую Германию навлекли на себя худшее из подозрений, я считал долгом чести защищать Вас перед петроградскими рабочими от обвинения в политической продажности, в отдаче своих сил на службу немецкому правительству. По отношению к Вам, оклеветанному и несправедливо заподозренному, хотя бы и отчасти по Вашей собственной вине, я считал себя обязанным быть сдержанным. Теперь — другое время... Ваши восторженные приверженцы провозгласили Вас вождем всемирной Революции, а Ваши враги входят с Вами в переговоры, как равные с равным... И теперь я морально свободен от этой сдержанности...

О да, Вы не вор в прямом, вульгарном смысле этого слова. Вы не украдете чужого кошелька. Но если понадобится украсть чужое доверие, и особенно народное доверие, Вы пойдете на все хитрости, на все обманы, на все повороты, которые только для этого потребуются. Вы не подделаете чужого векселя. Но нет такого политического подлога, перед которым Вы отступили бы, если только он окажется нужным для успеха Ваших планов. Говорят, в своей личной, частной жизни Вы любите детей, котят, кроликов, все живое. Но Вы одним росчерком пера, одним мановением руки прольете сколько угодно крови и чьей угодно крови с черствостью и деревянностью, которой бы позавидовал любой выродок из уголовного мира. ...Вы человек аморальный до последних глубин своего существа. Вы себе «по совести» разрешили преступать через все преграды, которые знает человеческая совесть...

Вы хорошо знаете, Владимир Ильич, какая организация произвела в Петрограде переворот в ночь с 24 на 25 октября. Это был Ваш Военно-Революционный Комитет г. Петрограда. И в самый день 24 октября эта организация заявила во всеуслышание, заявила не правительству, нет, а всему народу: вопреки всяким слухам и толкам

Военно-Революционный Комитет заявляет, что он существует отнюдь не для того, чтобы готовить и осуществлять захват власти...

Скажите, Владимир Ильич, у Вас не выступает краска стыда на лице, когда Вы теперь вспоминаете, до чего изолгаться приходилось всем Вашим органам, говоря об Учредительном собрании?..

И Вы сами, лично Вы, Владимир Ильич, Вы торжественно и всенародно обещали не только созвать Учредительное собрание, но и признать его той властью, от которой в последней инстанции зависит решение всех основных вопросов. Вы в своем докладе по «Декрету о мире» заявили дословно следующее: «Мы рассмотрим всякие условия мира, всякие предложения. Рассмотрим — это не значит еще, что примем. Мы внесем их на обсуждение Учредительного собрания, которое уже будет властью решать, что можно и что нельзя уступить».

...Вы и Ваши товарищи давали пред лицом всей страны торжественные обещания уважать волю Учредительного собрания как последней и решающей властной инстанции — мы Вам не верим. Мы были убеждены, что противоречие между Вашими всенародными обещаниями и Вашей собственной предыдущей деятельностью есть лишь доказательство Вашего двуязычия...

После его разгона Вы стали в положение изобличенного лжеца, обманными обещаниями укравшего народное доверие и затем кощунственно растоптавшего свое слово, свои обещания. Вы сами лишили себя политической чести.

Но этого мало. В тот самый день, когда собиралось Учредительное собрание — 5 января 1918 года, — Вы дали во все газеты сообщение о том, что Совет Народных Комиссаров признал возможным допустить мирную манифестацию в честь Учредительного собрания на улицах Петрограда. После такого сообщения расстрел мирных демонстрантов я вправе клеймить именем изменнического и предательского, а само сообщение — величайшей политической провокацией. Это предательство, эта провокация неизгладимым пятном легли на Ваше имя. Эта впервые пролитая Вами рабочая кровь должна жечь Ваши руки. Ничем, никогда Вы ее не смоете, потому что убийство, связанное с обманом и предательством, смешивает кровь с грязью, а эта ужасная смесь несмываема.

Ваша власть вошла, как на дрожжах, на явно обдуманном и злостном обмане. Я доказал это документально. Отпереться от собственных слов Вы не можете. Написанного пером не вырубить топором. Но когда власть в самом происхождении своем основывается на глубочайшей лжи, на нравственной фальши, то эта зараза пропитывает ее насквозь и тяготеет над ней до конца.

Ваш коммунистический режим есть ложь — он давно выродился в бюрократизм наверху, в новую барщину, в подневольные, каторжные работы внизу. Ваша «советская власть» есть сплошь ложь — плохо прикрытый произвол одной партии, издевающейся над всякими выборами и обращающей их в недостойную комедию. Ваша

пресса развращена до мозга костей возможностью лгать и клеветать, потому что всем остальным зажат рот и можно не бояться никаких опровержений. Ваши комиссары развращены до мозга костей своим всевластием и бесконтрольностью... Моральное вырождение личного состава коммунистической партии — это логическое последствие того метода, которым добывали ей власть и упрочивали ее. А если это вырождение, это развращение доходит до «последней» черты в практике наших Чрезвычайных Комиссий, дополняющих мучительство и издевательство... насаждающих предательство и провокацию, не брезгующих и не боящихся ни крови, ни грязи, — то вспомните, что той же смесью крови и грязи, обмана и предательства, измены и провокаций было запечатлено самое пришествие Ваше к власти в роковые дни, увенчанные 5 января 1918 года...»

Для Ленина подобные письма (Спиридоновой, Чернова и др.), как и упреки разного рода авторитетов, групп общества, да и всей мировой общественности, ровно ничего не значили. Его цель: разрушение капитализма и построение его, московского, социализма — все прочее не имеет цены. Не исключена его органическая невосприимчивость к такого рода упрекам и обвинениям (и петля, удушившая брата, и пули, полученные им самим от Каплан, и горе трудовых людей, рабство, эксплуатация уже успели подготовить, «подбронировать» эту невосприимчивость), ибо эти несогласные группы людей и отдельные известные личности, партии, даже государства находились как бы в другом измерении, поскольку стояли вне понимания смысла движения вообще (в его, ленинском, понимании). Этот смысл — сокрушение старого мира со всеми вытекающими отсюда последствиями. И что тут могут значить Добро, Зло, честь, хула, клевета, истинные вопли боли и отчаяния, миллионные смерти, рассуждения интеллигенции и осуждения самых мощных умов человечества? Да ровным счетом ничего! Имеет значение лишь продвижение к этой цели, то есть все то, что является вещественной, предметной силой, способной к действию, изменению условий и содержания борьбы. Все остальное — тени, пустота. Речи призраков бессмысленны, да и бесплодны, по преимуществу бесплодны.

Здесь истоки беспримерного террора, возведение его в самостоятельную величину. Гибель царского семейства в данном потоке — всего лишь казус. Как люди не могут уразуметь, что это лишь голая историческая неизбежность, а не их, большевиков, прихоть? Существует НЕЧТО, и оно, а не Ленин определяет характер борьбы и поступков и вообще жизни миллионов. Это НЕЧТО — сокрушение капитализма, историческая необходимость. И все, даже он, Ленин, всего лишь орудия грандиозного процесса. Как люди не могут это взять в толк?

Отсюда и отношение Главного Октябрьского Вождя к интелли-

генции. Она постоянная помеха в движении к цели. Она лишена предметной силы — неспособна стрелять, производить продукты, пахать. Она только «болтает», пишет. И это рождает у Ленина безграничное презрение к ней, даже больше — брезгливость. За всю свою жизнь эти люди так и не уяснили главного — закономерности исторических процессов и значения силы. Их слова — лишь сотрясение воздуха, это сродни слабоумию. И Ленин вычеркивает из обращения своих чувств, мыслей это понятие: интеллигенция. Это только грязь, мешающая идти. Только грязь...

Каково?!

Большевизм вдребезги расшиб эсерство. Теперь это только странички документов. Если идея большевизма продолжает смущать людей, эсерство навсегда опустилось в бездонную пучину прошлого — небытия, из которого нет возврата.

Уцелели одни имена, книги, память о покушениях. А было!.. Теснилась за партией социалистов-революционеров, почитай, вся Россия. Лишь террор Ленина оборвал, казалось бы, неодолимое шествие эсеров к власти... Разумеется, это не совсем так. Все определило отношение к войне. Если бы не эсеровско-кадетский лозунг «Война до победного конца», кто знает, могли они и построить свой социализм, скажем наподобие скандинавского. Окажись эсеры победителями в смуте тех лет (а именно они взяли верх на выборах в Учредительное собрание), Россия уверенно превращалась в буржуазную республику с передовым сельским хозяйством, которое неизбежно бы вызвало к жизни и бурный промышленный рост. Живодерский террор ленинцев пресек и этот путь, а был он обещан и вполне реален при эсеровском большинстве в Учредительном собрании. И определенная часть офицерства и даже генералитета разделяла программу господ эсеров. Взять хотя бы первого Верховного главнокомандующего у белых генерала Болдырева. Какие-то точки соприкосновения с эсерами определенно просматривались и у генерала Деникина, и даже Корнилова с Колчаком. Отказ от выхода из мировой войны и предопределил крах этого политического течения, столь очевидно главенствовавшего в России дооктябрьской.

В 1921 г. Виктор Михайлович Чернов с головой уходит в книгу воспоминаний, которой дает название «Записки социалиста-революционера». В памяти еще все свежо. Она в мельчайших подробностях держит события двух роковых десятилетий. Перо не поспевает за мыслью. Поражение эсеров в столкновении с большевизмом не убавило революционной веры — вождь эсеров так же по-юношески воодушевлен, в нем нет черной ревности, злобы, он предан идеалам своей России.

Виктор Михайлович работает удивительно быстро. Первая

книга воспоминаний появится в издательстве З. И. Гржебина уже на следующий год. Еще только в октябре этого, 1922 г. Пятая армия красных займет Владивосток — последняя крупная операция Гражданской войны. Нет, неспроста Берлин, где выходит в продажу книга Чернова, переполнен русскими эмигрантами. Нет им места в России, ни клочка не осталось — всюду красный стяг. А большевизм уже тысячами ручьев просачивается в послевоенную Европу. Трещат старые и новые демократии. Даешь красный Интернационал и советскую Европу! Это такой напор единомыслия, сплоченности, духовной цельности — людям на Западе это даже мнится новой биологической силой, активной, всепроникающей и чрезвычайно живучей, плодотворной. Тихий, спокойный Запад оказывается под угрозой растворения и капитуляции.

А Виктор Михайлович корпит над воспоминаниями.

«...Мне посчастливилось, — обращается он к России, — привязать мятущуюся молодежь к реальному делу, формирующему мирозерцание прочнее и надежнее всяких словесных доводов. Это была живая связь с просыпающимся для грядущей революции крестьянством».

С упоением пишет Виктор Михайлович о рождении могучего революционного течения, сумевшего побороть марксизм Плеханова и Ленина — русский марксизм, столь чудовищно страдающий «крестьянофобией», «знающий одного идола — пролетариат».

«Пусть марксизм совершал геркулесовские подвиги в литературе; мы даже сочувствовали ему, поскольку он безжалостно чистил застоявшиеся авгиевы конюшни выродившегося легального народничества, променявшего революцию на скромное культурничество. Пусть марксизм дотоле не встречал равного себе по силам противника; мы чувствовали себя Антеями, прикоснувшимися к неистощимому источнику силы, к земле, деревенской мужицкой матери сырой земле; и пока марксизм был бессилен оторвать нас от нее, мы чувствовали от каждого соприкосновения с приходящей в брожение мужицкой стихией прилив новых сил и веры в правоту своих взглядов...

Но прежде, чем прийти к этому, почти все переживали период колебаний, почти все перебивали «без пяти минут марксистами»...

Социалисты-революционеры, по мысли Виктора Михайловича, должны первыми в истории России образовать истинно братский союз крестьянства с пролетариатом. В единое целое данный союз свяжет революционная интеллигенция. Это будет не тот союз, в котором безраздельно главенствует рабочий класс: каждый, кто бы ни был, подмят волей пролетариата и безоговорочно подчиняется его приказам.

Книга расходится по эмигрантским углам, когда в России едва стихают грохот пушек и пулеметный лай (зато круто возрастает поток обреченных через множество чекистских отделов, подотделов и управлений, но этот поток земля принимает безгласно и без свидетелей: только палачи и жертвы).

Разрушенная, голодная, голая страна. Голая в буквальном смысле — в руинах дома, деревни, — и народ в лохмотьях: одежды нет. Степень обнищания и оголодания вселяет ужас в тех, кто посещает Россию в эти годы (но не в оборотистого мистера Арманда Хаммера¹, который именно тогда установит предпринимательскую связь с большевиками, с тем чтобы впоследствии основательно приложиться к богатствам и сокровищам великой славянской державы). Миллионы людей замучены, убиты. Миллионы сгубили эпидемии, голод и другие болезни.

Россия распалась на два народа, один — несравненно малочисленней другого. Однако эти два народа, несмотря на всю кровавую дань смуте, непримиримы. И этот один, что несравненно малочисленней, уполз за пределы Отечества, забился по чужим дворам и убого доживает век, а кто и только начинает (и отнюдь не убого), как, скажем, юный Набоков и тысячи других предприимчивых и талантливых россиян.

Россия! Гордая наследница Византии! Великая Русь!..

В книге воспоминаний Чернова привлекает внимание мысль, которая звучит ныне, пожалуй, еще с пущей убедительностью. Ее осознание дает ключ к разумению не только обильных на трупы событий, но и трагедии, которую мы переживаем последние годы.

«...При работе в деревне нельзя обойти, нельзя игнорировать великую моральную проблему. За религию крестьянская мысль схватилась потому, что не знала иной опоры для нравственного сознания. «Бога в тебе нет» — это прежде всего значило: нет в тебе справедливого, человеческого, душевного отношения к ближнему. Разрушая религию, мы разрушали наиболее привычную и понятную подпорку, или, точнее, фундамент, личной праведности. Надо было дать взамен какой-то другой фундамент; иначе революционное движение в деревне грозило принять мелкий сословно-эгоистический характер, морально обескрылиться...»

Наш социализм (построение его эсеры тоже ставили своей целью. — Ю. В.) для того, чтобы втянуть в себя все лучшие элементы деревни, должен был предстать не как сухое учение о более рациональной организации народного и государственного хозяйства, а как вместе с тем возвышенная моральная философия. Хотели мы того или не хотели, но крестьяне в нас видели не просто социальных лекторов, а апостолов. Им нужны были новые святые (большевики и подсунут им Ильича. — Ю. В.) для их новой светской религии...»

Троцкий не спешил с годами, и мудро поступал. Впереди навстречивалась не жизнь, а сплошной кошмар для него: «массовые отрав-

¹ На деловую орбиту его вывел Ленин. После встречи с молодым американцем он распорядился помочь ему: надо помочь нажать капитал этому парню (Хаммеру). А он и нажил миллиарды, ограбив Россию...

ления скота и всякой живности на Украине», «охота за вождями партии — бывшими товарищами по борьбе», «алчное накопление иностранного золота», «служба в гестапо» (с расчетом на пенсию) и тому подобные мерзостные штучки¹. Да-да, уж лучше было погодить, застряв в революционных годах — это ж была жизнь (для Троцкого, разумеется)!

25 октября по старому стилю — день рождения Троцкого. Тоже, знаете ли, своего рода знамение: родиться в первый день революции, волей и мозгом которой будешь с первых ее мгновений.

В октябре 1920 г. Троцкому исполнился сорок один — сочный возраст: и ум с опытностью, и еще неплохое здоровье. В тот же год он по-прежнему правил Народным комиссариатом по военным делам, организуя Рабоче-Крестьянскую Красную Армию, и по значению в партии шел прочно вторым за Лениным, а нередко и выходил с ним на одну боевую линию — настоящий вождь, из самых хватких и напористых! Через несколько лет выйдет его собрание сочинений². Нет сомнений, безоблачным и радостным рисовалось ему будущее.

После руководства Петербургским Советом рабочих депутатов в первую русскую революцию 1905—1907 гг. (сменил на этом посту революции Хрусталева-Носаря, тогда же вместе с Парвусом издавал и «Русскую газету»; это хорошо: Парвус (Александр Гельфанд) и Троцкий (Лев Bronштейн) издают «Русскую газету»!) и победы Октябрьской революции, двигательной пружиной которой он являлся еще с предгрозовых сентябрьских дней семнадцатого, и особенно теперь, после уже, можно сказать, совершившегося красного триумфа в Гражданской войне, все годы которой он, Лев Давидович, возглавлял Реввоенсовет первой в мире рабоче-крестьянской республики, и не только его возглавлял, а руководил лично Красной Армией в самые переломные моменты борьбы... Так вот, после всего этого и еще много чего не менее героического его голосу внимали наравне с ленинским. Великий борец за народное счастье Троцкий!

Локкарт пишет о Троцком-ораторе:

«Как оратор-демагог Троцкий производит удивительно сильное

¹ Именно это приписывали ему на известных процессах 30-х годов в Москве.

² Сочинения Л. Д. Троцкого вышли в свет в 1925—1927 гг. в 21 томе (27 книг). Собрание составили семь серий:

- 1) «Историческое подготовление Октября»;
- 2) «Перед историческим рубежом»;
- 3) «Война»;
- 4) «Проблемы международной пролетарской революции»;
- 5) «На пути к социализму»;
- 6) «Проблемы культуры»;
- 7) «Ленин и ленинизм».

Пока писал эту тьму слов — и проворонил Сталина.

впечатление, пока он сохраняет самообладание. У него прекрасная свободная речь, и слова льются потоком, который кажется неиссякаемым. В разгаре красноречия его голос подобен свисту».

Вдумчиво, но решительно и не щадя сил ставил Троцкий Красную Армию на принципиально новые организационные основы. Ленин выбрасывал лозунги, рождал идеи, осуществлял общее руководство, а он, Троцкий, претворял их в кровь и плоть повседневных забот (между прочим, тоже не скупясь на идеи и лозунги). Институт военных комиссаров (позаимствован у Французской революции 1793 г.), характер подчинения, дисциплина в народной армии, ее структура, организация тыловой службы, призывы в армию, военная доктрина, штабы... — все являлось новым, на новых основах, никем и ничем не испытанным и не пройденным.

В честь блистательного Льва Давидовича назвали аж два города, да еще и тысячи улиц, площадей, полустанков, заводов, школ, разных коммун. Республика трепетала в признательности.

Во френче, высоких сапогах, белолицый, плотно-упитанный, острый на слово (не было равных ему в мгновенном ответе на злую реплику), в строгом пенсне — таким знал его каждый сознательный гражданин.

На Красной площади белогвардейцы мечтали повесить рядом с Лениным Троцкого. Этой чести следовало удостоиться.

Конечно, не такой родной, как Ильич, но зато завидной поворотливости, проницательности и преданности революции. Едва ли не любой митинг или плановое собрание (тогда стихийных, от сердца, в России не было) заканчивали здравицами в честь Ленина и Троцкого — это уже разумелось само собой. Конечно, и «Интернационал» пели, прежде чем разойтись. Из самых заскоружлых уголков республики (бывшего оплота мракобесия и рабства) рабочие слали приветствия бесстрашному борцу (надо полагать, и Буревестник (Горький) к нему присматривался: не положить ли на бумагу, в вековую тесноту строк, не пора ли?..): в надежных руках дело защиты и строительства республики!

Да здравствует наркомвоен Троцкий!

Сталина тогда и не упоминали — предостаточно таких комиссаров. Словом, орлом глядел в будущее Лев Давидович, и имел на то законные основания. А все же понять не мог (в чем и обнаруживал слабость), что «орлом глядеть» — это уже поражение, погибель. Надо шакалом, змеей на брюхе ползти в будущее. Тогда только и сохраняются шансы на «орлиные» крылья.

И подозревать не подозревал Лев Давидович, что спустя какие-то годы Сталин потребует суда над ним, наиглавнейшим винтом Октября 1917 г.! Выложит свои требования генеральный секретарь на заседании политбюро. И каждый поймет правильно: это — требование на физическое уничтожение Льва Давидовича...

За судебную расправу поднимут руки Молотов и Ворошилов — эти штамповали все, что исходило от Сталина.

Против выскажутся Калинин, Рыков, Бухарин.

Обе стороны сойдутся на ссылке. Позже вышлют и за границу. И это не смутит Сталина. ВЧК-ОГПУ достанет Троцкого хоть из-под земли. Пусть едет...

«Одно несомненно: Мура (М. И. Будберг¹ — последняя жена Горького и горячая, неизбежная страсть Брюса Локкарта, а также и любвеобильного Герберта Уэллса. — Ю. В.) повезла архивы в Москву, и они были отняты у нее, — строит свои заключения Н. Берберова, — и Горький не увидел их... Сталин замыслил завладеть в один год (1936-й) тремя нужными архивами... в Европе, и в один год получил их все три: первый был получен путем поджога, это был архив Троцкого в Париже; второй архив — был архив Горького, он был получен Сталиным путем сделки с умирающим Горьким. Наконец, третий был взят путем взлома из скромной квартиры Керенского в Пасси... Мне известно это со слов самого Керенского.

Вдова Троцкого Н. И. Седова незадолго до своей смерти подробно рассказала, как был взят архив Троцкого... Всего было четыре налета... Эти четыре налета на архивы Троцкого, организованные Сталиным, стоят в зловещей симметрии с убийствами четырех детей Троцкого, прямыми или косвенными: Нина умерла от туберкулеза на почве истощения, Зина покончила с собой, Сергей был застрелен в Сибири, видимо, в концлагере, и Лев был отравлен в парижском госпитале...»²

В общем, Сталин оправдал характеристики Троцкого.

«При огромной и завистливой амбициозности, он (Сталин. — Ю. В.) не мог не чувствовать на каждом шагу своей интеллектуальной и моральной второсортности...

Сталин вообще поддерживал людей, которые способны политически существовать только милостью аппарата...

Но в великой борьбе, которую мы вели, ставка была слишком велика (то есть существование самой советской власти. — Ю. В.), чтоб я мог оглядываться по сторонам. И мне часто, почти на каждом шагу, приходилось наступать на мозоли личных пристрастий, приятельства или самолюбия. Сталин тщательно подбирал людей с отдаленными мозолями. У него для этого было достаточно времени и личного интереса...»

Добавить тут нечего, разве что игры эти были не в карты или бильярд, а за власть над целым народом и посему обходились не лазанием под стол проигравшего, не хлопаньем картой по носу, а новой гибелью сотен тысяч людей. Следовало оплачивать семинар-

¹ Не вызывает сомнений, что М. И. Будберг работала на НКВД.

² Берберова Нина. Железная женщина. М., «Книжная палата», 1991, с. 245—247.

ско-сумеречное сознание кремлевского властителя, о котором Осип Мандельштам напишет (и заплатит головой):

Мы живем, под собою не зная страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,
А где хватит на полразговорца, —
Там помянут кремлевского горца.
Его толстые пальцы, как черви, жирны,
А слова, как пудовые гири, верны.
Тараканьи смеются усища,
И сияют его голенища.
А вокруг его сброд толстокожих вождей,
Он играет услугами полулюдей.
Как подковы, кует за указом указ —
Кому в лоб, кому в бровь, кому в пах, кому в глаз...

Страшноват был Сталин, но не столько своим неутолимым палачеством, сколько выражением воли миллионов; он являлся отражением миропонимания весьма существенной части России. Он тоже являлся Россией, и немалым «куском» ее. Это был ее вождь, ее взгляд на историю и людей. Недаром столь живуча, неистребима память о нем и любовь к этой памяти. Он был сгустком этих людей, величиной почти в народ.

Ни один маньяк не способен вскарабкаться на трон, если путь к трону не держат спины миллионов. Только по этим согнутым спинам миллионов и можно взять трон.

«На Красной площади воздвигнут был, при моих протестах, — пишет Троцкий, — недостойный и оскорбительный для революционного сознания мавзолей. В такие же мавзолеи превращались официальные книги о Ленине... Воцарился режим чистой диктатуры аппарата над партией...»

До гимна, душевных спазм возвышается речь Троцкого, когда он обращается к революции.

«Революция — великая пожирательница людей и характеров. Она подводит наиболее мужественных под истребление, менее стойких опустошает».

Троцкий не знает (и, естественно, не мог знать) о своей участи и участи своих детей. Но ведь что творил он с Россией, сколько миллионов семей вымерло, растеряло друг друга, осиротело, заковыляло на костылях, забухало чахоточным кашлем! Да разве это он? Это ОНИ счастье людям добывали. Сознать надо. Ведь еще раз надавить — и распахнется дверь в новую жизнь...

И не обманул Троцкий: распахнулась-таки!..

Читаешь сказ о высылке Льва Давидовича из Москвы, а погода — и Советского Союза, — и отвращение мешает переворачивать листы. Бог-громовец революции жалуется, возмущается, страдает, его попутно терзает и загадочно-проклятая температура... Он не таится (надо отдать должное), стоит перед светом и исповедуется, но на свой лад, большевистский: ни на волосок раскаяния за разгром России, страдания и гибель несчетного множества людей. Вся исповедь лишь для того, чтобы вызвать сочувствие, вернуть себе место

возле бессмертного Ленина, отнятое всесоюзным шквалом сталинской пропаганды, замешенной на одной зоологической ненависти: враг Ленина, партии и революции, шпион, вредитель, Иуда Троцкий, мразь, мразь, мразь!..

И все до одного миллиона — верили в это (и это поистине удивительно: все же верили!), ну, может, без десятка-полутора тысяч...

Это почти всегда так: пока пуля, штык, тюремные голод и болезни карают других — сие ИХ, коммунистов, совершенно не трогает, это за чертой человечности, ибо человечность — определение сугубо классовое, и в ней отказано доброй части землян. С сухими глазами и привывочно нахватаемыми руками они теснят к могильному рву толпы «врагов народов» — нет им места в жизни согласно партийно-священным книгам. Но вот от бед своих ОНИ воюют и скулят недостойно, жалко. И ловишь себя на том, что не сочувствие у тебя к строкам об ИХ мытарствах, а презрение, ибо посягнувший на жизни не смеет и не должен роптать на свою участь, тем более звать к снисхождению.

Как убежденный материалист, Лев Давидович не чтит святую заповедь: «Бог не в силе, а в правде». Всю жизнь поклонялся идее и практике революционного насилия и сам с семейством стал жертвой его. Последние месяцы жил как крыса в загоне: не дом, а крепость. Всего и всех страшился.

Сами возложили на себя парик и мантию судей человечества. Определяли чистых и нечистых. В огонь и муку превратили жизнь. Да смеете ли вы жаловаться и роптать на судьбу!

Сталин вступил в РСДРП (тогда еще не было большевиков) в 1898 г. 20 лет.

В год решающих побед советской власти ему, как и Троцкому, исполнился сорок один¹. Сталин, этот великий знаток разных способов и вообще приспособлений по части дематериализации людей, очень скоро докажет, что такое малоприметная техническая работа по расстановке кадров в партии, особенно на местах. Роль и значение будущей партийной бюрократии он осознал сразу, когда никто об этом и думать не думал — надеялись, что покончено со всякой

¹ По розыску в церковных книгах, произведенному в 1990 г., И. В. Сталин родился 6 декабря 1878 г., а не 21 декабря 1879 г. Так что диктатор прожил на один год больше — 74 года и 3 месяца с небольшим. Нигде, ни в чем не осадил его Господь Бог, все дела, которые он затевал, увенчивались успехом и гибелью новых миллионов людей, так что поневоле вспомнишь слова Леонардо да Винчи об иконах и наших молитвах, обращенных к ним:

«Люди будут говорить с людьми, которые имеют открытые глаза и ничего не видят; они будут с ними говорить и не получат ответа; они будут спрашивать милости у того, у кого есть уши, которые не слышат; они будут жечь свечи перед тем, кто слеп».

Величайший злодей прожил 74 года, и волоска не упало с его головы: сытый, наглый, обсосанный народной любовью.

бюрократией еще в семнадцатом; жизни для чего клали, по-новому будет строить государство народ. А Сталин углядел: при таком заворооте дел эта самая бюрократия неизбежна — а коли так, пусть прораствает из его людей, ему преданных, не какой-то там революции и вождям, а ему, Сталину.

Бажанов близко наблюдал всю эту «механику».

«Чтобы быть у власти, надо было иметь свое большинство в Центральном Комитете. Но Центральный Комитет избирается съездом партии. Чтобы избрать свой Центральный Комитет, надо было иметь свое большинство на съезде. А для этого надо было иметь за собой большинство делегаций на съезд от губернских, областных и краевых партийных организаций. Между тем эти делегации не столько выбирают, сколько подбираются руководителями местного партийного аппарата... Подобрать и рассадить своих людей в секретари и основные работники губкомов, и таким образом будет ваше большинство на съезде...»

Вот и вся воля партии, воля народа. Голая игра, интрига. Передвижение пешек.

Уже в 1928 г. бывший слушатель Института красной профессуры и преподаватель философии в Академии коммунистического воспитания им. Н. К. Крупской М. Б. Митин представит на обсуждение кафедры философии работу под необычным тогда названием: «Ленин и Сталин как продолжатели философского учения Маркса и Энгельса».

Руководитель кафедры А. М. Деборин, профессора Луппол и Карев забракуают работу и высмеют Митина: ни Ленин, ни Сталин философами не были. Книги Ленина по философии «Философские тетради», «Материализм и эмпириокритицизм» не философские трактаты, а популярные критические заметки, а Сталин вообще не писал на философские темы.

Другого мнения окажется секретарь партячейки философского отделения слушатель П. Ф. Юдин (будущий сталинский «философ», член ЦК партии, посол в Китае, цепной пес Сталина) — он решительно выступит против своих профессоров и доведет дело до ЦК.

В том же, 1928 г. (28 мая) Сталин впервые изложит план коллективизации сельского хозяйства на объединенном собрании преподавателей и студентов партийных вузов. Тем самым будет объявлен окончательный приговор нэпу и всесоюзному крестьянству.

Не заставит себя ждать вождь и с другим программным заявлением:

«Мировая революция может питаться только советским хлебом».

Этим будут как бы очерчены общие контуры знаменитого сталинского плана советизации мира.

История возвышения Сталина однозначно связана с Лениным. Сталин поднялся в большую партийную политику как несомненный протее Ленин (Ленин пишет о нем в одном из писем: «...здесь у нас есть один чудный грузин»). Главный Октябрьский Вождь искал

«твердую руку». Для насильственно-убойного внедрения всей системы социалистического режима нужны были партийцы, готовые на все. Ленин это углядел в Сталине. «Чудный грузин» даже среди волков вождей той эпохи гляделся обнадеживающе необычно.

И Ленин не ошибся. Русь тысячелетиями будет помнить и Ленина, и его прозорливость, а уж затем Сталина.

С октября 1917 г. Сталин является наркомом по делам национальностей, с марта 1919-го — наркомом Госконтроля и Рабоче-Крестьянской Инспекции; имея в партии репутацию первого знатока национального вопроса, он, несомненно, отражал в понимании этого вопроса и понимании самого Ленина. Не на пустом месте вырос подход Сталина к будущему многонациональной России и всему тому, что столь сокрушительно-кроваво взорвало многонациональный союз народов спустя 70 лет. Такое истолкование природы национальной политики вполне отвечало воззрениям самого Ленина, иначе он непременно добился бы других решений.

Именно Сталин весной 1921 г. выступил на съезде партии с докладом «Очередные задачи партии в национальном вопросе». И именно в этом вопросе приложит столь излюбленное Лениным насилие («диктатуру пролетариата»). Вскоре целые народы придется сдвигать по Союзу. Считаю, это уже чисто инженерная задача.

В Сталине Ленин видел «твердую руку», а это и было его, Ленина, понимание диктатуры пролетариата — решительное подавление любого несогласия. Нуждался Ильич в таком вот человеческом механизме, невосприимчивом к крови и слезам. А если не выпустить из памяти его слова о том, что политика начинается не там, где тысячи или сотни тысяч людей, а миллионы, то сама по себе вырисовывается, так сказать, зона действия этой «твердой руки». Она нужна была против народа. В социалистический рай народ следовало гнать штыками, пулей, прикладом, концлагерьями и страхом.

Именно так: Сталин — это «твердая рука» Ленина¹.

В ближайшем будущем от руки такой твердости не поздоровится и самому Ильичу, но это, как говорится, их домашние дела.

Именно партийная система, выкованная Лениным, открыла всесоюзный престол сначала Сталину, а после и столь убогой личности, как Брежнев, со всей его серой и алчной шайкой секретарей любых калибров.

А если с другого конца взглянуть на подобное явление, как Сталин, то надо признать такой факт: Чижиков — по нутру России, он понятен и близок ей.

Размен Ленина (ленинизма) на Сталина (сталинизм) — это прежде всего отказ глубинных масс народа от Ленина в пользу Чижикова.

¹ Поэту Юрию Рыбчинскому принадлежат стихи:

Убейте Сталина в себе,
Пока он вас не уничтожил.

Ничто другое не способно вмешаться в ход истории и изменить его, кроме того что уже заложено в ней, что в ней содержится. Наше настоящее обусловлено нашим прошлым — именно так.

А тогда, в 1920-м, Сталину предстояли горькие испытания на посту члена РВС Юго-Западного (польского) фронта. Победоносный поход на Варшаву («Помнят польские паны, помнят псы атаманы...» — так пела страна о том походе) обернется катастрофой — и какой! Целая армия этого красного фронта окажется отрезанной и будет позорно интернирована в Восточной Пруссии. Остатки еще вчера столь грозного фронта польские войска под командованием Пилсудского погонят на исходные рубежи.

Эта катастрофа 1920 г. жесточайшим образом аукнется в черном Катинском деле, которое явится, по существу, мстью уязвленной гордости Сталина. Здесь сверкнет торопливой поспешностью его садизм. И кровь из-под топора мясника вождя брызнет на одежды русского народа и пристанет несмываемым пятном...

Откуда было знать генеральному секретарю, что ждет его и страну в 1941 и 1942 гг. Недаром всякое упоминание о первых 13 месяцах войны окажется под фактическим запретом во все послевоенное жите Сталина.

Даст он объяснения в своей скромной работе «О Великой Отечественной войне советского народа» — и всякий разговор о том прекратит. Страну завалили брошюрами этой работы. Школьников и студентов заставляли ее учить наизусть и спрашивали на экзаменах — ведь в ней четкий, исчерпывающий анализ событий!

Ни тебе героической обороны Брестской крепости (народ слыхом не слыхивал тогда о такой) или там Киева, Таллинна, «белорусского Мадрида»¹ Могилева... — да вообще ничего не было! Ни гигантских кровавых котлов под Киевом, Вязьмой, Харьковом — слов даже таких нельзя было произнести, ибо любые слова тут шли в хулу генералиссимуса (в лучшем случае навешивали лет десять лагерей). Упаси Боже, не было ни этих событий, ни городов в осаде, ни миллионов пленных. Вспомните, при Николае Втором в первую мировую войну Россия пленными потеряла 3 млн. 911 тыс. 100 человек — так это при царе! А мы? Мы-то еще поболее! Неувязка и есть.

Просматривались лишь согласно начертаниям вождя вероломное нападение гитлеровской Германии и обдуманная активная оборона на изматывание врага — и все. Никаких церемоний по круглым датам или там фильмов, памятников — ничего этого не было, кроме праздника Девятого мая, сухого, деловитого, без фанфар и речей. Станется с людишек и того, что перемогли злодея.

¹ Это слова Сталина в его приказе (июль 1941-го) генералу В. Ф. Герасименко — оборонять Могилев от фашистов, как оборонялся Мадрид в Гражданскую войну в Испании (1936—1939).

Потому что не мог терпеть алмазный вождь даже касательного упоминания событий первых тринадцати месяцев войны.

Да какой же войны?.. Мясорубки!

Он-то не заблуждался в своих запретах и тягучем молчании: это его позор, и падение, и великая, несмываемая вина перед Россией — сколько ни суждено ей стоять.

И стыла молчанием официальная власть — в единое повязана со своим алмазным повелителем. Стыла молчанием до середины 50-х годов, покуда еретичный генсек Хрущев не всколыхнул память о тех огненных месяцах.

И сразу прорвало: и очевидцы, и участники, и прочие свидетели на экранах телевизоров, и фильмы, и книги, и мемуары, и, наконец, эти самые памятки...

Благодарная Россия...

Вряд ли будет преувеличением предположить, что из 20 млн. погибших¹ на совести Сталина не просто немалая часть, а почти все, то есть загублены они, эти люди, не столько хищническим напором немцев, сколько из-за глупости, преступности в подготовке и ведении войны — значит, Сталиным. Ибо он определял каждый шаг и каждое слово подневольных ему граждан огромной страны.

Даже о ленинградской блокаде поминали после войны редко и скупо. Сознал алмазный вождь: вовсе не доблестно и не обязательно было допускать врага к Ленинграду и морить горожан голодом.

Фашистское изуверство — это изуверство, но и своего вложено сверх всякой меры. Поэтому в Ленинграде блокадном пиши симфонии, сочиняй стихи, буди, зови народ, а вот после войны... После войны уж, действительно, кто старое помянет — тому око вон... если бы только око...

И не обязательны были сверхгероические усилия аж на Волге, под Ленинградом и на Кавказе. Все последующее кровопролитие оказалось следствием колоссальных ошибок в подготовке страны к войне и ее первых тринадцати месяцев.

Именно ошибки алмазного вождя привели к уничтожению или перемещению основных промышленных узлов, гибели кадровой армии и вклиниванию врага на немислимые расстояния.

Германии удалось оккупировать 1,8 млн. кв. км нашей земли. До войны здесь проживало 88 млн. человек (45% населения страны) и

¹ На торжественном заседании в честь 45-летия победы в Великой Отечественной войне (1990) в своем докладе Горбачев привел цифру потерь — 27 млн.

Однако и данную цифру можно принять лишь условно. Действительная цифра, по-видимому, находится между 35 и 40 млн. Цифра подавляет воображение. Ни одна страна в мире не переживала ничего подобного. Настоящее истребление народа. Основной удар приняли славянские народы. Их по преимуществу и истребляли. Впрочем, именно это и было заложено в доктрину национал-социализма Гитлера: убить Россию.

производилось 33% валовой продукции промышленности, а также находилось 47% всех посевных площадей. Свыше 60 млн. человек, то есть более трети довоенного населения страны, вынуждены были остаться на оккупированных землях — каждый третий оказался под фашистским сапогом. Уже в первый год войны германские войска на Восточном фронте снабжались сельскохозяйственной продукцией с захваченных земель: хлебом — на 80%, мясом — на 83, жирами — на 77 и картофелем — на 70%.

На Украине оказались уничтожены 4 млн. мирных граждан и военнопленных (по другим данным — 5 млн.). В захваченных областях РСФСР погибли 1,7 млн. граждан, в Белоруссии — свыше 2 млн., каждый четвертый житель республики. Всего на захваченных землях фашисты уничтожили и замучили 6 млн. мирных граждан и около 4 млн. военнопленных.

Вся последующая война явилась надрывным устранением преступных ошибок в подготовке к ней и в первые месяцы ее ведения.

Однако людей не надо было уговаривать или гнать на фронт. Народ в массе своей самоотверженно защищал родную землю. Вождю было где и в чем добывать себе алмазное достоинство (учиться воевать и доказывать свои таланты) — на спинах и гробах десятков миллионов загубленных жизней. А Россия как стояла, так и продолжала цепенеть перед ним — на коленях.

Захватнические, истребительно-людоедские цели войны заявил Гитлер в обращении к немецкой нации в день начала войны — 22 июня 1941 г. Обращение можно назвать Манифестом уничтожения России и русского народа. В данном документе ни слова о русском народе или освобождении его от ига большевизма — зато все слова о жизненном пространстве, нужном для германской нации на Востоке.

И куча секретных инструкций по истреблению славянства. Беспощадные, звериные параграфы — Россия захлебнулась кровью.

Когда через три с половиной года Красная Армия ворвалась в Германию, солдатам и офицерам жгли грудь одни и те же слова:

На черной земле душегубов
Свершится наш праведный суд!

Два раза за 27 лет они приходили к нам, чтобы отнять нашу землю, а нас истребить. Поклон тебе, российский солдат!

Сталин потому подверг свирепым гонениям бывших пленных (особенно первых месяцев войны — какой войны? Бойни!), что они могли поведать правду о нем, великом вожде и полководце: как подготовил страну к войне, как уложил лучшие кадровые армии в могилу — молодец к молодцу весь мужской цвет огромной страны. Предательство Родины, в котором после обвиняли этих людей, тут

совершенно ни при чем. Вождь предал веру и надежду народа. И больше всего он (и партийно-чекистская верхушка страны) страшился, что люди это могут прознать, а прознав, уразуметь еще очень многое. Самой первой заботой Сталина и чекистов было умерщвление мысли — даже ничтожно слабого критического отношения к действительности, в которой все расставляло верховное божество — великий Сталин. Это являлось и первейшей задачей советского искусства, поставленного на нужные рельсы самим Лениным. Производить кастрацию памяти, чувств — дабы держать народ в неведении о собственной истории и каждом настоящем дне; заставлять нести на своих плечах партийно-советскую касту — пусть хоть вся земля в могилах и ручьях слез. И народ нес, нес — и пел гимны во славу своих палачей, святил каждый день «под водительством Сталина и мудрой партии». Три имени были святы и не доступны какому бы то ни было суждению — Ленин, Сталин и Партия. Партия являлась муляжом воли и преданности народа идеям вождей, а решали только они (вожди), всегда и непременно генеральные (первые) секретари коммунистической партии. Правда, были, и совсем немало, идеалисты. Шли, умирали за идею...

«...В заключение поднял рюмку И. В. Сталин, — вспоминал генерал армии Штеменко, — и, стоя, обратился ко всем присутствующим:

— Товарищи, разрешите мне поднять еще один, последний тост. Я хотел бы поднять тост (тост поднять нельзя, можно поднять рюмку, бокал; тост предлагают или произносят. — Ю. В.) за здоровье нашего советского народа, и прежде всего за здоровье русского народа.

Зал откликнулся на это криками «ура» и бурной овацией.

— Я пью, — продолжал Сталин, — прежде всего за здоровье русского народа потому, что он является наиболее выдающейся нацией из всех наций, входящих в состав Советского Союза.

Я поднимаю тост за здоровье русского народа потому, что он заслужил в этой войне общее признание как руководящая сила Советского Союза среди всех народов нашей страны.

Я поднимаю тост за здоровье русского народа не только потому, что он — руководящий народ, но и потому, что у него имеются ясный ум, стойкий характер и терпение...»¹

Терпение, слов нет, — это самое важное. Имеется оно, это самое терпение; в достатке имеется, даже в избытке. Даже алмазного вождя проняла кровавая дань, взятая с русского наро-

¹ Штеменко С. М. Генеральный штаб в годы войны. М., 1968, с. 400. Банкет состоялся 26 июня 1945 г. после знаменитого Парада Победы — того самого, на котором к подножию мавзолея швырялись немецкие знамена.

да за неполные двадцать восемь лет, ведя отсчет с ноября семнадцатого.

Вообще, сцена банкета — эпическая, в державно-екатерининском духе.

И по прошествии десятилетий после смерти великого продолжателя дела Ленина (так писали при жизни Сталина) сталинисты будут искажать события прошлого, силой и ложью вбивать это искажение в сознание народа. О Сталине сочиняются небылицы в духе: «Рука Всевышнего Отечество спасла...»

Уже в ходе войны страны антигитлеровской коалиции обратили внимание на исключительное бессердечие, равнодушие, жестокорасточительную трату людей сталинским руководством.

В III томе своей монументальной работы «Вторая мировая война» (глава «Наш советский союзник») Уинстон Черчилль, лидер английского народа в те годы, пишет:

«Русские армии понесли ужасающие потери. Несмотря на... деспотическое военное руководство, полное пренебрежение к человеческой жизни...»

Черчилль высветил самое «сокровенное» в советском отношении к человеку — беспредельно беспощадное расходование жизней. Подвиг народа из 30 млн. убитых.

Кровавые преступления Сталина и его партийных лакеев (в первую очередь Молотова и, конечно же, Берии) пытаются оправдать победой Советского Союза. Не было бы железного руководства вождя и партии — народ и не выстоял бы под натиском гитлеровской Германии.

Довод серьезный, он заставляет смолкнуть и смолкать многих критиков сталинизма и коммунистов вообще.

Обойдем вопросы руководства войной. Остановимся на самом факте победы, который коммунисты целиком относят на свой счет: не они — и не было б победы. Исторически это не выдерживает критики. Такая постановка вопроса равнозначна другому: не будь большевизма — не стоять России. Но при этом забывается, что она стояла до Ленина и коммунистов уже тысячу лет, становясь с каждым столетием все более могущественным государством, которое к началу XX века вступило в полосу кризисов, требующих решительных реформ, не более. Этим и занялся Столыпин, но...

Чрезвычайно благоприятным обстоятельством для большевизма явилась мировая война, без которой, по словам Ленина, была бы невозможна и сама Октябрьская революция. Главный Октябрьский Вождь своей проповедью классовой нетерпимости, проклятиями всяким войнам с обещаниями рая в ближайшем будущем довел градус ненависти в народе до одного жгуче-слепого чувства и жажды кровавых расправ. Народ взметнул над головой топор...

Что до войн, Россия вела их великое множество, Отечественная

война 1941—1945 гг. — лишь один из эпизодов ее военной истории, один из самых кровавых, но все же только эпизод.

Большевизм не существовал и в зародыше, когда россияне скинули татарское иго, когда лишили силы польские и литовские домогательства на русский престол и земли. Россия без большевиков, с царями, разгромила Карла XII с его победоносной армией, Наполеона с его всеевропейской армией, свела на нет могущество Османской империи, терзавшей юго-восток Европы. Об этом можно рассказывать очень много.

В Отечественную же войну большевизм сделал все для усложнения борьбы с врагом, величайшего утяжеления кровавой натуги народа — и только. Победил народ. Только он, а все прочие лишь приумножали кровавую дань народа и возводили в заслугу свое разрушительство народной жизни.

Чрезвычайно яркое представление об этом дает публикация в «Известиях» (№ 148, 22 июня 1991 г.).

«...Сержант Капустин погиб в первый день (войны — Ю. В.) под Граево. Захлебываясь кровью, зная, что умирает, — у него были прострелены легкие — Володя пытался оправдаться, что не смог сделать больше того, что сделал. Его последние слова: „Не мы проиграли, не рядовые...“»

Не мы, рядовые, проиграли тот бой на границе...

В словах этого сержанта — ответ на главный вопрос, кем оказались для народа партия и ее руководство.

Уступая родную землю, солдаты говорили нам, в наше будущее, через десятилетия и века: «Не мы проиграли, не рядовые...»

Положив рядом с сержантом Капустиным еще три десятка миллионов трупов, Сталин повернул вспять ход войны. Враг просто захлебнулся кровью, но не своей, а нашей, которая рекой лилась из завалов трупов. На этом выросло и взматерело полководческое искусство Чижикова. А партия только послушно выполняла все его указания. Казнить — казним, высылать — вышлем, умирать — умрут... Вождь знает.

Светлана Аллилуева в книге «Двадцать писем к другу» пишет об отце:

«...он любил Россию, он полюбил Сибирь, с ее суровыми красотами и молчаливыми грубыми людьми... Он вспомнил Грузию, лишь когда постарел...»

Отец полюбил Россию очень сильно и глубоко, на всю жизнь. Я не знаю ни одного грузина, который настолько бы забыл свои национальные черты и настолько сильно полюбил бы все русское...»

И продолжает рассказ об отце — неистовом истребителе людей (в первую очередь русских) и упорном строителе партийной России:

«Рядом с ним было трудно, затрачивалось огромное количество нервной энергии».

Бросаются в глаза и строки:

«Он не боялся народа — никогда... Он был предельно ожесточен против всего мира. Он всюду видел врагов. Это было уже патологией... от опустошения, от одиночества».

Одиночество. Как бы ни был велик или громаден властью человек, а жить в заточении только своих мыслей, только своей души, только своего быта не в состоянии. Жизнь, сосредоточенная только на себя, разрушает. Угрюмое одиночество вождя даже ему, поставившему на колени великий народ, не под силу. Недаром он так угоривал главного маршала авиации Голованова построить дачу рядом. Уместны слова Маяковского:

Душа не хочет немая идти,
а сказать кому?

«Отец, по-видимому, с возрастом стал томиться одиночеством, — не без сочувствия пишет Светлана Иосифовна. — Он был уже так изолирован от всех, так вознесен, что вокруг него образовался вакуум — не с кем было молвить слово...»

С расстояния лет нам это напоминает одиночество людоеда. Пожрал всё и всех окрест себя и томится отсутствием дружбы и участия.

И что значит «сталинисты»?

Это не политика сталинистов, а политика государства, ибо им управляли и управляют сталинисты, других у государственного руля нет¹.

Страх ответственности, боязнь утраты власти и материальных льгот обратят слова последователей Сталина в ядовитые и лживые. Свои преступления перед народом они обернут в добродетель и заслугу. Еще бы, это им обязан народ, это они, мудрые провидцы и бесребреники, спасли его.

С утра каждое слово клеймом в душу — никто не отвертится. Попробуй не услышать и не прочесть. Этот конвейер лжи книгами, картинками, наукой, учением разжигает волю, сознание.

¹ Книга писалась в 1983—1985 гг., еще до эры Горбачева.

...К развалу идет страна. Демократия ступает по гнилой почве, тверди нет. Россия вынашивает мечту о новом избавителе...

Уже давно, поколение за поколением, люди утратили революционный пыл, гордость свободного гражданина, постепенно превращаясь в серых бесправных существ. Революционная позолота слезала незаметно. Так же незаметно народ превратился в безропотных исполнителей и жалких просителей на своей же собственной земле.

Бедные люди, мечта о жизни без нужды, в достатке, а главное, без борьбы за кусок хлеба, главное, чтоб все было обеспечено... мечта об этой жизни рассыпалась.

Как жить дальше?

В этом государстве уже трудно, почти невозможно отделить несталинистов от сталинистов. Есть партийные бюрократы, определяющие жизнь каждого, и есть подневольные партийной машины, наученные выражать волю и чувства по команде, — это весь народ.

27 млн. человек не окончательная цифра потерь в войне. Ведь при Сталине ее официально определяли в 7,5 млн., хотя отлично знали настоящую цифру. Слов нет, по привычке ни во что не ставили людей, наловчились прописывать по заказу любые цифры, извращать любые факты. Ведь даже результаты переписи населения накануне войны с Гитлером были произвольно искажены Сталиным. Надлежало спрятать чудовищную убыль народа из-за непрерывных массовых убийств и надрывного существования. Ну, а тех, кто проводил перепись или отвечал за нее, — на плаху или в лагеря. Следует правильно понимать железную логику истории!

Разумеется, во всем этом присутствовал страх обнажить подноготную: вот, доуправлялись — 30, а то и 40 млн. грохнули к стопам врага. И то правда, ведь Германия на всех фронтах потеряла около 6 млн. А мы?! Ну да, естественно: мы ведь страна мирная...

Когда Хрущев распорядился сообщить новую цифру потерь, прежде тщательно скрытую, замурованную, как урна в Кремлевской стене, — 20 млн. человек, — упорно бытовало вот это самое мнение: данная цифра тоже основательно пригорблена. Убоялись народа и решили ограничиться 20 млн. Отныне — 20!

Аж земля покачнулась! Не стон, а набат пошел по России. Смотрели друг другу в глаза и произносили эту цифру: и ужас, скорбь! В немом крике содрогнулась земля. Еще раз страна прильнула к убитым, простилась, теперь уже навеки...

Словом, по-государственному отнеслись к новой цифре потерь. Кого утешит «объективистская» правда? Щадить, щадить народные чувства...

И потом, как без учета международного момента? Не радовать же бывших врагов, а заодно и новых — атлантических, всех ненавистников первого в мире государства социализма.

Да, намертво застопорили тогда на 20 млн.

И то верно: воевали не числом, а умением. Каждую победу заваливали трупами, по-сталински вели счет жизням. Опустела Россия после войны. Многие годы непривычно малолюднели города и деревни.

Никто никогда не говорит правду в советской России. Сколько существует эта самая ленинская власть, столько и под обманом народ. Да и то долго взвешивают, тужатся, а стоит ли в том или ином случае сказать полуправду или... подождать, вообще смолчать. Сколько уже обходилось, к чему народ попусту баламутить...

Спокон веку факты и сведения обрезаны, передернуты, подпитаны ложью, ибо только Непогрешимый и его последователи могли и могут знать правду, а для всех прочих газета «Правда» — памятник выдающейся лживости и подлогов. За то и оттиснуто рядом с названием столько орден.

После смерти Главного Октябрьского Вождя Сталин мог с полным основанием сказать: «Ныне Ленин принадлежит истории, а народ — мне».

За Сталиным это мог повторять и каждый последующий генсек, ибо власть от Ленина сработана так, что народ не имеет к ней никакого касательства.

Но все это еще впереди, в нераспечатанных листах истории, а тогда первый из сонма генеральных секретарей ЦК РКП(б) — ЦК КПСС, еще вовсе не алмазный и не богоподобный, возьмется упорно продвигать на ключевые посты в аппарате ЦК, губкомах и армии лично ему преданных работников. Разумеется, тут не без демагогии о революции, интересах народа и подлинных ленинцах.

Посев даст ошеломляющие всходы. В считанные годы Сталин вознесется в «гениальные вожди» народа и всего трудового человечества. Жестокий убийца и гонитель свободы станет кумиром и божеством, потеснит в сознании образы Христа и родителей. Но сначала Сталин перешагнет через Троцкого вместе с Каменевым, Зиновьевым и всеми остальными (не позабыв о смертельной операции для товарища Фрунзе), после — через Бухарина и Рыкова, попутно приметя и за всех остальных: никто не должен быть одного роста с вождем и вообще маячить по соседству. Вне гениального вождя все не может не выглядеть ненастоящим, незаурядным, а люди должны представлять недоумками — так, головешки, которые вождь палил для освещения пути. «Женевскую» чудо-машину и впрягли в почтенную работу: ей, стерве, без разницы. Стремительно «возвышался» интеллект вождя, и серел, тускнел народ. Россия погружалась в трясину убийств, насилий, доносов, культурного вырождения и всяческих извращений. Захлебываясь кровью, она благодарно складывала гимны палачу и мучителю. Марксизм обнажал свой «человеколюбивый» смысл. Что с ним поделывать, если он — вековая мечта человечества...

Из беседы писателя Александра Бека с личным секретарем Ленина Л. А. Фотиевой 25 марта 1967 г.¹:

— ...Вы должны понять: Сталин был для нас авторитет. Мы Сталина любили. Это большой человек. Он же не раз говорил: я только ученик Ленина. Он был генеральный секретарь. Кто же мог помочь, если не он. И шли к нему. А мы: гений, гений. Двадцатый съезд был для нас душевной катастрофой (на XX съезде КПСС впервые заговорили о культе личности Сталина и его преступлениях². — Ю. В.). И теперь в сердце у меня борются два чувства: возму-

¹ См.: «Московские новости», №17, 23 апреля.

² XX съезд проходил в Москве с 14 по 25 февраля 1956 г. Это был первый съезд после смерти Сталина, чрезвычайно важный по своим последствиям. С этого момента в монолите ленинского государства образовалась трещина, которая непрерывно ширилась, не поддаваясь никакому «цементированию». Съезд, по существу, сам того не желая, явился точкой отсчета

щение им и любовь к нему. Но сейчас (в 1967 г. — А. Б.) опять изменяется отношение к Сталину. Изменяется к лучшему. В этом году выйдет новое издание моей книги, дополненное («Из жизни В. И. Ленина». — Ю. В.). Вообще, самое полное издание было в 1964 году. Вы его достаньте. А теперь я по сравнению с тем изданием по-другому пишу о Сталине. Редакция от меня потребовала других слов. Это и вы должны иметь в виду, если будете писать о Сталине (с устранением Хрущева от власти в октябре 1964 г. началась реабилитация сталинизма; Брежнев и КПСС наново ставили страну на колени, с которых она попыталась было подняться. — Ю. В.)...

Фотиева Лидия Александровна родилась в семье служащего в 1881 г., коммунистка с 1904 г. — тогда же в Женеве стала помогать Ленину вести переписку. После арестовывалась в России, что никак не помешало «товарищу Фотиевой» закончить Московскую консерваторию. В 1918—1924 гг. — личный секретарь Ленина, особо доверенная. Затем служила в различных советских учреждениях.

Столько была с Лениным — и с такой легкостью предала! Поистине люди клеймены предательством!

Фотиева отошла в мир иной весной 1975 г., осилив почти 94 года жизни (именно «осилив» — на какое же время выпали эти годы!). Опытная, осторожная партийно-канцелярская служка. Вместо души — партийный билет, вместо своего мнения — указания партии, ее сиюминутная «линия». Бессердечные люди-догматики, превращающие мир вокруг в суховей и засуху.

Стасова, Фотиева, Володичева, Землячка...

Сталин никого не предавал, если говорить об убеждениях. Он усвоил самое важное из марксизма и ленинизма — насилие как основное средство созидания революции. И распространил это насилие на жизнь государства вообще.

Но это не являлось порождением его порочной природы. Все и прежде было насилием. Он, Сталин, лишь усвоил, принял его в обращение. Именно принцип насилия явился смыслом действия партии (и теории и практики) — конечным продуктом переработки, критического усвоения и освоения опыта предшествующих революций и вообще соответствующих направлений мировой культуры. Большевизм принял от Ленина культ насилия, возвел его в

в крахе ленинизма. Это был сдвиг огромной важности в жизни народа. Именно с того времени глубинные разрушительные для ленинского государства процессы уже стали выходить из-под контроля КПСС и карательных органов, хотя сам съезд с виду не произвел столь грандиозного, эпохального впечатления: подумаешь, одни палачи сменились на кровососов поменьше, не такого уголовного замаха. Экая радость!

25 февраля на вечернем заседании съезда Н. С. Хрущев сделал свой тогда еще секретный доклад «О культе личности и его последствиях».

божество. А все прочее, что присутствовало в большевистской (коммунистической) партии, — только грызня между волчицами разной величины, то бишь разной свирепости и ненасытности.

«Сталин — это Ленин сегодня» — этот лозунг красовался едва ли не в любом присутственном месте в последнее десятилетие жизни Иосифа Виссарионовича. И ничего самозваного в том не было.

Да, Сталин — невежда рядом с Лениным. Но в одном ему не откажешь: он точно уловил, что дух ленинизма — диктатура (уж какого там класса — партийной верхушки; диктатура над классом и прежде всего — здравым смыслом)! И положил в основу любых своих действий террор.

Не терпя людей более высокого умственного и культурного склада, Сталин снизил уровень знаний и культуры не только своего непосредственного окружения, но и всей страны.

30 лет тиран гнул народ до степени своего восприятия мира — и тогда речь его и дела стали мниться едва ли не откровением.

А тогда, в 1920-м, Сталину оставалось два года до самоназначения в генеральные секретари ЦК РКП(б) (кстати, пост, которого не вводил и не занимал даже партийный первосвященник Ленин) и пять лет — до величия вознесением Царицына в Сталинград. Уже штормовой ветер оголтелого террора бодрил Россию, хотя сам террор и не затихал с 1918 г. Ведь революция и связанные с ней преобразования — это прежде всего массовое избиение людей, и далеко не только так называемых классово чуждых. Вместе с классово чуждыми уничтожаются все, кто не подходит для хомута или, что еще опаснее, преступлений, мешает другим, сознательно или несознательно, множить холопов и доносчиков. Ибо народ уже давно не делится на москвичей, волжан, вятичей, а только на доносчиков (разумеется, по убеждению) и жертв, но те и другие — подневольные партийной машины.

Плюнем в лицо
той белой слякоти,
сюсюкающей
о зверствах Чека!

Конечно же, это был поэт, силища!

Водились у Сталина двое друзей: Авель Енукидзе (1877—1937, член партии с 1898 г.) и Сергей Киров. У Кирова портрет Сталина так над столом и красовался.

И обоих убьет.

О гибели Енукидзе ходила жуткая молва: пытали его с особым пристрастием по непосредственным указаниям Сталина. Не для живой плоти были те мучения...

А Кирова просто сразила пуля наемного убийцы¹.

¹ Киров (Костриков), Сергей Миронович (1886—1934), член партии с 1904 г., член политбюро с июля 1930-го (кандидат — с июля 1926-го). С 1926 г.

Но и то правда: оба были сталинистами с головы до пят.

Киров, как и Енукидзе, выполнял самые деликатные поручения друга. Начал с того, что заменил Зиновьева в Ленинграде. А после, среди прочих дел во славу генерального секретарства Сталина, именно он возглавил тайную работу комиссии по доказательству теоретической ничтожности Бухарина. Для уничтожения Бухарина Сталину надо было во что бы то ни стало доказать несостоятельность Бухарина в марксизме, так как именно здесь были сосредоточены все козыри Николая Ивановича. Ведь со времен Ленина слыл он признанным теоретиком партии. И что — взялся Мироныч за дело, нисколько оно его не смутило.

Ох огурчики мои,
Помидорчики.
Сталин Кирова пришил
В коридорчике...

Членов ЦК не шибко занимало искусство: и грубоваты, и не тянуло воспитание, и вообще пуще шибали по своему, пролетарскому искусству. Да и к чему оно, ежели в наличии Луначарский?..

Правда, иные по-своему отдавали дань прекрасному, увлекаясь артистками, как, скажем, сам Луначарский. Не секретом являлись и похождения Кирова в Ленинграде, который для удобства самочинно произвел себя в почетные шефы тамошнего театра. Сталин отдал должное памяти друга и назвал Ленинградский театр оперы и балета именем Кирова.

В деле Кирова как-то вскользь поминалась его связь с женой Николаева — убийцы Кирова. Якобы Николаев мстил за поруганную честь. Имели место подобные разговоры. Надо же было как-то объяснить убийство, а это — чем не версия?..

Но «липа» эта строится не на пустом месте, а с учетом привычек «великого гражданина» (так именовали Кирова долгие годы после убийения).

Это Сергей Миронович со скромностью большевика-ленинца писал о Сталине: «Могучая воля, колоссальный организаторский талант этого человека обеспечивают партии своевременное проведение больших исторических поворотов, связанных с победоносным строительством социализма».

Лесть в глаза, лесть за глаза — это практика революционных и мирных будней партии, в которой она старательно натаскивала народ. Лесть, угодничество кормят революционера так же, как и обычного человека в обычной жизни. Это большевики доказали. А Киров? Кормиться лестью ему было не к чему, а вот натаскивать других, учить... А не исключено, слова и сами ложились на бумагу

— первый секретарь Ленинградского губкома партии и Северо-Западного бюро ЦК ВКП(б), с 10 февраля 1934 г. — секретарь ЦК ВКП(б). Застрелен Николаевым в Смольном 1 декабря 1934 г.

или складывались в пламенную речь. Трудно сказать, откуда они черпали пафос для своего героического лакейски-придворного стиля...

Но исключений не было. Все говорили одним языком. Языком лакеев.

В Москве за лавры покорителя сердец с Кировым свободно могли посостязаться и Ворошилов, и Буденный (тут, впрочем, вся Конармия выстраивается), и опять-таки Луначарский, не говоря уж о Берии, но тот пока еще вел счет изнасилованиям и добровольно-принудительным объятиям лишь в Закавказье. Под урез жизни имел он счет тут на тысячи. Что несчастных (или довольных) женщин и девочек, что шпионов и врагов народа косил Лаврентий Павлович с неподдельным остервенением. Ну не срамной имел орган, а священное орудие классовой борьбы.

Уж куда как оберегающе точно сказано: «...но я хочу тебя предостеречь — не старайся заглядывать очень уж пристально к ним в души, не то тебя стошнит».

В том же 1920 г. Гитлеру исполнился 31 год. Уже выношены, сформулированы и опробованы на толпах принципы национал-социализма. И в партии не одна тысяча членов. И вообще, какие-то 13 лет отделяют Адольфа Шикльгрубера от власти над Германией и законного титула «фюрер».

В общем, таким образом у них нарождается и развивается прогресс.

Слов нет, это сопоставление, это соседство с людоедом Гитлером сверхскорбительно и вроде бы совершенно неосновательно, но, если не горячиться, отбросить рассуждения о человеколюбии, насилиях капитала над обществом и пройтись мысленно по основным жизненным итогам, то есть окинуть взглядом могильные холмики, — весы в руках дамы с повязкой на глазах качнутся...

Все в мире условно и относительно. Одни преступны потому, что борются против жизни не по уставам вождей, другие почтенны и славны за решимость проливать кровь народа ради утопий и своих предначертаний.

Оно и впрямь не совсем ясно, за каким поворотом истории людей поджидает благоденствие. Но почему-то в основном сворачивают туда, где правят нетерпимость и принуждения...

Без сомнения, Ленин считал, что за ним данное историей право убивать и приказывать. Свободы не бывает без цепей — Ленин это доказал.

В социалистическом Отечестве благо дается только через всеобщую безгласную подчиненность.

Как же надоедливо скучен этот тип вождя, вечно всех поучающий, знающий наперед совершенно все, навешивающий ярлыки

едва ли не на все явления жизни и заливший мечту о благе народа такой кровью!

В ноябрьской беседе 1974 г. Молотов заметил, что «Бухарин выступал против Ленина, и не раз. Называл его утопистом...».

Если это соответствует действительности, то лишний раз подтверждает, что авантюризм ленинского построения социализма был очевиден не только нам, предпринимающим отчаянные попытки выбраться из-под развалин советского государства, рухнувшего под натиском «всепобеждающего учения».

Николай Иванович Бухарин обнажил истину, когда «в 1929 году... говорил о военно-феодальной эксплуатации крестьян...».

Ну разве ж можно такого члена политбюро оставлять живым? И не оставили.

Социализм нуждается в секретности (тотальной секретности), иначе все поперет на свет Божий, а тогда какой же святой — Ленин?

Свобода слова, равенство, справедливость, изобилие — пусть эти обещания Ленин держит в своем мавзолеем изголовье вместе с тленом десятков миллионов людей и горем еще миллионов, пока живых, но обманутых и обобранных.

Намекнул на свою исключительность и Александр Федорович Керенский: затесался в самые диктаторские дни рождения, чин по чину объявился на свет 22 апреля 1881 г. Какая точность боя по этому самому дню или соседним — и это при вероятности 1 к 365! Да еще отец этого Керенского заведовал гимназией, в которой учился Ленин, — и это при наличии тысяч гимназий в России!

В том же, 1920 г. Мао Цзэдуну исполнилось двадцать семь¹. В 1918 г. он закончит учительскую семинарию, вернется в родную Хунань, а в 1920-м опять наладится в Чанша, где организует кружок по изучению марксизма. Останется ровно год до первого учредительного съезда Коммунистической партии Китая.

И здесь судьбе было угодно прочертить мимолетный и совсем несерьезный намек. Сталин родился в декабре, и Мао — в декабре; Сталин — двадцать первого, Мао — двадцать шестого. Уж как тесно!..

Тот и другой учились в семинарии. Оба проповедовали марксизм. Оба — «величайшие вожди народов мира». К ногам обоих были положены два самых больших народа. Нет, именно так: в равной степени через вождей народы проявляют величие и изрыгают свой гной.

¹ Мао Цзэдун был невысокого мнения о людях, за счастье которых угробил десятки миллионов жизней.

Это он говорил: «Человек — животное, которому присуще чувство презрения к людям».

В том же, 1920-м Муссолини исполнилось тридцать семь. Менее трех лет оставалось до знаменитого похода на Рим и власти над одной из культурнейших наций мира. Успехи дуче вдохновляли Гитлера. Ну должен сверхчеловек распяты мир, иначе зачем голубые глаза и железная воля...

Миллионы людей улыбались утрами солнцу и свету, не ведая, что уже обречены на муку, огонь и пепел.

В том же, 1920-м Махатме Ганди исполнился пятьдесят один.

Мохандас Карамчанд Ганди — первородное имя. Индийский народ присвоил ему другое: Махатме — Великая Душа.

Этот человек так и «не дорос» до ленинского понимания классов и неизбежности классовых войн. Для «женевцев» подобные люди — сплошное расстройство нервов. Такое замечательное устройство (на миллионы заглоти!) — и вдруг пренебрегают.

Недаром во времена Сталина о Ганди говорили как о фактическом пособнике империалистов, соглашателе и затирателе непримиримых классовых противоречий. Тот же тон выдерживался и по отношению к Неру. Еще бы, болтать о справедливости, общественном благе — и соглашаться на этот самый мир с угнетением и угнетателями, со злом и насилием? Да это все та же поповщина!

Убийство Ганди и по сию пору может служить одним из оправданий устройства общества по «женевскому» образцу — самое что ни на есть «синее» торжество. И впрямь, как иначе смирять людей?..

Зная о таком логическом выверте в мышлении «женевцев», Ганди, наверное, наладился бы передвигаться ползком: избежать смерти, не оправдывать ею неизбежность топора и жизни в насилии. Да уж наверняка скорее сжег бы себя в бензине, нежели позволил бы именем своим мучить, обманывать, шельмовать, лишать рассудка и убивать.

Поклон тебе, святой человек! Поклон — и вечная память!

В тот же, 1920 г. де Голлю исполнилось тридцать. Надо полагать, он уже пришел в себя после ранения и плена, раз находился в Польше с группой французских офицеров — миссию возглавлял генерал Вейган. Французы принимали участие в руководстве действиями белополяков. Возможно, уже тогда де Голля посещали мысли о принципах современных войн и опасном несовершенстве парламентской системы во Франции. Не было у него более стойкого чувства, чем любовь к Родине.

Шарля де Голля будут ждать величие и признательность Франции, Максима Вейгана — суд и презрение французов. Однако Верховный суд страны оправдывает капитулянтство и предательство Вейгана. Надо полагать, совесть его несколько не смутится от всех этих «передраг», иначе не дожил бы до ста лет... Но все это еще в весьма

отдаленном будущем, а пока Вейгана ждут самые высокие и лестные посты во французских вооруженных силах.

До этого, 1920 г. десять лет не дожил Лев Толстой. Зато в расцвете сил и таланта встречаются его Горький, Алексей Толстой и Маяковский (и в изгнании — Рахманинов, Бунин и вообще весь цвет русской мысли и культуры).

И все мальчишки, которых выносили русские матери в 1920 г., впрочем, как и во все соседние годы (аж с 1910-го и по 1927-й), будут убиты, за ничтожным исключением, в войне 1941—1945 гг.

В том году, как и во все прочие, мир истощал силы в поисках обогащения любой ценой: насилиями и обманом добывал власть и деньги, разменивал честь и достоинство на подлости и предательства и старательно, почтительно и непоэтично плодил рабов.

Во имя новой жизни гремят намордники вождей на народах.

Когда ум с юношеских лет направлен только на разрушение и месть, на изыскание самых изощренных и действенных средств для такого разрушения и такой мести, человек не может не выродиться.

Уничтожение людей согласно расчетам и планам, разрушение жизни народа не могут являться идеалом того, кто считает себя человеком.

И разрушенная, униженная и поруганная Россия, растерявшая свои земли, брошенная народами-братьями, — тому доказательство. Не хозяйственные просчеты, не преступления отдельных вождей-выродков, а торжество Зла — вот что такое Россия после Октября семнадцатого.

И как посошок, как память от несломленной России, память не отрекшихся от веры — слова ее великого сына:

«Выродок нравственный... Ленин явил миру нечто чудовищное, потрясающее (по нравственности, но не уму, и в этом вся трагедия. — Ю. В.). Он разорил величайшую в мире страну и убил несколько миллионов человек — и все-таки мир уже настолько сошел с ума, что среди бела дня спорят, благодетель он человечества или нет? На своем кровавом престоле он стоял уже на четвереньках. Когда английские фотографы снимали его, он поминутно высовывал язык».

Иван Алексеевич Бунин выступил в Париже после смерти Ленина. Шел 1924 год.

Поруганная Россия, обессиленная, изувеченная...

Мучительно возрождение, но оно началось, и оно неотвратимо.

Путь через новые беды, новые потери и новые падения, но это путь к родному очагу. Зло меняет личину, меняет слова, пятится, но держит меч над Россией.

Глава X

ИРКУТСКАЯ СВОБОДА

Седьмого февраля каппелевцы закончили сосредоточение.

Красные в ответ на ультиматум потребовали разоружиться и сдаваться. Старшие офицеры постановили брать город.

И тогда напомнил о себе легион. Да как! Развернул сытую полнокровную дивизию — 11-ю, полковника Крейчия.

Генерал Войцеховский читает бумагу от чехословацкого командования: любые военные действия сорвут эвакуацию легиона, а поспевайте, иначе будем драться.

И повернули белые на Байкал. От ветра и мороза лица потеряли обычную форму. Чудовища прут через снега. И то верно: сам ужас тащил сани, пулеметы, оружие, раненых. Почти все лошади пали. Вместо верстовых столбов — трупы господ офицеров, солдат, женщин; детских не было — детей Господь Бог прибрал раньше. Уж очень жидковаты на стужу, а вот старики на диво стойкие...

Длинным шагом догоняет капитан юнкера. Какое-то время скрипит пимами рядом: брови, борода — в инее, губы растрескались, сочатся кровью. Воротник шинели поднят и перемотан какой-то тряпкой — в прошлом, судя по черным засаленным кисточкам, женской шалью.

— Не то поешь, юнкер, — сипит капитан. — Я тебе не строевую спую, но годную.

И капитан, напрягая голос, странно вытянув шею и округлив глаза, сипло чеканит:

Вставим яркую свечу
Прямо в ж... Ильичу,
Ты гори, гори, свеча,
В красной ж... Ильича!..

Господа офицеры уже не слушают капитана. Хрипло гогочут, поджимая локтями винтовки. Гогот тут же срывается на многоголовый кашель.

Светлая тебе память, Владимир Оскарович!..

Снегом перекормленные тучи дают колонны белой гвардии к

сугробам. Пыхтят, постанывают, жрут снег господ офицеры. Сподобился же Создатель на такую хреновину — лес, сопки, речушки, болота — и мороз, без роздыху — мороз!..

«Ты гори, гори, свеча!..»

И еще 600 верст после Байкала буравила снежную целину каппелевская армия, покуда к марту не стала выходить к Чите. Не дотянулись еще до читинских степей комиссары, но скоро (ох как скоро!) напомним о себе. Сам пресветлый атаман аж только на аэроплане и спасется.

По оценке генерала Войцеховского, к Чите вышли около 15 тыс. солдат и офицеров, не считая некоторого числа гражданских лиц.

«...Зима лютая была, все дороги замела!..»

После разгрома Японии летом 1945 г. генерал С. Н. Войцеховский был схвачен в Маньчжурии и остаток дней гнил в лагерях — среди уроч и жертв «жневской» твари. Еще в начале 50-х годов Войцеховский жив — есть упоминания о нем у Бориса Дьякова в книге «Повесть о пережитом»¹: встречались в лагерных мытарствах. Правда, бывший коммунист Дьяков ненавидел белого генерала — не ржавеет классовая ненависть...

А Флор Федорович все об одиночестве. Как желанно! Чтоб никто не знал, никто не узнавал... и забыть прошлое, потерять память на прошлое. Чтоб только имя от него осталось.

Видеть небо — Господи, как худо без звезд! Не то чтобы худо, а изнемог в чаду слов, клятв, выстрелов, потного, дурноватого воздуха тесно сбитых в толпы людей. Господи, как он устал жить в ненависти! Как только присягнул служить людям, революции, счастью — так и замкнулась ненависть, со всех сторон, жгучее пространство ненависти.

Неужели для того, чтобы стать человеком, распрямиться, не бояться насилия, быть человеком, надо прокиснуть в ненависти? Надо орать, топтать других, стрелять?..

Сидит Три Фэ и листает дни прошлого. Все-все потеряны...

Потом пил крепкий чай, тер глаза, лицо. Радужные круги от этих надавливаний на глаза подо лбом. Вроде слепнешь.

«7 февраля между командованиями Красной Армии и Чехословацкого корпуса было наконец достигнуто соглашение о перемирии, — сообщает советский исторический журнал. — На этот раз чехословацкие представители подписали условия, которые они еще

¹ Книга вышла в 1966 г. в издательстве «Советская Россия». Ее недобрым словом помянул Шаламов: партийно-чекистская версия великого избения народа, передег фактов.

двадцать четвертого категорически отклонили. Условия перемирия устанавливали подвижную нейтральную зону между авангардом Пятой армии и чехословацким арьергардом, обеспечивали содействие советского командования в снабжении эшелонов корпуса углем и в быстрейшем завершении эвакуации. Чехословацкое командование в свою очередь обязывалось не предпринимать никаких попыток вмешательства в судьбу Колчака и его приближенных, передать золотой запас Российской Республики Иркутскому Совету при отходе последнего чехословацкого эшелона из города, не помогать белогвардейским частям, воюющим против Советской власти, не вывозить в своих поездах белых офицеров, передать советскому командованию в полной сохранности все мосты, депо, станции, туннели, не вывозить военного имущества бывшей колчаковской армии и вернуть все вагоны и локомотивы после достижения конечной ставки...»

Когда соглашение было подписано, труп адмирала Колчака уже несли в своих ледяных объятиях Ангара.

25 февраля 1920 г. по радио была передана нота правительства РСФСР правительству Чехословакии. В ноте выражалась уверенность, что заключение соглашения, гарантирующего свободный отъезд чехословацких солдат, устранил «одно из главных препятствий для полного соглашения с вашей страной...».

А случалось, и по две бабы ложились с Федоровичем. Запросят-ся, запричитают — и дрогнет душа, а где им еще пожевать хлеба и согреться, коли мороз давит, а угла нет.

В таком разе с козлом согласятся, не то что с любимым дядькой. С этим хоть поспать можно, а ежели бородачи из бывших колчаковских, а ныне красных бойцов уведут... Сколько баб за зиму пропало!

А после вместе так и одеваются, до сраму ли. Флор Федорович затягивает себя в ремни, навешивает маузер, трогает на прочность красные ленточки на папаче и кармане френча, а баба или бабы пеленают себя в тряпье: опять мороз на дворе. Кто станет лечить, коли грудь простудишь аль еще что?.. И расстаются — даже имени друг друга не знают, а спрашивать нет охоты. Главное — чаем обогрелись, поспали.

Впрочем, скоро кончится этот запой — второй в столь пестрой жизни Три Фэ. Образумится, вылечит паршу. И не подумаешь: розовая, вполне благополучная тетка наградила, где и на каких харчах ухитрилась отъестся? До слез смешила рассуждениями о своей «увечности». Ейного мужика угробили по осени минувшего года, а ей, сердешной, «без мужской приставки как без рук» — полнейшая инвалидность: «пожарный унтер» (ее слова) 40 лет и богатырских статей.

Тетка не слушала Федоровича, даже его сердитых окриков, и бесстыже рассказывала, как ей с ним «всего хватало». И повторяла с укоризной для всего мужского пола: «Так ублажал — где сяду, там

и сплю. Что царь, что революция, что Колчак — так хорошо с ним было! Поверишь, комиссар, и не тянуло на сторону, вот истинный крест! Ну, с их благородием господином Шулейкиным... да шурином, но это редко, хорошо, коли в месяц разок-другой...» А хлебнув самогонки, любила повторять: «Пожар! Пожар! Мужик бабу зажал!» И после всегда всхлипывала... Эта не с голода валяется по постелям. Да какой голод: в сумке харчи первый сорт! Кета, медвежий окорок, калачи...

Как выяснил Три Фэ, польстилась она на него из-за бабьих пересудов, «уж очень загорело попробовать...». То есть уже пользовался Федорович славой неумоимого жеребца.

Не унять тетку: сверхмерная и есть. Ну «отходит» от души, а ей вроде щекотки.

Следил за ней исподлобья и думал, грешным делом, что такой в самый раз под отделение солдат, а то, гляди, и на взвод потянет. Еще не успела из-под одного мужика вылезти, а уже кобылой ржет навстречу другому. Наглая самка.

А болтлива, бесстыжа! И все об одном: «Кабы держаться и не отпускать...» И, объяснившись на такой манер, смеялась, полизывая губы, притулялась бочком (а жаркая!) и часто-часто дышала. Глаза заволакивала сверкающая влага. Ну черт баба! Сверхмерная!..

Телом розовая — во всю кровать, до чего ж откормленная и сытая! Груды — складочками и вялые, как бы с другой женщины, но соски длинные и твердые, ровно сами по себе.

Сама белобресая, бровей не углядишь. Меж ног — рыжеватая: волос грубый, завитками. Ноги затяжеленные весом, неуклюжие и очень нежные. Выше колен, как простегнутые квадратиками подкожного жира, все в ямочках.

За коня для нее наш Флор Федорович. Это он вскорости сообразил, мужик неглупый. За резвого скакуна. Вроде как продали его все гулящие бабы и девки Иркутска этой... Дай Бог памяти... Клава! Нет для бабы белых, красных, голода, чехов, политики — «только бы держаться и не отпускать». Все сокрушалась:

— Это разве ж мужики вокруг? Это, комиссар, штаны!

А с другой стороны — что в том худого? Ну расположена тетка так жить. Радость ей. И слава Богу! Пусть ублажает мужиков и себя, ее это, Клавино, назначение, планида ей такая. Не в обиду и ущерб это людям и всем высоким помыслам.

Выпадает из горячки буден, запоя и блуда Федорович. Отощал, осип и вроде даже как бы запаршивел, но это только с виду. Со временем приведет себя в порядок. И примется он себя снова пробовать в разных практических делах. А как быть, ежели дорога за кордон заказана. Любой беляк сразу выпустит тебе кишки, вроде подарка ты для него...

«...Капитал и прибавочная стоимость создаются общественными формациями...» Опять шибко наляжет на священные книги Федорович. Прежде в них всегда находил подкрепление душе и вообще оправдание всем поступкам.

А только напрасно. Приклеилась к нему адмиральская кровь — ну не смыть. А по какой росписи законов? Сколько людишки убивают, насилуют и вообще губят друг друга, а ничего, нет для них судьбы: жиреют, цветут, даже плодятся. А вот он, Федорович, меченый. Не разогнуться, не улыбнуться звездам — ни мгновения чистой радости.

По отдельности стали жить душа и тело. Неприкаянная душа и тело...

Вроде распрявиться должен, нет больше белых: дыши, борись за свое дело. Республика Труда и Свободы!

А только все не так. Еще нет этого, но уже прихватывает нутром привкус новой жизни. Из всех уголков светят ее принципы, и особенно наиважнейший: все, кто не разделяет этих самых принципов, должны исчезнуть. Как уж там исчезнуть — это дело десятое: уберут или сами уйдут, то бишь саморастворятся. Существенно одно: не должны такие оставаться, нет им места.

Три Фэ только хрипел озираясь. Жилы аж до самых скул — какой воз за плечами вырос! Нет, не за себя убоился Три Фэ. Всю жизнь клал себя в общее дело, сколько бед снес — нет у него в этих делах своей выгоды и шкурных интересов.

Еще до революции, в ссылках, спорил с «бэками» — те считали, будто народ к заданным политическим целям надо приводить силой; это они от Ткачева усвоили и приняли в свою программу. И теперь вот на глазах у него штыками и пулями поворачивают всех к так называемой счастливой доле.

Народ был его самой серьезной любовью — от первого чувства к женщине отрекся, от всех карьер и привязанностей. Ночами стынул в каких-то закутках: а вдруг обминуется, не возьмут жандармы?.. Сколько лет в ссылках и тюрьмах! А любовь не угасла! Верит в гений народа, ощущает кровное единство с ним. Все радости и печали как бы на двоих...

И вообще, смотрит на новую жизнь Три Фэ и не узнает: подменили людей. Чуть не так — и гребут в «чрезвычайку», а народ молчит. Почему молчит? Что это, как могло стать?!

А пока, что ни ночь, убеждает себя: «С адмиралом мы квиты. Сначала он нас взял за горло (после бучи в Омске), а теперь мы его. По совести так: чем кровь моих товарищей и вообще трудовых людей хуже адмиральской?»

Грызут сомнения. Такая слякоть в сердце и голове!

Три Фэ давит тревогу в душе, что-то кричит женщине после стакана самогонки, дергает из деревянной кобуры маузер. А кто эта особа, почему с ним?! Кто подослал?!

Не сразу завязал. В горе еще срывался, да как!

Словом, не сдается Три Фэ. А и в самом деле, рано крест ставить на жизни, годов уж и не так чтобы шибко... Пробует, ищет себя Три Фэ, зубами цепляется за жизнь. Вроде не ценит ее, дерьмо и есть, а руки, как у утопающего, сами гребут, несут по воде, молят о солнышке.

Однако напрасно все. Не знать больше этому видному эсеру и народному трибуну ни душевного равновесия, ни вообще долгих лет. Только и глянет солнышко под урез февраля, а в мае уже навсегда и угаснет. Щедр Судья Небесный...

Странное это обстоятельство: все, кто так или иначе оказался причастен к гибели царя, его семьи, а также и Александра Васильевича Колчака, сгинули задолго до старости, в муках и позоре, кроме разве Ширямова да Ленина, но Главный Октябрьский Вождь потерял память и речь через два года после казни адмирала — одряхлели, раскрошились сосуды в голове, разжижился мозг по ответственным участкам... Отошел он в мир иной в почете и славе цезарей. Нет, выше цезарей, лучезарней самых знаменитых цезарей и правителей — ну великое сияние над человечеством.

Этот невиданный посмертный шум, идолопоклонство положили себе на пользу хилые последователи Ленина. Как бы действовали от его имени, в блеске и благословении дел его. Мертвый — он все еще служил своей революции.

Что до всех прочих... Прочих подгробала «женевская» уродина без всякой музыки — на позор, страдания, издевательства. В расцвете сил загубила и Белобородова, и Голощекина, и едва ли не каждого из тех стрелков-казнителей, кроме Ермакова — этот геройски спился. Загробла уродина и всех иркутских вождей...

В гной и свалку утекли те ручьи крови.

А народ и не поежился, хотя густо понесло кровью — не продохнуть, отовсюду этот запах: кислый, до жути щемящий.

Вернули чехи золото!

Чекисты Чудновского и дружинники из членов партии выгрузили его из вагонов — все сверял Косухин по описи. Достался ему с золотом и контролер. Преданно сидел при золоте старичок еще с речистых времен Керенского. Там все до грамма было учтено, написано, помечено.

В тот же день, точнее ночь, отчитался Косухин перед ревкомом — не подвела адмирала память: верные сведения давал. Имеется, правда, подозрение на господина Сырового. Ныне золото в подвалах Иркутского банка — вернула трудовая Россия свое. Только пятьсот четырнадцать ящиков укатило к Владивостоку. Задержал их атаман Семенов. Ну сам состав прикатил: считай, взвешивай, сверяй по описи, осеняй себя крестом и кричи «ура».

На сорок миллионов золотых рублей отхватил ломоть. Искушать судьбу не стал, отправил слитки в Маньчжурию. Союзники союзниками, а чем от них подале, тем целей. А что, как вокруг них и после было — не дано нам знать. Одно из последних донесений, полученных бывшим Верховным Правителем России, было о боях семеновцев против чехов — почти четверо суток кровавых стычек.

Как представишь эвакуацию золотого запаса при партийных правителях России, аж сыпью покрываешься! Все эти брежневы, щелочковы, рашидовы и вообще звездастые и неподсудные... Будь они на месте белого Правителя — не видать этих пятисот тонн в Иркутске. Вагоны прикатили бы, а золото...

А разве было?..

Вот состав — торчит целехонький на путях, а только один ветер в вагонах. Суетятся контролеры, ищут эти самые пуды, шуму и треску по пустым «пульманам», а золота (ну даже завалящего слитка) не имеется.

КГБ сразу на американцев (империалисты поганые!) подзорные трубы наставляет, на предел увеличения дает — ищет...

И это взять умом можно. По мирному времени все эти брежневы тягают без стыда и совести, всем кланом, со всеми знакомыми и прихлебателями, аж трещит народная казна — тысячами грязных, нечистых рук, а тут чрезвычайные обстоятельства, условия войны: ну сгнуло бы золото, ну пустыми бы приболтались вагоны в Иркутск!

Воображение так и рисует, как принимают этакий состав.

При комиссии срывают пломбы, у всех акты, расписываются, а в вагонах — ни слиточка: все уперли эти последователи Непогрешимого, а и впрямь, кто позаботится о детках, новых дачах и вообще заслуженных удобствах? А про черный день?..

Грабастали же мирными, светлыми днями генеральные секретари с дочерьми и пьянчугами сыновьями, грабастали секретари крайкомов и вообще министры внутренних дел из самых звездастых и депутатствующих — все эти коммунисты номер один, два, три... с плотоядно-жадным отродьем. Да сколько их за десятилетия прикладывались к народной казне, хотя вроде и ни к чему — само идет в руки, — узаконили сей грабеж так называемыми пайками, денежными пакетами, казенными дачами, машинами, прислугой — все задарма...

И кроме

свежевымытой сорочки,
скажу по совести,
мне ничего не надо...

В. Маяковский

Простодушен был поэт.

«Женевская» уродина лишь рыгала сыто, ибо наловчена карать она преимущественно тех, кто мешает наслаждаться жизнью новым хозяевам России — всему великопаразитному сословию партийных и советских чиновников. На то ее и мастерили, голубу.

И ничего в том случайного, никаких выкидышей истории — все заложено Непогрешимым. Хотел он этого, не хотел — какое дело истории: взяла и дала настоящее чтение «октябрьского дела» с подробным разворотом на все десятилетия до нынешнего.

Этот гений революции своими руками губил то, что вынашивал

в мечтах. Одна его поправка к уставу партии о недопустимости фракций разом возвела партийных вождей в ранг непогрешимых и пожизненных владык России со всеми людишками и барахлом, движимым и недвижимым. Дисциплина и порядок, о которых столь пекся Главный Октябрьский Вождь, обернулись смирительной рубахой не только для членов партии, но и для всего народа.

Эта поправка к уставу партии знаменовала не только запрещение естественной и нужной свободы мнений, не только создавала условия для размножения бюрократии и превращения партии в косный сословный придаток вождей, но и ставила вождя (вождей), то есть генсека, как особу священную выше партии, стало быть, и выше народа. Таким образом, партийная верхушка оказалась вне контроля, а народ положен к ее ногам.

Ленин обрушился на деспотию, а утвердил в России новую, более жестокую, нежели прежняя, романовская (и сравнить нельзя!).

С этой всеподавляющей властью на Русь опустилась гигантская чугунная плита. И гниет под ней Русь, славя своих притеснителей. А «женевская» тварь тут как тут: это ее первейшая забота — чтобы плата не сдвинулась.

Гражданская война выплеснула великое множество атаманов, больших и малых (по преимуществу зловонных). На востоке России гремели имена Красильникова, Анненкова, Дутова, Калмыкова, Семенова, Иванова-Ринова, Гамова... С их силой (самоуправством) вынужден был считаться и сам Верховный Правитель России.

Казачество являлось опорой белого движения. На востоке — это Забайкальское, Уссурийское, Амурское, Иркутское, Енисейское, Уральское, Оренбургское казачества...

Атаманы Красильников и Анненков заправляли и в самом Омске. Это тот самый Красильников, который оказался одной из центральных фигур в перевороте 18 ноября 1918 г.

Власть атамана Анненкова распространялась в основном на Семипалатинскую губернию. Бог и царь там, он держался от Колчака подчеркнuto независимо. Эх, атаманы, атаманы, рубили свой же сук, силу давали «интернационалу»; топтали последнее, чем еще могла держаться белая власть, — сплоченность.

Атаман Дутов произвел в Оренбурге переворот в ноябре 1917 г., издав приказ о переходе власти по губернии к казачьему войсковому правительству. В 1918—1920 гг. командовал отдельной Оренбургской армией в войсках Колчака. Убит чекистами в Китае в феврале 1921-го.

Калмыков двинул себя в атаманы Уссурийского казачества, то есть шерстил преимущественно Приморье. Вместе с адъютантом полковником Кроком тоже бежал в Китай и был вскоре застрелен в Мукдене (Харбине). Кем? Лубянка уже сменила младенчески-детский дискант на звучный тенор юноши.

Барон Р. Ф. Унгерн фон Штернберг за уголовное деяние был отстранен Николаем Вторым от должности и отправлен в тыл под следствие. Как Семенов и Дутов, был уполномочен Керенским формировать верные Временному правительству войсковые части. Барон формировал их из бурят и казаков...

Все эти атаманы в подавляющем большинстве своем служили до революции в невысоких чинах. Так, Калмыков имел чин есаула, Семенов также был есаулом, Дутов, правда, был полковником.

Атаманы истово преследовали коммунистов и евреев. Главными их противниками были партизаны...

Один из близких к адмиралу людей (Будберг) свидетельствует: «...атаманы и атаманщина — это самые опасные подводные камни на нашем пути к восстановлению государственности... необходимо напрячь все силы, но добиться того, чтобы или заставить атаманов перейти на законное положение и искренне лечь на курс общей государственной работы, или сломать их беспощадно, не останавливаясь ни перед чем...

К горю нашему, у адмирала нет прочной решимости поставить все на карту и покончить прежде всего со всеми атаманами и с атаманщиной во всех ее разновидностях и проявлениях. Надо это сделать хотя бы ценой собственного провала, ибо иначе эта язва съест и адмирала и нас; сожрет всю белую идею и сделает ее надолго постылой и ненавистой для всей Сибири; ведь то, что произошло и продолжается сейчас в Приморье, Забайкалье и что расползается по Сибири, вопиет, грозит и предостерегает.

Не может быть прочного фронта, раз тыл гноится атаманщиной; не может быть здорового тыла, раз он поражен той же язвой...

Несчастный, слепой, безмолвный адмирал, жаждущий добра и подвига...»

Весьма любопытна зарисовка из воспоминаний генерала Врангеля.

«Большинство офицеров Уссурийской дивизии, и в частности Нерчинского полка, во время гражданской войны оказались в рядах армии адмирала Колчака, собравшись вокруг атамана Семенова и генерала Унгерна. В описываемое мною время оба эти генерала, коим суждено было впоследствии играть видную роль в гражданской войне, были в рядах Нерчинского полка, командуя 6-й и 5-й сотнями; оба в чине подьесаула.

Семенов, природный забайкальский казак, плотный коренастый брюнет, с несколько бурятским типом лица; со времени принятия мною полка состоял полковым адъютантом и в этой должности прослужил при мне месяца четыре, после чего был назначен командиром сотни. Бойкий, толковый, с характерной казацкой сметкой, отличный строевик, храбрый, особенно на глазах начальства, он умел быть весьма популярным среди казаков и офицеров. Отрица-

тельными свойствами его были значительная склонность к интриге и неразборчивость в средствах для достижения цели. Неглупому и ловкому Семенову не хватало ни образования (он окончил с трудом военное училище), ни широкого кругозора, и я никогда не мог понять, каким образом он выдвинулся на первый план гражданской войны.

Подъесаул барон Унгерн-Штернберг, или подъесаул «барон», как звали его казаки, был тип несравненно более интересный.

Такие типы, созданные для войны и эпохи потрясений, с трудом могли ужиться в обстановке мирной полковой жизни...

Из прекрасной дворянской семьи лифляндских помещиков, барон Унгерн с раннего детства оказался предоставленным самому себе... Необузданный от природы, вспыльчивый и неуравновешенный, к тому же любящий запивать и буйный во хмелю, Унгерн затевает ссору с одним из сослуживцев и ударяет его. Оскорбленный пашкой ранит Унгерна в голову. След от раны остался у Унгерна на всю жизнь, постоянно вызывая сильнейшие головные боли и, несомненно, периодами отражаясь на его психике... Оба офицера вынуждены были оставить полк.

Возвращаясь в Россию (после войны с Японией. — Ю. В.), Унгерн решает путь от Владивостока до Харбина проделать верхом... в сопровождении охотничьей собаки и с охотничьим ружьем за плечами. Живя охотой и продажей убитой дичи, Унгерн около года проводит в дебрях и степях Приамурья и Маньчжурии...

Среднего роста, блондин с длинными, опущенными по уголкам рта рыжеватыми усами, худой и изможденный с виду, но железного здоровья и энергии, он живет войной... это тип партизана-любителя. Оборванный и грязный, он спит всегда на полу среди казаков сотни, ест из общего котла... Тщетно пытался я пробудить в нем сознание необходимости принять хоть внешний офицерский облик.

В нем были какие-то странные противоречия: несомненный, оригинальный и острый ум и рядом с этим поразительное отсутствие культуры и узкий до чрезвычайности кругозор, поразительная застенчивость, и даже дикость, и рядом с этим безумный порыв и необузданная вспыльчивость, не знающая пределов расточительности...

Этот тип должен был найти свою стихию в условиях настоящей русской смуты... с прекращением смуты он так же неизбежно должен был исчезнуть».

После гибели адмирала и разгрома белой гвардии за восточными пределами России окажутся все, кто не мог смириться с красными порядками. Часть из них так и не сложат оружие, организуясь в отряды, готовые в любой миг к броску назад, на Родину. Белые не оставляли надежд отвоевать Сибирь.

Генерал-лейтенант Унгерн разработал план одновременного выступления всех наиболее крупных отрядов белых добровольцев.

Отряды можно называть и бандами — обильная кровь и пепелища за ними утверждают право и на такое именование.

В середине 1921 г. в Пекине соберутся командиры белых отрядов — капитаны, полковники, генералы... Отряды эти имели базы главным образом в Маньчжурии (как, например, у Семенова) и Монголии (там была подлинная вотчина Унгерна). Итогом совещания явится приказ № 15 за подписью генерал-лейтенанта Унгерна. По данному приказу через советскую границу должны были прорываться отряды:

— генерала Унгерна (численность — около корпуса): в Троицкосавском направлении;

— генерала Семенова (тоже около корпуса): со стороны Уссурийского края;

— генерала Бакича (около корпуса): на Семипалатинск;

— Резухина: по Селенге.

В Иркутском районе должны были оперировать отряды Казанцева и Шубина, в Урянхайском крае и по Енисею — Казанцева и на Алтае — Кайгородова.

Конечная цель действий — захват городов по транссибирской магистрали¹. Все отряды находились в оперативном подчинении барона Унгерна.

В 1921—1922 гг. основные силы белых на землях ДВР и РСФСР подверглись разгрому. Мелкие же отряды и остатки основных сил вели борьбу еще несколько лет.

Барон Роман Федорович Унгерн фон Штернберг в годы мировой войны выказал достаточно отваги и умения, однако за избивание офицера был осужден на три года крепости. Февральская революция спасла барона от заключения в камеру. В августе семнадцатого Унгерн вместе с Семеновым был направлен Керенским в Забайкалье для формирования новых надежных частей.

В Гражданскую войну барон командовал дивизией, отличаясь и решительностью и жестокостью. 21 августа 1921 г. Унгерн был обманно взят в плен и по приговору Сибревтрибунала расстрелян месяц спустя.

Борис Владимирович Анненков отступил с частью войск в Синьцзян (Западный Китай). В 1926 г. добровольно вернулся на Родину. На следующий год 37 лет от роду по приговору ревтрибунала расстрелян.

Кроме Семенова, судьбы других атаманов проследить по официальным советским источникам сложно.

Атаман Семенов оказался, как и Дутов, участником Всероссийского казачьего съезда. За ним, Семеновым, стояли японцы, мечтающие о «Сибирь-Го». В 1919 г. объявил себя атаманом Забайкальского казачества.

¹ Кстати, в мае 1991 г. Россия отметила столетие транссибирской магистрали.

Его (наравне с Махно) прочили в крестьянского диктатора России — «защитника единой России и крестьянства». Атаман печатал газету «Русский голос», которая всячески поносила Колчака.

Иерусалимский патриарх Дамиан произвел пресветлого атамана в кавалеры ордена Святого Гроба Господня.

Когда было нужно, пресветлый атаман умел произвести впечатление. Так, едва ли не очаровал генерала Болдырева подтянуто-стью, тактом и воспитанностью...

Войска Семенова вобрали весь пришлый элемент, в заметной части откровенно разбойный. После разгрома фашистской Японии в 1945 г. и временной оккупации Маньчжурии советскими войсками атаман будет арестован и повешен в августе 1946-го по приговору военного трибунала в Хабаровске.

Генерал Холщевников, кажется, не смотрит, а пьет свет из узенького проема. Свет рассеянный, мягкий — подпирает окошко сугроб. Кирпич, цемент местами покрошился — неровен контур окошка. Генерал может вычертить его по памяти. Шутка ли, третью неделю он торчит здесь. Сначала, честь по чести, пытались прорваться все вместе: офицеры штаба и несколько солдат. Прорвались к «железке» (таежному полустанку), но чеги в эшелон взяли только троих. Золото оказалось у поручика Корзухина (фамильный перстень), морского лейтенанта Михелева (медальон с крохотной фотографией невесты, лейтенант принялся исступленно выскребывать ее из кругляшка медальона) и у него, генерала Холщевникова, — два офицерских Георгиевских креста, а они, как известно, из золота самой высокой пробы.

Довезли до Иннокентьевской — и под зад. Офицеры пожали друг другу руки — и кто куда. Что с Корзухиным и Михелевым — генерал не знает, а он двинул дворами, подворотнями, закоулками — и добрался-таки. Жива старуха мать полковника Коновалова. Признала Колю Холщевникова, товарища ее сына по академии. Жив ли сынок, где — никто не скажет, а мать ждет, надеется. И сидит Холщевников в полуподвале за грудой старых досок, фанеры, ждет лета. По лету двинет за кордон.

Скверно у генерала на душе. Как вспомнит чешский эшелон, вроде бы родной славянский говор, и потом: перстень, медальон, Георгиевские кресты, темень ночи, свою торопливую речь, вспышки спичек для осмотра ценностей, прочерки лиц... Бросил товарищей! Бросил! Предал генерал своих офицеров, укатил в чешском эшелоне.

Холщевников елозит задом, не по себе ему. Кроет и по батюшке, и по матушке — себя кроет... и жизнь! Да копейка эта жизнь! Материт себя — одно слово гаже другого. Мало шерстил красных! Ох мало! Уж достану теперь так достану!

Кресло вонючее, загаженное мышами, кожа в дырах закрутилась осенним палым листом. Ему не холодно — он в тулупе до пят.

Старуха Коновалова едва донесла тулуп (от прежних времен, дворницкий), не донесла, а приволокла. Ногам тоже тепло — в пимах на шерстяной носок.

Смотрит генерал на полоску света между снегом и обводами окошка (еле сочтется: ладонь не разглядеть) и думает о жене, сыне. В Чернигове они... полк стоял перед войной в Чернигове.

Если и выберется за кордон, как без них?..

Думает, думает, аж кровь начинает стучать в висках.

А после и задремлет...

Отупел он от сидения — все дни в закутке за досками, по ночи выйдет во двор, но только по нужде, тенью, вором. Он не брит, отекли ноги, ноет рана в правом боку под лопаткой — германская шрапнель, чтоб ее!..

Не спускает генерал глаз с полоски света, щупает рукоять маузера и силпо напевает (слуха-то нет — не поет, а подвывает) куплеты фронтовой песенки:

— Что звенит?

— Да, чай, не понял что?

Не стопочка хрустальная.

То ли цепка от часов,

То ли цепь кандальная...

С раздражением сплевывает и матерится: привязалась же, окаянная! На день тыщу раз скулю!..

А и впрямь, что за жизнь: жена и сын — в плену, офицеров предал. Они без золота — и оставайся, а он с золотом — езжай, спасайся.

А спасся ли?..

В плену сам, в настоящем плену...

И бормочет генерал ругательства. Об офицерской банде мечтает, чтоб в мясо и пыль комиссаров и всю сволоту, что превратила его, Николая Холщевникова, в крысу и предателя.

Господи, своих оставил! Красным на съедение оставил! Кругом тайга, снег, куда им?!

Шибко потеет ладонь на рукояти маузера. Раз по сто на день достает, холит его, протирает патроны. На груди, в большом кармане, похожем на кошелку, коробок с запасом — три полные смены патронов, на поясе — финка. Не молод Колька Холщевников, но при случае извернется, ударит...

Ночами «его превосходительство» вместо бледного света, коли повезет и нет туч, видит зеленоватый свет луны. Струится из щели, по горло заливают Холщевникова (так ему представляется). Прозрачный, неживой свет.

Слух обострился, и генералу мнится, будто стук сердца так громок — ну нельзя не услышать, как настенные часы, мерно, громко будит тишину...

Толсто шевелит губами.

...То ли цепка от часов,
То ли цепь кандалная...

С 19 июля по 17 августа 1920 г. в Москве (открылся в Петрограде) проходил II конгресс Коммунистического Интернационала. В своем докладе (предельно сжато) Ленин впервые заговорит о некапиталистическом пути развития колониальных стран. Ленин задает вопрос о том, неизбежна ли капиталистическая стадия развития для отсталых народностей, и отвечает отрицательно:

«Если революционный победоносный пролетариат поведет среди них систематическую пропаганду, а советские правительства придут им на помощь всеми имеющимися в их распоряжении средствами, тогда неправильно полагать, что капиталистическая стадия развития неизбежна для отсталых народностей».

Эта посылка — правовое оправдание вмешательства в жизнь самых дальних уголков земного шара: РСФСР (Советский Союз) должна революционизировать отсталые народы, не отдавать их на разграбление «акулам капитализма».

Чтение тезисов Ленина дает четкое представление, по каким причинам с нами стряслась катастрофа; с этой точки зрения все беды до одной, даже самой, казалось бы, частной, объяснимы.

Катастрофа была предопределена ленинизмом. Никаких «извращений» генсеками более поздних формаций допущено не было. Весь этот корабль следовал ленинским курсом насилия. Только так. Ведь насилие обожествлял их пророк.

II конгресс Коминтерна проходил после провалов выступлений Колчака, Юденича, Деникина. Врангель оказался зажатым в Крыму, с этим клочком земли неосвобожденным остается только Дальний Восток. А главное — чрезвычайно удачно развивается поход на Варшаву.

Именно в ходе междоусобной войны складывается эта могучая наднациональная организация, жестко подчиненная Кремлю. Через Коминтерн Кремль назначает в другие партии своих ставленников, распоряжаясь ими, как слугами.

Именно Коминтерн дает Москве возможность революционизировать мир, вносить в него столь желанную неустойчивость, подчинять и диктовать освободительному движению свои условия и догмы. Это обернется противостоянием двух лагерей. Нет отныне мира, есть две враждующие части его.

Капитализм должен рухнуть! Ненависть, нетерпимость ложатся в каждый тезис, пункт, положение программы и платформы Коминтерна.

II конгресс принимает воззвание «К рабочим Питера», затем «К Красной Армии, к Красному Флоту РСФСР»:

«Братья красноармейцы, знайте, ваша война против польских панов есть самая справедливая война, какую когда-либо знала история...

Трудящиеся массы не могут уничтожить иго богачей и наемное

рабство иначе, как с оружием в руках... За это пролетарии всех стран благословляют вас...»

Принято воззвание «Против палачей Венгрии»:

«...Сдавленная со всех сторон, с перебитыми руками и ногами, Советская Венгрия умерла в страшных муках на Голгофе контрреволюции, чтобы воскреснуть вновь, как только мы ей поможем...»

Мы ей и помогли в 1945-м стать советской, а после «спасли» в 1956-м.

«В час, когда до вас доносится хруст костей погибающего пролетариата Венгрии, вы обязаны поднять свой голос и остановить преступную руку буржуазных палачей, которые сдирают кожу с живых, заставляют есть человеческий кал, насиляют женщин и распарывают животы коммунисткам!» (Кстати, здесь изложена будущая программа «женевского» страшилища по отношению к народам России, в том числе и коммунисткам.)

«Поднимайтесь все на борьбу против палачей Венгрии!

Пуускайте в ход все средства этой борьбы!..¹

Рабочие! Своим равнодушием вы сами становитесь помощниками палачей!..

Советская Венгрия умерла. Да здравствует Советская Венгрия!»

В 1945-м Венгрия наконец опять стала советской; спустя одиннадцать лет она в ужасе поднялась против ленинского карательно-принудительного устройства жизни. Но что она против бронированной мощи огромного военизированного государства, считающего своим первородным назначением искоренение капитализма? Таков завет его пророка — Ленина...

Принято и воззвание «К пролетариям и пролетаркам всех стран»:

«Второй всемирный конгресс Коммунистического Интернационала собирается в момент, когда под мощными ударами Красной Армии русских рабочих и крестьян падает белогвардейская Польша, твердыня капиталистической мировой реакции. То, чего пламенно желали все революционные рабочие и работницы всего мира, свершилось...

Долой белогвардейскую Польшу!

Долой интервенцию!

Да здравствует Советская Польша!»

По всей РСФСР клеили плакаты: жалкий крестьянин уперся в плуг, за его спиной дюжий дядя с плетью. Плакат обрамляли слова:

«Крестьянин! Польский помещик хочет сделать тебя Р А Б О М. Не бывать этому!»

Это означало лишь одно: разрушение польского государства и образование на его развалинах советской Польши.

¹ Вот оно, ленинское, уже появляется: все средства хороши! Очень скоро это обернется абсолютной вседозволенностью.

Это не удалось тогда, в 1920-м, — удалось после разгрома фашистской Германии. Чем завершилось создание советской Польши, мир убедился спустя три десятилетия после сорок пятого года — распад польской государственности и беспрецедентный экономический хаос.

Железная хватка ленинизма...

Все посылки Ленина определяла огнедышащая ненависть к капитализму. Вся беспрецедентная жестокость нового строя замешивалась на этом праве ненавидеть все вне нас (что несет клейма «неленинский», «непролетарский», «несоветский» или просто «не наш»)..

Новый класс господ оформляется за спиной Ленина уже при его жизни. Но какой же рост этот класс даст после заточения в мраморный куб своего кумира! Казалось, это не часть того же народа, а орда завоевателей, жестоких проконсулов, алчная и беспощадная.

Айхенвальда настораживает догмат большевиков об интернационализме. Пожалуй, никто и нигде не подвергал его такому точному и честному анализу. Ведь не след забывать — написаны эти слова в 1918 г. — не в годы, когда все стали «крепки задним умом». Еще все было неясно, смутно, неопределенно. Великий эксперимент Ленина вызывал не только осуждение, но и глубочайший интерес, что уже являлось, по сути, одобрением.

«Формула, в силу которой «у пролетария нет отечества», грешит против самой элементарной психологии, даже физиологии. Отечества и его преимущественности из души не исторгнешь; пролетарии всех стран не соединятся никогда, потому что их всегда будет отделять друг от друга предпочтительное чувство каждого к **своей** стране, исключительная любовь к **своей** матери. Интернационал не соответствует законам... души. Народное в нас стихийно, международное — искусственно. Сколько бы ни было в национализме отрицательных черт, он корни имеет в самой природе. И бороться надо только со злоупотреблениями национализма, с тем, что есть в нем дикого и зоологического, но не с его сущностью...»

Чудновский укреплял свою волю цитатами, выхваченными из книг о Великой французской революции 1789—1794 гг.:

«Уничтожая негодяев, мы тем самым защищаем жизнь целых поколений свободных людей...»

Встречаются люди, одержимые ложной и варварской чувствительностью; наши же чувства целиком принадлежат революции».

Из этих книг председатель губчека вынес особое уважение к Робеспьеру. Он твердо усвоил мнение современников о вожде

якобинцев: «Молчание и тайна были его великой силой. Другой силой было для него шпионство. Он считался мастером этого дела...»

С гордостью шептал Чудновский: «Неподкупный...»

Точную характеристику семеновщине дал Будберг:

«...Адмирал ответил (ему, Будбергу. — Ю. В.), что он давно уже начал эту борьбу (с атаманщиной. — Ю. В.), но он бессилён что-либо сделать с Семеновым, ибо последнего поддерживают японцы, а союзники решительно отказались вмешаться в это дело и помочь адмиралу; при этом Колчак подчеркнул, что за Семенова заступаются не только японские военные представители, но и японское правительство...»

Я вновь доложил адмиралу свое убеждение в необходимости раз навсегда разрешить атаманский вопрос и высказал свой взгляд, что единственным исходом будет официальное обращение ко всем союзникам с протестом против поведения Японии, поддерживающей явного бунтовщика, не признающего власти омского правительства, подрывающего ее авторитет и насаждающего своими насилиями и безобразиями ненависть к правительству и сочувствие к большевикам...

Между тем по всему чувствуешь, что этот человек (Колчак. — Ю. В.) остро и болезненно жаждет всего хорошего и готов на все, чтобы этому содействовать...»

На допросе 30 января адмирал ответил Алексеевскому:

«...Самая цель и характер интервенции носили глубоко оскорбительный характер — это не было помощью России. Все это выставлялось как помощь чехам, их благополучному возвращению, и в связи с этим все получало глубоко оскорбительный и глубоко тяжелый характер для русских. Вся интервенция мне представлялась в форме установления чужого влияния на Дальнем Востоке (выделено мною. — Ю. В.)».

Алексеевский задаст вопрос:

«А участие чехов в русской политической вооруженной Гражданской войне вы не считали интервенцией союзников?»

«Нет, — объяснит адмирал, — я считал, что чехи стоят совершенно особо. Прежде всего, для меня было совершенно ясно, что чехи были поставлены в необходимость этой борьбы для того, чтобы выбраться из России. Я на чехов смотрел совершенно другими глазами, я их отделял от тех союзников, которые пришли извне».

И в свой смертный час Александр Васильевич не таил зла на чехов — ни одного недоброго слова на допросах.

Судил себя.

Судил за то, что, словами Будберга, не стал «гигантом наверху и у главных рулей...».

Провалено, обесславлено дело!

Дело, под которым сотни тысяч молодых отважных жизней...
Россия повернулась к нему, а он?!

Ленина отличала не только сусальная забота о товарищах по партии, столь воспетая в книгах и кинолентах. Коминтерновец Томас возвращает из забвения примечательную сцену. После поражения революции в Венгрии товарищ Бела Кун прибывает в Москву. Ленин вызывает его для отчета.

«Там было много шума, — рассказывает Томас. — Кун имел свидание с Лениным... Ленин рвал и метал. У Куна был сердечный приступ: после свидания с Лениным упал на улице. На руках притащили домой — слег. Москва начала расчеты. Всех причастных вызвали в Москву...»

Оно и понятно: пригас пожар всемирной социалистической революции, а должен быть, в священных книгах марксизма на сей счет прямо пропечатано. Вот и взялись «топливо» подбрасывать: чемоданами драгоценные камни, валюту. Должен заняться костер мировой революции, на таком «топливе» — должен! Это Главный Октябрьский Вождь уже один раз проверил. Сам всем пришлым золотым рублям счет знает...

Спустя чуть меньше двух десятков лет, в один из московских вешних дней 1937 г., Бела Кун явился на очередное заседание ИККИ (Исполнительного Комитета Коммунистического Интернационала). За столом уже сидели соратники: Димитров, Мануильский, Варга, Пик, Тольятти...

Заседание открыл Мануильский. Он сообщил членам ИККИ сверхновость: Бела Кун с 1921 г. румынский шпион! И тут же объявил заседание закрытым.

У выхода из здания Белу Куна заталкивают в «эмку» люди в форме сотрудников НКВД.

Отлилась товарищу Беле Куну кровь расстрелянных в Крыму мужиков¹, мобилизованных Врангелем. На многие тысячи валили в рвы: чистить надо землю от белой пакости!..

О Борисе Ивановиче Николаевском я впервые услышал от Натальи Алексеевны Рыковой. Нас познакомил И. М. Гронский (1895—1985) в середине 70-х годов. У меня сохранились фотографии того дня. Иван Михайлович познакомил нас не без корысти: он ждал от меня романа о революции, а Рыкова была поистине могучим источником.

¹ В 1920 г. Бела Кун являлся членом Реввоенсовета Южного фронта, позже возглавил ревком Крыма. Без его ведома эти массовые расправы не могли иметь места. Не исключено, что в казни он вкладывал и свою месть за поражение революции в Венгрии, «осознав», что для классового врага пощада не только вредна, опасна, но и контрреволюционна.

Уже много позже о Николаевском я прочел в книге Берберовой «Железная женщина».

За Натальей Алексеевной я записал немало интересного, но самым интересным была она сама, с исключительно острой памятью, живая и, несмотря на все пережитое, с большим чувством юмора. А записывать было что. Ведь именно ее отец являлся первым заместителем Ленина по Совнаркому, а после смерти вождя и возглавил советское правительство.

Наталья Алексеевна ребенком запомнила одно из заседаний Совнаркома. Оно проходило у них дома: Алексей Иванович болел, а без него Ленин не хотел проводить заседание. Запомнила она и Ленина, хотя постоянно оговаривалась, что детские воспоминания ненадежны.

Встречались мы полуконспиративно, преимущественно дома у Натальи Алексеевны, но так, чтобы никто не заметил. Я опасался раскрыться. О «женевской» твари у каждого русского вполне определенные представления, как и о тех, кто ей прислуживает, — ленинских чекистах. Ни о какой серьезной работе над рукописью в таком случае и речи быть не могло. Сиди, будто тебя нет («не трепыхайся») — иначе обыск, арест...

Почувствовав вскоре во мне органическое неприятие ленинизма, Наталья Алексеевна отказалась продолжать беседы, оборвала одну из них сразу, на полуслове. И это естественно: она обожала все, что было связано с отцом, а главным в жизни Рыкова была служба большевизму. Его он исповедовал искренне и самоотверженно — из рабочих, знал подполье, а если арест, то только — тюрьмы, а не бега в европейские страны. Встречаясь со мной, отрицающим ленинизм, глубоко ненавидящим его карательные системы, она как бы предавала память родителя. Это огорчило, даже задело меня, но... В общем, я с головой погрузился в другую работу: столько старых книг, газет, встреч с новыми людьми — каждый нес крупицу прошлого. Однако мы сохранили добрые отношения. Последний раз виделись в 1986 г. Тогда-то я с горьким сожалением и недоумением (как же я так мог поступить!) узнал, что правнучка Герцена хотела со мной познакомиться. Она уже была в весьма почтенных летах, а я, дурень, захваченный революционным прошлым, не придавал значения предложениям Натальи Алексеевны. Рыкова и правнучка Герцена дружили. Как же я тогда раскаивался! Память о ее прадеде была для меня священна. И я все размышляю, как же нужно быть: поглощенным работой, чтобы пропустить мимо сознания столь важные вещи! Ну что случилось бы с «Огненным Крестом», отдай я знакомству несколько дней! Ан нет, все было до фанатизма подчинено главной цели, остальное я отметал... А получилось не остальное, а... жизнь...

Борис Иванович Николаевский слыл одним из столпов меньшевизма. Успел эмигрировать до того озверения, которое вскоре все-

местно поразило новый режим, то бишь до всеобщей оголтелой резни. Не выборочного уничтожения, а поголовно всех членов бывших когда-то партий.

Сестра мамы Натальи Алексеевны Рыковой, Фаина, вышла замуж за Владимира Ивановича Николаевского — родного брата Бориса Ивановича Николаевского.

В эмиграции Борис Иванович славился крепкой осведомленностью в советских делах (сейчас бы сказали: «был сведущим советологом»). Старуха мать Бориса Ивановича (попадья) аккуратно высылала ему из Москвы (вплоть до середины 30-х годов) книги, газеты, журналы. Нечего говорить, что все это оказалось возможным лишь из-за дальнего родства по жене с председателем Совнаркома Рыковым. Постоянный богатейший приток самой важной политической литературы (разумеется, легальной) из Москвы ставил Николаевского в исключительное положение. Он знал о советской России, официальной и тайной, исчерпывающе много — больше подобных людей нет и уже не будет. Мало доскональнейшего изучения — специальной литературы — Борис Иванович достаточно знал основных персонажей российской трагедии, а в десятилетия эмиграции пополнил знания и с другой стороны (нам, советским, недоступной — эмигрантской). Тут в его труды ложился дополнительно бесценный материал.

Моя заочная встреча с Борисом Ивановичем состоялась, однако, значительно раньше рассказов Натальи Алексеевны. В те годы и сам Борис Иванович был еще в здравии.

В библиотеке у меня хранится довольно толстая книга под названием «Кто правит Россией?» и с красноречивым подзаголовком: «Большевистский партийно-правительственный аппарат и «сталинизм». Историко-догматический анализ». Появление на свет этой книги в берлинском издательстве «Парабола» совпало с приходом к власти Гитлера. Тоже, знаете ли, этакий завиток истории, капризец...

Данный «Историко-догматический анализ» я получил в подарок от внука Ворошилова. В 1963 г. я оказался на дне рождения у Климента Ефремовича. Ему исполнилось 82 года. Приглашенных было на удивление мало: только три художника — Ф. А. Модоров, Е. А. Кацман и Д. А. Налбандян — и я, профессиональный атлет. Возможно, но не ручаясь, был приглашен и А. М. Герасимов. А может, все дело в отменном натюрморте его кисти, который висел во всю стену напротив меня в столовой. Словом, собрался узкий круг старых знакомых (я, разумеется, не в счет), вернее, обожателей Климента Ефремовича, ветерана и долгожителя революции. Сам он был крепок, подвижен, но нестерпимо глух. Все кричали ему в ухо — иначе он не слышал. Естественно, присутствовали близкие Ворошилова. Выделялась его невестка — умом и какой-то общей незаурядностью, — однако в ней отчетливо ощущалась душевная надломленность. После, показывая мне дом, она откинула подушку в спальне: там лежал пистолет.

Что изумило меня — так это первый тост. Его с привычкой опытного тамады поднялся произнести Дмитрий Аркадьевич Налбандян. Не успел он добраться до здравицы в честь новорожденного, как решительно поднялся Ворошилов.

К тому времени он основательно усох, но сохранял крепость и стать. Привлекал внимание румянец. Временами он казался гримом — настолько был ярок и густ. Движения Ворошилова отличала энергия.

Усадив жестом Налбандяна, Ворошилов торопливо, но с пафосом и одновременно с какой-то мольбой (ему тогда на съездах партии очень доставалось от Хрущева) провозгласил тост за «дорогого Никиту Сергеевича». Последовало перечисление титулов и партийно-государственных заслуг Хрущева.

Я притих: как так, ведь это день рождения Ворошилова? И первый тост спокон веку провозглашают за новорожденного?!

По-моему, не только я ощутил неловкость.

Степень вышколенности, униженности, даже страха (а вдруг всего лишат!) перед высшей властью, венчающей пирамиду всей власти вообще, — черта, уже составляющая суть этого типа людей. Это я накрепко уяснил в тот вечер. Все они, даже первые сановники, всего лишь пешки и холуи. Другие наверх не проходят. Другие отбраковываются еще на самых ранних ступенях службы. И в первые, если они даже талантливы, проходят те, кто умеет продавать себя, умеет вместе с икрой и маслом намазывать на хлеб унижение, оскорбление, понукания — и все это глотать с благодарной улыбкой. Другой дороги к власти нет, не существует.

Мужчины пили водку. Климент Ефремович тоже было потянулся к графинчику, но невестка и порученец маршала (пожилой обходительный человек в штатском) мягко, но властно пресекли это поползновение, налив шампанского. Климент Ефремович поерзал, не соглашаясь, но повиновался, хотя после еще пытался овладеть графинчиком. Все молча и серьезно смотрели на эту и подобные сцены.

В столовой было чинно, белоснежно-хрустально и просторно. Ворошиловы занимали усадьбу, принадлежавшую старинному дворянскому роду (по роману Льва Толстого «Воскресение» — Нехлюдовым). Старый дом, описанный в романе, не так давно сгорел. Рассыпалась в пепел и редчайшая библиотека. Новый двухэтажный особняк походил на районный дом культуры. Когда мы приехали, поросил снег. У входа с колоннами топталось несколько краснолицых «гэбэшников» в полушубках и с овчаркой на поводу. Они непрерывно сновали вдоль многокилометрового забора. Тогда еще не было телесторожей и прочей электронной сигнализации.

После официального ужина Климент Ефремович выразил желание посмотреть фильм. Кинозал представлял собой большую комнату с десятком-другим кресел. Умственные способности старого маршала и недавнего Председателя Президиума Верховного Совета СССР уже пребывали в упадке, и ему подготовили фильм

о мангустах — зверьках, которые охотятся за змеями. Климент Ефремович смотрел фильм с интересом, отпуская громкие замечания.

После домашние объяснили, что недавно Климент Ефремович перенес тяжелый грипп и внезапно сдал.

Когда все пошли пить чай, меня подхватил под руку внук Ворошилова (если это был внук). Молодой человек был нетрезв, чувствовалось, что это — его обычное состояние. Мы поднялись на второй этаж. По коридору высились темные книжные шкафы. Я питаю слабость к книгам. Внук Ворошилова услышал это от меня и решил показать библиотеку деда. Там хранились сокровища, но до книжных сокровищ сгоревшей библиотеки Пономаренко им было далеко. Да и сам Пономаренко... он знал каждую книгу и мог о ней увлекательно рассказать.

Внук нагнулся к самому полу и быстро достал несколько книг. Среди них крамольно-кричащим заголовком привлекала внимание книга некоего Александрова «Кто правит Россией?». Как я тут же определил, она даже не была разрезана. А с другой стороны, зачем разрезать? Тут, в этом доме, вопрос на обложке книги был излишен.

— Да берите, — сказал внук Ворошилова о книгах. — Да не нужны они нам.

Им были не нужны, а мне — очень, даже более того.

«Историко-догматический анализ» вплотную подвел меня к пересмотру привычных (догматических) представлений, но кто такой Александров, я не мог установить. Когда я много лет спустя рассказал Наталье Алексеевне об этом самом «анализе» из своей библиотеки и чем я ему обязан, Наталья Алексеевна пояснила, что Александров — псевдоним Николаевского Бориса Ивановича.

Борис Иванович издавал «Социалистический вестник». Не может быть грамотного анализа большевизма без досконального изучения этого вестника. Он не содержит, а источает исключительные по важности сведения.

Приведу лишь ничтожную часть их из сборников № 1 за 1964 г. и 1—2 за 1965 г. как имеющих непосредственное отношение к данной книге.

И сразу перед нами начинает маячить знакомая фигура Ганецкого (Фюрстенберга). Оказывается, после Октябрьского переворота и до смерти главного вождя Яков Станиславович Ганецкий заведовал партийной кассой, «не официальной, которой распоряжался ЦК партии, и не правительственной... а секретной партийной кассой, которая была в личном распоряжении Ленина и которой он распоряжался единолично, по своему усмотрению, ни перед кем не отчитываясь...»

При организации III Коммунистического Интернационала возник

кла надобность в надежных людях на Западе. Главным врагом Ленин считал социалистические партии Запада. Коминтерн должен был взорвать их изнутри, лишить влияния и, разумеется, взрастить свои коммунистические партии, которые беспрекословно подчинялись бы одному центру — Москве. Только в единстве общих усилий залог победы над могучим, но бестолково-неорганизованным капиталистическим обществом. В Ленине проглядывало это презрение к сытой аморфности буржуазного строя, неспособности к борьбе с марксистскими революционными партиями, отсутствию в нем заостренности действий, гранитной решимости и последовательности, неослабной энергии в преследовании и подавлении враждебных организаций — как раз всего того, что создал он в РСФСР и самым ярким олицетворением чего явились ВЧК-ОГПУ.

При подготовке I конгресса Коминтерна брали в делегаты всех, кто хоть как-то годился для подобной роли. То, что зачастую эти люди ничего не значили в рабочем движении своих стран, сути дела не меняло. Не без прямых указаний Ленина обхаживали каждого кандидата в делегаты. Своего добивались и через женщин — для такого пламенно революционного дела их навербовалось, надо полагать, достаточно. Ведь предстояло разгромить социалистическое движение на Западе и поднять знамя всемирной революции. В сравнении с этим все прочее — пустяки. Женщина — это ведь прежде всего революционерка. И душа, тело ее — собственность революции. Выше голову, товарищ по партии!

Те, кому главный вождь поручил сколачивать кадры будущего Коминтерна, по его приказу черпали средства из секретной кассы, которой заведовал Яков Станиславович — испытанный соратник главного вождя по тайным денежным операциям.

Вот показания «товарища Томаса» — одного из доверенных Ленина по организации Коминтерна (его псевдоним Николаевский на страницах своего вестника не раскрывает¹).

Этот «товарищ Томас» получил миллион рублей в валюте немецкой и шведской (сколько тракторов можно было купить, о которых столь горестно мечтал Владимир Ильич!). Но этой суммы показалось недостаточно. «Товарища Томаса» доставляют в подвал Дома судебных установлений. Здесь сберегались драгоценности, отобранные ВЧК у частных лиц, церкви и, возможно, музеев. По указанию Ленина Дзержинский свозил их в этот подвал для секретных нужд партии, то бишь в личную кассу Ленина — Ганецкого.

¹ Это и понятно. Чекисты взломают дверь в доме бывшего коминтерновца в любой точке земного шара, даже если сам бывший коминтерновец уже закончил земное бытие, — и похитят архив: чего доброго, там ленинские бумажки! Не должно быть свидетельств о таких архиважных событиях. Могут и прибить домочадцев, ежели в это упрется дело. Поэтому имен настоящих не всегда жди, читатель. На Лубянке, чай, не детский сад.

Вот они: кровь, пытки, злодейские убийства. Вот их как бы материальное перевоплощение: драгоценные камни, золото, дорогая утварь... Бесценные сокровища России, отмытые от крови и свеженные в один тайный подвал. Вполне возможно, туда ссыпали и романовские драгоценности, те самые, что с такой тщательностью собирал Юровский.

Николаевский сообщает, что Дзержинский не хотел расставаться с сокровищами, предназначая их только для родимой ВЧК, но, как говорится, не с Лениным ему было тягаться.

И на эти несметные богатства осуществлялись убийства, подкупы государственных деятелей Запада, открывались подставные коммерческие банки и промышленные предприятия. Сколько было организовано провокаций, бунтов, восстаний так называемых национальных движений и партий, зарезано, удушено, обещано!..

Вот рассказ коминтерновца Томаса Николаевскому: «Наложил полный чемодан камней (самых наидрагоценнейших. — Ю. В.), золото не брал — громоздко... и я продавал их потом в течение ряда лет...»

Расписки за ценности с революционера Томаса не взяли, только — за валюту. Да и что брать, тут этого добра — гребни лопатой в сумки и чемоданы и не перегребешь. Всю романовскую Россию оципали...

Больше всего получала средств от Ленина германская партия — до 7 млн. марок в год. Как говорится, за ценой не постоим. Шибко верил в германский пролетариат Ленин.

А вот показания все на тот же предмет Анжелики Балабановой:

«...Мне в Стокгольм посылали очень крупные суммы денег, и Ленин в одном из последних ко мне писем писал: «Умоляю вас, не жалейте денег. Тратьте миллионы» (и тут же исправил, написав «десятки миллионов») (выделено мною. — Ю. В.)».

Ну, что нам сказать?

На эти капиталы можно было бы избавить от голодной смерти и страданий миллионы людей в России (возьмите хотя бы жуткий мор в Поволжье). Но что они, если грядет мировой пожар. Ленин его давно из-под ладошки, что у козырька кепки, углядел.

Жернова истории должны перемолоть миллион, десять миллионов жизней... ну сотни, пока не воссияет государство всеобщего счастья.

Люди — чересчур капризный и ненадежный материал. Тут тысячу раз прав Ткачев, пророчески прав. Они неспособны сознавать своей выгоды, тем более не поймут необходимости жертв, тем более почетной назначенности погибнуть за лучезарное завтра. Посему надлежит действовать (так и потянуло написать «орудовать») расчетливо, с холодной головой, исключив всякие чувства. Людей необходимо гнать к счастью.

Это государство будет создано, даже если от страны останется

пепелище. Он, Ленин, видит будущее. И все, что ведет к заветной цели, законно и только одно и гуманно.

Реки крови, слез, мýки — и гуманность! Какое дикое смешение понятий добра и зла в одной голове, которая присвоила себе право решать за целый народ, а после и за все человечество.

Ленин и не замечал этих гибнущих миллионов. Утопия сложила образ будущего государства. Жизненный опыт, темперамент, русские традиции дали то единственное поведение, которое вошло в историю под именем «ленинская тактика и стратегия». Это потрясающая безнравственность, которая исходила из идеалов всеобщего благоденствия. Для Ленина не существовало запретов, норм поведения, порядочности или непорядочности, не имела смысла и такая категория морали, как жестокость, — все это выдумки, химеры, пугала для слабых и недоумков. Он должен провести народы к всеобщему счастью. В его утопии для него, вождя, было отведено свое место. Оно избавляло от всякой ответственности за что бы то ни было. Он стоял выше человечества, выше любого смертного, ибо только ему дано истинное понимание истории. Поэтому всё вокруг — лишь строительный материал. И он строил из миллионов судеб — не уставал.

И люди, словно договорясь доказать свое ничтожество, свою позорную стадность, отсутствие какого бы то ни было критического начала в себе и даже в целом народе, — замороженно следовали за ним. Играла дудочка крысолова — и люди, уподобясь тем самым тварям, незряче, тупо, покорно лезли в жерло смерти: там счастье, там счастье, там счастье!..

Вьется озорно зимник меж сопок. Мать честная, сколько ни едешь, ни лупишь глаза, а не привыкнешь: ну и ели здесь! Коли лежишь, как сейчас, в розвальнях и смотришь над собой, кажутся они мохнатыми пирамидами, устремленными ввысь. Подпирают верхушками поднебесье. Красота, Господи!

А небо-то чистое — глубокая голубизна, по краям лазоревая. А солнце — так и плавится, вроде бы стекают с него золотые круги!

Самсон Брюхин ездил по приказу ротного в батальон, оттуда спровадили в штаб полка: надо было срочно доставить чехоперебежчика. Знакомых повидал, погоготали, посмолили трофейным табачком, о девках языки почесали: мужикам-то всем не более двадцати пяти — тридцати. После харча первый сказ о подругах.

Теперь в роту вертается. Справа в розвальнях — патронные ящики и мешок с сухарями — это внепайковый дар, у чехов отбили. Все карманы утрамбовал — жует: вкуснее и не пробовал ничего. Сухари-то не черные — это ж генеральское угощение! На душе — гармошка, разные вальсы да польки откальывает. Хорошо, Самсон!

Ногам — благодать, мороз теперь нипочем. Уже с неделю, как в предобротных пимах. За Уляйгулом рота наскочила на белых. Трое

на лошадаках — господа офицеры, а остальные — рвань всякая — пешими топали. Всех побили. И вышли ему, Самсону Брюхину, наградные — пимы, тютельница в тютельница по размеру, чисто с его ноги мерку сняли. Оттого и на душе праздник да звон колокольцев. Слышали такие на саратовских гармониях?..

А тут сухарей мешок! Ротному сдаст, но сам-то обожрется, покуда доедет, а факт сытости — это первое дело для души. Поет она!..

Нет-нет, а схватятся передовые части Пятой армии то с белыми, то с чехами... вот-вот и к японцам выйдут. Тут ухо остро держи. Белые — это не каппелевцы. Так... ошметья. Сгуртуются десяток-другой — и топают из наших тылов на Восток. Отчаянно дерутся господа. Соображают: пятаармейцы их к стенке, потому и не поднимают руки. Пададь классовая!..

И вспомнил, как вчерась наелись картошкой. В Сухой Балке их встретили как своих. По избам разобрали. Обкормили. Самсон даже помылся в тазу. Крестьянам бойцы — защита от банд и белых. «А мы и поставлены на защиту», — подумал Самсон Брюхин, улыбаясь солнцу. Ишь спит! И так его в сон потянуло! Суживает он глаза, суживает, всхрапывает. А и во сне продолжает крошить сухарь. Схрупает и за новым лезет, ровно девке за пазуху. Только там не мягкость, а сплошные царапины.

Всхрапнет, очухается и позырит на возницу. Степаном его зовут. С германской без руки. Вроде свойский мужик. А полозья скрипят, скрипят... И опять веки сами закрываются. Но сухарь рука держит твердо. Солнышко теплит лицо. Опять же от валеночек уют и благополучие всему организму. Отломал от сухаря, похрустывает, жует. А Степан как сидел, так и ткнулся вбок. Голову уронил, висит. Шапка свалилась. С волос кровь гуще, гуще капает... и полилась. И грохот выстрела эхом по сопкам. У Брюхина сухарь назад — аж до самого желудка все выплюнул. Беляки! Крышка!

И еще выстрел, и еще, потом сразу два: ба-бах! — и низкий грохот по сопкам вкруговую. Лошадь захрапела и рванула наметом. Степан кулем в сугроб. Самсон к винтовке, она в ногах. А не возьмешь — так валяет на колдобинах. Того и гляди выкинет под выстрелы.

А дорога меж елей, осин, кустов. Видать, прицелу мешает. Да и спасает Брюхина, что лежит в розвальнях на спине. Пули жикают, а мимо. Не видят его беляки, лупят наугад. Ужиком перевернулся Самсон на брюхо. Чуюк на руках вперед подался. Опустил вправо руку, поймал вожжи — липкие. Кровь Степанова.

А беляки лошадку берегут. Для себя берегут. Долбят пулями розвальни, да мимо все. Не сберегли, однако, лошадку: ушла она с Брюхиным. Шибко взяла по зимнику.

И стихли выстрелы. Обзор здесь никудышный.

Спасли Брюхина патронные ящики. Кто-то из беляков садил точно вдоль снега. Не будь ящиков — хана Брюхину. Пять или шесть попаданий в ящики. Не будь ящиков — в аккурат прошли бы

Брюхина. Две так даже мешок с сухарями испортили. Везучий этот Самсон!

Вот что значит быть в авангарде Пятой армии!

Брюхин за храбрость и преданность делу рабочих и крестьян получил от начдива буханку черного и полфунта сахара. А Брюхину орден и не надо. Ежели какой подвиг, так лучше пусть харчем отмечают, поскольку за сахар Брюхин уединился на ночь с вдовой-солдаткой 32 лет, весьма пригожей собой. Аж дня на три сам с лица спал, особенно глаза, как у рака, отъединились и самостоятельно выперли вперед, настолько сказалось то уединение на печи.

Держись, золотопогонники!

Мой приятель, крупный химик, рассказал однажды анекдот (дело было в конце 70-х годов):

«Когда построим коммунизм? Когда марксизм и ленинизм окончательно победят разум».

Все же не победили, хотя дудочка крысолова и по сей день пытается наигрывать свои мелодии.

Чудновский, когда оставался один на один со своими мыслями, шептал: «Не тушуйся, Сема, не такой уж я и коротышка, никчемный человечико. Ленин, почитай, ненамного длиннее, а во как завернул историю!.. Одного мы с ним замеса. Еще глубоко копнем, такой дадим разворот. Нашли коротышек...»

Флор Федорович теперь много размышлял о Кропоткине, Бакунине...

Бакунин и анархисты требовали устранения государства по вполне, как теперь оказалось, мудрым причинам: они считали, что республиканский строй явится еще более деспотичным, нежели старый.

Не выходила из головы и работа Бакунина «Полемика против евреев», напечатанная в 1869 г. В этой работе Бакунин выдвинул обвинение евреям в узурпации революций.

Роль евреев¹ в революции даже близко не соответствовала их численности на территории бывшей Российской империи. Это и вызывает подозрение у людей и переходит в неприязнь.

¹ Примечателен стремительный разговор Сталина с дочерью после ее развода с первым мужем-евреем.

«Сионисты подбросили и тебе твоего первого муженька, — сказал мне некоторое время спустя отец. «Папа, да ведь молодежи это безразлично, —

И по сию пору приходится слышать: «Последний русский император был застрелен евреем Юровским, организовал же убийство еврей Гаухман (Свердлов). Великий русский государственный деятель Столыпин тоже пал от пули еврея Богрова. И даже Ленин — символ и душа революции — оказался жестоко подранен еврейкой Каплан. Разрушением храма Христа Спасителя по распоряжению Сталина руководил бригадный военинженер (генерал-майор) Хандриков, в прошлом комиссар Перекопской дивизии, репрессирован в 1937 г. («Зачтено в трудовой стаж» М. В. Курман)...».

Революция явилась делом рук русского народа, выражением давно накопленных инстинктов и понимания «справедливого устройства жизни». Но нельзя спорить с тем, что евреи сыграли в ней такую роль, которая никоим образом не соответствовала их численности. Причем это участие сопровождалось и жестоким ударом по русской национальной и религиозной культурам.

Бывший помощник Сталина Борис Бажанов вносит определенную ясность.

«В России до революции евреи, — пишет он, — ограниченные в правах, в большинстве были настроены оппозиционно, а еврейская молодежь поставляла в большом числе кадры для революционных партий и организаций... Большевицкая партия не представляла исключения из этого правила, и в большевицком Центральном Комитете около половины членов были евреи.

После революции довольно быстро получилось так, что именно в руках этой группы евреев в ЦК сосредоточились все главные позиции власти...

Это положение длилось от 1917 года до конца 1925-го. На XIV съезде в конце 1925 года Сталин не только отстранил от центральной власти еврейских лидеров партии, но и сделал главный шаг в полном отстранении от центральной власти еврейской части верхушки партии...

В сущности говоря, Сталин произвел переворот, навсегда удалив от руководства доминировавшую раньше еврейскую группу».

Еврейская группа во главе России...

«Чего мы ищем? Чего мы хотим? Того же самого, чего хотели и искали живые люди всех времен и всех стран: **Истины, Справедливости и Свободы**»¹.

«Живые люди!» Неспроста Бакунин написал «живые», ибо люди от веку делятся еще и на живых и не живых, хотя в тех и других стру-

какой там сионизм?» — пыталась возразить я. «Нет! Ты не понимаешь! — сказал он резко. — Сионизмом заражено все старшее поколение, а они и молодежь учат...» Спорить было бесполезно» (Светлана Аллилуева. Двадцать писем к другу. М., «Известия», 1990, с. 149).

¹ Из статьи Бакунина «Наука и народ».

ится горячая кровь, но в одном случае она обогревает раба, а в другом — «живого человека».

Михаил Александрович Бакунин родился в 1814 г. Семья Бакунина жила в своем тверском поместье.

По получении образования Михаил Александрович служил в артиллерии, в 1835 г. вышел в отставку, осел в первопрестольной, свел знакомство с Белинским, Герценом, Огаревым. А 24 лет покинул Россию: разве можно не посмотреть на мир?..

Через несколько лет правительство Николая Первого отдало распоряжение Бакунину вернуться. Государя императора возмутили статьи и речи бывшего артиллерийского офицера: ведь каких-то 15 лет назад он за подобные вольности подверг наказаниям декабристов (для него, разумеется, не декабристов, а бунтовщиков, изменников).

Михаил Александрович пренебрег августейшим повелением. Тогда, в 1844 г., и был приговорен к лишению всех прав состояния, а в случае возвращения — к сибирской каторге (под бок к декабристам).

В 1847 г. за речь в защиту Польши Бакунина выдворяют из Франции.

В 1848 г. по Европе прокатывается революция. Это как раз то, для чего создан Михаил Александрович. Он принимает участие в июньском восстании в Праге. На следующий год он в числе руководителей Дрезденского восстания. Саксонский суд присуждает иностранца к смертной казни, замененной вскоре на пожизненное заключение.

В 1851 г. Саксония выдает его Австрии, высокий суд которой навешивает на него еще один смертный приговор, милостиво замененный на все то же пожизненное заключение. Он успел основательно насолить сразу многим правительствам.

А дальше вот что: австрийцы берут и выдают его царю Николаю Павловичу. Да-да, после двухлетнего пребывания в тюрьмах (сначала саксонской, а потом пражской и ольмюцкой), после долгих издевательств (приковывание цепью к стене в Ольмюце), после двукратного присуждения к смертной казни (уж от одного этого можно оказаться раздавленным на всю жизнь) Михаил Александрович был выдан России, к вящему удовольствию Николая Первого. Зоркое и хищное было око у самодержца на непокорных и строптивых подданных — кречетом бил таких, мертвую.

В Алексеевском равелине Петропавловской крепости Михаил Александрович ищет средство для освобождения. Просто сгнить?.. Нет! Имеется узенькая тропочка к свободе... И он сочиняет «Исповедь»: это — самоосуждение и оплевывание революции. Именно этого ждет от него повелитель России Его величество государь император¹.

¹ С венценосным родителем Николая имел место забавный случай. В избу, которую выбрали для короткого отдыха императора Павла и его

Заключение в Петропавловской крепости и Шлиссельбурге привело к потере всех зубов (очевидная цинга) и болезни желудка, но своей невероятной энергией и предприимчивости Михаил Александрович не утратил.

Герцен называл какую-либо форму почтения, тем более преклонения «шишкой почтительности» (очевидно, от неизбежного набивания шишки в поклонах на карачках). Александр Иванович указывал, что у Бакунина такая «шишка почтительности» отсутствовала начисто. Герцену Бакунин был обязан немалым, хотя бы деньгами, на которые он 26-летним молодым человеком выехал из России или спустя полтора десятилетия вернулся после побега из Сибири в Европу. Духовно они были очень близки. В политическом плане Бакунин скорее даже оказывал влияние на столь независимую натуру, как Александр Иванович. К примеру, в отношении к Польскому восстанию 1863 г. против России.

Новый царь (Александр Второй) отправляет мятежного артиллериста в Сибирь на поселение. В 1861 г. Михаил Александрович бежит в Японию, оттуда в США. В Лондоне он сотрудничает с Герценом. О том в «Былом и думах» немало выразительных страниц.

В Сибири Михаил Александрович женился на польке Антонине Квятковской. Ему было сорок семь. Ни смертные приговоры, ни тюрьма, ни болезни и ссылка так и не убавили в нем ни страсти, ни пыла. Дух его пылал по-прежнему неукротимо. Это был уже не человек, а своего рода феномен природы.

В Бакунине естественно сочетался и крупный теоретик, и неукротимый революционер. Его выделяла умственная самостоятельность. Его нельзя было убедить или склонить на свою сторону — он мог занять ту или иную позицию лишь в результате самостоятельной работы мысли.

Взгляды Бакунина весьма изменялись, это и естественно. Изменялись не только условия борьбы, но и сам человек. Так, продрейфовав через марксизм, то бишь Интернационал Маркса, Михаил Александрович становится теоретиком и душой анархического движения в Европе.

Бакунин усматривал в социализме Маркса авторитарность, что и доказала практика советской власти.

Работа Михаила Александровича «Государство и анархия» стала евангелием для его последователей, на ней воспитывался и князь Кропоткин.

свиты во время поездки по России, вошел сначала лейб-медик. Его по обычаю тех лет окружающие называли «оператором» (от слова «оперировать»). Тут же вошел и сам император Павел. Его, естественно, величали «государем императором». Созвучие слов «оператор» и «император» сбило с толку хозяина избы — обыкновенного малограмотного мужика. Он суеверно перекрестился и выпалил в лицо императору Павлу: «А я думал, у нас один *анператор!*»

Случай этот развеселил Павла Петровича, и он посмеивался весь остаток дня.

В 1863 г. Михаил Александрович уже в пекле польских событий. В смуту франко-прусской войны он участвует в Лионском восстании — это сентябрь 1870-го. Спустя четыре года участвует в выступлении итальянских анархистов в Болонье.

Смерть настигает его в Берне (1876) на 62-м году. Если вычесть годы одиночного заключения в самых различных европейских застенках, мрачного сидения на цепи в Петропавловской крепости, ссылки — жизнь коснулась его только самым краешком.

Ленин сурово отзывался о бакунизме, называя его мирозерцанием «отчаявшегося в своем спасении мелкого буржуа». Из марксистской доктрины извлечено подходящее определение, и ярлык готов. Так и прилепнута вся жизнь Михаила Александровича этим штампом-приговором — «отчаявшийся буржуа».

Данная характеристика-ярлык более чем узка. Она не отражает диковинной широты натуры Бакунина и не передает сути столь богатой энергией, умом и силой личности великого бунтаря.

Нет, все его поступки, труды, речи никак не подтверждают ленинского отзыва. Это не «отчаявшийся буржуа». И борьба Бакунина ничего общего с отчаянием не имеет. Это борец, бунтарь, и самого высокого закала прочности. Вся жизнь его нацелена на одно: нанести, где это только возможно, урон угнетателям народов.

Бакунин органически не доверял учению Маркса. В коммунистической доктрине он видел непомерное возвеличивание государства, для которого человек — ничто. Признаться, Михаил Александрович проявил несомненную прозорливость.

В истории Бакунин выступает одним из основоположников анархизма. Он прежде всего враг любого принуждения и, следовательно, государства как воплощения абсолютной власти над обществом. Коммунизм Маркса для Бакунина — это уже не просто государственная власть, а обожествление такой власти, это уже абсолютный гнет. Это превращение права на труд в право государства на принудительный труд любого, что и доказала история ленинского «государства рабочих и крестьян».

Идеал Бакунина — борьба с угнетением, а самый первый и воистину свирепый угнетатель — государство. Михаил Александрович писал:

«Государство не есть общество, оно только его историческая форма, столь же жестокая, как и ненужная. Во всех странах оно (государство. — Ю. В.) рождалось исторически из смеси насилия, грабежей и лжи, другими словами, из войны и завоеваний... оно всегда было и останется божественным оправданием грубой силы и торжествующего неравенства».

С Марксом Бакунин впервые встретился в 1848 г. Марксу исполнилось тридцать, Михаилу Александровичу — тридцать четыре. Молодой Маркс произвел безотрадное впечатление на Бакунина, в дальнейшем оно только укрепилось. Итог встреч и впечатлений от Маркса Бакунин свел в следующие строки:

«Маркс считал меня сентиментальным идеалистом, и был вполне прав. Я считал его тщеславным и вероломным ловкачом, и тоже был прав».

В общем, познакомились.

В брошюре «Народное дело. Романов, Пугачев и Пестель» Михаил Александрович настаивает на созыве «земского всенародного собора» для «разрешения земского народного дела», то бишь широчайшего политического освобождения русского народа и проведения социальных реформ¹. Михаил Александрович еще верит — мирный исход возможен.

«Скажем правду: мы охотнее всего пошли бы за Романовым, если бы Романов мог и хотел превратиться из петербургского императора в царя земского. Мы потому охотно стали бы под его знамена, что сам народ русский еще его признает и что сила его создана, готова на дело и могла бы сделаться непобедимою силою (тогда действительно было непоздно реформировать самодержавие; это, пожалуй, выпустило бы пар из двух русских революций начала XX столетия. — Ю. В.), если бы он дал ей только крещение народное. Мы еще потому пошли бы за ним, что *один* мог бы совершить и окончить великую мирную революцию, не пролив ни одной капли русской или славянской крови (еще слишком свежа была память о «мясорубке» Великой французской революции Робеспьера. — Ю. В.).

Кровавые революции благодаря людской глупости становятся иногда необходимыми, но все-таки они — зло, великое зло и большое несчастье, не только в отношении к жертвам своим, но и в отношении к чистоте и к полноте достижения той цели, для которой они совершаются. Итак, наше отношение к Романову ясно. Мы не враги и не друзья его, мы друзья народно-русского, славянского дела. Если царь во главе его, мы за ним. Но когда он пойдет против него, мы будем его врагами».

Сказано крепко и убедительно.

¹ Вся беда коренилась в том, что революционное движение разночинной демократии, к которой подвигалось дело, в общем, было народу совершенно чуждо. Он оставался глух к свободолюбивым призывам и агитации. Народ шел за царем и церковью. Все это было именно так. А вот теории, следуя которым можно будет управлять народом в грядущих (пусть еще таких неопределенно далеких) потрясениях, отработывались. Для России эта «обкатка» и завершилась марксизмом и Лениным, а после безмерно деспотичной властью первых секретарей, ВЧК-КГБ и, наконец, лжедемократов, надламывающих ныне хребет русской государственности.

Могучее Российское государство от такой прививки рухнуло, а народы стали разбредаться. Злые, холодные ветры хлынули на просторы России.

Позже к идее анархизма причалит князь Кропоткин и станет как бы младшим братом Бакунина. Вся беда в том, что осуществление указанной идеи возможно лишь в непроглядном будущем. Люди, даже наиболее цивилизованные, еще слишком тесно стоят к своим обезьяноподобным предкам. Культура, гуманизм — это в основе лишь наносное, по сути — чужеродное для нас.

Петр Алексеевич Кропоткин родился на свет Божий в ноябре 1842 г. — на 28 лет позже Бакунина. Скончается Петр Алексеевич в кровавом и мятежном 1921-м. Как раз Ленин сочинит нэп.

Был князь блестящим офицером русской императорской армии, знал его и сам император Александр Второй: уж очень выделялся способностями статный портупей-юнкер. Кстати, вел происхождение род князей Кропоткиных от основателей Руси — Рюриковичей. Увлёкся офицер географией, посвятив Восточной Сибири лучшие годы. Как сие часто случается с блестящими умами, угодил в тюрьму, поначалу русскую, дерзко бежал. Сколько наделал шуму!

Был отмечен тюремными заключениями в свободомыслящей Франции, выслан из свободомыслящей Швейцарии и пристал, наконец, к Англии, где не столь давно опочил Герцен.

«...Теперь полнейшее уничтожение государства является... исторически необходимым, — пишет Кропоткин, разбирая воззрения Бакунина, — потому что государство — это отрицание свободы и равенства; потому что оно только портит все, за что принимается... Человек начинает понимать, что он не будет совершенно свободен, пока в такой же степени не будет свободно все вокруг него»¹.

И далее:

«Церковь имеет своей целью удержать народ в умственном рабстве. Цель государства — держать его в полуголом состоянии, в экономическом рабстве. Мы стремимся стряхнуть с себя оба эти ярма».

Почему я пишу о нем? Опошлена, извращена идея, выношенная этими двумя светлейшими личностями — Бакуниным и Кропоткиным, да и не могла не быть извращена, ибо рассчитана на людей, а не на палачей Иисуса. Ведь анархизм — одно из благороднейших и утонченнейших достижений мысли, противопоставляющей себя марксизму, тогда еще дозревавшему до своего симбирского практика. Дозревают в подвалах сыры, дозревают веселящие душу вина, но дозревают и чернотелые яды.

Идея анархизма исходит прежде всего из глубокой любви к чело-

¹ Из работы Кропоткина «Современная наука и анархия». Когда читаешь Кропоткина, ясно видишь, насколько мысль его глубже, шире, самостоятельнее, чем у самого Бакунина (не говоря уже о таких революционных демократах, как Ткачев и даже Лавров).

веку — в этом ее коренное отличие от всех прочих философских и политических построений.

Анархизм стремится встать между всесокрушающей, унижающей, раздавливающей мощью государства и ничтожно маленьким человеком. Но все, что разворачивается к людям красотой и добром, опошляется ими же до неузнаваемости. Человечество, жаждущее красоты и справедливости, имеет неистребимую тягу прилаживать все к своим потребностям — не духа, нет. Так и с идеей анархизма — люди приспособили ее к своей животной первооснове, превратив в идею вседозволенности, какого-то неуправляемого уголовного насилия никому не подвластных скопищ людей.

Нет закона — есть совесть, установления морали и духа. Однако как раз им никто и не собирается подчиняться. Иначе мир не ломился бы от тюрем и непойманных воров, убийц, совратителей, лжецов, клятвопреступников, стяжателей и негодяев. Что общего в этом и с ними у идеи анархизма, цель которого — сорвать оковы с людей, вечно обманутых разного рода освободителями (шарлатанами от философии и политики), превратившими все идеи в средство обогащения, карьеры, извлечения выгод?

Черногустые, как кровь, яды всегда ближе и предпочтительней людям, даже родней... но храмы Творцу возводить не забывают — не жалеют средств, трудов.

Величайшее несоответствие: не творите зла — и не надо храмов, в которых или просите защиты от зла, или отмаливаете грехи за это самое зло.

Стояли бы храмы во имя совершенства человека, а люди следовали бы этой дорогой...

Во все тысячелетия так называемого роста культуры, цивилизации черный яд ближе душе. Десятки миллионов маленьких и огромных зол ежесекундно пронизывают всю необъятность земли. А потом молятся, затыкивают землю башнями, куполами, шпилями храмов, налистывают Библии и другие священные книги. Выговаривают губами жуткие слова и ими же выговаривают все заповеди Писаний.

Зачем же столько трудов? Зачем эти громады домов для молитв? Зачем горы святых книг?..

Людям надо верить в камень, воду, грязь, кровь, но не в добро и дух братства. Как можно святить душу, верить в нее, поклоняться Создателю (носителю чистоты и справедливости) — и поклоняться деньгам, всему значению богатств? Нести на груди крестики, осенять себя крестным знаменем — и поклоняться лишь наживе, делать эту наживу, мечтать о деньгах, силе денег, продавать себя и других за деньги?

И после всего ходить в храмы?

Да вся жизнь вокруг — огромная ложь и притворство! Да в каждом шаге одна безмерная ложь всех и каждого, в том числе — и не в меньшем — тех, кто посещает храмы, кадит хвалу Всевышнему в храмах и налистывает священные книги.

Да что это за мир, в котором все (цена всему) зависит лишь от платы? Размера платы. Честь, добро — всё свернут деньги!

Зачем вам храмы и Всевышний, люди?

Вы умываетесь страданиями ближних, которые в свою очередь ополаскиваются тоже отнюдь не влагой из родника. И все почитают себя людьми — творениями Божьими.

Какой Бог, кто вас спасет — одумайтесь! Как вас спасти, если вы служите только за деньги, мечтаете о деньгах, убиваете любые мечты, если за ними нет денег, и готовы на любое дело за деньги?

Ну как приложиться Господу ко всему этому стаду, голосащему на сотнях языков? И вы думаете, эти языки надо знать, дабы уразуметь вас? Да вы на всех языках верещите об одном. Так сочините хоть один язык, в котором слова не будут скреплять кровь, сапог властителя, предательство и моления о валюте и банковском счете. Когда сочините — тогда и обращайтесь к Господу, а до тех пор у него не будет для вас благодати, не старайтесь...

И помните: до разрушения Земли вам осталось совсем немного. И все равно вы слепы и глухи, потому что прокляты страстью к деньгам, жестокости и безразличию. К Богу обращаются только живые и чистые. Молите Бога за великую благодать: он вам дает еще солнце, небо и дыхание, а хоть один из вас был таким щедрым?..

Кропоткин выполняет подробный разбор русской литературы, начиная с былин, сказок и песен и заканчивая Чеховым. Он выпускает книгу — «Идеалы и действительность в русской литературе». На русском языке она впервые появляется в 1907 г. в Петербурге. Его чрезвычайно занимают вопросы нравственности. И он, старый революционер, все помыслы которого были сосредоточены на счастье людей, погружается в создание «человеческой» этики. «Этика» — его последний труд, к сожалению незавершенный. Он пишет его в голодном, холодном, часто лишенном света подмосковном Дмитрове. Кропоткин убежден в необходимости, даже срочности такой работы, ибо люди, называющие себя революционерами и коммунистами, морально неустойчивы, у большинства нет не только моральной идеи, но и достойного морального идеала. В самую суть копнул угасающий князь-бунтарь. Незадолго до кончины Кропоткина его навещил Ленин, они долго беседовали. Ленин вынес убеждение в наивности и несостоятельности взглядов Кропоткина.

Что значило писать «Этику» в Дмитрове, где нет под рукой книг, энциклопедий, где тебя оскорбляет местная советская власть, которая ничего не ведает о революционной жизни князя, а взбешена княжеским титулом старого человека?! Ей, разумеется, хотелось изничтожить князя — в этом она видела святую революционную задачу.

Какое же дьявольское сочетание — нарочно не сочинишь! Уми-

рающий старый князь, пишущий историю нравственности, дабы сообщить революции высокие идеалы и высокую степень нравственного поведения, — и швондеры, которые все мостятся, чтобы из «винта» расколоть череп еще одному Рюриковичу. А погода появился вождь и кумир швондеров. Не только, конечно, одних швондеров, но по преимуществу их — это совершенно точно: вождь тотальной безнравственности и безграничных расправ над всеми, кого его теория выводила за круг жизни. В кругу — люди, а за ним — не люди, их надлежит уничтожить, хотя их очень много по всему свету — миллиарды. Но таков замах у великого истолкователя Маркса и «воли» человечества.

Флор Федорович сидит и мотает головой, а как невоготу, страдания переполняют — мычит. Рядом спит крестьянская женщина... зовут?.. Любаня. Спит тихо, но нет-нет и повторит про себя, тихо шевелятся губы:

— Подайте Христа ради...

Флор Федорович и проснулся на голос. Она разное тут во сне шептала, а вот как взялась милостыню просить, Флор Федорович не выдержал и сел. Сидит на кровати, за спиной спит Любаня. Флор Федорович в темноте нашарил папиросы — ну не может он вставить в себя ее боль.

А Любаня шепчет:

— Спинка болит, ноженьки болят, пальцы застужены — крутят. Пожалейте меня, господин, а?.. Давайте пожалеем друг друга, я — вас, а вы — меня. И будет нам легче...

И все это во сне глаголет. Голосок слабенький — ведь в беспмятстве она. Поговорит, поговорит — и застонет.

Флор жует папиросу, но не закуривает. Зачем травить дымом женщину? Аж скулы на боль — так их свел... надо слезы сдержать, надо...

Флор Федорович чувствует: если заплачет или даст слабину, затоскует всю — сойдет с рельсов. Напьется и что-нибудь учудит... Ему надо держаться, здесь он не себе принадлежит. Он — для людей.

— Почему ты не поцеловал меня, — шепчет в бреду сна женщина, — я не нравлюсь? Плохая? Ты брезгуешь?..

— Сволочи, — бормочет Флор Федорович, — сволочи...

Женщина сама увязалась. Три Фэ спешил к себе, что редко с ним. Устал: лечь — и не шевелиться, имя свое забыть. А тут Любаня... Как побитая собака. Ну не прогонять же...

Нет, он не трогал ее. Разве помог раздеться и уложил. Она с тепла и еды заснула на стуле, пока он ходил на первый этаж за водой. Крупная женщина, видная, но некрасивая. Вся красота в женской зрелости. Но видно, брошенная эта красота, бесприютная, никем не ухоженная, сиротская...

Разве можно брать женщину, когда она в беде? За тепло и кусок

хлеба насиловать?.. Нет, он накормил, напоил чаем... Легли, правда, вместе, но другой кровати нет.

Так спать хотел!

Да разве ж можно спать под такое?..

Флор Федорович осторожно прилег на левый бок и правой рукой нащупал ее руку. И повел ладонью по руке, плечам к голове. Вот и щека. Стал тихонько гладить, приговаривая:

— Все будет хорошо, Любаня. Здесь тебя никто не тронет, не обидит. А завтра я тебе помогу. Работу найдем. К делу поставлю. Спи, родная...

Господи, а темнота! Своих ног не углядишь. Что-то черное застыло в глазах — и не шевелится. И тишина — сто лет такой не было...

Холод от окна к двери ознобом через плечи и спину.

Некрасивая Любаня не нужна мужчинам, а свой убит на войне еще в пятнадцатом, осенью. Сынок преставился от тифа четыре месяца назад. Родители померли. По деревне столько раз проходили красные, белые, партизаны, японцы — одни трубы остались... Жизнь опаскудела, нет моченьки нести себя, а смелости убить не хватает. Сколько раз веревку накидывала, на табурет вставала, а повиснуть — нет отваги. А убить себя надо, беспрерывно убьет себя! Ох, как надо! Каждый день жизни ровно ножом тебя полосуют. И это люди делают, обычные люди, и все злое, все-все учиняют люди...

Флор на несколько секунд приподнялся, положил папиросу на тумбочку. И опять перегнулся — гладит Любаню. Надо, чтоб успокоилась.

— Подайте Христа ради...

Сразу после покушения на Ленина Зиновьев выпустил книжку «Н. Ленин. Владимир Ильич Ульянов». Очень спешил «товарищ Григорий».

Книжка посвящалась «дорогой Надежде Константиновне».

Из предисловия:

«Предлагаемая книжка есть стенографическая запись речи, произнесенной мной 6 сентября 1918 года в заседании Петроградского Совета. Товарищи настоятельно требовали от меня издания этой речи, дабы с биографией т. Ленина смогли ознакомиться возможно более широкие круги рабочих и крестьян...

Петроградский Совет решил одновременно издать эту книжку также на французском, немецком и английском языках (вот-вот мировая революция. — Ю. В.).

Рабочий класс должен знать биографию своего признанного вождя».

Книжка эта — самая первая из десятков, сотен тысяч тонн, написанных во славу Ленина.

Слыл Зиновьев в семействе главного вождя за любимчика и по

праву первого и самого посвященного принялся за эту задачу, которая, по сути, означала превращение Ленина в непогрешимого и богоподобного, перед которым должен стынуть разум любого смертного. Зиновьев тут бесспорный родоначальник. Все тысячи и тысячи советских авторов, кандидатов и докторов наук, академиков — его, так сказать, духовные отпрыски. Вышел ему за партийные заслуги Петроград, как Каменеву — Москва. В обеих столицах они возглавляли Советы, то бишь самовластно вершили дела имени партии.

На сей счет у Троцкого нет сомнений. Он пишет:

«Как Зиновьев, так и Каменев в теоретическом и политическом отношении были, пожалуй, выше Сталина. Но им обоим не хватало той мелочи, которая называется характером».

На 51 странице раскинулась та речь Зиновьева, и много, ох как много в ней примечательного: еще не была отработана до тонкостей система подтасовки фактов и лжи.

В том, что речь правдива каждым словом, сомневаться не приходится. Она правдива настолько, насколько и до унизости подхалимна. Понадобится четыре года, дабы доказать, чего стоит подобная риторика и «литература». В долгие месяцы смертельной болезни главного вождя, еще сохраняющего проблески разума, но уже обложенного наблюдением Сталина и лишённого всякой власти, Зиновьев не подаст голос в защиту оскорбленной жены вождя (как вообще никто из ленинских соратников). И это тоже показательно для нравственной обстановки в верхах партии: властолюбцы и карьеристы вершили дела громадной страны, что и будет доказано последующими десятилетиями. А тогда вот-вот должно было освободиться место хозяина партии и государства. При чем тут «дорогой Надежде Константиновне»? Да подгрести все под себя!..

«Вы знаете роль товарища Ленина в июльские дни 1917 года. Для него вопрос о необходимости захвата власти пролетариатом был решен с первого момента нашей нынешней революции, и дело шло только о выборе удачного момента. В июльские дни весь наш ЦК был против немедленного захвата власти. Так же думал и Ленин. Но когда третьего июля высоко поднялась волна народного возмущения, товарищ Ленин востепенел. И здесь, наверху, в буфете Таврического дворца, состоялось маленькое совещание, на котором были Троцкий, Ленин и я (никаких сталиных, дзержинских. — Ю. В.). И Ленин, смеясь, говорил нам: «А попробоват ли нам сейчас?» Но он тут же прибавлял: «Нет, сейчас брать власть нельзя, сейчас не выйдет, потому что фронтовики еще не наши, сейчас обманутый Либерданами фронтовик придет и перережет питерских рабочих...»

И действительно, вы знаете, что в июльские дни Керенскому и Ко удалось привести с фронта солдат против нас. То, что созрело через каких-нибудь два-три месяца, не созрело еще в июле месяце. Преждевременный захват власти в июле мог стать роковым. И

Ленин понял это раньше других... Во всяком случае, ни на одну минуту Ленин не колебался в вопросе о том, должен ли пролетариат в нашей революции брать власть. А если колебался, то только в сторону того, нельзя ли это сделать раньше...»

Ни у кого в целом свете нет понимания грядущего — только у Ленина.

«С первых дней своего приезда в Питер он тщательно следил за экономической разрухой. Он дорожил знакомством с каждым банковским служащим, стремился проникнуть во все детали банковского дела. Он знал хорошо о продовольственных и иных трудностях...»

Слышал вождь, как недомогает Россия. Каждый миг знал, в каком состоянии и есть ли надежда для них, большевиков. Свое лечение приготовил, все «инструменты и порошки» держит наготове.

«И Ленин, смеясь, говорил нам: «А не попробовать ли нам сейчас?»...»

Власть — для счастья трудящихся. Архиважно взять!

Это не беда, что не соответствует Россия такому броску и вообще разольется море крови и зла. Для исправления и выправления — террор, да при наличии «женевского» устройства, ой как пойдет!.. С ними — террором и «женевским» устройством — проломым в любое будущее, все станет явью...

Оплошная болезнь, наследственная предрасположенность к склерозу, нервное и умственное сверхнапряжение, а затем и опасное ранение¹ превратили сосуды Ленина в камень, мозг — в разжиженную массу. Получился как бы многократно усиленный удар — и все по одной системе: сосудам. И это тоже не случайно. Сосуды несли основную нагрузку.

«Он (Ленин. — Ю. В.) никогда не относился особенно нежно к буржуазии. Но с начала войны (первой мировой. — Ю. В.) у него появилась какая-то концентрированная, сосредоточенная, острая, как отточенный кинжал, ненависть к буржуазии (к инакомыслию эта ненависть была не меньше, впрочем как и презрение к интеллигенции. — Ю. В.). Казалось, он даже переменялся в лице...»

Ленин, находясь в эмиграции, пользовался дарами ненавистного буржуазного строя². Зато советский строй всем свободам сразу при-

¹ Врач Ленина Розанов сие отрицал категорически: ранение не убавило дней вождя. Это Розанов оперировал после и Фрунзе.

² Царской властью выплачивалось ссыльным ежемесячное пособие. Ленину, например, его вполне хватало, благодаря чему он мог до конца сосредоточиться на своих антиправительственных произведениях, сочинив с 1897 по 1900 г. свыше 30 работ, в том числе «Задачи русских социал-демократов». — См.: Россси Ж. Справочник по ГУЛагу. London, Overseas Publications Interchange, Ltd. 1987.

дал выдержанный классовый характер. И уж какие там границы! Лагеря, проволока, овчарки, убийства...

Суров, но справедлив был Главный Октябрьский Вождь. За малейшее несогласие или непокорность карал смертью, в лучшем случае высылкой. Был заморожен призраком всеобщего рая и благоденствия.

«Нечего и говорить о том, что Маркс является самым любимым писателем Ленина, как его любимым русским автором является Н. Г. Чернышевский...»

О вкусах, разумеется, не спорят.

Справедливости ради следует признать, что все последующие авторы далеко превзошли Зиновьева в лизоблюдстве. Это и понятно: кормит подобная литература сверх всякой меры и вообще дает надежное место и звание, даже в «науке».

Ну, а в том, что личные вкусы вождя стали обязательными для граждан, сомневаться излишне.

Революция не сумела порвать с низкопоклонством. От самых близких людей прихлынула к вождю лесть. Нимб и стал просвечивать — ну, точно через темя, от уха к уху.

И это при Ленине освоили методику растления пайками. Общество оказалось разделенным на тех, кто допущен к кормушке, и тех, кто обязан работать, не черпая из кормушки. И работа, и вся жизнь поневоле стали борьбой за переход в категорию допущенных к кормушке. Это высшая революционная доблесть — деление общества на чистых и нечистых, достойных поесть паек и недостойных. Нечистые мрут куда как дружнее и воз тянут несколько раз более тяжелый... и вообще, бабы новых народят...

«Один из вас, питерцев, стóит 100 других. Таково убеждение Ленина. Товарищ Ленин, можно сказать, до суеверия верит в питерского рабочего. Он глубоко убежден, что питерский рабочий все может, что он обладает особым талисманом и сделан из особого металла...»

Зиновьев первым взялся рассказывать миру о Ленине как о святом.

Потом Ленина положили в мавзолей. Прежде ходили на поклон к чудотворным мощам — и теперь сподобятся.

Самые близкие к Ленину люди сотворили из праха мощи, поскольку теперь это не прах соратника по борьбе, а гигантское политическое мероприятие. Да придумай такое: через мавзолейное поклонение воспитывают людей в единстве веры и в преданности генеральным секретарям и, само собой, социалистическому Отечеству, которое отныне и вовек нераздельно с этими самыми генеральными секретарями и, позволю повторить себе, в котором благо дается лишь через всеобщую безгласную подчиненность.

«Каждый пролетарий знает, что Ленин — это вождь, Ленин — это апостол мирового коммунизма...»

Лишь 10 месяцев минуло со дня октябрьского переворота, а уже четко вырисовывается культ вождя. И культ разжигается не темным, заскорузлым сознанием Руси, а наиболее грамотными людьми партии.

«Я чувствую, что не сказал и десятой доли того, что можно и должно сказать о жизни и деятельности товарища Ленина...»

И этот культ не снисходительная улыбка режима, этакое баловство, а вполне сознательная политика. Народ должен молиться на своих владык, тогда он будет податлив и управляем.

С детских лет не дозволено иметь ничего своего, массируванно на каждого — тонны книг, кинофильмов, пьес, песен, газет, журналов, стихов, самодеятельности, опер... Ну никаких средств не жалеют, ведь речь о самом жгуче важном — власти.

И всех мордой в любовь к партии, догмам, вождям. Не кладешь поклоны, не горишь этой любовью — подозрителен, изменник, хуже — диссидент, в навоз такого!

Именно поэтому над всеми колоннами — частокол портретов. Эти портреты не готовят сами демонстранты в порыве признательности к вождям — это уже продукция, и ее гонят в плановом порядке, в мастерских и цехах. Трудящимся эти портреты и лозунги лишь доверяют нести.

С утра до ночи великое изобретение человечества — телевидение, созданное для радости и отдыха, изрекает догмы, втискивает свои слова, силой ставит людей на колени и обучает раболепию, заставляя бить поклоны и хором твердить социалистически угодные слова. И тотальное запугивание ужасами капитализма — списать, оправдать ими любые преступления и безобразия социалистической власти, сделать возможными любые извращения этой власти.

Кажется, ослабь хоть на неделю эту могучую обработку умов — люди очнутся и заговорят нормальным языком.

В самые золотые часы, когда люди собираются дома после работы, эта обработка достигает предела. Из газет, радио, телевизоров прут, кричат одни и те же слова. А иначе нельзя: только при такой заботе о человеке и способен существовать этот режим.

И закладывалось это при Главном Октябрьском Вожде.

Народ перетягал сотни тысяч тонн плакатов, портретов и лозунгов с прославлениями генсеков и их приближенных. О них никогда не скажешь, что это товарищи по партии. Богатство, образ жизни, прислуга, свой выезд, особняки, обеспечение, свои холуи и совершенная недоступность, недосыгаемость для простого люда. Нет, господа, только господа!

И с каждым годом крупнее, величественнее лик Ленина, грузней и массивней бюсты, иступленней молитвы ему. Богочеловек взирает на людей-муравьев, вот-вот треснет мрамор и раздвинутся в улыбке мертвые губы.

За все: унижения, нужду, насилие, ложь, бесправие — благодарное холопство. Вождь! Спаситель! Отец!..

Дух народа, закованный в объятия скелета...

И один культ омерзительней другого: несметное число мусорно-лилоблюдных слов по телевизору, в газетах (тут за «Правдой» всегда рекорд!) и кино. Окружение генеральных секретарей, к примеру брежневское, — все эти золотозвездные секретари и члены небесно высоких органов — давало предметный урок ползанья на карачках. Дети с экрана обучались холуйству — вся Россия сразу. Народ славил и святил на митингах и собраниях человека убогой культуры, алкоголика со всем его малоприятным окружением.

Часто кадили и ненавидя. Пусть ненавидят — лишь бы подчинялись — так говаривал император Тиберий. В этом случае «женевская» тварь доказала свою незаменимость.

В те годы москвичи острили про телевизионную программу «Время»: «Все о Брежневе и немного о погоде».

Или встречали друг друга вопросом:

— Не слышал, почему закрыли плавательный бассейн «Москва»?

— Нет.

— Проявляют фотографию Брежнева.

Храм Христа Спасителя был воздвигнут на пожертвования прежде всего простого люда — по рублю и копейке собирал народ. В сооружениях и росписи принимали участие именитые художники и архитекторы.

Когда Л. М. Каганович¹ сообщил на собрании художников и архитекторов Москвы о решении взорвать храм и построить на этом месте Дворец Советов, один из старых уважаемых архитекторов возразил: этого нельзя делать, это выдающийся и единственный в своем роде памятник позднего ампира, подлинный шедевр.

Каганович под аплодисменты зала ответил:

— С вампирами мы покончили в семнадцатом году!

Должен был Сталин утвердить новый символ веры, и лучше всего это сделать, поправ старый; а что до шедевра — до таких тонкостей алмазный повелитель не опускался, возможно и не понимал.

Храм взорвали согласно пророческому предвидению Федора Ивановича Шаляпина. Дворец Советов не построили: почва подвела, чересчур болотистая — вот же зараза несознательная.

¹ Л. М. Каганович скончался в июле 1991-го на 98-м году жизни. Какая поразительная схожесть: Каганович, Молотов, Буденный вымахивают почти к ста годам! К 90 годам смело продвинулись Ворошилов, Маленков и др.! Отсюда: за счет чего это столь дружное долголетие, ежели средняя продолжительность жизни в нашей стране для мужчин — чуть более 50 лет? Задача неразрешимая для геронтологов, а они, как известно, занимаются только вопросами продления человеческой жизни. Вот и думайте теперь, уважаемые медики, что самое важное для долголетия...

Раз чересчур болотистая — налили в бетон водицы: барахтайтесь на здоровье. Не пропадать же... почве.

«Думали, что Чехов выудил всех чертей из русского болота...» — мудро изрекал футурист Крученных.

При Брежневе был произведен решительный поворот к мещанским идеалам, мещанскому цинизму и упрощенчеству. Это обеспечивало относительный покой, отвращая умы от опасных размышлений. Из всех секретарств брежневское оказалось самым вороватым и болтливым, но именно при Брежневе впервые после войны столь болезненно встал продовольственный вопрос. Страна разворовывалась на корню. Народное хозяйство обозначило опасный крен.

Генеральный секретарь (высшее должностное лицо в государстве) воистину являлся родным отцом всех казнокрадов и держиморд. Семья генерального секретаря погрязла в неправде, хищениях и корыстных покровительствах.

Полузадушенный орденами, геройскими и маршальскими звездами за несуществующие геройства, исцелованный подобострастием миллионов (даже ветхие учительницы лепетали с экранов телевизоров благодарственную лесть), генеральный секретарь походил на карикатуру человека, злее не сочинишь. А ведь это был коммунист номер один, воплощение лучших качеств партийцев.

«Вот почему человек, который совершил такую работу, само собой понятно, имеет право на бессмертие...» — приходит к неопровержимому выводу Зиновьев. Надо сказать, крутовато взял для 10 месяцев. Уже заявка самого Зиновьева бессмертна. Не всякий сподобится глаголать такое в лицо живому соратнику. Шапки долой!

В 1970 г. (в столетнюю годовщину со дня рождения Ленина) мой приятель оказался в Симферополе. На улице Ленина (нет ни одного града на Руси без улицы с таким названием) за стеклом витрины кондитерского магазина красовался торт — «Ленин в Разливе». Там шоколадным заварным кремом было исполнено все: лужок, шалаш, костер. Отсутствовала только фигурка главного вождя.

За спиной приятеля остановился прохожий, после паузы меланхолично пробормотал:

— А Вовы нет.

Этот торт «на революционную тематику» являет собой вершину всеобщего отупения под властью КПСС.

В беседах с писателем Чуевым Молотов выразил сомнения в шалашной жизни Ленина, которая подарила марксистам его работу «Государство и революция». Молотов относил рассказы об этом к поздним домыслам.

Обидно, разумеется... ведь даже шалаша не остается.

Низкое, закатное солнце. Небосвод чист и бледен. Каждые дерево, куст, дом вымыты в прозрачность воздуха. А тени... тени смазанные, сиреневые. Обилие теней. Смотришь во все глаза, а грудь не насытится ключевой свежестью дыхания.

И смотришь, смотришь, будто родился и всего этого не видел.

И этот неглубокий выкат очень белого солнца. Да что ж это так славно!

На снегу память сгнувшего, уже утраченного времени: петли вороньих шажков, оспины сорвавшегося с веток и карнизов домов хлопьев снега.

А люди друг на друга штыки наставили, выучили по книгам заповеди и подгадывают, когда всего сподручнее ударить...

Вороны вразвалку бродят по насту, проваливаясь, и тогда лениво разводят крылья. Им в эти зимы не голодно. Столько дарового угощения: труп на трупе, самое вкусное — глаза, их перво-наперво и выклеивают. Только поднимись повыше, расправь крылья — и непременно увидишь «угощение». Люди не устают готовить. В общем, мяса вдосталь...

Как в бреду идет Вялова Мария Борисовна, все с тропочки оступается и не видит. Назад ступит и снова идет, будто незрячая. А улыбается! Муж вчера по ночи и лютому морозу вернулся: никто не подсмотрел. Шесть годков не видела. Себя блюла, ни одни руки не прикоснулись. Сухими губами шептала молитвы, звала его, а он и пришел, сердешный. Только присохшая рана в плече, но чистая, без гноя и красноты. Это уж верно подживет. Обожженный морозами — аж кожа ползет с лица, — но без обморожений, нет черных пальцев и ушей. Кашляет до синей натуги, но по лету выходит. Ягоды бабы принесут, с ложки будет кормить, титьками грудь ему греть — оживет Сережа...

Не видит Мария Борисовна дорожки, оступается от счастья. Правда, дорожка всего со стопочку, ну ладошка, не шире. Только и успели протоптать спозаранку. Очень уж ночью выла, стонала метель...

Улыбается Мария Борисовна. Вернулся ее Сережа! Дождалась! Верно бабка колдовала... Ступает, ступает, оступится, вернется на тропку, а сама и не видит — улыбается, а на щеках слезы. Цалует зима, а потому что хороша Мария. Уж как хороша! А когда женщину любят, не скуются на чувство и силу, она всегда краше цветка. И распускается — не налюбуешься. Это уже точно замечено, как нынче говорят: «заметано». А тут — какие слова: ведь после мужниных ласк!

Между нами сказ: ослабел, разумеется, мужик: что вынес-то! Полжизни надо, чтобы только пересказать. А как умытый, да со сковородочки накормленный, да чаем с вареньем напоенный прилег, а к нему родная животом прильнула! И себе удивился: что откуда и взялось!

До утра вскрикивала Мария, металась в темноте руки — от избытка чувств: не знает, куда положить — то на шею Сереженьке,

то за спину, то на живот, то и под живот — там чистый огонь. Мария за все шесть лет накричалась, напробовалась и, сама того не зная, понесла. И до того ей прекрасно — плачет, цалует, пышными своими волосами душит его. Не голова на подушке, а копна пышных рыжих волос — ни один мужик за шесть лет пальцем не опоганил их, не то чтобы там понизу взял... Лишь одному принадлежит, с ним и умрет.

И опять бережет сон Сережи. И помнит: плечо никак зацеплять нельзя. Только-только первая пленка рану прикрыла. Насквозь штык пропорол. От российского, трехгранного метина — на то, чтобы рвать тело, его таким и удумали — о трех гранях, от такого худо раны заживают. От штыка-тесака сразу срastaются; дыра-то плоская, края рядышком, а тут майся, не спи, мертвыми губами проси таблетки (ну невмочь от боли) или, коли хоронишься в яме или землянке или еще Бог весть где, глоток водки — не так тогда рана печет.

Длинным вперед, то бишь с коротким шажком и посылом винтовки вперед, ударили Сергея, а он отбил, научен был рукопашному, однако не удержался — скользко ногам — и подъехал под удар, не совсем заслонился. Вот штык и залез в плечо... И вся кутерьма на пять минут, а 12 трупов и столько же раненых...

Мария студит губами рубец: сложит губы дудочкой и тихонечко на плечо дует. Муж спит; а она от счастья не может. А глаза, словно у кошки, потемну видят. Но и то правда, через щели ставен лунные призрачные полоски, не свет, а магия. И ложатся на половицы под окнами. Там, в простенке, портрет Сережи — хороший художник писал, еще до войны. Там Сережа почти гимназист. Сколько раз на день снимала и целовала портрет — один Господь и ведает. А потому и уцелел да вернулся, что жизнью своей ждала, извелась вся. Все это Сережа принял — и потому уцелел. Это и называется: берегла любовь. Только потому и при ней сейчас. Все ночи стонал — и неспроста: сколько ран и метин! А он же совсем молодой, кожа еще бархатная...

Любит его — и не ведает, что это и есть колдовство. В настоящей любви много таинственных чар и спасительной, если ближе к смыслу, охранительной силы.

Бережет Мария своего мужа. Дождалась.

А кто он — белый или красный? Только ночь да метель и ведают. Спарывала Мария с мужа одежду финкой (на поясе у него висела, под полупревшим пиджаком) и эти тряпки, сероватые от вшей, засовывала в печь. А печь благородная, в старинных изразцах — сколько стоит, такого и не помнит.

Господи, счастье-то: вернулся! И целовала, целовала в кровь треснутых губ. А потом мыла его в тазу. Запалила по такому случаю лампу. Имелась на черный день с керосином — семилинейная. Свету, как от вправдашней, электрической.

И на шрамы беззвучно плакала, билась головой о Сережины колени — да за что ж они его, миленького?!

Господи, вернулся!
Сколько быть счастьем?

Искрится на солнце снег. Замерла Мария Борисовна (а ребеночек-то у нее уже в животе!), лицо подняла к свету, слезы роняет и молитвы навзрыд читает: ну огради их от горя!

А Бог приставил лик к земле, смотрит: каждого ему видно — и молчит. Свой у Господа расчет.

Одно ясно: любить надо, покуда не отняли, не разлучили. Любить каждый миг. Беречь друг друга. Это она от Господа приняла сразу. Поклонилась и дальше пошла. В кулачке перстень — редкой работы. Выменяет она на него у старухи Черных муки и сала... Надо выхаживать свет-солнышко Сереженьку...

Вернулся — защитит теперь.

У товарища Чудновского большой день. Среди сутолоки выездов и допросов Семен Григорьевич вдруг взял карандаш и попробовал сочинять. Да, стихи! Поскольку революция у него в сердце днем и ночью. Нынче вдруг представилась она огненным валом. Настолько явственно узрел желтую бесшумную стену огня, ощутил зной, сухость воздуха — взял карандаш и принялся подбирать слова. Представил он эту стену пламени от северных ледяных морей до южных пределов. И не смог подавить воодушевления и великой влюбленности в Ленина.

Ни телефон, ни сотрудники не давали ему остаться наедине, а ему нужны были какие-то полчаса. Не мог он без того, чтобы не выложить слова на бумагу. Выше это его сил.

А тут смех, голоса, удары двери, телефонные звонки. Семен Григорьевич стал нервничать и ни с того ни с сего обляял Сережку Мосина. А после, обматерив заместителя по оперчасти; ушел из кабинета. Он спустился в полуподвал — там располагались камеры для арестованных. Взял у часового ключи и, наказав никому не говорить, где он, заперся в угловой камере: ее держали для разных важных чинов и она была получше. Во всяком случае, имелся стул и столик.

После шума кабинетов ему здесь показалось раем. И взялся он черкать карандашом, грызть его, слюнявить, поскольку карандаш оказался химическим. Слова не слушались и худо шли под рифму. Но движение огня по просторам России будоражило его воображение. Он мусолил в губах карандаш и увлеченно искал слова, переводя зараз полученческой тетради. Весь рот от карандаша сделался фиолетовым. А восклицательных знаков по страничке — да по два, по три сразу!

Кое-как сладил стихата. Семен Григорьевич бережно спрятал их в карман внутрь куртки.

Занимался чекистскими делами — да разве их все переделаешь? — и все улыбался стихам. Ни с чем не сравнимое ощущение песни в тебе. И как их не писать, коли душа поет.

...Ибо нет прекраснее огня. Огонь все сметает, у него нет жалости — он не щадит никого и ничего. Ему ничто не способно противостоять. Он шествует стеной — завеса из жара и желтого пламени. Огонь прекрасен. Прекрасен и очистителен.

Революция и есть огонь. Всесокрушающая и всепожиряющая стихия. Неукротимая и яростная...

Ленин!

Не лишены интереса характеристики Молотова, хотя на них сказывался груз времени. Характеристики изменялись, годы не могли не влиять. И все же.

«Зиновьев был трусоват. Каменев — тот с характером...

Каменев высоко ценил Ленина, видел, что это гениальный человек, и сам Каменев — очень умный человек, но он чужой, чужой Ленину. А Зиновьев — приспособленец, ловкий такой... Но Ленин Зиновьеву никогда не доверял.

Ленин больше любил Каменева¹...»

Помните те четыре пули в конверте у наркома Ежова, они были обнаружены в ящике его письменного стола?..

Троцкий до лакейства Зиновьева не опускался. Он сознавал свою ценность и верил в партию и революцию. Это его выгодно отличало от Каменева, Зиновьева, Сталина и др. Это был настоящий фанатик веры.

Сталин поставил Троцкого своим злейшим врагом и нанес первый удар, в который искусственно вовлек и Зиновьева, и Каменева, и Бухарина с Рыковым, а уж партия выполнила маневр, как эскадра после сигнала флагмана. Есть такая команда: «Все вдруг!»

«Все вдруг!» — это самая яркая особенность партии. Всем вдруг прозревать, всем вдруг клеймить...

Каждый по отдельности в руководстве сознавал: Лев Давидович ему не по зубам. Каждый по отдельности, кроме разве Рыкова, таил в душе честолюбивые мысли стать первым в партии. Поэтому все объединились вокруг Чижикова, когда он издал животворный клич: «Свалить Троцкого!»

Троцкий же самодовольно полагал свои позиции неуязвимыми. Он творил Октябрь, он поднимался вровень с Лениным, он создал Вооруженные Силы Республики; рабочие и крестьяне, как и вся партия, слишком обязаны ему. И Троцкий просчитался на благодарности и вообще непреодолимости своей величины. «Все вдруг!»

Как генеральный секретарь партии, Сталин заполнил все ее решающие посты в центре и на местах своими людьми. Уже Ленин преобильно почувствовал это, а Троцкий оказался просто сметенным

¹ Это соответствует фактам. Именно Каменеву передал Ленин свой личный архив и наброски незаконченных работ.

натиском полуграмотных, но горласто-самоуверенных чижиковских «кадров»...

«Светочи человечества» — так назвал первый советский календарь (1919) Маркса, Энгельса, Ленина, Лассалья, Робеспьера, Марата, Бебеля, Халтурина, Адлера и Либкнехта-сына.

Ленин не запретил себя именовать «светочем» (уже сама практика подобных терминов доказывает их обыденность, устойчивую привычность в той среде), не воспрепятствовал превращению себя в святого, не принял определенных документов на этот счет, не потребовал от партии решительного отказа от культа как чрезвычайной опасной явления. Это ведь даже не явление — это политика.

Нет, от культа отказываться сверхопрометчиво. Культ и впредь будет самым мощным, всепробивающим политическим средством — в этом ответы на все вопросы. Культ сплачивает народ, воспитывает послушным, списывает с вождей все грехи и ошибки, возводя в сан непогрешимых. Так что речь идет не просто о человеческой слабости. Это политика, и большая политика. За ней обольванивание народа.

С Ленина эта традиция — власть берут, держат и не отдают. По существу, Ленин был самоназначенным правителем России. Никогда никаких выборов он не проводил, все это буржуазные штучки.

Генеральные секретари и вообще так называемые избранники народа лишь строго следуют примеру своего идола. Традиции захвата власти свято соблюдаются.

Утопия, насильно вращиваемая в жизнь, в плоть и дух страны...

Тот, кто забегает вперед истории, навешивает на общество дополнительные десятки миллионов трупов, обездоленность, лишения.

Историю не обманешь. Лишь одно средство позволяет преодолеть несоответствие политико-экономических условий при внедрении утопических планов — насилие.

Насилие проливает кровь, сеет нужду, но сохраняет уродство этого состояния, уродство нежизненных материальных и духовных условий фантастического бытия.

Зело ошиблись с лечением России. Просто роковым образом ошиблись. Мало того, что ошиблись, но с немыслимой поспешностью возвели себя и вожди, и партия в непогрешимых, в благодетелей, а заодно и в касту неприкасаемых, но только наоборот. Неприкасаемых — значит, имеющих особые права в этой жизни, права на все...

Генеральные секретари и партийная бюрократия — это всё позволяющие себе и всё запрещающие всем. Они вне контроля, вне конституции, и это является характерной чертой диктаторского режима. От Ленина это гниение в культе, эта традиция диктаторской крепости и видимость народного правления.

Главный вождь смущенно улыбался и брал под козырек.

Кстати, адмиралу Колчаку был доставлен в ставку экземпляр первого советского календаря (об этом вспоминала Тимирева). Его возмущению не было предела. Надо полагать, Александр Васильевич вспомнил бы о нем на суде...

Речь перед Петросоветом (и свою брошюру тоже) Зиновьев заключил словами:

«Сейчас наш вождь лежит раненый. Несколько дней боролся он со смертью. Но он поборол смерть, он будет жить. Это символ. Наша революция одно время тоже была как будто смертельно ранена (весну и лето восемнадцатого года партия не знала, как распорядиться захваченной властью; не стихали яростные диспуты, что опять-таки доказывает авантюристичность самого переворота: только захватить власть, а что дальше — ни малейшего представления; это ли не авантюризм высшей пробы! — Ю. В.). Она выздоравливает теперь, она выздоровеет так же, как наш вождь т. Ленин. И рассеются тучи. И мы победим всех наших врагов и супостатов...»

Надо полагать, из-за этих «супостатов» и завели «женевскую» тварь.

И какая ширь в этом понятии — «супостаты»! Все объемлет: и классово чуждых, и думающих иначе, и вообще любого, коли не угодил!

КГБ — Комитет государственной безопасности по уничтожению супостатов.

Когда Ленин умирал во второй раз, уже по-настоящему, он имел возможность понаблюдать за поведением своих выучеников — тех, кто был ему обязан всем. Впрочем, всем ему были обязаны не только они, но и вся партия и вообще рабоче-крестьянское государство.

Без Ленина ничего не было бы.

Никто не обладал столь сокрушительной диалектикой уничтожения государства и выкручивания рук по отдельности каждому и всему народу сразу. Еще бы, политика начинается там, где счет людям идет на миллионы. Словом, массы...

И вот эти деятели (ну найди для них другое слово! Деятели и есть), забывшие об учителе (над его еще живым телом, разложенным немощью), позволяющие унижать его жену в драке за власть, являлись апостолами нового общества, носителями морали, как говорили тогда — морали будущего.

Они издавали циркуляры, по их наставлениям вырабатывались программы для различных курсов, школ, высших учебных заведений. Они наставляли литературу, театр, танцы, учили морали целый народ. Вся правовая и юридическая основа государства возникла под их надзором...

Впрочем, всегда присутствовали две морали: одна — для народа (так сказать, для всех) и другая, особая, — для вождей и вообще владык большой и малой власти.

Весь их режим взошел на крови, глумлениях над истиной и здравым смыслом, на лжи и культе вождей. Его пронизывает наглое и безответное унижение человека.

Все верно, Ганс Грундиг, не следует так долго и пристально вглядываться даже в тени, призраки прошлого.

«...Но я хочу тебя предостеречь — не старайся заглядывать очень уж пристально к ним в души, не то тебя стошнит».

Если бы одного человека тошнило или даже миллион! Весь народ перекручивает в кровавой рвоте.

Лихорадка охватывала верхи с приближением декабря — очередного тезоименитства Брежнева. Его успели оделить орденом Победы, маршалскими погонами, рекордным числом геройских звезд. Вроде уже все мыслимое повергнуто к стопам первого коммуниста, а ведь надо повергать вновь, грядет день. Ружьем с золотой гравировкой и новейшим западным автомобилем не отделаешься. У него уже была знаменитейшая автоконюшня (более десятка первоклассных автомобилей). Это было падение не только бюрократии, но и значительной части народа; вовлечение его в распродажу духовных и материальных ценностей, накопленных множеством поколений.

Лозунг «Хапай, тащи, надувай!» не таял, завис над шестой частью земной тверди. Его никто не выкрикивал, но он звучал громче всех зазывных кличей. Россия слышала его.

Брежневщина — это синоним разврата власти, приниженного, серого существования, абсолютной продажности бюрократии.

«У нас страной правит коллективный разум партии...» Да разве можно это отнести к разуму? А тут еще «коллективный»...

И за эту жизнь они положили поколения. И за неправду этой жизни (по сути — трагической клоунады) преследовали, мучили, сживали со свету всех, кто имел мужество не соглашаться. Поклон вам в пояс, товарищи чекисты!

Россия, пригнись, слушай: никто так не благ, как Ленин и земные продолжатели дел его — генеральные секретари с верным причтом.

И ложатся на прилавки магазинов очередные перепечатки пятидесяти пяти томов — все с объяснениями неизбежности счастья и вообще пророчествами.

На колени!..

«...Да, мы стремимся к тому, чтобы хоть немного походить на этого пламенного трибуна международного коммунизма, на величайшего вождя и апостола социалистической революции, какого когда-нибудь знал мир...» Это все из той же речи Зиновьева.

Возражения Ленина на чествовании в 1920 г. (ему исполнилось 50 лет) представляются насквозь лицемерными. Главный вождь нашел правильные слова, но прежде всего мог неограниченной властью диктатора навечно прекратить превращение себя и своего окружения в богоподобных, однако не пресек. Это — к «Бал-

ладе о скромности», или для тех, кто исключает Ленина из традиций коммунистического культа, но не посвящен в историю культа.

Культ (это превращение в богоподобного, что впоследствии с такой пользой для себя реализовал Сталин) потрафлял сокровенным чувствам Ленина — вот где правда. Темперамент трибуна и вождя предполагает определенные чувства. Есть люди, которые умеют ими управлять, даже подавлять; есть такие, которые дают им волю, не противятся — ну так заняты, им вообще не до этого. Очень был занят Главный Октябрьский Вождь, на износ пошли все сосуды головного мозга, еще на подобные мелочи обращать внимание. И Ленин смущенно улыбался и брал под козырек.

У товарища Косухина одна забота — вывезти золотой запас в полосу Пятой армии, а это, считай, суверенная территория РСФСР. Обмозговывает операцию с Ширямовым, Янсоном, Гончаровым и, конечно же, с Чудновским. До Пятой — сотня верст тайги, множество банд, остатков белых частей и просто анархии. По человеку отбирает людей в коммунистический отряд сопровождения: новые винтовки, патроны без ограничений, а также гранаты, пулеметы, харчи, одежда.

Из Москвы — приказ Совнаркома: немедленно вывезти золотой запас! Республика задыхается без золотого обеспечения. Прут в казну трофеи «женевской» твари: золото, украшения, драгоценности, картины, меха, валюта. Но ничтожно мало это в масштабах всей страны. Каждый день борьбы и строительства новой жизни требует огромных затрат. Наседает со всех сторон мировая буржуазия, душит блокадой. Лишь золото распускает удавку на шее трудового народа. За золото и блокада не блокада: можно купить паровозы — без них сейчас едва теплится жизнь в республике. Еще самые необходимые вещи способственно купить, кто откажет, коли золото?..

Доходит это все до товарища Косухина. Дни и ночи сбивает отряд — ни одного разгильдя или пьяницы. Каждого новичка лично вышупывает по всем вопросам текущего момента. И что ни день, отправляет на железную дорогу своих людей, так сказать, внедряет, чтоб по всему отрезку до Пятой сидели. Должен состав иметь беспрепятственное движение — уголь, вода и все такое подавалось без задержки. Составы еще нет, а уже все готово. Имели такие инструкции все косухинские особоуполномоченные. Хуже нет беды — простаивать: вперед бежать, никаких остановок! Особоуполномоченные должны обеспечить безостановочный ход составу — ни одного затора.

Каждый давал клятву. Что будет в эшелоне (в вагонах), с чем бежит и куда — никто не должен знать, а ежели что, так именем трудового народа...

Каждый имел внушение: пусть жгут, рвут на куски — молчать. Словом, золотой эшелон.

Крепко въелась та ночь расправ: стреляли, рубили, кололи эсеров. Дал зарок Три Фэ: все, что угодно, только не плен. Потому, кроме маузера (этот у всех на виду), носил припрятанный за поясом браунинг — выхоженную, отлаженную машинку. Загляденье, а не машинка. И вытерлись в том месте брюки, истрепалась подкладка, а когда сутками мотался по делам, даже кожу и мышцы набивал, однако не расставался с браунингом. Только выдерни, сдвинь шпепек предохранителя — и восемь пуль-молний за тебя; точнее — семь, последняя, восьмая, — для своего сердца или виска (это уж как рука сладит).

Но не шибко верил браунингу Флор Федорович: а как схватят неожиданно да сведут руки, обшарят? Что ж тогда, терпи пытки, глумления?..

Нет, до одной минутки, самого ничтожного мгновения в памяти та ночь с 22 на 23 декабря восемнадцатого года, когда кончали друзей и товарищей по партии. Тащили из тюрьмы и кололи, рубили, стреляли, а о нем вот и запомнили.

Завел он по такому случаю перстенек — заказал одному умельцу, Стеша, как говорится, вывела, было у нее с ним дельце... нет, не амурное, конечно...

Сибирский ювелир, камнерез — глаз острый, и к тому же из эсеров — приятное совпадение. В общем, сразу схватил, что к чему, тихо так молвил:

— Это уж не подведет, сработает в любом случае, будьте покойны, Флор Федорович.

Подпружинил ногтем тайничок, распахнул и зорко так глянул на своего вождя.

— Нет, не сорвется, Флор Федорович. Вот сюда надавливайте.

Все понимал камнерез, да к тому же другом был душе Флора Федоровича, не просто единомышленником, а другом. Что единомышленник? Завтра покажется, ты не так ответил, еще через месяц — не так бумагу составил. И уж готов отступиться от тебя. В параграфах его чувства. А друг — это от сердца.

Камешек приспособил он самый дешевый (рыженький сердолик, вроде собачьего ока), кто на такой польстится? И оправа — даже не серебро, а железо. То на одном пальце надо носить, то на другом: прет кожа, когда железный. Зато под камешком (в непромокаемой упаковке) — цианистый калий. Комариная доза, а лизни — и завалишься. Это понадежнее, чем от пули: пока сподобишься падать, уже свернется кровь и замутится рассудок.

А маузер и браунинг всегда клал возле себя (само собой, и когда озоровал с бабами). Деликатно так стучают, когда выпадают из ладони на столик: один (этот потяжелше) и другой (дамская игрушка, пустячок). Спи, с бабой озоруй, а чуть что, руку отбрось — и

сами западут в ладонь, какой хошь. И тут уж кляни судьбу и дави на спусковой крючок. Не возьмут, жабы! Подавятся свинцовым горохом, мать их! Не хватит йода на дыры!..

А баб и не стращали маузер, браунинг и вообще пулемет с гранатами — даже не перекрестятся, это не Стеша. Насмотрелись за эти годы: пуганые. Сколько раз: озорует с ней мужик (в соку, красавец, при капитале или же пайкё), а через час уже на веревке — шея как у гусака, в исподнем, синий... Все по поговорке: нынче полковник, а завтра покойник. И даже не завтра, а туточки, сразу. Еще титьки и «срам» в горячности от его ласк и стараний...

Грустная поговорка.

И никто не удивляется: Гражданская война. Многоорукая у нее судьба. Нынешним днем живи — это ж просто зарубить себе на носу надо. Других дней может и не быть, этому, голубь, улыбайся, до единой живиночки в себе радуйся. Так-то вот...

Радуйся, коли жив. Ведь жив! Почитай, у каждого дня стальные когти и волчий рык...

Покручивая перстенок, Три Фэ частенько вспоминал притчу: «Других спасал, а себя не может спасти». И многозначительно поглядывал по сторонам. Вот оно как...

Камнерез задал загадочку на прощание. Этак тихо молвил:

— Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых.

А к чему, зачем — не намекнул даже, лишь полюбовался еще раз перстеньком да протянул Три Фэ. А глянул так — достал до дна души Флора Федоровича, к самому сокровенному приложился.

На миг обнажил себя человек — и сунулся обратно в личину камнереза и мастера ювелирного дела. Удобно в личине: не ранят, не лапают, не вешают свою дурь. Чудак был этот камнерез. Был — поскольку через две недели ссыпал в кисет с махрой камешки, береженные за все 30 лет искуса на ювелирном месте; свернул да спрятал в долбленную палку какие-то бумаги (очень важные, с печатями, одна — с личной императорской подписью) и ушел пришаркивая — в самый раз палка: худо гнется колено. В тягость с такой ногой. Молод был, глуп, когда подстрелили...

Никто больше и не видел камнереза. Опостытели, видать, человеку Иркутск и вообще вся революционная суета — никакого азарта на строительство светлого завтра. Ушел с чемоданчиком (смена белья, шматок солонины, две бутылки самогона и пузырек с кокаином — верный пропуск в скитаниях). Куда увел его Бог — никто не ведает, а был верным эсером, под пули ходил, без нервов человек...

Ковыляй, ковыляй, родимый...

Жизнь на свете хороша,
Коль душа свободна,
А свободная душа
Господу угодна...

Утек ведь — и от кого? От тех, кто с ленинским зарядом слов, а это, почитай, вся Россия. Стало быть, от нее, от своей разлюбозной

Отчизны и сыпанул (ежели с палкой и ковыляешь — это не значит, что ты не сыпанул; еще как сыпанул!). Невмочь камнерезу ее речь, порченные слова, и как давят людей — ну море воздуха, до самых звезд, а не идет этот самый дых, стрянет в груди, муть в глазах...

Затравленный тренировками (зал, натужная работа, измученность — и это почти доброе десятилетие), я бессознательно искал разрядку. Вино и водка ее не давали, да и не получалось это у меня. От книг и рукописей обалдел. Так обратился к птицам (папа в пять лет подарил щеглов — с тех пор люблю их), держал до 30 штук: соловьи, варакушки, шуры, черноголовые славки, коньки... За каждой — свой уход, а это хлопоты, они и отвлекали, в общем-то, от полукаторжной жизни, суровой расплаты силой за право писать. Я учился писать, обеспечивая это тренировками, силой. Шесть раз выходил на помосты чемпионатов мира — и пять раз побеждал. Что-то около восьми-деяти лет носил звание «самого сильного человека мира». Было и такое. По тем временам поднимал тяжести диковинные...

В ту пору еще водились знатные мастера-птицеловы, некоторые не уступали и шамовским (хорошо рассказано о них в книге Шамова, а русский язык этой книги — купаешься в слове).

Среди птичников выделялся угрюмым, сварливым и запойным нравом Ковалев (имя не помню): худощавый, взгляд из-под бровей, неподвижный, недобрый; речь отрывистая, грубая. И в повадках много волчьего. Звал я его Командармом.

Однако мы сошлись. Не так чтобы очень, но сошлись, хотя в душе он презирал меня за расточительство. Я изрядно тратился на птиц. Меня дурачили, всовывали дурной товар, пока я в этом деле не стал смыслить...

Где-то в середине 70-х годов вышли у него нелады с милицией, да такие — снялся в одночасье и переселился в алтайскую тайгу. Бобылем жил, незаконно промышлял пушного зверя. Раза два наведывался, но, думаю, не из-за привязанности. Кое-что из своего товара (собольи шкурки) пробовал сбыть мне. Много рассказывал, очень много. Пил по-черному, зверя, ненавидя все вокруг.

А после сгинул. Думаю, погиб. Подарил я ему на память редкое ружье, осталось после отца. Вызвало это зависть среди птичников. Много худого говорили про Ковалева, особенно Рыжий — так звал я Олега Черкашина, доброй души парня, а вот развела судьба, поссорила.

Однажды Ковалев разоткровенничался. Поломал ему жизнь один махонький случай. Не случай, а пустяк, соринка. Возвращался он как-то с ночной смены, еле ноги тащил. Решил пойти напрямик к себе в Давыдково.

Жил он неподалеку от Кунцева, тогда еще самостоятельного городка. С северной стороны, впритык к даче Сталина, лепилась

деревенька — эта самая... Давыдково, что как раз по речушке — Сетуни, коли не изменяет память. Бывал я у него. Неухоженный бревенчатый дом, ни мебели, ни вещей — один ветер гуляет. Жена добро, но устало улыбнулась, она была в запаре работы: «накатывала» шаблоном цветы на скатерти. Ковалев взял водку, и мы отправились слушать скворцов: целая колония их там распевала. Он пил, я не стал — и разбирали каждое коленце в скворцовой песне: где умелец, а где обыкновенный трескун. Трещит по молодости, никакой песни... «жеребчика» там или свистов погоньша... Птичники птиц без песни (одно верещанье да треск) или с очень ограниченным набором («набор» — это узаконенный термин) не то чтобы с презрением, а с отвращением, брезгливостью называли (может, еще и не вывелись все, тогда и сейчас называют) «помойными». Крутятся у помоек, жилья. Нет тут лесных птиц и звуков, от которых у пересмешников все богатство песни.

...Так вот, о том случае. Эти «напрямки» пролегли через запретную зону, довольно широко развернутую вокруг так называемой ближней дачи Сталина — он там и отдал Богу душу. Богу ли?

Зона создавала постоянные неудобства, обрекая местных на лишнюю ходьбу...

Не долго шагал Ковалев. Из укрытия вышел офицер госбезопасности. Ковалев показал документы, объяснился. И был отпущен.

А через сутки Ковалева взяли. Без суда и следствия загремел он в Норильск — лагерником, варить металл. Так день в день весь срок и отварил. Заодно и обварил ноги. Смотреть на ноги было жутковато. Он закатал штаны и открыл их моему взору: синие пленки шрамов, мясо начисто съедено. И ходил, я помню, припадая на ногу.

Освободили, когда Сталина уже не стало. На этой самой даче (добротный каменный дом) и нашли Сталина на полу. Сколько лежал — незнамо. Был строжайший запрет на появление в комнатах без вызова...

И после того уже много лет спустя ехал Ковалев в московском троллейбусе — вдруг шлепок по плечу. Оборачивается: мужчина. Долго смотрел на Ковалева, наконец говорит:

— Не узнаешь?

— Нет.

— А я тебя и мертвым узнаю.

— Что так?

— А я тот самый офицер, который отпустил тебя тогда. Помнишь?

— Ты?

— Я и есть. Другой офицер видел, как я тебя отпустил, и доложил. Отсидел я, брат, по твоей милости шесть лет, и жизнь полумана.

Из беседы Сталина с иностранными рабочими делегациями
5 ноября 1927 г.:

«...Заклятые враги революции ругают ГПУ — стало быть, ГПУ действует правильно...

Я этим вовсе не хочу сказать, что внутреннее положение страны обязывает нас иметь карательный орган революции. С точки зрения внутреннего состояния положение революции до того прочно и непоколебимо, что можно было бы обойтись без ГПУ. Но дело в том, что внутренние враги не являются у нас изолированными одинокими...»

Из беседы писателя Александра Бека с личным секретарем Ленина М. А. Володичевой в марте 1967 г.¹:

— ...Помните, вы рассказывали, что, когда Ленин начал характеризовать Сталина, вас потрясло одно слово, которым он характеризовал Сталина?

— Да, «держиморда».

— Это письмо по национальному вопросу?

— Где это было, в какой стенограмме, я не помню. Я просто сначала не разобралась, потом, когда разобралась, ужаснулась, ужаснувшись, перестала печатать.

— И так это слово и не вошло никуда?

— Не вошло... (Это слово упоминается в письме Ленина «К вопросу о национальностях или об „автономизации“». — А. Б.).

М. А. Володичева (1891—1973), член РКП(б) с 1917-го. В 1922—1924 гг. — дежурный секретарь Ленина и доносительница по совместительству, так сказать, партийной сознательности. Доносчица же на самого Ленина! Да, Ильич...

У Три Фэ все переменялось.

Узнают его, задирают мокрохвостки, а он только улыбнется, башкой крутанет: дескать, занятой уже, при бабе. Стешу пристроил на верную и честную работенку, а сам ни с того ни с сего сошелся с Татьяной Петровной Струнниковой — дочерью покойного профессора Московской консерватории, единственной любимой сестрой полковника Струнникова, павшего, как и полковники Грачев с Гречаниновым, в боях на Тоболе.

Да разве сошелся?! Это кобели сходятся и прочая тварь.

Узколица, приметна ростом; острижена под мальчишку; очи — серые, на пол-лица, не очи — колодец! Шаг прямой, гордый,

¹ Я уже тогда всю собирал материалы для этой книги, но к таким старушкам доступа не имел. Правда, у меня есть несколько записей бесед с Анной Сергеевной Аллилуевой (сестрой супруги Сталина) о ее заточении в одиночной камере. Многие, многие годы в одиночке... У Анны Сергеевны, по словам Гронского, психика оказалась ущемленной — годы заточения в одиночке не прошли даром. Признаться, это было заметно. Несчастливая женщина.

без разных там сучьих виляний. В талии узкая, нежная покатошь плеч — ну сломала Флора Федоровича, ну такой разворот судьбы!

А познакомились, смешно сказать, на эсеровском чаепитии (морковным чайком баловались). Заприметил вдруг Три Фэ сию «надменную профиль» — и замер, оборвалось все внутри: судьбу свою узнал. Ну все, что на душе, так и отпечаталось в каждой черточке лица. Молчите, не говорите — все-все и без того сказано...

А дале бред какой-то: несколько часов знакомства — и жар ее тела. Нет, тут «квалификация» Флора ни при чем, вот истинный крест!

О Господи, прими нас...

Флор Федорович все выпрашивал, отчего у нее седой вихор. Дался сей вихор...

Исцеловал, обмял, а взгляда не сводит с губ. Как же они складывают слова! Чуткие, тонкого рисунка, с этакой нервной заминкой, но чуть заметной, вовсе не обидной — ну родной голос (тут голос, а не голосок). Господи, какие чувства намывает!

И не целовал, а пил эти губы. Татьяна даже задыхалась.

И что доверилась ему? Задушит, заморочит этот черный зверюга. Лицо бледное, острое, а сам лохмат. Глаза возбужденные — сверкают. Метит в самую душу — начало всех чувств, по самой сути берет. И вьет себе там гнездо, в чужой душе, вьет...

Глаза ее вздрагивали, крупнели, темный-темный расплыв зрачка. А Флор пьет, пьет губы — ну гимназист, поцелуйный юноша, а не мужчина. Нашел забаву: поцелуями тешит подругу.

Обессилеет, рухнет в руки и стонет — затяжное, мучительное рождение стона. И уж губы раздвинет — к зубам прильнет, всю жизнь из нее забирает, бес окаянный.

И в слезах оба.

А ресницы у нее! Распахнутся — и такой мир за ними! Флор притиснется щекой, боится слов. Да и как сказать? Жестянка, ржа какая-то в горле вместо слов.

Что творит мужик! Ну нет удержу!

И вообще, что откалывает судьба! Не революционер и не убежденный борец за счастье людей, а Казанова какой-то, бабник и волокита, ну олень златорогий! И сердце-то больше не болит — вот ведь кобелина! Открещивайся не открещивайся, а кобелина и есть. Ишь взял моду на поцелуи и засосы — сушит бабу. А потом, потом-то?!

Да в огненной суши она. Как в тифу этот жар. Нет сладу с мужиком, влюбился.

От прикосновения ее живота Флор Федорович просто дурел — ну все революционные заповеди и принципы забывал, от своего же имени вздрагивал — ну все вон из кудлатой его башки.

Революционные принципы окончательно слиняли для него. Так, спревший кусок ткани, дерни — и ползет. Только щерился, огля-

дываясь на них. Хватит, без узды поживет. Жизнь-то какая широкая!

Лоно у нее добротное слепленное, подвижное и упругое — на многих и крепких детишек скроил ее Господь Бог; с любовью и толком каждую складочку и линию положил. Не посрамил себя Создатель.

А ежели разобраться, то это место у каждой бабы слеплено искусно, хотя... Сердит был, надо полагать, на мужиков Отец Небесный; на вечный соблазн и погибель их обрек. Ну нет им, мужикам, покоя, лишил их Господь такой благодати...

Она туго, круто и долго отжимала лоно, когда ее размывала истома, и она совершенно теряла себя. Стыдно признаться, но вот с этого ощущения и взяла разгон привязанность к ней, а уже после подоспело и все остальное: там душу разглядел и прочее.

И когда слабел, распуская объятия, вдруг мелькала одна и та же мысль о глупости и пошлой ничтожности всего, что вне любви и доброты. Раскрыла страсть глаза. Все-все разглядел. Это ж додуматься: революцию выводил по учебникам!..

После XVII Олимпийских игр в Риме (1960) меня звал попозировать Матвей Генрихович Манизер — в ту пору вице-президент Академии художеств СССР, известный скульптор (в 30 городах стояли монументы Ленина его работы). Результат того позирования хранится у меня бронзовой копией.

Матвей Генрихович оказался человеком замкнутым. Тем более было удивительно то, что я однажды услышал. Тема разговора сама напросилась. Это были годы ошеломительного разоблачения сталинских зверств Хрущевым. При партийной фанатичности общества той поры это потрясало. Эффект усиливался рассказами десятков, сотен тысяч людей, которые возвращались из лагерей.

И вот что услышал я однажды.

Сталина свалил мозговой удар — страна затаив дыхание следила за ним по правительственным бюллетеням в газетах — они шли нарасхват. В одну из ночей спальню Матвея Генриховича просек телефонный звонок.

— Немедленно приезжайте (был назван адрес). Возьмите необходимый материал, инструменты. Надо снять гипсовую маску. Умер товарищ Сталин.

Матвей Генрихович поспешно собрался, поднял младшего сына Отто (тоже скульптора) и вызвал своего шофера Сергея Михайловича.

Приехали в Вольнское, на ближнюю дачу усопшего вождя. У ворот ждали.

Что поразило Матвея Генриховича — и он это повторял — людей не было видно: ни на дворе, ни в доме. В прихожей их встретил майор госбезопасности. Они разделись, приготовили гипсовую

массу, инструмент. Он их и повел за собой. На проваленном диване в нижнем белье грузно лежал Сталин.

Снимать маску Матвеем Генриховичу помогали Отто и Сергей Михайлович.

Матвея Генриховича потрясла совершенная пустота дома. За всю работу ни голоса, ни шаги не нарушили тишины. Казалось, дом покинули люди, и ни единой живой души, даже прислуги — одна звеняще-сверлящая тишина...

Не вид Сталина, а эта тишина и пустота потрясла тогда старшего Манизера. Он рассказывал мне об этом спустя семь с половиной лет все с тем же удивлением, граничащим с ужасом.

После сеанса позирования домой меня вез Сергей Михайлович. Я напомнил ему о той ночи в Кунцеве с мертвым Сталиным. Сергей Михайлович сказал:

— У него очень отросла щетина, и, когда снимали гипс с лица, сильно трещал волос. Было очень не по себе. А щетина — рыжеватая, с сединой. А сам Сталин — ожиревший, лицо спокойное, без следов страдания.

Я мог его хорошо представить — после сеанса Матвей Генрихович дал в руки мне гипсовую маску. Я потом сделал фотографию.

Сергей Михайлович рассказывал (говорил быстро, живо, поворачиваясь ко мне. В стеклах очков смещались отражения улицы):

— А дом пустой! Понимаешь — ни души! Я так думаю: там действительно был один этот майор. Всем было плевать на Сталина, он же мертвый. Все его бросили — и Слуги, и слуги...

Он помялся, испытующе взглянул на меня и продолжил:

— И те Слуги — из политбюро, в чинах. Эти убежали власть делить. А он валяется один, и никого рядом, ни души. — И повторил: — По-моему, тот майор был на весь дом один¹.

А я вспомнил рассказ знакомого врача. В морге он увидел мертвеца, на ноге которого химическим карандашом было криво написано: «Мехлис».

Труп валялся один, никому не нужный. Цепной пес Сталина. Пожалуй, самый злобный...

Мехлис умер за несколько недель до кончины Хозяина. Пес так пес...

Врач, в общем-то человек тертый, испытал тогда потрясение:

¹ Это не вяжется с рассказом дочери Сталина, которая все дни болезни и смерти отца была с ним неразлучна. Надо полагать, на какое-то время всех попросили оставить комнату с покойным. Тогда и увидел Манизер со своими помощниками мертвого Сталина в пустоте целого дома, как ему показалось. Других объяснений нет.

Светлана Аллилуева пишет об умершем отце:

«Принесли носилки, положили на них тело. Впервые увидела я отца нагим — красивое тело, совсем не дряхлое, не стариковское».

перед ним лежал самый близкий слуга Сталина. Смерть сразу поставила свои величины, установила свою иерархию подчинения и значимости каждого.

«И эта маленькая гнида решала судьбы миллионов людей! Я стоял и смотрел, смотрел...»

Он говорил мне: «Я на него смотрел и не мог оторваться. Минут десять смотрел».

Вот и все.

И спали вместе, и хлебали из одной тарелки: а что посуду пачкать. Так приятно сталкиваться лбами, ловить прикосновение шелковистого ежика волос. Слабел Флор Федорович, но не от мужского желания, а от хмеля невозможного счастья: вот взяла судьба и подарила женщину. Прожил столько, под смертью гуляет, считает себя тертым и бывалым... Да ничего не знал о жизни! Ничего!.. Собирался новый мир устроить, людей учить, законы писать и утверждать. Да как можно, коли не любил?! Да что можешь, если не пытан любовью, если обойден чувствами. Да весь мир ложный без этого. Все прежнее, что строил в себе, добывал в библиотеках, конференциях, подполье, ссылках и тюрьмах, — ну сжалось в комочек и съехало в сознании на самые задворки. Ну крысой примерещился себе в той, бывшей жизни...

И мыться помогали друг другу — тесновато в тазу. И в церковь — вместе, хотя прежде сторонился прихожан Флор Федорович. Бормотал смущенно: «Я обычный московский безбожник...» Не верил в Господа, но обожал хоровое пение. Знал все лучшие хоры, само собой, и церковные. И в самые черствые революционные годы приходил на церковные службы. Спрячется за воротник и шарф, втянет башку в плечи и простаивает в храме свое революционное время: рвут душу голоса. Дивно звучат! А как соединятся, пойдут вместе — не спеша, спокойно, а над ними одиноко — высокий! И обмирает душа, растоплен нежностью к людям.

Душа хора — бас, но тенор! Таковую гравировку своим резцом даст. В такую вязь линий сведет — и в то же время прозрачно прост.

И ведать не ведал Флор Федорович: именно это, чего он стыдился и от чего прятался, — служба, хор и оттепель чувств — сохраняет в нем остатки души. И ужасы революции, казни, кровь, голод — все это ударило лишь потому, что еще теплится душа, не заместилась на голые строки приказов и программ.

Ничего прекраснее хорового пения не мог вообразить Флор Федорович, хотя не слыл, а был знатоком книг, музыки и театра. И все же музыка бледнела перед настоящим хором. Знал и понимал сие древнейшее искусство Флор Федорович до тонкостей. Немел, когда слушал, — вот как с Татьяной в мгновения наслаждения: летишь в пропасть! И вот что: непременно осветляло это падение вдруг самое истинное и важное в жизни. Вспыхивало как-то все и

выступало в истинном свете. И жалкость свою видел, и бессмысленность дней, и вычерпанность жизненных сил, вот-вот доберется до дна — и горько, обидно становилось: куда ушла жизнь, где дни, как все быстро случилось — завернула жизнь на предел. Еще немного — и упрется, будто бы на исходе мужские годы и энергия лет. А та, другая жизнь — и думать о ней противно. Нет, те годы не для него. Старость...

Приходили с Татьяной в церковь — промерзшую, сиротливую общей октябрьско-питерской бедой, ужимались в сторонке и молчали. Хор, скверненький хор (по таким дням уж до хора ли...) — недобитые остатки прежнего, — выпевал литургию. И оба они, Флор Федорович и Татьяна Петровна, сливались в одну душу — и этой душе уже ничто не страшно: ни голод, ни побои, ни унижения... держали друг друга за руку и чувствовали себя самыми сильными и счастливыми. И то есть суцая правда: «...и будут двое одной плотью, так что они уже не двое, но одна плоть...»

Всего-то революции: восемнадцатый и девятнадцатый годы, — а скольких схоронили, мук сколько извели! Флор Федорович прижимал к щеке руку Татьяны Петровны и шептал, черт знает что шептал. Татьяна Петровна не схватывала смысл, но блеском отличали ее глаза-очи.

И что это, откуда? И не первой молодости, и вовсе не красавица, а приворожила и сама поверила в свою ворожбу — березкой возле Флора, а разлучить их теперь, навечно они вместе.

Все талантливые люди талантливы только тогда, когда они влюблены... — вспоминает Флор Федорович слова Льва Толстого и задумывается.

Сидит столбиком и не шевелится, остро торчит борода.

«Я? Я что сотворил талантливое? Революцию? Кровь? Слезы миллионов? А взамен что? Что им взамен?! Посулы сытого завтра? Завтра, которое должно взойти из крови и мук?!»

Кудлатая башка, а лоб вроде самостоятельно впереди — бледный, чистый и очень широкий. Не лоб, а чело. И вся краса его, неотразимость — это чело и горящие глаза-угли. Чудо это...

И клала, клала на это чело уста свои Танюша...

Кое-что о дальнейшей судьбе С. Н. Войцеховского мы узнаем из воспоминаний Бориса Александровича Дьякова¹. Заключение Дьяков припелся в лагерную больницу, на утро назначена операция. Он был настолько измучен, что мечтал только об одном — лечь.

«Я переступил порог палаты и сник. На низких вдоль стен нарах лежали вплотную человек сорок. Все — на одном и том же боку. А воздух!..

¹ См.: Дьяков Б. Повесть о пережитом. М., «Советская Россия», 1966, с. 29.

— Может, все-таки сумеете втиснуться? — спросил фельдшер и подал громоподобную команду: — Па-а-вернись!

На нарах все одновременно, как заведенные куклы, перевернулись на другой бок, с оханьем, кашлем. Никто даже не проснулся. Свободного места не выкроилось.

Фельдшер сочувственно помотал головой.

— У нас много ваших москвичей... Доктор Кагаловский из «Кремлевки» был постоянным врачом в семье маршала Тухачевского... Час назад прибежал ко мне Войцеховский... царский генерал¹. Знаете, конечно? Известный колчаковец! Тухачевский громил его армию в Гражданскую войну... Теперь его превосходительство дневальным у Кагаловского. Как сказал поэт? *Судьба жертв искупительных просит...*»

На исходе был 1950 год. Два года с небольшим оставалось жить Сталину.

И все эти «зэки» у Дьякова несут свои приговоры, муки, просто умирают с иступленной верой в богочеловека Ленина. Все считают себя большевиками. Да верить надо в народ, в любимую, в совесть, в небо и звезды, а не во «всепобеждающее учение». Вера такого рода — это самоунижение, это отказ от своего разума, права на свое суждение и правоту своей мысли. Это — сложение всех своих поисков, выводов, работы ума к ногам одного человека. Он у нас за ум, за совесть, за... Эх!..

До какой поры мы будем отказываться от себя, презирать свой опыт, ум и поэтому давить проявления ума в других? Доколь мы будем холопами, гордящимися своим холопством?..

Боль и страдания за развал России получают самые разнообразные, порой причудливые выражения.

Отныне свобода в обществе «патриотов» всех оттенков под подозрением как нечто жидовско-сатанинское, попирающее исконно национальное. Все это козни «латино-жидовствующего» Запада.

¹ Так стирали, замазывали, перевертали память о прошлом, особенно том, закордонном, — сыскать что-либо о тех людях в советских книгах невозможно. Я так и не сумел тогда узнать имя-отчество, место и год рождения Войцеховского, а соваться в архив — тут же был бы взят на учет, и вся работа под угрозой срыва. Ведь миллионы людей были поставлены на охоту за другими людьми. Вскрывали тайком квартиры, почту, подслушивали, шантажировали, избивали (это, конечно, шпана, они ни при чем), вызывали к себе и угрожали. Подкладывали наркотики, совращали женщинами, делая тайком соответствующие фотографии. Лишь бы сломить человека! И этим занимались люди — да всю бы эту нечисть!.. Нет, в руках надо держать себя, ненависть и обида горазды увести ох как далеко! Пусть сами изгнивают в своих квартирах и воспоминаниях о зле, которое являлось их профессией. Оказывается, зло — это в социалистическом Отечестве призвание, и из почетных. Чтоб все они встали на четвереньки и загавкали!..

Сокрушенные с великой сталинской империей «патриоты» ищут прибежища в проповедях национальной замкнутости, а следовательно, и национальной исключительности. В итоге все сводится на одно это — национальную исключительность. Идею, оскорбительную для всего остального человечества.

Свобода — под подозрением. Свобода — это западный разврат, это бессмыслица существования, это бездуховность.

Но ведь самая высшая духовность — свобода.

Независимость мышления и выражения своих устремлений — за это народы платили и платят самую высокую и кровавую цену, в том числе и «поганые латиняне», выражаясь языком достославного Аввакума.

Холопство искалечило Русь, породило искривленные представления о мире, духовных ценностях. Человеческие права — уже не достоинство и естественное начало любой жизни, а «жидовские происки» и размывание русских начал жизни.

Неужели не понятно: под солнцем и Богом все едины и все равны!

Монголо-татарское иго обрекло Русь на непрерывные страдания и мечты о лучшей доле. Именно преодолением последствий этого невиданного бедствия и стала русская история. Последствия этого разгрома и крепостного рабства незримо вошли с нами в новейшую историю России.

Это и закалило русский характер, и наложило неизгладимое клеймо.

История России — это история преодоления рабства в себе. Именно поэтому столь глубоко взяла душа в каждом русском. Простора вне своего мира не было — только цепи, горе, дикость. И это дало такую силу душе. Здесь начало роста самобытной русской души. Она шла из невозможности одолеть рабство — кнутом и мечом стояло рабство над каждым. **И единственной непокоренной стихией была Душа. Именно поэтому она приобретает такое небывало огромное значение в русской культуре. Но ведь поймите: она родилась из насилия, из рабства, из вопля задущенной, истерзанной плоти.**

Так что? Снова и снова тащить на себя все то же покрывало рабства? Сначала — ленинское, после — сталинское, потом — все прочее, под новыми названиями, личинами? Неужто крушения 1917 и 1991 гг. так ничему нас и не научили?

Неужто не видите, неужто не научены читать прошлое и настоящее — свою историю?

Мир необъятен. Мир прекрасен.

Неужто не понятно: рабство — в основе крушения империи, которую возводили наши предки и мы.

Боль и мука за Россию?..

Народ мучительно сдирает с себя кожу холопа, сдирает эту кожу вместе с плотью. Народ будет свободным — это веление выше его.

Отрекшись от рабства, пройдя через кровь, боль и потери, проклиная себя и земное существование, мы обретаем себя и свою настоящую душу — душу без холопских отметин.

При консерваторском образовании Танюша все рассуждения Флора о хорах, пении, сочинителях развивала, как говорится, с полуслова. Выпытывали друг у друга, где, когда слушали особенный хор или дивное исполнение. Оба сходились на Чайковском. Помнит Флор Федорович наперечет все его церковные сочинения. Знает, что воспитан Петр Ильич на Бортнянском — итало-русском образе пения. Запудрила Италия суровое многоголосие русской службы. До приторности запудрили и все прочие последователи Бортнянского.

«Всенощное бдение» Петр Ильич сложил еще в условной манере четырехголосия. Основную мелодию правит верхний голос. Флор Федорович и сейчас слышит — начинает волноваться, опускает голову, уже не видит и не воспринимает ничего, кроме голосов и голоса. И слабнет, распускается в душе черный спазм чувств и помыслов. И уже чистая кровь струится по телу. Стоит и мягко переминается в пимах. Вместо греховной плоти и разного стреляющего оружия вкупе с цианистым калием — хрустальный столб чувств.

Это «Всенощное бдение» — тоже в традициях изящного итальянского пения, но «Славословие великое» — подлинно славянское чудо. Это разговор с вечностью, исповедь и жалоба на бренность всего земного...

В «Литургии святого Иоанна Златоуста» Чайковский уже не связывает себя канонами, кроме требований текста и порядка богослужения. Это настоящая торжественная обедня — месса на языке католиков. Разорви грудь, положи сердце на алтарь — и все мало.

Как сберечь себя среди людей?..

Вас славлю, жизнь и добро!..

Всегда ли виноваты мы в сотворении зла?..

Разве не убивает в нас человека жизнь, сиречь другие люди?..

Каюсь во зле и отрекаюсь от зла!..

Умереть, но никогда не быть орудием зла!..

Каюсь во зле и отрекаюсь от зла!..

— Меня, — старался передать поточнее свое состояние Три Фэ, — в «Литургии» пуще всего трогает «Господи, помилуй!» — необыкновенное движение верхнего голоса. Такое встретишь лишь в песнопениях «Слава Отцу и Сыну» и «Единородный Сын». А «Святый Боже!» Не поверишь, жалел больше всего, что... ну когда был под смертью, в Омске... не послушал «Херувимскую песню», жаль без нее отходить в вечность. Таня, не будь искусства и добра, какие мы были бы?!

— А я в Петербурге, перед самой революцией, в Исаакии, слу-

шала «Символ веры». Я опоздала тогда... А больше всего люблю (ты говоришь — «пуще») «Достойно есть яко воистину»...

— Тебе не скучно? Я старый уже, Танюша. У меня кровь отравленная.

— Господь с тобой! Старость? Да ты лучше всех — ты чистый! И потом... ну все в тебе уже и мое — я такая же, милый...

— Ты молвила «милый»? Почему не встретились прежде, почему? Сколько утрачено, потеряно! Сколько же дней и лет!

— И хорошо, что не встретились, милый. Я не смогла бы вынести всего, что было с тобой. Меня и так чуть не убил Миша... чуть за ним не ушла. До сих пор не отпускает его душа, держит, зовет за собой...

Миша — ее покойный брат, полковник Михаил Петрович Струнников. Семью Михаил Струнников потерял несколько раньше — сгорела в тифу, — выжила только Татьяна: с тех пор без кос и с седой полосой в ежике волос.

Непрочно все, что нами здесь любимо.

Михаил Струнников и без того обожал Таню, а не стало семьи, вцепился в нее — единственный осколок прежней, такой светлой и безбрежной жизни! Ни жены, ни детей... В первые недели полковник от всех прятался и выл в голос. Все Ольгу звал и детей...

Не понимали люди, какое это счастье — умереть первым, — а стали понимать. Великая милость это — умереть первым, — молят теперь о том русские...

— Самое страшное уже позади, — шептал Флор Федорович и утирал Тане слезы. Она рыдала почти беззвучно. Только иногда прорывалось всхлипывание — затяжной горестный-горестный вздох со стоном.

Эх, Россия, бьет ведь с носка, от души бьет...

Флор Федорович прижмется щекой и уговаривает.

А она вздрагивает от рыданий и шепчет задыхаясь:

— Хорошо, что не встретились, хорошо, что не встретились...

Соленые у нее щеки, и худые, впалые. Флор Федорович возьмет ее голову и кладет поцелуи, а что шепчет — и не помнит. Совсем сдурел мужик...

Уж нет тут сказа, как целует в живот...

Она забьется:

— Нет-нет, родной!

А он властно и нежно придавит, уложит — и целует. С живота скользнет губами на лоно и зарычит — загнал, его добыча!

И в какой-то миг до того раскалится!

Рычит повелительно: тут никаких своеволий, лежи, подчиняйся. Твоя — и только. А чувства набегут — нет места, переполняют. Флор и стопчет одежду, потому что просит Танино тело, молит о мужской влаге и страсти. Оба замолчат, Флор даже не рычит — берут плоть и душа то высшее, чего ради живут мужчины и женщины. Уж до того это сильно, до того много — нет слов, только впитывают счастье, молчат, роднятся...

Это не разврат. Это Создатель так устроил. Флор только расшрифровывает его повеления. Слуга он у Создателя. Не он, а Создатель требует этой страсти. Это любовь все придумывает, сама подсказывает, сама на все приемы изворачивается. И уж так сладко, славно! И так... сами ноги вширь разбрасываются, сама бесстыже сует грудь, чтобы намял губами... А воздух, свет в комнате — не белый, а какой-то сверкающий — дрожит и сверкает. И мир сверкающий — и прошлое, и настоящее! И все внутри срывается, летит куда-то, но это — сладкое, чудное...

А уж что там губы говорят, что вытворяют! О-о!..

Воздух в комнате становится синим и таким горячим — обжигает. Губы сохнут — ну корочками...

А и этого мало Флору. Лица Танечки нет — не может не видеть ее лица. Не скотина же! И опять уж лицом к лицу лежат, ближе нельзя. И столько любви в глазах! И дышат одним общим горячим дыханием. На один рот дышат. Он трется, трется щекой, целует в шею — нежнее нет на всем свете.

А потом вздрогнет, изогнется, зарычит — и не дышит.

И срываются в пропасть! Уж как безоглядно, быстро это падение в муку, счастье, наслаждение!..

И над всем этим безумием — слова, бред выкриков. Ни на мгновение не смолкает Флор. И все слова под властное рычанье. Только в миг наслаждения, в самый миг, когда тебя начинает размывать, — вот тогда молчит Флор. Пьет это высшее наслаждение — и молчит...

И огромные миры умещаются в сердцах. Опускаются — кажется, такие огромные, куда им, нет места. Вот весь мир! А они умещаются в груди — и уж так хорошо, мирно...

И начинали строить планы — и все об одном: как уйти за кордон (ну ненавистна здесь жизнь, колодки тебе прилаживают — разве жизнь?) и чем там пробавляться. Не вечно же дорога будет под чехами, японцами да атаманами. Лишь бы к Семенову или Калмыкову не угодить, один Назар Пухлов чего стоит: себя что — Танюшу загубит.

— A ton avis, c'est bientôt fini? — спрашивала она об одном и том же.

— Tu parles de quoi, Tania?

— De la guerre.

— Elle est bientôt finie.

— Mon Dieu, que je suis fatiguée.

— Nous en sommes tous coupables.

— Разве все?! В чем я провинилась, рождением?

— N'en parlons pas, Tania, je t'en pris, n'en parlons pas¹. — Флор

¹ — Ты считаешь, что все скоро кончится?

— О чем ты говоришь, Таня?

Федорович помолчал и добавил: — Wenn man nur alles wissen könnte.

— Немецкий? Милый, но я не знаю... это немецкий?

— Прости.

— Господи, чепуха какая.

— Немецкий я изучил в тюрьме и ссылке... вдобавок к английскому.

— А что ты сказал по-немецки?

— Я сказал: если бы все можно было знать.

— Господи, в России всегда так: одного царя свергают, но чтоб царь был обязательно. Без царя не можем.

Флор Федорович вздрогнул и внимательно посмотрел на нее. Глаза у нее серые, прозрачные, в них — любовь...

Аллес капут!

«Загробили, изувечили Россию, — терзает себя ночами Три Фэ. — И я к этому руку приложил — вот правда моей революционной службы. Как все нелепо! Люди имеют свободу — платят бедствиями. Люди имеют надежный кусок хлеба — и платят жизнью марионеток. Так соотносятся в мире свобода и сытость...»

Уж воистину для Флора Федоровича: «Что легче сказать: прощаются тебе грехи твои — или сказать: встань и иди?» В надсад каждый шаг. Кабы не Танюша...

Два чувства развивались и крепили: чувство к Татьяне Струнниковой и осознание ничтожности своей жизни, скорее даже преступности. Поэтому и думал теперь об адмирале иначе... А уж о книгах думал!.. При Тане все священные книги опять утратили смысл — одно голое преступление против людей, кровавые чернила, сатанинские забавы. Аж скрипел зубами, когда видел стопки белых листов под крепкими переплетами. Сколько же бессердечных, чугунных слов! Учат тому, чего не ведают и ведать не могут, — будущей жизни: живые чувства заменяют набором рассуждений, насилюют живые чувства, выводят разные формулы о благодетельности убийств. Подсовывают вместо жизни смирение, рабство и славят кровь, разрушение. Цена их человеколюбию — могильные холмы, слезы, нужда. Звери и животные!..

Все поведал Тане о себе, кроме истории своей ненависти к адмиралу. Не поворачивался язык досказать правду. Боялся потерять свою Таню...

За прозренье, Флор!

Дни и ночи ломает голову Косухин: «Фронт каждый день подвигается к Иркутску. Рывок — уже не на сотни верст, но такой же

— О войне.

— Она уже почти закончена.

— Боже мой, как я устала.

— Мы все в этом виноваты.

— Пожалуйста, давай не будем говорить об этом, Таня. Прошу тебя, не будем говорить об этом (фр.).

опасный. Да из-за золота разнести могут все пути, а кругом тайга — кто выручит?.. Великой осторожности требует дело... А может, не рисковать?.. Пятая и сама дотянется до Иркутска. Недель через несколько вступит в город — это как пить дать. В таком разе не дай Боже потерять золото! Республика голодает, нужда во всем — да разве можно упустить! Нет, идти нельзя; идти — это на ожог, на риск, на кучу неведомых препятствий. Ждать надо!»

Отряд готов — лишь подай команду, — но только куда поступит золото?..

Косухин дни и ночи разглядывает карту, меряет циркулем регионы. И снова буравит карту взглядом — трепаная она перетрепаная. Напрасно, однако, ее пытается, ничего не откроет карта; пока сам не отважишься проявлять дни, не узнаешь правды.

И постановил Косухин ждать Пятую.

Сибревком утвердил его решение.

Выбитый ходом событий из Гражданской войны, Болдырев пытается разобраться в причинах фатальных неудач белого движения. В Токио заносит выводы в дневник:

«...Я считал интервенцию тяжелой, но неизбежной в сложившихся условиях необходимостью...

Утратившее старую дисциплину, охваченное идейным разбродом население не могло дать прочных боевых кадров: вернувшиеся на родину фронтовики все более или менее разложены пропагандой.

Это обстоятельство учитывалось в достаточной мере противоположной стороной. Советское правительство предусмотрительно ограничило контингент пополнения своей армии исключительно рабочими, спаянными железной дисциплиной партии и всей силой накопившейся классово-вражды... Латышские бригады, как и коммунистические отряды, весьма долгое время были настоящей гвардией Советов...

И, отдавая должное памяти героев (белых. — Ю. В.), беззаветно гибнувших на поле брани, все же надо отметить, что основная масса мобилизованных шла в бой без особого энтузиазма. Плен, а затем добровольная сдача становились все более и более общим явлением...

Слабое место русских руководящих групп, стремление к возврату старых форм государственности, к возрождению опрокинутых революцией методов управления — это губит все их начинания...»

И не ошибся Саня Косухин.

В марте вступили в город полки 90-й бригады 30-й стрелковой дивизии. Шли они по Троицкой, а на пересечении Амурской и Большой улиц с балкона филиала Русско-азиатского банка красных бой-

цов приветствовал сам товарищ Ширямов. Там и узрел его красноармеец Брюхин, который после ранения служил в 90-й бригаде.

Был Александр Александрович Ширямов на 13 лет моложе Ленина и не в пример главному вождю жизнь промерил аж на 72 года. На большевистскую крепость замешала в нем природа жизненные соки, коли снес такие годы и не треснул: первая русская революция, первая мировая война, Февральская и Октябрьская «стужи», великая сталинская костоломка и уже под уклон лет — Великая Отечественная война. Упокоился Александр Александрович в смутном 1955 г. Затеплилась тогда в народе надежда на лучшую долю, да все секретари вкупе с «женевской» тварью дунули и загасили тот огонек. Крепко дунули — из Кремля и всех обкомовских углов социалистической России — и всех-то тревог.

Но до этого еще далековато.

А пока Флор Федорович и Татьяна Петровна между заботами и делами простаивают то в Тихвинской, то в Богородской церквах — лишь там и сохранились хоры. Завернули как-то в Казанский собор, но глянулся таким неуютным — и не пробовали более заходить.

Не дожил Федор Федорович до тех «светлых» дней, когда снесли так любимую Таней Тихвинскую церковь — ныне на ее месте трест «Востсибуголь», а Казанский собор извели на строительный материал. Сгинула и часовня Спасителя — на ее месте сквер с бюстом огнедышащего бога революции — Ленина.

Останутся одни — целует ее Флор, гладит руку — тонкая, изящная в запястье. В кресле писать ее парсуну. Чтоб рука прихотливо и с капризом свешивалась с подлокотничка.

Таня чувствительна к поцелуям — это первое и превеликое наслаждение для нее. И целуются, целуются — Флор и не выдержит, до невозможного поднимется давление чувств. Взойдет себе рубашку по плечи, заголит грудь — и к ней, упрется обнаженной грудью в лоно — и замрет, впитывает ее жизнь, аж окаменеет (это чтоб ее всю слышать). Сам на коленях.

Она аж затрепещет. Вроде столько чувств — обеспамятовала уже, а тут!.. И рук у суженого... две, а мнится — бесконечно их. Мнут со всех сторон, гладят, прижимают, подстилаются, волосы развертывают, груди не отпускают. Вот как это?!

У Танечки это разрядами — один за другим, без счета: напряжется, выгнется лоном (глаза расплавленные, безумные) — и зайдется стоном! Кто услышит — решит: беда! А Флор замрет: должна опомниться его стриженная подружка (на всю жизнь ласка и любовь), пропустить вихрь и пламень наслаждения. Сам дрожит в нетерпении, однако ждет... щадит...

И опять за «пахоту» — мощно, тягуче...

И снова Танечка извернется дугой — и на стон, причитания. У Флора аж глаза вылезут, округлятся — ну бешеный и есть. Да зверем еще зарычит. А она только молит:

— Соски не трогай, не трогай!..

Вот-вот от обилия чувств лишится рассудка. Волнами расходятся судороги, почитай, без пауз. Потому что Флор не человек, а бес, черт, нечистая сила!

А он не выдержит — и за плечи ее. Сам на ней, груди под его грудью, а мало — уж как тесно обнимает. Потому что не умещается страсть только в движения. И рыщут руки, лобзают.

Стихи, звезды и бездонные дали...

Это Создатель все нагородил. В услугах мы у Создателя. Конечно же, это Создатель требует страсти.

И не старается Флор. И вообще, что такое стараться в любви? Тут какой есть такой и есть. Любовь и великий инстинкт сами всё сочиняют и всем правят. И уж так не по-земному славно.

А воздух, свет в комнате — опять не белый, а какой-то сверкающий... дрожит и сверкает. И мир сверкающий — и опять прошлое здесь, между ними, и настоящее с ним. Огненным комом, вперекат...

А уж что там губы глаголют, что вытворяют!

А руки!..

И воздух сам становится синим, прозрачным — никогда такой не увидишь. И не поверить: взаправду опалает! Да и сам Флор ровно огнем пышет. А только мало ему — гонит свое, гонит... На один рот дышат. Жметса щекой, цалует в шею. А потом и главное: вздрогнет всем телом, забьется, зарычит — и не шевелится.

И срываются в пропасть! Уж как жутко сие падение! И над всем этим безумством — бред слов, стоны... И всё под тихий рокот голосов. Не могут иначе — столько чувств!

Да, да, необъятные миры умещаются в сердцах. Такие огромные, куда им — нет места: вся Вселенная! А вот умещаются в груди...

После пустота, так мирно. Улыбки блуждают в устах. Руки пальцами сплетаются...

Стихи, звезды и бездонные дали...

Любовные схватки эти очень «полезны» революции. Они, только они и бессмертят жизнь. Прахом, ничтожеством представляются идейные мучительства, суета идейных растлителей, их крысиные ценности.

А уж под конец, под самый последний виток их счастья, посетит Флора откровение. Любовь очистила и подготовила к такому обороту мысли.

До народа никогда никакому правительству дела нет. Это надлежит осознать. Нет, не было и не будет в природе народного правительства. **Зрелость народа и состоит в том, что он занимается своей судьбой — и никто другой.** Все другие — лишь орудия его воли. Все правительства — это игра разных убойно честолюбивых сил через всякие там учения, планы, но прежде всего и всегда это — нажива. Народ (так было и будет) «создан», дабы его стригли, как баранов, а надо — и забивали, драли шкуры — и забивали. Всегда одни (ни

чтожнейшее меньшинство) сдирают шкуру с других.

Народ сам должен заниматься своей судьбой. Ведь народ может все!

И только тогда здесь, на Руси, народ будет не жертвой, а хозяином судьбы. Не побирушкой, нищим в своем доме, а хозяином...

И решат они с Таней не бежать, но не сразу решат, а в самые последние дни своего счастья.

Любовь сделала Флора мечтателем и романтиком. Как забудется — и вообразит себя неведомо могучей птицей. И все стремится заслонить людей крылами, грудью принять все злые ветры лихолетья. Унести к свету и солнцу всех сирых, забитых и забытых...

А один раз сорвался и крепко выпил, Таня и не представляла себе, что так можно, и долго говорил ей о том, какое же количество молодых и сильных, влюбленных и умных, чистых и талантливых поглотила русская земля в XX веке — самом проклятом веке российской истории. А скольких загублено просто сдуру, по недомыслию и капризу туповатых властителей. Исстари у нас это...

Стремительно менял кожу Флор. Вот что значит любить. Комета, огонь и тысячи солнц в крови. Облик Танюши, ее лик намертво врезались в его сознание, как и его — в ее. И воистину стали оба одной плотью.

А у председателя губчека забот с каждым днем гуще. События, можно сказать, громоздятся без продыху, на части разрываясь.

Генеральная задача сейчас — изъятие оружия у населения. За эти годы столько осело по домам и квартирам — дивизии способственно вооружить. Приказ ревкома обязывал в недельный срок сдать оружие.

Само собой, вылавливали и колчаковцев. Их тут по норам! До Жардецкого бы дотянуться!..

Несмотря на крайнюю серьезность положения и многочисленную неотъемлемость хлопот, товарищ Чудновский продолжает ночами повышать свой идейно-политический уровень. Последние дни его раздрают сомнения: как же все-таки относиться к женщине? В общем, из самообразовательного чтения выяснилось, что данный Август Бебель — автор вроде архиполезной книги «Женщина и социализм» — завзятый оппортунист. Стало быть, он, Чудновский, отравлялся чтением. Бебель, оказывается, был лидером социал-демократической фракции в германском рейхстаге. Умер он в августе 1913-го — в один год с генералом Шлиффеном — автором плана войны Германии на два фронта: Западный и Восточный. Война, по расчетам этого Шлиффена, должна закончиться в пять-шесть недель разгромом Франции и России. Затяжную войну Германия выиграть не в состоянии из-за ограниченности сырьевых и людских

ресурсов. План молниеносной войны — результат объективного положения Германии.

Всего пять-шесть недель — расчеты неопровержимо доказывают победу, следует лишь нарушить нейтралитет Бельгии и выйти в самое сердце Франции. А после Франции всеми войсками навалиться на Россию. Война по Шлиффену дала в августе такой народный энтузиазм, аж социал-демократы с подобострастием пожимали в рейхстаге августейшую руку Вильгельма: даешь новые земли! Экий в Южной России чернозем, а Крым, Крым!..

Кайзер не ошибся, когда сказал, не сказал, а изрек: «Там, где марширует гвардия, не может быть демократии»¹. А уж гвардия маршировала так маршировала! И Бебель видел это и знал, изгибаясь в поклоне...

Когда товарищ Чудновский читал, его аж перекручивало. Куда там колоду карт — две порвал бы на одном дыхе. Вот оно, логическое завершение оппортунизма! Соглашательство — и предательство!

Так вот Бебель в свою очередь оказался среди этих... немецких меньшевиков и эсеров, словом, предателей рабочего дела. Его счастье, помер раньше, не замарался. А то ведь перед самой смертью, когда уже накалялись страсти (за год до войны), заявил в рейхстаге, что в случае войны с Россией возьмет винтовку и отправится воевать против русского деспотизма во имя защиты своей Родины. Вот же змея подколодная!

Практика борьбы все крепче привязывает товарища Чудновского к вождю. С Лениным ясна классовая суть любых явлений, даже самых запутанных.

Разоблачение Бебеля не прошло бесследно для Семена Григорьевича. Женщина в его сознании сместилась заметно назад, почти на старые допартийные позиции, когда товарищ Семен не видел в ней ничего достойного: так, сучья — физическое и хозяйственное дополнение к быту.

Он старался не показывать этого, но в его фразочках, замечаниях стали проскальзывать такие слова о женщинах, как «крапивное семя» и т. п.

Напевает Семен Григорьевич:

Прости, прости!.. Петля уж жмет,
В глазах темно, хладеет кровь...
Ура! Да здравствует народ,
Свобода, разум и любовь!

В городе да изымать оружие! И на пули нарываешься, и на тайные склады, и на притоны — те еще бардачки!

«С нашим народом иначе нельзя, — внушает подчиненным това-

¹ Цит. по: S h ü d d e k o p f О. Е. Das Heer und die Republik. Hannover, 1955, S. 9.

рищ Чудновский. — На Западе люди могут иметь оружие по домам — это их собачье дело. А у нас оставь оружие — и до контрреволюции созреть не успеют, перестреляют запрeжде друг друга (так и говорил: «запрeжде»). Характер у народа легкий на кровь, даже игривый. Без этой самой власти, приставленной ко лбу, нельзя».

Работа сушит человека. У баб да девок груди подсыхают, и с тела тощают да злобятся. А Лизка... И не удержался, полез за папирсой. Что тут кривить душой: не встречал больше такую. Однако понять себя не может, с чего это она все последние дни на памяти.

А когда закурил, оплыл облаком сизого дыма, утробно прокашлялся, ушел в себя (есть у него такая черта: уходит в себя — и ко всему теряет чувствительность, даже глохнет), вдруг представил Лизку. Вот рядом — протяни руку. Росточком не так чтобы шибко, всего на голову выше, зато налитая, как из чугуна. Правда, чугун этот особенный... А что тут, может быть, это и есть любовь. Не разглядел, пропустил. Экая беда — возраст. Главное — друг друга вплотную устраивали...

И заулыбался: глаза — масляные щелочки, а сам неподвижен, голова чуть откинута — в прошлое вглядывается.

Детишек бы сейчас народили...

Через четверть часа Семен Григорьевич очнулся, вынул «мозер» из кожаных штанов, на всякий случай покрутил головку часов: в пять на доклад к Ширямову.

Знает председатель губчека — там будет и пан Благаж. Последние составы с легионерами уходят. Ян Сыровы уже укатил. Подумал: «Мы их мировой революцией достанем и всех удавим. А вот об ту пору и потолкуем, всему свой черед. Не уйдут!...»

И происходило все это в том необыкновенном Иркутске — кровавом и бредово-хмельном. Разморазивался город для новой, невиданной жизни. Шутка ли, вместо Сибири — Дальневосточная республика, свой Совет Министров, свои дипломатические представители! Цель такого государственного образования — защитить советскую Россию от японцев (буфер и есть) и, само собой, снабжать товарами — о том в каждом доме гудят. Все без хмеля пьяные: позади свирепая зима и мутная пора усобиц с ее грошовой стоимостью жизни. В общем, крепнет уверенность дожить до тепла. Верят: обошла смерть и не будет ее больше.

С 26 февраля в городе формируется первая Иркутская стрелковая дивизия, в апреле наберут и вторую. Толкуют о своей Народно-Революционной Армии, главком уже объявился: Эйхе — тот самый, что уже вел Пятую армию с 25 ноября девятнадцатого по 21 января двадцатого. Армию Эйхе принял у Тухачевского, а сдал Кутыреву. Имеется такой. А Эйхе сейчас командует Вооруженными Силами Прибайкалья. Метят эти Вооруженные Силы на Читу — против

Семенова. Беляков там около 27 тыс. — не густо, но самые злые, так сказать, с опытом резни. Отпетый народ, терять нечего, за спиной граница.

2 марта отбыл из Иркутска последний состав с легионерами.

Штаб легиона уйдет из Владивостока лишь 24 августа 1920 г. на транспорте «Президент Грант» — и больше ни одного белочеха на русской земле не останется. А пока тянутся с эшелонами к Владивостоку. Препятствий не чинят, дают красные проход эшелонам. Зато японцы... Большой войной пахнет. Во избежание международного конфликта договаривайся о каждой версте. Потому и плодятся партизанские отряды. Формально за них не в ответе иркутская власть, а японцам поддают.

Японцы ищут повода для войны. 2-ю дивизию трепанули — пришлось заградительные части ставить: разбежалась бы. Что живая сила без коммунистов и комиссаров? Всех партийных — под гребень для придания стойкости и надежности войскам. В РСФСР это уже давно уяснили: без комиссаров нет армии. Без политической начинки не горят мужики класть головы.

А тут еще китайцы. В непосредственной близости к границе и на русской земле их скопилось тысяч на семьдесят — шесть полных дивизий. А как же, тоже пожить не прочь, нет границы-то...

И в этом столпотворении и страстях — Флор Федорович и Татьяна Петровна. Уж по второму месяцу беременна Татьяна Петровна. Озабочены, ждут ребеночка. Ведь с ним бежать в чужие края. Мальчика решили назвать Борисом, девочку — Катей.

Ян Сыровы в сентябре—октябре 1938 г. станет премьер-министром Чехословакии, а с сентября 1938-го и по март 1939-го — министром национальной обороны.

14 сентября 1939 г. гитлеровские войска приступят к захвату Чехословакии, 15 марта они уже в Праге. Сыровы не уйдет в подполье, не улетит в Лондон, не замкнется в личной жизни — зачем? Это его время. Как и Гайду, его отличают прогерманские настроения. И именно на данной основе возьмут ход события совершенно диковинные. Сыровы окажется в Берлине, где будет иметь встречи с Гитлером (и это-то уже после захвата немцами его Родины!). Его настроения сделают его доверенным лицом фюрера, и тот снарядит его к Сталину. Вот какие превращения произойдут с бывшим командующим Чехословацким корпусом в Сибири одноглазым генералом Сыровым.

Племянник германского посла в Париже граф Велчек сообщил в середине мая 1939 г. английскому военному атташе в Берлине о том, что «генерал Сыровы прибыл в Москву по поручению германского правительства за три дня до падения Литвинова»¹. О чем говорил

¹ Ф л я й ш х а у э р И. Пакт Гитлер — Сталин и инициатива германской дипломатии. 1938—1939. М., 1991, с. 397, 413.

Сыровы со Сталиным, неизвестно, но, надо полагать, поручение Гитлера исполнил бывший легионер ревностно и с военной точностью.

Гайда, Сыровы... на побегушках у Гитлера... Из руководителей легиона получились обыкновенные предатели. Вот и вся правда об их «демократизме» и мотивах выдачи адмирала.

Грош цена их рассуждениям о белом терроре и отказе легиона защищать «белого диктатора». Надо было уносить ноги из Сибири. Надо было скрыть разбой, насилия, убийства. Надо было увезти награбленное и не дай Боже заплатить за это кровью. Надо было... Словом, имелся резон избавиться от адмирала.

И выдали, зная определенно, что его казнят, по-другому не будет. В этом-то и состоял расчет. Нет свидетеля — концы в воду...

Думается, Сталин держал в памяти мятеж легиона и возникновение под его защитой Восточного фронта Гражданской войны, когда вел секретные беседы с бывшим командующим легионом, а теперь одноглазым посланцем фюрера. Хорош же был посланец у диктаторов-палачей...

Министр пропаганды гитлеровского рейха доктор Йозеф Геббельс запишет в дневнике 14 марта 1940 г.: «Фюрер видел Сталина в одном кинофильме, и тот сразу стал ему симпатичен»¹.

С нападением Гитлера на Советский Союз в европейской фашистской печати забродила оскорбительная антирусская кампания.

Сын виленского (вильнюсского) губернатора Лев Дмитриевич Любимов в те годы был известным журналистом — разумеется, в эмигрантской печати, парижской. Он писал:

«...Я напомнил Моррасу (профашистски настроенному члену Французской академии. — Ю. В.), что, когда мелкие германские княжества изнемогали в междоусобной борьбе, когда Берлин был всего лишь столицей Пруссии, а Рим — папских владений, Россия уже давно утвердила свое единство. Лучшие армии мира — Карла Двенадцатого и Наполеона — разбились насмерть о ее твердыню. В Париже, Берлине и Милане развелись победоносные русские знамена. Оттоманская империя и Австро-Венгрия, основывавшие свое могущество на угнетении, сошли с исторической сцены под ударами русской армии. Я напомнил также Моррасу, что если Франция — наследница Рима, то Россия — наследница Византии, а ведь крестоносцев, то есть западных феодалов, в Царьграде встречали как варваров...»²

В той редкостной книжице кадета-доносителя князя Бебутова («Последний самодержец») напечатан портрет батюшки Любимо-

¹ Все в соответствии с русской поговоркой: рыбак рыбака видит издалека.

² Л ю б и м о в Л. Д. На чужбине. М., «Советский писатель», 1963.

ва — тогда видного чиновника министерства внутренних дел при известном министре А. Г. Булыгине. Помните Булыгинскую думу? Проект ее утвердил царь в июле 1905 г. Любимов удостоился служить правителем канцелярии у министров внутренних дел фон Плеве, П. Н. Дурново и князя Святополк-Мирского. Затем батюшка Любимова пошел на повышение и стал виленским губернатором.

Глава московских славянофилов писал по смерти Николая Первого графине Блудовой: «Пусть только верит он (Александр Второй. — Ю. В.) России: она никогда не выдавала, никогда не выдаст своего царя».

И верно, не выдала — убила, как убьет и его внука, Николая Второго, вместе с правнуком и правнучками...

Потому что тотемный знак России — трупы...

А 6 мая срежет пуля Татьяну Петровну. Без вскрика сядет на землю, захрипит, зальется темной кровью. Рванется Три Фэ на выстрел, глаза белые, злющие, а только никого вокруг. Шли несколько прохожих, так по выучке сразу легли...

После придет догадка, а там и уверенность: это мстили ему, мстили за адмирала. Только по нечаянности пулю приняла Танечка, шагнула и...

Застрелили Татьяну Петровну на Набережной улице, напротив прогимназии Гайдука. Но убийца-то оказался трусоватым, всего на выстрел и хватило. Открытым шел на него Флор, бей вторым — и не промахнешься.

Пресекалась единственная любовь Флора Федоровича, поскольку не любил он до сих пор. Ненастоящими были все чувства. И уже никогда не полюбит. Ведь за любовь сходит страсть к женскому, блуд, привычка, а любовь — драгоценность. Это не просто удача. Любовь так же исключительна, как цветение сада в январе у нас, в средней России.

Забросит Флор Федорович маузер, браунинг и механически примется отмерять дни. Лишь с перстеньком не станет расставаться — и правильно. Очень сгодится, сложатся такие обстоятельства.

Через полтора месяца после убийства Татьяны Петровны Федорович заявил на частном совещании эсеровских руководителей:

— Народ поднялся к свободе, но еще не успел распрямиться, как его заковали в новые цепи. Марксистские партии с их учением о диктатуре были и будут источниками насилия и несправедливости. Говорят об умении большевиков организовывать массы, о том, что массы следуют за ними. За большевиками умение организовывать насилие, спланировать массы для насилия. Я не против новых граждан, я против того, чтобы новые граждане становились таковыми, поедая всех остальных граждан...

Еще много лет назад Федоровича поразило высказывание одного из лидеров меньшевизма, П. Б. Аксельрода, — в 1920 г. он повторит его в одной из статей:

«Не из полемического задора, а из глубокого убеждения я характеризовал 10 лет назад ленинскую компанию прямо как шайку черносотенцев и уголовных преступников внутри социал-демократов».

У Аксельрода были на то основания, он «ленинскую компанию» знал и «теоретически» и в быту. Это высказывание проходит по одной параллели с известным высказыванием Струве.

Речь Федоровича прорубила след в умах его товарищей. Флор Федорович начнет решительно отходить от всякой политической деятельности.

У него вышла крупная размолвка с Янсоном и Чудновским. Они заявили, что своим поведением Федорович перечеркивает свое революционное прошлое, пусть одумается, еще не поздно.

Тлело в Чудновском желание лично вразумить Федоровича. По-прежнему свято и строго, не пленяясь страстями, выполнял Семен Григорьевич свою почетную очистительную миссию.

Федорович даст ответ публично, на собрании эсеров:

«Время господства большевистской власти является горькой школой по отстранению масс от активного и непосредственного участия в решении судеб страны...»

А дальше, послушайте дальше!

«Зло — в «левых», зло — в «правых». Да поймите же, не будьте глухи: зло в людях! Зло в нас, а не в партийных билетах.

Свинство душ — в нас! Оно втоптывает людей в могилы, оно травит нас, лишает даже обыкновенного тепла жизни!..»

Такой контрреволюционностью пахнуло на иркутских большевиков — ну самое настоящее подполье, а вдохновитель здесь, гуляет по городу и теоретизирует.

Сказать такое о народной революции, о деле Ленина, о крови, пролитой трудовым людом!

После данного выступления бывшего председателя Политического Центра товарищ Чудновский упорно домогался у губкома и всех ответственных руководителей (вплоть до Сибревкома) разрешения на арест Федоровича «ввиду исключительной контрреволюционности высказываний» — вот так, длинно и витиевато, формулировал мысль.

Но что можно в РСФСР, еще нельзя в Сибири: момент не тот.

Три Фэ оставил мысль о бегстве. Постылы, гадки все дни. Можно и пулю приспособить себе, и тянется порой рука за браунингом, да что-то удерживает. Не совсем разобрался в себе Флор Федорович.

Смотрит на алмазный небосвод (слеза мерзнет в бороде) и думает: «Какое прекрасное творение Божие — небосвод!.. И какое бесчеловечное в своей бесконечности...»

Как останется один — опустится на колени и плачет. Без слез плачет.

Когда в первые годы после революции в партии развернулся спор о том, что у нас в России — диктатура партии (масс) или диктатура вождей, Ленин не без насмешки внес ясность:

— Все разговоры «сверху» или «снизу», диктатура вождей или диктатура массы и т. п., не могут не казаться смешным ребяческим вздором, чем-то вроде спора о том, полезнее ли человеку левая нога или правая рука¹.

Ленин глубоко прав: к чему эта словесная чепуха? Главное — это единовластие, оно есть, оно уже правит Россией. В наличии, так сказать, диктатура — разве этого мало? Ну, подменили диктатуру партии, то есть масс, диктатурой вождей, но это все равно диктатура — это убийства, принуждения, страх.

Дня за три до гибели Татьяны Петровны окажет он услугу близкой ей по Питеру подруге — Анне Васильевне Тимиревой.

Посадит Федорович ее на поезд с подложными документами и справкой, которые откроют ей дорогу за Урал и Волгу. И уже никогда больше не увидит златоголовая Анна Васильевна (не цветом волос, а породой, высоким строем души) ни иркутских распорядителей судеб — Ширямова и Чудновского, — ни этого проклятого города — ледяной могилы ее чувств.

И уже не будут узнавать ее старинные знакомые, хотя будут сходиться лицом к лицу. Те же волосы, пышные, и так же уложены, правда, седые...

И во всю длинную жизнь потом жалела, что красногвардеец-венгр вывел ее из тюрьмы, а не убил. Не был у нее приятным и светлым ни один день. Выжег душу иркутский февраль двадцатого.

Прирожденным организатором и бесстрашным бойцом оказался товарищ Косухин, а лет-то ему стукнет в том, 1920-м, всего двадцать. В старое время и не призывали таких, с двадцати одного брали в солдаты. Вроде еще зеленый...

Весь апрель бежит через Сибирь к Уралу литерный эшелон особой важности № 10950 — два товарных состава. Вагоны — под пломбами, и не один последний с площадкой для сторожа и красного фонаря, а все непременно с площадками, и на каждой часовые — по двое.

Еще к станции не успеет подойти, а уже стучит телеграф: пропустить без задержки, все требования начальника «литера» товарища Косухина выполнять незамедлительно. И подписи — аж все приседают: выше начальства не бывает.

Отродясь не видывали таких составов железнодорожники. Даже начальников станций не подпускали. Так издали и орали разные свои донесения.

¹ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 41, с. 32.

Смена паровозов, бригад, заправка водой — все на маленьких станциях, все в считанные минуты. Паровоз пустит пар, даст гудок, тормоза заскрежещут, напрут вагоны, заюлят, сбавят прыть — и замрут. Тишина... Лишь паровоз пофыркивает, а уж какой-то человек в кожанке спрыгивает. И по всем вагонам и крышам ладят стремянки, и по тем стремянкам лезут красноармейцы с пулеметами. Сколько вагонов — столько и пулеметов. И уже часовые стреляют в воздух — толпа и мешочники врассыпную. А из охранных вагонов сыпят бойцы — в кольцо составы. И команда из цепи: кто подступит к составам, будет застрелен без предупреждения!

Батюшки святые! Толпа — за дома, дерева, лотки базарные. На путях — ни души, кроме служивых: винтовки наперевес, штйки прижмнуты, с крыш вагонов пулеметы рыльцами шупают дома, людей.

Один человек может идти куда хочет — тот самый, что спрыгивает первый: Саня Косухин. Даже машинист не смеет спустить ногу на землю. Цельное отделение наблюдает в будке.

Ежели по нужде припрет — вали в ведро, после маханешь дерьмо в топку. Эка невидаль! Даешь километры!..

Служивые глаз не сводят с бригады: что не так — любого в топку затолкнут. Руки-ноги повяжут — и с дерьмом в клетот огня. Так и предупредили мастеровых — с революцией шутки плохи! Даешь километры!

Само собой, и языки чешут, а как иначе? Бежит тайга, бежит... Вот и сказ о ранениях, лазарете, тифе, родичах, расстрелах, стычках и... разных кралях. Ох уж эта порода с сиськами!

— Знатный у тебя табачок, Гавря.

— А кисет, глянь, с цветочками. Глянь, ромашки.

— Супруга вышивала, мастерица. Поди, заждалась...

— Супружница, эх! Да хоть голосок послушать, какой он у моей Ульяны: чисто колоколец — по всей душе праздник. Ульяна у меня осанистая...

— Хорошего человека чем больше — тем лучше.

— Верно соображаешь, Дема... Худо, я вам скажу, без ласки, в зверя превращаешься. Дай курнуть, Спиря.

— Мужики, как на духу: утренняя баба, опосля ночи, — ну оладья в сметане. Обоймешь, будто и не держал — в первый раз съюбились. Пышная, распаренная — ну оладья в сметане! Господи, своя же!..

— Самосад у тебя, Спиря! Форменный горлодер!.. Баба со сна — это тепляшка, дар Господний, браточки. Не то что энти, по вокзалам да площадям... шалавы венерические...

— А куды нашему брату, коли без продыху шестую годину в шинелях? Организм своего требует, а тут кровь, матюги, увечья, слезы, могилы... И шестую годину! Это ж какая перенатуга для души...

— Мне бы и шалаву, Дема, без болезни, само собой. Я, мужики, сохну без бабьего духа. Дай ишо курну. Затяжечку.

— Энти только берут, а вот чтоб погладила, попела, пожалела, бельишко поштопала, приголубила... Держи кисет...

Само собой, и языки чешут, а как иначе? Бежит тайга, бежит... Вот и сказ о ранениях, тифе, родных, расстрелах и... бабах. Ох уж эта порода с сиськами!

И пойдет бывальщина, кто, где и как охаживал. Столько тут озорства и случаев. А как взводом еще в Галиции, при царе... а ничего, встала и пошла! Ха, ха!.. А как жидовку килограммов на сто двадцать, титьки аж до пупа, с неделю за собой возили. Ха, ха!.. А как барыню в имении под Сарапулом драли... Эх, барыня! Ха! ха! А дочки померли, пожиже оказались! Ха, ха!.. А б... в казарме! Аж, мать их, до неживого состояния! Курвы!.. А в Камышине... А в Екатеринбурге... А...

А потому что все это не женщины, а белячки, падаль. К очищению земли жизнь поворачивает.

А чего их жалеть? Попили нашей крови! Пушай платят хошь натурой!..

И выдумывают то, чего не было и что краем уха слышали, — на всю дорогу своих баек не хватает.

Берегись шинельной России!

Паровоз аж подпрыгивает от этих историй, пар на сто метров пускает: белый-белый!.. Кроют мужики матом всю женскую половину классово чуждого населения России.

Несет поезд золото, мат и озверение людей от крови, обмана и лжи.

А на нарах, что под самой крышей теплушки, наяривают под гармонь:

На вокзале, в третьем зале,
Труп без головы нашли.
Пока голову искали,
Ноги встали и ушли...

Закалился, обветрился народ на всех фронтах Гражданской войны, а их, почитай, два самых важных: внешний — это белые и интервенты, и внутренний — это кулачье, буржуи, дворяне и вообще все, кто не принимает красный цвет новой жизни.

И проституток, шлюх разных, словом, гулящих за деньги, Ленин велел расстреливать, и расстреливали¹, да сколько, но сперва... сперва... ог-го! Вспомнить хотя бы горько-кровавую судьбу женского батальона (ударниц) с баррикад у Зимнего в первую ночь революции².

Даешь новую, счастливую жизнь!..

Ай да Саня Косухин!..

¹ Это факт исторический. Ленин действительно отдавал распоряжения о расстрелах проституток, словно мстил им за свою оплошную болезнь, несомненно взятую у одной из заграничных панельных дам.

² Она, эта судьба, воссоздана по документам в моей повести «Геометрия чувств» (Киев, «Андреевский спуск», 1991).

В 1977 г. двоюродный брат моей жены (Ларисы Сергеевны Костиной) решил поступить в Киевскую духовную семинарию. Оказалось, для этого нужно разрешение обкома КПСС.

У Бога под боком то же бесчестье и произвол!

Юноше было отказано в таком разрешении. И ничто — ни редкостное знание философии, ни религиозность, ни соответствующая начитанность, ни выраженная склонность к духовной, подвижнической жизни — не могло изменить решение могущественного обкома. Ибо только обком и генеральные секретари вольны распоряжаться холопами — всем мужским и женским населением страны.

Для обкома юноша был опасен служением Богу: слишком предан Богу и слишком упорен в служении ему. А все это — урон ленинской идее.

Молодой человек едва выжил от потрясения. Наперекос пошла жизнь.

Гельвеций в трактате «Об уме» писал:

«...Народы, находящиеся под игом деспотической власти, заслуживают презрения других народов... пойми, где признают абсолютного монарха, уже нет народа...»

А чем власть партии и генеральных секретарей не абсолютна?!

Ленин выстроил один неизменный довод (как вращение Земли вокруг Солнца): кто не с ним — тот против истины.

Этой логике он подчинил мир. Только так воспринимал его.

А истину большевизм утверждал лишь через уничтожение всего несогласного, всего, что отличалось цветом.

Принцип немецкого философа Макса Штирнера: «Кто не с нами — тот против нас» — становится одним из основных в новом, социалистическом государстве. Только так оно строит свои отношения с миром (подлинные, непоказные) и каждым человеком в отдельности. Или ты червь, или прах. Третьего не дано.

На костях воздвигалась будущая усыпальница великого мыслителя и практика революции.

А «литер» бежит — расступаются леса, сопки; реки лстыиво плывут под мостами — лед их заполировал... Бежит золото в Москву. Надо строить новую жизнь! Все-все повернуть по-ленински! Штыком проковырять землю аж до пупа! Заскорюзлыми ручищами, могильными крестами, надсадом миллионов спин подпереть и выдюжить новую, индустриальную Россию! Даешь жизнь без царей и рабов! Рабы — не мы, мы — не рабы!..

Натерпелись бойцы. Это что — вагоны собой загораживать, ну стоят цепью, не подступись, а вот составы руками перекачивать!.. Мостов нет — белочехи и колчаковцы все повалили, — и бойцы разбирали рельсы, сносили и клали на лед. И все шибко надо ладить, не дай Бог, прознают людишки, что тут за музыка! Ящики с золотом

переносили на себе — кряхтят мужики, ух уж это золото, мать его! А как перенесут — перегоняют порожняк. Всем миром налегают на вагоны. И собирают составы, вагон к вагону. Слава те, Господи, морозы держат лед!

И никаких привалов, перерывов на еду. Сутки, вторые — на ногах...

Простудился Косухин. На застарелую лихорадку налегла новая, кровит кашлем, а все на ногах. Первый спрыгивает на станциях — ишо земля сбивает с ног. Самолично осматривает все пломбы, щерится волком — а не подходи к золоту, держи революционную бдительность. Буржуй налегает брюхом, гнет к земле народную власть... После спешит Санек к паровозу — и так по обоим составам.

С охраны глаз не спускает — никаких послаблений. Иной раз наляжет плечом на вагон. Ноги дрожат, дыхание с хрипом. Круги в глазах. То холод по телу, то жар... А встрепенется: не барышня! И скрипит сапогами по снегу. Самому все проверить, самому. Приказ и доверие самого Ленина... Мировая революция... Империалисты... Колчак... «Весь мир голодных и рабов!»... Все самому, никому не доверять... По вагонам! Машинист, гудок!..

Кишит Сибирь атаманами, и беяков застряло тьма — шарахнут из пушек, а после в штыки, шутка ли — золота на тыщи пудов!..

И мотается Саня Косухин от бойца к бойцу, от «пульмана» к «пульману»... Запрещаю вступать в разговоры с местным населением! Кто будет замечен — расстрел на месте! Революция надеется на вас, товарищи!..

Харчи — только сухим пайком. Никому из цепи не выходить...

В глазах — круги, ноги подламываются, а виду не подает. С матерком идет, зырит остро, над переносьем морщина так и не разглаживается. В сознании великой ответственности глаз не сводит с людешек у вокзальных строений. Небось с обрезам да бомбами...

Кричит бойцам перед посадкой:

— Чайком, товарищи, будете баловаться после выполнения особого задания республики! Голодные дети и товарищи на фронтах ждут от вас выполнения революционного долга! Да здравствует Ленин! По вагонам!..

17 апреля того же, 1920 г. (сколько ж набежало в один год!) Сибревком телеграфировал Ленину:

«Прибыл из Иркутска в Омск эшелон с золотом. Сообщите, куда его направлять — в Москву или Казань. Отвечайте срочно».

Из Москвы Сибревкому и Реввоенсовету Пятой армии — шифровка:

«Город Москва, 20 апреля 1920 г.»

Все золото в двух поездах, прибавив имеющееся в Омске, немедленно отправьте с безусловно достаточной военной охраной в

Казань для передачи на хранение в кладовых губфинотдела. *Предсовнаркома Ленин*».

А тут беда. Тиф по вагонам. Золото, знамо дело, не хворает, лежит себе — сытое и холодное. Знает, сучье племя: ничто человек без копейки, любой затопчет, не найти правду, угла для сна и пропитания, баба отвернется... Для того и везут золото — до пупа землю штыком проковыряем, а энтот порядок переменим. На сортиры золото пустим, уважение к человеку будет за труды и таланты, женщины не будут гнуть спины и продавать себя. Все будет иначе в нашей республике Маркса и Ленина!

Однако кипяточку с сахаром не помешало бы и «кобылку» позастей бы под бок, чтоб угрела. И гогочут мужики, а у тех, что помоложе, в штанах шибко твердо становится. Да и в самом деле, сколько ж так жить: пули, «ура», могилы, тиф, грязь?.. Когда же в свой дом шагнешь?.. И поминают деток с лаской, а баб все больше похабщиной — это от ярости мужского чувства. Сколько держать себя в руках, мотаться по фронтам и казармам?.. Эх-ма!..

И сгружают тифозных на станциях. Кричат служивые, стонут, рвут одежду, холода им подавай при собственном жаре под сорок. Поправляйся, братва, а нам пора!

По вагонам!..

От слов Ленина люди даже как бы выше и красивше становятся. Вот только вша заедает — ну куды от нее!

Набирает ход состав, а Санька висит на подножке, всматривается — никто не выпрыгнул на станции, не побег в лес или за дома. В вагон сунется — лед, а не человек. Губы слова не выговаривают...

А сам о Ленине думает...

Не схоронили Таню на кладбище. Сам не ведает почему Флор Федорович, а взбунтовалось все против этого. Пусть вольно, одна лежит. Всю жизнь человек хочет летать, простор взять... Так пусть хоть после смерти волю получит. Без людского пересуда и шепота. Известное дело, они, мертвяки, от своей правды не отказываются. Каждый вышептывает наперекор всем. А зачем это?.. Волю надо брать. Крылья разбрасывать — и лететь, лететь...

Отвез с эсерами-боевиками гроб в сопки. Сто потов сошло, а к нужному месту вышли.

Рвали мерзлую землю толком — сажени на три выбили яму. С елей вокруг осыпался снег, ветки вспрыгнули, важно стоят, зеленые. И между ними — желтая дыра в земле.

Сгрудились вокруг, сняли шапки — мороз мигом забелил волосы.

В первый раз удивились эсеры, когда увидели, что любовь их вождя покоится в гробу с православным венчиком вокруг чела — молитва должна открыть ей путь к самому Господу Богу.

Во второй раз прошибло их удивление, когда принялись закидывать гроб мерзлыми комьями. Федорович вдруг побледнел, затрясся

и запел, но не революционную песню, под которую ходили на каторгу, а тропарь по усопшей.

Чисто, звонко пел:

«Со духи праведных скончавшихся душу рабыни Твоей спасе, упокой, сохраняя во блаженной жизни, яже у Тебя человеколюбче...»

Поначалу смешались боевики, аж рты поразевали: у вождя лицо окаменело, без всяких чувств, только слезы и живые, а погода грянули за ним со всей мощью мужского горя и преданностью дружбе:

«Молитву пролию ко Господу, к Тому возведу печали моя...»

Бесстрашные люди, стреляные, битые, травленные, в рубцах от ран и плетей, с туберкулезными кавернами в легких и с метками от жандармских и белых фухтелей, преданные идеалам свободной России...

Сгребли холм из гранитно жесткой земли. Пусть земля тебе будет духом, Татьяна Петровна...

Обнимал их и горько плакал Три Фэ, спустил заводку, сорвалась пружина — иначе мог и не выдержать человек. А так... Мяли они его за плечи, тыкали кулаками в грудь, спину и глотали слезы. Шибко плохо стало Федоровичу. Всю обратную дорогу несли его.

«Со святыми упокой, Христе, душу рабы Твоей, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная».

Гражданская война.

Свобода...

Взял-таки Жардецкого товарищ Чудновский, по всем правилам взял, не на дурика. Выудил на допросе у банковского служащего темный адресок — мог там пастись Жардецкий. Взял на указанной точке активиста кадетской партии Трегубова — тоже нелишне. Вытряхнул из этой «бочки с салом» четыре адресочка (хорошо, что поспел: помер Трегубов; утром пришли, а он неживой — сердце, поди, остановилось); три квартиры навестили впустую — нет хозяев, так, посторонние личности или вообще запустение, а вот четвертая — в яблочко попали: случается, господин Жардецкий навещает старую любовь, ишь козлина!..

Эта «старая любовь» — Венедиктова Ольга Николаевна — вдова 37 лет. Бабель не так чтобы видная: с рожи увядшая, зенки бесцветные, сиськи — особенно не зацепишься; жопа, правда, высокая и как бы на отшибе — оттопыренная, стало быть. Привыкла подставлять, стерва буржуйская! Ей бы лопату смолоду или бельишко стирать, как Лизка, — небось не отключивала бы... Пообещал Ольге Николаевне свободу — и взяли пламенного кадета, как мешком накрыли. Нынче с охраной отправлен в Омск.

Это верное дело — брать мужика на бабу. Только сыщи ту — и схомутаешь. До чего ж слаб наш брат!

«Женщина и социализм»... Они, стервы, не только белых мужиков губят!..

Велено видных беляков и контрреволюционеров (это и эсеры и меньшевики) переправлять в Омск, прочих же карать на местах. А этим — народный суд по всей форме.

Жардецкий не дал ничьих адресов. Рыло ему начистили, на расстрел выводили, пугали — не дал! Гнида кадетская: сопел, вращал зенками и крыл всех непечатным слогом!

А Венедиктову не выпустил: слишком много сходилось. Вроде невиновная, просто пользовались ею — связями, положением, крышей... а Жардецкий и пялил помаленьку, не ржавела тетя... Общее у них что-то с Тимиревой. Анюта!.. Чистые они чистые, но то не овца, что с волком пошла. Не повредит этой сучке Венедиктовой, пушай посидит годок-другой. Враз усвоит, чья власть. В тюрьме-то живо сбросит сытость. От воши все они резвые. Кудри острижем паразитке; чай, не побежит к парикмахеру, змея подкожная!

Вон адмиралова подстилка от воши и околела. В одночасье! Два дня торчал на станции: чехи уходили. А заглянул в тюрьму — доложили: отдала Богу душу. Пусть на себе спытают, как было и есть трудовому народу!..

Сразу вспомнил Федоровича: тоже бы под конвоем в Омск, — да осекся. Это только тех эсеров можно, что с Колчаком одну песню пели. А эти у Правителя власть отняли. Да и в нынешнее народно-революционное правительство войдут... Ничего, пусть погужуют. Бог долго ждет, да больно бьет.

Сполз товарищ Семен с подушек, притомился за столом, почти без перерыва всю ночь, аж онемела филейная часть. Как есть неживая.

Прошелся по кабинету, вспомнил Флоровы заявления, аж зубами скрипнул. Задрыга!

Выдумал же: народ — это общность людей! Нет, господин эсер, есть Россия, есть народ, есть судьба народа. Ты просто от другой России, господской. Не с той, где народ и нужда, — вот и весь сказ. Будет тебе пуля.

Служба в чека очень расширяет кругозор и дает понимание жизни. Разобрался в людях Семен Григорьевич. Нет, не идеи правят людскими — зависть, деньги и жадность до бабьего пола, и ничего больше! Так по пальцам и перечислял сотрудникам: раз... два... три... Твари все это, а не люди, хоть и не виноваты, капитализм их воспитал такими, а надо очищать землю. Вот новых, своих людей на ноги поставим. На идее воспитаем. Ни кобелиного тебе там, ни сучьего... Без зависти к ближним — общее дело делаем. А деньги... на подтирку пойдут, с ними и отомрет жадность...

И аж заулыбался: увидел в воображении этого нового человека. Орлом глядит...

Буква к букве, чувство к чувству — старается ближе держать себя к учению вождей товарищ Чудновский: каждый удар сердца для

народа, в борьбу — и, однако, сохраняет необъяснимую слабость к мужественно-возвышенным словам независимо от их классового происхождения. Понимает: это слабость, — но ничего поделать не может. Запали, к примеру, в душу первые слова прокламации об освобождении Ирландии — это ирландское правительство англичане пустили в расход еще в мае 1916 г. (все революционное председатель губчека по-прежнему старательно выписывает в тетрадь для «толковых мыслей», точно как Самсон Брюхин):

«Во имя Бога и умерших поколений, от которых Ирландия получила старую национальную традицию...»

И упоминание Бога не отвратило — до сих пор произносит слова с придыханием и трепетом. Ну в душе они — и колоколом, самым большим и рокотно-низким. Во имя умерших поколений!

А разобраться — что особенного? Какие слова, какие события — потрясли Россию, а нет, эти тоже запали, будоражат, не дают покоя... Во имя умерших поколений!

Погодя выбрал себя: отучаться надо от слова «Россия». Общая для всех народов родина — РСФСР, а намекают, Союз Народов будет, все нации в одну сольются. Одна семья!

Крут был новый порядок с трудовым людом. Всяческое благополучие ему прочил. Не шадил ради того благополучия. Все в том же, 1920-м, IX съезд РКП(б) требовал в резолюции:

«Ввиду того что значительная часть рабочих в поисках лучших условий продовольствия... самостоятельно покидает предприятия, переезжает с места на место... съезд одну из насущных задач советской власти... видит в планомерной, систематической, настойчивой, суровой борьбе с трудовым дезертирством, в частности путем опубликования штрафных дезертирских списков, создания из дезертиров штрафных рабочих команд и, наконец, заключения их в концентрационный лагерь».

Вот это было по-ленински!

Флор бредет (шаг меленький, как бы на ощупь) и думает. Случаются мгновения прозрения: вмиг открывается истина, неведомая связь явлений, себя вдруг прочитываешь... Ступает меленько, людей обходит, не замечает, в себя ушел. Вдруг видит всех женщин, которых приютит не трогая или приютит обнимая, и... всех-всех увидел... кроме Танечки. Она не идет в эти лица, голоса, стоны и... Господи, чего только не было!.. Танечка и не могла войти в этот хоровод, даже если воображение захотело ее туда поместить. Но он этого не хотел, не мог, кошунство это, цепенеет мысль, когда вспоминает ее. Сразу черный провал в памяти, чувствах, плоти — нет ничего, одна сосущая боль, горе, горе... Подойти — и разбить башку о стену...

И никчемность, неприкаянность его, Флоровой жизни...

Прозренье сделало вдруг понятными всех этих женщин, вернее, понятным то, что соединяло их в его воображении. Самые разные — они вдруг сошлись в одно (нет, Танечки там не было)... Разве гулящие? Россия это. Истерзанная, беззащитная, молящая о сострадании, умирающая...

Россия.

...Вы ударьте-ка в громкий колокол,
Разбудите-ка родна батюшку.
Ты приди, приди, родименький
На мою горьку-горьку свадебку...

...Вы разбейте-ка гробову доску.
Разбудите-ка родну матушку, ох!
Уж ты встань, ты встань, родимая,
Погляди-ка на свое дитятко.
Наряжать меня есть кому, сироту,
Пожалеть меня ан некому... ох!..

Теперь и наряжать некому. Отступились от России ее же сыны. Другой бог у них. У того бога в одной руке нож, с которого скапывает кровь, а в другой — книжица с перечислением выгод от отступничества и отказа от всей тысячи лет России...

Я писал эти главки, когда даже просто фотографию Троцкого или других деятелей революции, объявленных врагами, увидеть было невозможно. К примеру, маленький портрет Троцкого (его выступление на митинге) я привез из Парижа, привез тайком — вырезал из журнала (когда выступал на турнире сильнейших атлетов мира в мае 1962 г. в цирке Медрано). Если бы вырезку обнаружили или она невзначай попала кому-нибудь на глаза (кроме, разумеется, моего тренера, с которым меня связывает дружба и доньине, даже больше, нежели дружба, — глубочайшая привязанность, а ведь за нами тогда доглядывали, и как! — ни одна поездка без надсмотрщика с Лубянки), моя спортивная карьера, да и не только она, пресеклась бы мгновенно.

Из поездок за границу в те годы (а это только чемпионаты мира, Европы, беспощадные гладиаторские поединки в различных турнирах) я привез немало ценных книг — на поясе, под ремнем и рубашкой. Они — в моей библиотеке, я вижу их каждый день, и мы радуемся друг другу. Мы-то не предали друг друга, свое дело сделали. Будет моя книга или не будет, а мы не предали друг друга. Только они, мои книги, знают все, что было, как тяжело и мучительно давался каждый шаг к истине, как расточительно горели дни, каким тугим ошейником схватывало одиночество и как, слабея порой, я все же делал новый шаг, — и только вы, мои друзья, не предавали меня, только вы и моя вера...

Жесты у товарища Чудновского резкие, определенные. Походка, что называется, четкая. Весь человек здесь — нет в нем рыхлости воли. Для таких дел заряд!..

Стоит у окна и отряхивает кожанку: чертова перхоть. Нет времени за собой доглядывать. Башка колом стоит от грязи, а от недосыпов — вроде и во всю комнату, бухает в ней разное, аж не по себе. Решил в первый же более или менее свободный часок махнуть в тюрьму — пушай брадобрей (Цыганков, кажись, его фамилия) освободит от куделей — на кой ляд ему! Пусть башка как бильярдный шар, зато ни вшей, ни грязи, ни беспорядка с прической. Прямой выигрыш. Где тут досуг для намываний и гребешков? Он же Семен Чудновский, а не Жоржик из салона мод...

Наледь на окнах ужалась к самым переплетам рам, видать далеко: потеплело. За овражком, где Ушаковка (и Ангара), краем проглядывает простынно-снежное раздолье. Прикрыл глаза ладонью: ранит свет.

Слух прошел, помер Шурка Косухин. В Казани сняли с поезда — и не дышал. Если так, еще один боевой товарищ сложил голову...

Классовая слепота Правителя и после отстранения его от дел земных нет-нет а займет воображение. Разыгрывал его высокопревосходительство патриота. Германия топтала Россию! Да разве не ясно: войну сочинили капиталистические воротилы всех государств. Антант растравила Германию, Германия — Антанту. Вина России не меньше, чем Германии. В нашествии немцев виновен и русский империализм, но уж никак не мы, большевики. Что Ленин еще в Циммервальде и Кинтале внушал? С ним на заявление пошли Хеглунд, Нерман и Винтер в Циммервальде, а вот в Кинтале... Тьфу, имена... и не выговоришь... Он так и не припомнил фамилий тех, кто пошел за Лениным. Наказал себе вечером полистать книги и установить данный факт. Зато само расправилось в памяти имя: Фридрих Адлер¹ — революционер, на какой акт пошел!..

Марксизм и Ленин все высветили и сделали понятным.

Колчак рисовался теперь товарищу Чудновскому крохотным, убогим человечком, этаким трепачом, неспособным свести концы с концами. Сволочь беззубая!

Обречены историей — здесь Маркс и Ленин дают исчерпывающие объяснения. Поэтому и нырнул Правитель в прорубь, точнее, в Ангару, оплеванному и опозоренному навек... Пожевывает папиросу, сплевывает вязкую слюну в урну, дела наперед прикидывает и все напоминает разговоры с адмиралом — до наивности убоги

¹ Адлер, Фридрих (1879—1960) — один из лидеров австрийской социал-демократии, физик по образованию. 21 октября 1916 г. убил министра-президента (премьер-министра) графа Штюргка. Был приговорен к смертной казни, освобожден австрийской революцией 1918 г. Враждебно относился к СССР.

У Троцкого есть статьи «Виктор Адлер» и «Виктор и Фридрих Адлеры».

доводы, и не поверишь, будто образованный человек, даже ученый. Шелуха все их знания, не рисуют картины мира. В новой школе марксизм займет самое почетное место.

Вспомнил, каким черным оказался снег под адмиралом, какой сам ломкий, разжиженный, когда его поволокли к проруби. В мешок поломали кости. Самолично разрядил обойму. Чтобы кровью не мараться, впряглись по двое волоочь за ноги — и покати́л на спине золотопогонник, надежда всей белой сволочи. Безвольный, мяклый, на льдышках виляет в разные стороны, гыхает изнутри. Развернули у проруби и башкой под лед. Ангара знай и подхватила. Папаху туда же бросили, под лед подвели — и как заосет...

Прикинул в памяти дела на сегодня: доклад в губкоме, заседание партячейки, сообщение Денике о международном положении, три выезда на операции, само собой, допросы и бумаги и еще куча непредвиденных дел, порой такие — все другие тогда побоку. Враг кругом.

Да... еще надо выбивать сапоги для сотрудников, а то все в рванье. Реквизиции сейчас нежелательны...

«Жизнь отдам Родине, а честь — никому!» — напряг память: это ж по какому поводу брякнул адмирал?.. Черт, все смешалось в башке. Хоть бы раз выспаться. А в протоколы надо глянуть. Сказал ведь, помню точно...

Колчак и впрямь повторял при случае: «Душа — Богу, сердце — женщине, тело — государю, а честь — никому! Слышите, никому!»

Он лишь повторял одну из старорусских дворянских заповедей, о которых такие личности более поздних формаций, как вожди нашей лжедемократии, и понятия не имеют. Обременительно иметь такие вещи, как честь. Обременительно, накладно, ненужно и глупо. Не для того они прорвались к власти...

У меня хранятся номера «Известий» самых первых лет советской власти. Подарил их мне старик Поляков — главный тренер России по тяжелой атлетике. Незадолго до своей смерти (около 1966 г.) позвал меня и отдал припрятанные газеты и книги. За книги взял пустяк: к примеру, за «Памятную книжку на 1913 год» — всего 10 рублей (верно, тогда рубль был другой).

Газеты пообжили клопы, и я с неделю пересыпал их в гараже всякими порошками. Среди газет оказался номер от 25 января 1924 г. со статьей Николая Александровича Семашко — наркома здравоохранения РСФСР с 1918 по 1930 г., умершего в 1949 г. Семашко был старым большевиком, соратником Ленина.

Газеты я переплел в три блока. Храню в платяном шкафу на шляпной полке. Весь этот шкаф я перегородил полками и наполнил книгами по последним революциям и Гражданской войне. Здесь они не бросаются в глаза и в то же время соединены вместе. Для рабо-

ты удобно. Пример Самсона Игнатьевича сгодился. Уж этот Брюхин!

Это — настоящее богатство. Книги того времени уничтожали беспощадно. Еще недавно за них давали «срок».

Я достаю блок в красном переплете. Та газета здесь, самая первая. Ох, недаром хранил ее старый атлет!

Отношу блок на диван, открываю. Иду в прихожую за маленькой табуреткой, сажусь напротив газеты. Прежние сгибы отвердели, съедают буквы. Осторожно растягиваю страницу. Бумага ломкая, рыжеватая, по сгибам приклеена калькой. Теперь все буквы на виду.

Сколько же часов и дней я провел над этими страницами!

Все пуще пособляет чека крутить маховик государства, все глубже вбирает в себя Россию. Как человек покрупнее — и застревает в сите. А те, что без души, на самый верх проскакивают без задержки. Ждут их там солидные назначения. Так один к одному и фильтруются. Аппарат! Номенклатура!..

Нет дыхания — задвигают заботы. Дни, ночи — все смешалось в сознании председателя губчека города Иркутска, да и какая разница? Большие дела берут разворот.

Потягиваясь, заведя руки за спину и сцепив их там, устало, вразвалку вернулся к столу, поворошил бумаги; вот февральский приказ по ВЧК за подписью Дзержинского — намедни доставлен в Иркутск. Важная бумага.

Побежал взглядом по строчкам:

«...Прежде чем арестовывать того или иного гражданина, необходимо выяснить, нужно ли это. Часто можно не арестовывать, вести дело, избрав мерой пресечения подписку о невыезде, залог и т. д. и т. п., а дело вести до конца. Этим ЧК достигнет того, что арестованы будут только те, коим место в тюрьме, и не будет ненужного и вредного, от которого только одни хлопоты, загромождающие ЧК, что лишает ЧК возможности заниматься серьезными делами и отдаляет нас от цели, для достижения которой ЧК существует...»

Круто взялась «чрезвычайка» за Россию: ни новых, ни прежних тюрем не хватает. И подсобки забиты: там казармы, склады... Со всех сторон доклады в центр: как быть? Прудит контра работу...

«У них там тоже, видать, мест в тюрьмах не хватает, — совершенно правильно оценил приказ товарищ Чудновский. — Надо новые строить, иначе не провернем всю массу, эвон какая Россия. Сколько в ней классово чуждых и вообще враждебных делу Ильича!...»

С гордостью вспомнил, как при попытке каппелевцев осадить город облегчил тюрьму душ на триста. Для настоящих, козырных врагов освободил места; вот таких, как помянуты в приказе, и

вычистил — на волю. Стало быть, верно понимает свой долг он, Семен Чудновский; есть в нем классовое чутье. Должен он чекистским трудом поспособствовать формированию батальонов из трудовых людей мира. Последние годы доживает мировой капитал.

В общем, приказ не застал врасплох.

«*Любовь* не имеет множественного числа, — раздумывает председатель губчека. — Нельзя вот, как буржуазные элементы, увлекаться разными дамочками. Это против природы — и язык это строго устанавливает. Единственное число у этого слова...»

И растроганно заулыбался: веки Лизка называет «кожурками». Где ты, Лизавета?..

Вместе бы шли по революции. Такое будущее у народа!..

Шибко сдал за заботами товарищ Чудновский — усох и стал как бы игрушечный — ну совсем ненатуральных размеров. А с другой стороны, до еды ли, до сна? Плетет враг сети против рабочих и крестьян — да имеет ли право он, Семен Чудновский, себя беречь? Он же не какой-то Жоржик.

Семен Григорьевич подошел к зеркалу. От табака не только пальцы, а и зубы сжелтели. Глаза красные, ровно трахомные: перетруждает зрение по разным служебно-бумажным надобностям: писульки, записки, дневники... Марают бумагу, марают!..

Природа унизила его ростом, зато в грудь такой мускул вложила! Спит два-три часа, вся работа на табаке и крепком чае: такой густой, черный! А сердце лежит себе где положено и знай качает: ни перебоев, ни спешки. Как говорится, живы будем — не помрем. Лизавета, Лизавета, погреть бы руки у тебя за пазухой, чай, все там на месте: и горячо, и до чего ж топко пальцам, аж обмираешь. Поди, не остыли мы еще...

Долго щурился на нее в своей памяти, побряхтывая от избытка чувств.

Окинул взглядом стол: бумаг-то! Вот марают, сукины дети! Это все от даровых харчей. Паразиты и есть.

Вот беда: чай — наиредчайший напиток. Нет его в республике, не завозят и капиталисты. Сохранился лишь по кладовым спекулянтов и разных недобитков. Настоящую охоту за чаем раскинул Семен Григорьевич, однако самочинно не присваивает, хотя, случается, берет его чека при арестах в изрядных количествах. Даже за ничтожные щепотки рассчитывается своими кровными: на эти деньги коровенку можно прикупить в четыре-пять месяцев, — а все равно выкладывает. Нельзя в новую жизнь даже крошку нечестности протаскивать.

Работа после чаю сама ладится, особенно допросы. Ум схватчив, сметлив. Все увертки враз распутывает, еще силы на чтение для себя остаются: должен новый человек много знать да возле любого капиталиста на голову возвышаться. Словом, самый что ни на есть боевой напиток.

Раскрываю красную папку. Вот этот номер «Известий» от 25 января 1924 г. Растягиваю лист на сгибах. Гляжу на газету, будто впервые вижу. Новые мысли заставляют заново воспринимать каждое слово.

«Над могилой вождя» — редакционная статья Юрия Стеклова. Теперь я знаю: настоящая фамилия автора — Нахамкис. Он на шесть лет старше Сталина и на добрый десяток лет раньше его включился в революционное движение, убит по приказу Сталина в 1941 г.

Сверху страницы — «Реквием» — безымянные строфы. Бок о бок с ними — сообщение Комиссии ЦИК СССР по организации похорон В. И. Ульянова-Ленина: погребение в воскресенье, 27 января.

Четверть века спустя о том воскресенье расскажет фильм «Клятва», удостоенный самим Сталиным премии своего же имени. Целый народ глазел на всесоюзную ложь — клятву Сталина на Красной площади у гроба Ленина.

Не было ее на Красной площади.

Под сообщением комиссии — «Траурный марш» Владимира Кириллова.

В Литературной энциклопедии 1931 г. издания (да, я помню: 5-й том) сказано достаточно о Кириллове. Крестьянский и рабочий поэт. Бродяжничество по свету: Греция, Египет, Турция, США... Участник Февральской и Октябрьской революций, один из самых «выдающихся поэтов эпохи военного коммунизма», но уже тогда в нем глянула гнильца. Как же там в энциклопедии?..

Иду, беру этот том с полки. Листаю.

Вот: «Патетика революции не смогла заглушить вскормленную подвальным прошлым грустную мечтательность!»

И еще: «Кириллов не выдержал перехода от Гражданской войны к нэпу... порвал с организованным пролетарским литературным движением... ратует за розы против стали, доходя до реакционнейших нападок на индустриальную культуру, якобы заменившую сердце бездушным механизмом...»

И больше в справочниках ни слова о Кириллове, а у нас это всегда означает одно (исключения крайне редки): поставили к стенке или помер в лагере.

К кому же обращал Кириллов свой «Траурный марш»? Ведь у человека с двойной фамилией были отлиты пули и для него. Ничто не меняет того, кто их выпустил. Пусть Сталин, могли Троцкий и Фрунзе (этот часть белой армии, уже плененной, расстрелял в Крыму — тысячи человек, почти сплошь мобилизованные крестьяне), а мог и «великий гражданин» Киров... Разве бывают листья, ветви и ствол без корней, разве может все это существовать само по себе, раздельно?..

Можно подумать, будто нэп изменил Непогрешимого, будто осознал он опасность только террора, только открытого, ломового давления, примата крови над всем прочим.

И, осознав, переключился на благословенные «экономические рычаги» (рыночные) управления обществом.

А ничего подобного. Не того закала этот человек. **Обратился к нэпу, дабы спасти разваленную своим управлением экономику и удержать власть. Но идею свою — диктатуру пролетариата (значит, диктатура партии, а прежде всего лично его как единовластного диктатора) — по-прежнему держал за главную.** Это он, Ульянов-Ленин, в апреле 1921 г. строжайше предписывает всем карательным органам, а заодно и самой гуманной партии:

«...Нужна чистка террористическая: суд на месте и расстрел безоговорочно».

Было над чем поразмыслить Романовым, паря над бывшей своей империей...

И «Реквием», и «Траурный марш» были сочинены по преданным и обманутым надеждам. Отпевали же не главного вождя, а самих себя. Пророческие были похороны...

Россия в крови принимала ленинизм. Сначала — Гражданская война, после — нескончаемое насилие в стране. Жгли иконы, заколачивали храмы, изгалялись над верой, которой обязан русский народ своим единством и своей государственностью¹; всякую независимую мысль ставили к стенке, грабили крестьянство, эксплуатировали рабочих, как это им и не снилось при царях...

Говорить мог только один человек. И его слова святы!

Христа изгоняли из памяти людей. Сын симбирского статского генерала (действительного статского советника) иконился вместо него...

После, восстанавливая события, Федорович убедился окончательно: стреляли в него, и стреляли из прогимназии Гайдунка, со второго этажа. Он даже нашел то окно, на гильзу даже наступил.

Размышляя хладнокровно, понимал, что достать убийцу не смог бы. В любом случае остался бы с Таней. Как только рухнула захрипев, оказался связанным ею...

Шли они тогда к церкви святой Троицы — нравился Тане храм, с чем-то смыкался в памяти вид, окрестные улицы. Она говорила, что это из девичьих образов: Москва, зима, музыка... У них в доме всегда звучала музыка. Славные, добрые воспоминания. Чистый осколочек юности. Она лишь повела рассказ, увлеклась — и тут выстрел. Бичом простегнул тишину.

И Флор Федорович уже в который раз — миллионный, поди, никак не меньше, поскольку память воспроизводила тот миг непрерывно дни и ночи, — ощутил мгновенную и столь ужасно-ошеломив-

¹ Как можно после этого менять веру пращуров, всей громады своих предков на модно-пришлое? Это ли не святотатство! Отречься от матери, деда?.. А это ведь происходит ныне во всех уголках Руси.

тельную безвольность ее тела (повисает, обмякает, рвет руками ворот) и тут же оседание, провал его, вдруг такого тяжелого, неукладистого!..

Мерещится Флору Федоровичу, вот-вот она войдет и станет возбужденно рассказывать о том, что на улице (все каждый раз такое разное), а он обнимет, примется ласкать и нашептывать самые проникновенные слова...

Именно тогда Три Фэ научился плакать беззвучно: окаменеет, зубы сведет и омочит бороду слезой.

В памяти образ Татьяны почему-то сместился в храм с высоченными колоннами и строгой органной музыкой, а он один там и святит ее икона и их короткое счастье... Банальная картинка, но именно так отныне воспринимает он свою Таню.

Сначала (в том храме) Флор Федорович видит ее лицо — очень близко, и такое родное, милое. Затем остаются глаза, в них любовь к нему, вера в жизнь и в то, что они все преодолеют и будут счастливы. Беззаботные глаза, с верой, что уже ничего скверного быть не может и не случится: ведь она с ним...

Пал Флор Федорович на колени, обхватывал голову и мычал от боли: это он убил, он!..

Все же не смирилась, унесла с собой душа Михаила Струнникова любимую сестру Танюшу. С ней угас некогда многочисленно-говорливый и жизнелюбивый род Струнниковых, а сколько подарил России достойнейших имен!..

Меня не занимает умственная сила человека с двойной фамилией. Меня занимает его решимость.

Как можно ради никем не доказанной схемы, ради утопии, оспариваемой во многом даже единомышленниками, бросить в огонь миллионы людей?..

Где истоки убежденности этого человека? Истоки воли?..

Что это — фанатичная убежденность, увлекшая значительную часть народа (отрезвление наступило очень скоро, но «женевская» тварь вырывала каждого, кто вдруг начинал видеть), месь за гибель любимого брата, боль за народ, принявшая столь уродливую форму? Как в схему втискивать жизнь и казнить миллионы в угоду каждой букве своей утопии? Откуда эта совершенная глухота к практике применения идей? Откуда эта решимость залить мир кровью ради своей утопии?

Мысль о всеобщем благоденствии, которое ждет всех за этими морями крови, муками и воплями обездоленных, оскорбленных, поруганных?!

Исторический выбор, сделанный народом... Народ выбрал не террор, не красную рубаху ката и палача с колпаком и прорезью для глаз.

Ленин разорил Россию бессмысленно и зло. И в этом ему явилась верной опорой партия. Она и до сих пор разоряет родную зем-

лю. Быть в этой партии — бесчестье, это клеймо волка среди людей.

В любом обществе водится зло, горе, несчастье, но ведь нашему были обещаны рай и справедливость. Народ поверил, а ему набросили на шею петлю и, как в столетия монголо-татарского ига, поволокли за лошадью.

И погнали народ через безгласную покорность.

От марксизма, от Ленина, от революции было усвоено: давить! И это «давить» было перенесено на всю дальнейшую жизнь...

И я вчитываюсь, вчитываюсь в газету...

Поморщился на подоконник: в окурках, горках пепла... И пол тоже, чтоб ему!.. Семен Григорьевич огляделся... И это кабинет начальника революционной службы по охране трудового люда? Надо взять из дома веник и самому подметать. Ну не хватает на все!

С удовлетворением подумал о допросах: удаются. А коли начистоту, то работу чека на три четверти обеспечивают доносы. Без них, считай, застопорит машина по «обезврежению» всего несогласного с большевиками элемента.

Доносы, конечно, не украшают людей, но новая мораль требует жертв. Иначе как до чистого дойти?..

Не ведает товарищ Чудновский, каков он со стороны.

Самый коротенький из мужчин и тот определенно окажется подлиннее (при старом режиме Чудновский был освобожден от воинской повинности). Зато в плечах — ну самый настоящий хват. И басаще — аж ноги играют в коленях. Дамы тонкого воспитания, случалось, на допросах пускали под себя, не говоря уж об обмороках. И глаза: веки припухлые, толстые, багровые, белки тоже кровью подернуты (от недосыпов). При этом весь в черной коже, ремнях и с маузером (маузеру он дает работу, не «ржавит», ведет счет классовому врагу). И все ничего, пока за столом, на подушках. А как вскочит, пойдет...

Вот показания свидетеля из той, полувековой с лишним давности:

«Даже бывалому, стреляному человеку устоять было не под силу, а ведь ему приводили голодных, иззябших, обезумевших от переживаний и потрясений. А ну покукуй в камере на кислой капусте... Гнилая она, вонючая, поносы от нее... В камере холодуга. А параша?.. Нарочно не выдумашь унижения подлее. И тут не человек, а явление! Не сомневаюсь: он это сознавал — и пользовался. За жизнь уже привык к обидам за рост. А голосина?! И в лице никакой игры чувств. Отвратительная белая маска. Подавляющее большинство сразу же ломалось. Я свидетелем проходил, передо мной он не играл. Да и что играть? Я почти мальчиком был, едва за шестнадцать шагнул... Но и от естественности его было жутко... Понаплед

я ему... Он только записи делал. Никакой душевной силы возражать — вот даже на ноготок! Не потому, что я совсем желторотым был. Что значит — желторотый? Брата схоронил. Отца на глазах пристрелили... И насколько знаю, не один я себя так вел. Крест на моей совести... Знаете, что такое — пахнуть тюрьмой?..»

Помнится, я ответил, что в своем Отечестве мы все пахнем тюрьмой.

Я уже уразумел тогда: тотемный знак России — трупы...

Глава XI

«ТВОЯ НАВЕКИ — АННА»

Верховного Правителя России адмирала Колчака так или иначе предали все, кроме Анны Тимиревой.

Анна Васильевна родилась в 1893 г., умерла в 1975-м. Ее отец, Василий Ильич Сафонов¹, пианист, дирижер, с 1889 г. был директором Московской консерватории. В 1906—1909 гг. жил в США, был дирижером филармонии и одновременно директором Национальной консерватории в Нью-Йорке. Затем вел концертную работу в России, создал свою пианистическую школу — среди его учеников: Скрябин, Гедике, сестры Гнесины и др. В 1912 г. основал музыкальную школу на Кавказских Минеральных Водах (ныне музыкальная школа № 1 в г. Пятигорске), где имелась стипендия на его деньги.

Анна Васильевна, как и все дети Сафоновых, родилась в Кисловодске, в просторном родовом доме. Их было десять детей, Анна была шестым по счету ребенком.

Всю жизнь Анна Васильевна была стройной и милой, просто очаровательной, но все помнят ее только... седой. Очень пышные, густые волосы, но все до единого седые. У нее были желто-коричневые глаза и чистый приятный голос. Образование получила домашнее и гимназическое. Свободно владела французским и немецким.

¹ В советской литературе имя Сафонова практически отсутствовало вплоть до 50-х годов. 100-летний юбилей его был отмечен в 1959-м. Победа Вана Клайберна на Первом международном конкурсе им. П. И. Чайковского (Москва, 1958) вызвала волну интереса к творчеству Сафонова — В. Клайберн является учеником Р. Я. Бесси-Левинной, принадлежащей к пианистической школе Сафонова.

Анна Васильевна вышла замуж за Сергея Николаевича Тимирева — военно-морского офицера. Последние Тимиревы были людьми уже чисто интеллигентных профессий.

В 1914 г. Анна Васильевна родила сына Владимира, и почти тогда же, весной, за четыре месяца до войны, они познакомились в Гельсингфорсе (Хельсинки) с Колчаком. И полюбили друг друга.

Судьба распорядилась так, что встречи их были нечасты. И только уже в 1918-м в Харбине они нашли друг друга, чтобы быть вместе. Всего два года спустя — выдача в Иркутске Александра Васильевича, тюрьма, расстрел любимого человека и чернота заточения для нее на многие годы.

Анна Васильевна Тимирева оставила после себя «Воспоминания». Я не мог прочесть их в годы, когда складывал свою книгу. Следы прошлого не были доступны взгляду, хотя я и мучительно пытался разглядеть их. Лишь чьи-то косвенные свидетельства, скудные и очень робкие, позволяли увидеть ничтожный штрих, услышать обрывок голоса. И даже эта кропотливая и осторожная работа таила в себе риск разбиться. А воспоминания Анны Васильевны к тому же были ею утасны до лучших времен, когда наконец расплывутся объятия скелета-чудовища, и люди смогут дышать полной грудью, и псы чекисты перестанут бежать за ними, ловя каждое слово, каждое признание... Люди будут распрямленно, с достоинством ходить по земле...

История борьбы Александра Васильевича с большевизмом, история его и ее любви являются частью содержания «Огненного Креста». Но главным для меня представлялось все же другое; оно захватывало меня, не давало покоя: на судьбах Александра Колчака и Анны Тимиревой я старался проследить смысл столкновения так называемого старого мира с новым, большевизма (коммунистической идеи) — с совокупностью воззрений этого старого мира (весьма широких по своему диапазону — от монархических до эсеровских) и в конечном итоге — Зла и Добра.

Поэтому трагическая история Александра Колчака — лишь часть того временного пространства, которое подвергалось рассмотрению. Но и то, чего удалось коснуться, тоже в свою очередь лишь частичка безмерно огромного бурлящего котла страстей, хотя, казалось бы, события эти давно отшумели; сжелтели, стлели даже бумажные свидетельства тех лет, но в том прошлом все так же могуче бьется сердце, и та жизнь взывает к честности и справедливости. Кажется, нет праха миллионов, а живы те люди...

Далеко не все удалось мне, но как работать, собирать правду по косвенным, порой ничтожным свидетельствам; похожим на слабый, невнятный шепот? Как писать, если каждую написанную страницу прячешь вместо долгого и сосредоточенного изучения этих столбцов букв? И какое это раздумье, когда день и ночь мозг прожигает

одна мысль: а как напечатать свою работу? О какой широте охвата и зрелости суждений, глубине чувств можно говорить, если жизнь вокруг непрерывно грозит расплатой, если из твоего дома псы «гэбэшники» крадут бумаги и три тома дневников?

Люди, исповедующие евангельские истины, помните: если с крысами не бороться — они загрызут, они расплодятся до размеров гор и задвинут жизнь. И в этом мире уже ничего не будут значить любовь, честь, правда, наивность, искренность, простота. Инстинкты заменят чувства, нажива — справедливость, хитрость заменит благородство. И невежество создаст свое искусство, от которого будет чужонуть души. Сытость станет высшей ценностью. Приказ сильного — оправданием любого злодейства. И нравственным утвердится лишь то, что помогает делать деньги, набивать карман. И в этом мире все можно будет купить, дело будет лишь за ценой. «Розы против стали».

Мир и существует лишь потому, что у Добра есть свои войны, ибо для полчищ крыс нет желанней занятия, нежели грызть горло Добру. И если внимательно приглядеться, увидишь, как уже много этих крыс. У них человеческие лица, голоса. Они облачены в человеческие одежды, но это трупоеды. Это те самые крысы — их основное занятие — плодиться и упиваться Злом. Мучения людей для них — наслаждение, слезы и плач — праздник. И они карабкаются одна другой на спину, все выше, копошливей — только бы дотянуться до горла Добра...

Когда я прочел «Воспоминания» Тимиревой, то с удовлетворением отметил: интуиция художника меня не подвела и искажений в характере Александра Васильевича и в отношениях его с Анной Васильевной нет. Даже наоборот, мною угаданы такие подробности отношений, такие слова, чувства — поверить, будто я не прочитал о них, не узнал из документов, будет невозможно... и не поверят.

А я все это принял сердцем и там прочитал...

Анна Васильевна взялась писать воспоминания в 74 года. Под пером оживало столь дорогое, милое сердцу прошлое...

«Восемнадцать лет я вышла замуж за своего трюкордного брата С. Н. Тимирева. Еще ребенком я видела его, когда проездом в Порт-Артур — шла война с Японией — он был у нас в Москве. Был он много старше меня, красив, герой Порт-Артура. Мне казалось, что люблю, — что мы знаем в восемнадцать лет! В начале войны с Германией у меня родился сын, а муж получил назначение в штаб командующего флотом адмирала Эссена. Мы жили в Петрограде, ему пришлось ехать в Гельсингфорс. Когда я провожала его на вокзале, мимо нас стремительно прошел невысокий широкоплечий офицер.

Муж сказал мне: «Ты знаешь, кто это? Это Колчак-Полярный. Он недавно вернулся из северной экспедиции».

У меня осталось только впечатление стремительной походки, энергичного шага...»

Лишь в песне человек не лжет.

Знаменные распевы Флор Федорович почитал вершиной хорошего пения.

— Это, — говаривал он Татьяне, нисколько не робея перед ее консерваторской ученостью, — душа, смысл бытия, так сказать, первичное, а уж после — лишь блесточки, мишура, игра линий и красок, но не тот первозданно-трагический и величавый смысл, вопрос, с которым разум обращается к жизни и вечности. И не возражай! Пойми: потому и недостижима эта глубина для всей последующей музыки... Что такое фольклор в музыке? В своем коренном выражении он исходит из церковного пения, знаменного пения, канта. В первую очередь это — выражение именно церковных текстов и настроений. Церковь — хранительница исторической памяти, того духовно целого, что объединяло людей в смутные и грозные времена нашествий и народных бедствий. Где на Руси обретались университеты?.. То-то... Церковь являлась не только одним из институтов власти, но и монолитом русской культуры. А Россия?.. Разве ширилась единственно из-за удали лихих людей или алчности государей? Ведь прежде всего рабство создало Россию — во всем множественном смысле этого понятия, в том числе и географического. Холопы искали, куда можно утечь от бича, нищеты, и пробивались за синие дали, складывали головы, а шли. И множилась русская земля, потому что за ними поспевал бич, очень плотно и скоро, а рабы подавались еще дальше, а бич — и в это «еще дальше». Господи, синее небо, солнце — и проклятье поклонов, подневольный труд.

Зачем это, кто это создал, почему за Россией вечным клеймом: только так и строят жизнь, не сбежишь, не отмолишься... Хлыст, плеть, нагайка, бич...

И опять Флор Федорович заговаривал о любезном сердцу хоро-вом пении, о «Многие лета», о Дегтяреве — холопе Шереметева. Его хоровые сочинения особенно волновали. Дегтяревский «Отче наш» в портесном стиле Флор Федорович слушал не один десяток раз — шедевр!

Анну Васильевну спас красногвардеец-венгр¹. Это он вывел ее из тюрьмы. В конторе никто и не заметил. Чисто провернул.

— Вы такая молодая, — сказал он. — Вы непременно должны жить. Адмиралу теперь не надо помогать, вы свободны... Здесь все сбесились. Трусами можно мостить дорогу до Владивостока. Сейчас

¹ Согласно официальной версии, она освобождена по амнистии в октябре 1920 г.

же ступайте на вокзал — и любимым способом уезжайте. Председатель губчека хвастался перед нашим командиром роты, что не сегодня-завтра казнит и вас. Мой товарищ подсмотрел ваше имя в списке для ликвидации. В эту смену везде стоят венгры — они не проговорятся. Мы решили, что вы должны обязательно жить. Но учтите: сюда возвращаться нельзя — погубите нас.

Этот красногвардеец, судя по всему, служил в интернациональной роте товарища Мюллера. Земной поклон твоей душе, человек...

Подложные документы для Тимиревой добыл Федорович по просьбе Татьяны. Уж как встретились Струнникова и Тимирева — нам не дано знать. Унесла эту историю Анна Васильевна с собой.

О судьбе венгра-красногвардейца ничего не известно, а Струнникова, Федорович, Чудновский и сын Тимиревой заплатили жизнями за причастность к судьбе адмирала.

А тогда лишь мысль о сыне и дала волю для сопротивления судьбе.

Величаво-кроваво всходило солнце России — Сталин.

В Казани силы Косухина иссякли. На подводе привезли в госпиталь, а там — на носилки: в совершенной потере памяти человек. Хотя какой он человек? С улицы, что ли?.. Комиссар он, в мандате так и пропечатано...

Покачиваются носилки, а Саня ни звука, глаза закатил. В головах вместо подушки — узелок со сменой белья и маузер с комиссарской сумкой. Встречные качают головами: держать тебе, комиссар, отчет по всей форме перед самим Господом Богом, а черт его знает, может, и перед Марксом.

И впрямь не жилец.

Пульс поначалу и не прощупывался. Камфарой только и спугнули безносую. Надолго ли?..

Вот и побегли золотые составы без Косухина. Но и то правда: никакой тревоги за них — РСФСР! Проводная связь по железной дороге, как в старое время, без перебоев... Воинских частей довольно, и, в общем, власть на местах устойчивая, не считая крестьянских мятежей, уж очень Антонов лютует, но он больше по Воронежской, Тамбовской и Пензенской губерниям, а на Украине — Махно.

Пометался в бреду Саня, пропустил через себя не один пал сорокаградусных температур (простыни ожигают тело, тело сухим листом, по лицу могильные тени, и бледное, ни кровинки), а выдержало молодое сердце. К июню перемог крупняк и всякие сопутствующие осложнения: зарумянился, перестал платок мазать кровью, шутить пробует и на сестер этак долго поглядывает: пощупать бы, давно за титьки не держался, ей-ей, не повредит... Проверить, как там у них устроено. Чай, не прищемит «дверцей»...

Воспрял хлопчик.

И уже прикидывает себя на обратный путь: ждет его Особый отдел родной Пятой. Хлопот-то: Сибирь еще всю переворачивать, из Забайкалья вытурять Семенова, Дальний Восток делать красным, а там японцы, китайцы да опять же белые...

Однако не дождался Саню Особый отдел родимой Пятой.

Велели прибыть в Казанский горком партии; как по тревоге подняли: топали, бегали, шукали обмундирование и прочие шмотки. Маузер не обнаружили — сперли, — да ничего, новым снабдили. И сапоги подменили на дырявые английские башмаки — ну пальцы торчат! Братва гремела костылями, махрой смолила, гадала, откуда спешность, вроде пацан и невелик званием. А внизу, под окнами, в тени, остывал горкомовский «фордик». Шофер, как полагается, во всем кожаном, в скрещенных ремнях и защитных очках на лбу. Витязь при двадцати одной лошадиной силе. На сестер и не поглядывает — балаболки. Мало ли что им любопытно. Их сколько, а он такой — один...

Явился Саня Косухин на вызов. Секретарь горкома — всех взявшей из кабинета, извлекает бумагу из стола. Сам прямой, серьезный.

— На, товарищ, читай.

Глаз сразу схватил: «молния» — из Москвы! И тут же сердце к горлу выхлестнуло: от Ленина!

Мама родная, Ленин! Аж мелко ноги затряслись. Сам Ильич!

Электрическими разрядами в сознании слова: товарищу Косухину незамедлительно прибыть в Москву к Председателю Совнаркома.

К самому Ленину! Вот какая капуста!

А что, и прибыл. Для порядка доложил Дзержинскому — прямой начальник. Через несколько дней проводили свои, чекисты, в Кремль. Встретил товарищ Мальков, комендант Кремля¹, — лихой матрос из Кронштадта, тот самый, что дал вечное успокоение Каплан. По причине принадлежности к революционному Балтфлоту — еще в бушлате и бескозырке, на околыше и ленточках золотыми буквами: «Диана» — название крейсера. Встретил по-братски, шутками, но сильно заторопил: Ильич уже спрашивает.

Ильич!..

У Косухина аж ладони повлажнели. Вышагивает за Павлом Мальковым, невпопад отвечает; знай ладони о галифе украдкой вытирает — с вождем, надеждой всех трудящихся и угнетенных, сейчас здороваться.

Ленин!..

Из-за важности командировки снабдили его в Казани и новой кожанкой — высший командирский и чекистско-комиссарский

¹ Павел Дмитриевич Мальков отсидел в лагере, но выжил и написал книгу «Записки коменданта Московского Кремля» (М., 1962).

шик — и новыми синими галифе — чуть-чуть моль пожрала под коленкой справа... да и маузер выдали в деревянной кобуре и, само собой, взамен дырявых — новые английские ботинки с крагами: их на голени надевают и ремешками затягивают¹. Все чин по чину. Солнце даже успело лицо тронуть загаром — притерло бледность. Совсем молодцом Александр Косухин.

Мальков даже поинтересовался ботинками: где оторвал такие, со скрипом. Дашь власть рабочих и крестьян!

Сына Тимиревой, Володю, арестовали в 1938-м в Москве и отправили на Север, на лесоповал. О его гибели Анна Васильевна узнала случайно только в 1953 г., находясь очередной раз в лагере.

Самой же ей после пятого ареста, в 1938 г. (тогда она получила восемь лет лагерей), запретили жить в Москве и ряде других городов. Поселилась она на 101-м километре от Москвы, в Завидове, на расстоянии, наименьшем из допустимых для людей с пораженными правами. Ее приютила женщина, у которой муж погиб в лагерях. Вскоре эта женщина приютила и адвоката Колокольниковца.

Когда Колокольников дошел до последней степени изнурения, его выкинули из лагеря; пожалели даже патрона: сам сдохнет. Выжить в подобном состоянии уже никто не мог. Злючие морозы должны были доконать доходягу зэка. А он таки перемогся и добрался до своих — от деревни к деревне, в санях, телегах, на попутных грузовиках. Никто не интересовался ни документами, ни просто им — ну труп трупом, даже подойти боязно: вдруг заразный, вон... язва на язве.

Из Уфы Колокольников вернулся домой, в Москву.

Жил в страхе: ведь вернулся без документов и находиться на свободе не имел права, так как значился по всем лагерным прописям умершим (околевать от мороза и был выпущен за зону).

Если стучали или звонили, Колокольников прятался за шкаф: люди не должны его видеть. Соотношение доносителей к честным людям Колокольников узнал после ареста — ну ничтожный кусочек жизни оставался без доносов. Новое сообщество людей, за укоризненно малым исключением, прорубало себе дорогу к сытой доле доносами.

Это потрясло не только Колокольникова. Всеобщая грамотность — тут в самый раз, не напрасно села страна за парты.

В беспокойные хрущевские годы народился прожект о наказании доносителей — уж очень много на них крови. Если не наказать в судебном порядке, то сделать хотя бы известными имена. А как иначе?.. По их вине легли в землю миллионы и еще больше прожило

¹ Это из трофейных. Такими был экипирован английский экспедиционный корпус в России, такую именно амуницию и поставляли для белых армий.

жизнь в унижениях и преследованиях. Да «женевская» тварь весь свой аллюр взяла на доносах. Куда без них!..

В те годы знай тыкали пальцем: этот продал соседа, а имуществом с женой соседа завладел; этот стучал на самого Зорге (автору книги показывали такого, им оказался известнейший журналист из газеты «Известия», выполнявший накануне второй мировой войны обязанности осведомителя НКВД в советском посольстве)... А этот... предавал писателей, сам будучи автором серьезных литературоведческих изысканий, а вот тот (начальник отдела кадров в издательстве), служа в НКВД, насильствовал перед расстрелом женщин, приговоренных к смерти (сболтнул однажды по пьянке, похвалясь трехзначным счетом — Казанова в камере смертниц, — хотя люди и без того знали, так или иначе все становится известным)... а тот, этакая воплощенная благопристойность (он сейчас ответственный редактор), заглядывал к соседям, сослуживцам, есть ли на стенах портрет Сталина... Это можно было слышать каждый день и видеть этих граждан — в почете, достатке, жирке благополучия...

Стоустая молва стала причислять к доносителям едва ли не половину населения.

Фантастическая цифра!

Кто же тогда эти люди, которые ходят, смеются вокруг?..

А ежели напрячься и вспомнить, как едва ли не десятилетиями мучали академика Сахарова, а мы безмолвствовали — поискать другое общество, чтобы безмолвствовало вот так единодушно. Если бы только безмолвствовало!

Сахаров... Последние слова, которые я услышал от него (мы шли к раздевалке после заседания Съезда народных депутатов СССР):

— Никогда не говорите о народе плохо! Никогда!..

А я всего лишь заметил Андрею Дмитриевичу, что призыв к всеобщей забастовке страна не приняла — народ еще не достиг той степени возмущения и сознательности, когда готов откликнуться на такой призыв...

Скорее всего, эта цифра — «в полстраны» — правдива.

Что и говорить, после семнадцатого года люди прошли солидную выучку, новыми стали — это уж определено.

В общем, усох прожект в кабинете Никиты Сергеевича. Не может же Россия сама себя высечь¹.

¹ И все же.

Как же замарана Русь доносами — ведь каждый второй-третий промышляет бедами товарищей, друзей; случается, «стучит» и на родных. Что

Я просто хочу, чтобы народ исторг тварей из своего организма, сколько бы их ни было.

А Федорович все святит в памяти каждый день с Таней. Идет и слушает, его уже не вернуть, не увидеть...

— ...А ведь знаешь, Таня, я буду проклят в Отечестве — такова моя участь. Забыт — обязательно, однако, скорее всего, забит толпой, хотя отдал людям жизнь — ничего не было своего... И все же долг исполню: не стану у большевиков холопом и подпевалой, одабрителем их преступлений (и сразу вспомнил речение Колчака, вычитал в протоколе: «Жизнь Родине я отдам, а честь — никому!»).

Это выше страха смерти...

А Таня прерывала его горестные признания поцелуями, как бы смывала боль слов.

Вот так, одна за другой вставали в памяти Федоровича картины недавнего прошлого и Таня. Разговор этот имел место в день ее гибели. Себя готовил к смерти, а легла в землю она...

День этот в ничтожных подробностях отложился в памяти. И разговор тот оказался для Три Фэ своего рода клятвой Тане, ее завещанием. Ведь весь род Струнниковых сгинул в опыте строительства нового Отечества — самом рождении оно.

Так ясно в памяти — Таня: каждый вечер, каждое слово... Всю жизнь блуждал — и нашел родную душу. Жене все написал — и расстались. И как звездный путь — мигом обернулось это схождение. Покарал Создатель за адмирала. Это именно так: почувствовал он тогда, на встрече с адмиралом. Как сердце такнуло! Неспроста это.

Флор Федорович высох, почернел, сухим жаром светят глаза. Кисти рук будто покрупнели и в то же время свободно торчат из рукавов.

Боль утраты не ослабла. Нет, она все та же злая, огромная собака. Эта собака лежит рядом и не кусает, а, случается, рвет из него жизнь кусками — и ничто не может ее унять...

Все доложил Косухин о золоте вождю: и как вышибали из белочехов, и как везли, помянул и допросы Колчака. Особенно заинтересовал Ленина рассказ о том, как в Иркутске (еще до победы восстания) Косухин выдавал себя за чиновника колчаковского министерства: все высмотрел, определил свое место — и уж разил наверняка. Очень это пришлось вождю, искристо так засмеялся и руки потер.

за подлое семья! Как вытравить его из русской жизни? Ведь спокон веку это был самый страшный грех. В недавние времена народовольцы и вообще революционеры без колебаний казнили любого уличенного в доносительстве. Нет греха более тяжкого: жить горем, питаться смертью... Это же трупеды, не люди.

О казни Колчака спросил, пощурился, ушел в себя, побарабанил пальцами по столу.

Ничего не смел таить Косухин и на расспросы вождя давал самые обстоятельные ответы, можно сказать исповедовался. Уставился себе на руки, ссутулился и ровно так, без выражения выговаривает — ну как на духу. Слов не подбирает — как есть, все называл своими именами. Казалось, раскалывает себя пополам. Взглянет быстро на вождя — и опять упрется взглядом в свои руки.

Ленину и без того человек на один зубок, враз понятен, а этот и вовсе засветил — со всех сторон свой. Это тебе не интеллигент, этот без гнильцы и болтаний туда-сюда.

Ничего не утаил Косухин: и как в детстве грызла мачеха — редкий день без слез и побоев; и как дал тягу из дома и с 14 годов зажил сам по себе; как рубил уголь на донецких шахтах; и как после Октябрьского переворота вернулся домой и сделал все, чтобы имущество отца-торговца было национализировано. Что еще?.. Да, в девятнадцатом взяли в плен гайдамаки. Где?.. В Валуйках — это в Воронежской губернии. Пытали до остервенения, а все же утек из-под расстрела. Знает, как ломают кости и что за табак — ждуть пули...

Ни слова не пропустил вождь. Заметил Саня: очень понравилась вождю национализация имущества родителей сыном. В одобрение сложились складки на лице. Такие люди Ильичу по душе: сама правда и сам здравый смысл. Народ, одним словом. Не то что интеллигенция — словеса, зыбкость, ревность друг к другу и подлость.

Саня наполнился такой признательностью: аж зарозовел. Вдруг прерывающимся голосом заявил, что товарищ Ленин может распоряжаться его жизнью. Опустил голову, заиграл желваками...¹

Так и завис адвокат Колокольников в небытии, вроде не существуя во плоти. Наконец его жена и сыскала в Завидове ту самую сердобольную женщину, которая не отказала в приюте Тимиревой.

Дело только за документами. Перекрестились — и написали в МГБ. Ясное дело, там косо посмотрели на самовольное воскрешение бывшего «зэка». Надо полагать, не тронули Колокольникова по

¹ К операции возвращения золота в Казань имел отношение и Матэ Залка — венгерский революционер, коммунист, убитый впоследствии в Испании, где командовал бригадой у республиканцев в годы Гражданской войны.

За подвиг (вывоз колчаковского золота) Матэ Залка был награжден Почетным Оружием. Ленин обнял его и вручил ему кинжал с золотой рукоятью и саблю (хранится в Музее революции). Рассказ об этом подвиге Матэ Залка в книге Я. Гордона «Матэ Залка. Очерки жизни и творчества» (М., «Советский писатель», 1956) и в очерке Анны Караваевой «О Матэ Залка» («Знамя», 1938, № 8).

его очевидной ветхости — и одного вопроса не выдержит. Дает вот иногда сбой «женевское» устройство. Возьмет вот и прощелкнет вхолостую. И вселился Колокольников в тот дом на 101-м километре — на расстоянии безопасности для «синего воинства». Не у всех был затоптан в душе огонек добра и сострадания, не все разменяли честь и достоинство на пятиконечные выгоды и клыки. Поклон тебе, безымянная женщина!..

В Завидове Колокольников и сдружился с Тимиревой и много, много узнал.

После это заплелось, закружило и приبلудило к Самсону Игнатьевичу — жадному до любой подробности о том смутном времени, почти историку по обилию знаний. Во всяком случае, он обладал качествами настоящего историка: был открыт всем фактам, не закрывал глаза на те, что не нравились, не подгонял их и не обращал в ложь, а только удивлялся и сокрушался всем невероятным вывертам жизни.

Трудно Брюхину приходилось без образования, зато не обременял себя условностями различных школ и доктрин. Он собирал факты и нанизывал их один на другой, а уж после строил выводы — надо признать, нередко просто сногшибательные — ну разящая правда, и только она самая. Без единого научного оборота, философских нравочений, ссылок, подтасовок во имя «интересов народа», поклонов идолам общества — одна голая беспечная правда...

По общему разумению, такой человек не может быть ни историком, ни вообще серьезным источником сведений — ну ни один факт и вывод не повернут под выгоду: все — неотесанные и в своем первородном виде. Да и знания-то у него, образование — таких и к бумаге с пером допускать нельзя.

И не подпускают.

И в самом деле, что может знать человек без диплома и ученой степени? Серьезной науке такие без надобности.

И вообще, сочинения и разные там труды не могут иметь ценности без прописи о них в газетах или публичного одобрения.

А если по совести, то подобные авторы и ученые могут представлять интерес лишь для «женевской» твари. Самсон Игнатьевич не был столь прост и, без сомнения, соображал, кто в Отечестве поставлен надзирать за умственной начинкой людей.

Что тут объяснять: человек человеку друг и брат — это наша коммунистическая заповедь.

Это Самсон Игнатьевич отлично понимал и посему никогда не высовывался. Втирал свои законные двести граммов и тешил себя игрой на губной гармошке и душещипательными «маринками».

Она не лопнула,
Она не треснула,
А только шире раздалась,
Была же тесная...

Через пять месяцев после победы Октябрьской революции, 28 марта 1918 г., Троцкий выступит с докладом на Московской городской конференции РКП(б), еще через семь месяцев с небольшим Колчак получит в Омске диктаторские полномочия и будет провозглашен Верховным Правителем России.

Доклад Троцкого озаглавлен: «Труд, дисциплина, порядок»¹.

Смысл доклада — не только необходимость срочного создания качественно новых Вооруженных Сил Республики с обязательным отказом от выборных начал командирского состава, но и признание сомнений среди коммунистов в целесообразности революции.

«...Несомненно, что мы переживаем период внутренней заминки, больших затруднений и, главное, самокритики, которая, будем надеяться, поведет к внутреннему очищению и новому подъему революционного движения.

Мы ведем свою родословную как власть от октябрьской революции, от которой кое-кто из тех, кто держался в рядах, близких к нам, или шел параллельно с нами, склонен теперь как будто отказываться. И еще теперь октябрьская революция рассматривается многими мудрецами не то как авантюра, не то как ошибка.

...В течение ряда лет, предшествовавших революции 1917 года, мы не только предсказали неизбежность новой революции, но мы утверждали, теоретически предвидели, что если эта революция придет к победоносному завершению, то она обязательно поставит у власти рабочий класс, опирающийся на все беднейшие слои населения. Наш оправдавшийся в октябре анализ называли утопией. Теперь называют утопией нашу социалистическую перспективу, нашу коммунистическую программу.

...Наша революция выросла из войны, а война мобилизовала и организовала наиболее отсталые темные народные массы из среды крестьянства, придала им военную организацию и таким путем заставила их в первую эпоху революции оказывать прямое и непосредственное воздействие на ход политических событий...

Мы и раньше знали, что нам не хватает необходимой организации и дисциплины, необходимой исторической школы. Но это несколько не мешало нам с открытыми глазами идти к завоеванию власти. Мы были уверены, что всему научимся и все наладим.

...Отсюда разлив дезорганизаторских настроений, индивидуалистических, анархических, хищнических тенденций, которые мы наблюдаем особенно в широких кругах деклассированных элементов страны, в среде прежней армии, а затем в известных элементах рабочего класса... Мы были бы, товарищи, слепцами и трусами, если бы видели в этом какую-нибудь роковую опасность, губительный симптом...

Если раньше политическая задача состояла в агитации, в пропа-

¹ См.: Троцкий Л. Труд, дисциплина, порядок спасут социалистическую советскую республику. Доклад на московской городской конференции РКП 28 марта 1918 г. М., «Жизнь и знание», 1918.

ганде, в завоевании власти, в выборах, то теперь организация железных дорог, создание на них трудовой дисциплины, полной ответственности каждого за свой пост — это все представляет политическую задачу нашей партии. Почему? Потому, что, если мы с этим не справимся, это значит, что мы будем опрокинуты, и в мировой истории пролетариата великим минусом учтется этот факт.

...Если в Европе не будет революции, если европейский рабочий класс окажется неспособным подняться против капитала в результате этой войны, если бы это чудовищное предположение осуществилось, это означало бы, что европейская культура осуждена. Это означало бы, что на исходе мощного развития капитализма в результате той мировой бойни, в которую мировой капитализм вверг народы, европейский рабочий класс оказался неспособным овладеть властью и освободить Европу от кошмара империалистического ада. Это означало бы, что Европа обречена на разложение, на вырождение, на возвращение назад... Если все это совершится, тогда, разумеется, не устоять и нам. Но у нас нет решительно никаких оснований для принятия такого рода чудовищной гипотезы, мы убеждены, что европейский пролетариат в результате этой войны и, вероятно, еще в процессе ее поднимется: его толкает на этот путь новое наступление на Западном фронте...

Вы читали основные положения, с которыми обращается к вам Народный Комиссариат по военным делам. Мы считаем, что, так как дальнейшее развитие международных отношений может уже в ближайший период снова поставить нас перед жестокими военными испытаниями, нужно для ближайшего же периода создать прочные и надежные кадры армии, и именно они не могут быть образованы на принципе всеобщего обязательного набора потому, что в ближайшие два месяца мы такого набора не произведем.

...Это один из вопросов организации армии, а именно вопрос о привлечении военных специалистов, т. е., попросту говоря, бывших офицеров и генералов, к созданию армии и к управлению ей...

При теперешнем режиме в армии — я говорю вам это совершенно открыто — выборное начало является политически бесцельным, а технически — нецелесообразным, и декретом оно уже фактически отменено.

Вопрос о создании армии есть для нас сейчас вопрос жизни и смерти...»

По приказу вождя определили товарища Косухина к самому Дзержинскому, в аппарат ВЧК, но уже через несколько недель срочно направили опять на восток, аж за Байкал, начальником Военного контроля Народно-Революционной Армии Дальневосточной республики: выстроили-таки заслон против японцев!

Подналег Косухин на дела, по всей Сибири заюлили белая сво-

лочь и саботажники. Не щадил никого — да за народную кровь и горе мало этим тварям одной смерти!

Все вспоминал беседу с вождем — до ничтожной подробности отложилась в памяти. Почему-то стал казаться себе в том прошлом, в кабинете Ленина, каким-то сухим, невесомым и очень горячим, складывалось это в его представлении в клинок — сухой, прямой, ну одна разящая сталь...

В августе все того же, 1920 г. принял Косухин должность директора главного департамента Государственной политической охраны. Для Дальневосточной республики это то же, что ВЧК для РСФСР, хотя и Военный контроль — сугубо чекистская организация. Только он (Военный контроль) шерстил в основном воинские части республики: отвечал за их революционную чистоту и надежность.

На прощание товарищи из Военного контроля вручили ему памятное письмо:

«Уважаемый товарищ Косухин!

Мы, работники Военного контроля Народно-Революционной Армии Дальневосточной республики, прощаясь с Вами, искренне сожалеем, что высшая власть и партия коммунистов-большевиков, отзывая Вас для новой работы, вырывает Вас из нашей дружной семьи, сплоченной общими заданиями и общими политическими убеждениями. За все время нашего совместного сотрудничества с Вами мы видели в Вас только человека, глубоко преданного общему делу революции, и хорошего товарища. Несмотря на невозможные условия нашей работы в Дальневосточной республике, несмотря на всевозможные выпады со стороны сконцентрировавшейся здесь контрреволюции, Вы твердо стояли на своем посту начальника Военного контроля нашей армии, не считаясь ни со здоровьем, ни с жизнью.

Мы желаем Вам продолжать и в советской России проведение в жизнь великих задач коммунизма и стойко защищать добытые кровью завоевания трудового народа.

В. Удинск, 24 августа 1920 года»

В ноябре все того же нескончаемо длинного 1920 г. Косухин уже в Архангельске — на должности начальника Особого управления охраны северных границ. Уже опыт, повадки бывалого человека и обложен горем и риском, а годов — все те же двадцать.

В 1922 г. врачи находят у Косухина туберкулез, малокровие и неврастению в тяжелой форме.

Неблагодарный это труд — карать людей.

Косухин принимает должность на Кубани, поближе к солнцу: авось выжжет хворь. Он теперь начальник информации Особого отдела Девятой армии в Краснодаре.

На этой должности и лег в землю товарищ Косухин. Вышагнул он за предел возможности человеческой жизни — и рухнул, ненадолго пережил главного вождя. И солнышко не подсобило.

Ничего не хотел для себя Косухин — в революции и Ленине видел освобождение и счастье трудовых людей.

В 1949 г. Тимиреву снова арестовали и сунули в лагерь — ведь обнимала Колчака, курва!

Вышла на волю после смерти Сталина. Только в 1956 г. получила она наконец ответ из прокуратуры о гибели сына (в 1942 г.) и одновременно извещение о полной реабилитации его. Вот так, признаем: угробили, но по злостной ошибке, виновных в том нет, дело государственное, утрите слезы этой самой бумажкой.

И продолжали молиться на Сталина — дух его и тень. И благодарная рабоче-крестьянская Россия в искренней любви к усопшему вождю клеила на ветровые стекла своих автомобилей портреты генералиссимуса: это ничего, что убивал, — разве это порок?.. Порок, когда масло и мясо дорожают... Потому и возили на стеклах лик вождя — назад, к вождю, в старые цены. А кровь? Да разве можно без нее?

Актеров подбирали на роль Джугашвили, протискивали имя усопшего владыки в учебники и всесоюзные доклады — ну нельзя искоренять из сознания народа, ну все государство сработано и живет по его уставу.

И молятся...

О судьбе бывшего мужа (Сергея Тимирева) Анна Васильевна ничего не ведала: исчез, растворился в пекле междоусобной борьбы. То ли встал под пули заложником, то ли помер от тифа или голода, то ли эмигрировал, как младшая сестра Анны Васильевны, осев в США. То ли...

Но мы-то знаем: С. Н. Тимирев осел в Китае. Опубликовал «Записки русского морского офицера». Жил, как вспоминали его знакомые, «нежной мыслью о сыне своем». Скончался в Шанхае — не исключено, что в годы, когда мой отец (Власов Петр Парфенович) служил там генеральным консулом СССР (1948—1951).

Остаток жизни Анна Васильевна бедовала в Москве, на Солянке — аж дрожь берет: впритык со Старой площадью, всем строительно-архитектурным ансамблем власти.

До последних дней Анна Васильевна сохраняла живой ум, привлекательность и самоотверженную преданность памяти Александра Васильевича Колчака — своей глубокой любви. Так и сплелись навеки два одинаковых начала имен-отчеств...

Прав ты, железный адмирал: не накрыли тебя андреевским флагом, — зато освятила горячая и истовая женская любовь. Неизвестно еще, что краше и почетней.

Приятель рассказывал мне о своем соседе. Пусть соседа зовут Евгений Гаврилович.

Вообще рассказы приятеля производили впечатление и с тех лет хранятся у меня пачкой записок. Разбирая самые различные бумаги (уже написав «Огненный Крест»), я наткнулся на эту пачку. Записи относились к 1981 г. Тогда, в дни отпуска (отпуск я назначаю себе сам, никто не может помешать мне — ведь я работаю дома за письменным столом), мы всласть плавали, гоняли на велосипедах и очень много загорали. О чем только не переговоришь в те часы и дни!..

Евгений Гаврилович служил в райисполкоме и без какого-либо смущения втолковывал моему приятелю — человеку солидной образованности и знаний:

«Партийный билет — мой вездеход, райисполком — кормушка. Я всегда буду прав, а ты, будь хоть трижды доктором наук, однако правым не будешь, ну хоть лопни! Я тебе дам этому доказательства сотни раз, а у тебя ни в одном случае ничего не выйдет, ты никогда ничего не докажешь, пойми, дурья башка! Я со своими восьмью классами плевать хотел на таких, как ты!..»

В другой раз он внушал моему знакомому:

«Солженицын, Сахаров, еще там Высоцкий орет, спектакли разные, в промышленности невыполнения плана, брак забивает склады... Это все оттого, что распустили народ. Демократия (а, как помнит читатель, ею тогда и не пахло. — Ю. В.). Вот я тебе скажу: вызову к себе за невыполнение плана директора или начальника цеха и говорю: «Не выполнишь государственный план — размажу тебя!» И еще как работали! Знали — не жить им, если встанут поперек общего движения...»

В той пачке немало листков с высказываниями этой расхоже-выдающейся личности по самым неожиданным явлениям нашей жизни, и среди них — следующая:

«Лишать водки народ нельзя. Если народ перестанет пить — он начнет думать, а это... Тут он всем обществом и шагнет на улицы с требованиями — и про водку забудет! В России было, есть и будет: вопрос о водке — вопрос власти...»

Мой приятель утром Нового года поздравил Евгения Гавриловича и пожелал счастья. Евгений Гаврилович выматерился и ответил:

«Нужны твои поздравления! Я что, член политбюро? Знаешь, о каком счастье мечтаю? Чтоб образовалось у меня пять кило денег — и все сотенными!»

Разве могла она, его Анна, забыть ту фотографию...

«Был как-то вечер в Собрании, где все дамы были в русских костюмах, и он попросил меня сняться в этом костюме и дать ему карточку. Портрет вышел хороший, и я ему его подарила. Правда, не только ему... Потом один знакомый сказал мне:

- А я видел ваш портрет у Колчака в каюте.
— Ну что ж такого, — ответила я, — этот портрет не только у него.
— Да, но в каюте у Колчака был только ваш портрет, и больше ничего.
-

Анна Васильевна сохраняла неподдельное уважение к Софье Федоровне — жене Колчака. Это тем более удивительно — ведь они были соперницами. Видно, весь мир этих людей отличали чувства высокой пробы.

«Она была очень хорошая и умная женщина и ко мне относилась хорошо, — рассказывает Тимирева. — Она, конечно, знала, что между мной и Александром Васильевичем ничего нет, но знала и другое: то, что есть, — очень серьезно, знала больше, чем я. Много лет спустя, когда все уже кончилось так ужасно, я встретила в Москве с ее подругой, вдовой адмирала Развозова, и та сказала мне, что еще тогда С. Ф. говорила ей:

— Вот увидите, Александр Васильевич разойдется со мной и женится на Анне Васильевне».

Ленин претворял свои утопические схемы в жизнь на живом теле народа.

Главный Октябрьский Вождь не сомневался: это право ему предоставила история, уж, во всяком случае, прогресс, это точно...

Ленин, с его предельно рациональным мышлением, стремлением всех подчинить одной правде, с его бездушно-идейной жестокостью к любой политической оппозиции, любому инакомыслию, с его глубоким убеждением в том, что он главный, первый вождь и что все прочие истины не имеют права на существование и должны быть подавлены, не мог не стать величайшим в истории тираном.

Вне мира революционных догм для Ленина нет ни красоты, ни гармонии, ни развития, ни вообще ничего достойного. Недаром все художественное, все артистическое, чего достигло человечество, сводилось в нем к восторгу романом Чернышевского «Что делать?».

Диктатор был искренен, когда говорил, что его любимое произведение — «Что делать?»¹. По художественному уровню это не роман, это прокламация, это революционная агитка. Художественного в нем столько же, сколько в алюминиевой стружке.

¹ В конце 1904 г. Ленин возразит с невероятным пылом и укором Николаю Владиславовичу Вольскому (Валентинову): «...Чернышевский писал бездарно и примитивно? Он, например, увлек моего брата, он увлек и меня. Он меня всего глубоко перепыхал... Это вещь, которая дает заряд на всю жизнь. Такого влияния бездарные произведения не имеют».

Такой человек не мог не стать величайшим в истории тираном — тираном во имя добра. И кровь во имя добра залила землю и подступила аж к прорези рта, так что дышать надо было стоя на цыпочках.

Этот человек был одержим страстью одеть весь мир в одежду своих идей. Он не сомневался, что несет человечеству (не людям, нет, а человечеству) избавление. Во имя уничтожения бедности на земле была учреждена величайшая жестокость, вобравшая опыт всех деспотов, и несправедливость.

И никто не смел сомневаться. Так повелел, утвердил, основал и организовал Ленин. Все ждали, когда на крови и блевотине распустятся ромашки и розы...

После Ленина осталась не философия революции, а какая-то «военно-уставная» религия, в точности отвечающая религиозному догмату: верую не разумея.

Так называемое грузинское дело проявило действительные отношения в партии — не дружное, полное взаимного доверия строительство нового государства, а беспринципная схватка за власть, поедание жизней и обучение целого народа лжи...

Умирающий вождь никому не был интересен. Теперь, когда от него ничего не зависело, его мнением, заповедями можно было просто пренебречь. Важно — выкрикивать обязательные лозунги-догмы, совершая под их прикрытием любые беззакония и извращения в политике.

...У Чижикова имелись все основания быть в восторге от Мундыча — «щит и меч» революции оказались у него в руках, а что это такое, Иосиф Виссарионович понимал куда как больше, нежели его соперники по партии.

В кляузно-неприятном деле Мундыч предал главного вождя, так сказать знамя партии, выступив против. В этой обстановке предательства (Сталин, Дзержинский, Орджоникидзе...) Ленин вынужден был обратиться за помощью к Троцкому. Как говорится, укатили Сивку крутые горки.

И обратиться не только за помощью, но и с последним напутствием к партии перед смертью, приближение которой он явственно чувствовал.

Недоверие ко всем прежде близким товарищам по партии оказалось настолько сильным, можно сказать непреодолимым, что Ленин обратится только к Троцкому, еще в недавнем прошлом своему политическому противнику, «Иудушке» Троцкому.

Так звериная хватка Сталина высветила подлинные отношения в партии, все расставив по местам. Поневоле начнешь метаться и прятать бумаги от своего товарища по партии (Сталина), как это делал Ленин накануне последнего мозгового удара...

И другими эти отношения быть не могли. Ибо все в мире соответствует природе вещей. Дело, замешенное на дьявольском принципе вседозволенности (этично все, что служит революции), не могло злее самой сильной кислоты не разъесть и этого сообщества

революционеров. Они изначально были обречены на взаимную ненависть, недоверие и злое, кровавое соперничество...

«Мы ехали во Владивосток, — писала Анна Васильевна. — Мой муж, Тимирев, вышел в отставку из флота и был командирован советской властью туда для ликвидации военного имущества флота. Брестский мир был заключен, война как бы окончена.

...Вскоре я уехала в Японию — продала свое жемчужное ожерелье на дорогу. Потом приехал он. Тут пришло письмо от моего мужа. Классическое письмо: я не понимаю, что я делаю, он женат, он не может жить без меня, я потеряю себя, вернись и т. д. и т. д.»

Анна Васильевна никогда не забывала тот день и час, который определил ее судьбу. Это случилось в Харбине (ныне Мукден. — Ю. В.).

«...Время шло, мне пора было уезжать — я обещала вернуться. Как-то я сказала ему, что пора ехать, а мне не хочется уезжать.

— А вы не уезжайте.

Я приняла это за шутку, но это шуткой не было.

— Оставайтесь со мной, я буду вашим рабом, буду чистить ваши ботинки, вы увидите, какой это удобный институт».

13 декабря 1931 г. Сталин принял в Кремле немецкого писателя Эмиля Людвиг (перевод его биографии Вильгельма Второго на русский имел определенный успех¹).

На вопрос писателя о том, не носит ли его, Сталина, деятельность черт Петра Первого, генеральный секретарь ЦК ВКП(б) ответил, что он всего «только ученик Ленина и цель моей жизни — быть достойным его учеником... Что касается Ленина и Петра Великого, то последний был каплей в море, а Ленин — целый океан».

Людвиг говорит:

«Мне кажется, что значительная часть населения Советского Союза испытывает чувство страха, боязни перед Советской властью и что на этом чувстве страха в определенной мере покоится устойчивость Советской власти...»

«...Неужели вы думаете, что можно было бы в течение 14 лет удерживать власть и иметь поддержку миллионных масс благодаря методу запугивания, устрашения? — отвечает Сталин. — Нет, это невозможно...»

В ответе на следующий вопрос Сталин так же категоричен.

«...Никогда, ни при каких условиях, наши рабочие не потерпели бы теперь власти одного лица...»

После ряда вопросов Людвиг задает еще один, весьма любопытный:

¹ См. Людвиг Э. Последний Гогенцоллерн (Вильгельм II). Л., 1929.

«Что вас толкнуло на оппозиционность?..»

Сталин отвечает:

«...Другое дело — православная духовная семинария, где я учился тогда. Из протеста против издевательского режима и иезуитских методов, которые имелись в семинарии, я готов был стать и действительно стал революционером, сторонником марксизма как действительно революционного учения».

Людвиг уточняет ответ генерального секретаря ЦК ВКП(б):

«Но разве вы не признаете положительных качеств иезуитов?»

Сталин отвечает обстоятельно, не спеша:

«Да, у них есть систематичность, настойчивость в работе для осуществления дурных целей. Но основной их метод — это слежка, шпионаж, залезание в душу, издевательство. Что может быть в этом положительного? Например, слежка в пансионате: в 9 часов звонок к чаю, уходим в столовую, а когда возвращаемся к себе в комнаты, оказывается, что уже за это время обыскали и перепотрошили все наши вещевые ящики... Что может быть в этом положительного?»

Людвиг говорит о том, что наблюдает в Советском Союзе «исключительное уважение ко всему американскому... даже преклонение перед всем американским...». И спрашивает: «Чем вы это объясняете?»

Сталин возражает:

«...У нас нет никакого особого уважения ко всему американскому. Но мы уважаем американскую деловитость во всем...»

И развивает свой ответ после нового вопроса Людвиг:

«...Но если уже говорить о наших симпатиях к какой-либо нации, или, вернее, к большинству какой-либо нации, то, конечно, надо говорить о наших симпатиях к немцам. С этими симпатиями не сравнить наших чувств к американцам!»

Людвиг удивленно спрашивает:

«Почему именно к немецкой нации?»

По характеру ответа видно, что вождь отвечает не задумываясь:

«Хотя бы потому, что она дала миру таких людей, как Маркс и Энгельс. Достаточно констатировать этот факт именно как факт».

Сталин не являлся политиком во всей полноте понятия. Так, в Гражданскую войну и в начале 20-х годов основным врагом советской России оказалась Англия, рядышком уместилась Франция, а Германия, напротив, выступала союзником большевизма, и порой единственным в западном мире; сказывалось страшное унижение Версальского мира, фактическая изоляция Германии.

Когда с середины 30-х годов обстановка в мире коренным образом изменилась, Сталин этого не раскусил. А ведь Германия взяла на себя роль главного противника Советского Союза, а Англия, наоборот, потенциально несла в себе возможность союза с совет-

ской Россией. Политического чутья у Сталина не доставало, дабы охватить столь решительную политическую перестановку, даже возможность ее. Он пребывал в схемах Гражданской войны и особых отношениях с Германией после Рапалло. Тогда, в 1922-м, РСФСР напрямую заключила договор с Германией; таким образом, обе страны прорвали блокаду, сложившуюся вокруг них. Во всяком случае, Сталин был готов к продолжению этих особых отношений.

Ни о какой политической гибкости и заикаться не приходится. Эта схема, догматизировавшись, и управляла действиями Чижикова, что обернется грандиозным провалом в июне 1941-го, за который столь несправедливо жестоко заплатит народ.

Отрешиться от догмы, встать над политическими предрассудками — на это Сталина не хватало, тут он безнадежно оставался Чижиковым.

Сталин являлся воплощением насильственного вживления ленинской утопии в организм завоеванной большевиками страны. Утопия для своей реализации потребовала такого человека. Им оказался Сталин. Он более других удовлетворял требованиям практики насильственного строительства новой жизни.

Тут к месту сценка из «Воспоминаний» Троцкого. Она имела место летом 1925 г.

«— Скажите мне, — спросил Склянский, — что такое Сталин?»

Склянский сам достаточно знал Сталина. Он хотел от меня определения его личности и вместе объяснения его успехов. Я задумался.

— Сталин, — сказал я, — это наиболее выдающаяся посредственность нашей партии. — Это определение впервые во время нашей беседы предстало предо мною во всем своем не только психологическом, но и социальном значении. По лицу Склянского я сразу увидел, что помог собеседнику прощупать нечто значительное.

— Знаете, — сказал он, — поражаешься тому, как за последний период во всех областях выпирает наверх золотая середина, самодовольная посредственность. И все это находит в Сталине своего вождя. Откуда это?»

Анна Васильевна в своих «Воспоминаниях» доносит до нас один из самых трагических разговоров с Александром Васильевичем, по мысли — трагический и возвышенный, хотя Александр Васильевич ни о какой возвышенности и не помышлял, медленно прохаживаясь с родной женщиной по арестантскому дворику и исповедуясь ей. А она слушала его — по существу, совсем девочка, достаточно избалованная и родной семьей (отца), и вниманием мужчин, а теперь вдруг грубо, страшно врубленная в самый гранит могильных дней и часов.

«Мне он был учителем жизни, и основные его положения: «Ничто не дается даром, за все надо платить — и не уклоняться от уплаты» и «Если что-нибудь страшно, надо идти ему навстречу — тогда не так страшно» — были мне поддержкой в трудные часы, дни, годы.

И вот, может быть, самое страшное мое воспоминание: мы в тюремном дворе вдвоем на прогулке — нам давали каждый день это свидание, — и он говорит:

— Я думаю: за что я плачу такую страшную цену? Я знал борьбу, но не знал счастье победы. Я плачу за вас — я ничего не сделал, чтобы заслужить это счастье. Ничто не дается даром».

Плата за счастье любить.

Люди так сработали свой мир, что ежели получаешь счастье — плати. Чем выше оно, необъятней — больше плата. Перед смертью Колчак это вдруг осознал: в обществе каждому надлежит платить за счастье, за великое — чаще всего жизнью.

Плата за любовь к женщине и Родине — тоже смысл той проруби на Ангаре.

Бедняки должны взять власть и уничтожить паразитов, коли те сами не хотят расстаться со своим несправедливым существованием, — это лозунг большевизма. И уже не лозунг, а программа действий. «Жить без паразитов» — любой, кто добывает себе на жизнь честным трудом, поставит под этим лозунгом подпись. Но коли брошен лозунг и свят этот лозунг, то под сенью его в свою очередь уже все свято. И уже любая несправедливость, любые жестокости, любые извращения власти и тяготы жизни вообще — все во имя этой святости, и все должно быть святым.

Роптать против — это все равно что выступить против справедливейшего из лозунгов, все равно что выступить за паразитов и бездельников, за угнетение рабочего человека, за все позорно несправедные пути жизни, то есть поднять руку на самое святое принципа, лозунга, который воплощает народ.

Так именем революции действует контрреволюция, самое отпое насилие и ограбление трудовых сословий общества.

Где бы марксизм ни ставил опыт, то бишь где бы марксисты ни приходили к власти, революция заканчивалась диктатурой, насиллем, истреблением людей, нуждой и беспощадным подавлением личности.

Насиллие всегда будет создавать лишь самое себя, то есть насиллие будет лепить насильников и униженных, непрестанно воспроизводя несправедливость.

Я хорошо помню конец 40-х годов, когда КПСС еще называлась ВКП(б). В ту пору я был комсомольцем. Отношение к людям, преподавание в школах и высших учебных заведениях, естество искусства — все утверждало одну и ту же истину: люди, не владеющие марксизмом, не поклоняющиеся Марксу, Ленину, Сталину (Энгельс

был не столь важен в этом перечислении, к тому же ему не спускали критических высказываний о России, хотя бы о Крымской войне 1853—1856 гг.), а тем более не принимающие догм марксизма (таких не было, но их присутствие как бы предполагалось, и пропаганда, агитация яростно атаковали этих не присутствующих во плоти людей), — неполноценные, органически враждебные народу, заслуживающие любого насилия, в том числе их жены, дети. О женщинах-«буржуйках» говорили только в выражениях и тонах, исключающих какое бы то ни было иное отношение, кроме насилия — насилия в буквальном, непосредственном значении этого слова. Нас так воспитывали, натаскивали, приучали к беспощадности — все не-красного цвета исключает жалость и человеческое отношение, к таким применимы любые действия, будь то оскорбления, убийства, издевательства и насилия. Буржуй, капиталист, меньшевик (несколько другое дело — беспартийный в своей стране) — это скрытые враги, их можно обманывать, предавать, уничтожать.

При подготовке к изданию своей работы «Особый район Китая» я наткнулся на очень выразительный документ и вздрогнул: настолько содержание его, даже мне, привычному к советскому извращенному восприятию мира, показалось диким. Это была рекомендация очень крупного военного хирурга, который писал руководству соответствующих карательно-разведывательных служб о том, что оперативная работа может весьма выиграть, если применить такой-то набор ядов, отравление которыми очень трудно, к примеру, отличить от пищевого отравления или последствий ишемии. Этот крупный военный хирург советовал использовать рентгеновский аппарат для смертельного облучения пациентов, коих желательно убрать. Хирург работал среди ответственных лиц, обслуживал их за рубежом. Они доверяли ему, лечились у него семьями. И он все это считал моральным и добровольно излагал как опыт многолетней работы и раздумий.

Я бы не вспомнил тот случай, не знай этого человека¹. В детстве я любил его, играл с ним, знал его сына. А сам хирург находился в доверительных отношениях с моим отцом...

Этим развращением людей мы обязаны только марксизму и ленинизму. Какие уж тут «розы против стали»...

Только они, последователи Ленина, знают, что на душе у народа, — только им дано знать, никому другому. Никогда ни в чем они не спрашивают совета у народа — только приказывают, а точнее — указуют. Указуют, награждают и карают.

«Спасибо ему, русскому народу, за это доверие!

За здоровье русского народа!»

Вся наша действительность недавних десятков лет — это их постоянное заигрывание с народом, но такое, в котором исключалось здоровое, правдивое слово. И в то же время — оскорбитель-

¹ Генерал-майор медицинской службы Андрей Яковлевич Терebin.

ность, бесцеремонность с каждым человеком в отдельности. Ибо каждый ничтожен перед государством палачей.

«...А ты, человек, живущий в государстве палачей, ничтожнее камня; тебя стирают в порошок, делают солдатом, вынуждают вступить в армию, а армия идет в поход — ибо так ей приказывают волки — и убивает людей в мирной стране».

Эта мирная страна — прежде всего Родина твоя и волков...

На пот и кровь, вложенные в народное хозяйство, можно было бы, без всякого преувеличения, построить пять-шесть современных России, если не ляпать ошибки, о которых уже шла речь, ошибки, за которые народ платил голодом, нуждой, вечными очередями, бесцелью льгот, разложением, плачем и гибелью.

И за все это ему твердят: на колени, слава, — и он славит людей и систему, которые породили эту одну надорванную Россию вместо здоровых и полнокровных пяти-шести России.

В конце 50-х годов в просьбе о реабилитации Анна Васильевна писала:

«Я была арестована в поезде адмирала Колчака и вместе с ним. Мне было тогда 26 лет, я любила его и была с ним близка и не могла оставить его в последние дни его жизни. Вот, в сущности, все. Я никогда не была политической фигурой, и ко мне лично никаких обвинений не предъявлялось».

Каждый день того прошлого Анна Васильевна перебирала в памяти тысячи раз.

Сколько же боли и горя принесли так называемые союзники! Не будь их «заботливого» участия, он остался бы жив, не повели бы его к проруби дружинники под окрики Чудновского...

«Вот мы в поезде, идущем из Омска в неизвестность. Я вхожу в купе. Александр Васильевич сидит у стола и что-то пишет. За окном лютый мороз и солнце.

Он поднимает голову.

— Я пишу протест против бесчинств чехов — они отбирают паровозы у эшелонов с ранеными, с эвакуированными семьями, люди замерзают в них. Возможно, что в результате мы все погибнем, но я не могу иначе».

Не могу иначе...

Он предполагал месть чехов и союзников: „...в результате мы все погибнем...“»

Анна Васильевна оживает тот день — последний, черную бездну того дня:

«Последняя записка, полученная мною от него в тюрьме, когда армия Каппеля, тоже погибшего в походе, подступала к Иркутску: «Конечно, меня убьют, но если бы этого не случилось — только бы нам не расставаться».

И я слышала, как его уводят, и видела в волчок его серую папаху среди черных людей, которые его уводили».

Черных людей...

Месть чехов и союзников...

Нашими очередными соседями по коммунальной квартире в Военном городке (Щукинская улица, 26) за Покровкой (Покровское-Стрешнево), в которой мы жили с конца 1936 г., оказались Виктор Васильевич, Клавдия Филипповна и их трехлетний сын.

Соседей вселяли не просто жить, а с заданием: оно заключалось в требовании следить за папой, а когда он надолго отлучался по служебным делам — надзирать и за мамой (по средствам ли мы живем, как относимся к вождям, каковы наши знакомства...). Об этом папа не мог не догадываться, но узнал, что называется, документально, когда получил назначение послом в Бирму (в ту пору послов в стране насчитывалось не столь много из-за ограниченности дипломатических отношений). И вот тогда часть соседских доносов ему показали. «Женевская» тварь как бы обозначила свое доверие. И действительно, не всех же сажать и травить, хотя и весьма желательно. Но это являлось и предупреждением: все видим — бдим.

Виктор Васильевич был офицером военного времени, хотя на фронт из Москвы не выезжал — не берусь утверждать, но, как мне кажется, из-за специфических задач, которые он выполнял. Являясь формально общевоинским офицером, он, судя по всему, служил в МГБ — был осведомителем. Его доклады папа тогда тоже прочитал, его и предыдущих соседей и даже моей учительницы в годы войны. Эту женщину, очевидно, заставили следить за нами. По скупым замечаниям папы, ее отчеты отличались спокойной объективностью. Мама дружила с учительницей, работая в той же школе заведующей библиотекой. Зоркое «женевское» око не могло упустить такой возможности и, скорее всего, принудило ее писать ежемесячные отчеты. Это ж какие силы и ресурсы были задействованы по стране для подобного рода деятельности! И сколько людей оказались замаранными! Раствление народа в чистом виде... Заставлять дружить — и требовать доносы, подселять семью — и требовать доносы от ее главы: с моралью в передовом социалистическом обществе все обстояло благополучно.

Эту науку мы с братом начали проходить в детстве. Папа запрещал водить в гости друзей без особой надобности (и понятно, лишний донос зачем?), требовал вечерами держать окна зашторенными (донесут, что не читает «классиков» или еще что угодно, как по Булгакову. Помните диалог между Филиппом Филипповичем и Борменталем — о водке и власти, которая выпускает водку не сорока градусов, а тридцати? «Вы можете сказать — что им придет в голову?» — это спрашивает старый профессор, имея в виду новую власть. «Все, что угодно...» — отвечает Борменталь. И это сущая правда: **все, что угодно!**). А раз так — лучше держать окна зашторенными, а число знакомых свести к наименьшему. Мы имели строгую инструкцию,

как и что отвечать на вопрос: где работает папа? Маму же папа не посвящал в свою работу, как после выяснилось, по вполне прозаической для нашего Отечества причине: если ее арестуют и примутся пытаться, то ничего не добьются, даже из области фантастического, поскольку она ничего не знает, и это, по расчетам папы, должно будет сберечь маму, а к своей жизни он относился с некоторой обреченностью, хотя очень любил Китай и работу свою вел с увлечением. Однако, уже смертельно болея, папа посвятил меня в очень многое, это мне после серьезнейшим образом помогло.

В марте 1953-го опочил Сталин, в начале сентября не стало папы. Я учился на первом курсе Военно-воздушной инженерной академии имени Жуковского, в те годы почетно-привилегированного высшего учебного заведения. Дети самых знаменитых фамилий учились в ту пору на разных курсах.

Осенью я любил выйти из трамвая на Покровке и возвращаться дальше пешком — или через старинный парк (одни мачтовые сосны на целый километр), или шагать дачной улочкой к Виндавке. Раза три-четыре моим случайным попутчиком в трамвае оказывался майор П. — наш сосед, истый ценитель градусных напитков. В те годы стакан водки можно было получить в любом киоске, как стакан газировки. Стоила она сущие пустяки. Виктор Васильевич перед возвращением домой имел обыкновение причаститься в таком вот киоске — эти будки по-другому и назвать нельзя, они ничем не отличались от газетных или театральных киосков. Я пить не горазд, а в молодости особенно: и вкус отвратительный, и после гадко, и тренируюсь... Словом, не составил ему компанию, чем всякий раз повергал в искреннюю печаль. Виктор Васильевич обиженно моргал красными глазами — они у него не теряли красноты в любое время года.

Однажды (это было осенью 1954 г.) он вернулся изрядно возбужденный. Ясное дело, что он не миновал киоск на Покровке, но не одна водка привела его в светлое возбуждение. На кухне наш сосед усадил меня и поделился новостями — он не мог их держать в себе. Щеки его, что называется, пыхали румянцем, глаза глянцево блестя, а курчавые волосы были заметно встрепаны. Эти глянцево-подернутые глаза изливали и восторг, и трепетное благоговение, и даже гордость.

Клавдия Филипповна шила в своей комнате, мама недомогала — после смерти папы она часто страдала тяжелыми головными болями, которые впоследствии перешли в хронический спазм сосудов мозга. Так что мешать взволнованной речи майора Виктора Васильевича никто не мог. Правда, я очень хотел есть и поглядывал на плиту. Там стояли сковороды с жареной картошкой — наша и соседская. На столе соседней лоснилась жиром атлантическая сельдь — она ломтиками лежала на узкой тарелке. «Под сто граммов», — догадался я. На нашем столике высилась кастрюля с молоком. В молодости я пил молоко литрами, особенно после тренировок, когда весь пересыхал от глотки до пят. И отходил до полуночи сухим жаром, аж губы трескались.

Виктор Васильевич сообщил, что только вернулся с ближней дачи Иосифа Виссарионовича в Кунцево. Там, оказывается, организован музей, и он посетил его в числе первых. Это, очевидно, была экскурсия для «своих».

Виктор Васильевич пережил потрясение от быта вождя. Он рассказывал по-мальчишески запальчиво, слегка выпучивая глаза:

«Очень скромный. Обычная веранда, там блюдечко со стаканчиком и помазком для бритвы, а на столике следочек от этого прибора. Годы брился там. Сам брился (надо полагать, экскурсантам просто позабыли сообщить, что за ликом вождя ухаживал парикмахер в чине подполковника, так сказать, брадобрей-подполковник — недурно ведь, а? — Ю. В.). Тут же у двери валенки. Не поверишь — заплатки на задничках. Скромный был... А музыка? Обычный патефон. Слева, справа — стопки пластинок. В одной стопке пластинки с его пометкой «народная», а в другой — «ненародная». Как следил за музыкой! Он же следил, как идет борьба с космополитизмом и разной какофонией. А в комнате — диван, продавленный даже. На стене вырезка из «Огонька» — репродукция картины: суворовец рапортует деду о прибытии в отпуск...»

По характеру майор Виктор Васильевич был незлобив, обожал прислужить и от близости к власти просто млеял. Вскоре он стал адъютантом министра обороны СССР маршала Малиновского. Я часто видел по телевизору: он в парадной форме распахивает дверцу открытого автомобиля после объезда министром обороны войск Московского гарнизона, построенных на Красной площади для парада. Малиновского и мне довелось узнать — он награждал меня после победы на Олимпийских играх в Риме (1960), несколько раз через офицеров госбезопасности (так красиво называют «гэбэшников», которых в кремлевских залах полным-полно) подзывал к себе для неторопливой беседы: расспрашивал о тренировках, Эндерсоне и рекордах. Маршала выделяло мощное сложение. У меня создалось впечатление, что Виктора Васильевича все же сгубил «женевский» механизм. При нескольких случайных встречах он кипел негодованием, кому-то грозил, приговаривая, что он-то знает правду... Тогда завязалась скрытая борьба за пост министра обороны между маршалами Батицким и Гречко. За этой борьбой стояли разные партийные группировки. Очевидно, Виктор Васильевич не мог не знать от своего покойного шефа некоторые характеристики деятелей режима, их тайные проделки. Подобные знания, да вкупе с угрозами, пусть совершенно бессильными (что он мог сделать?), не способствуют долголетию в Отечестве генеральных секретарей и генералов с синими чекистскими кантами.

Ненадолго пережила мужа и Клавдия Филипповна — очень мягкая и добрая женщина. Она была моложе мужа. Клавдия Филипповна умерла, не дожив и до шестидесяти. В свои курсантские годы я был неравнодушен к ней. Это была крепкая, полнолицая женщина с серыми глазами и спокойной речью, полной доброжелательства.

Она чувствовала тогда мое отношение и перед смертью звонила... проститься.

Мир вашему праху, соседи!

Мир Вам и покой, милая Клавдия Филипповна!..

И вас заморозил ледяной дых скелета...

Когда я уже закончил книгу, мне в руки попал исторический альманах «Минувшее», изданный в 1990 г. Из него я и почерпнул ту информацию, которой при работе над «Огненным Крестом» не располагал, поэтому и дополняю книгу сейчас.

«Анна Васильевна Книпер (Сафонова, Тимирева, Книпер-Тимирева) родилась в 1893 г. в Кисловодске. В 1906-м семья переехала в Петербург, где Анна Васильевна окончила гимназию кн. Оболенской (1911) и занималась рисунком и живописью в частной студии С. М. Зейденберга. ...В 1918—1919-м в Омске — переводчица Отдела печати при Управлении делами Совета Министров и Верховного правления; работала в мастерской по шитью белья и на раздаче его больным и раненым воинам. Самоарестовалась вместе с Колчаком в январе 1920-го, освобождена в том же году по октябрьской амнистии и в мае 1921-го вторично арестована. Находилась в тюрьмах Иркутска и Новониколаевска, освобождена летом 1922-го в Москве из Бутырской тюрьмы. В 1925-м арестована и административно выслана из Москвы на 3 года, бедовала в Тарусе. В четвертый раз взята в апреле 1935 года, в мае получила по ст. 58¹⁰ пять лет лагерей, которые через 3 месяца при пересмотре дела заменены ограничением проживания («минус 15») на 3 года. Возвращена из Забайкальского лагеря, где начала отбывать срок, жила в Вышнем Волочке, Верее, Малоярославце. 25 марта 1938-го, за несколько дней до окончания срока «минуса», арестована в Малоярославце и в апреле 1939-го осуждена по прежней статье на 8 лет лагерей; в Карагандинских лагерях была сначала на общих работах, потом — художницей клуба Бурминского отделения. После освобождения жила за 100-м километром от Москвы (ст. Завидово Окт. ж. д.). 21 декабря 1949 г. арестована в Щербаковке как повторница без предъявления нового обвинения. 10 месяцев провела в тюрьме Ярославля и в октябре 1950 г. отправлена этапом в Енисейск до особого распоряжения; ссылка снята в 1954-м. Затем в «минусе» до 1960-го (Рыбинск). В промежутках между арестами работала библиотекарем, архивариусом, дошкольным воспитателем, чертежником, ретушером, картографом (Москва), членом артели вышивальщиц (Таруса), инструктором по росписи игрушек (Завидово), маляром (в енисейской ссылке), бутафором и художником в театре (Рыбинск); подолгу оставалась безработной или перебивалась случайными заработками. Реабилитирована в марте 1960-го, с сентября того же года на пенсии. В 1911—1918 гг. замужем за С. Н. Тимиревым. Замужем за Книпером с 1922-го, до получения ответа прокурора о гибели

и реабилитации сына В. С. Тимирева (1956) носила двойную фамилию. Умерла 31 января 1975 г.».

Стихи. Они вырвались из сердца. Она только записала их:

Полвека не могу принять —
Нельзя ничем помочь —
И все уходишь ты опять
В ту роковую ночь.
Но если я еще жива
Наперекор судьбе,
То только как любовь твоя
И память о тебе.

Киев. Июль 1969 г.

Анна Васильевна написала эти строки на 76-м году жизни.

Глава XII

ЗАРЕ НАВСТРЕЧУ

Гниль интеллигентская и эсеровская насквозь проела Федоровича. Ведь надо же, привиделся в первые дни лета диковиннейший сон — не сон, а загадка, раздумье на жизнь вперед. Во всяком случае, могло пригрезиться и нечто общественно значимое, правильное, исключительно идейное, а вместо этого... В общем, сторукие существа заполнили ночное воображение Флора Федоровича. И какие сторукие — с виду обычные люди, но в то же время по своему особому состоянию и возможностям — сторукие.

И все у этих сторуких коллективное. А свое, личное, в каждом стерто, вытравлено — ну ничем не отличается один сторукий от другого. Все у них общее, от этого и сказочная сила. Ведут же происхождение эти необычные создания от обычных в прошлом людей, так сказать, выведены от двуруких. Поначалу на земле водились сплошь обычные особи. Но так повернула жизнь — все личное вступило с ней в противоречие, а общее, наоборот, обеспечивало самые что ни на есть надежные условия выживания. Вступило человечество в такую эпоху, когда вопрос о превосходстве общего над личным прямым образом сказался на рождаемости, то есть перерождении двуруких в сторуких. У двуруких подруги чахли, болели, не давали потомства, но, возлюбля сторукого, сразу же расцветали и приобретали исключительную плодовитость.

Не мог выжить двурукий, всюду отмирало все личное. Словом, общность людей, а не человек стала единицей измерения человечества.

И все это довольно явственно снилось Федоровичу. Справедливости ради скажу: пил он именно в те дни изрядно, даже на ночь — стакан самогона, а чтоб забыться...

Видел он в том кошмарном сне, как исчезают целые государства двуруких, то есть нормальных людей, потому что сторукие всегда сильнее: они послушны, общественны, скроены на один лад (одно

любят, одно носят, одно читают), следовательно, и легче управляемы. Аж судорогой прохватывало от тех видений Федоровича. Шептал он в беспамятстве беглого и чрезвычайно летучего сна:

— И все у них будет сторукое: и литература, и живопись, и спорт, и мечты, и партия, и все-все чувства...

И ему было очевидно, что сторукий человек уже окончательно изводит двурукого. Общечеловек встает над человеком. Глаза у него с виду нормальные, но на деле смотрят наоборот.

И все несторукое самоизживает под напором сторуких.

Мечется во сне Федорович, хрипит:

— За сторукими будущее — это несомненно... Спасите! Спасите!..

И жаль ему себя и всех граждан: ну резвятся под солнышком и не ведают, какое им уготовано будущее. Вот до чего источили эсероинтеллигентские идеалы Три Фэ. Ведь отрекся от всякой партийности, а она во сне прет, подсовывает вещие картины, и с какой политической подкладкой! Хоть конспектируй в постели...

У сторуких нет обид. Их можно унижать всячески: лишать имени, прошлого, шпынять, держать за рабочую скотину. Каждому сторукому при рождении вручается грамотка, где напечатано, что он — свободный гражданин и отныне счастливый (есть и такая графа). И уж как он этим кичится! И всю жизнь только так и считает. И потому у них нет, не может быть обид. Они все стерпят, ибо держатся наиглавнейшего принципа своего государства: подчинения общему. Они уже знают наперед: «я» каждого не может быть правым. Это «я» нужно подавлять, растворять в общем. В общем нет унижения и нет ошибок. Раз коллективное — значит, всегда правое и правильное.

Сторукие не ведают справедливости, кроме той, что является справедливостью всех. Ты прав, ты правдив, за тобой все доказательства, но это ядовитая правда; она ничего не несет, так как не является частью справедливости всех, пусть хоть эта справедливость всех по ноздри мокнет в крови — разницы нет.

Именно подобное состояние, по их разумению, соответствует предельному приближению всеобщего благоденствия: нет тебя, есть общее. И все уже тут: и общие экономические задачи, и совместный самый производительный труд, и единство потребностей, и — самое ценное — незыблемость власти. Ну нет такой силы, дабы качнуть ее, ибо власть для сторуких божественна. От нее сытость и общая сохранность, а это, в разумении сторуких, и есть свобода, справедливость и конечная цель развития общества. И потому власть у сторуких — только в ореоле и всяческих восхвалениях.

У сторуких не будет Толстых и Пушкиных. При обязательности подчинения всех одним идеям и одной системе поведения то личное, что составляет общее, неспособно подняться до самобытно великого.

Нет, свое, великое заведется и у сторуких: и в искусстве, и в других проявлениях народного гения. Они имеют полное представление

о величии гения и даже ведут счет множеству своих премий. Но все великое их является плодом общего: безлика, обязательно указывающая сила (а потому и выкручивающая руки всем с рудиментами двурукости) — не столько игра (и совсем не игра) воображения, страстей, мысли, а указывающая организованная сила, правильная, как восход и заход небесных светил, пресная и скучная, как лужа в ненастный день.

Куда с такими тягаться двуруким! Да они уже с самого нежного возраста приспособливают детишек к общей правоте и отказу от себя...

И опять мечется, задыхается во сне Три Фэ, физически ощущает пришествие той эпохи. Вот она: не грядет, а уже наступила... Не распрямится — мордой к земле...

Задремывая и вновь пробуждаясь, Федорович щупал рукоятку браунинга. В бреду полусна мнил он защитой от сторуких; после приходил в себя, успокаивался и, лежа расслабленно, уверовал в то, что жив еще жизнью, не засиженной сторукими.

«Народ, то есть общность людей, еще долго будет искать свое счастье, а стало быть, отдавать на муки и погибель людей необычных, непохожих, ярких. Сторукие от них будут избавляться. Для них это вопрос выживания. Исторгнуть таких — и сомкнуться в продолжении единства. Эти... исторгнутые... всегда уместнее (и на месте) — в памяти строк, бронзе изваяний... Но поначалу сторукие дают их терзать, убивать и сами презирают и затаптывают, ибо один должен быть как все и все — как один. Кто не вписывается в эту схему, должен дематериализоваться, каким бы значительным сам по себе ни был...»

Грустная это была ночь.

Летит, крутится, сияет голубб земной шар в мировой бездне — ни дна, ни начала. Ось у шара скривлена, точнее, под непонятным наклоном. То на этом шаре очень холодно, то жарко до закипания крови в жилах. По разные стороны шара люди ходят ногами друг к другу. Внутри шара что-то отчаянно кипит.

И в крохотной точечке шара бледный лохматый человек, прилепнув к боку браунинг (а как же — защищает!), пытается склеить жизнь, от которой ему во все дни в основном боязно, неуютно и очень больно.

И вот так со всех сторон, даже где океаны, шар засижен неисчислимым множеством говорящих особей, почти каждая из которых или обижена, или тужится на костях других обрести новую жизнь. И почти никто, даже верящие в Бога, не слышат и не видят этого движения шара, с усердием, жадностью разменивая дни неповторимой и единственной жизни на слепоту и глухоту...

Грустная это была ночь...

Сразу после покушения Каплан Троцкий скажет:

— Когда видишь, что товарищ Ленин лежит тяжело раненный и

борется со смертью, наша собственная жизнь кажется нам такой ненужной и такой неважной!

Крепко сказано, от души.

Ну, поборники чистоты славянской расы, кто из русских соратников вождя (пусть их было очень мало) молвил нечто подобное в те дни?..

Что говорили — факт: и русские, и нерусские, но все больше с поправкой на себя, возможное изменение своего будущего. А отречься от «я», войти в боль вождя — не дотягивали. Потому после и ползали на карачках перед Сталиным...

Троцкий в отличие от всех других красных вождей не притворялся и не высказывался с прищелом на чье-то особое расположение. Избави Бог! В этом он был во сто крат крупнее любого русского и нерусского из тех, что делали революцию. Это в конечном итоге и сгубило. Это — и еще лестно высокая оценка своих способностей. В общем-то, совершенно справедливая, но позволившая проглядеть опасность. Сам на интриганство не был способен и не предполагал этого в других. И даже очень напрасно! И недооценил лучших друзей покойного вождя. Все в полном соответствии с поговоркой: орел муху не ловит. Вот мухи и зажрали... Льва... А мухи-то все больше помойные...

Бажанов свел опыт общения с Троцким в сжатые строки.

«...До революции Троцкий... не принадлежал к ленинской партии профессиональных революционеров... То есть до революции не был большевиком. Надо сказать, что это большой комплимент. **Члены большевистской организации были публикой, погрязшей в интригах, грызне, клевете, компания аморальных паразитов** (подчеркнуто мною. — Ю. В.). Троцкий не выносил ни нравов, ни морали этой компании. И даже жил не за счет партийной кассы и буржуазных благодетелей, как Ленин, а зарабатывал на жизнь трудом журналиста... Не приняв специфической морали Ленина, он был в отличие от него человеком порядочным. Хотя и фанатик и человек, нетерпимый в своей вере, он был отнюдь не лишен человеческих чувств — верности в дружбе, правдивости, элементарной честности...»

Это я прочитал много позже, когда уже вышло первое издание «Огненного Креста», и был удовлетворен. Видение мое не только Троцкому совпадало с исторической реальностью.

Троцкий выполнил долг перед партией и республикой. Среди саботажа, измен, разрухи, в крови и невероятных трудностях была создана Рабоче-Крестьянская Красная Армия — РККА.

Во все последующие десятилетия Троцкому простить не могли не столько оппозиционерство, сколько исключительную самостоятельность и крупность — все то, что начисто отсутствовало у вождей послеленинской формации.

О победе в Гражданской войне Троцкий однажды заметил: из двух зол (белых и красных) крестьяне предпочли красных, то есть коммунистов (вообще-то из двух зол не следует выбирать ни одно).

Откровенно замечено: из двух зол!

На откровенность обычно способны лишь крупные люди.

К концу Гражданской войны белым противостояла внушительная сила. По численности РККА даже превосходила императорскую армию первого периода войны с немцами (1914—1915) и приблизительно равнялась боевому составу Советской Армии в период Курской битвы, то есть лета 1943 г.

К 5 декабря 1920 г. (все тот же год!) Главное командование Красной Армии отработало доклад в Реввоенсовет Республики:

«Главному командованию поставлена задача сократить к 15 января (1921 г. — Ю. В.) армию на 2 миллиона человек, сведя ее с 5 300 000 человек до 3 000 000 человек. Выполняя эту задачу, Главное командование исходило из следующих основных соображений:

1. Хотя военные действия на внешнем фронте уже прекратились, но общая политическая обстановка продолжает быть таковой, что необходимо быть готовым к быстрому открытию военных действий в широком масштабе и, во всяком случае, должно готовиться к этому к весне; в частности, на Кавказском фронте по политической обстановке не только не могут быть ослаблены наши Вооруженные Силы, но должно продолжаться их усиление.

2. В то же время борьба на внутренних фронтах еще не закончена, в особенности на Украине, где еще не сломлено окончательно сопротивление Махно и не достигнуто достаточных результатов в борьбе с бандитизмом...

4. Изложенное в первых двух пунктах обязывает Главное командование при сокращении численности армии сохранить мощную полевую армию за счет сокращения тылов и всего обслуживающего элемента, а также войск внутренней службы, достигая последнего соответственным размещением полевых войск для выполнения задач, лежащих на войсках внутренней службы...»

Документ подписали: Главнокомандующий всех Вооруженных Сил Республики С. Каменев, член Революционного Военного Совета Республики (подпись отсутствует. — Ю. В.), начальник полевого генерального штаба *Лебедев*.

Знал себе цену Лев Давидович. Как вспоминал Шалапин, в театре он соответственно занимал ложу великого князя Сергея Александровича («кто был никем, тот станет всем»).

«Я представлял себе Троцкого брнетом, — писал Шалапин в книге воспоминаний «Маска и душа». — В действительности это скорее шатен-блондин со светловатой бородкой, с очень энергичными и острыми глазами... В его позе — он, кажется, сидел на скамейке — было какое-то грозное спокойствие...»

Сознавал себя великим Лев Давидович и вел себя соответственно. Тут уже мелкость проглядывает...

Что до спокойствия... его скоро нарушит Чижиков.
В общем, рыхлил след в истории 1920-й...

Болезненно-вещим сном о сторуких Федорович не то заразил, не то разбередил товарища Денике. Надо полагать, существуют телепатия и тому подобные метафизические выверты.

А может, товарищ Денике и сам раскачался до такой степени душевной взволнованности, почти расстройства, но факт остается фактом: ему тоже во сне пригрезились вещи необычные, просто уму непостижимые. Сон этот, безусловно, вещий — тут никаких сомнений. И если бы только вещий, а то еще и секретный — ну нельзя разглашать содержание ночного бреда (сном это никак нельзя назвать — только бред): угроза не только собственной жизни, но и устоям республики, и если бы только Дальневосточной, а то самой РСФСР. Хоть описывай данный сон и сдавай на хранение в секретную часть, однако риск это, верная пуля. Ведь по ознакомлении с ним, данным сном, работники секретной части (даже если это престарелые женщины) еще до вмешательства чека своими силами сживут товарища Денике со свету, не будет ему пощады, ибо не сон это, а чудовищная игра воображения.

«Лучше молчи, мой рот, а то наделаешь хлопот», — стал с той ночи приговаривать Денике, и все пуце про себя. И при этом глаза у него делались, как у бешеного таракана. Видали такого?..

Сон этот в полном объеме (цензура тут не смогла вмешаться, не поступали такие документы) Денике не довел до нашего сведения — так, кое-что прознал Самсон Игнатьевич. Известно лишь, что это сон о Ленине на том свете; о тяжелой юдоли Крупской (женщины нежного дворянского воспитания), обреченной Господом на очереди, матюги измученной толпы, хамские поучения продавцов, безрезультатные мыканья за лекарствами, тревоги за Володю (опять без лекарств, ищи знакомых, а что будет, коли опять в «неотложке» приедут врачи и как отрубят: «Зачем вызывали? Мы к старым не ездим. Сам помрет?»).

И вот все в таком духе...

А наказание Господь сам определил Владимиру Ильичу: тот партию пробовал сколотить против Бога, «голоснуть» всех убеждал — чтоб ссадить Бога. А ярлыков понавешал!

Господь так и молвил, назначая ему жить в одном из помещений ада:

— Теперь, раб Божий Владимир, ты уже не дезертируешь из республики, которую обрек на мучения, разорив, осквернив землю и оглупив людей.

Владимир Ильич было встrepенулся, принялся нашаривать тома «Капитала»: надо же вскрыть классовую подоплеку обвинений Господа. Опять-таки, он не оставлял надежды сколотить партию. Однако вообще никакой литературы под рукой не оказалось, и стал Владимир Ильич рассуждать о частной собственности, десятом

съезде, проклятой интеллигенции — мол, надо шире и обстоятельнее организовывать дело принуждения, расстрелов. Повторил слово в слово: «...нужна чистка террористическая: суд на месте и расстрел безоговорочно».

Господь кивнул:

— Знаю, еще в апреле 1921-го сказал.

И лишил бывшего вождя речи (нельзя же все: расстрел и расстрел!) — это случается при чрезвычайных прегрешениях там, на земле.

И говорил Ильич, сжимая кепчонку в кулаке, а голос не звучал — одни губы шевелятся, но... звука нет. Вот такое наказание.

Это не устрасило бывшего вождя — он и сейчас произносит речи, но Господь всерьез лишил его голоса. Беззвучно убеждает своих слушателей: сатану, чертей и толпу закоренелых грешников, а другие не ходят — не хотят.

Особенно потрясла Владимира Ильича догадка, перешедшая погода в уверенность. Бог уже давно принял за него, когда он, будущий вождь мирового пролетариата, хаживал еще по земле в совершенном здравии. И действовал куда как коварно: поразил его мозг через особую болезнь, до такой не всякий доиграется. В результате снизил остроту мышления: уж очень она угрожала людям. А и этого оказалось недостаточно. И тогда Бог призвал его в свои уголья. И впрямь, деревни пустеют, народ ужимается и сокращается, а какая-то Лубянка, как клоп, жиреет...

Вот обрывки этого сна и всяческих других видений главного вождя на вечном судилище у Господа и подсмотрел Денике.

И если бы только в общих чертах. Нет, видел он, Денике, своими глазами и помещение, которое определил Господь для проживания в аду. Огромный зал под вывеской «Утопия». Правда, к этой не то вывеске, не то обозначению чего-то постыдного, нехорошего черти и прочая потусторонняя нечисть понаписали множество всяких слов — бранных, непристойных, обидных, причем даже поучения «ренегата Каутского» этакой готической скорописью процарапали.

По определению самого Создателя, Владимир Ильич с утра переписывает от руки все тонны своих учнейших сочинений — так что до него постепенно начинает доходить их сомнительная ценность. Работа окаянная — от века и до бесконечности переписывать свои сочинения. Еще бы ничего Пушкина переписывать, там Шекспира или Льва Толстого, а то... В общем, надрывно Владимиру Ильичу. А писать надо, не может не писать, Бог так поставил...

И чем пишет? Обыкновенным пером «рондо». Макает в «непроливашку» и пишет. А чернила время от времени подливает Бонч-Бруевич. Нет, не генерал, а его брат, Владимир Дмитриевич (тот самый, что писал доносы)¹. Из крови эти чернила.

¹ См. мою повесть «Геометрия чувств».

Но со второй половины дня (после краткого перерыва на еду — а что за еда, что может добыть Крупская в очередях?.. И мешают ложками бурду, роняют слезу — и едят: Бог так рассудил)... Так вот, сразу после трапезы Люцифер ведет Владимира Ильича в центр помещения, и тут сразу берет движение очередь — вроде как к депутату на прием. Владимиру Ильичу надлежит каждому пожать руку — ни одного нельзя пропустить, черти строго надзирают за порядком. И пожимает Главный Октябрьский Вождь руку каждому из миллионов, загубленных его утопией счастливой жизни, то бишь научного социализма. Он жмет руку сперва живому человеку, еще до того, как на людей снизошла Октябрьская революция. Люди как люди, у большинства румянец и блеск в очах и всякие игривые мыслишки о соседках по очереди. И тут же по воле Господа человек превращается в скелет — чем обернулась для него великая коммунистическая миссия Владимира Ильича. И вот Ленин должен (ну никак нельзя отвертеться) пожать руку скелету. А сатана крестик ставит в амбарной книжке опосля каждого — учет! Это тебе не социализм, где все разворовывают и приписывают.

Так и пожимает: сперва веселому, уверенному в себе человеку, а после скелету — одни глазницы из пустого черепа щерятся... Оборони, Царица Небесная!..

И что прискорбно — у большинства фасон черепа испорчен. Не гладкий и кругловатый, а с дырой в затылке или во лбу. Трудовые чекистские метки... Но это не у всех. Тут черепа прут и гладкие: а голод, а всякие напасти под пятиконечным установлением... И погромыхивают косточками, бредут, бредут... ровно в мавзолей.

Господь свое решение не изменяет. Так и обречен спозаранку Владимир Ильич на переписывание своих утопий, а после полудня — на пожатие рук, сначала теплых и по-доброму отзывчивых, а после — скелетных. Так сказать, соединил Господь в одно целое причину и следствие.

Но самое неприятное, поистине огорчительное — это то, что главный вождь живет в квартире (что-то около шестидесяти квадратных метров — и, представьте, соседи жалуются: по какому праву занимает такой метраж, да еще отдельный, не в коммуналке)... из черепов. Вот все в этой квартире: стены, пол, двери, потолок, люстра — из черепов; даже все переплеты 55-томного Полного собрания сочинений сработаны из черепов. Как это удалось — одному Богу известно, но это так: все тома в обложках из аккуратно пригнанных, уплощенных черепов желто-белого цвета и кое-где зубы заметны — бугрится на том месте переплет...

Денике все это узрел, как наяву. Божился: там, с Владимиром Ильичем, и вся его «гвардия» — сплошь материалисты. И вот никак не мог понять Денике: и Ленин жив, и вся его «гвардия», а все здесь — в аду. Как возможно такое?.. Меж тем Господь их определил в тот же зал. Пусть так и живут здесь, по коммунальному счастью: раскидал всем койки рядышком, словно в казарме.

Денике настолько все это видел в подробностях — даже рисовал тот зал и места многих — какие имена! Это было удивительно! Подробности эти не могли прийти в голову человеку ни с того ни с сего. Тут не без нечистой силы.

Особенно потрясло Денике поведение Сталина. Господь его определил на страшную тяготу: что-то там мастерит с бесами по ноздри в крови. И при всем том ухитряется принимать доклады своего «ленинского» политбюро и сочиняет заговоры. У Денике и вовсе голова пошла кругом: о Сталине в 1920-м и не слышал. Кто такой? Почему во главе политбюро?

Денике прошел усиленный курс лечения шоковой терапией и признан неопасным. И впрямь, чем может быть опасен бывший революционер, коли молчит и только крестится? А Денике, как узнал, что ожидает их, большевиков, на том свете, — вмиг потерял охоту говорить. И здесь Денике поспекает на полкорпуса впереди всех событий. Хитрит. В твердой памяти он, а только меры принимает...

Я бы мог еще рассказать кое-что о мытарствах Владимира Ильича; Денике до своего обета молчания столько успел порассказать Самсону Игнатьевичу, но... подробности эти излишни.

И все еще Денике не может решить, что же наступило сразу после сна. Похоже, какое-то глубинно-проникновенное философствование — как следствие потрясения, — но, в общем, было что-то очень значительное (так он думает) по мысли — вровень с вершинами новейшей философии.

В памяти сохранились обрывки, мы можем их привести, но Денике уверен, что до этих мыслей и в строю этих мыслей существовали другие, однако утренняя память (когда он, очнувшись, в ужасе восстанавливал ночной бред) их не сумела уловить в мгле слабющего сна. Поэтому в памяти Денике присутствуют только обрывки рассуждений, но из-за них ему стыдно и жутко. И он просит войти в положение — это всего-навсего своего рода причуды подсознания, к которому кора больших полушарий мозга не имеет отношения. Стало быть, не может быть ответственности ни судебной, ни нравственно-чекистской.

«Гадко, что мы были рабами, — рассказывал Денике, — пока с нами была сытость. Понимаете, мы соглашались на рабство... Но еще отвратительней то, что мы снова примем рабство, если оно даст сытость и кров.

Людей не пугает рабство. Людям нужна сытость. Более того, в свободе всегда есть нечто оскорбляющее людей, и прежде всего в самом прямом предметном смысле.

Всякая свобода есть угроза твоему существованию, ибо в ней отсутствует прочность устройства жизни. Свобода исключает равенство. Отсюда и вытанцовывает политика. Весь пафос ее слов — лицемерие. Цель политики у нас не свобода, а устроенность

бытия, наполнение его сытостью... Ленин являлся утопистом от сытости, поэтому он попирали свободу. Его целью была не свобода, а всеобщая сытость. Отсюда — он как бы и не замечал свободы. Именно поэтому Ильич был понятен каждому, и именно поэтому столь прочна привязанность к нему. Он был понятен народу и потому, что устранял угрозу свободы.

Ленин нужен был народу. Он защищал его и от мысли. А мысль в подавляющем своем выражении — орудие неравенств. Поэтому Ленин столь прост, до вульгарности прост. Но Ленин не мог устранить противоречивых связей мысли с бытием, ее неотделимости от любого бытия...»

В общем, сон преступный, к тому же не в традициях отечественной культуры и какой-то несознательный. А главное, как был Денике меньшевиком, так и остался, но если бы только меньшевиком!.. Мы-то знаем его философский бред...

Не раз Федорович вспоминал Архипа Ивановича Куинджи, знал старика (их свел Виктор Михайлович Чернов), восхищался его мастерством и, случалось, спорил, но, разумеется, не о тонкостях живописи. Старик и не любил о ней говорить...

Архип Иванович почти за десятилетия до обеих русских революций семнадцатого года, до коих имел счастье не дожить, выработал свою точку зрения на социализм (и марксизм), энергично входивший тогда в интересы русского общества. Мудрый был старик.

«Евангельская любовь — ерунда при наличии капиталистического строя, — говаривал Архип Иванович. — Это лавочка совести...»

По мнению Архипа Ивановича, так называемый нравственный прогресс — самообман: человечество ни пяди не завоевало в морали. Ни Моисей, ни Магомет, ни Будда, ни Христос ничего в данной области не достигли: не они переделали людей, а люди переделали их на свой лад, применительно к своим удобствам и потребностям. Рабство всегда существовало и существует, произошла смена названий. Прежние рабы превратились в рабов феодальных, их сменили рабы социальные. Социализм способен устранить многие преступления, зло, может развить солидарность и любовь, но в нем присутствует фальшь, нечто мертвящее, способное остановить жизнь¹. Жизнь ведь всегда — борьба, соперничество. Талант и социализм несовместимы. Талант — это фантазия, это поиск, это работа мысли. А социализм — всегда и во всем заданность, прирученность и необходимость угождать...

Мудрый был старик, мудрый...

По-прежнему Федорович навевается в храмы и уже не таетя.

¹ Господи, как же это точно схвачено, и когда — на заре большевизма, задолго до революции!

Все лишнее, мусорно-ненужное отпадает — одна обнаженная душа и трагизм бытия, не только его дней, а вообще бытия.

Сух, жарок Федор Федорович — кости да кожа... И в глазах мұка — не вычерпать, бездонная тоска.

Русский народ — необычный народ. Этот народ — всегда жертва. На данном уровне и формировалось его сознание. Поэтому летопись России — это история преодоления рабства в себе.

Рабство — это вот что: это значит — рабы сегодня, а завтра, в свободе, хулители всего. Это в природе рабского состояния.

Самое трагичное и одновременно комичное — в том, что народ во всю свою историю в основном сам себе и сооружал тюрьму...

«Ни один человек не рождается только для себя. На каждом лежит часть ответственности перед государством и народом, и каждый должен принять на себя посильную долю.

Я старался нести свою ношу как мог, теперь ваша очередь...» — так говорил Федорович, повторяя слова Джона Лилберна.

Одна мысль заставляет товарища Чудновского терять себя и трепетать в буквальном смысле слова, всего одна: а что будет, коли развитие техники и всяческих наук приведет к заводам и фабрикам без рабочих, будет несколько инженеров и техников — и все?

Как тогда с теорией Маркса и Ленина? Какой класс будет гегемоном? Кто направит общество в новую жизнь? И самое главное — что будет без приложения диктатуры пролетариата?..

Как подумает об этом, заведет руки за спину и примется вышагивать по кабинету. И сверлит мозг мысль, сверлит... И сокрушается: не хватает знаний. Однако не теряет надежды изучить классиков философии.

Так же легко, как впадал в задумчивость, так же легко и выпадал из нее. Забеспокоился: «Бурсак на день два-три раза навевывается в тюрьму, а вчера и нынче — ни звонка, ни посещения. С чего бы это?..»

И заулыбался. Жив Шурка Косухин. Чухается в Казани в госпитале... И посерьезнел, пошли по лицу морщины. Велел покрасить сортир. Вчера покрасили, сегодня уже всякие неприличные картинки и словечки. Вспомнил одну похабную поговорку, ухмыльнулся.

По душе поговорки председателю губчека, сразу выявляют нутряное. Не выносит только двух — по причине издевательства над малым ростом. Одной крепко донимали по молодости лет, когда попадался на глаза дружкам с особой при росте и формах: «Мышь копны не боится». Ну кислота, а не поговорка! В самом мужском и гордом уязвляла!

А вторая поговорка и вовсе вгоняет в ярость — преподлейшая. По причине ядовитой обидности всегда она на задворочках памяти. Как репей, всю жизнь за собой таскает: «Худое дерево в сук растет».

Значит, кроме этого устройства, все прочее в нем и внимания не

стоит. Значит, таков он для окружающих?.. А еще болтают, поговорки — мудрость народа. Какая это мудрость?!

У Семена Григорьевича аж толстая синяя жила поперек лба вздулась.

Продолжает «говеть» он — не до баб. И сколько это время продлится, никто не ведает. Революция для всех высший закон.

Так и держит в памяти около поговорок Лизкин образ. То в сарафане, то дома в старом платье, а то больше голая: спина покатая, груди длинные, но не пустые. Эх, родненькая моя!

Вот прожил сколько! Баб и девок мял — на тыщу счет. И от всех ни одной зацепочки в сердце: поцалуи, жаркие объятия, стоны — и ни словечка в памяти, чисто и не было их. А Лизанька!.. Сотни дней было — и каждый можно представить. Господи, проворонил счастье-то! Любовь это была!.. Ушел, дурень. А как же, годов немного, а девок на свете!.. Вот тебе и «на свете»!..

Вместе бы сейчас защищали революцию. Она ж такая: глаза выцарапает за тебя, кипятком обварит, куды хошь за тобой... А энти курвы... только намусолить, нацаловать, выгоду свою поиметь... Эх, Лизанька, Лизанька... А говорунья!.. Да все ласковое, доброе, защитное для тебя...

Только дверь захлопнешь, а уж невтерпеж, цалуешь, сердце в груди обмирает. Лицо гореть начинает, губы сохнут... Спереду прижмешь к себе. Она повыше: как есть лицо в грудь ей. Сердце и сорвется, обмираешь, гладишь ее по всем местам, дуреешь. Она лифчик стащит и вывалит наружу груди. Тесно им рядышком, оттого далече торчат... Соски!.. Не знаешь, какую титьку губами мять. Споднизу такая мужская ярость начинает напирать, аж не в себе... Да за Лизку смерть примешь!.. Губами то к одной титьке, то к другой. Ей это в усладу. Постанывает — и ровно ребенку скармливает, руками наставляет к губам. Титьки гладкие, надутые, сами из себя рвутся. Кожа ровнехонькая, чистая, белая!.. И такие в размерах — ну чувалы и есть! Богатство это!

Очень радостно было вспоминать Семену Григорьевичу, что большие и как чувалы, хотя совсем не первое это в женщине. А все же мед... К тому же у Лизки так надутые — ну настоящие, для материнства. Для детишек смастерила природа, на целый выводок, чтоб не голодали, ели-пили до рыготинки.

А живот не висит, хоть и дородный, да, и овалом, а сам овал с большим замахом. И в талии — руками перехватишь, ну сойдутся пальцы.

А как нагая войдет — глаз не сведешь, про кобелиное и забудешь. Свет в комнате — такая яркая она. Плечи узкие, но не хилые, как у барышень, и не толстые силой и работой, как у баб. Ну картинка и есть... И не знаешь, на что глазеть. Ну картинка стоит. И хоть сотни раз еженная тобой, а прикасаться жаль и не хочется — до того хороша. Это как пригожее утро... А как волосы возьмет, распустит... И такая пригожая!.. Ровно из снега и льда, только горячая...

А соски уже нацалованные, накусанные ласково... набухнут, алым горят...

И противится сердце соединению — осквернение это красоты, насмешка над душой. Зачем случка? Выдумал же Создатель хреновину (Создателя помянул, а и забыл, что сам коммунист и, следовательно, неверующий).

И сколько бы ни мял, а такое чувство потом... ровно променял чудесное, Богово, прекрасное на собачество и стыдобу. Нет, сила мужская после, гордость, счастье, а в самой душе — обида на себя за скотство. Разве для того красота?..

И ничего нет: одна контрреволюция, допросы, расстрелы, кал под расстрелянными, моча... Будь она проклята, мировая контра! Однако без этого не народится счастье. Кто ж это сам дорогу уступит, свое отдаст, пусть и приграбленное? Чистить надо землю... Подчистим, дадим рабочим и крестьянам простор для новой жизни по чести и правде.

Любить станут люди, а не продавать ласки или браниться, клясть друг друга... Детей нарожают, в новых людей вырастут. Без унижений и нужды начнут разворачиваться дни.

И сильным, несгибаемым почувствовал себя после этих слов товарищ Чудновский, потер набритую башку, свел мысли на допрос. Надсадное это дело — новую жизнь ставить.

«Шингарев и Кокошкин, два экс-министра правительства Керенского, были зверски умерщвлены матросами в морском госпитале в Санкт-Петербурге, куда их перевезли из Петропавловской крепости, — напишет Локкарт. — Я близко знал обоих... Оба принадлежали к лучшему типу русских. Вся их жизнь прошла в беззаветном служении обществу... Революция развертывалась как по писаному. Ее первыми жертвами, как всегда, оказались демократы, больше всего верившие в здравый смысл народа».

Кокошкин был крупным знатоком международного права.

Андрей Иванович Шингарев родился в 1869 г. Окончил физико-математический и медицинский факультеты Московского университета. Служил земским врачом. Депутат II, III и IV Государственных дум от партии народной свободы (кадетов), одним из лидеров которой и стал.

Во Временном правительстве занимал посты министра земледелия, министра финансов. Был избран в Учредительное собрание. В ноябре семнадцатого арестован большевиками.

Он являлся одним из друзей Владимира Дмитриевича Набокова, тот и оставил о нем памятные страницы в своей книге «Временное правительство и большевистский переворот», написанной по горячим следам — весной 1918 г., — что делает книгу историческим документом первой величины.

«В конце концов, если иметь в виду, что кадетский элемент в составе Вр. Правительства олицетворялся прежде всего Миллю-

ковым, приходится сказать, что только один Шингарев был, безусловно, всей душой и до конца поддержкой и помощью лидера партии...

А правда эта заключается в том, что Шингарев всю свою жизнь оставался, по существу, тем, чем он должен был бы остаться при более нормальных условиях: русским провинциальным интеллигентом... очень способным, очень трудолюбивым, с горячим сердцем и высоким строем души, с кристально чистыми побуждениями, чрезвычайно обаятельным и симпатичным как человек...

Благодаря личным своим качествам, своей удивительной привлекательности он в Думе был одним из самых популярных, самых любимых депутатов... В партии его популярность была огромна. Если она уступала популярности Милюкова, то разве только в том смысле, что Милюков ставился выше как умственная величина, как духовный вождь и руководитель, как государственный человек, — но Шингарева больше любили...

К Керенскому, ко всему социалистическому болоту он относился отрицательно и враждебно... Гибель его в январе 1918 г. — один из самых трагических и в то же время бессмысленных эпизодов кровавой истории большевизма...»

Комитет по увековечению памяти Шингарева счел долгом в первую очередь предать огласке дневник Андрея Ивановича «Как это было»¹, написанный в Трубецком бастионе Петропавловской крепости. Дневник обрывается 5 января.

6 января Андрей Иванович был переведен в Мариинскую больницу, а в ночь на 7 января приколот штыком прямо в больничной кровати.

Выдержки из дневника Андрея Ивановича:

9 декабря 1917 г.

«Но одного я не понимаю, того, чего не мог понять никогда. Как эта вера в величайшие принципы морали или общественного устройства может совмещаться с низостью насилия над инакомыслящими, с клеветой и грязью? Тут или величайшая ложь своему собственному Богу, или безграничная глупость, или то состояние, которое английские психиатры определяют понятием «moral insanity» — нравственное помешательство, неспособное различить добро и зло, слепота и глухота к низкому, подлому, преступному».

14 декабря 1917 г.

«Равновесие было нарушено давно, и в основе русской государственности, которую недаром мы называли колоссом на глиняных

¹ См.: Как это было. Дневник А. И. Шингарева. Петропавловская крепость. 27.11.17—5.1.18. М., 1918.

ногах, лежали темные народные массы, лишенные государственной связи, понимания общественности и идеалов интеллигенции, лишенные часто даже простого патриотизма (была бы сытость. — Ю. В.). Поразительное несоответствие между верхушкой общества и его основанием.

Вот почему я всегда стоял за эволюцию, хотя она идет такими тихими шагами, а не за революцию, которая может хотя и быстро, но привести к неожиданной и невероятной катастрофе, ибо между ее интеллигентными вожаками и массами непроходимая пропасть».

Юлий Айхенвальд идет вместе с событиями. Между событиями и его отзывами на них почти нет временной паузы. Не оставляют его в покое и убийства Кокوشкина и Шингарева.

«Убили Кокوشкина и Шингарева те, кто натравливал на них темную чернь, кто, издеваясь над Россией, поправ Божеские и человеческие законы, без всякой тени права и справедливости...

Вся честная Россия, физически или морально, пришла на погребение Кокوشкина и Шингарева и дала им свое последнее целование...

Россия возвращена к первобытному хаосу. Она лежит в обломках — точно раздавленная историческая лавина. Россию разрушили...»

Навестил Федорович и Стешу-зазнобушку. Само собой, не трогал, да и как это? Отлюбил он свое, унесла Танюша в ту мерзлую яму его душу...

Флор Федорович заявился неожиданно — потянул дверь, а она и распахнулась (подумал хмуро: «В такое время — и такая беспечность»; эх, Стеша, не пошла тебе впрок наука крови и бесприютности»). Детишки возле порога на дворе играли. Его и не приметили.

Степушка тут же возилась по хозяйству. Как увидела, вспыхнула, не соображая, что и делать, неловко, совком выставила руку здороваться.

— Ой, не гостевая я! — вдруг нараспев, округло сказала и зарделась еще пуще.

Что-то живое, очень человеческое на миг оттаяло в душе Флора (нет, избави Бог, не кобелиное, нет!), и стало хорошо-хорошо. Но это лишь на краткий миг, до того краткий — и двух раз веками не моргнул.

И опять могильная глыба в душе.

Баба, конечно, после расспросов о житье-бытье, развалки Флора (он устало развалился в разбитом кресле с чердака) из благодарности так и ладится подол задрать, а чем еще другу за добро отплатить? Уж она бы обслужила, на полусогнутых ушел бы, это уж уме-

ет, такую выучку прошла, чтоб сторела эта выучка в геенне огненной!.. Вроде по делам на кухню шмыгнула, лифчик расстегнула, пуговики на кофте освободила, бери: эвон пышные какие — и назад. А Флор те пуговики и застегнул.

— Не надо, Стеша. Никогда не надо.

И сухо так губами ко лбу прикоснулся.

У Стеши и заныла душа. Приняла сердцем, как худо дорогому человеку. Не муж и мужем не будет — этого и не могло быть, — а вот друг другу — дорогие. И заплакала, горестно плакала... как по покойнику...

А Флор и не утешал. Только сбледнел, аж синева под глазами засветила.

И, уж не стесняясь, при нем подштанники наверх подтащила — мешают (приспустила на всякий случай — задерет, а там — не дай Бог! — эти самые синие солдатские подштанники на тесемках).

Хорошо стало пахнуть от Стешы — теплом бабьим, здоровым потом, ухоженностью и уверенностью (уверенность тоже пахнет — это здоровый запах женщины, которую не травят страхи).

Стеша принесла детскую скамеечку, тесно села к Флору и голову ему на колени положила. Ох долго сидели! Потому что во всем свете это была единственная душа, которая скорбела вместе с Флором не краешком чувства, а всей душой — горем исходила Стеша.

А потом заспешил дорогой гость.

Ведь он пришел глянуть, как устроилась Стеша, нужна ли помощь, не болеют ли...

А детишки уж вернулись, ноги его ручонками обвили, целуют его то в щеку, то в руку. Личики кверху задрали — чисто подсолнухи. Вот тут Флор Федорович и заплакал. Скупое так побежали слезы. Хорошо, Стеша не заметила.

С харчами, верно, не шибко, но жить можно.

А за одеждой всех повел на рынок. Много квартир разграблено, да и еда нужна, — в общем, полон рынок барахла. Три Фэ сразу на всех и накупил, да с запасом. В общем, нет бабе надобности передком зарабатывать, а она и сама не пойдет боле. В Совете помещение убирает, полагается ей за это паек, и на детишек надбавку дают. Шлюха? Нет, это уж голову и руки рубите, дорогие товарищи!..

Вернулись с рынка, аж целый пуд барахла. Детишки рады, ползают, примеряют. Стеша — на колени, руку ему целовать — и в слезы. Флор Федорович едва успокоил.

Не зная почему, а простился с ней, как навсегда прощаются. Таню видит: лицо, глаза, шепчет что-то ему... Значит, пора...

У всех жизнь налаживается, вот только он... у Господа в передней...

Не может себя понять Федорович. Как схоронил Таню — все мысли о детишках. Очень хочется иметь. И раньше любил, в самые неистовые революционные годы тянуло баловать, играть, но разве до того было.

А теперь, после гибели Тани, желание иметь детей вдруг пришло характер страсти. Эх, ежели б без женщин получались малыши!

Нет, он детей любит. Они ему не для спокойной старости: прокорма, безбедного угла. Он бы воспитывал их, сплетал сказки, берег — уж он-то навидался, насмотрелся!.. Читал бы им книги, учил языкам, географии, истории, радовались бы солнцу, птицам, босиком бы бегали...

Но на пути к детям... женщина. Без нее дети невозможны. Вот так-то... А Федорович не хочет видеть возле себя женщину, это уже навсегда.

Ни о чем не жалел Федорович — нет только фотографии Татьяны. Так быстро это... словно молния из-за тучи.

За что так осерчал Ленин на Николая Александровича Рожкова?

Часть ответа можно отыскать в предисловии Рожкова к сборнику материалов и документов «Октябрьский переворот» (Пг., «Новая эпоха», 1918), составленному А. Л. Поповым.

Рожков подчеркивал, что российский пролетариат, на который делают ставку ленинцы, «в массе своей отличался всегда максималистскими тенденциями и склонностью к анархизму».

«В то же время дезорганизация, упадок дисциплины, — пишет Рожков, — вскрывали полностью социальную природу армии прежде всего в тылу, в гарнизонах, где солдаты, становясь все менее пригодными к фронтовой службе (любой ценой саботировали отправку на фронт. — Ю. В.), все более превращались в деклассированную толпу анархически настроенных санкюлотов, жаждущих мира во что бы то ни стало (цена значения не имеет; это скоро и докажет Брестский мир. — Ю. В.)...»

Так большевики приобрели новую силу, новую опору для своих действий: к рабочим и матросам прибавились в главной своей массе солдаты. С помощью этих трех сил и произведен был переворот 25 октября...

Во всем этом нет ничего удивительного: все эти интересы и настроения — простое отражение неподготовленности отсталой страны к опытам непосредственного водворения социализма. Нужна, неизбежна, по крайней мере на десятилетие или на два, школа организации и классовой борьбы... для воспитания трудящихся... а не легкомысленная и бесплодная погоня за собственной тенью...

Правду сказать, разгон Учредительного собрания был большевикам сначала нелегко, несколько даже страшен: недаром они, подготавливая октябрьский переворот, объявляли себя горячими защитниками его скорейшего созыва и неосновательно обвиняли последнее, тусклое и бездарное, правительство Керенского в стремлении его отсрочить...»

Рожков пишет о преступлении, содеянном большевиками 25 октября. Зная, что на II съезде Советов власть неизбежно будет им (съездом) принята на себя и в результате произойдет коренная перестройка правительства представителями новых революционных сил, неизмеримо ближе стоящих к низам города и деревни, Ленин организовал переворот, дабы, так сказать, выложить его перед делегатами съезда: вот вам наша власть — и утверждайте ее, другого вам не дано.

И произвел переворот ровно за сутки до открытия съезда — это уже само по себе вызов всем другим силам революции.

Рожков считал, что этим была убита демократия, подсечены ее живые силы; не образовался союз демократических сил, способных обеспечить жизнеспособность демократической власти. Вместо этого союза, за который надо было сражаться, отстаивать его, укрепить всеми средствами, состоялась узурпация власти — захват власти незначительным отрядом социал-демократии, исповедующим диктатуру как единственный метод строительства новой жизни. Все прочие демократические силы были таким образом изолированы, поставлены вне власти. Произошло удушение демократии...

Николай Александрович Рожков был старше Ленина на два года; приват-доцент Московского университета, защитил магистерскую диссертацию «Сельское хозяйство Московской Руси в XVI веке». В 1905 г. вступил в РСДРП. Сотрудничал в ряде большевистских изданий, был редактором партийной газеты. С 1906 г. находился на нелегальном положении. В 1910-м (после двух лет тюремного заключения) сослан в Восточную Сибирь.

В ссылке примкнул к меньшевикам.

Во Временном правительстве второго состава занимал пост товарища (заместителя) министра почты и телеграфа.

В начале 20-х годов дважды арестовывался советским правительством и в конце концов сослан (в канун второго мозгового удара Ленина).

Автор свыше 300 научных работ. В последние годы жизни порвал с меньшевизмом. Скончался в феврале 1927 г. 59 лет.

Талантливый публицист, он весьма досаждал главному вождю большевистского крыла социал-демократии. Среди тех социал-демократов, кто беспощадно критиковал ленинский авантюризм (естественно, с точки зрения правоверного марксизма), а это были такие столпы марксизма, как Плеханов, Мартов, Мартынов, Николай Александрович Рожков неизменно привлекал внимание. Образованность ученого, искусное перо, недюжинное знание истории и марксизма превращали его слово в опасное оружие. К нему прислушивались не только оппозиционные элементы вне социал-демократии, но и в большевистской среде. Его выступления подрывали монополию на мысль и безоговорочную правоту Ленина.

Недаром Ленин подверг жесткой и весьма подробной критике выступления Рожкова в партийной печати, присылаемые еще из ссылки (в столь недавнее, еще дореволюционное время). Не заме-

чать выступлений Рожкова было невозможно без ущерба для всего ленинского дела. Рожков умел воздействовать словом — и диктатор не мог оставлять это просто так, без ответа. Теперь, когда власть вождя не ограничивалась лишь итогами голосования на партийных конференциях и совещаниях, он мог наконец принять меры.

«Взят под стражу и выслан» — эти слова теплили сердце диктатора даже на пороге небытия. Он знал, догадывался о своем состоянии; еще раньше, при первых сигналах неблагополучия, сокрушался, что это звонок уже «оттуда»...

И, зная это, смертельно болея и страдая, испытывал, однако, радость от совершившейся расправы.

«Именем революции!..»

Но обратимся к тому предисловию Рожкова, оно не дочитано до конца — дочитаем:

«...Старый наш режим был именно поэтому авантюристичен насквозь: авантюрой была и внешняя и внутренняя его политика. Авантюрой были предприятие на Ялу (попытка проникновения в Корею. — Ю. В.) и война с Японией, авантюрой являлась и нынешняя война без внутренних реформ и технической подготовки, авантюристами были и Столыпин, и Штюрмер, и Протопопов, и Распутин. Это понятно: все равно приходилось погибать, пробовая, не вывезет ли кривая.

Но и в революции не раз уже торжествовал авантюризм...

И... в Бресте повторилось подобное, и даже худшее. Опять рассчитывали только на наилучшую из всех возможностей — на мировую социалистическую революцию — и, ослепленные этой блестящей перспективой, решили попытать счастья. А потом поползли, как побитая собака с прижатым хвостом, лизать руку немецкому империализму. Катастрофа получилась еще более ужасная — и материальная, и моральная.

И разве это в существующем режиме случайность?

Разве 25 октября было тоже не авантюра? Разве все эти скороспелые, необдуманые, легкомысленные опыты якобы социализма, на деле приводившие к мещанской, буржуазной дележке и земли, и фабрик, и материальных благ, к довершению хозяйственной и финансовой разрухи, к гражданской войне и к голоду, разве разгон Учредительного собрания, отрицание Стокгольмской конференции, игнорирование союзников, сама поездка в Брест представитель России, оставшейся одинокой перед пастью немецкой империалистической акулы, разве все это безумие не сплошная авантюра? Толпа, ослепленная успехом 25 октября и ошеломляющими обещаниями «немедленного» мира и «счастья на земле через несколько недель», подняла на щит победителей октябрьской авантюры. Можно ли обвинять малосознательную, подвластную слепым инстинктам массу?

Конечно, нет: она уже платит за это слишком дорогой ценой. Она несет на себе старое проклятие царизма — экономическую и политическую отсталость, неорганизованность и господство

слепого инстинкта, не просветленного классовой сознательностью.

Но вожди, но сознательные элементы большевизма должны быть выше этого. Они должны отбросить то чудовищное извращение Маркса и марксизма, которое дает им наглость заявлять, будто Маркс считал социализм возможным и при отсталых формах капитализма, лишь бы было всеобщее крушение, огромная разруха. Они обязаны порвать с авантюризмом.

История делает русской революции последнее, самое страшное предостережение: она учит, что только объединение сил всей демократии может спасти революцию, свободу, родину... (выделено мною. — Ю. В.).

Наконец, только демократические учреждения способны дать трудящимся массам политическое воспитание...

Таким образом, в конечном результате мы видим перед собой основную, главную причину, влиявшую на ход революции; это некультурность, малосознательность, стихийность масс. Эта причина не случайность, конечно, и не вина масс. Она — их беда, несчастье России, наследие слишком долго тяготившего над нею режима бесправия и произвола, душившего все проявления организованности и сознательности трудящихся. Массы, как известно, учатся лучше всего опытом, предметными уроками. Такой урок теперь дан большевистской диктатурой: она учит, как не следует делать социалистическую революцию, и, надо думать, отучит российский пролетариат от незрелого, скороспелого максимализма.

С темного, ночного утра мотается Семен Григорьевич (не дает себе спуску аж с дня переворота) — столько выездов, арестов, очных ставок, да и с расстрелами мороки. Своим именем решать, кому жить, кому нет: ответственность возложила на него революция. Неделями, месяцами прет через усталость, недосыпы, бдения. И все вроде сходило, а вот нынче... Ноги не несут, чисто свинцом налили. Руки? Руки-то и вовсе: дрожь в пальцах как с перепоя. И в башке — свист, муть. Что за хреновина?

По-стариковски уперся в диван ладошками, по-стариковски закричал, встал. Сгорбленно нащупал выключатель. Свет резанул глаза. Какой абажур? На витом запыленном проводе одинокая лампочка. Засипел: «Рано, Семен, сдавать начал. Только-только революция себя утверждает. Бойцы нужны. Сволочь, отребье кругом...». Потер грудь под гимнастеркой. Нет, не ожирела и не усохла его грудь силача: широкая мускулистая под светловатой шерстью. Грудь особенно ею богата. Поначалу и не было — как у всех, не много волос по телу. А как сошелся с Лизкой — года через три здорово обволосел. Надо полагать, связано это напрямую с половыми отношениями. И сплюнул: ненавидит этот термин: половые отношения — и это о любви, о самом дорогом? Ровно о случке: по-ло-вые от-но-ше-ния! Тьфу!

Послушал себя: сердце вроде работает и пота по обыкновению нет. Сухой, поджатый, а вот не в себе. Ой ли, не тиф? Ну нет сна... почитай, третьи сутки. Подремлет часок-другой — и в заботы. Это негоже. Походил (босиком, разумеется). Высосал папиросу. Громко, на всю комнату причмокивал. Что-то надо делать, ну куды без сна? Должен отдохнуть: сила, сноровка, хитрость нужны спозаранку. На сегодня эвон какая роспись трудов: один обыск у Архангельского чего стоит. Где он, гад, валюту и золото держит? Жаль, пытать нельзя. Таких бы... А доходный дом на Амурской? Намедни такой притон шуранули! Оружие, золото, беляки, воры, шалавы — во все стороны от них связи. Всех выгрести — на сотню душ потянет. Там за ними и убийства, столько нашей рабочей крови — только копни. Я их в такие камеры — сами все напишут. А Рогова, Кумина — завтра в расход! Падлы!..

Третью ночь ворочается, жмурит глаза, не шевелится, считает до тыщи — ну все испытал, а сна нет. Что с тобой, Семен?..

Заставить себя заснуть — боец ты партии или нет?! Сбил подушку. Улегся. Пошарил рукой, нащупал выключатель, погасил свет. Долго лежал. А нет сна.

С четверть часа крепился, приказывал себе: «Спать! Спать!..»

Что за напасть! Потянулся, пошарил по стенке, нащупал выключатель. Опять свет больно стеганул глаза. Посидел, потер лоб, щеки. Ужо и морщин-то! С этим добром жизнь поспекает. Нет чтобы красы прибавить, росту на пару вершков... Потом постоял у окна — черный выем. Покурил, покашлял. Не пол, а лед, эвон как коченеют ноги. Оглянулся на диван: ежели не спать — не потянет работу, а без революции ему нет жизни, на кой она? Непременно надо заснуть. Решительно прошлепал к шкафу с папками приказов, инструкций, ведомостями и последними речами Ленина. Подсел (и не заметил, как горько вздохнул). Там, на нижней полке, литровая банка отличного спирта (запасец на непредвиденный случай; нет, сам не прикладывает: пока революция и смертный бой с контрой — ни-ни!). Отвинтил крышку. Плеснул в граненый стаканчик (там же держал — а пригодится)... Матюкнулся беззлобно. Пришаркивая, пошел к столу, разбавил из графина — и залпом! У-у, стерва! Тихо выматерился в рукав: изжога замучила, а запржде не было, все мог глотать и есть. Эх, Сема... Не успел рукавом нанюхаться (вместо закуски), а уже повело. С недоода — брюхо-то пустое, дыра и есть. Пол уже вроде нетверд. Свет помягчел да подобрел, и руки ровно не свои. И сжатость, напряженность в теле отпали. Озорует спирт.

Вернулся. Завинтил крышку. Затворил шкаф. Чернота в окне теперь вроде без угроз. Окно как окно, без злобы.

Повеселел: теперь должён заснуть, верное лекарство. Вон как выходит: и против простуды, и против бессонницы, и для любви горячительное. Вернулся к дивану. На желтоватой, затертой коже — углубление — в аккурат по фигуре промял. Сколько ночей на нем. Улыбнулся себе в том углублении. Представил — и улыбнулся.

Свет не стал трогать. Пуговики на гимнастерке расстегнул до упора. Лег. Руки за голову завел, вздохнул и притих. Спал всегда одетый, на табуретке — маузер и две ручные бомбы. Всегда помнил: одна для себя, коли возьмут в кольцо и расстреляет патроны. На перекладинах под сиденьем табуретки проветривались портянки. На ночь расправлял — не каждый день можно постирать. Тут же твердыми, несминаемыми голенищами (к полу) стояли яловые сапоги. Трофей, в бою взял. Свои до дыр стер, а эти... Дней десять назад... Залег, курва, и на все предложения сдаться — похабщина. Губы беззвучно набрали матерную брань...

Не заметил, как и веки начали слипаться, однако нет еще забытья. Разные лица да рожи в памяти кувыркаются, свое орут, доказывают, на скандал срываются. А после и Лизка выплыла — она уже в полном одиночестве, все другое отступило, стусевалось. Будто луна в чистом небе. За образец женщины и товарища она у него.

Въелся взглядом: высвечивает без лифчика-подпруги. Хоть и простецкого звания, а трусы, сорочка всегда господские, с оборочками, кружевами нарядными. Вгляделся позорче... Груды опали к животу (ночное видение преувеличило их — они аж прильнули к пупку), сметанно белые и налитые. Нет, не дряблые. Тыщи раз мял их. Эвон, ленивые, важные. И внезапно принял их тяжесть — ну ровно сейчас держит, ишь уперлась в ладонь!

И развернул свою Лизку. Там, в памяти, спиной стоит. В теле у него зазноба. Зад круто вверх на бока лезет... выпирает — даже в дреме сверкнул бело-бело. Семен Григорьевич аж прислеп. И хоть глаза прикрыты — зажмурился, веки задрожали часто-часто.

Обволок ее всю. По-мужски взял... ох!..

Соскучился-то, Господи!

Хмель уже брал свое и на сон смежал веки. И Лизка смутно проглядывала за сгущающейся дымкой сознания.

Зазноба как зазноба, ну в грудях шибко наградная, что есть, то есть. Ну зад шарами — да ведь сколько таких! В России и штоб тощие, без размерностей и упругости?.. Да, почитай, через одну в фасоне — при всех бабьих прелестях да выгодах. В том ли узелок да дело? Он что, по весу и величине зада и доек бабу берет?! Ведь чувство! А чувство, известно, не пудами живого мяса меряют. Да таких десятками мог иметь — только отбивайся!..

Вот лежу и сквозь сон ей улыбки шлю — это что?! Соскучился — вот истинный крест!.. Всё, да не всё. Тут другое главное: от тоски ее в памяти держит и улыбки, приветы шлет — от тоски!!!

Семен Григорьевич и не подозревал, до какой степени он прав. Он звал Лизку улыбкой, звал все месяцы, тоскуя сердечно. Да не кобелиное взыграло! Да любит он ее, любит — потому и забыть не в силах. Пробовал — пустой номер...

Во всей голове было уже смешение от сна. И прежний Чуднов-

ский, который ничего не ведал о любви и с издевкой относился к таким материям (брал сучье, и вся недолга), удивлялся: чтоб он — и тоска, да ишо по бабе, да старбй! Не желание, а тоска! Ну и ну!..

Не кончен наш счет с «Известиями» лет революции. Не прочитана статья наркома здравоохранения Семашко — те самые четыре столбца текста. И так, вот тот номер от 25 января 1924 г., все четыре столбца передо мной.

«Вскрытие тела Владимира Ильича подтвердило в точности те предположения, которые делали врачи при жизни, разве только с одной поправкой: болезненный процесс пошел гораздо дальше, чем предполагалось раньше.

Основной болезни Владимира Ильича считали затвердение стенок сосудов (артериосклероз). Вскрытие подтвердило, что это была основная причина болезни и смерти Владимира Ильича. Основная артерия, которая питает примерно три четверти всего мозга, — «внутренняя сонная артерия»... при самом входе в череп оказалась настолько затверделой, что стенки ее при поперечном перерезе не спадались, значительно закрывали просвет, а в некоторых местах настолько были пропитаны известью, что пинцетом ударяли по ним, как по кости.

Если уже основная артерия при самом своем выходе в череп так изменилась, то становится понятным, каково было питание всего мозга и каково было состояние других мозговых артерий, ее веточек: они тоже были поражены — одни больше, другие меньше. Например, отдельные веточки артерий, питающие особенно важный центр движения, речи, в левом полушарии оказались настолько измененными, что представляли собой не трубочки, а шнуры: стенки настолько утолщились, что закрыли совсем просвет. Перебирали каждую артерию, которую клиницисты предполагали измененной, и находили ее или совсем не пропускавшей кровь, или едва пропускавшей.

На всем левом полушарии мозга оказались кисты, то есть размягченные участки мозга; закупоренные сосуды не доставляли к этим участкам кровь, питание их нарушалось, происходило размягчение и распадение мозговой ткани.

Такая же киста была констатирована и в правом полушарии.

Склероз был обнаружен и в некоторых других органах: в нисходящей части аорты, на клапанах сердца, отчасти в печени; но степень развития склероза этих органов не могла идти ни в какое сравнение с развитием склероза в артериях мозга: в мозгу он пошел гораздо дальше, вплоть до обызвествления сосудов.

Отсюда же понятна и безуспешность лечения: ничто не может восстановить эластичность сосудов, особенно если она дошла уже до степени обызвествления, до каменного состояния; не пять и не десять лет, очевидно, этим болел Владимир Ильич. И когда артерии, одна за другой, отказывались работать, превращаясь в шнуры,

нельзя было ничего поделывать: они «отработались», «износились», «использовались»... С такими сосудами мозга жить нельзя.

Таким образом, вскрытие тела Владимира Ильича показало, что нечеловеческая умственная работа, жизнь в постоянных волнениях и непрерывном беспокойстве привели нашего вождя к преждевременной смерти¹.

Николай Александрович Семашко (1874—1949) — дитя орловского дворянина, племянник российского социал-демократа № 1 Плеханова.

С ним, Георгием Валентиновичем Плехановым (точнее, за ним), вживали социал-демократию на российские просторы Игнатович, Засулич, Дейч, Аксельрод, но самым первым, разумеется, был Георгий Валентинович. Помните швейцарскую «Группу освобождения труда»? Ее как раз и образовала эта пятерка «первопроходцев». На экзаменах по марксизму мы, слушатели Военно-воздушной инженерной академии, по совету нашего лектора запоминали ее состав по начальным буквам фамилий, своего рода акrostих, если первая буква «п» (от Плеханова). Уже ни за что не забудете. «Пятерка» на экзаменах за ответ на данный вопрос обеспечена.

Существует обширная литература о болезни Ленина².

Состояние вождя изменялось то к лучшему, то внезапно угрожающе ухудшалось. Он учился сидеть, учился передвигаться, заново обучался речи, освоив свое знаменитое «вот-вот».

В декабре 1923-го даже сумел пробежать взглядом статью Троцкого в «Правде». Однако преодолеть подобную степень склероза не мог уже ни один человек. Склероз омертвил еще живую ткань организма. Можно лишь поражаться, как организму еще хватало способности жить столь долго почти с полностью нарушенным кровообращением, и не только мозга.

Ленин был наделен огромной природной энергией и волей³.

¹ 26 января 1924 г. на траурном заседании съезда Советов выступит Каменев:

«...Наш вождь погиб потому, что не только кровь свою отдал по каплям, но и мозг свой разбросал с неслыханной щедростью, без всякой экономии...»

² Вся эта патолого-анатомическая «литература» — глумление чистой воды и людей недостойна. Страсть к ней публики отдает и жестокостью, и каким-то поражением чувства обыкновенной порядочности.

³ Стоматолог Ленина, В. С. Юделович, писал:

«Вспоминая о зубах В. И. Ленина, у меня появилась мысль, нельзя ли по конфигурации зубов судить о характере человека... И если, в частности, говорить о зубах В. И., то его зубы крепкие по конструкции, желтого цвета

Соратники звали его за глаза «стариком» (и не только соратники — об этом упоминает в своем «Романе без вранья» и Мариенгоф), но со стариком у Ленина не было ничего общего, кроме старшинства в большевизме со всей громадой лет, отданной его утверждению.

Склероз отнял жизнь, но умер Ленин, даже приблизительно не исчерпав жизненной энергии, не испытывая ни малейшей усталости от жизни — этого первого свидетельства старости. Склероз свалил человека, прокаленного идеей борьбы, не знающего усталости, страха и сомнений. Он жил во имя идеи, не знал жизни вне идеи и умер с идеей борьбы за освобождение трудового человечества от капиталистического гнета.

Освобождение людей от рабства денег, счастье людей труда составляли единственный и окончательный смысл его бытия. Ничего другого он не знал и знать не хотел. Все делал ради главной идеи — победы большевизма.

Всегда большевизм!

Только большевизм!

Нравится кому-то или нет, но факт остается фактом: политиком (не философом, не мудрецом) Ленин был высшего порядка. На этом поприще равных ему, пожалуй, и нет в российской истории. И еще он был искуснейшим организатором. Тут тоже равных ему не сыскать.

Оживи Ленин, думаю, вряд ли он продолжил бы политическую деятельность и яростное служение своей утопии.

Тогда он уже нес в себе понимание, что за «материя» люди. Он не мог не осознать, что люди — та порода, которую не сокрушит ни одна революция. Никогда.

Ведь они уже один раз распяли своего Бога.

А после это делали с более или менее правильным постоянством еще со множеством достойнейших своих сынов — поистине святых.

И никакая революция, ничто эту породу не сокрушит и не изменит.

Думаю, что ясной частью своего мозга он вынес глубочайшее отвращение и к своему окружению — столь типичному для людей, но особенно политиков.

Но скалы этого прозрения омывают жаркие моря крови...

Диктатор (именно диктатор: он ведь являлся вождем диктатуры пролетариата, вообще военного насилия) трезво оценивал свое

(по расцветке), в общем правильные по форме, расположению и смыканию. Верхние резцы — широкие (ширина режущего края почти равна длине коронки зуба), с сильно развитым режущим краем, загнутым внутрь (к нёбу). И зубы его, без сомнения, прекрасно гармонировали с общим впечатлением прямоты, твердости и силы характера».

состояние и не исключал мозгового удара. Угроза унижительной беспомощности вынудила его обратиться к Сталину.

По свидетельству М. И. Ульяновой, «Ленин взял со Сталина слово, что в данном случае тот поможет ему достать и даст цианистого калия... Сталин обещал».

Предчувствие не обмануло умирающего диктатора, однако по прошествии времени его состояние улучшилось. Сталину это дало повод заявить, что «время исполнить его (Ленина. — Ю. В.) просьбу еще не пришло»¹.

Сталин мог не беспокоиться. Он знал: Ленин обречен, надо лишь запастись терпением. Впрочем, такой Ленин не представлял для него угрозы и живой.

Кстати, Троцкий писал: «Уже при жизни Ленина Сталин вел против него подкоп, осторожно распространяя через своих агентов слух, что Ленин — умственный инвалид, не разбирается в положении и проч. ...»²

Ленин, пишет М. И. Ульянова, знал Сталина «за человека твердого, стального, чуждого всякой сентиментальности. Больше ему не к кому было обратиться с такого рода просьбой».

Свидетельство Ульяновой примечательно именно тем, что дает внезапно яркое и поражающее выпуклое видение и Ленина и Сталина: кого главный диктатор продвигал к вершине власти, что вообще считал главным в революционере-коммунисте. Это и дает понимание, кто же такой Сталин и кто ему покровительствовал.

Обнаженнее выставить Сталина уже невозможно — все самое существенное здесь, ничто от глаз не утаивается, впрочем как и в самом «гении революции» — Ленине.

Прокишие в крови кумиры «идейных» людей, «совесть человечества», толкователи всех формул счастья человечества, единственные и непогрешимые. И близким к омертвлению мозгом Ленин продолжал вычислять неземную благодетельность всеподавляющей мощи партии. Весь он, до самых последних минут еще не замутненного параличом сознания, нацелен на террор, постижение блага через принуждения и насилия. Узкий, замкнутый на строгой неизменности центральных формул, непоколебимо убежденный в назначении вправлять человечество в заданные формы жизни, в праве отсекал все, что не уместается в данные формы, источающий одну лишь непримиримость, презирающий любую религиозность, извращенно-коварный в приемах борьбы, обрекающий на холод и замерзание любое несогласие, Ленин восторженно водружался огромной частью человечества в золото икон и портретов.

¹ «Известия ЦК КПСС», 1989, № 12, с. 197—198.

² Именно поэтому сталинские «агенты» накануне обсуждения «Письма к съезду» нашептывали: «Это не вождь говорит, это болезнь вождя говорит». И съезд доказал свою ленинскую сущность, «внял» последнему обращению вождя...

Ежели он и признавал какие-то просчеты за собой, то лишь с одной оговоркой: наново крепче и действеннее приложить ограничения, принуждение, террор. Ни на миг он не отказывался от целей учения и диктатуры как основного орудия достижения цели. Не политическая наука, а прикладная механика.

Как подлинный диктатор, он не ведал раскаяний, душевной боли, чувства вины. Он жег и жег жизни. Их огонь освещал ему путь, миллион жизней за миллионом...

Из всей мудрости его слов и дел неопровержимо следует примат крови над всем. Во имя утопии пускать ее в неограниченном количестве. Утопия выше человека, выше истории и культуры человечества, ибо только в ней счастье людей.

Это уже и не доктрина, и даже не утопия. Это приговор человечеству.

По пальцам можно счесть тех, кто знал Ленина близко в самые роковые дни революции и Гражданской войны. Среди них, безусловно, Троцкий.

«Он (Ленин. — Ю. В.) был очень смешлив, — пишет Троцкий, — особенно когда уставал. Это в нем была детская черта. В этом мужественнейшем из людей вообще были детские черты... Ленин чаще всего бывал весел...»

Троцкий мог как угодно клясть судьбу, но свое дело, дело жизни, он исполнил. Это дело — революция. Страстно, гневно, иступленно, кроваво он отстоял ее.

Для подобных личностей все вне такого действия не настоящее. Троцкий мужественно вел себя в годы революции. Враги боялись его и знали — это первое и высшее свидетельство его заслуг.

Разумом и волей двоих людей революция взяла верх.

Двое творят главное дело, равного мир не знал. На их плечах лежал весь груз забот, борьбы, мысли. Но победа достается мелкой своре честолюбцев. Великаны борьбы укрощены. Один — в мавзолее, другой — в бегах, после — в могиле.

«Революция есть неистовое вдохновение истории». Троцкий был поэтом революции. Кровь, рвы с трупами, яростный напор красных армий, поражения классового врага — он видел только уничтожение великого несовершенства в устройстве общества, искоренение несправедливости, власти денег, рабства простых людей, навечно поставленных в положение слуг пронирыливых людей с деньгами.

Почему деньги, капитал должны давать право управлять жизнью, становиться над другими людьми?..

Троцкий был честолюбив, как и все вожди всех времен, но революцию он ставил выше себя. Это было его божество. Среди засушенных догмами, параграфами, конференциями крокодилов рево-

людии он являлся единственной эмоциональной, порывистой душой. Он был узок, как узко пространство большевизма, но он оставался живым человеком, не ходячей прокламацией или партийным завистником. Он верил в сокрушительный ход истории. Все это можно отнести и к Ленину, но Ленин был крупнее. И к чести Троцкого, он никогда этого не оспаривал.

Стремительно вырос он около Ленина, поднялся великаном над всей Россией и так же стремительно угас, оставив по себе незаслуженные (среди большевиков) ненависть и презрение.

Ленину и Троцкому революция обязана своим появлением, своей победой. Они создали новое государство. Все прочие оказались лишь эпигонами, порой откровенно жалкими. Эти два человека отдали революции все силы и пали.

Без них могло быть восстание, бунт, мятеж, но не победа революции. И уж никогда без них не появилась бы советская Россия.

Их уже так давно нет, но до сих пор не улягутся над просторами России черные и злые вихри их дел.

Дел во имя справедливости и Добра.

Благодаря революции, благодаря им, вождям разрушения и светлой нови, перевернулось, сдвинулось, исказилось, исчезло, стерлось различие между Добром и Злом. Волчье опустилось в души людей.

И существует отныне только одно оправдание всему: необходимость твоей жизни, а все прочее не имеет значения, ради этого может и должно приноситься в жертву все, что угодно. Совершенно все!

И мечется людское стадо, не ведает, куда прибиться, во что верить. Все смешалось в сознании, и уже имеет значение лишь одно: кто даст кусок хлеба. А все прочее (пусть величиной с мир) значения не имеет. Пусть вообще не будет мира — важен этот твой кусок...

Опустошены сердца. Утрачена вера. Поругана земля. Страх и холопство перекосили сознание людей... И это тоже каиново дело тех октябрьских дней...

И никто не верит в рассвет, не хочет рассвета. Ужаться бы в прошлое, любое прошлое, — там был кусок...

Вот воспоминания разных людей о Ленине.

Скуласт. Крутолоб. Вокруг лысины остатки рыжеватых волос. Постоянно шурится: едва ли не всю жизнь страдал близорукостью, но очки не носил. — очень стеснялся.

Говорит быстро, без колебаний и сомнений. Понимает с полуслова и поэтому почти всегда перебивает собеседника, обращаясь к сути. Жесты скупые, но уверенные и тоже быстрые. И ходит тоже

быстро, энергично. По привычке ус гладит указательным пальцем. Если расположен к человеку, задерживает в пожатии руку. Троцкий отмечает его постоянную склонность к юмору и шутке.

Шутить он умел.

Карл Маркс умер в неполные 65 лет — 14 марта 1883 г. (Ленину тогда шел 13-й год). Автор этой книги навещал могилу родителя научного коммунизма в Лондоне. Обычный бело-серый камень...

Через неполные 41 год — 21 января 1924 г. — в 18 часов 50 минут смерть настигла Ленина.

Лопнули струны движения, оборвались, зависли несращенными концами... Дальше все катилось по инерции. Потух мозг созидания новой жизни через насилие.

Все!

«Когда я вбежал в комнату Ильича, заставленную лекарствами, полную докторов, — писал в годовщину смерти диктатора Бухарин, — Ильич делал последний вздох. Его лицо откинулось назад, страшно побледнело, раздался хрип, рука повисла. Ильича, Ильича не стало».

Неправда, он есть.

Частицы его сознания бесконечно растворены в людях, ибо он выразил их устремления. Он ничего своего не добавил. Он только подслушал, что думает народ, о чем мечтает, — и с холодной расчетливостью воплотил это в жизнь. Поэтому он (Ленин) всегда есть. Пока есть русский народ с его мечтой о лучшей доле, Ленин нетлен.

Глава XIII

СМЕРТЬ ВОЖДЯ

Троцкий писал¹:

«Сам Ленин считался крепышом, и здоровье его казалось одним из несокрушимых устоев революции. Он был неизменно активен, бдителен, ровен, весел. Только изредка я подмечал тревожные симптомы. В период первого конгресса Коминтерна он поразил меня усталым видом, неровным голосом, улыбкой больного. Я не раз говорил ему, что он слишком расходует себя на второстепенные дела. Он соглашался, но иначе не мог. Иногда жаловался — всегда мимоходом, чуть застенчиво — на головные боли. Но две-три недели отдыха восстанавливали его. Казалось, что Ленину не будет износа.

В конце 1921 г. состояние его ухудшилось. 7 декабря он извещал членов политбюро запиской: «Уезжаю сегодня. Несмотря на уменьшение мною порции работы и увеличение порции отдыха за последние дни, бессонница чертовски усилилась. Боюсь, не смогу докладывать ни на партконференции, ни на съезде Советов».

Значительную часть времени Ленин стал проводить в деревне под Москвой (в Горках — Ю. В.)...

Состояние здоровья его продолжало ухудшаться. В марте (это уже 1922 г. — Ю. В.) усилились головные боли. Врачи не нашли, однако, никаких органических поражений и предписали длительный отдых. Ленин безвыездно поселился в подмосковной деревне. Здесь в начале мая его и настиг первый удар...

«Только и есть два исправных сердца, — говорил Льву Давидовичу профессор Гетье, — это у Владимира Ильича да у вас. С такими сердцами до ста лет жить». Исследования иностранных врачей подтвердили, что два сердца из всех ими выслушанных в

¹ Троцкий Л. Моя жизнь. Опыт автобиографии. Т. 2. М., «Книга», 1990, с. 206—208.

Москве работают на редкость хорошо: это сердца Ленина и Троцкого. Когда в здоровье Ленина произошел внезапный для широких кругов поворот, он воспринимался как сдвиг в самой революции...»

Итак, первые серьезные признаки сосудистого поражения дали о себе знать после июня 1921 г. Предельные обострения (с угрозой жизни) произошли 25—27 мая 1922 г. и 10 марта 1923 г.

Понимание состояния Главного Октябрьского Вождя имеет принципиальное значение: действительно ли за него говорила болезнь, как это утверждал за спиной Ленина «чудный грузин», или главный вождь сохранял основные свои качества? Ведь именно разложенный болезнью Ленин наговаривает завещание партии и некоторые статьи (скорее заметки), пытаясь влиять и на обстановку в партии. В эти месяцы происходит неожиданно злое столкновение со Сталиным, и именно в эти месяцы Ленина посещает мысль о том, какую опасность представляет бюрократизация власти, в том числе и партии, а это ведь один из главных упреков и Троцкого.

М. И. Ульянова рассказывала:

«Зимами 20—21, 21—22 (гг.) В. И. (Владимир Ильич. — Ю. В.) чувствовал себя плохо. Головные боли, потеря работоспособности сильно беспокоили его. Не знаю точно когда, но как-то в этот период В. И. сказал Сталину, что он, вероятно, кончит параличом, и взял со Сталина слово, что в этом случае тот поможет ему достать и даст цианистого калия. Сталин обещал. Почему В. И. обратился с этой просьбой к Сталину? Потому что он знал его за человека твердого, стального, чуждого всякой сентиментальности. Больше ему не к кому было обратиться с такого рода просьбой.

С той же просьбой обратился В. И. к Сталину в мае 1922 г. после первого удара. В. И. решил тогда, что все кончено для него, и потребовал, чтобы к нему вызвали на самый короткий срок Сталина. Эта просьба была настолько настойчива, что ему не решились отказать. Сталин пробыл у В. И. действительно минут 5, не больше...»¹

Приступы 25—27 мая 1922 г. влекут за собой утрату Лениным способности воспринимать речь, то бишь превращают в бессмысленное нечто. Для его утопии это подлинная трагедия. Что кому он успел доказать?

Вождь только тупо смотрит перед собой — и никаких иных признаков жизни: только опускаются и поднимаются веки. Его кормят, за ним убирают, сам он лишь смотрит в одну точку — это подлинно живой труп. К счастью для Ленина, это состояние относительно быстро минует. В общей сложности главный вождь на месяц теряет способность говорить, писать и понимать что-либо.

Каким холодным ужасом остались в памяти эти недели!

¹ «Известия ЦК КПСС», 1989, № 12, с. 197—198.

Он только взялся за страну, подчинил себе. Сметены все препятствия, за ним — победа в Гражданской войне. Найдены рычаги преодоления кризиса — это, разумеется, нэп. Страна готова для великого эксперимента. Он готов научить людей жить иначе. Он сведущ, как подступиться к миру, чтобы он тоже принял красный цвет. Уже сейчас над ним тень серпа и молота. «Мы не рабы, рабы не мы!» Он все это знает, а что, безусловно, важнее — умеет, может!..

Он только всему этому научился!

Мир принадлежит научному коммунизму. Завтра он станет коммунизмом действительности. Страна, мир принадлежат партии, а партия — это прежде всего он, Ульянов-Ленин, — великая мечта трудового человечества. Он столько лет пробивался к этому! Он и не допускал, что это могло случиться при его жизни. Но все сбылось!

Сбылось, но он должен умереть.

И он проклинал тот миг, проклинал... Самые леденящие кровь проклятия!..

Троцкий чувствовал истинное отношение к себе вождей-ортодоксов большевизма. Никакие заслуги и мужество не могли его сделать «своим». Безусловно, мешал и гордый, заносчивый нрав — не лучшее качество для политика. Сталина же Троцкий просто терпеть не мог. На мой взгляд, не столько из-за крупности, как соперника, сколько из-за дремучей ограниченности по всем направлениям знаний и культуры. Он не признавал за Сталиным сколь-нибудь значительного ума вообще.

Обстановка для сотрудничества, конечно же, не из приятных. Очевидно, и Ленин проявлял себя в отдельные моменты далеко не джентльменом. Ничем иным нельзя объяснить внезапную вспышку Троцкого на одном из заседаний политбюро. Думаю, Троцкий в данном случае не грубил, а защищался от чьих-то попреков, нападок, выходов, ставших возможными благодаря Ленину. Может, и сам Ленин, пользуясь возрастом, старшинством и авторитетом, допустил оскорбительные намеки или сравнения.

Во всяком случае, «на одном из заседаний ПБ Троцкий назвал Ильича «хулиганом» (Господи, это ж надо так довести человека! Да и как точно — по существу, прямо в «десятку». — Ю. В.). В. И. побледнел как мел, но сдержался. «Кажется, кое у кого тут нервы пошаливают», — что-то вроде этого сказал он на эту грубость Троцкого (да на такую компанию никаких нервов не хватит, если даже с шести месяцев от роду начать холодные обливания и самоистязания по системе йогов. — Ю. В.). Симпатии к Троцкому и помимо того он не чувствовал — слишком много у этого человека было черт, которые необычайно затрудняли коллективную работу с ним (главная — не вставал на карачки перед вождем и догмами, которые тот изрекал. — Ю. В.)...

В это время Сталин бывал у него чаще других (после майского удара 1922 г. — Ю. В.)... В этот и дальнейшие приезды они говорили о Троцком, говорили при мне, и видно было, что тут Ильич был со Сталиным против Троцкого...»¹

Главный вождь блокировался со Сталиным против Троцкого (и вплоть до самых роковых дней болезни). Пик этих «переговоров» относится к выздоровлению после майского удара 1922 г. А после неожиданного поворота против Сталина («грузинское» дело; опека, похожая на тюремное заключение; оскорбление жены — в общем, начал представлять Иосиф Виссарионович в своем истинном измерении; а чего чикаться: не сегодня-завтра преставится главный вождь). И вот какая беседа у Ленина с родной сестрой. Она передает привет брату от Сталина.

«„Что же, — спросила я, — передавать ему и от тебя привет?“ «Передай», — ответил Ильич довольно холодно. «Но, Володя, — продолжала я, — он все же умный, Сталин». «Совсем он не умный, — ответил Ильич решительно и поморщившись...»

Но как В. И. ни был раздражен Сталиным, одно я могу сказать с полной убежденностью. Слова его о том, что Сталин «вовсе не умен», были сказаны В. И. абсолютно без всякого раздражения. Это было его мнение о нем — определенное и сложившееся...»²

Нет, это просто восхитительно: он (Сталин) все же умный! Это кто же руководил нами, если самым главным не было ясно, достаточно ли ума у одного из первых руководителей республики. Даже проясняют это в разговоре между собой. И вердикт главного вождя революции: неумен. Так что ж ты ему доверял ответственные посты, посылал на кровавые дела, отдавал день за днем все большие части народа под бесконтрольную власть?! Кто ты сам после этого?!

Умен, неумен...

Да, и поморщиться было от чего: этак как вспомнишь пятерню Кобы у себя на шее — тюремщик что надо, тут без шалостей, все намертво схвачено. Аж принялся Ильич напоследок конспирировать от своего же политбюро. Писать разные сверхсекретные бумажки, от чтения которых сейчас тошнит. Тут страна в крови и боли продирается к жизни, а они о своем, о власти, о новых группировках друг против друга, теперь уже с Троцким против Сталина и всех остальных. До могилы, до последнего проблеска света в глазах — ничего человеческого. Жалкие, недостойные, погрязшие в

¹ «Известия ЦК КПСС», 1989, № 12, с. 197—198.

² Там же, с. 199.

ненависти друг к другу. Недаром в самые последние месяцы Ленин безоговорочно отказывался видеть своих бывших соратников. И проиграл (хотя и по вине здоровья), и противно, и стыдно за немощь... И вообще!..

«Конечно, Сталин не один работал, — вспоминал Молотов. — Вокруг Сталина была довольно крепкая группа... Были очень хорошие люди, большие работники, но ясности им не хватало. Дзержинский был наиболее известный. Казалось, без сучка и задоринки. Но даже Дзержинский в эпоху Брестского мира голосовал против Ленина, когда Ленин был в очень трудном положении... Ленин выступал в 1921 году по вопросам профсоюзной дискуссии. Дзержинский не поддержал Ленина. Ленин в январе 1921 года выступил в «Правде» со статьей «Кризис в партии»... Ленин писал: дело дошло до того, что мы потеряли доверие у крестьян, а без крестьянства страна не может выиграть. Ленин ставил вопрос ребром. Даже в это время Дзержинский, при всех его хороших, замечательных качествах — я его лично знал очень хорошо... и все-таки он, при всей своей верности партии, при всей своей страстности, не совсем понимал политику партии.

У Сталина таких колебаний не было...

...Дзержинский не был в Политбюро, но как человек определенной отрасли партийной работы (обратите внимание: карательная служба считается отраслью партийной работы. — Ю. В.) был нужен Ленину. Он самые трудные, неприятные обязанности выполнял так, что от этого партии была прибыль, как говорится, а не убыток. И Ленин его признавал и ценил...»

Зато определенного политического недоверия, которое Главный Октябрьский Вождь питал к нему, Дзержинский как пламенный сын партии не мог простить, хранил обиду и чувство мести в самых глубинах своего «я». И в тяжкие дни болезни Ленина, когда тот, умирая, столкнулся по «грузинскому» делу со Сталиным, безоглядно принимает сторону Сталина, хотя, безусловно, прав был в этом споре умирающий Ленин.

Умирающий — значит, завтра уже не принадлежит ему. Завтра могло вывести вперед Сталина, Троцкого, Каменева... Словом, кого угодно, но уже никогда Ленина. И Дзержинский не колеблясь принимает сторону «будущего».

Это, конечно ж, пример чекистской доблести, толковать о человеческой — тут и не приходится. Он просто предал теряющего силу вождя.

Все, кто стоял вплотную к Ленину, предали его. А Сталин был даже прямо заинтересован в его скорейшей смерти.

Что способны дать такие люди миру? И каково было это видеть и сознавать Ленину?

А ведь именно они, «провозвестники нового мира, грядущего завтра» (и так называли их), будут диктовать завоеванной стране свою мораль, вытягивать страну по заданным меркам своих представлений о мире и отношениях между людьми.

Какую мораль могли явить миру они, предавшие своего кумира, вождя на смертном одре?..

Майский удар настиг диктатора в Горках.

«В июле Ленин уже был на ногах, — сообщает Троцкий в своих воспоминаниях «Моя жизнь», — и, не возвращаясь до октября официально к работе, следил за всем и вникал во все».

До 18 июля 1922 г. Ленину не дают газет: слишком велик риск. Он горько сетует: «Я еще не умер, а они, со Сталиным во главе, меня уже похоронили». Об этом много позже напишет Троцкий.

Однако восстановленную речь не отличает устойчивость. Порой (и заметно) ощущается речевая недостаточность. И все же вождь участвует в заседаниях Совнаркома, к ноябрю того же, 1922-го относятся и самые последние публичные выступления.

13 ноября 1922 г. он держит речь на IV конгрессе Коминтерна.

Бухарин вспоминал:

«У нас сердце замирало, когда Ильич вышел на трибуну: мы все видели, каких усилий стоило Ильичу это выступление. Вот он кончил. Я подбежал к нему, обнял его под шубейкой, он был весь мокрый от усталости, рубашка насквозь промокла, со лба свисали капельки пота, глаза сразу ввалились...»

Превозможная слабость, жестко контролируя свою речь, Ленин заставляет себя выступать. Это нужно для дела, — дела, за которое пошел на виселицу старший брат Александр и пали тысячи революционеров. Порой ему не удается извлечь из памяти нужные слова, и тогда, по воспоминаниям очевидцев, он подстегивает себя пощелкиванием пальцев. Для столь беспощадного заболевания, как нарастающий паралич, часто сопутствующий нелеченому сифилису, это сверхопасная нагрузка — она поспешает бок о бок с угрозой немедленной смерти, — но Ленин поднимается на трибуну и обращается к делегатам. Рядом с трибуной расположились люди... для подсказок, коли приключится речевой сбой, но Ленин справляется... пощелкивает пальцами и говорит...

В декабре 1922 г. диктатора потрясает еще одна череда приступов. 16 декабря в здоровье снова обозначается резкое ухудшение. При таком состоянии сосудов выстраивай у постели хоть сотню Фёрстеров — бесполезно.

Тут же следует запрет на газеты и политическую информацию.

Куда он валится? Что с ним? Где он?..

И вот то, зловеще-роковое: 18 декабря на Сталина возлагается ответственность за соблюдение установленного для Ленина режима.

К тому времени Ленин уже не сомневался в происках Сталина.

В ночь на 23 декабря наступил паралич правой руки и правой ноги. Однако все декабрьские приступы на речи сказались мало. Диктатор прикован к постели, но говорить может.

Стадии болезни стадиями, а вот что ухудшение состояния провоцировало предательство ближайших соратников — это факт неопровержимый.

С 24 января по 1 февраля 1923 г. Ленин ведет борьбу за представление материалов по «грузинскому» вопросу. Тогда и состоялась крайне неприятная беседа с Дзержинским, уже безвозвратно предавшим его. Ленин и в данном случае не сомневался: в том решительном ухудшении состояния виноват Дзержинский. И он, наверное, прав.

10 февраля приносит новое ухудшение. Недуг методично добивает его.

Однако данным событиям предшествовали не менее драматичные.

Так, 22 декабря 1922 г. между Крупской и Сталиным полыхнул разговор, знаменитый грубостью и бесцеремонностью «чуждого грузина». Накануне, 21 декабря, Ленин набрасывает записку Троцкому. Он уже ищет союзника против Сталина, хотя все лето блокировался со Сталиным против Троцкого. Но чего ни сделаешь, коли тебе плохо, а тебя давят...

Из рассказа М. И. Ульяновой:

«...И вот однажды, узнав, очевидно, о каком-то разговоре Н. К. (Надежды Константиновны. — Ю. В.) с В. И. (Владимиром Ильичем. — Ю. В.), Сталин вызвал ее к телефону и в довольно резкой форме, рассчитывая, очевидно, что до В. И. это не дойдет, стал укачивать ей, чтобы она не говорила с В. И. о делах, а то, мол, он ее на ЦКК потянет (ЦКК — Центральная Контрольная Комиссия — водилось такое репрессивное учреждение для членов партии. — Ю. В.). Н. К. этот разговор взволновал чрезвычайно: она была совершенно не похожа на себя, рыдала, каталась по полу и пр. ...»

А вот и та знаменитая записка Ленина Сталину.

«В. И. Ленин — И. В. Сталину

5 марта 1923 года

Строго секретно. Лично

Уважаемый товарищ Сталин! Вы имели грубость позвать мою жену к телефону и обругать ее. Хотя она Вам и выразила согласие забыть сказанное, но тем не менее этот факт стал известен через нее же Зиновьеву и Каменеву. Я не намерен забывать так легко то, что против меня сделано, а нечего и говорить, что сделанное против жены я считаю сделанным и против меня. Поэтому прошу Вас взвесить, согласны ли Вы взять сказанное назад и извиниться или предпочтаете порвать между нами отношения.

С уважением, Ленин»¹

¹ Тексты данных документов приводятся по публикациям в «Известиях ЦК КПСС», 1989, № 12, с. 193 и 198.

Хороша эта фраза: «Я не намерен забывать так легко то, что против меня сделано...» Это металл. Не дай Боже встать против!..

Ответ Сталиным написан 7 марта — тотчас после вручения ему Володичевой письма Ленина (Ленин же этот ответ прочесть не успел — настиг предпоследний, по сути уже гибельный удар)...

Вот так азарт и ставит подножку. Нейметса прибрать власть, и сведения о больном надежные (от самой высокой науки): не должен дышать, и капли жизни в НЕМ не осталось. Вот и сбился на осечку будущий алмазный повелитель ВКП(б) и всех советских народов. Впрочем, ОН все равно обречен, это он, Иосиф Сталин, знает совершенно достоверно. Еще потерпеть — и все само падет в руки. Нет в НЕМ уже жизни, нет! Его, Иосифа Сталина, пора приходит...

Накануне жестокого удара 10 марта 1923 г. Ленину уже известно (его от этого переворачивает): да-да, Сталин поставлен надзирать над ним! До сих пор это тщательно скрывалось. Это же хуже плена!

5 марта Ленин диктует знаменитое антисталинское письмо Троцкому и тогда же — письмо Сталину («Вы имели грубость позвать мою жену к телефону и обругать ее»).

6 марта Ленин посылает телеграмму П. Г. Мдивани и Ф. И. Махарадзе — он упрямо распутывает «грузинское» дело. Он должен осадить Кобу!

«Чудный грузин» и верные ученики Ленина (все без исключения, Троцкий не в счет — он не относился к ученикам Ленина) наносят удар за ударом. Ленин бессилен. Он мечется, диктует записки — ночи его похожи на кошмары. Ему все хуже и хуже... Его предали, ошельмовали!..

Свирепый приступ 10 марта 1923 г. почти полностью поражает произвольную речь. С этого времени и до смерти Ленин способен произносить лишь слова «вот», «иди», «идите», «вези», «веди», «а-ля-ля», «гут морген»... — все эти слова произносились без всякой логики, вылетали сами по себе, как и слова «Ллойд Джордж»¹, «конференция», «невозможность» и некоторые другие. Да, он повержен. Сталин действовал наверняка. Теперь все!

В последние 3—4 месяца жизни Ленин научился осознанно пользоваться междометием «вот-вот». Незадолго перед кончиной он станет также осознанно пользоваться и вопросительным местоимением «что». Но это (истинное) состояние вождя скрывалось и от партии, и от народа — их кормили ложью о якобы восстанавливающейся речи Ильича.

Речи не было.

Свирепому приступу 10 марта предшествует целая волна приступов. К примеру, ночью 6 марта приступ длился около четырех часов. Ленин в возбуждении мог произносить только «помогите... ах, черт, йод помог, если это йод...».

¹ Ллойд Джордж (1863—1945) — английский политический и государственный деятель. Премьер-министр с 1916 по 1922 г., то есть и в годы Гражданской войны в России.

Йод не помог. «Йода» не было и для России. Билась на смертном ложе.

С 12 марта по 17 мая 1923 г. появляется 35 официальных бюллетеней о болезни вождя. Их обнародовали не случайно. Врачи склонны ожидать смертельного исхода. Но Ленин устоял. «Вот-вот»...

Троцкий, верный себе, не доверяет официальным сообщениям, впрочем как и особым, для членов политбюро. Семейный врач Троцких, Ф. А. Гетье, рисует Льву Давидовичу действительную картину болезни, а Гетье — один из ведущих лечащих врачей Ленина: это распад мозга.

Обучали речи больного логопеды С. М. Доброгаев и Д. В. Фельдберг. Итог всех усилий: Ленин отчасти научился воспроизводить свою подпись. К горю Ульяновых, подписывать было совершенно нечего.

Сестра Ленина Анна Ильинична так определила состояние брата после 10 марта: «После удара в марте 1923 г. В. И. ничего не писал и не диктовал».

Крупская еще более категорична:

«...Не только не мог писать, но и сказать ни слова».

Следовательно, все рассказы о восстановленной речи относятся к мифам. Поражение от сифилиса известковало сосуды, обрекая мозг на распад.

Газеты Ленину начнут читать и показывать лишь к концу лета 1923-го. По некоторым свидетельствам, Ленин не только слушает газеты, но и восстанавливает минимальную способность к самостоятельному чтению. Однако врач Доброгаев отрицал эту «минимальную способность» читать. В данном утверждении он расходится с Крупской. Более того, после удара 10 марта Ленин потерял способность воспринимать всякую речь почти на полгода. Но с восстановлением способности к пониманию окружающих его раздражает их недоверие к его умственным способностям. Это нередко приводило его в неистовство.

К лечению имели отношение около 40 врачей, сестер и санитаров. Это и врачи из Германии Г. Клемперер, О. Минковски, А. Ф. фон Штрюмпелль, М. Нонне, О. Фёрстер, а также шведский врач С. Хеншен.

В апреле 1922 г. немецкий хирург Борхардт удалил одну из двух пуль (после ранения в августе 1918-го). Врачи единодушно считали данную операцию бессмысленной. На другой день после удаления пули Ленин вышел из больницы.

С советской стороны наиболее заметными врачами из лечащих являлись Виктор Петрович Осипов (1871—1947), Алексей Михайлович Кожевников, Владимир Николаевич Розанов, Лев Григорьевич Левин, Федор Александрович Гетье (1863—1938).

Ко второй половине 1922 г. у Ленина обозначилось резко отрицательное отношение к медикам. Один вид белого халата приводил его в раздражение, нередко и гнев.

Отфрид Фёрстер впервые посетил Ленина в конце марта 1922 г. С мая того же года, за исключением кратких отпусков и трехмесячного перерыва осенью 1922-го, находился при больном. До мая 1923-го Фёрстер играл ведущую роль в лечении, с мая того же года эта обязанность откочевала к Осипову, который был убежден в сифилитической основе недуга. Состояние Ленина — это прогрессирующий паралич. Ленин был обречен. Никакая работа, умственные перегрузки, никакой атеросклероз не могли вызвать той степени разрушения сосудов и, как следствие, мозга. Это сотворил сифилис. Такой являлась скрытая позиция и Розанова. Именно из диагнозов Осипова и Розанова исходил Сталин в отношениях с Лениным.

Этот диагноз предрекал неумолимо скорую гибель Ленина и его неспособность влиять на партийную жизнь. Это в свою очередь определяло поведение Сталина. Надлежало спешить с захватом власти, на которую претендовали Троцкий, Зиновьев, Каменев. Могли претендовать Фрунзе и Красин.

Характер самого заболевания вызывал в Сталине скрытое если не презрение, то неуважение к больному. До сих пор это был могучий вождь, легендарный революционер, создатель победоносной партии, творец Октября. А на деле — обычный смертный, даже и не это: какой-то развратный человечико, пользовавшийся продажной любовью самых низкопробных панельных девиц. Где добродетели, о которых он трубил, которые проповедовал как неизбежные качества человека нового? И какой же он святой революции, коли пользовался услугами дам, которые отдавались сотням мужчин?.. Именно эта грубоватость, бесцеремонность обозначаются отныне в обращении Чижикова с больным (в этот момент в Сталине на передний план выступает именно Чижиков — мещанин и обыватель). Здесь далеко не только превосходство сильного, здорового человека над изолированным, поверженным во прах больным, но и доля презрения к сифилитику, столь укорененного и по сию пору в толще людей, хотя для окружающих, тем более народа, Сталин сохраняет, однако, почтительность к имени основателя советского государства. Более того, Сталин не даст официального хода «сифилитическому» диагнозу, хотя допустит определенную утечку на сей счет. Если Ленин — святой революции, то болезнь — это гибель мученика за рабоче дело. Это еще один мощный пропагандистский рычаг. А утечка нужна для борьбы за руководство партией. К тому же Ленин запустил в оборот ряд бумаг, которые подрывали позиции Сталина. Тут очень важно было подмочить их и долей снисходительного пренебрежения авторитетом вождя из-за «позорной» болезни и логически вытекающей отсюда якобы неумняемости: «это не вождь говорит, это болезнь вождя говорит». И в будущем знание в узком кругу партийных воротил подлинной болезни вождя определенно служило возвышению авторитета Сталина: «Иосиф Виссарионович не такой, Иосиф Виссарионович не опускался до подобных низостей, он цельнее, нравственней» и т. д.

С конца июля 1923 г. Ленин отказался видеть Фёрстера. Один вид маститого профессора приводил Ленина в волнение, его в буквальном смысле начинало колотить. Это породило своеобразный способ лечения: Фёрстер не заходил к больному, а собирал сведения у тех, кто бывал в заповедной комнате.

В марте и апреле 1923 г. состояние Ленина колебалось между жизнью и смертью.

«Владимир Ильич был в очень тяжелом состоянии, — вспоминала Мария Ильинична Ульянова. — Иногда трудно было уговорить его... поест, и Фёрстер становился на колени у постели и умолял «господина президента»... проглотить хоть ложечку».

После изгнания Фёрстер часами выстаивал на цыпочках под дверью, таким образом наблюдая больного. В те месяцы Осипов еще имел неограниченный доступ к поверженному вождю. Однако в ноябре 1923 г. наступил и его черед — Ленин его изгнал.

И это факт: в последние месяцы жизни Ленин наотрез отказался принимать какие-либо лекарства. И в общем-то, правильно: на том уровне медицины они ничего не могли дать, кроме дальнейшего засорения и разрегулировки организма. Это сообразил даже больной.

Лишь одного врача он встречал с неизменным радушием — Федора Александровича Гетье. Он был не только семейным врачом Троцких, но и лечащим врачом Крупской и самого Ленина, прожив с больным под одной крышей около 8 месяцев.

Розанов не сомневался в сифилитической основе происходящего. После кончины Ленина он заявил, что ранения от пуль Каплан Ленин перенес без последствий: «случай протек изумительно гладко». Уже в конце сентября восемнадцатого, то есть через месяц после покушения, «Владимир Ильич выглядел прекрасно: бодрый, свежий, со стороны легких и сердца полная норма, рука срослась прекрасно».

Любопытен и следующий факт. В одной из статей Ленин ни с того ни с сего дает ссылку на новейшее средство лечения сифилиса — это в качестве примера, по ходу рассуждения¹. Спрашивается: почему Ленин не называет туберкулез, рак или атеросклероз? Случайность? Возможно. Но скорее другое: он страдал от сифилиса и его последствий. И ссылка сама вырвалась из недр подсознания, где уже столько лет гнездилась одна и та же мысль: вылечиться бы навсегда, избавиться от жуткого будущего!

Врачи под политическим давлением и обязанностью хранить медицинскую тайну не могли называть настоящий диагноз и официально подводить под него характер лечения, тем более под рукой имелось столь убедительное обстоятельство, как наследственный атеросклероз Ульяновых. Под это заболевание и подгонялось толкование заболевания. Ссылаются на похожую гибель других членов семьи Ульяновых, но ведь множество интеллигентов кончают инсультом. Это их профессиональное заболевание.

¹ См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 39, с. 20.

Заговор молчания врачей нарушили лишь Осипов и Розанов.

Кстати, Розанов оперировал не только Ленина (после известного покушения Каплан), но и мастерски соперировал осложненный аппендицит у Сталина. У Сталина он пользовался неограниченным доверием. Возможно, поэтому и не убоился открыть ему подлинную причину гибели святого революции — Ленина.

Очень многие люди, сталкиваясь с роковой болезнью или суровым испытанием, внутренне изменяются. Угроза ухода из жизни обращает их на себя: был ли ты достойным человеком, добро или зло нес в жизни, каков смысл твоего дела. Человек открывает другую жизнь, заслоненную напряжением борьбы, суетой, дрязгами. Он вдруг видит, что огромный мир вокруг проскользнул мимо, не задев его: люди, любовь, лес, солнце, трава, рассветы и множество других чудесных вещей.

Пусть то, что происходит с людьми в подобном состоянии, я называю лишь отчасти, но так или иначе это вызывает в людях определенные перемены, не обязательно раскаяние или сомнения, но добреют души...

В майские и июньские дни 1922-го Ленин побывал по ту сторону бытия. Паралич превратил его на целые недели в бессмысленное и беспомощное нечто, память и способность воспринимать мир вдруг отказали. Да, такое состояние — это потрясение, целый переворот...

Ленин после выздоровления остается таким, каким и был. Весь 1922 г. после июня богат на требования им крови.

Усилить террор!

Диктатура пролетариата!

Диктатура!

Эти месяцы — подлинный гребень красного террора. Все, кто не красного цвета, должны быть или уничтожены, или высланы из России. Именно в эти месяцы происходит высылка цвета российской интеллигенции из РСФСР. Ленин требует, чтоб ему докладывали об этой операции каждый день. И каждый день ему ложатся на стол сводки: сколько расстреляно прочих граждан в каждой губернии — подробная роспись по графам, документ ВЧК.

Сплавить страну в одной непримиримой ненависти, а над всем поставить партию с ее вождями.

Я не стану приводить документы. Их более чем достаточно. Они свидетельствуют об одном: Ленин ни о чем не пожалел, уходя из жизни, разве что слишком доверял Сталину; так это — дело личное. И в последние «сознательные» месяцы жизни, когда он еще мог руководить событиями, Ленин был и оставался... Лениным.

И факт остается фактом — народ Ленин победил! Народ лежит обессиленный, без желаний, как после смертельной болезни.

Народ Ленин победил.

«После смерти Ленина его мозг хранился в созданном вскоре Институте В. И. Ленина, а сердце — в Музее В. И. Ленина.

В Институте изучением мозга вождя поначалу занимался специальный отдел. Позднее, по распоряжению Сталина, для этих целей был учрежден Институт мозга, существующий и до сих пор.

Мозг Ленина хранится в виде 30 тыс. срезов толщиной в 20 микрон каждый. Ученым, в том числе специально приглашенному из Германии профессору Фогту, было поручено выделить субстанции гениальности Ленина (обратите внимание: ученый опять-таки из Германии! Какие же плотные связи были налажены! — Ю. В.) и доказать, что мозг представителя коммунистического общества является «высшей стадией эволюции человечества» (Господи, пошлость какая, даже не верится! — Ю. В.). Для этого специально собиралась коллекция головного мозга выдающихся деятелей, включающая Кирова, Калинина, Горького, Маяковского, Эйзенштейна, Мичурина и многих других (это — какое-то средневековое действо. — Ю. В.). Есть в коллекции и мозг Сталина, который изучался с не меньшей тщательностью, чем мозг его предшественников (и эта дикость имела место на полной серьезности! — Ю. В.).

Комната № 19 в Институте мозга, где находится эта коллекция, до последнего времени была одним из самых секретных помещений в стране...»¹

Это уже триумф всей совокупности большевистско-социалистической пошлости. Бесспорно, по-своему она очень близка к гитлеровской теории рас, стремлению нацизма доказать на строении черепов разных народов исключительность нордической расы — расы господ по природному происхождению. Это бред, в который сложно поверить! Но взошел он не на пустом месте, а из застойно-зловещего мирка исключительности, который придали всем своим действиям российские социал-демократы ленинского толка. И уже отнюдь не случайно все, что стряслось после ноября 1917-го, — «30 тыс. срезов толщиной в 20 микрон каждый» тому порукой.

Когда же иссякнет, сгинет средневековое варварство, столь обычное для повседневной жизни человечества?..

В октябре 1923 г. Главный Октябрьский Вождь в последний раз видит Кремль. Его привозят, не зная, что жить ему всего три месяца и что вместо одного из полушарий мозга у него лишь стянувшееся до размеров куриного яйца сморщенное уплотнение, бывшее когда-то мозгом.

После инсультов сознание к нему вернулось. Однако связная речь ему не удается. Поэтому в Кремле он четко произносит не свя-

¹ «Аргументы и факты», 1991, № 43.

занные между собой слова: «Ллойд Джордж», «конференция», «невозможность». По воспоминаниям очевидцев, высказывали эти самые слова совершенно неожиданно.

Это не может не производить жутковатого впечатления. В то же самое время возникает вопрос, а не мог ли М. А. Булгаков в «Собачем сердце» использовать именно этот факт при создании образа Полиграфа Полиграфовича, точнее, при описании момента перерождения Шарика в Полиграфа Полиграфовича — сознательного пролетария. Помните, когда тот бродит по комнатам и выкрикивает разные слова без всякой связи и совершенно неожиданно: «вечерняя газета», «лучший подарок детям», «извозчик», — а заодно и все бранные слова?

До Михаила Афанасьевича могли дойти слухи о словах, срывающихся с губ вождя «класса гегемона» без всякого смысла и совершенно некстати. Тем более имелись могущественные люди, заинтересованные в распространении подобных фактов, пусть даже в узкопартийной среде. Но слухи могли вырваться из узкокастовой группки, как это всегда и бывает в истории. Сталин был кровно заинтересован в подрыве доверия ко всему написанному и высказанному Лениным в ходе болезни.

«Ллойд Джордж», «вечерняя газета», «конференция», «мест нету»... — писатель органически не принимал советскую власть, нутром отрицал «великий исторический эксперимент», который и вывел в повести под видом эксперимента над уличным псом, назначенным стать «сознательным строителем новой жизни». Поведение больного вождя давало писателю материал для построения одного из центральных эпизодов повести. И ведь сама повесть пишется вплотную за данными событиями — в январе—марте 1925 г.

Ленин мечтал о счастье для трудового народа, о жизни без паразитов. Он жил только для этого. Он шел к счастью через насилие, отражая здесь, в кровавой борьбе, миропонимание народа. Он был сыном своего народа и своего времени, решительным и безжалостным.

Глава XIV

КРУШЕНИЕ И ОБНОВЛЕНИЕ

В декабре 1920 г. Ленин растолковывал соратникам:

«...Обстоятельства принудили к созданию буферного государства — в виде Дальневосточной республики... вести войну с Японией мы не можем и должны все сделать для того, чтобы попытаться не только отдалить войну с Японией, но, если можно, обойтись без нее...»

Против ленинского «буфера», то есть Дальневосточной республики, ополчились Ширямов, Янсон и Гончаров... По их разумению, «буфер» является помехой и неоправданной перестраховкой, то есть задержкой торжества революции, ошибочно допускающей к власти врагов революции — меньшевиков и эсеров.

На собрании эсеров Краснощекков так охарактеризовал политику большевиков:

«Нам, большевикам, нужно сохранить Дальний Восток за Россией. Здесь наша цель совпадает (с эсерами. — Ю. В.), хотя вы исходите из лозунга «единая Россия», а мы из лозунга «единный земной шар» (т. е. лозунга «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» — Ю. В.)».

Краснощекков проявил немалую настойчивость для выполнения указаний Ленина о скорейшем образовании Дальневосточной республики. Ленин ценил его и доверял, чему неоднократно давал доказательства.

Ширямов, Янсон и Гончаров с примыкающей к ним группой сибирских работников рангом ниже не примирились с планом превращения Восточной Сибири в бутафорскую республику. Они доказывали, что Краснощекков вводит в заблуждение центральную власть, превышает полномочия, и обвиняли в «правом уклонизме», «руководстве правооппортунистической группой» и «буржуазном сепаратизме». И сам Ленин Ширямову не указ — ну не знает вождь расстановки сил. Им, коренным сибирским работникам, здесь, на месте, ясна неоправданность «буфера».

В Москве даже намечали экстренный перевод Ширямова в Омск — подальше от Восточной Сибири и Дальнего Востока: ну не унять. Заварит кашу — не расхлебать. Японцам только повод нужен. Враз по Сибири ударят!

Ненависть сибирских «бешеных» к Краснощекову не ограничится лишь поношениями и упреками на разного рода совещаниях и конференциях. Не без их давления Краснощеков будет переведен в Москву на должность руководителя одного из банков и довольно скоро (1923) арестован. Ему «намотают срок», но в тюрьме он пробыдет недолго. Пересмотр дела докажет вздорность обвинения.

Краснощеков был невысок, под стать Ленину. В смуту после семнадцатого носил, как большинство «партийцев» из руководителей, френч и галифе защитного цвета — все скроено по фигуре, да с таким щегольством, даже шиком. Хромовые сапоги сияли от каблука и носка до кромки голенищ у колен. Не ленился на крем Александр Михайлович. Поди, и суконкой наводил лоск.

Сложения был плотного, но не грузный, без намека на живот, в плечах крепок, но не коренаст. Волосы имел черные-пречерные, просто цыганские; очень густые, что называется, шевелюрой.

Когда смотришь много его фотографий, замечается напряженность в нем и выраженная во всем облике воля. Лицо совсем неоткрытое и некрасивое, в чем-то даже неприятное. Зловато-умное лицо.

Чудновский поддерживал Ширямова в его принципиальных и возвышенных устремлениях: никаких меньшевиков и эсеров, власть — рабочим и крестьянам (под рабочими и крестьянами партийные руководители понимали себя так же, как вожди отождествляют себя с народом), немедленная советизация с присоединением к РСФСР.

С января 1920 г. Ширямов — председатель Иркутского ВРК и по совместительству — военком 1-й Иркутской стрелковой дивизии.

Дальневосточная республика была провозглашена 6 апреля 1920 г. в Верхнеудинске (ныне Улан-Удэ) Учредительным съездом трудящихся и партизан Прибайкалья. В нее вошли Забайкальская, Амурская области, Приморский край. Само собой, не все земли находились тогда под контролем правительства новой республики. Съезд избрал Временное правительство во главе с Краснощековым.

В марте—мае 1920-го Ширямов — член Дальбюро РКП(б), член Военного совета Народно-Революционной Армии (НРА) ДВР. В Дальбюро входили также Гончаров, Краснощеков, Кушнарев, Лазо и Никифоров. Кандидатом в члены Дальбюро являлся и Постышев (это он по сталинскому приказу будет железной рукой проводить линию покорения украинского крестьянства голодом). Это он, Постышев Павел Петрович, бывший кандидат в члены политбюро ЦК ВКП(б), скажет своим сокамерникам накануне каз-

ни: никакого социализма мы не строили; мы лишь огосударствили собственность, землю и людей.

Как сказано: **огосударствили людей!..**

В октябре 1920 г. НРА освободила Читы¹ и Хабаровск. Ширямов только косился на первопрестольную: ну, кто прав? Зачем городили республику и пустили к власти это охвостье — меньшевиков и эсеров?..

В ноябре 1920 г. был сформирован Совет Министров ДВР. Главой правительства и одновременно министром иностранных дел стал все-таки Краснощеков.

В апреле 1921 г. Учредительное собрание приняло конституцию республики. Войсками республики командовал Генрих Христофорович Эйхе.

В 1921 г. Александр Михайлович Краснощеков становится заместителем наркомфина РСФСР, а с 1922 г. — председателем Промбанка СССР в Москве. С 1929 г. Краснощеков работал в Наркомземе СССР. Надо же ссадить этого «американца»! А в таком разе для ча доносы?!

В эмиграции Александр Михайлович не только работал с Юджином Дебсом и Уильямом Хейвудом, но и дружил. Это Дебс и Хейвуд основали в США социалистическую партию. Одним из признанных вождей и видным оратором партии становится великий американский писатель Джек Лондон. Не исключено, что Краснощеков не только слушал Лондона, но и был знаком.

В 1908 г. Лондон выпускает роман-утопию «Железная пята», его можно истолковать как гениальное предвидение «социалистического фашизма», который столь безжалостно расправится не с одним Краснощековым. В 1916 г., незадолго до самоубийства, Лондон покидает Социалистическую партию США. Человек, написавший «Железную пята», не мог оставаться в такой партии. Он далеко-далеко увидел реальность воплощения марксизма...

Летом 1922 г. Александр Михайлович знакомится с самой большой и странной привязанностью Маяковского — Лилей Брик. С тех дней Краснощеков и Брик неразлучны.

В сентябре 1923 г. их чувства расширяются о неумолимую действительность: Краснощекова арестовывают по ложному обвинению и приговаривают к тюремному заключению. Но вскоре он выходит и опять в делах, заботах.

Ширямов с 1921 г. подается на хозяйственную работу. Надо полагать, склонность к оной не переводилась с рождения. Отец выколачивал рубли и червонцы на мелкой торговле — совсем как у Косухи-

¹ С октября 1920 г. Чита стала столицей ДВР.

на. Поди, тоже руки чесались на батю: национализировать и определить к ручному труду, чтоб отшибло всякие частнокапиталистические инстинкты (китайские коммунисты называют это трудовым перевоспитанием и направляют для работы в деревню или на производство; Мао определил первородство физического труда над разумом, вот и весь сказ). Эта родовая склонность к хозяйствованию, скорее всего, и сохранила Александра Александровича для народа. Все же несколько в стороне простирались основные охотничьи угодья «женевской» владычицы.

До самой кончины в 1955 г. ненавидел товарищ Ширямов «американца». От Краснощекова один прах остался (в неопределенном, разумеется, месте), а Александр Александрович все поносил его печатно и устно.

В мае 1921 г. белогвардейцы с опорой на японцев захватывают Владивосток, а через полгода с небольшим — и Хабаровск.

Будущий маршал Блюхер, запрежде чем выкрикнуть здравицы в честь вождя и партии на смертный приговор себе, проявит свой талант. В феврале 1922 г. НРА под его командованием (о Сталине в подобных случаях писали «под его водительством») разгромила белые войска под станцией Волочаевка. 14 февраля освобожден Хабаровск; 9 октября после ожесточенного штурма пал Спасск. 21 октября красные войска под командованием Уборевича вошли во Владивосток.

...И на Тихом океане свой закончили поход...¹

Эта республика просуществовала немногим более 31 месяца. 15 ноября 1922 г. ВЦИК РСФСР принял декрет о присоединении Дальневосточной республики к РСФСР.

Ширямов и «бешеные», которых он возглавлял, смогли наконец перевести дух и расслабиться. Пробил час эсеров и меньшевиков: ежели и наблюдалась польза от них, то уже все в прошлом. Теперь эта партийная разновидность российского населения должна дематериализоваться. Приспел час держать ответ за несогласия с Лениным и вообще с РКП(б) — вроде клятвопреступления это, а может быть, и похуже. Словом, ни один не смоеется, тому порукой ВЧК и лично товарищ Дзержинский, у которого всегда «чистые руки, горячее сердце и холодная голова».

Провидцами чувствовали себя эти сибирские большевики, в несомненном праве лишать свободы и жизни всех, кто имел неосторожность оказаться членом любой другой социалистической партии.

Это очевидно: нападки и обвинения группы Ширямова против Краснощекова предопределили его судьбу.

¹ Автор слов этой знаменитейшей песни поэт Сергей Алымов сложил голову в лагере. Я был знаком с вдовой поэта, тогда старой, больной женщиной. Она свято хранила память о муже и его стихи.

Не избежал гибели и его ярый враг Янсон — не пощадила его «женевская» гадина.

Самой лакомой добычей оказались Краснощекоев и Блюхер. Согласно «женевскому» счету, Александр Михайлович был казнен в 1937-м 57 лет (все-таки возраст, все было: любовь, вера в счастье людей, большие дела — и чести своей не ронял). Слышал о нем автор этой книги: славный и честный был человек. Не палач (как многие коммунисты ленинской коммунистической партии; выдерживай любого и приспособлявай к «женевскому» ремеслу; с какого-то боку, а примется, найдет свой талант, вера у них такая...) и исповедовал правду — это очень много.

Для Василия Константиновича сей счет пал на 9 ноября 1938 г. Забили в тюрьме ну как самого распроклятого бандюгу.

Генриху Христофоровичу Эйхе удалось выжить — не то вытянул в лагере, не то вообще обошла «женевская» тварь. Словом, бывший командарм Пятой (командовал с ноября 1919-го по январь 1920-го) и первый военный министр республики мирно скончался в почтенном неосталинистском 1968 г. Через год намечался юбилей: 90 лет со дня рождения Иосифа Виссарионовича Сталина. Млела партия, вот-вот отсалютует «реабилитированному» вождю (молчание — это оправдание: молчишь — значит, одобряешь, значит, напускаешь горе и беду на других, значит, такой же, как все эти давилы). Готовились, оттого расправлялись и светлели лица у «простых» людей (вопрос не риторический: какие же они «простые»?). В «Правду» заслали хвалебную передовицу... но тут письмо интеллигенции, едва ли не с сотней подписей.

И поостереглись, так сказать, момент не созрел, а что созреет — не сомневались. Для чего политбюро, ЦК КПСС, комитет на Лубянке и вообще граждане — сколько их рвалось обратно (и не сомневайтесь — рвется), в огненные 20-е и 40-е.

К 1939 г. «женевское» дитя Ленина вычистило бывший состав правительства Дальневосточной республики почти на 100% — высокого партийного и государственного значения вышел заглот.

Дела шерстит, контру сшибает с аллюра товарищ Чудновский: революция, Ильич, Интернационал! Сросся с маузером и засадами, облавами. Кожанка в двух местах прошита. В упор садили. А в памяти, коль отпадет на миг от забот, все на свою Лизку любитесь. Уж как балует ее там, какие невозможно приятные слова дарит. Вспоминает голос, походку, все такое прочее и обязательно — как держится: что-то в этом... вроде как чужая. Пробовал разобраться: стоит как стоит, ну прочно стоит, хозяйкой, какую не спугнешь черным котом. Характер! Есть это у нее: уж как уверена в себе — ни словом не смутишь (так отрежет!), ни разными обстоятельствами. Ровно из нее корни глубоко-глубоко в землю. Наперед знает, как жить, поступать, готовое мнение в наличии на всякий жизненный

узелок-затруднение. Что не по ней — насупится (брови белесые, плотные, этак искорками отсвечивают), подождется, губы скобочкой (нижняя — отпечена), а в голосе сварливая визгливость. И упрется — не сдвинешь, не переорешь, лишь ему, Семену Григорьевичу, и уступала, да и то не сразу. Самостоятельная особа, хоть и самых «низких» занятий.

А ничего не ведал о своей «любви» лихой комиссар. Не просто была упрямой, а с хитрецей, можно сказать, с двойным дном тетя. Где надо — лисой, оборотнем. Лиска и есть. Хвост распушит, обворожит, закружит (ох язык подвешен!) — и возьмет что надобно, а кроме постельных забав, сверхотличала деньги. Аж сухим жаром отходила при виде сотенной ассигнации, глаза запекались в невыносимое страдание. До сотен не доходила, а что до трешек и червонцев — умела их взять. Ох играла мужиками да парнями! В одно у нее совпадал сучий разврат с жадностью. О собственной «прачешной» мечтала Елизавета Акимовна Гусарова — не с двойным, а тройным дном тетка. Вот такой гнусный расклад.

Про себя обидно, даже гадко потешалась над простосердечием «сваво Семы». За недоумка держала: на любовное ремесло горазд, а в остальном — без разумения и, стало быть, пользы. Разве ж это хозяин, коли доверчивый? Бабе деньгу отпускает — и не проверяет, не следит, что, куда и с кем еще дружбу крутит. Недумок и есть. Недумок и лопух.

Нет, Елизавета Акимовна не обходила Семена Григорьевича ни вниманием, ни лаской. Тут была самой собой. Уж как выгребала трешки да червонцы и мужскую удаль, как умучивала — за десятых у нее справлялся (так и говорила себе и подружке: «служит», «страдает» или «справляется», — о любви же ни звука). Сама же дивилась: и не захворает. При такой натуге — и не захворает. Деньги носит, ночей не спит (этакий вертун!), а с рассветом чаю хлебнет — и на завод. А тянет, не хворает! Такие дяди отваливают: сердце, задых, сна нет, в штанах не маячит... А этот дюжит, от горшка два вершка — и дюжит!..

В пустоту излучались любовь и сверхсила Семена Григорьевича. Выпадало Елизавете Акимовне спать с Семей, а на следующий денечек (а то и вовсе через час-полтора) с другим, а то и другими, ибо блудлива была до непотребства: самое это ее природное, настоящее. Это — и деньги. Мечтала работниц иметь.

Уж до чего резвая да бесстыжая до «затей из двоих-троих персон мужского пола» — так и тараторила, похохатывая, с подружкой Тоськой Утехиной (тоже сучища высокого заряда).

Впрямую не брала (что она, шлюха?). Было — три-четыре разочка: уж больно деньги завидные, не поскупились господа, особливо тот, с брюшком...

Так ставила отношения, эту самую «любовь», — господа сами с подарками: кто колечико, кто туфельки, кто сережки. Деньги тоже принимала, но с оговором: это на наше угощение, питание и т. п., смотря по обстоятельствам, — но вот так прямо, за «любовь», —

никогда, руки отсохнут — не прикоснется! Опустит глаза: «Я ведь с вами по сердечной расположенности»...

Перед Семей ломала веселую, в меру озорную полюбовницу. И тут же сходилась с другими, где под лестницей, где на чердаке, а чаще в чужой постели. Очень дорожила «затеями», однако отдавалась им с опаской. Были случаи — били, обижали. Но страсть перемогала страх. Только в «затях» испытывала высшее блаженство, выше не бывает. Пялили ее сообщно и поодиночке (как повезет, ей повезет, поскольку до обморока обожала «сообщно»), а она старается, ее это, по ней (окромя трешек и червонцев — нюх на них у нее имелся!). А после (не всегда и подмоется) «свавому Семе лужит», «ствол» у него «серьезный», не могла отказать, слабела сразу. А как уйдет — жутко просмеивала с Тоськой-портничихой. Недоморок, кныш, кутек, лопух! Аж обсмеются, подолами рожи утирают. В мужья определился! Да ее такие хахали отличают!

Лизавета хохочет, а сама при этих словах всегда мешочек вспоминает — под полом таится: кольца, бусы, золотые червонцы... И не он ее бросил, как полагал Семен Григорьевич, а она. Так повернула — он и отстал. В сожительницы на три месяца звал офицер. Приходила как бы стирать да прибирать, поэтому плату брала на полном основании: «До свидания, Геннадий Ефимович, а завтра во сколько? Ой, озорники, все мало! Раздеваться?»

Нет, что было, то было; с Семей и взаправду обходилась не как с другими. Эвон сколь роман крутила. И после долго не забывала, вспоминала с Тоськой (собой малая, ноги короткие, в икрах толстенные; груди жидкие, живот дынькой), среди сотен один такой выискался, уж до чего ростом поганый — ну стыдоба! А в самый разгар «обучения» Семена прикидывала (она никогда не прогадывала, вот не было с ней этого — и все!): «Да ладно... пусть шляется. Дому сохранней, мешочек-то, чай, дома, у самой стены под половицей. Пускай сторожит. Плечи-то! (Ему же внушала, что она ему и за полюбовницу, и как бы за жену — а иначе деньги за что?) С ним и неплохо, а бывает и весело, даже шибко весело да забористо... только уж очень стыдный, ну от горшка два вершка, ну на кой мне такой кныш, куда с ним? Да еще и недоумочный?! Пушай дома сидит. Деньги носит, мужское справляет — пушай сидит...»

Вовсе не супруга она Семену Чудновскому: кремень большевик, бесстрашный, в тюрьмы, под пули ходил, от смертного приговора чудом увернулся, веру в революцию впереди своей жизни несет...

Задала задачу Елизавета Акимовна. Сама пролетарка, происхождения простецкого, а обманывала сознательного пролетария, своего товарища по классу. А всему виной капитализм: похают отношения деньги. Сколько любовей, семей, судеб губят!..

Акулина, ты мой свет, скажи любишь али нет...

С некоторых пор Федорович стал примечать за собой поступки и мысли, «запрежде» совершенно несвойственные. Он и не уловил, когда начал верить и сознавать, что для счастья в жизни надо слушать сердце (прежде всего сердце) и не верить умным, логичным и самым доказательным расчетам, если от них оторвана душа.

В юности Флор Федорович увлекался Карлейлем (совсем как и Колчак), после сменил этого англичанина на серьезные и достойные увлечения Лавровым и, наконец, вместе со всем передовым русским обществом — Марксом и Плехановым. Эти мыслители (иначе их до самого последнего времени Флор Федорович и не называл) лишили оценок на события, историю, мир какой бы то ни было неопределенности. Он и не заметил, как потерял себя; как, поверив в магию марксистских формул, усыпил свои мысли, более того — наловчился подавлять их, подгонять под главные формулы великого учения об освобождении человечества.

Долгая и суровая служба революции еще основательней укрепила и развила веру в первородство материальных доказательств. Все, что от души и чувства, Флор Федорович, как все истые революционеры, уже относил к чепухе. Какое это может иметь касательство к событиям, судьбам народов и будущему? История и мир — это всегда лишь взаимодействие и накопление материальных перво-причин.

Подобный взгляд на мир делал жизнь и борьбу ясными и однозначно понятными. События толковались с математической точностью и были доступны исследованию, как заурядные математические функции едва ли не простейшего линейного порядка.

А дальше — больше: как настоящий, прирожденный революционер, Три Фэ уже стал презирать всякие попытки примешать к истории и революции страсти, чувства, искусство, культурное состояние народа как величины метафизические, то есть несерьезно-обывательские. Любую дурь настроений, любые вывихи чувств и случайное в приложении к событиям историческим с железной неумолимостью распрямляет общественный процесс, обусловленный материальными обстоятельствами и следствиями.

Теперь он не сомневается: только величайшая терпимость способна соединять общество. Лишь уважение каждой души способно дать обществу устойчивость. «Запрежде» всего именно это основа справедливости. Здесь истинная любовь к людям, и только это государственная мудрость.

И уже не верил формуле Плеханова: случайность есть точка пересечения необходимых процессов. При чем тут исторические и общественные закономерности? Глупый, слепой случай сплошь и рядом насилует жизнь. Он становится виден, когда его соотносят со всеми другими судьбами, а не берут изолированно. Случайное доказывает себя лишь в сравнении с общим, то бишь жизнью всех.

А роль личности?

Погибни Наполеон до 1812 г. — и не бывать походу в Россию с его неисчислимыми бедствиями. Стало быть, не легли бы в землю

сотни и сотни тысяч людей. Для них случайное и значение личности — уже их собственная погибель, а не просто вывих истории — конец земного существования. В жизни человека историческая личность и случайное играют весомую роль. Впрочем, и для жизни народа и народов они значат не меньше. Революция — это закономерность для России. Она ею была беременна. Но социалистической революция стала лишь благодаря особому, специфическому гению Ленина. Без него она никогда не шагнула бы за Февраль 1917-го. Были бы бунты, волнения, но никогда — Октябрьская революция.

Лишь исторический процесс в тысячелетии сглаживает все ухабы случайного. Но что до этого процесса каждой отдельной личности?..

«Это все марксистские бредни, будто личность неспособна играть существенной роли в судьбе общества, — кипятился Флор Федорович. — И для судеб истории, и для каждого человека в отдельности она имеет значение жизни и смерти, а это все — для человека, начало и конец его бытия, смысл всего...»

Флор Федорович проникся убеждением, что вождям непременно нужны намордники — да-да, если даже каждый из них среди единомышленников и вроде бы делит власть. Это точно: через вождей нация являет не только свое величие, но и изрыгает гной. Но без руководителей не обойтись, поэтому каждому нужен намордник — жесткие, непременные законы.

Аллес капут!..

Он и не заметил, как разменял прежние слова на совершенно новые, а терпимость его приняла такой характер, что чека пребывала в неизбывных терзаниях: сейчас брать или погодить.

Только теперь его поразило, насколько все революционеры уверены (даже тени сомнения нет) в том, что мир существует лишь для них, что ради них и их партийно-доктринерских схем должны гибнуть люди или обязательно подчиняться, в том числе и целые народы со всеми традициями, историей, мечтами. Мысль эта раскаленным гвоздем засела в голове бывшего председателя Политцентра...

А в те дни как раз лопались почки. Сады и леса — еще светлые, насквозь просматриваются. Солнце в них снопами — и стрянет в дымак. И птицы в таком азарте — ну без памяти и оглядки.

Трава совсем юная, нежнее не бывает... а пахнет! И земля липковатая, мягкая снеговой водичей. И от этого воздух до одури пахуч. И тут же прозрачный запах еще нагуженных лесов. В нем, запахе, пластами — тепловато-горькие ароматы дыма. Господи, не надышишься!

И светлые вечера с затяжным стоянием сумерек, далеким стуком колодезного ворота или калиток, а то и ведра в срубе. Степенно веет ветерок. И даже скорее не ветерок, а вечерняя свежесть. Накинешь на плечи одежду — и во все глаза смотришь на жизнь вокруг. Ведь нет ничего лучше! Вроде бы доскреблись люди до светлого и спокойного Христова житья.

Член политбюро и вождь красных профсоюзов Томский заявил на XI съезде партии в марте 1922 г. (Ленин как раз оправился от первого, несерьезного натиска болезни; надо полагать, сидел в зале и слушал):

«Нас упрекают за границы, что у нас режим одной партии. Это неверно. У нас много партий. Но в отличие от заграницы у нас одна партия у власти, а остальные в тюрьме».

А Федорович уже задолго до ареста перестал читать речи партийных заклинателей. За газеты брался в три-четыре дня раз: вроде как снимет взглядом заголовки, выхватит абзац-другой — и скомкает чтиво, сунет под стул, прямо под себя. Накопятся мятой кучей — и вынесет... Зачем вообще выписывает? Ведь ни одно газетное слово не принимает без судороги и отвращения. А, пожалуй, знай о признании Томского, поостерегся бы. Выручил один раз перстенок — можно было б предположить: не случайно то, что столь внезапно и обвалью обожгло угрозой новой расправы. А только на все плевал бывший лидер сибирских эсеров, так что никаких «пожалуй» — плевал, и все!

А в таком разе взял марксистский бог и поднатужился, чтобы задуть еще один огонек жизни, а что ему, этому божищу, чья-то жизнь!

А уж страсти раскаляли людей. Другим становился воздух: дрожал уплотняясь, превращаясь в металл от песнопений. Так уж устроено на этой шестой части суши. Без бога во плоти, даже если бог по самые ноздри в крови и гнет всех к земле, аж не продыхнуть, — не могут здесь.

Ох ты, долюшка горькая, доля черная...

Хронически больной человек (не пять—семь лет, а десятилетия) подгрел под себя руководство страной и увлек в самые невероятные пробы — распадающимся мозгом конструировал новое государство...

Нет-нет, все это было бы чересчур просто: искажения, извращения от болезни! Его мозг действительно был тяжело болен и действительно существовал на голоде крови и воздуха. И логика мысли пре-секалась нарушенностью связей...

Этот человек был могуч. И с изуродованным мозгом он признавал и узнавал лишь свои идеи и лишь движение к выкристаллизовавшимся идеям. Отмирающий мозг даже по-своему помогал владыке, гася, лишая силы все прочие импульсы, не доводя их до степени напряжения зрелых мыслей. Огнем оказались прокалены связи-мысли о диктатуре, насилии, государстве-казарме, мерцающей ему социалистической общиной, но безумно далекой от таковой, поскольку в той общине, что пестовалась большим мозгом, все скрепляли пули солдат и охранников и все были обречены на молчание. И ничто не могло погасить эти связи. Снова и снова они возобновлялись в распадающемся веществе мозга, проторяя пути в еще не тро-

нутых оплошной болезнью тканях, — и снова пылали центральные связи-мысли.

Казнь старшего брата, горе семьи обратили его ум на разрушение как единственную форму овладения будущим. Все подчинил он одной только этой мысли.

Что не имел он ни малейшего представления о созидании, ответственности за разрушительства, доказывает практика дней новой власти. Никто не ведал, каким обернется завтра, кроме общих лозунгов. Вождь тоже не ведал, ибо он познал лишь разрушение. Как может знать созидание человек, сознательно казнящий в себе даже искорку добра? Да даже обычную мягкость от музыки...

Всех в заветное завтра!

И в неизвестное гнали, волокли силой.

Но целесообразно лишь то, что естественно, что, переполняясь, само находит себе движение, подобно таянию снега весной. Насилие не способно ничего родить. Оно способно поставить на колени миллионы, но никогда — накормить их и сделать счастливыми. Ибо целесообразное возникает лишь из естественного. Насилие и есть насилие, поскольку оно противно естественному.

Чтобы слышать других, нужно сердце — и уже не верить умным, логичным и самым привлекательным расчетам, если от них отстранена душа.

В мерзлых буднях взрос ледяной мир без сердца, с ледяной кровью, механической волей. И людям в нем голо и неприятно. Механически он выдает им их порции жизни и диктует все слова, которые они после говорят друг другу. Ибо так было задумано. Ибо таким и был мир их святого.

И велел он кланяться ему всем живым. И они идут к нему и будут идти, замороженные льдом его воли, насыщаясь этим льдом, выстукая весь мир льдом своего дыхания.

И так будет всегда, если человек станет отстранять душу от своих мыслей и дел. Да-да, ибо так и было задумано!..

Я готов закрыть этот блок со старыми газетами. Слишком часто я заглядываю в него и поневоле насыщаюсь тленом. Но взгляд скользит по строчкам:

«...Этим констатированием протокол кладет конец всем предположениям (да и болтовне), которые делались при жизни Владимира Ильича у нас и за границей относительно характера заболевания...»

Семашко имеет в виду слухи о сифилисе у Ленина, которые имели тогда широкое хождение в обществе. Именно сифилис одной из форм осложнений имеет подобные поражения сосудов, влияя и на психическое состояние. Не раскрывая смысла слухов, нарком здравоохранения РСФСР отводит внимание от них рассказом о титанической деятельности вождя и наследственной предрасположенности.

Никто никогда не решит, так ли это. Нужно беспристрастное изучение соответствующих архивов, а это совершенно исключено (будут любые подлоги, но не изучение фактов), хотя в партии

ленинских времен (в ее высших звеньях) на сей счет существовало однозначное мнение. Автору доводилось слышать его от старых коммунистов довольно высокого ранга. И в общем, в подобной болезни нет ничего зазорного. Это, так сказать, личная забота каждого. И все бы ничего, и все замыкалось бы на личном — оставаясь такая болезнь только горем этого человека, его семьи, но почему эта болезнь должна становиться горем, точнее, бедой всех, а если быть еще точнее — судьбой всех?!

Именно по данной причине предположение о такой болезни, факт болезни переходит из области интимной, сугубо личной в общественную. Осложнения после болезни подобного рода недопустимы для главы государства, тем более в революцию, когда каждый день встает вопрос: жить или не жить тысячам людей, а если жить тем, кого оставили, какой будет эта жизнь? Это требует не только мощного, но здорового интеллекта, совершенно уравновешенной психики, исключительной самокритичности.

Можно предположить, что болезнь придала учению неограниченную жестокость.

Подобные слухи были сверхопасны для новой, победоносной власти. Они зарождали серьезные сомнения в правомерности происходящего, даже в определенной нормальности. И кроме того, грязнили святые хоругви самого учения.

И поэтому человек, которого утверждают вместо Христа, которого день за днем облачают в хитон мученика и пророка, не должен быть поражен подобным недугом. Да сгинет каждый, кто прознает!

И место Христа задвигается и задвигается новым «святым». И мифы о нем вживляются младенцам едва ли не с первым их криком.

Но распинали согласно учению народ — яростно и на веки веков, дабы не сомневался в новом святом, — и не колеблясь казнили, разрывали, лишали рассудка каждого, кто усомнится.

Ибо вера в нового святого есть лучшая защита для тех, кто за ним прчется!

«...По его (Колчака. — Ю. В.) «повелению» министры слушают дела. Он чертит на журналах Совета Министров «согласен» наподобие царей. Во всех документах слова «Верховный Правитель» начинают писаться сплошь прописными буквами, как писались при самодержавии слова «Государь Император». Он дает «рескрипт», под которым точь-в-точь как какой-нибудь Александр или Николай Романов подписывает: «Дан 23 ноября 1919 года...» Он говорит о своих «прерогативах верховной власти...». На собраниях провозглашается: «Верховному Правителю адмиралу Колчаку „ура“» — точь-в-точь как в былые времена провозглашали «ура Романову» Акимовы, Щегловитовы, Марковы и Пуришкевичи...»

В Омске сразу после крушения власти Колчака и не то бегства, не то эвакуации Чехословацкого корпуса (с прочими войсками интервентов) начинается сбор материалов для процесса над веду-

щими деятелями белого режима. Возглавляет работу заведующий отделом юстиции Сибирского ревкома профессор А. Г. Гойхбарг.

Процесс имел место в Омске с 20 по 30 мая 1920 г. Перед Чрезвычайным революционным трибуналом предстали 23 высших колчаковских чиновника.

Обвинение строилось на шести пунктах:

— бунт и восстание при поддержке иностранных правительств против власти рабочих и крестьян с целью восстановления старого строя;

— организация истребительной вооруженной борьбы против советской власти;

— организация системы массовых и групповых убийств трудового населения;

— предательский призыв к иностранным вооруженным силам для войны против страны, к которой принадлежат подсудимые;

— организация массового разрушения достояния Советской Республики и имущества трудового населения;

— расхищение и передача иностранным правительствам достояния Советской Республики.

Заседания Чрезвычайного революционного трибунала при Сибирском ревкоме проходили в железнодорожных мастерских Омска. Присутствовало около 8 тыс. рабочих, красноармейцев и делегатов от районов, особенно пострадавших в колчаковщину.

«...Была расстреляна, повешена, замучена, живыми зарыта в землю не одна сотня тысяч лиц, принадлежащих к трудящимся. По официальному сообщению, в одной Екатеринбургской губернии «колчаковскими властями» расстреляно минимум 25 тыс. В одних Кизеловских копиях расстреляно и заживо погребено около 8 тыс.; в Тагильском и Надеждинском районах расстрелянных и замученных — около 10 тыс.; в Екатеринбургском и других уездах — не менее 8 тыс. Перепорото около 10% двухмиллионного населения. Пороли мужчин, женщин, детей. Разорена вся беднота и все сочувствующие Советской власти...»

В обвинительном заключении, составленном профессором Гойхбаргом, сообщалось:

«...Устраиваются специальные карательные экспедиции, где в экзекуции населения особенно отличаются приближенные, любимцы Колчака, помогающие ему стать самодержцем, — Волков, Красильников... Особенно много пострадало восставших и случайных жертв — стариков, женщин и детей — в селе Мариинке ввиду отданного генералом Волковым приказа: большевиков расстреливать, имущество конфисковывать в казну, а дома их сжигать. Ворвавшиеся в Мариинку солдаты отряда капитана Ванягина сами определяли виновных, расстреливали их, бросали бомбы в дома, сжигая их, выбрасывали семьи расстрелянных на улицу и отбирали у них все. Сгорело тогда свыше 60 домов, погибло около двух тысяч человек. Это было в одном селе...»

Самыми важными (по преступлениям) среди подсудимых оказались:

Червен-Водали — кадет, заместитель председателя Совета Министров колчаковского правительства;

Клафтон — кадет, директор печати при Верховном Правителе;

Шумиловский — меньшевик, министр труда;

Ларионов — беспартийный, товарищ министра путей сообщения;

Морозов — беспартийный, министр юстиции;

Новомбергский — беспартийный, профессор, товарищ министра;

Преображенский — эсер, министр просвещения;

Хреновский — беспартийный, товарищ министра финансов;

Краснов — беспартийный, государственный контролер (однофамилец атамана Краснова);

Жуковский — беспартийный, товарищ министра иностранных дел...

Червен-Водали, Клафтон, Шумиловский, Ларионов сохраняли связи с контрреволюцией вплоть до ареста — революционный трибунал приговорил их к расстрелу.

Шестеро подсудимых осуждены на пожизненное заключение, остальные приговорены к различным срокам.

Несколько позже в Омске были расстреляны генералы колчаковской армии из захваченных в плен, которых раньше не пустили в расход в чека.

Усидчиво распутывает скоропись Федоровича старший следователь отдела ГПУ: четыре толстые дневниковые тетради. И не читает, а вгрызается в каждое слово. Ах ты, паскуда эсеровская!

Дневник вести порешил Три Фэ с февраля 1919-го, «запрежде» не смел — конспирация исключала. А тогда надежно лег на дно.

Выписал старший следователь на листок сбоку: «Аллес капут» — выяснить, что за хреновина. У него уже целый свод Флоровых словечек: слева, у гипсового бюстика Ильича, цельная стопка. Контра гуная!

«Чекушка» — наткнулся на столь знакомое словечко, поморщился, отчеркнул. Подумал: «Как же нас ненавидят и боятся, а мы только для них живем и себя не щадим».

Посидел не читая. Прикидывал заботы на сегодня. Опять опоздает домой. Опять Надя без кино, давно просит... Хорошо у него с ней, скоро ребеночек. Теща скоро приедет, пусть спит на кухне...

Еще недавно не сомневались: после Гражданской войны на сокращение пойдет работа, а тут такой размах! Расширяются отделы, новые создаются. Еще, кажется, вчера личный состав губчека... тьфу, ГПУ, был вдвое меньше, а и нынешний уже не справляется. Сколько же мрази на земле!..

И подвинул тетрадь поближе.

Опять о любви! Мать его, в такие-то лета!.. Надо запросить архив. Может, у нас и проходил кто из Струнниковых. Шутка сказать: сестрица колчаковского полковника!..

Разумеется, в дневниках и на толичку не было ничего интимного, не доверял людям Федорович. Даже если бы грянуло всеобщее благоденствие — все равно не стал бы писать. И уж, естественно, ни словечка о Тимиревой. Только одна фраза: «Голубка с поломанным крылышком поправилась и вчера улетела». Не Бог вещь какая конспирация, а сработала: пробежал взглядом старший следователь — пустое место для него. Решил: очередная шлюха. Не прочь мужик «ударить по рубцу»...

А за словами — целая жизнь, горе, любовь к сыну: может, даст утешение сердцу. Было ведь Анне Васильевне весной 1920-го двадцать восемь, вернее, должно было исполниться. Только-только человек начинает соображать, что к чему. А тут... пустырь... вся жизнь уперлась в тупик. Бери и вешайся на волосах...

С мрачным любопытством распутывает старший следователь чащобу букв. С конца января 1920-го что ни запись — махровая контрреволюция. Кобелина эсеровская! Тут на десять вышakov¹ за глаза хватит. Нет, пора за доклад. Пусть Гайдар кладет резолюцию.

Поработал с полчаса. В кабинет дергались, два раза стучались, но он заперся и не подавал виду, что есть. Иначе работать не дадут. Встал, отомкнул дверь. Закурил, прохаживаясь и пользуясь заслуженным отдыхом. Хорошо, дожди налетели, а так бы испекся от жары. Весну без перехода сменил зной. Сидишь в этой комнатушке и потом исходишь... Вон галифе к заднице прилипло. И расстроился, когда припомнил утреннее хождение в сортир: опять стену разрисовали! Служебный сортир (с неделю, как отремонтировали) — только для работников ГПУ и охраны внутренней тюрьмы, а что делается: вся стена в пятнах краски, не успевают замазывать непристойности.

Давеча замазали стишок, дай Бог памяти...

Все ниже, и ниже, и ниже
Валя спускает трусы.
А Костя ее обнимает и...

А дальше такие вирши, мать честная! Да что ж это?!

Нынче ухитрились штыком процарапать, тьфу, срам: «Сиськи по пуду — работать не буду!»

И такой картинкой снабдили!.. Не, краской не обойдешься: придется щекатурить. Прокорябали цельные борозды, мать их! Да это что... детские шалости, так... завиточки и кудряшки. Обычно же о-го-го! Аж до пяток прожигает! Ну змеи! И где только обучаются. Ну изобразят!

¹ Высшая мера наказания, то есть смертная казнь.

И вспомнил: проходила по делу Замкова. Особа... Допрашиваешь — и не по себе. Такие титьки, аж в глотке пересыхает! Явление! Ребята заходили позырить — и было на что. Здоровенные — и не виснут! Аж кофта лопается, а ведь без лифчика. Факт, без лифчика! Ночью забрали, прямо из постели. И не сказать чтоб жирная. От природы удались. Соски с вишню — сквозь кофту сигналият, аж руки трясутся, когда протокол заполняешь... Пощупать бы... наверное, туго, радостно... До греха могла довести. Ночью разложу Надю — свою законную, — а представляю эти штуковины. Вот ее бы, а!.. И такой — Гайдар определил вышак! На кой?! Она случайный элемент в том деле, ну пусть посидела бы пяток лет... Пригробили тетю, тридцать шесть ей по метрике... Дай Бог памяти... Ключникова... Марфа... Отчество не вспомню... сколько их!.. Да-а... подвесил Господь... Марфа прелестница...

Просвещай личный состав, не просвещай, а, видно, надо ловить этих «художников». Ловить — и учить! Общие внушения не действуют... Что ж это, как шпана уголовная, ничем не лучше: один, выходит, взгляд на мир. Это что ж получается у людей в голове! Так и будем строить новые отношения на похабщине?.. На колени бы посадить Марфу Ключникову, чтоб к тебе лицом. Кофточку, там прочие пуговицы расстегнуть и...

Старший следователь задохнулся от избытка чувств, встал, походил, снова сел и так же, как когда-то Чудновский, черкнул для памяти: «Установить скрытое наблюдение за нужником с захождением для установления факта хулиганского действия всякий раз после оправки любого из личного состава, кроме товарищей Щипачева, Уездина, Шабалина и Егоркина как руководящих и вполне сознательных товарищей».

Что тут рядить, оставил нам капитализм с Николашкой разврат. Тут делов... но справимся — так Ленин учил! Все родимые пятна капитализма сотрем и замоем. Ведь всякий знает: деньгами владели подлецы и прохвосты, недоумки разные. И вот эти отбросы рода человеческого командовали Россией и до сих пор командуют миром...

«К 20-летию ВЧК-ОГПУ-НКВД

...СНК СССР и ЦК ВКП(б) желают работникам и бойцам НКВД полных успехов в их работе по искоренению врагов народа.

Да здравствует НКВД, карающая рука советского народа!»

Шел 1938 год. Уже давно истлел Федорович: кости в братской могиле да череп с дыркой в затылке. Земное бытие.

Эх, Россия...

Наладилась ты губить тех, кто прикипел к тебе и служит сердцем — не карманом или чином.

То отказываешься от них, то зарываешь живьем...

Дай хоть дыхнуть, взглянуть напоследок в небо, ослепнуть от солнца — чистого солнца, не загаженного предательством и корыстью.

А теперь... кончай!

Знаменитый русский художник Юрий Павлович Анненков, описывая свою дачу (можно сказать, родовое гнездо), вспоминает следы, оставленные отрядом Красной Гвардии.

На даче бывали Ленин, Вера Фигнер, Горький, Блок, Маяковский, Есенин и десятки других людей — украшение России.

«Мой куоккальский дом, где Есенин провел ночь нашей первой встречи, постигла несколько позже та же участь. В 1918 году, после бегства красной гвардии из Финляндии, я пробрался в Куоккалу (это еще было возможно), чтобы взглянуть на свой дом. Была зима. В горностаевой снеговой пышности торчал на его месте жалкий урод — бревенчатый сруб с развороченной крышей, с выбитыми окнами, с черными дырами вместо дверей. Обледенелые горы человеческих испражнений покрывали пол. По стенам почти до потолка замерзшими струями желтела моча и еще не стерлись пометки углем: 2 арш. 2 верш., 2 арш. 5 верш., 2 арш. 10 верш. ... Победителем в этом своеобразном чемпионате красногвардейцев (личный состав упражнялся: кто сноровистее, тот и брызнет выше. — Ю. В.) оказался пулеметчик Матвей Глушков: он достиг 2 арш. 12 верш. в высоту.

Вырванная с мясом из потолка висячая лампа была втоптана в кучу испражнений...

Половицы расщеплены топором, обои сорваны, пробиты пулями, железные кровати сведены смертельной судорогой, голубые сервизы обращены в осколки, металлическая посуда — кастрюли, сковородки, чайники — доверху заполнены испражнениями. Непостижимо обильно испражнялись повсюду: во всех этажах, на полу, на лестницах — сглаживая ступени, — на столах, в ящиках столов, на стульях, на матрасах, швыряли кусками испражнений в потолок. Вот еще записка: «Понюхай нашава гавна ладно ваянит».

В третьем этаже — единственная уцелевшая комната. На двери записка: «Тов. Камандир».

На столе — ночной горшок с недоеденной гречневой кашей и воткнутой в нее ложкой...

Руины моего дома и полуторадесятинный парк с лужайками, где седобородый Короленко засветил однажды в Рождественскую ночь окутанную снегом елку... Вырастет ли когда-нибудь на этом пустыре столбик с памятной дощечкой, на которой вряд ли смогут уместиться все имена?...»¹

¹ Анненков Ю. П. Дневник моих встреч. Т. 1. Международное литературное содружество, 1966.

Очень напоминает поведение охраны в доме Ипатьева. Просто один к одному. Об этой особенности революции Горький напишет Ленину: «...революцию нельзя делать при помощи воров...»

Это не просто группа деклассированных людей, примкнувших к революции. Это тот основной социальный слой, который, как говорится, определял ее физиономию. Они как никто соответствовали целям и духу революции: уничтожить враждебный класс и разрушать, дабы из руин соорудить новый мир. Разрушали, надо сказать, очень усердно.

Вспомните крылатые ленинские лозунги: «Грабь награбленное!», «Кулаком — в морду, коленом — в грудь!».

На такое в первую очередь были способны именно подобного рода люди — целый слой по необъятной России («непаханая целина»). К ним обращался Главный Октябрьский Вождь. В таком деле интеллигенция и впрямь не была нужна, даже более того, подозрительна — по причине отказов и протестов против такого характера преобразования общества.

Именно поэтому Горький написал, что нельзя делать революцию с помощью воров и без интеллигенции. Именно от революции он сбежит в октябре 1921 г. сначала в Берлин, а потом на Капри.

А где было спастись всей России?..

И вся эта орда (без каких-либо духовных устоев, принципов, даже традиционной веры отцов в Бога) примется крушить, разваливать и уродовать налаженную жизнь.

Пение «Интернационала» будет им в этом очень помогать: сразу один просветленный взгляд на происходящее.

Своими знаменитыми лозунгами «Грабить и бить в морду», своей проповедью неприятия интеллигенции, вседозволенности во имя святой революции Ленин снимет с этих людей всякие моральные обязательства. У них эти обязательства и так были весьма условны, в зачаточном состоянии. Отрицание ценностей этого мира, водка, презрение к другой жизни, дремучее невежество, безродность, враждебность ко всему вне их, инстинкты вместо чувств.

Голой и беззащитной предстанет перед ними Русь...

Но и то правда, с самого дна жизни, трущоб и одного неизбывного горя поднимались люди. К счастью, свету и зажиточной жизни приобщались. А самое главное — давали ей свой разворот и свое понимание.

И дали!

Товарищ, винтовку держи, не трать!
Пальнем-ка пулей в Святую Русь...

И пальнули!

Аж до 90-х годов все того же печально-трагического столетия долетел стон!..

Если бы умнейший и энергичнейший из красных профессоров, товарищ Гойхбарг, обладал провидческим даром (мог заглядывать в

будущее и читать его без затруднений), он не стал бы гробить время на сочинение обвинительного заключения. Возможно, он был идеалистом, но ведь не до такой степени, дабы приуготавливать себя и своих товарищей (согласно сценарию «женевской» твари) к роли предателей и врагов социалистического Отечества. Ну не беспределен же идеализм большевиков, хотя встречались и такие: раздирают на куски, позорят жену, полувзрослых дочерей, а они славят «женевских» умельцев и вождей. Это уж своего рода мазохисты. Размазывали плевки и кровь, благодарно заглядывали в глаза: «Слава Сталину! Слава партии!»

Воспитала и таких ленинская партия, гордится ими — ленинцы.

Я и сам знавал одного — бывшего редактора «Известий». Из его уст услышал. После года пыток на Лубянке, забитый насмерть, но не давший «нужных» показаний, он даже не мог сидеть — полулежал. На допросы и очередные мучительства его носили надзиратели (он слышал, как за стеной били жену — чтоб сломить его, — а показаний все равно не дал). Однажды дверь его одиночки распахнулась, на пороге стоял комбриг НКВД: без сомнения, изверг из извергов. Через какую ж кровь надлежало пройти в комбриги! Комбриг долго, со знанием смотрел на то, что осталось от бывшего редактора, и наконец изрек:

— Настоящий большевик!

И бывший редактор после двух десятков лет заключения и лагерей хранил слова этого изверга как высочайшую похвалу, своего рода орден: еще бы, настоящий большевик!.. И мне рассказывал с нескрываемой гордостью... именно не за свое действительно легендарное мужество, а за это — «настоящий большевик»...

Идея для них выше позора, бесчестья, страданий, лжи, надругательств, самих принципов и самой правды! И мучения их и народа не случайны, а следствие той самой преступной идеи — сколачивать счастье через насилие. Из той же цепи преступлений...

Правда, товарищ Гойхбарг и не такой уж твердокаменный ленинец, даже более того... В общем, заглянем в его скупую и скромную биографическую справку. Из нее-то узнаем: хаживал он в меньшевиках, после одумался и вступил в РКП(б), из которой вскоре был исключен — а на дух не свой...

Прожил Гойхбарг до 79 лет. С 1904 г., то есть в 21 год, меньшевик, почти тот же ход (из меньшевиков — в большевики), что у свирепейшего А. Я. Вышинского (а этот что натворил!). Был соредактором горьковской «Новой жизни». В 1917-м стал членом РСДРП(б). В 1918-м служил в Наркомюсте, после находился на Восточном фронте (1919). В 1920 г. избран в состав Сибирского революционного комитета, тогда-то и выступил обвинителем на процессе колчаковских министров в Омске. С 1921 по 1923 г. — председатель Малого Совнаркома. После — на юрисконсультской работе в Наркомате внешней торговли. Но чу!.. в 1924 г. исключен из РКП(б).

После горьковской «Новой жизни» сотрудничает с «Извести-

ямы». Статьи его отличают революционная страстность и убежденность в праве большевиков лить кровь и вообще прибегать к любым мерам. Это настоящий революционный фанатик. Партия знала, кого назначить главным обвинителем на процесс колчаковских министров.

Причем размах интересов Гойхбарга-журналиста весьма велик: от многочисленных нападок на бывшего министра Сухомлинова (это еще при царе) до Лиги Наций (прообраза ООН), которую бывший присяжный поверенный иронически именует «Лигой убийц». Яду и желчи в этом человеке! — наверное, даже Ильич после встречи с ним проветривал кабинет, а то и споласкивал руки.

Гойхбарг смотрится из такой дали! Все это страшно далеко, уже легенда. А ведь Александр Григорьевич скончался, когда я служил в ЦСКА (армейском спортивном клубе) в звании капитана, за плечами имел четыре победы на чемпионатах мира и уже собирал материалы к этой книге.

Как же близко стояло то время к нам, ко мне!..

А вот обрекла его «женевская» тварь на лагерные мытарства или нет — официальные «источники» хранят молчание. Был юрисконсульт — и все! Правда, в наличии дата смерти: 1962 г. Да, умер на свободе. Но что было между этой смертью на свободе и 1924 г. — нигде ни строчки.

Профессор не обладал пророческим даром, не посещали его вещи сны, как, скажем, Денике или Флора Федоровича, и посему, можно сказать, своими руками приготавливал он себе довольно скорбную жизнь.

А что до его товарищей... ни стоны, ни крики, ни истеричные перечисления революционных заслуг, ни даже лжесвидетельства не умилостивили «женевских» специалистов. Можно сказать, вколотили они в землю неоглядное множество боевых соратников и коллег товарища Гойхбарга в землю — ни следочка не обнаруживается... Но ничего этого не ведал товарищ Гойхбарг, лист за листом сочиняя обвинительное заключение. Очень торопился, ждал его с отчетом о подготавливаемом процессе сам Главный Октябрьский Вождь.

Не осталась их встреча не отмеченной историей.

12 июня после свидания с Александром Григорьевичем Гойхбаргом Ленин отсылает записку Д. И. Лещенко — своему старому товарищу по партии (с 1900 г.), многоопытному партийному газетчику, секретарю Наркомпроса, возглавляющему Всероссийский кинокомитет:

«Ввиду крайней важности и злободневности привезенных тов. Гойхбаргом фотографий и документов суда над министрами Колчака предписываю: немедленно приготовить снимки с этих фотографий и документов, наряду с краткими комментариями тов. Гойхбарга, для составления ряда картин для кинематографов для самого широкого распространения.

Об исполнении извещать меня два раза в неделю...»

Лещенко был казнен в 1937 г. Выстрел в затылок — и падение после пинка на опилки... Что готовили и обговаривали в Женеве, столь несправедливо обернулось против них, создателей республики труда, братства и свободы.

«Об исполнении извещать меня два раза в неделю...»

...Люди тех славных революционных лет могли кричать «ура» и восторженно шагать за Лениным: войны отменены, впереди — счастье, только оно, счастье, — иначе и быть не может: научно доказано, революцией обеспечено. Остается лишь взять это самое счастье.

Люди и знать не знали, чем оборачивается каждый их шаг. Какая прежде была жизнь — знали не понаслышке, а по опыту и в самых мельчайших подробностях, а вот будущее... представляли лишь со слов. Обещали вожди самую великую свободу и зажиточность — аж выше всякой меры, знай поспевай черпать эти самые блага.

Бывшая житница мира, Россия, неспособна существовать без закупок хлеба и мяса за границей — так хозяйствовать на одной шестой (плодороднейшей части) Земли надо уметь. А они, эти захватчики власти, замурованные в непробиваемую лезть, угодничество, роскошь, вседозволенность и холодную жестокость карательных служб, все мнят себя святыми и требуют относиться к себе как к святым. Сейчас, правда, они «перестраиваются» и бьют себя в грудь, что это они дают свободу народу, — на колени перед ними!

Они свою вину перед народом — провал в подготовке страны к войне с Гитлером и преступное ведение ее в первые полтора года (горами трупов и разрушений обошлись России их прозрение и ученичество) — возвели в собственную заслугу и неувядаемую славу.

Подвиг народа из 30 млн. трупов. Это ж навалить — и на машине не объедешь.

Кто ответит за тюремно-кровавую нетерпимость властей ко всему вне догм, нетерпимость на грани изуверств, убийства людей путем объявления их душевнобольными.

Кто ответит за превращение жизни в систему догм, принудительное исповедование этих догм, за насилия над жизнью и людьми этими догмами, за превращение Ленина в божество, в икону, в святые мощи и за воспитание целого народа на иступленном поклонении этим мощам?..

Кто ответит за ложь в повседневной жизни, за воспитание на лжи поколений людей?..

Кто ответит за тотальный исторический обман — поддельные учебники, исследования и фальшивую историю, за вечную подтасовку фактов, имен и искажение смысла движения?..

Ничего не будет, никаких ответов и прозрения.

Никто никогда не ответит за неравенство людей в советском обществе, извращение законов, внедрение системы льгот, преступного распределения результатов труда, судебные и внесудебные расправы.

Никто никогда не ответит за надрынную жизнь народа в ожидании рая и житие бюрократической верхушки в роскоши и довольстве — воистину сладко-порочную жизнь. Смысл и цель большевизма оказались подмененными.

Никто никогда не ответит — ни один высший партийный чин — за лихоимства, разврат, клевету, подавление других людей...

Да, случается, люди заявляют о себе. К таким проявлениям «женевские» господа относятся серьезно. Одно дело, когда они разрушают страну. И другое дело, когда кто-то оспаривает у них право на власть. Тут тогда любую кровь не только нужно, но просто необходимо пускать — никакой ленский расстрел или там девятое января 1905 г. и сравниться не может. Вот как в Новочеркасске в 1962-м навалили, аж улицы уборочными машинами мыли. Уж тут извините, пожалуйста...

Никогда не ответит Ильич за то, что перевернул жизнь целого народа, залил ее потоками крови. А в итоге народ обрел новых цезарей — генеральных секретарей, — новую знать, жирующую в разврате и привилегиях (партийную и советскую бюрократию), и надрывное существование для себя.

Именно за это — льготы, привилегии, несправедливость — в революцию и Гражданскую войну большевики смели целые пласты общества; славная, легендарная пора... а в итоге водрузились на их место «слуги народа» с партийными билетами и доскональным знанием всех своих бесконечных привилегий. Последние русские самодержцы отнюдь не обладали столь бесконтрольно-чудовищной властью, а ведь именно за эту власть и самоуправство их, царей, ненавидели и в итоге лишили власти и жизни.

Именем Ленина и обещаниями рая на русской земле сносились головы с целых классов... чтобы взять всю ту прежнюю господскую жизнь и водрузить в нее себя — партийных владык России. Хотел этого Ленин или не хотел — вопрос другой; важен факт — чем это обернулось и во что обошлось...

Кто скажет правду об этой жизни и нескончаемых преступлениях?

Кто освободит Россию от этого кошмара?..

И любые преступления затираются, вытравливаются из памяти народа — и уже нет преступлений, ничего нет, кроме славословий вождям, партии и лицемерных восхвалений труда и людей труда...

Ничего подобного не ведал и не знал образованнейший и культурнейший профессор Гойхбарг, когда вплавлял гнев в строки обвинительного заключения. Ох как близко то время, когда поволокут его друзей и коллег из кабинетов в гнусную вонь тюремных камер,

а погода и вовсе лишат жизнью — таких дорогих и важных, а самое главное — единственных, уже ни одного дня не вернуть, не отыграть назад.

Убийцы и мародеры.

После соучастия в выдаче адмирала граф де Мартель (разумеется, он не лично выдавал и действовал не от себя, а подчиняясь интересам просвещенной Франции), так сказать, натурализуется на юге России при правительстве генерала Врангеля все в том же качестве верховного комиссара своей страны. Помните, как они выдали адмирала? Навесили на вагон флажки — национальные цвета Франции, Англии, США, Чехословакии... — и повезли к большевикам. Черные вóроны русской смуты. С бароном Врангелем такой номер не вышел, да и знал он им цену.

«Французский верховный комиссар произвел на меня и на А. В. Кривошеина (глава гражданской администрации генерала Врангеля. — Ю. В.) довольно неблагоприятное впечатление. Весьма неблагоприятно был поражен я, увидев в числе его ближайших помощников полковника Бьюкеншюца, неблагоприятная роль которого в Сибири в дни, когда граф де Мартель представлял правительство Франции при адмирале Колчаке, была мне хорошо известна. Полковник Бьюкеншюц усиленно заигрывал с враждебными адмиралу Колчаку эсеровскими кругами. Неблагоприятное впечатление еще более усиливалось тем, что в составе миссии находился майор Пешков, бывший русский офицер, в Великую войну сражавшийся в составе французских войск, приемный сын большевистского прислужника Максима Горького».

Воронье кружило над поверженной Россией.

Свобода, равенство, братство.

«...Россия, люблю тебя!

Сколько горя принял от тебя! Как состарило меня это горе!

Но быть без тебя?

Сколько метался, ища спасения от ненависти, злобы и грубого невежества, а сил оторваться от тебя нет.

Да и Бог с ними, ненавистью и болью! Просто не могу без твоего неба, твоих деревьев, твоих рек и речи...

И нет ничего без тебя. Ничего нет...

Об одном жажду — Добре. Хочу только Добра — и ничего другого...»

Это была одна из последних дневниковых записей Флора Федоровича.

Я часто и подолгу вглядываюсь в старинную вязь этих слов. Вся долгая жизнь научила меня именно этим словам. Взял и выговорил Флор Федорович слова из моего сердца.

А после его череп смешался с тысячами других в секретном захоронении. Черепа пробиты с виска или затылка, а иногда и со лба.

Флору Федоровичу выстрелили в лоб. Очень уж не понравилось его лицо стрелку-убийце. Так и вlepил пулю классовому врагу...

И мне кажется, там, в горах тех черепов и костей, — мой череп, и тоже с дырой прямо над провалом носа...

Ан нет, не лежу я еще там. Уберегла молодость, а то не жил бы. Не смог бы я вжаться в те формы...

Уберегла молодость и от свинца в Отечественную войну. Родил меня мама всего на 7—8 лет раньше — и я лег бы со своим поколением в братскую могилу. От Волги та могила и до Эльбы и Праги. А свободно могла родить меня мама на 7—8 лет раньше. Ведь в 1935-м, когда я появился на свет, ей было уже тридцать. Так что, когда война кончилась, мне исполнилось только десять.

Не поспел я на страшные боины, а ждали они меня и нас...

3 октября 1905 г. Троцкого арестовывают вместе с другими членами Петербургского Совета рабочих депутатов. В ноябре 1906 г. высылают в Обдорское, но он дает ходу еще из Березова — того самого, где окончил свои дни в 1729 г. опальный Александр Данилович Меншиков, сподвижник Петра Первого.

На V (Лондонском) съезде РСДРП(б) (1907) Троцкий занимает центральную позицию, не примыкая ни к большевикам, ни к меньшевикам. В 1909 г. он все же переходит к меньшевикам, обитает в Вене, позже — в Цюрихе¹.

С началом мировой войны — представлял в Париже газету «Киевская мысль», являясь и членом редакции социал-демократической газеты «Наше слово».

В конце 1916 г. нашего социал-демократа высылают из республиканской Франции: под надзором двоих полицейских инспекторов доставляют в Испанию. Через три дня его арестовывают в Мадриде и отправляют в США: и от своих смутьянов голова кругом.

После Февральской революции Троцкий устремляется в Россию через Канаду (с месячной отсидкой в галифакской тюрьме) по ходатайству Временного правительства (за всех политэмигрантов).

Лев Давидович примыкает к большевикам. 25 сентября (8 октября) его избирают председателем Петросовета. Никто в России столь стремительно и в такие сроки не возносился к высшей власти. Вчера — подозрительный субъект, почти бродяга, сегодня — вождь, цедающий сквозь зубы условия поверженным.

¹ Одну бы книгу написать в подобной «эмиграции»: без угроз чекистов, боли за украденные ими дневники, бесчисленного похищения почты, постоянно вырубленного телефона, очередей за продуктами (притащить сумки — и жизни не рад), невозможности печататься, да и просто жить по-людски.

Любые крайние решения не смущали Льва Давидовича, как, впрочем, и кровь — даже самая обильная. По-вождистски был скроен Лев Давидович. На большевистский манер верил в кровь как очищение и искупление. В огнедышащую пасть классовой войны и революции гнал народ.

Благополучную и благородную жизнь угадывал за трупами, пепелищами, голодом и насилиями. Будто кто-то необозримо громадный, всемогущий и всеильный вдруг положит предел резне, подлости доносов, сыску, торговле совестью, стяжательству, карьеризму, мучительствам, бездушно-разрушительным прожектам и скажет: «Довольно, вы в светлом царстве! На свалку все карательные машины и насилие!» И люди вмиг сменяют кожу.

А ведь именно подобная задача заложена в террор любой революции, почти любой... А иначе как это: из грязного, насильно-жестокоего вдруг вылупляется херувимски чистое и непорочное. Да не может жизнь, замешенная на палачестве, принуждениях, неправоте и несправедливости, внезапно прорасти в нечто другое, отличное от своей первородной сути. Не может же волчье чрево произвести на свет кролика. Не могут существовать по раздельности ветки, листья, ствол и корни..

Поиски счастья через насилие — главный метод исправления мира — обречены на провал и гораздо худшее зло...

От смешения кровавого, подлого, низменного не дожидаться прекрасного. Общество, приспособляясь к жизни по принуждению, лжи и постоянной угрозе насилия, принимает уродливые черты.

Чудовище смерти, насилия, издевательств не может породить красоту и справедливость...

В августе 1991-го пал большевизм (пережив своего подлинного вождя на 67 лет) — и в том историческая необходимость. Какие последствия ни обрушивались бы на нашу землю, а зловонный труп следовало убрать с дороги.

Теперь задача — не дать разрушиться государству.

Главное — устоять перед искусом возвращения в тоталитарное прошлое, не повернуть в отчаянии назад, вспять, в большевизм — боль от принесенных увечий и оскорблений нестерпима: демократия по-российски проявила себя убежденным недругом большинства людей. Это явилось тяжким похмельем почти для всего народа.

И при всем том большевизм — это тупиковый ход истории. История это вывела и доказала однозначно: десятками миллионов трупов, обнищанием страны.

Один из важнейших выводов из большевистского эксперимента: без материальной заинтересованности общество не функционирует нормально. Именно здесь социалистическая экономика двинула по пути неослабного принуждения. Террор стал условием ее существования. Однако нельзя не презирать многие условия жизни буржуаз-

ного общества, которые определяются размером личного богатства — и ничем иным.

Большевизм — это зло. Капитализм проявил себя в России ненасытным хищником, зверем, то есть тоже откровенным злом. Он не убивал прямо людей, но разорял миллионами, обрекая на нищету.

Не следует выбирать из этих двух зол. Из зол не следует выбирать вообще.

У России есть возможность идти своим путем.

После падения Владивостока генералы А. Н. Пепеляев и Ракитин сбивают отряды для борьбы с советской властью. Осенью 1922 г. генералы совершают набег на Якутию, их (и набег, и генералов) финансируют американские промышленники, дабы выгодно скупить пушнину в Якутии, так сказать, хапнуть напоследок.

Набег стоил многих жизней и принес немало убытков советской власти.

Генералы Пепеляев и Ракитин утвердили свою власть в Охотско-Аянском районе.

Вот отчет об экспедиции по разгрому этих последних белых отрядов:

«Командование Пятой Краснознаменной армии организовало экспедиционный отряд, который отбыл из Владивостока 26 апреля на двух пароходах Добровольного флота — «Ставрополь» и «Инди-гирка». После 25-дневного скитания во льдах отряд достиг мыса Марскан и высадился в 30 верстах от Охотска. Первый отряд под командой Погребова направился в Охотск... Путь был чрезвычайно труден... Достигши Охотска, отряд, разделившись на три группы, двинулся в горы... Белобандиты поняли бесплодность сопротивления и сложили оружие...

После выполнения этой операции часть отряда, вместе с пленными, которых было взято 70 человек, на пароходе «Ставрополь» направилась во Владивосток, куда благополучно прибыла 20 июня. Другая же часть отряда на пароходе «Инди-гирка» направилась дальше на север, к Аяну.

13 июня пароход достиг устья Алдана. Здесь высадились. У аянского священника было выяснено, что Пепеляев имеет сведения о появлении советских судов около Охотска и теперь пробирается к побережью...

Шли (за Пепеляевым. — Ю. В.) без тропинок, приходилось взбираться по крутым сопкам, часто по колена в снегу... по топким болотам... вброд через речки и ручьи. Шли, не щадя себя, по 12 часов в сутки. В первый день было пройдено около 25 верст, во второй — около 30, а на третий день в полдень мы уже вышли к устью реки Няча. Отсюда до Аяна... 10 верст. Выслали для осмотра местности дозор, который узнал, что в двух верстах... палатки.

С двумя ротами... подошли к палаткам и в качестве парламентаров послали... захваченных по дороге в плен подполковника и пра-

порщика... У белых получился раскол: офицеры сдаваться не захотели, а солдаты частью разбежались, частью сдались. Перед нами стояла задача как можно скорее двинуться на Аян, дабы разбежавшиеся не попали туда ранее нас и не сообщили о нашем приближении.

Проводником был один из пленных. Нависший туман значительно облегчил задачу — незаметно приблизиться. В 7 часов вечера, перевалив самую высокую сопку, стали спускаться к Аяну.

Вошли в Аян. Подошли к палаткам и начали быстрое окружение...

Мы стояли у двери, за которой находился генерал Пепеляев. Стучимся. Гробовое молчание. Решили прибегнуть к переговорам через захваченного в плен полковника...

Дверь отворяется. Товарищ Вострецов (командир сводного отряда красноармейцев. — Ю. В.)... первым входит в землянку...

— Кто здесь генерал Пепеляев?

— Я.

...Всего взято в плен 356 человек: один генерал (Ракитина, надо полагать, убили или сам застрелился. — Ю. В.), девять полковников, двенадцать подполковников, четырнадцать капитанов, тринадцать штабс-капитанов, двадцать поручиков, пятнадцать подпоручиков, двадцать шесть прапорщиков, один хорунжий, два ротмистра, один войсковой старшина, один сотник, два корнета, восемь чиновников и 139 рядовых. Кроме того, восемь сестер милосердия и 84 человека прочих чинов отряда.

Так был ликвидирован последний оплот белых на Крайнем Севере».

И там не спаслись «их благородия», «высокоблагородия», «превосходительства» и просто «господа».

Есть фотография Пепеляева сразу после швартовки транспорта во Владивостоке. Генерал стоит на причале среди бочек, ящиков, мешков. Шинель нараспашку, измята, без погон. Фуражка крепко сдвинута на бровь. Небрит, скулы выперли. Мужик еще не истраченный, в соку и силе. Взгляд из-под бровей — волчий. Конечно же, зная о судьбе брата, свою мог представить, а сдался...

Имеется и другая фотография, обошедшая тогда дальневосточные газеты. У стены тюрьмы, на скамейке, в окружении бойцов с винтовками под штыками сидят Анянов — адъютант генерала Пепеляева (всю Гражданскую войну вместе прошли), сам генерал Пепеляев (вполоборота сидит, зло, недобро смотрит), Михайловский — командир Охотской группы.

В тюрьме Анатолий Николаевич Пепеляев раскаялся и 28 июля 1923 г. обратился к бывшим соратникам (офицерам и солдатам) с предложением сложить оружие и повсеместно прекратить борьбу с советской властью.

Суд приговорил Пепеляева к смертной казни. ВЦИК амнистиро-

вал Пепеляева и заменил приговор десятилетним заключением, из которого Анатолий Николаевич, естественно, уже не вернулся.

Да, чуть не запямятовал. По возвращении во Владивосток красноармейцы отряда Вострецова сфотографировались на палубе «Индибирки». У историков хранится эта фотография последних бойцов Гражданской войны. Так вот, второй справа — Самсон Брюхин, налитой, сердитый, в буденовке.

Даешь власть рабочих и крестьян!

В дискуссии о профсоюзах Троцкий отстаивал идею сращения их с государством. Ленин подверг критике эти совершенно недемократические измышления. Однако очень скоро советское государство поглотит профсоюзы, превратив их в свой безгласный бюрократический придаток, то бишь будет подтверждена «прозорливость» Троцкого.

В 1923 г. Троцкий, участвуя в дискуссии о партийном строительстве, выдвинет обвинения руководства партии в зажиме свободы слова и вырождении в бюрократическую касту — удар явно ниже пояса.

Троцкий не заблуждался, именно так все и произошло.

В вырождении революции в бюрократическую диктатуру — понимание природы происходящего. Это не поддается разумению, но это именно так. Нагромождение трупов, за которым и дневного светила не углядеть, тускнеет, и вместо прорыва к свободе... стены.

Подлог смысла.

Кругом — огромные, непреодолимые стены.

Подлог смысла.

Это как при Батые, при поганых басурманах: каждый татарин являлся владыкой русского. Только нет еще этого, когда любая русская женщина в любом возрасте безгласно ложилась под чужого злого мужичонку в треухе — а куда деться?.. Отсюда, кстати, и берет начало гнусная (якобы отечественная) матерщина: мать твою так и этак... Это прямое доказательство и следствие завоевания славян; не только жену, но даже мать твою... — куда больше унижения. Позор и боль! Это — мука рабства. Пялили твою мать (отсюда это дикое матерное ругательство), позорили жену, дочерей — и похвалялись: «Что ты пасть разеваешь, я ведь... твою мать!» И впрямь, ты ничтожество, коли твою мать насилюют когда заблагорассудится, а ты живой и сносишь. Не взялся за меч, стрелы, а живой и терпишь, когда твою мать...

И нет, нет просвета, нет конца дням под этим игом: все ходы выходы перекрыты и завалены мертвецами...

Тогда же Троцкий поддержал выдвинутую Преображенским экономическую программу, так называемое социалистическое накопление (за счет крестьянства): людоедское поедание одних людей другими, деревни — городом, и почти буквальное поедание. Сталин подверг программу поношению, но за экономику государства при-

нялся по рецепту Льва Давидовича. С дулом у виска деревня давала пожирать городу свою плоть, стягиваясь в череп и кости, хотя и городу этого кровавого прокорма едва доставало, чтобы переводить дух: шибко набивал хомут плечи, шею...

1924 год принес сборник статей Троцкого «1917» с его предисловием — «Уроки Октября». Еще не изловчилась «женевская» уродина затыкать глотки вождям (один говорит, точнее, поносит, а другой лишен возможности возражать — ну всегда не прав и подл). В сборнике Троцкий вместо ленинской теории выдвинул свою, все ту же идею перманентной революции. Серьезно, по-ленински принимал это определение путей развития Лев Давидович, а ведь завязывалась схватка за власть — голую власть; нахраписто катилась эта свара — без церемоний и без пощады.

Для Сталина и его выдвиненцев — они уже успели покрыть всходами партийно-советское поле России — это было не определение путей развития государства, а кровавая сеча за власть, так сказать, в чистом виде, без принципов и предрассудков. Ничего другого эти возвышенные души в подобные дискуссии и не вкладывали. Все другое являлось лишь дымовой завесой — и только... Черное, низкое, примитивное, убогое по природной сущности, но чрезвычайно жестокое, как все первородное, связанное с прямым смыслом потребления и размножения, начисто лишенное духовного и души, торжествующее своей верткой удавливающей силой, обвивало любую самостоятельную, крепкую идею и тянулось по ней к свету, чтобы убить ее, став силой вдвойне, а потом убить, приглушить и все остальное своей глухой тенью. Так и сталинизм со своей крепкогрудой порослью затенил все, стремясь к свету. Он пил свет, дабы рождать тьму и гниение — ни на что другое он не был способен. Лишь раз, в Великую Отечественную войну, народ вдохнет в него здоровые силы, и он даст здоровые побеги, но не надолго, на какие-то годы войны. Сталинизм начисто поедал все, отвечающее хоть каким-то принципам. Все в борьбе с ним было обречено: от Маркса и Ленина с Троцким до самой обычной порядочности. На развалинах России безнравственность, ложь и подлость справляли праздник...

В 1923 г. в мировой печати появился сверхпримечательный сборник статей «Россия и евреи». Издание было повторено в 1978 г. (Париж, Умса Press). Все авторы статей — евреи. Это — М. Бикерман, Г. А. Ланда, И. О. Левин, Д. О. Лисский, В. С. Мандель, Д. С. Пасманик.

Цель сборника — изменить разрушительность сионистского отношения к России как государству, которое непременно надлежит самым беспощадным образом раздробить и по существу — колонизовать. И это все писалось 70 лет назад! Авторы очерков не могут не сознавать исключительного урона, нанесенного России сверхактивным участием евреев в революциях, Гражданской войне, а также и управлением ею. Это вызывает у авторов сборника опасение за

судьбы евреев в России (тогда еще не было сильного Израиля и «воздушных мостов»). Поводов для тревог и рассуждений о прошлом и будущем более чем достаточно. Авторы ищут средства обуздания сионизма и путей сближения с русским народом. Задача благородная, а главное — по-настоящему насущная. Весь вопрос, на какой основе сближение?..

Другая, неоспоримая ценность сборника — это евреи (и видные, высокой культуры), сами говорят о себе и дают оценку своему народу, по сути беспристрастную, почти...

Из-за обилия материала мы можем позволить себе лишь сжатые цитирования.

Из очерка М. Бикермана «Россия и русское еврейство».

«Тяжко страдает Россия, болеет великими болями и русское еврейство. Полны уродства и взаимоотношения между ними...

Русский человек твердит: «Жиды погубили Россию». В этих трех словах и мучительный стон, и надрывный вопль, и скрежет зубовой. И стон этот отдается эхом по всему земному шару...

Так как всегда и во всем мы виноваты, конечно, быть не можем, то еврей делает отсюда весьма лестный для нас и, на первый взгляд, житейски весьма удобный вывод, что мы всегда и во всем правы...

Человечество кружится в огненном смерче, и кто знает, что несет нам завтрашний день. Быть слепым и глухим в такое время, когда требуется вся острота чувств, чтобы не заблудиться и не сорваться в пропасть, — что может быть страшнее!..

Ни среди генералов, ни среди земцев, ни среди деятелей местного самоуправления евреев не было, по строю русской жизни не могло и быть. В Думе было три еврея, малозначительных и еще менее влиятельных; в Государственном совете был один еврей, ни разу, кажется, не напомнивший о своем существовании; в военно-промышленных комитетах евреи могли быть лишь в незначительном числе и на вторых и третьих ролях...

Но воистину, что Россию убила революция февральская, а не октябрьская, важно запомнить также каждому еврею, не воображающему, что нам море по колено, что среди крушения царств и гибели народов мы можем оставаться спокойны...

Но народы не умирают, по крайней мере — мгновенно, а государствам свойственна способность регенерации. Процесс возрождения всегда мучителен. В России муки так велики, что человеческое воображение и не вмещает, как не можем мы себе представить ни такого страшного греха, для которого они бы могли служить искуплением, ни такого великого блага, которое могло бы их окупить...

Нечего и оговаривать, что не все евреи — большевики и не все большевики — евреи. Но не приходится теперь даже долго доказывать непомерное и непомерно рьяное участие евреев в истязании полуживой России большевиками... Русский человек никогда прежде не видал еврея у власти; он не видал его ни губернатором, ни городовым, ни даже почтовым чиновником. Бывали и тогда, конечно, и лучшие и худшие времена, но русские люди жили, работали и

располагались плодами своих трудов, русский народ рос и богател, имя русское было велико и грозно. Теперь еврей — во всех углах и на всех ступенях власти. Русский человек видел его и во главе первопрестольной Москвы, и во главе Невской столицы, и во главе Красной Армии, совершеннейшего механизма самоистребления. Он видит, что проспект Св. Владимира носит теперь славное имя Нахимсона... Русский человек видит теперь еврея и судьей и палачом... Неудивительно, что русский человек, сравнивая прошлое с настоящим, утверждает в мысли, что нынешняя власть еврейская и что потому именно она такая осатанелая...

Первое место среди этих течений в еврействе должно отвести сионизму как по объему, так и по его влиянию, так и по тому, что и фантастика, и притязательность, и порождаемое им тяготение к смуте, как родственной стихии, выражены в нем наиболее ярко...

Оказывается, что «еврейство кровно заинтересовано в демократизации мировой политики (по сионизму. — Ю. В.)»... сам факт разрушения великих государств окрыляет его (сиониста. — Ю. В.), — ибо если первые стали последними, то и последние могут стать первыми. Мы теперь и видим, что русский сионист исходит во всех своих суждениях просто из факта небытия России...

Главное же, что русский сионист, по горло погруженный в мировую политику, делающий внушение Лиге Наций и выговаривающий Палате Лордов, сочетающий Декларацию с Мандатом и Мандат с Декларацией, следящий за сионистскими сборами по всему миру от Южной Африки до Канады, не может не интересоваться политически обширнейшей в мире страной, физически ему все же близкой: Минск и Одесса, Москва и Харьков для него ведь не только географические названия... **Для России это значит — раздробление, как идеальное состояние...** Поэтому сионисты и родственные им еврейские группы отказываются понимать, почему целостность российской территории... это такой высокий неприкосновенный принцип. Сионист ничего не имеет против того, чтобы тысячелетнюю историю России проделать в обратном порядке — только в течение 24 часов...

Как сионисты соединяют свою горячую заботу о самоопределении даже незначительных меньшинств в составе чужих государств со своим стремлением создать еврейское национальное государство в стране, где евреев и 12% нет, спрашивать не приходится. И само собой разумеется, что самоопределение России и, раньше всего, самоопределение евреев представляют для русского сиониста особый интерес...

Для еврея белая армия — банда разбойников, слово белый равно слову **жидорез...**

Белая армия не только избивала евреев. Она, маленькая, неустроенная и безоружная, вела еще, кроме того, сказочно-героическую борьбу против огромного, чудовищно-наглого и лютого врага, борьбу Давида с Галиафом. Против врага, не только превзошедшего жестокостью своей всё, что до сих пор известно было о звере

в человеке, но по примитивности своей идеологии, примитивностью всего своего существа, обезличившего 150 миллионов людей в такой мере, как это никогда еще не сделал ни один рабовладелец со своими рабами-колодниками. Из бесчисленных преступлений, содеянных поработителями России, это преступление самое тяжелое. И разрушение государства, и разорение народного хозяйства, и попрание всякого права — всё это только части и частности одного Каинова дела: угашение духа человеческого. Без этого все остальное было бы невозможно и не столь страшно. Обезличение же человека не было случайным явлением, сопутствующим социалистической власти, а **прямым ее заданием**. Именно для того, чтобы получить возможность распоряжаться и всем трудом человека, и всеми его помыслами, советская власть убивала, в точном смысле слова, без счета, морила голодом, разрушала последние основы человеческой культуры...

Нужно еще прибавить, что евреи были не только объектом воздействия во время этой тяжелой смуты. Они также действовали, даже чрезмерно действовали. Еврей вооружал и беспримерной жестокостью удерживал вместе красные полки, огнем и мечом защищавшие «завоевания революции»: по приказу этого же еврея тысячи русских людей, старики, женщины, бросались в тюрьмы, чтобы залогом их жизни заставить русских офицеров стрелять в своих братьев и отдавать честь и жизнь свою за злейших своих врагов (комиссаров. — Ю. В.). Одним росчерком пера другой еврей истребил целый род, предав казни всех находившихся на месте, в Петрограде, представителей дома Романовых, отнюдь не различая правых и виноватых, не различая даже причастных к политике и к ней не причастных (имеется в виду Зиновьев. — Ю. В.). Пробираясь тайком, с опасностью для жизни по железной дороге на юг, к белой армии, русский офицер мог видеть, как на станциях северо-западных губерний по команде евреев-большевиков вытаскивались из вагонов чаще всего русские люди: евреи оставлялись... русский офицер не мог это не видеть, потому что это бросалось в глаза и евреям, которые мне об этом с горечью и ужасом рассказывали...

Среди действительных добровольцев белой армии вряд ли было много таких, у которых революция не отняла самого ценного, самого дорогого. Он видит дальше, что в этой смуте евреи принимают деятельнейшее участие в качестве большевиков (разумеется, большевиками были далеко не одни евреи. — Ю. В.), в качестве меньшевиков, в качестве автономистов, во всех качествах... И этот нормальный и жестоко от революции страдающий человек делает свои выводы. Он также отождествляет нас с революцией... признав евреев воплощением революции, он и сам по-революционному поступает, то есть бьет без разбору. Та же смута позволяет ведь каждому давать волю рукам. Мы же присваиваем себе право участвовать в революции во всех ее видах и в высочайшей степени, требуем, чтобы окружающие в обращении с нами соблюдали все писанные и неписанные законы спокойного, неревolutionного времени... иначе мы кричим: погром!

Это применение двух мер, это несоответствующая ни обстановке, ни нашему собственному поведению требовательность создает нам больше врагов, чем само участие в революции, **ибо есть в этом что-то противоестественное, вызов природе вещей**».

Признания Бикермана следует понимать так: нам можно и резать, и захватывать власть, и просто травить народ, а нас трогать не смей — это преступление и вообще противно природе, тем более закону. Такова логика сынов Сиона.

И далее:

«...слова отечество, порядок, власть коробят ухо еврея, как реакционные, черносотенные; слова демократия, республика, самоопределение нежат его слух...»

Как сионисты соединяют свою горячую заботу... со своим стремлением создать «еврейское национальное государство в стране, где евреев и 12% нет, спрашивать не приходится...». Они его и создали в Палестине, уничтожая арабов. Так что ломать государства — это отнюдь не клевета на сионизм. Честный еврей пишет об этом как позорном факте, как скрытой политике сионистов.

В определенной мере поведение евреев в наших революциях и Гражданской войне, а затем и захват власти в России, о котором писал Бажанов, вызвало к жизни гитлеризм со всей системой тотального уничтожения еврейства. Русские, перестрадавшие по вине евреев несоизмеримо больше и «могильнее» (на одного убитого в погромах еврея приходится сотни тысяч русских, загубленных и замученных по распоряжениям евреев, поднявшихся к власти в России после революций и в 20-е годы; до середины 20-х годов Россией вообще правило абсолютное еврейское большинство в партии и правительстве), **не позволили себе ничего подобного, по-прежнему уважая простой еврейский люд и на равных деля с ним тяготы жизни**.

Но продолжим цитирование Бикермана.

«Каждый лишний день пребывания большевиков у власти обходится России бесконечно дорого, увеличивает ее разорение, углубляет ее разрыв и приближает к ней загребушие руки иноземцев...»

Кто сеет ветер, пожинает бурю. Это сказал не французский остроумец, не буддийский мудрец, а еврейский пророк, самый душевный, самый скорбный, самый незлобивый из наших пророков. Но это пророчество, как многие другие, нами забыто. **Мы сеем бури и ураганы и хотим, чтобы нас ласкали нежные зефиры...**

Я знаю цену этим людям, мнящим себя солью земли, вершителями судеб и, во всяком случае, светочами во Израиле, светоносцами. **Я знаю, что они, с уст которых не сходят слова: черная сотня и черносотенцы, — сами черные, темные люди, подлинные мракобесы, никогда не разумевшие ни величия творческих сил в истории, ни грозной мощи разрушительной стихии в человеке и человеках...**»

И Бикерман строит выводы. Без них, по его мнению, столкновение еврейства с русскими неизбежно, а это чревато едва ли не истреблением еврейства. Месть. Именно поэтому столь встревожен

Бикерман. Он бьет в набат: предотвратить избиение своего народа, который вопреки разуму сам поспешает навстречу грозе.

«Итак — первый вывод: евреи должны вести себя более сдержанно, более достойно, наконец, просто умнее... на мой взгляд, это важнее для нашей судьбы всех программ, вместе взятых.

Второй вывод — строго политический. Мы видели, что ни правизна, ни левизна не обеспечивают нас от резни и истребления. Обеспечивает только устойчивый порядок, способная предупреждать и подавлять анархию власть. Следовательно, кто всю историю нашего времени рассматривает с точки зрения погромов и отсутствия таковых, тот тем более должен прилагать все усилия, чтобы Россия возможно скоро стала снова государством, **державой, плохой или хорошей, с демократизмом или без него**, но с устойчивой властью, предупреждающей и карающей, и с населением, не бросающимся от дикого разгула к животной покорности и обратно, а ставящего в порядок дня впереди всего труд и сознание, как во всем мире и как было прежде, вообще говоря, и в России...

В более сжатом виде высказанные здесь мысли были изложены мною в докладе, прочитанном в январе этого года (1923. — Ю. В.) на публичном собрании в Берлине...

Нашей задачей — по крайней мере, ближайшей задачей — является показать, что **евреям, как таковым, продление смуты грозит более страшными последствиями, чем любой способ преодоления ее...** (здесь и везде выделено мною. — Ю. В.).

Что поделаешь с людьми, которые и на развалинах мира могут сохранить свои убеждения, ибо с миром убеждения их вовсе не связаны!..

И когда нет у тебя власти, нет и силы, которую власть дает, то можешь делать только одно: говорить, проповедовать, будить совесть, бить тревогу. И ты бьешь в барабан, когда не можешь колотить по черепам».

Если бы евреи следовали Божескому и предельно трезвому, разумному слову таких авторитетов, как Бикерман, мир и покой царили бы в России. Но они не следуют. Они полагают Россию сломленной. Это они так полагают.

Для России ведь не существует расового вопроса, и уже по одной причине — она многонациональна. Расовые мотивы начисто отсутствуют и в русской культуре, отражающей сознание нации.

Бикерман пишет об антисемитизме. Но это, как можно сделать вывод из признаний автора очерка, всего лишь попытка защитить себя и свою землю от хищничества евреев (вспомните хотя бы предостережения Достоевского в его дневнике за январь—август 1877 г.). Из чтения сборника «Россия и евреи» выносишь представление об этом хищничестве во всем его многообразии (и насилия, и «собираательства», и т. д.). Еврейский террор в России не мог не породить

ответной волны антисемитизма — это встревожило наиболее дальновидных представителей еврейства.

Принцип русских патриотов неизменный: для нас не существует «теста по крови». Для России — все дети ее, кто или служит ей с честью, или просто уважает, не отнимает у народа его собственность, пользуясь резким ослаблением его. **Для патриотов России происхождение человека не имеет значения — имеет значение лишь его отношение к России и русским.** И русский патриотизм отнюдь не страх перед мировым процессом объединения, не узколобое замыкательство, не отрицание всего чистого и светлого, что несет развитие человечества, **но защита своего народа от закабаления под видом процесса объединения человечества,** чему дает подтверждение каждый день существования «трехцветной» России — все неудержимое хищничество наших дней.

Сохранить, сберечь народ, дать ему достойные условия жизни — других целей у нас нет. Мы открыты для всех народов и людей.

И еще очень немного, теперь из очерка Д. С. Пасманика «Чего же мы добиваемся?». Самые последние слова его.

«Обращаясь к евреям, должен сказать следующее: те из них, которые возбуждают вопрос о том, является ли Россия родиной для всех живущих в ней евреев, страдают недомыслием или увлекаются демагогией... Следовательно, миллионы евреев прикреплены к России. Но в таком случае нельзя шутить со словом «родина». **Если Россия нам не родина, тогда мы иностранцы и уже наверное не имеем права вмешиваться в жизнь страны.** А между тем сионисты формулировали программы касательно государственного устройства России... Одно из двух: либо иностранцы без политических прав, либо русское гражданство, основанное на любви к Родине. Третьей возможности нет».

Третья возможность появилась через три десятилетия после этих слов с укреплением государства Израиль. С тех лет большинство евреев рассматривают Россию как временное пристанище, являясь по духу своему уже иностранцами и соответственно поступая с Россией.

Мы же любим свою Россию, истерзанную, несчастную, оболганную, пуще своих жизней. И мы будем ее защищать от посягательств любых иностранцев.

«...В. А. Рукавишников (умер в 1954 г.) служил заведующим райздравотделом в Москве, в системе здравоохранения Наркомата путей сообщения. Во второй половине 40-х серьезно заболел, просил о персональной пенсии — отказано: «нет оснований». Возможно, одним из оснований для отказа явилась давняя история... Когда-то, в конце 20-х, как рассказывали, члены партии были извещены о необходимости сдать в райком не подлежащие хранению в домашних библиотеках «некондиционные» труды по истории партии. Не то Рукавишников решил сохранить их у себя, не то забыл о них или

не сумел разыскать дома. Но когда позже попались на глаза, не отважился нести в райком — а вдруг выговор за небрежение инструкцией или того пуще (не партия, а какая-то специализированная военная организация: выговоры или «того пуще». — Ю. В.). Позвонил М. И. Ульяновой, с которой продолжал поддерживать теплые отношения. Мария Ильинична сказала: «Поехали в Горки, там есть печь, там сождем». Поехали. Сожгли...»¹

Так, само собою, сохранней.

Скорее всего, и донесли на Ульянову и Рукавишников: мол, сжигали что-то, и тайком, в уединении!

Ведь наши герои не на электричке поехали. Кто-то доставил на авто... и этот «кто-то» и донес².

Творцы новой жизни.

А Рукавишников неспроста пользовался фавором у Марии Ильиничны. Это он ухаживал за Лениным с марта 1923-го — после тех роковых мартовских ночей...

Ленин стеснялся женщин-сестер и дал понять, что наотрез отказывается от их услуг. Последние 11 месяцев за ним ухаживали мужчины-санитары. При Рукавишникове и наступила агония. Надо полагать, он готовил тело усопшего к отправке на вскрытие.

В 1923—1924 гг. Рукавишников учился на 5-м курсе медицинского института. В 1940 г. он стал начальником Трансанупра (Транспортного санитарного управления). Это была вершина его служебного продвижения.

Болдырев прослеживает судьбу каппелевской армии.

В первый день 1921 г. отмечает в дневнике:

«...Главные руководители армии пока... в Харбине...»

В Приморье каппелевцы осели группами: части 3-го корпуса генерала Молчанова, куда входили наиболее прочные полки из ижевских и воткинских рабочих и уфимских татар, осели в селе Раздольное; части 2-го корпуса Смолина — в Никольске и севернее Спасска. Остатки весьма немногочисленных казачьих частей... в окрестностях Владивостока. Обособленно стояла Гродековская группа... семеновской ориентации...»

И еще о том же 2 января:

«Был генерал Вержбицкий — командующий каппелевцами, маленький, бритый, как будто слегка накрахмаленный, с заметным акцентом, в штатском... Благодарил от имени армии за почин, давший им толчок к движению в Приморье...»

Демобилизовать нельзя (говорил генерал Вержбицкий. — Ю. В.), все равно 50—70 процентов уйдут в Гродеково и только уси-

¹ «Знание — сила», 1990, № 7.

² Водители персональных машин, как правило, являлись осведомителями ВЧК-КГБ.

лят шансы Семенова. У него еще до 8 млн. золота — этого достаточно, чтобы владеть армией...»

Генерал Вержбицкий в эмиграции станет владельцем модной в Харбине (Мукдене) дамской шляпной мастерской. Не сидеть же на паперти с протянутой рукой.

Товарищ Чудновский просто изводил себя переживаниями, ну мучили раскаяния. Женский вопрос упрямо навел на мысль о собственной непригодности для дела революции. Не мог он считать себя настоящим ленинцем. С тех пор как прочел в сборнике «Революция и молодежь» за 1924 г. (издание Коммунистического университета имени Якова Свердлова) о «Двенадцати половых заповедях революционного пролетариата»¹ — не мог.

Из головы нейдет заповедь третья:

«Чисто физическое половое влечение недопустимо с революционно-пролетарской точки зрения... Половое влечение к классово враждебному, морально противному, бесчестному объекту является таким же половым извращением, как и половое влечение человека к крокодилу, орангутану... Большая часть актов, не умеряемая моральными мотивами, истощала бы и ту мозговую энергию, которая должна бы идти на общественное, научное и прочее творчество. Подобному половому поведению, конечно, не по пути с революционной целесообразностью».

Величайшей большевистской бдительности и сознательности требовал половой вопрос. В большой обиде был товарищ Чудновский на природу — ну зачем дала мужчинам эту подлую зависимость от бабья и зачем лично его, убежденнейшего революционера, снабдила таким мощным инструментом любви?

К чему, ежели революция выше любви, семьи и даже Родины? И что такое все-таки любовь? Что?..

Иван Лукьянович Солоневич (1891—1953) — автор замечательной книги «Россия в концлагере», написанной вслед за отчаянно-мужественным побегом из СССР в июле 1934 г. через болота и чекистские облавы. Это был третий по счету побег, в этот раз удачный. Он и сидел в карельском лагере как раз за попытку побега.

«Россия в концлагере» — по сути, самая первая работа о лагерной Руси. Она на 30 с лишним лет опередила «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына. Это не просто воспоминания — это высокое по мысли и достоинству творение духа.

В бытность свою на воле Солоневич оказался участником ответственного совещания, на котором присутствовала Крупская. Обсуждался проект рабочего городка известного архитектора и социолога С. Проект предполагал барачного типа строения для мужчин и

¹ См.: «Аргументы и факты», 1990, № 48.

такие же строения — для женщин. В отдельных, обособленных помещениях барачков (это предлагал проект) в назначенные часы должны были сходиться мужчины и женщины, разумеется по взаимной симпатии. После соития, отдыха и прощальных поцелуев им надлежало возвращаться в бараки, на свои спальные места. Таким образом, любовь пролетариев, теряя личный характер, возводилась исключительно в заботу государства, процесс сродни производству.

Солоневич яростно атаковал проект, но все решила вдова вождя, она тоже не согласилась с проектом, хотя случая пролетариев — несомненно, вопрос большой государственной политики.

Значит, само рассмотрение подобного проекта в ту пору не казалось диким, а, наоборот, делом вполне серьезным и сверхнужным. И подобные проекты разрабатывались, и их пробовали внедрить в обиход. Для покорения мира ленинизму нужны были солдаты, много солдат (солдат революции!). И это сугубо личное, трепетное, невозможно дорогое надлежало поставить на поток.

Справка на Инессу Арманд из архива Московского охранного отделения:

«Арманд, урожденная Стеффен, Инесса (Елизавета) Федорова, жена потомственного почетного гражданина, домашняя учительница, родилась 16 июня 1879 года в Москве (то бишь на 9 лет была моложе Ленина. — Ю. В.)...»

Другая справка на ту же особу:

«Арманд Елизавета — Инесса, — Рене Федорова, почетная потомственная гражданка, 6 января 1906 года была обыскана при ликвидации московской группы партии социалистов-революционеров, в квартире ее был обнаружен склад нелегальной литературы, браунинг и пачка патронов к нему; по результатам обыска была привлечена к дознанию при Моск. Г. Ж. У. (Московском главном жандармском управлении. — Ю. В.). 29 октября 1905 года дознание было прекращено (согласно всеобщей амнистии. — Ю. В.).

9 апреля 1907 года Арманд была обыскана по делу Военного союза, причем были отобраны партийная литература, прокламации и фотографические карточки тенденциозного характера; переписка следственных действий по этому делу была передана Прок. Моск. Суд. П. (прокурору Московской судебной палаты. — Ю. В.).

7 июня 1907 года Арманд была задержана на собрании узлового комитета Всероссийского Железнодорожного Союза и по постановлению Министерства Внутренних Дел выслана под гласный надзор полиции в отдаленный уезд Архангельской губернии на два года.

14 сентября 1912 года Арманд была арестована в Петербурге по делу технической группы Петербургской организации РСДРП (надо полагать, Арманд начала дрейф в сторону социал-демократии. — Ю. В.) и привлечена при СПб Губ. Жан. Упр. к дознанию по обвинению по 102-й ст. Уг. Ул. ...

По агентурным сведениям Отделения за 1913 год, Арманд

имеет сношения с известными заграничными деятелями партии социалистов-революционеров»¹.

Остается лишь кое-что расшифровать.

Арманд родилась в Париже, родители — французы. Отец артист, выступал под фамилией Стеффен. После смерти родителей девочка оказалась в Москве у тетки, которая служила гувернанткой в семье фабриканта Арманда. После Инесса и вышла замуж за сына фабриканта, родив троих детей.

Ленин познакомился с Крупской в 24 года — в 1894 г. Прожили они вместе около 30 лет. Это уже стаж.

Осенью 1913 г. отношения Ленина и Арманд переходят в интимные. Ленину — сорок три. О чувствах к Арманд можно говорить уже как о глубокой страсти. Практически с того года они уже не расстаются. Крупская делает попытку отойти, оставить их, но Ленин ей это не позволяет сделать, он привязан и к ней.

Так и складывается его жизнь в привязанности одновременно к двум женщинам (как не вспомнить заповеди о классово сознательном половом чувстве пролетарски сознательных граждан нового рабоче-крестьянского отечества).

Инесса Арманд умерла от холеры 24 сентября 1920 г. в Нальчике на Кавказе, куда поехала отдохнуть. Ей был 41 год. Похоронена Арманд на Красной площади как заслуженная и боевая революционерка.

Смерть Инессы Арманд потрясает 50-летнего Ленина. На похоронах, по словам Коллонтай, он «был неузнаваем». Он шатался, «мы думали, что он упадет».

Да, это любовь.

Только сразу вспыхивает огненно-красный вопрос: а сколько миллионов любовей (самых пылких и нежных) обречен этот человек на муки и гибель (часто и позор насилий)?

Ответ на вопрос тут же, в кроваво мерцающих углях бывшего Российского государства, не ставшего новой великой Россией. И ответ этот звучит так: что можно мне, естественно для меня — для всех прочих исключено и невозможно.

Это не басни, нет. Именно так Ленин относился к себе. С виду очень простой (но не доступный, это легенда — доступность Ильича), но живущий по другим законам. Например, риск лично для себя он считал глупым и никогда не пошел бы ни на одну баррикаду,

¹ Все даты здесь по старому стилю.

Не исключено, что Арманд «разменяла» свое эсерство на большевизм из-за сближения с Лениным. А ведь на брак или близость с женщиной из другой партии смотрели куда как косо, едва ли не как на предательство, и это влияло на служебное положение коммуниста, а с 30-х годов оказывалось и причиной гибели. Вот так, тов. Ленин.

предоставляя право умирать другим. Это с убедительностью доказывает товарищ Ленина по женевской эмиграции 1904 г. Николай Владиславович Вольский (Валентинов). В ту пору ему довелось часто беседовать с Лениным, близко наблюдать будущего диктатора.

Нет, я — это одно. Массы — это другое.

У меня своя любовь, она может делиться с двумя женщинами, а надо — больше, иначе откуда приплутал сифилис; я не должен и не буду рисковать жизнью (это настроение пронизывало все годы эмиграции Ленина); я буду следить за своим здоровьем, нормально отдыхать в любом случае; мое слово — закон, и возражения мне — это несогласия с самой истиной.

Диктатор был человек, из обычных костей, крови, плоти, но мозг его давно (едва ли не с 20 лет) находился во власти представления о себе как личности необыкновенной, своего рода революционным мессии.

Так что культ его, обоготворение выскочили совершенно не случайно. Религиозная предрасположенность народа, его неграмотность — это одно, а объективные предпосылки — другое. И эти предпосылки имелись в более чем достаточном выражении.

Надежда Константиновна Крупская скончалась 27 февраля 1939 г. За 13 дней до смерти ей исполнилось семьдесят. Она пережила своего мужа на 15 лет: такие годы — лучше б и не жить. Сталин ненавидел ее. Это она не без оснований говорила Троцкому, что, если бы Ленин остался жить, не умер так рано, он угодил бы в сталинский застенок. Это — красочное преувеличение, но в нем весь Сталин, для которого единственной святыней являлась власть, полная, безоговорочная власть деспота. Не надо роскошных одежд, покоев, женщин — все заменяет упоение властью, возможность приказывать, наслаждаться подчинением масс и играть в огромную игру — управление народом.

После смерти Ленина Крупская жила в опале, снося порой и публичные оскорбления, например отзыв на свою книгу «Воспоминания о Ленине». Ей приписывали искажения истории партии, разные «уклонизмы» и главное, что не выражалось открыто, — «троцкизм».

В 40-е и 50-е годы ходила упорная молва об угрозе Сталина на попытки Крупской вести себя и высказываться независимо: мы можем ее снять из жен Ленина.

И похоже, это правда. Угроза Чижикова, высказанная, по-видимому, в мгновения крайнего раздражения, почти бешенства (слов нет, горело упечь в тюрьму, но сделать он это не мог, и от этого ненависть выплескивала на самый высший градус), безусловно, имела в виду долгую любовь Ленина к Арманд. А уж партийная печать, партийные сочинители сумели бы оформить «развод». Сталин мог все. Он это доказал.

Годы без Ленина для Крупской — это печальная история угасания среди лжи и постоянных унижений.

Сталин вообще явился как наказание Божие — и покарал. И в крайностях своих дал истинный, но скрытый смысл ленинизма. Как бы воздал всем за деяния, никого не обошел... **Большевики обрели из безбожных недр своих собственного гиганта антихриста.** И он пощады не ведал ни к кому. Узкая душа, каменное сердце, отвращение к истинной культуре и ненасытная, болезненная страсть к власти. **Он не мог не появиться, закваска для появления такого типа в той среде имелась. И при соответствующей температуре в обществе эта закваска дала рост этому страшному организму с именем Сталин.**

Зиновьев люто ненавидел Троцкого. Все годы до революции Зиновьев находился возле главного вождя, с ним прошел через все эмиграции и съезды, был своим в его доме. Кому как не ему, Овсею (Евсею) Зиновьеву, возглавить партию и государство. И вдруг революция, а затем и Гражданская война возносят Троцкого над всеми. Он второй после Ленина по влиянию в партии, его авторитет неоспорим. Именно это толкает Зиновьева и Каменева на союз со Сталиным — сообща расшибить Троцкого, а уж со Сталиным он, Зиновьев, как-нибудь разберется.

После ожесточенной свары Троцкий снят со всех постов, но ни Зиновьев, ни Каменев, ни все, стоящие за ними, не догадываются, что это прежде всего их поражение, и даже не поражение, а гибель. Сталин уничтожает соперников поодиночке. Теперь он натравит всех на Зиновьева и Каменева...

В ноябре 1927 г. — в 10-ю годовщину революции — троцкисты организуют демонстрацию в Москве. Это жест отчаяния, ибо власть ускользает от них, ее уже нет.

И сам прием наивен: демонстрация. При Николае прием проходил, теперь же — шалишь! Отныне любая демонстрация — государственное преступление, а не законное гражданское право. Троцкистов загоняют в тюрьмы и ссылки. Троцкого как левого оппозиционера исключают из партии и ссылают в Алма-Ату.

В 1929 г. его выслают вообще за границу на пароходе «Ильич»: само пребывание этого человека в России опасно, оно выбивает почву из-под ног нового вождя. Сталин смертельно завидует способностям и заслугам этого человека. Ненавидит и боится.

Троцкий кочует: Турция, Франция, Норвегия (еще в 60-е годы в Норвегии жил его секретарь, и я, автор книги, с ним встречался). В 1937 г. бывший вождь самой беспощадной революции в истории человечества обосновывается в Мексике.

В Москве люди, близкие к верхам, определенно знали о том, что агентов Ежова—Берии посылали на убийство Троцкого с не переменным «обеспечением» званием Героя Советского Союза в случае успеха.

Геббельс отметит убийство Троцкого записью в дневнике 22 августа 1940 г.:

«Покушение на Троцкого в Мексике. Тяжело ранен. Этого дьявола не жалко. Я еще раз запретил печатать в германской прессе дружественные к России статьи. Русские снова ведут себя бесстыдно. Троцкий умер. Одной преступной еврейской свиньей меньше. Он заслужил куда худшей смерти».

Нет сомнений, такая запись могла появиться в дневнике любого советского партийного деятеля — не страшись они вести дневники.

Надо полагать, здоровье у Льва Давидовича было вполне сносное. Суды, тюрьмы, побеги, ссылки, маятная эмигрантская жизнь, революция с нечеловеческим режимом работы, схватка за власть со Сталиным, поражение и ссылка, метания за границей от сталинских убийц (и белогвардейцы тоже не прочь были прихлопнуть) — и ни тебе диабета, гипертонии или инфаркта. Могучей природы был человек, хотя и стал прибалывать.

А муки-то за что? Расходился во мнении с соперниками за власть над партией и страной лишь в фасоне ошейника. Кроил он для России свой ошейник, несколько отличный от ленинского и сталинского, но в основе такой же, набранный из нетерпимости, необходимости классовой прополки общества «женевским» механизмом и обязательного присутствия насилия. Словом, ошейник и парфорсно-пафосное подтягивание народа в сказочное завтра.

Немалую роль в судьбе Троцкого сыграл Леонид Борисович Красин: то достает фальшивые паспорта, то снабжает надежнейшей явкой и средствами.

С Красиным у Троцкого сложились превосходные отношения, нравились друг другу. Красин слыл первым мастером стремительных и кровавых стычек с полицией (плакала по нему плаха). Все шло в ход: ножи, пистолеты и настоящие адские машины. Дерзок был и неумолим Леонид Борисович, а ведь так, при знакомстве, и не скажешь (а уж сколько на нем крови!): интеллигентен, в почете у деловых людей — не просто инженер, а золотая голова¹. В общем, он не был столь узок, как большевики, этим впоследствии привлекал людей и Троцкий.

А. П. Мартынов как знаток дает справку:

«...Красин вообще чрезвычайно типичная фигура русского анар-

¹ Так в книге воспоминаний Крылов рассказывал о Красине — руководителе работ по монтажу электрических установок на первых русских дрейноутах. Сверхответственные и работа и должность. И поручены они были Красину уже после 1908 г.

Кстати, книгу эту (свыше 800 страниц машинописного текста) Крылов написал за два месяца, имея за плечами 79 лет!

хического настроения интеллигентов. Он то принимает марксизм как средство для выдвижения на политическую арену, то становится в ряды активных сторонников революционного отрицания капитализма; закончил же свою жизненную карьеру послушным исполнителем указаний Ленина, в то же время сомневаясь в октябрьской аванюре. Такой же типичный пример шатавшегося русского интеллигента представляет небезызвестный инженер Глеб Кржижановский. В Самаре в 1902 году был сосредоточен «внутренний штаб „Искры“» (туда и направил свои стопы из иркутской ссылки юный Троцкий. — Ю. В.). Агентом «Искры» под конспиративной кличкой Коэр был инженер Кржижановский, будущий председатель большевистского Госплана. Он и его жена были друзьями Ленина по ссылке. После 1904 года он отошел от партийных дел, занял видное место в промышленном мире. Вернулся в партию снова только в 1918 году...»

Молотов говорил о них:

«А эти большевики старые, где они были? Никто не хотел особенно рисковать. Кржижановский служил, Красин — тоже, оба хорошие инженеры-электрики. Цюрупа был управляющим помещья, Киров был журналистом в маленькой провинциальной газете, с нами не участвовал...»

Когда Кржижановский умер, я приобрел некоторое количество книг из его библиотеки (это книги по истории внутрипартийной борьбы начала 20-х годов; я тогда был уверен, что все беды — от злодея Сталина, обобравшего и обоглавшего ленинизм)...

В июне 1918 г. Леонид Борисович Красин исполнил особо деликатное поручение (можно сказать, сверхделикатное) — был командирован Совнаркомом в ставку Людендорфа для переговоров о прекращении движения немецких войск на Баку.

Брест-Литовский мирный договор уже был заключен, и у германского руководства не было причин для дальнейшего продвижения по территории РСФСР. Никаких... кроме права сильного. У советской России армии не было, она ее сама разрушила.

У Горького¹ есть очерк о Красине. Изрядно он поразил Алексея Максимовича, даже вроде как бы напугал террористической грозностью, помноженной на трезвый инженерный расчет, — ну выше разума: без нервов и при холодной рассудочности. Аж дух захватывает: кровь для таких — очередное техническое решение, не больше. Смотрел на него Алексей Максимович и прикидывал свое проникновенное писательское слово. Ну недоступные разуму эти идейные потрошители. Освоят книжные формулы, сведут на практику дней и потребностей — и казнят, метут людишек, как мусор, а все во имя будущей нови.

¹ В «Справочнике по ГУЛагу» Жака Росси Горький назван «первым законным советским миллионером».

Люди дела, люди-пророки, ничто для них не резон, а мораль вроде и не существует — так, выдумка старого, дряхлого мира. Грядет новый человек. И большевики — провозвестники его...

Очень все это поражало Буревестника революции, пока перед смертью не разглядел: батюшки святы, да это же бандиты, захватчики власти! Сначала громкая фраза (далеко впереди дел), а после и они, борцы за народное счастье...

Журнал «Красная нива» (№ 49) сообщал 5 декабря 1926 г.:

«Леонид Борисович Красин — член ВКП(б), полпред СССР в Англии, скончался в ночь на двадцать четвертое ноября в Лондоне от паралича сердца, наступившего в результате злокачественного малокровия...

Ленин, Фрунзе, Дзержинский, Красин — только история окажется в силах поднять эти необъятные имена на должную высоту (языком Герцена: цветет ливрейно-лакейский (зиновьевский) стиль. — Ю. В.). Только победоносное будущее выкует настоящие, еще никем не сказанные слова, которых так не хватает сейчас в нашем языке, чтобы поведать миру захватывающую повесть об этих единственных и неповторимых жизнях...»

О г л а в л е н и е

<i>Глава I</i>	ЯМА	5
<i>Глава II</i>	ИМЕНЕМ ТРУДОВОГО НАРОДА	51
<i>Глава III</i>	ИРКУТСКОЕ СЛЕДСТВИЕ	145
<i>Глава IV</i>	ТЮРЕМНЫЕ БУДНИ	227
<i>Глава V</i>	ПОСТАНОВЛЕНИЕ НОМЕР ДВАДЦАТЬ СЕМЬ	270
<i>Глава VI</i>	ФЛОРОВЫ БАБЫ	281
<i>Глава VII</i>	СТЕША, ФОТИЙ И ФЛОР	334
<i>Глава VIII</i>	АНГАРСКАЯ КУПЕЛЬ	350
<i>Глава IX</i>	КРАСНЫЕ ЧЕРНИЛА	399
<i>Глава X</i>	ИРКУТСКАЯ СВОБОДА	443
<i>Глава XI</i>	«ТВОЯ НАВЕКИ — АННА»	539
<i>Глава XII</i>	ЗАРЕ НАВСТРЕЧУ	568
<i>Глава XIII</i>	СМЕРТЬ ВОЖДЯ	597
<i>Глава XIV</i>	КРУШЕНИЕ И ОБНОВЛЕНИЕ	611

Власов Ю. П.
В58 **Огненный Крест: Гибель адмирала.** — М.: Издательская группа «Прогресс», 1993. — 656 с.; ил.

В книге на документальной основе прослеживается яркая и трагическая судьба адмирала А. В. Колчака. Его жизнь и деятельность освещаются на фоне исторических событий мировой войны, Февральской и Октябрьской революций и Гражданской войны в России.

Являясь самостоятельным художественно-публицистическим произведением, данная книга развивает сюжеты вышедшей ранее книги Ю. П. Власова «Огненный Крест. «Женевский» счет».

В $\frac{4702010204-118}{006(01)-93}$ КБ—41—52—92

ББК 84Р

ISBN 5—01—003927—3
5—01—003925—7

© «Прогресс», 1993

Юрий Власов
ОГНЕННЫЙ КРЕСТ
Гибель адмирала

Художник *В. Ю. Новиков*
Художественный редактор *В. А. Пузанков*
Технический редактор *Е. В. Левина*
Корректор *И. В. Леонтьева*

ИБ № 19541

Сдано в набор 19.11.92. Подписано в печать 13.04.93. Формат 60×90^{1/16}.
Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 41,0+1 печ. л. вклеек. Усл. кр. отг. 42,3. Уч. изд. л. 45,35.
Тираж 10 000 экз. Заказ № 732. Изд. № 48830. С-118.

А/О «Издательская группа «Прогресс»
119847, Москва, Зубовский бульвар, 17

Ордена Трудового Красного Знамени Тверской полиграфкомбинат Министерства печати и информации Российской Федерации. 170024, г. Тверь, проспект Ленина, 5.



Отлетела к Богу душа раба Его Александра, сына Васильева, сорока шести лет. Но принял ли Господь ее в свои блаженные угодья и упокоил или определил на вечные муки— не прояснится для нас этот вопрос никогда. В ненависти и презрении почти всего русского народа отлетела душа бывшего адмирала, ученого, строителя русской армии и флота, мужественного защитника России в войнах и бывшего Верховного Правителя Российского государства— главы белого движения... Мир праху твоему, Александр Васильевич Колчак.

Ю.Власов

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА «ПРОГРЕСС»